

Князь Иван Михайлович Долгоруков.
Портрет работы Д. Г. Левицкого. 1782.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Князь И. М. ДОЛГОРУКОВ



ПОВЕСТЬ

О РОЖДЕНИИ МОЕМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВСЕЙ ЖИЗНИ, ПИСАННАЯ МНОЙ САМИМ И НАЧАТАЯ В МОСКВЕ 1788-го ГОДА В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ, НА 25-ом ГОДУ ОТ РОЖДЕНИЯ МОЕГО. В КНИГУ СИЮ ВКЛЮЧЕНЫ БУДУТ ВСЕ ДОСТОПАМЯТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, СЛУЧИВШИЕСЯ УЖЕ СО МНОЮ ДО СЕГО ГОДА И ВПРЕДЬ ИМЕЮЩИЕ СЛУЧИТЬСЯ. ЗДЕСЬ ЖЕ ВПИШУТСЯ КОПИИ С ПРИМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИХ БУМАГ, КОИ БУДУТ ИМЕТЬ ЛИЧНУЮ СО МНОЮ СВЯЗЬ И К СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ МОЕЙ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ.

Том 1

Издание подготовили
Н. В. КУЗНЕЦОВА, М. О. МЕЛЬЦИН



Санкт-Петербург
«НАУКА»
2004

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)1
Д 64

Ответственный редактор В. П. СТЕПАНОВ

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Научное издание

Князь И. М. ДОЛГОРУКОВ

ПОВЕСТЬ О РОЖДЕНИИ МОЕМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ И ВСЕЙ ЖИЗНИ...

Том 1

Утверждено к печати Редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор издательства *Н. А. Никитина*
Художник *Л. А. Яценко*. Технический редактор *Е. И. Егорова*
Корректоры *Ю. Б. Григорьева, З. Ю. Иванова, Ф. Я. Петрова, М. Н. Сенина* и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *А. Н. Жогиной* и *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Сдано в набор 23.04.04.
Подписано к печати 28.10.04. Формат 70×90 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 60.8. Уч.-изд. л. 54.7. Тираж 2000 экз. Тип. зак. № 3535. С 220

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1
main@nauka.nw.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12



ТП-2004-II-247

ISBN 5-02-027149-7 (т. 1)
ISBN 5-02-027151-9



ОТ РЕДАКТОРА

Воспоминания князя Ивана Михайловича Долгорукова представляют собой необычайно большой, для начала XIX века, массив мемуарного текста. Они охватывают период с 1764 по 1822 год, и одним этим в значительной мере обусловлено их тематическое и стилистическое своеобразие. Написанные как семейные (по жанру), они тем не менее весьма значимы для понимания русской жизни конца XVIII—начала XIX века вообще.

И. М. Долгоруков по происхождению и своим привязанностям был москвичом; в юности служил офицером в гвардейском полку в Петербурге и был причастен к жизни светского общества столицы, приближен к «малому двору» вел. кн. Павла Петровича и Марии Федоровны; долгие годы был крупным чиновником в губерниях Центральной России. Участие в культурной жизни столиц и провинций позволило автору сделать любопытные и неординарные наблюдения. Его мемуары, затрагивающие жизнь территориально разных частей России, имевших каждая свои особенности, показывают, как на деле работала бюрократическая машина государства.

Подробно освещая историю одной из ветвей рода князей Долгоруковых, мемуарист раскрывает обширную систему родственных связей Долгоруковых с титулованным и бюрократическим миром России. В мемуарах большое внимание уделено мелким подробностям повседневной жизни, поэтому особенно велико их значение для изучения быта и обычаев образованного слоя дворянского общества. Культурный человек, популярный поэт, И. М. Долгоруков не только умел подмечать черты обы-

денной жизни, но и был склонен к моральным и нравственным обобщениям относительно внутренней политики и общественных процессов в то или иное царствование; а на его зрелой памяти сменилось три императора.

Большой любитель театра и актер-любитель, И. М. Долгоруков на домашнем театре достиг почти профессионального мастерства и считался одним из лучших актеров своего времени. Мемуарами И. М. Долгорукова уже давно пользуются историки театра, они служат незаменимым пособием для комментаторов сочинений этой эпохи и еще послужат важным источником для культурологов, историков русского быта.

Настоящее издание представляет собой первую полную публикацию текста «Повести...». В стилистическом отношении перед нами один из интереснейших образцов русской прозы того времени. Сочетание языковых навыков русских людей XVIII века и новых веяний во многом определяет своеобразие языка мемуаров. И. М. Долгоруков, обладая яркой творческой индивидуальностью, зачастую переосмысливает общеязыковые тенденции рубежа веков, придумывает собственные словечки и грамматические формы. Его мемуары предоставят специалистам-филологам богатый материал для изучения и заинтересуют широкий круг читателей.

В. П. Степанов



ЗАГЛАВИЕ

Отец мой*, заметив во мне смолоду наклонность к трудам пера, давно советовал, чтоб я принялся писать исторический журнал моей жизни, уверяя, что со временем самому мне приятно будет прочитывать такую рукопись, но я, будучи молод и слишком рассеян, не мог присесть за такую постоянную работу, да и не умел еще ценить ее удовольствие, а потому день от дня откладывал мое намерение. Ныне (1788-го года), войдя в возраст мужа совершенна, вступя в супружество, видя уже на руках жены моей милого ребенка и перестав суетиться около детских игрушек, я решился исполнить совет родительский и тем охотнее, что, прочтя оставшуюся у батюшки после матери его весьма занимательную рукопись о ее жизни[1], понадеяться дерзнул, что и мою повесть со временем приятно будет прочесть роду, от меня исходящему. Укореня сию мысль в разуме, я приступил с помощию Божиею к моему делу. Начавши поздно, жаль, что встречу, конечно, много затруднений в точном описании первых моих возрастов и не в возможности будет моей соблюсти строгий порядок в годах и времени, когда младенчество мое и юность ознаменованы были каким-либо примечательным случаем. Итак, по 1782-й год бумаги мои будут несколько смешаны, но с того времени я рачительно собирал, да и впредь также запасаться намерен всеми нужными сведениями на то, чтоб дать рукописи моей все историческое достоинство, которое, по мненью моему, состоит не в красном разглагольствии с читателем, но в строгой истине событий и простом их рассказе, а притом, не теряя главной моей

---

* Комментарии к персоналиям даны в Именном указателе.

цели быть полезным и детям моим, не скрою от них моих ошибок. Они увидят всего меня в наготе совершенной, без лукавства и без тайны, не утаю от них моих размышлений на каждый случай, стараясь обращать собственные опыты мои к их нравственному воспитанию и к отвращению их от зол житейских, колико дано уму человеческому остеречься от них.

Ты же, великий Боже! коего помощи обык я от чрева матери моей просить на всякое дело, усовершенствуй труд мой, положи ему начало и конец благой и дай силу убежденья на пользу чад моих. Да вселится в сердца новых сих людей страх твой святый и да уведят, яко нет мира, ни удовольства, ни счастия на пути живота человеческого без твоего всемощного заступления, без твоей, небесного Отца нашего, благодати. Тебе, яко содеятелю всех благ, отношу все бытие мое и да сподоблюсь, со смирением неключимого[2] раба о всяком мимошедшем дне жизни моей рассуждая всегда безропотно, возноситься к тебе духом и устнами* со пророком возглашать ныне и до последнего издыхания:

Благословен Господь Бог,
благоволивый тако,
слава тебе!

ВСТУПЛЕНИЕ

§ 1

Прежде всякого повествования о самом себе обратиться должно к началам моего рода. Не стану искать его в глубочайшей древности, в которой кроме сказок ничего не сыщешь, довольно сослаться на все бытописании нашего государства, чтоб утвердительно сказать, что род князей Долгоруких есть род доблественный и знаменитый. За сим укажем, кто из оного были ближайшие мои предки.

§ 2

Для надлежащего порядка начну со стороны отца моего. Прапрадед мой был князь Григорий Федорович, современник Великого Петра и сподвижник его в трудах государственных. Он служил полномочным ми-

* устнами — устами (црк.-слав.).

нистром в Польше[1] и приобрел отличную государя своего доверенность. Громкий деяниями стоического духа сенатор князь Яков Федорович Долгорукий, о котором доныне россияне говорят с восторгом[2], был ему родной брат.

§ 3

Князь Алексей Григорьевич и граф Борис Петрович Шереметев были мои родные прадеды. Нет нужды мне распространять здесь описание достопамятной их жизни. Каждый сын отечества слыхал о них в школах, в полках и в чертогах царских. Полтава и Рига обессмертили имя последнего, который, достигши беспрерывными подвигами фельдмаршальского чина, оглушил победами своими всю землю Русскую[3].

§ 4

Князь Алексея Григорьевича сын князь Иван и графа Шереметева дочь графиня Наталья Борисовна, сочетавшись браком, дали жизнь отцу моему и были из всего рода князей Долгоруких едва не несчастнейшие ли потомки, а как эпоха злоключений их не слишком от нас удалена, то здесь некоторые подробности будут не излишни, тем наипаче, что в разных историях царствования Петра II, при котором дед мой возведен на чреду великих чиновников, с неправдою описываются разные обстоятельства, особливо же французский писатель Levesque совсем обезобразил черты моего деда[4]. Имея о характере его самые верные предании от бабки моей, участвовавшей во всех тогдашних смятениях, я должен, оставя все вымыслы в стороне, передать здесь истинное понятие о сем достославном мученике придворных крамол и ревнителе отечественной свободы.

§ 5

Князь Иван Алексеевич, родной дед мой, воспитался в Польше под надзором отца своего, бывшего там, как выше сказано, послом российским[5]. Конча науки, возвратился в отечество и пожалован ко двору Екатерины I в гоф-юнкеры[6]. По смерти ее сделался любимцем Петра II и скоро возведен на вышнюю степень придворных почестей: награжден

разными знаками отличий и Андреевским орденом, произведен в майоры гвардии и в обер-камергеры[7], но всего того преимущественнее было неограниченное доверие к нему и любовь юного государя. Князь Иван руководствовал его умом и сердцем, издавал именем его указы, словом, был первый вельможа на приступках трона. Но всяческая суета[8], — скоро истину сию почувствовал и Долгорукий. Сестра его родная княжна Катерина очаровала сердце Петрово. Монарх в нее влюбился, готовился вступить в брак с ней и уже нарек ее своей невестой; Россия поверглась к ногам ее, бояра лобзали ее десницу, род Долгоруких, покоря себе фортуну, казался быть равен небу величеством и славой! Дед мой, будучи благоразумен и великого духа человек, один из всего семейства своего смотрел на сей союз с негодованием. Видя незадолго пред сим, что князь Меншиков, любимец Петра I и супруги его, восхотел оковать Петра II узами супружества в семействе своем и отдать за него дочь свою, дерзнул противиться такому отважному намерению надменного вельможи, поставил ему преграды и, купно с единомышленниками своими обратя на главу любимца все его горделивые замыслы, виновником был удаления его от двора и ссылки в Сибирь[9]. Мог ли допустить то же самое совершиться около себя? Сопротивление его обнаружилось. Сестра никогда его не простила. Петр II скончался оспой. Осиротел престол российский! Падение Долгоруких приближалось. Писатель французский Levesque, о котором я уже упомянул, в «Истории Российской» говоря о настоящем времени, утверждает, будто бы князь Иван по кончине государя, обнажив шпагу, возгласил «Да здравствует Екатерина!», разумея сестру свою и невесту цареву[10]. Наглая клевета! Князь Иван, лишась всего и видя все надежды свои погибшими, без памяти кидался на бездыханный труп юного своего владыки, благодетеля и не умел положить меры своей печали. Жарких друзей разорвала смерть навеки; он забывал царя, лишь плакал о Петре.

Государство меж тем требовало государя. Право преемничества падало на Анну Иоанновну, дщерь старшего брата Петра Великого. Держась сего природного закона, призвали ее на престол российский[11], но при первом предложении о том ограничена власть ее 12 условными пунктами, коих сила должна была служить оплотом противу самовластия и деспотизма. Ей не позволялось объявлять войны, учреждать[12] личною судьбою, собирать налоги, ожесточаться в судебных приговорах без согласия Верховного тайного совета[13]. В сочинении сей конституции деятельнейшее участие приняли князья Долгоруковы, предпочтившие сво-

боду разумную насильственному произволу венценосицы. Анна все приняла, подписала и, из Голстинии прибыв[14] с любимцем своим Бироном, воссела на престол своего дяди. Но где не ползают пред царями? Где не ищут угождать им из своекорыстия? И Россия имела своих уродов. Едва императрица Анна надела на себя венец, как несколько бояр, ревнующих сильному влиянию в Совете Долгоруких, приползли, подобно змеям, к подножию трона, зашипели и впустили в уши Анны, что народ и вельможи желают ей быть самодержавной и что Долгорукие лишь одни дерзнули положить границы ее воли. Обольстить царя — дело немудреное. Анна взяла подозрение на Долгоруких, увидела в них похитителей прав своих, размыслила о хартии, ей поднесенной, и природная наклонность ее к тирании все довершила. Дед мой со всем своим семейством сослан в ссылку, лишен чинов, сняты с него все знаки почести, отнято имение и отправлен в Сибирь. В этом-то состоянии изгнанник, женившись под Москвою в селе Горинках на дочери графа Шереметева Наталье Борисовне, с которой обручен был еще при Петре II, поехал вместе с ней, будучи 23 лет от роду, в Сибирь, в местечко Березов, где прожил 10 лет в тюремном остроге, ежечасно под штыками[15]; дал жизнь и возрастил двух сыновей: отца моего князь Михайлу и дядю князя Димитрия. Прошли злополучные годы заключения, и рок нанес деду моему последний свой и жесточайший удар.

Властолюбивая сестра его вспомнила и в темнице прекословие брата при скользком шаге ее на престол. Ужасно рассказывать подробно о поступке ее!.. Скажу только, оставя все прочее на догадку[16], что преданный ей слуга закричал «слово и дело» — сигнал мятежа[17]. Вечевой колокол темничный раздался во дворце. Анна загорелась. Наряжена тайная комиссия; дед мой оторван у жены, у младенцев, брошен в кибитку, привезен к суду, допрошен и без вины приговорен к смерти. Пить чашу сию, подносиму рукой сестры родной, есть мука, никакой не равная. Бирон злодейски мстил боярам, не порабощавшимся ему. Убийственный приговор возымел свою силу 1740 года, ноября 8 дня[18]: князь Иван Алексеевич возведен на эшафот и казнен публично. Палач отделил голову его; она покатилась прежде, нежели уста его успели произнести последние слова кающегося пророка. Умер вельможа с духом твердым, с мужеством веры. Какое чувство, кроме благодати, сильно воодушевить человека в столь злобные минуты мщения себе подобных? Тело его похоронено в том же городе на общем кладбище. Тако угодно было Богу, истощив над ним вся красная мира, сподобить его мученической кончины за правду на

33-м году от рождения. Какой разительный урок для восходящих на степень всемогущества! Но увы! что исправляет в мире человека? В одно время с ним прочие братья его сечены кнутом и оставлены влачить жизнь постыдную до глубокой старости. Княжна Катерина, вышед замуж за графа Брюса, умерла без потомства. С эшафотом деда моего сокрушился и пал безвозвратно род князей Долгоруких!

Некто из молодых россиян, описывая деянии великих мужей нашего отечества, упоминая о деде моем, сказал и напечатал, будто он был колесован. Стыдно русскому так мало знать происшествии столь близкого к нам времени! Еще стыднее взяться писать историю и так неосмотрительно лгать!

Если глас потомства, произнеся поздней суд свой над Долгорукими, может быть, и правильно винит князя Ивана Алексеевича в непомерном честолюбии — не мне принадлежит защита столь знаменитого мученика свободы — но пусть дозволят только сказать, что смерть толико неожиданная, суровая и мучительная искупила все грехопадении юности его, и кровь его, обагрившая Новогородскую землю, сию древнюю колыбель геройских подвигов, должна примирить прах его со всеми врагами нашего племени. Мир ему, — и вечная память!

Обратимся теперь к истории знаменитой страдалицы, дщери фельдмаршала Шереметева, супруги князя Ивана Алексеевича, а моей бабки родной княгини Натальи Борисовны.

§ 6

Княгиня Наталья Борисовна помолвлена была за деда моего 15 лет от роду, в царствование Петра II, следовательно, в лучшее время славы своего жениха. Переворот судьбы его нимало не поколебал великой души ее, сколь ни увещевала сама императрица Анна сию нежную отрасль знаменитейшего рода переменить свои обеты и выбрать супруга между вельможами, ей благоугодными. Наталья Борисовна, непреклонно утвердясь в любви к жениху, в повиновении жестокому року, решилась делить с ним всю строгость ссылки, отказалась от всех предлагаемых ей почестей и последовала мужу, сердцем ее избранному, до сибирских узилищ. Там, прижив с ним несколько детей, возрастила только двух, Михайлу и Димитрия[19]. Можно вообразить, что сии злосчастные супруги там переносили — описать трудно!

При воспоследовавших с семейством сим новых бедствиях, о коих сказано выше, князь Иван Алексеевич повезен в Новгород, а супруга его оставалась в ссылке и возвращена не прежде, как по вступлении на престол императрицы Елизаветы Петровны[20]. Переломился скиптр железный! И милосердие воцарилось! Тогда Россия увидела вновь, что есть и для нее ясные дни в природе. Княгиня Наталья Борисовна с младенцами своими, оставя Березов (который тогда состоял в одном только остроге, а потом сделался уездным городом Тобольской губернии), привезена в Петербург на коште брата ее родного графа Петра Борисовича и водворилась в его чертогах, где, терпя всякую нужду и скорбь, воспитала сыновей своих, орошая ежедневно сии нежные плоды беспримерной любви и верности супружеской потоком горьких слез. С свободой вместе возвращены ей и некоторые вотчины, но вообще о всем конфискованном имении последовал указ, чтоб, сочиня, ему ведомость представить; которая ведомость сочиняется и доныне, а между тем все роздано фаворитам. Какая пленительная вывеска российского правосудия!

Здесь нужно несколько слов кинуть и о характеристике упомянутого вельможи. Граф Петр Борисович, преемник сокровищ отца своего, но не славы, имел за собой 60 000 душ родительского имения, да за женою своею приданого взял 40 000; оставшись после родителя с двумя другими братьями и тремя неотдельными сестрами[21] наследником столь великому имению, он все захватил одному себе. Граф Михайла умер, оставя сиротам процесс с братом, никогда конца не получивший[22]. Граф Сергей, не имея потомства и храня теплую веру к Богу, всю часть родительского наследия уступил брату графу Петру. Сестры по законам настоящим должны были получить из вотчин 14-ю часть, но граф Петр Борисович пожаловал им только по 500 душ, а прочее удержал за собой, уверен будучи, что никакая тяжба не одолеет его золотого дождя. Пословица русская «с богатым не тяжись» оправдана от самой глубокой древности многими опытами.

Бабка моя княгиня Наталья Борисовна менее прочих могла выдержать спор с братом: будучи под гневом жестокой императрицы, преследуема всюду несчастием, выдана за ссылочного, заключена в Сибири, могла ли отважиться на укоризну, не только на тяжебное дело с братом? Какая апелляция из острога? По возвращении своем из заключения, хотя бы она и могла возобновить права свои с некоторой надеждой, но, лишась всех отрад жизни в милом супруге и посвятя себя Богу, она возгнушалась мыслию подать жалобу на единоутробного своего брата и предпочла богатству

гибельному сладкое упование небесных наград. Сравним же с толь великодушными ее подвигами известные мне очень достоверно по преданиям изустным отца моего два поступка графа Петра Борисовича, который живо изображает черты евангельского богатого Лазаря[23].

1) Когда бабка моя прощена и получила дозволение воротиться в Петербург, граф Петр Борисович, имея уже тогда полмиллиона дохода, прислал ей на дорогу от Березова до столицы, то есть на расстояние 3000 с лишком верст, только 1000 рублей, и, живучи по приезде своем в его доме, несчастная княгиня, доколе не поворотила некоторое свое имение, принуждена была видать, что отец мой очень часто нашивал башмаки без подошв.

2) Известно, что при государыне Елизавете Петровне значил у двора очень много некто Лешток. Бабушка хлопотала посредством его о возврате всего Долгоруких имения. Лештоку хотелось и услужить, да не совсем безмездно: полюбились ему столовые часы, принадлежавшие графу Петру Борисовичу, отделанные в старинном вкусе, с бирюзами; их ценили тогда в четыре тысячи. Положим, что они были редки, единственны, но и дело шло о 16-ти тысячах душах о[т]писных на корону. Поверят ли? Граф Шереметев пожалел их и не отдал, а Лешток отступился от ходатайства, и целый род осужден стал терпеть бесконечную нищету, для того, что вельможа надменный пристрастился к часам, о которых и сам забыл, когда на них прошла мода. Но, к несчастию, правосудие возвращать отнятое никогда еще не было в моде, и уповательно никакое поколение этого обычая не дождется.

Княгиня Долгорукая, возрастя и воспитав детей своих, решилась, когда пришло время выпускать их в свет, сама оставить оный. 1757 года сентября 28 дня[24], прибывши в Киев, постриглась во Фроловском монастыре[25]; и там предлагались ей почести ее нового звания. Несравненная героиня все презрела, пренебрегла, кинула. Мало казалось ей черной рясы обыкновенной! Смиряяся до крайнего степени уничижения, она облеклася в схиму[26] и в ней препроводила остальные дни жизни в строгом посте, смирении безмолвном, молитве неусыпной, терпя и средь обители различные еще искушении, по слову апостола: «Беды в горах и в пропастях земных»[27]. Всякое новое зло переносила с мужеством христианским, с самоотвержением великодушным и самые злые напасти привыкла почитать действием всеблагого промысла, вся на пользу нам устрояющего. Рука Господня одна отвращала от нее всякое малодушие. Наконец достигла и она всем определенного жребия и 1771 года июля 3 дня сконча-

лась. Смерть ее была тиха и подобна заре небесного утра. Жизнь ее продолжалась 56 лет и была образцом того, что может добродетель против гонений человеческих, была цепь неразрывных зол и бедствий мира. Сия единственная жена все превозмогла, все победила и не дала безумия Богу[28]. Тело, вмещавшее в своей скудели столь великую и отличную душу, погребено было по собственному ее произволу в самых вратах Киево-Печерского монастыря, без памятника, без малейшей пышности, одна чугунная доска с простою надписью и вмазанная в ряд с полом сокрыла бренные ее остатки. В течение Истории часто доведется еще мне повторять речь о подвигах ее, приснопамятных всегда моему сердцу. Отец мой сохранил и я сохраню записки, ее рукою писанные, кои по времени были напечатаны и известны с похвалою всему просвещенному свету[29]. Кто не плакал, читая в них простое, но чувствительное описание их изгнания? Нет! Никакое перо так не напишет. Душа лилась на бумагу и пламень свой сообщала всякому чувствительному сердцу. Мир тебе! И вечная память!

§ 7

После таких плачевных картин приступлю к жизни отца моего и до дня рождения моего кратко упомяну о нем, заметя важнейшие токмо черты его истории, а проходя мою, не оставлю без внимания все, что и до него относиться станет, доколе, ко счастию моему, он здравствовать будет. Он столько дорог сердцу моему, что с радостьми и печальми его всегда тесно связаны и мои.

Князь Михайла Иванович родился в 1731 году апреля 2 дня в Березове, в анбаре. Не было при рождении его ни искусных бабок, ни врачей, ни богатой колыбели. За недостатком даже кормилиц ребенок сей воздоен[30] коровьим молоком. Вывезен из Сибири 9-ти или 10-ти лет, чего уже и сам не помнит. Надо думать, что 10-ти, ибо в 40-м году казнен дед мой, а семейство его и после того находилось еще с год в Сибири[31]. Служить начал отец мой в гвардии солдатом. Тогда ожесточение противу имени Долгоруких столь было велико, что запрещено было учить их грамоте и записывать в службу велено рядовыми[32]. Невероятно! Но справедливо.

Духом кроткой Елизаветы смягчились общие нравы. Отец мой 24 лет пожалован в прапорщики в Семеновский полк; в нем дослужась адъютантского чина, отставлен при вступлении Петра III на престол гвардии капитаном, не столько по своему желанию, как дабы успокоить мать,

страждущую в унылой пустыни, и удовлетворить желанию супруги, чрезмерно к нему привязанной. Во время службы его, еще при императрице Елизавете, был наряд в поход против Пруссии[33], который, хотя и не состоялся, но поелику отец мой с прочими должен был выступить, то и не принял предлагаемого ему камер-юнкерского чина, устыдясь оставить военное звание в походное время, а к собственным сим его благородным мыслям не забыто было завещание покойного его родителя, заклявшего детей своих в Сибири, в сущем еще их младенчестве, чтоб никто из них отнюдь не ходил ко двору. Клятва, опытом его оправданная.

Отец мой с бедствиями спознался в самых цветущих летах. В 1754 году помолвил он на княжне Анне Михайловне Голицыной и в сентябре того же года на ней женился. Свадьба отправлена в подмосковном селе Волынском. В 55-м году сия бедная княгиня, произведя на свет июня 19 дня дочь княжну Наталью, два дни спустя родами скончалась. Ей было от роду 20-й год. Замужем жила 40 недель и три дни. Родитель мой, любивший ее страстно, неутешно по ней плакал и, кроме младенца своего, ни в чем не находил отрады! Судьба и того похитила: княжна Наталья в 1756 году сентября 28 дня скончалась, просуществовавши только 1 год и 2 месяца, и смерть ее растворила снова свежую еще рану родительского сердца[34].

Но возраст отца моего требовал нового и законного союза. Итак, в 1757 году мая 24-го дня помолвил, июня 28 сговорил, сентября 28 числа женился он в другой раз на матери моей, урожденной баронессе Анне Николаевне Строгановой. При сем случае нельзя не заметить чудной игры судеб. Когда отец мой клялся пред престолом Божиим в супружеской верности, тогда мать его приносила в жертву Создателю пред тем же престолом в другом месте сердце, бедами замученное. Оба они в один и тот же день восприяли: сын в Москве ризу торжественную супружества, а мать в Киеве черную хламиду монашества[35]. Один шел на позорище мира, другая кидала взор на предстоящую могилу. Так распределяет жребий смертных Отец наш небесный.

1758 года августа 9-го дня родители мои вкусили первый плод супружества своего. Родилась сестра моя княжна Прасковья Михайловна; восприемниками ее от купели были граф Петр Борисович Шереметев и графиня Марья Николаевна Скавронская, старшая сестра матери моей. Остановимся здесь, ибо первое потом происшествие в доме нашем было мое рожденье. Порядок дееписания требует, чтоб я наперед изложил корень происхождения моего по матери.

§ 8

По «Истории Петра I» видно, что Строганов, сибирский уроженец и прадед мой, был во время царя Алексея Михайловича назван *гостем*[36]; потом, войдя в силу чрезмерным богатством, удостоился получить знатные привилегии и во многих случаях был самим Петром Великим отличаем[37]. Потомки сего родоначальника заслуживали время от время разные знаки почестей от предшествовавших нам государей. Сие доказывается тем, что некоторые Строгановы между современниками нашими жалованы баронским и графским достоинствами[38]. Дед мой, матери моей отец, барон Николай Григорьевич Строганов имел и Александровскую ленту[39]. Старшая дочь его баронесса Марья выдана была за графа Скавронского, а сим союзом вошла в родство с престолом[40]. Всего этого довольно, чтоб назвать Строгановых племя благородным. Многие, однако, ссылаясь на «Историю Петра I», называют род сей происшедшим из мещанского состояния. В опровержение сего мнения я привесть могу «Сибирскую историю», в которой означено, что Строгановы ведут поколение свое от татарского князя Луки Строганова, жившего еще в 517 годе[41], следовательно, я нахожу себя вправе без ошибки утверждать, что именем Строганова назван был в самой отдаленнейшей древности род знаменитый в Сибирском царстве.

Впрочем, не для того сие пишу, чтоб дети мои привыкали величаться пустотою светских титлов. О нет! Да не будет! Хочу только, чтоб они подражали твердым добродетелям своих предков, ревностному их духу и любви к отечеству. Вот в чем, молю Бога, да преуспеет любезное мое потомство. Кто возвышается одними чинами и почестьми, нередко вместо заслуг подданного одно пристрастное благоволение монаршее к ним изъявляющ[ими], тот низок сердцем и подл душою. Блажен всяк, отличающий себя добрыми делами. Блажен человек, благоугодное Богови творящий.

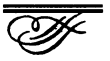
§ 9

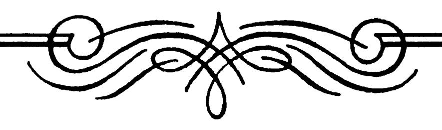
Доставя таким образом сколько мог яснее общее понятие о хронологии родителей моих и утвердя оное не на догадках, но на письменных актах и летописях, дополню сие вступление кратким словом о частной истории матери моей. Родительница ее, а моя бабка, Прасковья Ивановна была по себе девица Бутурлина. О роде сем известно, что он и древно-

стью, и заслугами был знаменит. При Петре I упоминается о значительном лице сего имени между вельможами и царедворцами[42]. Барон Николай Григорьевич был человек добросердечный, не сварливый, кроткий, отец семейства мудрый и осторожный. Баронесса Прасковья Ивановна — женщина умная и ни в каких обстоятельствах не изменяла правилам чести и благородства. Оба сии супруги, дожив до глубокой старости, унесли с собой во гроб общие похвалы и сожаления. Вообще же все Строгановы любили оказывать значущие услуги престолу российскому и не тщетно вознаграждаемы были особенными их щедротами.

Сим вступлением положен первый камень во основание предпринятому мною зданию моей летописи. За сим начну ее и расположу по годам, внося в каждый все, что до родителей моих и меня примечательно касается, в чем руководствовать будут перо мое советы, опыты и предании моих родителей, коим я искренно верю и каждое слово, исходящее из уст их, приемлю за строгую истину, ибо они суть правдолюбивы, не хитросплетательны, сердцем и устами привержены к Богу. Сей Бог отцев моих, Бог Израилев[43], да вспомоществует труду, мною начатому, и совершит его по мере сил моих в назидание всякому, кто книгу мою читать станет, а паче моему исчадию[44]. Я же, описав здесь некоторые бедствии несчастных моих предков и удаляя от себя всякое насчет их умствование, паки повторю во смирении сердца пророческую песнь:

Благословен господь Бог,
благоволивый тако,
слава тебе!





ЛЕТОПИСЬ

[ЧАСТЬ I]

1764

Год сей ознаменовался в доме нашем печалью. В генваре скончался матери моей отец барон Николай Григорьевич. О нем без лести можно сказать, что он был истинный сиротам отец и бедным покров. В апреле Бог определил мне родиться, и природа произвела меня на свет 7-го числа, в Великую среду, в самые обедни[1]. Случилось сие радостное в доме нашем происшествие в первопрестольном граде Москве, во дни царствования Великия Екатерины. Дом, в коем я первый луч солнца увидел, испустил первый стон существа телесного, был у Страстного монастыря на Тверской. Роскошь окружила колыбель мою; слезы радости потекли из глаз родителей моих в недро любимого младенца. Какая мать не зрит с восторгом сына своего в люльке? Благодать Божия призвала меня к христианскому крещению. Восприемниками от купели были дядя мой родной барон Александр Николаевич Строганов и сестра моя княжна Прасковья Михайловна, пятилетний ребенок. Имя дано мне Иоанна в честь и память переселившемуся от нас в вечность деду моему. В том же году родители мои собрались в Киев. Строгим правилом поставили они себе каждые три года навещать там схимонахиню Нектарию[2]. Едва минуло мне 3 месяца, как повезли они и меня туда с собою. Горячность к детям не допустила их расстаться с нами. При конце года возвратились мы в Москву благополучно, и стократные благословении бабки моей обогатили мое младенчество.

1765

Марта 26 сестра моя занемогла оспой, от нее пристала и ко мне с такой силою, что я оглох, ослеп и онемел. Тогда не умели прививать сей заразы и смягчать ее жестокость. Из всего лица моего сделалась кора, и в этом положении оставалось ждать смерти[1]. Бог сохранил живот мой, да повем здесь дела Господни. Его великим промыслом натура открыла вспомогательные свои средства и болезнь уступила силам ее. Тут совершилось явное чудотворение надо мной образа Смоленския Божия Матери, что в Донском монастыре над Царскими вратами, и чуда сего признать торжественно не устыжуся. Когда родители мои, болезнью моею огорченные, с теплою верою прибегнув к Богу, подняли икону к себе в дом и меня к оной приложили, то я вдруг получил употребление всех моих умерших чувств, стал и видеть, и слышать, струп свалился с лица моего, оспа миновалась. Сие я всей мыслью утверждаю, ибо верю родителям моим, меня о том известившим; верю паче Создателю моему, вся чрезъестественная могущему, и так оба мы с сестрой выздоровели в одно время. В ноябре Бог благословил дом наш новым залогом щедрот своих. 23 числа родилась вторая сестра моя княжна Анна; крестные отец и мать те же были у нее, что и у меня.

1766

Ничего достопамятного год сей не представляет, кроме рождения меньшой и последней сестры моей княжны Елизаветы, от которой мать моя разрешилась декабря 12-го числа. Крестили ее я и сестра моя большая.

1767

Возраст сестрин требовал уже воспитания. Следуя общему навыку россиян, и батюшка принял к себе в дом француженку по имени madame Constantin. Были и до нее у нас иностранки, но мало держались; эта последняя жила с нами долго, и после нее уже не принимали другой. Она была женщина немолодая, очень хороших свойств, усердно привязана к нашему дому, а паче ко мне, и вместе с сестрой приучила меня лепетать

по-своему с самого ребячества. Более ничего заметить я не нашел в течение сего года, а о вступлении госпожи Constantin упоминаю потому, что вижу в ней первого человека стороннего, которого попечениям и ласке обязан я первоначальным моим образованием. Чувство благодарности требовало от меня, чтоб я на сем остановил внимание детей моих, дабы и они, глядя на меня, помнили своих наставников. Благодарность есть изящнейшая добродетель. Человек, без нее возмужавший, уподобляется хищному зверю, который равно пожирает того, кто гладит, с тем, кто его кует[1].

1768

Родители мои, видевшие на мне и сестре моей опыт жестокости природной оспы, рассудили в нынешнем годе привить ее меньшим моим сестрам, к чему представился весьма благоприятный случай. Императрица Екатерина, великая жена во всем, желая показать необыкновенный пример мужества и твердости в духе, решилась привить оспу наследнику престола и единородному своему сыну, юному Павлу, а как на ней самой ее не было, то, преодолев всякий страх, расположилась вместе с ним подвергнуть себя той же операции. Какой диковинный пример на троне всем отцам и матерям! Все стали ему подражать наперерыв, и младенцы в России почувствовали скоро над собой спасительное действие сего изобретения. Выписан был для царского дома славный врач по имени Димсдаль. Он привил оспу императрице и великому князю; оспа принялась, продолжалась и сошла с вожделенным успехом; все миновалось благополучно. В память толь счастливого события учрежден тогда же праздник и повелено было 21 ноября, в день выздоровления царского дома, отправлять ежегодно благодарные Господу Богу молитвы. Тот же самый доктор, прибыв в Москву, прививал оспу сестрам моим. Какое внимание наших родителей! Ничего не жалели на пользу нашу. 25 декабря сестрам сделана операция, и оспа во всех своих изменениях была наиблагополучнейшая, даже не оставила необходимого своего признака, когда природа в этом случае врача предупреждает, ибо нисколько не обезобразила лиц у сестер моих, хотя на меньшой довольно была сильна. Год сей ознаменован одним этим происшествием в нашем доме.

1769

Кончина дяди моего, князь Дмитрия Ивановича, нанесла дому нашему чувствительную печаль. Не стало его 26 числа мая. Он жил в Киеве, состоял послушником в Никольском монастыре, прожил, или, лучше сказать, продышал, только 31 год. Тело его погребено в преддверьи Киево-Печерской Лавры. Войдем в краткую биографию сей плачевной отрасли несчастных супругов.

Князь Дмитрий Иванович родился в заточении и вывезен оттуда $1^1/_2$ году. На пути слег оспой и оставлен в Володимире, оттуда, излечась, привезен в Москву уже двух лет. Тут воспитывался он вместе с отцом моим. Войдя в возраст, почувствовал страсти и, к несчастию, влюбился в бедную и незнатную барышню. Родственники вооружились против сего союза с ней. Тогда еще почиталось постыдным вступать в супружество неравное. Князь Дмитрий боролся долго с чувством сильной любви, но сердце превозмогло рассудок, и он лишился ума. Ему уже было 20 лет, и в таком жалком положении не оставалось иного средства помочь ему, как удалить от света. Под присмотром матери своей начал он страдать в Киеве и жил в Никольском монастыре в монашеском искусе. Жизнь пустынная успокоила, но не исправила расстроенного воображения. Бабушка, ни о чем уже не помышлявшая, как о душе и ее спасении, возжелала постричь его и открыть ему тем надежнейший путь к небу. Так думала она, и хотя заблуждалась, но стоическая ее вера извиняет сию погрешность. Она прибегла с прошением к престолу о дозволении сыну ее принять монашеское звание. Екатерина, столь же премудра, сколь и сострадательна, не согласилась на то, и рескрипт[1], писанный ею к Нектарии, которого за сим поместится точная копия, свидетельствует, сколь ведомо было ей сердце человеческое и сколь уважала она подвиги душевные постригшейся княгини Долгорукой. Итак, князь Дмитрий остался послушником, ходил по уставу в церковь, говел, постился и, проведя остаток дней своих в волосяной ризе, преселился в общую родину — в землю. О нем можно сказать, не нарушая истины: наг исшел из чрева матери своей, наг и отошел от мира[2]. Наружность его телесная была прекрасна, рост сановитый, ум имел пылкий, сердцем одарен был нежным, с отцом моим жил в неразрывном союзе и даже в повреждении ума, когда узнавал его, бросался со слезами в его объятии и не скрывал от него ни одной мысли своей.

Кто из чувствительных людей не разделит здесь прискорбия бабки моей и не удивится мужеству, с каким переносила она житейские напас-

ти, кои даже и под схимою не щадили ее сердца и вкрадывались в сокрушенную ее душу? Мало было потерять драгоценнейшего друга, оплакать его поносную кончину, оставить свет, бежать в пустыню, предпочесть черную рясу княжескому титлу — надлежало еще оплакивать безумие любимого сына, видеть его исступлении, облегчать бремя несносной его жизни терпением, кротостию, да еще наконец и схоронить его в сущей молодости, в самом красном цвете лет.

О праведная жена! Если, предстоя у престола царя славы, ты на деяния чад своих долу взирать можешь, то не возгнушайся принять здесь от меня, недостойного своего потомка, жертву того беспредельного уважения, какое душа моя, ум и все чувства к тебе сохранили, и зри, с каким благоговением я внутренно чествую память твою, вспоминая о каждой минуте бесподобной жизни твоей.

Скоро по получении сей печальной вести родители мои собрались в Киев навестить страдалицу Нектарию и всех нас взяли туда с собою. Так-то в старину дети чтили отцов своих! Ни отдаленность, ни убытки, ничто их не удержало от намерения лететь в Киев, дабы хоть мало уврачевать рану дражайшей матери, видеть ее, обнять и благословением ее усладить собственную свою горесть. Мне было только еще 5 лет, и хотя прожили мы там полгода, но я ничего в тех местах на память себе ныне привесть не могу, кроме кельи моей бабушки и неоцененных ее милостей ко мне. Она безмерно жаловать меня изволила и, признаться велит наслышка, что даже и баловала.

Копия с рескрипта

«Честная мать монахиня!

Письмо ваше мною получено, на которое, по прошению вашему, иной резолюции дать не можно, как только ту, что я позволяю сыну вашему князь Дмитрию жить по желанию его в монастыре, а постричься, в рассуждение молодых его лет, дозволить нельзя, дабы время как его в раскаянье, так и нас об нем в сожаление не привело.

Доброжелательная
Екатерина.

в Санкт-Петербурге.
Октября 27-го дня 1763 года».

1770

В феврале мы возвратились в Москву, а в июне новое постигло нас огорчение. 16-го числа мать моя родила мертвого младенца мужеского пола, коему назначалось имя Дмитрия. Он похоронен у Троицы в Полях в Москве. Тогда еще не воспрещалось хорониться у приходских церквей[1]. Сии худые роды матери моей можно почитать несчастием, потому что отсюда начались все ее болезненные припадки, коими она во всю жизнь свою страдала, и с тех пор уже перестала матушка носить детей.

1771

Сей год особенного замечания требует не только в моей летописи, по частным приключениям, в доме нашем последовавшим, но знаменитую составит эпоху и в дееписаниях Российского государства, а потому изложу сперва в краткой подробности бедствии столицы, за ними распространюсь насчет собственных наших огорчений.

В Москве стала показываться чума, турецкий подарок и следствие бывшей тогда с ней у нас войны[1]. Сперва носился о том глухой гул в народе, но молве не давали простору. Искра таилась еще в верхних слоях обществ гражданских. Приверженный к дому нашему лекарь, и мужик вообще добрый, по имени Граве, самым скромным образом известил отца моего, что на Суконном дворе уже оказались знаки моровой язвы, и советовал до вскрытия рек выехать из города. Батюшка решился дать ему веру, и марта 24 переехали мы всем домом в подмосковную нашу, село Волынское. Оно стояло в 7 верстах от Москвы. Дом большой, старинный, поместительный, во всяком окошке видна столица, вся как на ландшафте. Тут отец мой, подобно древнему патриарху Ною собравши вокруг себя детей своих, домочадцев и присных, поселился на житье. Волынское сделалось нашим спасительным ковчегом.

Скоро вспых огонь в Москве и язва начала косить ее жителей. Зараза, получив большую силу, опустошала все домы. На улицах поднимали сотни трупов, ею пораженных, в августе уже не было от нее никакого убежища, ежедневно кладбищи в глазах наших принимали в себя кучи мертвых тел. В доме нашем всякие приняты были предосторожности: нельзя было прекратить вовсе сообщения с городом, оттуда доставлялись съестные припасы и необходимые потребности. На половине пути от нас

учрежден был крестьянский пикет. Все привозимое из Москвы тут складывали и, окурив уксусом с прочими пригодными к тому лекарственными веществами и выветрив порядочно, привозили наконец к нам. Сами мы ни на шаг от деревни не отлучались и так прожили все опаснейшее время.

Одно бедствие всегда сопровождается другим. Есть и пословица народная: «Придет беда — отворяй ворота». Так и ныне. Чума породила другое пагубное зло. Народ, видя ежеминутно смерть пред собою, не имел другого прибежища, как богомолие пред иконами. Из сих всех более прославилась Боголюбская, что на Варварских воротах. Туда кидался народ толпами. Чем более собиралось к одному пункту черни, тем естественнее сообщалась между ими зараза и умножались ее успехи. Правительство сочло необходимым пресечь такой приток народу к одному месту — образ тихо ночью вывезен. Чернь, узнав о сем, взволновалась. Открылся общенародный бунт, и 14 сентября московский архиерей, служивший в Донском монастыре литургию, убит разъяренною сволочью[2]. Шайка бродяг вломилась во храм. Святитель скрылся за иконостас, ребенок это видел и объявил мятежникам. О! Как неиспытанны судьбы твои, Боже! Пастырь вытащен оттуда, бит, мучен и на площадке в оградах обители умерщвлен. Потом разграблен дом его и весь Кремль наполнился ножей, ярости и крови. Тело страдальца погребено в том же Донском монастыре.

Хотя сторонние дела не принадлежат к собственной моей Истории, но, по важности случая, взглянем мимоходом на властей наших того времени. При первых вспышках мятежа главнокомандующий в Москве граф Петр Семенович Салтыков, губернатор, обер-полицеймейстер — все бежали и оставили Москву, как жирную добычу хищным волкам[3]. Один генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин, незабвенный муж в Российском царстве, вступился за родину, набрал пушек, принял начальство, расставил в городских воротах орудии и палил по черни[4]. Толпы пьяниц и бродяг, потерявших рассудок, падали под ядрами, и смерть другого рода, начав истреблять народ московский, наконец остатки его утишила. Таким образом остановлен быстрый ход мятежа! В Москве начался бунт — в ней и заглушен. Нигде более его не слышно было. Хвала тебе, доблественный сын отечества! Герой нашей матушки-столицы, сподвижник отважный истинной добродетели, ты можешь выговорить без страха прекословия, стоя под стенами спасенного тобой Кремля, как некогда произнес Гостомысл на земле свободной:

Один остался я при истине святой
И часть отечества вернейших чад со мной[5].

Милость Божия между тем явилась снова над Москвою. Очистилась столица от проказы. Чума начала терять свою силу. Волнение народное было последним ужасом сего страшного гнева Господня. С зимою вместе исчезли гнилости в воздухе, тела стали приходить в их обыкновенное положение, и к концу года зараза миновалась.

Во все время этой напасти мы прожили в Волынском. Телескоп, не снимаясь с окошек, наведен был поминутно то на Москву, то на кладбище. Все видели, все слышали и от всякого слуха содрогались, но Господь помиловал дом наш, и зло физическое к нам не прикоснулось. Все поселяне наши, смирны как овцы, ниже пошевелились и не приняли никакого участия в возмущении. Похвально для них, славно и для помещика. Это означало кротость родителей моих в управлении домовнем. Никто под крышкой нашей и во дворне не заразился, все в деревне крестьяне были живы, здоровы.

Благополучно, преблагополучно протекла для нас в сем отношении ужасная для многих и прискорбная година. В память сего благоволения Божия и в возблагодарение Творцу от недостойной твари учредил отец мой ежегодный крестный ход в деревне, который совершается доныне, и на источнике близ села в деревне Давыдкове отправляется водоосвящение 26 числа августа в день Владимирския Божия Матери. На месте том поставлена тогда же и часовня.

Но увы! Избавившись от язвы телесной, не освободились мы от язвы сердечной.

Мать моя лишилась брата своего родного барона Сергея Николаевича. Потеря сия тем для нее была чувствительнее, что он скончался очень молод еще, оставя после себя жену с малолетным сыном. Хотя со стороны достатка ребенок оставался не только в довольстве, но даже и богат, но что заменит отца или мать? Дети без них при всяком избытке всегда сироты.

Приспел рок и бабушки моей старицы Нектарии. Она не пережила сего лютого для России года и июля 13 числа скончалась. Скоро дошло до нас сие известие. Оно всех поразило. Отец мой, привыкнувший рабολепно чтить ее, любить и повиноваться, так тронут был сим несчастием, что у него отнялась рука. Все по ней плакали, и как иначе? Кого она из нас не жаловала, не тешила? Меня ласки ее от всех прочих отличали.

Часто, держа меня на коленях, она сквозь слез восклицала: «Ванюша, друг мой! чье ты имя носишь?» — несчастный супруг ее беспрестанно жил в ее помышлении. Но я при известии о кончине ее не в том еще был возрасте, в котором чего-нибудь другого жаль, кроме игрушек! Зато ныне, вспоминая подвиги ее, я каждую строку сей тетради орошаю слезами. Конец ее подобен был смиренной ее и набожной жизни. Без всяких волнений приготовясь к вечному животу по вере и исповедыванию своему, преселилась она в область сил небесных без трепета и уныния. У нее часто шла кровь горлом, и ею прекратила дни сия необыкновенная женщина.

Она уведала приближение своей смерти и заочно всех нас благословила разными иконами. Мне прислан после нее крест с мощами, а дому нашему вообще пожалован ею большой образ нерукотворенный Спасителя с следующей достопамятной для нас на деке его надписью: «1771 года мая 28 дня образ сей нерукотворенный Спаса нашего Иисуса Христа, чудотворный, истинный, неложный сыну моему князь Михайле Ивановичу Долгорукову даю с тем благословением, что 1770 года в Киеве и во Фроловском монастыре в бывшую моровую язву благодатию того же Спаса нашего Иисуса Христа от сего образа, в моей келье в то время бывшего, как я сама и мои келейные от оной моровой язвы спасены, так и с ним, князем Михайлом Ивановичем, того же Спаса Христа Сына Божия, на сем образе нерукотворенного изображенного, благодать да будет, и его жену и чад от всякия скорби и болезни, и весь дом его всегда да спасает, а иметь святый сей образ, яко чудотворный, истинный, дознанный[6] и неложный, в доме его, князя Михайла Ивановича Долгорукого, в роды родов на благословение».

По кончине ее доставлены к отцу моему разные ее бумаги, между коими занимательны для каждого записки ее руки, как она помолвлена была, обвенчана и отправлена в Сибирь. Сокращенный сей журнал спустя много лет был напечатан[7]. Все читали его в Москве со слезами, и жалеть по справедливости можно, что она изволила его кончить на самом том месте, где начинается пребывание их в ссылке. Думаю, что чувства ее не сильны были выдержать сего описания, и она не рассудила волновать своего сердца таким горестным повествованием. Из переписки ее с отцом моим впишу я здесь последнее ее письмо, которое покажет, в каком твердом духе и с каким благоволением искренним к нам она оставляла свет и готовилась разорвать узы крови с своим потомством.

«Князь Михайла Иванович, княгиня Анна Николаевна!

Не хотела пропустить почты, не дать вам знать об себе, что я еще жива. Благодарю Бога, хотя в слабости нахожусь, однако все с радостью приемлю и вас Богом прошу не тужить обо мне. Бог властен из мертвых воскресить, ведь когда-нибудь умирать! Надо во всем повиноваться власти Божией, только б Бог грехи мои отпустил.

Великую нужду терплю в питье; все сыропы сладкие, и те опротивели, когда бы можно достать хотя лимонов 5 прислать: то же моя беда, что кашлю нечем помочь, теплого нельзя пить.

Препоручаю вас Богу, оставляю мир и благословение.

С<химонахиня> Н<ектария>».

Тут нет витийства, но кто прочтет первые строки и не умилится? кто не заплачет? Такова участь смертных: доколе мы дышим и бедствуем, нас уничижают, умрем — и те же бедствии наши влекут общие слезы.

Вместе с рескриптом императрицы Екатерины II насчет меньшого сына ее князя Димитрия, о котором я уже упомянул, доставлен к нам и другой, с которого не неприличным считаю приложить здесь также точную копию. Из оной видно, сколько уважала сию женщину сама государыня:

«Честная мать!

Письмо ваше от 12 июня я получила, за которое и за присланную притом икону пресвятыя Богоматери, тако же усердные желании ваши, много вам благодарна. О сыновьях ваших будьте уверены, что по справедливости милостию и покровительством моим оставлены не будут. В прочем поручаю себя молитвам вашим и пребуду вам всегда благосклонная

Екатерина.

В Петергофе 26 июня 1763 года».

Я бы желал и, несмотря на слабость моих к тому способностей, принялся написать историю сей героини нашего времени, ибо великие люди принадлежат всем векам, но недостаток рукописей принуждает меня оставить сие намерение. Нечем руководствоваться, кроме слухов; они рассыпаны повсюду, но, может быть, не все достоверны. Впрочем, весьма довольно и того, что в разные позднейшие времена было о ней писано и печатано, довольно самих исторических событий, дабы определить о

княгине Наталье Борисовне Долгорукой заключение неложное, что она одарена была характером превосходным и приготовлена от юности к душевному героизму. Вот как воспитывали женщин в старинной России!

Если я уже и здесь повторил, может быть, сказанное выше о ней же, то прости, читатель, моему восторгу и чувству сильнейшего к ней благоговения.

1772

Мне минуло 8 лет, и пора приходила уже вверить мое воспитание мужескому полу. Мадам Constantin, добрая старушка, присмотрев за мной в первых годах моего ребячества, становилась для наук моих бесполезною. Много одолжен я был ее искренним попечениям, она меня совершенно любила, жаль было с ней расставаться; вдвое грустнее перестать ночевать в одной комнате с мамушкой Марьей Карповной[1], которая часто прикармливала меня пряниками с золотом и, по сродной женщинам слабости, иногда давала волю блажить. Но с ней я мог еще видаться в свободное время от уроков, она оставалась жить в нашем доме, а мадам, не находясь нужной около нас, пожелала сойтить и навсегда нас покинула. С признательностию общей родители мои ее отпустили. Как не возблагодарить стократно того доброго человека, в какой бы стране он ни родился, который оберегает нашу юность от всякого зла рачительным присмотром и к поучениям благонравия присоединяет примеры добродетельной жизни? Имя мадамы Constantin будет всегда в устах моих выражаться с благодарением, любовию и похвалою. В седых волосах вспомню, что сиживал у нее на коленях, пивал из рук ее чай, и — поплачу, что ребячество мое, сие счастливейшее время жизни, пролетело как миг. Всякий возраст имеет свои печали; эта первая, которую я испытал, умея уже чувствовать различие между словами *весело* и *грустно*. Я платил дань природе как младенец, а родители мои делали свое дело и руководствовались в образе моего воспитания благоразумными опытами.

Отец мой, образовавшись, можно сказать, сам, без пособий сторонних, чувствовал более многих, сколь полезно иметь в юношестве образователя надежного и сколь трудно из собственных опытов своих извлекать правила для жизни. Ему угодно было предназначить меня к иностранным делам. Цель сия требовала наук обширных и уважительных познаний. Необходимы были чужеземные языки. Все это требовало мужчины просвещенного. Ни слова не скажу о тех двух иностранцах,

кои на первых порах вступили в дом наш и года два у нас пожили. Они не могли заслужить доверенности моих родителей, но разные обстоятельства препятствовали основательным образом предпринять мое воспитание; итак, я только привыкал около г. Руле лепетать по-латыни и по-французски и запасался первыми материалами к методическому учению.

План, предначертанный моим отцом, обнимал следующие предметы: латинский, немецкий и французский языки, историю, географию, поэзию и математику. По мере возраста предполагалось обучать и другим разным то полезным, то приятным художествам. Все это постепенно возьмет свое место в Истории там, где следует. Теперь я заметил только тот год, в котором стал помаленьку отвыкать от женских поблажек и сноравливать присмотру надзирателя своего пола.

1773

Говоря о науках, пропустил Закон Божий. Ужли до него дело не дошло или забыл молвить? Не вините вдруг. Подождите. Все придет в свое время. Какая польза набивать голову дитяти истинами, коих и самая премудрость в голове, покрытой сединами, постигнуть не может? Как учить ребенка несмысленного религии? Созреет понятие, развернется разум, и вера даст себя почувствовать. К ней не привлекут нас ни ораторы, ни витии, благодать Божия одна всадит страх Господень в душе благочестивой. Учители света — худые зодчие сего здания!

Нет! конечно, мне еще не толковали ни Священной истории, ни Катехизиса. Родители мои поучали меня только собственным своим примером ходить в церковь по праздникам и молиться Богу, не изъясняя, ни что такое Бог, ни что такое молитва, а требовали только покорного исполнения их воли. До сих пор, по обряду христианскому, меня всякие 6 недель причащали как младенца, но, войдя в отроческий возраст, спознакомился я с духовником. Растолковали мне сущность и необходимость исповеди. Не многоглаголивый и не высокомудрствующий, но кроткий, пожилой и добрый иерей Алексей Стахеич принял меня на дух и руководствовал совесть мою к принятию небесных щедрот. Он готовил меня исподволь к тем истинам, кои по времени должны были озарить мою душу. С ним ежегодно в краткую христианскую беседу у престола Божия без свидетелей я учился с ребячества распознавать, что грех и что добро пред Богом.

В этом годе не случилось ничего замечательного с нами, и потому займусь, как бы на досуге, сокращенным изъяснением моих свойств физических и нравственных в отрочестве. По наружности я был чист, румян, но дурен лицом и обезображен от природы челюстью нижней, непомерно широкой и толстой губой, по которой, когда я ее распускал, называли меня часто разиней[1]. Сложения был я мокротного[2] и очень подвержен золотушным болезням. От них я много терпел скорбей различных. Темперамент мой с малолетства казался быть по сей причине флегматическим, напротив, я был холерик. Умственные мои способности раскрывались поздно. Я был туп, понимал уроки с трудом. Лучшее мое сокровище была память. Твердить наизусть был мастер. С языка лилось, как у попугая, но — все забывал назавтра. Душевно был добр, открыт, сердоболен, но горяч и страстен, влюблялся поминутно и во всех, а более всего упрям. От этого меня жестоко унимали. Довольно для примера сказать, что батюшка в один день меня высек сам 7 раз за то, что я не хотел его послушаться. Изрядная баня! Слушайте, дети мои, и не сетуйте на меня за то, что с вами случалось, когда вы росли, а я уже стал стариться. Стерпится, слюбится. Философская истина! Таков был ваш отец, когда чужие умы его мяли, а родительское око назидало.

Вместе со мной, разумеется, обучались всему, кроме латыни, и сестры мои, приходя в возраст. Мы воспитывались одинаково, тем же иждивением, с таким же попечением. Чадолюбие наших родителей простиралось на всех четырех в одной и той же мере. Знайте сие раз навсегда без повторения, ибо, писавши мою собственную биографию, я пространно говорить буду о себе только одном и о том, что до меня собственно коснется и составит необходимый эпизод в моей жизни.

1774

Соскучившись отставкой и праздной жизнью, отец мой рассудил искать упражнения в службе, и Бецкой Иван Иванович открыл ему дорогу. Ходатайством его батюшка определен 20 генваря опекуном в Московский воспитательный дом с тем же чином, то есть гвардии капитаном, где и вступил в новое поприще, состоя под непосредственным начальством ходатая своего, г. Бецкого. Иван Иванович был один из первейших чиновников тогда в государстве нашем. Сын свободный некоторого князя Трубецкого, который, как утверждают многие, прижил его в царство

Петра I с девицею Пипер, сведя с нею связь в Швеции, бывши там в полону[1]. Но что за дело до рождения Бецкого? Он был человек кроткий, просвещенный и добросмысленный — вот главное! Екатерина II имела к нему отличное уважение, и сверх многих других поручений особенно вверены ему были столичные сиропитательные домы и достославный Смольный монастырь, в котором жили и воспитывались беднейшие благородные девушки законного рождения на всем казенном коште. Содержанье сих заведений совершенно цвело при Иване Ивановиче Бецком. Общая молва признательна была к его способностям, и он, к счастью сирот, сохраняем был самим небом до престарелости почти необыкновенной уже в наши дни. Служа под начальством его, батюшка находил истинное удовольствие в трудах своего звания.

От дня моего рождения, которое, как сказано, последовало на Тверской, мы до сего времени жили в разных домах и переменяли их часто. Батюшка, по приращении семейства своего и по другим собственным своим видам, то покупал готовые и после продавал их, то временно живал в квартерах наемных; ныне расположился по мыслям своим выстроить себе дом каменный с подошвы и заложил оный 18 мая на Тверской же[2]. Сие составило в семействе нашем значительное происшествие, и потому о нем здесь помещаю. Хотя несколько лет спустя и оно попадет в число мимоходящих случаев в жизни человеческой. Но что в юдоли нашей вечно?!

В течение того же года мать моя занемогла горячкой. Сила болезни долго боролась со всяким врачевством. Отчаянна была даже жизнь ее. Но кто как Бог! Милостию его сыскалось и вспомоществование. Опытный доктор, некто г. Скиадан, грек породою, Эзоп по наружности, но искуснейший врач по Москве, призван был на многие медицинские совещания, взял больную на свои руки, лечил и вылечил. Весной наступающего года она совсем исцелилась от болезни, но с того уже времени открылись в ней разные хронические немощи, от коих она уже не освобождалась.

Приняв намерение писать сию большую книгу более для детей моих, нежели для всякого, я твердым правилом себе поставил откровенно беседовать с ними о шалостях моих, дабы они, когда со временем будут воспитывать детей своих, умели в поступках их различать порочное с умыслу от шалости, свойственной каждому ребенку, и для того не промолчу здесь о первой моей уважительной шалости. Monsieur Roulé столько меня уже научил по-латыни, что я мог перенять выраженье латинского слова и даже написать его при нужде без ошибки. Во время лекарских

съездов по случаю матушкиной болезни к нам в дом наслушался я разных латинских ботанических названий и нагляделся на форму, какой писались рецепты. Вздумалось мне и самому похвастать своим мастерством; я написал рецепт, составил его из разных знакомых мне слов и, подписавшись под руку домового нашего лекаря, отправил с мальчишкой в аптеку. Состав был, видно, необыкновенно крепок и, может быть, смертоносен. Аптекарь оставил рецепт, а лекарства не отпустил. Лекарь наш о сем уведомлен и в страшном испуге прибежал к батюшке. Начался домашний розыск, дошло дело до меня. Пришлось повиниться и пасть на колени, но это не спасло моей плоти, меня порядочно высекли, — и поделом.

1775

С новым годом судьба кинула на нашу кровлю новые печали и — новые радости. Дело обыкновенное! Дядя мой родной барон Александр Николаевич Строганов и отец мой крестный (которого правильнее бы должно звать Захаром, потому что сие последнее имя дано ему при крещении) стоял тогда с полком кирасирским, которым он командовал, в Польше, и при выходе оттуда вздумалось ему потешить мать мою. Для сего он выпросил у тогдашнего короля Станислава патент мне на чин полковничий (который и доныне в бумагах моих хранится), а с ним вместе майорский для моего учителя г. Руле. С сими бумагами прислан к нам от него 14 генваря адъютант полковой г. Цуриков нарочным. С каким восторгом встречен гонец в нашем доме! Ивашенька — полковник! Какая радость! какое торжество! Сколько благодарных писем написано к дяде благодетелю! сколько подарков накуплено в рядах для вестника! И вся эта радость по времени обратилась в дым. Патент преогромный умножил только число детских моих игрушек.

На первых порах отец мой следующий составил идеальный план. Ему угодно было, чтоб я съездил в чужие краи и, конча там науки, явился в Польшу для вступления в службу по чину, мне королем пожалованному. Без дозволения государыни сделать сего было нельзя. Батюшка решился писать сперва к графу Никите Ивановичу Панину, который занимал первое место в Иностранной коллегии и воспитывал наследника престола. Сколько по месту своему и особому поручению, столько по качествам души граф Панин был первостепенный барин в России и отражал черты древних наших бояр во всяком шаге и поступке. Просьба отца моего со-

2 Зак. № 3535

стояла в том, чтоб я отпущен был на 6 лет в чужие краи с дозволением по окончании сего срока явиться на службу в Польское Королевство. Граф Панин не получил при докладе о сем успеха. Отцу моему отказано. Батюшка, помедлив несколько, обратился с вторичной о том же просьбой к фельдмаршалу князю Голицыну, но и сей не лучше успел в предприятии. Екатерина снова и решительно отказала. Пришлось оставить сие намерение без действия, оно и брошено; не без сожаления, потому что родитель мой, у которого дед и отец долго и с пользой для себя жили в Польше[1], имел какое-то пристрастье к этому государству и глядел на него после бурь, сокрушивших дом наш, как на пристань мирную, куда не будет уже преследовать нас мщение соотчичей наших. Бог устрояет вся яко же хощет! Спрятали мой патент в чаянии, что, может быть, как подрасту, он будет мне на что-нибудь полезен для выгодного вступления в свою домашнюю службу. Умолкли потом рукоплескании семейные, и столь радостный случай в первую минуту превратился в самый ничтожный, о котором не было даже удовольствия разговаривать и между собою. Минутное обольщение фортуны уступило место коренным попечениям родителей моих, и они прилагали труды к трудам, чтоб как можно лучше образовать юношеские мои годы и сделать меня человеком достойным.

Весною мать моя освободилась от опасной своей болезни, и среди лета батюшка решился вместе с ней предпринять путешествие в Петербург. Нужным казалось отцу моему ознакомиться ближе с начальником своим Бецким. Поехала с ними и сестра моя большая, а мы, меньшие дети, остались в Москве под присмотром, я у Руле, а сестры обе у взрослых двух родственниц наших девиц Яньковых, находившихся под покровительством моего отца[2]. Кстати здесь сказать должен, что, по добродетельным свойствам родителей моих, дом наш наполнен был бедными девушками. Сверх упомянутых двух — кои жили под кровлей нашей не от нужды, ибо за ними с двумя братьями числилось до 1000 с лишком душ крестьян, но как братья воспитывались в Кадетском корпусе, то сестры, лишась своих родителей и осиротев совсем, нашли приличнее для себя укрыться у нас, нежели жить одни своим домом — сверх сих двух еще содержались у нас две неимущие девушки Гринвальдовы и барышня Грёкова. Вот из скольких и каких лиц составлялась наша община по отъезде батюшки с матушкой, и я с утра до вечера обучался иностранным языкам.

Между тем, поднялась в низовых пределах России черная и ужасная туча. Она разразилась над Казанью и сопредельными ей губерниями. Чуть-чуть не достигла и до столицы. Простой казак по имени Емелька

Пугачев, собрав шайку бродяг, начал грабить все веси и селении, подбирать к себе народ, обольщать его свободой. Усилились его толпы, и по местам стали резать и мучительски истреблять дворян. Страх овладел всеми, у всякого помещика смерть висела над головою ежеминутно; все бежали из вотчин, и вотчины опустошались. К усугублению зла, успел разгласить злодей Пугачев, будто бы он Петр III, а сим обманом умножал день от дня свои безобразные сонмища. Чернь ему верила и шла за ним всюду. Двинулись против него полки. Послан граф Панин, брат родной того, о котором я говорил выше, муж стойкий в добродетели, вельможа прямо русский, герой на поле брани, меч булатный в Сенате на неправду[3]. Он-то наконец поймал изверга и положил конец мятежам междоусобным. История должна со временем беспристрастно сказать потомству, сколь тяжел был сей случай для России, мое дело говорить лишь о себе. И мы понесли гнев Божий в своем достоянии. Вотчина батюшкина в Пензенской губернии, село Царевщина с деревнями, изобильная пажитью и хлебородием, населяющая до 1200 душ крестьян, увлечена была вся в этот бунт. Мужики отложились от помещика, убили приказчика, разграбили фабрики и заведении, пропили и свое и господское имущество. Убыток наш, по вернейшим справкам учрежденного потом Комитета для вспомоществования разоренному дворянству, простирался до 70 тысяч, взамен коих выдано батюшке из банка 3500 рублей взаймы на 5 лет, да и те употреблены тотчас на покупку хлеба для тамошних же крестьян, ибо все запасы ими были расхищены, а без пособия господ своих они не только что-либо платить, не могли даже в течение двух лет сами собой прокормиться, а и сия малая ссуда по истечении срока возвращена в казну сполна. Какое бедное пособие правительства после толь жестоких ущербов!

Здесь начало расстройки нашего состояния. Отсюда оно стало приходить более и более в новый упадок. Непомерные убытки и разорение лучшего нашего имения в Пензе принудило батюшку поспешить возвращением своим в Москву и оставить Петербург прежде, нежели он предполагал до сего обстоятельства.

1776

По соединении всего нашего дома опять в кучку жили мы летом, как обыкновенно, в Волынском, и там батюшка имел несчастие вышибить руку. Вот как это случилось. Он жаловал кататься по вечерам на

линейках[1]. Проезжая трудным местом, побоялся переехать через лощинку и думал, что лучше будет пройтить пешком. Не останавливая лошадей, спрыгнул с линейки, споткнулся, упал, и кость плечная вон в ту же минуту. Насилу его привезли домой, нестерпимая боль его тирански мучила. Матушка была вне себя, и болезни ее новую получили силу. Все мы были в тревоге чрезвычайной, но терять время в суетах одних около больного бесполезно. Послали за алексеевским костоправом; мужик простой, из-под Москвы, славился этим искусством. Как странно, что в таком обширном и столичном городе один только крестьянин способен был помогать страждущим в подобных случаях, да и тот почти правил самоучкой, без малейшей легкости, что он доказал не в первый раз уже и над моим отцом. Но делать было нечего! Тщетно искать другой помощи. Измучивши отца моего, вправил он ему руку. После сей не операции, можно сказать, а пытки, отец мой сутки-двое был очень опасен. Медик угрожал его антоновым огнем. Но Богу благодарение! Крепкая старинная натура все перенесла, и батюшка, страдавши с полгода, наконец выздоровел совершенно. Никогда, однако, не мог уже он поврежденною рукою так действовать свободно, как прежде, и при каждой перемене погоды она у него до сих пор страждет. Это принудило его взять снова отставку и простудило в нем на некоторое время желанье поворотить по службе то, что он прежней отставкой потерял. Заметим, сколько отец мой имел на пути ко счастью преград! Сколько сопротивлений встречалось его предприятиям! Неудача за другою, убыток за убытком. Тверд в религии, он не унывал, бодрствовал и всегда чаял от Бога всех своих подпор и уврачеваний. Учитесь, дети, правилам таким. Они тверже суетных покровителей мира, краше злата и топазия.

Здесь помещу я вступление в дом наш иностранца Совере, которому обязан я совершенным рачением сколько о воспитании моем, столько по наукам. Он родом был француз и принадлежал к сословию езуитов. Служил некогда в Испании и носил тамошний мундир. Человек был умный, сведущий и крайне осторожный. Сердце имел доброе, душу благородную. О, я никогда не постыжусь сказать, что из всех моих сторонних наставников я никому не должен такою благодарностию, как ему. Он жил в нашем доме до самого моего вступления в свет и кончил образование моего юношества. Батюшка принял его тотчас по возвращении своем из Петербурга, недоволен будучи предместником его, который отошел от нас, давши мне некоторые первые познании и приготовя только к тому, чтоб начать с пользою основательное учение.

1777

Г. Совере, войдя в виды моего отца, налег со мной на латынь и довел меня до того, что я мог уже заниматься Горацием, Вергилием и прочими писателями. Корнелий Непот был мне так знаком, как русская книга.

Потеря надежды в исходатайствовании мне свободы служить, где я пожелаю, вне России, не переменила батюшкиного образа мыслей насчет моей участи. Ему хотелось проложить мне дипломатическую дорогу, и на сей конец он располагал отправить меня в чужие краи на несколько лет в хороший университет, но советы Ивана Ивановича Шувалова поколебали его в этом намерении больше, нежели и самая расстройка имения. Шувалов был из числа ближайших бояр, обер-камергер и Университета московского главный попечитель. Им учреждено было сие училище в царствованье Елизаветы, при которой род Шуваловых отличною украшался доверенностию престола. Шувалов долго жил в Париже и нагляделся на образ воспитания молодых россиян, приезжающих туда обучаться. Лета его и опыты давали ему право о прихоти сей рассуждать решительно. Он, наклонен будучи к пользам отечества своего, любя истинное просвещение и питая пристрастное чувство к российскому университету, убедил отца моего записать меня в оный. Батюшка с доверенностию внимал его советам и скоро согласился с ним. Итак, проект моего путешествия остался без исполнения. Я записан в Университет московский и принят по предварительном экзамене в латинском и французском языках.

Около 4 лет обучаясь дома, я мог уже слушать лекции профессорские. С одобрения двух профессоров, Чеботарева и Аничкова, назначено мне ходить в следующие классы, а именно: к профессору Барсову слушать поэзию, к Аничкову логику и метафизику, к Рейхелю всеобщую историю, к Чеботареву российскую высшую словесность, к Росту физику, а у протопопа Петра Алексеевича толковали мне Катехизис и Закон Божий. Университет имел при себе в одном и том же составе гимназию, где обучались ученики низшего разряда разным приуготовительным предметам. Из нее поступали в вышепоказанные классы к профессорам те только ученики, кои заслуживали повышения в студенты, и хотя я не был студентом еще, но удачный мой опыт на экзамене отворил мне вход в профессорские лекции, и я начал их слушать ежедневно от 8 часов до 12 утра и от 2 до 6 пополудни. Между студентами один только я был

ученик. Г-ну Совере позволено было со мной являться вместе на лекции, следовательно, присмотр за мной был повсюду неослабный. Из такого снисхождения университетских властей извлекал я существенную пользу тем, что по вечерам, возвращаясь домой, Совере протолковывал мне снова все профессорские лекции того дня, и поелику они преподавались на латинском языке, то мне и нужно было прилежнее проходить их дома одному под руководством своего учителя. Слушавши от профессора при многих, не так удобно было все понять и удержать в разумении. Таким образом начал я учиться с сентября месяца. Директор Университета г. Приклонский оказывал мне полное покровительство, куратор, престарелый и добрый Мелиссино, являл мне часто знаки своего благоволения, господа профессоры принимали во мне участие непритворное, студенты, сотоварищи мои, были ко мне ласковы, оставалось самому не быть лениву и пользоваться временем. О! Сколь много обязан я был трудам каждого из них, попечению моего Совере, а наипаче родительским стараниям! Мог ли бы я вступить в такое поприще без значительных издержек их? Не дерзну, говоря откровенно, хвастать и приписать успех моего экзамена и все счастливые его последствии моим отличным талантам и трудам. Сохрани меня Бог от такой лжи постыдной! Всему способствовало покровительство Шувалова, внимание к родителям моим, дары их учителям, услуги и ходатайства неотступные!

Не отважусь также сказать здесь ни слова о том, полезнее ли был для меня такой ход воспитания пред тем, какой дан бы был в чужих краях. Вопрос сей решить может одна опытность; моя слишком недостаточна еще, чтоб произнести решительный приговор, думаю только, по неограниченной любви моей к родителям моим, что всякое их о мне предположение должно было быть и лучшим, и правильнейшим. Все, что им угодно было на мой счет придумать и основать, привык я почитать для себя совершенным. Вот в чем состоит доныне все мое любомудрие.

Не возьму на себя равномерно рассуждать и о том, правильно ли отец мой поступал, стараясь долго и упорно выпроводить меня в чужие краи и там открыть мне дорогу к службе мимо своего отечества. Пусть и о сем рассуждают другие! Я, с моей стороны, готов извинить такие мысли в нем и даже сделать их коренными в самом себе потому, что родина, в которой он так много злоключений потерпел и посредственно, и непосредственно, не могла никак быть ему любезной. Но я еще молод, писавши сии строки, посмотрим, что породит грядущее время. Жизнь моя,

с которой рядом будет действовать и перо мое, укажет мне со временем, что в такой борьбе чувств природных с общим мнением может быть поставлено твердым правилом для поступков чести и совести.

Между тем настоящий год должен особенно быть мною замечен, потому что в оном я первый шаг сделал из родительского дома в общее семейство Московского университета, следовательно, вступил в мир и начал жить с людьми.

В одно и то же время батюшка паки вступил в службу. Праздная жизнь ему не нравилась. Деятельный разум его искал трудов, полезных для общества. Генерал-прокурор князь Вяземский, силен будучи у двора и в деле своем искусен, полюбил моего отца, сделался его благодетелем, и, по его ходатайству, он определен императрицею Екатериною прокурором в Коллегию экономии. При сем назначении пожалован ему чин коллежского советника. Коллегия экономии имела в ведомстве своем все монастырские имении, отторженные от духовенства и собранные под названием экономических волостей в общую массу, которой хозяйственное управление возложено было на особую коллегию, и в ней президентом был г. Хитрово. Тут начал батюшка снова заниматься гражданскими делами.

1778

Школьная жизнь доставила мне разные приятности и развернула суетные побуждении самолюбия. По случаю рождения великого князя Александра Павловича 12 декабря протекшего года Московский университет праздновал торжественным академическим актом в генваре месяце сие вожделенное событие. Съезд был огромный; вся столица приглашена была слушать речи и стихи, кои на разных языках выговорены были профессорами и студентами, и я удостоен был чести на сей раз причислиться к их сословию. Г. Чеботарев сочинил краткую российскую речь, согласную с моим возрастом, которую я проговорил наизусть с кафедры. Сие надобно заметить, ибо ученики, произносившие разные стишки, на кафедру не становились. Это преимущество принадлежало только студентам. Пусть вообразят, сколь лестно было для меня им воспользоваться! О! Сколько же я и трусил, приготовляясь к такой новой почести! В юных летах наших и малость делается важным происшествием. Со мной вместе робели за меня и все домашние мои. Наступил день знаменитый!

Пришел мой срок; взмостился я на кафедру, с которой чуть видна была моя головенка, принял вид важный и заговорил. Голос мой сначала задребезжал, приняла меня всего дрожь боязни, но отступать уже было поздно. Дело начато, надлежало кончить, и — речь свою я выговорил довольно удачно! Разумеется, что она была невелика. Рукоплескании раздались во всей зале! Сколько было в ней тогда отцов и матерей! Кому из них могло быть равнодушно зрелище ребенка на таком помосте, на каком поставили меня? Как услаждался во мне червь самолюбия! Сердце билось, как маятник! Сошедши с кафедры, я бросился в объятии моих родителей. Первые восторги моей радости принадлежали им, конечно. Слезы их заплатили мне с избытком труды моего предприятия, а учителям летели в карманы табакерки, часы, готовальни. Все были мной и я всеми доволен, и тот меня подзовет, и другой, и третий. Кто поцалует, кто похвалит, кто скажет с улыбкой благоволения «bravo, mon prince»*, а мой я растет выше Ивана Великого. О, сладкие обновы сердечных радостей, износитесь вы скоро! Минуты ваши летят как вихрь, ничто их возвратить не может!

В июне бывают ежегодные экзамены в науках. Университет целый месяц ими занимается, а 30-го числа оканчиваются они публичным торжественным актом, на котором дают награждении учащимся. Испытании в наших классах были для меня весьма счастливы. Я получил награждение из российского класса г. Чеботарева, который принадлежал к гимназии и преподавал уроки свои ученикам. Оно состояло в книге с надписью золотыми буквами «За прилежание»; книга эта доныне у меня хранится как памятник юношеских моих успехов. Мне даны были некоторые сочинении Ломоносова в большой in quarto**. Не дорога книга, но цель сего подарка. По экзаменам высших классов я удостоен производства в студенты, публично провозглашен им при многочисленном собрании зрителей в аудитории и из рук г. директора Приклонского получил шпагу как отличительный знак студента, получающего, по установлениям Университета, вместе с академическим сим названием право на чин офицерский при выпуске. Кто бы на моем месте не обрадовался такому быстрому полету? Но все это было только новый полковничий диплом в Польше, новая игрушка!

---

* Браво, князь (фр.; все переводы с французского, если это не оговорено особо, сделаны А. М. Миримовым).

** В четверть печатного листа (лат.).

Под конец года Университет лишился одного из лучших своих профессоров. Г. Рейхель скончался. Он был мастер своего дела и по-латыни говорил без запинки. Сладкоглаголив был в классе, и внимание наше без принуждения за ним следовало. Со всею почестью, заслугам его принадлежащей, схоронен сей ученый муж в лютеранской кирке. Все студенты сопровождали гроб его, и меня с ними туда же возили. Все о нем единодушно жалели. Вот как в наше время умели ценить достоинства, умели оказывать признательность добродетельным своим наставникам. Я не могу умолчать о сем, дабы дети мои, которые, может быть, в иных временах застанут иные нравы, видели из Истории моей, что благодарность составляла лучшую добродетель тогдашнего века и в воспитании юношества она ставилась существенною человеческою обязанностию. Дай Бог, чтобы это правило сохранилось, но — сомневаюсь. Место Рейхеля в Университете заменил г. Чеботарев, который переведен из гимназии и начал преподавать нам историю уже не на латинском, а на российском языке, что я нахожу весьма правильным, ибо свой природный язык всегда знакомее чужого, следовательно, и наука вразумительнее. Скоро последовали сему во всех классах, и российский язык сделался наконец общим во всех учебных заведениях.

Говоря о полезных моих трудах, не скрою и шалостей. Кто без них вырос на свете? Правда, что я мало имел для них досугу. Праздного времени оставалось у меня немного, потому что, кроме университетских лекций, я многим предметам обучался еще и дома, как, например, немецкому языку, и этой издержки батюшкиной мне всегда бывало жаль. Наречие германское мне вовсе не давалось: учился года два и слова не затвердил. Славный Matelin меня заставлял фехтовать, и я принимался за ремесло рубаки прекрасно. Misfoly и Grangé выправляли мне ноги, и я плясал изрядно. Старый артиллерийский сержант занимал меня математическими упражнениями, но, грешный человек,

«дошел до дележа, и в пень стал у дробей»[1].

В манеже славный Деккер меня гонял на корде[2] несколько месяцев и, в угожденье батюшке, дал мне стремена и шпоры. Всю школу выездил, а верхом сидеть не выучился. Что сяду на лошадь, то и долой на пол ногами вверх. Ходил даже ко мне и солдат из-под Новинского приучать меня к барабанному бою. Я все военные бои вытвердил и тревогу задавал в лукошко[3], ходя по нашему палисаднику мастерски. Одному рисова-

нью и музыке я не учился, потому что не имел терпения обводить карандашом глаза и носы, также и пальцами не умел перебирать струн. Принимался за то и за другое, тщетно! Чего не дала природа, того не развернешь. Всякое существо имеет свои способности. Их одних и возделать могут труды и воспитания.

Казалось бы, что при таких неусыпных трудах и беспрестанных уроках некогда проказ творить, но ребенок на все найдет время. Я успевал между классами во время звонка, сойдя на двор будто бы для нужды, столкнуться с разносчиком и нахватать в долг коврижек. У меня завелись потаенные приятели: Прошка-кондитер, Барона-пряничник; и, когда долги мои обнаруживались, батюшка их оплачивал ходячими деньгами, а меня секали свежими прутьями. Но все это только шалости. Исповедую здесь откровенно три поступка моего младенчества, кои и ныне, приходя мне на память, обращают все мое негодование на самого себя, потому что они были порочны, и, слава Богу, вечная благодарность родителю моему и наставнику Совере: без их строгого надзора я мог сделаться самым развратным человеком. Нет ничего труднее, как назидать ребенка. Первые движении нашего сердца, первые наши помыслы требуют бдения за ними неотступного. Вот несколько случаев в пример сему правилу.

Я не разумел еще, в чем состояло различие полов, но природа уже заставляла меня чего-то желать и ставила меня иногда в положенье совсем новое. Мальчишки, жившие в нашем доме для сотоварищества со мною из детства, дальнего с нами родства и бедного состояния, урывками находили случай молоть на сей счет вещи мне совсем непонятные[4]. Воображенье мое разгорелось, но, будучи боязлив от природы, я не смел и не умел испытывать их одинокие удовольствии, которые, как после я узнал, когда рассуждать начал, толико вредны нашему здоровью, а притом строгие глаза под крышкою родительскою никогда меня из виду не теряли. В Университете я очутился в толпе; понравилось мне лицо одного молодого студента, и я мало-помалу пристрастился к нему так, как можно влюбиться только в прелестнейшую девушку. Невинным образом я стал садиться все с ним рядом, подмигивал его, когда мы были посажены розно, с особенным восторгом встречал его и здоровался с ним, посылал к нему через стол записочки, и если б Совере, Аргус мой[5], не взял при самом вступлении моем в классы той благоразумной предосторожности, чтоб отнюдь не допускать меня ни с кем из мальчиков оставаться в уединении, а всегда в кучке многих, нетрудно отгадать, в какие попался

бы я развратные сети. Но скоро примечено, что я особенно ласков к одному из товарищей, и тотчас разорвали эту ребячью интригу, которая погасла там, где и началась, то есть в воображении, не произведя никаких худших последствий. Вот самая главная причина, по которой все училища публичные весьма опасны. Как может один наставник усмотреть за многими? Ни сил, ни прозорливости не станет. Не будь при мне одном Совере, я мог сделаться самым большим негодяем, и без всякого худого намерения, от одних побуждений природы, направленных не к настоящей своей цели. С этих пор замечено было, что у меня темперамент очень горяч и воображение пылко, а чем строже его воздерживали, тем опаснее становилась натура, которая столько же не терпит излишества в своих потребностях, сколько способна волноваться, когда ее лишают необходимого по возрасту человека. Она есть верный указатель наших нужд, и оковывать ее слишком тесно всегда бедственно. Вот с каких пор уже стал я бороться и волею, и неволею с физическими побуждениями.

Вместе с ними вкрадывались и в душу нравственные худые помыслы. Служба моего отца и место его в Коллегии экономии привлекали к нему разные лица и чины. Один из родственников наших***[6], имея казначейское место, езжал к нам часто обедать и посидеть. Будучи свой, он обходился с нами запросто, как с ребятами, и ласкал нас не столько из чистой приязни к дому, как из самых гнилых намерений. Он не мог ничем купить моего отца, отменно строгого насчет чести, и рассудил тешить нас, чтоб уловить родителей моих слабостию чадолюбия. Мудрено ли поддеть ребят на фокус-покус? Он выучил меня, будто для шутки, играть в карты и, не смея подвернуться с подарками, проигрывал мне в дураки и в марьяж то 5, то 10 рублей. Появились у меня деньжонки; я хвастал своим счастием в игре и так мало видел тут худого, что даже не потаил однажды моей удачи над самым игроком самому Совере. Тот сметил в чем дело, снесся с отцом моим, и совокупно стали действовать. Батюшка отказал от дому означенному чиновнику, несмотря, что он был сиятельной породы и родня, а у меня Совере отобрал все до копейки и строго наказал за эту шалость. На то время она была только ребячество, но могла укорениться и сделаться страстью подлой, низкой. Подобные покушении и тушить должно с первой искры. С каким злодеем сравнить можно человека в летах, с чином, у должности, который, подобными путями ища разврата, запутывает в свои сети и самую юность, не щадя никаких правил? Какая чума для детей — такого рода приближенные люди!

Долги, в которые вводили меня пряники и детские лакомства, хотя не могли быть огромны (всякому это понятно), однако все превышали тот рубль, который иногда мне подарят батюшка и матушка как ребенку или за хороший урок, или за смирную вечеринку. Задолжавши больше, я боялся сказать и вывертывался обманами. Никогда, никогда не прощу себе, что я не стыдился прибавлять счет билетов часовых учителей и, делавши это в такое время, когда Совере на несколько месяцев от нас отлучился, употреблял во зло доверенность отца моего, который, платя через меня учителям, деньги всегда выдавал мне по числу билетов, лишнее против того, что должно было, а я сими излишками оплачивал мои прихоти и всегда сводил прекрасно концы с концами. Тем тяжеле для меня ныне воспоминание такой лжи и, скажу без прикрас, такого мошенничества, что никто о нем не знал, никто меня не усчитывал и я за этот поступок остался не наказан; чем полнее была ко мне доверенность моего отца, который лучше обо мне думал, нежели я того стоил, тем чувствительнее я в поступке моем раскаивался, пришедши в возраст. И для чего же все это делалось? Для каких-нибудь бисквитов или вяземской коврижки, которые, бывало, тороплюсь тихонько в углу где-нибудь съесть, чтоб не видали, и самый вкус лакомства терял свою сладость в волнениях боязни. О, сколько нужно трудов около ребенка!

Как камень с души своротил, сказав здесь о тайных моих грехопадениях в юности. Взяв намерение писать сию книгу для потомства своего, я тем откровеннее говорю о себе, что хочу привлечь к словам моим полную веру детей моих, хочу, ежели оными меня благословит Бог, чтоб они видели меня со всеми моими недостатками и пороками и учились моими опытами исправлять подобные слабости в себе. Может быть, и они не избегнут в течение своей молодости тех же или других проступков, желаю только того, чтоб они в них раскаивались так же чистосердечно, как и я, и чтоб всегда на памяти было у них, даже и в зрелом возрасте, признание царя Давида, изрекшего некогда: «Господи, грех юности моея и неведения моего не помяни!»[7]

1779

По каким-то маловажным несогласиям добрый Совере, оставя дом наш, принялся к князю Трубецкому, но через несколько месяцев опять переехал к нам. Тем временем, дабы я не терял порядка в науках, ходили

ко мне давать уроки в свободные часы от университетских классов г. профессор Чеботарев, который уже несколько лет обучал меня и сестер российской словесности; студент Курика проходил со мной латинский язык и укреплял в оном, а студент Духовной Академии некто Михайла Гумылевский, который потом под именем Моисея был архиереем Феодосийским, толковал мне дома церковную историю, Закон Божий и Катехизис. Таким образом, я и без Совере был беспрестанно занят, но, по привычке к нему, все мне было его жаль, и я обратному его вступлению в дом наш очень обрадовался.

В этот год развернулась во мне новая способность, ничтожная сама по себе, но которая, как увидят по времени, важные имела на судьбу мою влиянии. Батюшке угодно было, обновя построенный дом свой, доставить нам забавы, свойственные нашему возрасту, и для сего построен в зале небольшой театр, на котором я в первый еще раз стал играть и трагедии, и комедии. Природная склонность тотчас открылась. Никто меня не учил декламировать, но уж видно было из детских моих приемов, что я достигну до некоторой красоты в этом роде, и признаюсь, что я без всякой натяжки, сам, пристрастился к актерскому таланту. Куда нас влечет природа, то мы и будем. Если б я попался на руки к славному Дмитревскому, о, конечно, я бы вышел скорей совершенный актер, чем дипломат, философ или что-нибудь иное.

Не стану рассуждать о том, есть ли добро или вред от подобных театров в обществе. Все вещи в мире имеют разные виды. Одобрение и хула часто происходят не столько от сущности действия, как от того, с какой точки зрения человек на него смотрит. Многие писали против театров, многие за них; задача не решена, а между тем от самой глубокой древности находим во всех историях театры и подобные им зрелища. Но воротимся к себе. Мы несколько раз поиграли зимою в своей семье, и от этого я лишних тысячу стихов вытвердил наизусть и по-русски, и по-французски, коих, думаю, до смерти не забуду. Все, что в молодости попадет в голову, врезывается в памяти, как на меди, и едва стирается ли даже под старость.

Природа своим обыкновенным ходом стала образовать мою физику. Я вступил в юношество, которое латинская грамота называет adolescentia*, а как просто говорится по-русски, перед усами слег я сильной горячкой. Она была продолжительна, даже опасна. Весь Великий

---

* подростковый возраст (лат.).

пост я не вставал с постели. Лечил меня и Скиадан, и домовый лекарь Феттер. Сей последний много трудами своими вспомоществовал моему выздоровлению. Неоднократные шпанские мухи замучили меня. Спознался я с латинской кухней[1] и с немощами человеческими. Строгая диета по мере облегчения моего еще более меня тиранила, чем все химические приправы господ врачей. Тяжело было и мне, и родителям моим; все около меня плакало. Смерть была, так сказать, у меня на носу, но что мы знаем, бедные человеки, в участи нашей? Все от нас закрыто в будущем. Как часто природа, по закону Вседержителя тварей, затягивает в жизни нашей такие узлы, от которых, кажется, в минуту вся нитка ее перервется, когда, напротив, клубок дней наших еще очень велик и весьма далеко до последней мертвой петли. Богу благодарение! Спасибо Феттеру, я выздоровел, стал опять на ноги, начал расти и становиться парнем. Услышал Отец небесный молитвы родителей моих, и к великому дню праздника Христова я уже мог с сестрами свободно катать яйца[2].

Потом опять за школу, опять в Университет. Весь июнь, по порядку, прошел в экзаменах. К торжественному акту задан был в классе вышней словесности латинской и русской от г. профессора Барсова предмет для диссертации: «Laus Ciceronis»*. Все студенты того класса обязаны были, в том числе и я, представить на латинском языке похвальное слово сему великому римскому оратору. В Университете был такой обряд. Когда ученики нижних разрядов получали в награду за прилежание книги, рисунки и прочие вещи, тогда студенты высших наук награждались за превосходную диссертацию золотой, а за лучшие из прочих серебряными медалями. Первая готовилась только одна, а последних чеканили три с особыми на них учеными изображениями, приличными к случаю. Принялся и я за диссертацию и написал ее всю точно сам; но надобно было ее отработать и дать ей печать посильной изящности. В этом обязан я был попечению сотоварища моего в классах и учителя в доме, помянутого Курики. Он со мной вместе прошел ее всю и погрешности исправил, недостатки пополнил, слабые места усилил. Диссертация вышла добра, и я за нее получил серебряную медаль, которую долго хранил, но потом потерял, как будто в обличение, что не единственно самому себе был ею обязан.

При большом съезде в публичной аудитории сам г. куратор мне медаль вручил[3], и потом я в благодарность взмостился опять на кафедру и

---

* Прославление Цицерона (лат.).

произнес французские стихи под названием: «Le triomphe d'Apollon»*, которые на сей случай нарочно сочинил для меня добрый мой Совере. Таким образом, вместе с телом росла и слава моя в ученом вертограде.

Осенью того же года удостоен я новой чести по ученому свету и принят в авскультанты в Вольное российское собрание при Университете, учрежденное для чистоты и усовершенствования отечественной словесности. Но сие не препятствовало моим классическим упражнениям, они продолжались все так же, как прежде. Авскультант есть звание академическое. По-русски можно его сменить с протоколистом, потому что я сиживал в означенном собрании за секретарским столом и записывать обязан был голоса членов и прений в особый журнал. В этом собрании присутствовали первостатейные профессоры и некоторые знаменитые в учености сограждане московские. Оно составлялось по вечерам в каждую субботу. В мое время происходил тот славный и громкий спор, о котором твердят многие и доныне, чтоб литеру ъ, яко букву саму собой не имеющую звука и тем самым ненужную в письменах российских, исключить из азбуки, подобно тому, как перестали употреблять кси, пси, и прочие. Прение сие произвело множество насмешек, а пользы никакой.

Зимой матушка опять занемогла горячкой, и новый доктор г. Пегелау, приняв ее на свои руки, очень ей помог. Болезнь ее, по стечению разнородных причин, была тяжела и продолжительна, и, хотя она освободилась от сей горячки так, как и от прежней, но, большую часть жизни своей томясь в разных болезненных припадках, она стала наконец самою хворою женщиной.

1780

По пословице русской, чем глубже в лес, тем больше дров, живет и человек: чем больше лет, тем больше опытов и случаев, к ним ведущих.

Меня дома занимал Совере переводом прекрасной книги г. Mercier, по имени «Les songes philosophiques»[1], но, ежели смею сказать, книга не соответствовала моему возрасту. Я не мог понять ее совершенно, следовательно, перевод мой вышел более набор слов, нежели смысленное сочинение. Домашние мои учители, под руководством коих я трудился, сколько ни старались исправить мой перевод, но, дабы сохранить в нем

* Триумф Аполлона (фр.).

некоторые ясные черты моей собственности, а не их работы, перевод мой остался все нехорош, и только лета мои тогдашние могли извинить его недостатки. Книга в этом годе напечатана. Переводчик ее наименован авскультантом; вот первый шаг знакомства моего с публикой ученой. Я посвятил труд сей Ивану Ивановичу Шувалову, как жертву благодарности за покровительство его и попечении Университета о моем образовании. Почтенный вельможа удостоил меня приветливым письмом, которого я приложу здесь список. Это письмо составляло важный для меня трофей; оно обратило на меня взоры моих сверстников.

Дом наш вообще вовлечен был в необыкновенное рассеяние. Следующее обстоятельство подало тому повод. Император Римский Иосиф II, под именем графа Фалкенштейна путешествуя по Европе, был в Петербурге и посетил Москву. Он изъявил особенное любопытство видеть Университет. Огромные были к тому приготовлении. Мы должны были при нем слушать наши лекции и, так сказать, выдержать экстраординарный экзамен в разных предметах. Занимательнее всех прочих классов был для путешественника физический. Профессор Рост приготовил несколько опытов, между ими назначено было и мне по части воздуха показать и изъяснить один. Мой опыт состоял в том, чтоб силою воздуха наружного разбить в мелкие части гладкую поверхность стекла на металлическом стакане, когда из-под колокола вытянется воздушным насосом весь внутренний воздух. Насос сей называется в ученом языке anthlia pneumatica. Даны были мне нужные орудии, зала наполнена была множеством зрителей. Мой взор устремлялся на одно лицо — на императора. Он с примечанием смотрел на действие, мною произведенное. Опыт удался совершенно, стекло треснуло, и путешественник, подозвав меня к себе, потребовал изъяснения причин, отчего сие так случилось. Я удовлетворил его вопросу на латинском языке[2]. Ему угодно было узнать, кто я таков, и потом он с благосклонной улыбкой изволил меня отпустить. В прочих классах уже до меня дело не доходило. Мнимый граф выехал из Университета совершенно им доволен и, как мне казалось, заметил мое лицо. В публичных местах, куда начали уже вывозить и меньших моих сестер, император нашел особенные прелести в лице княжны Анны, которая действительно была очень пригожа, и везде оказывал ей приветливое внимание. На всяком бале, а их тогда давали наперерыв, он спрашивал про княжну Долгорукую — надобно было ее всюду возить. Император любовался ее невинностью, ее танцами и часто с ней говаривал, лаская ее как ребенка. Таким образом, родители мои во всех детях своих

находили сладкую награду своих забот о нашем воспитании. Подобные успехи в большом свете имела сестра моя большая и в Петербурге, в прежнюю поездку, и в Москве, в сущем ребячестве, когда посещал столицу прусский принц Henri[3], для которого у графа Шереметева давались пышные праздники. Тогда сестра моя, княжна Прасковья, была действующим лицом в «Турецкой кадрили» и под алмазной чалмой восхищала всех зрителей своею прелестью. Итак, со стороны детей своих родители мои были всегда судьбою своею довольны, а удовольствие их отражалось на нас и составляло нас счастливыми и дома, и вне нашего семейства.

Отец мой, видя, что мне уже исполняется 16 лет, начинал чувствовать необходимость записать меня в службу. Патент полковничий бесплодно лежал в ящике. От него нельзя было ожидать никакой пользы. Все молодые люди моего состояния обыкновенно с малолетства записывались в гвардию и дожидались офицерских чинов по домам. Средство общее с ними уже опоздано было для меня. Когда многие в мои годы уже вступили в офицеры, неприятно было бы батюшке заставить меня служить унтер-офицером и несколько лет ждать одинаких преимуществ с людьми, мне по всем отношениям равными. Оставался один способ быть тотчас, хотя не в гвардии, но офицером, и сим способом обязан я Университету. При учреждении его, во времена императрицы Елизаветы, Шувалов, сильный того века вельможа, установил с высочайшей конфирмации, чтоб всякий студент, изучивший латинский язык, выпускаем был по окончании наук из Университета обер-офицером, и на основании сего узаконения я выпущен 3 июля в прапорщики. Военная коллегия выдала мне патент и записала меня в список Первого Московского пехотного полка, и так я, вопреки обычаю общему того времени, вступил в службу полевым офицером и стал между своей братьи дворянами нечто необыкновенное, потому, как выше сказано, что все с малым достатком благородные люди, все почти без изъятия, наполняли гвардейские полки. Во всяком из них считалось по нескольку сотен унтер-офицеров, а в Преображенском даже и за несколько тысяч. Из этой толпы юношей богатые и отличенные породой поступали в офицеры, а прочие выходили в армейские полки уже капитанами или, по крайней мере, поручиками. Мне одному суждено было показаться в свет прапорщиком армейским. 3-е число июля сугубо сделалось для меня на всю жизнь мою замечательным. В этот день скончалась бабка моя, великая жена схимонахиня Нектария, и в тот же самый день, несколькими годами позже, я вступил в службу царю и отечеству.

Здесь оканчивается, по прямому моему плану, эпоха моего юношества и часть I моей Истории. О службе моей стану говорить в следующей. Теперь же еще изложу некоторые подробности о протекших годах домашнего моего воспитания. Несмотря на то, что я выпущен был из Университета и перестал в нем слушать лекции, добрый Совере оставался еще при мне, и я много упражнялся дома с ним и с сторонними учителями, учась немецкому языку и математике, ездил в манеж, фехтовал, танцевал и продолжал бить в барабан. Батюшка перестал обращаться ко мне с одними угрозами и управлять мною орудиями страха. Он допускал уже меня до рассудительной беседы с собою, давал мне наставлении, внушал мне истины духовные и нравственные и, когда был недоволен мною, стыдил и укорял с чадолюбием, без вспыльчивости гневной. Матушка жаловала меня с нежностию, но без поблажек. Мамы не прикармливали пряниками тихонько, а дядьки не дирали за уши за все про все. Совере увещевал меня, но уже не стращал. Все переменилось во мне и вкруг меня.

Странное нечто о физике моей передам здесь моему потомству. Я боялся посреди большой комнаты пройтить один; я приходил в робость от всякого насекомого, я бледнел и пугался ночных теней в саду, а паче на кладбищах. Станется, что мамы с ребячества моего напужали меня привидениями, лешими, ворожеями, как то часто водится, но, кажется, должно в подобных случаях, при воспитании младенца, отделять те страхи, кои вселяет в нас дурной навык, от естественных отвращений, кои всякому телу сродны и с ним сопутствуют до гроба. Так и со мной надобно сию истину в опытах приметить. Батюшка хотел, чтоб я ничего не боялся, и строгие к тому предпринимал средства. Не знаю, удалось ли бы ему исподволь и с мягкостию истребить во мне пустые мои боязни — думаю, однако, что нет, полагая с моей стороны, что физическое отвращение от чего-либо, которое мы по привычке страхом называем, не может ничем быть искоренено — по крайней мере, решительно сказать могу то, что строгость не помогла моему отцу, ибо я до сих пор, будучи уже женат и сам отец, все-таки боюсь большого пространства и широким полем или залою один никак не пройду. Врачи, с коими я о сем толковал, уверяли меня, и я на их мнение соглашаюсь, что это происходит от построения глаз и оптики моего зрения. Иные боятся сверху смотреть вниз — мне нет нужды, я с Ивана Великого глядел и не робел, но среди поля или залы задрожат у меня колена, и я ни с места. Мой взор ищет около себя границ, беспредельность его смущает. Сколько, однако, и как

напрасно меня за это секли, приписывая шалости натуральный недостаток в организации[4]! Я помню, что однажды батюшка приказал мне взять жука в руки, я не послушался от страха; батюшка ударил меня, принудил, и я его взял, но затрясся и побледнел. Так точно и теперь я этого гада не могу видеть, не боюсь, но отвращаюсь и переменюсь в лице, когда жук попадется мне на глаза. Мало ли людей, кои боятся даже и неодушевленных вещей? Примеров подобных множество. Батюшка посылал меня часто, живучи в Волынском, одного после ужина, при сиянии полного месяца, на ближнее кладбище и сам, стоя на крыльце, смотрел вслед за мною. Никогда я оттуда не возвращался домой без трепета и нервической судороги. Ужас этот сохранился в памяти моей и доныне; я не боюсь мертвеца, но, с похорон возвращаясь, бываю и ныне смущен, задумчив, теряю сон и все воображение мое в расстройке. Довольно сих примеров, чтоб показать, сколь нужно отделять худой навык от естественного недостатка.

Прощай, юность драгоценная! Ты от меня летишь, как сон, и память одна тебя еще представляет моему помышлению. Скоро и та износится, изгладятся в ней черты твои! Буду еще говорить, что и я был ребенок, но уже не вспомню, не насладжусь твоим ощущением, твоими забавами.

Вечное благодарение вам, наставники мои и учители! Хвала достопочтенному ментору Совере! Хвала и признательность попечениям университетских властей! До гробовой доски сохраню память ваших трудов и благоволений. До последнего издыхания благоговеть стану пред ликом тех добродетельных мужей — Шувалова, Мелиссино, Хераскова, кои с участием сердечным покровительствовали меня во храме Аполлона и не пренебрегали моих малых способностей. Да усовершенствует Бог толь благие их начинании и да ниспошлет родителям моим отраду видеть во мне некогда достойную отрасль своего знаменитого корня. Забывая чистосердечно все преграды, кои воспящали[5] назначению о мне отца моего, и, покоряясь промыслу, все устроившему иначе, стократно возопию:

Благословен Господь Бог,
благоволивый тако,
слава тебе!

К сему отделению принадлежат два письма, кои особенную принесли честь моему детскому возрасту. Об одном я уже сказал, оно от Шувалова, другое получено мною при подарке от преосвященного Самуила, который был очень дружен с отцом моим. Вот с них с обеих точные копии. Первое писано по-русски, последнее по-латыни. Я их храню как памят-

ник не столько слабых моих успехов, сколько благосклонного ко мне внимания мужей, прославивших век свой своими достоинствами и душевными добротами.

«Государь мой!

С великим удовольствием получил я перевод ваш, ко мне приписанный, за который приношу вам, государь мой, мое благодарение. Желательно, чтобы благородные люди следовали похвальному вашему примеру в учении. Ничто не может быть полезнее отечеству, как знании в людях вашего рождения, без которого чины, знатность и все наружные преимущества тщетны. Вы, государь мой, именем и успехами делаете честь нашему училищу. Примите повторение моего признания и почтения, с которым честь имею быть.

Покорный и послушный
слуга Ив. Шувалов».

«Domine princeps Ioannes Michaelives!

Librum* olim a me tibi promissum tandem nunc mitto tuis usibus. Lege, relege immo omnia quae in eo tuis commodis inservitura advertes, in succum et sanguinem, ut aiunt latini, converte. Adjungo hic etiam disserttationem latinam a principe Paulo de Daschcoff concinnatam Edimburgi typis evulgatam nuper ad me e Sczotlandia transmissam. Evolve illam diligenter. Eius stylus magnopere mihi arrisit. Ex animo vellem ut ei palmam praeriperes. Cetera vale cum tuis carissimis parentibus omnibusqu tibi sanguine junctis. Ita vale et precatur tibi exanimo faventissimus Samuel archiepiscopus

Rostoviensis et Jaroslaviensis»**.

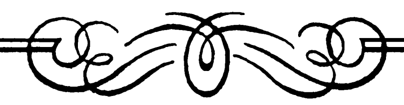
---

* Лучший лексикон латинский in quarto. (Примеч. И. М. Д.)

** «Господин князь Иван Михайлович!

Книгу, прежде мною тебе обещанную, теперь посылаю для твоего употребления. Читай, а то и перечитывай все то, что в ней, как ты решишь, сможет послужить тебе на пользу, обрати это, как говорят римляне, в сок и кровь. Прибавлю также латинскую диссертацию, сочиненную князем Павлом Дашковым, изданную в Эдинбурге и недавно присланную мне из Шотландии. Изучи ее тщательно. Ее стиль мне особенно понравился. Я искренне желал бы, чтобы ты отнял у него пальму первенства. Будь здоров ты, твои дражайшие родители и все родственники.

Искренне благосклонный к тебе Самуил,
архиепископ Ростовский и Ярославский» (*пер. с лат.* В. В. Зельченко).



ЧАСТЬ II

ОТ ВСТУПЛЕНИЯ МОЕГО В СЛУЖБУ ДО ЖЕНИТЬБЫ

Продолжение 1780 года

Все переменило вид свой. Химеры исчезли, полковничий патент остался гнить в куче грамот и дипломов семейных. Готовясь в дипломаты, попал я нечаянно в полевые офицеры и стал в 18 лет государев слуга, член общества, ратоборец. Ничто меня не влекло к военной службе, ни физическая способность, ни нравственное расположенье. Но рок строит все по-своему. Надлежало плыть по бурному океану представших обстоятельств. Размышлении сии действовали на меня по одной наслышке, я сам еще не мог убедиться или понять теорию моего превращения, а на практике все меня как молодого человека восхищало: и мундир, и шпага, и шляпа с султаном[1]. Ходить в школу или на караул, слушать лекцию скучную у Аничкова или перед взводом подымать ногу и шагать по мостовым московским под музыку, возиться около воздушной машины у Роста или с товарищами своего полку, в знаке и шарфе[2], бить в барабан зорю и привлекать, как на зрелище, толпу черни около Кур[я]тных ворот — какое различие в занятиях! Новость меня пленяла, я был в восторгах. Но ошибся в расчете. Родители мои за меня предусмотрели, что будет полезно или вредно, и вот как устроилась моя служба.

Тогда главнокомандующим в Москве был князь Василий Михайлович Долгорукий-Крымский, завоеватель полуострова, коего имя придано к его природному в незабвенную память его подвигов и заслуг. Князь был из редкого числа тех столповых бояр, коими славится доныне век Петра I и его предшественников. Князь был груб, но справедлив, строг и добр вместе, благодетелен своему роду и вообще доброхот ближнему. Таких людей ныне трудно и с фонарем Диогена[3] отыскать. Он уже был

кавалером всех российских орденов и генерал-аншеф[4], что также в настоящее время значило много. Хотя он не был с нами в родстве[5], но, по природе нося одно имя с ним, батюшка пользовался его благоволением и просил его обо мне. Князь Василий Михайлович без отлагательства в долгий ящик, без ласковых посулов тотчас приказал причислить меня к своему штату, и, во ожидании ваканции адъютантской, откомандирован я от полку на бессменные к его сиятельству ординарцы. Итак, прощай мои разводы, караулы, гауптвахта и прочие рыцарские замыслы. Служа при князе и не будучи еще ни на что надобен, я числился в полковых списках в откомандировке, а жил дома, учился, занимался по-прежнему, езжал по субботам в Университет, в Вольное российское собрание по званию авскультанта и, кроме праздничных дней, никуда не выезжал, а в воскресный всегда являлся к князю. Дом сей был дом благочестивый и основан на ноге строжайшей пристойности. Тут, проведя все утро и большую часть дня в услугах моего чина, я не мог иметь худых примеров. Иногда отпускали меня к престарелым родственникам с визитом, то есть, по-русски, на поклон. Иногда, но редко, выезжал в какое-нибудь родственное собрание, никогда в публичные. Такие съезды были для меня еще очень новы и дики. Вот первый шаг мой в службу.

Все мне в ней казалось высоким, чрезвычайным. С священным ужасом входил я в университетский храм принять по выпуске моем из оного первую присягу на чин офицерский. Надзиратель Университета, некто майор Крупенников, приводил меня к оной, и я присяжный лист прочел дрожащим голосом, как бы предстоя пред судищем Христовым. Я еще, по счастью мирной совести моей, не знал, что между людьми сия гражданская присяга не есть та свободная клятва пред Богом, которой нарушенье подвергает нас анафеме общей и гневу небесному, а только условный обряд политический, которого никто уже не ценит, не боится и не уважает. Опыты жизни светской дали мне сию печальную мысль. В юности она была непонятна. Я присягнул и явился в полку к своим начальникам. Штабы мои были: полковник Николай Иванович Морков; подполковники князь Николай Алексеевич Волконский и сверхкомплектный князь Иван Михайлович Щербатово; пример-майор[6] Кирила Федорович Тухачевский; секунд-майор и настоящий правитель полка Ираклий Иванович Морков, брат родной полковничий. Все они меня любили и были ко мне милостивы. Записан я в 7-ю роту, которой командовал капитан Григорьев, но, не исправляя службы в полку, я не имел случая ни разу его видеть. Полк стоял в столице. В Московской диви-

зии, которой командовал князь Долгорукий-Крымский, а под ним зять его родной граф Мусин-Пушкин, находились 3 полка пехоты и 1 конный. Все они расположены были по квартерам в Москве.

Новое образование гражданских мест открыло и отцу моему новые пути в службе. Еще в 1775 годе издано высочайшее учреждение губерний. Екатерина, уничтожая коллегии, воеводства, губернские и провинциальные канцелярии со всем их причтом, хотела ввести новое правительство в России и создала новое тело политическое в своей империи. Генерал-прокурор князь Вяземский обязан был открыть разные новоучрежденные казначейства под особенными наименованиями. В начальники одного из них, Остаточным называемого, определен мой отец. Сии обстоятельства большое имели влияние на наш дом. Надлежало батюшке ехать в Петербург, потому что казначейство его, состоящее под непосредственным ведомством генерал-прокурора, находилось там. В это казначейство вступали все остатки от штатных расходов по государству, что и дало ему его наименование. Начальник оного обязан был вести остаткам счет и не иначе располагать расходом оных, как по именным высочайшим соизволениям, объявляемым тому казначейству генерал-прокурором. При сем назначении батюшка пожалован в статские советники. Тогда этот чин давал право ездить в 6 лошадей и носить шляпу с плюмажем[7]. Вот все его собственные преимущества. Отцу моему нельзя было никак перевезти в Петербург всего своего семейства: ни слабость здоровья матушкиного, ни ощущаемая уже расстройка их имения сего не позволяли. Итак, батюшка должен был оторваться от своего семейства и, в надежде лично произвести какой-нибудь переворот выгодный для себя по службе перемещением опять в Москву на значительное место, собрался он налегке и поехал один к новому году. Сколько сначала мы обрадовались его повышению, столько при разлуке с ним сделалось оно для нас вообще горестным, а паче для матушки, которая во все время супружества своего никогда с ним не расставалась. Но случаи мира бегут, как реки, и противу волн их кто постоит? Простились мы с родителем и остались домовничать одни в Москве.

1781

1-го числа генваря отец мой открывал уже в Петербурге Остаточное казначейство и вступал в обязанности новой своей службы. Моя в Москве между тем шла начатым порядком. В будни я сидел дома, в празд-

ники стоял у дверей княжего кабинета и ждал посылки или приказа. Летом случилось со мной обстоятельство и маловажное, и слезное по возрасту моему. Дивизия московская в хорошее время года выходила в лагерь; располагали его для всех четырех полков обыкновенно под селом Всесвятским[1]. В нашем полку мало было офицеров. Многие числились в раскомандировке. Нас и уговорили, меня с прочими, для приумножения офицеров выйтить в строй только на один тот раз, как полк станет выступать в лагерь, и промаршировать перед взводом до Ходынки городом. Не спрося ни у кого на это дозволения, я и некоторые товарищи, принадлежавшие со мной к штату князя Долгорукого-Крымского, явились сами собой к майору Моркову. Тот назначил нам места при полку, и я в превеликом торжестве, надевши знак, шарф, вооружась ружьем, начал, по улицам маршируя, кричать солдатам с рыцарскою надменностию: «В ногу!». Карет множество по улицам стояло. Все смотрели на нас, как на зрелище, и мои домашние все выехали на нашу дорогу. Мамы, няньки, все выкатили на меня любоваться. Я ощущал восторг прямо неописанный. Князь Долгорукий всегда выезжал сам смотреть подобные полковые действии. Он у Арбатских ворот стоял на крыльце аптеки и дожидался полку. Поравнявшись с ним, каждый офицер обязан был салютовать. На беду мою, лишь стал я размахивать ружьем и делаться молодцом, князь меня узнал и, спрося у Попова, старшего при нем чиновника, кто меня и прочих отпустил в полк, приказал за самовольный поступок арестовать и, поелику нам нравится полевая служба более, нежели честь принадлежать к его штату, то чтоб нас всех при бумаге и отправили назад по полкам. Шутка становилась не смешна. Не знавши такого гнева, мы шли да шли. Дойдя до лагеря, устали до смерти; я ни в одну ночь так крепко не спал, как в эту, воротясь на свой домашний тюфяк. Назавтра поехал я к князю и заранее восхищался похвалами, которые за мою ловкость и проворство непременно меня осыплют, как вдруг г. Попов, грозное повеление княжее мне объявя, поразил меня ужасом. Позабавившись моим смущением, сказал наконец, что он снял все на себя и винился князю, будто бы мы просились у него и он нас без доклада отпустил. Этим все дело кончилось. Арест отменен, и я по-прежнему остался на ординарцах. Князь лично сам никогда мне об этом ни слова не изволил сказать.

Осенью очистилась в канцелярии княжей секретарская ваканция. По штату военному это место приносило чин поручика. Князь, благодетельствуя мне искренно, доставил мне и чин сей, и место, и готовил постепен-

но в свои адъютанты. Разумеется, что я был секретарем только по названию и продолжал по-прежнему числиться при канцелярии. Управлял ею вышепомянутый г. Попов, секунд-майор, предназначенный судьбою стать со временем наряду с первыми чинами в государстве. Старшим адъютантом у князя был ближайший его родственник, князь Дмитрий Михайлович Черкасский[2], младшими Плещеев и Миллер. Сему последнему истекал шестилетний срок, и на его место князь готовил меня. Дежур-майором г. Толь. Все эти новые мои начальники обходились со мной хорошо и благосклонно. Самолюбие уже во мне начинало играть. Я не хотел просто носить звание и не исправлять его, стыдился упреков своей братьи, что или я ленив и ничего не делаю, или не имею к назначению моему способности. Однажды я решительно доложил князю, что я хочу трудиться и чтоб он приказал на меня возложить всю тягость секретарской должности. Князь улыбнулся моему рьяному приступу, позвал Попова и приказал употребить меня по способности. Попов из насмешки княжей отгадал, что он хочет сыграть со мною шутку и самолюбивый порыв мой понизить, тотчас позвал меня в канцелярию и, положа передо мной до сту пакетов в разные полки и места, приказал надписывать на них адресы. Стыд мой увеличился. Я увидел, что я осмеян, и, исполнив сквозь слез поручение Попова, за счастье счел и милость, что более уже меня к такому пустому труду не призывали, и остался спокоен дома на прежней ноге, то есть надевал по воскресеньям шарф, являлся к князю и от него по праздникам езжал с поздравлением к знатнейшим старушкам в городе, а по табельным дням у кареты его сиятельства на смирной лошадке сопровождал его в собор к молебну. Хоть не пышна была моя служба, но зато как бывал я рад и доволен собою, когда рыженький мой клепер[3] станет прыгать в полкурбета[4], и я на Красной площади, под барабанный бой, задорю его шпорами и гляжу по сторонам на чернь, изумленную моей храбростью. Аннибал не так был горд под стенами Рима.

В домашнем быту я находил новые забавы и новые занятии. Равномерно раскрывались от первых новые слабости, а от последних новые познании. Дядя мой родной генерал-поручик Степан Матвеевич Ржевский, то есть муж сестры родной моей матери, Софьи Николаевны, незадолго пред сим привез из Питера воспитавшихся в Смольном монастыре двух дочерей своих, моих двоюродных сестр, Феодосью и Прасковью. Они имели большие природные даровании и склонность к рассеянной жизни. Отец их, человек отменно бойкий, мастер военного

ремесла, души не самой чистой, но ума превосходного, купил дом в Москве, расположился в ней житьем и поставил театр, на котором, по приглашению его, с дозволения батюшки, сестры мои и я, мы всю зиму играли комедии. Общество наше актерское сделалось очень велико. Всегда народу множество. Кто не поищет входа в такой дом, в котором гусли и всякое мусикийское[5] согласие? И знатные и мелкие люди, и старики и ребята, все к Ржевскому ездили. Всякий вечер были у нас репетиции, а после театров настоящих балы. В такой неугомонной жизни ознакомился я с большим светом, сделался известен всей моей братьи молодежи и мало-помалу отставал от домашних уединенных упражнений. Подстрекаем самолюбием блеснуть на поприще театральной славы, я вырабатывал прилежно свой природный талант и готовился быть знаменит между молодыми людьми в этом искусстве. Играя на французском языке, я свыкся с его слогом, оборотами, приучился выражать чисто и правильно, чего никакая школьная теория не дает без употребления, и обогатил память свою многими стихами, кои потом в обществе мне очень пригодились. Так провождая время, я увлекался в роскошь и стал делать разные издержки, превосходящие мое положение. Надобно сказать, что батюшка, желая мне дать свободу распоряжать деньгами по моему произволу и приучать меня самым употреблением их находить пристойную меру в моих издержках, при отъезде своем назначить изволил мне на мои мелкие прихоти по 150 рублей в год. Все нужное для меня в этот счет отнюдь не входило. Сии деньги, приходя прямо в мои руки, без охранения или правил сторонних, ознакомили меня с собственностию. Отсюда я первое получил понятие о прямом смысле сего слова. Но театр, балы, всегда его сопровождавшие, щегольство наружное, желание равняться со всеми перекинуло меня далеко за пределы определенного. На кого сии суеты в те же лета, да иногда и во всю жизнь не действуют? Кто умнее был меня в 18 лет, пусть кинет в меня камень! Я сделал долгу еще в начале года 80 рублей; для меня такая сумма была значительна. Зоркий мой Совере узнал о моих запутанных финансах и, по долгу звания своего, предупредил батюшку в Петербурге. Родитель заплатил мои долги и письмом нежным, рассудительным, без излишних угроз и строгости, попенял мне, что я уклоняюсь от его советов. Я столь любил моего отца, что одна строка, изъявляющая его неудовольствие, более меня трогала, чем выговоры ста владык земных. Я тотчас очувствовался и вошел в определенные мне границы, а матушка покрепче изволила меня придержать дома и, поели-

ку с Великим постом миновались наши зрелища, то и способ соблазняться суетами мира сам собой прекратился.

С весною вместе и Совере задумал на родину. Он хотел сесть на корабль и плыть домой. Обязательства его с домом нашим удовлетворительно были кончены. Ничто его не останавливало. Грустно было мне с ним расставаться. Хотя, по свойству всех почти детей, наставники строгие им не нравятся, но мне и тогда жаль было Совере, расставаясь с ним, и теперь, помышляя о том, когда у меня сын растет, жалею, что он не остался в России и что не могу ему вверить своего Павлуши. Достойнейший был человек, какого только найтить можно в толпе неизвестных иноземцев, за золотом нашим в Россию притекающих. Я вечною благодарностию буду обязан г-ну Совере как образователю моему, наставнику и учителю. Теперь только я умею дать полную цену его со мной поступкам и обращению, и они никогда из памяти моей не истребятся. Он ко мне писал один раз только из Петербурга, когда отправился в свое отечество, но потом я от него не имел уже ниоткуда ни строчки, а сторонним образом знаю, что он в своей отчизне, то есть в провинции Poitiers, живет в самом губернском городе Poitou[6], где, исправляя должность адвоката, находится в хорошем состоянии[7]. Слава Богу!

По отъезде его я остался на матушкиных руках повольней прежнего, но с осторожностию, ибо я обязан был каждую почту давать лично сам отчет батюшке в моих занятиях и провождении времени. Я уже умел дорожить его доверенностию и привыкал за грех считать ему солгать. Ко многим моим школьным занятиям, ибо я продолжал учиться математике, немецкому языку, ездил в манеж, фехтовал и танцевал, прибавилось еще другое, ненужное для меня, это правда, но отчасти не вовсе бесполезное.

В новом доме нашем на Тверской, в котором уже мы давно и жили, батюшка построил домовую церковь. Мать моя была отменно набожна, не выезжала уже или очень редко в свет и не могла обойтиться без вседневного у себя Богослужения. По слабости ее здоровья, не могла она ни ездить, ни поспевать в учрежденные часы для молитвы в приходские храмы. Батюшка, желая во всем ее успокоить, выпросил у тогдашнего архиерея Платона благословение поставить в покоях своих церковь. Платон был тяжел на эти вещи, он не любил домовых церквей, но батюшка был прокурором еще Коллегии экономии, а сия последняя в такой связи находилась с духовными местами и лицами, что Платон, имея нужду в хорошем к себе расположении чинов ее, принужден был церковь дать. Освящал ее приятель нашего дома Самуил, о котором я говорил в

первом отделении. Он тогда был архиереем Крутицким и Можайским и жил в Москве рядом с нашим домом, на так называемом Саввинском подворье[8]. Я все эти подробности здесь помещаю, потому что они явственнее представляют моему воображению самое обстоятельство того времени. Как теперь будто гляжу на всю эту духовную церемонию! У нас не было певчих; один только старый служитель и пел, и читал. Матушка приказала мне ходить иногда прочесть и пропеть в пособье старику. Сперва я это исполнял не без принуждения, признаюсь, но потом сам приохотился и всякий день являлся в церковь отправлять службу. Это так меня ознакомило с уставом церковным, что я и теперь укажу всякому дьячку его дело без ошибки. Все, что мы в молодых летах выучиваем, да еще и по охоте, остается в памяти до гроба. Спросят меня, какую я из этого получил пользу? Ведь, кажется, никакой. Ошибка! Читавши Псалтирь ежедневно и весь церковный круг, особенно Постную Триодь, собрание лучших церковных сочинений[9], я так вызнал красоты славянского языка, так много затвердил прекраснейших и даже пиитических фигур и выражений, что никакой учитель так глубоко их на лекции не врежет в разум. Смело скажу, что этот год мне дал первые основании, на коих утвердился вкус мой к словесности изящной, а паче к поэзии. Псалтирь, точно Псалтирь сделал меня со временем охотником стихи писать!

1782

Некто сказал: день следует за днем, а все они несходны. Что ж скажем мы о годах? Всякий несет свой груз и сваливает его на плеча человеческие.

Князь Василий Михайлович, начальник мой, благодетель, отец, можно сказать, по службе, скончался 30 генваря в 5 часов пополудни. Он только три дни был болен. Накануне кончины, в субботу пред заговеньем на масленицу, он еще допускал к себе просителей и подписал несколько бумаг. В воскресенье сделалось ему очень тяжело. Он был сложения сырого и толст. Вотще все медики съезжались и делали совещании несколько раз. Ничто не помогло. В последние минуты жизни сей верный христианин сообщился всем таинствам веры, и пред вечером Москва лишилась своего беспримерного градоначальника. Не стало ее покровителя, вождя, сына и патриота. Оставил юдоль сию боярин русский! Твер-

дый сподвижник великой самодержицы, он был в свое время образец князя Якова Федоровича во времена Петровы[1]. Все о нем плакали. Что ж говорить о домашних? Они бродили без чувств в чертогах своего отца, как тени около мертвого тела. Какое состояние людей в столице не оплакало его кончины? Дворянин, воин, судья, купец, мещанин, крестьянин — всем жаль было своего правосудного вельможи. Духовенство оросило прах его слезами, и скоро вся Россия вздохнула о своей потере. Екатерина ценила свойства сего служителя и сама тужила о смерти знаменитейшего из бояр российских.

Что, посреди сего сонма плачущих, что скажу о себе, едва в мир вошедшем? Я плакал ежеминутно. Я скорбел до глубины души. Эта была первая печаль, которой небо начинало приучать слабое сердце мое к огорчениям. Я почувствовал первую язву душевную. Она была нова и тем более раздражала всю природу мою. В первом движении не входили мне на разум те необходимые расчеты, что участь моя вселяется в один гроб с тем, кто пекся о устроении ее, что надежды мои в заре жизни уже исчезают, что смерть князя Василия Михайловича делает переворот во всей моей службе и, следовательно, во всей будущей судьбе. Такие соображении еще не действовали на юный мой рассудок. Я плакал потому, что мне его было жаль, потому, что я в доме его находил себе прибежище, любовь, ласки и благодеянии и что одна минута всего этого меня вдруг лишила.

Тело вскрыто, и столь поспешной кончине, почти без болезни, явилась физическая причина. Нарыв на легком скоропостижно прорвался и задушил его. Платон отпевал тело в Богоявленском монастыре 2 февраля. Похороны отправлены с церемонией, подобающей праху толь великого мужа. Я не говорю о пышности. Ничто не было пощажено; но кто деньгами сей почести не купит? Нет! Я разумею здесь плач всего воинства, стон всего народа. Москва, казалось, собралась вся около его катафалка, Москва — древняя столица, престол наших владык, колыбель наших бояр — Москва в потоке слез лобзала мертвые остатки стража своего спокойствия и благосостояния. Платон изрек проповедь. Вопль слышен был в храме и на распутиях. Забыта масленица, забыты пиршества ее: все в черном платье, все на пути гроба. Оруженосцы, в два ряда поставленные от самого дома до храма, отдавали последнюю честь крымскому герою. Генералы окружали гробницу и обрегали еще за пределами смерти своего предводителя. Пушки возвещали окрестностям города, что победоносный вождь российских сил совершил свое житейское поприще,

что нет уже Долгорукого-Крымского на свете. По окончании духовного обряда тело отвезено в Полуёхтово[2], собственную княжую деревню недалеко от Москвы, в которой он сам за год пред сим, 30 генваря, отслушав обедню, назначил место своей могилы. Увы! Потеряв его, я глядел уже на всех лиц в его семействе как на посторонних. Никогда не забуду милостей их ко мне, до последнего издыхания сохраню уважение и возблагоговею пред последним из членов его семейства, но никто в нем уже не восставит для меня того, кого я лишился.

Все, что мы в нежных возрастах жизни ощущаем, делает сильное впечатление в сердце. Самые обыкновенные случаи становятся или бедою, или счастием; нет мер ни восторгам радости, ни унынию печали. Так и тогда действовала на меня смерть князя Василия Михайловича. Опыты научили меня уже ныне ставить подобные потери в ряду с естественными и весьма обыкновенными происшествиями. Я уверен, что в жизни моей встретятся со мной огорчении сильнее этого, но, по мере как мы растем, рассудок наш принимает большую силу над сердцем, душа страждет под бременем напасти, но разум вместе с тем ставит оплоты чувствам, удерживает их порыв, и, так сказать, рядом с бедою, которая жмет душу, сила рассудка подкрепляет ее и противоборствует унынию, подобно как зданье, получая откуда-либо потрясение, удерживается в целости своей столпами, кои служат ему подпорой. Но в молодости незрелой, когда опытов еще нет, а рассудок не развернулся, чувство самое слабое преобладает одно над душою. Ничто ему не препятствует, ничто его не отражает, и юноша падает совершенно, точно так, как бы получа самый разительный удар. Вся масса его чувств захвачена вдруг, и он ни в разуме собственном, ни в предметах внешних не умеет найтить себе отрады. Так, обыкновенно, маловажные печали превращаются в напасти, когда мы в 18 лет принуждены встречать первые опыты, раздражающие наше мягкое сердце.

По смерти князя весь штат его отправлен для расписания по полкам в Военную коллегию. И мне надо было туда явиться. Батюшка писал, чтоб меня отправили в Петербург, и прислан был за мной адъютант дяди моего барона Строганова, г. Рябов. Новая печаль водворилась в мою душу, новую скорбь моральную почувствовало мое сердце. Надобно было расставаться с родиной, покинуть родительский дом, разорвать свычку с родными, с одинокровными, ехать в новый мир, жить с новыми людьми. Много я любил отца своего и желал с ним быть вместе, но он не мог вмещать в себе один всех отношений моего возраста. Петербург казался мне

иностранной землею. Никого я там не знал, ни о ком не слыхал, любопытство тянуло меня туда, это правда, но разлука с матушкой, с сестрами, с домашними меня крушила. Полно, думал я, слушать вечерни и заутрени, полно также и московские забавы делить с сверстниками, а там найду ли их? Бог знает! Молодой человек не умеет еще теряться в пространствах будущего времени. Он любит настоящее и гонится за бабочками около себя. Но приговор отъезда был решителен, и слезы мои отвести его не могли. Я плакал, а меня сажали в повозку, и матушка не имела сил со мной проститься.

Отслушав в последний раз в семействе своем вербную всенощную, я в ту же ночь, то есть на 19-е число марта, отправлен в Петербург. Распутица уже начиналась, дороги портились; Рябов не мог спешить, и, так как я в первый раз предпринимал дорогу, да и зимой еще, то мы не всякую ночь ехали, роздыхи наши были продолжительны. Города, на пути лежащие, привлекли мое внимание. Я думал, что, кроме Москвы, нет нигде подобных улиц, ни домов, ни зданий. Тверь, Новгород показали мне, что и кроме Москвы много везде есть хорошего. Смотря на развалины Новгорода, я не умел еще философствовать и, воспоминая век его свободы, кружиться в химерах воображения. Вечевой колокол, Рюрик и старые наши российские событии не входили мне в голову. Наконец, в Великий четверток 24 марта привезен я в Петербург и, кинувшись в объятии моего отца, мысленно облобызал с ним вместе всю свою московскую семью и отдохнул с приятностию от тревог сердечных, от дорожных беспокойств. Батюшка нанимал целый дом, и в нем приготовлено было для меня несколько комнат, в которых я расположился очень покойно.

Петербург очаровал мою голову, но не пленил моего сердца. На другой день моего приезда я на все смотрел с изумлением, но все жалел о Москве. С Великой пятницей соединился в этот год праздник Благовещения[3]. Все полки гвардии имели свои собственные праздники. Конной гвардии принадлежал Благовещеньев день, и у двора бывал съезд. Батюшка повез меня с собой во дворец. Тут у меня глаза разбрелись так, что я не мог сладить с моими мыслями. Все мне было в диковинку, все казалось бесподобно. Батюшка представил меня моим родным петербургским и знатным тамошним господам. Все на меня глядели как на мальчишку, и мне досадно было, для чего так же не дивятся мне, как и я всему? В то же время выпущено было множество молодых людей из Кадетского корпуса, и меня принимали за кадета. Между молодежью я был неловок, дик, застенчив и мало получил успеха в большом свете.

Скромность уже переставала становиться добродетелью в молодом человеке, и хотя не почитали наглость за достоинство, однако такой робкий мальчик, как я, более похож был на красную девушку, нежели на существо другого пола.

Батюшка, желая мне доставить всякое удовольствие, тотчас снабдить меня изволил модною гардеробой. Появились на мне фраки, шитые славным тогдашним портным Венкером, купили мне лорнет, ибо он был отличительным знаком лучшего тона, дали мне карету, кошелек с деньгами и начали меня брить. Позволено нюхать табак. Мало-помалу, сделался я весьма довольным своим положением, но, при всех этих преимуществах, надзор отца моего за мною был очень строг. Никуда, не спросясь у него, я не смел отлучиться. Большую часть дня просиживал с ним, и он образовал своими поучениями мой разум, мое сердце. Частые мои выезды бывали в родственные домы: то к дяде барону Александру Николаевичу, то к двум родным теткам, вдовствующим супругам других братьев моей матери. Всякий праздник я обязан был являться к родной своей бабке, баронессе Марье Артемьевне Строгановой[4]. Во всех этих домах я ознакомливался с лучшими людьми в городе. Дома писывал письма к своим родным, в подробности уведомлял матушку и сестер о всем, что я видел, слышал и что со мной происходило. На таком основании текла моя жизнь в Петербурге, и я очень скоро привык к ее единообразности.

Первый случай, который подействовал на все мои чувства, был день Светлого Христова воскресенья и образ его отправления в Петербурге. Привыкнувши дома в Москве распоряжать крестным ходом, устанавливать людей с образами, суетиться и в церкви, и в комнатах, и на дворе, со всеми свободно христосоваться и, наконец, катать яйца для отдохновения от нескольких десятков визит, кои собьют с ног всю нашу конюшню, я на превращенье сцены здесь глядел, как на чудо, и от всех предметов, меня окружающих, был вне себя. Великолепие дворца и праздничной церемонии; пушечный сигнал в полночь и вместе с ним скачка всех живущих в городе к придворной заутрени; лучезарное освещение храма; толпы разных мундиров и лиц всякого народа; богатство придворных вельмож и золотые их платья; величественный вход самодержицы и гул, раздающийся во всех концах пространных ее чертогов, — все это вместе составляло для меня очаровательнейшую картину земного рая. Но все это зрелище ничего не значило в сравнении с тою минутой, в которую я, по принятому при дворе обряду, удостоился, вслед за многими сотнями людей старее меня и чиновнее, приблизиться к монаршему месту и поца-

ловать Екатеринину руку, ту руку, которая правила целым государством и держала без помощи сторонней, одна, бразды всего правления. Восторг мой в эту минуту был неописан. Я не принадлежал ни к какому сборищу. Всякий полк подходил с своими чинами сам по себе, а я, в толпе разнородных лиц и племен, смешан с казаками, гусарами и заезжими судьями, я, в своем полевом мундире, составляющий какую-то мелкую единицу в целом, без начальника и предводителя, шел в нитке с другими и с трепетом прикоснулся к деснице Екатерининой. О! Если б все с таким благоговением внутренним взирали на трон, с каким я робкие возводил взоры на милосердое чело императрицы, как бы счастливы были и цари и подданные! Но что для меня было в диковинку, то для многих уже было слишком обыкновенно. У двора в этот день заутреня отправляется всегда без расходу с обедней. После обедни все разъезжаются домой спать, и мы с батюшкой сделали то же. Над Невой уже восходило яркое светило дня, но мне не до прелестей было природы, я утомлен был чрезвычайно и, как приехал, так и уснул. Некогда было даже потужить и о Москве, сон отнял у меня все чувства и помышлении.

Отдохнувши порядочно, мы с батюшкой обедали у дяди и после обеда опять собрались во дворец. Там отправляется обыкновенно вечерня, публично и с большим великолепием. Двор в том же наряде, как и у обедни. Все дамы съезжаются поздравлять государыню. После вечерни и в церкви подходят к руке, а во внутренних покоях все иностранные министры государыню приветствуют и допущаются также к руке. Тут я увидел все красоты Петрополя в пышных нарядах, тьму прелестей, коими обогащается сия столица, о которой можно сказать языком Сумарокова:

И небо, осудя ее на жертву хладу,
Рождает красоту на место винограду[5].

Тут заметил я собор дипломатов со всего света, приносящих в дань Екатерине восторг и изумление всех владык вселенной. Тут я учился познавать, что престол российский, когда мудрый царь сидит на нем, есть трон первого владыки в свете. Какая сановитость пленительная в императрице! Какой блеск во всей ее прислуге! Какое трепетное уважение к священной ее особе, и сколько хамелеонов в этом величайшем замке, который называется дворцом. Довольно видеть две-три церемонии, чтоб отгадывать, что такое двор и люди у двора. Во вторник на Святой неделе бывает огромный бал при дворе, и батюшка мне его показал. Я ходил

3 Зак. № 3535

только из стороны в сторону в пространной зале, наполненной дворянством, но танцевать не мог — одни гвардии офицеры сей честью пользуются — но много видел, много заметил, и Святая неделя в настоящем годе была большим шагом для меня в просвещении и значительным уроком в науке жить с людьми.

Между тем представился мне благоприятный случай вступить в гвардию. Брат мой двоюродный граф Скавронский помолвил жениться на фрейлине Энгелгардовой Катерине Васильевне, племяннице и любовнице князя Потемкина, который был при Екатерине то, что Меншиков при Петре Великом, Бирон при Анне, Шувалов при Елизавете[6], то есть первый фаворит и сильный вельможа в России. Племянница его несла в приданое за собою жениху милости дяди и прекраснейшие черты лица, а брат мой дарил ей с именем своим богатое состояние. Из этого союза для меня произошла польза та, что граф Скавронский просил Потемкина о помещении меня в гвардию, и князь, на первых порах желая приласкать графа как будущего свойственника, не отказал ему в просьбе. По ходатайству князя Василья Васильевича Долгорукого, которого Потемкин любил за то, что он угождал его капризам[7], весь штат покойного отца его, во уважение заслуг князя Долгорукого-Крымского, пережаловать велено в чины. В том числе следовало и мне получить капитанский чин. Указ о сем общем повышении выпущен 21 апреля, в день рожденья государыни, который она всегда любила ознаменовывать подобными щедротами. Не было дотоле примера, чтоб жаловали чей-нибудь штат по смерти генерала. Попов тогда взят в правители канцелярии к Потемкину и полетел в чины, а я, по предстательству Скавронского, пожалован из секретарей в прапорщики в гвардию и написан в Семеновский полк, в котором служил пример-майором князь Василий Васильевич, следовательно, из-под начальства отца поступил я в команду к сыну, но сменить ни в каком отношении против себя их двух не могу. Сим переворотом я поравнялся со всеми моими сверстниками в большом свете, а Петербург сделался моим жилищем. Приказ обо мне отдан в полк 4 мая. Написан я в 7-ю роту и тотчас вступил в действительную фрунтовую службу, которая меня ознакомила со многими молодыми людьми. Мундир гвардейский отворил мне двери во все лучшие домы. Перевод мой в гвардию обрадовал очень батюшку, потому что я попал на порядочную дорогу. Матушка также чрезвычайно этому обрадовалась, а обо мне и говорить нечего. Мундир с галунами, шарф через плечо и знак на голубой ленте были такие для меня обновы, что никакие детские игрушки с ними со-

перничество выдержать не могли. Вот, наконец, во что переродился великолепный полковничий патент короля Польского.

Батюшка, обмундировав меня что называется с ног до головы, повез меня в Сарское Село, увеселительный замок российских государей, в котором императрица всякое лето изволила жить в простоте сельской и соединяла с заботами своего звания ученые свои упражнении. Там живали при ней только самые ближние ее царедворцы, разумеется, и Потемкин. Он нигде без крайней нужды от нее не отлучался. Скавронский, как жених, был на бессменном дежурстве по чину камер-юнкера, и мы с батюшкой, поблагодаря его, были им представлены князю, а потом невесте его, и перед ними, как перед святыми иконами земного Бога, клали униженные поклоны за исходатайстванную мне милость. Внуки императрицы, великие князья Александр и Константин, часто гуляли по саду, и я, нечаянно встретясь с ними, представился. Садовая эта аудиенция не сопровождалась никаким обрядом. Мальчик встретил детей; первый вытянулся, последние протянули ручонки, и все тем кончилось. Но для меня всякий подобный случай казался происшествием чрезвычайным. Пришедши к себе, я его записывал в книжку. Отправя обычные идолопоклонничества в Сарском Селе, оставалось нам ждать того дня, в который приказано будет представиться благодарить государыню, ибо в Сарском Селе это было не в обряде. И цари любят играть комедию. Вне города они хотят уверить, будто они, по-нашему, в деревне и будто они там уже не владыки, а просто философы уединенные.

Начальниками моими в полку были следующие особы. Сама государыня именовалась полковником всей гвардии. Она и мундир гвардейский в полковые праздники нашивала, то есть женское платье зеленого цвета с золотым галуном по борту и медными пуговицами. Подполковники в Семеновском были генерал-аншеф Вадковский и генерал-аншеф граф Брюс; пример-майорами Кашкин, который только числился по спискам, а тогда управлял Сибирью, князь Долгорукий, о котором я сказал выше, но и сей более служил в армии как генерал-майор, нежели при полку, и Левашов. Этот правил полком, находясь при нем, а более при дворе, где он был и флигель-адъютантом[8]. Секунд-майора не было. Капитан 7-й роты и непосредственный мой начальник — господин Марсочников. Всей гвардии было четыре полка: Преображенский, Семеновский, который я буду впредь называть нашим, Измайловский и Конный. Преображенский составлен был из четырех, а прочие два из трех баталионов, впрочем, во всех в них был один штат, один оклад, один род службы.

Преимущества у всех были общие. Каждый офицер гвардии равнялся с штаб-офицером армейским, он имел право ездить четверней, во дворце ходить за унтер-офицерский пост в большую залу собрания, на балах придворных мог танцевать и, выходя в армию, из самых младших чинов получал пример-майорский. Патенты ему подписывала сама императрица. Обязанности службы обычайные состояли в том, чтоб ходить на караул в одни только императорские домы и держать дежурство при полку. Прочее время все оставалось нам на наше удовольствие и забавы.

Заметить здесь приятно, что тот же самый Вадковский, который ныне был подполковником и моим начальником, служил в том же полку капитаном, когда отец мой в нем был сержантом, и, следовательно, мы с батюшкой служили в разное время, но под одним и тем же командиром.

Первые почести моей новой службы состояли в вестовом. Солдат, который ежедневно в 7 часов утра являлся ко мне топнуть ногой, подать рапортичку о числе людей в роте (до которого мне, впрочем, никакого дела не было) и спросить: «Что прикажете, ваше благородие?». «Поди домой», — вот весь приказ мой бывало. Солдат опять топнет ногой и пойдет к жене, продавать выработанные ею султаны. Они все этим промышляли. По субботам, как младший офицер, я ездил в ротный двор читать солдатам артикул, который они мало слушали, худо понимали и хуже того исполняли, а я все это называл трудами моего звания. Расскажу для смеха забавную мою на сей счет проказу. Множество дворян служило в полках гвардии в унтер-офицерских чинах, и все наличные обязаны были ходить к слушанию артикула. Однажды по перекличке моей не явился молоденький мальчик из дворян. Артикул читают — его нет; оканчивается чтенье — и он в двери. Я как начальник принял грозный вид и размышлял минут пять, чем бы его наказать за такое пренебрежение к должности? А не наказать нельзя, дабы не пострадала от того *дисциплина*. Дворян бить нельзя! Что ж делать? Мне пришло в голову наказать его стыдом. Я велел его положить на стол и всем солдатам прощаться с ним, как с усопшим. Комедию эту вмиг сыграли. Офицер приказал, как солдату не слушаться? Мальчика человек сто расцеловали. Он чуть не задохся и едва не сделался вправду усопшим. Проказа моя разнеслась по всему полку, и вместо рукоплесканий, коих я ожидал за мой благоразумный вымысел, подполковник публично назвал меня шалуном, а капитану моему досталось за мои славные подвиги. Разумеется, что я не имел уже охоты повторять тех же опытов моей дисциплины.

14 мая нарядили меня в первый раз на караул в Зимний дворец. Без государыни обыкновенно туда ходили с ротой неполной, три офицера. Старший всегда бывал капитан-поручик. На завтра, 15 число, приходился Троицын день[9]. Праздник Измайловского полку, для которого государыня изволила приехать в город и остановилась в летнем дворце, куда наряжена на караул с нашего полку полная рота со всеми офицерами и взвод гренадер. В местах присутствия государыни караул менялся каждые сутки, и всякий полк содержал его три дни сряду, кроме Преображенского, который, имея пред прочими баталион один лишний, на четыре дни выходил в караул. С тех дворцов, где не было государыни, караул не сменялся по три дни сряду, итак, я должен был трои сутки прожить в Зимнем дворце, тогда как весь город сосредоточивался около летнего дворца, и там происходили все забавы молодого человека. В первый еще раз почувствовал я неудовольствие службы. Принужденность ее меня раздражила, но поелику обязан я был как новый офицер представиться государыне и благодарить за чин, то меня на одно утро Троицына дня спустили с караула, и я явился в летний дворец, где после обедни представлен был государыне по обряду обер-камергером[10], стал на одно колено и поцаловал у нее руку. Потом поворотили меня опять в Зимний дворец, где я и проскучал трои сутки, узнав из этого первого опыта, что служба гвардейская, хотя и немудрена, однако налагает иногда очень скучные обязанности. Сад дворцовый наполнен был целый день народу и гуляк, а я сам-третей с незнакомыми людьми, сидя в четырех стенах, ходил по придворным залам и коридорам. Но по новости моей, признаюсь, что и это меня довольно занимало. По ночам спал я одетый во все тяжкие мои наряды; по утрам принашивали нам придворный чай и кофе в прегадкой, однако в серебряной посуде. Стол дворцовый накрывался для нас два раза в день и всегда на серебре. Блюд ставили много, но ничего в рот взять было нельзя со вкусом. Меду днем пили сколько хотели, по вечерам опять принашивали чай и кофе. Свеч отпускали пропасть, как для караульни, так и для освещения всех наших постов. Во всякое время дня прохаживаться мы могли против Зимнего дворца, по всей его набережной на Неве. Уж и это было для меня большое удовольствие. Иногда кого-нибудь встретишь, иногда услышишь отголоски чьей-нибудь серенады на Неве.

Нарочно как будто для того, чтоб я не завидовал своим товарищам, сделался в самый Троицын день сильный пожар на гостином дворе[11]. Целый день горели ряды, начав с полдня. Все войска и гвардия туда сбе-

жались. Сама царица изволила быть на пожаре, и от этой сумятицы мало было увеселения в городе. Отстояв первый свой трехсуточный караул, я ознакомился и с должностию, и с однополчанами, выучился своему делу и сделался настоящий офицер.

Нас двое новичков было вдруг в одном карауле, я и князь Голицын. Но этот еще был у нас в полку сержантом. Как я над ним величался! Как мне весело было показывать ему свою власть и могущество! Мать его и мой батюшка приезжали каждый день нас навещать в караульню, и я думал, что никто в отечестве так ревностно не трудился в эти трои сутки, как я.

Наступил Петров день[12]. Императрица всегда праздновала день именин сына своего и наследника престола в Петергофе. Там бывал славный маскарад, и весь Петрополь пешком, верхом, в каретах туда переносился. И меня батюшка возил с собою. Я говорю возил, чтоб показать, что на каждом новом шагу моем в публику руководствован я был отцом моим. Какое очаровательное представилось глазам моим зрелище! Сроду не видавши другой реки, кроме Неглинной и Москвы, я очутился на берегах моря. Бездна вод приводила в изумленье. Фонтаны меня зарадовали. Стеченье народу, подобное облаку насекомых в воздухе, более всего действовало на мое воображенье. Я всегда любил сходбища народные преимущественно всему другому, и самым красотам природы. Натура прекрасна, но она молчит. С людьми я говорю, и они меня разумеют. В тогдашние счастливые годы моей жизни я еще не знал, что они грызут друг друга. Отношении мои к ним так еще были мелки, что я не мог испытать ядовитого жала человеческого. Описание Петергофа не входит в план моего сочинения. Скажу только, что я от всего того, что мне в нем бросилось в глаза, от придворного великолепия, толпы народа, звуков разных музык, тьмачисленных огней в садах и на воде, от яхт, колеблемых морскими волнами, от Самсона, мещущего брызги свои выше всех крышек придворных зданий, словом, от всей пышности и суеты возвратился в Петербург, как из волшебного замка, вне себя, и не мог вместить своих восторгов.

Чтоб сравнять Петербург со всеми европейскими городами, недоставало в нем одного украшения, почти общего в европейских столицах. Набережные его из гранита по всей Неве; прекраснейшие каналы, рассекающие город на несколько островов; мраморные здании Исаакиевской церкви и дворца; протянутые под одну крышку целые ряды каменных домов; царские дворцы; славная решетка Летнего сада, на которую агли-

чане даже приезжали любоваться; широкие и прямые улицы, обширные площади — все сии преимущества столичных городов ставили Петербург почти выше всякого сравнения с каким-либо другим городом Европы. Чего ж недоставало? Монумента. Екатерина рассудила прославить век предшественника своего и создателя сей столицы Петра Великого. Она повелела воздвигнуть ему памятник вековечный[13]. Лесть придворная шепнула ей, дабы она приняла монумент в дар самой себе от народа. Мудрая жена отвергла льстивое предложение бояр, рекла: «Не мне, а Петру его поставим». Рекла и совершила обет свой. Из гор кремнистых в соседстве Петербурга вывезен ужасной величины гранит и обработан[14]. О нем сказал в стихах Рубан все, что может только выразить величественную идею сего приношения[15]. Кто их не читывал с восхищением?

На этой-то природной скале, поставленной на Исаакиевской площади против Невы, верфти и Сената, воздвигнут бронзовый истукан Петра Великого в естественную величину. Он изображен на коне в ту минуту, когда, преодолев все труды, взлетел на каменную гору и, открыв место, на коем построен Петербург, простирает руку на Неву и указывает на Адмиралтейство. Кумир сей, украшающий город более всех его сокровищ, должен был открыться в настоящем годе. Монумент поспел, но до времени огорожен был ширмами. Государыня хотела придать сему случаю всю принадлежащую Петру I славу и пышность. Она для сего назначить изволила 7 августа и сама распорядила церемонию[16]. Еще доныне не простыл энтузиазм, которым тогда Екатерина умела воспламенить народ свой. Дивясь и ныне лику Петра, — славят Екатерину.

Все полки гвардии и полевые были наряжены в строй. Фельдмаршал Голицын, поседевший во бранех, командовал всеми войсками. Все старики предводительствовали своими полками: Потемкин вел Преображенский, Вадковский шел пред Семеновским. От самого дворца во все улицы расставлены были войска с орудиями. Нева покрыта была яхтами и военными судами. Обе крепости[17] ожидали сигнала. Гвардия окружала монумент и по всей площади тянулась шпалерами. На балконе Сената императрица окружена была всеми государственными чинами и рой придворных журчал вокруг ее. Все с трепетом ожидало ее соизволения. Свистнула ракета! Огромные стены, заключавшие монумент, мгновенно пали. Явился изумленному взору своего народа Петр I. Яркое чело кумира воссияло солнечными лучами. Сама природа улыбалась северному полубогу. С этим мгновением воедино раздался во всем городе крик и огласилась вся площадь магическим словом русским «ура!». Отголоски

его разнесли звук свой во все края Петрополя. Полки престрашными залпами приветствовали препрославленного Петра. Гром пушек на судах и по крепостям неумолкно сотрясал твердь воздушную. Воды Невские быстро потекли к морю, возвестить о славе своего победителя. Флот воздвиг широкий флаг российский, знамена покрывали землю, став строем вокруг статуи, и все полки двинулись на поклонение Петру. Минерва северных стран, опершись на балкон, уклонилась пред ликом знаменитого своего предка[18], и все гражданские чины пали к стопам его раболепно. Не знаю, может ли быть что величественнее сей картины. Не смею и не могу изобразить ее.

Всем полкам велено было проходить повзводно около монумента и салютовать Петру, потом, идучи мимо Сената, отдавать честь Екатерине. Я шел перед взводом с капитаном Мятлевым. Шествие полков продолжалось часа три. Церемония происходила пополудни, а не прежде вечера кончилась. На что много говорить о бесподобном сем приношении Екатерины? Надпись на камне золотыми буквами в простоте своей все выражает: «Петру I-му Екатерина II». Все сказано в немногих сих словах. На сие торжественное открытие монумента выбиты были медали и жетоны серебряные. Офицеры, бывшие в строю, получили каждый медаль, а рядовые всех полков по жетону. Так исполнилось великое намерение патриотического духа премудрой монархини, и какой россиянин, не покрыв себя стыдом, забудет столь знаменитый подвиг достойной сподвижницы Петровой.

В сентябре месяце еще была огромная церемония у двора, которой я также был свидетелем. Государыня изволила учредить новый орден святого князя Владимира и сочинила статут его. 22 сентября, день, в который праздновалась ее коронация, назначен был для обновления сего ордена. Все государственные чины съехались ко двору. После литургии и обычного молебна освящены знаки гражданского сего ордена, и государыня изволила его возложить на себя. В то же время учреждена Кавалерская дума из 12 членов. Самые старшие и знатнейшие вельможи ее составили, и каждый из них получил большую ленту Владимирскую со звездою через плечо[19]. Орден разделен на 4 степени, на звездах надпись: «Польза, честь и слава». Государыне угодно было предназначить сей орден для чинов гражданских, но по времени он сделался общим, обратясь в награду также за военные заслуги[20]. Действие освящения сего ордена происходило в Капитуле всех российских орденов, для которого особый назначен был великолепный дом под названием Канцлерского. Ничего не упущено для при-

дачи сему церемониалу всей важности возможной, а я только что восхищался, как дитя, всеми этими пышными игрушками двора.

Зима в больших городах есть минута общих увеселений. Где же их больше, как не в Петербурге? Но я в них совсем не участвовал. С октября я занемог и месяца три высидел дома, у меня сделался нарыв под мышкой. Лекарь артиллерийский, который лечил батюшку, добрый и опытный старичок по имени Клавер принялся за меня систематически. Наслушавшись от батюшки, что я золотушен, он захотел меня вылечить совершенно и вместо одного нарыва произвел мне до четырех сряду, один после другого[21]. Всякий из них надобно было прорезывать, и я, по молодым летам моим, терпел несносную муку. К тому же запрещалось мне выходить из комнаты и менять воздух. Пища моя состояла из одного молочного и растений. Мяса вовсе не давали. Когда Клавер вытянул из меня обильное количество мокрот частыми нарывами, тогда спознакомил он меня и с lapis infernalis[22], которым прижигал он дикие наросты, и под конец года только я стал выздоравливать, но рана широкая на руке и красная, как бархат, оставалась у меня очень долго и после нового года под пластырем. Зато сколько я обязан этому старику Клаверу, он так меня вычистил, что с тех пор я никакого признака золотухи не имею уже и от этой проказы совершенно исцелен.

Столь продолжительная болезнь сама по себе мне надоела. К уединению я от природы не склонен, и лишенье петербургских удовольствий еще более меня огорчило. Знакомства я еще не имел, следовательно, никто меня не посещал; я был один в четырех стенах с своим дядькой[23], видал только батюшку, которого беседа была мне очень полезна, но нимало не весела, что весьма натурально. Человек в 18 лет редко понимает мужа в 50, редко имеет в мыслях и чувствах что-нибудь с ним общее, а сверх всего этого я потерял случай видеть такое торжество при дворе, в котором я сам мог быть маленьким действующим лицом.

День Введения[24] был праздник Семеновского полку. Подобно прочим полкам гвардии, государыня кушала в этот день со всеми штаб- и обер-офицерами того полка, и я бы воспользовался сим новым для меня преимуществом, но я не мог выехать и оттого плакал, как ребенок. Можно ли дивиться малодушию в мальчике моих лет, когда мы видим часто не более похвальное и в таких же обстоятельствах в людях пожилых?

Праздник наш был усугублен торжеством возвращения великого князя Павла Петровича из путешествия его в чужие краи[25]. Проездивши год по всем иностранным государствам, он накануне нашего праздни-

ка прибыл в Петербург. С большою пышностию отправлена церемония его встречи и нашего праздника вместе. Семеновские офицеры все обедали за столом государыни и с нею. Она изволила, по обряду, сама подносить им перед обедом водку, и все у нее целовали руку. Ввечеру был бал при дворе. Всего этого я не видал и, дома сидя, заливался слезами, воображая себя до крайности злополучным; и судьба, и небо, и люди, а более всех лекарь мой Клавер — все передо мной были виноваты. Но сколь выгодно для нас в молодости то, что подобные печали так же скоро проходят, как и родятся. От вздора станет грустно, от вздора грусть исчезнет.

В Рождество мне позволено было выехать, и я был у обедни во дворце, а 27, по обыкновению, ездил на придворный бал. Прежде оного имел счастие быть представлен их высочествам в их покоях. Все, бывшие на сей аудиенции, допущены к руке. Великий князь целовал мужчин в щеку. Сим кончились достопамятности моего собственного века в настоящем годе.

Прочтя его, кто не согласится со мною, что год сей наполнен был событий для меня очень занимательных. Я вступил в свет, увидел Петербург и блистательный двор российский во всей его славе. Увидел царский род и целовал руку всего августейшего дома, ознакомился с суетами большого света, вкусил его забавы, принял новый и лучший род службы, поравнялся со всеми молодыми людьми одного со мною происхождения, стяжал новые опыты, кои развернули во мне душевные способности, озарился новыми наставлениями моего отца, кои укрепили мой рассудок, приобрел вкус к занятиям полезным, вылечился от детского продолжительного недуга. Новая кровь полилась в жилах моих, новые соки улучшили физическую мою жизнь. Но все это купил я дорогой ценою — лишился благодетеля и расстался с родиной. Если класть то и другое на весы правды, удаля предубеждении, то едва равняется ли приобретение потере. Но где совершенство! Увы! Его нет в мире. Оставим химеры и выучимся верить, что радости наши и печали суть только ступеньки той лестницы узкой и крутой, по которой мы шагаем от ничтожества земного бытия нашего к существованию вечному в другом мире.

1783

В самый первый день года наряжен я был на караул. Рука у меня еще болела, и рана была не закрыта. К несчастию, морозы стояли сильные, и я много рисковал, но, выехавши на святках ко двору, я почитал преступ-

лением против чести пользоваться удовольствиями жизни, не неся наравне с прочими тягостей службы. Батюшка, одобряя мое побуждение, позволил мне отправить караул в надежде, что, из уважения к моей продолжительной болезни, окажут мне некоторое снисхождение, то есть позволят дойтить до места в капоте и поберечь руку от простуды. Тщетная надежда! Капитан, некто г. Левашов, брат родной нашего майора, который командовал караулом, был человек без малейшего о службе понятия и деревянного сердца. Он считал, что дисциплина постраждет, если он от первого под собой чиновника до последнего солдата не замучит строгостью военного этикета, и для того приказал от самого полку до дворца идтить всем офицерам в одних мундирах, несмотря на то, что когда увеличивался мороз до 15 градусов, государыня сама позволяла развод отправлять без всякой церемонии, просто. Для нее сберечь человека казалось гораздо полезнее, нежели двести одушевленных существ заморозить для того только, чтоб против своих окошек показать народу кукольную комедию. Прошу прощения у всего российского воинства, но мне всегда казаться будут их разводы и вахтпарады настоящим ребячеством. Тогда мороз был в 26 градусов. Левашов вел нас по всему городу церемонным шагом[1]. Я не привыкнул еще выдерживать суровость воздуха, да и с раною своею терпел более всех прочих. Нечего было делать, как повиноваться! Дошедши до дворца, мы просто сменили караул и, отстоявши сами в оном сутки, воротился я домой назавтра благополучно. Слава Богу, что это гвардейское дурачество (я не назову его никогда иначе) не произвело последствий и что холод не подействовал на мою руку. Сам лекарь мой старик Клавер ужаснулся, узнав мою отвагу, пенял батюшке, вдвое пенял мне и, если верить его опытному заключению, то я мог от этой шутки быть вечно без руки. Тяжело и на минуту зависеть от человека без разума! Я понимаю, что на приступе и штурме можно и должно иногда глядеть на людей как на простых животных. Философия отвергает это зверское правило, но военная наука допускает его, ибо в войне логика не у места. Но за развод у дворца, за простой развод, конечно, безбожно заставить себе подобного и простуду вытерпеть, не только подвергать вечному уродству. У Левашова была своя тактика. Слава Богу, что мне так легко с рук сошло.

Батюшке угодно было за потерянную мною зиму и за продолжительную болезнь сделать мне сильное удовольствие. Он знал мое сердце, мои чувства и дозволил мне проситься в отпуск в Москву, месяца на 4. Это был для меня подарок неоцененный; этим отец мой готовил и матушке

радость чрезвычайную. В гвардии отпуски были очень легки, иногда и на год увольняли офицеров. Полк находил в том свои выгоды. Комплектного числа офицеров было слишком много для службы обыкновенной, сверх того всегда были заштатные офицеры, но все на жалованьи. От роспуска их оставалось жалованье в полковой казне, и тем наполнялся экономический капитал, способствующий разным изворотам. Полки всегда были богати и могли выносить некоторую роскошь в мундирах солдатских и прочем. Я попросился на 4 месяца, но старший подполковник Вадковский заупрямился. Младший, граф Брюс, который всегда был с первым в перекорах, настоял в удовлетворении меня, и я получил отпуск по июнь. Эти два генералы наши не могли жить дружно; чего хотел Вадковский, тому противился Брюс, и в таком междоусобии властей каждому легко было достигать своей цели, поставя одного против другого. В половине генваря простился я с батюшкой, заключа с ним условие всякую почту уведомлять его из Москвы о моем провождении времени. Клавер снабдил меня некоторыми наставлениями насчет моей руки, которую надлежало еще лелеять и на которой доныне признаки страдальчества ее очевидны. 16 генваря в ночь полетел я на тройке почтовых в Москву и 19 числа приехал в столицу. При первом взгляде издали на золотые маковки наших церквей, на крест Ивана Великого сердце мое забилось, и я едва усидел в кибитке.

Кто научит меня описать чувства, наполнявшие душу мою, когда я увидел себя в объятиях матери и сестер? Увидеть свою родину есть удовольствие неописанное. Матушка, сестры, люди, домашние, все плакали от радости, видя меня паки в родительском доме, в новом чине, в новом совсем положении; я сам делил общие слезы, но они текли от восторга и не могли быть вредны. В Москве я живал сердечною жизнию, хотя в ребячестве, но я наслаждался некоторыми общими забавами. В Петербурге я был очарован, это правда, великолепием города, богатством вельмож, убранством стен их, но с людьми я нисколько не сблизился. Болезнь моя препятствовала мне сделать приятельские связи. Петербург для меня был еще иностранный город, а Москва — родина! Какое важное преимущество! Тут я родился, вырос, воспитался и жить начал. Где тот пасынок природы, который не обрадуется, войдя в свою хижину, не улыбнется, увидя родных, кровных, даже стены жилища прежнего? После первых движений радости я учредил свой новый род жизни. Уже я был не ребенок, уже не ходил за мною по пятам дядька мой Степан, и мне предоставлена была полная свобода в выездах. Офицер гвардии

в Москве значил много, и я всеми его преимуществами желал воспользоваться.

Все время отпуска моего прошло благоприятно. Я всюды ездил и ни одного не пропускал публичного увеселения. Более всех прочих нравился мне клоб. Каждый вторник в нем были балы, я не пропускал ни одного, приезжал всегда первый, уезжал последний. Здесь я приобрел тот вкус к рассеянной жизни, который доныне обладает мною. Любил всечасно быть с людьми, особенно по вечерам. С утра я бывал всегда занят дома. Я имел врожденную охоту к упражнениям словесных наук и, хотя не имел уже учителей, не хаживал в школу, однако занимался дома один, читал наиболее философические книги, писал стишки, но не смея еще их никому показывать, и в надежде, что италиянский язык не будет мне стоить никакого труда, потому что я знал латинский и французский, принял учителя по часам. Но, поучась у него месяца три, не перенял даже простого разговора и не умею ни слова молвить по-италиянски. О Метастазиях и Тассах говорить нечего, я никогда не достиг до разумения сих изящных авторов. Дивлюсь доныне, как я мог так тупо успевать в италиянской грамоте, зная совершенно два другие наречии, из коих этот выкроен. Но, может быть, большое на сие влияние имела сторонняя причина, которая скоро объяснится и от которой родилось во мне желание учиться по-италиянски. Я платил только за уроки, а путем не заимствовал из них ничего.

В шуме московских веселостей созрело мое сердце и первой страстию закипело. Я не знал еще, что такое женщина, поверьте мне в этом. Право, я не лгу, да и кого мне здесь обманывать? Может быть, воздержание, слишком строгое от худого понятия настоящей вещи, произвело во мне свойство пылкое и влюбчивое, которое во всю молодость мою меня отличало.

Между родственниками нашими привыкнув посещать чаще всех княгиню Меншикову, тетку мне по отце, я влюбился в одну из ее дочерей. Она имела двух. Старшая была проста, другая, напротив, очень остра и любезна; обе пригожи. Меньшой было 13 лет, старшей едва 15, и младшая меня занозила. На что мне описывать состояние сердца человеческого в первой его страсти; всякий, кто читать меня станет, верно, ощущал его. Я ежедневно более и более разгорался. Ни о чем не думал, как об А<лене>[2], никого не искал кроме ее; вместе с ней забывал всех, розно с ней скучал всем на свете. Тетка моя была дама очень умная, но глядела на наше обращение без догадки и радовалась, что между нами, как

между родни, держится старинная связь приязни. Ах! Как мы далеки были от того чувства, которое нам приписывали! Мы не по родству, а по взаимному свободному влечению сердца друг друга везде искали и не могли ни на минуту почти без тоски расстаться. Оставим лишние подробности. Видаясь всякий день, мы так между собой сделались коротки под покровительством прав родства, что нас трудно было разорвать. Отгадывайте наши потаенные поцалуи, скромные шепоты, записочки любовные, отгадывайте игру взглядов, разговор немой, все, все подобное; может быть, вы лишнего ничего не придумаете и во всем придется мне признаться, но — ничего более... решительно, по чистой совести, со всеми клятвами веры — ничего более.

Тетушка езжала к нам каждый день и любила играть в карты. Матушка скучала одна без отца моего и рада бывала кому-нибудь, чтоб сделать партию. Один молодой человек, князь Волконский, влюбившись в среднюю сестру мою, свел со мною знакомство и, чтоб видеться с нею чаще, охотно соглашался быть третьим в рокамболь или в три. Разумеется, что он как посторонний человек не мог быть так свободен у нас в доме, как дозволялось мне по причине родства с моей кузиной, но, чтоб только пользоваться ежедневным свиданием с сестрой моей, князь Волконский, под видом *чистой* приязни ко мне, оказывал к пожилым нашим барыням всякое снисхождение; итак, как скоро вечер настанет, явятся к нам князь Волконский и тетка моя. Матушка сядет сам-третей с ними в карты, сестра большая подсядет к ломберному столу, а я уведу маленьких кузин обеих в свою комнату или в залу, и там, в беспрестанных резвостях, взаимно Алена и я утончались в науке любовной страсти, меж тем как мои другие сестры и ее старшая забавлялись около себя в общем нашем семейном круге.

Никакая любовь не продолжается без своих препятств, и наша имела свои тучи. Не матери нас беспокоили, они, полагаясь на наше ребячество и родство, ничего худого в связях наших не подозревали, но старшая моя кузина Лиза, к несчастию моему, почувствовала ко мне склонность и требовала взаимности. Я всеми чувствами принадлежал сестре ее и не мог ей отвечать; но мать ее боготворила, баловала, тешила во всем и, чтоб видеть их у нас всякий день, надобно было угождать Лизе, дабы та убеждениями своими привозила мать почаще в наш дом, и так я притворялся быть влюбленным в Лизу, а делился между обеими. Но Алена знала свою сестру и сама для получения свободных свиданий со мною поощряла меня несколько сноравливать Лизе и казаться ей страстным.

Вот какие интриги вселяются в ребячьи головы. Сколько тут планов, замыслов и лукавства! Все это нам удавалось, мы оба прекрасно роли свои играли. Алена имела мое сердце и ласки, а Лиза только последнее, и то с большим принуждением, чего, однако, она, по простоте своей, к счастию нашему, не примечала. Учитесь, отцы, воспитывать детей, не презирайте возрастом! Любовь никого так к проказам не влечет, как лицо без бороды или седую голову. Рассуждая теперь о сем как о прошедшем и не опасном уже обстоятельстве, я вывожу следующее правило для себя на будущее время жизни моей, понеже я отец и сам начинаю уже иметь детей. Ничего нет опаснее, как излишняя доверенность к союзам родства. Нравы уже портятся, и система предков наших уже во многом не годится. Свидании, слишком свободные, между родственниками становятся опасны. Любовь везде свой путь проложит, и я скорее допущу моих детей свести знакомство короткое с чужими, нежели с родней. Пусть нигде осторожность моя не предупредит любовного зла, но ежели ему быть — между чужими. По крайней мере, там брак может и худое наконец поставить на правильном основании. Растеряются, может быть, некоторые выгоды, но главное спасти можно — добродетель и непорочность. А с ближней родней, где брак запрещен законом, какими мерами поправит отец злоупотребление свычки и успехи взаимной склонности? Тут выбор всегда тяжел: или беспорядок противузаконный, или гибель милого детища. Мой собственный опыт заставил меня, когда обольщение прошло, извлечь из него сие правило.

Любовь научит хитрости. Италиянский мой учитель ходил давать уроки Алене. Он перенашивал наши цидулочки и учреждал между нами свиданьи. Ему платили деньги и там, и здесь, а учились мы оба, как можно вообразить, очень плохо. Вот отчего я и Метастазия никогда не мог понять. Вздумалось мне для усиления страсти сделать у себя в доме маленькое театральное увеселение. Ничто так не соблазнительно для детей, как театр. Репетиции служат предлогом к свободному свиданию, и за кулисами, без свидетелей, под видом роли, можно многое выучить и постороннего. Сделали между собою заговор вытвердить какую-нибудь комедию. Оставалось на это согласить матушку и исходатайствовать ее дозволение. Она до чрезвычайности меня жаловала. (Какая мать не ослеплена своим сыном?) Чтоб надежнее успеть в предприятии, я придумал сам сочинить оперу и написал ее очень скоро. Но Великий пост приближался, и, по набожности матери моей, трудно было мне ожидать успеха. Я следующим образом отвел это препятствие. Приходилось

батюшкино рождение. Я предложил матушке желание мое праздновать этот день и в комнате своей, поставя из ширм образец театра, сыграть на нем моего сочинения оперу. Долго колебалась она на это согласиться, но выбор дня и мое сочинение превозмогли, и она, из нежной ласки ко мне, дозволила исполнить мое предприятие. Тотчас театр у меня скипел, роли розданы, актеры и актрисы учатся. Кроме нашей семьи, никто в этой затее не участвовал. По числу лиц домашних ввел я и роли. Милая моя Алена представляла мужской характер, а для женских ролей оставались две мои сестры меньшие и Лиза. Большая моя сестра и мать крестная была уже не в нашем возрасте и не могла делить наших детских забав. Разумеется, что я играл любовника, и, чтоб отвести всякое подозрение, дал роль любовницы сестре своей Анне, но между тем, сочиня оперу, так расположил сцены с умыслу, чтоб можно было мне почасту быть за кулисами с Аленой, и, когда прочие актеры наполняли театр, мы с ней вдвоем протверживали за кулисами свою настоящую пиесу и нередко забывали даже время своего выхода на сцену. Никто нескромности нашей не примечал, потому что мы были вне подозрения. Сколько уловок в ребятах! Хоть бы самому опытному человеку так расположить случаи в свою пользу, как мне здесь удалось управить ими. Любовь всему мастер!

Наконец настала заря счастливого для меня дня 2 апреля. Представление назначено в 6 часов. Зрителей было меньше десяти человек: мать моя с сестрою, тетка, князь Волконский и домашние барышни. Но на что нам публика? Весь мир для меня состоял тогда в одной Алене. От часу более я в нее влюблялся и взаимно был любим. Зрелище удалось, опера прекрасно разыграна и прекрасно пропета. О сочинении говорить нечего, очень плохое произведение! Первоученка[3]! Главная цель достигнута: свидании за кулисами были часты, пламенны и продолжительны, — довольно! Прочее все для нас двух было равнодушно. Хвалили ли нас или нет, много ли, мало ли нам били в ладоши, мы были заняты с Аленой лишь собою, и взгляды наши составляли основу нашего блаженства. Так-то обольщается молодость! Всякое ее чувство кажется ей вечным, всякое ощущение истинным. Ничего нет очаровательней любви, когда бьется от нее сердце 19-летнего мальчика.

Скоро прошел мой отпуск, как миг пробежали те пять месяцев, кои прожил я в Москве. Приблизился срок явки в полк, и я, утопая в слезах, обнял в последний раз Алену. Прощаясь, мы условились друг к другу писать еженедельно. Меньшая сестра моя была общей нашей наперсницей, но, дабы от нескромности не произошло огласки в семействе,

письма ее должны были адресоваться на имя моего дядьки. В каждом пакете домашних писем на мое лицо, который батюшка вручал мне неприкосновенно, находил я грамотку на имя Степана Куликова и, распечатывая ее в уединении, читал строки, пламенным пером писанные, отвечал на них так же. План сей удачнейшим образом исполнен.

Но я еще не в Петербурге. Поговорим о дороге. Кажется, недалеко, три-четыре дня езды. Чему тут случиться? Как ручаться! Иногда день один больше переживет случаев иного целого года. Вот что со мной случилось на пути. Приняв благословление моей родительницы и расцеловав по-братски сестер моих, отправился я в Петербург так завременно, чтоб мне дни за три до срока явиться к должности. В первый еще раз удостоясь получить свободу от полкового начальства на четыре месяца, я хотел показать себя достойным сей доверенности и не просрочить ни одного дня, как то делали многие. Рассчитывая время, я мог себе позволить некоторую медленность в дороге и тем сделать ее для меня покойнее, ибо экипаж мой состоял в простой русской кибитке. Знал я, что в Твери жил некто г. Ч<ириков>, старинный приятель отца моего. Он тут имел гражданское место и со всем домом поселился. Ехавши в Москву, я торопился в отчизну, мне не до того было, чтоб навещать сторонних людей по губерниям. Но теперь, когда разлука с Аленой представляла мне всю вселенную пустыней, куда было спешить? Итак, я в Твери остановился переночевать у Чирикова с намерением твердым назавтра чем свет уехать! Друзья отца моего очень мне обрадовались, но, на беду, в тот самый день был бал у тамошнего губернатора г. Лоп<ухина>[4]. Хозяева мои не могли остаться дома; меня как ни уговаривали, я был неумолим. На что мне балы, на которых нет моей владычицы? Я остался дома. Они уехали. Не трудно отгадать, что г. губернатор, узнав о приезде офицера гвардии в город, желая умножить круг плясунов (а их в провинциях всегда бывало мало), прислал с приглашением ко мне ординарца. Приличие, сей деспотический закон общежития, поставило меня в обязанности явиться на праздник. Не прошло часа, и я уже танцую кадриль с хозяйкой. Жена г. губернатора была дама молодая, пригожая, милая в обращении. О проклятый бал! Приехал здоровый — отправился домой раненый. Москва на несколько дней осталась в тумане, и под лучами нового солнышка сердце мое новым огнем закипело. Словом, я в г-жу Лопухину влюбился. Вместо одного вечера зажился в Твери, беспрестанно был в доме у губернатора. На всех гулянках с ним, в городе и за городом. С тех пор заметил я в сердце моем особым карандашиком город Тверь,

Волгу, пристань, тамошние съезды, веселости и проч., и проч. и, посредством одних глаз и языка, которым я молол всякие приветствии моей Дулцинее, был блажен стократно в сутки. Я до того дожил в Твери, что приятели отца моего, у которых я только квартировал и почти вовсе с ними не видался, выжили меня из города и принудили ехать далее. Прости мне, читатель, сей эпизод в поэме первой моей страсти. Но увы! Приготовься к чрезмерному снисхождению. Много будет подобных.

Приехавши в Питер, выдержал грозный приступ батюшкин, который любил, чтоб всякий, а паче сын его, свято сохранял обязанности свои по службе. На вопрос, для чего я дни три просрочил, разумеется, что я свалил всю вину на его тверских приятелей, кои меня задержали. Доносов я не боялся, и все обошлось очень хорошо. В полку никто не заметил, что я просрочил, это уже не ставилось в проступок, тем более, что казна вычетом жалования находила свои счеты. Вступил я по-прежнему в должность, стал ходить в караулы, на дежурство ездить в полк, опять по субботам читать артикул солдатам и обработывать все эти пустые наряды, кои назывались тогда службой. Переписка моя с Аленой оживотворяла меня каждую почту. Я читывал по сту раз ее письма, писывал целые тетради взаимно, и весовые деньги[5] составляли одну из важнейших моих издержек. Она не знала ничего о моих тверских проказах, может быть, и от меня такие же были скрыты с ее стороны, дело в том, что мы еще были оба в очаровании, и волшебный круг, который около нас любовь очертила, не потерял своих признаков.

Осень произвела несколько происшествий публичных, в которых и я принял участие. Сентября 22 при праздновании годичного торжества новорожденному ордену святому Владимиру, пожалован был с малым числом других чиновников и отцу моему крест сего ордена 3 степени. Отличие сие, скажу искренно, ни его, ни домашних не обрадовало. Ему хотелось не ленточки ничтожной, а видного места вне Петербурга, на котором даровании его могли бы получить больший круг деятельности, чем в казначействе у хранения талеров и ефимков в сырых кладовых, от которых простуды и ревматизмы одни доставались в награду за излишнюю ревность, а отец мой не знал пословицы старинной «через пень колоду валить»; он любил труды полезные без роздыха. Но когда не дают того, чего желаешь, надобно радоваться и тому, чего не просишь.

В октябре скончались два большие чиновники в Петербурге, фельдмаршал князь Голицын и начальник наш Федор Иванович Вадковский, оба почти в один день кончили свое пребывание в мире[6]. Первого хоро-

нили с большою церемониею. Все войска были в строю. Командовал ими дядя мой барон Строганов. Смерть моего подполковника напомнила мне мою первую потерю в этом роде. Как сменить их между собой! О Крымском я и под старость буду плакать. Каков был Вадковский, таких людей на свете тысячи, и я даже не вздохнул по нем. Погребение его также произведено было с особенною церемониею. Весь Семеновский полк выведен был в парад к Невскому монастырю, и телу отдана была честь троекратным ружейным огнем. Последняя почесть, с которой опустился гроб в яму и там сгниет, как и труп последнего обывателя в простом саване. Мало слез и сожаления оставил по себе г. Вадковский. Многие наши братья офицеры в самое шествие процессии, салютуя эспонтонами[7] гробу, с черными крепами на руках, шпаге и шляпе, словом во всем наружном трауре, какой только могли выдумать человеческие обряды, ворчали сквозь зубов эту смешную французскую песнь, которая на беду Вадковского похорон была в городе в большой моде: «Malbrough s'en va en guerre, miron ton, miron ton, miron taine» и проч.[8] Знак особенной печали! Весь город, однако, был приглашен на похороны, и я кучу карточек наряжен был развезти по разным домам. Начальство над полком принял по порядку граф Брюс, который давно уже ждал сей почести, как ворон крови.

Еще тело моего начальника не остыло на столе, как удалось мне наслаждаться новым удовольствием, которого и самые приличии печали не могли меня лишить. Зимой, обыкновенно, у двора великого князя давались два бала в неделю. Один по вторникам в городе, другой по субботам на Каменном острове в увеселительном его дворце. На эти балы постановлено было правилом всегда, по воле государя наследника, наряжать по два офицера с полку гвардии по очереди, и именам их подавались в тот день государю записки. Смерть нашего подполковника не могла препятствовать сему наряду. Надлежало нарядить двух офицеров и с нашего полку. Досталось ехать мне. По справедливости говоря, я бы, может быть, отговорился от такого наряду, если б мне было Вадковского жаль, но как для меня все было равно, жив он или умер, и к тому же поелику в мои тогдашние лета притворство мало человеку свойственно, то я без всякого лукавства обрадовался наряду и был на блистательном бале городском у его высочества, где так меня все завеселило, что я за верх блаженства бы почел и всякий раз туда ездить охотой.

Многие офицеры гвардии имели лестное преимущество быть приглашаемы на все балы однажды навсегда, но я еще по очереди только и по наряду полковому, а не по зову на лицо, мог пользоваться этой честью,

следовательно, никаким образом не мог я напрашиваться за других, дабы отдающих мне свою очередь не подвергнуть предосудительному о себе замечанию.

Мимоходом молвлю два слова и о славном пожаре, на котором я при трубе заливной играл важную ролю. Сгорел сахарный завод. Пожар продолжался почти 24 часа. Во всю ночь я не засыпал, а побуждал людей, мне вверенных, действовать. Мне казалось, что я важную оказывал услугу отечеству! Я похож был на эту муху, которая, сидя на носу у вола, думала, что ею приводится в движение сие огромное животное[9]. В первый раз еще в жизни мне довелось, не ложась спать, увидеть восходящее солнце и уснуть около полден на другой день. Как не назвать этого подвигом и прямою службою? Я пришел домой совершенно собой доволен, но постель моя доказала мне, что я только утомлен, и я на ней выместил весь пожар Морфею.

Слышу упрек: для чего такими мелочами я наполняю свою Историю? Следующее примечание меня оправдает. Если человек станет всякое прошедшее событие применять к настоящему его положению, то, верно, он никогда ничего не заметит в жизни своей, ибо что ребенку кажется важным, то в двадцать лет считается игрушкой, на что молодой человек или муж совершенный смотрит с уважением, то самое старик почитает вздором и пустотою, а по сей посылке продолжая рассуждение, должно думать, что душа, переселившаяся в вечность, если б могла взглянуть на прошедшее время жизни своей долу, то бы и все замыслы свои в мире презрела как самую низкую суетность. Впрочем, я уже сказал и повторять не соскучу, что я не книгу сочиняю, а пишу простую повесть о самом себе и так, как сам я мыслил и чувствовал в разные мои возрасты.

Жизнь моя в Петербурге вообще была гораздо для меня полезнее московской. Там я ездил всюды. Здесь, хотя забав было и много, но батюшка с умеренностию позволял мне ими наслаждаться, а к тому же, будучи один дома по вечерам, он любил делить время со мною. Мы беседовали о разных нравственных предметах, он открывал мои наклонности, направлял путь моего сердца и разума, и для меня провождение времени с ним обратилось в наилучшую школу. Мы часто читывали вместе и рассуждали о содержании книг, между нами происходили иногда споры, и посредством их очищались мои идеи. Более всех прочих занимала батюшку книга Иоанна Масона «О познании самого себя»[10]. Я ее прочел ему от доски до другой раза два. Признаюсь, что на то время мне не без скуки было угождать такому родительскому соизволению, но после

очень рад был я и сам сему принуждению. «Стерпится, слюбится» — эта пословица совершенный аксиом. Изредка я езжал в знатные домы. С женщинами обращался скромно и все издалека, следовательно, Петербург не способен был изгладить из памяти моей московских воспоминаний о тамошних удовольствиях. Я по одной наслышке верил, что здесь весело, но истинное веселие чувствовал в одной Москве, а потому, согласно с пословицей, как волка ни корми, он все к лесу глядит, и я все мечтал о способах опять побывать в отпуску и видеться с Аленой. Обстоятельства сами к тому подали случай. Дядя мой родной генерал Ржевский скончался в Москве ноября 27[11], и мать моя приняла живейшее участие в печали сестры своей. Горесть ее, болезни и разлука с батюшкой требовали сильного развлечения. Свиданье со мной представилось наидействительнейшим к тому средством. Другим печаль, а мне радость. Признание сие не много делает чести моему благоразумию, но кто не согласится, что для сердца в двадцать лет любовница сто раз дороже дяди? Смерть последнего открывала мне дорогу к первой. Батюшка приказал мне проситься в отпуск. Тогда граф Брюс был в отлучке, правил полком г. Левашов. Ему позволено было увольнять офицеров не далее мая. Паспорт мне дан до 1-го числа, и 7 декабря я уже был на большой московской дороге.

Отдавая здесь последний долг памяти дяди моего, скажу, по общему мнению о нем, что армия лишилась знающего генерала, мужа искуснейшего в тактике и даже писателя по военной части. Многие рукописи его сие доказывают[12]. Он был храбр, отважен, рассудителен, сын почтительный, хороший брат, хлебосол роскошный, настоящий эпикур и наполнен ума острого, блистательного. Вот весь его панегирик. Не смею за пределы этой рамы пустить моей кисти, дабы не навести слишком много тени на хорошие места моего рисунка. Остановимся, следуя латинской премудрой аксиоме, которую, однако ж, я не обещаюсь распространить в Истории моей на каждого так снисходительно, как на дядю: de mortuis aut bene, aut nihil*.

До Москвы я ехал пять дней прекрасным зимним путем, однако торопился, был влюблен, скакал без памяти. Отчего же так долго? Иные подумают, что старый эпизод задержал в Твери или новый в другом месте. Семьсот верст великое поприще! Есть где споткнуться. Совсем нет. Здесь кстати показать черту моей физики. (Подобным образом я и всегда буду сам себя описывать при каждом случае, где говорить о свой-

---

* о мертвых или хорошо, или ничего (лат.).

стве моего характера и темперамента будет прилично.) Я не могу ездить по ночам оттого, что я не могу уснуть во время движения, мне надобно лечь и быть покойну, иначе я не усну. Я с ребячества таков, и курьером не судила мне быть природа. Из всех физических потребностей ни одна мне так не необходима, как сон. Я способен сутки не есть, не пить, способен вытерпеть всякое изнурение, работу, труд, но не спать в сутки часов шесть никак не могу. Если когда со мной по нуждам службы моей это и встречалось, то всегда за пропущенную ночь вымещал днем и, проведя сутки круглые без сна, я бывал болен. Такова моя натура. Следовательно, в дороге, куда бы я ни ехал и как бы ни спешил, но придет ночь, и я ложусь в избе спать. Я неприхотлив был насчет квартер: ни гады, ни животные хозяйские меня не беспокоили, ни жар, ни дым, лишь бы лечь и спать. Сверх того заметить надобно еще странность — я боюсь по ночам ездить. Оптика глаз моих очень ограничена. В потемках все предметы меняют вид свой, я не то вижу, что есть, а то, что воображению моему кажется. Боюсь везде оврагов, косогоров, повозка всегда мне кажется на боку, и я не умею иначе ездить ночью, как шагом. Вот причина, по которой в лучшее время года в России, то есть зимою, когда на санях всякий поспевает в Москву из Питера в трои сутки, а часто и скорее, я долее езжу, нежели осенью в грязь и летом в жар, потому что дни коротки, а я только во время дневного света езжу. Но зато днем никто у меня не ускачет, я мчусь как бешеный, ничего не боясь, во все глаза гляжу на дорогу, остерегаю кучера и лечу как вихрь к своему предмету. Экипаж мой всегда простая кибитка, но, не терпя духоты, я в нее сажаю слугу, а сам всегда на блучку трясусь, и никакие горы мне не страшны. Вот коротенький рисунок меня в дороге.

Начавши сей год в Москве, я его в ней же и кончил одинаково приятно, одинаково весело. Восторги мои еще не переменили своего предмета, я все еще любил страстно Алену. Увидясь с ней, я паки воспылал ею. Траур препятствовал нам публичные выезды и забавы, но с родными видеться нет помехи; итак, у опечаленной моей тетки я имел, под предлогом участия в ее горести, ежедневные свидании с моей возлюбленной, и, нигде еще не встретясь с ней в публике, ни она, ни я не могли приметить, что в этом большом мире, который зовется светом, мы уже весьма близки были друг друга заменить без труда. Этот опыт предоставлен был в книге коловратностей светских для нас двух в будущем году.

Настоящий кончился приездом в Москву дяди моего барона Строганова, который на короткий срок отправился в отпуск только для того,

чтоб навестить сестру свою овдовевшую и мать мою. Смерть, как говорят, животы окажет. После Ржевского оставалось три дочери, девушки, и, хотя много кричали о наживах его в Польше, однако состояние по нем осталось весьма умеренное и такое, которое даже, без пособий сторонних, для изворота в долгах не могло бы быть достаточным для такого широкого дома, какой привыкли они содержать при жизни главы семейства. Все это побудило дядю, который искренно любил сестер своих, а паче мать мою, приехать самому взглянуть на положение осиротевшего семейства. Приезд его и мой очень матушку обрадовали, и это несколько облегчило тяжесть ее разлуки с батюшкой.

1784

По докладам нашего полка досталось мне в новый год в подпоручики. Батюшка меня о том уведомил, и я очень обрадовался. Между тем дядя мой уехал в Питер, но горесть разлуки с ним была вознаграждена для матушки скорым свиданием с отцом моим.

Прожив три года в Петербурге, отлучен от семейства и, следовательно, от средств поправить свое состояние, видя, напротив, что, живучи на два дома, имение приходило день от дня более в упадок, батюшка почувствовал нужду бросить службу, которая никогда ему не благоприятствовала, и возвратиться к своим домашним. Стоический нрав его не мог быть приятен людям его века, кои начинали уже все ставить ни во что из корысти и видов своих. Надежды переменить место, приблизиться к своим пенатам оказались пустыми, они основаны были на одних посулах больших бояр, которые, суля другим золотые горы, думали только о себе и пожинали при случае собственное свое благо. Итак, батюшка подал просьбу об увольнении. Отставка его не сопровождалась никакою за труды его признательностию. Он не получил ни чина, ни пенсии и, дав отчет во всех суммах, коими он распоряжал, удовлетворительный, получил одно приветственное письмо от генерал-прокурора в награду за трехлетние труды свои и с этим бедным сокровищем, истратив множество своих доходов в Петербурге, испортив много крови, приобретя завистников кучу и расстроя здоровье, возвратился он в родительское гнездо наше, в Москву. Скоро после отставки его было гражданское производство, и ему досталось бы в высший чин, но как узнать извороты дворские? Тогда все ведал один Безб<ородко>, все делалось в статском

мире по его мановению. Батюшка был, может быть, и слишком горд, ждал всего от одних своих достоинств и никогда не хотел слоняться в сенях больших господ, и оттого был брошен. Где и когда истинное безмездие иначе было награждаемо? Скажут ли, что можно при казначействе нажить? Отвечаю. Пропустя в три года несколько миллионов не бумажных денег, а звонкой монеты через свои руки, мог и отец мой, как видели после из учащенных опытов, покупать деревни, подобно многим другим. Но признательности к прямым заслугам давно уже не было в России! Батюшка отставлен в феврале и в марте обрадовал семейство свое приездом в Москву. Все мы кинулись в его объятии с душевным удовольствием. Матушка без памяти была рада, супруг ее был всего для нее дороже, и скоро туманы политических паров стали пропадать на лице отца моего. Чудно, что человек никогда не умеет предпочесть истинных благ своих и удовольствий настоящих в жизни мечтательным вымыслам своего воображения! Честолюбие почти всякого более льстит, нежели спокойная домашняя жизнь. В такой борьбе естественных наших чувств с химерами надменного сердца как можно быть счастливу в мире?

Пока батюшка, устроивая свои обстоятельства еще в Петербурге, готовился приехать к нам, и я не без цели жил в Москве. Сердце мое испытывало свои тревоги. Оно не умело любить без ревности. Хотя переписка моя, и довольно продолжительная, с Аленой обеспечивала меня совершенно насчет ее склонности, но разве любовники всегда пишут то, что чувствуют? Подобно поэтам, они вечно горят, и часто на душе у них не то, что летит с языка. Не надобно почитать этого всегда лукавством. О! совсем нет! Влюбленный зависит от воображения своего, и как оно представляет ему вещи, так он их и сам передает; обманут сам, он обманывает другого, но это не хитрость, а простое обольщение, которого в личину порока одевать не должно. Станем судить о сердце человеческом без предубеждения. Я писал несколько месяцев к Алене, не упоминая о тверской своей неверности. Могло и с нею то же случиться и — увы! — к несчастию моему, в самой вещи случилось. Она была молода, умна, мила, но ветрена и рассеянна. Беспрестанные свидании со мною одним, чему, как я уже изъяснил, причиною было родство, много способствовало к развитию сердца ее в мою пользу, и первая любовь ее обращена была ко мне, но я был дурен лицом и долго действовать на воображение ее не мог. Первое свидание с другим мужчиною должно было разорвать нашу связь непременно. Так и случилось. Она в ту зиму начала выезжать в большой свет в публичные собрании, встретила кучу людей моего

пола, сравнении все были не в мою пользу. Пусть позволят, однако, несколько нарушить скромность и отнести сие к наружности, ибо я не мог ниже всех себя ставить в другом отношении. Алена выучилась кокетствовать, заманивать с умыслу в свои сети волокит, и когда я с ней встретился в собраньи, то не трудно было мне приметить, что уже я первого места не занимаю в ее сердце.

Ревность слепа и ничего одумывать не умеет. При первом подозрении я стал досадовать, от досады родились упреки, от упреков моих она почувствовала ко мне остуду. Холодность ее произвела во мне отвращение к ней, и, наконец, явный раздор прекратил очаровательные минуты взаимной нашей друг к другу склонности. Но поелику я пламеннее любил, нежели она, следовательно, я искал отмщения. Какого же? Мне хотелось унизить ее пред самою собою и восторжествовать над ее ветреностию. Я требовал на сей конец последнего с нею свидания глаз на глаз. Она не имела права мне в нем отказать. Мы съехались дома, и я, собрав перед ней кучу ее писем, кои хранил как самую редкую драгоценность, требовал, чтоб вслух при мне она каждое прочла сама. Румянец часто играл на щеках ее. Я чувствовал многократно, что готов снова упасть к ногам ее, но испытание сие должно было достигнуть своей цели. По мере как она прочитывала письмецо, новые от меня упреки, и потом грамотка кидалась в огонь, понеже рукописей было много. Отодафе эта продолжалась долго, и чувства, хотя от разных уже побуждений, но с равной силой в обеих в нас волновались. Ее мучил стыд, меня терзало мщение. Костер погас. Все любовные письмена превращены в пепел, и восторги, так долго оживотворявшие наши души, как легкий пар исчезли навсегда в пустоте нашего воображения.

Вот вся история первой моей от роду страсти. Она может показать расположение моей совести. Читая мою книгу, увидят многие измены и неверности с стороны моей, но никогда не заметят, чтоб я жертвовал публичному оглашению предметами моих страстей. Подобно как теперь я сжег всю переписку с Аленой, дабы удостоверить ее в честности моих правил, я и всегда скрывал от глаз сторонних сердечные мои связи. Никакая женщина не выставлена мною. Я влюбчив был, но и скромен. Могли отгадывать мои связи; я сам ими никогда не величался перед другими и не ставил хвастовства такого в ряду достоинств молодого человека. Разрыв интриги моей с Аленой не помешал нам остаться друзьями, мы же были связаны и родством. Леты, опыты показали нам суетность наших ребячьих замыслов, и когда успокоились наши чувства, когда мы

развлеклись оба к другим, более существенным видам, то мы обратились к одной чистой приязни, которая гораздо прочнее любовной страсти, ибо та и доныне между нами сохранилась, да и нет сомнения, что до конца дней наших продолжится.

Рассуждение такое очень здраво для головы, но кто, проснувшись после хорошего сна, кто не тужит, что сон прошел? Дитя плачет, разбив нечаянно свою игрушку, любовник, лишившийся своей химеры, плачет не менее ребенка. Так и я тужил о потере Алены. Сердце требовало новой пищи, нового огня, и мир представил мне новые приятные мечты.

Между знакомством моим в Москве имел я дом г-жи Тал<ызиной>, в котором любили веселиться с утра до вечера. Она жила с братом родным своим в одном доме, а муж ее волочился в Петербурге на просторе. Такое положение семейств начинало помаленьку входить во вкус. Брат ее генерал Апр<аксин>[1] был богат, молод, пригож, прекрасно воспитан, охотник до забав, щедр, роскошен, влюбчив, словом, таков, каким описал нам Волтер своего Нескромного[2], а к тому же, будучи в 20 лет с небольшим флигель-адъютант и полковник, стоял тогда с полком в Москве, наряжал на свой кошт и офицер[ов], и солдат, щеголял своими пышными разводами и всей Москве кружил голову. Дом его был Париж для молодых людей, школа образования и наилучшего тона. Кто не втирался в его знакомство? Кто не искал его благосклонности и взгляда? Сестра его, которая управляла домом, хозяйством, жила на счет братнин и помогала ему взапуски делать долги. В этом-то доме все радости света сливались вместе. Тут были беспрестанные игры, забавы, балы и все, что роскошь с удовольствием пополам могут произвести очаровательного для человека всякого пола, всяких лет. Казалось, что г-жа Талызина была какая-то фея, а брат ее волшебник, кои, согласясь заодно, магической палочкой превращали дом свой в земной рай. Вздумалось им по зиме завести у себя благородный театр. *Вздумалось* значило на их языке *быть по сему*. Тотчас состроен театр в доме князя Чер<касского> на Тверской, потому что они жили в наемном и не довольно для сего просторном доме. За актерами, актрисами дело не стояло; в минуту набрана целая труппа. Г-жа Талызина имела при себе двух дочерей и несколько благородных барышень. Все это появилось на сцену, и я, по страсти моей к этому ремеслу, попал в их общество. Театр скоро успокоил встревоженные мои чувства, и, хотя я ни в кого еще не был влюблен в этом обществе, однако рассеяние театра скоро отвлекло меня от Алены, и мне вплоть до отъезда моего в полк было очень весело. Я кончик этой зимы

во всю жизнь мою вспомню с большим удовольствием и потому наипаче, что никакого труда мне забавы мои не стоили, ибо роли мне доставались не важные, а память была хороша. Я их выучивал мгновенно, а наслаждении продолжались по неделе и по две. Всякий день были репетиции, всякий вечер балы, общество многолюдное. Каждую неделю новое зрелище, и при всем городе. Оперы, трагедии, комедии — все на нашем театре представлялось отборной московской публике, и все по-французски, свой язык был в загоне. Что ж может быть приятнее такого рода жизни в двадцать лет.

Однако приближился срок моего отпуска, надобно было ехать в Питер жить самому собою. Батюшка при себе еще изволил там купить для меня в полку так называемую по тамошнему обычаю *связь*, то есть дом, состоящий из трех-четырех покоев, со всеми к нему принадлежностями. В полковых слободах всякий из служащих в нем имел право строиться. Земля всегда принадлежала казне, но пристройка — хозяину, и их-то, обыкновенно, полковые чиновники между собою продавали. На прожиток мой годовой назначили мне родители мои по 1200 рублей и пожаловали мне человека четыре слуг, то есть повара, лакея, кучера и камердинера, и притом карету свою батюшка оставил для меня в Петербурге с парой лошадей. Таким образом, обзаведен будучи всем нужным, расстался я с родительским домом надолго, стал, что называется, на свои ноги и, приехавши в невскую столицу, явился 1 мая в полк.

Жизнь моя с тех пор потекла в полной свободе. Я сделался сам себе господин, распоряжал своими поступками, употреблял время свое, как хотел, но, благодаря Бога, я, в самой молодости своей не имея страстей порочных, не любил ни заниматься картами, ни пить, ни слоняться по трактирам, подобно многим, и искать по ночам добычи, следовательно, не вышло из меня ни игрока, ни пьяницы, ни гуляки. Ни которым из сих средств не мог я нарушить спокойствия моих родителей или взойти в непомерные долги. Может быть, обязан я таким, смею сказать, необыкновенным поведением влюбчивому моему свойству. Оно отнимало у меня все прочие желании. Выбирая всегда предметы любви в лучшем кругу людей, натурально должен был стараться заслужить поведением общие похвалы, чтобы успеть в своих интригах. Вот подлинно, что меня спасло от низких страстей. Но я имел другие. Любовь заставляла меня щеголять. Мне нравилась роскошь, я проматывал часто большие деньги на фраки, тогда как другой ставил их на карту. Кто похвастает совершенством? Думаю, однако, что в самых поползновениях человеческих есть свое различие, и когда

уже человеку не дано быть целомудренным во всем, то отличим, по крайней мере, и в осуждениях наших того, кто разборчивее другого в своих слабостях. Итак, по естественным моим наклонностям я не мог употребить во зло полной моей свободы. Не стеснена была она и при отце моем, но обязанность делить время по большей части с ним отвлекала меня от знакомств сторонних. Ныне, когда ничто не могло удерживать меня дома, я с утра до вечера был в чужих людях и начал тем, что ознакомился короче во всех тех домах, в кои был представлен батюшкой, и к ним присоединил еще новые знакомства, составя их более из родственников, хотя и отдаленных, и из добрых старичков, кои при многолюдном семействе любили жить открыто и водиться с нашей братьей молодежью. Таким образом устроил я себе на всякое время дня благоприятные рассеянии. Утро я отдавал службе, обедать езжал всегда к какому-нибудь большому барину, дабы нажить хорошую молву в людях, а ввечеру, скинувши мундир, надевал фрак и хаживал на вечер в те домы, где дозволено было мне обращаться повольнее, но слово повольнее не значило еще тогда своевольничать и бесчинствовать, как то в позднейших временах завелось; также заметить должен тот, кто поздно станет читать мои бумаги, что молодой человек моих лет ни в какой почтительный дом заслуженного барина или старика не мог без порицания ездить во фраке. Мундир была тогда одежда уважительная, фрак нашивался в короткой компании, на бале деревенском или на прогулке народной. Таковы были обычаи моего века в молодости моей. Еженедельно с почтой давал я обстоятельный отчет батюшке в моем препровождении времени, описывал именно: где я обедал, где я вечерял каждый день, и, божусь Богом, ни в одном слове ему не лгал.

Легко отгадать, что мне веселее было между своей братьи, в обращении без чинов, нежели у знатных господ, где обитало принуждение и строгий размер приличий, но я за грех считал и никогда себе не позволял почти целый день прожить во фраке. Всегда первую половину дня проведя в мундире, мне тем приятнее казались те простые наслаждении общественной жизни, кои я мог вкушать в простых дворянских домах и у родни своей, хотя опыт и показал мне, что поведение молодого человека совершенно зависит от него и что вход в знатный дом отнюдь не препятствие шалуну испортиться, ибо часто я видал в самых уважительнейших чертогах наших бояр более разврата, более соблазнительных примеров для чистоты нравов, нежели в простом покое небольшого дворянина, у которого мало было денег, чинов и лент, но сердце благородно и совесть на своем месте.

Я мог бы, живучи в Петербурге, не стоить ничего содержанием моим батюшке, если б ему угодно было слово сказать родному моему дяде барону Строганову, о котором прежде писано. Сей охотно бы взял меня на свои руки и, из горячей любви к моей матери поместя в своем огромном доме, снабдил бы меня на свой счет во всех нуждах моих. Но в распоряжении совсем тому противном отец мой имел свои виды, означающие сколько нежное сердце его, столько и познание человека вообще. Ему, во-первых, угодно было, чтоб я, не завися ни от кого и управляя сам собою, был порядочен не потому, что за мною смотрят чужие глаза, но что сам я учусь управлять своими поступками, желал усовершенствовать разум мой более собственными моими опытами, нежели пестунами сторонними. Во-вторых, он строг был в отношениях родства и приязни и не хотел быть одолжаем никем, да и меня старался приучить к этому правилу, дабы тем сильнее сохранить мою свободу и поставить меня в обязанности обходиться как должно с родным дядею не из видов личной выгоды, а по одним уставам родства и крови. Благоразумный родитель мой ничего так прилежно в нас не образовал, как сердце. Он любил развертывать в нас не столько умственные одни способности, как наипаче сокровище чувствительности искренней и благонадежной. Дядя мой сначала всем этим казался недоволен, приписывая поступки отца моего одной суетной горделивости, но я ни во что не вмешивался, езжал к нему почти ежедневно, чтоб он видал меня всегда в порядке и мог первый быть свидетель при всяком случае заочным моим родителям, что я веду себя хорошо и не отступаю от предначертанных мне ими правил поведения. Таким образом, все мы помаленьку привыкли к взаимным нашим отношениям.

Давно я не влюблялся. Но потерпи, читатель! Подходил случай воспламениться новой страстью. Я скоро принялся за свой обыкновенный характер и покажу тебе предварительно в нескольких строках сцену новых моих страданий. В числе знакомств, мною приобретенных, чаще всех посещал я два дома, князя Щер<батова> и старичка М<олчанова>. Первый мне дом был сродни[3], в нем жила племянница его родная, монастырка первого выпуска, девушка лет тридцати[4], но милая и любезнейшая из всего своего пола. Такою она мне показалась, и я в сообществе ее начинал гореть, как свечка. Тут всякий вечер съезжалась короткая беседа людей и пожилых, и моих лет. Хозяин дома старик был умный и старожил петербургский, а к тому же и сенатор; жена его, молодая еще женщина и полячка, прекрасная собой, ловкая, видная дама; дети их были еще дети и на руках у мадамы. Княгиня около себя всегда собирала

круг мужчин среднего возраста, из коих иные занимали мужа ее картами и шашками, ибо до сих последних он был охотник, а прочие за самою за ней волочились и жертвовали ее прелестям своими восторгами. Племянница их занимала мою братью, и все мы, посетители того дома, не без видов каждый своих стекались к ним всякий вечер. Простота в обращении, умная беседа, пристойное поведение, все занимательно было в этом семействе. Она жила подле самого нашего полку, следовательно, я мог всякий день, воротясь домой, надеть фрак и под вечер туда идтить пешком ужинать. Другой дом, Молчановых, который с их обществом входил иногда в соперничество, также был в полку, потому что сын старший служил в нем офицером, и мы с ним хорошими сделались приятелями. В этом доме также было много девушек, и из них две монастырки. В пользу их старики вели жизнь рассеянную, дом держали открытый, давали часто балы. У них допускалась резвость невинная и приятная, а как хозяева были люди умные, добрые без лукавства, то молодежь полковая поотборнее поведением туда слеталась, как мухи на сахар. Хотя я и делил время свое между тем и другим домом, но более тянула меня страсть к Щербатовой, и я сделался там вседневным гостем. Вот описание двух семейств, в коих со мной разные последовали приключении.

Служба моя у меня не много времени отнимала. Я с нового года переведен был по повышению чином подпоручика в 2-ю роту, которой командовал барон Маль<тиц>, человек средних лет, благородный, милый, с отличными познаниями. Иметь с ним дело и по службе, и без нее всячески было приятно. Полком правил граф Брюс. Мы ничему солдат не учили и при Федоре Ивановиче Вадковском, равно и теперь, граф Брюс ни одного не дал полкового строю, а только с начала весны осмотрел каждую роту поодиначке и тем все свои подвиги геройские кончил. Положенье полку скоро переменилось. Московский главнокомандующий фельдмаршал граф Чер<нышев> умер[5], и на место его отправлен граф Брюс. Это случилось осенью. По отбытии графа принял над нами команду майор Левашов, человек очень остроумный и замысловатый при дворе, но самый плохой и ленивый офицер. Не долго и он управлял нами. В самый полковой праздник, 21 ноября, государыня изволила пожаловать к нам в подполковники Николая Ивановича Салтыкова; столповой дворянин, генерал-аншеф, дядька великих князей, при коих он был точно то, что Панин при Павле, человек пожилых лет, тонкий царедворец, ума самого изгибистого, совести езуитской, а чтоб в коротком слове схватить весь его портрет — эгоист! Люди такие начинали уже водиться на тех

местах, на коих прежде Ромод<ановский>, Бутур<лин>, Ягу<жинский> крикивали в полный рот о правде и благе народа. Салтыков со всеми с нами обошелся очень приятно, то есть по-дворски. Я нашел новую для себя школу большого света в его доме. Он жил во дворце и был женат на княжне Долгоруковой. Кто не слыхал о проказливой, но умной и твердой женщине Наталье Володимировне. Она любила всех тех, кои были ее роду, и потому очень приласкала меня[6], а со временем я, по милости ее, сделался у них довольно короток, но мало мне все это принесло пользы, как увидят после.

Настоящий год я провел довольно весело, и Петербург стал мне нравиться. Я езжал во все лучшие домы, свел лестные знакомства в моем возрасте, езжал в публичные места и особенно в театр, охотник будучи до французского, который в то время славился своими талантами. Зимой по очереди и наряду езжал на балы великого князя, и там лицо мое сделалось уже не ново. Один раз мне довелось провести самое великую княгиню сверху колонны вниз в контредансе, именуемом galopade*. Сколько я этим гордился перед другими! В другой раз великая княгиня удостоила меня своей речи, и все это меня очень воздымало. Начальники по службе меня разумели хорошо, товарищи любили, в кругу большого света я имел счастие нажить доброе о себе слово и, что всего этого лучше, я уже влюблен был смертельно в княжну Щербатову и всякий вечер томился в скромных восторгах у нее в доме. Сколько ж причин почитать сей год первым годом приятным для меня в Петербурге! Действительно, я обязан его отметить в жизни моей самыми светлыми красками.

1785

По докладу нынешнего года мне досталось в поручики, и из трех очистившихся адъютантских ваканций я представлен был на старшую. Заметим, что и отец мой был в Семеновском полку адъютантом и, узнав о моем повышении, изволил меня подарить теми же шпорами, кои он еще носил в свое время. Я принялся за свою должность с отменным рвением и нашел в исправлении ее разные удовольствии. По праву старшинства между адъютантами я имел в команде своей полковую музыку и маленькую при полку рисовальную школу с артиллерийскою командою, следо-

---

* скачка, галоп (фр.).

вательно, мог давать серенады, когда хотел, без дальних убытков и делать маленькие фейерверки и потешные огни также очень сходно. Какая роскошь в удовольствиях! Раздолье! Вдобавок к этому, угодно было Салтыкову поручить мне выучить для забавы великих князей несколько егерей. Выбрали из солдатских детей человек шестнадцать ребят пооструее, старее из них не было мальчика одиннадцати лет, росту самого уменьшительного, в том же числе был и барабанщик, и флейтщик; всех их одели в егерскую форму. Я их выучил с помощию хорошего сержанта сколько умел, они хаживали ко мне на караул, стаивали на часах ночью, и, словом, я их приготовил ко всей тягости военного состояния. По некотором времени представил я их майору, который похвалил эту кучку, далее казал их Салтыкову, а с его уже дозволения имел счастие их представить великим князьям в их покоях Зимнего дворца, куда потом очень часто требовали их по вечерам, и водил их мой фельдфебель. Сим детским упражнением я сделался вхож к их высочествам, но это мне не доставило никакой пользы ни в настоящем, ни в будущем времени. По крайней мере, для тогдашней минуты это подействовало на мой тщеславный разум, и я считал себя в полку чем-то отличным.

Служба службой, — любовь шла своим порядком. Княжна Щербатова сводила меня с ума более и более. Что мудреного? Мне было двадцать лет, но я еще девствовал, хотя, может быть, и не в полном смысле слова, по крайней мере о женщинах мечтал только в воображении, не прикасаясь ни к одной. Натура меня обуревала своими побуждениями, и я их принимал за чистую сердечную любовь. Видая всех чаще Щербатову, к ней обращал все свои пламенные восторги, и она выходила для меня тогда второе издание Алены.

Приготовься, читатель, выслушать важную трагикомедию! В один вечер, сидя у Щербатовых в беседе, показалось мне, что княжна холоднее обыкновенного со мною обращалась. Не расспрося ни о чем (а знать надобно для пояснения дела, что я о любви моей ни слова ей не смел сказать) и приревновав, сам не ведая к кому, впал я в глубокое отчаяние и, возвращаясь домой, придумал ужаснейший план отмщения. Назавтра, после дурного утра, написал я мрачное письмо к батюшке, в котором прощался с ним навеки, просил о неоставлении служивших при мне людей и, по дежурству моему исполнив весь долг службы, возвращался с полкового двора домой с лицом навыворот. У меня жил тогда родственник же мой, князь А. Я. Долгоруков, нашего полку офицер, малый премилый, которого после, в 1789 годе, убили в морском сражении под шве-

дами, где он был волонтером и уже капитан-поручик гвардии[1]. Беспорядок лица моего и волнение в глазах его удивило, к тому же и просьба моя о доставлении к батюшке после меня моих бумаг совсем ему голову вскружил[а]. Простясь и с ним, я прибежал домой, вбежал в покой моего дядьки, который был и казначей мой, и управитель, и камердинер, схватил со стены пистолет и с ним заперся в своей спальне. Не явное ли сумасбродство? Что бы стал я делать с холодным орудием? Кто бы мне дал время и способ купить пулю, чтоб застрелиться? Настоящая комедия, над которой я и сам ныне часто хохочу! Между тем Долгоруков, испугавшись моего положения, поскакал к барону Строганову и все ему рассказал, желая подать мне помощь, а дядька мой стерег меня в доме. Сей добрый слуга, взяв надо мною ту поверхность, которую дает природа седым волосам над юностью, связал мне руки, отнял пистолет и положил в постель. По малом отдохновении, я почувствовал слабость во всем теле — действие весьма естественное после такого жару и горячки. Попросился я на воздух, и осторожный мой Степан Сергеич выпустил меня за присмотром. Погулять был только предлог сойтить с двора. Я зашел к Молчановым, вся семья их меня очень любила и, увидя расстройку моих мыслей, приняли во мне живое участие. Посмотрим, что делается на улице, пока я тут сижу. Дядя мой, испуганный повестью Долгорукова и узнав о трагическом моем приключении в доме другого дяди, графа Строганова, вместе с ним поскакали выручать меня. Не найдя дома и подозревая склонность мою к которой-нибудь из девиц Молчановых, потому что я столько же был короток и у них, как у Щербатовых, решились выемкой взять меня из этого дома и подъехали к воротам. Тут новая началась пиеса. Выждать меня было трудно, я тут решился ужинать, потому что любовь аппетиту не отнимала, а от волнения дневного я плохо обедал в своей квартере, вызвать казалось неприличным и могло бы оскорбить хозяев дома. Итак, приняв пустые хлопоты, превосходительные мои дядюшки повертелись около двора и изволили к себе отретироваться, отложа дальнейший поиск над племянником до утра, а я, благополучно отужинавши в гостях, воротился к себе и, чувствуя большой озноб лихорадочный, лег спать. Назавтра нашел себя лучше, но сердце билось поминутно и кровь была до крайности разгорячена. Подходит развязка драмы. Приезжает поутру ко мне дядюшка, с чувствительным витийством начинает мне моральную свою проповедь, ищет возбудить мою доверенность, допрашивает с дружеским соболезнованием, в кого я влюблен, и сулит ходатайствовать у отца моего о дозволении мне соединиться с

4 Зак. № 3535

той, которая мне так мила. Не ошибался он в чувствах моих, но не умел отгадывать предмета. Ему казалось, он даже и ожидал, что я назову Молчанову. Ошибся дядюшка! Открывшись ему в моей новой страсти, поразил его ужасом, когда назвал Щербатову. Увы! Мы были соперники! Трудно было ему скрыть свое смятение. Каково было племяннику ввечеру, таково дяде сделалось поутру. В подобном случае, обыкновенно, сила все решит, а я на ту пору был слабейший предмет. Итак, дядюшка, приписавши всю мою расстройку волнению крови, призвал лекаря, который на всякий случай у него был готов, и посредством его моральное сие происшествие скоро обратилось в физическое. Врач пощупал у меня пульс и нашел большое сгущение крови, посмотрел мне в глаза, что в них прочел, не знаю, но провозгласил очень решительно: кровь пустить! Долго я упрямился, но надобно было уступить превосходной силе, и жилу мне разрезали в первый раз отроду. В самом деле, мне ланцет очень много помог, грудь стала дышать свободнее, тягость с сердца спала, легкое отдохнуло от прежних спираний и ручьи слез покатились из глаз моих. Действие обыкновенное природы, когда она получает облегчение. Кровь была очень горяча и означала, сколько терпел темперамент от излишнего воздержания. Жизненные соки получали ежедневное приращение, тогда как расхода некоторыми истоками естественными никакого не было вовсе, следовательно, надобно было выпустить количество сгущенной крови, чтоб разжидить массу остальной и укротить темперамент. Кровопускание этой цели соответствовало, и я нашелся после нее как больной, выздоравливающий после горячки. Подлинно, у меня и была она, невелика, но жестока. Чему иному приписать безумное мое намерение стреляться пустым пистолетом без заряда? Намерение ославиться таким дурачеством не могло бы поселиться в голове свежей, здоровой и не расстроенной химерами воображения, зашедшего за пределы дозволенных ему заблуждений.

По нескольким дням, выздоровев от своего амурного припадка, но не потеряв еще чувства страсти к Щербатовой, должен я был показаться опять на театре света. Проведя дома в уединении дней с восемь, я невольно сделался уныл. Один товарищ мой Долгоруков делил со мною скуку, я никуда не выезжал, то есть в гости, а следуя совету моего лекаря, для рассеяния прогуливался по садам и рощам пустынным около города. В вечера тешила меня полковая музыка, но и эта недолго, потому что примечено было, что музыка питала мою меланхолию, а мне нужнее всего было развлечение мыслей, дабы не укоренялось в голове все одно и

то же. Дико было мне выехать снова в люди. По милости многих барынь, из коих иные для детей, иные для мужей жили в полку в моем соседстве, молва сплела обо мне целую в городе историю. Иной говорил, что я с ума сшел, другие — что я умер, но когда я показался, многие с робостию заговаривали со мною и ясно мне показывали, что они слышали о повреждении моего ума. Скоро, однако, все эти сплетни миновались, я опять отправлял мою должность, опять выезжал всюда без малейшего признака того ужасного состояния, в котором находился я более недели. Спасибо Долгорукову! Никто мне такой твердой приязни не показал, как он. Я и за пределы гроба его не могу не отозваться об имени его без душевной признательности. Домашние мои московские ничего этого не знали. Боясь заочно их растревожить, я ждал случая, чтоб это все исторически им передать тогда уже, когда оставалось бы им только вместе со мною всему случившемуся смеяться, но в пущую болезнь мою, сберегая здоровье родителей моих и спокойство, вел с ними обыкновенную мою переписку, из которой видели они, что я здоров, следовательно, ежели бы нескромный болтун какой-нибудь и разнес по Москве те же вести, какие обо мне ходили в Петербурге и они бы дошли до них, то письма мои могли уверить, что молва не имеет никакой справедливости, и они бы остались спокойны. Впрочем, не тая ничего от отца моего, я здесь умедлил только, а не скрыл от него моего происшествия, дабы его напрасно не встревожить. Через время все это он узнал и ни от кого прежде, как от меня. Разумеется, что черное мое послание к нему было изорвано тогда же в клочки и до него не дошло. Жаль, что оно не уцелело, — это был бы памятник моих сентиментальных приключений!

Всего труднее для меня было выехать опять в тот дом, где жила героиня моего романа. Оттуда часто присылали о здоровье моем наведываться. Благодарность требовала скорого посещения, и я не замедлил явиться к Щербатовым. Ко счастью моему, никто там или не отгадывал, или не хотел замешательства моего умножить, показав, что знают мое дурачество. Дядя мой, вседневный гость их, также приводил меня и сам приходил в замешательство. Надо было чем-нибудь эту драму кончить, тем более, что я все еще был влюблен, и вздыхать без пользы становилось мне скучно. Имея дозволение иногда ходить в покои к княжне, я воспользовался одной минутой ее уединения и, вытвердив лучшие изъяснении в любви, каких только я начитался в «Элоизах»[2] и прочих романах, открылся ей в моей страсти, бросился на колени и просил ее руки в награду любви моей страстной и вечной. Обыкновенная форма любов-

ничьих клятв, они всегда страсти свои одушевляют до гроба, не любя верить опытам, кои часто доказывают всему миру, что огоньки амура гаснут скорее пороховых ракет на воздухе. Княжна имела передо мною не одно превосходство лет, она умела и чувствовать, и мыслить, опыты дали ей обширное познание человеческого сердца. Другая на ее месте, может быть, испугавшись такой нечаянности, бросилась бы бежать, закричала или, призвав на помощь кокетство, защурила бы глазки и стала языком проповедовать равнодушие, а минами возбуждать в юноше еще сильнее пламень и поощрять его к вылазке. Нет! Княжна, не изменясь нимало в лице и не делая никакого театрального движения, велела мне сесть, успокоиться и заставила себя выслушать. Долго она со мною говорила без жеманства и без жару; рассуждая о неравенстве наших лет, о суете страстного чувства, о тягости супружества, когда оно не основано на соображениях здравого рассудка, она самым тонким образом, не уничижая меня, заставила убедиться в ее рассуждении и, сказав, что не может согласиться на предлагаемое ей мною супружество, уверяла в чувствовании искренней ко мне приязни, требовала моей дружбы, откровенности и так мастерски отказала мне в руке своей, что я, расставшись с нею после такой чудной поговорки, уносил с собою вместо досады или стыда, что отказан, полное удовольствие, что она позволяет мне с собой обращаться как прежде, то есть с приязнию и чистосердечием. Я от нее вышел с таким к ней уважением, с каким редко отстает молодой человек моих лет в романическом исступлении и с тех пор доныне люблю ее, почитаю и во многом следовал ее наставлениям. Вот как из пламенной страсти родилась чистая и непорочная дружба, а что наиболее меня успокоило, это то, что я не мог заметить, чтоб княжна отказала мне в замужестве в намерении скоро предпочесть кого-либо другого. Сердце ее было совершенно свободно, она не шла за меня потому только, что рассудок не мог одобрить такого соединения, что неравенство наших лет и ветреность моя могли бы ей приготовить в будущем плачевные минуты, но отказ ее не имел тех печальных для самолюбия признаков, которые влекут юность в крайнее отчаяние, когда откроется или преимущество, или любовь подвергнется осмеянию. Словом, я, хотя не одержал победы, но не был игрушкой счастливого соперника. Страдала душа, но самолюбие ее не тревожило, и мало-помалу, благодаря времени, затянулась эта вторая рана в моем сердце так же, как и первая.

Ничто так не освобождает нас от подобных пристрастий, как рассеяние. Надобно было мне переменить место. Надолго отъехать мне не по-

зволяла и должность адъютантская, и егерский мой корпус. Вздумалось мне прокатиться до Нарвы. Расстояние близкое, меньше недели потребно было в оба пути, а как мы дежурили по неделе, то в свободное время нетрудно было мне отпроситься дней на пять. Входя в леты, становился любопытен, и путешествие казалось мне приятнейшим занятием. Одна бабочка вытеснила другую из головы: сперва хотелось жениться, а потом рыскать по всему белому свету. Никто мне не воспрепятствовал, я выпросился в отпуск только на пять дней, сел с слугой в перекидную кибитку[3] и помчался в Нарву, как отчаянный любовник, искать смерти на крутых скалах тамошних водопадов. Достойная мысль такого воображения, каким наградила меня природа! Петербург тогда был совершенно пуст, и полк наш ничего не делал. Государыня изволила быть в Москве. При ней находился майор наш Левашов. Меньшой двор убивал свое время в увеселительных замках. Подполковник наш Салтыков жил при великих князьях в Сарском Селе, а полком смиренно правил за майора капитан с красным носом Д<ивов>. В отсутствие Екатерины все было мертво и в городе, и за городом.

Нарва от Петербурга менее 150 верст. Летом доехать туда можно в один день. Я выехал поутру, а там был ввечеру. Целый день назавтра занимался я предметами города. В нем жил по каким-то причинам отставной и пожилой генерал-поручик князь С.Н. Трубецкой, который всякому заезжему гостю был рад, потому что неволя и Париж сделает скучным, не только Нарву. Он тотчас прибежал ко мне, расспрашивал о новостях городских и чуть не принял меня за безумного, когда узнал, что я не проездом в чужие краи остановился в Нарве, а нарочно из Питера ехал на нее посмотреть. Я не имел надобности открываться ему в моих на то причинах, пусть, думал я, он считает меня за что хочет, но он как житель города был мне очень полезен для моего любопытства. Несмотря на леты свои, он охотно согласился везде меня выводить, все мне показать, и подлинно, человек в неволе всякому рад, лишь бы увидеть выходца с своей родины. Мы с ним много ходили и все осмотрели. Город маленький, в котором замечание особенное заслуживают: 1) древняя крепость под названием Иван-Город. Она уже вся почти в развалинах. 2) Нарвская биржа и 3) славные природные водопады. Они, подлинно, всякого приведут в ужас своею быстротою и пенистыми брызгами, которые при солнечном сиянии живо уподобляются падающей алмазной горе. Падение вод сих так шибко, что глаз поспеть за волнами никак не может. Я чрезвычайно изумлялся этой водяной картине. Проведя тут двадцать че-

тыре часа и поблагодаря своего старичка князя Трубецкого, я опять воротился в Петербург и в трои сутки совершил свое путешествие. Дорогой меня растрясло порядочно, я начал опять крепко спать, меньше задумываться и пришел в порядок.

Явясь к Николаю Ивановичу, получил от него приказание поучить егерей стрелять холостыми зарядами и потом привести их на неделю в Сарское Село для забавы великих князей. Трудно было выучить ребят владеть ружьем с порохом, однако кое-как успел в этом и отправился с ними в поход. Всю эту кампанию можно бы кончить в двух строках, но я попрошу простить мне, если напишу о ней потомству моему подробную реляцию. Приятно вспомнить двадцать лет и невинные забавы этого возраста. У самого Сарского Села выстроена была слободка. Екатерина называла ее Капризом, потому что хотела без оптики представить в натуральном виде театральную декорацию. Тут отвели для моей команды квартеры, а я нанял себе неподалеку особую горенку. Всякий день я ходил их учить по два раза; ненастье продолжительное препятствовало великим князьям их видеть, а мне кончить мою кампанию. Прожил я десять дней, признаюсь, в большой скуке, но милости Николая Ивановича и Натальи Володимировны облегчали оную, они удостоивали меня благосклонного приема во всякое время. У них я познакомился с любезной очень дамой г-жой Бор<оздиной>. Муж ее был генерал-поручик и член Военной коллегии. Она любила петь, играть комедию, забавляться, и скоро я вошел у нее в милость. Иногда Наталья Владимировна позволяла мне участвовать в ее прогулках, и в одной карете с ней мы нередко на придворном осьмерике[4] во весь дух оскачем, бывало, верст пятнадцать. Она любила шибко ездить, несмотря на старость свою. В это время я имел довольно досугу, чтоб осмотреть все прелести Сарского Села. Они не изгладятся никогда в моей памяти.

Наконец, воссияло солнце, ясное время выманило всех из чертогов на мураву. Николай Иванович хотел наперед сам осмотреть моих кукол. Часто и знатные господа играют в детские игрушки, придавая самым низким упражнениям высокую цену. Они любят на всяком шагу выказывать свои почести. В назначенный час представил я моих мальчиков. Они прометали всю экзерцицию, маршировали по барабану и стреляли довольно удачно. Однако я осмелился доложить генералу, что за ружье заряженное в руках ребячьих не всегда отвечать можно. Он вошел в мои мысли, и стрельба отменена. После его смотра, которым я был очень одобрен, велено мне день спустя представить моих рыцарей их высочествам.

Вывел я их во фрунт в двенадцать часов близ театра на площади у Китайского моста; изготовясь к смотру, донес о том Николаю Ивановичу. Великие князья со всем штатом своих надзирателей и кавалеров изволили выйтить в сад. Я с обнаженной шпагой отдал им честь всем фрунтом и полный пробить велел поход, потом, приняв их приказание, начал учить. Знаменитые ревизоры терпеливо смотрели всю школу, дав мне полную свободу. Когда начался марш по барабану, им угодно было самим стать в шеренгу и с ними идтить вперед. Итак, могу похвастать, что я первый обучал великих князей ходить в ногу с солдатами по барабану. Они поставлены были мною по флангам для удобности как их, так и моих ребятишек. Константин Павлович беспрестанно меня обо всем расспрашивал и хотел весь механизм узнать в одну минуту. В нем видно было уже тогда природное расположение к военному ремеслу. Александр Павлович, напротив, со всею скромностию казался доволен без любопытства всем тем, что ему показывали. Учение продолжалось с час, и когда велено было мне распустить команду, я приметил, что великие князья с неудовольствием отозваны были от этого зрелища, однако и они, по возрасту своему, должны были повиноваться. Константин Павлович особенно забывал, что ему обедать пора, и рад был целый день фрунт водить. Мудрый Сакен, его надзиратель, употребил принужденье и отвел их. Оба они были очень довольны этой забавой и, учтиво поблагодарив меня, пожаловали по серебряному рублю на каждого мальчика.

Нравственные наклонности как в царях, так и в простолюдинах открываются в самом их младенчестве. Заметим здесь один опыт этой истины. Константин Павлович, боясь, что мальчики не получат данного им рубля, и подозревая, что деньги до них не дойдут, отвернулся от своих надзирателей, кинулся в толпу мальчиков и каждого сам спрашивал, отдали ли им пожалованные деньги? Мальчики, не получив еще их, сказали правду. Великий князь сурово оборотился ко мне и спросил, для чего им не дают денег? Я доложил, что они раздадутся после, а теперь я занят еще их высоким присутствием; но, видя, что это его не успокоивает, принужден был еще в глазах его раздать рубли по рукам. Сакен приметил, однако, его обидное подозрение, отвел к стороне и сделал ему замечание, которое он, по правде сказать, и заслуживал, ибо как могло войтить в мысль его, что офицер гвардии осмелится, и столько унизит себя, чтоб отнять у солдатских детей их награду, да и какую же? Шестнадцать рублей! Это доказывает, как великий князь Константин начинал пома-

леньку подозревать всякого в деньгах. Вывеска или скупости, или уничижительного мнения о всяком ему подчиненном лице.

После строю я проводил их высочествы до их комнат и, откланявшись им, поцаловал у каждого руку. В тот же день меня и войско мое Николай Иванович отпустил в город, куда уже я горел желанием уехать, потому что при всех красотах Сарского Села беспрестанное принуждение и жизнь не по своему вкусу очень мне надоела.

Скоро возвратилась государыня в город, и он принял прежний свой удовольственный вид. Летом она изволила жить всегда в Сарском Селе, любезном ее уединении. Тут при ней дежурили генерал-адъютанты и по разным делам находились знатнейшие чиновники. По порядку службы государыня еженедельно по воскресеньям изволила принимать от всех полков гвардии через старших чинов их рапорты о состоянии людей. Рапорты эти, когда подполковники находились в Сарском Селе, привозимы были к ним или майорами, или адъютантами из городу. Преображенского полку майор Тол<стой>, бывший в случае у двора и близком обращении с государыней и с Потемкиным, выпросил высочайшее дозволение полковым адъютантам гвардейских полков, когда они приезжают по делам, обедать за большим столом с государыней. Я всегда любил жизнь тормошную от самого ребячества. Ни на кого сильнее не подействовало такое позволение, как на меня, я забывал убытки, с этими поездками сопряженные. И тогда уже дорого платили за четыре лошади до Сарского Села взад и вперед, а на моей домашней паре я бы в сутки не дотащился. Лишь приходило воскресенье, то я, дежурный ли был или нет, всегда напрашивался за другого, менялся с ним и ко всему придирался, чтоб только кинуться в толпу знатных людей, присоединиться к ним и отобедать за одним столом с государыней. Это мне казалось верховным благом на свете, и я им, по возможности, наслаждался. Ко счастью моей прихоти, наши штабы, и подполковник Салтыков, и майор Левашов, всегда почти жили в Сарском Селе, и адъютанты Семеновского полка обязаны были с рапортами своими являться к ним туда — разумеется, по воскресным только дням. Тут я насмотрелся придворной суеты и величества. Хоть мало еще рассуждал, однако иногда видал и я, сколько пустоты в обрядах придворных, сколько вздора в этикетах, пленялся всегда сановитостию императрицы, которой она ниже в простом образе жизни не теряла. Иногда посильно философствовал, глядя на всю эту картину мира, на гибкость вельмож, на своекорыстие каждого лица. Целое утро прошатавшись в покоях царских, сколько имел случаев при-

метить хитрые уловки царедворцев, надменное тщеславие любимцев Екатерины, и если, выехав из этого очаровательного замка, душа оставалась чем-нибудь довольна, так это добротой самой императрицы и ее благоволением к окружающим. Такое зрелище меня восхищало; правда, что я за него дорого платил извозчику, который на хвастовство возил меня туда и назад в город на славной серой четверне в час с четвертью — это было nec plus ultra* скорости. Скачка и щегольство в одеже составляли главные мои расходы. Как я величался перед своей братьей, возвращаясь в город! С кем ни встречался из них в казармах или на прогулках, непременно всякому твердил: я обедал сегодня с государыней! Мне казалось, что от меня светится, как от Моисея после Синайской горы[5]. Сверх удовольствий тщеславных такие поездки, по летам моим, доставляли мне существенные выгоды на то время. Я знакомился с людьми большого света, находил покровителей, участников в моей судьбе и службе. Пусть все это также в суету обратилось очень скоро. Что не мечта! Но в настоящем времени это были для меня значительные преимущества. Они и родным моим доставляли удовольствие, а притом не забудем молвить и о наслаждениях животных. Почтение и страх не препятствовали мне за столом императрицы досыта наедаться с таких блюд, каких кроме двора нигде не готовили, и пить лучшее вино всех краев заморских. Пока я сидел за столом, весь двор и наружный блеск его столько же принадлежал взору моему, слуху и всем прочим чувствам, как и самой владычице российской. Все около ее дышало роскошью, негой и пышностью чрезмерной. Обыкновенно и наследник престола приезживал из Павловска сюда обедать с своим штатом. Сколько диковинок для мальчика в двадцать лет!

Разъезды мои в Сарское Село познакомили меня в покоях Салтыкова с генеральшей Бороздиной. Я о ней уже нечто сказал, повторю, что она была дама умная, но ветреная, опрометчивая и, хотя немолодых уже лет, однако могла еще нравиться. Два сына ее служили со мной в одном полку[6], это сблизило нас и сделало меня в их доме коротким. Она жила бессъездно в городе и принимала всегда множество гостей. Хозяйка часто терпела большие недостатки в содержании себя, но умела мастерски оборачиваться и скрывать их. О хозяине мы редко слыхали, того реже видали. Любя играть в карты и во всякую, она привлекала всех игроков в свое общество. Часто вечер продолжался у нее до обеден, а садились

---

* высшим пределом (лат.).

обедать, когда все сбирались ужинать. Кстати приведу здесь забавный пример ее страсти к игре. Назавтра одной вечеринки, после которой и я уехал не ранее трех часов ночи, вздумалось мне заехать к ней часа в два пополудни проведать о ее здоровье. Какое мое удивление! Вхожу в гостиную, ничто не прибрано, и все в том же положении, в каком оставил я дом после полночи, иду далее и нахожу ее с одним игроком за карточным столом. Они во всю ночь играли в макао, и в ту минуту, как я дверь растворяю, игрок, офицер же гвардии, но не нашего полку, кричит: «Милльон с прессом!» Я кинулся на стол. «Помилуйте, — закричал на них, — вы оба сошли с ума. Чего миллион — орехов, что ли?» Они как с большого угара оба очнулись, поглядели на меня быстро и захохотали. Вот какие происходили иногда тут явлении. Порядка в доме ни в чем не было никакого, всякий день шум, толпа, забава, старики и старушки посядут в карты играть, молоденькие грохочут и пляшут. Казалось, что на воротах г-жи Бороздиной написано было: «Сюда, сюда, здесь только и весело!»

Воспользовавшись лаской и доверенностию к себе сыновей и матери, вздумал я предложить о театре. Бороздина всякое рассеяние любила до смерти. Мысль моя ей понравилась; тотчас сделан рисунок, позван подрядчик, набрана труппа актеров, сделали между ими и другими посетителями складку. Сумма набралась достаточная, ударили в топоры, заставили маляров писать кулисы, и театр скипел в минуту. Все довольны, и хозяева, и гости; труднее было всего набрать женщин. Молодые девушки при предложении о театре облизывались, краснели и говорили: «Стыдно». Хорошо, если б этот припев вертелся у многих чаще на языке и не об одном театре говоря. У Бороздиной жила в доме барышня, монастырка, молодая девушка А<нна> В<асильевна> Л<ьвова>, довольно любезная и жива по летам своим, хотя не пригожа. Надобно было довольствоваться этой находкой. Живучи тут, она не могла жеманиться, как прочие. Зависимость не знает отрицательных частей речи. Мы назначили играть «Севильского цирюльника»[7], тут одна только и была женская роля. Выучили очень скоро, но долго репетировали, потому что в обществе нашем, как и во всяком другом, происходили разные мятежи и происшествии. Однако мы восторжествовали над всеми препятствиями и дали три раза довольно удачно нашу комедию, имея во всякое представление человек до ста зрителей. Я сыграл любовника испанского Алмавиву, спел довольно исправно свою арию, которую вторил мне на скрыпке известный Хандошкин. Вся наша публика очень довольна была этой забавой, и могла бы она продолжиться долее, но следующий хотя смешной,

однако и неприятный случай расстроил наше общество. Читатель здесь заметит мимоходом, что с самого первого шага в свет всегда работал двум страстям: или любви, или театру. Когда не играю, то влюблен, когда не влюблен, то играю, и так-то утекла почти вся молодость моя, как резвая волна, которую гонит тихий ветерок.

По свойству моему с Ржевским, который был мне родной дядя по матери, жил у меня брата его родного московского коменданта сын Г. П. Ржевский. Молодой этот мальчик служил у нас в полку сержантом. Изрядно будучи обучен, но незатейлив от природы, он в одном обществе со мною играл на театре у Бороздиной, и в «Севильском цирюльнике» Фигаро была его роля. К милой нашей генеральше съезжалась, как выше сказано, всякая всячина. Однажды, незадолго уже до настоящего представления, как-то повздорили за обедом Ржевский и другой нашего же полку сержант Дани<лов>. Размолвка была горяча, но приятель мой Молчанов, брат двоюродный Данилова, и я смяли разговор. Казалось, дальней ссоры не будет, но Данилов был крайне прост и что больше приходил в задор, то крепче молчал да пыхтел. Известно, что такое дурак сердитый! Лишь встали из-за стола, он подскочил к Ржевскому и дал ему пощечину, тот ему выдрал волосы, — и делу край? Всякий, однако, стал об этом толковать по-своему. Ржевский обижен. Надобно было мстить, требовать рыцарского удовольствия, и назавтра вызывает Данилова на поединок. Так важивалось издавна между молодыми людьми. Поединок был подвиг, всякому хотелось им похвастать. Данилов рад бы сдаться на капитуляцию и просить пардону, потому что кулаки у него были туги, да шпага тупа, но Молчанов, вступясь за родственника, принуждал его драться и пошел к нему в секунданты. Мне нельзя было выдать Ржевского, у него не было никого ближе меня ни в родстве, ни в приязни. Как не пожертвовать собою в таком случае? В двадцать лет одна логика действует — сердечная. Стыдно бросить приятеля, за него терпи все, и так я по чувствам своим, вопреки рассудку, сделался сообщником поединка. Знал я, что это может иметь самые неприятные последствии, поединки наказывались тогда строго. Два сержанта, коих мы имели право как офицеры посадить под караул, не только были нами допущены к такому противозаконному поступку, но еще мы, начальники их, некоторым образом поощряли к тому, согласясь помогать и тому, и другому. Очень плохо! Но чем опаснее предстояла ответственность, тем более, казалось, приносит чести такая молодецкая отвага. Все умствовании к стороне; поединок решен на следующих условиях:

1. Драться на шпагах до первой раны.

2. Не брать с собой никого, кроме подлекаря полкового.

Сражение происходило августа 19. Эдакого знаменитого дня нельзя во всю жизнь не помнить. Выехали мы с утра рано в разных каретах: Молчанов с Даниловым в своей, а я с Ржевским особо. Отъехавши на Петергофской дороге версты за четыре от города, оставили людей и кареты у Красной Мызы Нарышкина под видом, будто вышли туда гулять, а сами, отвернувшись с дороги в кустарник, зашли на первую чащобу и за леском расположили место сражения. Сперва, по порядку и законам рыцарского устава, осмотрели своих бойцов взаимно, нет ли на них лишней арматуры, дали каждому свою шпагу и шляпу, а сами ожидали молча окончания этого злодейства. Как иначе назвать введенное сумасшедшим обычаем правило? Кидаться друг на друга с ножом! Можно ли равнодушну быть к такому действию, при котором жизнь подобного нам из пустой безделки зависит от удачи одного удара? Иногда, я согласен, это оканчивается смехом, но всегда ли можно в этом быть уверену? Впрочем, если это шутка, она, по мнению моему, глупа и постыдна, если тут настоящее дело, то оно преступно и скаредно. Я всегда так мыслить буду о поединках, но для задора нет ни правил, ни закона. Погода была прекрасная, и молодые мальчики, вместо того, чтоб съехаться в сад наслаждаться природой, условились тут же резаться и поливать зелень своею кровью. Прекрасная забава!

Бойцы вооружились, засверкали клинки. Ржевский кинулся вперед, Данилов попятился, но Молчанов стал за ним, вынул шпагу и грозил изрубить его, ежели он струсит. Ржевский попал сперва Данилову по обшлагу и раздвоил медную пуговицу, Данилов отрубил край шляпы у Ржевского, потом попал ему в локоть и разрубил руку до кости. Увидели мы кровь и, по условию, тотчас прекратили драку. Поединщики поцеловались. Новое дурачество, и совсем ненатуральное! Я же обижен, я же ранен, и цалуй соперника! Какое превратное понятие о сердце оскорбленном! Но так водится, или цалуйся, или снова дерись хоть до смерти. Подлекарь осмотрел раненого и перевязал ему рану. Мы сели с Молчановым в одну карету, а их посадили в другую и поехали прямо ко мне. Тут я послал за штаб-лекарем. Он уверил меня, что рана неопасна, но что на волос глубже, Ржевский мог быть вечно без руки, и за что же? За шалость! Еще жар ни у кого из нас не прошел, отдохнувши несколько, мы все четверо поехали на Красный кабачок, где победитель дал нам обед, и мы, за чашей шампанского вина, рассуждали о нашем подвиге, как бы храбрые генера-

лы после Кагульской славной победы стали под шатрами рассуждать о искусстве своих движений и об участи Восточного царства[8].

К концу дня стал проходить чад, и, пришед в себя, мы увидели всю опасность нашей безрассудности. Делать было нечего. Чтоб избежать огласки, я тотчас поехал дни на три за город, в прекрасную маетность к г. Деми<дову>, Таицы. Там, удалясь от вестовщиков городских и любопытства стороннего, я приятно отдохнул от новой этой горячки. Ржевский меня уведомлял, что ему лучше и что в городе о поединке его молва очень глуха. Это меня успокоило. По нескольким дням воротился я в город, и, к счастию моему, не прежде как через месяц стали кой-где со мной говорить о нашем геройстве. К батюшке я, не тая ничего, описывал все происшествие. Я признавался в своем дурачестве, но можно ли было мне поступить иначе? Унять я не имел права ни того, ни другого; вывести наружу было, по мнению общему, и стыдно, и бесчестно, я бы покрыл срамом и себя, и Ржевского, нас бы стали звать в полку трусами и подлецами; должно было следовать общему навыку, против него нет оплота в молодости. Ржевский скоро выздоровел, и потеха наша, слава Богу, сошла с рук благополучно. Между тем г-жа Бороздина, которая не могла всего этого не знать, в крайней тревоге ожидала последствий. Ей неприятно бы было обнаружить подобное происшествие в своем доме, оно и ей не могло принести ни пользы, ни чести, но Ржевский, выздоровя, явился на пробу и мог сыграть комедию. Тем вся молва и утихла, и генеральша угомонилась. Все пришло в свой прежний порядок, но в обращении взаимном всякий сделался осторожнее, и хозяйка дома стала делать выбор в своих посетителях, дабы не подать нового повода к такой же безобразной сцене.

Театр совсем погасил страсть мою к Щербатовой. Слова ее были справедливы, советы назидательны. Я остался ей предан, но уже нимало не влюблен и реже посещать стал дом их под предлогом новой забавы, отнимающей у меня все мое время. При начале зимы умножились мои рассеянии. Граф Строганов, дядя мой, посредством графа Мусина-Пушкина исходатайствовал мне честь быть на балах великого князя. Пушкин Валентин Платонович, генерал-аншеф и первый чиновник при дворе наследника, женат был на Прасковье Васильевне, дочери незабвенного моего благодетеля князя Долгорукова-Крымского. По его благоволению ко мне угодно было его высочеству приказать записать меня в список приглашаемых на его балы как в Зимнем дворце, так и на Каменном острове. Они давались два раза каждую неделю. Я был восхищен до безу-

мия, когда придворный скороход пришел мне объявить о сем, и отдал ему все, что у меня тогда случилось в кармане. Для него нажива была не большая, но для меня крайняя жертва. Всю зиму я этими балами пользовался, не пропуская ни одного. Это удвоило шаг мой в большом свете и доставило мне случай короче ознакомиться в доме у графа Пушкина, где я был потом всегда принят, как родной, с большою милостию и участием во мне. Главное для меня приобретение от сих балов было то, что я узнал все уловки двора и придворных, нагляделся в самое широкое стекло на суету мира и, насыщаяся ею, запасался сведениями для будущей моей жизни. Ничто таких опытов не приготовит, как двор. Тут человек виден во всех его отношениях, обстоятельства меняются ежечасно, по воле их он и падает, и возвышается. Голова его становится лабиринтом, из которого иногда никакая нитка не выведет души на истинный путь ее спокойствия и тишины. Ах дети! Друзья мои! Какая школа царские чертоги!

Окончав нынешний год, сделаем ему краткое нравственное обозрение. Я много приобрел знакомств и тщетной славы, известен стал в лучших домах и вхож к меньшому двору. По общему мнению судя, я поставил себя на хорошую ногу в свете, но посмотрим, чего мне это стоило. Я не говорю о скуке, об исканиях, ходатайствах и разных капризах, которые там и сям мне переносить было должно. Более всего меня угнетать начинали долги, сей неусыпаемый червь городских жителей! Читатель уже знает главные душевные мои припадки: я любил рассеяние и роскошь. Щегольство вскружило мне голову. Мне хотелось иметь фрак такой же, как и у всех, и как можно чаще, следуя моде, переменять его. Славный портной тогдашний, Vainqueur, одевал меня в долг и в один год подал счет в 1000 рублей. Кроме фраков, театр требовал своего одеяния, и я не хотел ни от кого отстать. Все молодые люди щеголяли также ческой, как и мне не отличиться множеством пуклей на голове? Парикмахеров иностранных тогда было множество в Петербурге, и некто Beauregard хаживал меня убирать на каждый бал или съезд, что случалось почти ежедневно. Кто молод не бывал? Всякому хочется быть выскочкой. В двадцать лет человек редко знает, чем надлежит отличаться, а многие, сказать правду, и умирают с тем, что век того не знают. Беспрестанная езда то в Сарское Село, то по дачам знатных господ, кои всегда летом живали за городом, требовала наемного экипажа. Моя пара могла меня только возить в городе, и то не напоказ. Вот новая издержка и очень значущая. Извозчики были дороги, и наем четверни очень часто становился убыточен моему карману. На все это окладного моего жало-

вания от батюшки и в полку, которое вообще не превышало 1500 рублей, было очень недостаточно; кредит дополнял его, и по окончании года оказалось на мне долгу до 2000 рублей. Продолжительная разлука моя с батюшкой налагала на меня долг с ним повидаться. Чувствовал я, что кредиторы мои, кудречесы, ямщики, закройщики не скоро выпустят меня из города. Мучим таким беспокойством, я решился, не дожидаясь далее, исповедать батюшке свою невоздержность. В этом намерении не то меня тревожило, чтоб навлечь на себя гнев родительский, я уверен был, что он не падет на меня, потому что заблуждении мои проистекали не от порчи сердечной, а от молодости и легкомыслия, которое, будучи естественною данью природы в мои лета, не могло обременять совести моей и, следовательно, раздражить отца; более всего меня тревожило то, что расстроенное состояние родителей моих, собственные их недостатки, кои становились уже чувствительны, увеличатся моими прихотями. Батюшка должен будет изворачиваться с трудом, чтоб сделать мне вспоможение, а огорчить его казалось мне самым большим несчастием, ибо я его очень горячо любил и с доверенностию беспредельной. Итак, написал к нему о моих издержках и ждал ответа, как громового удара. Почта принесла его в две недели, и кто ж бы поверил развязке? Нежный родитель без гнева, без досады пенял мне с чувствительностию, что я дал волю тщеславному побуждению моих склонностей, напоминал мне прежние свои нравоучении, распространялся в них, увещевал быть впредь осторожнее и, наконец, благодаря меня же за откровенность, с какою я обратился прямо к нему в тесных моих обстоятельствах, за то, что я без всякой интриги, не стороной, а непосредственно ему повинился, принял на себя милостиво долг мой и, уплатя из него тотчас 800 рублей, остальные очистил по времени. Как же я был счастлив! Не потому, что долг снят с меня, как вредный нарост рукою мудрого и чувствительного врача, но счастье мое составляло то, что батюшка не гневается на меня и щадит сына повесу. Как гора с плеч свалила! Сколько раз, освободясь от должников, я клялся никогда не впадать более в их руки. Но увы! Роскошь и после этого опыта ставила мне новые силки, в которые я всегда попадал, как сом в вершу[9]. Трудно устоять против царствующей страсти! Все прочие покоришь рассудку, но есть всегда такая в них, которая самого тебя невольно порабощает. О человек! Чем же ты гордиться можешь!

Пред истечением года в Москве были дворянские выборы, и батюшка выбран в депутаты (дворянские) от московской округи. Депутаты были сочлены губернского предводителя, который, по учреждениям Екатерины,

вообще с ними (а их от каждого уезда избиралось по одному) обязан был рассматривать дворянские родословные и вносить поколении настоящих дворян в особо установленные на то книги. Должность маловажная, но как выборы дворянские через каждые три года в разные места судей и чиновников из отставных были прекраснейший идеал, который Екатерина ввела первая в своем государстве, то всякая должность, ими налагаемая, казалась уважительною и превосходной. По сему-то отношению и отец мой не считал приличным отговориться от этого пустого звания.

1786

Несмотря на кроткие отношении ко мне моего отца, ему хотелось пожурить меня лично, да и было за что. Он писал к Николаю Ивановичу и просил об отпуске меня на 29 дней в Москву. Салтыков отвечал батюшке похвальным письмом насчет моей службы и поведения, а между тем, посуля мне паспорт, удержал еще недели на две при полку, дабы я мог воспользоваться готовящимися праздниками по случаю дворянских выборов, коим в той зиме истек трехлетний срок в Петербурге.

Первое удовольствие мое в наступившем годе состояло в Богоявленском параде. В Крещеньев день бывает обыкновенно крестный ход из дворца на воду в Адмиралтейском канале, на котором готовится Иордань[1]. Полки вокруг ее становятся повсюду и занимают отдаленное пространство в городе, фрунтом командует по наряду очередной штаб гвардии. Ныне доставалось нашему майору Левашову, и ему угодно было меня взять при себе для распоряжения церемонией военной. Погода была теплая, я достал лошадку смирную, потому что трусливо езжал верхом. По счастию моему, и майор мой не храбрее меня сидел на своем буцефале[2]. Мне казалось, глядя на себя, что я первый человек был в городе и что скакать по улицам верхом в знаке и шарфе, рассчитывать ряды, таскать за собою кучу сержантов есть торжество ни с каким другим не сравненное. Для меня эта Иордань была Траянов триумф, и я, отправя парад, был собой чрезвычайно доволен. Церемония кончилась благополучно. Великий князь изволил с своего балкону смотреть, по обыкновению, на полки, кои, мимо дворца проходя, повзводно салютовали его высочеству, и отретировались солдаты по казармам, а мы по своим домам, не отморозивши ни одного члена, что было всего счастливее, потому что иногда Крещеньев день на Неве не шутит и долго памятен бывает солдатам.

Потом начались выборы. Государыня изволила поручить отправить обряд их Николаю Ивановичу, и все возможное раскинуто было при том великолепие. Действие сие происходило в Канцлерском доме, где учреждена дума Владимирского ордена. Я ничего здесь не скажу о выборах. Мне не известно было, ни как они должны производиться, ни как шли. Мое дело было веселиться, и я на двух маскарадах, которые при сем случае от двора даны были под управлением Салтыкова, подвиг свой совершил очень порядочно, то есть плясал чрезвычайно много и ветреничал около молоденьких барышень.

Потом, увы! Дан мне паспорт на 29 дней, и, сперва собравши на масленице дань со всех петербургских забав, приехал в Великий пост поститься в Москву, смиряться и говеть. Вот как всякое время переходчиво! Бывало, в Питере тошно — теперь из него грустно.

Сколько бы снисходителен ни был отец, он должен иногда суровый вид показать сыну, когда сей увлекается в беспорядки. Батюшка принял меня с важной холодностию и целый день не изволил говорить со мною, ожидая полного моего к себе обращения. Сестра большая пользовалась всей его доверенностию и по качествам своим заслуживала преимущество над нами, а как мы были с малолетства всегда между собой очень дружны, то ее ходатайству я и обязан совершенным прощением. Назавтра моего приезду вошел я к батюшке, застал его одного, пал пред ним на колени и, начав с глупого пистолета, до последнего дня петербургской жизни все ему рассказал с неограниченным чистосердечием. Батюшка только этой жертвы и требовал от нас, признание мое изустное его победило. С терпением выслушав все мое похождение, он взглянул на образ, заплакал, потом, оборотясь ко мне, с усмешкой поцеловал меня в лоб. Это была печать совершенного примирения! Эта минута неизгладимыми чертами врезана в душе моей. Матушка о шалостях моих ничего не знала. Батюшка, сберегая слабые чувства ее, никогда не доводил до нее то, что могло бы их расстроить. Проживши в Москве пост, в который никаких забав не бывает, я не мог ими пользоваться, но ни с чем не сравню того удовольствия, с каким я прожил это короткое время между своими родными в доме родительском! Такое удовольствие заменяет все прочие на чужой стороне. Кому не мило родимое гнездо? И лаплан[д]ец свое дымовье предпочитает Индостану! К тому же рассеянная жизнь больших городов всегда оставляет в сердце пустоту, а семейная живит нашу душу.

В разговорах насчет службы моей с батюшкой узнал я, что ему хотелось поместить меня при начале воспитания великих князей в штат наби-

раемых к ним кавалеров. Он об этом имел сношении с Николаем Ивановичем, который отозвался, будто бы государыне не угодно окружать внуков своих людьми знатных фамилий. Итак, я к лику сих избранных не мог быть причислен. Отговорки ли то были пустые с стороны Николая Ивановича или настоящая правда, узнать трудно! Беседы их с Екатериной нам никто не рассказал. Может быть и справедливо, потому что он имел многих ближайших родственников, из которых, однако, никто не попал ко двору также, что по времени подтвердила мне и Наталья Володимировна в откровенном разговоре. Но, по некоторым другим опытам, судя после о характере Салтыкова, я принужден верить, что он сам или от трусости придворной, или от хладнокровия ко всему тому, что было не он сам, не смел о сем государыне и заикнуться. Здесь обнаруживается первый случай, где Салтыков, похищая название благодетеля нашего дома, оного, однако, не оправдал и оказывал свое доброхотство ко мне не услугами прямыми, а одними пустыми приветствиями. Будущая История моя сие более и более докажет.

Как миг пролетело время моего отпуска. Несмотря на скуку Великого поста, я не видал, как приспел срок мой. Собравшись назад к полку, я не простился ни с кем, по русской пословице: «Дальние проводы — лишние слезы». Взвился и полетел.

Положение моих финансов не могло перемениться. Отец мой не в силах был давать мне золота пригоршнями, его чувствительно обременяли долги, оставалось мне умеренностью в расходах прибавить себе доходу. Трудна задача! Но необходима. В полк явился я в марте по последнему пути и начал опять дежурить. Скоро двунедельную мою просрочку я заработал, и мне ее в вину не поставили.

Между знатнейшими домами в Петербурге по рождению и богатству считался дом принцессы Голштенбековой. Она была принцесса крови и екатерининский кавалер[3]. Вышед замуж за князя Ивана Сергеевича Бар<ятинского>, но будучи с ним в разводе, она с двумя детьми своими, сыном и дочерью, жила бессъездно в Петербурге. За ней было одиннадцать тысяч душ. Все ее привыкли звать принцессой, всякий почитал себе за особливую честь быть въезж в дом ее, потому что кроме титла своего она была дама почтенная, любезная, ко всем благоприветлива без гордости и чванства, вела себя со всеми ровно и довольно еще была молода, чтоб привлекать к себе всю молодежь городскую, однако в ее обществе был большой разбор в людях. Прием к ней был аттестат для молодого человека. Она очень строго смотрела за поведением равно тех,

кои рекомендовались ей в знакомство, как и тех, кои представляли ей своих приближенных. Она любила забавы большого света, театры и балы. Богатство позволяло ей роскошь. Муж ее был генерал-поручик и послом в Париже.

По случаю детского спектакля в ее доме, скоро по приезде моем, имел и я честь быть приглашен к ней. Принцесса меня приняла с лестной благосклонностию и предложила мне играть у нее на театре. Таков ли я был, чтоб отказаться от этой работы? Славный французской придворной труппы актер, г. Hoffrene[4], хаживал нас учить и управлял нашим зрелищем, потому что принцесса любила в доме своем давать не игрища, а настоящие комедии. Я любил театр черезвычайно и сверх общих наставлений, кои давал нам Гофрен при репетициях, хаживал к нему на дом брать уроки. Я так ему показался способен, что он принялся за меня с крайним усердием, и в короткое время я до такой точности подражал его голосу, ухваткам, произношению, что, затворя двери в комнату, где мы вместе проходили мои роли, сама жена Гофренова часто ошибалась и по голосу принимала меня за него. У принцессы готовилась французская комедия «La soirée a la mode»[5], в которой я играл пожилого барона; прочие актеры были господа Энгельгард[т], Ржевский, тот же, с которым я играл у Бороздиной, родственник мой князь Сергей Васильевич Долгоруков, Свистунов[6] и учитель принцессина сына. Актрисы: г-жа Ломан, урожденная Хрущова, монастырка, барышня Ивкова, жившая в доме, и две девицы Волковы. Все они были монастырки, все, особенно Ивкова, с пригожеством и талантами природными.

Репетиции наши были не так, как водится во многих благородных театрах, одно условное сходбище, чтоб резвиться в свободе, нет! Мы не прежде сыграли комедию, как удостоверясь Гофреном, что она пойдет хорошо. В самом деле, трудно было бы охотникам удачнее нашего сыграть, и из всех театров благородных не было совершеннее нашего. Тут-то я нажил славу свою в этом роде, все называли меня молодым Гофреном, рукоплескании не умолкали, и я поднялся на ходули. Дарование театральное было тогда заметно в людях благородных, оно давало им особенную цену в отборных обществах. Двор сам любил мимику, вкус его разливался на все состоянии. По большей части, не всегда то только и хорошо, что вправду хорошо, но что любо двору, то бывает любо и всем. Старый закон гражданского мира! Столичные жители всегда обезьянят царские чертоги. С этой комедии я сделался короток в доме у принцессы и принадлежал к ее обществу. Игравши у Бороздиной, я во-

лочился за Львовой, а у принцессы за Ивковой. Но, как я не могу этих двух пристрастий назвать настоящей любовной страстью, то об них особенно и не упоминаю, ибо для описания подобных скоропреходящих капризов в жизни моей не стало бы бумаги в лавках.

Наследник престола препровождал, обыкновенно, лето в двух своих увеселительных замках: в Павловском, близ Сарского Села, и в Гатчине, занимаясь, по склонности врожденной к воинской службе, вахтпарадами, учил каждое утро при разводе или баталион морской, состоящий в его ведомстве, потому что он был президентом Адмиралтейств-коллегии и генерал-адмирал, или Кирасирский свой полк, а с утренней зарей иногда забавлялся полковыми строями. Прочее время дня он томился в скуке, не имея, кроме чтения, никаких занятий, вечера он убивал за шашками. Объехавши почти всю Европу в последнем своем путешествии[7], он привез с собою вкус к изящным художествам и искусствам. От природы же был весьма умен и учен основательно, память имел превосходную, но был, как и я, грешный, безобразен лицом и, как я же, любил около женщин делаться рыцарем. За ним была принцесса Виртембергская, о которой только скажу то, что она к мужу своему была очень привязана и Бог благословил их изрядным поколением. Сие предварительное объяснение о доме царском нужно здесь потому, что судьба моя скоро будет непосредственно от них зависеть и гораздо прежде, чем вся Россия.

Их высочества любили театр. Он, как я сказал уже выше, был забава по моде. Великой княгине захотелось дать супругу своему сюрприз и нечаянно представить ему в Гатчине театральное зрелище. Камергер граф Черны<шев> заправлял этим делом и составлял труппу. Нетрудно было набрать ее из фрейлин, при дворе тут живущих, и из придворных. Всякий за честь себе ставил попасть в список. Расположились они играть драму «Честного преступника»[8], разумеется, по-французски, другого наречия при дворе не было. Престарелого отца в ней играть было у них некому. В самое это время везде кричали о моем таланте. Чернышев доложил о том великой княгине и, испрося дозволение причислить меня к их кругу, сообщил о том г-же Бе[н]кендорфовой, потому что сам лично не был знаком со мною, а Бе[н]кендорф была и в тесной связи приязни с великой княгиней, и очень коротка в доме у принцессы. Через нее начались со мною переговоры. Принцесса мне сделала предложение играть у двора, я посоветовался с родными, спросился у графа Пушкина, никто от этого не прочь, и я согласился. Граф Чернышев при первом свидании отдал мне мои роли и назначил день приезда в Павловское. Вытвердя роль

в драме, я ездил учиться к Гофрену и с его одобрения отправился на новые подвиги ко двору.

Там начался для меня новый и волшебный род жизни. Великая княгиня делала сюрприз, и, следовательно, нужно было скрывать от великого князя. Этот знал, что будет что-то, но притворялся, будто ничего не ведает, и, пока мы пробовали свои пиесы, они разыгрывали между собою очень искусно свою. Один я был из гвардии офицеров в их обществе. Под каким предлогом меня показать заранее великому князю? Итак, великая княгиня изволила мне отвести квартеру вне замка и приказала, чтоб я днем не попадался нигде на глаза великому князю и проводил время у г-жи Бе[н]кендорф, не той, которая пользовалась ее милостию, а у невестки ее родной[9], которой муж, отставной майор ничего не значущий, был в услугах у великой княгини на жалованьи ее карманном и смотрел за павловским хозяйством, понеже знать надобно, что у ее высочества все было на немецкий манер; итак, просто сказать, я был у немки этой, Ермолая Ивановича супруги, на хлебах. Она была женщина рослая, дюжая и немудреная: беседы никакой, познании все огородные. Нигде я такой трактации школьной не выслушал о картофеле и чухонском масле, как у нее, а после теории следовала практика, и я по четыре раза в день приглашался делить с ней большое блюдо этого овоща, плавающего в масле. Тяжело мне было, но пред торжеством, которое мне готовилось, надобно было что-нибудь и вытерпеть. Карантин продолжался с неделю. Днем я прятался от всех, после ужина меня выпускали погулять в саду, потом являлся на репетиции, кои продолжались с одиннадцати часов вечера до двух и трех заполночь. Спать мог целое утро, никто бы меня не хватился, ибо я нужен был только для комедии. При драме «Честного преступника» готовили оперу небольшую с ариями и куплетами в честь герою торжества, великому князю. Опера кончалась балетом. Все это сочинял граф Чернышев, обер-балагур придворный. Сверх роли в драме мне дали и в опере, и в балете работу. Во всех искусствах заставили дебютировать. В опере я играл потешного приказчика, а в балете буффу[10]. Сует было много, и при всей скуке я не видал, как время шло. Самолюбие меня крайне обуревало!

Настал день моего избавления. Из Петербурга съехалось множество знатнейших господ, почти все иностранные послы были приглашены. Это происходило около Петрова дня. Погода была прекрасная, спектакль шел очень удачно. Я нарядился так сходно с моим характером, что мне можно было дать лет восемьдесят. Сперва я оробел. Великая княгиня, по милости своей, при входе моем на сцену изволила ударить в ладо-

ши, и меня это очень ободрило. Подобно сражению, где первый огонь страшен, тут первое слово выговорить тяжело, потом войдешь в свое натуральное положение и ничего уже не боишься. Я играл задачно[11]. Все мне рукоплескали, были места, в которые я заставлял зрителя плакать. Между растроганными мог я заметить и француза г. D'Aguesseau, которого похвала мне лестнее казалась многих моих соотечественников. Он нагляделся своих домашних театров в Париже, и мне трудно было тронуть зрителя, уже давно избалованного в этом вкусе. Всеми похвалами, какие я приобрел тогда, обязан я урокам Гофрена, без них худо бы мне было. На пробах наших нечему было учиться. Шум один и споры начинали их и оканчивали, всякий заправлял, и никто никого слушаться не хотел, к тому же совместничество препятствовало доброму согласию между нами. Гатчинские жители составляли свою партию, а мы, петербургские заезжие, свою, и оттого часто усилии наши не имели полного успеха. После драмы изрядно пропел я и арии свои, а танцовал хоть плохо, да смешно, то-то в роли моей и надобно было. Много поддержали меня, когда я робел, граф Пушкин, принцесса и княжна Щербатова. Все, принимая во мне участие, наперерыв мне аплодировали, и благосклонность их поправляла мои недостатки.

По окончании театра я сошел в свою комнату, как после кораблекрушения, весь в воде. Тут меня ожидал опыт самый неприятный. Чернышев, прибежавши меня обнимать и благодарить, насказал мне пропасть приветствий и кончил тем, что великий князь шлет ко мне прекрасные часы в подарок за мое снисхождение. При этом слове меня бросило в жар, я забыл где я, забыл долг уважения к лицам, меня призвавшим, и, наговоря всего много, просил Чернышева поскорей предупредить такой уничижительный для меня поступок, потому что я часов не приму и дам чувствовать их высочествам, что меня наравне с художником наемным награждать они не могут, что я стыда такого не потерплю и что я никого не родился тешить из подарков. Чернышев начал меня уговаривать и, оставя в сильном волнении, даже в слезах, побежал назад. Что там происходило, я не знаю, но спустя несколько минут майор Бенкендорф пришел меня звать от имени их высочеств в их покои. Достигнувши своей цели, я успокоился и пошел во дворец. Кто бывал несколько раз в Сарском Селе, для того уже Гатчина не диковинка. Их высочества прогуливались в саду, на лугу близ картинной галереи, в которой ужин приготовлен был. Меня представили великому князю, который, не пожаловав руки из учтивости, изволил мне несколько приятных слов сказать, потом я был

представлен к руке ее высочеству и удостоился также ее лестной апробации. Им угодно было приказать мне отужинать у себя, и так очутился я у двора. Чего многим иногда самые редкие достоинства доставить не могут, тем обязан я был скоморошеству. Таков свет придворный! Милости принцессы, графа Пушкина и ласки прочих моих знакомых меня совершенно очаровали.

Великому князю угодно было еще раз видеть зрелище, и я для этого оставлен в Гатчине, но уже не с прежней своей хозяйкой делил время, а ходил к обеду и к ужину во дворец и там проводил вечера по принятому обряду. У великого князя обыкновенно в час пополудни садились за стол, ужинать подавали в девять, утро все проходило по комнатам каждого, как кому захотелось. Собирались в залу в двенадцать часов, после обеда опять расходились в три и до семи всякий делал, что ему рассудится, у себя, в семь опять все в залу. Тут начинался или театр, или игра в карты и в лото, а между молодыми людьми разные резвости в саду и на террасах. В десять все расходились по номерам спать. Вот как и я проводил тут после театра еще три дни. Всякий день их высочества изволили меня замечать и разговора своего удостоить.

Во второй спектакль уже мы меньше имели зрителей. Большая часть гостей воротилась в город, и я в тот же вечер откланивался их высочествам, кои столько милостивы были ко мне, что позволили и впредь ездить к себе в их увеселительные замки. Я очень чувствовал, что такой честью обязан я был не себе лично или достоинствам своим, а ремеслу актера, но, отложа все эти тонкости, рад был приглашению, потому что оно мне сулило впереди и много удовольствий, и много случаев отличиться перед своими товарищами в петербургской публике.

Я ни слова еще не сказал о Гатчине и о нашей труппе. Восторг увлекал меня в другие подробности. Гатчина — место дикое, мрачное, в пятидесяти верстах от Петербурга. На нем выстроен большой каменный замок во вкусе древних рыцарских обиталищ. Маетность сия принадлежала князю Орлову, по смерти его Екатерина купила это место в казну и пожаловать изволила его великому князю. Тут построен очень хороший театр в самом доме, и замечания достойны оружейный кабинет и фарфоровый столовый сервиз с разными видами сельских охот. Великий князь живал тут по большей части осенью и тешился театром и маневрами. В Гатчине он был хозяин, а в Павловске супруга его.

Общество наше в «Честном преступнике» составляли: камергер граф Чернышев, камер-юнкеры князь Волконский и граф Пушкин и Violié,

живописец, живущий на жалованьи при дворе их высочеств. Женщины: сенатора графа Пушкина жена, дама иностранная[12], и госпожа Говен, урожденная Борщова, монастырка, бывшая до замужества фрейлиной у великой княгини. В опере, сверх наименованных лиц, участвовали Анна Кирилловна Бенкендорф, приятельница великой княгини, фрейлина ее высочества Нелидова и барышня Смирнова, которая по выпуске из монастыря взята была ко двору их высочеств. Мужчины присоединились к нам в опере: Плещеев, бригадир во флоте, находившийся при великом князе[13], и подполковник флотский Кушелев[14]. Во всем кругу дам и девиц глаза мои кинулись прежде всех на девицу Смирную, и я с каким-то особенным чувством ее заметил.

Евгенья Сергеевна, так ее называли, была дочь самых беднейших и неважных дворян. Отца она лишилась во время Пугачева. Местечко Стародуб ее родина. Мать ее, имея маленькое именьице в Тверской губернии под названием Подзолово, проводила тут жизнь свою, воспитывая четырех сыновей и двух дочерей, и содержала свое семейство тем малым доходом, какой могли ей дать состоящие за нею во владении семнадцать душ крестьян. На все случаи жизни нашей есть роковая минута. В одно из путешествий Екатерины II в Москву г-жа Смирная нашла случай представиться фельдмаршальше графине Румянцевой и просить ее о вспомоществовании ей пристроить дочерей своих в какое-либо казенное училище. Евгения была представлена великой княгине Наталье Алексеевне, первой супруге наследника престола. Понравился ей ребенок (ей было тогда четыре года), и государыня изволила взять ее на свое попечение. Мать привезла девочку ко двору, и тут ее оставили. С ней приняты были и еще другие две, все они обучались по-французски и жили на половине великой княгини. По кончине сей разумной и благотворительной принцессы Евгения, по соизволению ее, отдана в Смольный монастырь и там воспитана.

Смольным монастырем называлась женская монашеская обитель под самым Петербургом, при которой Екатерина установила для бедных дворянских дочерей училище. Сие заведение есть одно из превосходнейших в своем роде. Оно вечную славу принесло Екатерине. Памятник незабвенный благости ее и изящной чувствительности к сиротам своего пола. Тут, наряду с прочими благородными девушками, образовалась и Смирная. Постановлено было им жить и обучаться при этом монастыре двенадцать лет, после чего выпускались они в свет к своим родным. Все лучшие и знаменитейшие дворяне отдавали сюда дочерей своих воспиты-

ваться. Главное надзнранне над сим заведением имел Иван Иванович Бецкой, а в самом доме жила и управляла воспитанием благородных девушек с самого начала его учреждения княжна Анна Сергеевна Долгорукова, пожилая девица, а потом вдова генерал-майорша де Лафон. Во время сей последней вступила Смирная. Поелику она отдана была от двора и на счет его воспитывалась, то и присмотр за нею, и ученье ее было несколько отличнее общего. Всякие три года бывал прием новых и выпуск старых воспитанниц. Смирная была понятна и училась хорошо; войдя в белый возраст (так назывался последний срок пребывания монастырского, во время которого они носили белые платья), в ней открылись даровании превосходные. Она прекрасно пела, танцовала, играла на арфе и к театральному выражению, то есть к декламации, была очень склонна. Собою не хороша, но миловидна, мала ростом, но стройна. К несчастию, имела слабую грудь и часто кашляла. В Смольном монастыре иногда бывали театры, и благородные воспитанницы между собою разыгрывали нравственные пиесы. Роли мужчин играли они же, ибо наш пол во внутренние комнаты их никогда не впускался, и с ним их не ознакомливали иначе как изредка, в больших собраниях публичных, на экзаменах, и то со всякой предосторожностию. За барышнями везде были строгие глаза.

Государыня жаловала это место и часто посещала их запросто, без всякой пышности. Кто не пристрастен к своим собственным заведениям? Однажды представлялась у них опера «La belle Arséne»[15], и Смирная играла в ней первую ролю. Искусство ее понравилось Екатерине. Она заметила ее и пожаловать ей изволила на приданое 2000 рублей, которые хранились в ломбарде до ее замужества. Приспело время ее выпуска. Это было в 1785-м годе. Она выдержала экзамен и, кроме похвального листа, удостоилась получить в награждение золотой вензель императрицы. Сим означалось преимущество самых лучших монастырок по их успехам. Он разделялся на три класса: первый вензель на белой ленте о трех золотых полосах, второй о двух и последний об одной. Вензеля все были одинаковы, их носили так, как и алмазные фрейлинские вензеля, публично, и они служили отличием монастыркам во всю жизнь их, во всяком состоянии. Смирной дан был бант о двух полосках. Раздавали вензелей таких при всяком выпуске только шесть, а выпускали вдруг по пятидесяти девушек. В память покровительства покойной великой княгини принята была Смирная к меньшому двору, представлена государыне и стала жить на половине великой княгини Марии Феодоровны во всем

наравне с придворными ее фрейлинами, хотя и не пользовалась сим наименованием, потому, вероятно, что им положен был штат и он был наполнен. Их высочества оказывали ей отличные милости и благоволении. Игравши у двора комедию, я скорее всех с нею ознакомился и скоро в нее влюбился. Чем суровее она со мною обращалась, тем сильнее я к ней привязывался и часто питал намерение на ней жениться, если буду взаимно ею любим. Трудно было до этого достигнуть, но я старался все преодолеть. Знал я, сколько препятств откроет мне в моем желании воля моих родных, потому что она была бедна, но любовь редко слушается рассудка, — все соображении становились химерою, когда глаза мои ее встречали. Я полюбил ее страстно и непременно решился соединить с ней судьбу мою. Само небо, казалось, мне ее предназначало, как увидят после. Большая часть знакомых мне девушек были монастырки. Привыкнув к обращению с ними, я пленялся их воспитанием, простосердечием, добродетельными побуждениями души и здравым рассудком. Они не умели притворяться и лукавить, всегда были открыты со всяким и никакого не показывали кокетства в поведении. Мне всегда хотелось, когда я помышлял о женитьбе, выбрать монастырку бедную и не очень знатного рода, мне казалось, что ничего нет тягостнее, как принадлежать по жене большому дому. Всякий дядюшка, думал я, станет тебя брать в опеку и властвовать над тобою. Всякая беззубая тетушка за все про все будет ворчать. Богатая жена рано или поздно при малейшем своевольстве упрекнет своим имением и разогорчит черезвычайно. Воспитанная в свете девушка замучит своим жеманством. Вот как я думал о союзе супружеском и едва ли ошибался. В таких мыслях стал я искать понравиться Смирной, старался выказывать ей мою склонность, испытывал нрав ее и расположился добиваться удачи. Посещении меньшого двора и театры проложили мне к тому удобнейшую дорогу, с которой я уже и не сбивался.

Шаг мой ко двору великого князя сделал чувствительное удовольствие родным моим в Москве, особливо батюшке, который, живши в Петербурге по службе, был всегда его высочеством замечаем; везде, где он его видал, на балах и публичных съездах во дворце или в ином месте, везде подходил к нему и с ним говаривал. Такое внимание привязало отца моего к великому князю, он его любил и на ласках его основал то счастливое заблуждение, что Павел, вступя на престол некогда, возвратит дому нашему прежний блеск его и силу. Дым честолюбия заражал часто моего отца, кровь деда моего, пролитая на плахе, не излечила его потомства от сей мучительной болезни. По этим драгоценным мечтам,

батюшка очень радовался, что я вхож к великому князю, и почитал милости его ко мне следствием благоволения его к нему. Плачевная ошибка! Время нам покажет, что одна комедия была пружиною, действующей во всей моей судьбе у двора.

Гораздо существеннее предстояло удовольствие московскому нашему семейству. Меня уведомляли в то же время о помолвке сестры моей середней, княжны Анны, за графа Петра Андреевича Ефим<овского>. Краткая биография его состоит из следующего. Отец его, граф Андрей Михайлович Ефимовский, будучи в родстве с графами Скавронскими и, следовательно, с Екатериной I по ее рождению[16], достиг, служа в России, до знатного чина и важного состояния. Он был обер-гофмейстер, помнится, при императрице Елизавете, то есть генерал-аншеф, и имел за собой большое имение. Женившись три раза, от всех жен прижил детей[17]. Жених сестрин родился последний. О законности его происходили по духовным трибуналам сильные споры. Отец его, слюбясь с своей крестьянкой, потаенно на ней женился и прижил сына Петра и дочь Марью[18]. О браке его доныне идут противоречии, и думать надобно, что молодой граф не мог доказать своего происхождения правильным образом, когда по многом сопротивлении духовной дикастерии[19], Екатерина II, из особенного благоволения к сему дому, изволила объявить, что граф Андрей Ефимовский был точно женат на рабе своей и ей тайну сию исповедал пред кончиною, стыдясь огласки публичной, ибо тогда неравенство в супружестве считалось в дворянском сословии за большое отступление от чести и всех добрых правил. Подлинно ли брак сей состоялся, или Екатерина хотела только разрубить узел рождения малолетнего потомка Ефимовских рода, но на сем ее объявлении решено дело, и мальчик Петр с сестрою признаны публично законными детьми графа Андрея Михайловича. Сын сделался наследником знатной части имения родительского[20]. Оно взято в опеку вместе с ним, и сирота воспитан очень худо в Московском пансионе под мнимым покровительством двора, который тогда же и забыл о нем.

В течение настоящего года ему было не более двадцати лет. Матери его уже не было на свете, он только что вышел из опеки и получил в управление свое до 2000 с лишком душ в одном месте во ста верстах от Москвы и, несмотря на то, что был очень худо образован, считался уже по Москве на ряду отличных женихов. Старый слуга его, имевший над ним большое влияние, водил его часто к нашему приходу к обедне. Тут он видел сестру мою, она была пригожа, он в нее влюбился и стал свататься.

Сестра охотно за него пошла, несмотря на его странности и недостатки, хотя, впрочем, ум у него природный и был, но в самой грубой корке, а просвещения никакого. Она надеялась, что, вышед замуж, она его образует и снова даст ему воспитание, приличное большому свету. Увы! Все мы ошибаемся! Но всякий на свой манер. Батюшка, видя добрую волю дочери своей, и матушка также, хотя не с горячим стремлением, однако согласились на ее замужество; итак, мая 3-го числа сестра помолвлена решительно, и всем родным дано о том знать. Сверх многих диковинок, кои в женихе примечались постепенно, неприятно было и то, что он еще был только сержант гвардии, но 2000 душ, все 2000 душ и, по словам Фон Визина в «Бригадире», какие к чорту без них достоинства[21]! Впрочем, можно было надеяться, что фамилия его, единственная уже в России, ибо он был последний в роде, близкое свойство с домом Петра I, а более всего богатое состояние скоро доставят ему и по службе повышение. Я с моей стороны, не знавши этого молодого человека совсем и заочно уведомлен будучи о судьбе сестры моей, сомневался, радоваться или печалиться, но, в полной доверенности к выбору моих родителей и самой невесты, надеялся, что она будет счастлива, и это одно могло меня сделать довольным, потому что я сестер своих всегда искренно и чувствительно любил.

Мои новые обстоятельства шли своим порядком. Я влюблялся в Смирную каждый день более и на сей конец очень часто ездил к великому князю. Мне так сие сделалось обычно, что я почти жил у двора. Полком правил добрый и п...* Ди<вов>. Он по большей части все спал, а офицеры делали, что хотели. Солдаты, не учась ничему, торговали жениными изделиями. В таком общем бездействии и я имел много свободного времени. Отдежуривши неделю при полку, возил свой рапорт к Салтыкову в Сарское Село, там, отобедавши за екатерининым столом, приезжал на несколько дней, а часто и на неделю, в Павловское. И тут так же был театр, как и в Гатчине. Место гораздо приятнее, открытое, близко от города и дворца Сарскосельского. Все забавы его и упражнении были живее; может быть, оно более Гатчины нравилось и оттого, что я не выдержал тут такого карантина, как там. Впрочем, род жизни их высочеств был везде одинаков. В Павловском великий князь занимался более морским баталионом, который у него караул держал, и по праздникам выходила рота с штандартом. Всякий день бывал развод с ученьем. В Гатчине, напротив, стоял Кирасирский полк и наряжал на караул ко дворцу один взвод пе-

* Так в рукописи.

ший с офицером в полном одеянии в латах. Там разводы были не так пышны, зато в хорошие осенние дни с утренней зари начинались полковые строи и маневры, а иногда и баталион морской прихаживал для общей экзерциции туда же. Утро все в жертву приносилось Беллоне и Марсу[22], а остальная часть дня посвящаема была забавам. Их высочества делили все лето между сими увеселительными домами и имели обыкновение оканчивать сельскую жизнь свою в начале октября, переезжая к 14-му числу (день рождения великой княгини) всегда в Петербург на зимнее житье.

Ни один год не был так богат удовольствиями, как настоящий. Все лето мы играли разные комедии то в Павловском, то в Гатчине. Я имел множество удобных случаев питать новую страсть свою, и она сильные пустила корни. Свычка быть вместе с Смирной поутру, днем и вечером, беседовать с ней, искать взаимной любви ее связали тот неразрывный узел, которым я теперь наслаждаюсь. Евгения стала помаленьку мягче со мною обходиться, увлекалась к подобным моим восторгам и сама меня полюбила. Я старался угождать их высочествам моими слабыми дарованиями, дабы приобресть их благоволение, и, казалось, на то время успел в моих видах. Их высочества меня жаловали, принимали всегда благосклонно, часто изволили со мною говорить, я всегда имел хорошую комнату и во всем довольство. Надо признаться, что приезжающие в маетности великого князя всегда были очень хорошо угощаемы. Всякий имел свой номер, в который принашивали поутру и пополудни, два раза в день, полный прибор чаю, кофе, шеколаду и пред обедом хорошую закуску, на вечер две восковые свечи; как первому вельможе, так и последнему чиновнику, но гостю, оказывали те же учтивости в приеме. Стол всегда прекрасный, по вечерам музыка в саду и разные игры: или благородный театр, или немецкий, в саду качели, кегли, свайка[23], в комнатах волан, жмурки, фанты, танцы и разные другие игры. Всякий ими пользовался и принимал во всех забавах участие. Немецкий театр был всего скучнее, это правда, особливо для меня, потому что я не разумею языка, но их высочества не могли иметь другого. Русский, французский и опера италиянская работали для публики в Петербурге и часто в свободные дни отвлекались в Эрмитаж к императрице. Свобода в обращении у меньшого двора ничем не стеснялась, и каждый забывал, что у будущего царя в гостях. Для меня всего тягостнее были утренние строи. Я любил высыпаться, а для них надобно было выезжать часа в четыре утра, да и верхом, что также умножило мое отвращение, но великий князь любил военные игрушки и хотел, чтоб всякий в них такое же находил удоволь-

ствие, как и он сам. Часто я просыпал ученьи, и никогда мне это с рук не сходило. Великий князь по нескольку дней иногда, в наказание за мою лень, со мною не говаривал ни слова. В угодность его я должен был притворяться и против воли садиться на буцефала, ездить за ним по шеренгам и, измучась во все утро, быть на целый день ни к чему не способным. Ах! Как я ненавидел всегда эти дурачества, кои называют маневрами и кои лишь ребят одних занимать могут, а великий князь уже был не дитя. Но страсти человеческие так разнообразны и капризны, что ни одной из них понять нельзя, когда сам ею не страдаешь.

Осенью мои набеги на Гатчину познакомили меня с другой забавой, к которой я не мог также пристраститься. Граф Пушкин страстный был охотник до собак. Великий князь не имел этого вкуса сам, но, желая доставить графу удовольствие, выписывал на всю осень к себе придворную большую охоту. В этом ему и не отказывали, потому что у большого двора никто не занимался ею. Однажды случилось и мне съездить с графом, что называется, на поле. Целый день я проторчал верхом; и поутру гоньба, и после обеда тоже, и очень поздно воротились мы во дворец. Пушкин знатную привез добычу и восхищался днем своим, а я считал его потерянным совершенно. Вот как различны капризы нашего вкуса! Для меня одна только и есть забава — многочисленное собрание разумных тварей, театр, музыка, шум и роскошное освещение. Где светло, тут мне и весело.

Для государя непогоди нет, и в октябре в придворной деревне тот же город. Но надобно было перебираться в Петербург, и я на этот срочный день смотрел как на последний день моей жизни. Отправляясь перед тем в полк из Гатчины, я по обряду откланивался их высочествам. Великий князь изволил приказать мне ездить во дворец на его половину так же и в городе зимой, как летом в загородные его замки. Восхищение мое было чрезвычайно, итак, я мог видеться с Евгеньей беспрестанно, мог заниматься ею по-прежнему, не терпя мучительной разлуки. 14 октября, в день рождения великой княгини, я в первый раз имел счастие ужинать у их высочеств, и всякую неделю раза по три пользовался этой честию. Не все могли иметь ее, круг гостей городских очень был ограничен. Обыкновенно беседа их высочеств съезжалась к ним на половину в семь часов вечера, а в десять все разъезжались. Хотя городской образ жизни не мог уподобляться деревенскому и этикет очень надоедал своим строгим принуждением, однако благоприятное обращение их высочеств доставляло разные удовольствии посетителям их, а к тому же театр не останавливался, и наша труппа готовилась к новым зрелищам на Каменном острове.

В эту зиму я очень развлечен был. Кроме театра придворного, я продолжал играть у принцессы. Дядя мой граф Строганов также вздумал к своим именинам, 23 ноября, завести спектакль, в котором я участвовал, а вдобавок я собрался сам сочинить маленькую оперу, которую разыграли в доме графа Пушкина в день именин графини, 28 октября. Она написана была по-французски. Сочинение неважное, но для безделки искусства большого не надобно, и я с изрядным успехом выплелся из дерзкого предприятия быть сочинителем. Тут играли трое нас Долгоруковых[24] и живущие в графском доме родственницы. Везде театр шел удачно, всюду мне рукоплескали, и я был необходим во всех домах, где ставили кулисы.

Придворные увеселении для меня были всех занимательнее по двум отношениям: я был влюблен и ожидал в свое время воспользоваться щедротами Павла, когда он примет престол. Но как в молодости страсть честолюбия еще не имеет большой силы, то приятно было мне и по другим театрам славиться хорошим актером. Самолюбие мое наслаждалось полным успехом в этом предмете. В доме графа Пушкина жили две благородные девушки, обе очень любезные, графиня Голов<ина> и Безоб<разова>. Я не предпочитал Смирной никого, однако, когда не мог делить время с ней, проводил его без скуки у Пушкина и признаться должен, что меня туда заманило также легенькое пристрастие к обеим вдруг. Упомянуть обязан здесь непременно и о доме графа Строганова. У него была одна дочь, еще ребенок. Он жил розно с женою и поручил ее воспитание француженке г-же Villeauxcleres. Между тем как мать делила все свое время с маленькой графиней, дочь ее, молодая и пригожая девушка, вела интригу с старым графом и, обманывая его, любилась с другими. Мать ее, женщина уже лет сорока с лишком, сметливая и хорошо образованная иностранка, сквозь пальцев смотрела на проказы своей дочери и занималась с утра до вечера воспитанием молодой графини. Будучи как француженка жива и под старость, она имела около себя круг иностранный; актеры, художники, ученые к ней съезжались, и всякий день на детской половине был для них особый стол. Туда повадился и я ездить часто. Общество мадам Villeauxcleres было очень заманчиво. Беседа ее занимательна и шутки остроумны. И в этом-то обществе я могу сказать, что я выучился быть светским человеком. Меня осмеивали, критиковали, я вырабатывал свои мысли, чувства, выражении и смело признаюсь, что если я слыл в большом свете любезным, обязан я этим точно попечениям госпожи Villeauxcleres, которая, полюбя меня, снова воспитала и ознакомила с теми уловками приятного общежития, без которых

молодой человек может быть многих похвал достоин по качествам своим, но приятен — никогда. А кто же не хочет нравиться? Суровые философы назовут это преимущество суетой. Пусть так! Но одна добродетель суха в мире, и, чтоб дать ей всю ее цену, необходимо нужно убрать ее цветами светского образования.

Называть по именам все комедии, кои я разыгрывал на разных театрах, было бы пустое. На иных, однако, можно остановить внимание, потому что они имели особенное на меня действие. При великом князе жил швейцарец по имени La Fermiere, которого он очень жаловал, и в досужное время, особенно пополудни, заставлял его читать у себя разные книги для своего занятия. Иностранец этот имел познании очень хорошие и уже немолодых был лет, но весьма груб и неприступен для людей ему незнакомых. Он сочинил французскую оперу «Le faucon»*, которая понравилась их высочествам и, действительно, была затейлива, вся в тогдашнем вкусе, то есть очень романическая, довольно велика и состояла из трех действий. Музыку сочинил для нее г. Бортнянский превосходную. Их высочествам угодно было, чтобы мы ее разыграли. Читана она автором самим публично при всех при нас в одно пополуденное время в кабинете великого князя. Тут же розданы роли и назначено ее учить. Мне надлежало ехать в Москву к сестриной свадьбе, и я от роли своей учтиво хотел отозваться, но заменить меня новым лицом у двора не хотели. Великая княгиня просила меня остаться, я должен был исполнить волю ее и от этого зрелища после так сильно влюбился в Смирную, что уже после комедии не имел сил от нее удалиться. Итак, вытвердили мы оперу, зрелище было прекраснейшее. Я сам имел ролю неважную, первые играли Смирная и Вадковский, камергер, сын бывшего нашего подполковника. Представление удалось и несколько раз было повторено с большим удовольствием. В этой-то опере Смирная отличилась чрезвычайно. Она высказала мастерское знание театрального искусства, и голос ее нежностию своей производил чудеса, в то же почти время она употреблена была в балете пантомимном, довольно продолжительном, и всех изумила немой своей игрой, картиной стана и проворством в ногах. Не было зрителя, который бы не восхищался ее прелестьми на театре. Что ж должен был чувствовать я, который уже любил ее страстно и был ею замечен в таком обширном и великом круге молодых и лучших людей? Я был всегда, глядя на нее, в исступлении, и конечно не солгу, когда напишу здесь и сто

* «Сокол» (фр.).

раз еще, может быть, в жизни повторю, что театр был первой причиною моего счастия и что от этой забавы я много имел отрад и много принял горя. Какие мелкие вещи созидают иногда всю нашу участь! Стыдно, но запереться в этом трудно. Опыт всегда в том порука.

Прежде нежели кончить речь о театре, заметим еще странность. Я никогда не учился музыке и правил ее совсем не знал, следовательно, мог петь по навычке народную песню, но не арию в опере с оркестром. Однако же я пел в операх, и самые значительные роли, не ошибаясь ни в одной ноте, напротив, случалось иногда в квартетах, где так музыка многосложна и сбивчива, помогать другим, мурныча про себя их партию, и всегда кстати и вовремя попадал в свое собственное место. Действие памяти счастливой и верного слуха от природы. Я все свои арии вытверживал наизусть, как урок грамматики. Скрыпач по нескольку раз то же да то же мне наигрывал, и я таким образом очень твердо удерживал на памяти все тоны и ни с каким оркестром не сбивался, к удивлению многих. Сама великая княгиня, когда ей о сем доложили, не хотела верить и нарочно пришла на одну школьную репетицию, чтоб удостовериться в этом. Бортнянский сидел за своим фортепьяно, у нас у всех, в том числе и у меня, ноты были в руках, всякий пел свою партию, дошла до меня очередь, и я, глядя на ноту, очень исправно пропел свой куплет. «Как же, — вскричала великая княгиня, — государи мои, вы сказали, что он музыки не знает, да он поет по ноте». «Извольте, ваше высочество, приказать князю Долгорукову показать вам место на бумаге, которое он теперь протвердил», — ответствовал Бортнянский. Государыня подошла ко мне ближе, и какое было ее удивление, когда она изволила увидеть, что не только я схватил совсем не ту партию, которую в то время разыгрывали, но даже и бумагу держал вверх ногами, что ясно показало ее высочеству, что я никакого понятия не имел о музыкальных правилах и пел одним навыком, благодаря верному своему слуху и памяти. Большую часть приятных художеств я получил от природы и от рутины. Пел, танцовал, комедию играл, даже стихи писал — все по привычке более, нежели по теории правил. Натура более мне дала искусств и чувствительности в органах, нежели все профессоры Университета набили мне ума и наук в голову.

Оставим теперь театр и углубимся в обстоятельства, кои устроили судьбу мою и коих первое основание положено было, так сказать, за кулисами. Вот причина, для которой я так распространялся, говоря о наших зрелищах.

5 Зак № 3535

Любовники сколько ни таятся, все их изобличает. Многие стали догадываться, что между Смирной и мною есть симпатия и что мы друг другу необходимы во всех играх и занятиях наших. Молва начала о сем распространяться, сперва глухо, а потом говорили многие о сем без закрышки. Сведали родные мои в Петербурге, что я имею на эту девушку виды, знали они, что, влюбясь у двора, мне нельзя будет, огласивши девушку достойную и под их покровительством, отстать от нее так же свободно, как водилось за мною в других местах, а потому они с уважением глядели на нынешнее положение мое и круто взялись прекратить эту склонность, доколе можно было еще им действовать и поступки мои не были решительны. Дядя мой барон Строганов с досадой выговаривал мне о сем, грозил жаловаться батюшке и силою его власти оторвать меня от нового моего пристрастия. Тем-то самым он ускорил только успехи моих происков. Ничего нет щекотливее, как удерживать порыв молодого человека, когда он страстен. Это требует большого искусства. Строгость, а паче жесткие выговоры тут совсем не у места. Нежное обращение гораздо надежнее, но дядя мой думал, что крик все приведет в порядок. Он судил по прежнему опыту. Здесь совсем другие были отношении, и я его избавил от труда кровь пускать мне в другой раз. Видя, что он, граф Строганов, и прочие, участвующие во мне в городе, все против моей женитьбы на Смирной потому только, что она бедна и я также, но, впрочем, от них же слыша от всех справедливые похвалы о ее нраве и качествах, я нимало не колебался в моем намерении искать руки ее. Салтыков, Пушкин, все почти называли меня сумасшедшим, говоря обыкновенно, как водится: чем вы будете жить? Я не умел бедность почитать препятствием, все возражении казались мне неосновательными и, дабы дядя мой не упредил меня в Москве, я тотчас написал обо всем к батюшке с обыкновенною откровенностию и предварительно просил дозволения жениться на девице Смирной, если она согласится за меня выйтить. Начавши сию переписку с отцом моим прямо, я уже освободил себя от большой заботы, то есть не боялся, чтоб ему прежде меня наговорили, намутили, не страшился посторонних впечатлений, для меня ли и для Смирной предосудительных, ожидал со страхом и трепетом батюшкиного ответа и, сложивши в родительское сердце такой тяжелый груз доверенности, принялся между тем слаживать дело у двора.

Камергер Вадковский был любимец Павлов. Мне он хорошо был знаком, я открылся ему в моей страсти и поручил узнать расположение сердца девицы Смирной. Ответ был благоприятен. У двора не было про-

тивников моему намерению. В один вечер, ужинавши у великого князя, я приметил из шуток его, что он уже знает обо всем; однако не пожалуюсь на скромность его, он ни слова не выпустил неприятного в насмешках своих. Женщины всегда торопливее мужчин. Они любят в подобных случаях ускорить развязку. Бенкендорф, отозвавши Евгению, что-то ей пошептала; та очевидно переменила со мною обращение, стала удаляться от меня во весь вечер и, не говоря ни слова, скрылась в свои покои. Это меня взорвало! Я вспыхнул. Мне казалось, что г-жа Бенкендорф внушила худые мысли о моем поведении или свойствах Евгении и тем произвела ее холодность. В тот же вечер я от великого князя после ужина бросился к Вадковскому, все ему рассказал и требовал настоятельно объяснения с Смирной. Хотя я к ней имел позволение иногда ходить, но всегда был не один, [а] разговор такой, к какому я с ней готовился, не требовал свидетелей. Вадковский именем ее назначил мне свидание ноября 1. О, преблаженный день в жизни! На что описывать наше свидание? Кто любил, тот почувствует его. Меня кидало в огонь поминутно, я робел, не смел слова промолвить, дрожал, как пред Богом! Евгения от стыдливости и невинного сердца получала неизъяснимые прелести, каких не дает женщине ниже Венеры самой красота. Переговоря с ней при Вадковском, мы друг другу поклялись в вечной любви, и это была минута свободной нашей помолвки, после которой начались обряды света. Вадковский доложил о нашем свидании их высочествам, равно как и о том, что я писал к отцу своему. Тотчас сделалось это гласно. Весь город заговорил о моей женитьбе, родные мои надули губу, видя, что уж переделать это не в их силах. С двором сладить им было неудобно, а двор, то есть их высочества, взяли наше соединение в особое свое покровительство. Но до ответа батюшкиного нельзя было еще объявить всенародно нашей тайны. Между тем театры и забавы не теряли своего порядка, и я приватно становился домашним на половине у великого князя.

Хотя Павел о намерении моем знал через Вадковского, однако же хотел изустно от меня узнать о том же. В один из зимних балов великий князь в удобную минуту, отведя меня несколько к стороне, начал шутить и тянуть сатирический разговор насчет моей склонности. Видя, что он добивается моего признания, откровенно с ним изъяснился. Выслушав меня, он принял вдруг вид очень важный и спросил: «Quelles sont vos vues?» (Какие ты имеешь виды?) «Celles d'un honnete homme!» (Виды честного человека), — ответствовал я. На сей отзыв он опять улыбнулся с видом весьма благосклонным, начал хвалить мое поведение, нрав моей

невесты, поручал мне ее жребий, желая нам обеим быть благополучными. В несколько урывок в тот вечер великий князь изволил мною заниматься, и все насчет того же предмета. Я никогда не забуду, что тогда же именно тогда, как я, говоря с ним, что я небогат, возразил он резко: «Знаешь ли ты по-немецки?» «Очень мало, государь, однако несколько понимаю». «Kommt Zeit, kommt Rat» (Придет пора, придет и совет). Из уст наследника престола эта пословица немецкая могла многое значить, но государи не всегда держат свое слово. Никогда не должно забывать Давидова изречения, оно всех пословиц справедливее: «Не надейся на князей» и проч.[25] Исповедь моя того вечера кончилась тем, что великий князь приказал ожидать соизволения отца моего, «без которого, — сказал, — и я своего дать не могу».

Первый ответ, полученный мною от батюшки, хотя не был еще решителен, однако принес мне чувствительное удовольствие. Я дрожал, снимая печать с конверта, я догадывался, что, верно, или тотчас после меня, или, может быть, в одно время дядя мой писал к батюшке, и боялся, чтоб бедность моей невесты, резон, впрочем, для опытных мужей весьма основательный, не поколебал батюшкиных мыслей. Какое, напротив, счастие! Батюшка, приняв мое письмо как искренний залог моей полной к нему доверенности, изволил ко мне писать, что бедность невесты моей его не страшит, что он в жене моей желает найти добрую душу, благородное сердце и уверен, что воспитавшие ее не упустили попечения о ее нраве. Итак, он не противился моему браку, но требовал, прежде нежели приступить к решительному согласию, чтоб я дал ему время размыслить порядочно, как учредить будущее мое положение. Вместе с тем уведомлял меня, что сестра выдана замуж 6 ноября, и писал, что он не может скоропостижно от одного столь важного домашнего происшествия приступить к другому, еще важнейшему. Для других мог бы сей ответ показаться подозрительным, но я знал отца моего, знал беспредельную любовь его к детям и твердость нрава и уверен был, что вскоре тот решительный ответ, которого я ожидал, дойдет до меня непременно. Я не потаил от Евгении содержания родительского письма, она сообщила о том двору. Иные считали дело решенным, другие сомневались, мнении делились на две партии. Однако родные мои открыли против меня всю свою досаду. Дядя негодовал, что я предупредил его жалобы к батюшке моим собственным признанием. Пушкин, Салтыков и многие другие стали обходиться со мною очень холодно. Некоторые же, напротив, удвоили свои ласки, и наипаче господа придворные, которые, видя, что я при-

обретаю день от дня сильнее милости меньшого двора, втирались в приязнь мою для будущего времени. У придворных свой расчет! Им низость ничего не стоит! Не удалось — он не стыдится, а отмщает прежние свои ласковости грубым презрением, а удалось — он уже и знаком с тем, кто ближе его успел стать у потока земных благ.

Рассуждать о женитьбе моей мог всякий, как хотел, но за что же было кому-либо на меня сердиться? Разве не волен я был в выборе себе жены по сердцу, разве я мог кого обременять моими недостатками и бедностию? Но всякий любит вмешиваться иногда и в чужие дела для того, чтоб в общем мнении о каком бы то ни было публичном случае не терять своего права спорить, судить и делать приговоры. Я знал тогда же, что некоторые старались разорвать мою женитьбу, но я уверен был в согласии двора, в любви моей невесты и в расположении родителей моих, а потому не боялся ничьих замыслов. Между некоторыми, кои были повиднее, расскажу здесь о двух весьма забавных. У принцессы Виртембергской[26], невестки родной великой княгини, была фрейлина, в которую принцесса предположила, что я должен влюбиться[27], и, настроя на этот счет все свои мысли, она, бывало, подгоняла ее прямо ко мне в руки, когда мы, играя в жмурки в Гатчине, ловили друг друга с завязанными глазами. Часто сама великая княгиня изволила тут же позволять себя ловить. Мне всегда как-то попадалась фрейлина принцессина, потому что ее всегда ставили на пути моем и из этого заключали, что я в нее влюблен. Смирная знала, что это вздор, но другие верили и укоряли меня ветреностию, что могло мне вредить в мыслях их высочеств. Другой случай еще забавнее. Одна благородная девушка[28], имея склонность к придворному кавалеру, хотела усилить взаимную любовь его к себе, которая начала простывать, и, чтоб возбудить в нем ревность хоть не по страсти, но по самолюбию, срисовала тихонько мой силуэт без воли и ведома моего и спрятала в свой портефёль; потом, игравши также в фанты, будто нечаянно выронила книжку в том предположении, что рыцарь ее ухватится за нее, найдет мою рожу и тем более приревнует, что он был собой недурен, а меня во всем обществе не было никого лицом хуже. На беду ее и мою, вместо ее селадона[29] камер-лакей, прибирая покои, нашел чей-то портефёль, отдал гоф-фурьеру, тот далее, словом, на другой день сведал весь двор, что мой силуэт найден в чужой книжке. Тотчас заключили, что я с той девушкой в интриге. Она при первой заворохе отправилась в город, а на меня пало подозрение, но, к счастию моему, когда после первого движения стали соображать все вещи, увидели ветреность одну сказанной

барышни и меня из истории выгородили. Все подобные приключении могли повредить мне у их высочеств и иметь влияние на благосклонное соизволение их выдать за меня свою воспитанницу.

Зима, так же как и лето, в тот год наполнена была забавами. Их высочествы часто собирали катаньи санные и езжали с многолюдным обществом обедать на Каменный остров. Обряд сих прогулок был таков. Приглашали одних дам и девушек. Каждая из них выбирала своего кавалера, разумеется, в кругу тех, кои имели право приезжать к меньшому двору. Пар до шестидесяти иногда составляли катанье. Все съезжались с утра завтракать на половину их высочеств. Каждый кавалер имел свои сани с двумя вершниками[30]. После чаю и разных закусок кавалеры брали номера из чаши, и кому какой выходил, того сани там и становились. Сам великий князь, который всегда изволил кататься с супругою своей, вынимал номер, и нередко сани его бывали позади многих других в колонне. Впереди всего катанья езжал конюший, а за ним в большой фуре духовая музыка, которая вплоть до Каменного острова играла. Прогулки такие были очень величавы и равно увеселительны как для участвующих в них, так и для зрителей по домам, мимо которых езжали. Я обыкновенно катался в придворных санях и, по большей части, с Смирною. На Каменном острове всегда угощались посетители обеденным столом, после обеда почти тотчас на тамошнем театре французская придворная труппа давала зрелище, обыкновенно прекрасное и по выбору предварительному их высочеств. После спектакля все разъезжались в город в каретах своих с факелами, и дни, на сии праздники назначаемые, всегда были для меня первейшими праздниками в году.

Однажды и мы после катанья давали между собой спектакль их высочествам. В то же время как у принцессы играл я первую ролю в комедии «Le philosophe marié»[31], захотели их высочества, чтоб и у них на театре ее дали; итак, в обеих обществах я играл ту же ролю, но с разными лицами. Будучи в городе и в возможности учиться по-прежнему у Гофрена, я выработал свою ролю мастерски и, по уверению всей публики, играл ее превосходно. Целую неделю я только и делал, что на пробы ездил то к принцессе, то к их высочествам. Здесь, обыкновенно, репетиции делались после обеда в кабинете великого князя. Роль жены моей представляла Смирная, и по известной уже всем секретной моей помолвке эта пиеса имела двойную цену в глазах зрителей. Великий князь всегда почти приходил на наши пробы и любил приводить нас обеих в замешательство, когда мы оставались двое на сцене. Скажу откровенно, что

у принцессы эта комедия шла гораздо лучше, нежели у двора, и будущая жена моя хуже играла свою ролю, приготовляясь к ней на самом деле, нежели дочь принцессы, с которой мы на одном дощатом театре были часа два супругами. Это представление усовершенствовало мое искусство, и слава моя в декламации возвысилась до последнего степени. Старый и угрюмый сенатор Стре<калов>, который между прочим управлял придворным театром, подошедши ко мне после комедии, очень резко и насупившись сказал: «Мне очень жаль, что вы князь Долгоруков, а то бы я вас нанял на придворный театр и дал вам четыре тысячи жалованья в год». А он и сам не получал по службе такой суммы. «Вот каково быть актером!» — думал я. По крайней мере, при невзгоде (а кто избежит их на свете?) я мог явиться к г. Стрекалову и получить верный хлеб насущный.

Наконец пришел вожделенный ответ! Батюшка решительно дозволял мне вступить в брак с девицей Смирной, давал мне обще с матушкой на сие родительское их благословение. Эта счастливая для меня почта пришла в самый тот день, в котором мы играли на Каменном острове «Философа», и я своей театральной жене в ту же минуту объявил, что она скоро будет моей настоящею женой. Известие сие не могло быть тайно. Оно тотчас разнеслось в публике, но, как отец мой приказывал мне, чтоб я хоть на неделю прежде свадьбы с ним повидался, то до возвращения моего из Москвы помолвка моя все еще оставалась скрытою. Барон Строганов , хотя знал о успехе моей переписки с домом, но все еще полагал, что женитьба моя не состоится и что вызов батюшкин, дабы приехал к нему в Москву, есть учтивый отвод, посредством которого меня задержат дома и разорвут предприятое. Ошибочно было так думать, ибо двор уже знал о моем сватовстве, их высочества согласие свое изъявили, публика о том знала, следовательно, отцу моему нельзя было так поздно, и обнадежив уже меня предварительно своим соизволением, вдруг отказать в оном, да еще и с таким коварством! На что ему были подобные уловки? Разве он не мог запретить мне действовать и без обмана? Это доказывает, что дядя мой не довольно хорошо знал и меня, и батюшку. Он и Пушкин более всех на меня сердились, давая предлогом одну бедность. Но разве сквозь золота слезы не текут? Их самих можно было о том спросить...

Ничто бы мне не помешало в тот же день, как я получил письмо от батюшки, скакать в Москву. Это было 3 декабря. День прекраснейший жизни моей после 1 ноября! Но их высочества готовили всему актерскому обществу сюрпризу, и, по убеждению Вадковского, я должен был ее

дождаться. Она состояла в следующем. Некто иностранец Филидор приезжал в то время в Петербург показывать разные штуки своего проворства, что называется по старинному наречию фокус-покус или escamotage*. Он в этом роде забав славился особенным мастерством. Их высочествам угодно было его видеть, и он представление свое дал в их покоях 6 числа, в Николин день. Между разных штук он начал выпускать на волю по одной живой птичке, адресуя каждую на имя кого-нибудь из актеров или актрис. Всякая птичка несла во рту бриллиантовый перстень. Один щегленок и на мою сторону попался. Не трудно было отгадать, что это значит. Мы, принимая птичек от Филидора, подходили к их высочествам благодарить, они жаловали нам руку. Прекрасный вымысел — подарить благородных людей в признательность за их снисхождение. Перстни были сделаны с вензелями, для девушек — великой княгини, для мужчин — великого князя. Такое милостивое внимание сделало подарки сии бесценными. Сами бриллианты и вообще все розданные перстни могли стоить казне до пяти тысяч. Мужских роздано шесть: господам камергерам Вадковскому, Чернышеву, князю Голицыну, камер-юнкерам князю Волконскому, графу Пушкину и мне. Дамских три: Нелидовой, Говен и Смирной. Сверх того, подарен иностранцу Violie перстень дороже наших ценою, но без вензеля, и сия оттенка внимательная к нашему обществу совершенно пленила всех нас. Можно сказать, что со всех сторон поступок их высочеств был сопровождаем разборчивостию самой нежной.

В тот же вечер, отужинавши у двора их высочеств, я им откланялся. Они милостиво пожаловали меня к руке, пожелали мне успеха и скорого возвращения. Простился с невестой и поскакал в Москву. Разумеется, что я имел уже полковой паспорт, выпрошенный прежде. Салтыков отпустил меня до 25 декабря, то есть на две недели — я так просился. Он бы охотнее меня уволил на год, потому что всем почти знатным моим покровителям моя женитьба, из какого-то жаркого ко мне участия по наружности, была противна. Старший наш подполковник граф Брюс, хотя был тогда в Петербурге, но полком не правил. Схороня жену свою в Москве, он был уволен на год и, в сокрушении своем, не отправлял никакой должности. Москва поручена была старому защитнику ее и патриоту П. Д. Еропкину.

Тихая моя езда читателю известна. Как я ни торопился, но в Москву приехал 11-го числа. Свидание мое с родными было трогательно. Ба-

* фиглярство, обман (фр.).

тюшка занялся тотчас со мной переговорами о моей невесте, о расположении к ней и ко мне их высочеств. Между настоящими соображениями вмешивались и химеры в будущем. Я один был влюблен, следовательно, одна Евгения меня и занимала. Родители мои помышляли о дворе, о чаянии будущих благ и покровительства всему дому. У всякого из них была своя бабочка в голове. Меня к супружеству влекла одна чистая страсть, и если б Евгения жила даже у своих бедных родственников, я бы и тогда так же домогался владеть ею, как и теперь, видя ее у двора, в золотых чертогах. Любовь кружила мне голову. Честолюбие в нее не входило, и я могу побожиться, что наследник престола российского не имел никакого участия в моей страсти к воспитаннице их высочеств. Невинность ее меня пленила, прелесть расставила сети, а театральное очарование все довершило. Вот в двух словах история моей женитьбы.

На другой день моего приезда, то есть 12-го числа, родители меня благословили образом. Я съездил один раз в публику, был в клобе, равнодушно посмотрел на всех московских девушек, наплясался, однако, досыта и через четыре дни уже опять скакал к невесте своей.

В сие короткое время ознакомился я в Москве с зятем моим графом Ефимовским, расцеловал его и сестру и, хотя странен мне казался новый брат мой многими своими ухватками, но сестра была довольна своей участью, а я, любя ее и желая ее собственного счастия, был и сам доволен ее супружеством. Много забот и печали принесло мне в Петербурге ходатайство о его повышении в офицеры, но о сем надо говорить долго и много, и я оставляю этот эпизод к концу года. Случай представил мне ознакомиться еще тогда же с ближайшей родственницей, а именно с графиней Скавронской, теткой моей родной по матери, и которой сын мне оказал столь важное благодеяние, выпрося у Потемкина мне чин офицера гвардии.

Графиня Скавронская Мария Николаевна, дочь общих родителей с моей матерью, старшая сестра ее, весьма различествовала с ней судьбой. Она была статс-дама со времени императрицы Елизаветы Петровны, которая, будучи по Екатерине I в свойстве с родом Скавронских, возвела ее в сие высокое достоинство по муже ее, графе Мартыне Карловиче[32], следовательно, тетка моя была дама знатная, пожилая и очень богата. Она не нравилась Екатерине, а Россия ей не полюбилась, и так всю жизнь свою провела в чужих краях, особенно в Италии, к которой она пристрастилась и где сын ее был министром российского двора. Вздумалось ей ныне побывать на родине, и прямо приехала в Москву, где до поездки в Петербург жила несколько времени, сохраня с нашим домом

все наружности родственной и такой близкой связи. В настоящий мой набег в Москву я был ей представлен матушкой и в первый раз от роду удостоился эту тетушку увидеть. Никогда она к матери моей не писывала и никакой между ими не было взаимности, а потому и я очень сухо с ней ознакомился.

На дороге встретилось со мною приключение, которое еще усилило отвращение мое мыкаться по ночам. Ехавши жениться, я вез с собой невесте разные подарки, состоявшие в жемчугах и старинных бриллиантах, между коими был и медалион с моим портретом, тем самым, который подарен был сперва Алене, потом отобран назад, и все по секрету, следовательно, он был нов для всех, и никто его еще не видал. Выехал я до зари и на первой станции от Москвы застал тревогу. Недалеко от нее только что проехал какой-то капитан армейский Б., в которого из леса стреляли разбойники и его с кучером ранили. До лекаря надобно было достигать в Клин, туда его и повезли. Еще не рассветало, и я в недоумении был, продолжать ли путь или воротиться. Меня пужали вещи, которые ворам могли представить жирную добычу. Однако, подумавши, решился и поскакал вперед. Кого такая сумятица не испугает? Мне же больше, нежели когда-нибудь, жить хотелось. Проехал я опасное место чуть-чуть на заре, завороха меня спасла. По всем сторонам была погоня, и меня никто не тронул. В Клину узнал я, что офицер, перевязав рану, поехал потихоньку далее. Я его настиг в Твери, отыскал, расспросил обо всем, свел минутное с ним знакомство и, во избежание опасности далее, согласились вместе ехать в Петербург, а по ночам становиться на квартеру. Так мы и доехали до места благополучно 20 декабря.

Прискакавши в Петербург, я думал, что в тот же вечер предстану пред великого князя и доложу ему о успехе моей поездки. Напротив, посетивши сперва Вадковского, я узнал, что в короткое время моей отлучки несколько случаев встретилось, кои подействовали на спокойствие меньшого двора, и что их высочества ни ужинов уже несколько дней не дают, ни в публику не выходят, следовательно, и я не мог иметь чести им представиться. От Вадковского я кинулся в объятии моей невесты и там забыл всю коловратность обстоятельств, кои я застал в городе. Евгения то же мне подтвердила, что и Вадковский. Придворные тревоги до моей Истории собственной не касаются, я нигде о них и не пишу, но здесь они отсрочивали развязку моей судьбы, и потому я должен слегка их коснуться.

У великой княгини был родной брат, герцог Виртембергский[33], мужчина дюжий, рослый и очень ограниченный, генерал-поручик российской

службы, сверх того генерал-губернатор Выборгский. Он часто ссорился с супругой своей, немецкою же принцессою и сестрой в третьем колене Ивана Антоновича, и если верить молве, то, по свойственной себе грубости, иногда он бивал ее. Часто их высочества сами за нее вступались, выговаривали приватно герцогу за его жесткое с ней обращение. Видно, что сие не сильно было воздержать его. Он однажды плотно ее пощекотал, и принцесса, вышед из терпения, выждала в одно эрмитажное собрание Екатерину в переходах из театра в свои покои, пала на колени и просила защитить от наглых поступков ее мужа[34]. Екатерина выискивала охотно средства огорчить наследника, кольми паче не пропускала тех, кои так способствовали сами собой достигать ей своих намерений. Не Тита милуя, а Рим казня, вступилась она за принцессу очень жарко, выключила Виртембергского принца из службы и сообщила ему через великую княгиню, чтоб он в три дни выехал из России, а принцессу, взяв в свое покровительство, под видом тишины и спокойства выпроводила ее в 1787 годе в один замок, недалеко от Курляндии, где принцесса получала пристойную пенсию по званию своему, имела придворную камер-фрау для услуг своих и где, год спустя, благополучно скончалась[35]. Великая княгиня не могла равнодушно принять строгого поступка императрицы с ее родным братом, да и за что же, — за домашнюю ссору между мужа и жены, в которую, может быть, Екатерине, так высоко сидя, и не следовало бы вмешиваться[36]. К этому случаю присоединился и другой, еще не менее их огорчающий. Императрица намеревалась предпринять путешествие в полуденные области своего государства и приказала готовиться внукам своим с собою ехать туда же. Родители с прискорбием сносили сию разлуку. Им путешествие детское не нравилось. Они хотели их во время отлучки государыни иметь при себе, а Екатерина не хотела их на руках у отца с матерью оставить. В этой борьбе желаний естественно, что торжество всегда оставалось на стороне Екатерины, а наследник мог только плакать, и то очень тайно, в своем кабинете. Сии два происшествия сильно расстроили дух великого князя, и как он, так и супруга его не в состоянии были заниматься посторонним кругом своих гостей. От этого и я должен был ожидать еще несколько времени явного признания моей женитьбы.

Между тем я явился к полку, объявил дяде о позволении моего отца, который сначала принял это очень горячо и долго на меня сердился за то, что его интриги против меня не так были на сей раз удачны, как в прошлом годе, когда он мне изволил кровь пустить. Поздравил он меня

сухо, принял без участия, и вышел я в публике ни то ни сё. Женихом явно называться я не смел, отпираться было также уже не у места. Я провел кончик года весьма скучно, потому что во всякое время я не мог быть у своей невесты. Великая княгиня, строгая женщина насчет пристойностей, требовала, чтоб я к ней иначе не ходил, как при генеральше Ливен, которая имела надзор за великими княжнами и у которой девица Смирная обязана была проводить все свободное время, что уподобляло состояние жениха для меня на тот карантин, который я выдержал в Гатчине у другой немки, г-жи Бенкендорф. Надобно было чинно прикладываться к руке г-жи Смирной и, сидя друг против друга, слушать проповеди г-жи Ливен.

Часто судьба очень проказливо шутит. За два дни пред новым годом у великого князя Константина Павловича открылась сильная золотуха. Сколько ни упорствовала Екатерина в том, чтоб увезти внучат своих с собою, целость их здоровья требовала, чтоб она отступилась от своего предприятия, и юные великие князья оставлены при дворе своих родителей под надзором Салтыкова. Нечаянность сия облегчила печальное положение наследника. Оба они с супругой своей в первый раз благодарили небо, что один из детей их так кстати занемог. Природа во всех состояниях имеет права ненарушимые. Чугун и медь скорей сотрутся, нежели впечатлении ее на сердцах человеческих.

В последний день года пополудни был первый публичный выход их высочеств к государыне. Тут представлены были им для прощальной аудиенции все те особы, кои назначены были в дорожной свите императрицы. Вместе с ними представился и я, пожалован к руке и нетерпеливо стал ожидать наступающего года, чтоб в приватной аудиенции, когда все угомонится, назначено было где, как и когда нам венчаться. Тогда, кроме меня с невестой, всем было не до того. Отъезд государыни занимал весь двор и город, а мы двое один только день и видели в будущем — день нашего неразрывного соединения.

Окончив нитку происшествий нынешнего года, осмотрим с примечанием последнее время моей холостой жизни. Против воли многих моих родных, я избирал невесту точно по сердцу своему, ибо кроме страсти, какую к ней почувствовал, я соединял в ней все то, чего давно желал и что в воображении моем сделалось коренным правилом для моего супружества. Она была бедна, не имела почти никакого родства, ни дядюшек, ни тетушек не несла с собой в приданое и к тому же в Смольном воспитана. Сам Бог, конечно, благословил сие намерение, судя по его успехам.

Как бы я мог иначе, сам собой, преодолеть сопротивление одних и, будучи так молод, расположить в пользу мою других. Отец мой был так умен, что не мог не страшиться для меня в будущей жизни, особенно по наклонности моей к роскоши и тщете, пагубных последствий нашего недостатка. Конечно, в другом случае он бы не скоро согласился на мои убеждении, здесь само небо ставило ему соблазн по его свойству. Будучи честолюбив, он мечтал, что великий князь, отдавая за меня свою питомицу, конечно, во время свое устроит и наше состояние, не только устроит — обогатит и возведет наш род в древнее его сияние. Сии милые химеры обольщали моего отца, в недугах и скорбях утомленного. На сем чаянии основано столь охотное его соизволение. Двор очень был рад, что мог пристроить девушку молодую, сироту, попечениям его вверенную, и при замужестве ее доставить ей не токмо титло нарядное в свете, но и родство большое и уважительное, короче сказать, их высочества всегда любили играть свадьбы, нимало не заботясь об участи тех, коих они соединяли, лишь бы было это по наружности пышно и громко. Такие чувства в них многие опыты показали. На сей раз я ни на что не углублял моего примечания. Я рад был, что отдают за меня девушку милую, любезную и без которой я уже не мог обойтиться.

Мне представлялось вдруг несколько невест, из коих каждая, судя по-мирскому, то есть принимая в уважение один достаток, была выгоднее Смирной. Я на минуту всех их представлю читателю. 1) Дядя мой сватал за меня Деми<дову>, дочь тех самых, к которым я ретировался после поединка. Она была невеста с большим приданым, но мне не нравилась, и я отвращался всегда от ужасной мысли продать себя богатой невесте, не любить ее и зависеть в последнем куске хлеба, получая все из ее рук. 2) Он же предлагал мне и Гле<бову>, дочь достойнейшего старика генерал-аншефа, любезную девушку, хорошо воспитанную, даже и пригожую, но сердце мое к ней не лежало, и она мне казалась злонравна. 3) По собственной моей наклонности, может быть, если б я не был влюблен, я бы не воспротивился искать руки трех других девушек, имеющих хорошее состояние. Всех выгоднее из сих была дочь принцессы. Еще ребенок двенадцати лет, она воспитывалась превосходно. Судя по благоволении матери ее ко мне, может быть, она бы дозволила мне искать чести принадлежать ее дому, но богатство невесты давно уже обращало на нее взоры всех женихов на свете, и Н. И. Салтыков, желая добра своему родственнику графу Тол<стому>, поспешил перехватить мне все пути к ней. Пользуясь стесненными обстоятельствами принцессы в

отношении ко двору, предположил ей вместе с своим покровительством родственника своего в зятья. Принцесса не могла отказаться, боясь притеснений. Салтыков был уже силен у двора, и хотя женишок его ограничен был умом, качествами и достатком, однако помолвлен на принцессиной дочери на два года и в это время на счете ее вместе с невестой обучался разным языкам и наукам. Таким образом, Салтыков в другой уже раз препятствовал моему счастию. Я говорю о сем относительно к тому времени еще, когда я не был заражен Смирной и мог свататься на Барятинской. Салтыков интригами своими удалил меня от такого лестного союза. 4) В доме Пушкина жили две девушки, одна родственница их и несколько моя, графиня Голов<ина>[37], другая Безоб<разова>. Первая дурна, но чрезмерно любезна, последняя пригожа, но не с отличными дарованиями. Я имел склонность к обеим, но охотнее бы женился на Головиной. Пушкины искали богатства, чтоб улучшить ее собственное состояние, хотя не огромное, но достаточное, и потому не отдали бы ее за меня, конечно, а другую они бы с радостию высватали, ибо она начинала быть им в тягость. Но страсть ее к другому молодому человеку[38] скоро открылась, и она сделалась его женою. В этом доме все следы к женитьбе мне были заграждены. 5) В Москве я оставил, ехавши в Петербург, премилую девушку на примете. Фамилия ее была не знаменита[39], но состояние матери дозволяло дать ей казистое воспитание. Ей было пятнадцать лет. Мать ее боготворила и во всем тешила. Театр и балы меня с этим домом ознакомили, я сделался в нем даже короток и почти положил твердое намерение, воротясь к зиме в Москву, на ней свататься. Мать ничего не искала, кроме фамилии, будучи довольно богата, чтоб зятя содержать в своем доме (ибо она с этой дочерью никак бы не рассталась). Их было две сестры, и, конечно, если б я воротился к свадьбе сестриной осенью, я бы стал искать руки этой девушки. Много бы труда мне стоило в том успеть, потому что батюшка против этого семейства был неприятно предупрежден и постарался бы меня отвести от него, но в октябре я, вместо отъезда в Москву, как выше видно, задержан великой княгинею, сыграл «Le faucon» и потом уже я кроме Смирной ничем не бредил, и все вышеписанные невесты остались в голове моей только прекрасными идеалами, о которых я с удовольствием вспоминая вижу, как резво было мое сердце.

Говоря о свадьбе сестриной, обещал я упомянуть о неудовольствиях, кои получил, ходатайствуя за зятя, и здесь войду в маленький этот эпизод.

Вспомним, что бывший при воспитании моем езуит Совере перешел к нам в дом, окончав науки молодого человека Мамонова, который лет

пять был меня старее. Имев одного наставника, мы как ребята видались часто. Родственники у нас были общие, у него по отце, у меня по матери[40]. Мы съезжались в одни и те же домы по праздникам. Долго ли сделать свычку в детском возрасте? Мы стали друзьями и росли в уверенности, по крайней мере я, что союз наш продолжится до гроба. Пришло время ему и мне служить. Он был сержант гвардии, я ординарец полевой в Москве. Равны еще были доли! Но уже я был офицер гвардии и в Петербурге, как Мамонов А.М. привезен на службу, будучи с лишком двадцати лет. Все дивились, что отец его так поздно отправил, но он был один сын, и родители выдерживали его дома. Кто знает будущее? Вступя сержантом в Измайловский полк, он основал житье свое в доме у дяди моего барона Строганова, которому он по жене его был близко родня[41]. Тут он все имел на коште дяди. Барон Строганов любил насмешки, шутки и сатирическое обращение. Мамонов от природы был костик[42], едкий, и очень понравился дядюшке. Вместе с тем, однако, Мамонов был очень горд и часто между острых эпиграмм, которые дядя ему отпускал, Мамонов квитался с ним, несмотря на его хлеб-соль, своими булавками. Будучи в этом доме часто, я с Мамоновым все продолжал связь свою. Скоро он водворился, как сын, в баронском доме.

У дяди была дочь лет уже пятнадцати. Мамонов в нее влюбился. Родство давало им право на короткое обращение, свычка дело довершила, и оба они ни о чем уже не помышляли, как о своем соединении. В начале еще их романа Мамонов, по ходатайству барона, выпущен из сержантов в штат к Потемкину в флигель-адъютанты. Князь отправился в армию, Мамонов был при его свите. Острота его замечена. Князь удостоил его своего благоволения, произвел в майоры, и скоро потом Мамонов переведен в Преображенский полк в капитан-поручики. Сделав такой скорый шаг в службе, он опять сел на прежнее свое гнездо у дядюшки и более прежнего оказывал сестре моей всяких угождений. Она, не в силах будучи сопротивляться чувствам своим, изъяснилась с отцом и просила дозволения выйтить за Мамонова замуж. Для дяди такое нечаянное признание был удар жестокий. Он раздражился против дочери, упрекая Мамонова, называл его коварным соблазнителем и, с одной стороны находя родство препятствием к этому браку, с другой — отнюдь не желая Мамонова иметь зятем, он сбил его с двора и, в правильной досаде за нарушение слепой его к нему доверенности и благодеяний, запретил к себе ездить. После такого стыда Мамонову не оставалось иного ничего, как бежать в Москву и удалиться хотя на время. Прямо из дома дяди

он приехал ко мне, переночевал у меня, плакал, рвался и растрогал меня чрезвычайно. Снова мы поклялись в дружбе непреложной и с этим обетом расстались. Мамонов из Москвы писал ко мне всякую почту, убеждал меня примирить его с дядею и наклонить мысли сего последнего к дозволению дочери за него выйтить. Сестра через меня знала все, что Мамонов делает и предпринимает. Не видя ничего соблазнительного в их страсти, потому что она имела предметом свадьбу, я охотно взялся доставлять сестре письма от Мамонова, но успел только одно довести до рук ее. Таким образом поддерживалась любовь их и заочно, в чаянии, что каприз дяди моего пройдет. Случилось и мне побывать в Москве. Тут я увидел новую картину. Мамонов уже имел связь гораздо прочнее, потому что она вела прямо к наслаждению, с одной замужней дамой, которой он в знак доверенности, а более из чванства казал мне цидулочки. Начавши рассматривать моего героя ближе, я нашел в нем пропасть хвастовства, езуитства, высокомерие чрезвычайное и любовь к одному себе. Все сии свойства мне не понравились, но я все, однако ж, не разрывал с ним моей свычки. Скоро потом съехались мы в Петербурге, и там Мамонов появился на высоком театре придворного света.

Когда двор в Сарском Селе, то туда наряжали на караул одного гвардии офицера с командою. Это было в обыкновении. В нынешнем годе отряжен туда Мамонов. Он был росту видного, прекрасный мужчина; полюбился Екатерине, и как она, при всей своей мудрости на престоле, была рабыня своего темперамента на постели, то избрала его в свои ночные сотоварищи. Тот, кто удостоивался этой чести, назывался фаворитом. Им не было счету. Мамонов сменил Ермолова, который также попал из сержантов нашего полку и подержался только год. Первая вывеска, по которой узнавали успех таких молодцев, состояла в чине флигель-адъютанта. Мамонов его скоро получил и сделался полковником, основался во дворце, где ему отвели особые покои, и захозяйничал в спальне у Екатерины. Можно вообразить по характеристике, которую я дал уже о нем выше, сколько шаг такой его возвысил.

Я сведал о том в публике и огорчился, что не он первый меня о том уведомил. Романическая дружба наша давала мне право сего требовать. Когда он был выгнат из дома дяди, он прежде всех со мною разделил свои печали, для чего же, думал я, ныне он не приехал кинуться ко мне на шею и сделать меня участником своего благополучия? Одни опыты учат нас распознавать нравы. Тут я совершенно узнал, что такое Мамонов, увидел в нем тварь низкую, мелкую, напыщенную только собою и с

красивым умом соединяющую лукавую душу. Холодность его долго меня огорчала, я не знал еще, что счастие и несчастие суть для дружбы человеческой две атмосферы совсем разные. Однако в самом неудовольствии моем, которое более поражало самолюбие, чем сердце (я уже перестал давно искренно любить Мамонова), находил я некоторый род удовольствия, питая свои химеры. Пусть он превозносится, мечтал я сам в себе, пусть пред ним все раболепствуют и ищут его милостей, я выдержу свой характер, я к нему не пойду на поклон, он никогда не увидит меня в своей передней. Пусть он все для других, для меня он все тот же, и я пред сим минутным кумиром никакой жертвы не воскурю. Так бродила кровь во мне, волновалось воображение! Но кто не раб своих обстоятельств? Увы! И мои принудили меня наладить на другой тон свои поступки! Где человек сильнее надеется на себя, там, обыкновенно, провидение заставляет его почувствовать, что он, как трость, ветром колеблема, весь во власти находящих на него случаев. Всуе мы кичимся своими правилами. Выгоды общежития и отношении все себе покоряют.

В то же самое время сестра моя родная обручена за сержанта гвардии. Чин ничтожный! Ни стула нет, ни экипажа в обществе. Батюшка, помня мою детскую дружбу с Мамоновым и узнав о его случае, препоручил мне выпросить у него для будущего зятя чин офицерский. Мамонову это стоило одного слова, но надобно было за этим словом походить. Нечаянно судьба столкнула нас с ним вместе. Я приехал в Сарское Село с рапортом. Жду в зале. Отворяются двери, и из покоев государыни летит Мамонов в шитом мундире. Лишь увидел меня, сыграл тотчас свою комедию. Это была сцена Филибера в романе г. Коцебу: бросился меня обнимать, прижимал к сердцу, звал к себе, велел ходить во всякое время[43]. По этому восторгу придворные лакеи думали, что я буду и сам великий господин, а может быть, и их приму к рукам. Существенная выгода такой ласки фаворита для меня в этот раз состояла в том, что за обедом меня очень потчевали столовые прислужники. Должен я был к нему сходить. Те же вежливости откровенные и посулы в дружбе. Переехал двор в город. Несколько раз и там фаворит меня принимал все одинаково, то есть прекрасно, и отличал от многих. Положась на это, я решился просить его о зяте. Он вывел меня в свой кабинет, говорил со мной откровенно, уважил причину моего ходатайства, напомня, что он, бывши сам сержантом, опытом знает уничижение этого состояния, и, обещав мне непременно выпросить зятю чин офицера, сказал даже эти отборные слова, коих я никогда не забуду, как памятник того, что чело-

веку знатному всякая ложь, и самая гнусная, ничего не стоит: «Я себе самому за честь поставлю все то сделать, что вам будет приятно». Выражение сих слов сопровождалось каким-то глубоким чувством и любви, и уважения, и искренней благодарности.

Прошло с месяц, а я все на одном посуле. Между тем в Москве, в чаянии успеха, свадьба наша отсрочивалась и могла разорваться. Надобно было ковать железо, пока горячо. Я опять к Мамонову, с напоминанием. Он довольно сурово отвечал: «Неужели вы думаете, что я могу вашу просьбу забыть?» Я изъяснил причины моего настояния. Он им дал веру, почувствовал строгую необходимость исполнить свое слово немедля и дал мне его в другой раз с тем, что в день коронации, 22 сентября, он, конечно, меня поздравит. На сей конец он тут же принял и записку об имени Ефимовского. Чего больше? Дело сделано, думал я, и поехал в Павловское. Дождавшись 22-е число, приезжаю на верное во дворец и лечу к нему в покои. Кто поверит! Я его встречаю, — он видит меня, без поклона отворачивается, и после я узнал, что меня уже не было на листу тех, коих он запросто принимать велел. Гром не мог бы меня поразить сильнее. Я одурел, на месте стоя, и не мог понять, что это значит. Стыд быть так нагло обманутым неблагодарным скаредом одолел весь мой разум. Я решился бросить его, никогда к нему более не ходить и выдержал свой обет, ибо с тех пор уже не видал его иначе, как видят издали на шатрах мишурных царей. Этот Мамонов по времени вырос у двора очень высоко, был наконец генерал-адъютант, пожалован в титло графа, носил Александровскую ленту и начинал перевес делать своему благодетелю Потемкину, который возвел его на настоящую степень. Но судьба и его опрокинула. Он слюбился с одной фрейлиной, обманул Екатерину. Она узнала его интригу, обвенчала их и сослала в Москву, где Мамонов, живучи один с своим швейцаром, не видаясь от гордости ни с кем, умер, как жил, то есть без правил и совести[44]. Размышляя о сем ныне, думаю, и не без основания, что он хотел вынудить барона Строганова приехать его просить о Ефимовском как о родном своем племяннике, и для того по моим одним настояниям этого не сделал, дабы не потерять столь хорошего случая заманить к себе в переднюю того человека, которому он должен был быть так обязан, но, не прощая ему обиды своей, что он выгнат из его дому, рад был случаю показать над ним при всех свое торжество и возвыситься низостию своего благотворителя, когда бы этот к нему явился. Но он не дал Мамонову желаемого праздника, не посещал его и, встречаясь с ним у двора, всегда холодно раскланивался.

Так-то я ошибся в дружбе, но этот опыт меня не выучил. Он был, к несчастию, не последний в моей жизни. Видно, человек беспрестанно ошибаться должен!

1787

После обыкновенного бала у двора 1 числа, на котором вся публика простилась с государыней, изволила она 2 числа отправиться в Сарское Село и оттуда предпринять путешествие в Киев и Крым[1]. В свите ее были, сверх многих деловых чиновников, флигель-адъютант Мамонов и три иностранные посла: цесарский Кобенцель, французский Segur и аглинский Фиц Гербер. Графу Брюсу поручен был в отсутствие ее столичный город, и полк наш по-прежнему вступил в его подчиненность. Меньшой двор оставался в Зимнем дворце на просторе в полной свободе.

Несколько дней по отбытии двора нечаянно встретил я великого князя на улице. Он прогуливался верхом. Я вышел из кареты, чтоб отдать ему поклон. Его высочество изволил остановиться и с четверть часа говорил со мною очень милостиво. Я поцаловал его руку, он приказал мне быть к нему после полудни во дворец, сообщить наперед о сем графу Пушкину, а в покоях сказаться камердинеру. Это было первое мое свидание с его высочеством после моего приезда в Питер.

Мне не хотелось ехать к Пушкину, дабы не показать нескромности и не дать ему повода заключить, что я из одного глупого высокомерия извещаю его о сем, чтоб показать, что я и без его предстательства пробил себе дорогу в кабинет великого князя. Однако должно было исполнить волю государеву. Я согласил и то, и другое. Зная, что Пушкин всякий день обедал у меньшого двора, я в самый этот час к нему заехал и, не заставши его дома, чего и ожидал, донес при свидании великому князю, что я приказание его исполнил, но граф не был у себя, и великий князь оставил это без внимания.

Пополудни в четыре часа явился я на половину великого князя и велел гоф-фурьеру о себе доложить. Камердинер Кутайсов, вышед из внутренних покоев, ввел меня к его высочеству и затворил за мною двери. Мы остались в большом кабинете глаз на глаз. Беседа между нами продолжалась добрый час. Он и я ходили взад и вперед по комнате. Я вступил в разговор объявлением о соизволении моих родителей на мою женитьбу. Государь принял его с удовольствием и оказал мне искренное

участие. Потом очень долго изволил рассуждать со мною о обязанностях супружества, как отец, давал мне наставлении и правила жизни. Я выслушал тут целую диссертацию о нравственности. Великий князь говорил с жаром усердия, одушевлялся своим предметом, и речь с языка его лилась, как поток. Я внимательно слушал и, безмолвствуя, убеждался его красноречием. Иногда, смягчая сухость материи, вмешивал он в разговоры острые шутки и замысловатые обиняки. Наконец, весьма милостиво меня изволил отпустить, обещав свое покровительство. Я стал на колени, схватил его руку, но он меня, поднявши, обнял, и я вышел. Сие свидание будет до гроба жить в моей памяти! От него я побежал в восторге к Смирной и ей от слова до слова дал отчет во всем нашем разговоре. Она делила мое восхищение, и мы облобызались. Знали ли мы тогда, что наша суетная сия радость готовит нам впереди горькие слезы?

Казалось, ничто уже не препятствовало помолвку нашу сделать публичной, но великая княгиня рассудила дождаться ответа и позволения от матери девицы Смирной. Пример почтенной покорности детей к своим родителям, — поступок, делающий честь высокому сану ее высочества. Она забывала, что мать Евгении — дворянка бедная, деревенская и что дозволение их высочеств, согласие моих родителей не могло остановить и благословения ее матери. Она здесь уважала одной родительской властию и не хотела оскорбить ее прав. Если б сия мысль представилась прежде, я бы мог на обратном пути из Москвы заехать к будущей теще и, переговоря с ней, одним разом все позволении привезти вдруг, но оттого ли, что я в Москву ехал в беспокойную минуту у двора, или для того, может быть, чтоб бедностию г-жи Смирной и незначущим ее положением не испугать моей страсти к ее дочери, но тогда это не пришло в голову никому, и вздумали о сем теперь. Если последняя догадка моя справедлива, то, ах, как мало знали чувства мои и образ мыслей насчет породы и убожества! Смирной приказано написать к матери письмо. Оно отдано мне. Слуга мой на почтовых поскакал с ним в Тверскую губернию. Во ожидании ответа, в содержании которого никто не сомневался, приказано было от их высочеств для соблюдения порядка держать помолвку нашу в секрете. Повинуясь сему жестокому приговору, я просил Вадковского исходатайствовать мне дозволение по крайней мере ежедневно видеться с невестой, и тогда-то государыня изволила приказать, чтоб я имел с ней свидание в те часы, когда она приходит к г-же Ливен, коей она была поручена. С этого времени я всякий день являлся обедать к Ливен и ужинать также, когда не было приема ни вечера у их

высочеств. Признаюсь, что мне эта форма не нравилась, но надобно было плясать по той дудке, на которой играли. Между тем в покоях г-жи Ливен уже занимались приданым. Невеста моя сама обметывала свои будущие платочки, и я помогал ей иногда очень неловко.

Несмотря на все запрещении, молва пошла по городу, что я женюсь на Смирной и что дело это кончено. В первый бал у их высочеств многие меня поздравляли. Сама великая княгиня изволила, подойдя ко мне, спросить довольно громко: «Où est votre promise?»* Кто ближе стоял, тот за весточку рассказал это с нетерпением другому, другой третьему, и секрет вышел наружу прежде, нежели этикет был исполнен. В больших городах самый ничтожный и обыкновенный случай в несколько дней по всем домам промчится и занимает всех, пока последует другой, поновее.

Теща моя жила смиренно в своем углу, называемом Подзолово, в трех верстах от большого почтового яма на Петербургской дороге, села Медного, и никак не ожидала моего курьера. Разумеется, что с большим восхищением старушка прислала свое благословение дочери, которую с младенчества, отдав на руки двору, в глаза не видала. Я получил ее письмо очень скоро и тотчас доставил невесте. Кончились все перешепоты и сплетни. На другой же день, именно 17 генваря, объявлена помолвка наша публично. После обедни во дворце в обыкновенный выход их высочеств, к которому все чины города съезжались точно так же, как и при государыне, я представлялся, по этикету придворному, благодарить их высочества за дозволение их воспитаннице выйтить за меня и был допущен к руке великого князя и великой княгини вместе с родственниками моими, съехавшимися для исправления сего обряда. Эта минута была торжественнейшая в жизни моей. Все меня обнимали, все поздравляли, угождая великому князю и видя, что я удостоен особенной его милости. Всякий из придворных подлипал увивался около меня, как муха около сыропу. Стыдно сказать, но не потаю, что некоторые из моих сродников, не принимавшие доселе никакого во мне участия, придирались в этот раз к родству со мной, чтоб иметь лишний случай быть у руки их высочеств и обратить на себя хоть минутное замечание. После всех церемоний придворных я тут же, в покоях царских, представил мою невесту ближайшим моим родным и поражен был новой картиной. Дядя барон Строганов, сей жарчайший антагонист моего супружества, видя, что дело сделано, и стараясь загладить суровое свое упорство, которое не могло не

---

* Где ваша суженая? (фр.)

быть известно и их высочествам, обошелся с невестой моей прекрасно, обласкал ее, как дочь, обещая принять нас в свое непосредственное покровительство. На его оборот глядя, и прочие мои родственники умилосердились. Все перестали гневаться, и дело вошло в благопристойный порядок. Судя по общему обхождению со мной господ придворных, можно было подумать, что я нечто превосходное и совсем не тот мальчик, который, стоя на кафедре в Университете, выпрашивал внимание к своим трудам и способностям. Напротив, я тот же был юноша, но положение мое переменилось. Все относительно в мире. Не будь моя невеста у двора, я уверен, что многие из тех, кои только что по пятам за мною не ходили, не узнали бы, что я и женюсь. Все сии суетные почести, кои разливались на меня и воздымали мое тщеславное самолюбие, принадлежали двору. Без него я бы погас наряду с другими в сумерках вечных.

В тот же самый день я подарил невесту перстнем бриллиантовым в один камень, а после обеда дядьи мои барон и граф Строгановы, приехавши к ней в комнаты генеральши Ливен, вручили от имени родителей моих на благословение богатый образ и дары их, состоящие в бриллиантовых старинных браслетах от матушки и нескольких нитках жемчугу от батюшки. Отправя сии обряды, я занялся посылкой нарочного в Москву с уведомлением, что помолвка моя у двора объявлена. С ним посланы рекомендательные письма невесты моей к отцу моему и матери, и велено тому же нарочному завезти по пути к теще мое рекомендательное письмо с невестиным вместе. Потом ездил я сам ко всем находившимся в Петербурге моим родственникам с объявлением о помолвке моей, и все они на другой же день были у невесты моей с визитом, которая принимала их в покоях генеральши Ливен. Дни два спустя невеста моя, с дозволения великой княгини, сопровождаемая г-жой Бенкендорф, ездила с визитом ко всем моим родным и к первым двум классам рекомендоваться.

Поступки дяди моего с тех пор оказались в большой противуположности с прежними. Негодовавши на меня более всех, он обратился к моему положению с чувствами настоящего отца и благотворителя, если можно назвать прямым благодеянием роскошное употребление денег без пользы. Он принялся тотчас за обстройку моего дома в полку, приехал сам с архитектором, осмотрел его и по новому плану велел так отделать, чтоб с надстроенной антресолью он мог быть способен для помещения семейства. До нынешнего времени я не видал от него ни малейшей ласки в этом роде, он мне никогда не даривал безделки. Может быть, и оттого, что я не хотел никогда просить его пособия, а он не старался отгадывать

моих надобностей, по пословице: «Дитя не плачет, мать не разумеет». Тут, напротив, он сорил деньги и часто очень напрасно, желая, чтоб свадьба моя соответствовала своей пышностью знатности моего рода, а его богатству. Он вывел меня совершенно из круга мне подобных недостаточных людей и все учреждал широким покроем. Нанял для свадьбы превеликий дом Саксмеера, в два этажа, за сто рублей на месяц и, перевезя меня в него за несколько дней до свадьбы, снабдил его мебелью, услугой и всем нужным. Подарил мне карету и искупил все, что для обзаведения дома на первый случай необходимо, словом, поставил меня совсем в новое состояние. Тем временем отстроивали мой полковой домишко для предбудущего моего в нем житья, когда угар великолепия пройдет. Все издержки при сем случае дяди моего, конечно, доходили до пяти тысяч. Он пред сим сестре моей на свадьбу подарил три тысячи.

Видя столь добрую волю дяди моего поддержать меня в такую важную минуту жизни, я с ним примирился искренно. Все наши досады взаимные друг против друга исчезли без объяснения. Часто, распространяясь в них, ссора только разгорается ярче; и он, и я молча проглотили обоюдные неприятности и сделались друзьями, чем бы нам не должно было никогда переставать быть между собою.

Осуждая здесь тщеславие барона Строганова, не стану выхвалять и себя. И во мне суеты было много. Другой на моем месте, готовясь к состоянию женатого человека, одумал [бы] такое важное намерение гораздо лучше и основательнее, исследовал бы свой характер, вразумился в существо предстоящего таинства, коего печать не снимается уже до гроба, помыслил бы, сколь нужно для благополучного супружества подумать не о себе одном, но и о жребии будущего своего товарища и ожидаемого с ним потомства; другой бы, наполня разум столь нужными размышлениями, обратился к вере, чая от нее и от Бога той твердости и постоянства, без коих тесный союз любви редко может сделать нас счастливыми, и благоразумной осторожностию рассудка упрочил бы выбор пристрастного сердца. Но мне такие мысли не шли еще в голову, религия моя была не что иное, как привычка думать о Боге понаслышке. Я более по воспитанию держался ее правил, нежели из натурального подвига души, озаренной истинным богопознанием по убеждениям собственного ума и совести, а потому я готовился быть мужем, как мальчик, думал только о нарядах жениных, о ливрее, экипаже и новом рассеянии, заботился, чтоб все было около нас пышно, величаво, прекрасно. Искал в жене утех сладострастия, которые как цвет исчезают, и нимало не по-

мышлял о том, как бы сделать ее своим другом, а ей сделаться подпорой и надежным сотрудником в обременении житейском. Среди таких суетных побуждений одни праздники и пиры меня занимали. Но извиним возраст! Я был еще так молод! Жаль, что всех сих соображений за обеих за нас не делали те, кои образовали наше будущее житье и выводили нас из нашей сферы. Я сию последнюю речь отношу не к одному дяде, который много допустил излишностей, но и ко двору. Их высочества нимало не готовили своей питомицы к той смиренной жизни, из которой состояние наше и достаток моего отца не должен был отнюдь нас выводить.

Оставалось до Великого поста от дня помолвки только две недели. Великой княгине угодно было отстрочить свадьбу до Святой недели, дабы успеть сшить приданое, но великий князь, любя скорую решимость, назначил быть ей в последнее воскресенье пред масленицей, к чему стал и я приготовляться. Я не видал, как эти две недели прошли, для жениха год — минута! Вещь обыкновенная! Каждый день ознаменован был каким-нибудь удовольствием: то я встречался с великим князем на улице, и он не пропускал случая мне оказать своего благоволения мимоходом приветствием или ласковою шуткой, то, участвуя в катаньях на Каменном острове, удостоен был самого короткого обращения до того, что однажды мне случилось с великим князем играть в волан, а в другой раз быть приглашену на немецкий спектакль в число только двадцати зрителей. Иногда, сидя у генеральши Ливен, к которой прихаживали играть великие княжны, строил им карточные домики, и одна, именно из них старшая, привыкнув к моему лицу, изволила меня назвать своим гоф-фурьером. Замечательнее же всех случаев в столь короткое время для меня особенно был разговор мой с великой княгинею, которая иногда нечаянно от дочерей своих заходила к г-же Ливен и, меня тут найдя, изволила долго говорить о будущем нашем житье, преподавала мне разные экономические наставлении, советуя быть хозяином бережливым, не расточительным. Я никогда этой беседы не забуду! Однажды как-то случилось, что лакей ошибкой сказал мне, что у их высочеств ужин отказан. Я пошел к Ливен, но тщетно ожидал там невесты, она была у двора. Я, узнав неумышленный обман лакея, не мог уже представиться на придворную вечеринку, пропустя обыкновенный час приезда. Великий князь, удивясь, что я розно с невестой, спросил ее, куда я девался. Она донесла о причине моего отсутствия, по которой я сижу у Ливен. Он, шутя, диктовал ей цидулку и велел ее ко мне отправить, а на другой день, войдя в разговор со мною о нечаянности многих в мире про-

исшествий, изволил, улыбнувшись, сказать: «Например, чаял ли ты когда-нибудь, чтоб я к тебе стал писать des billets doux*». Точные его слова, и я не могу их забыть, — не смею выдумать. Подобные безделки служат, однако, доказательством того свободного обхождения, той непринужденной любезности, какой великий князь иногда удостоивал людей, составлявших тогдашний круг его. Как мне пропустить их в Истории моей? Каждая из сих минут служит в ней памятником лучших дней моей жизни. Между тем как я утопал в восторгах в Петербурге, уже известие о моей помолвке дошло в Москву. Родители мои рассылали всюду вестников с карточками, и визиты родственников и знакомых наполняли с утра до вечера их покои. С 1-го числа февраля я был графом Брюсом уволен от должности моей, дабы заняться мог брачными недосугами.

В то же самое время шла замуж и княжна Щербатова, героиня последнего моего романа, за дворянина равных с ней лет Полик<арпо>ва, который пред сим поступил в полковники; человек хороший, достойный, хотя слишком вспыльчивый, и обращался в лучших людях. Все со временем проходит! Союз сей меня нисколько уже не тронул, а прежде, я думаю, что я опять бы принялся за пистолет. Заметим, однако, мимоходом странную встречу при настоящем случае. Когда дядя мой искал мне для свадьбы квартеры в городе, то первая самая попалась ему в таком доме, в котором один этаж нанят уже был г. Поликарповым для его свадьбы, а другой отдавали под мою, но я, боясь насмешек, которым это могло дать повод в городе, не решился с ними вместе квартировать и просил, чтоб нас так близко не соединяли.

Накануне означенного для свадьбы дня переехал я из своей полковой мурьи[2] в обширный нанятый дом и, сказав прости холостой жизни, готовился вступить в новое состояние. Для меня оно, подлинно, было ново и в нравственном, и в физическом разуме. Здесь, в откровенных сих записках, не имея нужды никого обманывать, я исповедую во всей наготе совести чистой, что я ни с одной женщиной до последней сей поры не имел плотской связи. Я так напуган был с ребячества происходящими от того болезнями, что не смел и помыслить о женщине в этом отношении. Я влюблялся почти во всякую, которая была почище одета и понаряднее, чувствовал часто, что поцаловаться с нею еще не есть край наслаждений нашего тела, но не смел сделать открытий для себя вредных, а паче в Петербурге, где уже не было почти ни одной здоровой женщины в том

* записочки (фр.).

классе, из какого их возят на постели к нашей братьи. Глупый стыд, однако, быть новичком в супружестве заставил меня попробовать его приятности прежде брака. Незадолго до оного допустил я к себе на ночь одну жеманную лаису[3] и за урок ее заплатил ей пять рублей. Наука немудрена, но очень рад, что поздно выучился, ибо это сберегло мои соки и дает мне надежду, что я не испытаю той недужной старости, какой подвержены неумеренные охотники до этой потехи. Один раз только в жизни я играл в эту игрушку с женщиной, не связанной со мною узами брака. Желаю, чтоб и сыновья мои подражали моей умеренности и постарались сохранить такую же диету, как я. От меня отец мой требовал воздержания до двадцати лет. Я выполнил его волю на сей счет и даже за пределы его заповеди. Приятно будет мне, если и дети мои дождутся зрелой возмужалости, не расстроив своего темперамента излишней к нему снисходительностию. Право, все в силах нашего рассудка! Мы часто падаем под игом наших желаний и страстей не оттого, чтоб не могли их преодолеть, совсем нет, ибо мы даже и не стараемся превозмогать себя, но от поблажки, которую даем своим страстям, угождая и самому легенькому побуждению натуры.

Приступая теперь к дню вожделенному в моей жизни, я в описании его намерен включить все подробности брачного обряда. Так как церемония сия происходила при дворе, то все мелочи дворцовых этикетов любопытны. Из них можно будет со временем увидеть, что у двора шум и блеск заменяют все и что гораздо легче делать нарядные свадьбы, нежели созидать счастие семейное супругов. Не забывая при сих важных для меня минутах человеческое несовершенство, я поручал тогда весь жребий свой единому Богу. Он мне избрал и нечаянно поставил при стезях царских невесту по сердцу, он, конечно, и союз мой с ней благословит. Итак, при окончании сей второй эпохи моей Истории, паки во глубине сердца простру глас мой к Отцу небесному и с умилением христианским признательнейшими устами изреку:

Благословен господь Бог,
благоволивый тако.
Слава тебе!

Описание свадебного церемониала

30 генваря, по приглашению моему, прибыли в дом ко мне ввечеру для приема приданого нижеследущие особы: 1) тетка моя родная баронесса Александра Борисовна Строганова, урожденная княжна Голицы-

на; вдовствующая супруга старшего брата родного матери моей тайного советника барона Григория Николаевича; 2) тетка же моя родная, баронесса Наталья Михайловна, урожденная княжна Белос<ельс>кая, вдовствующая супруга меньшого родного брата матери моей барона Сергея Николаевича; 3) тетка моя внучатая со стороны отца, княгиня Щербатова с мужем; 4) дядя барон Александр Николаевич с дочерью, которая уже помолвлена была тогда сама за камер-юнкера Нарышкина; с ней вместе был и он; 5) граф Строганов, один.

В тот же день доставил я графу Пушкину, по приказанию великого князя, две росписи моим родственникам для приглашения их на свадьбу от двора. В одной включены были только самые близкие мои родные в числе десяти человек, в другой написал я всех до ста пятидесяти. По сей последней угодно было их высочествам сделать приглашение. Приданое привезено в шесть часов камердинером великой княгини и камер-юн[г]ферою. От нее принял я ящик с бриллиантовыми вещами. Они состояли в серьгах, медальоне и нитке на шею; притом четыре тысячи ассигнациями, за что подарен ей мною атлас на платье. Камердинер поднес мне ключи от ящика и рядную[4] для подписания. В ней означено было приданого на четырнадцать тысяч рублей только (конечно, меньше того, чего стоило оно, до шести тысяч рублей). Камердинеру подарил я золотой перильник. Потом явился Le Roux, славный обойщик, и установил парадную штофную кровать[5]. Сундуков с платьем было шесть. Они привезены на четырех цугах[6]. На каждый из них давал я конюхам десять рублей серебром и двум стремянным при всем экипаже каждому по стольку же. Приданое наполнено было прекраснейшими кружевами и наилучшими шелковыми платьями, белье превосходное, наряды последнего вкуса, и дежёне[7] серебряный полный. После сей церемонии гости мои разъехались, а я, взявши пакет с деньгами, отвез к генеральше Ливен, прося ее, дабы сходно с волей великой княгини, изъясненной мне в личном ее со мною разговоре, о котором я выше упоминал с особенным замечанием, благоволила она отдать их в ломбард. Я мог бы это сделать и сам, но имея дело с особами, не доверяющими моим летам, я хотел, чтоб г-жа Ливен была свидетельницей, что я о такой *важной* сумме скорей всего озаботился, получив ее в свои руки, и тотчас отдал, куда советовано мне было. Ужинавши в тот вечер у нее с моей невестой, я видел нечаянно великого князя, который от детей своих зашел к нам и за столом побалагурил с каждым из нас насчет ожидаемого дня.

31. Мороз пятнадцати градусов не переменил расположения их высочеств отправить свадьбу нашу на Каменном острову. Туда все званы

были на вечер: и родные мои, и прочие чины городские, и все иностранные послы, словом, вся публика приглашена была на бал.

Поутру, после многих домашних хлопот, я съездил в Казанский собор и приложился к образу. Помолясь Богу, поручил ему судьбу мою. Не обедал нигде и начал свой туалет. Чесал меня мой французский парикмахер Beauregard. У него купил я две золотые булавки. Одна изображала ключ, другая кинжал, и, по некоторой аналогии сих вещей с готовящимся случаем, я ключ при записочке отослал к невесте. Нельзя в такой знаменитый день не оставить для памяти на бумаге и подобной безделки. Все важно перед свадьбой, ничто не кажется вздором.

Одевшись в мундир, отправился я к дяде, который представлял ролю родного моего отца. В доме его, по старинному обряду, накрыт был круглый стол, поставлен образ и хлеб с солью. Он с женой своей, две вдовствующие тетки мои и граф Строганов составляли всю круговеньку. Сели за стол. Помолчали минуты с две и встали. Дядюшка с женой своей, в лице родителей моих, благословили меня образом, а граф Строганов, посадя в свою карету, повез меня на Каменный остров. Прочие поехали туда же за нами (тетка моя, барона Александра Николаевича супруга, не участвовала ни в каких внешних церемониях, потому что болезнь ее, периодическое сумасшествие, не позволяло уже никуда выезжать из своего дома).

Отцами посажеными были у нас со стороны моей граф Пушкин, а у невесты граф Брюс. Матерью у меня Александра Борисовна Строганова, у нее сперва генеральша Ливен, но как надзирание за великими княжнами не позволяло ей поздно вечерять, то заместила ее после свадьбы на бале г-жа Бенкендорф. Шаферами были: моим будущий зять Нарышкин, а ее — камергер Вадковский.

Приехавши с графом Строгановым во дворец Каменного острова, нашли мы в зале уже большое стечение людей. Мужчины все были в шитых кафтанах, дамы в русских платьях. Спустя несколько минут граф Пушкин посадил меня с собою в придворную карету цугом с двумя вершниками, у колеса ехал офицер конюшенного штата. И поехали мы к церкви Каменного острова.

Несколько минут потом привезена и невеста. За нею прибыть изволили их высочества. Невеста одета была в шитом глазетовом[8] платье, украшена всеми бриллиантами великой княгини. Она сама изволила ее убирать, как водится при фрейлинских свадьбах. Начался обряд бракосочетания обычным образом.

В церкви одни только были наши родные. По окончании духовной церемонии священник произнес нам краткое поучение, потом мы подошли к руке их высочеств, и все родственники наши за нами допущены иметь ту же честь.

Их высочества изволили отправиться во дворец, где и началась музыка. После них подали нам придворные экипажи. Я с графом Пушкиным сел по-прежнему в одну карету, жена моя с г-жой Ливен в другую, и в залу явились мы вместе, где все нас взапуски поздравляли.

Великий князь изволил открывать бал с женою моей польским, а великая княгиня со мною, потом бал продолжался во весь вечер очень весело и великолепно. В девять часов, обыкновенный час ужина их высочеств, пошли мы первые за ними к столу. Жена моя была возле великой княгини с одной стороны, а я с другой, рядом с великим князем. Против нас посадили наших родных. Стол накрыт был на двести кувертов с лишком. Во время ужина с иных блюд их высочества изволили нам передавать кушанье через дежурного своего камер-пажа. Потом удостоили нас чести выпить наше здоровье, чему и мы соответствовали со всеми нашими поезжанами.

По окончании стола бал продолжался еще с полчаса, но я тотчас в той же придворной карете отправился с графом Пушкиным в город, на свою квартеру, где встретил нас с хлебом и солью дядя мой барон Строганов.

Тем временем жена откланивалась их высочествам, была снова у руки великой княгини и вместе с г-жой Бенкендорф в придворной карете прибыла в мой дом, где я ее встретил на крыльце при играпии труб и литавр.

Тут снова мы сели за так называемый браут-камерный стол[9] в кругу ближайших наших родственников и церемониальных гостей, в числе тридцати человек, пили здоровье их высочеств, потом наших родителей, за ними отцов и матери посаженых, а наконец и всех присутствующих и отсутствующих родственников.

Посидевши за этим столом с полчаса, графиня Анна Николаевна Пушкина, сестра ее княгиня Меншикова и княгиня Наталья Ивановна Кур<акина>, почетные дамы с стороны моей, и княгиня Щербатова повели по обряду жену мою в спальню и там ее одели в ночное платье, а г-жа Бенкендорф снимала царские бриллианты для возвращения в целости великой княгине. При сем обряде тетки мои не присутствовали, потому что этикет не позволяет вдовам исправлять сих окончательных церемоний.

Между тем я провожал гостей и, поблагодаря дядюшку за все его милости, принужден был им войтить к жене в шелковом халате и колпа-

ке, которые по точным правилам светских обрядов приготовили для меня в приданом. Наконец все утихло в доме... Амур ждал своей минуты; он вознагражден непорочностию, и страсть моя к Евгении получила в сей день вожделеннейший трофей. Тако исполнились судьбы Божии, и мы начали супружеское поприще в райских восторгах.

1-го февраля, понедельник на масленице. Мы день начали первой нашей обязанностию по благодарении Бога — занялись почтой и написали к родителям нашим о совершении брака. Во все утро принимали приветствии от разных особ, присылавших по обычаю поздравлять нас. В числе их граф Пушкин и граф Брюс присылали своих адъютантов, а прочие знатные господа первых слуг своего дома. Туалет женин головной во всю масленицу отправлял славный парикмахер француз Henry. Генеральша Ливен в прогулке утренней с великими княжнами останавливалась у нашего дома и присылала от имени их и от себя проведать о нашем здоровье. В заключение утренних этикетов явился у нас их высочеств камердинер со здоровьем и при сем вручил жене моей от великой княгини перстень бирюзовый, осыпанный бриллиантами, ценою в двести пятьдесят рублей.

В первом часу поехали мы сами во дворец благодарить их высочества и тотчас введены были в уборную великой княгини, где был и великий князь. Тут мы имели счастие быть у руки. Оба очень милостиво изволили нас принять, и великий князь, не дав мне руки, изволил обнять и со мной поцеловаться. Откланявшись, мы сделали визиты отцам и матерям посаженым и приехали обедать на званый свадебный пир к дяде барону Строганову, у которого было до сороку человек гостей из ближайших наших родственников. При встрече нас дядюшка подарил мне портефёль с пятьюстами рублей, а жене бриллиантовый медалион в шестьсот рублей, в котором после носила она его портрет в знак признательности нашей к его дарам и благоприязни.

Обед был очень продолжителен, как обыкновенно водится в подобные случаи. Пито за здоровье их высочеств прежде всех прочих, и после стола, целый день сидя в карете, мы отправляли визиты к первым двум классам, ужинали дома сам-третей с Вадковским, который завернул к нам, чтоб посмотреть, как мы учредились в новом нашем состоянии. Правда, что хозяйство наше было очень ново, плохо, и мы оба еще не могли сообразить ничего, как будто вся эта перемена происходила во сне. Жена еще более меня ощущала неловкости. Говоря просто, в доме нашем еще было ни то, ни сё.

2 февраля. Обедали мы дома, пригласивши к себе все семейство генеральши Ливен, замужнюю дочь ее и сестру с братьями. Ввечеру были на бале на Каменном острову, где, идучи к столу за ужин, великая княгиня из особенной милости к жене моей, чтоб она не простудилась, изволила ей сама приколоть косынку. Вообще, их высочества продолжали к нам самое благоприятное обращение.

3 февраля. Обедали мы в Смольном монастыре у г-жи Лафон, которая, не теряя привычки командовать монастырками даже и тогда, когда они были замужем, выводила в свой кабинет жену мою и журила ее до слез, во-первых, за то, что она не приехала к ней на другой же день свадьбы, как будто же это от нее зависело и мог я дать ей преимущество пред моими родными и первыми чинами в городе. Во-вторых, за то, что я столь мало показал к ней уважения, что осмелился приехать не в мундире, а во фраке. Может быть, это с моей стороны не очень было и учтиво, но я глядел на Лафоншу как на немку простую, надзирательницу института, и не считал себя отнюдь в обязанности равнять ее с теми, к кому служба, леты и степень чинов заставляли меня вытягиваться во всю форму. Говоря здесь о сей немецкой госпоже, не могу оставить без замечания, что пред самым венчанием жена моя просила великую княгиню, чтоб ее пригласили к свадьбе, и с таким усилием этого добивалась, что великая княгиня, из уважения к ее настояниям, приказала Пушкину уверить ее, что за ней точно посылали экипаж. (Хотя, в самой вещи, madame La Font не могла быть приглашена наряду со всеми в такое торжественное и публичное собранье ко двору.) Жена, в чаянии, что она была звана, пеняла, для чего не пожаловала, а старушка, приняв это за насмешку, отнесла к непочтению с стороны жены моей, что ее не пригласили. Все эти недоразумении произвели между ими горячий разговор, в котором победа осталась за г-жой La Font, потому что жена моя вышла от нее расплакана, как будто питомка, вышедшая из класса с наказанием за худой урок. Мне не хотелось ничем сторонним дополнить простое описание наших свадебных пиров, но я не мог оставить без особого внимания в воспоминаниях о сем времени такой минуты, в которую жена моя, вышедши замуж, первые уронила слезы. Они меня так растрогали, что я имел нужду в большой воздержности, чтоб не отмстить этой немочке огорчение, нанесенное жене моей, которая с удивительной робостию снесла первые ее выговоры, почитая себя очень несчастною тем, что прогневала г-жу Лафон. О монастырках в публике шутка была в моде, что они в Бецкого и в Лафоншу верят, как в Евангелие.

После несносного ее обеда я ознакомился со всеми надзирательницами монастыря. Жена меня водила рекомендовать ко всем к ним; радость ее была неописанна. Сколько восклицаний, поцалуев! Точно как бы из чужих краев она опять увидела себя на родине. Молодые воспитанницы глядели на меня исподлобья, как на чудо, и кричали в несколько голосов: «Ай, Смирка! (Уменьшительное название Смирной, которым, по товариществу с ней, они ее потчевали.) Avec un homme!*» Это им казалось уголовною бедою и всем ужаснейшим в свете. Евгения румянилась от застенчивости поминутно и не смела даже взглянуть на меня. Тут я виделся с ее сестрой родной Надеждой, которая после нее взята в этот же монастырь для воспитания на казенный кошт. Обегавши все закоулки и каморки отечественные моей жены, не без слез я ее вывез оттуда. О! Какой сильный владыка над сердцем нашим привычка! Из Смольного приехали мы на званый бал к князю Василию Васильевичу Долгорукову, который он, придравшись к нашей свадьбе, давал под сим предлогом для того, чтоб потешить прекрасную свою жену, даму весьма рассеянную[10]. Этим балом мы, однако, не удовольствовались. Евгения моя любила попрыгать, и я, желая ее тешить, как ребенка, поехал от Долгорукова после ужина, следовательно, по-тогдашнему, заполночь, еще на аглинский бал[11]. Эти аглинские балы давались по середам. Сегодняшний был очень люден, да и последний в рассуждение масленицы. Тут мы протолклись почти до свету. Жене все это было в диковинку. Она еще в первый раз имела возможность быть везде, где хотела, и располагать сама собою.

4 февраля. Обедали мы дома и угощали нескольких надзирательниц Смольного монастыря и г-жу Бенкендорф с мужем. Жена связана была искренним дружеством с одной монастыркой, девицей Вилламовой[12]. Она также у нас обедала и часто после нас посещала. Вечер проводили мы на бале у графа Остермана, где были и их высочества, которые, при всякой встрече с нами, оказывать изволили постоянные знаки своей милости и внимания.

5 февраля. Давал нам обед граф Строганов, с такою же пышностию и в том же сообществе родных, как и барон Строганов. Назавтра нашей свадьбы ввечеру были на бале на Каменном острову, где великий князь изволил пригласить нас на завтра в катанье. Так как жена моя, оставя двор, не могла по мне без особого дозволения пользоваться прежним правом приезжать ко двору на маленькие съезды, то я в этот вечер сам

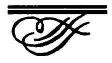
* С мужчиной! (фр.).

собой, без ходатая, просил великого князя о сем дозволении, и он подтвердил жене моей полное право остаться на той же ноге, как и прежде, в отношениях к их двору и сохранить все те входы, какими она пользовалась до замужества.

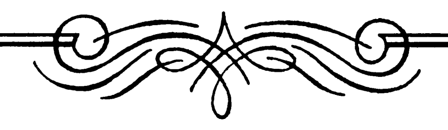
6 февраля. Мы явились с утра на половину их высочеств для катанья. Я выше описал, каким образом происходили сии увеселения. В этот раз я заимствовал сани у дяди барона Строганова, которому чин давал право ездить в них с вершниками[13]. На Каменном острову после катанья был обед, тотчас за ним бал и, наконец, ввечеру французский спектакль придворной труппы. Великий князь любил сам танцовать и часто так, как и в этот день, целый контреданец пропрыгал с моей женою. После театра все разъехались, и мы ужинали дома одни.

7 февраля, воскресенье и последний день масленицы, званы мы были на обед к Ивану Ивановичу Бецкому, но не могли исполнить сей обязанности, потому что у жены разболелись зубы. Старик почтенный возобновил зов свой в Великий пост. К вечеру, однако, Евгенье стало лучше, и мы поехали к Василию Васильевичу Долгорукову, у которого давали благородный спектакль. По окончании его мы, не ужинавши тут, поскакали в маскарад и там кончили масленицу вместе с нашими свадебными пиршествами.

Таким образом прошла блистательнейшая неделя в моей жизни, как краткий миг. Из беспрестанного рассеяния вступили мы в жизнь домашнюю и начали ознакомливаться с новыми нашими занятиями и должностьми. Но сие принадлежит уже к третьей эпохе моей Истории, а здесь оканчивается вторая.



6 Зак. № 3535



ЧАСТЬ III

ОТ ЖЕНИТЬБЫ МОЕЙ ДО НАЧАТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Продолжение 1787 года

После такого шума и рассеяния праздничного великопостная тишина успокоила наши чувства, мы стали приходить в себя и одумывать помаленьку наше новое положение. Все для нас было дико в новоустроенном хозяйстве, ни я, ни жена не умели ни за что приняться. По молодости лет наших мы не умели еще рассуждать об отношениях света. Нам казалось, что расположение людей, оказанное во время свадебных пиршеств, всегда будет и должно быть одинаково противу нас. Тут, напротив, мы увидели, что вся неделя прошедшая была как пришитый лоскут в нашей жизни, который скоро оторвался и не составлял уже ее существенности. Весь шум был для масленицы и от нее; мы с нашей свадьбой составили только одно лишнее звено в этой кратковременной цепи удовольствий. Каждый тормошился, ехал на бал, катался в санях не из того, чтоб кому-нибудь сделать только угодное или принять участие в друге, разделить чувство приязни, напротив, всякий поспешал на праздники из собственного своего удовольствия, без внимания к тому, кто для кого и на что давал праздники. Кончились забавы, кончилось и наружное участие; об нас забыли точно так, как о горах масленичных, и мы остались одни между собой.

Быть любовником и супругом суть две вещи разные. Любовник ни о чем не заботится, не хлопочет: оделся, сел в карету, поскакал к любезной и целует у нее руки поминутно. Сегодня, завтра и всякий день то же. Он в вечном очаровании. Женщина также, с своей стороны, употребя все искусство возможное в своем убранстве, ждет милого под окошком, бросается к нему навстречу, обнимает его, и по целым суткам сидя друг про-

тив дружки, не видят, как часы летят. Прекрасная картина! Но муж и жена уже не волочутся между собой. Они начинают круг нового общежития, являются обязанности взаимные; два нрава, сошедшиеся жить вместе с разных сторон и не всегда будучи одинаковы (чего и быть не может в природе от беспрестанного трения разных свычек, разных свойств, разных мыслей), скоро требуют взаимного снисхождения. В людях молодых, горячих, никто первый его оказать не хочет, всякий на первых порах старается удержать свое право и преобладать над другим. Ни один не уступает, чтоб не лишиться своего преимущества, и отсюда часто самые страстные любовники очень скоро после венца начинают шуметь между собою и спорить. Между нами до этого еще не доходило, однако мы уже примечали, что без того не обойдется. Жена была молода, невинна и крайне нова в свете. Я был ревнив, горяч, пылок. Жена горда — я не меньше. Жена неуступчива, нетерпелива — я властолюбив и скор. Нетрудно отгадать, что надобно было с обеих сторон много употребить работы, дабы уровнять такие негладкости в наших характерах и приспособить их не только ужиться по страдательной одной необходимости, но еще и открыть новый род удовольствия в таком тесном союзе от благоразумного вовремя снисхождения и кротости. Коротко сказать, мы друг друга воспитывали снова, образовали и готовились постепенно жить вместе если не всякий день очень тихо, по крайней мере без тех волнений ужасных, кои союз супружеский превращают иногда из цветочного венка в чугунные цепи.

Беспокойства недостатка еще нас не тревожили. Дом был наполнен всем. Родные нас дарили вещами, дядя снабдил деньгами. На первый случай всего было довольно. Бедность нажидала нас впереди, а теперь еще мы ее не страшились и повели род жизни несоразмерный даже с нашим состоянием. Но это не долго так шло и не могло чувствительно расстроить нашего кармана.

Надлежало, отдохнувши от первых восторгов, отправиться в Москву и там ознакомить жену мою с моим домом, а самому рекомендоваться ее родственникам на дороге. Стали мы помаленьку собираться. Я получил отпуск до июля и располагал предпринять сие путешествие последним путем.

Между тем, спустя первую неделю поста, мы снова начали являться к меньшому двору и каждую неделю раза по три там ужинали. Их высочества всегда одинаково с нами изволили обходиться. Один раз между прочим изволил великий князь мне в шутках сказать: «Непременно надо,

чтоб жена твоя родила в ноябре сына, и я его крестить буду». Приказание я исполнил в точности, и в феврале еще жена моя почувствовала уже признаки беременности.

Пока мы собирались ненадолго в Москву, их высочества заготовляли себе забавы к лету, и снова стали у двора их помышлять о театрах. Иностранец, о котором говорено выше, написал еще большую оперу. Он выбрал предмет из истории Дон Карлоса[1]. Костюмы и вкус представления заимствовал с испанского. Надобно было ее прочесть и разобрать роли; всю нашу труппу свезли на Каменный остров. Там их высочества, откушавши с двенадцатью только человеками из труппы их, в числе коих был и я с женой, приказали автору прочесть свое сочинение в кабинете великого князя. После обеда пиеса прочтена, роли разобраны. Первая дана жене моей, Дон Карлосова отца назначено играть мне, и, условясь показать ее в июне в Гатчине, мы разъехались. Тот же Бортнянский должен был сочинить музыку. В марте мы откланялись их высочествам и в розвальнях покатили в Москву.

На дороге остановились в Торжке. Тут служил соляным приставом родной и старший брат жены моей Савва Сергеевич. Надобно было с ним ознакомиться. Жена моя не знала его в лицо, я также. Мудрено ли, когда она четырех лет взята ко двору из родительской пустыни? Мы все между собой в семействе ее сходились по чужим словам и догадкам, точно как отыскивают проселочные пути к разным предметам от большой дороги. В Торжке мы прогостили сутки с большою скукой, потому что после петербургского рода жизни Торжок есть то же, что темная ночь после хорошего ясного дня. Шурин и жена его сопровождали нас к теще в деревню. Старушка нас ожидала с хлебом и солью у порога, благословила образом, подарила нас серебряным подносом и разные отпустила нам приговорки, которые я очень мало понимал, а жена еще меньше. Навык деревенский нам вовсе был неизвестен, но всякий живет по тому обычаю, в каком вырос и состарелся. Какое страшное расстояние между чертогов царских и соломенных крыш деревенских жителей! Жена моя матери своей почти не знала, я ее видел в первый раз, и, следовательно, все наши отношении к ней основаны были не на чувствах сердечных, а на приличии нравственном. Нас во всяком поступке у нее и с ней руководствовали не побуждении природные, а правила благонравия, натолкованные смолоду, и могло ли это быть иначе? Любовь есть чувство свободное, оно рождается не по причине какой-либо, но сама собой и неожиданно, укрепляется свычкою. Здесь дочь увидела мать почти в

первый раз от роду, не знав ее прежде; она с ней не жила, не свыкалась. Воспитание ей казало расстояние, отделяющее ее от матери и по чувствам, и по правилам, и по характеру. Все, что могла жена сделать, состояло в покорности ее воле и неограниченном почтении. Поступки ее всегда с этим правилом согласовались. Я, с моей стороны, тем более оказывал ей уважения, чем отдаленнее видел точку ее в мире от нашей. Оба мы старались не давать ей заметить, сколько мы были поражены страшною разностию ее положения со всеми известными нам участьми городских жителей, да и подлинно, какая у нее представилась нам противуположная картина с теми местами, из которых мы прилетели в ее объятии! Здесь не лишним считаю бросить несколько красок на изображение природного семейства жены моей. Не буду льстить, не буду слишком и чернить моего рисунка.

Мать жены моей была женщина еще не очень старая, лет за пятьдесят. Барыня умная от природы, но, не получив никакого ни воспитания, ни учения, она погружена была в крайнее невежество до того, что не умела грамоте (сей недостаток оказывался и у многих старинных людей, кои в отдаленных годах провели отроческие свои возрасты) и не знала, как различать на часах меру времени; одевалась по-дворянски, то есть ходила в платке и большом салопе без всякого иного убранства. Семейство ее состояло из четырех сынов и двух дочерей. Большой сын был капитаном во флоте и жил безвыездно на своем корабле; другой служил в Торжке и, будучи к ней ближе прочих, ограждал ее деревню и лицо от всяких посторонних обид; третий учился в Кадетском Морском корпусе, а четвертый шатался еще при ней, но был уже записан в Измайловский полк унтер-офицером. Из двух сестер одна за мной, другая в Смольном. Вот вся ее семья. Она жила одна в своем именьи, которое состояло из семнадцати душ и называлось Подзолово. Губернский город от нее был в 25 верстах, но она в него не езжала. Домик был у нее изрядный, небольшой, но довольно опрятный. Иногда она предпринимала путь и в Петербург, чтоб собрать пособий к ее содержанию. Салтыковы ее знали, их высочества, по дочери ее, были к ней милостивы. Тут и там она явится, бывало, по одному разу. Салтыковы примут, посадят и накормят — да и все тут. А их высочества всегда жаловали ей денежное награждение, с которым она, побывавши в Смольном и мельком посмотря на дочерей своих, возвращалась домой в свое Подзолово, где на два или три года опять закупорится. Подобные свидании не могли сблизить ее с дочерьми сердечными чувствами. Мораль одна и закон Божий крепили сей союз природы.

При всем недостатке ее, она имела врожденную гордость и не хотела себя унизить, показав откровенно все свое убожество пред нами, и для того она с некоторым излишеством приготовилась угостить нас. Но все, что б она ни делала, не могло выдержать сравнения с самым последним и беднейшим домом в тех местах, откуда нас судьба к ней бросила. При каждом ее движении жена стыдилась и краснела. Разговор ее был смышлен и даже нравоучителен, но еще не для нас. Мы оба так были молоди и так привыкли к одним пустоцветам общественной беседы, что ни одно деревенское дельное слово не могло подействовать на наше размышление.

Довольно было бы для всех нас и одного этого семейного соединения, чтоб дни в два, соскучась взаимно, образоваться разлуке и найти в ней облегчение, но теще хотелось еще и похвастаться перед соседями тем, что дочь ее, по милости царской, в бриллиантах и жена князя Долгорукова и что она уже не такая-то сиротка в околотке своем. Для этого она рассудила дать в деревне обед и созвать кучу гостей. Боже мой! Кого тут не было? Наехали уездные судьи, заседатели, стряпчие и всякий сброд, дрожжи, так сказать, сословия благородного. Воображал ли я тогда, что может быть и мне судьбой назначено провести большую часть жизни моей с подобными оригиналами? Я еще не мог тогда ценить их характеров по званиям каждого, и бросалось мне в глаза преимущественно их обращение с самой смешной его стороны. День пиршества назначен. Стали съезжаться со всех перекрестков гости и в телегах, и в линеечках, и в старинных колымагах. Что за супруги! что за сожительницы! Благопристойность, однако, требовала, чтоб мы делили с тещей труды угощения. С утра начали есть, называя стол со всякой всячиной закуской; потом пришел обед, опять все сели кушать. Днем французская водка не сходила со стола, и самовар кипел беспрестанно. Иных надобно было уже оставить и на ночь, потому что ни ноги, ни руки не действовали. Наповал по всем комнатам ложились гости спать, и целые сутки торжественная пируха продолжалась. Не станем говорить ни о столе, ни о услуге, еще менее о беседе гостей и обращении их. Увы! Все соответствовало предыдущему. Нам казалось, что мы перенесены в отдаленнейшие столетии нашего мира. Тяжело было и жене, и мне выдержать такое гостеприимство, но надобно было покориться обрядам: что город, то норов, что село, то обычай. Чем снисходительнее мы на все это смотрели, тем теща была довольнее нами и в полном смысле счастлива. Ее удовольствие заменяло для нас все прочие нестерпимые недостатки. Итак, проживши у нее дни три, которые нам показались годом, и ознакомясь с

житьем российских помещиков, кои не выезжают из деревень своих никуда, опрометью поскакали в Москву. Там ожидали нас совсем другие виды, другие отношении.

Остановимся здесь и вздохнем. Правда, что бедность не порок. Все философы это проповедуют, но, ах, как ужасно чувство ее! Оно препятствует нашему образованию, оно отнимает способы воспитаться и получить просвещение. Бедный должен часто весь свой век быть невежей потому только, что он беден. От невежества постыдные склонности, пороки, всякий скаредный навык; итак, если я с мудрецами согласен, что убожество не порок, пусть они согласятся со мной, что последствии бедности ставят ее в заглавии жесточайших моральных бед.

Приехавши в Москву, мы нашли в родительском моем доме полное семейное удовольствие. Жена моя принята была всеми наилучшим образом. Ласки отца и матери моих к ней были чрезмерны, дружба и приязнь сестер моих совершенно искренни. При въезде нашем в дом, нас благословили батюшка с матушкой образом. Батюшка изволил отвести нам для жительства собственные свои покои, стесня себя самого в двух комнатах. Не было внимания, которого бы не оказали в доме моем Евгенье. Она час от часу становилась милее каждому лицу в нашем семействе. Соблюдая установлении обычая, она всех моих домашних дарила разными вещицами, а мои равномерно ее отдаривали. Это значило перекладывать вещи из кармана в другой же, и оба были свои.

В летнее время, обыкновенно, столица пуста. Все разъезжаются по деревням, и жена моя забавами города не имела случая пользоваться, но я успел ее представить в лучшие и знаменитейшие домы, как то: к графу Панину, Еропкину, графу Шереметеву, князю Долгорукову, князю Куракину и к прочим, и везде ее принимали с особенною благосклонностию. Родственники обращались с ней с любовию, посторонние с уважением; всем она полюбилась качествами своими, потому что была мила, скромна, вежлива, привлекательна, наполнена прелестей, ума светского и блистательного, имела хорошее сердце, благородные чувства, дух возвышенный и все почти даровании природы, какие нужны ее полу для очарования нашего, словом, все ознакомившиеся с ней начинали снисходительно извинять меня в том, что я, не испугавшись бедности, решился вверить счастие свое такому неоцененному человеку.

К несчастию, Москва не полюбилась Евгении. Род жизни ее, обыкновении, большой круг родства и отсюда необходимое принуждение, недостаток свободы жить, как хочется, дома в полном уединении, обязан-

ность часто выезжать к отдаленным родственникам, кои сего требовали и с которыми можно было навек поссориться за визит — все это стесняло жену мою до крайности. Она, привыкнувши видеть свет на одних только значительных праздниках и потом сидеть в своей комнате за книгой, арфой своей или работой, не любила из дома в дом от праздности всякий день мыкаться так, как это обычно в Москве, и в пустых посещениях тратить время, и потому мы с ней насчет Москвы совершенно различествовали в наших чувствах.

Писавши свою Историю и для детей моих, не должен оставить в молчании и самых пустых обстоятельств, когда они имеют связь с духом времени и моим положением, того ради скажу здесь, что в Москве, городе, наполненном, как и все ему подобные, разного пустословия, ложных догадок и заключений несправедливых, многие подозревали, будто Евгения есть незаконная дочь Павлова, иные считали ее его любовницей. То и другое не имело никакого благоразумного основания. Никто лучше ручаться не может в ошибке последнего подозрения, как я, а первое не стоит даже и труда, чтоб стараться доказывать суетность его. К несчастию, в самом семействе моем сии заблуждении имели сначала некоторую силу, и ту доверенность, ту ласку, какою пользовалась жена моя в первом времени своего замужества, едва не следует ли отнести или к уважению, от первой догадки происходящему, или к боязни от последней. Время показало, сколь вздорны были сии внушении, а свойства душевные Евгении укоренили потом в ближних наших все те благоволительные к ней расположении, каких удостоена была с первого шага в дом, может быть, по одним только сим отношениям. Честолюбию свойственно питать столь сладкие обманы. Почести часто обольщают нас, несмотря на мутный источник, откуда они проистекают, но хвала Богу, не осудившему меня возвышаться в мире путями срамоты и бесчестия!

Скоро протекли дни нашего свидания. Надобно было помышлять и об отъезде паки в Питер. Отпуская нас, батюшка сожалел и о разлуке с нами, и о том, что не мог многим усилить того оклада, на котором я жил, будучи холостым, однако изволил прибавить на содержание наше к прежним 1200 рублям еще столько же в год до времени, придавши самое полезное наставление жить смиренно и по одежке тянуть ножки. Матушка и сестры чрезвычайно тужили о нашем отъезде, но расставаться было должно, и мы спешили воротиться на брега Невы к именинам великого князя, то есть к Петрову дню, и 13 числа июня отправились в путь, оставя весь дом в слезах, потому что жена не только родителей моих и

ближних, но даже до последнего младенца во дворне привлекла сердца всех к себе. Все ее полюбили — всем было грустно с нею прощаться.

В это самое время Екатерина, кончив славное свое путешествие в Крым, возвращалась в Москву, и ее ожидали к 28-му числу, то есть ко дню восшествия на престол, который всегда ознаменован был в России высоким торжеством. Столица готовилась встретить свою монархиню с подобающей ей честию. Везде высланы были депутации навстречу, везде строили въездные ворота с победительными трофеями, все состоянии людей суетились в Москве, подобно как пред восхождением солнца вся тварь в природе приходит вдруг в движение. Великие князья, по изволению императрицы, привезены были Салтыковым в Москву ей навстречу и ожидали прибытия ее в Коломенском дворце поблизости Москвы, но в городе не казались.

А мы посреди таких праздников и приготовлений смиренно направляли свой путь к местам диким, уединенным, где наследник престола втайне приучался некогда и сам воспримать те же почести и славу.

Замужняя сестра моя жила тогда в мужниной деревне, селе Введенском в Можайском уезде, сто верст не с большим от Москвы. Нам хотелось посетить их; это не составляло большого крюку. Мы прямо туда и отправились. Там так же нам обрадовались, как и в Москве. Познакомясь короче с зятем, мы провели несколько дней тут очень приятно, хотя погода и не способствовала летним увеселениям. Проливные дожди нас всюда сопровождали. Имение графа Ефимовского очень значительно: деревня, устроенная во всех отношениях, дом старинный, огромный, какие все большие бояра прежних веков любили строить везде.

Истощивши все резвости, нашим возрастам свойственные, ибо всем нам четырем не было ста лет, мы тут не простились еще, но вместе поехали далее. Сестра и зять хотели нам оказать всю свою приязнь и рассудили проводить нас до Твери. Сестра так же была любопытна, как и я, и кроме Москвы ничего не видала. Для нее и Тверь была в диковинку, итак, мы все вместе пустились в поход и в сутки поспели в Тверь к обеденной поре. Ехали на Волоколамск и на пространстве ста верст только вытерпели большие остановки в почтовых лошадях, коих за рабочей порой очень было трудно доставать, да и за излишние деньги против таксы. В Твери мы обедали у доброго старичка Чирикова, того самого, который некогда выгонял меня насильно от себя в полк. Тут я слегка вздохнул, вспомнив минутное мое влюбление в Алену и восторги дорожного роздыха. Отобедавши в добром и приятельском семействе, распро-

щались мы все между собою. Сестра с зятем поехали в Москву смотреть праздников, а я с женой на север. Остановясь еще на пути у тещи дни на два, мы провели все это время с ней с одной, без чинов уже, церемонии и гостей; потом, продолжая путь свой под прикрытием сильного дождя, очутились, наконец, в Петербурге 25-го числа июня и, по причине стройки в полковом нашем доме, который не был еще отделан, остановились на квартере в доме генерала На[щокина?] около Невы[2]. Дядюшка изволил его нанять и для нас приготовить заблаговременно. Новый знак его к нам внимания. Мы застали всех своих родных и ближних в городе в том же расположении к нам, как и прежде. На другой же день явились мы к их высочествам. Они изволили жить в Павловске и приняли нас с прежней милостию без малейшей перемены. У двора часто атмосфера меняется скорее, нежели в три месяца, кои мы проездили, но мы нашли лучи солнца еще в одинаком на нас отражении. В полк я мог не явиться потому, что в Москве получил отсрочку до августа, которой воспользовался по приезде в Петербург на то, чтоб устроить свои домашние дела, осмотреться и притом на свободе выучить свою ролю в приготовляемом у двора спектакле.

Наступил Петров день. Москва в восторгах носила Екатерину на руках, и вслед за ней везде толпы народа кричали «ура!» А в Павловске, среди лесов и сельских предметов, отзывались их отголоски и сообщали нам тамошнюю радость. В оба сии высокоторжественные дни, 28-го и 29-го, у великого князя даны великолепные обеденные пиры на несколько сот кувертов. Все первостатейные чины приглашены были к оным и после обедни подходили к руке их высочеств. Какая противуположная картина деревенской тишине и уединению! В самый Петров день ввечеру дан огромнейший маскарад, на который съехался весь город. Теснота и шум был превеликий. Назавтра все пришло в обыкновенное свое состояние. Умолкли воскликновении народа, и остался один лесной хозяин соловей забавлять жителей замка своим роскошным голосом. Спустя несколько времени, императрица возвратилась в свой дворец и любимое жилище Сарского Села, окончив полугодовое свое путешествие со славою и вожделенным успехом[3]. Тут ее встретили их высочества и после обыкновенных приветствий возвратились в Павловское. Петербург снова оживотворился, увидя зрак Екатерины. Все сословии толпились к ногам ее с поздравлением, и после нескольких дней восторгов обыкновенных, за истину коих, однако же, никогда, к несчастию, ручаться нельзя ни под каким скипетром, все вошли в прежнюю свою тарелку. В Петер-

бурге начались опять гульбища по садам и набережным, катаньи на островах и серенады. В Сарском Селе большие столы по воскресеньям и маленькие беседы по прочим дням, а в Павловске принялись снова за театральные увеселении.

Испанская наша опера готовилась с большим великолепием. Музыка сочинена Бортнянским еще трогательнее и лучше, нежели для прежней; новые написаны славным художником декорации; сшиты на счет двора всем актерам испанские костюмы. Представление «Дон Карлоса» стоило двору, конечно, до четырех тысяч рублей. Но жена моя уже не могла показаться на сцену. Беременность ей препятствовала сей забавой пользоваться. Всего досаднее было для нас обеих принуждение отказаться исполнить волю их высочеств. Великая княгиня с негодованием выслушала отрицание жены моей: надлежало искать другой актрисы, и роль дана г-же Шац. Она также в монастыре воспитана и собой была прекрасная женщина, дочь русского дворянина Аксакова, выдана в замужество за обер-офицера кирасирского полку его высочества, который доводился с левой стороны брат родной самой великой княгини, будучи побочным сыном ее отца[4]. Необходимость быть часто на пробах в Гатчине заставляла меня терпеть в первый раз по нескольку дней разлуки с женой, что мне было очень неприятно. И так те же забавы, кои открыли мне путь к моему благополучию сердечному, ныне становились тягостны потому, что отвлекали от Евгении, и ей никак уже нельзя было беспрестанно ездить со мной в Гатчины, куда отдаленная и худая дорога могла ей нанести чувствительный вред. Представление оперы присрочено было к сентябрю для празднования дня рождения великого князя, за несколько времени до оного. Все знатнейшие особы, несмотря на скверную дорогу и неблагоприятную погоду, мчались в Гатчины, чтоб показать хозяину замка наружные знаки своей притворной преданности и за снисхождение свое получить в награду хотя один благосклонный взгляд их высочеств.

Опера «Дон Карлос» произвела на театре особенное действие и не могла не понравиться всем: великолепие декораций, богатство костюмов, превосходная музыка, заманчивый склад интриги в опере — все пленяло и взор, и слух, и чувства зрителя. В первом действии на нас были платьи суконные с галунами, во втором шелковые с бриллиантами. Я играл самого Дон Карлосова отца, и на мне все нашиты были великого князя бриллианты, коими убирается его торжественный золотой кафтан в знаменитые придворные выходы. Мой один оклад можно было ценить тысяч в триста. Все алмазы и каменья их высочеств были выложены в тот

день на театре, и каждый актер, как выпускная кукла, показывал на себе разноцветные сокровища придворной гардеробы. На ином собраны были все жемчуги, на другом сияли изумруды, на ком аматисты, на ком бирюзы. Глаза очарованы были совершенно разностию лучей и света, от драгоценной уборки нашей отражающихся, все мы вообще очень удачно и пели, и играли. Действующими лицами были Вадковский, Чернышев, Голицын, Виолие и я; г-жа Шац, Нелидова и Говен. Два раза повторили мы это представление, и, может быть, еще больше зимою довелось его сыграть, если б политические обстоятельства не прекратили вдруг сии невинные забавы.

Бедная моя жена, с трудом уже двигаясь по комнатам, хотя и приезжала со мною в Гатчины для спектакля, но принуждена была сидеть в партере и бить в ладоши другим. Мимоходом оставлю здесь в памяти два случая, очень мелкие по себе, но означающие характер человеческий и потому заслуживающие, чтоб об них сказать нечто.

В самое жаркое время моей игры, когда я один на сцене пел очень чувствительную арию, нечаянно порвалась нитка в погоне на плече, и посыпались с меня крупные жемчуги как град. Я весь был в роле и конечно бы этого не заметил, но великая княгиня, не снимавшая глаз с своих вещей, тотчас увидела урон их и не могла воздержаться, чтоб не вскрикнуть: «Ах!» — при[в]ставши с своего места. Это меня привело в смущение, и я с трудом мог опять войтить в свой театральный характер. Слава Богу, однако, ничего не пропало. После спектакля велено было подмести театр со всякой осторожностию, и назавтра великая княгиня изволила сама рассказывать с удовольствием, изображающимся в каждой черте ее лица, что в пыли найдено всяких вещиц ценою на четыре тысячи.

Другой анекдот столько же замечательный. Как скоро мы отыграли, то, не доверяя нам бриллиантов ни на одну минуту, сам камердинер г. Кутайсов водил нас в гардероб великого князя и там поштучно снял с меня все вещи, вместе с одежей, ибо суконную отдали нам, а шелковую тут же отобрали, и первую я доныне храню между своими редкостьми. На сии два случая я не смею никаких сделать примечаний, но догадливый меня уже предупредил и понял мои мысли.

Между тем как мы забавлялись в Петербурге на театре, в доме родителей моих происходило сто раз приятнейшее явление. Бог благословил брак сестры моей. Графиня Ефимовская родила в августе 21-го числа сына, его назвали Андреем[5]. Родители мои уведомили нас о том с чувствительнейшею радостию, и я готовился скоро доставить им в своем доме

точно такую же. Все еще мы жили на квартере, дом наш не был отделан, но я в августе явился в полк на свои недельные дежурства и начал снова отправлять адъютантскую должность с той же ретивостию, как прежде, несмотря на частые отвлечения в увеселительные замки их высочеств. Дома мы вели род жизни скромный, более уединенный, редко держали свой стол, имея всегда два-три дома ближайших родных, кои требовали нашего посещения и любили с нами делить время, а паче княгиня Щербатова, с которой более всех прочих свыклась Евгения по времени. Не проходило почты, чтоб мы не переписывались с нашими московскими. Я помаленьку собирать стал библиотеку, любил читать, заниматься, жена моя также, и когда мы не развлечены были придворными этикетами, то есть обязанностию мыкаться в Гатчины или Павловское на поклон, то жизнь наша текла очень приятно и мало-помалу мы привыкли домом править.

К осени политический горизонт стал покрываться тучами, и забавы придворные прекратились. Екатерина и в самых прогулках своих скрывала высокие замыслы. Путешествие ее в Крым имело свои особые причины. Она виделась в дороге с императором австрийским Иосифом, и король польский Станислав, старый ее фаворит, приезжал к ней на поклон. Все это скрывало тайные совещании, кои, как думать должно, имели цель на Порту, потому что в конце настоящего года объявлена туркам война и публикована Манифестом. Едва успели наши войска встретиться с музульманами, как знаменитый Суворов дал им первый шах на Кинбурской Косе[6], выбил из пятнадцати ретраншементов[7] и победил совершенно. Такой славный успех при самом открытии кампании очень обрадовал государыню. У двора воскликнули торжественно: «Тебе Бога хвалим!»[8] — и колокола во всем городе возвестили жителям оного, что в свете убыло несколько тысяч русских и музульман.

Но оставим политику, забудем все на минуту, кроме моей хижины, в которой Бог явил неоцененный залог милости своей к нам и щедрот. 21 ноября, в воскресный день, жена моя родила сына и я сделался отцом. Новые чувства возродились в душе моей. Как изъяснить восторги мои в той мере, в какой они обладали мною в ту вожделенную минуту! Здесь малейшая подробность занимательна для меня, и я не пропущу ничего в моем рассказе. Незадолго перед сим дом наш полковой отстроился и, по милости дядюшки, мы в него переехали на житье. Расположение было очень покойно. Наверху, в антресолях, три комнаты приготовлены для будущего младенца. Тетушка графиня Скавронская, бывшая уже тогда в Петербурге и оказавшая нам очень много ласки, прислала завременно из

ближайшего своего села Славянки хорошую кормилицу. По ее же ходатайству мы воспользовались прекраснейшей нянькою, и по самому странному случаю. На все бывают счастливые минуты! Немка лет пятидесяти, одинокая, жила в Смольном монастыре при какой-то неважной должности, ее звали г-жой Варч. Получив чувствительные неудовольствии, она принуждена была оставить это место. В самом свежем ее негодовании узнала об ней графиня Скавронская и уведомила нас. Жена очень хорошо знала эту немку; тотчас, не теряя времени, согласились мы с нею в условиях и за семьдесят рублей в год приняли ее к себе в дом. Тщетно уже ее опять подзывали в монастырь, она приросла к нашему дому и уже не хотела с нами расстаться. Жить у Евгении казалось ей и счастием, и довольством. За две недели пред родами жениными их высочества изволили прислать к нам полное приданое ребенку. Оно состояло в кроватке, белье, нарядах и во всем нужном для младенца. Все было даже роскошно: платьецо крестильное глазетовое, пеленки с кружевами. Итак, все было готово, оставалось жене родить, и оба мы с трепетом ожидали этой решительной минуты. Часто (будучи еще оба ребята) мы смотрели на детскую кровать и спорили между собой, кого она тут положит, мальчика или девочку. Странно, что я, вопреки обыкновенным чувствам всех почти родителей, желал иметь дочь, а не сына; жене хотелось противного, и мы, над пустой кроватью стоя, задоримся, бывало, до того, что добрая мадам Варч закричит на нас и выгонит вон из своей комнаты. Беременность женина не препятствовала, однако, ей делать движенье. Она не могла выносить больших нарядов, но запросто и к коротким до самого последнего дня выезжала, и мы мало сидели дома.

19-го числа ноября мы были на именинах у Арбен<ева> в Измайловском полку, и там, по случаю именин его, был домашний бал между коротких знакомых. Жена высидела до двух часов ночи и, почувствовав себя нехорошо, уехала домой. Оба мы не знали, чем предваряются роды, и приняли это за следствие усталости одной. Назавтра заехал к нам дядя поутру и застал жену за арфой в утреннем покойном платье. У нас были даже гости, молодые люди, мои однополчане, и мы внимали с удовольствием звукам очаровательной музыки, но дядя мой заметил из цвета лица Евгении, из ее беспокойств при легеньких схватках, что дело близко к развязке. Тотчас разогнал всю нашу компанию, велел у жены отобрать арфу и послал за бабкой. Та, осмотрев ее, осталась у нас и ночевала. Муки настоящие начались с полдень и продолжались до ранних обеден. 21-го числа жена выдержала их чрез двадцать семь часов и с большим

терпением выносила сии новые изнеможении физики. Ночь всю мы провели на ногах. Я все это время сжат был испугом и не мог порядочно дышать. Бабка хотела меня в последние минуты удалить, чтоб свободнее делать свое дело, и, уверив меня, что я успею сходить к майору с рапортом, выжила меня благопристойно из дому.

21-го числа, как известно, день нашего полкового праздника. Я был дежурный адъютант. Долг службы требовал, чтоб я ранее всех явился к майору с рапортом и, положась на бабушкины слова, побежал отправлять свою должность, как вдруг пришли мне сказать, что жена родила сына. В беспамятстве от радости кинулся я домой, облобызал жену, ребенка и пролил потоки чувствительнейших слез пред Богом. Минута рождения сопровождаема была благополучнейшими последствиями. Ребенку дано имя Павел. Жене нужен был отдых и сон; она после первых волнений радости успокоилась и скоро заснула, а я тем временем поскакал сообщать свои восторги всему, что ни попадалось мне навстречу.

В ту же минуту отправился я к дяде, который принял мое уведомление с живейшей радостию и разделил мои восхитительные слезы, потому что уже он очень был привязан к жене моей, да и кто ее не любил? От Строганова явился я во дворец, велел доложить о себе великому князю и тотчас допущен к его высочеству. Он пожаловал мне руку с чувством участия искреннего, узнал о родинах жены моей, расспрашивал о ее состоянии и назначил сам крестить ребенка 1-го декабря, но не скоро согласиться изволил дать свое имя моему сыну. Сперва советовал мне назвать его Михайлом, потом именем ее отца, Сергеем, наконец Евгением, примолвя: «C'est encore un nom que j'estime beaucoup»*. Но сколько он ни спорил, я убедил его назвать ребенка моего Павлом, — и с тем от него вышел.

Все утро прошло в церемониях придворных. По случаю нашего праздника весь полк был у обедни во дворце. После обедни государыня всех нас жаловать изволила к руке, потом дан был по обычаю всему полку большой парадный обеденный стол с огромной музыкой, за которым и я имел счастие сидеть в своем месте. Вспомним здесь, сколько я тужил в 1782 годе, что болезнь моя помешала мне этой честью воспользоваться. С тех пор еще не было при дворе подобного стола для нашего полку, и я очень рад был, что удалось мне пообедать за церемониальным полковым столом с Екатериной. После обеда поднесли нам по чашке кофе и отпустили по домам.

---

* Это еще одно имя, которое я очень почитаю (фр.).

Я нашел жену посвежее, сон поправил ее силы. Мы поминутно спрашивали к себе Павла и хотели его тормошить, а мамушка не давала. Вот с новой радостию новая и печаль. Отделавшись от дневных сует полковых, я отправил с нарочным к батюшке известительное письмо о рождении ему внука. Ближайшие наши родные все в тот же день приехали посетить жену, и мы в доме своем увидели кучу золота. Дядюшка привез родильнице двадцать империалов[9], тетка графиня Скавронская золотую медаль в сто рублей; прочие родственники и знатные дамы, кои из уважения к меньшому двору посетить рассудили их воспитанницу, в течение первых девяти дней и после навезли нам червонных до ста. Мы так разбогатели, что всякую домашнюю покупку платили золотом. Нарочный мой скоро воротился из Москвы и привез мне при письмах, наполненных живейшего восхищения, от батюшки с матушкой богатый образ в благословение новорожденному, сопровождаемый двадцатью империалами родильнице и двумя кружками старинными. Он же от тещи моей по пути захватил также грамотку с червонцем. Во все девять дней, кои прошли до крестин, их высочества изволили присылать ежедневно лакея придворного наведываться о состоянии жены моей.

Декабря 1-го числа, в среду, происходили крестины. Ребенок привезен во дворец теткой моей родной баронессой Натальей Михайловной Строгановой. Она введена прямо в маленькую придворную церковь. Там великий князь принял его от купели и сдал баронессе, назвав ее своей кумой, а потом я, ожидая в ближней комнате его высочество, имел счастие благодарить его и допущен был к руке. В тот же день великая княгиня изволила прислать на крест жене моей бриллиантовые две астры с аматистами в семьсот рублей, кои привозил к нам казначей великого князя г. Nicolay. По всем сим наружным знакам внимания меньшого двора можно ли было сомневаться в особенной и постоянной их милости к нам?

Бабушка своей пошлины не потеряла. Хотя теснота дома не позволяла давать пиров, однако старинный обычай выполнен. Позвали мы на крестильный обед ближайших наших родственников. Гостей было не более десяти человек, но все люди богатые, и бабка наша изрядный кошелек повезла с собою.

После сорока дней жена моя ездила во дворец благодарить их высочества за все оказанные ими к нам милости, и сим кончился столь счастливый, столь многими благостьми Создателя к нашему дому ознаменованный год, и потому достопамятнейший в жизни моей.

Кстати присоединить здесь маленький случай, который еще более ознакомит читателя с моими нравственными недостатками. Я чрезвычайно был горяч в игре и не умел равнодушно проигрывать. От этого самого я в деньги не бирал карт в руки и терпеть их не мог. Пусть посудят, до чего доходил задор мой в этой забаве! После первых дней родин жены моей, когда ей стало лучше, но все еще не сходила она с постели, вздумалось нам поиграть между собой от скуки в пикет. Положили поперек постели подушку, подали карты; она сидя на кровати, а я против нее начали играть. С первой сдачи она дала мне пик — я наморщился. Через две-три сдачи, к несчастию, приди к ней репик. Я осердился, бросил карты, взял ее за плечи и начал трясти. Она напомнила мне, что она в родах, и я от нее отстал, закаявшись играть в карты с кем бы то ни было, кроме крайней необходимости и из приличия.

1788

К новому удовольствию родителей моих, в 1-ый день генваря зять мой граф Ефимовский пожалован в прапорщики. После первой неудачи вот как это случилось. Видели, как поступил со мной Мамонов. От его протекции ожидать этого уже было нельзя. Надлежало искать других средств. Дядя барон Строганов был очень коротко и дружески знаком с майором Измайловского полку генералом Арбеневым, который полком тем правил, будучи главным его лицом в городе. В полках гвардии завелся обычай из одного в другой переводить сержантов с старшинством, дабы доставить скорее чин офицерский. Это делалось так, что полк, выпускающий от себя унтер-офицера, показывал его в таком старшинстве, чтоб он, переходя в другой полк, мог стать в списке выше всех тамошних сержантов и, следовательно, в первый доклад поступить в офицеры. Оборот несправедливый, но вошедший в привычку. Многие на это роптали, и всегда без успеха. Известно, что иногда таким образом из мзды делались переходы, и вдруг офицерами гвардии оказывались купеческие дети и фабриканты наряду с лучшими дворянами. Гвардейские полки присвоили себе разные сему подобные права злоупотреблениями жаловать офицеров и по гвардии, а паче по армии посредством выпусков из унтер-офицерских чинов. Но исчисление оных не принадлежит к моей Истории; оборотимся к зятю. Дядюшка, по связи его с Арбеневым, ходатайствовал о Ефимовском и наклонил его в нашу пользу, дело почти

было сделано, все негосияции[1] между полками кончены. Преображенский выпускал Ефимовского с старшинством, Измайловский принимал, оставалось разменяться формальными бумагами, — но кто предвидит нечаянность? В самое это время по какому-то неприятному происшествию в Измайловских казармах государыне рассудилось препоручить управление Измайловским полком Салтыкову, который, будучи младшим подполковником в Семеновском, не мог при графе Брюсе оным править. Все это происходило в последнем месяце прошедшего года. Арбенев столько был великодушен, что пожертвовал чистой приязни чувством своего негодования. Несмотря на досаду, которую перевод Салтыкова должен был дать ему почувствовать по самолюбию, он решился Салтыкова просить о утверждении начатой до него переписки с Преображенским полком. Салтыков, будучи даже до мелочи во всем политик и расчетлив, с одной стороны, дабы не огорчить отказом нового подчиненного в первых порах его начальства, с другой, чтоб показать вид благодетельного к нашему дому расположения, согласился перевод Ефимовского утвердить, и после толь многих интриг и хлопот наконец сестра моя могла наравне со всеми барынями ее лет и звания кататься по Москве четверней, не боясь квартального офицера.

Сего же года генваря 1 по докладу Семеновского полку пожалован я в капитан-поручики, но как я повышением сим обязан не старшинству одному, а особенному благоволению графа Брюса, то и надо показать причину, его побудившую к оному. Пред концом прошедшего года некто генерал-майор армейский г. Бобор<ыкин> пожалован к нам в полк в майоры. Он был дядя родной фавориту Мамонову[2]. Сей, хотя и не очень высоко ценил своего дядю, но из тщеславия выпросил ему настоящее звание. Боборыкин приехал зимою в полк из армии и вознамерился поставить его на армейскую ногу. Он был очень задорен, стар уже, но без всякого соображения, и о Петербурге не имел никакого понятия[3]. Гвардейский полк не линейный: переменить его трудно. Желая выводить разные погрешности и беспорядки, он раздражил графа Брюса, которого самолюбие требовало, чтоб он не соглашался ни в каком полковом недостатке, ибо сам всегда, управляя оным, хвастался превосходством своего полка во всех отношениях пред другими. Чем строже требовал Боборыкин чего-нибудь по полку, тем упорнее граф как начальник ему отказывал и тем связывал г. майору руки. Сверх того, сей запальчивостию своей раздражил и офицерский корпус, в котором никто его не терпел, итак, всякий старался делать Боборыкину неудовольствии, а этот в бешенстве

нападал на всех. Трудно чинить строение, в котором нет ни одного угла целого. Так и в гвардейских полках был какой-то систематический беспорядок, которым они держались, и никак не могли равняться с полевыми полками. И так сбылась с Боборыкиным пословица: «Плетью обуха не перешибешь». В этой войне междоусобной между майором и подполковником никто более не страдал, как я. Будучи адъютант, следовательно, всегда первый на глазах и у того, и у другого, я поневоле вмешиваем был во все их распри. То майор на меня негодовал за какое-нибудь неустройство, о котором, когда докладывал по должности моей подполковнику, не смея без окончательной его воли что-либо отменить старое или вводить новое, то получал от графа приказание передать какую-нибудь колкость майору. Даже иногда я принужден был ему от имени графа переносить ругательства самые низкие. Кто не увидит, что подобное положение сопровождаемо было особенно для меня большими неприятностями? Всю неделю очередного дежурства я принужден был играть роль самую низкую, к тому же подвергался часто опасности дорого заплатить за их ссору, потому что если б, как то и водилось уже иногда в просвещенном свете, вздумалось графу Брюсу, пересылая со мной из кабинета побранки, отпираться в них Боборыкину публично, то чем бы мог я оправдать себя, и как уличить вельможу в том, в чем он сам боится признаться; да и отношении мои к Мамонову еще удвоивали мои опасении. Словом, я в самых был тесных обстоятельствах. Но, к счастию моему, что в иных происходит от возвышенной морали, то в графе Брюсе было следствием упрямого его свойства. Часто Боборыкин брал приказании его, мною объявляемые, на справку, задирал его в самом дворце, и при каждом объяснении Брюс никогда не отпирался от своих слов, чем и защищал меня от личной ко мне привязки. В нем был каприз именно тем больше нападать на Боборыкина, что он был фавориту свой, и граф стыдился играть пред всеми ролю его послушника и, дабы не дать сей мысли публике, он противу всего того вооружался, что Боборыкин предлагал. При таких неблагоприятных пересылках от одного к другому, которых иногда ничем смягчить было невозможно, Боборыкин, чтоб самого меня вывести из терпения, заставлял являться к себе в четыре часа утра и требовал опять ежедневно в одиннадцать вечера. Ссора обоих начальников нашего полку была забавная комедия для городу. Двор и вся публика смеялись над тем и другим, но мне было не до шутки, и я решился просить графа о переводе меня в роту в фрунтовые поручики, чтоб не иметь так часто случая участвовать в их размолвках и не быть органом их меж-

доусобия. Я знал, что мне не достается в высший чин, что ваканции в полку нет, что я должен остаться на год еще первым, а целый год пробыть при таком строптивом майоре, каков был Боборыкин, адъютантом казалось мне мучительнейшим испытанием и физики, и морали.

У нас в полку был секретарем г. Ля<пунов>. Офицер умный, проворный, сметливый, который так умел вкрасться в доверенность и Салтыкова, и графа Брюса, что он всегда удерживал за собой тайные пружины полкового правительства, внушении его всегда венчались успехом; я с ним был приятельски знаком, и он о пользах моих в настоящем случае взялся охотно стараться. В сей крепкой надежде я просил графа уволить меня от должности адъютантской. Граф приказал подать просьбу по форме через майора и оказал мне искреннее участие в моих беспокойствах. Не без шуму и труда дошла просьба моя к Боборыкину, но надобно было ему ее подать к графу, и она пошла в ход. Между тем приближалось время докладов. Граф рассудил непременно для меня открыть ваканцию. Он нарядил одного капитан-поручика для выбора из рекрут по губерниям высокого роста людей в свой полк (право, всем гвардейским полкам присвоенное) и под предлогом тем, что этот капитан-поручик долго будет в отлучке, а при роте место его оставаться будет праздно, представил о повышении меня в капитан-поручики на сию мнимую ваканцию. Все это так скромно делалось, что я ничего о том не знал до самого нового года. Государыня всегда благосклонно утверждала доклады своих гвардейских полков, и так по милости Боборыкина и чрез его ссору с графом Брюсом я получил первый штаб-офицерский чин[4]. Нет худа без добра. Тяжело было терпеть от своенравия крутого г. майора, зато весело было нечаянно попасть в капитан-поручики и, так сказать, из слуг сделаться господином.

Турецкая война, прекративши, как выше я сказал, забавы меньшого двора, лишила нас случаев видеть их высочества столь же часто, как прежде. Отсюда началась остуда их к нам. У двора все непостоянно. Там кто чаще всех на глазах, тот и милей. Комедии, для которых мы так нужны были, прекратились, с ними и отношении наши исчезли. Видя, что мы напрасно стали бы только проживаться в Петербурге, вознамерился я отправиться на некоторое время в Москву. Граф Брюс отпустил меня по декабрь. При отъезде откланялись мы их высочествам, кои с милостивыми приветствиями с нами распрощались, и последним путем, уложа Павлушу в теплый возок, а сами севши в розвальни, направили путь свой в Москву и, посетивши тещу, доехали в родительский дом. Тут основали

мы на некоторое время свое жилище. При большом доме был особый флигель, который батюшка устроил для нас, и мы очень хорошо все разместились. Скоро по приезде нашем в Москву жена нечаянно выкинула в самой ранней поре беременности, но это не имело никакого следствия кроме того, что она тотчас потом снова понесла.

Лето есть такое время в году, в которое человек ищет воздушных рассеяний и охотно бежит из комнаты в сад, на поле, даже в самые дикие овраги, чтоб жить поминутно в природе и с одной с нею. Следуя сему побуждению натуры, и мы поехали на неделю погостить к сестре моей в село их Введенское. Я никогда еще не живал в деревне; мне хотелось испытать, как подействует на меня жизнь сельская и уединенная. Я не имел никакого понятия ни о трудах поселянина, ни о занятиях помещика. Любопытство мое удовлетворилось. Проживши несколько дней в деревне и не вытерпя целой недели, я почувствовал сильную скуку, хотя хозяева истощили все свое старание на то, чтоб нам было с ними с одними как можно веселее, словом, мы перенесли с собой в деревню город и всю его роскошь. То слушали музыку в роще отдаленной и, сидя ввечеру на широком балконе, внимали по заре отголоскам приятной флейты и гобоев, то переносились в оранжерею и наедались всяких плодов, срывая с самого дерева бергамоты, абрикосы, персики и прочее. Иногда плавали в лодке по воде, и волтор[н]ы вслед за нами, рассекая струи, раздавали в воздухе свои звонкие тоны, иногда любовались на рыбные обильные ловли, глядели на единообразные упражнении пахаря, сего сельского трудника, с любопытным вниманием. При всем том, сколько я ни пленялся по воображению картинами уединенных полей и убежищ пустынных, о коих так прекрасно нам пишут в романах, сколько, начитавшись их, я ни был настроен делить восторги энтузиазма моих знакомых авторов, как то Геснера, Вергилия и проч., признаться должен, что существенная картина природы без убранств меня не очаровала. Я увидел тогда и почувствовал на опыте, что мне нравятся сады возделанные, а не дикие земли, брошенные Творцем на поверхность мира без сторонних прикрас искусства человеческого, что я любил тут каскады, падающие с художественной скалы, а не ключ, бегущий с высокого утеса сквозь заросшую корнями промойну в мрачную ущелину. Я любил природу, но в убранстве роскошном. Нагая мне она не полюбилась. Уединение было мне противно, я чувствовал, что без людей, беседы или большого шума провести день для меня тягостно. Я видел, что еще рано мне льститься находить в тишине семейной жизни полное благополучие и что суета еще долго об-

ладать будет моим сердцем. Трудно переделать натуру! Побуждении ее и вкусы непреклонны. Можно одни умерить, когда они пылки, можно другие образовать, когда они слишком грубы, но заменить другими невозможно; тщетно о том и хлопотать. Я всегда, кажется, вне городов и в деревне буду скучен и угрюм. Правда, что иногда, но только на короткое время, уединение не только мне нравится, но даже всякий день я чувствовал с самой молодости необходимость удаляться от всех и сосредоточиваться в себе самом, но целые сутки провождать одному или с людьми все одними и теми же для меня было несносно. Дайте мне город, роскошь, толпу. Увы! Суета мирская есть моя стихия!

Жена совсем противного была со мною свойства. Она любила жизнь тихую, уединенную и предпочитала ее всем великолепным пиршествам, для нее тягостно было беспрестанно выезжать, поминутно жить в рассеянии. Любя заниматься книгами, пером, рукодельем и музыкой, она умела находить все свои отрады в самой себе. Для нее приятнее был маленький круг известных людей и беседа откровенной приязни, нежели кучи гостей и принужденный этикет общежития. Не думайте, однако, чтоб она была нелюдимка и, как многие ей подобные женщины, суровая домоседка, напротив, она охотно выезжала на праздники, на балы и любила отличаться как прелестьми своими, так и дарованиями, но не жадничала, как я, быть беспрестанно в народе, с кем и где бы то ни было. Всякий шум и неустройство ее беспокоили, для нее деревня была бы не наказание; для меня, признаюсь, деревня — темница. Не надобно под словом сим разуметь тех прекрасных и увеселительных загородных домов, в которых можно не скучнее Москвы и Петербурга круглый год прожить. Это не деревня. Они пользуются сим названием потому только, что находятся за заставами, в прочем это те же городские домы, в которые хозяин привозит с собою на несколько недель хорошей погоды все забавы и увеселении городские. Там не видишь ни черного крестьянина, у которого все суставы одеревенели от плуга или сохи, не услышишь дикого крика галок, ворон, грачей и всех этих траурных сельских жителей; там не встретишь смешанного стада робких овец с бесчинными свиньями и впереди их козла, по следам которого везде воняет; там не закоптишь глаз в густом дыму овина и в ночной прогулке не озаришься сквозь маленький кусочек зеленого стекла лучиною в огне. Все эти предметы тебя ожидают непременно в деревне, ты должен к ним приготовиться. Что за забава видеть около себя толпу себе подобных, кои мало чем различают от пасомых ими животных?

Вот с какими мыслями о деревенской жизни расстался я с сестрой и с зятем, прогостивши у них только шесть дней.

В течение сего времени нашелся один день такой, о котором я буду помнить во всю жизнь мою и с утренней зари его воссылать Богу благодарные молитвы за спасение меня от насильственной ужасной кончины. Это было 14 июня. Рассудили мы все, зять с сестрой, я с женой, прогуляться в соседней его же деревне по имени Берестово. Там речка чистая, небольшой лесок и бархатные луга сулили нам всякие романические забавы. Зять ходил с ружьем стрелять дичь, я, следуя за ним, любовался на эту охоту, а жены наши готовили нам хороший полдник. Утомившись от жару, мы присели под сень старинных дубов и все вместе, просто сказать, хлебали из чистых крестьянских чаш свежее молоко с ягодами. Пролетела мимо нас нескромная галка. Зять, досадуя, что не нашел никакой добычи, взвел курок; дробина попала в птицу, и невинная упала к ногам нашим. Еще она трепеталась, как я, не одумывая своего побуждения, бросился на нее с палкой и, по голове давши ей туза два-три, забавлялся диким воплем издыхающей твари. Порезвившись еще несколько, собрались ехать домой в село. Сестра с женой сели на дрожки, а я с зятем вздумали вскочить на крестьянскую телегу и сами править, дабы сделать наш поезд смешным и занять еще часть вечера забавою. Как неожиданно промысл готовит нам и опыты, и наказании! Куда девалась моя боязнь? Я не только править лошадью, да еще невзнузданной, я страшился верхом на самом надежном коне проехаться, я уже и в карете на лошадях неизвестных не решался путешествовать по дорогам — тут исчез страх, и я в телеге; то зять, то я погоняем клячу плетками, совершенно удостоверясь по ее тощему телу, что на ней бояться нечего. Иногда такая лошадка опаснее самой гордой и откормленной на царской конюшне. Кляча, не стерпя наших побоев, закусила повод и помчала нас во весь дух куда глаза глядят. Править уже мы ею не могли, оставалось ожидать бедствия, не имея даже возможности отгадать, какого роду оно нас постигнет. Представим местоположение. Я на него как теперь гляжу: перед нами раскинута была гора отлогая, но длинная, в правой стороне ровное место и ржиные поля, в левой руке крутой хребет горы, в подошве ее мелкая речка, но усыпанная остроконечными камушками. Лошадь нас мчала в эту пропасть, и, казалось, не было спасения. Опять промысл и всещедрое провидение! Из кустов, разросшихся по берегам речки, выбежала нечаянно собака. Лаем своим она испугала нашу клячу, та вкруте повернула к полям и мчала нас ими до тех пор, пока навезла на глыбу земли,

вывалила обеих в рожь и сама остановилась. Телега опрокинута с нами. Освободясь из-под нее, первое мое движение было взглянуть назад.

На вершине горы, с которой мы так неудачно спустились, увидел я жену с сестрой, испуганных до крайности и в отчаянных слезах. Новая трогательнейшая картина! Мы тотчас бросились к ним и насилу успокоили. Их положение было несноснее нашего. Мы от страха уже не могли сообразить около себя всей нашей опасности, и чувства наши онемели. Они, напротив, видя наше бедствие и не имея никакого случая нам помочь, страдали за нас и за себя в полной мере сердечной необыкновенной тревоги. После первых движений мы хватились осмотреть, все ли у нас кости целы, и, слава Богу, кроме нескольких контузий, ничего не оказалось. Похромали несколько дней немножко и не очень свободно руками действовали, тем все и кончилось. Воротясь в село, тотчас пошли в церковь и пролили пред Спасителем нашим источник чистейших слез благодарности.

Несчастие нас учит быть благоразумными. Опыт сей более сделал мне добра, нежели повредил. Я не мог надивиться, как решился на кляче вовсе ненадежной, вопреки сродной мне боязни, скакать во весь дух под гору, да еще и погонять ее хлыстом. Галка пришла мне на мысль и сделала на всю жизнь полезное впечатление. Зачем, думал, я так озлобился на нее? На что бить ее по голове? На что ругаться гибели слабого животного? Ах! Скольких бы мы избавились упреков совести, если б рассудок наш успевал при всяком действии рук и ног, возбуждаемом одним задором крови и темперамента, сделать нам вопрос: зачем ты это делаешь? Галка не человек, но и ту какая причина мучить! Тебе надобно блюд на стол? Застрели птицу, да не ругайся ею. Ты нуждаешься в шубе? Посади медведя на рогатину, но не тешься его стенанием. Остриги овцу, но не пали ее и не забавляйся страданием живого существа. Вот как я рассуждал, упавши с телеги, и с этой минуты вкоренилось во мне то человеколюбивое правило, что мучить ничего дышущего не должно. Убить есть необходимость, и она не составляет порока, мы не можем одними кореньями питаться, но мучить животное, терзать его, отнимать у него жизнь для одной своей забавы есть тирания выше всех прочих злодеяний, и я самому злосчастию нашей прогулки обязан за то, что она обратила мысль мою к такому благонравному правилу.

Недолго мы в Москве наслаждались тишиной и спокойствием. Политика европейская на все лучшие домы навела облако печали. Швед, сосед лукавый, воспользовавшись войной нашей с турками, захотел попробовать счастия и поворотить старинные свои области, Россиею издревле

завоеванные. Замысел безрассудный, уподобляющий его Карлу, но по обстоятельствам мог Россию потревожить. Финляндия была без крепостей и без обороны. В надежде на слабость своего соседа Екатерина никогда не держала там значительных войск. Гарнизоны стояли кое-где только, для формы. Пушки чугунные на изломанных лафетах вросли в землю, и вся Финляндия была край совсем обнаженный всякой помощи. Потемкин с армией, составленной из всех лучших полков и людей, оборонялся против музульман. Екатерина должна была по необходимости ускорить средствами защитить свои границы к северу. Уже коварный швед, напавши на них нечаянно, овладел крепостцою Нейшлот[5], как 30 числа июня государыня выпустила манифест о новой войне с Швецией, и в то же время повеление дано гвардии отрядить по 1 баталиону в поход под командою графа Пушкина, который наречен полководцем всей шведской армии. Она очень мала была на первый случай, но, по крайней мере, удобна дать отпор коварному неприятелю. Сколько можно было собрать разных команд по крепостям и малым городкам около Петербурга, все выступили в поход. Для гвардии ново было идтить драться. Со времян императрицы Анны они не видали ни пули, ни картечи. Но нужда заставила Екатерину не пожалеть и отборнейших сих телохранителей.

Не было дома в Москве, в котором бы не заплакали, узнав о сей новой заворохе. Во всяком семействе был сын, или муж, или брат в гвардии. Еще никто не выступил в поход, а уже в Москве рассказывали, кто убит, кто ранен, как обыкновенно то в ней водится. Фанфароны петербургские сами прибавляли ужасу, описывая свои страшные сборы и требуя отвсюда денег на воинские доспехи. Везде плакали, везде посылали к молодым людям деньги, и печаль, и убыток всех погрузил в мрачное состояние. Полковые наши начальники начали многих отпускных офицеров требовать к полкам и заочно наряжать их в поход. Туча еще не гремела над нашим домом, но родители мои, особливо матушка, и жена уже беспокоились на счет мой. Мне бы не досталось по очереди в поход, потому что я был младший капитан-поручик[6], но казалось стыдно в такое смутное время жить дома и ежели не забавляться, по крайней мере, ощущать всю негу спокойнейшей жизни, тогда как товарищи мои должны были стоять под ядрами и лишаться последнего дыхания. Подействовал восторг мужественный и на меня. Я запылал и предался природному энтузиазму к славе. В мои тогдашние лета редко рассуждали о том, в чем состояла настоящая. Шум и треск оружия похищали ее место, и там только, казалось, обитала слава, где можно или свой череп дать раскро-

ить, или разнести его другому во исполнение высочайшего манифеста. Видя, что меня полк не вызывает, а многие мои однополчане скачут к своим местам и по повелению, и по произволу, я посоветовался с батюшкой и открыл ему намерение мое лететь против супостата.

Опыты давно научили отца моего глядеть на вещи с рассудком и без вспыльчивости. Он радовался моему восхищению, но почитал обязанностию своей удержать безрассудный порыв моего сердца, а дабы согласить меня с собою, он посоветовал мне, не предпринимая напрасных убытков, скакавши в полк, может быть, без нужды, написать предварительно письмо к графу Брюсу, изложить в нем мою готовность идтить в поход и ждать спокойно его повеления. Так и сделано. Письмо написано, отправлено, и в конце года приложится с него копия, дабы дети мои видели, как я думал и чувствовал при такой важной эпохе в жизни моей. Граф Брюс ни слова мне не отвечал ни приватно, ни публично. Баталионы вышли в поход, но меня как младшего не удостоили чести добиваться смерти или увечья. Итак, я остался дома в своей семье доживать свой отпуск благополучно. Для самолюбия моего колко было молчание графа Брюса, которое доказывало, что он никакого внимания не обратил на мой отзыв и не уважил в молодом человеке благородного побуждения ревностного офицера, но, живучи в школе моего отца, я уже наслушался от него, что в России ни за что не хвалят, а за все бранят, и равнодушно учился принимать все подобные обиды в будущей моей жизни. Честь обязывает нас поступать так, как велят ее законы, внешние поступки не могут приносить нам стыда, а потому не должны и действовать на наше сердце. Мать моя и жена с тайным удовольствием принимали причину моего огорчения и очень были ради, что до меня еще не дошла очередь на ножи выходить с себе подобным.

Между тем война открылась со шведом со всей яростию раздраженной Екатерины. Гвардия стояла недалеко от Петербурга для прикрытия военных действий и составляла резерв. Полевые войска двинулись до границы, выгнали шведа из Нейшлота и начали поражать его слегка, но флот значительной победой прикрепил счастие к оружию российскому. Адмирал Грейг вышел в море, дал славную баталию шведским кораблям 6 июля, разбил их, прогнал с места и взял в полон самого адмирала их графа Вахтмейстера с родным его братом. Мы сами на сем сраженье потеряли один корабль. Он взорван, и экипаж его взят в плен. Между офицерами, служившими на нем, был и брат родной жены моей Федор, обучавшийся в Морском кадетском корпусе. Молодой этот человек сем-

надцати лет, по особенному благоволению великого князя, за хороший успех в науках и за выдержанный экзамен был выпущен в тот год в прошедшем марте в мичманы во флот до урочных лет, коих он только двумя месяцами не достиг, и едва успел взойтить на корабль, поприще, предопределенное ему по жребию судьбы, как уже взят в плен, лишен свободы и, не ознакомясь еще с народом русским, должен был уже приноравливаться к обычаям иноплеменным в стране, воюющей с отечеством его. Тяжкая судьба в таком нежном возрасте! Узнав о сем, жена была тронута до слез, хотя вовсе его почти не знала, но одно имя брата уже привлекало к судьбе его все ее участие.

В то же сражение лишился я и того молодого Долгорукова, с которым вместе жил в полку и о котором писано в 85-м годе. Он был свычен со мною и хороший мне приятель. Загорелось ретиво сердце! Он попросился волонтером во флот. Екатерина приказала уволить, и там пушечное ядро отправило его в вечность хвастаться подвигом своим бессмертным теням его предшественников.

Шведские пленники, два брата Вахтмейстеры, по изволению государыни привезены в Москву на житье до замирения. Столица приняла их с восторгом победы. Тщеславная Москва стала тратить свои деньги на праздники для них. Сперва их ласкали, звали повсюду, а потом начали делать им разные ругательства. Появились на их счет стишки. Желая обратить в насмешку стремление наших дам, везде гонявшихся за шведами, из которых адмирал был человек молодой еще и мужчина прекрасный, обратили острые шутки и на их собственное лицо[7]. Вольность сего рода стала доходить до неблагопристойности, и Екатерина, чтоб усмирить Москву, приказала их отправить в Калугу, откуда они вскоре отпущены были на честное слово в свою землю. Меньшой брат, адмирал, был один из любимцев королевских, и оба они старинного знатного дому. В публике видая их нечаянно, и я с ними познакомился. Адмирал казался вертопрашен, старший брат его, капитан корабля, степеннее себя вел и меньше занимал Москву. Я с ним познакомился слегка, он посетил нас раза с два, и мы от визитов его получили ту пользу, что могли переписываться через него с пленным братом жены моей. Они обещали нам писать об нем и рекомендовать его особенному покровительству тех начальств, в ведомстве коих он находился, что и исполнили, как после оказалось из событий. В память тому времени и московских дурачеств оставлю здесь один куплет из лучших стихов, которые бегали по публике, и ими кончу речь о достопримечательном пребывании в столице шведских пленников:

Солнце к западу стремится,
Тьма карет в воксал катится,
У всех слышен один тон:
Здесь ли, здесь ли, здесь ли он?

Весь настоящий год до конца наполнен был разнородными обстоятельствами, кои более питали мрачные мысли, нежели приятные. Еще при отъезде нашем из Петербурга дядя Александр Николаевич, слегка простудясь, был нездоров. Из переписки его с нами открывалось, что болезнь его усиливается, и, наконец, все признаки решительной водяной угрожали нас потерею его навсегда.

Тетка моя графиня Скавронская, соскучась в Петербурге и приняв слишком чувствительно некоторые дворские неудовольствии, снова оставила свою родину и помчалась в обожаемый ею край, в теплую Италию, откуда уже никто из нас не ожидал возврата ее.

Я, по любопытству врожденному во мне ко всякой новости, ездил в первый раз в Троицкую лавру и с крайним удовольствием осмотрел редкости и сокровища, коими обогащена сия поистине святая обитель и столь знаменитая в истории нашей подвигами великих ее отшельников Сергия, Никона и Авраамия Палицына. Ревнуя им в качествах души и разума, великий наш вития Платон, святитель московский, предавался тут глубоким своим размышлениям и созидал гроб свой средь пустынь, окружающих Сергиеву обитель[8].

Живучи снова постоянным образом в Москве, не мог я не приметить с сердечным сокрушением, что здоровье отца моего становилось день от дня слабее. Подвержен будучи припадкам геморроидальным, он выдерживал мучительные изнеможении. Доктор нашего дома, усердный и прямо искусный человек Пегело, не мог, однако, воспомоществовать ему. Он подозревал в батюшке камень, но призванный оператор удостоверился, что его нет, и от этого батюшка потерял всю доверенность к Пегело и решился для себя собственно искать другого врача. По счастию, тогда славился очень в Москве русский медик Политковский. Я с ним вместе проходил в Университете разные курсы, и мы были знакомы. Он посылан был на кошт казенный в Париж усовершенствоваться в медицине и, поживши там пять лет, воротился в свое отечество с отличными познаниями[9], хотя никто в Москве из людей нашего состояния и не мог определить настоящей цены его сведениям. Довольно, что он был в Париже, чтоб сделать его модным доктором. Я ознакомил его с отцом

моим. Тогда Политковский не разжился еще и был ни груб, ни горд. Он полюбился батюшке и начал его лечить с приметным успехом, так что он гораздо легче выносил свои болезненные припадки.

По мере как мы стареемся, успокаиваются наши чувства и сердце меньшей раздражимости подвержено. Батюшка, становясь равнодушнее ко многому и не так уже пылок, примирился в этом годе с теткою своей родной, а нашей бабкой, Верой Борисовной Лопухиной. Двадцать лет они не съезжались. Причина ссоры их произошла от надменности и лукавства тетки его. Вся правость была на стороне моего родителя. Престарелость той и болезни батюшкины сблизили их между собой, и мы приобрели в доме этой пышной старушки только новое и довольно скучное знакомство, не принесшее нам, впрочем, никакой пользы.

30 ноября скончался почти вдруг граф Петр Борисович Шереметев, богатый Лазарь древней столицы. Он готовился дать пир в самый этот день Андреевским кавалерам на позолоченном сервизе и вместо того обратился сам в злосмрадный кадавр*. Казалось невероятным, что он умер, так привыкли все почитать его по богатству полубогом. Он оставлял сыну своему знатнейшее имение в России; и мудрено ли, когда отец его, сей славный витязь, а потом и он без уважения к родству и к правам естественным обогащались чужими достояниями, никому ничего не выделяли и все оставляли за собой? Не было его богаче вельможи в государстве. При всех царях, начав с императрицы Анны, граф Шереметев был не только в милости, но даже и балован ими. Все ему сходило с рук, все ему прощалось. Все суды были им куплены, когда дерзал кто входить с ним в тяжбу. Но смерть никого не чтит. Пришла роковая минута, и очи московского Креза вечным сном смежились. С начала Истории моей видно, скольких зол дому нашему он был виною. Совершенный эгоист! Он сорил золото кучами для своих собственных забав или чтоб выказать всю свою пышность и никогда гроша не уделял на то, чтоб прославиться благотворением. Сердце в нем было бронзовое, душа — несогреваемая льдина. Он жил для суеты — и умер в чаду ее.

Отец мой, сей муж твердый и великодушный, забывая все его оскорблении, вспомнил только то, что он в доме его воспитывался, и плакал о нем, как о истинном благодетеле. Слезы его, пролитые над гробом бесчеловечного сего богача, суть лучшая укора для дяди и памятник славы для племянника. Батюшка весь долг ему отдал и предал забвению с

---

* труп (нем.).

минуты его смерти все свои досады. Похороны графа Шереметева были так великолепны, что Екатерина, узнав об оных, запретила впредь столь пышные делать приготовлении при погребении частного лица. Подлинно, его хоронили, как царя. Десять дней выставлено было тело напоказ всему городу. Разные убранства траурные одевали внутренние чертоги его дома, с беспримерным богатством отправляема была и духовная, и светская церемония; но сколько ни возжигали вокруг его фимиама, сколько ни пели надгробных гимнов, граф Шереметев, по закону естественному, еще до могилы своей на золотом катафалке уже предавался тлению, и земля из кованого гроба похищала свою добычу. Память его пиров, театров и увеселений погасла с шумом, но память дел его, несмотря на продолжительный сон смерти, в денницу вечного света предстанет с ним вместе на суд.

В самый день похорон его, то есть десятое декабря, сестра моя графиня Ефимовская родила дочь Анну, и хотя не весьма счастливо, ибо ребенок тотчас умер[10], но она выздоровела в непродолжительном времени.

Мало-помалу я привыкал к занятиям домашним и к обращению простому одной искренности. Петербург казался мне уже не так хорош, и я почти отвыкал от него, видя притом, что я в полку ни на что еще был не надобен, а без пользы проживаться для разъезда по гостям находя очень некстати с нашим умеренным состоянием, я просил отсрочки и получил новый отпуск от полку до апреля месяца. Приятно было для меня и то, что наше присутствие увеселяло родителей моих и что батюшкина ипохондрия, которую он начинал чувствовать в сильном градусе, гораздо меньше его беспокоила, когда он видел всех нас около себя и в молодости нашей напоминал себе свою собственную. Сколь ни тяжело чувствовать старость, но удовольствие жить в другом переживает нас самих. Оно до гроба нам сопутствует.

Между тем как Павлуша мой становился уже забавен и мы его тормошили, жена моя обещала товарища ему, и беременность ее требовала, чтоб я уже не отлучался от Москвы. Ничто так не правит нашего сердца, как размышление, ничто сему последнему так не способствует, как уединение. Шум городского рассеяния отвлекает разум от всего полезного. Жена по состоянию своему не могла никуда выезжать. Любя ее страстно, я не хотел с нею розно искать своих забав. Итак, удовольствие мое состояло в том, чтоб быть дома, жить с родными и заниматься пером своим, сколько становилось сил в воображении и мастерства.

С этого года я начал собирать все мои мелкие произведении в стихах, коими почти с осьмнадцатилетнего возраста занимался. Я чрезвычайно любил рифмословить. Труды мои были весьма несовершенны, но я хотел со временем приметить постепенность сил, с коими развертывается ежегодно природное дарование. Первые печатные стихи мои в Москве, кои ознакомили со мною публику, сочинены были мною на смерть Горича. Они очень далеки от хороших, но ими началось мое литературное поприще, и потому я об них здесь нарочно упоминаю. Вот что побудило меня наконец отважиться отдавать в печать свою работу.

6 декабря взят приступом Очаков. Потемкин силою многою стер сопротивников и восхитил здесь после Миниха первые лавры. Штурм этот стоил дорого, он похоронил под стенами крепости тысячи русских и неверных, восторжествовал над гордою Луною, над морозами, над самой природой, и медные лбы славяно-русские, помолясь Николаю Чудотворцу, взлезли на башни малого Стамбула (так называли турки свой Очаков по превосходной красоте его местоположения после Царяграда), овладели крепостью, городом, все вокруг его пожгли, изрубили, ограбили, в ожесточении сердца разоряли сады виноградные и насиловали укрывающихся турчанок, вместе истребляя и населяя род человеческий на земле окровавленной. Таков человек, когда он возбужден одною кровию и предается волнению страстей. На этом штурме убиты генералы князь Волконский и славный наездник казачий Горич. Первому тотчас появились стихи, о последнем все как будто забыли[11]. Мне стало досадно, что и в самом подвиге патриотической смерти льстецы полагают различие между князем и казаком, тогда как всякий последний солдат, положивший живот свой за отечество, равно с вельможей получает право на звучный отголосок похвалы. Я решился сочинить стихи в честь казаку совсем мне незнакомому и отдал их в печать. Ученая и духовная цензура их пропустили, гражданская, то есть полицейская, задержала. Для чего — не знаю; но другой причины не вижу, кроме той, что Горич был не князь. Однако, по многом споре, выпущены стихи на особых листах при газетах[12], и республика стихотворцев узнала, что в их сословие карабкается с малыми силами новый тщедушный пиит, осужденный природою только умножать число черного народа в областях Аполлона.

Переведя также в часы драгоценного моего досуга французскую комедию, которую я так часто играл, «La soirée a la mode», и переложа на наши нравы, отдал разыграть на публичный московский театр. Отважный шаг! Но я не прежде его сделал, как по выправке моего перевода

старым моим учителем и наставником г. Чеботаревым, который тогда был в звании ученого ценсора театральных сочинений. За его одобрением смело выпустил я свой перевод на театр. Играли его 29 декабря, но так неудачно, что публика почти ни одной остроты сей прекраснейшей комедии не почувствовала, да и немудрено. Актеры наши, не привыкшие обращаться в лучшем обществе подобно иностранным, не умели приняться за роли светского лица, не знали ни тону их, ни уловки, ни обхождения и так исказили все роли, что пиеса едва похожа была на свое наименование. Я, однако, доволен будучи, что перевод мой одобрен человеком ученым, нимало не досадовал, что представление его было так неудачно. К тому же не одних актеров должно винить, можно и о публике тогдашнего времени сказать, нимало не обижая ее клеветою, что вкус театральный в Москве еще не довольно был тонок, чтоб почувствовать красоту насмешек, рассыпанных в этой комедии замысловатым ее сочинителем Poinsinet. На сей счет можно бы было выдержать большое рассуждение, но диссертации о драматическом вкусе здесь не место, скажу только, чтоб привести хотя один довод к заключению моему о вкусе того времени и о границах, в коих сжаты были упражнении в словесности, что тогдашний полицеймейстер Годеин не позволил мне сего перевода выпускать в печать, несмотря на одобрение ученой ценсуры, потому только, что будто бы я обидел жителей немецкой слободы, назвавши ее именем le Fauxbourg St. Germain*, о котором сочинитель в подлиннике, вводя доктора на сцену, заставил его сказать: «Les insomnies y sont fréquentes»** или что-то подобное. Г. полицеймейстер поставил в оскорбление спокойным обывателям Немецкого рынка, что Украсов, представлявши в переводе ролю доктора, поклепал их бессонницами, и от этого только, поверьте моей чести, не напечатана пиеса. Пусть судят, как тогда московская полиция думала и ценила труды пера. Итак, мой перевод сыгран раза три, не напечатан, брошен и сгнил в моих рукописях. Туда ему и дорога. Это мне, право, ни слезки не стоило. Оставалось только пожелать для российской литературы ценсоров не столько осторожных.

Более всех этих безделок меня занимала моя История, которой я положил начало в настоящем годе, предприняв писать ее во всю жизнь мою без ослабы и со всей подробностию беспристрастной исповеди на собственный свой счет.

---

* Сен-Жерменское предместье (фр.).

** Бессонница там частый гость (фр.).

Пусть я марал таким образом бумагу и без всякой пользы для других, но с большою для меня, потому что я был занят, а тот уже много в мои лета выиграл, кто умеет и любит избегать праздности, ибо, по аксиоме древнейших мудрецов, праздность есть мать всех пороков.

Москва, отпраздновавши очаковский штурм и знаменитую победу, умножившую славу Екатерины во всех концах Европы, кончила год сей трехлетними дворянскими выборами, на которых отец мой, отслуживший три года в звании депутата, выбран в уездные предводители московской округи и, любя быть полезным своим согражданам, согласился еще посвятить им три года своей жизни.

Копия

С письма моего к графу Брюсу, о котором упомянуто выше.

«Сиятельнейший граф, милостивый государь!

Чувствуя милость вашего сиятельства, простиравшуюся ко мне во многих случаях, а наипаче ныне, как в произведении меня в новый чин, так равно и в позволении, данном мне, пробыть в отпуску по моим обстоятельствам, за долг считаю вновь изъявить вашему сиятельству наичувствительнейшую благодарность за новый знак милости вашей, оказанный в оставлении меня при доме моем в то время, как многие офицеры потребованы к своим местам; с другой же стороны, дабы не употребить во зло благоволения вашего, но наивяще сделаться оного достойным, честь имею донести вашему сиятельству, что, по всегдашней моей к службе ревности и усердию, я никакими обстоятельствами от исполнения должности моей отвлечен быть не могу, а потому, если присутствие мое при полку может быть нужно и сходственно с волею вашего сиятельства, то я себе за честь поставлю преимущественнее быть там, где долг сына отечества и верноподданного меня требует.

Удостойте, ваше сиятельство, милостивым принятием сие мое письмо, я же, готовяся исполнить все то, что вам угодно будет мне приказать, препоручаю себя во благоволение ваше и пребыть честь имею...» и прочее, как водится.

7 Зак. № 3535

1789

Правду говорит пословица: «Год на год не приходит, а который дошел, того не миновать»; но не только год, каждый день несет с собой свои заботы, труды, печали и радости. И все это происходит от непостоянства наших мыслей, наших желаний. Что делаешь сегодня с удовольствием, за то же не хочешь и приняться назавтра. К чему не обращал вчера никакого внимания, о том сегодни тужишь. Согласимся с царем Давидом, что всяк человек есть ложь[1], и все мы вообще всуе мятемся. Справедливо вещал Марк Аврелий, говоря: «Дня сего заря не есть дня вчерашнего, и заутра той же не будет». Но сколько мы о сем рассуждать ни станем, никогда не проникнем естества случаев, на нас находящих, и будем всегда жить согласно с сим вещей порядком, несмотря на всю человеческую хитрость. Положив сие примечание заглавием наступившему году, приступим к продолжению повести.

В начале генваря получил я от дяди барона Строганова унтер-офицерский паспорт для Павлуши, подписанный 29 декабря, из Конной гвардии. Я глядел на этот подарок, как на детскую игрушку. Павел мой еще сосал грудь и уже был записан в службу. Случай в наше время не новый, но для меня весьма противный потому, что он нарушал добрый порядок и мог назваться непростительною шалостию тогдашнего навыка. Но что будешь делать с женщинами? Их власть над нами полномочнее самих скиптров. Жене моей очень захотелось его записать куда-нибудь, потому что, как сказано уже в одном месте, гвардия была вместилищем всех детей дворянских, и нередко еще до родин благородной дамы знакомый кто-либо из начальников гвардейских полков с удовольствием давал ей паспорт для будущего сына ее впредь до окончания наук, в котором оставалось место для имени, и оно вносилось после родин, а в случае рождения девочки паспорт отдавался назад к уничтожению. Такие проказы были очень нередки. Я иным словом этого назвать не могу, да и что за малодушие — торопиться нахватать чинов! На что они без заслуг? Бремя самое тяжкое; но против обычая никакая философия не действует. Так и здесь, Евгения, получа сыну паспорт, восхищалась до крайности. Сшила ребенку мундир атласный с галунами, и по праздникам, когда кормилица выносила его в оном в наши покои, сердце у матери прыгало от радости.

Кто же записал Павлушу? Подивитесь: Боборыкин, тот самый, который житья мне не давал в Семеновском полку. Переведен будучи в

прошедшем годе из Семеновского в Конный полк гвардии и сделавшись старшим его начальником за отсутствием подполковника, он перестал уже на меня сердиться, и пред отъездом моим в Москву совершенно мы с ним не только помирились, но еще он так полюбил жену мою, что почти без ходатайства, сам, собственным своим побуждением ее потешил и записал Павлушу квартирмистром в свой полк.

Так что мы часто ошибаемся в людях и, не стараясь отыскивать первых причин огорчительного для нас поступка, приписываем действие совсем не той вине, от которой оно произошло. Боборыкин был со мной груб, горяч, даже злобен, это правда, но лично ли ко мне относились его чувствовании? Совсем нет! Он сердился на адъютанта своего, а не на персону, не умея в деле службы отделить лица от чиновника. Прослужа в армии до пятидесяти лет, привык он глядеть на своего или полкового адъютанта как на домашнего служителя. В полевых полках, особливо в этих должностях, в России по большей части служат люди низшего воспитания и темной породы, иногда даже происшедшие из холопства. Такой адъютант нимало не стыдится угождать своему начальнику всякой подлой прислугой. Он правит его домом, расправляется с его дворней, смотрит за конюшней, словом, вся комнатная полиция лежит на адъютанте. Боборыкин думал, что и в гвардии он от адъютанта полкового того же требовать может. Будучи человек ограниченного ума, которому казалось, что выдтить из себя и кричать во все горло есть долг военной дисциплины, он не мог найтиться в обращении со мною. Я же, руководствуясь правилами чести, никогда не смешивал повиновения с порабощением, не смел ослушаться начальника, покорялся ему безусловно в деле службы, в прочем никогда на свист ничей не бегал, и Боборыкин не мог на мне взыскать ни вины своего камердинера, ни нечистоты в комнате. Ему такое поведение мое не полюбилось. Он приписывал это гордости, не понимая, что тут ее не было нисколько, а что всякий благородный человек не иначе бы поступил, как и я. Он раздражался, и чем сильнее хотел меня переломить, тем я с большей стойкостию противился его неуместным прихотям. Вот отчего он меня терпеть не мог, пока я был адъютантом, но, вышед из этой должности и не имея уже до него дела ни так часто, ни так близко, увидел в нем скоропостижную перемену. Боборыкин меня полюбил, стал звать к себе, ездил ко мне, и мы сделались очень хорошими приятелями. Есть люди, с коими все разделишь без хлопот, кроме службы. В обществе с ними и хорошо, и весело, и свободно, но чуть лишь примутся за дело государево, как будто переродятся и волчьими зубами грызть начнут.

В феврале Бог благословил супружество мое новым ребенком. Желание мое исполнилось, и Евгения родила 18 числа дочь, которую мы в честь великой княгини назвали Марьей. Жена разрешилась ею довольно счастливо, но при самом рождении младенца появились признаки, по коим всегда надлежало опасаться слабого ее сложения. За день пред родинами своими (а это было на масленице, в самое последнее воскресенье) я и жена, мы обедали в гостях у князя Цицианова, славного хвастуна и прожоры московского. После обеда посадили ее в три. За картами она почувствовала некоторые синтомы деторождения, и тотчас поехали мы домой. В минуту явилась бабка и доктор, но поелику боли еще не начались, то они, дав наставление, разъехались. Воды слили вдруг и предварили обыкновенные муки. В ночь она их почувствовала, снова созвали бабку и доктора, и в восемь часов утра в чистый понедельник родился новый человек в мир[2]. Если б при сих минутах мы знали, какую судьбу иметь будет наш младенец, как часто бы мы и на самых счастливых родинах вместо радостных восклицаний проливали горчайшие слезы. Но, слава Богу, будущее от нас сокрыто. Сильное течение крови ослабило чрезвычайно жену мою, принуждены были обложить ее льдом, и в скором времени, милостию Божиею и искусством врачей, она встала с постели и получила прежние свои силы. Ребенок был тощ и слаб. Его крестили отец мой и княгиня Цицианова, та самая, у которой жена накануне обедала. Она по себе была побочная дочь царевича Грузинского и могла своим состоянием почитаться за богатую женщину в городе.

Батюшке не рассудилось пригласить в кумы никого из родственниц наших. В Москве их было много, но выбор пал на постороннюю даму, с которой мы, кроме приязни общежития, никакой связи в прочем не имели. Она обходилась с нами лучше многих наших ближних, беспрестанно почти нас угощала, тем заслуживала особенное наше внимание, да и едва не в ее доме родился тот ребенок, которого она была матерью крестной. Кому же принадлежало более сие звание, как не ей? Часто родные только именем таковы, а по чувствам совсем сторонние люди. Какая польза насчитывать сотни дядей, теток, и двоюродных, и троюродных, когда никто из них не окажет тебе участия ни в болезни, ни в печали, ни в тесном обстоятельстве жизни? Предубеждение обвинит наш поступок, но совесть и рассудок всегда оправдают тот выбор, который основан не на одних союзах крови и родства, но на отношении чистосердечной приязни. Итак, я мало-помалу становился отцом семейства, но — ах! — это еще не делало меня ни постоянным, ни основательным. Молодость дава-

ла мне потомство, она же и заблуждении мои усиливала. О сих родинах жены моей писал я к генеральше Ливен и в ответе ее видел, что их высочества, узнав о сем, приказали родильницу поздравить. Холодный сей знак участия показывал ясно, что у двора все на минуту, по времени и случаю, прочного там нет ничего.

Между тем мы каждую почту ожидали из Питера неприятных известий. Дядя барон Строганов был очень болен. Почерк его коротеньких писем означал приближение к концу. Марта 16-го он перестал жить[3], и мы с сокрушенным сердцем получили печальное о том уведомление с нарочным. Весь дом наш искренно его оплакивал. Сколь ни приготовлены мы были к ожиданию сей потери, но при объявлении об оной матери моей, все силы душевные ей изменили, и она чрезмерно грустила. Подлинно, этот человек был ей друг и нам всем благодетель. Отдавая последний долг памяти его, обязанным себя считаю оставить здесь несколько строк насчет его характера и жизни.

Барон Строганов одарен был от природы наружностию самой привлекательной. Не доживши до пятидесяти лет, он еще был один из прекраснейших мужчин в столице. Он имел сердце чувствительное, душу возвышенную и разум основательный. Будучи богат и уже смолоду в значительных чинах, он нимало сими преимуществами не гордился. Жил хорошо, без роскоши и скупого расчета. Слабое здоровье подвергало его частым болезням, а семейное положение тяготило добрую его душу. Он женился в первой молодости своей на знаменитейшей красавице своего времени, девице Елизавете Александровне Загряж<ской>, долго его пережившей[4]. Страсть решила его выбор, но скоро, к несчастию, он в нем раскаялся. Тетка, быв с ним в Париже, занемогла и повредилась; никакие средства не могли излечить ее безумства. Оно год от году усиливалось и дошло наконец до того, что надобно было ее запирать. Никуда выезжать ей было невозможно, и столь жалкое ее положение расстроивало всю природную веселость духа барона. Он любил искренно родных своих, и, когда узнавал их недостатки, всегда готов был отвращать их. Многие пенсионы людям бедным свидетельствовали, сколько он охотно помогал ближним. Дослужась по старшинству до генерал-поручичьего чина, он всегда принадлежал к Петербургской дивизии. До войны он был не охотник, но дело всякое умел и начать, и кончить. Часто бывал обижен в знаках отличия пред своими сотоварищами и, в полковничьем чине еще получа Станиславскую ленту, принужден был носить ее же долго после пожалования в генерал-поручики, когда всякий

имел или голубую польскую, или красную российскую. Он без ропота переносил сии уничижении придворные, не хлопотал об ордене Белого Орла, который давно бы дан ему был от Польского двора, и, наконец получив ее, нимало не возгордился[5]. Когда он стоял с полком Новотроицким кирасирским в Варшаве, все его любили и по выходе оттуда в Россию благословляли его добродетельные поступки с тамошними обывателями. Ни один русский солдат, офицер, генерал не побывал в Польше без того, чтоб не вывезти оттуда кучу червонцев и страшные клятвы народа; один, можно сказать, барон Строганов, простоявши там несколько лет с конным полком, никого не раздражил, никого не обидел. По таким хоть не громким, но всегда похвальным деяниям, можно ли ему отказать в титле добродетельнейшего мужа? Он был точно таким, а в отношении ко мне, я должен признаться, что из всех моих родных никто мне столько не оказал доброхотства, как он, особливо в последние годы своей жизни. Он любил волочиться, красота его давала ему право на счастливейшие страсти, но никогда он слабости женщин не выводил наружу, и ничье имя от него не страшилось стыда публичного. Но кто без недостатков? И он имел свои пороки. Насмешливый нрав и язвительные шутки часто делали его несносным и многих, приближенных к нему, так едко оскорбляли, что самые благодеянии его теряли всю свою цену и даже обращались в тягость. В шутках своих он часто не щадил ничего святого, хотя после бурных дней своей молодости он сделался настоящим христианином и умер сорока шести лет, напутствуем всеми дарами благодати. Много способствовало к исправлению его мыслей насчет религии то, что он попал в секту мартинистов[6]. О них говорить здесь не мое дело, замечу только, что все под сим названием вельможи и простолюдины обращали на себя строгое внимание Екатерины и были ей очень не нравны. Она сама сочинила на них комедии, кои разыгрывались публично[7]. Дядя мой, однако ж, несмотря на то, упорно держался их секты и в этом случае оказал всю стойкость своего характера. Трудно решить, кстати или нет он держался ее тогда так сильно, впрочем, и мартинисты его времени совсем еще не то были, чем обнаружились после, и нет сомнения, что дядя мой вышел бы из их сословия, когда бы мог предвидеть, что при первых днях сего общества религия была одна только личина самых хитрых замыслов политических[8]. Екатерина это предвидела очень рано, но она была гений, а обыкновенным умам простительно плениться наружностию. Обхождение дяди моего с фаворитом и племянником его Мамоновым можно также назвать нравственным подвигом. Вот сокращенная биография моего дяди. Благодарность требовала от меня

сего отрывка, и я жалею, что перо мое не может стать в меру чувств моих к сему достопочтенному сроднику, с которым я иногда имел распри, но нимало не колеблюсь на гробе его признаваться, что всегда в них более был виноват я, нежели он. Пусть сие признание загладит все мои пред ним проступки. Мир праху его, и свет небесный бессмертной душе! Смертью его разрушился союз наших семейств. После него остались две дочери и сын. Те вышли замуж, а тот женился[9], но с нами они сделались родня понаслышке, приятели по моде и, забыв нас, доставили нам случай предать их самих забвению.

К огорчению, которое нанесла матери моей потеря родного брата и друга искреннейшего, присоединялся еще страх скоро расстаться со мной и услышать, может быть, что я наряжен в поход, чего по обстоятельствам и ожидать было должно. Страдать в двух столь нежных отношениях несносно, и матушка плакала почти беспрестанно. Не легче было и мне. Срок отпуска моего приближался. Жена еще не совсем оправилась от родов, как уже распутица принуждала меня скакать к полку и явиться на службу. Война не позволяла прибегать к обыкновенным средствам, чтоб продолжить спокойную жизнь домашнюю. Удаляться от караулов придворных не стыдно — оставаться в отпуску во время войны бесчестно. Итак, решился я, оставя жену в Москве, ехать на север. Много стоило нам обеим расставаться, но необходимость есть Бог всего мира.

Великим постом я явился в полк. Первое попечение мое было навестить семейство покойного дяди. Состояние каждого в нем меня растрогало. Люди его, любимцы, приближенные не знали, куда после него и к кому приютиться; начали действовать опекуны, тетка сумасшедшая не могла быть ни матерью детям, ни госпожою своим слугам, и из такого богатого, веселого дома вдруг очутилась пустыня. Тяжело было мне видеть столь жалостную картину.

В казармах наших все было в суете и сборах к походу. Война с шведами от часу разгоралась сильнее. С каждого полка гвардии велено было назначить по два баталиона. Один должен был на сухом пути действовать, а другой сесть на галеры для десантов. Галерным флотом командовать назначен принц Нассау, а сухопутными войсками генерал граф Иван Петрович Салтыков. По списку я был восьмым капитан-поручиком. Офицеров этого чина было мало, а поручиков с излишком. Итак, мне как младшему доставалось на галеры, но как граф Брюс не хотел в этом походе употреблять тех офицеров, коим он доброхотствовал, то я в наряд настоящего года и не попал.

Это случилось совсем без моего искательства, а по какому-то капризу самого графа, которому не нравилась галерная экспедиция. Узнавши, что я остаюсь при полку старшим капитан-поручиком налицо, тотчас писал к моим домашним о сем распоряжении моего начальства и просил батюшку, снарядя жену в дорогу, отпустить ее ко мне по первому летнему пути. Между тем как наши баталионы готовились выступить, граф Брюс препоручил сверх четвертой роты, в которой, по откомандировании капитана ее Спир<идова> в поход, оставался я по расписанию старшим офицером, еще и осьмую роту, полковую артиллерию и школу. Занятии мои, таким образом, в полку увеличились, и я жил не праздно.

В начале мая приехали ко мне жена вместе с Павлушей, а Маша осталась в Москве. Батюшка страстно полюбил этого ребенка и пожелал ее воспитывать у себя. А мы прежним порядком основали свое житье в полковом нашем домике и, проводя баталионы в поход, почувствовали около себя большую пустоту. Не к кому было идтить, некого было звать по соседству к себе на вечеринки.

Забегу немножко вперед, чтоб упомянуть здесь о таком случае, который никогда из памяти моей не выйдет по странности своей. Солдаты наряжались на галеры со всех рот, и мне поручено было отобрать до шестидесяти человек из осьмой. Назначение мое было самое роковое: все, кого я ни внес в список, погибли. Лодку, на которой они посажены были, взорвало на воздух — ни один не спасся[10]. Итак, я был прикомандирован к этой роте на несколько, можно сказать, часов только для того, чтоб выбрать шестьдесят жертв. Пусть говорят после, что нет судьбы. Рассудок ее отвергает, но все в чувствах наших и событиях доказывает, что есть какой-то слепой случай, который миром правит и называется рок!!!

По приезде моем в Петербург Боборыкин новый оказал мне знак благосклонности своей. Он повысил моего Павлушу в чин виц-вахмистра, а мать нашила ему еще галун на атласный его синий халат.

Адъютантская должность приучила меня к зрелищу физических наказаний, а ныне я в первый раз имел случай писать гражданский приговор по военному суду. Тогда долг службы требовал, чтоб я лично отправлял полковые экзекуции. В первый раз, когда я видел, как солдата гонят сквозь строй, мне сделалось дурно, и меня вывели из фрунта. После я так пригляделся к этому, что часто езжал вдоль фрунта, когда сквозь ряды его бегал преступник, и еще серживался на солдат, кои хлестали лозами воздух, а не тело. Вот что делает механическая привычка в человеке. Ныне нового рода встретился со мною случай. Один солдат

украл образ и был судим военным судом. По наряду довелось мне быть асессором[11]. Наши суды обыкновенно были скоры и решительны. Его приговорили к кнуту, и я под сентенцией[12] приложил с прочими руку по одной слепой доверенности к старшим чинам суда, нимало не разумея сам еще ни силы законов, ни степени, в каком они должны быть прилагаемы к вине и виноватому. Я точно так сидел в суде, как ходил на караул. Мне подали толстую тетрадь. Не читая, я ее подписал, и это был почти смертный приговор мне подобному. Опыты одни приучают нас уважать напастью ближнего, но в двадцать лет какая голова еще? Какие соображении? Все машинально, все по принятому обряду и без размышления. Счастливо для судьбы человеческой, что приговоры гвардейских военных судов отсылались на ревизию к генерал-аудитору[13], который выбирался всегда из юрисконсультов опытных, и он не допускал ни ошибок, ни излишней жестокости, а без того как бы можно было положиться на наши сентенции. Все мы были люди молодые, без сведения о законах, о силе их и существе, и хотя судили беспристрастно, то есть без даров, без снисхождения к лицам, не оскверняя себя никаким поползновением к корысти — да и что взять с солдата? — при всем том, однако, сколько могли мы с самым честным расположением наделать вреда подсудимому от одного незнания! Я только один этот раз был призван к такому неприятному упражнению, — и слава Богу!

По приезде нашем мы отправили визит в Павловское, имели счастие быть благосклонно приняты у их высочеств и все лето потом провели наиприятнейшим образом, хотя и без театров. Граф Строганов, другой дядя мой и брат двоюродный матери моей, о котором упоминал я в предшествовавших годах, имел прекраснейшую дачу на малой Невке против Каменного острова и на лето перевозил туда все свое семейство. Оно состояло из одной дочери, малолетней графини, хитрой ее надзирательницы и любезной ее дочери. Сверх сих неразлучных особ у графа жили на даче многие иностранцы и благородные люди, коим достаток их не позволял с такой негой жить дома, с какой они угощались тут. Сам граф большей частию времени живал в Сарском Селе при государыне и наезжал только в свою дачу, чтоб иногда воспользоваться в ней воздухом и простым загородным обращением. Дача имела все возможные прелести: дом прекрасный, небольшой, но удобный для всякого рода сельских забав, и построен на самом берегу реки. У пристани всегда готовы были шлюпки для желающих за чем-либо съездить в город, до которого не далее было четырех верст водою. Сад большой аглинский в новейшем вку-

се. Таратайки, колясочки, линейки, верховые лошади, всего было много, и во всем довольство. Без графа, как и при нем, хороший стол, угощенье простое, но доброхотное. Общество домашних весьма любезное. Сам хозяин был из тех людей, кои по характеру любят веселить и веселиться. Он страстно любил художества и все искусства и всегда был окружен артистами. Приличии требовали от него, чтоб он иногда, в угодность Екатерине, давал ее Сарскому Селу преимущество пред своим замком, но когда приезжал к себе, наслаждался и другим доставлял разные веселости. Он имел привычный характер, неохотно расставался с теми, кои как-нибудь втерлись в дом его и стали в нем на короткую ногу. Для нас он в этот год заменил дядю барона и, отменно полюбя жену мою, предложил нам провести все лето на его даче. По нашему небогатому состоянию такое предложение было очень выгодно. Полковые должности не требовали беспрестанно моего присутствия в городе. Я испросил дозволения у графа Брюса переехать на дачу, и с женой, с Павлушей, с малым числом наших слуг мы перебрались за город. Граф отстроил недавно особый домик, очень пригожий, в котором намеревался покойный дядя делить время с двоюродным своим братом. Этот флигель назначен хозяином для нас, и мы в нем очень удобно расположились.

Здесь мы жили во всяком изобилии; уединенно, и вместе с людьми. По утрам я читал, писал стихи, жена занималась своими упражнениями. Малютка наш резвился в саду. За обед мы сходились все в общую залу. Там малолетная графиня, мадам и мамзель de la Villeauxcleres с дружелюбием и самой тонкой вежливостию обходились с нами. Днем мы гуляли, езжали по соседним садам и рощам и, напившись чаю ввечеру, в обыкновенной круговеньке резвились, играя в разные деревенские игры, иногда по Неве катались на шлюпках, а часто и в театр городской езжали в графскую ложу взглянуть на какую-нибудь отличную комедию. Словом, мы провели все лето наиприятнейшим образом. Когда нужды полковые требовали меня к моим должностям, я в несколько минут на легком боте переплывал прямо к полковому двору и, отправя свои обязанности, возвращался к моему тихому убежищу. Я не солгу, когда скажу, что не было в жизни моей лета приятнее настоящего. Чем больше граф привыкал к нам, тем сильнее оказывал нам свое доброжелательство и ласки, и мы ни от кого не имели ни малейшего неудовольствия.

Мало-помалу и сюда вкралась роскошь. От нее трудно в больших городах остеречься. Она во все заставы разливается на окрестности. Графу захотелось отворить свой сад для прогулки простому народу по воскрес-

ным дням. Сначала ходили немногие, но скоро вошли во вкус, стали приезжать и в каретах. Кучки сделались толпами. Граф радовался, что гулянья у него входят в моду, намостить велел полы в шатрах, будто для одной защиты от ненастья. Потом приводить стали туда по две, по три скрыпки, среднего состояния гуляки привыкли помаленьку в этой зале плясать, сперва по-русски, по-цыгански, а потом мастеровые немцы и французы образовали своими кружками разные светские танцы. Дошло дело до контретанцев. К ремесленникам присоединились люди всех сословий, и дамы и мужчины большого света полюбили съезжаться на графские прогулки. Евгения предложила по воскресеньям давать настоящие балы. Мысль эта хозяину понравилась; он ожидал только на это стороннего вызова. На все лето нанята наша семеновская роговая музыка, лучшая во всем городе, и оркестр скрыпачей. В зале начались балы по форме, а для народа в других местах собирались цыганки, плясуны, песенники, и обыкновенные их устроились забавы. И так воскресные дни нечувствительно обратились в великолепные праздники. Весь город стекался в сад графа Строганова. Дом и аллеи, все было наполнено народу. Нева покрывалась шлюпками и ботиками около пристани. Мы всем этим наслаждались даром, хозяину каждое воскресенье стоило до пятисот рублей, и скоро славная дача Нарышкина, в которой воскресные гулянья от самых давних пор учреждены были, уже не смела выдержать совместничества с дачею графа Строганова. Так-то провели мы все лето, без забот и в полном увеселении.

Молодость ищет забав везде и во всякое время. Воротясь в начале осени на житье в город, мы чувствовали большую разность с житьем на даче. Тамошние удовольствии нам ничего не стоили, городские, напротив, требовали издержек, кои превышали наши доходы. Состояние наше было тонко и не позволяло нам по-прежнему кидаться в самый большой свет, хотя батюшка ни в чем нам не отказывал и больше положенного готов бы был пересылать, но его достаток очень был ограничен, долги обременяли его имение, он, стесняя себя, удовлетворял нашим издержкам в той мере, в какой ставила их самая необходимость, потому что дом содержать в Петербурге уже стоило и тогда большой цены. Евгения была женщина умеренная в своих расходах. Прихотей у нее было мало, в расточительности я ее не могу упрекнуть, но сам я был мот по склонности и без всякого понятия о домостроительстве, так что не умел придумывать никакого расчета экономического. Недостаток часто вынуждал меня из осьми фраков закладывать семь в самой ничтожной цене за высокие про-

центы ростовщику для того, чтоб купить или четверть овса лошадям, или муки для людей и, оставляя на себе один кафтан, менял его на другой у того же ростовщика, когда встречалась нужда переменить одежу. Из этого маленького образчика увидят, что я испытал самые горькие приступы убожества, но, благодаря Бога, никогда не роптал и, будучи веселого нрава от природы, переносил смеючись все свои нужды.

Правда, что они еще не доходили в нынешнем годе до крайности жестокой. Малый капитал женин, состоящий в шести тысячах рублей, уменьшался постепенно. При настоятельном случае мы брали несколько денег из оного на прожиток, и ломбард скоро поквитался с нами во всей сумме. Сверх того мы продавали те из жениных вещей, кои менее ей были нужны и способствовали одной суетной роскоши. Сими деньгами мы возобновляли по временам наши силы и могли еще равняться с прочими в наружном содержании нашего дома. Только было нам и надо. Заметим, что при всех моих изворотах, сколько бы я ни нуждался, но обмануть, солгать, не заплатить казалось мне всегда таким ужасным стыдом, что я ни на какой худой поступок не смел отважиться, и кредит мой был надежнее многих достаточных моих сверстников. Главная издержка во всяком семействе, стол, нас почти не обременяла, потому что мы редко его держали и по большей части обедали у Щербатовых или у родных. Иногда принимали к себе гостей, но очень редко и для того только, чтоб не прослыть вовсе скаредами. Нас посещали люди порядочные и известные. Раз в неделю принимали мы на вечеринку Щербатовых, Молчановых, с которыми жена и я были в тесной связи приязни, Арбенева, Боборыкина, графа Строганова и несколько молодых людей наилучшего поведения, ибо мы в этом очень были разборчивы. Дом наш, хотя не имел избытков, однако привлекал многих потому, что всегда было у нас весело. Обходились мы просто, дружелюбно, искренно, и Евгенья прелестью своею умела все вокруг себя пленять. Эта женщина имела нечто очаровательное, которое заставляло давать обществу ее преимущество пред прочими особами ее пола.

Так проводили мы всю осень, стараясь общими силами о том только, чтоб менее скучать. Знаю, что многие, прочтя эту страницу, станут пожимать плечами и, укоряя меня, говорить: «Вот таково-то брать жену без состояния и подвергаться вместе с нею бедности». Упрек справедливый, но меня бедность не огорчала. Я умел переносить ее, и Бог, благодеющий мне во всех трудных переворотах жизни, дал мне силу в духе сносить убожество без гнева и досады. Я никогда не дорожил богатст-

вом. Верьте мне, милые мои дети, что оно одно составить счастия нашего не может. Мне никогда не приходило на мысль посетовать о том, что родители мои не приготовили мне широкого наследства. Воспитание, которое они мне дали, советы моего отца, нежность моей матери, общие их сердобольные поступки со мной от самой юности моей суть такие сокровища, кои я ставлю выше всякого богатства в свете, и благодарность моя переживет их и самого меня. Дай Бог, чтоб некогда и вы над прахом моим так же отозвались об нас.

Сын наш Павел был тогда зеница нашего ока и привлекал к себе все наши попечении. Мы рассудили привить ему оспу; думали о том долго, колебались и, наконец, решились поручить его находившемуся при Смольном монастыре доктору Стренгу. Он взял его на свои руки, и по случаю налагаемых для сих болезней карантинов, кои запрещали ездить ко двору шесть недель, дабы оспа или подобные детские прилипчивые болезни не пристали к великим княжнам, мы своего Павлушу отпустили с надежной его мамой и работной женщиной на квартеру к доктору, где он продержал ребенка до выздоровления его. При сем предстояло гораздо сильнее испытание нашей твердости. Ни жена, ни я не знали порядочно, была ли на ней самой оспа. Все мои справки не открыли мне ничего. У двора этого не знали, надзирательницы Смольного не помнили, а мать в деревне также о сем позабыла. Евгения не могла утерпеть, чтоб не посещать сына своего ежедневно, и подверглась бы нечаянной оспе, если на ней ее не было. Это нас обеих страшило. Она не дорожила пригожеством, но потеря ее была бы невозвратна для меня. В таком раздоре мыслей она показала опыт твердости характера своего и предложила, чтоб вместе с Павлушей привили оспу и ей. Мысль ее была правильна. Если на ней оспа была, то снова не пристанет, если она ее не имела, то прививная надежнее и спасет ее от жестокости натуральной, которой никто не избежит; итак, помолясь Богу, в один и тот же день доктор Стренг привил оспу и матери, и сыну. Жена ничего не почувствовала, и операция сделалась тщетной, тем не меньше успокоились мы насчет своей боязни и неизвестности, а на сыне оспа принялась очень благополучно и была весьма сильна. Но в самые критические дни ее ребенок занемог вдруг кровавым поносом, и в то же время стали у него резаться зубы. Столь много немощей переносить вдруг тяжело и совершенному возрасту. Каково же было двухлетнему младенцу переработать такие жестокие волнении в физике?

Это все так его свернуло, что сам доктор не обнадеживал почти в его жизни. Мы с женою доходили до крайних пределов горести, плакали,

тужили, считая, что Бог потребует от нас сей многоболезненной жертвы, и даже начинали бояться проведывать о нем, ожидая всякую минуту, что нам придут сказать о смерти нашего младенца. Но кто как Бог! Где отчаивается человек, там Его всесильная рука дарствует помощь и отраду. По благости провидения, и потом постоянными трудами доброго доктора и неоцененной нашей мамушки немки, Павлуша освобожден от опасности, стал поправляться в силах и выздоровел совершенно. Оспа с него сошла очень благополучно, и после шести недель или почти двух месяцев привезли к нам ребенка свеженького, здорового. Как описать наши восторги? Мать и я, мы с рук его не спускали и всякую минуту им любовались. Тяжко пострадали чувства наши во время его болезни. Тут мы в первый раз узнали, что такое сердце ноет.

Участь моя смолоду красна была со всех сторон, все мне благоприятствовало; нередко, что для других производило потери, то мне обращалось в выгоду. Так, например, нельзя не заметить, что обстоятельства настоящей войны, кои у многих отнимали повышение, меня, напротив, без заслуг к оному приближали. Кампания шведская в нынешнем лете ничего почти не произвела значительного на сухом пути, зато на море прославились наши войска. Принц Нассау с галерами дал знаменитые два сражения и одержал достопамятную победу над неприятелем[14]. Вторые баталионы гвардейских полков чрезвычайно отличились. Многие офицеры особенно рекомендованы и все удостоены повышения в чины. Многие, кои видели равнодушно наряд младших своих товарищей в поход трудный и необычайный, ибо, кроме опасностей сражений, не всякий привык переносить жизнь морскую, начали малодушничать и роптать, что должны были уступить старшинство младшим офицерам и стать ниже их в списках. Я же, напротив, был столько счастлив, что меня никто не обошел. Все капитан-поручики, вышедшие в тот год в поход, были меня старее, следовательно, повышение их не только не вредило моему старшинству, но еще приближало меня к первым рядам будущего производства. Счастливая игра фортуны, которая еще мне тогда покровительствовала.

Зимой все полки воротились в Петербург, и, по обыкновению столичных городов, начались везде балы и праздники. У двора их высочеств, однако, не было никакого собрания по уважению войны. Похвальное внимание к человечеству. Потомство наше, конечно, пристыдит нас, что при так называемых просвещенных наших нравах бояра русские, несмотря на скромность самого двора, давали балы и езжали на них тогда,

когда с двух сторон Россия угнетаема была войною. На Черном море теснили ее турки, на севере шведы. Не проходило недели, чтоб не поражали столицу слухи о ком-нибудь убитом или раненом. Во время морских сражений стеклы дрожали в Сарскосельском дворце от звука пушечных выстрелов, кои по морю не очень в дальном расстоянии от города шибко сотрясали твердь воздушную. Что Екатерина не робела и сохранила присутствие духа при такой опасности, это делает ей бессмертную славу. Это есть отпечаток твердого ее характера. Таков должен быть дух венценосца! Но что вельможи всю зиму плясали и утопали в забавах, к чему иному это отнести, как не к одной постыдной холодности? Приятно ли называть своим отечеством и по одному сему громкому названию прилепляться к такой стране, в которой все жители, окружающие престол, забавляются, тогда как самая лучшая и цветущая часть дворянства за спасение оставшихся домочадцев своих обагряет поля своею кровию? Где же признаки того просвещения, коим мы так хвалимся? Волтер слывет безбожником и был таков. Большая часть сочинений его наполнена зловредных толков для совести непорочной, но при настоящем случае не худо бы было последовать справедливому поучению:

Dans nos jours passagers de peines, et de misères,
Enfants du même Dieu, vivons du moins en frères
Aidons-nous l'un à l'autre à porter nos fardeaux
Nous marchons tous courbés sous le poids de nos maux*[15].

Не тщетно можно уподобить человека просвещенного нашего времени гнилушке, которая светится впотьмах. О, как наши поступки, правила, мысли несообразны еще с совершенным и полезным просвещением!!!

Зять мой граф Ефимовский, истощив снисходительность своего начальства, после трехлетнего отпуска приехал, наконец, и с сестрой моей, на житье в Петербург и начал служить в Измайловском полку. Они жили на нанятой квартере. Мы часто видались. Общество их составилось из нашего, и мы с удовольствием делили между собой зимние большие вечера. Надобно изъяснить, как мог офицер гвардии быть три года в отпуску. Это часто случалось в наших полках. Офицер попросится в от-

* В суетные дни, полные невзгод и лишений, / Мы, дети одного Бога, давайте будем жить по-братски. / Пусть каждый поможет каждому нести его ношу. / Мы бредем сгорбленные под тяжестью наших страданий (фр.).

пуск на три года или на два под предлогом отъезда в чужие краи. Государыня всегда соизволяла на подобные отпуски. Без докладу ей нельзя было отпускать офицера на полный год (хотя с отсрочками по нескольку лет продолжались отлучки), и потому о продолжительных отпусках полк доносил Государыне и всегда получал высочайшее разрешение. Между тем офицер, вместо чужих краев отправясь в Москву, жил там бессъездно и ездил в клуб и маскарад. Точно так выжил и зять мой три года сряду в Москве. Подобное позволение давалось и сержантам под тем же предлогом. Из отпущенных на такие сроки никто не терял своего старшинства. Чины шли своим порядком, и часто случалось, что сержант, уехавший в отпуск, возвращался к полку уже поручиком, а иногда и выше. Наличные офицеры не могли этим обижаться; те у них ничего не отнимали, ибо со дня отпуска они выходили из комплекта, следовательно, ни жалования, ни ваканций один у другого не перебивал. Война шведская прекратила сие злоупотребление. В докладах 1790 года повелено было всех, не явившихся к полкам, обойтить, но и тут явился подбор. Какой закон ему не подвержен! Начальники полков обходили тех, кого хотели, прочим же препоручали разные вымышленные комиссии от полку и, под видом оных выпуская бессрочные ордера, потворствовали беспорядку. Но не будем слишком строги к другим. Всякий ищет своей пользы. Припомним здесь французский стишок, обращенный к женскому полу:

Tel glose hélas! sur vos faiblesses, qui brûle de les partager*[16].

Фортуна — женщина. Это приветствие ей более всех принадлежит. Мы браним ее слепоту, когда она наносит нам огорчении, но хвалим, получая что-нибудь полезное. Фортуна, или слепой случай, есть источник всех злоупотреблений, ибо прихоти не всегда согласны с заслугами; оттого и называется случайным человек, одаренный наградами без заслуг. Счастливым в обществе почитается обыкновенно тот, кто без подвига сравнен с делателем добрым, и так всякое отличие, оказанное человеку, недостойному оного, не есть ли злоупотребление? Но когда мы сами вкушаем плоды его, то крепко зажимаем рот и молчим. Это размышление пришло мне очень кстати. Писавши его, я вижу пред собой ордер ребенку моему Павлу, по которому он не только повышен в вахмистры, но даже и поверстан в список служащих, следовательно, уже отнимать бу-

* Увы, какая сплетня! О ваших слабостях, кои сам желает разделить (фр.).

дет с нынешнего дня старшинство у таких людей, кои после его запишутся в полк, хотя бы и в двадцать лет были от роду. Г. Боборыкин, полюбя нас очень нежно, доставил нам это удовольствие в конце настоящего года. Как отец я радовался и малодушничал, но как член общества я не мог похвалить такой обидной и пустой прихоти. Но кто соглашал сердце с рассудком? Последний почти всегда в покорных слугах у первого.

Летние увеселении на даче вскружили голову любезному старичку графу Строганову, и ему захотелось поставить у себя в комнатах маленький театр, на котором первыми действующими лицами были, разумеется, жена и я, не по особенным нашим дарованиям, а потому что он к нам привык. Из всех зрелищ, которыми в течение зимы его забавляли, примечательнейшим была опера «Нины»[17], мы ее сыграли в день его именин 23 ноября. Надобно сказать сперва, что во всем французском оперном театре нет произведения, подобного «Нине». Кто этой оперы не знает? Кто не восхищался ею от самого Парижа до наших ледяных рек? Кто не певал из нее чего-нибудь? Имя сочинителя ее мне неизвестно. Музыку сложил Далейрак и по ней будет бессмертен в музыкальной своей собратии. Роль Нины есть интереснейшая на театре: она от любви сошла с ума и любовию же приходит в разум. Играть ее нерассказаемо трудно. В Париже представляла Нину славная Du Gazon[18]. Говорят о ней, что она была превосходна и что недели две перед тем, как играть, она ездила в безумные домы наглядываться на женщин поврежденных, чтоб применить свою игру к натуре. Она пленила, изумила парижскую публику, и после нее казалось дерзостию непростительной за эту роль приняться. Однако графу Строганову захотелось. Нашли жену мою способной играть Нину. Она взяла ролю, выучила, выработала и в течение двух недель явилась в ней перед публикой довольно многолюдной, а наипаче отборной. Все бояра, иностранные дипломаты были на этом спектакле.

Евгения не без робости выступила в такой прославленной роли, но когда она пропела известный романс «Quand le bien aimé reviendra»*, победа была на ее стороне. Все ей рукоплескали, восторг был общий. Крики «браво» летели из всех углов театра, и единогласно все признали, что никто в России не мог бы так очаровательно блеснуть в этой роли, как жена моя. Все актеры были к ней удачно подобраны. Я играл отца; любовника представлял Муравьев, он имел голос прелестнейший, и тенор его увлекал душу; Виолие играл управителя самым натуральным обра-

* Когда возлюбленный вернется (фр.).

зом; подругу ее представляла молодая Villeauxcleres со всею нежностию, свойственной ей самой и ее роли. Оркестром правил Бортнянский, хоры были из придворных певчих. Весь спектакль произвел действие прекраснейшее, и с тех пор вошло в привычку во всех обществах называть жену мою la princesse Dolgorukova Nina. Я в стихах моих также подарил ей везде прозванье Нины. Правда, что эта опера стоила ей большого труда. Она истощила все силы чувств и голоса. Чем простее казалась ее игра зрителю, тем более она ее изнуряла, ибо простота здесь была крайнее совершенство искусства. Все в Евгенье соответствовало принятому ее характеру: речь утомленная, голос нежный, выговор приятный, походка медленная, взор меланхолический, наряд простенький, игра без всякого жеманства — все, все, было в ней совершенно.

Почти в одно и то же время играли ее еще две благородные особы: Княгиня Долгорукова, красавица, князя Василия Васильевича жена, и в Гатчине г-жа Нелидова. Одной били в ладоши, потому что она бесподобно была хороша лицом и станом, другой из уважения к великому князю, который, влюбясь в нее по уши, был невероятно порабощен ледащему ее лицу. Я ни той, ни другой в игре не видал, но слышал от знатоков и охотников, что ни одна из них не могла равняться с моею женою. Я этому верю. Те обе ошиблись в плане своей игры. Княгиня Долгорукова старалась выказать свои прелести и, соображая с ними каждый шаг, была не Нина безумная, а красавица придворная на театре. Нелидова рассудила представить безумную в бешенстве. Ее надобно было держать, останавливать, и она похожа была на сумасбродную, запертую в номере. Евгения, напротив, представляла меланхолическое безумие, повредившуюся от любви, и в самом исступлении сохранившую свою природную нежность, тишину, спокойствие, словом, все черты любви страстной и несчастной, следовательно, нет сомнения, что жена моя должна была пленить зрителей стократно более, чем ее две совместницы, — что случилось на самом деле.

Окончив настоящий год театральным торжеством, я сохранил в рукописи моей все его подробности, дабы и в отдаленных годах жизни моей вспоминать о нем с удовольствием. Многие осудят, может быть, меня за то, что я такими пустотами наполняю мою Историю и что я, ни слова не сказав о войне, политике, дворских интригах, целыми листами говорю о театре. Но что может меня приятнее занять моей Евгении, ее забав? А сверх того, я не устану повторять, что я сочиняю не летопись нашего времени, что мне дела нет ни до кого, кроме себя, и что я упоминаю о тех

только людях, кои имеют связь с моими собственными происшествиями. Я пишу не для того, чтобы попасть сперва под гнет печатного станка, потом одеться в нарядный или худой переплет и сгнить в каком-нибудь бронзовом шкапе. Описание жизни моей имеет три цели: 1-е, показать детям моим, что со мной случилось, дабы они подражали хорошим моим поступкам и убегали дурных; 2-е, заниматься с пользой для них, с удовольствием для себя, и тем miscere utile dulci*; 3-е, приготовить себе под старость отраду жить еще воспоминанием молодости моей. Кто как ни рассуждай, а я всегда люблю соединять с настоящим память о прошедшем. Грустно иногда делать сравнение между тем и другим, но и самое сие уныние имеет какую-то сладость. Оно преимущественнее тех страхов, среди которых мы, ожидая чего-нибудь лестного в будущем времени, трепещем, воображая, что может оно до нас и не достигнуть. Сколь часто мне случалось быть вне себя от радости, встречая старого приятеля после продолжительной разлуки, которому я мог кинуться на шею и сказать: «Помнишь ли такой-то бал, такую-то серенаду? Мы тут с тем-то ходили, с тою-то говорили. Тут был луг, там лесочек, мы в нем беседовали без свидетелей. Помнишь ли все это?» Ах! Я никогда без душевного восхищения не покидал такой встречи. Блажен, кто цену ее чувствовать умеет!

За сими размышлениями мимоходом скажу, что в нынешнем годе великий князь изволил быть в походе в качестве любопытного волонтера. Разумеется, что граф Пушкин не допускал его ни до какой опасности. С ним сопутствовал приближеннейший его любимец Вадковский. Воротясь из армии, Павел предался любовным восторгам. Нелидова вскружила ему голову, он ни о чем уже не думал, как об ней, замуравился[19] в Гатчины, прекратились все съезды к его двору, одна Нелидова составляла его забавы и удаляла от взора великого князя всякое лицо, для нее опасное, а ей страшны были все женщины вообще, потому что ее дурнее во всех частях найти было нельзя в целом городе. При всем том она была очень умна, голова ее околдовала Павлово сердце. Он ей в глаза глядел и не смел из повеления ее выйтить. Это удалило многих от двора их высочеств, в том числе и мы почти перестали к ним ездить. Вот вся история связей придворных; но, право, я о том не сожалел. Евгения моя была для меня выше всех владык в мире.

Вот какого содержания дан был ордер моему Павлуше. Это очень любопытно, новому служивому минуло только два года.

---

* соединять приятное с полезным (лат.) — изречение Горация.

«Ордер
Лейб гвардии Конного полку вахмистру
князю Павлу Долгорукому.

Произведены вы из виц-вахмистров в вахмистры и причислены в четвертую роту, о чем для сведения вам и предлагаю, и позволяется вам пробыть в доме впредь до востребования к полку.

Ноября 11-го дня 1789-го года. №1448.
На подлинном подписано: майор Боборыкин».

(Какая фарса!!!)

1790

По числу ваканций в полку мне досталось в новый год в капитаны. На придворном бале я благодарил государыню и был у руки со всеми прочими, пожалованными в чины. По новому расписанию я назначен был в одиннадцатую роту, которой уже правил комплектный капитан, следовательно, я из ротных командиров, ибо я управлял четвертою ротою, несмотря на повышение, переходил в команду к равному себе капитану, но старее меня годами службы, а прежнюю роту должен был сдать подпоручику за отлучкою старших при ней офицеров. Это показалось бы мне уничижением в другое время, но ныне я знал, что оно так случилось потому, что уже от графа Брюса объявлено мне было готовиться будущим летом к походу, и, дабы не разбивать поминутно капитанов, меня во ожидании той роты, которую я должен был принять, идучи в армию, заместили на часок в чужую.

Капитанский чин меня очень обрадовал. В мои молодые лета он был очень лестен; все почти капитаны были меня старее годами, и по всей гвардии очень мало было людей в двадцать шесть лет, кои бы имели такой значительный чин, сверх того, он имел свои преимущества, кои хотя так же суетны, как и все другие, от честолюбия происходящие, но в молодости способны вскружить голову от радости. Капитан гвардии был маленький барин в своей сфере, он управлял ротой в полку и увольнялся от всех мелочных должностей, как то: наряд по очереди на полковое дежурство, с пожарной трубой на пожар или в какую-либо другую откомандировку. На караул ходил он только в Зимний дворец, и то во время присутствия в нем самой государыни, более никуда. Там он зависел от

одного генерал-адъютанта и обо всем докладывался ему, правил не только отряженной с ним ротою, но и всеми прочими командами, внутри дворца находящимися, и от всех от них собирал рапорты, всем выдавал пароли. В верхних покоях капитан караульный имел право ходить за кавалергардов, то есть в тронную горницу, у дверей которой стаивали на часах два кавалергарда. Это при Екатерине значило много, потому что генералы полные не все имели на то дозволение. Оно давалось с именного соизволения. В списке пропускаемых состояли все придворные чины, Сенат и обер-прокурор[ы], губернаторы, некоторые по выбору разночиновные особы в генералитете и вообще все те гвардии офицеры, кои выпущены из камер-пажей. Капитан гвардии только тогда ходил за кавалергардов, когда он был на карауле. Многие завидовали этой чести и искали ее с большими поклонами. Но в чем же состояла она в настоящем виде? В том только, чтоб двумя комнатами ближе быть к покоям государыни. Стоило ли это хлопот? Прошедши кавалергардов, останавливались все в тронной комнате или за ней, в так называемой кавалерской, но далее уже никто ни шага, кроме малого числа ближайших прислужников и знаменитейших чинов государства. Итак, тот, кто за кавалергардов ходил, так же мало видел государыню, как и тот, который оставался по сю сторону дверей, тем не меньше, однако, публика на выходящих из тронной глядела как на людей, особенных милостей удостоенных, и многие из этих, ради будучи такому заблуждению, усиливали его, вынося на себе вид важный и как будто значущий, что они у самого престола окружают монархиню. Ничего не бывало, и те, и другие в разных только покоях одинаково пресмыкались, одинаково были презрены и забыты. Каких у двора не увидишь посмешищ в этом роде? И я тогда на них наглядеся.

При столь великолепных выгодах были между прочим и самые странные. Известно, что весь караул гвардейский пользовался особым придворным столом, на который казна отпускала ежедневно шестьдесят рублей, и за ним обедали только восемь человек. Стол по большей части бывал наполнен кушаньем и покрыт старинным запачканным серебром, но редко можно было со вкусом поесть. Капитану давался крендель и бутылочка венгерского — древний обычай, современный началам гвардейских полков, который ведется и поныне. Капитан мог требовать в свою караульню и зеркала, и столы, и мебель, все ему отпускалось без отрицания, равно как и посуда чайная или стеклянная. Для освещения нижних переходов и всех сеней в замке он требовал сколько хотел маканых свеч[1], и никогда не было ему отказа. Все это так меня восхищало,

что я напрашивался не в свою очередь за других ходить в караул, дабы только пошататься в тронной за кавалергардами, а в караульне делаться вельможей над своими солдатами.

Ничто так не покажет, до какого малодушия я обрадовался капитанскому чину, как следующий анекдот. В самый новый год мне досталось в караул идтить капитан-поручиком, но я знал, что после обедни объявятся доклады и что я уже останусь капитаном во дворце. В ночь на первое число запахло смородом в нашей спальне; жена усумнилась и велела посмотреть, от чего. Пошевелили около камина и стены и не нашли ничего опасного, но дух головни продолжался. Жена рассудила разобрать несколько изразцов. Я стал шуметь, что мне спать не дают, что я назавтра наряжен в караул и что я буду капитан; ушел в кабинет, и там мы расположились ночевать. Я препокойно выспался, и какое было мое удивление поутру, когда я увидел, что весь камин разобран и кирпичи разбросаны по полу. Жена, уложа меня спать и будучи сама в беспокойстве, призвала людей, велела разобрать один венец изразцов. Только что его сняли, заднее бревно вспыхло, ибо оно уже давно тлилось, и помощью наших слуг залит начинающийся пожар. Если б Евгения уснула со мной вместе, нет сомнения, что весь бы наш дом обратился в пепел, а я явился бы в вечность хвастать своим капитанским чином. Все это происходило от жаркого желания в новый год отличиться во дворце в новом знаке и чине. Пусть судят, какой я был еще мальчик, имея уже двух детей.

Более всего меня радовало то, что уже я не обязан был во дворце, как в прежних чинах, высиживать середи ночи самые мрачные часы или на бекете[2] у церкви придворной и стеречь пустую горницу и дверь, в которую никого не пропускали, или внизу торчать на лавке перед целой шеренгой и держать так называемую вахту. От этих скучных должностей капитан был свободен. Окончим этот рассказ тем, что гвардии капитана пост был самый лестный для молодого человека. При всем том, однако, он не стоил столь великой жертвы, чтоб ради его запалить свой дом и самому обратиться в головешку.

Будучи, как выше сказано, назначен в поход, я коснусь некоторых распоряжений, сделанных у двора для продолжения шведской войны. Вместо графа Пушкина наименован главнокомандующим Финляндскою армиею граф Иван Петрович Салтыков, второй генерал-аншеф по армии. Первым действующим лицом под командою его вызван из Оренбурга тамошний генерал-губернатор, генерал-поручик, старший по всему

войску, барон Игельстром. Князь Потемкин, с своей стороны, из Турецкой армии отпустил несколько генерал-майоров в Финляндию, и оттуда же явился на север служить отличный генерал-поручик по общей о нем славе Ангалт, принц крови и родственник Екатерины. Армия сия принимала вид самый устрашительный. На море готовил знаменитые победы адмирал Чичагов, русский дворянин и опытный мореходец. План старых походов переменился на новый. Так всегда бывает при новом военачальнике, по пословице: «Всякий молодец на свой образец». Граф Салтыков поставил бы себе в бесславие перенять что-нибудь у предшественника своего, графа Пушкина, и потому все пошло иначе. Я был слишком молод, чтоб знать о причинах, которые побудили Екатерину отнять у графа Пушкина команду, а по догадкам говорить о таких вещах я не люблю, тем более, что до меня это совсем не принадлежит; довольно сказать, что граф Салтыков был в тот год более всякого другого генерала по мыслям государыни. Полкам гвардии велено было откомандировать в поход по два баталиона, и оба сухим путем. Всей гвардией, из сих баталионов составленной, поручено было управлять генерал-майору Арбеневу, Измайловского полку майору; Семеновские два баталиона составились из осьми рот. Первым командовал капитан Тол<стой>, недавно воротившийся из чужих краев, а вторым капитан Горч<аков>, но сей последний, будучи всех старее, командовал обеими баталионами за майора, когда они сходились вместе, а порознь правил одним вторым. В нем капитаны шли, кроме Горчакова, Свечин, я и Измайлов[3]. Я командовал особенною ротою. Она собрана была большею частию из солдат одиннадцатой, в которой я написан был при повышении в капитаны, и из прочих. С марта месяца надлежало гвардии выступить, и все мы готовились к сему важному подвигу неослабно, приучали людей, привыкали к ним сами и собирали нужные для самих себя на всю кампанию потребности. В таких суетах скоро проходит время, и мы не успели мигнуть, как уже наступил март месяц.

Вместе с переменой столь важной в главных чиновниках войска последовали и комнатные большие перемены у двора. Граф Мамонов удален был от известной своей должности и, лишась милостей императрицы, отправлен на житье в Москву с своей супругой, а на место его вступил молодой офицер Конной гвардии Платон Зубов, родственник Николая Ивановича Салтыкова, сын богатого отца и бесчестнейшего дворянина во всем государстве. Первый шаг Зубова был удачен, оперился снова и Салтыков. По связи родства с фаворитом он вступил в новые и блиста-

тельнейшие труды, ибо ему поручено главное управление Военной коллегией. Президентом ее был князь Потемкин; виц-президентом граф Пушкин, но Потемкин был в Турецкой армии, а заочным у двора всегда худо. Пушкину после двух шведских кампаний не повезло; итак, Николай Иванович назван председателем Военной коллегии и начал ею управлять полномочным образом. Весь город бросился в его переднюю. Вещь обыкновенная! Воротимся теперь к себе и посмотрим на мое внутреннее положение в семействе.

Чем ближе подходило время к нашему походу, тем крепче сжималась грудь моя. Таить я не мог ни от жены, ни от родителей, что пришла моя очередь испытать всю тягость военного звания. Я писал о сем в Москву, и ответ моего отца, который впишу здесь [от] слова [до] слова, как образец красноречия сердечного, покажет, сколько весть сия тронула чувства отца моего и матери. Оба они проливали тем горчайшие слезы, что судьба вдруг две язвы им наслала. Разлука со мной сопровождаема была такою же с зятем моим графом Ефимовским; и он, подобно мне, наряжен был в поход. Состояние его еще хуже казалось моего, потому что он служил только подпоручиком, следовательно, более, нежели я как ротный командир, мог подвергаться и опасности, и капризу своих начальников. Вот точная копия того письма, о котором я упомянул. Что может быть трогательнее? Тут прямо сердце говорит, а не голова сочиняет. Так писали все наши старики. Они худо умели сложить тропу или хрию[4], но умели сильно чувствовать и говорить языком сердца.

«Угодно было Богу, мой друг князь Иван Михайлович, распределяя все судьбы человеческие, определить, чтоб письма твои получал я из похода, должен его благодарить, как созданье Создателя, за все его наслании, а тебя подкреплять в подвиге яко сына. Направи стóпы твоя на путь мирен, исправляй свою должность, но не с кровожаждующим желанием. Исполняй звание свое, где судьба и честь призывает; береги подчиненных, помня, что все человеки и всякий имеет свои привязанности к жизни и к ближним, помогай и дели их тягость; жертвою сею благоугождается Бог. Друг друга тяготы сносите, и тако исполните закон Христов. Неприятеля не ужасайся, но уповай на Бога. Вера превозможет все! Когда Бог тебя в сие звание произвел и ополчил, то он же тебя невидимо и сохранит. Я, мой друг, последуя Аврааму, приношу сию жертву Богу, прося его, да сохранит тебя от всякого зла, и верую неотменно видеть тебя, мой друг, здорового. Пожалуй, не унывай, укрепи себя родительским благословением, которое сопутствует тебе на каждом пути, аможе

аще пойдеши*, токмо веруй». В конце письма: «Поручаю тебя Богу, остаюсь друг твой и отец». В другом письме, при таких же о вере подтверждениях, добавляет: «Храни свое звание беспорочно и не посрами имени прародителей своих». Еще в ином месте по прочем говорит: «Защищай, мой друг, себя и отечество; но щади также проливать кровь человеческую. Если возможно будет спасать жизнь, не ищи славы в гибели ближнего, и у неприятелей твоих также есть родители и жены, которые то же чувствуют, что мы». Что может быть превосходнее сей строчки! Какое искреннее человеколюбие и сострадательность к ближним! Далее: «Прошу тебя и советую укрепить себя бодростию духа; видя неприятеля вооруженного, не бежать, ибо лучше честно умереть, чем бесчестно жить». Какая высокая нравственность! Какой твердый дух! Какой убедительный в простоте своей слог! Сколько веры, сколько здесь наставлений! Ни одного пустого слова, все нравоучительно и назидательно. Пусть по сим отрывкам посудят, каково было родителям моим отпускать меня в поход.

Тяжел для меня был сей крест! Сколько вдруг страхов и волнений терзали мою душу. В Москве печаль и сетовании моих стариков меня ежедневно крушили. Там я оставлял Машу, милого своего ребенка, и, может быть, навсегда. Здесь беспрестанные слезы Евгеньи катились по моему сердцу, и оно кипело к ней любовию более, нежели когда-нибудь. Но увижу ли я ее? Облобызаю ли Павла на руках ее? Эти два вопроса не выходили из мыслей моих и отравой делали пищу, отнимая сон и все силы. Мысль, что я могу быть убит, взят в полон, изувечен или сам лично быть чьим-нибудь убийцей, не давала покою на минуту, а сверх того сборы, требующие издержек, при моем состоянии излишних, и необходимость скрывать внутреннее положение чувств моих от света лукавого, который судит по одной наружности, все, все, на меня действовало! Всякий тотчас бы приписал мои изнеможении, бледность в лице, задумчивость в обращении одной робости и обратил мне оную в позор, тогда как дерзну здесь похвастать, никто, может быть, из сотоварищей моих, идучи в поход, не предпринимал такого подвига, как я. Всякий шел с радостию на войну. Иной хотел креста, чину, выгод, славы, а я вооружался из одного повиновения законам чести. Я не любил военного ремесла, ни его трофеев. Мои занятии, вкусы, склонности готовили меня более к жизни спокойного гражданина, и при таком расположении я, однако,

---

* куда бы ты ни пошел (слав.).

шел резать людей. Вызов отечества сделан. Царь приказал, начальники нарядили, я плакал, — но покорялся. Я не искал отличий, но шел в ряду с теми, кои для них только и служат, искать своей смерти или дать ее другому. О как ужасно военное состояние! Но монархи этого не чувствуют, а войска — отоматы.

Честь требовала жертвы сильной от меня, и я ее принес отечеству. Жена и сестра моя находились хотя в одинаких волнениях горести, имея и та, и другая те же причины сетовать, но положенье сестры моей тягостнее было вдвое, потому что она не имела еще столь обширного круга знакомых и приятелей и оставалась как бы брошенной на чужой стороне. Одно прибежище ее была жена моя. Я счел необходимым скрыть от сей последней настоящий день моего похода, дабы избежать прощаниев, всегда столь тяжких между людьми, истинной любовию связанных. Мой вымысел удался. На Страстной неделе я исполнил долг христианина[5], наипаче важный пред готовящимися для нас нечаянными случаями в будущем. Я говел, исповедался и причастился. Святую неделю мы провели вместе, но увы! сии красные дни по всем отношениям в нашем царстве были тогда дни мрачные и многоболезненные. В Фомино воскресенье 31 марта, по данному мне ордеру, я должен был выступить в поход с двумя ротами 2-го батальона, седьмою и осьмою.

С утра, помолясь Богу, надел я на себя тот самый крест с мощами, коим благословила меня умирающая бабка моя схимонахиня Нектария, взял с собой еще образ, коим благословили меня родители мои, и препоручил жребий мой в волю всемогущего Бога. Зашел к жене, она еще спала, пролил над нею несколько слез, облобызал Павлушу, обнял маму его, простился с домашними своими и побежал с двора на сборное место, как человек, лишенный разума. При собранных двух ротах отправлен молебен. Идущие мимо полковой церкви взводы моих двух рот окропил священник полковой святой водою, и, перекрестясь в последний раз нашим пенатам, мы пошли церемониальным маршем за город. Нам назначено было по маршруту дойтить в этот день до Парголова — деревня графа Шувалова в пятнадцати верстах от города — и тут остановиться на ночлег. По близости сего перехода многие солдатки провожали мужей своих, и бабьи полки почти не уступали числом народа нашему воинству. Погода была прекраснейшая. День солнечный, ясный, улицы сухи; но едва вышли мы за город, как нашли еще множество снегу, и чем далее шествовали, тем суровее были признаки зимы, не совсем еще простившейся с нами на севере. Города всегда обязаны туалету своей скоропо-

стижной весенней красотой: их моют, чистят, скоблят и насильно зиму выгоняют, а в полях, где без убранства простая дышит природа, там апрель еще пасмурен, студен и не шутит.

Выведя обе роты за заставу, поручил я идти далее старшему, а сам, воротясь в город, явился во дворец и там имел счастие в обыкновенное время приема откланяться их высочествам и у обеих поцаловать руку. Из нескольких слов их и наружного вида я мог заметить, что они в настоящем случае моей жизни благоволили принять участие, и милостиво пожелали мне счастливого успеха. Прямо из дворца, не завертывая домой, я поскакал к команде и, заплакавши снова, простился с Петербургом, в котором все сокровище сердца моего оставалось.

Так как по времени я в особом сочинении собрал все подробности нашего похода и оставил журнал ежедневный наших действий под названием «Записки шведского похода»[6], то здесь и не имею нужды повторять их. Однако помещу некоторое извлечение занимательнейших случаев и вкратце поговорю об них. Прежде всего, дабы не перервать речи о походе, скажу о семействе своем вообще, что во время моей отлучки жена моя с сыном жила на даче у графа Строганова и два раза имела счастие в течение лета быть в Павловском у их высочеств, где удостоилась того же милостивого приема, каким и всегда пользовалась. Всякую почту регулярно, а не редко и по особым случаям, мы с ней переписывались; всякую неделю также я получал письма из родительского дома, а там читывали мои, и я почти все свои досуги (кои, поистине говоря, были очень обширны) употреблял на свою переписку с родными или на сочинение журнала, о котором упомянуто выше, притом и для стихов иногда выдавались благие минуты. Перо везде было моим постоянным товарищем и лучшим наслаждением во время сей кочевой походной жизни.

Теперь я отвлекусь от всего мира и буду весь в походе, начну, как Иван-царевич, рассказывать свои и чужие приключении, но повторяю, что здесь только будут вершки. Дети мои могут для подробности прочесть особую историю этого похода, там все пространно описано.

Итак, 31 марта мы оставили Петербург. В прежние два года гвардия ходила на Выборг, ныне рассудили взять другой тракт и повели нас на Кексгольм[7]. 5 апреля мы дошли до Раутужского кирхшпиля[8], девяносто верст от Петербурга[9], и тут, по приказу начальства, весь баталион наш расположился до весны на квартирах. 11-го, однако, нас опять выгнали в поход, 14-го мы переправились через Воксу и вошли в Кексгольм. 15-го выступили и, дошед до местечка Тюри[10], ожидали дальнейших повеле-

ний. Отсюда потребован капитан Горчаков к бригадиру Корс<акову>, который стоял с войсками в крепостце Нейшлот. Этот г. Корсаков из полковников армейских был пожалован незадолго пред войной в наш полк майором, но, не вступя в правление полка, все находился при походных войсках[11]. В краткую отлучку Горчакова довелось править баталионом мне, потому что из трех капитанов оставшихся старший меня Свечин был в отлучке. 19 апреля первая и значительная была сшибка у русских со шведами под Пардакосском[12]. Преображенский полк смешан и разбит, майор его Байков убит наповал[13]. Генерал-поручик принц Ангалт ранен ядром в ногу, ее отрезали, и он скоро скончался. Игельстром привел в порядок ретираду оставшихся полков. Около тех же чисел Корсаков имел не важную, но удачную сшибку с шведами в своем месте. 22-го Горчаков прибыл к баталиону, и я, побывши калиф на час, обратился к роте. Бывший нашего полку капитан, а ныне полковник пехотного полка некто г. Плохово, будучи утесняем неприятелем в крепости Сердоболи[14], потребовал от нас помощи. Мы кинулись к нему 23-го. Все кончилось пустяками, и нас с дороги воротили. Мы в тридцати шести верстах от него расположились в селе Якинвари, где в доме пастора я имел препокойную квартеру.

Это место никогда, к несчастию, из памяти моей не выдет. К нам привели изувеченного старосту церковного маймиста[15], которого приняли на передовом посте за шпиона. Мы без всякой осторожности взяли его в допрос палками. У меня в роте били его много, от нас отвели его в главную квартеру, там у Горчакова еще били, и старик невинный умер, — бедственное следствие молодости неопытной и буйной. Вечное раскаяние обитает в душе моей, но что в нем? Оно не возвратит отца семейству, а деньгами, кои после все мы щедрой рукой рассыпали на его домашних, можно ли вознаградить их потерю? В баталионе это прошло без всякого следствия, и правительство ни военное, ни гражданское не вступилось за страдальца неповинного. Пример равнодушия не новый! При сем случае я не могу не передать детям моим следующее происшествие, дабы устрашить их совесть и показать, что прежде еще суда Божия на небесах здесь, на земле, есть наказания подобным жестокостям человеческого сердца. В роте моей служил капитан-поручик Кокош<ки>н, хороший мой приятель; мы с ним были свычнее всех прочих. Умный малый, но на всякого мудреца довольно простоты. Когда привели к нам маймиста, К[окошки]н ругался над ним более прочих, и пока его с побоями допрашивали, он, взяв свечу со стола, прижигал ему бороду. Скоро потом

К[окошки]н занемог. Его отпустили лечиться в Москву. Болезнь продолжительная его изнуряла, мокроты острые кинулись в руку; он не мог уже ею владеть, из нее выходили кости, и он после долгого и мучительного расслабления наконец умер, не дожив еще тридцати лет. Когда я его, бедного, навещал после похода, воротясь в Москву, он со слезами вспоминал маймиста и, указывая на больную руку, ту самую, которой прижигал бороду, с душевным раскаянием раза три повторил мне: «Бог наказывает меня за маймиста!» Помните, дети мои, такой урок и будьте в подобных случаях осторожнее вашего отца.

28 апреля получен ордер выступить в другую сторону, то есть в Вильмандстранд[16]. Мы пошли туда 30-го. Около того времени генерал-поручик Нумсон разбил шведов под Мемелем. Пришедши к Вильмандстранду, мы расположились в нем 7 мая. Этот переход не принес нам никакой пользы, кроме беспокойств неприятных, ибо он не имел никакой цели, но я нашел в нем удовольствие для своего любопытства. 5 мая, переходя под деревней Ситтола через Воксу, свернул я один верхом в сторону и заехал осмотреть славные воксинские пороги, которые некогда удостоила своего любопытства Екатерина II. Галерея, для нее тогда нарочно устроенная, еще видна была в развалинах. В Вильмандстранде получен Горчаковым ордер быть с своим баталионом в команде генерал-майора Хрущ<ова>, который стоял с войсками недалеко от Пардакосска (где поражен Преображенский полк) в деревне Савитайполь[17], в тридцати осьми верстах от Вильмандстранда. Тут было важное укрепление, нарочитое число солдат всякого звания, и драгун, и егерей, и тяжелые орудии. К усилению этого важного и ближайшего поста к неприятелю придан был весь наш баталион. Хрущов потребовал к себе две роты, Горчаков нарядил пятую и седьмую. Свечин и Измайлов вышли в поход 13 мая, а шестая и осьмая, то есть Горчакова и моя, остались в крепости. 16-го Игельстром приказал нам прийтить в Выборг одним маршем. Переход составлял пятьдесят верст. Мы дошли в сутки и смучили весь народ. Там мы простояли без всякого дела несколько дней в форштадтах[18]. Всякое утро ходили торчать в переднюю барона Игельстрома и были свидетелями его полномочия и совершенного ничтожества главнокомандующего графа Салтыкова, который, живучи в Выборге, давал балы и волочился, тогда как под именем его барон управлял и войсками, и войною. 21-го нас погнали назад туда же, откуда привели, но уже не с тою торопливостию. 22-го пришли в Вильмандстранд, а 23-го по повелению Хрущова выступили в Савитайполь. Он сперва велел нам поспешать к нему в одни сутки, но

на пути встретил нас гонец от него же с приказанием переночевать на половине дороги, итак, мы 23-го в первый еще раз разбили правильный лагерь и в двадцати верстах от Хрущова ночевали в нем.

24-го числа шведы атаковали Хрущова. Он прислал нарочного за нами, велел бросить все, кроме пушек, и бежать к нему на помощь. Мы тотчас не пошли, а помчались, однако дела не застали, пришли к последним выстрелам пушек. Неприятель был разбит, и его гнали в виду нашем по всем дорогам. Это сражение особенную честь принесло Хрущову. Его атаковали шведы в силах превосходных; командовал неприятельскими войсками первый любимец королевский барон Армфельд, который и ранен пушечной картечью в плечо навылет и долго был без руки. Хрущов имел только до двух тысяч войска, а сражался с четверью. Он тем более уважал своим успехом, что Савитайпольское сражение[19] совершенно отмстило за потерю нашу под Пардакосским, и шведы с тех пор на большие предприятия не отваживались. Государыня была очень признательна к подвигу Хрущова и пожаловала его самого орденом св. Владимира 2-й степени, а всех, представленных им, наградила чинами и крестами, в том числе наши два капитана Свечин и Измайлов получили Георгиевские крестики в петлицу.

По малодушию моих лет, я тужил, что не поспел на сраженье и не схватил креста, но, подумавши хорошенько о сем и без излишнего энтузиазма, благодарил Бога, что он меня избавил от такого бесчеловечного позорища. На этих мыслях основан один из моих стихов:

По логике моей давно расположил,
Что так ли, или сяк, да плохо, коль убил[20];

а кто может в жару битвы поручиться, чтоб он и сам не убил кого-нибудь до смерти? В моем журнале этой кампании найдут много примеров остервенения человеческого в минуту драки. Я сам ему был подвержен.

После сражения тотчас воспели на батарее благодарственное Господу Богу молебствие. Мы явились потом к генералу с поздравлением; он очень был ласков, весел, счастлив и доволен собой. Распустя нас, занялся отправлением курьера к государыне с реляцией, с которым и я писал к жене и в Москву, дабы отвратить всякие пустые слухи на мой счет, когда молва станет разносить повсюду победу и прилыгать, как водится, умерших, пленных и увечных, в числе которых мог бы и я попасть кому-нибудь на язык и сделать большую домашнюю тревогу по пустякам.

День сраженья Савитайпольского будет днем незабвенным в жизни моей. Хотя я не был в деле, но, идучи к оному, испытал, а на место пришедши, видел все ужасы человеческой ярости. Избави Боже во всю жизнь от подобных волнений в крови и ненавистных побуждений в уме и сердце!

Пришедши в Савитайполь, мы уже тут и засели на всю кампанию, далее никуда не ходили и с Хрущовым не расставались. Итак, здесь кстати войти в короткое обозрение нашего походного житья-бытья и самого места, куда мы приведены были тосковать несколько месяцев по родине своей и друзьях.

Савитайполь — место возвышенное, но пустое и неприятное; по дорогам вокруг его каменные скалы и утесы. С иных сторон к нему с трудом можно добраться. Под холмами его, которые все уставлены были батареями, натура вырыла озера довольно широкие. Войска в этом корпусе расположены были по батареям так, что при каждой рота, или две, и больше занимали свой лагерь. При малейшей тревоге люди лишь вон из палатки — то уже они и в шанцах. Это делалось мигом. Никто никуда не бегал, не собирался, ракетка даст сигнал, и в пять минут весь деташемент[21] в боевом порядке. Тут стоял баталион Великолуцкого полку, командир его подполковник Салтыков; псковских драгун несколько эскадронов под начальством подполковника барона Сакена; баталион егерей под командой подполковника Берга; артиллерия имела своего офицера Фока; и несколько казаков донских с двумя офицерами. Прибавьте к этому наш гвардейский баталион — и вот весь корпус Хрущова. Генерал жил очень хорошо, всякий день принимал офицеров обедать, по вечерам у него была всегда игра в виск[22], и обращением его были все довольны, кроме тех, кои отличаться любили наглостию и бесчинством.

Я в своей роте жил покойно и даже иногда приятно. Палатка моя была укромонна и хороша, чистый пол дощатый убит войлоками от сырости. Озера всегда заставляли нас по вечерам ее испытывать. Я болен, однако, не был ни разу во всю кампанию; вседневно хаживал на вечера к Хрущову и пользовался особенною его ласковостию. По утрам, отправя обряды службы, делал из своего намета кабинет, читал и упражнялся пером, обедали почти мы всегда в своей ротной артели, а после обеда резвились и делили время между офицерами. В моей роте царствовало ненарушимое согласие. Офицеры меня любили, солдаты слушались. Я держал стол по очереди, всякий из нас имел свою неделю. Сумма была общая. Стол наш был всегда хорош, и даже чужих команд офицеры час-

то хаживали к нам обедать, но здесь напрасно входить во все эти мелочи, они описаны в журнале, там для любопытных и расчеты приложены, чего стоило наше хозяйство. Оборотимся к главным событиям.

31 мая шведы показались на озере с плавучими батареями. Весь корпус приготовился к делу. Лагери все повалили, обозы снарядились к выезду, но тревога кончилась ничем. Новичок какой-то из шведских волонтеров вздумал сделать сильную рекогносцировку, дал один выстрел из пушки ядром и, увидя, что готовы его встретить, отретировался благополучно. Опять лагери поставили, лошадей из повозок выпрягли, и солдаты запели свои песни.

Скоро после Савитайпольскго сражения началась переписка о мире между Игельстромом и Армфельдом. Письма нашего генерала пересылались через наш пост. Хрущов назначил меня быть парламантером, и я с лишком десять раз в эту кампанию ездил с трубачом в шведский лагерь. Оттуда некто подполковник Таваст выезжал всегда для переговору со мною и с своими поручениями являлся на наши посты, и так мы с ним, видаясь часто, коротко ознакомились. Война — войной, приязнь — приязнью. Хрущову хотелось знать секрет переписки Игельстромовой. Он открывал письма и призывал меня для переводу.

Барон Игельстром, не зная, куда девать генералов, которых наслал Потемкин вместо полков в Шведскую армию, командировал в Савитайполь сперва генерал-майора Толстого, потом, отозвав его, нарядил генерал-майора же Неклю<до>ва, который тут и остался в команде у Хрущова в приятной праздности и до конца войны играл в виск по рублю каждый вечер. Между тем наш командир, будучи его старее, один правил всем деташементом, гордился своей победой над Армфельдом, покоился на лаврах, иногда отражал какие-нибудь лодки, кои с озера отваживались тревожить наши береговые батареи, и в ожиданиях то мира, то сражения радовался или огорчался вместе с нами известиями о успехах нашей войны.

В июне месяце шведы на сухом пути заняли местечко наше Гекфорд, а подполковник Кропо<то>в выгнал часть изрядную оных из Тункоти. На море полубог нашего флота Чичагов одержал знаменитейшую и полную победу над всем флотом шведским[23]. Сам король сидел на корабле и так тесно приперт был нашими морскими силами, что в наш лагерь прислано через главную квартеру письмо королевское к Армфельду, которое я имел поручение доставить на их передовой пост, ибо королю уже ближе было с своим генералом переписываться через нашу дорогу, нежели

своею; но письмо сие подобно другим многим не вскрыто и без нарушения доверенности его величества к нам куда следовало доставлено с распиской. К несчастию, в те же почти дни принц Нассау с гребным своим флотом вошел в дело с таким же шведским и вытерпел сильное поражение, о каком в России ни в одной битве еще не слыхано было дотоле, его разбили совершенно. Полон русских был чрезвычайно велик, убито и ранено множество[24]. Такое несчастие как будто нарочно злой рок наслал на наше победоносное оружие, чтоб умалить нашей гордости и смирить нас.

Наконец и Хрущов, соскучив праздностию, вздумал пошевелить шведов. В ночь на 10-е число июля он велел приготовиться к ночной экспедиции, нарядил в оную седьмую и осьмую роту. Ему хотелось непременно доставить мне Георгиевский крест, но не угодно было судьбе, чтоб я украшен был сим знамением убивства и вражды. Мы пошли в полночь и простояли по-пустому до утра; вырубили много лесу для очищения видов к неприятелю. Казаки с их передовыми патрулями пострелялись, и тем все кончилось. Ничего не делать, как жить в палатке, во время войны скучно. По счастию, верстах в четырех от нас расположен был наш первый баталион Семеновский, но состоясь под другим начальством. Мы часто езжали туда видеться с нашими однополчанами, они взаимно к нам, и тем мы убивали время нашей бездейственности.

18-го числа июля какая вдруг приятная для меня сюрприза! Письмо от жены. Откуда же? Из Выборга. Она с сестрой моей, соскучась нашей разлукой, поскакали к нам в лагери для свидания. Так поступали амазонки; одно пылкое воображение руководствовало их намерением, но что нужды? Я был до безумия обрадован, прошусь у Хрущова, он отпускает меня бессрочно до надобности во мне, скачу верхом в Вильмандстранд, там уже ее не застаю, она в Давыдове, лечу туда ночью и поутру бросаюсь в объятии милой моей Евгеньи.

Подробности всей этой поездки очень занимательны, но здесь я их повторять не стану, они не пропущены в особом моем походном журнале. Мы снова вместе, но где? В стану воинов. Не умолкает наш разговор, вздохи радости летят один другому [на]встречу, и все около нас дышит веселием. Я, отдохнувши несколько, отвез ее в Вильмандстранд, там приличнее было для нее прожить несколько дней. Жена была одета по-мужскому, в широварах и сертуке. Наряд этот удвоивал ее прелести; с ней была одна девка в том же наряде. Сестра моя с своей служанкой точно тот же вид и на себя приняли. Дан был им под чужим именем пропуск, для безопасности в пути препроводил их до крепости А<даду-

8 Зак № 3535

ров>, один из общих наших коротких приятелей и служивший при меньшом дворе, который ехал также к брату своему в Измайловский лагерь. Обе наши рыцарки долетели до Выборга вместе, а тут вся компания разъехалась в разные стороны, кому куда путь лежал. Жена моя знала немножко по-чухонски и могла в нужном случае изъясниться с жителями. Приехавши в Вильмандстранд, я надеялся с ней отдохнуть порядочно хоть одни сутки. Ничего не бывало. Роты моей офицер Чириков присылает ко мне нарочного 23-го числа известить меня, что неприятеля в ту ночь ждут непременно; в таком случае честь перебивает любовь. Я оставляю жену на руках доброго старичка Анджели и тутошнего искусного доктора Мелларта, у которого мы квартировали. Семейство доброе, благонравное. Сажусь верхом один, без слуги, и скачу стремглав тридцать шесть верст до нашего лагеря. Являюсь к Хрущову. Тот удивляется моему скоропостижному приезду, журит Чирикова за неосновательный испуг моей жены и снова меня к ней отпускает. Не мешкав ни часа, бросился я в чухонскую телегу на двух колесах, перевязал ее кой-как бечевкою, сел на этот переплет и маймисту велел гнать во весь дух. В ночь я опять в Вильмандстранде, устал, измучен, голоден, но весел, счастлив, доволен, вижу снова Евгению, лобзаю ее тысячекратно, отираю ее слезы и засыпаю на груди ее. Пусть представят себе положение жены моей в сию суточную отлучку. Оставшись без памяти, она не знала долго, на что решиться: ехать ли вслед за мной или прислушиваться вдалеке к пушечным нашим выстрелам. Написала ко мне записку, просится вовнутрь нашего лагеря, не страшась ничего, кроме моей потери. Записку эту я вечно не забуду, она снидет со мною в гроб. На адресе дрожащею рукою написано: «S'il faut mourir, mourons ensemble»*. Я получил ее при самом почти выезде из Савитайполя. Ах! Для чего не было у меня крыл, чтоб укоротать тогда часы ее мучения. О бесподобная жена! Кто, знав тебя, узнает и заблуждении мои, тот мне их никогда не простит! Сколько в этот мучительный день разлуки обязан я был попечениям о жене моей доктора и старого Анджели! Первый, несмотря на свою собственную обязанность и недосуги, все свободное время посвятил нам из одного сострадания, уговаривал жену мою, беседовал с ней, разгонял ее скуку. Анджели, осмидесятилетний старик, но еще весельчак и энтузиаст самый отвлеченный, с утра до вечера сидел у жены моей в своем поношенном гарнизонном мундире. Он еще служил в статной команде Вильманд-

* Если умирать, то умрем вместе (фр.).

страндской. В разговоре своем он по переменкам то брал тон лютеранского строгого проповедника и кидался в мистику, как в неугасимое полымя, то, приводя себе на ум молодость свою, читывал наизусть острые стишки Волтера, Геснера, Буффлера и проч., говорил прекрасно по-французски, богат был опытами и много давал мне полезных советов, когда я с ним видался; в Вильмандстранде он был всегда единственный мой собеседник. Я никогда не забуду ни имени, ни услуг сего доброго иностранца. К тому же он умел выиграть доверенность жены моей, и она не скучала его поучениями. В этом только сообществе проводили мы смутные дни нашего короткого свидания. 27-го числа жена расположилась воротиться в столицу, а там у нее был драгоценный залог — Павлуша. Я обязан был явиться к своему месту; мы расстались опять, не зная сами, надолго ли еще. Слухи о мире нас очень утешали. Я не люблю прощаться с теми, кого мне искренно жаль; итак я, проснувшись очень рано, поглядел пристально на Евгению, поцеловал ее сонную, перекрестил и, заплакавши, опрометью поскакал в Савитайполь. Скоро после меня и жена простилась с своими хозяевами, поблагодаря их за квартеру, которая считалась первою в городе и знаменита была потому, что великий князь Павел Петрович в поход свой в 1788 годе изволил в ней стоять.

Опять началась у меня с женою переписка, единственная моя отрада в походе. Московские письма и петербургские по переменкам радовали мое сердце. То письма домашних читал, то отвечал на них. Почты доставляли все это исправно. Какое счастие иметь каждую неделю известие о милых сердцу! Какое отрадное занятие посреди пушек, штыков, против врага и ежечасно у дверей гроба.

Игельстром стоял с своим корпусом на границе российской в Ковали. 30-го числа июля дошли до нас оттуда слухи о заключающемся мире. 3 августа он действительно заключен между обеими державами баронами Игельстромом и Армфельдом в местечке Верелле за рекою Кимень на земле шведской[25]. Итак, война кончилась приобретением нескольких десятин земли, на которой построен для мирного торжества на скорую руку Храм Славы, столь же миниатюрный, сколько и сама слава. Мы по форме извещены о сем августа 4 от Игельстрома. Вопрос: где же был граф Салтыков, главнокомандующий? Он в Мемеле, селении только в двадцати верстах от Ковали, ничего не подозревая о мире, держал войски свои на оборонительной ноге. Дивись, кто хочет! Для меня это было не чудно после многих тех странностей, кои я частию сам видел, а частию испытал. Так ли всегда война ведется, сие оставляю решить тем, кои

лучше меня это ремесло знают; для меня это дело стороннее, я пишу лишь о себе.

Хрущов, получа дозволение отъехать от своего места, поручил команду генерал-майору Неклюдову и, взяв с собой меня, Чирикова и Неклюдова, меньшого брата генеральского, который служил в Конной гвардии и при нашем корпусе числился волонтером, отправился 6 числа в Ковали. Проезжая Давыдову Крепость, или лучше сказать с шутливым Левашовым вместе Слабость, нашли там под командой полковника Сипягина баталион Преображенского полка. В Ковали мы увидели Игельстрома с многими генералами, потому что наших войск тут было отборное и большое число; к тому же, по сведении о мире, многие из разных корпусов штаб- и обер-офицеры просились туда и к торжеству мира съезжались. 8 числа курьер привез из Петербурга ратификацию трактата, и с той поры обращение между шведами и нами сделалось мирное и свободное. Лагери наши стояли на расстоянии трех верст, и мы взаимно переходили друг к другу беспрестанно. Сам король прискакал в Вереллу.

9 числа поутру барон Игельстром тронулся с своей квартеры и, сопровождаем огромною свитою чиновников, в числе коих и я взмостился на какого-то буцефала, поехал торжественно верхом на поклон к королю в его лагерь. На пути в том самом шатре, в котором оба воины подписали мирный договор, дан был шведским офицерам завтрак от барона Игельстрома, по окончании которого прибыли в шведский стан. У походного королевского двора первое место занимал барон Армфельд. Рана его еще не зажила, и он руку носил в перевязи. Он ввел генерала нашего и всю его свиту в королевскую палатку. Каждый из нас поименно был его величеству представлен, и он со всеми благосклонно обошелся, улыбка с лица его не сходила. После аудиенции дан был нам всем обед. Все до полковничьего чина включительно обедали с королем, а ниже полковника чины приглашены были к обер-гофмаршальскому столу. Таков этикет у военного шведского двора. Офицеры гвардии некоторые немножко было поспорили на этот счет, но Игельстром насупил брови, слова два-три произнес весьма увесистых и фанфаронов урезонил. После обеда я был свидетелем блистательнейшей в свете военно-политической церемонии по случаю размена ратификаций. Она совершена между обеими лагерями во Храме Славы, о коем упомянуто выше, среди тех двух наметов, под коими Игельстром и Армфельд, сближая северные народы, сыграли так удачно в доспехах военных роли памятных еще героев Евгения и Виллара[26]. Неумолкаемый шум черни, туда столпившейся, пальба

из пушек, ружейный треск, барабанный бой и вид примыкающих с обеих сторон двух разных войск в своем парадном одеянии — все это делало зрелище великолепным, а всеобщее целованье молодых воинов, кои за неделю пред сим искали смерти один другого, и откровенное их между собою обращение придавали к величеству картины прелестные черты чувствительности чистосердечной. Игельстром был муж своего времени и, насмотревшись на Екатерину, умел возвысить обряды сей церемонии; они так были важны, что, не нарушая слова, можно было минуту размена назвать священной. Еще тогда таинники придворные были скромны и знали про себя, что все это комедия, но воинство, народ и царство вообще, все почитали трактаты венчанных глав клятвою святою и неприкосновенною.

10-го числа барон Игельстром и сам поехал опять, и нас всех в свите своей повез с утра к королю. Его величеству угодно было представить нам разные военные и духовные свои зрелища. Оделся при нас, сел верхом и двинулся к полкам, за ним без счету толпа шведских чинов верхами и вся наша русская орава. Пыль столбом стояла. Казалось, полсевера поскакало вперед. Проехавши мимо всех своих войск при звуке барабанов и приятной гармонии кларнетов, которых никак нельзя сменить с нашими дудами, на коих флейтщики наигрывают какой-то визг, король остановился посреди обширного поля. Тут для него приготовлено было место и бархатная подушка, разостлан ковер; пастор его исповедания отправил благодарное молебствие. Король молился, стоя по временам на коленях, потом говорил громко речь всем своим войскам, провозглашал новые чины, надевал знаки отличия с обыкновенною присягою под знаменами. Они со всех полков снесены были вокруг его места, и не без удивления приметить можно было на иных древках поношенные лоскуты с вензелем Густава Вазы. Сии древние сокровища в большом у шведа уважении. Назад он нас возил мимо всей своей артиллерии и, окончав все церемонии около пяти часов вечера, накормил нас очень поздно. Весь генералитет, штаб- и обер-офицеры, как наши, так и его, были приглашены к столам, то есть королевскому с ним самим и обер-гофмаршальскому по чинам.

В тот же день ввечеру приглашены мы были на вечеринку в королевский лагерь. Отобедавши, все разъехались по своим норам, отдохнули несколько и опять пред захождением солнца верхами Игельстром с нами отправился в лагерь шведский. Можно себе вообразить, как сух и томен вечерний праздник на придворный манер без дам и в военном стане. Что тут делать и чем забавляться? Несколько пробито было широких дорог

на чистом и ровном поле. По обе стороны насажан ельник. К сучьям привязали и зажгли факелы. Самая печальная иллюминация! Этот праздник менее всего был похож на то, чем его назвать хотели. Светильни оплывали, отрывки сала летели с веток и заражали чистый летний воздух смрадной копотью. Вечер был хорош, но принесен в жертву скуке совсем нового рода. Мы все слонялись по дорожкам в виде гуляющих по летним садам или островам петербургским, но тщетно настроивали воображение! Все нам представляло дикую финляндскую землю, для одних каменных скал и поганых маймистов созданную. Ужин дан хороший на разных столах под шатрами, без этикетов, после которого вошли мы все в большую ставку королевскую, и там ему откланивались его придворные чиновники, имеющие опередить его в Стокгольме; потом продолжалась поговорка еще с полчаса. В это время и я имел счастие быть королем замечен. Обходя всех кругом, он остановился на несколько минут против меня и изволил вопросов пять-шесть мне сделать. Наконец большой сделал всем поклон и отретировался, а мы, кто на какого коня в темноте попал, на том без всякого пути и порядка поскакал в свой угол в Ковали. Так кончилась пышность шведского военного торжества, в котором сквозь поддельного на час великолепия всюду видны были бедность и крайний во многом недостаток. Молодые люди в войске любезны и обходительны, и с ними я очень приятно провел это краткое время нашего свидания, первого и последнего в жизни. Кто меня понесет в этот край, в котором еще холоднее нашего?

11-го был я в Мемеле в гостях у зятя Ефимовского в Измайловском лагере. 12-го прибыли мы с Хрущовым в Фридрихсгам[27], в котором стоял граф Салтыков. В этом уездном городке хорошая крепость, он на море. В настоящую войну был шведами атакован, вытерпел бомбандировку, но не сдался. В тот же самый день я ездил из любопытства на шлюпке посмотреть нашей гребной флотилии, она стояла недалеко от пристани. Я всходил на галеру контр-адмирала графа Литты и посидел у него в гостях. Каюта просторная, светлая, прекрасная! Но водяное житье мне не полюбилось. К вечеру воротился в город; два дни в нем проживши, соскучился досыта, и 14-го числа вздумали мы с Чириковым воротиться в Савитайполь, к своим товарищам. С сей уже поры я не видался более нигде с Хрущовым как с начальником и, принеся ему чувствительнейшую мою благодарность, простился с ним, как с истинным моим благодетелем. Он точно был таким против меня во все время его над нами команды. Бессовестно было бы мне не так думать, не так о нем отозваться.

На пути мы узнали, что наш баталион оставил Савитайполь и пошел в Петербург. Сколько ни хотелось мне еще раз взглянуть на это дикое местечко, но домой стократно более влекло меня сердце. Мы прямо поехали в Вильмандстранд. Тут сошелся наш баталион, присоединился к нему первый, и весь наш Семеновский отряд совокупно выступил 19 числа в поход к Выборгу. 20-го вошли мы в оный церемониальным маршем. Настоящий наш полковой командир майор Корсаков принял над нами начальство и расположил нас лагерем.

21-го с жадным любопытством ездил я смотреть и с большим удовольствием видел подгородное местечко, называемое Monrepos, в полуверсте от Выборга. Увеселительный тут замок, в коем живал некогда принц Виртембергский, брат родной великой княгини, генерал-поручик нашей армии и генерал-губернатор Выборгский, о котором писано в прежних годах. Его уже не было тогда в России. Дом и земля принадлежали по покупке г. Николаи, казначею их высочеств. Уединение прекраснейшее: приморская дичь, украшенная прелестьми роскоши и зодчества, скала утесистая, в которую море беспрестанно плещет своими волнами. Все это превосходно, но мне хотелось поскорей домой. В Выборге все утро стоять в передней у Корсакова, обедать в тамошнем клобе, вечер убивать в обществе графини Салтыковой, которая ожидала тут своего супруга, мне крайне надоедало. Неизвестно было еще, скоро ли наш полк выступит из крепости. Майор наш был нраву крутого и мало снисходительного, однако я попробовал проситься в отпуск в Петербург, и Корсаков сперва пошумел, посердился, потом позволил и, под предлогом командировки к графу Брюсу с некоторыми распорядительными бумагами, он меня послал к нему курьером. Курьерская езда не мое дело. Я при всем моем желаньи быть дома доехал туда не прежде, как в сутки, ибо 24-го ночевал препокойно на дороге, а 25 августа в пять часов пополудни очутился в своем кабинете в объятиях Евгеньи и тормошил уже на коленях Павлушу. Здесь конец рассказу о моем походе и экстракта из пространных моих о нем записок, кои составляют особый журнал в целой большой книге. Теперь возвратимся к основе исторической настоящего года.

Хвалу воздав Творцу за все оказанные мне щедроты в столь короткое, но болезненное время, я отдохнул в тихой жизни среди моего милого и еще не многолюдного семейства. Еще полки наши были на пути, как в Петербурге августа 30-го дня дано было духовное великолепное зрелище; выстроен в новом вкусе богатый Соборный храм в Александро-Невской лавре и перенесены в оный мощи сего северного победоносца[28].

Екатерина, привязанная к наружному величеству, украсила сию церемонию всей роскошью возможной. Кавалеры ордена несли гроб, духовенство ублажало в песнопениях и курении священные остатки столь знаменитого порфироносца. Одной гвардии недоставало к усугублению торжества, но ее готовили к политическим праздникам. Прежде вшествия ее в город нам, некоторым офицерам, предварившим свои команды, не позволено было в публике казаться, и так я инкогнито в толпе народа смотрел на сию церемонию, от которой глаза мои уже отвыкли. Граф Брюс принял меня очень милостиво и отправил назад к полку. Я явился в свой баталион 2 сентября, он уже был в Парголове, под городом. 3-го мы вступили в столицу. Граф Брюс встретил нас у заставы. 8-го числа началось торжество мира, оно продолжалось до 24-го. Через день разные назначены были пиршества. Открыто празднество великолепнейшим съездом всех чинов у двора. Императрица сидела на троне, читана с налоя пред ней секретарем ее Храповицким высокопарная речь, писанная в славянском слоге. Потом провозглашен список монаршим щедротам. Особы обоего пола, окружавшие престол Екатерины, с коленопреклонением приносили ей свои поздравлении и дань благодарности и лобзали победительную ее десницу. С прочими вместе равную честь имели жена моя и сестра. Они, по маловажности мужниных чинов, замыкали шествие своего пола. Гвардия и прочие полки стояли под ружьем, пальба из пушек потрясала весь воздух. В народ кидали серебряные жетоны, и чернь с жадностию их хватала. 15-е число назначено было для угощения штаб- и обер-офицеров гвардии. Огромный дан обед на четыреста кувертов в дворцовой зале. Государыня удостоила его своим присутствием, и я имел счастие тут же с прочими обедать. Кроме гвардейского мундира не было никакого. Двор весь служил, оркестр заглушал шум человеческий, и пир сей прибавлял новый луч славы к венцу Екатерины, среди своих воинов наслаждающейся с признательностию их подвигами и любовию к своему скипетру. По окончании всех праздников мира каждый из нас получил серебряную медаль в память сему происшествию. Многие ближайшие ко двору получили ленты, чины, недвижимые имении, земли и деньги. Никто из сподвижников не остался презрен, унижен, забыт.

Когда весь угар миновался и всякий вышел в настоящее свое положение, я стал помышлять о свидании с родителями моими. Пора было их обрадовать после мучительного страха в такой отдаленности от театра войны. Очаровательный Петербург начинал казаться мне скучным и единообразным. Глаза мои досыта насмотрелись на суетный блеск его.

Исполнив долг мой в походе, что оставалось мне делать в городе? Проживаться бесплодно, выносить капризы надменного нашего майора Корсакова и угождать ему — чем? — разводом. Это казалось мне упражнением самым низким; рассудок мой требовал трудов и занятий уважительнее оного. Механика военного ремесла крайне мне надоедала, и я готов был уже навсегда с ним проститься, но, ничего не любя предпринимать без соизволения моих родителей, мне нужно было о таком решительном намерении с ними наперед посоветоваться, и для того вдвое полезно было мне съездить к ним в отпуск. Граф Брюс охотно увольнял офицеров своего полку, наипаче тех, кои воротились из похода. Я попросился, и отпущен по май. Зять мой граф Ефимовский также. Пред отъездом нашим мы с женою откланивались их высочествам и потом, на одной неделе собравшись, выехали в Москву, и прискакали они наперед, а мы после (потому что заезжали к теще) обрадовать своим присутствием стариков наших, пожить с ними под родимою крышкой в стенах нашей родины Москвы. Как описать восторг родителей моих? Дети их целы, здоровы, опять с ними! Чувство общее во всех нас выше всякого было выражения.

Первые дни нашего свидания прошли в восторгах радости и в хвастовстве насчет похода. Офицеров в отпуску появилось множество, во всяком собрании отличались мы чванством и выказывали себя героями, хотя многие, в том числе и я, грешный, ни одной пули не видали. Поосмотревшись около себя, я начинал думать о будущей судьбе моей. Расположение мое оставить военную службу не противно было ни батюшке, ни матушке; я к ней не чувствовал никакой склонности, а без усердия к делу числиться в каком-нибудь звании и тяжело, и бессовестно. Я был по полку шестнадцатый капитан. Хотя ежегодно и увольняли из них по три человека с бригадирским повышением, но я не смел надеяться из последних капитанов попасть в бригадиры, полагая, что в пятнадцати старее меня, верно, наберется более трех охотников выдтить вон из гвардии. Чтобы дослужиться до полковничьего чина в армии, мне надобно было оставаться в гвардии по крайней мере еще восемь лет, потому что не всякий год выпускали в армию в полковники, а когда и соизволяла государыня, то выпускали только одного и первого капитана по списку[29]. Между тем я должен бы был жить при полку, ходить на караул во дворец, ничего почти не делать и проживаться напрасно. Жизнь петербургская, самая даже умеренная, выходила вон из моего расчета, и я бы вовлек отца своего для содержания моего в страшные убытки. Все это, а паче, повторю, отвращение мое от военного состояния решило меня принять

другие меры, тем более что всякий год делал в старшинстве большую разницу, и я мог бы, вышедши несколько лет позже в отставку, ничего не выиграть в чинах, а потерять только время. Счастие мне помогло! Я решился, послал в полк просьбу и приватными письмами убеждал моих приятелей походатайствовать об отставке моей к статским делам бригадиром. Остаток года провел я между страха и надежды, опасаясь, чтоб по молодости моей в капитанском чине меня не уволили вместо бригадира полковником[30], но есть минуты, в которые надобно ловить случай. Он сам бежит навстречу нашим желаниям. Так точно ныне случилось со мною. С новым годом это откроется. Теперь, провождая настоящий в семье моей, окружен родными, мне оставалось сожалеть только о том, что отец мой становился очень дряхл; изнуряем недугами и скорбми душевными, состав телесный в нем поспешно разрушался. Дом наш уже не тот был богатый и роскошный, в котором я родился и воспитанье получил. Именье родителей моих, обремененное долгами, едва могло доходами своими удовлетворять потребностям нашего многолюдного семейства. Нужда часто была ощущаема каждым из нас. Батюшку съедали заботы. Чем больше, по великодушию его и твердости, он старался скрывать от нас свои печали, тем более тяготила нас догадка, что он страждет и несчастлив. Одна Машенька, дочь наша, невинное дитя, его утешала. Он любовался этим ребенком, лелеял ее беспрестанно и так приучил к себе, что мы казались ей чужими в сравнении с московскими домашними. Естественное действие привычки. Натура не знает нравственных соображений. Младенец видит отца и мать в тех лицах, кои поят его, кормят и снабжают. Вот картина моего положения в истекшем годе. Встретим новый и позабудем на минуту те печали, кои под крышкой родительского дома, казалось, надолго водворились. Дай Бог, чтоб не навсегда!

1791

Обстоятельства в Питере расположились в мою пользу. Доклады подписаны, и 6-го числа генваря дошла до меня нетерпеливо и со страхом ожидаемая весть, что я уволен к статским делам в бригадиры. По счастию, из пятнадцати старее меня капитанов только двое попросились[1], я мог пристать к ним третий, и без затруднения дело исполнилось. Все мы в моей семье чрезвычайно обрадовались. В первом движении рассудок наш всегда в отлучке, одни действуют чувства. Но чему ж мы так

восхищались? Выслушайте. Редкость быть в мои годы, то есть в двадцать шесть лет, уже бригадиром — чин, принадлежащий к генералитету; свобода отставной жизни, независимость полная от властей и военных, и гражданских, право закладывать карету в шесть лошадей, носить шитый мундир и шляпу с плюмажем, видеть имя свое в газетах, когда случится летом в заставу выехать, в Саввин или Троицкий монастыри на богомолье (тогда в обычай ввелось печатать особую статью о приезжающих и отъезжающих в столицу, включая одних первых пять классов) — сколько выгод! Как не биться сердцу от радости у того, кто все их получил вдруг! Родители мои радовались по другим побуждениям, суета на них имела уже слабое влияние. Им приятна была перемена моего состояния потому, что уже я не буду носить военного звания, от которого они отвращались, и волею или неволею участвовать иногда в кровопролитии неправосудном, отнимая жизнь у себе подобного, что по долговременной отлучке, наконец, буду жить с ними и при них и тем сберегу доходы, не истощая их напрасно на содержание меня в стороне, по дороговизне всего и по роскоши, отяготительной для молодого супружества. Вот от каких начал истекала радость стариков. На них действовал рассудок, а я, как ребенок, еще не вмещал долго в себе моих восторгов и того важного преимущества, что я дослужился до титула высокородного[2].

Очарование мое скоро исчезло. Опыт всему научит. Я начал примечать в короткое время, что в наружных преимуществах, каким бы названием их не окрестили, нет ни чести, ни славы, еще менее спокойства и истинного счастия. Все внешнее исчезает как дым, все в политике общественной произведено только для обольщения пылких голов и сердец малодушных. Жена мало-помалу стала тужить о решительной ее разлуке с Петербургом, местом почти ее рождения. Отец мой, видя меня в большом, но неуважительном чине, доколе я в нем буду праздно шататься по Москве в толпе прочих дюжинных бригадиров, грустил, что я так рано перестал упражняться и ничего не делаю. Ему хотелось поскорей доставить мне место в гражданской службе и занять меня полезными ее трудами. Я сам, имея свойственное всякому самолюбие что-нибудь значить, и, к несчастию, в высокой мере, не мог удовольствоваться вполне настоящею моею сферою и за пером в кабинете писать только романсы, не будучи полезным отечеству. Статская служба после военной казалась мне гробом всех удовольствий моего возраста. Я видел, что мне надобно будет или преодолеть себя, или бороться с волей моего родителя. То и другое меня отягощало. С другой стороны, все играть комедию и скоморо-

шить в публике московской мало мне представляло забавы. Бригадиров ежегодно выпускали из гвардии по двенадцати, оттого-то я, как выше видно, прозвал этот чин дюжинным. Чин сей становился час от часу площаднее и дошел до того, что современный стихотворец того века не струсил напечатать в одном своем произведении следующие два стиха:

Земля полна вся кавалеров,
И свет стал ныне бригадир[3].

Молодость не позволяла мне еще проникнуть в тайны благополучия. Не знал я, что сколько общему мнению ни порабощайся, на весь мир не угодишь; встретишь инде похвалу поступкам своим, инде злоречие. Совесть, так сказать, девственная еще не тверда, когда ее не искусили самоё превратности судьбины. Истины сей я не разумел тогда. Взгляд на механизм жизни человеческой был еще не верен, следовательно, обрадовавшись бригадирству на часок, что мне оставалось потом, как не тужить, для чего все товарищи мои, служа, возвышаются в чинах, имеют на них права и надежды, а я без трудов гражданских поседею, наконец, в шитом мундире и буду антиком[4] пятого класса? Находка неважная! А сколько ни наряжайся в философы, все одно да одно. Помилуй Бог, как скучно! Так рассуждал я сам с собою, греясь в кабинете у камина.

Между тем, переменя и место, и род жизни, я устроил несколько свои дела. Очистил долги свои небольшие в Петербурге, дом свой полковой продал, людей и нужные пожитки перевез в Москву, выходил от Герольдии паспорт и, разорвав все связи свои с северной столицей, стал приискивать в Москве забавы на свой вкус во ожидании лучшей участи.

Хотя я тотчас пустился во все публичные собраньи, но более старался участвовать в маленьких обществах. Длинные мои разлуки с Москвой раззнакомили меня со многими; оставались два-три дома, с коими я сохранил короткое обращение, и между ими и семьей делил все свое время. Вот как оно у меня было расположено: все утро я упражнялся с пером в моем кабинете, обедал ежедневно дома, редко в гостях, весь день до вечера провождал с отцом и с матерью. Старость и немощи удаляли их от большого света, они редко или, лучше сказать, почти вовсе уже не выезжали. Ужин домашний подавался в восемь часов, в девять старики наши ложились почивать, а мы в сестриных комнатах до обыкновенной ночной поры составляли свою круговеньку. Жена моя любила жизнь уединенную, хотя всю молодость свою провела в шуме, да и где же — в царских

палатах! Сверх того, Москва ей не нравилась, она не могла приладиться к ее роду жизни. Состояние беременности, в котором она находилась с осени, давало ей полное право освободиться от всех обычаев светских и жить по своему произволу. Общество наше домашнее умножено было еще двумя лицами. Сестра родная матери моей, вдова генерала Ржевского, о смерти которого я упомянул в своем месте, Софья Николаевна скончалась чахоткою в осени прошедшего года, оставя после себя трех дочерей, двух старших замужем, а последнюю в девках. Возраст ее требовал опекунов, ей было семнадцать лет. Граф Иван Григорьевич Чернышев, вельможа и дальний родственник Ржевского[5], принял опеку на себя вместе с отцом моим и сам, живучи в Петербурге бессъездно, носил одно титло опекуна, а сироту и состояние ее предоставил в полное распоряжение батюшке, который принял Марью Степановну к себе в дом. За ней было наследства по разделу и сделкам с сестрами пятьсот душ, но самой собой дома держать ей было бы неприлично, итак, мы жили вместе. Сестры ее были с мужьями своими по другим городам. При доме тетки покойной до смерти ее жил предобрейший человек, уже немолодой, по имени Иван Николаевич Классон. Служа долго в штате Ржевского, он был наконец отставлен майором и управлял его домом. Имея отличные качества сердца, этот чувствительный иностранец так привязался к семейству своего начальника и благодетеля, что предпочитал умеренность самую строгую избыткам роскоши, лишь бы мог быть полезен услугам, требуемым от опекунов. Батюшка взял и его под свою крышку и покровительство; итак, нас было немало. Мы в своей семье, будучи все довольно молоди еще, находили разные способы проводить вечера довольно приятно. Я о смерти тетки моей ничего не сказал тогда, как она последовала, потому что связь ее с матерью моей была не так тесна, чтоб потеря ее нанесла ей сильную печаль.

«Где вода была, тут и будет» — старая русская пословица. Меня опять взманили играть комедию, и я, несмотря на пятый класс, явился снова на театре. Между старыми знакомствами моими приятнее всех для меня с самого ребячества был дом госпожи Опочининой. Она любила жить и веселиться. У нее были две дочери, богатые невесты; старшая, собой пригожа, ловка, умна, занимала все помышлении матери, а та ею одной дышала. Прыгая с ней на балах еще до переселения моего в Петербург, я не был к ней равнодушен, и она после страсти моей к Меншиковой первая водворилась в моем сердце. Склонность моя к ней до того дошла, что я почти помышлял о женитьбе на ней, и, хотя отец мой не

очень благоприятно смотрел на тогдашние восторги, но, может быть, этот союз бы состоялся, если б сердце мое было постояннее, но почти решась по возвращении из Петербурга просить родительского дозволения на сватовство — в некоторой надежде, что оно принято будет благосклонно матерью, которой я уже нравился, а более еще мое имя, ибо при богатстве не лишнее бывает звонкое прозвание — почти решась искать руки милой Опочининой, поскакал в Петербург. Это было в 86-м году. У заставы сделался холоднее, а там влюбился и женился на Смирной. В самое то время как мы, будучи только что обвенчаны, приехали в Москву, рассылали карточки по городу о помолвке Опочининой за богатого, достойного и фамильного человека Нарыш<кина>. Вместе мы составляли в 87-м году две новые четы, и каждая наслаждались, забыв прошедшее, настоящим своим благополучием.

Восторги скоро проходят. Я привык к своей Евгенье, Нарышкина к своему супругу. Он, к несчастию, впал в слабость[6] и прожил все свое имение; жене оставалось бедствовать. Мать, любя ее страстно, дабы развлечь вседневные ее огорчении, вздумала сделать у себя театр, и меня пригласили играть. Намерение столь невинное не представляло ничего опасного, я согласился и стал туда ездить ежедневно. Будучи очевидцем в каждый приезд разных неприятных сцен между мужа и жены и рассуждая, что ежели бы я сдержал мое первое намерение, она бы была менее несчастна, я составил самый софистический силлогизм в голове, который нечувствительно опробовало мое сердце. Бедная, думал, женщина страждет от меня! Следовательно, мне должно всячески угождать ей, вымышлять и способствовать ее забавам, чтоб сколько возможно облегчить тягость положения ее, которое таковым представлялось мне от моего обмана или, скроем слово, непостоянства. Вот как часто молодость при самых, по-видимому, благородных побуждениях вовлекает в тяжкие ошибки и, исправляя мечтательное зло, совершает другое, существенное.

Итак, я пустился в забаву, не смысля, что часто в меду кроется нож. Назначили пиесу, разобрали роли, начались репетиции, но как обыкновенно случается в благородных обществах, редкая комедия удавалась; иная актриса отговорится ногтоедой[7], другую не отпускает мать, тот актер у бабушки трет спину, когда ее прихватют спазмы, у другого кареты нет, а пешком ходить на пробу стыдно; подобные препятствии заставили нас приняться за оперу «Служанка-госпожа»[8]. Только два лица, Нарышкина и я, составляли все общество. Какая соблазнительная удобность! Репетиции не урежали. Нарышкина всякий вечер являлась к ма-

тери; пока муж ее усиживал в аглинском клобе хорошее пиво и портер, жена забывала свое горе на театре домашнем. Управлял оркестром, составленным из охотников, виртуозо в своем роде князь Хилков. Нас двух петь учил славный певец Манарелли. Это мне ничего не стоило, мать Нарышкиной все делала собственным своим иждивением, лишь бы несчастной дочери ее было весело. Мы играли по-французски. После всякой репетиции оставался я один в их доме. Мать, две дочери и я вместе ужинаем и просидим, бывало, до двух и трех часов ночи. Читателю довольно, чтоб отгадать, что старая склонность сделалась скоро пылкою стpастию. Я влюбился по уши, забыл свои обязанности, жил для одной Нарышкиной и всякий вечер, заложа карету, оставлял дом свой и жену в нем одну с семейством. Все шло своим чередом: забава — забавой, любовь — любовью. Не происходило ничего предосудительного, но неосторожности было много. Вся зима таким образом прошла с конца прошедшего года тотчас почти по приезде нашем до приближившегося Великого поста, который, положа конец нашему театру, отнял у меня предлог частых свиданий с Нарышкиной.

Но прежде еще заметили у меня худые следствии моего легкомыслия. Родители мои чрезвычайно полюбили Евгению и недовольны были моим с ней холодным обращением. Евгения сама неравнодушно переносила мои беспрестанные отлучки и, отгадав причину их, часто плакала. Чем более на нее действовало мое поведение и чем скромнее она скрывала печаль свою, тем нежнее отец мой догадывался и старался отвлечь от нее малейшее прикосновение досадительного чувства. Все оборвалось на мне. Начались выговоры, пени, усовещевании, но когда страсть ими уважает! Нечаянный случай сам прекратил горестную расстройку; я распространюсь насчет его ниже, договорим об этом. Мы сыграли при большом стечении лучших людей свою оперу. Приспел потом Великий пост. Хозяйка дома была набожна, заперла на это время дом свой и прекратила в нем начатые увеселении. Зербина[9] моя полетела странствовать с мужем по деревням, а мне, просто сказать, присадили дома хвост. Полно ребячиться! Если не навсегда, по крайней мере на время. Причину соблазна отняли. Я очнулся и пришел сам в себя, возвратился со всею пылкостию своего характера по-прежнему к Евгении, которой дано было судьбою одной меня так сильно и прочно привязать к себе, что я после каждого заблуждения (а их было много) пламеннее еще ее любил, чем когда-нибудь, и в сравнении с моими возлюбленными на минуту Евгения не только ничего не теряла, но еще находила в уме своем средства теснее кре-

пить узел сердечного нашего союза. Много женщин я любил, но исповедую здесь откровенно, что другой Евгении я не встречал в жизни моей. Сам Бог ущедрил меня таким сокровищем.

Расскажем теперь случай, который много способствовал моей остуде к Нарышкиной. Князь Потемкин, проезжая из армии в Петербург, рассудил завернуть в Москву, в которую ожидали его на масленице. Так и случилось. Все готовили ему наперерыв праздники, балы и маскарады, в клобе не вмещались все его члены от жадного желания хоть на один съезд записаться, дабы видеть полуцаря российского. Незадолго пред тем граф Шереметев пожелал видеть, как жена моя играет Нину, не для того, чтоб дивиться вместе со всеми чрезвычайному таланту ее в этой роле, но дабы показать хороший образец театрального искусства первой своей актрисе и любовнице Параше[10]. Наследник всех сокровищ своего отца и некоторых его вкусов, он держал на той же ноге, как и прежде, домашний свой театр, на нем играли все его люди. Москва ими из трусости любовалась, но Шереметев чувствовал, что Параша еще далеко стоит от превосходства в своих ролях. Охота пуще неволи! Он не был с нами знаком, знал, что мы родня, но не уважал никогда нашим домом. Тут надлежало ему первый шаг сделать, чтоб добиться успеха. Он презрел все приличии и, не ездивши к нам никогда, решился задрать визитом, после которого тотчас приступил к предложению и звал жену со мною разыграть на его театре оперу «Нины». Забывая нас во времена тяжкие или огорчительные, вспомнил, что мы свои, когда дело дошло до его собственного удовольствия. Примеры такие уже не редки были в нашем молодом веке.

Я радовался этому как случаю самому удобному презреть богатство и фортуну и показать сему баловню счастия, что, несмотря на свои сокровища, не все то ему удается, чего хочется, и что бывают вещи, коих груды золота доставить не могут. Я внутренно торжествовал, готовясь ему отказать, но, видно, для богатого сама судьба ни в чем не полагает препон. Мне противудействовали две важные причины. Во-первых, жене моей самой очень хотелось сыграть Нину и блеснуть в московской публике, для которой она была еще дичок. Простительное самолюбие в ее лета, тем более, что оно здесь имело весьма одобрительное побуждение. Уверена будучи, что она игрой своей затмит мою новую прелестницу Нарышкину, она знала, что одно сравнение ее с тою весь перевес чувств моих оборотит в ее пользу и повергнет меня паки к ногам ее. Во-вторых, батюшке чрезмерно хотелось также видеть, что за феникс Евгения на те-

атре, и порадоваться ее минутному торжеству. Против сих двух сил я нашелся слаб вооружаться и принужден был согласиться на приглашение графа Шереметева, которого я и не чтил, и не любил нимало; дело сделано, слово дано, и мы играем. Спектакль присрочен был к масленице.

Приехал в Москву исполин российский князь Потемкин. Начались празднества. Граф Шереметев, по знатности не столько чинов и лица своего, как богатства, не мог освободиться, да и не смел, от обязанности дать значительный пир князю. Он объявил нам намерение представить для него «Нину». Здесь новые возродились неудовольствии, я сильно ему противился. Родясь в Москве и зная дух ее публики, я не хотел наполнить ее молвою бесчестною для жены моей и для меня, я не хотел, чтоб подумали, что спектакль заранее был к этой поре прилажен с умыслом таким, чтоб жена моя пленила князя, и что я охотно готов, как многие другие раболепные бояра нашего времени, подвести ее к услугам Потемкина, дабы стать через нее на ходули мнимого счастия. Отец мой поддержал мое негодование. Долго спорили с Шереметевым, но он принужден был извиниться перед князем в том, что праздника своего дать не успеет прежде Великого поста. Князь сам ему на это день назначил, и так комедия наша не нанесла нам той страшной неприятности, от которой поздно бы было уже почти отклоняться, ибо билеты в театр разосланы были за несколько часов до приезда князя в Москву.

Всю масленицу мы промучились на пробах. Каждый день их было по две. Шереметев сам управлял оркестром. Ничего не пощажено для великолепия зрелища. Театр помещал до сту пятидесяти человек; мы сыграли оперу в последний день масленицы, и граф сам в оркестре аккомпанировал нас на басу. Это составляло главнейшую страсть его во всю жизнь; он и при отце, когда холопи их играли всякую неделю оперы, брося гостей, садился в оркестр за свой контрабас и тотчас после театра уходил в свои комнаты, не приветствуя никого из посетителей родительского дома. Таков был его род жизни, он и тут ему не изменил. Ничто сильнее доказать не могло, сколь очаровательно жена моя играла Нину, как то, что, несмотря на приезд Потемкина в Москву, на праздник, данный ему в день нашего театра в благородном клобе, на жадность всей публики видеть его и туда, где прошла нога его, стремиться в угождение великой его покровительницы, несмотря на столь сильные уважения, театр Шереметева наполнен был зрителей. Вся отборная публика Москвы в нем теснилась. Все было набито народу, и рукоплескании во время игры ее составляли беспрестанный гул во всем здании театра. Батюшка, первый наш

гость, не выезжающий уже почти никуда по немощам своим, собрал все свои силы и приехал радоваться моей женой. Он плакал от восхищения, глядя на бесподобную игру ее, в которой, смело утвердить можно, никто, никто не выдерживал с ней сравнения, особенно же в настоящей роле. Это одно составляло собственное мое удовольствие, в прочем мы измучены были на пробах, как нанятые актеры.

Молвим нечто о распорядке спектакля. Граф до согласия еще нашего, уверен будучи, что ему никто и ни в чем отказать не может (как бы он ошибся, если б моя одна воля действовала!), назначил сам, кому с нами играть, и подобрал всю труппу, но, к стыду своему, принужден был ей отказать, потому что я в этом устоял и решительно объявил, что жена моя иначе играть не будет, как с теми, коих сама выберет, и что все актеры нужные нами приисканы. Нечего было Крезу делать, как согласиться. Вот имена наших товарищей:

Нина — Евгения;

Отец ее — я;

Любовник — Рукин А. А., отца моего двоюродный брат побочный;

Кормилец — Х. А. Яковлев, гвардии офицер;

Подруга Нины — меньшая сестра моя;

Хоры и пастухи представлены были певчими графскими.

Вообще все действующие лица имели приятные голоса, и музыка шла с успехом, соразмерным игре актеров. Весь спектакль мог назваться прекраснейшим.

Нравы человеческие познаются иногда из безделиц. Так означилось и теперь гнилое свойство графа Шереметева. Условились мы с ним разослать сто пятьдесят билетов, взяв из них на свою часть сто, а пятьдесят отдали ему, с тем, однако, что как он нам, так и мы ему обязаны представить именной реестр приглашаемым, дабы избежать неудовольствий встретиться с людьми, тому или другому неприятными. Граф со многими из наших общих родственников был в разладе, все они из нашего списка выключены. Мы с нашей стороны требовали, чтоб некоторые лица были вымараны из его списка, в том числе и некто короткий его собеседник князь Одуев<ский>, трус, подлец и нахал, наполненный злоречия и обмана, не терпимый всеми честными людьми. Кто им был не обруган, кто не лизал яду с языка его? Граф обещал отцу моему вернейшим словом не давать ему билета, но, не смея сделаться предметом его ругательных насмешек, он из трусости велел его впустить в потаенные двери в партере, и, к удивлению нашему, лишь поднялся завес, мы увидели его в первом

ряду с почетнейшими гостями почти рядом с отцом моим. Поздно было заводить шум; из уважения не к хозяину уже, а ко всему собранию, надобно было проглотить эту подлую обиду.

И что же потом? Какая признательность? Граф на другой день спектакля прислал проведать о нашем здоровье, а сам потом ниже один раз не приехал в наш дом, хотя для того только, чтоб сказать спасибо. Его дары были бы не у места, никто б из нас их не принял. Учтивость — одна настоящая цена снисходительным поступкам, ее с нами не было соблюдено нисколько. Я не обманулся, заранее ожидал этого, так и случилось. Жалел только о презрении, оказанном старому моему отцу, а его двоюродному брату, которое довел он до такой степени, что даже в праздник, данный им князю Потемкину, граф никого из нас не пригласил потому, что мы с батюшкой не первых были классов по чинам. Таков-то был граф Шереметев, достойный сын своего родителя. Ясно открылось нам тогда, что ему хотелось иметь этот спектакль в доме своем единственно для того, чтоб дать хороший урок своей Параше, которого никакими деньгами купить было нельзя, и за то огорченный мой отец, не обманывая уже себя более, разорвал с ним всякое знакомство. Кончились все наши с домом его отношении. Но я долго говорил об этой комедии; правда, что успех ее важное произвел действие в моем семействе, оторвав меня от Нарышкиной, что казалось тогда не безделкою. Хвала и честь Евгенье, которая умела кроткими средствами владеть сердцем моим и выпутывать его из всех тенет сторонних без досад моих и волнений. Заметив сие, бросим золотую куклу, которая послужила к тому средством, и постараемся уже не возвращаться к ней снова.

Пока я делал свое дело, играл комедию и еще резвился, батюшка не терял из виду своего намерения, и чем более примечал во мне легкомыслия, тем сильнее старался занять меня службой, дабы труды гражданские убавили праздности моей. В то время управлял Москвою генерал-аншеф князь Прозоровский, барин честный, прямодушный и строжайшего благонравия. Отец мой был с ним хорошо знаком и просил его о определении меня к должности. Очистилось скоро место председателя в Верхнем земском суде[11]. Оно по штату положено было чином ниже моего, но для начала казалось выгодным, потому наипаче, что я мог первые свои опыты сделать под надзором моего отца. На сии места требовалось утверждения самой государыни по докладу Сената. Князь Прозоровский меня представил, Сенат также, оставалось ожидать конфирмации. Дело так представилось легко в исполнении, что батюшка не

рассудил особых просьб писать ни к кому в Питер. Он оставил это на произвол судьбы, а я между тем, считая на успех неотменный, занялся образованием постоянного рода жизни в Москве: отделал и прибрал свой флигель на батюшкином дворе, составил круг знакомства из молодых людей. Всякую неделю в течение Великого поста у нас были маленькие концерты: князь Хилков, князь Шаховской, Новосильцев, Тит<ов>[12], страстные охотники до музыки и мастера играть сами, съезжались к нам разыгрывать квартеты. Пост пролетел приятнейшим образом. Из сторонних обществ я чаще всех посещал дом старичка князя Владимира Сергеевича Долгорукова, который меня отменно полюбил. Он жил тогда в одном доме с родной своей невесткой, княгиней Натальей Сергеевной Долгоруковой, и она была уже женщина лет за пятьдесят. Мы с этим домом без родства имели только одно имя общим. Князь Долгорукий служил долго в артиллерии, исправил всю Семилетнюю войну, потом был послан министром ко двору великого Фридриха, короля Прусского. Там, в царство Екатерины II, он выслужил бессменно при этой миссии с лишком двадцать лет, уважаем своим двором, любим прусским, потом уволен с чином действительного тайного советника от службы и, приехавши лет уже семидесяти в Москву на житье, прибавлял к доходам невестки своей весь свой пансион, состоящий в четырех тысячах рублей, и держал с ней общий дом. У него не было никакого другого состояния. Он самых благочестивых правил был человек, в обращении со всеми тих, скромен, ровен, любил людей, беседу и, несмотря на старость свою, способен был привлекать к себе людей. Невестка его, дама, как выше видно, немолодая уже, старалась во всем угождать воле его и доставлять ему способы проводить время без тягости. По вечерам всегда к ним съезжались несколько человек отборных людей; игра в карты и разговор сокращали приятным образом время. Она была вдова и ума любезного женщина, в доме их всякий возраст находил удовольствие, и я так участил к ним мои посещении, что уже не был гостем, а почти домашним. Разговор старика для меня был очень полезен, он много читал, видел, опыты его в политической сфере придавали вес большой его поучениям, а с невесткой его, которая уже имела внучат[13], мудрено мне казалось нажить неприятности, но судьба любила всегда самые странные случаи на пути жизни моей ставить. Это изъяснится ниже.

Скоро после Святой недели ваканции в московских местах наполнились, но я лишен желаемого. Государыне угодно было в председатели в Верхний земский суд определить вместо меня другого. Это нас очень

огорчило: поздно догадались мы, что и самая, по-видимому, бездельная милость у двора без сильного ходатайства получена быть не может. Князь Прозоровский, досадуя, что представление его лишилось надлежащего уважения, рассудил описаться с Безбородкою, который, возведен будучи в высокий чин и принадлежа собственно иностранному департаменту, был так близок к государыне, что кредит его распространялся даже и на гражданские дела. Он ворочал всем. Потемкин и Безбородко были единственные светила Российского государства. Батюшка, с своей стороны, писал к графу Брюсу. Оба отвечали очень учтиво. Первый Прозоровскому, что будто государыня не соизволила на помещение мое в председатели прямо, хотя и в среднее место губернское, потому что я никогда еще не служил в статской службе, а начинать первым местом в каком бы то ни было трибунале неприлично. Отговорка весьма благовидная, но Прозоровский, который при представлении обо мне тем охотнее соглашался на оное, что государыня, как сам он мне сказать изволил, желает, чтоб все места в Москве были наполнены фамильными лицами, никак не удовлетворился такой вымышленной причиной, а граф Брюс к отцу моему писал, чтоб он не огорчался, относя неудачу к негодованию или худому обо мне мнению монархини, но что подобные случаи происходят очень часто без намерения. Словом, открылось, что мое место мимо меня дано знакомцу Безбородки[14], о котором он при докладе сенатского представления просил Екатерину, и я вымаран ее рукою. Хотя этим не поправлялось мое дело, но не так уже черно оно стало нам казаться. Прозоровский, желая поправить испорченное, предложил мне место советника в Гражданской палате, но я его отказал, считая, что чины не ассигнации, на которые лаж[15] плотят. Я хотел удержать за собой вполне достоинство пятого класса и не соглашался двумя степенями ниже своего чина начать новой службы, отец мой опробовал мое честолюбие, и так оставался я еще праздным. Сие огорчало наиболее потому, что Москва, любя суетные разглагольствии, твердила, что меня не определили для того, что я играю комедии и что государыня не жалует дворян скоморохов. Время показало, сколь ошибочно было заключение московских догадчиков, но между тем надобно было терпеть и великодушно выносить молву народную.

Так-то часто пустые заключении портят кровь человеческую. Дело самое простое: обо мне никто не просил, о другом хлопотали знатные люди. Перевес должен был, натурально, обратиться не в мою пользу. Я злодеев личных не мог еще иметь. Чем и как их заслужить в гвардейском

кафтане? Граф Брюс одобрял и ныне в письме своем к батюшке мое поведение. Государыня меня не знала, наговорить было некому, неудача вся происходила от простой русской пословицы: «Под лежач камень вода не течет». Князь Прозоровский продолжал и потом свои милости ко мне, всегда принимал меня вежливо, благосклонно, отличал звом на большие праздничные обеды, и я очень часто езжал к нему за город в Коломенский дворец, где он все лето живал обыкновенно. Жаль, что мне не удалось служить под начальством такого достойного мужа!

Все эти хлопоты не помешали мне лето провести приятным образом. В день именин отца моего 23 мая рассудилось мне у себя дать маленький праздник. Местоположение нашего городского дома на берегу Москвы-реки, и весьма обширное, доставляло нам превосходные способы улучшить оный. В саду играла во весь вечер духовая музыка, в шатре плясали всякого звания люди, гулянье открыто было всем свободно. Для потехи низкого состояния людей привезен был фокус-покус, а в комнатах наших до самой ночи продолжался бал. Сад осветился плошками, пущено было несколько ракет и сожжен на берегу реки небольшой фейерверк. Ужин состоял только из сорока кувертов, но общество было отборное, и всякий забавлялся непринужденно от души. За столом сидели одни дамы, кавалеры им прислуживали и, за стульями стоя, заменяли слуг, которых вовсе в тот покой не впускали. Все это шло так стройно и весело, что сам отец мой и матушка, несмотря на их немощи, просидели у нас до двенадцати часов против своего обыкновения. Именинник мой драгоценный так доволен был нашим приношением, что, деля с нами заботы хозяйства, изволил сам прислуживать и не садился за стол. Какое лестное снисхождение! О, какой отец умел так ощущать любовь детей своих и быть столь нежно к ней признателен!

Постоянное житье на одном месте мне никогда не нравилось. Я любил мыкаться; далеко ездить, смотреть диковин не позволяло состояние. Вздумалось мне одному побывать у Троицы и рассмотреть этот знаменитый монастырь. Путь невелик. Жена, будучи в последнем времени беременности, не могла быть мне товарищем. В Троицын день там всегда наезжали из Москвы множество гуляк и богомольщиков. В числе первых и я к тому же дню присрочил мой отъезд. Со мной один товарищ был старый мой майор Классон. Сели налегке на дрожки и покатили. Там я встретился с Нарышкиной, и если б не краткость времени, опять бы заронилась искра в мое сердце. Прожил я в лавре двое суток и насмотрелся на все редкости и сокровищи сей древней обители. Какое бо-

гатство! Какие утвари и вещи бесподобные! Лавра есть единственное место в России, как в этом отношении, так и во многих других. Повесть о настоятелях ее, о пожертвованиях во времена самые суровые никогда не забуд[е]тся в летописях нашего царства[16]. Платон угощал нас великолепным столом в день Пятидесятницы. Отборные яства, прихотливые напитки, бриллиантовые панагии[17] показывали, что монахи не всегда бывают так бедны, как быть обещаются. Я совершенно пленен был его затеями в саду, уединенной пустыней, а паче всего его сладкой беседой. Хорошо, думал я тогда, жить с деньгами во всяком положении. С ними цари гнут свои народы в несколько сгибов; с ними монахи после вечерни пьют с друзьями своими венгерское; с ними подлый человек обращает к себе внимание мужей благороднейших; с ними в малом числе и я от безделья съездил в лавру, обонял сытые трапезы нищей христианской братии и видел, как Платон в бархатных рясах претерпевает вольную нищету. О великий талисман, деньги, ты все строишь в подлунном нашем мире!

Здесь помещу я странное приключение, случившееся со мною нынешним летом. Известно уже, что я очень коротко знаком был в доме княгини Натальи Сергеевны. Вдруг получаю я письмо от неизвестного. Читаю и нахожу насчет ее прескаредный пасквиль, в котором она беспощадно разругана, рука мне незнакома, но почерк весьма похож на ее собственный. Сама себя бранить она не могла, это ни к чему не служит. Куда, думал я, деться с такою грамоткою? В первом движении решился ее отдать ей самой в четырех глазах и последовал внутреннему совету. В тот же день являюсь к ней, нахожу одну в отдаленном кабинете, сообщаю ей причину моего визита, запираются отовсюду двери, я осматриваю везде, даже за окошком, нет ли около двора любопытных, и остаемся мы одни-одинёхоньки. Она читает письмо, изумляется его содержанию, жжет его при мне и, оторвав печать, чаятельно, для сличения с своими переписками, прячет в свой столик, запирая его ключом. Кажется, дело умирает в самом глубоком секрете. Состояние мое во время сего свидания было за нее самое мучительное. Какими глазами глядеть на женщину ее лет, которая сама о себе принуждена при мужчине молодом читать целый лист вранья соблазнительного и клеветы постыдной? Скоро я принужден был заключить, что или стены ее говорили, или в них жили чародеи. Мне искренно хотелось отгадать издателя пасквиля. Однажды, посещая вечером князя Не<свицкого>, с которым я сделался коротким приятелем, выдержал я нечаянно сцену в самом новом роде. Хозяин был женат недавно на молодой и пригожей девушке, своей

двоюродной сестре. Оба они любили друг друга страстно. Супружество их долго остановлено было законными препятствиями, но vis et pecunia vincunt omnia*. Жена была умна, муж очень прост; хороший достаток позволял им наслаждаться всей прелестью свободного гостеприимства. Жили они смирно, согласно и весело. Ежедневно посещала их одна приятельница, девушка средних уже лет и такая, каких в Москве множество, коих возят по домам рассказывать небылицы. Я с ней тут съехался, и никого кроме нас не было. Беседуя о всякой всячине между собою, навел я речь и на пасквиль; долго толковали, и мне начинало казаться, что эта гостья что-нибудь о нем знает. Любопытство мое удвоилось: «Сделайте милость, скажите, — говорил я ей, — по крайней мере хоть то: мужчина или женщина писала ко мне?» — «Право, не знаю; но как бы, кажется, ни подделан был почерк, мудрено не узнать знакомой руки». — «Например, сударыня, если б вы ее видели, узнали ли бы вы кого из ваших знакомых?» — «Может быть». Тогда я, притворясь, дабы лучше выведать истину, обещался ей привезти это письмо. «Вам этого, думаю, сделать уже нельзя». Я начал бледнеть от удивления. «Почему?» — продолжал речь. «Если от него что-нибудь и осталось, так разве одна печать, да и та заперта». Вообразите тут мое смущение, я почти остолбенел. Она захохотала. Вспомните, что письмо при мне сожжено, все двери, окошки, щели осмотрены, нигде никого при том не было, и печать прибрана за замок. Долго я не знал, что это все значит, но, приставши очень неотступно и с некоторой уже подозрительной досадой к этой особе, ничего другого к развязке от нее не добился, как следующий получил ответ: «Этот пасквиль писан в обществе многих, а не одним лицом. Вас хотели им пощекотать. Если вы покажете вид сердитый, то ожидайте вслед за ним другого, если же, напротив, вы презрите этой шуткой, то она тем и кончится». Я последовал совету, и, действительно, никто меня более не беспокоил, и все дурачество тем кончилось. Я никогда не мог разобрать, что значила эта сплетня, и в совершенном остался неведении насчет сказанного пасквиля, сохраняя в уме своем подозрение, что эта говорящая газета, с которой я просидел такой колдовской вечер, конечно, была как-нибудь участницей в этом нелепом приключении. Оно нимало, впрочем, не подействовало на отношении мои с княгиней Натальей Сергеевной, и я по-прежнему, не меняясь в обращении, продолжал ездить в ее дом и находил себя в нем очень хорошо.

---

* сила и деньги побеждают все (лат.).

Жена моя, сидя все дома, и от беременности, и по вкусу к тихой жизни, занималась пером, арфой и рукодельем. Она вывяз[а]ла прекрасный кошелек своей работы и к Петрову дню осмелилась его поднести великой княгине при письме, с которого список поместится в конце года (1). Оно сочинено было на французском языке и препровождено к генеральше Ливен. Ею поднесена работа Евгеньи ее высочеству, и посредством приятельницы жены моей г-жи Вилламовой, с которой, как видно из прежних лет, она очень свыклась в монастыре, генеральша уведомляла ее, что великая княгиня, крайне милостиво приняв ее приношение, приказала изъявить ей свое благоволение. Обыкновенное официальное приветствие, которое уже выходило вон из всякого уважения. Вилламова находилась тогда при воспитании великой княжны Александры Павловны и у двора представляла значительную ролю.

В ию[л]е[18] готовилась жена моя родить, и я от нее уже не отходил ни на минуту. 7 числа Бог дал нам сына, Евгенья разрешилась благополучно. Его нарекли Михайлой, и батюшка с ребенком Машей был его восприемником. Дети переставали нам быть в диковинку, уже третьего мы лелеяли; итак, мы ради были его рождению, но не с теми восторгами окружали его колыбель, как ту, в которой пеленали Павла. Тотчас после родин жениных на Маше появилась корь, которая сошла очень благополучно, а оспа привита ей была еще в отсутствие наше, когда мы в прошлом лете были в Петербурге. Никакого безобразия она от нее не потерпела, обе сии болезни детские ребенок перенес хорошо. Мало-помалу жена стала оправляться. Три недели прошли, и я мог, удовлетворяя приятельскому зву, отлучиться от нее без боязни дни на три за город.

Князь Несвицкий, тот самый, о котором говорил я выше по случаю пасквиля, купил прелестную подмосковную в тридцати пяти верстах от Москвы по Звенигородской дороге и, правя новоселье, пригласил меня на оное. Погода была прекрасная, я отправился и был принят хозяевами как искренний друг. Мало времени там я прогостил, но никогда так весело еще не жил. Собранье наше состояло из тридцати человек обоего пола, никого не было старее тридцати лет. Всякий забавлялся непринужденно по своему вкусу и делал, что хотел. В восемь часов утра начинался день, в девять все сходились в общую залу. Однако никому не казалось время продолжительным. Утро проходило в разном рассеянии, после завтрака общего иной садился за карты, другой гулял верхом или пешком, я всякое утро купался в ванне на реке и наслаждался прохладой. После стола начинались другие забавы: на дворе горелки, хороводы,

приятная смесь крестьянок с нашими городскими барышнями восхищали зрение новостию картины своей; там на дерновых коврах плясали цыгане и кричали свои дикие песни, тут группы московских гуляк толпились в саду и, как волны, разливались по всем дорожкам, между тем как хозяева с своими зваными гостями, разбросавшись в оранжереи, обрывали персики, абрикосы и свежие плоды с деревьев. Здесь, поближе к Москве-реке, на берегах ее во весь вечер почти раздавались унылые звуки огромной роговой музыки, и эхо в лесах, разнося их повсюду, питало душу сладкой меланхолией, которой ничто иное дать в таком совершенстве не может. Я ею был очарован. В сумерки все предметы села были иллюминованы, везде огонь, везде зарево торжественное. Инде вдруг полетят ракеты, и треск их слышен под облаками, инде водяные шутихи, встревожа всю рыбу в реке, забавляли чернь, и крик ее был залогом чистой радости. Так проведены были все трои сутки сряду без малейшей отмены и бережи чего бы то ни было. Хозяйка была всегда мила, а в такой праздничный день она казалась божеством своего поместья. Я влюблялся в нее и таял, как воск у очага. Вне себя от восхищения, я не видал, как время прошло. Простясь с хозяевами, крепко вздохнул, поцаловал руку у княгини и поскакал домой, не оглядываясь назад. Подобно пьяному от вина, я бредил во всю дорогу деревенским праздником, но скоро хмель прошел, и, подъезжая к Москве, я занят был весь одной Евгеньей, любя ее, как сама она один раз сказала, не больше, но лучше всех прочих женщин. Слово *лучше* имело в смысле ее здесь особенную силу. Она говорила правду.

Воротясь домой, я нашел печаль в своих покоях, как будто всякое удовольствие непременно всегда вместе с ней должно быть смешано. Миша мой, заразясь от сестры своей корью, не мог ее вынести, и жизнь его была в опасности. Много ли надобно такому младенцу, чтоб умереть? Мы его лишились августа 15, и потеря его тем более нас огорчила, что она была для нас нова. Имея других детей, мы уже рождением Миши не так сильно восхищались, но, теряя ребенка в первый еще раз, я плакал о нем как отчаянный. В самое то время, когда издыхал наш малютка, когда он один занимал нас в целом свете, княгиня Долгорукова, светская дама, супруга князя Василия Васильевича, приехавшая на лето в свое увеселительное Знаменское под Москвою[19], присылала меня звать играть у нее комедию. На приветственное письмецо ее полетел шибче молнии отказ мой. Мы с женой проливали реки слез и похороняли третий плод супружества нашего в Донском монастыре, где простой над-

гробный камень сохранил его имя и продолжать назначен до гроба нашего память краткости его жизни. Сей камень был основанием грядущих наших могил, и смерть положила его началом родового нашего кладбища. К облегчению нашей горести служило только то, что Маша совсем выздоровела от кори, и Павел, слава Богу, был здоров. Но беда новая висела над нами.

Огорченье произвело волнение в крови у матери. Евгенья, не совсем еще пришед в силы после родин, начала харкать кровию. Обстоятельство сие было уже не ново. Родя княжну Марью, она почувствовала первые признаки слабости в легком. Как тогда, так и ныне медики обеих столиц уверяли ее и меня, что она многокровна и что это отнюдь не страшно. Мы слепо им верили, хотели себя обманывать, однако робели, и, при повторении того же случая ныне, я чрезвычайно боялся, чтоб Евгенья не зачахла. Ей тотчас пустили кровь из ноги, оттянули ее от груди, и она выздоровела. Лечил наш дом тогда славный доктор, мой сотоварищ в Университете, г. Политковский, о котором, помнится, я уже и говорил прежде. Так-то текли летние дни сего года в моем семействе: то приятно, то печально. Увы! Когда ж это и не так? Все погоды в одинаком положении на свете, но настоящий год приводит мне на память чудную скоропостижность и разнообразие в происшествиях. Я с удивлением смотрю на связь их и так, что, поверяя их бумаге, не успеваю даже соблюсти никакого порядка в моем рассказе: лишь одно обстоятельство замечательное проходило, как вдруг рождалось другое. Среди самого лета решено в Сенате давнишнее тяжебное дело в нашем роде, о состоянии и ходе которого пойдет за сим сокращенная повесть. Новый важный эпизод в моей поэме!

Бабка наша Чаадаева[20], оставляя имению своему наследниками отца моего и дядей его, продала знатную часть оного при жизни своей в чужие руки, и по смерти ее нашлось только шестьсот душ, следующих в раздел. Дядья отца моего, люди привыкшие к ябеде, пристрастные к корысти, отказались от наследства, дабы опорочить купчую, и вступили в дело. Цель их была уничтожить продажу и все укрепить за себя. Отца моего спросились потому, что он был еще очень молод, и хотели действовать за него своим умом. Дело сие, как обыкновенно водится, производилось несколько десятков лет, а между тем оставшиеся шестьсот душ в Тульском наместничестве взяты в казенный присмотр. Тяжба стоила больших издержек, и дедушки мои под сим предлогом переводили кучу денег. Отец мой утверждал всегда, что иск наш несправедлив, и тем более винил зачинщиков оного, что если б мы выиграли процесс, то мерт-

вая наша бабка подвергалась наказанию, положенному по законам за лживый поступок, и хотя мертвое тело по силе человеческих постановлений страдать уже не может, однако имя ее пронеслось бы яко зло в актах публичных от ближайших ее родственников, и такой поступок по характеру моего отца не мог быть ему приятен. К счастию и чести престарелых наших князей Долгоруковых, обстоятельства отвели их от стыда подводить мертвую бабку под кнут. Соперники наши, купившие то имение, имели сверх правды еще на своей стороне и знатность, и богатство — две силы весьма оборонительные, когда они действуют совокупно. Орловы и Демидовы выдерживали с нами жестокий бой на перьях. По некотором времени отец мой, уважая родство, был в страдательной необходимости вместе с дядьями подать прошение на высочайшее имя. Оно сдано в Сенат. 2-му департаменту велено рассмотреть и решить дело без очереди. Приговор не замешкался, и велено нам в тяжбе отказать, а оставшиеся шестьсот душ разделить поровну, яко наследство, нам принадлежащее. Старики покушались подать апелляционную жалобу на департамент и внести дело в общее собранье, но отец мой отказался от лишних хлопот, требовал своей части в Тульской деревне и, получив следующие ему сто пятьдесят душ, вошел во владенье.

Тут крылся зародыш нового раздора. Именье управляемо было казною, но доходы с него получал один из дядьев, князь Николай Алексеевич. Его уже не было на свете; ответственность обратилась на двух сыновей. Начались с ними переговоры о доходах, двадцать лет деревня их давала, но счету никакого, налицо ни гроша. Все издержано, расчесться никому не хотелось, признаться в злоупотреблении чужого добра еще меньше. К разбору нужна была чистая совесть, зеркало у многих весьма тусклое. Отец мой, не хотя быть осмеян братьями своими за излишнее снисхождение к отцу их, подал на них жалобу и вызвал их в Совестный суд к расчету. Мне известно, сколько шаг этот дорого стоил чувствам отца моего, и он конечно бы его не сделал, когда б надменные князья келейно ему признались, что они не правы. Но кто без самолюбия? Кто захочет уступить одной кичливой наглости? Батюшка, унизив их тщеславное о себе мнение, никогда, впрочем, не хотел явно их обличить, потом бросил это дело без настоятельного производства и вместе с претензией своей бросил и самих братьев. Никогда между домами сих родственников наших и нашим не было никакой связи, а паче с семейством князя Александра Алексеевича. Мы удалялись даже площадного знакомства. Из вступления в сию Историю жизни моей видно, сколь правильно за-

служивали потомки этого чернейшего в роде нашем человека наше отвращение и постоянную досаду.

Отец мой не имел от природы способности к хозяйству. Старость лишила его и последних сил, на то потребных. Новое его приобретенье, истощенное временным управлением от казны, в кругу нескольких частей чужого владения, принадлежащих разным помещикам, не весьма к нам благонамеренным, не могло усилить средств его содержания до уважительного степени. К сему убеждению присоединялось еще и желание батюшкино снискать какое-либо небольшое имение под Москвою, которое бы могло его и веселить, и занимать и в котором мог бы он, дабы приятное соединить с полезным, завесть винокуренный завод. Итак, он рассудить изволил доставшуюся часть ему продать и на эти деньги купить тотчас подмосковную в сорока верстах от города, в которой всего было сорок душ. Бездельное сие стяжание удовлетворило в полной мере видам его. Постройка завода, обновка нового дохода, производство винокурения заманивали его туда очень часто даже и в осеннее время, и Никольское, наконец, так ему полюбилось, что он готов был бессъездно жить в этой пустынной деревне.

Хотя я говорю об отце, но в пользу детей моих отважусь сделать здесь назидательное для них примечание. Впрочем, оно, показывая наготу человеческого свойства, не предосудительно тому священному лицу, о котором уста мои никогда не рекут хульного слова.

Батюшка всегда был один из сильнейших антагонистов винокурения, то есть он не почитал торг вином дворянским занятием. Доколе был богат, рассуждал о сем свободно и гнушался сих низких средств приобретения, забывая, что промысла нет ни подлого, ни благородного, что торг имеет свои выгоды и опасности для всякого состояния людей и что князь, граф могут хотеть так же хлеб свой продавать в вине гораздо дороже, нежели зерном или мукою, как и все прочие граждане царства, не унижая своего личного достоинства. Бедность и недостаток привлекли его к сим первым истинам. Расстроясь в доходах, нажив долги, оставляя семейство большое без надежд в будущем и без выгод в настоящем, батюшка помирился с винокурением и сам под старость ходил смотреть по нескольку раз в день на завод, много ли из девяти пуд муки высиживается у него сивухи! Так-то нередко обстоятельства, искушении, опыты худого и желание добра влекут нас к поступкам, кои в постоянной бывают противуположности с естественными нашими вкусами, с чувством и застарелой логикой. Признаемся же с Волтером, что необходимость есть сильнейший руль деяний человеческих.

Скажем еще здесь, не изменяя истине, что покупка Никольского есть памятник великодушного поступка отца моего, каким не всякий может похвалиться. Эта деревня была описана за начет казенный у одного комиссариатского чиновника и продавалась с публичного торга, следовательно, за бесценок. Отец мой никак не хотел ее купить с аукциона и стеснить более еще положенье несчастного, который лишался последнего куска хлеба. Он вошел в переговоры с ним самим, отобрал от него добровольную его цену и, не уторговывая ни копейки, дал ему то, чего он попросил в первом слове. Прекраснейший поступок, который еще утвердит в нас непреоборимую истину, что никто так не ощущает тягость нищеты другого, как тот, кто сам испытал суровое чувство недостатка.

Поворотимся еще назад и мимоходом коснемся княгини Несвицкой, у которой я гостил пред сим незадолго. Скоро после деревенских своих праздников хозяева молодые между собою рассорились. Жена бросила мужа и прискакала в Москву, где начала жить розно с ним. Развод их нимало не принадлежит к моей Истории, но как особа княгини Несвицкой будет еще иметь впереди некоторые связи с важными для меня самого обстоятельствами, то я упоминаю о собственном ее положении, дабы внимание читателя привлечь к имени женщины, не совсем посторонней по участию ее продолжительному во мне чрез всю почти мою молодость. Не надобно из сего заключать, чтоб я скрывал в знакомстве моем с нею что-либо соблазнительное. Совсем нет! Хотя многие, а паче муж ее, долго и были в том заблуждении, что я причиною их развода, но клянусь здесь по чистой совести, что я в нем не только не имел никакого участия, даже не знал о нем прежде, нежели он сделался молвою общею в городе. Она была женщина молодая, пригожая, имела тьму прелестей очаровательных, все это правда; всякому простительно было заняться ею преимущественно пред другими, в чем и я, конечно, наряду со многими готов покаяться, но вторично клянусь, что я ни о каком поступке ее со мною худого слова сказать не вправе. Всегда учтива, хотя и вспыльчива, мила и осторожна; ее поведение со мною не делало ей никакого пятна, и я обязан сей признательностию женщине несчастной, но отнюдь в глазах моих не порочной, и которая нимало не заслуживала рассеянных на счет мой постыдных подозрений в публике. Несмотря на развод ее, я сохранил с ней по-прежнему знакомство, посещал ее изредка и всегда с удовольствием, предлагал ей мои услуги, когда совет мой или действии были ей нужны. Дабы здесь ознакомить читателя короче с ее положением, потому что я уже предварил, что мне о ней доведется говорить в разные

времена моей молодой жизни; скажу еще, что после развода муж ее подавал жалобу государыне, очернил до чрезвычайности поведение жены своей и выработал, что две дочери, прижитые им с ней, отняты именным указом у матери и отданы в монастырь на воспитание[21]. Именье ее, которым муж содержался, потому что он сам по себе имел ничтожное состояние[22], а она близ двух тысяч душ, взято в опеку, и князь Прозоровский, убежден будучи слезами простого ее супруга, так деятельно исполнял крутую волю Екатерины насчет сей четы, что княгиня Несвицкая терпела всякие угнетении в Москве, и из веселого дома, каков был их, сделалась ее квартера печальнейшим и уединенным жилищем.

Все это только приятные или противные эпизоды. Главная мысль, которая все наше семейство занимала и в досуг, и в суету была та, чтобы видеть меня паки в службе и у дел. Отец мой по старости лет и болезням не мог ожидать лично для себя никакой почести. Сына имел одного меня. Зять оставил гвардейскую службу в одно время со мною майором[23], следовательно, на меня только могли все в доме вымаливать у Бога чинов, званий и всех игрушек суетного мира. Человек никогда настоящим не доволен, каждый хочет переменить свое состояние, несмотря на то, что часто самая лестная новость хуже посредственной старинки. Ошибки скоро приметны, но никто, глядя на другого, не учится из опытов, у всех при неудаче сторонней вырывается следующая мечта: «Это случилось с таким-то, а со мной не может случиться». Велико слово русское *авось*! Оно разрушает царства, гонит полки, оно покорило нам Бендеры при Панине[24], оно и меня решило на самый важный шаг.

Рассуждая однажды вечером с батюшкой о праздности моей, приметил я из слов его, что ему хотелось, чтоб я ехал в Петербург добиваться места. Ехать в Петербург! Это меня ударило в голову. Легко сказать — тяжело исполнить. С этим впечатлением пришел я в свой угол спать и долго сам с собой вел следующий разговор. Что я буду делать в Петербурге? Доехать туда, жить там и воротиться домой — убыток верный. Разлука с милою женой, с детьми, с семейством — огорченье верное. Беспрестанно от завтрого к завтрому ждать обещаемых милостей — досада верная. Вот наклад поездки. А где же барыш? В мечтах! Посулы, ласки, приветствии — и ничего полезного. Буду шататься в сенях знатных господ, искать их внимания, на которое они так скупы. Буду гнуть спину до колена, но что потом? Один скажет: недосуг; другой: пожалуйте завтра; третий: попросите такого-то, а я замолвлю; четвертый, пятый, шестой, словом, всякий, сколько их ни найдется, посулит много — не

сдержит ничего. А я с пустым карманом, с поношенным абшитом[25], с кучей визитных карточек и зовных на бал и комедию ворочусь в ту же Москву удвоить сетовании моих домашних. В сих размышлениях не мог я сна дождаться, думал, придумывал, ворочал свое состояние с лица, с изнанки и ничего не находил в нем хорошего в этом предмете. Бог, неутомимый о нас Промыслитель, внушил мне при встрече следующего дня благую мысль, которую я привел в исполнение, и самый успех показал, что я не ошибся, назвав ее благою.

Проснувшись 11 сентября, я вздумал написать письмо к государыне и просить места в гражданской службе. Это был почтовый день. В минуту загорелось воображение, письмо сочинено, опробовано батюшкой, который один был мой ценсор, совет и владыка, переписано набело[26] и в тот же день мною отдано на почту с надписью: «В собственные руки». Так-то сильно мне не хотелось в Питер, что я решился на поступок не весьма обыкновенный. Положась в намерении сем на Бога, я не рассудил ни к кому писать раболепного письма о ходатайстве в мою пользу, дабы самая непосредственность избранного мною к престолу пути была отличительной чертой моего чувства. В конце года поместится копия с этого письма (2). Сохранив переписку приятельскую с Ададуровым, я просил его одного в коротких строках наведываться, что по моей просьбе воспоследует, и меня тотчас уведомить, если она будет иметь хороший успех. Когда человек уступает первому движению, он на все решителен, но потом действует в свою очередь рассудок и пугается иногда разными соображениями, кои прежде не входили в голову, а в сердце их никогда искать не должно, оно только что кипит и побуждает. Итак, по отправлении письма, стали мы все этот шаг одумывать и более представляли себе неудач, нежели успехов. Всякий день умножал наши страхи, и мы очень боязливо ждали развязки. По расчету нашему письмо должно было дойти до рук государыни около 22-го числа. День знаменитый, торжественный в России, в который она некогда венчалась на трон, и в память столь высокому событию всегда разливались милости с престола. Немудрено, казалось, было и мне найти в списке их где-нибудь и мое имя. В самом деле, 26 сентября прискакал ко мне курьер от Ададурова с известием, что я 19-го числа по именному указу определен в Пензу в вице-губернаторы. Второе место в губернии и почти первое по важности своей в статской службе. Я тотчас отправил нарочного к батюшке с таким радостным уведомлением. Он тогда был в своей подмосковной и, не медля, воротился в город. Тут мы всем домом воздали хвалу Богу, при-

несли ему благодарную жертву в горячих слезах нашего умиления и с радостию велиею все облобызались. Удача редкая, примерная! Вот как умела Екатерина заставить себя любить во всех углах своего государства.

Напрасно было бы здесь вымышлять, какой пружиной все это так устроилось. Теряться в догадках не нужно, все просто и натурально. Бог благословил, Екатерина приказала, и все тут. Государыня, обыкновенно, изволила сама читать те письма, кои подписывались в собственные ее руки, она ни на кого не слагала с себя обязанности вслушиваться в голос, посылающийся из сердца ее подданного прямо к ней самой. Тогда редко ее беспокоили подобные надписи потому, что она не жаловала ни дерзости, ни шуток, и, следовательно, или правда, или отчаяние руководствовало пером на обертке такого письма. Секретарь должен был ей поднести мой конверт. Государыня прочла, и как в то же утро докладывано ей было о увольнении по просьбе пензенского виц-губернатора статского советника Копьева, то государыня, приказав его отставить с пансионом, вместе с тем повелеть изволила и меня определить на его ваканцию. Охотников на нее было много, и сильно старались о некоторых весьма крупные господа, как например: о князе Хован<ском> дядя его Репнин, о родственнике моем князе Долгорукове[27] Салтыков Н. И., о князе Трубец<ком> генерал-прокурор тогдашний князь Вязем<ский>, о пензенском помещике и председателе Верхнего земского суда Кол<окольцове> хлопотал и сам даже Безбородко, но как между ваканцией и наполнением ее прошла одна может быть четверть часа, то все эти ходатаи и не успели спохватиться, и каждый начал опять до новой ваканции возить ко двору записку в кармане о своем клиенте. Что мне до того за дело? Я при месте и путем самым лучшим, когда достиг своей цели без поклонов поработительных, стоек в передней и не заплатя никому за то ни гроша, ниже весовых денег за письмо на почту (так было в обыкновении), все покровительства мимо, и вместо их угодил такой человек, который, живучи в Москве, сидел на печи и толкался в народе. Счастливая минута!

С первой потом почтой получил я несколько поздравительных писем от родственников и благодетелей. Дядя мой граф Строганов писал мне несколько замысловатых строк, которых бы я, верно, не имел удовольствия прочесть, если б не был взыскан такою щедрою милостию от монархини, ибо на него более всех действовала русская пословица: «Далеко из глаз — далеко из сердца». Николая Ивановича Салтыкова супруга поздравляла меня также с успехом, давая притом чувствовать, что не без предстательства ее мужа я столь выгодно вступил в статскую службу.

9 Зак. № 3535

Им ли это было говорить и писать? Когда Николай Иванович не силен был мне выпросить гораздо прежде пустого, так сказать, места директора Московского университета, о котором я неоднократно писал к нему без пользы, но этот барин любил все относить к себе и кичиться чужими услугами, дабы падали перед ним искатели фортуны, как перед чудотворной иконой в ее храме.

Странный на сей случай выпустил анекдот тот же Салтыков, но которому я не могу дать веры, а рассказать здесь не лишнее. Сообразя все его поведение со мною в разные времена жизни моей, увидит всякий, что повесть не совсем справедлива. При подаче моего письма государыне стоял тут же и Салтыков. Прочтя, она изволила будто его спросить, кто я таков. Салтыков доложил: «Внук родной того, кто казнен при Анне». — «Какого поведения?» — «Служил в моем полку и всегда вел себя хорошо. Надобно дать ему хорошее место». Вот весь разговор, и велено потом указ написать. Затем Екатерина, обратя речь обо мне же к Салтыкову, добавила: «А что я его не поместила в Верхний земский суд, это произошло не от гнева или худого моего о нем мнения, а для того, что, будучи фамильный человек, он в Москве станет ездить по крестинам да пирам и ничему не научится, а тут (то есть в Пензе) он будет у меня работать». Вымысел прекрасный. Можно обо всей этой сказке сказать: si non é vero é ben trovato*. Впрочем, хотя Салтыков распустил такой слух, дабы возвысить свое обо мне старание, я не нахожу тут ни малейшего подвига с его стороны. Он меня похвалил на вопрос, каков я. Он сказал правду: я всегда был смирен и благопристойно служил в гвардии. Сказать противное было бы лгать и с умысла злодействовать. Положим, что и это бывает часто, но когда человек только что не лжет и не клевещет, этого еще почесть нельзя за благодеяние такое, какое оказывает другой собственным своим подвигом в чью-либо пользу. Итак, я, во-первых, не верю выдуманной басне, во-вторых, если и должен поверить, то не вижу тут никакого благотворения, разве по разуму Фигаро в комедии, который сказал, что большой барин делает нам уже много добра, когда не сработает зла[28]. Ergo**, когда два человека на берегу реки гуляют, один обязан другому, если он его сильнее, тем, что не толкнет его в воду.

В Москве все кричали, узнав о моем определении: «Ах! Как он счастлив!» Подлинно, в мои лета, не стяжав еще никаких опытов, начинать

---

* если и неправда, то хорошо придумано (итал.).

** Следовательно (лат.).

службу с такого важного звания казаться могло чрезвычайным преимуществом. Князь Прозоровский до получения указа долго не хотел сему верить и принимал слух обо мне за площадную молву. Когда я приехал донести ему, что это точно правда, он с досадой вспомнил отзыв, сделанный ему в свое время Безбородко, будто бы государыне не угодно было меня поместить в Верхний земский суд по причине новости моей в гражданских делах и, сообразя с пустой этой отговоркой настоящее мое определенье, видел ясно, что его обманули и представление не уважили. Между тем, пока иной делил мою радость, иной сожалел о скорой со мной разлуке, другой с завистью глядел на мое счастие. Я принял намерение, прежде нежели получу указ и буду обязан явиться прямо к должности, воспользоваться свободой моей и съездить в Петербург, дабы там пасть к ногам Екатерины, воздать должную ей благодарность жертвою коленопреклонной, а потом объездить всех бояр, ознакомиться со всеми новыми моими властями и нижайше благодарить всякого из них, кому угодно будет похвастаться вспомоществованием мне в получении места, особенно же Н. И. Салтыкова. Все это есть дань необходимая свету, но в совести моей я уверен был, что Бог один устроил таким образом жребий мой. Его единого ищу я в радости и печали, на него крепко надеюсь и от него только, яко от источника всех благ, жду мира, тишины и благоденствия ныне и вовеки.

1 октября направил я путь свой на самое короткое время в Петербург и поехал один налегке. Дорогой нечего было делать иного, как размышлять. Я очень радовался выгодному обороту моего положения, но сколько же против удовольствия полагал я на весы противного! Тяжело было вообразить, как я примусь за дело, не имея о нем никакого понятия, и как исправлю должность столь трудную в краю мне неизвестном, без родных, друга и наставника? Опасно казалось за малейшую невинную ошибку подвергаться общему злоречию, заслужить заключение, что я никуда не гожусь, и сделать свою участь еще хуже прежней, потеряв место от своей оплошности. Страшным представлял я себе игом вступить в поприще незнакомое, нажив уже тяжеловесных злодеев, ибо, конечно, не желали мне ни добра, ни успехов те, коим хотелось быть на моем месте; а более всего грустил я о необходимости жить розно с родными в провинции степной, далеко от отца, матери и ближних, и быть гражданином новой для меня области. Хотя, с одной стороны, новизна общежития губернских городов меня и обольщала (новое всегда человеку нравится более известного), но с другой, я имел уже довольно рассудка, чтобы пони-

мать, что обнова хороша на минуту, а на другую никак не в диковинку. Итак, просто сказать, восхищение мое, смешанное с такими размышлениями, было то же, что бочка меду, да ложка дёгтю. Увы! Когда человек может быть совершенно доволен? Думы шли в голове моей поспешно, а лошади по распутной осенней дороге везли плохо. Погостив один вечер на пути у тещи моей, я без остановок дневных приехал в славный город Питер и расположился на квартере в отчизне своей, то есть в Семеновском полку. Тут, увидя наши казармы и вспомня старинку, брызнули у меня слезы, и я почувствовал силу привычки!

Бросим взор прежде всего на тех людей, кои по гражданской службе могли непосредственно на меня действовать. Генерал-прокурор и вместе государственный казначей, следовательно, главное лицо в правлении финансов был князь Вяземский, тот же самый старик, с которым служил отец мой, но дряхлость и болезни сделали из него отомата. Он уже ничем не занимался почти, его возили в тележке по зале, часто не узнавал около себя людей и каким-то диким мычаньем истолковывал свои желании, но государыня никому еще его места не отдавала, он числился во всех своих должностях. Я обязан был к нему являться, но визиты мои тут были бесплодны.

Граф Безбородко не по должности своей, ибо он управлял Иностранным департаментом, а по титлу случайного господина вмешивался нередко в гражданские дела. К нему доступ очень был труден, и насилу по получении нескольких отказов от секретаря его Трощинского удостоился я насладиться его лицезрения. В один из дней собрания в его доме приняли меня к нему пополудни. Я постоял у стола с картами, за которым он тешился в три, видел, как он лабеты[29] пишет, и больше ничему не научился. Он был умен, сведущ, прозорлив, но сладострастен, ленив и тщеславен.

В 1-м департаменте Сената, в который стекались все бумаги Казенных палат, сидели сенаторы для отметки тех резолюций, кои придумывал за них по власти сына своего у двора г. Зубов, обер-прокурор, отец фаворитов. Этот старый пролаз понимал дело и был словоохотен, но аргументы у нас были противуположные. Он любил цедить казенную бочку, в нее вливалось в Пензе с тамошних винокуренных заводов до трехсот тысяч ведр вина, а я готовился ее крепко затыкать, чтоб из нее не выдыхался спирт. Итак, мы друг друга не понимали, но он со мной вежливо свиделся, вежливо и простился.

При князе Вяземском находился А. И. Васильев, особа, истинного почтения достойная. Он с малых чинов начал служить при этом гене-

рал-прокуроре[30] и наконец достиг в настоящее время до чина тайного советника, что тогда значило быть уже барином. Он соединял в себе все качества государственного человека и готовился быть сам со временем стропилом политического здания. Опыты его ни с кем не сравнивали, он одарен был памятью превосходной, неутомим в трудах, быстр в постижении предметов его звания, усерден и точен в исполнении, в обхождении приветлив, скромен, тих, сердца мягкого, но ума неповадливого. Он был князя Вяземского довереннейший сотрудник, и поколику тот уже не мог, в тележке сидя, распоряжать финансами, то Васильев заменял его совершенно, отправлял его должность не категорически, то есть не по указу, а по естеству вещей.

Финансы в России управляемы были государственным казначеем, но это титло наименовано было только в чертежах Екатерины, в прочем никто его не носил, и князь Вяземский, будучи генерал-прокурор, управлял всеми отделенными частьми государственного казначейства. Оно составлялось из четырех: экспедиция одна ведала состояние доходов по государству, и в ней председательствовал князь Сергей Иванович Вяземский, тайный советник; вторая распределяла все расходы в государстве, ею управлял г. Хлебников; третья собирала счеты и чинила всем доходам полную ревизию, тут начальником был сам Васильев; четвертая, в которой сидел Бутурлин, занималась поверкою и взысканием недоимок. Каждая по роду дел своих имела название. К сим четырем экспедициям принадлежали в Петербурге и в Москве по два казначейства. Одно называлось Статным и отпускало суммы на окладные расходы, другое Остаточным, в которое собирались избытки дохода и распределялись по одним только соизволениям монаршим. В одном из сих служил некогда и отец мой. Казенные палаты были под строгим надзором государственных сих экспедиций и обязаны были давать им отчет во всякой мелочи по счетам, а по делам письменным подчинены они были одному первому департаменту Сената, итак, все мои отношении обращались к генерал-прокурору.

Я уже сказал, что он лишен был и душевных, и телесных сил. Оставалось мне искать связей с Васильевым. Он хорошо был знаком с отцом моим и потому принял меня прекрасно: рассуждал со мной о моей должности, терпеливо выслушивал мои докучливые спросы, давал мне советы и даже пригласил меня в свою экспедицию, где, за одним столом с собою меня посадя, показывал мне и прояснял заведенные по счетной части табели и формы. Я его поступками со мною был чрезвычайно доволен, и

если б небо не свело меня с ним, то бы, несмотря на важность доверенного мне места, мне пришлось бы, побывав у всех знатных господ петербургских, выехать оттуда столько же сведущим о моих обязанностях по службе, как бы и о персидских законах.

Вот в каком положении я нашел своих новых начальников, а старые приняли меня одинаково, как будто ввек со мной не расставались. Граф Брюс очень милостиво, граф Пушкин с искренним дружелюбием, а граф Салтыков очень сладко и приветливо. Всем я им кланялся, всех благодарил и каждому поручал себя в покровительство снова. В короткое время моего пребывания в Петербурге я жил почти в карете, а вечера препровождал по-прежнему или у Щербатовых, или у Молчановых, ибо я друзей своих никогда не менял. Они часто меня бросали, а я из них никогда и никого. После этой картины моих новых отношений обратимся к приключениям.

В первое воскресенье я был представлен государыне, как водится, в кавалергардской по выходе ее из церкви, стал на колени и с живейшим чувством благодарности поцеловал ее руку. Большой двор перенесся уже весь в город, а меньшой, по обыкновению своему, находился еще в Гатчине и ожидал там 14 октября. Ехать туда препятствовали мне новые мои зависимости, суеты нового состояния, дорога и необходимость, поскорее конча мои нужды, ехать к должности, ибо, признаюсь, что, удостоясь столь великой милости Екатерины, я ревновал оправдать ее и показать деловым людям, что я уже не тот старый вертопрах, который играет комедии без разбору во всякое время, но что я готов кинуть все увеселении, дабы исправным быть в своем звании. Между тем во ожидании их высочеств в город, я был представлен великим князьям и княжнам.

После сих церемоний призван я был в Сенат к посвящению. Там объявлен мне велегласно в полном присутствии первого департамента об определении моем указ. В полном, говорю я, не потому, чтоб все сенаторы заседали в нем, напротив, один только и был старик барон Фитингоф, прочие или не езжали от лени, или очень поздно, а полным я зову его потому, что г. обер-прокурор Зубов уже был в оном, а при нем, яко при всемощном владыке, Сенат мог говорить, что хотел. По объявлении мне указа повели меня в сенатский приход в Исаакиевскую церковь, и я прочел мою присягу при г. Зубове, обер-прокуроре. В Петербурге все от мелочи до большого действия великолепно. Мне казалось, что я очень важными занят недосугами, тогда как, ничего не делая, я только рыскал туда и сюда и, смело скажу, если в рассеянии моем тогдашнем я вывез с

собою что-либо полезное для житья моего будущего в провинции, это была беседа и наставлении А. И. Васильева. Я долго не забуду этого прямо гражданского мужа. Он мог, и как человек должен был, иметь свои недостатки, слабости, даже пороки, но я не из тех людей, кои на худое наводят микроскоп, а на добродетель смотрят в тусклый лорнет. Повторю, что г. Васильев несколько раз привозил меня в свою экспедицию. В ней сидели с ним за круглым столом князь Алексей Борисович Куракин и Сушков — дадут мне четвертый стул. За одним красным сукном сижу с ними — положут перед меня пензенские бумаги: или счеты Казенной палаты, или представлении ее. Васильев, отрываясь от дел собственно своих, мне толковал ход дел Казенной палаты, прояснял ее представлении, рассуждал об них со мною, и у него-то я некоторый сделал приступ к навыку в делах, до меня касающихся. Я смотрел еще во все тетради, как в алгебру, имел желание прилежать и научиться своему ремеслу, но до искусства еще далеко, а без него ремесленником не сделаешься. Все приходит с порою!

Приближенье зимы побуждало меня торопиться домой, то есть не в Москву, а в Пензу. Там были казенные винокуренные заводы, надлежало тотчас их осмотреть и взглянуть на сию важную операцию. Я имел уже некоторые предварительные сведении насчет дел и чиновников тамошних, но, дабы не перебить у себя настоящей речи, я оставлю разговор о сих предметах до приезда в губернию. Собравшись из Питера выехать, я ждал еще одного воскресенья, чтоб откланяться и большому, и меньшому двору разом, но в самое то время получено в Петербурге известие, что князь Потемкин умер[31]. Чудный промысл Божий хотел столько же унизить этого сатрапа при смерти, сколько высок он был в животе своем. Князь, будучи уже болен и съедаем внутренней тоскою, скакал из одной крепости в другую на турецкой границе. Сделалось ему дурно; его высадили из кареты, разостлали на голой земле солдатский плащ, богатырь лег на степи отдохнуть и опочил на ней вечным сном. Где лучше повторить слово премудрого: «Мимоидох и се не бе, взысках и не обретеся место его»[32]! В Петербурге весть сия произвела всеобщий ужас. Ни Самсоном разрушенная храмина, ни падение стен Иерихонских не сделали столько шуму в свое время, сколько в наше у двора смерть сего политического великана[33]. До такой степени всякий удивлялся, что повсюду было слышно восклицание: «Как! Князь умер?!» — будто бы ему дано было, как Илии и Эноху[34], бессмертие. Государыня плакала неутешно как женщина и затруднялась как царица выбором

вождя на его место. Придворные обезьяны повесили нос, а Зубов и его партизаны[35] сетовали с виду, но внутренно радовались падению колосса, который мог рано или поздно обрушиться на них всею своею массою.

Состояние войск против неприятеля, лишившихся такого полномочного начальника, положение мира с Портою, начатого, но еще не конченного — два сии предмета занимали одни всю царскую мысль. Императрица, дав чувствам своим полную волю, расстроила силы телесные и не могла показаться в публику, выходы ее по воскресным дням отменены на время. Безбородко поскакал в армию соглашать дипломатическое путанье, а я, маленькая песчинка, брошенная сюда ветром случая, не знал, как и быть при такой сумятице, к кому прислониться, ехать или ждать? Поступить по мыслям своим, не спросясь никого, я не смел. Васильев искусен был в делах, но несведущ в этикетах придворных. Я доложил Н. И. Салтыкову, он покачал головою и послал меня к Зубову. Я к нему не хаживал, но тут надобно было заглянуть в его переднюю. Фаворит принял меня учтиво, выслушал причину моего недоумения и благословил меня ехать, не дожидаясь отпускной аудиенции. Итак, 14 октября, день праздничный у двора, я представлен был на половине их высочеств и благодарить, и откланяться вместе. Они пожаловали мне руку поцаловать и ни слова не изволили мне сказать. Здесь я первый знак увидел их негодования, но не мог понять, откуда и за что. Или щедрая десница Екатерины, подписавшая мне новое бытие, удалила тем от меня благосклонный взор своего наследника? Не будучи виноват, я покойно оставлял в таком положении противу себя двор их высочеств и скоро потом, распростясь со всеми, пустился в дорогу.

Есть на все счастливые минуты. Напиши я свое письмо к царице месяцем позже, оно бы дошло в эту смутную пору, и едва получил ли бы я такой вожделенный успех. Из этого я опытом дознал, что иногда день ранее, день позже, час *до* или час *по*, выворачивает всю основу бытия нашего, и глубоким чувством сердца ощутил, что Бог везде сый и вся исполняяй[36].

В последних числах октября возвращаюсь я в Москву и нахожу домашних более уже опечаленных скорою разлукою со мной, нежели радостных моим отличным счастием. Вот как скоро проходит чад восторгов, и часто мы плачем о том, чему недавно смеялись.

До отъезда моего еще в С.-Петербург слух носился в Москве о бывшем сильном пожаре в Пензе. Готовясь туда ехать на житье, нужно было позаботиться о квартере. Знал я, что там есть казенный каменный

виц-губернаторский дом, но не сгорел ли, думал я. Очистил ли его мой предместник, буде он и цел? По счастию, там был у меня один знакомый сослуживец, Семеновского полку офицер Чемесов. Я, ехавши в Питер, писал к нему и получил ответ в Москве. Он уведомил меня, что дом казенный цел, уже очищен, но поелику в нем ничего нет, кроме стен, то просил меня взъехать на короткое время к отцу его в большой собственный дом и в нем расположиться, пока я сам приведу казенный дом в порядок и устрою в нем свое жилище.

Таким образом заготовя себе на первый случай прибежище, нечего было долго мешкать в Москве. Короткое время сборов моих проводил я дома, и батюшка воспользовался им на то, чтоб дать мне все нужные наставлении, как себя вести у должности и чем наиболее заниматься. Советы его были навсегда наилучший мой наставник. Скверная осенняя погода и путь не дозволяли мне и помышлять о том, чтоб всем домом в один раз переехать в Пензу. Все сообразя, я решился оставить до хорошего зимнего пути жену в Москве при батюшке и с детьми нашими, а сам, налегке собравшись, принял благословение родительское, запечатал супружескую нашу любовь крепким и горячим поцелуем на розовых устах Евгении, перекрестил своих малюток, опрометчиво распростился с московскими приятелями и знакомствами, и при общем восклицании от сестер и всех домашних: «Счастливый путь, с Богом!» — я оставил родительский дом снова, а в нем все, что меня привязывало к жизни, и плакал еще, когда записывался на заставе.

Ничто так не рассеивает мысли, как путешествие. Новость беспрестанная в предметах, разнообразие и лиц, с коими встречаешься, и обычаев составляет картину, занимательную для глаз, и мало-помалу воображение разыгрывается. У меня от природы оно было пылко, следовательно, что попал я на большую дорогу, то и начал на все смотреть с любопытством.

Со мной ехали искать участи в службе два молодые человека. Один по прозванью Цветаев, сын нашего приходского попа, выпущенный студент университетский и грамотей. Мне нужна была его рука и красивый слог, чтоб отличиться в бумагах своих от подьяческого принятого навыка в провинциях. Другой некто, по породе из польских евреев, по имени Блажиевский. Их было два брата, оба вывезены в ребячестве дядею моим родным генералом Ржевским из Польши и жили у него в комнатных услугах наряду с холопьями. По смерти его, другой мой дядя, барон Строганов, взял их к себе в той же должности; они служили у стола,

подносили пить гостям и, по шутливому характеру дяди, приучались дурачиться, что и доставило им свободный шаг в доме. Нередко дураки притворные далее умных настоящих шагают. По кончине дядюшки я вступился в сиротство сих двух Блажиевских. Они брошены были наследниками. Из уважения к памяти моего благодетеля, я записал их, чтоб они праздно не шатались, как людей свободных в солдаты в Семеновский полк. Они со мной отправили шведский поход, произведены постепенно в унтер-офицеры, и, когда я вышел из гвардии, они взяли отставку с чинами армейских поручиков. Пока я жил на свободе, они слетали на родину, снабдили себя шляхетскими дипломами и воротились в Россию в качестве дворян. При определении меня в виц-губернаторы они явились ко мне в Петербурге, и я старшего брата Александра повез с собою, а меньшой Семен доехал после. Я насчет сих двух братьев распространился для того, что они со временем значительный эпизод составят в моей Истории.

Я не сказал еще, когда мы выехали, — в половине ноября. Погода была самая скверная, дорога негодная, но в службе кто разбирает и то, и другое. Почти на пути моем лежала наша новая подмосковная Никольское. Я в нее заехал, отужинал, переночевал, слегка поглядел на окрестности поутру и поехал далее, нимало не полюбя этого дикого и уединенного места, которое оживотворялось одним только заводом и неприятными суматохами кабака.

Приехавши в Володимир, я увидел в первый раз от роду губернский город. Тверь и Новгород я давно знал, но первый может назваться заставой Москвы, а последний петербургской. Володимир — настоящая провинция. Тут жил генерал-губернатор Владимирский и Костромской дядя мой двоюродный по жене генерал-поручик Заборовский[37], и по пословице «гора с горой не сойдется, человек с человеком сойдется» я тут же встретился с шурином моим родным Саввой, который при начале моего с ним знакомства был приставом винным в Торжке, а потом перешел сюда в расправные судьи, чтоб быть под начальством г. Лазарева, здешнего губернатора, перешедшего в Володимир из Тверских виц-губернаторов, и у которого шурин мой привык издавна быть домашним. Я остановился у него на квартере и прожил с ним дни три.

Дядя мой угостил меня наилучшим образом и все возможные доставил мне в городе удовольствии. Губернатор, человек очень достойный, также обошелся со мною очень ласково. Я слышал концерт, — что за музыка, что за певчие! Но генерал-губернатор это жалует. Публика пло-

тит деньги и бьет в ладоши. Видел клоб и сам танцовал в нем. Я всматривался во все обряды провинциальной жизни, чтоб не совсем показаться новичком в своей домашней губернии, но, видевши все как гость, я не мог разобрать тех многосложных пружин, кои настроивают механизм городской жизни. Вся публика казалась мне довольна моим обращением, и один только старичок Я<зыков>, председатель Гражданской палаты, увидя меня в плясовой зале в контредансе, заключил решительно и громко произнес, что я только горазд прыгать и кланяться. Бесценная откровенность! И чуть не так ли! Спасибо ему за правду. Погостивши три дни в Володимире, поскакал далее и прибыл в Нижний ноября 21 дня.

Начинались уже и для меня воспоминании прошедшего. Будучи молод еще, я уже чувствовал разницу настоящего с прошедшим. Бывало, в этот день я обедал во дворце, в этот день родился сын мой и в чертогах наследника престола я вкушал сладкие мечты в будущем. Все мои замки исчезли, и я в провинции один, без родных, в кругу людей чужих. Есть жена, но я с нею розно; есть дети, но их не вижу; имею родителей, сестер — все, все за глазами. Таков был для меня первый день моего приезда в Нижний. В замену столь чувствительных лишений тщеславие представляло свои бедные отрады. Здесь ожидал меня курьер из Пензы, то есть оборванный солдат статной команды, беззубый инвалид, который вручил мне кучу пакетов из Казенной палаты. В сравнении с гвардейскими солдатами, кои мне еще мечтались в воображении, мне показался этот слезный мушкатер за чучелу в мундире, выпущенную мне на смех. Пакеты были наполнены ведомостьми и разными табелями, кои на первый случай составили для меня сокращенную статистику Пензенской губернии. Признаюсь, однако, что, по старой привычке, я не мог не поправить на солдате лоскутного его кафтана и побранил за то, что пуговицы не вычищены, воображая, будто статная команда должна быть похожа во всем до мелочи по крайней мере на линейные полки, ежели не на гвардию. Таковы все новички во всяком деле, все применяют к своему прежнему обычаю. Я оставил курьера при себе и, обклавшись бумагами, рылся в них поутру и спать ложась. В прочем весь день был не мой, и я провел время в большом рассеянии.

Нижний был у меня в стороне от большой Пензенской дороги, но, как в нем жил наш генерал-губернатор Иван Михайлович Ребиндер, а к тому у нас было именье в этой губернии, то я и рассудил заехать в Нижний, дабы представиться своему главному начальнику и посмотреть деревни. Я тотчас по приезде явился к Ивану Михайловичу и вручил ему

рекомендательное о себе письмо от брата его родного шталмейстера Василия Михайловича Ребиндера, которого я знал хорошо при дворе. Иван Михайлович был человек еще не очень старый, но изнурен болезнями и не обещал быть долговечным, нраву самого кроткого и скромен, в обращении благоприветлив, ума просвещенного, обходился со всеми свободно и без лукавства; он принял меня очень милостиво, позволил прожить с неделю в городе, дабы присмотреться к жизни губернских городов, жалел о том, что я, так молод и с именем моим, принужден удалиться от столиц и лучшего света, входил благосклонно в мое положение, давал мне советы, обещал свое покровительство в случаях затруднительных и не дал мне ни на один час соскучиться. Я почти беспрестанно был у него или где-нибудь с ним, что давало мне большой вес в городе. Жена его была немка такая же, как и он, дама в летах, хорошая хозяйка и со всеми очень учтива. Я кроме ласки ничем не могу отозваться, говоря о них обеих. Супругом доволен был весь вверенный ему Низовой край, а приветливостию супруги хвалились все приезжающие к ней в дом. Я тут прогостил до 27-го числа, и хотя не о чем рассказывать кроме пустых забав, но для чего же не распространиться несколько и насчет оных. Они часто составляют лучшие узоры нашей жизни. Напоминание минут приятных в самом даже отдаленном нашем возрасте всегда утешительно! Воображение наше их представляет так живо, как будто они настоят еще, и с седыми волосами, кои неизбежно со временем всякую голову убирают, весело прочесть в Истории своей несколько страниц, в коих увидишь, что и ты был когда-то молод. Итак, опишу первые дни существования моего в губернском городе, как диковинку для меня самого. Готовясь жить в таком же, надобно было мне себя искусно обманывать, все находить хорошим, на недостатки смотреть зажмурясь и вещи чуть-чуть изрядные прославлять прекрасными.

Нижний Новгород выстроен на берегу Волги, на том самом месте, где она соединяется с Окою. При вскрытии рек вид города и окрестностей его величествен. Город сам по себе не красив ни улицами, ни строением; разбросан на горе и частию по самому берегу. Но мне не географию писать, — итак, насчет положения места довольно. Я здесь говорю только о себе и относящихся ко мне предметах. Всякий день я насматривался на Ивана Михайловича Ребиндера, и если, следуя чистой правде, обязан я здесь оставить худую черту, которая наводит тень на все его доброты, описанные выше, то скажу откровенно, что он иногда от избытка добросердечия вверялся самым низким тварям и нередко следовал

их внушениям, но и сия слабость с такою осторожностью вкрадывалась в его поступки, что те самые, кои бывали от последствий ее недовольны им, готовы были ближе к тому, чтоб сожалеть о нем, что он обманут, нежели роптать противу его несправедливости, толико был добр наш генерал-губернатор. Гостеприимство в доме его даже и в простые дни, когда нет этикета, не было ни скудно, ни притворно; в театре он приглашал меня к себе в ложу. Прощаясь со мною, отпускал меня с отличным благоволением и не воображал, конечно, что он больше меня не увидит, но я по слабости его здоровья почти уверен был, отъезжая из Нижнего, что с ним навеки прощаюсь, и, к несчастию, я отгадал.

Дадим понятие о некоторых чинах в губернии; по примеру одной нередко можно судить о сборе людей и во всех. Губернатор Нижегородский был некто генерал-поручик Б<елавин>, человек военный, длинный, мягкотелесный и ремесла своего не мастер, но мужик добрый и простой, любил людей, меня принимал несколько раз к себе и всегда ласково. Говоря о свойствах сих господ, я не могу взять на себя опытного и собственного своего сведения, а передаю доходивший до меня суд того общества, в котором они жили.

Архиерей тамошний, епископ Дамаскин, жил в городе. Он мне знаком был еще в чине ректора Иконоспасской Академии в Москве; латынщик и ученейший муж в своем состоянии. Старому знакомцу всегда обрадуешься. Я с ним виделся и раз у него обедал.

В городе я нашел изрядный театр. Содержал его князь Шаховской, тутошний помещик. Актеры все из крепостных его людей, музыканты также, декорации изрядные, одежа сносная, но игра далеко даже от посредственной, однако и это для развлечения мыслей после трудов достаточно. Знатоков искусства мало, а потому, лишь было бы казисто и смешно, все терпимо. Я ни одного зрелища не пропускал; у всех жителей почти есть ложи годовые или кресла, и театр господину своему не в убыток, паче же купечество охотно ходит в театр и составляет денный нарочитый доход. В Нижнем заведен клоб, даются и маскарады по примеру столиц, с коих все провинции, как мартышки, снимают сколки и в малом виде те же забавы хотят и себе, и другим доставить. Я везде был, все видел и, по молодости лет моих не будучи вдаль разборчив, довольно веселился.

Виц-губернатор, г. Е<лагин>, тучное животное, перенимая у людей, давал иногда и сам жирные столы. У него случилось мне быть в Екатеринин день на торжественной вечеринке. Много было карт, свеч, шуму, а удовольствия ни слабой тени.

По склонности моей к забавам и рассеянию, ознакомился я на сие короткое время и короче всех с тутошним г. директором Экономии П. И. Прокудиным. Особа важнейшая в губернии по делам своим и роскоши. Кто хочет узнать его поближе, пусть прочтет комедию, вышедшую о нем в свет в 1794 году и напечатанную под названием «Дон Педро Прокодуранте»[38]. Портрет верен, красного словца вовсе нет. Не стоит труда описывать здесь все его качества, довольно сказать, что он, откровенно шутя с своими приятелями на собственный свой счет, называл себя шельмою, он так и слыл, таков и был в самом деле. Жена за ним была дворянка простая, но прекраснейшая женщина всего низового края. Он давал ей полную волю и не ревновал ни к кому; держал открытый и прихотливый стол; кормил то на серебре, то на фарфоре, принимал толпы гостей во всякое время дня, имел к умножению соблазна домовую церковь, в которой из одной роскоши и тщеславия пели обедню на придворный манер и в то же время его собственные певчие с большим искусством. Поп и дьячок одевались в бархат, фимиам курился, а свечи горели в серебряных утварях. Дом его во всех смыслах был в той стороне образчик светского великолепия в столицах. Владея подгородной деревней, он в ней имел и предлагал разные сельские увеселении. Там выстроен был эрмитаж, в котором он потчевал знатнейших городских чинов за подъемными приборами на машинах. После сего правдивого описания не нужно, кажется, толковать, какими способами нажито потребное на такой род жизни богатство. Государевы крестьяне, соляные варницы эту загадку изъясняют. Все его презирали как вора примеченного и все, однако, к нему езжали. Он имел особенную причину меня отлично угощать: брат его родной был в Пензе в том звании, в каком он тут, а я, греха не потаю, вкушал крайнее удовольствие в его доме, потому что с женой его было нескучно. Она была одна из тех прелестных женщин, на которую один взгляд, по Писанию, уже прелюбы творит.

С прочими жителями и чинами города я также слегка ознакомился, возил к ним и от них по обряду получал карточки, дома только ночевал. Квартеру мне предложил у себя г. Попов, судья Верхней расправы[39], он управлял имением камергера Дивова. Я его знал и, из Петербурга ехавши, выпросил к нему письмо для получения ночлега в теплой комнате.

В Екатеринин день я видел в первый раз пышный и церемониальный стол в губернском городе у генерал-губернатора. Он давал обед на сто с лишком кувертов. Серебряный казенный сервиз придавал отменный блеск пиршеству, и я тогда ознакомился со всеми обрядами, кои

введены в подобные дни при крошечных дворах наших провинциальных вице-роев*.

Между разными визитами посетил я, по неотступному приглашению, пензенских купцов, живших в Нижнем по своим торговым делам. Дико мне казалось быть у купца в гостях, что редко важивалось в том свете, из которого я переселился в новую свою планету, но с волками надо волчьи выть; мне присоветовали их потешить, дабы не напужать излишней надменностию. Я у них выпил бокал вина — и полно. Объездил из любопытства народное училище, присутственные места, гостиные дворы и все, что город имел в себе замечательного. Если б я писал путешествие в Нижний, то поговорил бы о всяком месте подробно, но до моего предмета подобные примечании не принадлежат, особливо в городе, в котором я сам, как галка, лечу мимо, чтоб спуститься в другой роще на свою ветку, итак, пора подымать крылья и в путь собираться. Поблагодаря своего хозяина за тепло, свет и спальню, откланялся генерал-губернатору и 27 ноября с дозволения его отправился в свою деревню, которая не очень меня удаляла от большой и прямой дороги.

В пятидесяти верстах от города, на большом Казанском тракте, родители мои имели вотчину, в семистах душах состоящую. Они пришли к нам в дом по приданству за матушкой. Отцу моему угодно было приказать в нее заехать, осмотреть и деревню, и тамошний винокуренный завод и о состоянии того и другого его уведомить. Я никогда не разумел деревенского хозяйства, да и не имел времени в молодости ему обучиться, а домоводство сельское есть обширная наука, однако, сколько смыслил, старался исполнить батюшкино препоручение. Мой приезд был и для вотчины феномен, потому что лет более семидесяти прошло, как они не видывали никакого помещика. Показавшись на границе своей, я увидел знаки древнего рабства, которое так противно и сердцу, и разуму. Все пали передо мною в ноги и в полном смысле слова челом били землю, и ползали у ног моих, как черви. Кичиться над мужиками не моя забава, да и что за радость? Я прожил у них сутки и, получа поверхностное понятие о том, что такое деревня в России, продолжал путь свой в Пензу. Полезнее всего для меня было увидеть в миниатюре завод и посмотреть, как производится дело винокурения. Готовясь управлять большим подобным заведением государственным в Пензе, я имел нужду ознакомиться с механизмом этой работы.

---

* вице-рой — правитель за короля (лат.).

Дорога моя шла через Саранск, первый уездный город нашей губернии. Тут увидел я первые признаки моей знати: встреча городничего с драгунами, рапорты приставов и казначея, сходбище на квартере у меня всех городских чинов и тех праздных дворян, кои для того только живут иногда по городам, чтоб играть в карты по грошу и ходить на поклон к приезжим знатным особам. Все эти мелкие почести меня не околдовали, я глядел на них равнодушно и, скучая дорогой, искал в замену их одного спокойного ночлега, которым г. городничий[40], человек пожилой, меня попотчевал в своем доме. Назавтра я у него отобедал и поехал к крайней точке моего путешествия. Подъезжая к Пензе и обозрев издали овины, ее отвсюду окружающие, я не могу изъяснить, что я вдруг почувствовал. Рассеянная жизнь моя доселе не допускала меня порядочно обдумать новое мое состояние, но тут, мысленно сказав себе: «Итак, я в Пензе!» — тьма вселилась мне в голову идей насчет прошедшего, настоящего и будущего. Увидев так близко от себя решительный миг моего существования в провинции и на неизвестное время, я невольно предался горестным движениям тронутого моего сердца. Что слава! Что чины! На что весь ладан тщеславия, когда нельзя тех делить с людьми драгоценными, когда нельзя обонять последнего инде, как среди гумен!

Прибыл я в город декабря 3-го ввечеру и въехал прямо в дом г. Чемесова. Прежде нежели увиделся я с хозяином дома, успел войтить в мою комнату, нашел огонь в камине, взглянул на него — и заплакал. Краткая минута, оставленная мне на размышление, пока приводили все около меня в порядок, была самая тяжелая для души. Ни воспитание мое, ни принятый образ жизни не могли представлять мне Пензу жилищем приятным. Одна привычка могла его сделать сносным. Ожидаемые труды по службе, звание и дела незнакомые, отдаление от родины — все вдруг предстало моему воображению как тени мрачные, кои пугают детей в потемках, и сокровенное какое-то предчувствие тех зол, кои по времени постигли меня в Пензе, привело в исступление. Одна необходимость встретить вошедшего ко мне хозяина с приятною улыбкою радости могла прекратить глубокую мою задумчивость.

Во всяком деле, при всякой перемене жизни, новые и первые обстоятельства кажутся замечательными. Самая лучшая и большая моя в первый день приезда отрада состояла в окончании пути в скверную погоду, грязью и худыми дорогами на пространстве двух тысяч верст и не в самых покойных экипажах. Я же до дороги не большой охотник. В Петербург из Москвы и назад, при всем великолепии моего бригадирства, скакал я в кибитке, а уже в Пензу приехал в старинной худой коляске, дабы постепеннее выста-

вить свою наружность. Встречают всех по платью, а мне встреча та и нужна была. Итак, повторим еще раз: я в Пензе! Я не гость в ней, а гражданин!

Прости мне, читатель, что я, обратя взор на мимошедшие дни жизни моей, вздохну из глубины души и сим кончу эту часть рукописей моих. Порядок велит конец текущего года, яко начало пребывания моего в новом состоянии, отнести к эпохе пензенского бытия, которого нитка начнется со дня моего приезда.

Совершив таким образом третью часть моей летописи и пройдя в ней все те годы, кои протекли от вступления моего в супружество на севере до переселения в древние обиталища татар, паки возблагодарю Создателя всей твари и с сокрушенным сердцем претрепетною мыслию в третий раз воззову к нему:

Благословен Господь Бог,
благоволивый тако,
слава тебе!

Копия
с письма жены моей к великой княгине,
о котором упоминается на странице 180 под знаком (1)[41].

Madame!

Les bontés, les bienfaits que Votre Altesse Impériale daigna répandre sur moi de tout temps, les soins généreux que vous êtes de mon enfance et de mon bien être, l'intérêt si gracieux que vous prises à ma santé, lorsque ma mère eut le bonheur de vous être présentée, tout m'inspire la douce confiance que je puis me livrer à la temerité de vous adresser cette lettre, avec d'autant moins de crainte d'offenser votre Auguste personne que Votre Altesse Impériale elle meme, me fit la grace de me permettre d'avoir toujours recours à elle. Pour une âme aussi sensible que celle de mon Auguste Protectrice, qui se plait autant que la vôtre à combler de bienfaits le dernier des mortels, qui vous approche, est-il rien de plus délicieux que l'offrande simple et pure d'un cœur reconnoissant et quel motif plus digne de Vous, pourrait m'enhardir à prendre la plume? — La nouvelle des bienfaits accordées à ma Sœur, en est un nouveau pour moi, qui m'imposait le devoir sacré de me mettre à vos pieds avec ma famille, et de vous présenter mes soumis et respectueux remerciments. Daignez honorer d'un regard favorable l'ouvrage que

j'ose vous offrir. C'est votre bonté qui m'y autorise, car je me ressouviendrai toujours avec plaisir de ce temps fortuné, où vous daignâtes me permettre de vous présenter quelque chose, qui eut été faite par moi, et sans ma maladie, combien de temps n'aurais-je pas déjà gouté la satisfaction de vous présenter ce tissu qui n'a besoin pour être le plus beau de tous que de passer dans vos mains. Puisse ce petit rien me retracer à votre mémoire! Toujours penetrée de la plus vive reconnaissance, n'ayant d'autres désirs que de vivre à jamais sous Votre Auguste protection, de soins que de faire des vœux au Ciel pour la conservation de Vos jours, de plaisir que celui de compter vos bienfaits, dont l'idée toujours chère à mon cœur ranime mon existence et semera des fleurs sur les temps les plus reculés de ma vie.

J'ai l'honneur d'être de Votre Altesse Impériale
la très soumise et très fidèle sujette P.E.D.*

---

* «Милостивая государыня!

Доброта и деятельное участие, с которыми Ваше Императорское Величество на протяжении стольких лет относились к моей персоне, Ваша забота о моем детстве и моем благосостоянии, Ваш великодушный интерес к моему здоровью в день, когда моя мать имела счастье быть Вам представлена, все это внушает в меня достаточно смелости и уверенности в том, что мое обращение к Вашему Величеству не будет воспринято Вами как неслыханная дерзость, тем более что сами Вы однажды дали мне милостивое позволение прибегать в случае необходимости к помощи Вашего Величества. Что может быть приятнее для души столь чувствительной, как душа моей Августейшей Покровительницы, которая радуется всякому благодеянию, оказанному ею последнему из смертных, нежели простой и чистый дар благодарного сердца, и есть ли на свете мотив, более достойный Вас, который сподвигнул бы меня взяться за перо? — Известие о благодеяниях, оказанных Вами моей сестре, стало еще одним поводом, принуждающим меня к священному долгу броситься перед Вами на колени вместе со всей моей семьей и принести Вам свою самую почтительную благодарность. Так соблаговолите же взглянуть снисходительным взглядом на произведение, которое я имею смелость преподнести Вам. К действию этому побуждает меня Ваша доброта, ибо я всю жизнь с радостью буду вспоминать то счастливое мгновение, когда Вы дали мне милостивое позволение представить Вашему вниманию нечто созданное мною, и если бы не моя болезнь, я уже давно имела бы счастье представить Вам сей материал, который тем уже прекрасен, что окажется в Ваших руках. И да воскресит эта маленькая безделица мой образ в Вашей памяти! Проникнутая навеки живой благодарностью и не имея иных желаний, нежели оставаться и далее в сени Вашего Августейшего Покровительства, иных забот, нежели молить Бога о сохранении Вашего здоровья, и иных радостей, нежели вспоминать Ваши благодеяния, мысль о которых, навсегда дорогая моему сердцу, воскрешает меня к жизни и осыпает цветами воспоминания о давно минувших периодах моей жизни.

Имею честь оставаться нижайше преданной слугой
Вашего Императорского Величества К<нягиня> Е<вгения> Д<олгорукова>».

Копия
с письма моего к государыне, о котором упоминается на странице 186 под знаком (2)[42].

Всемилостивейшая государыня!

К тебе, уподобляющейся Богу, монархине, творящей милость и суд всем обидимым, пред наступающим благознаменитым днем Всероссийского праздника прибегаю и молю тебя, августейшая Екатерина, да воззриши на прошение сие оком милосердия и щедрот и сотвориши милость с рабом твоим.

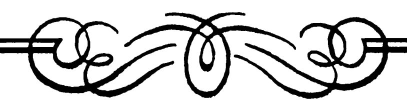
От самых юных лет моих, не искав просвещения вне отечества моего, обучался я в Императорском Московском университете, откуда по окончании наук, в силу высочайших того места узаконений, выпущен я был в армию из студентов в прапорщики и до поручичьего чина служил в штате генерала князя Долгорукова-Крымского, из которого по смерти его пожалован я всемилостивейшим вашего императорского величества указом лейб-гвардии в Семеновский полк в прапорщики, где я до капитанского чина продолжал свою службу и в течение Шведской войны был в походе; по заключении же мира, не находя себя к военному званию способным и желая вступить в статскую службу, просил я вашего императорского величества об увольнении меня от военной службы, и по прошению моему в нынешнем 1791 году всемилостивейше пожалован я к статским делам бригадиром. Таковым знаменитым чином превыше заслуг моих отличенный, не хотел я убивать времени в пагубности бездеятельной и просил московского генерал-губернатора князя Прозоровского о представлении меня на очистившиеся при начале сего года ваканции, почему и был я Правительствующему Сенату представлен на место председателя Верхнего земского суда, а от Правительствующего Сената поднесен был обо мне доклад вашему императорскому величеству, но, к крайнему моему несчастию, соизволением вашим избран на сие место другой, отчего, страшась, не обнесен ли я кем-либо вашему императорскому величеству, ежеминутно трепещу.

Ныне же, благотворительнейшая государыня, когда от севера до юга покоренные скиптру твоему разные языки вкуша-

ют мир и новое благоденствие, когда все верные сыны отечества стекаются по градам и селам торжествовать тот стократно благословенный день, в который десница Вышнего, ко счастию россиян, оправдала тебя царствовать над нами, дерзаю я припадать к освященным стопам твоим и, без всякого заступления чужда к самой тебе прибегая, молю, да расторгнеши словом уст своих узы тяжкого помрачения, в кое я низвержен, и, употребя меня на служение тебе и отечеству, подай, премудрая монархиня, восхитительную мне отраду приносить в жертву званию, на меня возложенному, всякое мгновение жизни моей и посвятить всего себя службе в каком-либо краю, державою твоею осененном, на всяком бо месте владычество твое, и, подобно солнечным лучам, озаряющим все пределы света, твои монаршие щедроты осчастливить достигают во всех краях России каждого верноподданного твоего, должности свои непорочно выполняющего. При нынешних звуках торжества, отвсюду до престола твоего раздающихся, позволь, премилосердая мать отечества, гласу сердца, ревности и усердия к тебе преисполненного, коснуться слуха твоего и не оставь меня погруженна в праздности бедственной, ибо, называяся россиянином, родяся под благословенною державою твоею, ощущая кротость и величество законов, ничего пагубнее для себя не зрю, как не быть удостоену воздавать людям суд и правду по божественным твоим начертаниям и постыдную токмо жизнь влачить.

Вкупе с сим прошением повергаю себя к подножию ног твоих, всемилостивейшая государыня,
вашего императорского величества верноподданный.





ЧАСТЬ IV

ОТ ВСТУПЛЕНИЯ МОЕГО В ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ В ПЕНЗЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ОНОЙ И НОВОГО ПЕРЕЕЗДА В СТОЛИЦУ

Конец 1791 года

В начале сей эпохи обязанностию нахожу предложить сокращенный чертеж Пензенской губернии и в нескольких строках коснуться трех следующих предметов: 1) местоположения и статистики губернии; 2) начальства и вообще всего состава гражданского тела; 3) общества, его духа и нравов тогдашних. Давши сперва генеральное и поверхностное о них понятие, я стану потом по мере представляющихся случаев входить в необходимые подробности, поколику они находиться будут в связи с моим собственным лицом.

Губерния обширная, сопредельная с Тамбовскою, Симбирскою, Саратовскою и Нижегородскою. Грунт земли почти везде хлебородный и чернозем. Климат самую малую разницу имеет с московским, хотя Пенза от столицы до семисот верст. При пожаловании ее из провинции в наместничество она разделена на тринадцать уездов и, разумеется, столько же городов[1]. Ревизских душ во всей поселено было до трехсот тысяч с лишком, то есть обывателей, подати платящих. Губернский город издревле управляем был воеводами, последним в нем находился тот самый г. Чемесов, у которого я остановился в доме. Строения каменного и деревянного довольно, купечества богатого также. Для присутственных мест, почтамта, гимназии или народной школы, губернатора, вице-губернатора и коменданта отстроены большие каменные от казны здания, и весьма хорошо обстроенные для низовой губернии. Крепости не было никакой, ниже тени ее, но по старым преданиям еще находился в штате чиновников комендант. Духовенством правил Тамбовский архиерей, и кроме статных монастырей, двух мужских, одного в Ломове, другого в

Саранске, и одного женского в самой Пензе[2], находился еще в городе общебратский мужской монастырь да несколько пустынь по уездам. В Ломове славная бывает ярмонка в пользу казны в июле месяце при тамошнем Казанском монастыре, в котором праздник 8-го числа. Поменьше ее еще бывают две ярмонки в пользу городов, одна в Петров день в губернском городе, другая в Саранске в августе 16-го числа на Спасов день. Казна получала со всей губернии дохода миллион рублей с лишком; вино продается откупщиками, а ставят его в казну дворяне тутошние и иногородние, но большею частию первые. Соль ставится из Саратова подрядом. Казенные винокуренные заводы, дающие ежегодно до трехсот тысяч ведр, приносят большую выгоду, особенно при торгах, унижая цену поставщиков свободных. В Инсарском и других уездах разработывается чугунная руда на трех партикулярных заводах, обязанных платить и с домен, и с изделья положенную пошлину в казну. Почти все помещики курят вино и торгуют как им, так и некоторые хлебом, другие выделывают стекло, хрусталь, и лучшие вещи в этом роде искать должно на Бахметевском заводе. К редкостям отнести позволят мне в таком отдаленном краю славную типографию г. Струйского, который большое на нее употребляет иждивенье. Он сам охотник писать стихи и у себя их свободно печатает, посвящая сему приятному упражнению все свои сельские досуги. Вот рисунок в малом виде Пензенской губернии, какова она была в мое время.

История наместничества здешнего нова. Оно открыто в 1780 годе со всею пышностью возможною генерал-губернатором графом Воронцовым, вельможей у двора, отцом известной и знаменитой в летописях новейших нашего отечества княгини Дашковой. Его сменил князь Платон Степанович Мещер<ский>, а по нем вступил в ту же должность генерал-поручик Ребиндер, управлявший и ныне Нижегородскою и Пензенскою губерниями. Губернатором служил в Пензе генерал-поручик Ступишин, человек пожилой, которого брат родной, бывший генерал-губернатор в Нижнем, когда тот город под разным еще начальством находился с Пензой, воспоминаем здесь часто своими достоинствами. Настоящий здешний губернатор вступил в сие звание еще при генерале Воронцове, имея генерал-майорский чин, и, следовательно, стал первый начальник города по новым учреждениям. О нем и свойстве его говорить стану в другое время, когда по собственным опытам получу больше на то права. Иван Алексеевич (так его звали) прибыл в Пензу из армии, расположенной в Польше, без всяких, подобно мне, сведений о статской

службе. Будучи немолод уже, но еще холост, он дал себя заманить в любовные сети и женился скоропостижно на родной племяннице моего хозяина Чемесова. Бедная, низкая и забытая в толпе эта девочка не несла за собой в приданое ничего, кроме своего пригожества и молодости. Мать ее, дворянка Чемесова по себе, вдова губернского регистратора, следовательно, даже и не офицерского класса[3], внедрилась в дом зятнин и правила душой его, умом и всеми помышлениями с самовластием деспотическим, потому что она была хитра, дочь прекрасна, а зять прост и влюблен до смерти. Сменяемый мной виц-губернатор господин статский советник Даниил Самойлович Копьев был человек уже немолодой, умный, острый, сведущ своего дела, с большими познаниями о многом и приятного общества. Он прибыл в Пензу к самому открытию губернии, прослужил в ней до сих пор в настоящем звании и, уклонясь от трудов гражданских, почти без состояния решился жить в маленьком своем доме в Пензе и тут похоронить свои кости. В прохождении жизни моей пензенской мне часто доведется говорить о четырех братьях Врасских[4], кои сильное влияние имели на благосостояние губернии по делам публичным. Один из них служил председателем в Уголовной палате, другой губернским прокурором, третий в Казенной палате советником винной и соляной экспедиции. Легко заметить, сколько важных ниток оне в руках имели. Последний брат, живучи в уезде в отставке, варил вино, жег поташ и помогал братьям разными прислугами. Довольно сказано о начальниках и властях, взглянем мимоходом и на общество.

Оно было многолюдно, но отборным назвать его не смею. Судьи составляли главную часть его. Чиновники государственной службы определялись Герольдией почти всегда из самых низких людей, не имеющих ни достоинств, ни дарований. Чиновники, по выборам дворянским замещаемые, не далеко также отбивались от прочих и равного были с ними качества, следовательно, состав губернии не давал больших способов проводить время приятно. По счастию, многие помещики зажиточные приезжали на зиму в Пензу и, имея в ней свои домы, сообщались с публикой, чем она и поддерживалась. Род жизни был тщеславный, все охотники были давать праздники. Губернатор имел свой день. Председатель Гражданской палаты[5], ленивый судья, но жестокий игрок, держал открытый дом, и с утра до вечера у него на нескольких столах козыряли в карты. Председатель Земского суда[6], зажиточный также дворянин, давал еженедельно обед и вечеринки с музыкой. Вообще, все старались роскошничать наперерыв один перед другим, и, действительно, в Пензе тогда, по

пословице русской, нельзя было распознать богатого с хвастливым. Можно было на всякий вкус найти беседу: у губернатора неумолкаемый разговор о старых походах; у Жедри<нского> банк и все игры; у межевого президента[7] (ибо тут была контора) неисчерпаемая чаша водки и вина, он был примерная пьяница; у председателя Уголовной палаты козни и лукавые шепоты по вечерам; у Колокольцова молодечество, всякий непотребный глагол — словом, всего было много, и всякий про себя думал, что он попал в тон общежития московского или петербургского, тогда как грубое невежество и самая жесткая кора ставила их далее от оного, нежели отстоял самый последний дворянин в своей деревне около той или другой столицы. Так велось тогда, и так должен я был сам привыкнуть жить, дабы не отличиться и не прослыть гордым.

Старейшиной в городе можно было назвать, не по чину, а по весу, моего хозяина Чемесова. Он играл ролю в Пензе графа Шереметева в Москве[8], так же пыщился, надымался, давая балы, но был в обращении со всеми ласков и вежлив, кроме когда ему хотелось выказывать себя патриотом, особенно же при губернаторе, в котором он любил находить своего племянника, то есть ниже себя человека по родству. Тут он бывал груб, дерзок, проповедовал самые жесткие правды, несмотря ни на какую публику, и мечтал, что он Панин в Сенате[9]; впрочем, довольно был уклончив перед теми, до коих ему доходила нужда. Он долго служил сам воеводой здесь и отошел от дел только надворным советником, всех дворян знал и имел тем более весу в публике, что, заставши несчастные бунты пугачевские, он мог многим казать услуги; по жестокости случая имея право миловать и казнить, он приобрел в последующем времени боязливое уважение от многих. Иные его любили, другие страшились, воспоминая минуты бедствий. Лишившись многих родных и сам во время мятежей низового края, он сделался нечаянно наследником большого имения и думал роскошью снискать титло барина, давал балы, частые обеды. Ни у кого не было так весело, как у Чемесова, ни к кому так охотно не езжали, как к нему; хлеб-соль привольная, в покоях свету много, всегда простор, хотя пропасть людей; дом, как замок. Семья большая, детей куча: что рожденье, что именины, то бал, и все званы без разбору, кто только по адрес-календарю[10] поставлен в списке. Он добр был, жена — смирная женщина, дети — выученные машины. Он рассуждал здраво о предметах, одного смысла требующих, потому что имел его довольно, но, не получив никакого просвещения, он дурачился, когда трактовал о живописи, судя по малевкам своего крепостного маляра, о музыке, наслу-

шавшись пензенских скрыпачей, о стихотворстве по семинарским произведениям, кои студенты из куска хлеба принашивали ему на Пасху или об Рождестве. А больше всего забавлялся я беседой с ним иногда насчет Волтера, которого он обожал, хотя всего выворачивал наизнанку. Это был оракул его; Волтера выбранить значило ему дать пощечину, хотя между Чемесовым в Пензе и Волтером в Фернее шире была пропасть, нежели между двумя Лазарями на том свете[11]. Таков был мой хозяин, старинный дворянин, добрый россиянин, но смешной оригинал в большом свете.

Общество дам было довольно приятно, иные попадались остры, любезны и очень ловки, но весьма редко; девушки все умели танцовать, наряжаться, щеголяли со вкусом и старались блеснуть нарядом. Что лежит до публичной жизни, я застал клоб очень в жалком состоянии, потому что его не умели как-то сладить, а театра хотелось всем, но развлечения и без него так было много, что никто не успевал заняться этим проектом и приискать способы его завести. Таково было пензенское житье при первом моем шаге в губернию.

Теперь, отрезав на первый случай от целого куска образчик, да и, смею сказать, с казового конца, приступаю к продолжению дееписания.

Сказано выше, что я приехал 3-го числа декабря в Пензу, отдохнул и назавтра поехал представиться своему начальнику г. губернатору. В Петербурге наслышавшись от многих, в том числе и от обер-прокурора Зубова, что он упрям и бестолков, от других, что он честен и справедлив, я заключил, что ненависть и зависть к хорошим качествам сердца стараются дать невыгодное понятие о его рассудке и потому любопытен был сам его узнать. Первая наша встреча была очень дружелюбна, мы взаимно полюбились один другому: он хвалил меня, я прославлял его, и оба мы далее и далее друг в друге ошибались. «Кто весть человека, токмо дух, живущий в нем»[12]. Для чужих глаз все потемки в нем. Жена его, пригожая барыня, ловкая (в Пензе) взяла меня в особенное покровительство, а я, по навыку моему в волокитстве, не замешкался к ней пристраститься. Мать ее, сей опасный руль всей губернии, была тогда в Петербурге. Ни слова не скажу о моих визитах и обрядах общежития, которые я обязан был соблюсти и здесь, ибо они так стары, так обыкновенны, что нет, я думаю, уже на свете края, где бы ими не прикрашивали городской жизни. Ездил я по всем, были все у меня; с удивлением необыкновенным смотрел я на тон здешних удовольствий. В пример приведу мою обновку, она позабавит.

В городе была Межевая контора. Первый член ее, человек семейный, несколько лет уже межевал жителей низового края (на его языке меже-

вать значило дарить и менять дачи между ими по своему произволу), тасовал специальные планы, как карты игрецкие. Младший член их сдавал, средний сбирал фиши, старший делил лабеты, секретарю оставалось получить за карты[13]. 4-го числа у него жена была именинница, и г. Масалов давал большой обеденный пир; весь город съехался, и я как рекрут получил в артели старых солдат свое место. Хозяин еще до обеда был уже мертво пьян и доказал мне, что надворные советники в провинции так же умеют пить, как в гвардии последний полковой писарь. Таким-то зрелищем началась моя жизнь в губернии. К вечеру в тот же день увидел я в клобе весь женский пол. Что за зала! что за музыка! что за освещенье! Все меня приводило то в смех, то в жалкое соболезнование, но когда я воображал, что в общем этом дележе городских забав немаловажная часть и на мою долю приходить должна, то я вдруг переставал хохотать и спешил представить себе все предметы прекраснейшими.

5-го числа выехал я в Палату и сел в президентские кресла. После старика почтенного, который занимал их, все служители глядели на меня, как на дитя в колясочке; живость моя, тонкий стан и молодость лица не соответствовали ни покрою, ни величине, ни убранствам позлащенным этих старинных кресел, на которых подагрик с отвислым зобом гораздо бы казался меня величавее, но я перекрестился, сел, и предо мной выложили столь много тетрадей, что из-за них не видать было ничего, кроме широкой моей губы, которая придавала мне несколько сановитости. Не имея еще никакого понятия о составе канцелярского обряда, то есть о неисчерпаемом докладном реестре, о толстых журналах и протоколах, я не могу ничего сказать о вступлении моем в гражданскую службу, оставлю до будущего года всякое рассуждение о недостатках или порче моего места, как мне казались вещи по некоторой привычке. Во ожидании спишу портрет с Казенной палаты в том виде, в каком она мне представила себя.

Директор Экономии, первый член по мне Казенной палаты, некто Неофит Прок<удин> был человек самых развращенных правил, лукав, бесчестен, льстив, жаден к прибыткам, ума наглого, ленив делать дело, пронырлив с начальниками, груб и самовластен с подчиненными, словом, детина удалой в черноте порока. Все называли его в Петербурге вором без обиняков, но покровительствовал его особенно обер-прокурор Сената г. Зубов, и сей щит знаменитый покрывал все его грехи. Трудно было с ним сладить, а согласиться с ним редко возможно.

Между членами Казенной палаты, коих со мною было тринадцать, находил я всякую смесь. Не столь, право, различны были языки при

столпотворении[14], как в Пензенской Казенной палате морские офицеры, поповичи, камер-лакеи, немцы и даже один в шестьдесят лет надворный советник[15], не учившийся грамоте, подьячий водил его руку на бумаге, которую по форме доводилось ему подписывать. Все сии господа имели уже чины стаб-офицерские, сидели за красным сукном, пользовались правом голоса. Боже мой, и от таких-то низких тварей требовали строгих добродетелей! Один человек только деловой и с понятием был г. В<ласов>. Он имел другие пороки, но голова всегда была свежа. Не мог я с первого взгляда сказать, что именно дурно, но понимал корень зла и, дабы скорей научиться унимать, взыскивать, приказывать, я, не щадя себя, принялся за дело. С восьми часов утра до двух и трех сидел в Палате ежедневно, после обеда до глубокого вечера сиживал с секретарями в кабинете за бума́гами, рылся в архиве, читал законы, выписывал, смотрел, марал и кое-как приучался к своему делу. Хотя я главным основанием законодательства почитал Уложенье, Регламент, Наказ и Учреждении[16], но по времени увидел, что и те читать излишний труд. Они просвещали статского человека, открывали ему пути к правде, поощряли к подвигам чести, учили порядочно думать и рассуждать о случаях, а мне вместо того надлежало прибирать хитрые обиняки, коверкать чистые идеи под громким титлом политики, навыкнуть ябедничать, крючкотворством заменять логику, пронырством мудрость, велеречием надутым простое природное чувство, сноравливать сильному, волочить нищего и зажмурясь смотреть на расхищение казенных кладовых — вот чему надобно было обучаться мне, виц-губернатору, в этом лабиринте, который назывался Казенной палатой. Увы! Не так я был воспитан, не те даны мне правила! Я нашелся с первого шагу в должность в сильной противуположности с духом и нравами своего времени, но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Чем больше находил я в трудах моих скуки и забот, тем более старался их преодолеть, дабы самолюбие свое возвысить. Тяжелы для меня были первые месяцы, едва не ослеп я за бумагою, не мал предлежал мне и подвиг: оправдать монаршую милость и показать свету, что я умел и не одни комедии играть. Вот куда клонились все мои мысли. Богу содействующу я успевал иногда в моих упражнениях.

Главным правилом поставил я для себя блюсти целость царских доходов как зеницу ока; щадить и миловать, не отступая от правды, подверженных мне человеков, то есть казенных крестьян, управлять сам собою, без наушников и секретарей, сих нежных соблазнителей всякой власти, не окружать себя так называемыми по тогдашней моде правителями кан-

целярии. Сии последние, сколько я приметил, не что иное, как наместники своих начальств, кои, под видом облегчения их трудов снимая на себя половину их работы, приучают своих начальников к неге и небрежению, а за негой тотчас вкрадется в душу лень и разум притупится. Всех сих пропастей я тщательно избегал, слушал много, верил мало и делал то, что сам на свой безмен находил справедливым.

По изъясненному моему образу жизни досуги мои были невелики, но я старался их весело проводить. Живучи у Чемесова в доме, бывал всякий день с губернаторской семьей или у них, или у моих хозяев, что и способствовало сделать между нами временную, но тесную связь. Не ставя в порок невинных удовольствий, я, удосужась от дел, езжал в клоб танцовать и в частных круговеньках заводил игры, фанты и разные подобные увеселении. Многие меня осуждали, но я не находил, чтоб звание виц-губернатора должно было иметь влияние и на забавы моего возраста, не понимал отнюдь, какая посторонним людям от того беда, что виц-губернатор, целый день употребя на работу по службе, к вечеру, вместо того, чтоб пить или играть в карты, резвится и пляшет. Везде выказывать свой чин, по-моему, есть самое низкое чванство. Я любил в своем месте быть настоящий председатель, а дома или в гостях — человек в тридцать лет, резвый и веселый. И что за польза государю, отечеству в принужденной измене наших нравов, когда они в настоящем виде не ведут к развращению сердца? Где преступление, когда забавляюсь безвредно ближнему и должности своей не нарушаю? Так рассуждал я и сообразно с сими мыслями жил.

Дабы ознакомиться с публикою на первых порах моего приезда, вздумалось мне дать маленький бал. Дом казенный еще не был прибран, ни натоплен, и разные происходили в нем поправки. Обоз мой еще не бывал, тягости оставались в Москве, я прискакал один налегке. Итак, нанял я у содержателя клобного дома его залу и дал в ней ужин только на сорок кувертов, приглася те только лица, кои губернаторша называла отборными в обществе города, ибо я сам никакого различия делать еще не мог. Вечеринка моя понравилась, и это поощрило меня к повторению. 24 декабря — день именин жены моей — давал я запросто небольшой ужин губернатору с его семьей и ближайшими клиентами в казенном своем доме и в первый раз обновил в нем холостое хозяйство, а накануне нового года та же компания пожаловала ко мне в казенный дом отужинать и начать по-московски новый год. В полночь бокалы зазвенели. Мы выпили шампанское в честь новому сатурнину ребенку[17] и пожелали вза-

имно друг другу, чтоб дитя был скромен, благонравен и чтоб нам он не делал никаких пакостей, но, видно, погребщик кислое вино мне отпустил, ибо совсем противное последовало общему желанию, да к тому же, о горе мне, грешному, придвинул я за столом к губернаторше солонку, не зная, что провинции все начинены всяких примет. Подлинно, она со мною сбылась, но зачем забегать вперед? До всего дойдет очередь! Потерпим и будем счастливы сколько можно в настоящем. После веселого ужина разъехались от меня все по домам, а я остался тут и с нового года начал жить в казенном виц-губернаторском доме на царском гнезде.

По приезде моем получил я скоро из Москвы известие, что там происходили дворянские выборы с великими праздниками, после которых отец мой, по неотступной просьбе его и из уважения к недужным летам, освобожден от должности предводителя. Из Петербурга уведомляли меня о смерти графа Брюса[18], о котором я искренно сожалел. Он был мне благодетель! Кто не умеет быть благодарен, тот солнечного света не достоин. Жертва слез моих, конечно, для него ничтожна, но другой он не требовал, а теперь и никакой не почувствует. Нет, граф, я не стихи вымышляю для твоей добродетели, я не надпись вырезываю на пышной гробнице — все суетно для той души, которая скинула тленную свою ризу — я воспоминаю милости твои, считаю ими каждый день юности моей и плачу, потеряв стойкого покровителя. Но скроем печальную картину неминуемого жребия всего человечества и дадим году конец повеселей.

Если бы мне, писавши мою Историю, вмещать в нее все те сплетни, ссоры, а паче поработительные явления, кои относятся к первому лицу губернии и коих я был свидетелем, то бы я наполнил свои тетради самыми пустыми материалами, но я только о тех намерен говорить, живучи в Пензе, которые от описания моего отлучиться не могут по тесной связи их с моей личною судьбою. Последние дни года я провел довольно весело. Новость предметов всякий день меня более и более занимали, пока я устал глядеть все на ту же машину, и пружины ее, сделавшись мне знакомы, не дивили моего воображения. Сколько я всем, столько все мне были в диковинку. Святки наполнены были балов и маскарадов, обеды наперерыв то у того, то у другого, без вечеринки не проходило дня. Чего же поистине можно было желать более? Когда бы человек думал только о настоящем, не мучая себя, и часто напрасно, в будущем, то много бы печалей он у себя отнял. Переписка с Москвой еженедельная составляла мой роздых, отраду, чистейшее мое удовольствие. Она была очень об-

ширна: жена ко мне, я к ней, мы писывали целые листы кругом новостей и приключений. Так-то кончил я текущий год, богатый для меня в происшествиях всякого рода.

1792

Бывало, 1-го числа генваря или новый чин получишь, или в старом несколько подвинешься, а при начале 92-го года надлежало забыть столь приятную привычку: началась служба, а не службишка. Сделав в окончании предшествовавшего года краткое описание физического и нравственного состояния Пензы, начну в наставшем годе некоторым изъяснением собственно моего звания и его обязанностей. В Казенной палате имел я двенадцать членов — великое число людей! Но, поелику из них иные или не умели грамоте и Правительствующим Сенатом определены были так, как сторожа церковные к знаменитым образам для получения только по окладам их мест жалованья, а с ним и пищи, которой бы они по невежеству своему без такой всещедрой милости к ним правительства ничем добыть не могли, или из таких грамотеев, кои превращали грамматические правила в ябеднические крючки, то многолюдное наше собрание при моем неопытном председательстве способно только было всякое дело испортить. Предместник мой был человек достойный; поелику он остался жить в Пензе, то обращение мое с ним показало, что я не желал ни унижать его пред собою, ни худую цену давать его поступкам. Не мое дело осуждать человека вдвое меня старее, но, говоря не о лице частном, а о службе, должен сказать, что в Палате по мере моего внимания находил я много запущенного не от каких-либо порочных причин, в корыстолюбии имеющих свое гнездо, но от праздности. Правительствующий Сенат по многим указам своим лет по пяти не видал исполнения, государственные счетные экспедиции не имели по некоторым частям достаточных отчетов, а по иным вовсе никаких сведений по нескольку лет не получали. Сие свидетельствуется теми третными губернскими, годовыми заводскими и строевыми единовременными ведомостьми, кои при мне уже сочинены и отосланы за все годы с 86-го начиная. Кроме сих запущений, винокуренные коронные заводы действовали худо, и директор Экономии Прокудин, ими управляющий, разумея свое домоводство гораздо лучше, нежели государственное, привлекал неусыпные мои на обороты его взгляды. Все сие вместе, кроме собственного

моего желания выучиться моей должности и сделаться наконец не титулярным, а настоящим виц-губернатором, побуждало меня рыться в архивах, читать, писать, считать, выкладывать, словом, я должен был дать жаркое стремление такой машине, которая от шестидесятилетней флегмы моего предместника имела самое медленное движение.

Усильные мои труды к устройству Палаты или новость доставили мне благосклонность губернатора, он меня полюбил и не мог со мной насидеться. Жена его, в провинции выросшая и воспитавшаяся дома, приобретала к себе внимание нашего пола своим пригожством. Что хорошо, то во всяком краю света мило! Беседа моя как мужу ее, так и [ей] нравилась. Будучи один без семьи в Пензе и по характеру моему, к обществу наклонному, желая быть по вечерам между людьми, сделал я привычку посещать их ежедневно. Днем я сообщал мои мысли о службе и даже некоторые свои бумаги читывал губернатору, а по вечерам, по привычке: «мешай дело с бездельем», с женою его играл в карты и придумывал способы к увеселению. Не всегда игра одна его доставить может. Стали мы учреждать клоб, я подал им сведение о тех благопристойных правилах, на коих основан был московский, и, наконец сделав статут, набрав подпиской множество членов, охотно платящих свои деньги, лишь бы угодить жене городского начальника, открыли клоб и начали находить в неделю два раза убежище от скучной и одинаковой губернских городов жизни. Такое заведение во всяком ином месте заслужило бы всеобщую признательность к трудам того или тех, кои виновниками оного сделались, но здесь, напротив, я обратил на себя негодование многих. Обстоятельство, оное родившее, столь по существу своему мелко, что не надлежало бы мне о нем и упоминать, когда бы я не имел приятного чрез то случая обнаружить недостатка воспитания отдаленных сих от столиц жителей, коих большая часть, выросши в невежестве, приобретая час от часу грубейшие о вещах познания, живут сами и других жить принуждают самым стесненным и горьким образом. Например, следующее, о чем молвлю два слова. Председатель Гражданской палаты, вдовец, статский советник господин Жедринский имел побочного сына, по имени Владимира Дринского. Сей страстный чувств его Вениямин[1] был тогда девяти лет, а губернаторша имела дочь десяти. По предрассуждению еще тонее взятому, чем в столицах, она стыдилась возить дочь свою в такое собранье, где могла девочка с сверстником своим незаконнорожденным сойтиться, и из уважения к отцу его, не таящемуся в его рождении ни в публике, ни дома, иногда протанцовать. Сколько я ни старался подейство-

вать над ее понятием, не мог ничего хорошего произвести, и она принудила меня согласиться написать в статуте клоба, что малолетные и именно девятилетние не приемлются в члены собрания. Такой меткий щелчок не в бровь, а в самый глаз г-на Жедринского раззадорил, но как не смел он гневаться на губернаторшу, то прогневался на меня и начал с тех же пор острить жало языка своего против меня. Он был человек злоумный, злоречивый и зломышленный, словом, творение *всезлое*. Рассказав о сем анекдоте, ясно показывающем мелочный нрав губернаторши, к обличению и пустонравия Жедринского домолвлю и то, что скоро после того он, рассуждая о губернаторе, говорил про него и ее, что они ему никакого личного неудовольствия никогда не сделали. Кто имеет сына, рожденного как бы то ни было, и любит его, тот почувствует цену столь мерзостной лести в устах такого отца, коего честолюбие, на самых нежных чувствованиях у всего рода человеческого основанное, столь несносно в детище его оскорблено было, как у сего последнего.

Хотя, по Учреждениям, я и губернатор не могли вместе города оставлять, однако иногда по нужде закону и пременение бывает, и мы в одном возке ездили в гости на два дни и одну ночь к князю Куракину, пензенскому помещику, живущему в своей деревне в пятидесяти верстах от губернского города. Сей сластолюбивый и роскошный фортуны баловень, обязан будучи тесной связи своей и близкому родству с известным в России министром графом Паниным[2] скорым и счастливым своим в чины происхождением, не имея еще сорока лет или только, уже ленился, в отставке живучи в своем поместье. Он был камергер, бывал обер-прокурор Сената, предводитель столичного города Санкт-Петербурга, одет был в Аннинский орден, датский и шведский и, не понравясь государыне, вынужден был оставить службу. Милости к нему меньшого двора давали ему лестные на будущее время надежды (кои со временем сбылись). Они-то подкрепляли его в скучной и унылой жизни деревенской, к коей он, сколько любить ее ни притворялся, внутренно не был склонен. Состояние его, обремененное долгами до того, что при взятье своей отставки он едва не лишился продажей всего своего имения, столь, напротив, поправилось жизнию его в деревне не хозяйством, не умеренностию, а корчемством, что по нескольких годах такого уединения он имел знатный доход и мог содержать отличную музыку, из иностранцев вольнонаемных составленную[3]. Вместе с прочими предметами роскоши стол его был наилучший. Род жизни уподоблялся тому, какой ведут бояра при дворе. Всегда украшен знаками почестей, он не принимал даже и живу-

щих с ним инако, как знатный господин своих доможилов. В доме его находили докторов, лекарей, секретарей, бабушек и всякого рода к услугам его на жалованье; ремесленников училище, полки слуг и разные заведения не поставляли ни малого различия между им и многими имперскими принцами. Сераль его наполнен был пригожими девушками, иные говорят, будто и мальчиками, и с сими обоего пола красотами он на своих домашних балах танцовывал; вечерний стол часто и обеденный иногда увеселяем был богатыми бахусовыми дарами, он поил и пил много. Вот все черты его жизни! Нрав его был основа всяких дурных качеств: чванство, зависть, надменность, подлость, любостяжание; двояк в обращении, он всех ласкал и никого не любил, всякого хвалил в глаза, заочно обносил, всякому усердствовал на словах, на письме, на деле никем не занимался; корысть и деньги ставил первым благом, для приобретения лишней тысячи доходу унижался перед всякой провинциальной сволочью и, содержа везде откупы, имея везде поставки, тщательно наблюдал всякую сноровку с теми людьми, коих звание и власть имели какое-либо влияние на его прибытки. Сие испытал я пятилетним моим пребыванием в Пензе. Он ценил губернатора нашего очень худо, а меня знал как молодого человека ему издалека роднею[4], а еще того далее знакомого, однако лишь узнал, что я прибыл в Пензу, как прислал нарочного меня пригласить к себе в гости чрез письмо, в котором уже называл меня другом. Итак, мы поехали к нему. Всякая ласковость и неумеренное дружества изъявление были предварением нашего знакомства и началом тех низостей, какие после он употреблял противу меня и кои свидетельствуются письмами сего льстивого человека. У него погостили мы двои сутки, он нас употчевал, умучил светскими вежливостьми и сам замучился ими. Вот портрет соседа нашего, которому, однако, по благосклонным к нему отношениям меньшого двора, должны были все, а паче я, равно меньшого двора милостьми взысканный, хотя уже от него и забытый, обязанным себя считал, ежели не во всем, наступя на правило совести, ему угождать, по крайней мере во многом, принуждая жесткость нрава моего, норовить.

Скоро по прибытии нашем в город представился мне случай показать мое к службе расположение и строгость правил моих насчет сбережения польз казенных. Вот происшествие. Наш генерал-губернатор Ребиндер имел дочь замужем за довольно громким в то время человеком, и именно Михельсоном, который по каким-то подрядам в Адмиралтейств-коллегии имел по себе в залоге имение своего тестя. Поверенный или участник

10 Зак № 3535

Михельсона купец Арбс имел право с казны получить денежную сумму, и для того Ребиндер, выхлопотав, чтоб та сумма выдана была его поверенному из денег, следующих от пензенской Казенной палаты в Адмиралтейство, прислал при сообщении от оного свое предложение о выдаче пяти тысяч рублей доверителю купца Арбса, а в подкрепление своего предложения, которое он и сам, видно, ведал быть несправедливым, писал к директору Экономии г-ну Прокудину, дабы он склонил меня скорей ту выдачу сделать. Когда сей стал мне о том говорить, я, не имев еще о деле том понятия, уже сомневался в возможности его сделать, соображая, 1) что генерал-губернатор предложение свое подкрепляет партикулярным отношением, 2) да и к кому? К пребесчестнейшему члену Палаты, 3) мимо меня, с которым он истощил все ласковости нежного своего обращения. Сии три обстоятельства уже сильны были представить мне дело в худом виде. На что начальнику, думал я, так интриговать с подчиненным в деле правом? Нашел я ключ сей загадки в сообщении Адмиралтейств-коллегии, в котором она изъясняла, чтобы Палата выдала из ее доходов помянутую сумму купцу Арбсу, буде она совсем разочлась с Казанской ее конторой, а как по справке оказалось, что Палата нарочито важную сумму туда была должна, то само по себе становилось без всякой натяжки ясно, что купец Арбс или его поверенный пяти тысяч рублей получить не мог. Отвечал я Прокудину на все его подборные возражения самым простым русским словом, что нельзя. Не найдя во мне успеха, бросился он стращать членов генерал-губернаторскою властью, дабы они вопреки мне сделали о выдаче денег протокол, но из них старший советник г-н Врасский, привыкнувший при всяком щекотливом деле, как тонкий политик, отходить болезнями, тотчас записал себя больным и слег в постелю, а прочие, боясь подлинно, чтобы выдача незаконная не пала на их счет, и ради будучи, что упорство мое служило им причиною при случае неудовольствия Ребиндера сослаться необходимостью согласиться на мое мнение, пристали к оному. И так отстоял я эти деньги, а чтобы Прокудин не представил наместнику моего поступка с свойственной ему язвительностию, то и решился я сам к Ивану Михайловичу написать о состоянии дела и моем по новости в службе сомнении выполнить волю его. Ответ его (1)* на мое письмо был столь лестен, сколько я того желал. Он, увидев в моем поступке не крючкотворство или ябеду, а прилежание к достижению полезных сведений о

* (1) Письмо генерал-губернатора помещено в конце года. [Примеч. И. М. Д.]

правилах службы, нимало на меня не рассердился, и я никакой перемены не почувствовал в его со мной обращении. Равно и я всемерно стал стараться привести Палату относительно к Казанской конторе в такое положение, чтобы можно было пять тысяч рублей выдать, и как скоро увидел я в том удобность, то тотчас послал их с нарочным к Ребиндеру. Он сии деньги получил часа за два до смерти[5] и столь принял чувствительно присылку нарочного, означающую мое личное к нему усердие, что велел мне написать свою благодарность, не будучи в силах уже сам писать. Я выступил рано вперед для того, чтобы совсем кончить речь о сих деньгах. Иные поведение мое в сем случае хвалили, иные нет, мня, что мог бы я и лисий хвост и волчий рот употребить вместе, но природа мне не дала сих способностей, двух лиц держать я не умею и потому сделал то, что сделать думал должным. Оставляю всякого судить меня, как хочет, а я из сего обстоятельства получил важную для себя пользу, а именно ту, что плут стал меня бояться, секретарь остерегаться, а начальник уважать; следовательно, и имел я случай практический быть собой доволен, а между тем получил я дорогу о делах для меня сомнительных переписываться с генерал-губернатором, и нет ни одного письма ко мне из четырех или пяти, кои удалось мне от него получить, где бы он не изъявил мне приятнейших знаков его ко мне благорасположения. (2)*

Проходило уже почти два месяца, что я был в Пензе и начинал привыкать к низовой жизни, к которой надлежало мне приучить и жену, приехавшую из Москвы в конце генваря с большим сыном, а дочь оставалась в Москве при отце моем, который столько к сему ребенку пристрастился, что не мог решиться ее с нами отпустить. Все известия, кои она мне привезла о моих домашних, были для меня тем приятны, что всех она их оставила здоровыми. Трудно ей было на первых порах ознакомливаться с пензенскими жителями, но благоразумие ее принудило подчинить желанья необходимости, и по нескольких днях ее пребывания в Пензе, когда она сделала приступ к знакомству с губернаторшей и несколькими дамами, довольно часто была посещаема, чтобы по склонности своей сидеть дома всегда иметь у себя компанию. Собрался я ехать осмотреть казенные заводы и, испросив на то соизволения Ивана Михайловича, поехал в феврале в последних числах. Такому промедлению моему, близ трех месяцев от приезда, причин много было различных, но

---

* (2) Письмо о деле помянутого Арбса написано по окончании года. [Примеч. И. М. Д.]

важнейшая та, что мне хотелось наперед ознакомиться с делами Палаты, рассмотреть ее внутренность, и потом отъехать; к тому же, собираяся ехать не по-барски, а налегке в санках, признаюсь, что из любви к себе хотел дождаться теплой погоды. Итак, поехал я на пристани разбойничьи. Прежде практического описания тех заводов прилично здесь поместить всю ту теорию, которую мне об них доставил мой директор Экономии в одной из наших с ним бесед. Он, не зная ни цели моей, ни видов, а известен будучи о изнуренном долгами нашем имении, считал наверное, что я приехал в Пензу набить карман. По сим принятым мыслям, он описал мне откровенным образом все те заводские прибытки, которые он делить со мной может, и начертал план производству винной сидки, в исполнении которого, кроме прочих мелких барышей от барды[6], строения и прочего выходило, что от тридцати тысяч четвертей, купленных в девять мер, а казне показанных в восемь, заплаченных в двух рублях, а казне поставленных на счет в трех рублях, получать я должен был с ним вместе тридцать тысяч ежегодно рублей и столько же хлеба четвериков. Таким вычислением показал мне г. Прокудин, что он настоящий был директор домоводства, но не царского, а своего. Я отринул таковые предложенья, посоветовав ему и самому от них воздержаться, и, избрав свободное время, поехал сам взять идею о сих заведениях казенных в Пензенской губернии. Сколь соблазнительны, однако, пути к счастию и к богатству! Г. Прокудин, приготовляя меня к разговору с собой о заводах, самым хитрым образом под видом будто бы поверенного одного помещика тутошнего продавал мне его дом с садом, стоивший до семи тысяч, за три и с обожданием денег без сроку платежа, и до того времени без процентов, за который бы, конечно, достальное заплатил он из своего кармана, но Бог хранил меня от ошибки. История заводов не принадлежит к моей, итак, я кратко скажу об них следующее. В одной округе Краснослободской их два, по именам Брило и Синдор. Оба довольствуются лесом из одной округи, а хлеб скупается во всех хлебных прилежащих уездах. Устроены они были на триста тысяч ведр, хотя начальство, по обещанию Казенной палаты, почитало их в силах выкурить до полумиллиона, до чего они, однако, не доходили. Не знаю, упомянул ли я где выше, но ежели и написал, здесь не лишнее будет повторить, что за худое заведение сих заводов пострадала вся Казенная палата: виц-губернатор принужден был пойти в отставку, директор Экономии судился в Уголовной палате и потерял место[7], а прочие члены на все имение свое получили арест. Такое обстоятельство побуждало меня приложить к

сему делу все мое внимание. По осмотре обоих заводов нашел я не только обмен, обвес, притеснение крестьян, торгующих хлебом, но даже такие низкие и подлые мошенничества, какие едва по самым разбойным дворам водятся, словом, пристань воровскую — вот что я там увидел! Тут-то я приметил, что между хозяйством нашего брата дворянина и хозяйством государя есть большая разница, а на сей разнице основал я мнением про себя непоколебимым, что все таковые заведения от короны паче вредны ей, нежели полезны. Охотно верю, что я ошибаюсь, но кажется мне, что домоводство или экономия государственная и его esprit de finance* должны представляться в другом совсем виде, чем в заведении, например, винокурни, на которой, конечно, директор Экономии больше украдет, нежели передала бы казна дворянину за поставку к ней вина. Хозяйство требует присмотру, а какой присмотр может иметь начальство самое даже ближайшее и непосредственное. Возьмем в пример Казенную палату над такими операциями, кои от нее в трехстах верстах и которые неминуемо приносят убыток или оттого, что не досмотрели за ними и дали украсть, или оттого, что слишком производство дела стеснили лишними ожиданиями позволения на такие вещи, кои в успехе дела суть необходимы. Сие я практически испытал по сим заводам, правя ими пять лет. Видел я, как курилось вино, как покупался хлеб так называемый из первых рук, и который поставлял, однако, подрядчик, и первые руки делались десятыми. Рассмотрев не все, а бóльшую часть неустройств заводских, делал свои примечания и дней в двенадцать оканчивал уже мое путешествие, которое к заботам и досадам ревнующего о благе общем сердца присоединяло, однако, с другой стороны приятности честолюбивой молодости. Губернатор, желая мне показать самый важный знак своей ласки, писал ко всем начальникам уездов, чтобы чинима была мне повсюду встреча так, как бы и ему. Везде городничие и исправники в угодность своему начальнику наперерыв меня угощали и сопровождали. Объездив несколько округ и географически познакомясь с губернией, имел случай ознакомиться с помещиком Троицкой округи господином Таптыковым, о котором упоминаю для того, что сей честнейший дворянин и к добродетели всем сердцем приверженный, полюбя меня искренно, служил мне самою отрадною беседою в часы моей скуки в Пензе, и, расставшись с тем краем, я с ним, однако, не расстался; связь наша, укрепившаяся временем, оставила нас и в разлуке друзьями. Для удоволь-

* финансовая политика (фр.).

ствия сердца моего не меньше почерпнул я пользы из сего знакомства, как для сведения службы и просвещения в части казенных дел из всего путешествия.

На Бриловском заводе сведал я о смерти Ивана Михайловича. Сей почтенный наш начальник скончался 1 марта, оставя в общем о себе сожалении обе вверенные ему губернии; мало было людей, кои бы о нем не плакали. Я уже говорил о его качествах и повторять их здесь не буду. Приехав домой, нашел я губернатора, из вторых сделавшегося первым, и из одной только благопристойности не радующегося о смерти Ребиндера, с коим они взаимно друг дружку не любили. Город весь, сожалея о старом, ожидал нетерпеливо нового старшину, но как по некотором времени никого не определяли, то и пришло решиться быть в повиновении у Ступишина. При сей эпохе нового в Пензе правления не не у места будет распространиться насчет его распорядка. Губернатор по наказу стал править чинами и делами, но как смысла у него на такое дело недоставало, то и взялась за это дело его теща, которая, мыкаясь то в Питер, то в Москву, умела пронырством ума своего запужать его какими-то своими пустыми в столице связями, от которых надежду ему подавала получить генерал-губернаторский престол. Он, веря басням этой женщины, подкрепляемым ночными песнями милой ему жены, день ото дня слабее становился в исправлении своей должности, которую по начертаниям сих двух женщин правил вместо его, руководствуя его пером, тогда как бабы водили голову, провинциальный изрядный писец, некто Полдомасов; он сочинял предложенья, а губернатор их подписывал. Три брата Врасских, из которых один был у меня советником и советовал худо, другой прокурор и смотрел на дела косо, а третий председатель Уголовной палаты и самый большой уголовный преступник, имея всякий особенно свои выгоды и заведения в губернии, умели снискать его милости и делать, что хотели. Председатель Гражданской палаты Жедринский, которому нужно было покровительство губернатора на то, чтобы он не требовал от него службы, а позволял бы ему с утра до утра играть в карты, давал ему обеды и, угождая испорченной нравственности самок губернаторских, делал им приятные сплетни, болтал и злоязычествовал насчет тех, кои им не нравились. Все эти люди видели ясно, что им в Казенной палате ни оброчных статей, ни вина, ни соли, ничего на пай по себе делить не удается; знали же они, что губернатор, по грубой правде своей, буде продолжит иметь ко мне доверенность, то могу я им в их плутнях попрепятствовать, рассудили употребить все силы свои к тому, чтобы меня с ним

поссорить. Дурака на все наткнуть и навести очень легко. С одной стороны, губернский прокурор стал ябедническими протестами на палату сбивать Ступишина с пути и колебать его в мнении о моей честности. Где в форме производства дел могла быть по новости или неопытности моей ошибка, там представляли ему умысел во вред казенному интересу, беспрестанно подстрекали его разглашениями, самолюбию его вредными, будто бы я, употребляя во зло его к себе приязнь, хочу водить его за нос. Он не имел довольно проницания, чтобы разобрать, что те самые его и водили, кои ему внушали такие небылицы. С другой стороны, жена его, которую я посещал прежде ежедневно, требовала, чтобы я и при жене моей также ее возил к ней беспрестанно, но между дамами обращение имеет особые свои правила, моя жена также хотела иногда и к себе принять, а я, имея дом и семейство, приятнее находился внутри оного, нежели в посторонней беседе, которая милее мне была моего дому до тех пор, как я в нем перестал быть один. Оттуда родилась холодность, редкие свиданья отвлекали губернатора от объяснения со мной по всем доходящим к нему на счет мой слухам. Между жен наших начались взаимные претензии и негодование. Наконец, прокурор с братьями и вся их нечестивая колода через время, и весьма короткое, произвели такую ссору между мной и Ступишиным, которая, как ниже увидят, пустила самые гибельные для меня отрасли и адской горечи полную чашу мне растворила. Вот по кончине Ребиндера какая участь мне приготовлялась! Я между тем шел своей прямой дорогой, делал дело государево с тем совестным страхом, с тою боязливою осторожностию, с какою дворянин прямой, потомок Долгоруких рода, должен был звание свое не всуе носить. Повиновался власти губернатора, но, приводя подчиненность должную в благоразумную меру, предписанную законами, не потворствовал, где надлежало отрицать, не хвалил, что хулу заслуживало, и с порабощением через край не выслуживался. При начале своего самовластного в Пензе правления Ступишин показал мне услугу самую приятную, а именно: на очистившуюся в Шишкееве городническую ваканцию представил по просьбе моей, еще Ребиндеру принесенной, но за болезнью его и скорою смертию не воздействовавшей, шурина моего Смирнова, который из судей Нижней в Володимире расправы[8] туда и определен. Сею услугою он начал опыты своего благорасположения и кончил вместе, ибо скоро после он тому же Смирнову, мстя за меня, дорого отплатил такое благотворение. Описав сим образом перемену пензенской моей гражданской сферы, обращусь к своему семейству.

В самое то время в московском нашем доме происходила свадьба сестры моей двоюродной Ржевской, в опеке отца моего находящейся, за Татищева. Сей брак совершился силою и покровительством статс-дамы графини Чернышевой. Знатные дамы и мужчины любят там казать вид благотворительности, где весьма без их помощи обойтися можно; девица, за которой было пятьсот душ, могла бы всегда сделать себе замужеством участь и без посторонних старателей, но к бедным богатые что-то никогда не льнули. Оставим их венчаться и дадим место скоротечному в том годе, но чувствительному огорчению. При известии от сестер о приключившемся отцу моему опасном геморроидальном припадке получаю я неожидаемо и от него претрогательное письмо, в котором сей почтеннейший родитель, прощаяся со мной, изъяснял мне последние свои желания. По горячим моим к нему чувствам, поражен я был как бы громом такою нечаянною вестию и в первом движении горести, не зная, чем облегчить тоски моей, отправил нарочного осведомиться о здоровье его и поспешить, буде он еще здравствует, уверить его письмом, сколь непреложно готов я и жажду не токмо в животе его, но и за край гроба повиноваться его воле, чтить ее, любить и угождать слепо, и чтоб он на сей счет был совсем успокоен. Курьер мой, скоро возвратясь, привез мне сладкую весть, что ему лучше; сие подтверждалось собственным его письмом, в котором он чувствительнейшим образом выражал приятные влияния письма моего и уверениев на слабые органы томящейся души его, а из переписки сестер и домашних видел я, что болезнь, его постигшая, не столь была опасна, сколь привела его в робость сильная при том ипохондрия. Успокоясь таким образом и видя приближающийся конец Великого поста, в который мы уже начинали, а паче я, скучать, принялся я за старую свою охоту, стал рубить театр, писать кулисы, сводить труппу актеров, и ну играть комедию! Все приготовления к оной нас заняли и пробудили, как от сна, сделалось у нас в доме люднее и суетливее, а по моей охоте к людству и к шуму я начинал находиться в своей сфере. С утра до вечера упражняясь в делах казенных, как я рад бывал, когда в семь часов вечера, сходя из своего кабинета в женины покои, находил готовую забаву по моему вкусу: репетиция, камерная музыка и всякие игры, где приятная простота нравов удаляла все заразы чванства и высокомерия, коего я ни с кем в обращении не имел и не показывал. Многие боялись короткостию уронить чин, я был совсем иной веры: ни сам он не падал, ни я его не ронял, а всякого достойного человека, несмотря на его породу, никогда не считал ни ниже себя, ни хуже; одних только картежников

да ябедников не любил, и для того, распознав бо́льшую часть скучных жителей Пензы, я составлял свою беседу из немногих. Короткие и вседневные мои гости были человека три заезжих со мной и помещенных к разным должностям в Пензе; двух секретарей моих жены, изрядные женщины, и гостившая у нас, приехавшая с женой из Москвы, госпожа Елисеева; иностранец Пуло, случившийся тогда с товарами и с хорошими клавикордами особой механики, на которых он играл прекрасно; иностранец Мишеле, содержащий Пансион детский; доктор, молодой и милый человек, к забавам очень склонный, Олгрейн — вот из кого беседа наша человеках в двенадцати была составлена, и, если смею сказать, это было самое лучшее время жизни нашей в Пензе. В конце поста и во всю Святую неделю я болен был лихорадкой и в ней начал свой двадцать девятый год. Вышеписанные доктор и музыкант мне великие показали услуги, не покидая меня в болезни моей ни на минуту. Она тем сильнее была, что в первый еще раз в жизни моей мне трафилось проводить светлый праздник, сей знаменитый в христианстве день, таким образом, что, вышед или выехав из своего дома, не находил я ни одного человека, которого бы мне хотелось от всего сердца обнять. Но в свете ко всему привыкнуть должно. Болезнь моя не мешала мне заниматься отправлением должности моей, я и на дому, получая от лихорадки свободу, ежедневно слушал все вошедшие бумаги и распоряжал Палатою еще свободнее, чем в ней, ибо ничто не отвлекало моего размышления и не препятствовало мне вникать в существо предлагаемой мне бумаги.

Между оными попалась одна, которая невольным образом принудила меня навлечь на себя негодование губернатора, а именно: указом Сената оштрафованное Наместническое правление получило повеление сей штраф внести в общий государственный доход, следовательно, Казенная палата, имея главным своим предметом верный сбор оного, не могла в сем случае никакого сделать губернатору послабления, а как всякий поступок места большею частию падает на председателя, то губернатор по ограниченному своему смыслу считал меня непоколебимым в настоянии получить с него принадлежащий казне штраф не по усердию к званию моему, а по личной моей будто на него досаде, которой хотя не было никакого места, но ему так толковали, и потому я его извиняю, нашед опытом, что мало таких умов, кои бы понимали вещи и поступали не по чужим внушениям, а по своим примечаниям. Много было спору и хлопот прежде, нежели вошли в приход деньги, но наконец тысяча рублей взыскана, и дело кончено. Хотя сие положило начало распри между нами,

но как это дело, подобно многим другим, не вдруг произвелось и кончилось, то пока Губернское правление переписывалось с Сенатом, а сей повторял свои указы, имел я случай и с моей стороны разными проволочками делать ему снисхождение. Итак, искра ссоры, брошенная между нами, тлилась, но еще не зажигала большого огня, а между тем губернатор, желая показать некоторую стоическую твердость в его ко мне приязни перед всею публикою, уже болтающею о нашем сокрытом раздоре, вздумал править мои именины у себя дома и 8 мая дал на сей случай превеликий у себя обед. В самый этот день у меня играется первая комедия, ничего не значущая, моего сочинения под именем «Трагилирография». Одно имя уже всякому означает, что это была игрушка, и самая вздорная, однако и она имела свое место в нашей ссоре с Ступишиным. Так как намерение мое было обновить театр свой порядочным представлением не прежде именин губернаторских в отплату за его вежливость ко мне, то и хотелось мне узнать сперва, сколько поместится у меня людей в театре, и для того, не приглашая никого из благородных особ, роздал в мои именины билетов до сорока купечеству и приказным, а играли человека с три из живущих у меня, но никто из нас самих. В провинциальном городе нет секретов, там все знается тотчас. Губернатор, узнав о моем театре, убедительнейшим образом выпросил у нас, а паче жена его, для себя два билета; мы не могли отговориться, итак, во всей упомянутой сходке были они только двое наши гости. По окончании спектакля дали мы им ужин и не прежде посадили лучших из купечества людей за стол, как с их позволения. Со временем все это обратилось мне же в нарекание, и когда мы рассорились, то поджигатели умели ему внушить и уверить его, что все это происходило ему на смех, что приглашение его с помянутым людей сбродом выдумано было мною на смех ему. Не сам ли я с ним был во всем тогда соучастником? Но клевета ничего не соображает. Итак, мы тот день отправили в самом чудесном и смешном позорище. 25 мая, в день его именин, дается у меня настоящий спектакль, и созываю я весь город; представляем «Вечеринку по моде» моего перевода, в которой играем и мы с женой.

После того, желая пользоваться хорошею погодой и имея к тому случай, получа позволение от г. Салтыкова, тамошнего помещика, жить все лето в его деревне, наипрекраснейшим образом устроенной в двенадцати верстах от города, называемой Бессоновка, выпрашиваю я позволение начальника моего переехать и, получа, не мешкав, переезжаю. Там начинаю я наслаждаться плодами блаженной деревенской тишины. Гулянье и

полевые забавы наполняли все те часы дня, кои я не был на службе, ибо, несмотря на расстояние, я ежедневно езжал в свою Палату и возвращался домой к обеду. Такое сильное движенье, и почти беспрестанное, много приносило пользы моему здоровью, но, с другой стороны, удаление от города доставляло свободу моим завистникам устраивать противу меня заговоры и ставить разные сети. Деятельность моя, и за городом живучи, умножала моих недоброжелателей, и редкие свидания с губернатором, отнимая способы с ним иногда изъясняться, прибавляли удобство к разным на счет мой выдумкам. Все это мало меня трогало. Должен бы я был оное предвидеть и предупреждать, но, к несчастью моему, не был тогда попечителен о сохранении хорошей молвы и, начиная думать, что человек должен первым и единственным отчетом своей совести, не заботился узнавать, что про меня сказали, что на счет мой сложили, словом, имел за правило:

> Que trop de prévoyance amène trop de soin
> Je ne savais prévoir le malheur de si loin*.

Директор Экономии Прокудин, под видом своих нужд получа отпуск в Питер, в мае со мною простился. Я чувствовал, что цель его была или удачно на меня пожаловаться покровителю своему Зубову и пугнуть меня северною бурею, или решить пользу службы своей по его видам переменою места, которое тут и под моим присмотром не приносило уже ему огромных выгод по-прежнему. Во всех сих случаях относил я скрытые вздохи мои к Богу, а к светским полубогам никакой о себе не писал грамотки и ничьей не искал милости.

Из сих последних один, знатный нашего края вельможа, о котором писал я выше, князь Куракин, пригласил меня с женою в свою Саратовскую деревню в гости. Там погостили мы двои сутки; по достаточному описанию, какое я об нем сделал при первом моем к нему визите, всякий узнать может, что при встрече, угощении и проводе нашем истощены были все затеи светского тщеславия. Деревня его была тогда уже прекрасная, устроена наилучшим образом; аглинский сад, прочищенный в осьмидесяти десятинах старого леса в такой стороне, где на горизонте двухсот верст вокруг человеческий глаз не встречает ниже прута, такую

---

* Что излишняя предупредительность чревата излишними заботами / Я не умел предвидеть несчастье столь заблаговременно (фр.).

представил нам диковинку, от которой пришел бы в изумление и тот, кто видал больше нашего. Почасту в этом саду встречали мы разного убранства и архитектуры домики, из коих каждый имел свое особенное название, всякая тропинка имела свое имя, назначенное на жестяной доске, вделанной у входа в оную в нарядный столбик. Под именем «Цесаревичева просека» открывалась глазам нашим преширокая дорога с триумфальными воротами; были и другие просеки под именем «Нелидовского», «Марии Антуанет», в честь которой приготовлялась и пирамида с бронзовою доской и на ней надписью. Из мелких строений нравилась хозяину больше всех галерея, называемая «Вместилищем чувств вечных»; в ней на четырех дверях были вензеля, как догадывался я, пленивших его некогда женщин. Тут мы чаще и приятнее прочих мест угощаемы были. Довольно сего краткого описания. По возвращении нашем оттуда в Бесоновку, начали мы приготовляться на краткое время в город, где по обыкновению в Петров день бывает ярмонка. Любопытствуя видеть то, о чем мы никакого понятия не имели, переехали к празднику восшествия[9] и забавлялись торгами, на которые съезжались из деревень множество дворян. В самые сии суетные дни прикатили к нам гости, а именно брат жены моей Савва с женою и своим семейством. Он по просьбе моей еще в марте был от губернатора представлен в городничие в город Шишкеев и, получа в Володимире, где он служил расправным судьею, указ о своем определении, прибыл к должности. Мы вместе проводили все ярмоночное время. Губернатор обошелся с ним хорошо, но ссора между нами час от часу укоренялась. Неосторожная с моей стороны запальчивость подала к тому новый повод, словом, скажу я, как Jacques le fataliste[10], видно, il etait ecrit la haut*, чтобы между нами не было согласия. Вот в чем дело. В Пензе содержал лет с двадцать аптеку штаб-лекарь Петерсон, который пользовался отличными милостьми от губернатора, не знаю отчего, но многие злоязычники подозревали, что он их лечил и лекарствами снабжал без платы. Он по заведенной издавна привычке зывал к себе в Петров день на именинный пир и бал, почему и приехал меня на оный звать за два дни до праздника. Я, наполнен будучи всегда глубокого благоговения к Петрову дню, яко дню именин моего государя, на зов отозвался охотно, кроме обеда, считая, говорил я ему, что дает оный губернатор, но мой аптекарь, толкуя мне, что он зовет на бал, сказал, что обед в тот день даст г. Колокольцов, Верхнего земского суда председа-

* это было предписано свыше (фр.).

тель. Рассердяся за такое нестройное учреждение столь важного для меня праздника, послал я предварительно губернатора просить, чтоб, ежели он в Петров день не даст обеда, то сделал бы мне честь, пожаловал к моему, ибо этого праздника я, кроме его или себя, нигде торжествовать не могу, и что я надеюсь, что он даст мне преимущество пред Колокольцовым. Приглашение мое его всконфузило. Не смел он отказать Колокольцову, потому что у него дядя родной был сенатором, да еще и в 1-м департаменте[11], с другой стороны, не считал приличным обойтить меня требуемою почестью. Долго тревожился, суетился, из дому в дом пересылался, наконец решился дать обед у себя, такой же торжественный, как и в восшествие, на который и получил я зов по карточке. Все это не заслуживало бы ни малого внимания, но умы, настроенные на худо, и сердца, к гневу расположенные, выводили из сего происшествия, что я принуждаю губернатора праздники давать против его желания, и тем самым острили жало его против меня. Я чувствую очень всю непристойность моей горячности и должен бы был обращаться скромнее в городе, наполненном людьми грубыми и непросвещенными, но, к общему сожалению всех, о человеческом роде всякий знает, что как теория ни учит нас быть осмотрительными в поступках наших, ничто, однако, так нас в том не утверждает, как опытность; без нее человек редко бывает благоразумен и достаточно к пользе своей осторожен, в молодости же наипаче что может быть восхитительнее, как поставить себя в предмете разговоров целого города и заставить о себе сказать: экой молодец, поставил на своем; вот в чем состояла вся моя добыча, и я надеюсь, что всякий мой ровесник в тогдашнем возрасте со мною в этом согласится.

Наконец, в Петров день дается аптекарский маскарад. Вообразить можно, сколько на нем было весело, когда я скажу, что весь вечер прошел в объяснениях между губернатором и жены моей, которыми он вместо меня потчевал ее для того, что боялся моей вспыльчивости и непристойной какой-либо между нами сцены, чего от дамы он ожидать не имел причины. Никто не танцовал, все ходили по зале из угла в угол и перешептывались. Политики по окончании объяснения искали узнавать из их лиц, к чему дело клонится, к миру ли, или войне, и не знали, на чем основать свои заключения, когда переговоры каждый час почти повторялись, и с одинаким жаром, а патриоты пензенские между собою защищали каждый свою сторону; короче сказать, вся эта вечеринка похожа была на Сейм больше, нежели на бал, даваемый на счет умерших в Пензе граждан. Дележ Польши[12] едва был ли того суматошнее! Все кончилось

пустяками; объяснения жену мою вывели из терпенья, а он, по косноязычию своему, так от них устал, что ссора между нами осталась в той же мере, как и до бала, все, однако, с некоторою благопристойною наружностию. Отправя таким образом ярмоночные пиры, поехали мы обратно в Бессоновку, а в городе прокурор, увидя, что лучшая самая ему минута предстоит ловить рыбу, возмутя воду, отправил вслед один за другим три протеста, как то например: что Казенная палата допустила к должности пристава соляного, не дождавшись утверждения на определение его от Сената, что отрядила для сбору на Ломовскую ярмонку советника, и прочие такого же разбору. Во всем этом следовал я прежнему порядку, ибо таковые случаи были и прежде; в вящую же предосторожность я и наставление, которое давал советнику, поколику оно различествовало от прежних, относил на утверждение губернатору, и им оно было опробовано, то, кажется, все было в порядке, но как пристав определяемый и советник отряженный были ко мне вхожи и знакомее других, то в протестах прокурорских и действовала более личность, нежели радение о благоустройстве, которое, впрочем, ничем не нарушалось. Протесты сии, доходя к губернатору из первых рук, побуждали его подстрекать меня едкими предложениями, в которых он начинал уже употреблять любимые его изречения, как то: «неслыханное злодеяние» и проч. Возражения мои, признаюсь, также не уступали его превосходительству. Итак, начиналась письменная добрая битва: все эти бумаги шли своим обрядом на рассмотрение в Сенат, куда участвующие лица, дабы не остались бесплодными, бомбардировали письмами к секретарям и прочим, имея в предмете меня огорчить, а я с моей стороны, держася оборонительно, только чувствуя себя в исправлении должности моей совершенно правым и ненавидя всякую личную переписку о деле казенном, в котором не должно быть иного к решению ходатайства, как правое внушение совести и бескорыстие судящего, упорно стоял в моих правилах, отдавая все следствие наших ябеднических переписок на судьбу и смысл господ сенаторов. Но, к крайней моей ошибке, Сенат по всем протестам винил меня и делал мне выговоры, а что всего страннее, не подкреплял обвинениев моих никакими доводами законными. Так как все указы сии доходили не вдруг, а по временам в течение лета, и ни один из них меня не только не убивал, но ниже приводил в робость, то губернатор, дабы, что называется, зажать мне рот, ничего лучше не придумал, как начальничьим образом меня милостиво пожурить. Совет ли он чей-либо чужой в этом исполнял или собственно своего рассудка (если можно сим именем почтить

самую нестройную смесь фальшивых о вещах понятий), того я не знаю, но и доселе дивлюсь хорошему выбору времени на сей приготовляемый мне выговор. В июле 11-го числа великая княгиня разрешилась от бремени дщерию, нареченной Ольгою. По заведенному обряду, губернатор удостоился получить о том известительный от государыни собственноручный рескрипт, насчет которого сколько его ни уверяли, что таковые циркулярные письма посылаются ко всем начальникам губерний, но он стоял в том, что это на его лицо именно состоялось, и приписывал сие особому к нему благоволению. Вместе с этим прилично молвить мимоходом и о том, что он бригадирами почитал только тех, кои в сем чине суть в службе, как например я, почему и называем я был им впрямошный бригадир[13], а прочие нет; что московские Сената департаменты не таковы, как петербургские, ибо они в Москве, и что государыня в премудром своем предисловии «Высочайшего о губерниях учреждения», говоря о различии мест по роду дел и что они между собою разделены, хотела будто сказать, что они разделены стеклянными перегородками, кои между камер судейских и приказных повелено было устроить. Такие и многие другие его отзывы да не почтутся шуткою или дерзновенною насмешкою, истинно нет! Таков точно был наш владыка! По получении вышепомянутого рескрипта рассудил он дать обед по чинам; охотно бы он меня на оный не позвал, но под тот час приехали в свою деревню пензенскую проездом в Саратов князь Михайла Андреевич Голицын, женатый на старшей дочери графа Андрея Петровича Шувалова. Деревня их отстояла от Пензы в тридцати пяти верстах на самой большой Московской дороге, на которой и мы обитали Бессоновку. Прежнее наше с ними знакомство привлекло их к нам в гости, а желание видеть Пензу убедило пробыть в ней несколько ден, на которые и зазвали мы их жить в свой дом. Они на предложение наше согласились, итак, мы с ними переехали в город до их отъезда в Саратов, а в ту самую пору случился и помянутый праздник, которому губернатор, усугубляя радостное торжество, назначил быть 22 июля, в день тезоименитства великой княгини.

По сделанной повестке явился я к нему поутру с поздравлением; долго он крепился, но, не выдержав, позвал меня к себе в кабинет и в свидетели благообразия нашей беседы пригласил г-на Копьева. Там, запершись втроем, слушал я долго запальчивые его от меня требования, чтобы я перестал с прокурором входить в противоречия. Сколько я, смиряя свои слова и движения, ни старался его урезонить, доказывая, что на опровержение наших друг другу бумаг установлена форма, которой остает-

ся нам следовать, и что доколе она не нарушена, не думаю я, чтобы его превосходительство имел законную власть требовать от меня личного примирения или соглашения в делах, целым местом производимых, где я только перевес имею голосов, а не какую-либо власть полномочную, но мой генерал со мной не соглашался, наконец, счел приличным делать мне угрозы пальцем, как будто бы ординарцу полковому. Тогда я, не привыкши бояться ничьего гнева, опричь Божия, монаршего и родительского, осмелился ему представить, несколько возвыся голос, что, снисходя многому выслушанному из уважения к его летам и чину, принужденным находился прекратить меры терпения моего, потому что движения его и горячность разговора показывали мне, что он выходил из пределов принадлежащего мне уважения, что все его с некоторого времени со мною поступки почитаю я притеснениями, кои ежели продолжатся, докладывал я ему, и его превосходительство не войдет в обращение со мной по службе (оставляя личное на его волю, не имея на оное никакого права) в пределы узакониениев, то бы изволил знать, что я оборонять себя от него стану теми же средствами, какими получил и место мое, то есть отношением к государыне, и, сказав сие, толкнул дверь, прибавя: «Впрочем, сегодни торжество и день такой, в который даже каторжные от работ увольняются, следовательно, случай празднества не вмещает продолжения такого колкого разговора», — и вслед за [с]им вышел вон из кабинета, твердо себе посулив не иметь с ним уже никакого знакомства, ниже сохранять вид политического согласия, к показанию которого только в присутствии Голицыных для их собственного спокойствия вежливость еще меня на несколько дней обязывала. Итак, скрепя сердце, был я у него в тот день с женою и моими постояльцами на обеде и бале, и он, однако, во весь день со мною обходился как истинный пріятель, чаятельно для того, чтобы весь вид вины показать гостям петербургским на моей стороне или и для того, чтобы норовить им чрез то, как людям, к нам ласковым и у нас живущим. Приятно мне было тогда сим последним показать мою услугу, доставя им способ на случившиеся им нужды занять пять тысяч рублей, в коих я поручился, и сие дело кончив с ними, проводив вечера два или три наиприятнейшим образом в их обществе и вспомнив род жизни столичный, сладкими мечтами наполненный, простились; они поехали в Саратов, а мы в Бессоновку, куда не стало у Ступишина гнусности меня не отпустить, ибо все журналы целого лета свидетельствовали исправность моих заседаний, а там если не весело, по крайней мере жили мы уединенно и смирно. В течение лета директор Экономии,

по случаю покровительства к нему обер-прокурора Сената Зубова, отпросясь в отпуск узаконенным порядком, слетал в Петербург. Но Бог не выдаст вовеки тех простых сердец, кои на вере к нему утверждают свои поступки — никакие его пронырства ему не удались, и наконец он принужден был, возвратясь без успеха, выйти в отставку, оставя место свое Зубову, родному обер-прокурора брату коллежскому асессору Василью Николаевичу, который, хотя самый чин его и употребление сие в службу показывало, что он не имел большого от случайной родни своей покровительства, однако в таком близком с ними союзе крови опасен был по одной уже русской справедливой пословице: «Свой своему поневоле друг». Определение его в директоры Экономии было приготовлено губернатором на тот конец, чтобы в нем найти против меня опору, а притом и родне его показать некоторую трусость. Время покажет, достиг ли он своей цели.

Между тем временем у двора происходили следующие обстоятельства. Генерал-прокурор князь Вяземский умер, на место его был определен граф Самойлов[14], человек глупый и никаких сведений не имеющий, но Екатеринина голова могла заменять многих, под ней всякий всему был мастер. Зубов из обер-прокуроров Сената пожалован был в сенаторы, следовательно, того же влияния на дела статские, какие до сего имел, не мог уже сохранить, на место его определен был человек острый и немолодой, Храповицкий. Пока все сие делалось на Неве, мы с берегов Суры переезжали в город. Наступила осень и приглашала горожан к комнатным увеселениям, кои состояли в одном клобе. При открытии оного рассудили баллотировать выбор новых директоров, из коих я, вышед вон, замещен был Зубовым. Все эти безделки служат, однако, важным основанием к заключению насчет провинциальной жизни. Жена, по склонности ее к домоседству, никогда в клоб и не езжала, и я показывался в нем весьма редко, но, дабы сколько-нибудь весело или по крайней мере меньше скучно было нам, принялись мы опять за прежнюю нашу забаву, всю осень и зиму играли комедии, составя наше общество из лучших в городе людей, лучших не по чинам, а по нравственности. Между забавами театральными давали иногда и маленькие балы, которые от многих были посещаемы. Дом Копьева всегда был с нами в неразрывной связи, а вдобавок к постоянным жителям Пензы наехали многие отставные дворяне с своими семьями из поместьев. Жизнь городская сделалась приятнее, общество больше, сверх того поставлен был на зимные квартеры в пределы той губернии драгунский полк, коего полковником был Тараканов. Сей старинный приятель нашего дома, купно и с женою своей,

гащивал у нас в Пензе один по нескольку ден, а как в Саратове и в Тамбове также поставлены были полки, то дивизионный их командир, генерал-майор барон Беервиц, полюбив в коротком своем проезде Пензу, учредил в ней свою квартеру, и прибавился сим приятный дом в Пензе, наипаче для нас, ибо жена его была гораздо прежде надзирательницею в Смольном монастыре, где жена моя воспиталась, и, следовательно, имела с ней некоторую приязненную свычку, которую возобновить было им нетрудно. В доме их между прочими дворянами, съехавшимися в Пензу из деревень, познакомились мы с У<лыбышевыми>. Воспоминание сего знакомства, сопряжено будучи со многими последовавшими ему приключениями, всегда меня в ужас приводит. О, как бы дорого я дал, чтобы день сего знакомства выкинут был провидением из числа дней моих, чтобы заря того дня не коснулась вежд моих вовеки! Таким образом провождали мы осень сносным образом, а к зиме готовились нового рода забавы; в тот год истекал трехлетний срок выборам дворянским, кои назначены были в декабре. Князь Куракин осчастливил Пензу своим приездом. Слух о готовящихся балах соблазнил многих офицеров стоящих вокруг полков. Прискакал из Саратова полковник Буткевич, он нас, а мы его тотчас полюбили; сей приятный в обращеньи человек знакомством своим приносил нам большое удовольствие. Наконец, начались выборы и праздники, всякое утро кое-как отправлялась дворянская баллотировка, а по вечерам ежедневно давались балы, кои продолжались до трех и четырех часов пополуночи, ежедневно были обеды у губернатора для разных округ, словом, в две недели этих выборов мы так завеселились или, лучше сказать, засуетились, что служба, которая и без того в рабочую пору не много нас занимала, тут совершенно из мыслей истребилась. Князь Куракин вельможным своим сиянием озарял то́ржество Пензы. Он придавал роскошью своею большой блеск нашим пирам, а дабы ссора наша с губернатором не произвела в общей гармонии неприятного разногласия, то он, как самый тонкий политик, мудрец царских чертогов, приехав в Пензу до выборов, вступил в посредники между нами и губернатором, и, хотя он при всех своих трудах не поселил никакого в нас внутреннего друг к другу доброжелательства, однако принудил меня из уважения к его усильному исканию сделать вид примирения с губернатором только на время выборов для благопристойности публичных собраний. Таковое же наружное примирение между нашими женами, хотя с большим трудом, но успел он устроить также на две недели, и мы в оные начали между собой съезжаться. Трудно было жене моей на сие решить-

ся, что легко можно будет видеть из письма ее, которое она к князю на сей случай писала и с коего в окончании года поместится копия (3)*, однако начали мы сквозь слез смеяться.

Говоря о выборах, не стану я здесь описывать всех пиров, кои кто и когда давал, но, дабы дать некоторое понятие о сих происшествиях в губернских городах, о том, как самые выборы производятся и какие приключения могут встретиться в столь многочисленном стечении не образованных по большей части, а диких и закоснелых в грубом невежестве голов, выберу я, что примечательнее всего было для меня на тот раз, и начну кратким изъяснением порядка, каким баллотируются избираемые к судам дворяне, потом молвлю нечто и о праздниках, вместя наилюбопытнейшие из них.

Выборы должны бы были производиться в дворянском доме, но как оного, при многочисленной, однако, собранной с дворян сумме, в Пензе не было построено, то верхний этаж губернаторского дома, никем не занятый, и был на сие назначен. В нем дворяне для баллотировки собирались каждое утро чрез три дни по предварительным от полупьяного гарнизонного офицера повесткам и на каждое место, в губернских учреждениях показанное, кидали все белые шары в пользу того, кого приказывал избирать господин губернатор чрез губернских стряпчих. Сии, подходя к каждому дворянину, шептали на ухо, на которую сторону ящика при наименовании избираемого бросать раздаваемые им шары; воля начальника, таким образом сообщаемая, невидимо в выборах содействовала. Если же кто дерзал иметь свою собственную волю, то таковой притеснялся, назывался преступником закона и подвержен бывал за упорство нередко несчастию. Вот как сие делалось между дворянами! Потом г-н губернатор утверждал представляемых кандидатов. Хотя я не знаю, каким образом сие исполняемо было в отношении к судьям нижних мест, но, быв свидетелем наречения губернского предводителя, думаю, что и прочие таким же средством попадали в свои места, а губернский предводитель тогдашнего выбора г-н артиллерийский капитан Машков, человек немолодой и истинно достойный, не прежде был губернатором в сем звании утвержден, как по призыве Полдомасова, о коем выше говорено было, без всякой его к тому обязанности, ибо он был стряпчий уголовных дел, и сей-то Полдомасов, написав наконец предложенье в пользу Машкова, поднес г-ну Ступишину, который властию, ему данною, не прочтя ни

---

* Письмо сие помещено в конце года. [Примеч. И. М. Д.]

строки, побеждая разум свой послушанием веры, Полдомасову подобающей, подписал оное. Таким-то образом сословие дворян на три года получило своего предводителя. Выборы в три утра кончились, и без затруднения, ибо за месяц до оных уже по алфавиту имен г. Полдомасов назначил мысленно кому где быть, оставалось только дворянам ранехонько встать, столпиться в антресолях губернаторских и наметить зря кое-куды положенное число шаров, а уже при рассортировке их ведал про то суфлер всей этой комедии г. Полдомасов, по скольку белых или черных на чей счет попадать надлежало. Вот как иногда сами государи выбором местоначальников в государстве своем подвергают наилучшее свое узаконение не только недоразумию и оттого вреду, но даже и посмеянию людей просвещенных. Так как всякое дело на Руси обыкновенно оканчивается брагой, то и после сих выборов протекли две недели в праздниках и обедах. Толпа пензенских патриотов на все обеды и ужины приглашалась; вообще, все ложились спать в четыре часа, вставали поздно и ничего никто не делал, однако журналы по всем местам беспрерывно выходили, их составляли из чего хотели секретари, а судьи подписывали. Между прочими потехами давал обед и откупщик пензенский, купец Печерин. Сей мнимый откупщик, ибо настоящий под именем его был князь Куракин, рассудил нас поить до смерти не без соизволения, но паче с побуждения к тому самого князя Куракина. По несчастной необходимости был и я приглашен на его пиршество. Сели мы за стол в два часа пополудни, а пили до шести часов вечера, и я истинно думал, что заплачу за сие животом, но сошло с рук удачно, а дабы коротко показать, как искусно мы все подражали обычаям старинных наших русских бояр, скажу, что до тех пор пили, что князь Куракин под гусли плясал с купцами во всех своих орденах бычка[15], что иные прикладывались с крестным знаком к его орденам, губернатора без чувств расцеловал межевой пьяный судейка, прижав в угол, и что... но где все упомнить. Князь Куракин среди всех нас был так крепок, что в тот же вечер и немного спустя в состоянии был в другом доме играть очень трезво в карты и дивился, видя, что я еще не мог привести гораздо около ночи походки своей в порядок, а он готов бы был и повторить утреннюю попойку. Умели мы перенять недостатки предков, а добродетелей их не заняли; если бы так же способны были стоять за матку-правду, как сулеи фамильные опоражнивать, совсем бы иначе устроивалась вся жизнь наша и судьба поручаемых нам областей. В заключение городских праздников пригласил и я небольшое число отобранных гостей к себе на благо-

родный семейный спектакль, и при сем случае прекрасная последовала со мной штука.

Поелику не зависело от меня наполнить круг моих актеров достойными и порядочными людьми, а должен я был удовольствоваться лучшими из тех, кои были налицо, то между актерами нашими был учитель народных школ, казавшийся мне за человека смирного и тихого нрава. В самый день спектакля, быв на всех пробах порядочен, он вдруг так сделался пьян, что по съезде уже всех наших гостей выслал мне сказать, что он играть не хочет, и что я ни делал, хотя сам г. губернатор, первый гость мой, грозил ему цепью и колодкой, ничто не имело желаемого успеха, и принужден был один из наших приятелей читать ролю его по тетрадке. Оставляю судить всякому, как это было весело! Многие полагали, что губернатор подделал все сие нарочно, дабы мне досадить, но я такого черного подозрения и доныне не имею, а особливо на такое время, когда он всякую наружность истинного примирения старался мне оказывать, а что всего было впоследствии мудренее, так то, что поступок столь наглый этого учителя остался без всякого с него взыскания и наказания, и что оное кончилось одними пустыми и никем не уваженными угрозами, и что ни в чьем доме, куда он продолжал вход свой, не переменилось с ним обращение, — по крайней мере в мой с тех пор пускать его перестали. Остается после того судить, чему помянутый учитель обучал юношество? Любомудрию и нравственной философии! Пускай теперь дивится, кто хочет, невежеству отдаленных провинций. Вот какою потехою окончены были дворянские выборы в Пензе.

Лишь только все по прошествии сих праздников успокоились и осталась Пенза в числе собственных своих сограждан, ссора наша с губернатором пуще прежнего возгорелась, и мы перестали опять друг к другу ездить, но как разрыв наших домов не почитал я достаточным обстоятельством к прекращению собственных наших забав, то в именины жены моей, кои бывают в самое Рождество, давал я бал, и на оный неожидаемым образом имел множество гостей, за что г. губернатор, а паче смиренная его супруга и кротчайшая теща не постыдились открыто изъявлять многим свое негодование. Все эти обстоятельства, еще до состояния выборов мною предвидимые, вынуждали меня искать средств ко избежанию столь несносного начальства, почему и отправил я в Сенат через губернатора просьбу об отпуске меня на двадцать девять дней, желая побывать лично в Петербурге, взглянуть на нового генерал-прокурора Самойлова и, коротко русским словом сказать, поискать счастия. Русские

пословицы всегда мне очень справедливыми казались, и я как будто предчувствовал, что та, которая говорит: «Дурак бросит камень в воду, а десятеро умных не вытащат», надо мной в Пензе сбудется.

Желание мое ехать в Петербург оживляемо было лестными надеждами, и к некоторым из них послужило мне поводом письмо, полученное мною после годового молчания, письмо самое приятельское от старой моей знакомой княгини Несвицкой, которое отправлено ко мне было через нарочного г. Кречетникова, препровождаемо при особом и превежливом письме от князя Куракина с нарочным же на собственное мое имя, а Кречетников тогда имел большую силу у двора и сверх генерал-губернаторской должности в Туле и Калуге назначался к управлению новыми в Польше губерниями. Таким путем дошедши ко мне, письмо из Питера от женщины молодой, умной и пригожей подавало мне случай к наивыгоднейшим для себя заключениям и прибавляло нетерпеливость мою побывать у двора, а как притом и жена моя была уже брюхата, то план мой устроивал я так, чтобы и ее, получа отпуск, привезти с собою в Москву, дабы она тут в семье своей могла спокойнее и безопаснее родить. В таковых приятных предположениях оканчивал я текущий год и услаждал ими бремена службы моей, которая не доставляла мне, впрочем, никакого удовольствия, ибо г. Зубов, мой директор Экономии, делая, что хотел, управляя самовластно казенными заводами, разрушал всякий порядок и в существе дел, и в самом их производстве, подавал на все голоса, запутывал сколько мог движение Казенной палаты и, не выезжая из дому в присутствие инако, как когда хотел, высылал престроптивые бумаги, по которым без опасения себе зла не мог я ничего удовлетворительного для него делать. Но все сие до такой степени меня замучило, что я из посредственных судей сделался было несносным ябедником. Вот на чем остановлю я моего читателя при конце сего года[16].

1793

Десять лет как я Историею моею не занимался. Десять лет записки мои ездили со мной с места на место и в большом нашлись беспорядке, когда я в 1803 году опомнился и, в свободный как-то час заглянувши в них, вздумал продолжать такое сочинение, которого польза со временем может быть ощутительна для детей моих. Много с тех пор, как я остановился, воды утекло. Много людей померло, возвеличилось, паки упало,

словом, перемен много было вокруг меня. Разбиваем быв в сие время разными приключениями, как на волнах носимый по произволу непогод ялик, наконец отдохнул у тихого пристанища, и, подобно как мореходец, который, после долгого на море плавания возвращаясь домой, находит свои пожитки целы и сохранны, так, благодаря Бога, и я, взглянув в свои записки, сравнивая себя ныне с собой десять лет назад, нахожу душу мою, сердце и правила все теми же. Несчастия, злоключения теснили меня до врат адовых, но дух мой устоял и непоколебим пребыл противу всех покушений моих недоброхотов. Хотя я еще далеко отстою от конца моего путешествия, ибо человек, который не по воле своей, но обстоятельствам живет вне своей родины, должен надеяться, что рано или поздно воротится в оную и, следовательно, еще странствовать будет, но смею нынешнее положение мое назвать пристанищем потому, что опытность научила смотреть на все равнодушнее прежнего, снисходить больше слабостям человеческим, научила чувствовать, что противу силы политической так же опасно вооружаться, как и противу рожна прать, и потому стал я смирнее, а кто с равнодушием смотрит на людей, на того и они, обращая взор самый холодный, оставляют его в покое. Вот в каком отношении разумею я жизнь свою нынешнюю тихим пристанищем. Не найдет ли здесь кто противуречия, ибо я выше сказал, что правила мои те же, — да, те же, конечно, но употребление их в мире вне себя с прочими совсем стало иное. Поэтому опытность была мне полезна? Всеконечно; без нее были ли бы люди то, что они есть под старость? Конечно нет, и в этом никто не сомневается.

Неужели воротиться назад, напомнить живым образом и как бы вновь почувствовать такие случаи, кои хотелось бы в вечное погрузить забвение? Неужели? Но, начавши дело, и начавши с предвидимою от него пользою, стыдно остановиться и не кончить. Итак, начну. Я не буду с тою подробностию останавливаться на многих не вообще замечательных происшествиях, как прежде, беседуя об них, надоедал юному моему читателю (ибо я все в предмете имею сына моего или сыновей вместе), но не пропущу ничего такого, что нужно будет для утверждения на сердцах их печати нравственности, для вкоренения в них страха Божия и любви к чести, которая должна быть первою пружиною всех действий человека, и для того все то почту не лишним, что к сей цели приближить меня может.

В прошедшем годе сказано было, что я сбирался в отпуск ехать, и действительно, я оного на поданное от меня по форме прошение начинал

ожидать. Скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Я пишу по-русски, как человек простой и не грамотей, следовательно, кстати включить пословицу русскую мне не запретится. Просьба моя подана была в Наместническое правление, откуда пошла в Сенат. Сенат должен был ее слушать, хотя и слушать в эдакой бумаге нечего, доложить государыне, государыня — объявить указ; и наконец указ сей из Сената дошел бы в Губернское правление, а оное мне через Казенную палату о сем дало знать. Вот порядок дела. Вот какие потребны были предисловия на то, чтоб мне сесть в карету и ехать в Москву. Все сие могло бы сделаться легче, что мы увидим гораздо позже, но тогда всякий еще любил держаться заведенного порядка исстари и к облегчению затруднений во всяком роде никаких не прилагал трудов своих. Путешествие, к которому я приготовлялся, составляло эпоху в Истории моей не только того года, но и многих лет, что последствия оказали, ибо я уже с тех пор в Петербурге не бывал[1], а потому об нем и стану говорить, как о вещи для меня достопамятной. Но прежде не лишнее будет для связи описываемого года с предшествовавшими нечто молвить и о настоящих моих в самой Пензе обстоятельствах. Ссора моя с губернатором продолжалась, он делал мне всякие неудовольствия, которым я отвечал упорством и непреклонностию. Сии два свойства ужасны в подчиненном для начальника, который по характеру, по грубому сложению ума и костей хочет быть деспотом. Между нами двумя меньше было согласия, чем между холода и жара. Не стану я описывать здесь разных бумажных наших раздоров, повторять их скучно и для меня, и для читателя, некоторый им образчик показал я с самого начала, а для любопытного полную дал свободу порыться в статском моем журнале[2]. Там он найдет собрание всех тех бумаг, кои из пера моего выходили, а из них увидит и свойство моих досад на губернатора. Тогда я еще любил службу, как любовницу. В восхищении юного человека, который на все смотрит с пламенным желанием свет образовать и сделать лучшим, я писал не приказным слогом и не авторским, а вдохновенным самой природою, то есть так, как думал и чувствовал, следовательно, много найдется в рукописях моих нестройного, но для чувств моих оборот речи может ли быть предосудителен? Ах! Ежели бы люди всегда писали то, что подлинно чувствуют и мыслят, менее ли бы мы были благополучны? Но нет! С тех пор, как стали мы красоту слога наблюдать, с тех пор помрачилась красота чувств наших и мыслей. Век красноречия и во Франции не был век блаженства. Говоря о слоге, кстати скажу здесь, что князь Куракин писал ко мне поздравительное пись-

мо с новым годом по-французски, несколько строк в нем было немецких для моего Павлуши. Так-то помнил князь все, что мне принадлежало; он мне желал благ земных и подписывался моим другом. Несколько лет спустя как явственно он мне доказал и то, и другое. Письмо было написано прекрасно, нигде ни одной ошибки, и я, читая его, при всякой строке готов был ему сказать, как в комедии, называемой «Злоум»: «Да ты этого не думаешь»[3]. Он сам, может быть, тяготился таким самому себе наглым противуречием, но он думал, что так должно. Будучи поставщик и откупщик, несмотря на величавость свою и надутое мнение о важной его породе, сей князь охотно снисходил и до самых низких степеней в свете, ибо скоро получил я от него в том же году письмо, в коем он мне рекомендовал Злобина, рекомендовал его как друга и рекомендовал именем нашего дружества. Кто ж был этот Злобин? Купец из города Вольска, которого немаловажный капитал служил часто князю вспомогательным войском в его винной промышленности. Довольно сей причины, чтоб употребить до нескольку раз в письме, писанном в его пользу, священное имя дружбы. О! Наша могла быть так унижена. Она состояла в одних буквах, составляющих ее название, но сколь далеко отстояла от сердец наших!

Мое питалось беспрестанно чаянием быть в Москве и видеться с милыми сердцу. Во ожидании такого приятного времени провождал я в Пензе настоящее очень скучно. Будущее всегда враг настоящему, но принесло мне некоторое удовольствие тогда посещение Палласа. Сей ученый человек, известный в Европе натуралист, ехал в Астрахань и намеревался обнять в пути своем Пензу и Саратов. Он имел ко мне некоторые рекомендательные письма, я же с ним был знаком и прежде. Свидание с ним было для меня приятнее тут, нежели в ином месте, ибо, вне своей родины живучи, обрадуешься и самому равнодушному знакомцу, который под одним с тобою небом жил прежде. С ним сопутствовали жена его, дама любезная, и дочь, девица милая, которая к пригожеству лица присоединяла приятные таланты и играла на арфе. О! Как пленительно слышать такую сладкую музыку, где же? В камчадалах! Ошибся, в Пензе, все равно! Он не много нашел пищи для своего любопытства. Г. Мартынов, громогласно похваляющийся своим кабинетом и собранными минералами, показывал ему оный с большим высокомерием, и, действительно, Паллас признавался, что он штуки две нашел замечательными. Довольно было для тщеславия владельца; везде, где он ни встречался с кем, везде твердил о Палласе и о своих двух редкостях. Ви-

ват, просвещение! Наконец получил я отпуск и, не медля нимало, отправился с женою в Москву. Поспешность моя уехать из Пензы доказывалась тем, что я на самой масленице отправился, но дабы в такую пьяную пору не подвергнуться разным неприятностям и остановкам, мы прошатались по своей губернии, где гораздо более способов имели проехать спокойно, нежели в другой. Итак, мы посетили в уезде Таптыкова и, побывав на первой неделе поста в Саровской пустыне[4], прямо поскакали в Москву. Это было в марте, дорога и погода были наилучшие[5].

В разъездах, кои часто встречаются с нами по нашей доброй воле, а чаще того по необходимости, мало бы было для нас пользы, если б мы, равнодушно взирая на все предметы без разбора, не давали места в памяти нашей тому, что некоторого внимания стоит. Не все места, на путях наших лежащие, достойны отличены быть продолжительным об них напоминанием, но некоторые, — так, как в этом нашем переезде упомянутая пустыня заслуживает краткое о себе описание. Саровская пустыня окружена прекрасною лесною дачею, которая ей укреплена грамотою Екатерины Вторыя. Монастырь, прекрасно обстроенный камнем, стоит на горе и в самой густой внутренности леса, так что не прежде его можно увидеть, как подъехавши почти под звук его колоколов, братии тут человек до двухсот тогда было, и настоятель их Пахомий — старец весьма учтивый и доброхотный. Он был монах без риторики и угождал Богу без богословских аргументов. Богатство пустынное повсюду показывалось у них между разных заведений, доказывающих трудолюбие их и трезвую жизнь. (Но я не говорю о всех, в семье не без урода.) Была и аптека, которой управлял лекарский ученик, прилепившийся к их смиренной жизни и променявший на четки тупой свой ланцет. О вкусах спорить нельзя, по мне я бы и то, и другое бросил на дороге. Ах нет! Я бы ланцет сберег, отдал бы его врачу, и он в его руках был бы полезен, а четки ни в каких ни на что не нужны. Я был в их пустыне в самый Чистый понедельник[6]. Редкий и унылый звон колокола, их вседневное пение в церкви, в которую и женщин не пускают, а одни монахи по очереди денно и ночно воспевают псалмы, сии бесподобные стихотворения красноречивого Давида, отголосок толстых столповых песней, который, кажется, самые стены в уши мои ужасно отражали, мрачное одеяние унылых анахоретов — все мне представляло живую картину поста, и воображение мое погружало все мои чувства в благоговейное некое исступление, которое соответствовало видимым предметам. Саровская пустыня одна из знатнейших в нашем государстве. Но какое противоречие! Пустыня — и

двести человек, живущих в одном обществе; пустыня — и пушки, ибо и у них были свои маленькие орудия, кои по праздникам бывали не без употребления; пустыня — и пребогатые алтари, утвари, кельи, изобильные поварни, роскошные трапезы. Согласите все сие в уме вашем. Когда мой язык выговаривает слово пустыня, то мысль с тем вместе представляет нечто пустое, пещеру, отдаленную от глаз посторонних, убежище в расселине каменной в пещере и горе необитаемой, а не собрание в прекрасном храме, сияющем фольгою и златом, нескольких тучных монахов, кои, пообедавши как сибариты, поют вечерню для единого только провождения времени и во уверение изумленным зрителям, что они иногда и в церковь ходят. На что монастырь? На что монах? Покровительство праздности и тунеядству на счет слабоумных, кои, подавши на свечу гривну, думают закупить тем царство Божие. О! Какое уничижительное мы имеем понятие о царстве Божием! Мы, христиане! Мы, которые именем его и чудесами так гордо превозносимся, и мы-то думаем, что царство Божие, пред которым миллионы сокровищ наших меньше зерна песочного на краю пространного моря, может быть куплено и приобретено золотником ладана, полушечной свечкой и тому подобными приношениями, да еще и в самом худшем виде, ибо я ни в одной церкви не видал свеч перед образами из чистого воску, а масло, и его жгут самое худое и ни на что другое не нужное. О, какое чистосердечное пожертвование избытков наших, тогда как в клобах, маскарадах по тысяче сгорает свеч в вечер наичистейшего воска. О смертные! О мои друзья! На что все эти игрушки? На что такое притворство? И перед кем? Перед нашим Творцем! Жизнь беспорочная, по крайней мере, по возможности благотворная — вот дар, вот жертва наша Богу! Другой ему не надо. Но как далеко я отбился от своей материи, — однако, не напрасно. Дети мои сие прочтут, и да воспользуются моим кратким примечанием, которое кончу тем, что ежели монастыри уже стали необходимы, то желательно, чтобы они все походили на Саровскую пустыню, ибо, быв в ней в разные времена, нашел, что в числе монахов многие трезвы, не все воняют и ни одного нет ханжи.

До приезда еще моего в Москву мысль моя уже ее встречала. Воображению моему представлялись яркие верхи соборных глав московских, которых никогда не мог я видеть, подъезжая к Москве, без сердечного трепетания. Я видел каждый уголок моего родительского дома, я глядел мысленно на стены того флигеля, из которого меня в слезах выпроводили в Пензу. Ах! Слезы, мною тогда пролитые, были предвестники моих не-

сносных огорчений, и теперь обрадовался ли бы я столько, увидя московскую заставу, если бы я умел предчувствовать, что я еду в последний раз обнять отца? Приезжаем мы в Москву, нахожу я отца моего в болезненном состоянии, изнемогающего под игом различных недугов, соединившихся для нанесения ему последнего удара. Все в прочем в семействе нашем было благополучно. Дочь наша Маша росла и забавляла дедушку, мать моя была здорова, сестра с мужем заводились детьми[7], другие сохли по отце, свидетельницами быв ежечасной его муки; все было бы хорошо, но он таял, он умирал, и мы оба не могли друг от друга скрыть, что мы в последний раз видимся. Ум его, однако, не терял своей силы, и сие удвоивало его страдания. Проезжая Москву как молния, я представлял себе видеть друзей моих и приятелей на возвратном пути, а тут дни три пребывания моего употребил на беспрестанное беседование с отцом моим, в последний раз изустные его наставления селились в душе моей. Я изъяснил ему цель поездки моей в Петербург. Мне хочется, так говорил я ему, рекомендовать себя лично новому генерал-прокурору, показать ему некоторые мои бумаги, насчет многих с ним посоветоваться, словом, обратить на себя внимание правительства, убедить его взглянуть на мои труды, дать им вес и поставить преграду притеснениям моего начальника. Опытный мой старик слушал и улыбался, он радовался моим патриотизмом, но, зная, что он никогда успеха не имеет, смеялся моим словам, моему пылкому воображению как затеям юноши, который в мечтах розового цвета всю жизнь свою провождает. План мой, продолжал я, велик, срок отпуска моего мал и приближается почти, все правда, но я надеюсь, что человеку, который не последнее место в губернии занимает и попечению коего поручен миллион с лишком казенного дохода, дадут время объясниться, отсрочат, выслушают его, я же не о себе, не о своих выгодах, но о пользе государевой в том краю, где она мне препоручена, хлопотать еду. Довольно, думал я, и того, что я принужден на свой счет ехать с полудня на север для соглашения обстоятельств, имеющих влияние на выгоды не столько мои, как казенные. В порядочном образе правления и сию необходимость можно бы почесть наглым принуждением правительства, но где слово *раб* только государем истребляется[8], а вельможею еще проповедуется со всею его тягостию, там не должно надеяться, что по почте посланная бумага произведет свое действие. Там жадный взор генерал-прокурора, экспедиторов и сенатских секретарей так привык видеть везде корысть и находку, что никакой виц-губернатор не мог успеть ни в чем, когда сам не спешил себя показать сим полубоярам.

Но мне с этой стороны ехать и не ехать было все равно, ибо, знавши отчасти, что в Питере слово *завтра* в большом употреблении, и боясь, чтоб оно не довело меня до невозможности скоро выехать, решился я предохранить себя и взял с собой только сто рублей, дабы прожить не больше времени, как во сколько можно бы было прожить их; следовательно, сею выдумкою я, вооружась сам против себя, ставил себя в необходимости, невзирая ни на какие лестные к завтрему упования, которым бы не было конца, выехать и тогда, когда бы мне не хотелось. Не всегда человек должен опираться на свое благоразумие, часто оно обманчиво, иногда нужно руки себе связать, чтобы не шалить ими, и подкреплять моральное благонравие отнятием физической возможности поступать вопреки добрым правилам и чести. Все это я сдавал с души отягощенной, с души, убитой худыми противу меня поступками, милому моему родителю и другу. Мы беседовали вместе, он слушал меня со вниманием, видел мою неопытность, незрелое мое о вещах понятие, видел, что я не вижу человека, каков он есть, а воображаю его, каким я хочу, но вместе с этим познавал зрелость вперенных в меня его правил, видел, что я преемником буду его бескорыстия, что мздоприятие не заражает сердца моего и что честность непричастна порчи во мне. Таковые примечания его успокоивали, нежили его на одре болезни. Он был мною доволен, а я тем-то и был счастлив, ибо хорошее его обо мне мнение составляло всю цель моих забот. В таком приятном употреблении нескольких дней забывал я пензенские непогоды и, отдохнув, с вожделением, оставил жену в Москве, а сам поехал в Петербург и дорогою готовился к новым трудам. Кто знает Петербург, тот легко вообразить может, какое множество их должно было меня встретить к приобретению успеха в моем намерении, а паче после известных правил, коими набита была у меня голова и сердце. Поедем, читатель, поедем. Скоро будем на Неве и увидим шпиц Адмиралтейства.

«Вот и он», — сказал мне мой слуга, подъезжая к заставе. Я спал тогда в санях своих, проснулся, увидел Семеновские светелки, вспомнил свое в них житье-бытье и горестно вздохнул о том, что все это прошло. Часовой, мимо которого я ехал, едва обратил бы наше внимание во всякое другое время, тут я лишь увидел синий воротник, которым отличался Семеновский полк, готов был обнять его, как родного. Остановился я в четвертой роте, нанял горенку у одного придворного служителя за плату очень небольшую, а именно за пять рублей с отопкой на десять дней: я более жить там не располагался и каждый день, ложась спать, также вставая, искренно советовался с кошельком своим и руководствовался

его наставлением. Вот как приготовлялся жить в Петербурге низовой виц-губернатор, который мог бы проживать тысячи; и в самой вещи, один из подобных мне, в то же время случившись наездом в Петербурге, жил у Демута в трактире, платил по двадцати пяти рублей за горницу в месяц и ездил цугом по ямскому. Хозяин мой сперва считал меня за скрягу, но скоро увидел, что не душа лжет, мошна, и стал сквозь зубы бормотать, что я дурак. Подлинно так, друг мой, говорю и я, спустя десять лет, правильно ты рассуждал обо мне тогда, как я ни о себе, ни о вещах, меня облежащих, рассуждать еще не смыслил.

Отдохнувши несколько часов и выспавшись хорошенько, поехал к генерал-прокурору Самойлову. Повезли меня туда в каретке наемной на смиренной четверке. Я был еще первый гость в его передней, понеже было рано, скоро наполнилась эта зала. Он жил в великолепном доме. Мало-помалу начали к нему пускать его посетителей поодиначке и по выбору, но до меня не доходило очереди. Наконец, и этого конца ждал я все утро, вышел его высокопревосходительство и удостоил меня самою музульманскою улыбкою. Первый на него взгляд меня чрезмерно удивил. Что ж такое? Он был в армейском мундире и в шпорах. Генерал-прокурор в шпорах не обещал что-то ничего благоразумного и дельного. После мы ко всему такому привыкли, но при Екатерине статская служба еще не нашивала ботфортов, и хотя в ней знатные люди нашу братью мелочь и без шпор задевали сильнее, чем ими худой кавалерист подстрекает драгунскую клячонку, однако все такие ухватки они еще закрывали под своими барскими епанчами. Для первого утра довольно было и того, что его высокопревосходительство изволил меня увидеть, назавтра я надеялся удостоиться больше. Между тем генерал-прокурор шаркнул, стукнул шпорами, потряс ексельбантом и, подняв очень высоко голову, выступил. Я приметил, что у кого душонка в вершок, у того голова всегда с большую тыкву и очень высоко посажена на плечи. За ним толпа челобитчиков и тех, к кому они до генерал-прокурора поодиначке ходят, все разъехались по своим местам, а я сел в карету и помчался по всему городу, навещал без разбору родных и знакомых, всему дивился, иному радовался, но ничем почти не скучал. О новость! Какие ты имеешь приятности! В самое это время гостил в Петербурге граф д'Артуа, принц крови, отрасль гонимого Бурбонского дома. По смерти Лудовика XVI, которого в генваре посадили на гильотину, и заточения жены его в темницу, откуда она, не помешкав, вышла на ту же плаху[9], принцы сии ездили по белу свету в черной своей одежде, ища хлеба и пристанища.

Екатерина! Кто тебе в царях бывал когда подобен? Ты его приняла, угостила, обогатила щедрыми своими дарами, заставила забыть на минуту всю тягость его положения. Ах! Для несчастного такая минута при всей ее краткости драгоценнее целого года, в праздниках убитого роскошным тунеядцем. Граф д'Артуа всюду ездил, везде отворены ему были двери, он любопытствовал все видеть, и Самойлов ему все казал. Пост не позволял ни балов, ни музыки, которая при глубоком трауре двора по французских монархах[10] была бы не у места и во всякое другое время, но богатые господа, министры иностранные давали ему вечеровые пиршества, и из них на некоторых случилось и мне его видеть, как то у графа Строганова, моего дяди, и у неаполитанского посланника[11]. Следовательно, в сих собраниях удавалось мне видеть весь город, то есть лучших людей, но как не все лучшие люди по пирам ездят, а многие сидят и дома, то я в тогдашнее мое пребывание в Питере возобновил знакомство со многими старыми моими приятелями, как то с Ададуровым, Вилламовой и прочими, кои со мною продолжали переписку, и несколько писем их, в том году ко мне писанных, свидетельствуют искренность их приязни, то есть тогдашней. Время вывело меня из заблуждения.

Род жизни моей в Питере был очень приятен, то есть с полден. Я всюду был въезж; все меня ласкали. Ничего нет любезнее знатного барина, до которого дела нет, к нему можно приезжать без чинов, он вежлив, обходителен, его кабинеты редкостей, драгоценные уборы гостиных покоев, все это тебе принадлежит, когда ты у него. Смотри на все без принуждения, восхищайся и восхищай самого хозяина, для которого твой восторг есть фимиам наиблаговоннейший, он им курится ежеминутно, хочет, чтобы все тебе нравилось, потчевает тебя лучшими своими винами, кормит, как Лукулл[12], словом, можно, на него глядя, сказать:

Oui, le diner du riche occupe les deux mondes*.

Но есть ли до них нужда — полно! — и вся приятность исчезает. Они тут глухи, немы, жестоки и своенравны, язык их ничего иного не выговаривает, как: «завтра», «посмотрю», «справлюсь», «потерпите» и прочие технические слова гражданского характера, а особливо слово «завтра» гораздо чаще бегает из уст в уста в беседе поутру у всякого большого чиновника, чем на именинном пиру передается бутылка доброго вина у то-

* Да, обед богатого человека занимает всех и вся (фр.).

роватого хозяина. По утрам я бывал очень недоволен, ибо всякий день ездил к тем людям, кои имели с моею частию дел или связь, или на нее влияние. Тогда значили по статской службе по части государственного казначея и всех Экспедиций финансов: князь Куракин, брат нашего помещика, совсем других свойств человек, в некоторых отношениях, который иногда настраивал и Самойлова тяжелое понятие, но ведь бывают такие инструменты в свете, которых механизм столь испорчен с самого начала, что никакой настройщик не приведет его на лад, так, к несчастию, и обширная голова Самойлова создана была для выведения из терпенья всех, имеющих к ней прибежище; по 1-му департаменту Сената много весу имел г-н Храповицкий; в Герольдии дремал над списками Тредьяковский, а Васильев, хотя бодрствовал, но клонился к западу своего счастия и терял политическую свою силу. Вот те люди, до коих я имел нужду, и у них я каждый день бывал поутру. Не скажу я здесь иного ничего об них вообще в отношении ко мне, как то, что они меня жаловали, любили, принимали благосклонно, выслушивали терпеливо, наставляли с кротостию и без надменности. Несколько писем их ко мне у меня хранятся. Они будут навсегда залогом их ко мне благорасположения, а для детей моих свидетельством, что я не лгу.

Фаворитом числился еще князь Зубов[13], и случай его, доверенность к нему монаршая были почти несомненным доказательством естественного расслабления духа Великой Екатерины, ибо прежде сего все ее фавориты, как Корсаков, Ермолов, Зорич и самый даже Ланской, служа к единому ее увеселению, не имели на службу и дела ни малейшего влияния. Не надобно с ними мешать Потемкина, он выходил из всякого с ними сравнения. Ныне же князь Зубов, который отличными способностями отнюдь не может хвалиться, был употребляем в важнейшие дела: был в самый сей год сперва генерал-губернатором пожалован на смену Потемкина, потом скоро генерал-фельдцейхмейстером[14], которого со времени Орлова еще не было, и, хотя он ни того, ни другого заменить казался не в состоянии, однако те же исправлял должности, следовательно, пословицы русские все не без основания сложены, и святое место пусто не будет. На случай его генерал-фельдцейхмейстерства любопытно здесь заметить странную игру случая. Екатерина, взошед на престол, окружила себя несколькими братьями Орловыми, из коих один был князь и генерал-фельдцейхмейстер, другой граф и генерал-аншеф, прочие графы же и генералы, и сверх того генерал-фельдцейхмейстер князь носил ее портрет в петлице. Самые те же чины под другими именами окружали

ее гробницу. Зубовых было несколько братьев, первый был князь и генерал-фельдцейхмейстер и носил портрет, второй был граф и генерал-аншеф, а прочие также графы, и как будто нарочно для сего странного сходства между Орловыми и Зубовыми не было во все время ее царства ни одного генерал-фельдцейхмейстера. Примечание сие не важно, и для того я заранее его здесь помещаю, ибо, когда дойдем мы до гроба Екатерины, то тут трогательнее черты Божия промысла увидим и не останется места такому ничтожному замечанию. Я всегда, видя князя Зубова, вспоминал, как его возили к Молчанову в Семеновский полк в двенадцатую роту играть квартеты на скрыпке. Бедность не есть порок, не есть преграда к достоинствам. Может и незнатной породы человек обширные приобресть познания, но Зубов был сын скаредного отца, воспитался в Конногвардейских казармах и мог тогда только при Екатерине вмешиваться в дела, когда старость ее мешала ей распознавать придворных своих и назначать им пристойное их место. При Зубове начинал поднимать нос Державин. Он был Тамбовским губернатором, поссорился с Гудовичем, отдан был под суд[15], но, будучи остр и красноречив, написал «Оду к Фелице», закурил Екатерину[16]. Она его пощадила и возвела на степень своих секретарей, определя быть при Зубове, которого лучи на него отражались; он начинал уже значить, и потому об нем здесь упоминаю. Безбородко, всегда одинаков, оплетал иностранные дворы, ленился, прохлаждался, роскошничал с своими прекрасными, а от идола этого принимал почесть свою Трощинский, который на ступенях его пьедесталя начинал уже загромажживать собственную свою колонну. При генерал-прокуроре правителем канцелярии был Ермолов, некто самый непросвещенный невежа, по свойству с ним из отставки втеснившийся в службу[17]. Similis simili gaudet*, говорят латинисты. Так и Самойлов выбирал себе подобного и не ошибся. Многие мне на ухо шептали, видя мои худые успехи и бесконечные напряжения: сходи к Ермолову. Я был один раз, соблюдая долг вежливости, но, распознав, сколько ума у меня стало, что у него его нет совсем, никогда не искал его приязни, ниже хотел сохранить с ним какое-либо обращение и люблю забывать, что знал его в лицо. Вот кем управлялись россияне в подробности; все это видели, пожимали плечами, тужили, но ум Екатерины держал всякого в спокойной тарелке. Во всяком была какая-то надежность, что она не выдаст, управит и знает свое дело. Подлинно, она знала его. Она рождена была

* Подобное тянется к подобному (лат.).

11 Зак. № 3535

царствовать. Из-за ее головы, как говорили наши предки, можно было спать спокойно, и эта-то самая надежность, при всем упадке сил ее, была неоцененная подпора каждого. Время показало после, сколь таковая доверенность сильно действует на счастие подданных, а без нее и самый добрый государь не может хвалиться ясными днями.

У двора я не имел счастия быть представлен, потому что императрица в короткое время моего там пребывания не выходила, а к меньшому двору я не имел уже прежних прав требовать входа. С отсутствием нашим исчезли и благотворительные о нас попечения. К тому же обстоятельства французской революции наполнили робкую душу Павла несмысленными предубеждениями. Эстергази, иностранец, живущий в Петербурге, пужал его, как малых детей чортом. Он заперся, остерегался каждого, недоверия его усугубились, никто не входил в его пространные чертоги, кроме нескольких избранных, коих Эстергази и прочие эмигранты позволяли ему не бояться. Тогда в Петербург валились, как саранча, отвсюду французские выходцы, и многие жили на счет нашего двора. Сие удовлетворяло честолюбию Екатерины, умножало ее величие и славу, но всегда ли слава влечет нас к полезному? Сие рассуждение слишком мелко для высоких умов, они не считают достойными внимания своего иные предметы, как те, посредством коих могут заслужить рукоплескания, словом, двор весь был невесел. Зрелище короля и жены его, казненных поносно на торжище в просвещеннейшей части света в глазах безмолвной Европы, могло приводить царей в трепет и удалять от них забавы, но бояра жили роскошно и веселились. Между всех пиров, коими воспользовался я, сидя часто на последнем краю великолепных столов и размышляя о свойстве их весьма философически, всех больше меня расстроил обед графа Шереметева. Ему непременно хотелось, чтоб я у него обедал. Он меня усильно звал, и я поехал. Пускай вообразит всякий, с каким духом я ел сладкие его приправы и пил пенистое шампанское вино, когда напоминал, что за ним во владении наглым образом отнятых у нашего дома четыре тысячи душ, о коих в самых началах моей Истории пространнее я имел случай изъясниться. Каково было мне, привставши, благодарить за лишнюю рюмку вина того, у которого сотая часть погреба заготовлена была на счет моей собственности? Каково было мне видеть золотом залитых слуг в том самом доме, где некогда отец мой хаживал босой, имея право на четыре тысячи душ? О, сколь счастливы все те, у коих нет жолчи! Поздравляю их, — у них можно все отнять и позвать к себе в гости, ласковый прием их успокоит, а лишний кубок совсем утешит.

Несколько дней проживши в Питере и каждое утро посещая г-на Самойлова, скоро увидел я, что от него толку не добьешься, и должен я был все свои бумаги, не развязывая из чемодана, везти назад в Пензу. Он меня приветствовал, звал обедать, и я обедал у него два раза. Один раз как дальний родственник[18] (о, конечно, самый дальний, ибо бедность и богатство никогда не родня) с его друзьями, и то много чести! А другой раз со всеми экспедиционными почетными чинами. Между этими двумя столами для меня разница только была та, что за первым больше болтали, а за вторым больше пили; в прочем, кажется, все было то же. Наконец, скучно мне стало жить праздно, решился я непременно требовать у г-на генерал-прокурора минуты в его кабинете, и он мне ее назначил после обеда. Приехал я, доложили, впустили, вошел и сел, но едва начал речь, как супруга его высокопревосходительства, сговорясь в собрание какое-то вместе с мужем своим ехать, и то на беду мою в первый и, может быть, единственный раз, боковыми дверьми вошед в наше убежище, потрепала его за личико, попеняла, что он очень занят, не бережет своего здоровья, и повела его с собою сажать в карету. Вот и вся аудиенция! Изумлен будучи таким неожидаемым препятствием, не понимая, как наша беседа могла так скоропостижно кончиться, поехал я в большой досаде, но с решительным намерением назавтра откланяться и убираться в свою пустыню. В большом городе, каков Петербург и прочие ему подобные столицы, большое предстоит человеку удовольствие, которое он во всяком положении чувствовать удобен, — это беспрестанная перемена предметов, они в такой подвижности, случаи так бегло скопляются, что едва один приведет тебя в негодование, как тотчас другой за ним дарит тебе приятную улыбку. Таковую произвел во мне визит мой в тот же самый день к Нарышкину, обер-шталмейстеру. Современники мои все знают его нрав и обычаи. Нет нужды мне его здесь описывать, и ежели я где прежде уже об нем не говорил, то следующие строчки дадут об нем достаточное понятие каждому. Он меня знавал, и как скоро меня увидел, то, бросясь на шею, спросил: «Êtes-vous content de votre sort?»* Какой обширный вопрос, особливо для меня в ту минуту, как я без всякого успеха выезжал из-под ворот генерал-прокурора! Мне не было нужды затрудняться ответом, ибо едва вопрос сей сорвался с его языка, как уже он, забывши, кому и что сказал, занят был бандурою плешивого армянина, который в той же комнате готовился продать ему фальшивую бирюзу

---

* Довольны ли вы своей участью? (фр.).

за истинную. Поверит ли, однако, кто-нибудь, что я ему позавидовал? Чему же, меня спросят. Чему? Самому этому вопросу. Не видит ли каждый, что тот, от кого он идет, есть пресчастливый человек в свете? Он один мог смело сделать всякому этот вопрос. Почему? Потому что ничья судьба от него не зависела, никому он не силен был сделать ни добра, ни худа. Однако вопрос сей означал участие, самое холодное, самое пустое, конечно, но не всякий из числа тех, кого он им награждал, знал, что у него это так же в привычке механической языка, как у сорок кричать каши. Иной мог обманываться, думать, что он и вправду доброхотствует ближнему, и по неведению отходил от него с сожалением крайним, что такой благодетельный человек не имел способов угождать подвигам своего сердца. Другой знатный господин не мог бы сделать такого вопроса. Его тотчас заметали бы требованиями, наложили бы на него обязанность действовать, помогать, но Лев Александрович Нарышкин очень твердо знал, что ему никто в ответ не сообщит своих огорчений, следовательно, от тягости докук будучи избавлен, он наслаждался славою у тех, кои его мало знали, добродетельного вельможи. Право, мне так кажется, и я ему позавидовал.

Между неудачами, кои по утрам меня тревожили, вечерние мои посещения льстили мне благоприятными надеждами. Я нашел в Петербурге княгиню Несвицкую, она дружбу свою мне показывала издавна. Переписка ее со мной была доказательством оной. Хотя смиренно скрывалась она в наемной квартере, но связь ее с Кречетниковым могла представить мне, кроме удовольствия ее видеть, цель самую прочную и полезную. Тогда генерал Кречетников правил всею присвоенною частию Польши, был ее генерал-губернатором, и с особливою доверенностию. Называя сию часть присвоенною, я говорю не по моде тогдашнего времени, а по своему смыслу — ее во всех актах именовали отторженною. Хорошо жить с нашими гренадерами, эти усачи все заполонят. Какого рода была княгини связь с Кречетниковым, это не входит в мой предмет (но я дурной не предполагаю), для меня она могла произвести самые приятные плоды. Княгиня в один вечер, выслушав с терпеливостию и с искренним участием все мои неудовольствия, предложила мне вдруг, не хочу ли я перейти в команду Кречетникова, где я ближе буду к выслуге и к получению награды, ибо не довольно было служить хорошо, надобно было еще трудиться при таком человеке, который лично имел бы силу и вес у двора. Тогда все удавалось, самый ничтожный труд назывался подвигом, наравне с оным награждался и замечаем был. На такое предложение пылкое согласие было моим ответом; она велела мне написать письмо

к Кречетникову, научила, как его составить. «Когда же, — спросил я, — с ним приехать?» — «Завтра!» Какая услужливая, думал я, поспешность! Подлинно, на другой день приезжаю я к ней, привожу письмо, она с ним вместе печатает[19] свое в мою пользу, просит о переводе меня в его команду, то есть в Тулу, ибо мне и самому в его новые области не хотелось. Там каждый шаг россиянина казался мне насилием и жестокостию. В тот же самый вечер отправлялся от двора к нему нарочный. При мне он за ее письмами к ней заехал, при мне взял их и поскакал в Польшу. Казалось, что этого вернее, что благонадежнее. Ни сам преслучайный Безбородко, который так часто советовал всем быть благонадежными, не сказал бы мне ничего удостоверительнее. Счастие казалось так ко мне близко, как табак, который я из княгининой табакерки нюхал, но где нет изволения Вышнего, там всуе ожидать блаженства. Все не удастся, все опрокинется, встретятся препятствия, и самое верное сделается обманчивым, самое надежное сомнительным. Дабы кончить совсем речь здесь о сем случае, пробежавшем мимо меня, как скоротечное зарево молнии, скажу, что в то самое время, когда Кречетников, может быть, уже готовился сделать в пользу мою представление, уже намеревался вытащить меня из когтей Ступишина, смерть самого его поглощала. Он умер в мае[20]. Прости, все мои лестные упования! Я получил известие о сем в Пензе и покорился безмолвно деснице Вышнего. Перст Божий на листе судьбы моей назначал мне еще Пензу, и я старался печаль мою одолеть философиею. Все к лучшему, говорил я вместе с Панглосом, все к лучшему[21]! И, благодаря моему воображению, умел так много придумать неудобств от перемены, в которой за день перед тем полагал всю свою надежду, что начинал о неудаче моей радоваться. О человек! Какая ты игрушка! Бумажный кораблик, коим тешатся малые дети, гораздо тверже тебя на тонком своем основании. Здесь я тебе воздам мою благодарность, достойная княгиня, истинный друг мой! Тебе не удалось мне помочь, меня осчастливить. Успех твоих трудов не в твоей был воле, но ты желала его пылко, старания твои в пользу мою были усильны, ты не возгордилась возможностию своею сделать мне добро, ты меня приняла, обласкала, пеклась о моем благосостоянии — и чего больше? Кто сделал бы столько же, я смело спрашиваю, кто? Потому что многие могли больше для меня и не трогались с места.

Итак, проведя дней с десять в Питере вообще в большом рассеянии, но чаще в скуке, нежели в забавах, откланялся премудрому Самойлову, выпрося позволение просрочить. Странное преимущество[22], дабы избе-

жать доклада государыне о продолжении моего отпуска, Самойлов советовал мне сказаться больным, набрать фальшивых свидетельств и просрочить, то есть, короче сказать, генерал-прокурор позволял мне подобраться под закон, солгать, обмануть его, себя и многих. Нельзя ли было открыто человеку сказать: «Пробудьте столько-то в отпуску, вам это позволяется, но день просрочки — и вы ответствовать будете закону за нарушение порядка», — и слова сии сопроводить таким взором, после которого подчиненный не смел бы прибегать к обману и спасаться хитростию. Но нет! Мелкие способы казались тогда всем легче. И как иначе? Они сами ползали, как насекомые, и боялись взора кроткой своей богини, как сова боится солнца. Простился я с Петербургом, взглянул еще раз на Семеновские шалаши и поехал рано в один день поутру. О! Если б я мог тогда предвидеть, что я долго уже в него не возвращусь, а может быть и никогда, как бы застыла кровь во мне при всем еще быстром ее течении. Да и без этого несносного предчувствия если б меньше я досадовал, уезжая, то бы горесть овладела мною жестокая. Но я сердит был на все мои неудачи, сердит был, что свет идет не по-моему, а кто сердит, тот вместе печален быть не может, ибо два чувства столь едкие, столь свирепые не могут терзать сердца вдруг с обоих концов. Одно всегда превозмогает, а у меня на ту минуту негодование держало верх над меланхолиею. Я хотел, как говорил любезный мой отец, Россию поправить. О малая тварь на свете! Атома бедная! Тебе ли хотеть поправить царство, населенное на нескольких тысячах верстах, наполненное миллионами творений. Ты и собой едва умеешь править. Но человек бездействен быть не может, а на пути в Москву, будучи размышлением моим все ближе к северу, нежели к Ивановской колокольне, думал я о дворе, о гражданской службе, соображал, придумывал, делал силлогизмы, посылки от ума к сердцу и от сего к внешним движениям нашим, словом, логически сам с собою диспутовал и определительно заключил, что Екатерина столько умна, прозорлива, хитра и добродетельна, сколько бояре ее несмысленны, бестолковы, оплошны и злобны — да, конечно, злобны, никто никому добра не делает, а все едятся; что славолюбие увлекало все помышления богоподобной Екатерины далеко от домашних предметов; что раздел Польши, горячка парижская, неустройства шведские занимали всю ее деятельность[23], и некогда было ей думать о передней ее генерал-прокурора и тех, кои в ней были жертвою его тупого образования; что во время ее неусыпных трудов о сохранении славы нашего отечества, которой ни один российский государь не возводил до толикой

степени, вельможи, подобные Самойлову, хлопали ушами[24] и езжали к Лиону объедаться рябчиков и устриц; что служба гражданская приходила час от часу в упадок, терялись все правила, ослабевали законоположения, Сенат высыпался в своих огромных покоях при слушании выписок, коих никто не понимал и не читывал, опричь закупленных секретарей; все покупалось и ничего нельзя было даром ни сделать, ни выходить, всякое ходатайство имело свою цену определенную, как на базаре воз сена или дров. Екатерина видела сей беспорядок, знала корыстолюбие алчных своих чиновников, но пасмурная старость останавливала движение ума ее. Обняв важнейшие предметы, она не имела уже сил все править, все назидать сама собою. Натура и от монарха той же требует подати, как и от поселянина простого, обветшалые органы ее не поспевали действовать за быстрыми ее мыслями. Она еще стремилась вперед, но плоть изнемогала и час от часу приближалась к своей последней колыбели, к могиле. Так-то думавши, вдруг увидел золотые маковки Успенского собора, — все забыл и с чувством восхищения сказал: «Слава Богу! Насилу я в Москве!»

Слово «насилу» здесь не напрасно. Оно согласовалось с удивительным нетерпением моим уехать из Петербурга, кончить путь неприятный и отдохнуть в родительском доме. О! Когда бы я знал, что в этот самый приезд мой я вижу отца моего в последний раз, что в комнатах его, в которых целые дни провождались в беседах семейных, в излияниях сладкой откровенности, водворится скоро безмолвная и мрачная пустота, конечно бы я почел предвидимое мною отдохновение мучением и умерил бы свое восхищение. Но Бог лишил меня сих болезненных минут. Я видел разрушение сил сего почтенного моего родителя, видел, что смерть около его расстилает уже черное свое покрывало и скоро под ним сокроет его от глаз наших, но надежда, сей целительный бальзам человечества, все меня уверяла, что я еще с ним увижусь. Когда я с ним прощался, ни он, ни я не думали, что я в последний раз целую его руку. Мы уповали, что будем еще вместе, что небо не навсегда нас разлучает, и улыбка надеяния воспламеняла еще томные его взоры. Хвала тебе, великий Боже, что ты сокрыл от нас будущее! О, какое важное оказал ты тем к роду человеческому благотворение! Несмысленные люди! Вы, кои часто сетуете, что не знаете, что будет с вами, образумьтесь! Падите пред премудрым провидением и возблагодарите его. Когда я обнимал недугами изнуренного отца моего, вселяемого во гроб рукою естества, сего чудного преобразителя всех тварей, если б тогда шепнула мне и ему в ухо приро-

да: «Вы уже не увидитесь!» — он бы не прожил еще года, он бы тот же час умер, и кто бы мог отвечать, что минута такая не станет мне всего моего здоровья. Но оторвемся на час от сих печальных воображений. Я пробыл в Москве всю Страстную и Святую неделю[25], исполнил долг христианский, встретил с ближними величайший праздник, видался иногда с моими друзьями, но большую часть времени проводил дома. Отчет моего путешествия был пищей для родителей моих. Мои повести их занимали, отец мой напоминал свои молодые годы и, сравнивая себя со мною, прорекал мне, что некогда опытность охолодит тот жар, с которым я ко благу общему стремился и которого никакие люди, никакое царство не заслуживает. Соображая высокопарные мои замыслы при отъезде в Питер и неудачу по возвращении оттуда, он часто улыбался и тешился бессильной моей запальчивостию. Предмет ее был благороден и его радовал. В глазах его играли наши дети. Ласки жены моей — которую он любил, как дочь родную, которую он любил тем паче, что остроумие его и проницание не позволяли ему заблуждаться столько, чтобы не видать, что она забыта меньшим двором и что наследник обещаний своих не выполнит — ласки ее его услаждали. Поступки двора меньшого его трогали, огорчали, но он был скромен, умел в себе укрощать все движения своего честолюбия, и тем сильнее были волнения души его, тем сильнее действовали на состав его физический, что он ни с кем о том не открывался, боясь — о, нежный друг детей своих! — открыть им глаза на такие вещи, кои никогда слишком поздно до нас не доходят, и приготовить им сетования о будущем. Приходил срок моей просрочки, и я, взяв в Москве свидетельство, поехал в свою несчастную Аравию[26]. Жена моя, быв на сносях брюхата, оставалась родить в Москве, дети при ней, один я бросался тогда в предвидимый омут. Ах! Сколько на свете людей, для коих завод винный в Пензе, да еще и казенный, казался бы восхитительным предметом. Иной стал бы с ним обходиться, как драгунский полковник с полком своим, и нимало бы не тужил о Москве, но для сего необходимо нужно познакомиться с господами секретарями Сената и кое с кем повыше, дабы ведать, кому из нажитого дать половину, чтобы другую за собой без хлопот упрочить, а я, побывавши в Питере, не только не сошелся ни с одним из сих господ математиков, но даже не знал и того, где секретарь, как кого из них зовут и по какой части до которого может быть нужда. Моя часть была справедливость, знакомство — служба. О, какие пустые слова и ошибочные правила! Проснитесь, бояра семнадцатого века, вы, кои любили славиться каким-то, по-нынешне-

му, надутым патриотизмом! Стрясите с седых бород ваших могильный прах свой! Протрите тусклые очи, в которых так пылко блистал некогда огонь любви к народу, и, увидя внучат своих, услыша мудрые их силлогизмы, познайте свое невежество и, от стыда или от сожаления, на них глядя, возвратитесь в свои гробы. Не художники на них высекут ваши заслуги, но память; их прославят ваши дела, которых польза для всякого благомыслящего будет ощутительна. Полно рассуждать, поедем в Пензу! Остановился я на перепутье в Володимире, у дяди моего Заборовского, и гощу у него дни три в пространном его доме.

Суженого конем не объедешь. Когда Заборовский хотел, по просьбам отца моего, поместить меня у себя председателем Уголовной палаты, судьба назначала меня вместо того гораздо выше и гораздо далее. Но думал ли я, ныне здесь проезжая, что некогда буду я в этом же Владимире преемником власти таких вельмож, как Воронцов и Салтыков, кои Владимиром правили, что буду в нем губернатор[27]? Думал ли я, что самые сии строки писать буду в превеличайшем казенном доме и буду из кабинета своего смотреть на тот архиерейский дом, в котором тогда италиянец Барбарини тешил Заборовского своим поношенным голосишком, а ныне архиерей Ксенофонт потчевает нас после обеден ерофеичем? О время! Как быстро ты летишь и сколько случаев с собой уносишь! Молния в полете своем едва равна ль с тобою. Погода тогда была уже весенняя, реки в пущем их разливе. Заборовский дал мне письмо к исправнику муромскому[28], дабы он переправил меня через Оку благополучно. О! Письмо генерал-губернатора к исправнику есть драгоценная вещь для путешественника. Посредством сего талисмана, как волшебной палочки, невозможное делается возможным, мудреное — легким, неспособное — удобным, словом, хотите ли видеть превращения, забыться на минуту и думать, что вы под покровительством какой-нибудь феи? Поезжайте по российским губерниям, берите от генерал-губернаторов письма к городничим, к исправникам и подивитесь проворству этих крылатых служителей, кои вас везде перенесут, перетащат и путь ваш везде розами устелят. Мой исправник муромский сам меня провожал на пароме, наблюдал все мои движения, искал им удовлетворить в полной мере, и все это из чего? Из того единственно, чтобы при случае, когда высокопревосходительный его начальник[29] вздумает на него погневаться, он бы нежнее только слова для этого выбрал. Вот вся выгода господ исправников и фокус-покус генерал-губернаторов! А я что делал между тем на пароме, что? Думал, вы скажете, о Петербурге. Нет! О Пензе? Нет! Сочинял

песни на разлуку с Москвой и нимало не примечал потовых капель, которые как град текли со лба услужливого исправника на самый худой паром. Меньше услуг в одном и больше твердости в последнем для проезжих было бы прочнее. Но суетиться легче и дешевле, нежели плот сделать.

Приехал я в Пензу и принялся за дела. Ревность моя не простывала еще, несмотря на действие, которое производило мое безуспешное путешествие. Я думал еще, что могу плыть против воды и сохранять один то, что тысячи рук расхищали. Жолчь во мне копилась беспрестанно; хотя все считали меня нулем и совсем без покровительства, в чем поистине никто не ошибался, хотя всякий, выводя для себя приятные предзнаменования из моих неудач, считал себя вправе пренебрегать моими отношениями, требованиями и настояниями, но я, постоянно идучи к своей цели, не сбивался с принятых мною правил и с Зубовым, директором Экономии, вступал в открытую войну. Характер его был самый самолюбивый, он не терпел противоречия, мечтал о себе много, хотел делать все один, хотел, чтобы каждый следовал его мнениям и ими руководствовался. Изданная им книжка о способах винокурения[30], в свойство коей я не вхожу, ибо не сужу никогда о том, чего не разумею, возгордила его до того, что он не только вино курил на казенных заводах, но и Казенной палате самой хотел давать наставления, как управлять ими. Сидеть вино и править заведением винокурен, по мнению моему, две вещи совсем разные. Одна требует непременно искусства и умения, без мастерства не выкуришь ни одного ведра, но на другое потребен здравый смысл, естественный расчет и чистота совести. Все сии качества могли снискиваемы быть и без чтения Зубова книжки. Величаясь случаем своих племянников, он думал, что все ему должно покориться, а к тому же губернатор и, в угодность его, некоторые члены Палаты подстрекали его ежеминутно, и он, принимая их по-барски в тулупе, проповедовал им свои премудрые поучения. Они казали ему притворный вид восхищения из одного порабощения, а он, в отплату за такие их поступки, строил разные на меня нападения. Им только было и надобно. Странное дело! Желая досадить лицу, портят службу. Я никогда не мог изъяснить им, что во всех сих сварах не столько терпел я, Долгорукий, сколько расстроивалась служба. Но у нас так водится: если лицо в случае, то и место его процветает, все спеет по его представлениям, все ему удается, но если лицо не нравится, то всякий старается ему под ноги кинуть камень и во всем помешать, но кому же чрез то мешают? Опять повторю, службе. Долгорукий ничего не лишится от того, что Зубов из упрямства не подпишет вовремя како-

го-нибудь акта, а потерпит одна служба, для пользы которой нужно бы было, может быть, днем ранее отправить такую-то бумагу. Но, к несчастию, и верховное наше правительство на все то глядело равнодушно. Мне часто случалось слышать, что какие-нибудь по ссорам дошедшие бумаги в Сенат вместо скорого доклада и развязки, которая, конечно, не много бы потребовала труда и прекратила миллионы пустых бумаг, кои плодятся от того единственно, что первые ничего не производят, отдаются в общее собрание и тамо-де, говаривали мне, они лежат безгласно до тех пор, как кто-либо из ссорящихся или выбудет, или умрет. На что такая политика? Вникни правительство в такую распрю, не щади молчанием своим ябедника или дурака, накажи первого, отреши последнего — и тем все прекратится. Нет! Такое средство не нравится, оно кажется круто. Хотите ли знать настоящую тому причину? С ябедника можно много взять, а дурак много вынесет и вдаль не лезет. Чего ж лучше? Прекрасное правило. Между тем в отсутствие мое Палата входила к губернатору с представлением, в котором доказывала, будто утрата казенного интереса на заводах, под управлением Прокудина последовавшая, взведена мною на него несправедливо и не в том количестве, и будто бы я сам в каком-то акте утверждал ее наконец быть меньшею противу того, что прежде писал. Такая затеянная на меня несправедливость вскружила мне голову снова. Увидев сие в делах по приезде моем, я тотчас написал о сем рапорт в Сенат и подкрепил письмом к господину Храповицкому, который дозволил мне в случаях затруднительных к себе относиться. Я бы не захотел отяготить судьбы Прокудина, когда бы нашел, что Палата править его стремится без предосуждения мне, но быть поклепану в неосновательности ради избавления бездельника оглашенного от петли казалось мне несносно. Однако рапорт мой и палатские представления, несмотря на письмо мое к обер-прокурору, которое служило контрфорсом[31], все как на дно кануло и замерло в архивах сенатских по вышеписанному хорошему правилу: пускай лежит — обойдется! Потомки наши со временем отгадают, кто прав, кто виноват, и все эти неустройства кончаются тем, как часто это и случается, что плута подведут под манифест, которые всегда так и сочиняют, чтобы воришки одни им воспользовались. Нашли способ и Уголовную палату свести со мною в переписку. Гораздо выше видно было в предшествовавших годах, что я нашел на одном заводе небольшие беспорядки, кои требовали только наставления, выговора и строгого подтверждения, дабы впредь не допускались. Но губернатор тогда из досады, что одного завода смотритель должен был

подпасть под суд, отдал и другого для компании в Уголовную. В кои-то веки, однако, рассудилось ей быть справедливою. Она его оправдала и внесла приговор свой к Ступишину, он обратил его назад, требуя, чтоб Уголовная палата испросила от меня на обвинение его доказательств. Я принужден был оттолкнуть от себя все эти привязки. Прочтите на сей счет мою бумагу, вы можете найти ее в моих журналах, она едка, конечно, да как иначе? Разве можно о плутовстве рассуждать с улыбкой и писать без жолчи? Блажен, кто никогда не имел нужды обмакнуть перо в чернилы для защищения себя против ненавистников справедливости! Пора стряхнуть пыль гнусной ябеды и занять читателя важным предметом по моей должности.

Наступило время торгам для подрядов на винную поставку и откуп. Два пункта весьма соблазнительные. Корчемство тогда час от часу выходило больше из всякого посредства к его пресечению. Торговля вином столько была стеснена законами и так исключительно предоставлена одним богатым и именитым купцам, кои часто именами своими ссужали и знатных господ, что мелкопоместный дворянин не смел без большого страха собственный хлеб свой высиживать и тем промышлять, как в Малороссии, где вольная продажа, а жить и угождать роскоши, о которой в то время в России можно было уже сказать вместе с Волтером[32]: «le superflu, chose [très] nécessaire»*, было также невозможно. Что же делать? Дворяне снимали поставки самые мелкие, незначущие, только для свободного права винокурения и исподтишка шинковали. Терпимость нижних земских судов служила к подрыву откупщиков, кои начали казну угрожать недоимками и заставили правительство пробудиться. Естественно очень, что знатный купец скорее сыщет свою выгоду, чем бедный дворянин, который хотя по жалованным дворянству грамотам и видел, что он вправе всем тем промышлять, что в его земле родится, а из того выводил заключение, что хлеб обратить в вино, поелику он родится в его даче, не есть насилие закону, но казна, не видя, чем бы могла заменить доход откупной суммы, который восходил до самых высших капиталов, должна была отстаивать откупщиков и им дать свое покровительство. Итак, нужно было, во-первых, воспламенить воображение господ виц-губернаторов, обольстить их, противоположить блестящие посулы тем прибыткам, которые они при заключении контракта могли стяжать за всякий крючок или поноровку, кроме тех из них, кои, как я, не зная еще отделить истин моральных от путлявых политических обязанностей

* «излишество, вещь столь необходимая» (фр.).

в мире, считали за одно присяжный лист и Евангелие, и для того при мне еще в Петербурге позван был виц-губернатор Екатеринославский[33], дабы на ту губернию торги сделал он в Санкт-Петербургской Казенной палате, где был виц-губернатором кривой Новосильцев, родственник Перекусихиной[34], а Перекусихина — камер-юнгф[ера] любимая и доверенная государыни. Далее толковать нечего, все ясно для того, кто захочет рассматривать обстоятельства ближе и вникать в их сущность. Сверх того, торг на одну сию губернию в Петербурге, под глазами двора, имел и ту преднамеренную цель, чтобы в случае его успеха убедить государыню к изволению и на все губернии производить торги в Сенате, чего он весьма добивался по причинам, кои отгадать всякий может, но до сих пор законы сего ему не позволяли, а здесь Сенат имел в виду, что наддача на Екатеринославскую губернию, послужа доводом государыне в его бескорыстии, решит ее на измену собственным ее законоположениям, для чего потребны были сильные пружины. Что же могло быть действительнее, как знатная прибыль казенная, показывающая неспособность Казенных палат ее до той степени возвысить? Подлинно так оно и случилось. Громкая наддача на Екатеринославскую губернию доставила обоим виц-губернаторам ленты[35], членам Палаты годовое жалованье и, сделав благоприятное в пользу Сената впечатление, решил[а] государыню на то, чтобы торги будущие произведены были в столице, но как Сенат ведал, с другой стороны, что все губернии так возвысить, как одну для примера, невозможно, то он между разными статьями поновительными и пополнительными исходатайствовал открытое право и дворянам входить в откуп, чрез что умножил круг торгачей, а чем их больше, тем, натурально, сходнее для казны. Выгод, однако, кои она оттого получила, отнюдь не отдали на счет сих новых привилегий, к тому способствовавших, но на счет усердия и беспристрастия Сената, который, как скоро принялся за это, то и все пошло будто несравненно лучше, чем в Казенных палатах, а правильно ли сие рассуждение, о том, я думаю, достаточно ведают секретари Сената, кои были при торгах, да господа откупщики.

Вот как приготовлялись учредить будущие откупы, а между тем, поставя всем нам в пример для поощрения нас к содействию казенным пользам екатеринославский опыт, господин генерал-прокурор циркулярными письмами от всех, в том числе и от меня, требовал мнения, как бы возвеличить откуп, унизить цену на поставку вина и унять корчемство, то есть не так кудряво, а короче сказать, спрашивал у нас ума, как бы доставить откупщикам большие барыши на счет упадающего дворянства

и совсем его разорить, а народ привести в крайнее развращение. Остановись здесь, читатель, и вникни [в] мое размышление. Что бы ты сказал о таком государстве, где весь доход его или лучшая отрасль его сокровищ состоит в порче его народа? Таков, однако, план финансов российских, и я, проходя разные потом должности, имел случай на сей счет сделать любопытные примечания. Народ опивался, дворяне приходили в ничтожество, целые роды их упадали, а откупщики из простых побочных сидельцев в четырехлетие наживались страшным образом, получали чины, знаки почестей, дворянские дипломы и сооружали для жилищ своих огромные замки. Я часто слыхал и слышу еще следующие рассуждения: что нужды государю, кто богат из его подданных, Рюмин или Долгорукий, Злобин или Щербатов[36]? Как что нужды? Один образует дворянина, вливает в него с кровию и добродетели предков своих и творит его полезным отечеству, а другой, едва под старость получая какое-нибудь слабое о изящности просвещения понятие, может быть в третьем поколении, нисходящем от него, доставит, если не придет в упадок, хорошего гражданина, а между тем царство наполняется двумя поколениями несмысленных невежд, кои без воспитания и сведений портят места, службу, нравы, заражают соблазнительными примерами успеха там, где его благонравие не обещает, и развращают чернь изнурением физических сил ее[37]. Вот разница, вот она! Я не витийственно ее изъяснил, но сказал правду, и кто ее любит, тот, верно, со мной согласится. Обратимся к письму. Я его получил почти тотчас после приезда на место и написал краткое начертание мыслей моих, гранича себя в сделанных вопросах, дабы не навлечь больших злодеев без всякой пользы ни себе, ни царству, отправил письмо мое к Самойлову при обыкновенных приветствиях, ибо столько же нужно было ими украшать всякое к вельможе отношение, как для мужика необходимо посыпать кусок хлеба солью. Пользуясь благоволением Васильева, я и к нему на опробацию послал такую же при письме бумагу. К первому писал по должности, к последнему из подвига сердца, привязанного к его благородным видам и деятельным трудам, кои всегда сопровождала кротость и благоприветливость, редкие два свойства в такой особе, которая привыкла значить много сама по себе. При мнении моем требовал генерал-прокурор и мнения всей Палаты. Члены ее давали оное порознь. Иные пристали к моему, другие сочиняли свои. Тут было чего посмотреть! В состав моего входили некоторые примечания отца моего, коими я в переписке моей с ним заимствовался и кои руки его доселе у меня хранятся как нетлеемое сокровище, оставшееся

после отца и друга. Но все сии прекрасные наши сочинения, над которыми мы целые дни и вечера потели и тщились даже малейшей избежать ошибки в правописании, выбирая наипрекраснейшую бумагу, все это пищею послужило крысам, гнездящимся в сенатских архивах, а может быть — кто про то знает? — может быть, из них супруга Самойлова, жена Ермолова делали себе завиточки и прятали в них на ночь одна прекрасные, другая скверные свои волосы. Счастливы те, чьи сочинении на такое прелестное употребление послужили! Но я, право, иногда думаю, что ими наполнены н... Благопристойность унимает мое перо, догадка читателя пусть докончит строчку.

С другой стороны, признать должно и то, что сие обстоятельство, сколь ни важно казалось нам, живущим в провинциях и сжатым в тесном кругу происшествий самых мелких, должно было у двора уступить место на время многим другим, несравненно с большею силою на умы действующим. Приобретение части Польши[38] и образование ее по учреждениям нашим, смутные обстоятельства Франции, побудившие государыню к Манифесту, коим повелевала она всех французов, в России живущих, привесть к присяге[39], обручение великой княжны Александры Павловны[40] — все сие и по настоящему своему влиянию, и по предвидимым следствиям занимало понятие каждого, а особливо последнее обстоятельство заставляло ожидать торжественных праздников; причина их предполагать заставляла, что жаловать станут чинами, лентами и прочим. Кто ж этим не займется гораздо больше, чем истинною пользою общества? Думать о себе прежде всех было всегда натуральное свойство человека, думать о себе одном исключительно сделалось преимуществом и натурою наших современников. Но отойдем на час от таких высоких предметов и поищем тени от солнечного зноя в семейных наших убежищах.

Приехавши в Пензу один, дабы менее скучать, и сверх того в рассуждение разных переправок в казенном моем доме, остановился я в доме у моего друга Полчанинова. Тут по вечерам, отдыхая от трудов, мы рыли землю, копали гряды, сажали цветы и помышляли о закладке театра. Он, не имея во мне никакой нужды, ибо, служа в Уголовной палате, не входил ни в какую связь с Казенною, любил меня с благородною искренностию, говаривал мне грубые правды, не щадя моего самолюбия, но в случаях таких, где дух мой отягощался унынием, он его подкреплял, разбивая мысли разными забавами, и на сей-то конец, пригнавши из арзамасской своей деревни работников, поставил на своем дворе театр, помещающий до ста с лишком человек, и на нем сбирались мы провести

всю зиму. Такой услуги его со многими другими я вовеки не забуду. О жене его ничего здесь не скажу из уважения к нему, кроме того, что я подобной ей в сладострастии не видывал. Подробности были бы для мужа оскорбительны, а для друга его поносны, и для того задернем завесу на поступки, противные доброму порядку. Они послужили после к мучительным для меня приключениям, тогда я, может быть, и решусь об них пространнее говорить, поставя себе правилом не таить того, что относится к моей судьбе, с усердным, впрочем, желанием щадить всех тех, кои пробежали путем жизни моей, как мимоходящие облака, которые на одно мгновение покрывают небо и после не оставляют на нем ни малейшего о себе признака. Получая письмы всякую почту от жены, видел, что она приближается к разрешению своему. Одежа моя была проста, волос я не чесал, пудру бросил: эти подробности нужны, ибо на них основалось в последующих годах такое обо мне заключение, которое всю участь мою повредило. Но тогда я сею простотою веселился. Любовь к чтению во мне не гасла. Я выписывал книги, вникал во все причины мятежа французского, но, сохраняя благоразумную политику, одел живущих у меня французов по короле их в траур. Все сие нужно мне сказать заранее, дабы приготовить оправдание себе. После все иностранцы, в услужении моем бывшие, без разбора отечества их приведены были к присяге. Мне сим примером надлежало наложить узду на стоглавую гидру злословия и запечатать тысячи уст ее, но там, где невидимая какая-то сила готовится утеснить жребий человека, там ничто его править не способно, и все его к тому усилия бывают тщетны. Опыты скоро меня в сей истине утвердили. Время! Ты великий учитель!

Между тем посетил меня день радости. Получил я от жены моей нарочного с известием, что Бог дал нам сына Александра. Она родила его благополучно 7 числа июня, крестили его отец мой и сестра большая. Слава Богу! И сия беременность жены моей имела приятный успех. Ребенок взрос и был здоров. Скоро после сего известия ездил я на Ломовскую ярмонку и в первый раз видел, что такое ярмонка. Она не из самых знатных, но имеет в низовом краю некоторую известность. Народу стекается множество. Казна с нее получает доход весьма неважный, но торгующего народа немало. Съезжаются купцы отвсюда и продают товары всякого рода. Она держится с 4 июля до 8 и расположена бывает в версте от города Ломова, у самого монастыря Казанской Богородицы[41]. Все сии ярмонки завелись от набожности богомольцев, кои, приходя к чудотворным образам на поклонение, находили нужду для ночлегов ставить

шалаши. Сперва стали туда носить пищу и напитки, скоро потом учредились маленькие базары, и народные всякие потребности привозимы были, скоро потом любопытство привлекло на таковые народные собрания и отборных людей, кои, приезжая обществом, возбудили в купечестве охоту устроить лавки. Сходные промены товаров и покупка нужного мало-помалу приучили туда сбираться, и таким образом сделались по местам знатные ярмонки. Разные предметы тут заняли мое любопытство, а паче полк Тараканова, который тут стоял лагерем. Он был мне издавна приятель. Тотчас появился у меня армейский караул. Жил я в монастыре; всякое утро толпились у меня мои подчиненные и пензенские дворяне. Целый день гулял я по лавкам, драгуны от меня не отходили, разные почести питали еще юный мой разум, дорого они мне со временем стоили. Тем лучше! Я скоро почувствовал их пустоту. Тараканов, жена его меня приняли в свои объятии как милого родного. В вящее доказательство приязни он, снисходя моему малодушию, записал новорожденного сына моего Алексашу в карабинеры в свой полк, потом, производя его чинами, довел до кадета в том же году, и на каждый из сих чинов паспорты долго хранились у меня как монумент того счастливого века, в который при Екатерине можно было из шутки записывать в службу ребят в люльке, а она, на все сии беспорядки глядя, смеялась и могла смеяться, видя, что они не мешали войскам ее быть повсюду победоносными. Младенцы росли, воспитывались дома, с готовыми паспортами являлись в полк и достигали в лучшей поре возраста своего офицерского чина, охотно жертвовали собой из подвига чести. Чин и почести суть химеры, следовательно, воспламенить надобно воображение, и воспламенить сильно, чтобы ради креста либо патента человек дал себе ноги и руки рвать ядрами, а человек, который с седыми волосами получает чин офицерский, скорее ли полезет на крепость? Сим утверждаю я мнение мое, что записывать детей в нижние чины в ребячестве их, дабы в юности еще доставалось им в офицеры, не так-то худо, и это я отнюдь не в пользу детей моих говорю, но в пользу общую, которую тогда гвардейские полки паче всех ощущали, хотя в них записывали грудных младенцев и производили в офицеры еще до усов, однако были жаркие случаи, и гвардия нигде тыла неприятелю не показывала. Тараканов дал мне знатный бал, усладил приятностями роговой музыки (чего не мог драгунский полковник во дни Екатерины? Все, кроме того, чтоб быть честным и вместе исправным), и я, самым веселым образом проведя с неделю, воротился в Пензу на прежнюю скуку и философическую думу.

Рядом с удовольствием всегда неприятность. Я сие испытал много раз и положил иметь твердым правилом, оно меня не обмануло. Подлинно, по возвращении моем домой с ярмонки после забав и веселостей г. Зубов пролил на бумаге всю свою жолчь на меня. Он несколько доносов отправил к государыне один за другим, будто бы я расхитил капитал винокуренного завода, и так в расчетах своих запутался, что, несмотря на то, что он состоял в шестистах тысячах, он меня клепал в похищении миллиона, называя без чинов меня в приказных бумагах святотатцем. Не говоря здесь ничего во оправдание свое, ибо довольно к оному служит, кроме поступков, мною описанных выше с начала службы моей в этой должности, одно то, что нельзя там украсть миллиона, где всего шестьсот тысяч, и хотя я худо знал арифметику, однако столько разумел, чтобы видеть, что Зубов считать не умеет. Говорят, свой своему поневоле друг. Связь его с фаворитом крайне меня беспокоила, и я нашелся принужденным, дабы предупредить вредные для себя от того последствия, отправить эстафет в Петербург с письмами к самому князю Зубову, к графу Салтыкову, князю Куракину, Васильеву и разным другим особам, кои, по наружности судя, во мне участие принимали. Из них первому я искренно на дядю его жаловался. На все сии письма всех решительнее отвечал мне князь Куракин кратким слогом, уверяя меня, что ничего из бумаг Зубова не выдет. Прочие, как то граф Салтыков, Васильев и иные, отвечали письмами кудрявыми, темными, много обещающими, и если бы кто захотел из них выбрать прямой смысл, тот бы, конечно, ничего не нашел ясного и надежного в пользу просителя. Сии письма подобны засоренным источникам, из коих чистой воды трудно достать рюмку, а смеси много. О князе Зубове нечего и говорить. Он уже ни к кому не писывал. Люди, на такую высокую степень, как он, возведенные, считают ниже себя быть учтивы, предоставляя себе, как некие боги, миловать с небес род человеческий. Они только к богам себе подобным склоняют чело благоприятное, прочее все для них ничтожно. Бояре горе, а народ долу. По сей-то самой посылке, которая не меньше верна всех математических истин, почитал я себя счастливым и тем, что, по словам Куракина, доносы, на меня присланные, обратились в стыд пославшему их и не подействовали против меня в худую сторону, однако и для Зубова не произведя ничего худого. Оставались мы по-прежнему вместе. И фавориту дядю выдать не годится, хотя бы он был и первого разбора злодей. Будем справедливы, отнесем тайные пружины всех наших злоключений Творцу мира, не без видов нас огорчающему. Итак, об удов-

летворении обиды, им нанесенной, не оставалось мне права хлопотать, ибо говорят русские люди: «Брань на вороту не виснет». Хвала Всевышнему, который, зная горделивый дух мой, смирял меня всеми способами. После таких бурных дней и хлопот устрашительных небо для меня улыбнулось. Приехала жена из Москвы, привезла Павла и новорожденного Алексашу. Я их встретил под городом, в селе Салтыкова Бессоновке, и, там прожив дни с три, перебрались в город по случаю кончающегося лета и нездорового для слабой жены моей времени. Маша, дочь наша, оставалась в Москве у дедушки. Он, умирая, не мог с нею расстаться. Приезд жены моей и ребенка, мной еще не виданного, наполнил душу мою сладким восхищением. Доколе человек не испорчен и сердце его добродетельно, что может быть приятнее и милее жены с детьми? Не надобно относить сюда тех наших посторонних привязанностей, кои, отвлекая нас иногда на краткие минуты от должностей супружества, питают заблуждениями. Сии мечты скоро исчезают. Они не имеют ничего прочного, основательного, сами собой теряются в ночь забвения и впадают в пропасть тех бесчисленных случаев, кои без влияния на душу нашу и правила мгновенно колеблют нас в жизни и, едва постигают нас, как и проходят. Связь добронравных супругов, окруживших себя детьми своими, есть изящнейшая картина благополучия человеков. В таких мыслях встретя жену мою с детьми, обрадовался им тем паче, что каждая ее беременность, по худому ее здоровью, угрожала ей опасными приключениями и что, по мнительному моему свойству, в разлуке с ней на то время каждая мысль поражала мое воображение и представляла ему часто страх, где его не было. Удовольствие упоило все мои чувства: я забыл Зубова, его происки, Ступишина со всем хаосом расстроенного его понятия, словом, забыл все, что меня тревожило, и, кинувшись в объятии жены моей, насладился райскими отрадами.

Пока мы все пресмыкались в низовых областях России, дух Великой Екатерины на севере всегда парил в вышние пределы славы человеческой. В одно и то же время она противилась французам, не желающим монархии и королевской над собою власти, и в Польше, под видом защищения республики противу короля введя свои войска, межевала сие царство, как будто пашенную дачу своего подданного, готовила его к скорому истреблению и предназначала уже пансион по смерть Станиславу[42]. О! Чудная игра судеб и перемен человеческих расположений! Давно ли отцы наши, мы сами почти видели, что Станислав за ласковое с нею обращение на крылиях Амура летел в Варшаву овладеть целым государст-

вом по одному в пользу свою произволу Екатерины[43], и той же самой рукой низвержен с трона на землю. Давно ли Екатерина досадовала, яростно ополчалась противу французов из мщения за короля, и сама в Польше устрояет республику, подсекая подножие престола королевского. Какая противуположность во всем! Она тем паче винит Екатерину, которую из пристрастия к великой душе ее, к уму необыкновенному, желал бы всякий видеть во всем правою и справедливою, она тем паче, говорю я, винит ее, что, обещавши Польше торжественным манифестом ввести в нее войско для ее будто бы собственной обороны противу насилия, пользуется доверенностию к себе сего народа и по вступлении в пределы ее многих полков ставит свои грани везде, где хочет, и присвоивает себе знатную часть Польши[44]. Подробность сих обстоятельств и связь их с междоусобием французским относится к политикам, а я, занимаясь здесь собственно лишь собою, упоминаю кратко о сем макиавеллизме[45] северной законодательницы только для того, чтоб от царя постепенно дошедши до человека, вывести философское размышление насчет непостоянства смертных. Екатерина любила притом занимать народ свой торжествами, праздниками, держать каждого в надежде благ будущих и венчать огромные упования подданных Манифестом[46], в котором среди пустосмысленных нескольких пунктов находили себе благотворение преступники, недостойные бродяги, которым прощались первым их продерзости, а последним долги, ибо Екатерина ведала, что их взыскать неудобно по общему разорению крестьян казенных, следовательно, прощать такое взыскание, которого сделать не можно, есть дело самое человеколюбивое и притом политическое. О каждой статье раздробительно рассуждать не есть мой предмет, но скажу мимоходом здесь, что примечательнее всех прочих 21-й пункт Манифеста, где сказано, что все прощаются, кроме взятков и других умышленных преступлений[47]. Следовательно, по первой оговорке все оставалось под судом, ибо взятки составляли не преступление уже, а естество человеческого рода или, по крайней мере, судейства. Мне простят слова сии, ибо, где можно исключая только пять изо ста, там можно общею речью изъясняться, большее количество делает сие неизбежным, сверх того, что за слог в другой оговорке, на что такая привязка в Манифесте? Оставалось тут судье прощать и вязать кого он хотел, подобно как пьяный поп мирян рассуждает на исповеди. Многие часто говорят, что правому нельзя оказать милости, она свойственна токмо виноватому. Так; но правый может награждаем быть. Чем? Деревнями. Какими? Раздаваемыми Салтыковым, Зубо-

вым, фаворитам, отправлявшим с мягких своих диванов депеши, тогда как бедный дворянин или беспрестанным рекрутским побором и дороговизною во всем от смертоносного влияния войны разорялся, или, служа в поле для приведения в действие вышесказанных депеш, среди роскоши затеянных, лишался членов и самой жизни, оплакиваем кучею сирот, не имеющих по смерти его ни крова, ни хлеба. Вот на кого должны были падать все счастливые последствия такого Манифеста, который Екатерина издала по случаю заключенного мира с турками[48]! Успехи мира сего и сила ее оружия победоносного ее восхитили. Она определила во всех концах России, куда только вышедший в июле указ ее о том достигнуть мог, для празднования того мира 2 сентября[49], и в сей-то самый день в Петербурге рассыпались милости ее и щедроты. Прочтите роспись тогда пожалованных. Все было делано pro gloria*. Найдите между кучи имен награжденных кого-нибудь неимущего, найдите. Увы! Все князи, графы, вельможи, генералы, богачи. О! Не забыты были и мертвые в доказательство, что есть и в царях благодарность. Вот как обольщаются умы слабые и энтузиас[т]ы! Но кто же мертвый среди такого торжества удостоился памяти скипетродержателя? Солдаты, убитые в Турецкую и Шведскую войну? Нет! Офицеры, потерпевшие увечье? Нет! Кто же бы? Князь Потемкин. Довольно! Имя одно есть само по себе примечание, всякое другое здесь было бы лишнее. Между отличенными в тот день фортуной многие генералы получили генерал-губернаторские места, в том числе и к нам пожалован генерал Каховский. Такое назначение, дошедши до нас, поразило Ступишина. Он насупил брови, хотел идти в отставку, но теща его крикнула, жена приласкала, и готовая рука писать челобитную пошла вместо того за табаком в рабью табакерку, а назавтра уже он с хладнокровием рассказывал о прусских походах всем тем, кои приходили его навещать и дивились присутствию его духа. О, как благополучны слабоумные! Однако Каховский в губернию не приезжал, Крыма, где он был, оставить не согласился и бумаг от нас к себе никаких не принял. Вот чем все это кончилось, а мы между тем 2 сентября отправили, помолились за себя и за милых, постреляли из заржавленных наших орудий, опорожнили несколько бокалов и к вечеру под провинциальные гудки попрыгали. Я же и Полчанинов во особенности отличили день сей тем, что заложили театр, которого обновлению предположили быть в Екатеринин день. Все обряды торжества таким образом исполнив, ездил я с женой, отпросясь на восемь дней, к именинам

---

* для славы (лат.).

Улыбышевой[50] в ее деревню, и, там приятно погостив, домой воротились. Сей наш к ним визит привлек их на всю зиму в Пензу. О! Когда бы они в нее при нас не въезжали! Но все это было написано в книге судеб.

Доколе не сведали в Пензе, что Каховский от правления генерал-губернаторской в ней должности отрекается, везде шли о нем разные толки. Иной называл его понаслышке добрым, другой суровым, всякий воображал себе его таким, каким хотелось. Партии провинциальные стали разрушаться. Никто не знал, к кому прочнее пристать, чью взять сторону. Скоро сие волнение утишилось, и все пришло в первобытный беспорядок. Осталась опять паства без пастыря. Набор рекрутский умножил хлопоты и обнедосужил каждого. В сентябре месяце об нем последовал указ[51]. Он должен был начаться с ноября и кончиться к генварю. Этот набор для чувствительного сердца был не отяготителен, прибавя дела на бумаге, он не производил слез по деревням, ибо повелено было вместо одного рекрута с пятисот душ давать четыреста рублей деньгами. Способ самый ловкий собрать с народа деньги. Однако были догадливые люди и между крестьянами, кои смекнули, что когда вместо человека берут охотно деньги, стало не руки и ноги нужны, а рубли, и, следовательно, не армия нуждалась, а кошелек государственный. Кто ж, однако, не согласится охотно дать деньги и откупиться от рекрутства? Итак, нигде мужики не выли, жены и матери не терзались, хотя, впрочем, для злоупотребления, которое никогда не спит, но при всяком случае бодрствует и ищет своей добычи, была и тут большая способность удручить жребий человеческий, ибо богатый мужик старался и не по очереди заплатить деньги, дабы, поставя себе сие в послугу, изъяту быть от набора в натуре тогда, когда бы довелось со временем идти его сыну, а чрез то приводя очереди в замешательство, подводил под оную к натуральному набору того, который ныне мог бы, изворотясь с усилием, исправить свою повинность и тем избавить сына одинаков[о]. Но где же сирый и маломощный не терпит? Так быть должно. Истину и милость на пиршествах проповедуют только устами. Взойдите, пышные правители государства, взойдите в хижину, когда набор бывает, и послушайте, сколькими проклятиями там совесть ваша отягощается. Меньше в ясный вешний день вытекает из гор воды в потоки, чем прольется в деревнях слез, когда рекрутская повинность исправляется. При этом наборе, не говоря о тех злоупотреблениях, кои я выше заметил и кои мужик понял лишь после, тогда, как удар поразил его сердце, не было нигде стону, ибо в натуре отдавался только бобыль, негодяй и такой мужик, о коем никто не сожа-

лел. Удобно там быть справедливу, где натура не отводит меча правосудия. Итак, скоро мы набор кончили и денег собрали кучу. Пока дело делалось, театр приходил к концу, и 24 ноября, день именин Великой Екатерины, мы положили его обновить публичным представлением, намереваясь напечатать о сем в газетах; выбрали мы комедию, сочиненную государыней самой, по имени «Обманщик»[52]. Думаю, что в прежних годах упоминал я о секте мартинистов, а ежели нет, то здесь скажу сокращенно, что по всему свету бродила какая-то мартинистская система, основанная на бреднях какого-то Шведенбурга[53], который писал о...*. Из книг, мартинизмом в славу возведенных, бегала из рук в руки одна, называемая «О заблуждениях и истине»[54]. Я о существе ее ничего не скажу, ибо не читал ее затем, что с первого листа ничего в ней не понял. Люди, порабощенные предрассудкам, а паче привыкшие жить чужим умом, часто восхищаются тем, чего совсем не понимают. Но что моему театру до того нужды? Кратко сказать, секта эта государыне не нравилась. Она в ней видела что-то такое, чего политика позволять не долженствовала, и потому издала насчет самых приверженных к ней помянутую комедию; ее играли везде, в Петербурге и Москве благополучно. Я ни слова не молвлю о слоге и содержании пиесы. Государыня была императрица, а не автор, тут есть большая разница. Волтер не мог бы сочинить уложения, а царь Алексий не выдумал бы «Заиры»[55]. Для обновления театра как лучше было выбрать? Итак, сыграли мы при величайшем празднике. После комедии, которой тешились все благородные охотники, в том числе я и жена моя, был у меня бал преогромный. В театр впущено было по билетам до двухсот человек, кои все из оного приехали ко мне; музыка роговая в саду, а инструментальная в зале услаждала гостей моих. Посетил меня в тот день и губернатор и, к удивлению всего города, очень поздно сидел и много танцовал. Зубов точил яд в пасмурной своей клетке. Для нечестивых нет ясных дней на свете, несмысленный может иногда рассмеяться, а злодей всегда потупя глаза ходит. На дворе против улицы горел прозрачный щит с вензелем государыни, под коим моего сочинения написаны были стихи. Они напечатаны в моей книге[56]. Описание сего праздника, которым все были довольны, я послал в газеты[57], и когда их прочел Ступишин, то возгорелся досадою против меня за то, что Екатеринин день вместо его праздновался в моем доме. За что слабоумный не рассердится? Простим все тому, на ком и Бог, говорят, не взыщет.

---

* В рукописи одно слово прочитать не удалось.

Положа сим праздником начало нашим театральным позорищам[58], мы все, как голодные за корм, принялись за комедии и, дабы забавы свои устроить без труда (ибо когда было мне много на них употреблять время и терять оное в выучивании ролей? Досуги мои были так коротки, а по врожденной во мне склонности к театру играть на нем хотелось и лета позволяли), рассудили мы играть весь Сумарокова театр комический[59]. Кто читал его комедии, тот знает, какая это нелепица. Однако мы имели терпение все их выучить и каждую неделю разыгрывать, всякие восемь ден у нас были представления. Иные из них так были смехотворны, что мы и сами, расхохотавшись, не доконча речь сходили с театра. Не скажет ли кто здесь: для чего выбирать такие негодные сочинения, и в городе губернском, где, так сказать, театр имеет больше, нежели где-нибудь, обязанность образовать юношество? На сие я отвечаю, во-первых, что я был не патриот пензенский, а эмигрант московский, следовательно, воспитывать юношество не почитал своею должностию, а во-вторых, мы искали, как выше сказано, забавляться без труда и смеяться искренним смехом, но «без разума шутить — дар подлыя души»[60]. Так читал я этот стих у Сумарокова, но он, верно, думал противное, когда, сочиняя свои комедии для двора Елисаветы, искал ее смешить и успевал в намерении. Нет! Не в выборе пиес меня винили. Нашлись люди, кои выдумали, будто я играю за деньги, беру за вход с приказнослужителей, нашлись люди, кои это написали в Питер, дивитесь больше, — нашлись люди между знатными особами, кои не постыдились этому поверить, и с большим выговором писала об этом к сестрам моим графиня Наталья Владимировна Салтыкова. Когда бы не было страмцов на свете, конечно бы и сплетен было меньше. Все сии слухи однако не препятствовали мне веселиться, несмотря на последствия. Латинская пословица «Quidquid agis, prudenter rogas et respice finem»* совсем из памяти моей истребилась. Старика Барвица уж не было в Пензе, он откомандирован был к Тамбову по каким-то надобностям военной службы или его начальников, чего распознать иногда было невозможно. К умножению веселостей способствовал дом губернского предводителя Машкова, на ту зиму в Пензе основавшегося, с ним была дочь его. Она, заманивая меня своими прелестьми всякий день как сирена, составляя ежечасно наше общество, готовила мне существенные прискорбности. Но характер мой давно читателю известен, театр и женщины были два

* Что бы ты ни делал, делай разумно и не упуская из виду цели (лат.).

источника, откуда почерпались главные мои страсти, и потому, не имея довольно стоического духа, чтобы воспротивиться приятностям очаровательного пригожства, стремился со всем пламенем необузданной страсти в приготовляемую мне судьбою пропасть. При таких случаях общий и один ропот: почто человек не знает о будущем? Повторю, что сказал уже в другом месте, — суетное желание! Тем лучше! Завеса, от нас его скрывающая, есть драгоценный залог Божия к роду человеческому благоволения. Предположим противное. Что из того выдет? Радости потеряют свою сладость, ибо предварительные о н[их] сведения истощат все мечты пылкого нашего воображения; придет час отрады, и уж он не так будет для нас жив, потому что мы слишком рано об нем одумали. Нанесется ли удар? Но мы, быв о нем сведущи прежде, уже сокрушились гораздо ранее, и самое поражение, может быть, легче будет в свою минуту, нежели те тягостные ожидания, те страхи, волнения, мысленные беспокойства, в которых мы до него жили. Слава Богу, скажу я внутри души моей, что мы о завтрашнем дне сегодни ничего не знаем!

Зубова сумасбродство делало оттенку моему удовольствию, и он до того его довел, что уже и самые приятели его говорили, будто он вправду ряхнулся. Я в этом никому не противоречил, но поелику влияние безумного на дела могло бы подвергнуть меня неприятностям, ибо сноровки моей ему по службе при случае щекотливом никто бы не уважил, то и решился я актом Казенной палаты препоручить должность его другому, ибо он уже после неудачи своих доносов, рассердясь, в присутствие не ездил и свою часть совсем запустил, а зимнее время, в рассуждение заводов, требовало деятельного над ними управления, и в ноябре по форме послал о беспорядках, от него происходящих, в Сенат рапорт. Вот как прошел сей год. Соберусь с духом и начну будущий, но не предваряя его, а желая приятною чертою пера кончить этот, скажу нечто о Струйском, с которым я познакомился, заехав к нему летом когда-то случайно. Потеря некоторых моих записок подвергла меня в числах многим может быть ошибкам, коих и исправить не можно за отдалением описываемого времени. Этот дворянин заслуживал особенного внимания. Будучи не беден, напротив, достаточен, живучи в прекрасном доме, коего убранство возвещали вкус и роскошь, окружен приятною женою со многими добрыми детьми, из коих иные были в занимательном возрасте, словом, находясь в возможности при регулярном хорошем саде, обширных дачах и всех изобилиях натуры наслаждаться жизнию благополучного человека, ежели он есть где-нибудь, кроме нашего воображения, этот самый

г. Струйский, влюбясь в стихотворения собственно свои, издавал их денно и ночно, закупал французской бумаги пропасть, выписывал буквы разного калибра, учредил типографию собственно свою и убивал на содержание ее лучшую часть своих доходов. Он имел кабинет в самом верху дома, называемый Парнас, в сие святилище никто не хаживал, ибо, говорил он, не должно метать бисера свиньям. Меня он удостоил ласкового там приема, за который дорого заплатил, однако, один из моих товарищей, ибо он, читая мне одно свое произведение и, натурально, из хвастовства, по мнению его, лучшее, сильно будучи им восхищаем, щипал его в восторге до синих пятен. Исступления подобного, когда о стихах говорили, я не видывал. Все обращение его, впрочем, было дико, одевание странно: он носил с фраком парчовый камзол, подпоясывался розовым кушаком шелковым, обувался в белые чулки, на башмаках носил бантики и длинную повязывал прусскую косу[61]. Вот его вид, в котором он мне показался. Охотно думаю, что это его был наряд и только для меня в изъявление большой преданности. Письма его ко мне, которые я все собрал, и сочинения рассмешили бы мертвого. Потешнее после Тилемахиды[62] ничего нет на свете. Он уважал очень между предметами учености оптику и толковал мне, но очень втуне, часа два, что многие сочинения наших авторов теряют своей цены от того только, что листы не по правилам оптики обрезаны, что голос от этого, ожидая продолжения речи там, где переход ее, перерывается, и от нескладности тона теряется сила мысли сочинителевой. Прошу тут понять что-нибудь. Счастливы были бы его читатели, если бы стихи его от погрешностей против одной оптики были дурны, но увы! Они всем несносны. Простим ему их, поелику он умер и других уже таких не напишет. Пожелаем, однако, притом искренно, чтобы подобных не возрождалось в потомстве его. Доселе нет никого, кто бы ему последовал. Когда я посетил его на вышеписанном Парнасе, то, приметя пыль везде большую и большой беспорядок в уборе, ибо рядом с сургучом брошен был перстень алмазный, возле большой рюмки стоял поношенный бюст, спросил я его о причине, и он мне дал самую мудреную. «Пыль, — сказал он, — есть мой страж, ибо по ней увижу тотчас, не был ли кто у меня и что он трогал». Такая мысль меня поразила. Увидев притом, что в комнате его множество разных орудий, и соображая сей наряд, столь неприличный к Парнасу, с его отзывом, заключил, что он должен быть жестокий хозяин и посреди упражнений своих, которые иногда держат его за пером, а паче, как он сам признавался, осенью, суток по двое без сна и почти без пищи, опасался

над собою злонамеренных покушений. Говорили мне, будто догадка моя была справедлива, но я не знал его довольно коротко, чтобы на одной молве основать такое предосудительное об нем заключение. Впрочем, отзыв его приличен был тирану, носящему с собой повсюду мрачные помыслы. Сказывали мне еще, будто он до стихотворческого пристрастия был наклонен к юридическим упражнениям, делал сам людям своим допросы, судил их, говорил *за* них и *против* суд и дело в своих собственных судилищах и вводил самые даже пытки потаенным образом. Вот что я слышал от посторонних. Ежели это было подлинно так, то чего смотрело правительство? От этого волосы вздымаются. Ежели то было так, то какой удивительный переход от страсти самой зверской, от хищных таких произволений, к самым кротким и любезным трудам, к сочинению стихов, к нежной и все лобзающей литературе! Все это непостижимо! Нет! Я этому не верю, истинно не верю. Впрочем, кто знает, что такое человек? Кто искусил это непонятное творение столько, чтобы найти и определить меру его заблуждениям? Подивимся и замолчим! Полно о нем! Прости, 1793 год! Я тебя призвал из вечности, куда ты скрылся уже десять лет, в мое воображение и поставил тебе здесь памятник! Он всю жизнь мою тверд пребудет. Ты дал жизнь моему Алексаше, и Бог не тебя еще к отягощению судьбы моей назначил.

1794

Не стало бы ни слов, ни духа все то сказать, принимаясь за перо, что чувствовать должно мое сердце, приводя на память себе сей бедственный год. Слава Богу, он прошел! Хотя память всех посетивших меня в течение его приключений снидет со мной в холодную могилу, но теперь, по крайней мере, радуюсь, что она отдалена от меня, что год этот прошел, что я описывать его только буду, а не продолжать жить в нем. Довольно для предисловия к нему сих строк. Из предшествовавшего оному году видно было, что Зубов меня не возлюбил, что неприятели мои, пользуясь самолюбием его неограниченным, вооружали его противу меня всячески, и желчь его разливалась во всяком голосе, который он подавал на мои предложения и на мои распорядки по Палате. Между прочими он досадовал и за то, что я рекрутскую сумму, накопившуюся от последнего набора, до ста с лишком тысяч рублей, во избежание издержек казенных послал не по почте, а с нарочным в Питер, сделав сие препоручение

асессору палаты. Он доходил даже до того, что перехватил одно из писем ко мне винокуренного смотрителя, считая найти в нем нечто удовлетворительно своему желанию погубить меня, и сие письмо было им представлено в губернское правление, откуда мне возвращаемо неоднократно чрез Казенную палату, ибо ничего не найдено. Но когда я не хотел его взять, требуя в таком наглом поступке суда, то письмо его истлело в архивах наместничества вместе со многим другим вздором, ибо не все то дело, что прячут, а обида осталась без отмщения, но в России — увы! — какая против случайного оборона? Царь и фаворит бывали не одно во времена Алексея Михайловича, [Морозов][1] тому живым примером служит. Но ныне иногда трудно усматривать было по движениям внутренним в государстве, кто владыкой был над народом, помазанник или подданный любимый. Паче всего Зубов злобился за то, что Сенат, увидев самовластное его стремление управлять казенными винокурнями по своей печатной методе, не подвергая ее правилам, в службе гражданской принятым, велел ему сделать опыт под моим наблюдением означенной его методе, на который назначив весьма малое число денег, не показывал тем большой доверенности к глубоким сведениям г. Зубова. Я никогда не мог от него того опыта добиться, он совершенно от него отрекся. Жалобы мои в Сенат на сей счет нимало не действовали ни в его, ни в мою пользу, и наконец сам он решился ехать в столицу с важными своими умоначертаниями, но там обрушились все его замыслы. Родня его случайная мало пускала к себе на глаза, благоразумные люди находили в нем порчу ума и как безумному посоветовали ему убраться в чистую отставку; видно, не слегка, но настоятельно сделано было ему сие предложение, ибо он уже в палату не возвращался, однако, дабы не совсем опозорить дядю, племянник выпросил ему Владимирский крест четвертой степени, а на место его определили г. Плюскова. «Свято место пусто не будет» — давнишняя русская пословица. Следуя ей, правительство наше всегда и на каждое место по стату имеет множество заготовленных людей. Что нужды, имеют ли они способности, был бы стат наполнен, а за[ч]ем — знает то безгласная часть правления, которая вверяется тому или другому, под кем она цветет или погибает; правительство же на это смотрит равнодушнее, чем старый инвалид на поношенную свою арматуру. Часто беда бывает и оттого, что оно не вникает в сущность доходящих до себя ссор провинциальных. В политическом образе мыслей царствовало тогда мнение такое, что ежели где-нибудь начальник на подчиненного жалуется, то, не приводя ничего в ясность,

разводить их или отставкой, или переводом одного из них на другое место. Самый дурной способ! Нередко он служил наказанием правому, а всегда покрывал темнотой сплетни городские, из которых возникали новые раздоры, ибо при всяком таком случае заводятся партии, то, отсекши голову, к оставшему туловищу прирастала тотчас новая, и бывали последствия самые вредные для службы и человечества. Но поелику и то, и другое всегда безгласны пред правительством, то никто в это соображение и не входил, а бумаги с неудовольствием и личными ссорами, доходя до оного, бросались в кучу. Никто их не читал, не слушал, не опровергал и не защищал, а между тем на месте всякий, отстаивая свои мысли, продолжал точить яд свой, — правду сказать, не много тут хорошего!

Новый директор Экономии г. Плюсков, явясь к должности, прежде, нежели вступил в оную, привез к губернатору рекомендательное о себе письмо от графа Безбородки. Чего же больше к удостоверению о превосходных свойствах его? Один сей поступок уже привлекал наиодобрительнейшие об нем от каждого заключения. Притом было и еще письмецо от тестя его, кривого знатного откупщика Мещанинова. Какие знатные дарования! Можно ли было усумниться в его изящных качествах, а паче в искусстве сохранить экономию казенного поселянина и привести хозяйство его в желаемый порядок? Он был, впрочем, человек молодой, опытный в домоводстве, то есть своем. Эта оговорка здесь необходима, ибо часто усовершенствование домоводства директора Экономии тесно сопряжено было с хозяйством мужика. У первых во многих губерниях строились деревянные эрмитажи, когда последним нечем было печи истопить. Сначала он повел себя осторожно и мужиков щипал помаленьку, но так как директора Экономии менял я в бытность мою виц-губернатором в третий раз, а по христианскому закону более трех жен иметь не можно, то и предчувствовал я, что в гражданском моем состоянии сменюсь я прежде его. Обстоятельства исполнили мои предчувствия. Догадка моя сбылась, и он остался еще после меня в Пензе, но, увы, ненадолго[2].

Больше о Зубове уже говорить мне не доведется. Приятно забывать тех людей, кои нам делали досады. Торги на откупа между тем чувствительно занимали князей Куракиных. Князь Александр из Москвы возвращался последним путем в свою пензенскую деревню, а князь Алексей, и оба они вместе, писали ко мне по делам своим часто и много, всегда с отличными выражениями дружбы и ласковостью. Князь Александр приглашал меня к себе в гости, и я у него был, прием, обращение, встреча и провод — все одинаково, как и прежде. Придворные люди ни-

когда не меняются в наружных видах с теми, кто им надобен. Тут охотно гнется и спина, и улыбаются на лице мускулы, но оборони Боже быть им или бесполезну, или сопротивляться их видам. Тогда они поражают сильнее грома, жалют ядовитее змей. Переписка с ним, когда мы бывали розно, меня больше тяготила, чем занимала. Надлежало прибирать слово к слову, составлять острые фразы, наполнять их льстивыми приветствиями. Часто в скуке сочинения их меня забавляли письма Струйского, они мне служили отдохновением, и я, читая их, нередко хохотал без желчи от самого доброго сердца. Между письмами князя Алексея Борисовича Куракина, в одном извещал он меня, что состоялся указ о произведении торгов на винный откуп в Сенате[3]. Нет нужды мне здесь ничего досказывать на сей счет к тому, что я писал в прошедшем годе, в котором я материи сии весьма распространил. Всякий почувствует, что сей указ стеснял совершенно дворянство, имеющее от вина весь свой достаток, и клонился к обогащению одних откупщиков, которые час от часу брали в государстве более силы и полномочия. Из самого слога того указа приметить можно было, что государыня к нарушению заведенного ею во всех частях порядка, силой которого торги должны были производиться по Казенным палатам[4], была, как бы сказать, изнасилована и подвинута алчным правительством, ибо, созывая на откупа с 1795 года к торгам в Сенат, обнародовала в том же указе в некоторое удовлетворение принятому прежде порядку, что сие имеет быть единственно только на сей раз, а вперед всякий являлся бы в Казенные палаты под опасением непринятия никаких от него просьб, в Сенат подаваемых. Сенат на сию детскую угрозу весьма соглашался и явственно велел оную в указах выпечатать, зная, что в четыре года много утечет воды и что на теперешний раз, по русской пословице, что взято, то свято. Я не могу защищать все Казенные палаты, без сомнения, они шалили, но и Сенат не непорочен был, а в таковом общем ко злу человеческого рода поползновении маленький чиновник всегда сноснее. Казенные палаты удобнее было штрафовать, нежели Сенат. Виц-губернатор боялся отрешения, суда, лишения имения как чиновник незнатный, чего сенатор не страшился, ибо он действовал не один, а с целым сословием, которое по важности его в государственном правлении и самая политика принуждала нередко щадить, когда он покушался на поступки, ему несвойственные. Скажут мне, что сей опыт произвел много пользы, и наддачи были велики. Не удивительно, ибо привилегии были даны преогромные, и стеснение дворян в их винокурении, умножая выгоды откупщиков, заслуживалось от сих последних

знатными пожертвованиями. Но долго ли, долго ли будет казна считать себя богатою тем, что прямые дворяне, добрые дворяне не имеют уже почти куска хлеба, и все их имение перешло в руки подлых целовальников, которые сделались в два-три года знатными помещиками? Но я не их и не государственную историю пишу, а собственно свою, итак, полно об откупах.

В прошедшую зиму беспрестанные свидания с Улыбышевой сделали меня данником ее прелестей, необходимость и привычка меня в нее влюбили. Я без чувствительного привлечения не мог прожить ни дня. Кто следовал мою Историю доселе, тот это видел, итак, я сучил любовь, как нежный селадон. Пребывание в одном городе и съезды общие во все домы много представляли случаев к укоренению моего пристрастия, наконец, уже как любовник вспыльчивый и притом в амуре не последний романический донкишот, поехал на масленице в их деревню и там остался до Чистого понедельника[5]. Муж ее, не чинясь, напивался при мне пьян всякий день до безумия, ни гости, ни родственники, ничто его не приводило в стыд, он доходил в пьяном своем остервенении до того, что бедная жена его принуждалась быть у постели его тогда, как он делил скотские свои вожделения с низкими и презренными села своего потаскушками. Часто жена его, получившая не скажу я знатное и отличное воспитание, но многим ему превосходная, принуждалась уходить от ярости его в сарай, и там едва не с собаками по целым ночам провождала. Тронет ли кого-нибудь такая картина, а наипаче того, кто влюблен в толико уничижаемый предмет? Я всему тому был свидетель, все ею мне было поверено вместе с намерением ее бежать от него, ежели отец ее, приготовлен быв к тому предварительно, уважит означенными причинами и примет ее в родительские свои объятия как дочь, утесненную судьбою, принесенную в жертву негодяю, имевшему сильных родственников и покровительством их ее обольстившему. Сильные его родственники был весь род Колокольцовых[6]. Трудно ли сочинить роман, когда воображение пылает, а сердце чувствительно? Я представил себя защитником невинности, покровителем утесняемой женщины, словом, я играл сам для себя в уме моем знатную ролю и, не размышляя далее, ибо, увы, размышление мое всегда ездило на долгих вслед за моим воображением, которое скакало по почте, на возвратном пути заехал к отцу ее, изобразил ему живейшими красками гибельное положение дочери его, согласил его убеждениями моими решиться на ее политический с мужем столь неистовым развод и на прием к себе в дом. Отец ее был человек прямо-

душный и степенный, знал всю беду дочери своей и умел отделить в словах моих правду от воображения. Итак, приехал я от него домой с полною в предприятии моем надеждою и уже нарицал себя избавителем милой женщины. Кого бы не польстил сей подвиг? Кто бы на моем месте, будучи влюблен, не сделал того же? Следствия поступка моего были глазам моим сокрыты. Бог попускал мне низвергнуться в пропасть, я в нее падал, но он же меня после и восставил. От времени сего свидания началась у меня с ней переписка. Я посылал частых нарочных, скрывал письма ее от жены моей, тайно писал к ней мои и бедной жене моей, сей чувствительной женщине, наносил много печали. Она видела мою скрытность, узнавала причины ее, болела о моих заблуждениях и вин моих мне с жестокостию никогда не давала чувствовать. О, достойная женщина! Никогда, никогда, я тебя не стоил! Признание сей истины, которую я в полной мере чувствую, да будет некоторым очищением моих слабостей! Переписка моя с Улыбышевой час от часу была жарче и пламеннее, писали мы друг к другу тетради. Она знала несколько по-французски, имела несколько книг, любила чтение и почасту включала весьма кстати в свои письма некоторые Доратовы стихи, как например в одном нашел я: «J'étais dans le néant avant de te connaître»*. Я никогда, увы, этого стиха не забуду, ибо он был камень основания моей погибели. Она его употребила в самом начале своей со мной переписки. Как не воспламениться с моим воображением при такой находке в письме женщины милой, уединенной от света, живущей в полуторы тысячи верстах от всякого просвещения? Как не зажечь сердце и не вспыхнуть? Сие-то со мной и случилось. Я начал сам вязать ту сеть, в кою рок судил мне запутаться. От судьбинной стрелы не уйдешь, и где человек утонуть должен, там всеконечно покроются глаза его какою-то завесой, сквозь которую ни самое зрячее око ничего не предусмотрит, ни от чего не убережется. Теория человека, не попадавшего в ошибки, может быть, скажет иное, но я видел причины моего заблуждения, испытал его в полной мере и могу, кажется, теперь судить об нем очень здраво. Нет рассудка тогда, как чувства одолеют сердце, нужно его призывать на помощь к себе прежде, но когда загорелся дом, поздно чистить трубы, надобно разрушать, ломать и приводить все сущее в небытие. Нет ничего труднее, как сопротивиться с пользою волнующемуся сердцу и разъяренным чувствам, они всегда верх возьмут.

---

* Я был в небытии, пока тебя не встретил (фр.).



Княгиня Евгения Сергеевна Долгорукова, первая жена кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы Ж. Л. Вуаля.



Князь Иван Алексеевич Долгоруков,
дед кн. И. М. Долгорукова.

Портрет работы неизвестного художника.



Схимонахиня Нектария
(княгиня Наталия Борисовна
Долгорукова),
бабушка кн. И. М. Долгорукова.

Портрет работы художника из круга
иеромонаха Самуила. Ок. 1769.



Князь Дмитрий Иванович Долгоруков, дядя кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы иеромонаха Самуила. 1769.



Графиня Анна Михайловна Ефимовская, сестра кн. И. М. Долгорукова.

Миниатюра работы А. Ф. Г. Виолье. Первая половина 1790-х годов.



Графиня Мария Николаевна Скавронская, тетя кн. И. М. Долгорукова.

Портрет работы неизвестного художника.



Барон Александр (Захар) Николаевич Строганов,
дядя кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы Д. Г. Левицкого (?).
1780-е гг.



Граф Петр Борисович Шереметев,
двоюродный дед
кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы И. П. Аргунова. 1760.



Граф Александр Сергеевич Строганов,
двоюродный дядя кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы Ж. Л. Монье. 1804.



Князь Михаил Михайлович Голицын.
Портрет работы И. Б. Лампи-старшего.



Княгиня Анна Александровна Голицына,
двоюродная тетя кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы И. Б. Лампи-старшего.



Светлейший князь
Николай Иванович Салтыков.
Портрет работы М. Ф. Квадаля.



Графиня Наталия Владимировна
Салтыкова.
Портрет работы М. Ф. Квадаля.



Граф Николай Петрович Шереметев,
двоюродный дядя
кн. И. М. Долгорукова.
Портрет работы А. Рослина. 1773.

Из уст Давида ток обилен,
Но, ах! и тот целить бессилен
От ран любовного огня[7].

Постой, читатель! При начале сей страсти мне нужно предостеречь тебя от ошибки. Не мысли, чтобы любовь моя к ней была чувственная, основанная на одних вожделениях физики. Нет, я любил ее со всею строгостию платонизма, я ласкал ее одними выражениями, и никогда, никогда, Бог тому свидетель, уста мои ее уст не коснулись. Оговорка эта нужна была для судии моего. Когда будут дети мои, или кому они поверят, читать сии записки, тогда наружные виды все исчезнут, и предстоять, может быть, буду я на таком суде, где приговор над виновным пишут не пером, в чернилы опущенным, но поражениями собственной совести, убитой сведением худых дел своих, то пусть и люди судят грехи юности моей и неведения во всей строгой истине, не прибавляя того, чему мысль моя никогда не была причастна. Словом, мне надобен был роман, я нашел случай его из самого себя составить и пустился в интригу любовную на всех парусах моего воображения. Письма мои состояли из сильных клятв любви вечной — натурально, кто любит, тот думает, что это навек, — из убеждений на разлуку с мужем, ее не стоющим, и который ее тиранит, на убежище к отцу, коему она была милее жизни. Вот главные черты моей переписки! Муж ее об ней секретно ведал, но не мог еще при начале ее сделать никакой ко мне привязки, а когда она уехала к своему отцу и оставила мужа, то сей последний, лишаясь с ней всего ее имения, помыслил о мщении мне не за жену, которую он уже и не любил, имея тьму наложниц самых подлых, но за имение, ибо расстройка его дел не позволяла ему жить так открыто и хорошо своим одним достатком, как совокупно и с ее доходами, которые от минуты развода переставали быть общи[8], а для пьяницы, когда нет в виду шампанского, и море по колено. Итак, он, почитая меня виновником своей расстройки, искал благоприятной минуты к отмщению и основательной на то причины, не на одной догадке, а на точных сведениях основанной. Судьба моя и неосторожность скоро представили ему и то, и другое.

Еще маленькое нужно здесь примечание. Многие будут считать и самое сие повествование пристрастным и не дадут веры тому, что каждый из читателей будет почитать несообразным с своим размышлением, но я пишу правду и, не отягощая других, ничем себя извинить не постараюсь. Когда бы я хотел быть лицемер или скрыть мои пороки, я мог бы не на-

12 Зак. № 3535

чинать вовсе сей Истории, никто меня к тому не принуждал, но, взяв перо на сей конец в руки, смею утвердить клятвенно, что ничего не солгу, а за тем, если кто мне и не поверит, я для убеждения его ссылаться не стану ни в чем ни на кого, ибо дело здесь идет не о приказной справке. Проведя таким образом в приятной переписке пост[9] и в новом сем состоянии находя все удовольствия сентиментального любовника, потому что никогда еще доселе в совершенном возрасте не ощущал его в подобной полноте, сбирался ехать наслаждаться плодами трудов моих в деревню к старому Машкову, дабы там видеться с его дочерью, о которой по письмам ее знал я, что она уже к нему переехала. Эта деревня от Пензы была в осьмидесяти верстах. Путь был бы недалек, но надлежало презреть все оного затруднения, как то разлитие вод, скверную дорогу, ибо ехать туда предполагал я на Святой неделе. Чего, однако, не делает сумасшедший от любви, а паче такой человек, который, проводя жизнь скромную, давал любви вящую силу от неиспорченного темперамента. Решился и поехал спустя первые дни праздника, в которые задушили меня и попы, и семинаристы, и народных школ мальчики стихами, речами, великими панегириками. О, как мало я их стоил, особливо тогда, но для сих нужды нет в заслугах, писателю такому надобен рубль, и в чьем кармане подозревает он их больше, нежели в своем, тому он и говорит на всех известных ему языках, что он дух, Бог и, словом, изящнейшее создание мира. Приехавши в Бессоновку, отобедал тут и каким-то невольным побуждением рассудка или сердца, ей-богу, разобрать этого не мог ни тогда, ни теперь, остановился, задумался и решился воротиться домой. О, какое счастливое намерение! Сам Бог вложил его в мое помышление, сам Бог отвел меня за руку от пропасти. Чтобы продолжать путь, мне надлежало ехать мимо села Колокольцова, председателя Верхнего земского суда и ближайшего родственника Улыбышева, который тут на то время нарочно случился. Неподалеку от той деревни поставлен был отряд нанятых им дерзких людей с тем, чтоб они меня до смерти на дороге прибили. Весь околоток про заговор этот знал, не ведал лишь я об нем и летел, как беззащитный юноша в зев зияющего льва. Никто мне не смел о том сказать, опасаясь следствий и принуждения доказывать о таком предприятии. Между тем, пока я обедал, беспрестанные верховые проезжали мимо Бессоновки и наведывались, скоро ли я выеду оттуда. Без всякого о том подозрения не соображал я даже и того, что исправник пензенский[10] усильным образом просился меня выпроводить до другой округи, чаятельно оттого, что он знал умысел сопротивников моих и бо-

ялся со временем дать отчет, буде что в его округе случится, а может быть и для лучшего прикрытия вооруженной сволочи. Все то быть может, я ни за кого не ручаюсь, ибо все было против меня, Бог один спасал меня очевидно. Ничто не влекло меня к каким-либо сомнениям, но так вдруг машинально соскучив дорогой, представя, как она будет трудна от разлития вод, опасна, захотел воротиться домой. На что таить здесь легкомыслие мое притом и непостоянство нрава? Я уже опять был в Пензе занят. Загоскина начинала делать бремя в моем сердце. Она была в Пензе, Улыбышева в деревне. Присутствие первой сильно вредило последней, и я, делясь между двух предметов, влеком будучи преимущественно к одному, потому что видеть его мог всякую минуту, терялся и не знал, за что приняться. Загоскиной хотел я показать, что желание быть с ней препятствовало мне с ней расстаться без крайней нужды. Улыбышевой должен был сдержать мое слово, навестить ее в новом ее состоянии, взглянуть на собственное свое дело, которым, считал я, что устроил наилучшим образом ее участь, ибо оборонил самое ее от побой, а имение от расхищения. Итак, равно хотелось и ехать, и воротиться, но, решась на последнее, должен был хотя письмом самым пламенным дать знать Улыбышевой, что я не мог продолжать пути; разлитие вод и весна служили мне причиной к извинению, но поелику нет ни в каком препятствии достаточного извинения для пылкого любовника, то связь романа требовала жаркого слога в письме моем, дабы наипаче отвести подозрение, что я не захотел до деревни отца ее доехать, быв уже на пути, а Загоскиной, увидя меня возвратившегося, оставалось догадаться, что я вхожу в ее подданство и все повергаю к ногам ее.

План прекрасный, оставалось привести его в исполнение. Не ехать — это было решено. Написать и выдумать страшные затруднения — это было также. Перо всегда служило охотно моим затеям, я на двух листах кругом, начиня их разными помехами, соображениями, страхами, а паче страстными комплиментами, которыми то письмо усыпал, как искусный садовник цветник обкладывает цветами, написал грамотку. В ней применял ее натурально к Богу: чем выше сравнение, тем удовлетворительнее для самолюбия, а женщины, и самые ледящие, никогда не сердятся, когда их уподобляют Божеству. Люди часто за сравнение с собой сердятся и мстят, а Бог так велик, так высок, мы так низко пресмыкаемся, что безумный любовник берет его в пример своей дражайшей, когда хочет, без боязни. Может ли гром его падать на сумасброда в жестокой горячке? В ней я уверял ее, что страсть моя вековечна, хотя само-

му мне будет конец, что она одна мне милее всех, хотя в то же время любил уже другую; словом, чем больше надлежало мне извиняться, тем сильнее я искал выражений и, к несчастию, от загоревшегося слишком воображения вместил в той же грамотке такую мысль, которая потом была предосудительна для моей нравственности и о которой я долго сожалеть буду, ибо в одном сем пункте изменила душа моя правилам своим, а именно, что брак есть политическая церемония, не обязывающая ни к чему, когда сердце наше принадлежит другому. Сие последнее сказал я истинно для того, чтоб убедить ее и отклонить мрачные понятия о разводе, к которому привели ее столь много правильных причин. Вот одно худо, за которое должна была на мне отяготиться рука Божия, и я кару ее почувствовал. В прочем письмо, писанное по-французски[11], содержало в себе множество романических оборотов, значущих более шалость, нежели черный какой умысел.

Если бы знал я все те заговоры, о коих упоминал выше, конечно бы я не послал письма моего с нарочным, но, ничего не ведая, не предвидел в том и опасности и потому с присяжным, который сопровождал меня, письмо то к ней отправил, а сам благополучно воротился в Пензу, удивя жену и всех моих толь скорым прибытием. О посылке письма от меня тотчас узнали в селе Колокольцова. Курьер мой был схвачен, напоен, и пакет отнят. В нем было два письма: одно по секрету к Улыбышевой, а другое к отцу ее, в котором я к ней приписывал, это отдали обратно Волкову и, задарив его деньгами, уговорили, чтобы он, приехав к Машкову, повинился бы Улыбышевой, будто другое потерял, и, взяв от нее ответ, завез опять к Колокольцову, что он аккуратно и сделал. Таким образом обоюдная наша переписка очутилась в руках мужа, а моего врага. Волков ей и мне во всем признался. Тщетно было его наказывать, поздно брать меры ко спасению. Перервалась тотчас наша переписка, и с тех пор уже я от нее не получал ни строчки и самой нигде не видал. Между тем, весь город наполнился молвой о перехваченных наших письмах. Улыбышев приехал в Пензу, стал их везде и всем читать в ругательство жене своей и хвастать мщением, им приготовляемым. Турчик мой и Полчанинов меня о слухах городских известили. Тогда только увидел я глубину изрытой подо мной ямы, но и тут ничего еще не боялся, кроме того только, что дойдет неминуемо сие до жены моей, подействует на слабое ее здоровье, раздражит против меня, причинит расстройку в нашем супружестве, сделает меня несчастливым навеки — вот одно, чего я боялся, чего желал избегнуть, но, кроме сего, ничего в мысль мне опасного не прихо-

дило. Не умел я измерить в полноте беды, мне предстоящей, мучился страхом одних только домашних неустройств. Итак, все мои старания обращены были на то единственно, чтобы ее сберечь, сохраня в неведении все происшедшее, прочие же все чувствования, кои сердцу моему не могли быть еще чужды, уступали место сему сильнейшему, так что никакая другая забота им не обладала. Напамятовании сии печальны и тяжки. Читатель! Оставим Улыбышева составлять ков свой на меня и отдохнем хотя на краткую минуту.

Нет, не для меня в этом году отдохновение. Я могу сказать, приводя каждый почти день оного себе на память:

Беды родят беды, не вижу им конца[12].

Жизнь наша как тонкое полотно: трудно прорвать петлю, тотчас за ней спустится другая, третья и весь холст издерется, замарай чем-нибудь едким — вовеки не отмоешь. Оставим метафоры и оглянемся на настоящие приключения. Письма московские не обнадеживали меня в здоровье отца моего. Хотя он не был еще совсем у гроба, но не далеко отстоял уже от конца жизни, и потому я с мая месяца опять стал проситься в отпуск, дабы приблизиться к нему прежде последнего его издыхания. Письмо об отпуске писал я к Самойлову, при другом — к князю Куракину, который ответом весьма приязненным уведомлял меня, что Александр Николаевич не оставит при случае об нем доложить и постарается исходатайствовать мне оный на двадцать девять дней. Во ожидании его, несмотря на все мои огорчения, кои мрачную составляли около меня тучу, захотелось мне на минуту позабыть все и дать свободу веселому моему характеру. День именин моих 8 мая к тому был достаточною причиною. Какой несчастный в такой день не поищет иногда случая чему-нибудь с друзьями улыбнуться? Мне хотелось непременно этот день провесть вне дома, и не в гостях, а на поле. Все к тому споспешествовало. Погода была прекрасная. Начали мы день богослужением. Кто не молится Богу, а особливо в замечательные дни жизни своей, тот не может себя почесть совершенно добрым человеком, а кто несчастлив или утеснен, тот, верно, по нескольку раз в день молится, ибо не в сердцах, восхищаемых радостьми и благополучием оживотворяемых, Всевышнее Существо алтари свои зиждет. Они по большей части основаны там, где нет ни одной минуты восторга и целые годы провождаются в плаче. После церковного упражнения поехали мы все с хорошими нашими прияте-

лями и с Загоскиными обедать за восемь верст от города. Там под шатрами ожидал нас стол на высоком холме, с которого виды занимали бы очень приятно взор мой, если б он не встревожен был зрелищем не важным, но на меня сильно подействовавшим. В самое время нашего обеда, за которым играла духовая музыка, палили пушки, лилось вино за здоровье мое рекою, в самое то время проходил мимо нас по пути присяжный Волков, тот самый, который выдал мою переписку. Он был прикомандирован из другого города и отходил к своему месту. Приятели мои, знавшие мое приключение, взглянули на меня. Тайные их взоры от жены моей покрыли бледностию лицо мое. Вывеска обыкновенная беспокойной совести. Я видел его проходящего и не знал, куда скрыться от внутреннего во мне мятежа. О, как несносно раздражать свою совесть! Учитесь, дети мои, поступать лучше вашего отца! Нет слов, коими бы я мог выразить замешательство мое в ту минуту. Казалось, все меня обличало, и если бы не присутствие гостей, не праздничные обряды, я готов был пасть к жене моей на колени, открыть ей все мое дурачество и примириться тем с самим собою. Но чаша горести еще не вся была испита, и глас сердца скоро заглушен был именинными восклицаниями. После обеда поехали мы далее на линейке и в Богословских рощах верстах в пятнадцати от Пензы под новыми шатрами пили чай и прохладой наслаждались. Там Желтухин встречал нас с роговою своею музыкой, там новые роскоши чувственность нашу обольщали. Порезвяся до вечера, поехали мы на ночь к Загоскину, и на границе его села Рамзая начались деревенские забавы, встретили нас хороводы, везде пели песни, пушки и тут не умолкали. Хозяева, соединя два праздника, мои именины почти прошедшие и наступающие на другой день Николая Михайловича Загоскина[13], истощили к увеселению нашему все возможные средства. Тут мы ужинали, ночевали, провели еще сутки и воротились домой. Подлинно, это время осмелился бы я назвать веселым, ежели бы душа моя расположена была к забавам, но для черного сердца везде сумерки или глубокая ночь. Итак, я хотел повеселиться, хотел разбить мысли, все мне в том общими силами помогали, но сам я не умел себе помочь, и скука все помышления мои в полон брала. Полевая жизнь мне, однако, нравилась, и с того дня я располагался проводить лето за городом; у меня была палатка довольно большая, вдобавок к ней домик, и сверх того подарил мне Тараканов аул, род черкесской палатки из соломы, одетой войлоками, в которой можно было с приятностию в жаркие дни отдыхать. Все это составляло изрядный лагерь, я его раскинул в версте от го-

рода на маленьком от Суры протоке, где я и водой мог наслаждаться. Там, отобедавши в городе, после вседневного моего купанья в ванне проводил я вечера с книгой или за пером и к сумеркам, погулявши немного, возвращался на ночлег свой в город. В услугах при мне был вольный гусар[14], которого одного бирал с собой в мои прогулки, и я не знаю, какая сильная надежность тогда владела мною. Слухи городские, присутствие Улыбышева, стремление его сделать мне вред и обиду, советы моих друзей, кои меня всячески от того предохраняли, — ничто не сильно было ввести меня в рассудок и испросить у меня той жертвы, чтобы я один таким образом по полям не шатался и не подвергал себя ярости отчаянного мстителя. Все убеждения были напрасны, я был без страха, бродил один по лесам с вольным слугой, которого мог бы всякий легко подкупить, езжал на все субботы и воскресенья к Загоскиным еженедельно, также без большого числа людей и самым скромным образом, думая, что я очень благоразумно поступаю. Странное действие ослепления! Когда человеку суждено попасть в пропасть, то какой-то слепой рок, завязав ему глаза, тянет его туда, куда он сам после, пришед в себя, дивится, как его занесло.

Не приступая еще к важным происшествиям, кои тебя, читатель, тотчас ожидают, выслушай одно слово, оно бы отяготило мою совесть, если б я его умолчал. Не числи Загоскину наряду с прочими легковерными женщинами, о которых хотя я ничего не скажу в моей Истории, но сами они подвергнутся неблагоприятной твоей об них догадке. Нет, она была благоразумна и любила добродетель, даже слишком сурово ее показывала, мои частые посещения ее страшили, оскорбляли, она не была ими довольна, но по связи моей с мужем ее принуждена была их переносить, хотя часто, по вспыльчивому своему свойству, говорила со мной об них слишком откровенно и не обольщалась моими приветствиями. Могу поручиться, что и я входил в дом их, как в святилище, с уважением, необходимо от нас требуемым непорочности и добросердечию. Я знал хорошо их семью, они любили честь, боялись Бога и с ближним были без коварства. Вот одна цена, которою я могу заплатить за их приязнь, и до сих пор ко мне продолжившуюся. О! Конечно бы скорее она прекратилась, если бы порок в нее вмешался.

В один из сих вечеров, провождаемых мною в поле под шатрами, посетив меня, жена и несколько приятелей, хотя с крайнею осторожностию, однако объявили, что отец мой крайне болен, что надежды к жизни нет, и что будущая почта ничего приятного не обещает. Узнав о сем за неде-

лю до оной, всякий почувствует, каково мне было пережить эту неделю, всякий, говорю я, то есть тот, кто любит отца своего. К несчастию нашему, по нынешней нравственности сия оговорка сделалась нужна и необходима. Наконец, пришла почта и объявила мне, что отца моего не стало. Я не в силах остановиться на сей минуте и ничего описывать тогдашнего, воображать ее ужасно, чувствовать тяжело, а изъяснить, что со мной делалось, никакое перо бы не умело; оно в руках каждого тупится, когда чувства в сильном волнении. Итак, пробегу я сии злосчастные часы жизни моей. Но увы! Куда я обернусь, чтобы найти прохладу, чтобы успокоить мятежное сердце? Везде беды, везде злосчастия. О плачевная година! Подобно страннику, который с утра выходит с ночлега в путь и поминутно то прячется от туч, то, обрадовавшись мгновенному сиянию солнца, чает конца ненастью и новые вдали слышит громы, которые над головою его теснятся, так я в этот год жизни моей, едва отдохну на минуту, как новая беда, новое приключение возмутит дух и чашу горести до дна растворит. Но я пишу для детей моих, нужно им знать все случаи, меня постигшие, итак, побеждая движение души растроганной, должен в последний раз здесь повествовать о друге моем и дражайшем отце.

Жил он, как по завещаниям его видно, шестьдесят три года, кои ему исполнились 2 апреля сего года. Отчасти же по Истории моей можно было заметить его огорчения, несчастную судьбу. Родясь как изгнанник в жестокой ссылке, лишился отца в юном возрасте на эшафоте, мать похоронил в монастыре, вдовел однажды от милой жены[15], терял любезного брата[16], хоронил детей, воспитывался в чужом доме[17], испытал презрение, гонение ближних, ненависть сродников[18], злобу вельмож, лишился имения знатного и, по стечению обстоятельств несчастных, принужден был малое совсем расстроить, в службе не нажил ничего, вел ее без выгод и удовольствия — вот в коротких словах его история. Из сего сокращения кто не увидит, что не миновало его никакое зло моральное, а недуги и физические изнурения усовершенствовали оные. Я не стану здесь делать ему панегирика. Довольно для славы отца, оставившего после себя детей в возрасте, женатых и самих наживших потомство, довольно для славы такого отца, говорю я, когда дети его благословляют, любят его, плачут о потере его и, кроме благотворений его, ничего привесть на память не могут. Чем похвальнее, чем достойнее, чем выше увенчаться может похвала родителей, как не сими лестными преимуществами? Он их стяжал кротостию своею с нами в совершеннолетии, благоразумною строгостию с младенчества нашего, снисхождением к нашим слабостям и

горячею к нам любовию. Какое доказательство можно сильнее найти любви к детям, как поступок его со мной, когда он, расставаясь со мною в прошлом годе и как бы конец свой предчувствуя, дал мне верющие письма на управление Нижегородской его деревней, одним почти имуществом нашим? Сим верющим письмам не было ограничения, они в полной мере послужили мне из рук его залогом, будучи подписаны им и матерью моей с наблюдением всех гражданских обрядов, сколько он доверял мне по надеянию на сильную мою к ней любовь. Имущества после него никакого не осталось, но я богат его наставлениями, его советы драгоценнее для меня всех бразильских сокровищ. По смерти его оказались на имя наше два завещания, одно, писанное в 782, другое в 788 годах, оба одинаковой силы. Скончался он 8 июня во втором часу заполночь. Изнемогшее тело его от чечуя, подагры летучей и совокупных разных болезней, между которыми даже подозревали и камень, обратил наконец в мертвенность удар паралича, до которого столько он был бодр и такое показал присутствие духа, что даже 7-го числа, в день, в который минул год Алексаше, он, после исповеди и причащения тайно от домашних, выходил за ужин к столу, поглядел в последний раз на всех своих ближних, простился по обычаю с матушкой, с сестрами, и уже после никто его не видал. Между бумагами, в его кабинете оставшимися, нашлись и у меня хранятся доселе собственной руки его некоторые примечания на дворянские преимущества и на откупы. Он сохранил в целости множество писем матушкиных, дяди моего барона Строганова, моих, из Петербурга к нему писанных, и вместе с журналом бабушкиным нашел я у него все почти ее письма. Сия интересная переписка до гроба моего в бумагах моих храниться будет, никогда не потеряется и календарь 1758 года, который остался в моих руках со всеми его замечаниями на уважительные случаи его жизни. Тут видны и письмы некоторые к нему от генерал-прокурора князя Вяземского. Вот все богатства, кои он мне оставил, и я их ставлю выше тех набитых золотом кладовых, в которых на грудах денежных мешков издыхает нечестивый ростовщик, оставляющий множество тысяч душ такому потомку, который уже чувствует, что душа, исшедшая из трупа отца его, была самая неистовая и проклятиям подвергшаяся. О, как, напротив, при всей печали моей мне приятно вспомнить дела отца моего, жизнь его всю, каждый со мной, с ближними поступок! Веселись, райская душа! Питайся там, там, где ты теперь покоишься от изнурений мучительного живота, благословениями приверженных к тебе отраслей твоих. Я оставлю говорить о состоянии

имения нашего по кончине его до тех пор, как я приближусь к моему приезду в Москву, тогда о сем непременно помещу здесь во всей подробности. Теперь же должен, говоря лично о нем, упомянуть следующее обстоятельство. Молчать об нем нельзя, ибо оно имеет большое влияние на всю жизнь его и связь с моею. Поелику он был свойства горячего, темперамента пылкого и одарен от природы не токмо здоровым, но и самым крепким сложением, то мать моя, по причине немощей ее и болезненных частых припадков, не могла ни делить с ним поездки в Питер, когда он там служил, ни способствовать к единственному с ней сожитию. Сие я говорю не в извинение моего отца, но по сущей истине, я на самой исповеди не мог бы быть справедливее. Он имел любовницу. Пристрастие его к одной благородной дворянке, по имени Аксинье Ивановне Похвисневой, все ему в жертву принесшей, так высоко возросло, что он с нею вошел в теснейшую связь; любя ее страстно, возил ее с собою всюду, она все с ним делила, и с ней прижил он двух детей, оставшихся живых, сына Григорья и дочь Анну. Определить времени сей связи я и сам точно не могу, но уже дети по смерти его были в изрядном возрасте, и брат Григорий был при письме отца моего, которое я со многими другими от него же ко мне имею при себе доныне, прислан ко мне для воспитания его и обучения грамоте в прошлом 1793 году летом и жил при мне в Пензе. О связи отца моего с их матерью знали мы давно, и он нам ни в ней, ни в рождении их не таился. Гриша был уже записан в Конной гвардии вахмистром, и его старшинство шло наряду с моим большим сыном. Вот одна вещь, которая, по общему мнению, должна предосудительна быть отцу моему. Я согласен, но чем же он загладил заблуждения свои, и заблуждения от вышесказанных причин столь необходимые и столь естественные? Любовница его всегда была с нами в обращении, мы с нею видались ежедневно. Она в наши дела не вмешивалась, оказывала нам всегда должное уважение. Благоразумие его так умело равнять наши между нами и ею поступки, что мы были искренние с нею друзья и, как во многих других семьях бывает, ничем со стороны ее не могли никогда пожаловаться. В рассуждение матери моей он так нежно обходился, что до смерти своей старался от нее скрыть свою слабость, и когда, умирая, он думал, что мать моя ее не знает и удостоверена в его любви к ней одной, то духовнику своему завещал по прошествии шестинедельного срока сказать ей от него обо всем, испросить ему ее прощение, обнаружить его неверность, дабы, говорил он, не считала она меня лучшим, нежели я был, и ведала, что я подобострастен был прочим человекам. О, какое пример-

ное великодушие! Какая тонкость в чувствительности! В завещаниях своих он ничего другого от нас не требовал, как неоставления детей тех и матери их, возлагая на нас всю участь их, ибо он не мог ничего им оставить. При последнем его мгновении в кошельке его нашли только рубль с чем-то серебром, вот в чем состояло все богатство потомка любимца Петра II. Тело его похоронено было в Донском монастыре. О дражайший родитель! Один прах твой там почивает, но дух твой, память твоя живет в детях твоих и жить будет в них до гроба! Получив сие печальное известие, первое мое движение было возобновить просьбу о моем отпуске. Сколько ни толковали мы с женой, ходя по вечерам взад и вперед по скучным нашим комнатам, об образе управления, какой возьмет наш дом в рассуждение матушкиной слабости в здоровье и ее в том неопытности, ибо доколе здравствовал отец мой, никакие хозяйственные домашние дела ее не касались, но никак не могли ничего ни предположить, ни угадать. Нерешимость умножала любопытство, от которого и усиливалось желание самим туда ехать, а так как жена моя, быв брюхата и ожидая родить в августе, непременно решилась еще и до сего случая ехать к родинам своим в Москву, я же с моей стороны уверен был, что столь важная причина доставит мне отпуск без труда, то и назначил жене выехать тотчас в Москву и там меня ждать с тем, что по получении моего отпуска я бы поехал соединиться с ней и, побывши несколько времени дома, может быть и вместе могли возвратиться. Вследствие этого плана жена поехала 24 июня в путь, взяв с собой Гришу и оставя детей дома, а я, дабы не оставаться одному и успокоить несколько расстроенные мысли, отпросясь на восемь дней, поехал тогда же на заводы и, посетив обе пустыни, Саровскую, о которой писал прежде подробно, да Синаксарскую[19], во всем ей подобную, но только в меньшем виде относительно к строению и к числу содержащихся в ней монахов, воротился на срок в Пензу. Сие путешествие было мне нужно, движение несколько поправило мрачное мое воображение, перемена предметов в езде весьма помогает опечаленному рассудку снискать приятное для себя рассеяние. Синаксарская пустыня в одной округе с Саровской, то есть в Темниковской, и под самым даже монастырем местоположение ее приятно. Да где же монастыри не имеют оного? Никто так искусно не выберет под поселение свое места, как монах. Взгляните на все монастыри, вы увидите, что всякий из них поставлен при лучших угодьях своей окрестности и пользуется наипрекраснейшими видами. Чему дивиться? Они в глубокой древности владели царями, как своими причетниками, и могли наклонять волю их

куда хотели, а потому все им принадлежало, на что ни простирались завистливые их взоры. В этой самой пустыне между монахами жил и сам был иноком г. Полтев, который, прослужа до бригадирского чина в провиантском штате, быв ближний родственник фельдмаршалу графу Чернышеву по его жене, удалился от большого света уже в немолодых летах и, наконец, в этой обители постригся. Хотел я его видеть, но его тогда не было дома или, может быть, он, одичав, от прежних знакомых своих скрывался. Многие, следуя его примеру, туда же из разных чинов приходили, но скоро скучали и выходили вон, а он один и доныне там остался.

По возвращении моем в город после Петрова дни, который я, не будучи в расположении духа праздничном, проводил вместе с днем восшествия в пути, узнал я, что насчет сей моей поездки сделаны были заключения, будто бы я ездил видеться с Улыбышевой. Я могу ручаться всем, что есть свято, что с самого дня потери моего и ее писем я уже не только не видался с нею и не искал нигде видеться, но даже и переписку мою с ней совсем прекратил. Мне невозможно было унять такой опасной для меня клеветы, она, однако, родила самые пагубные следствия. Разъяренный Улыбышев, выведенный сим новым подозрением из всякого терпения, искал меня везде, дабы сделать мне сильную и наглую обиду. Во всяком другом городе мог бы я положиться в безопасности личной на правительство, но здесь всякое на него упование было бы тщетно, ибо губернатор сам поджигал его разговорами самыми неблагоразумными, подучал его со мною разделаться самому, потакал тем из злонамеренных собеседников своих, кои, в угодность ему, видя, что он ищет нанесть мне оскорбление, ловили столь благоприятный к тому случай и убеждали Улыбышева при нем на разных пиршествах, где он нещадно упивался, отмстить мне и вступиться за свою честь, подстрекали его самыми колкими насмешками, словом, настроили против меня ужасную тучу. Чего нельзя сделать из пьяного буяна? Богу угодно было меня наказать, итак, ничто не могло отвести от меня грозящего удара. Злодеи мои радовались, что наконец получили случай оскорбить меня. Справедливость в делопроизводстве им досаждала, по службе нигде они не могли отыскать к пагубе моей причины и восхищались неумеренно, что хотя в домашних делах моих нашли меня порабощенным общему человеческому жребию. Да и что ж они думали или хотели заставить думать обо мне других? Ужли я мог быть без слабостей? Ужли позволено было в общем праве каждого вооружаться против меня за то, что не подавало никому соблазна к нарушению доброго порядка? Позволено ли мне, обвинив себя,

впрочем, совершенно по совести, но токмо пред Богом и женой, которые одни имели право на внутренние мои чувства, позволено ли, говорю, здесь возразить людям, ищущим моего обвинения, на чем они его основали? Я писал к чужой жене любовные письма, я в них откровенно вмещал некоторые мысли, не сообразные, может быть, отчасти с политическими о вещах понятиями, не спорю, но сии письма были ли публичны, казал ли я их, внушал ли правила мои кому другому? Оглашал ли их? Нет! Я проливал неосторожно душу мою в письме к милой женщине. Развод ее с мужем не давал ему права на ее со мной переписку. Перехватить ее обманом было уже злодеяние, нарушающее доверенность и нигде не терпимое. Пусть правительство дерзнет на таковые случаи показать себя равнодушным, и скоро увидят, какие на почтах выкрадывать станут бумаги, а потом каким бедам такое своевольство послужит началом. Но когда законы, правление государственное, сама монаршая особа защищает общую переписку и часто ко вреду своему многие переписки терпит, когда они узаконенными путями ведутся, то где взяли право, повторю опять, сторонние люди частного человека письмо ловить, открывать и делать публичным? Непростительный поступок и своевольство! Я все прощаю самому Улыбышеву. Он был разъярен, бешен, пьян без чувства и действовал в скотском остервенении, но наустителям его ничего не могу простить. Пусть рассмотрят все их побуждения! Чем иным в столь подлом деле могли они быть движимы, как не самыми низкими замыслами и недостойными никакого благонамеренного человека? Но в сотый раз здесь скажу: где человек должен гибнуть, где рука Божия на него отяготится и перст Вышнего укажет ему пропасть, там погаснет светильник ума, исчезнет здравый рассудок, пропадет всякая логика, стихии, люди, случаи, все против него ополчится, невозможное сделается возможным, затруднительное удобным, словом, он падет под игом несносных обстоятельств. О люди! Будьте осторожны в поступках собственно ваших и судите благосклоннее ближних, помните, что всякий из нас подвержен сей общей аксиоме: homo sum et humani nihil alienum a me esse puto*[20]. Никто от сего признания не освободится ни по естеству, ни по стечению несчастных случаев, от коих часто, очень часто зависит жребий и самых мудрецов. Я могу здесь вопросить каждого из тех, кто тогда кидал в меня словами камень: Où est donc le héros pour son valet de chambre**?[21] Довольно, если

---

* я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

** Где же герой для его слуги? (фр.).

человек не унижает публичного своего звания и не злобит ближнего, добродетельно живущего. Оставим в прочем каждого в его спальне так жить, как он может и хочет, и кто поставил нас судиями совести другого? Но увы! Напрасно я о сем рассуждаю. Обвинив себя охотно пред людьми, тщетно покушаюсь родить в них добрую волю к моему оправданию. Пусть судит меня мое потомство. Когда дела мои в этой Истории будут на его судище, тогда уже меня на свете не будет, тогда немздоприимный судия живых и мертвых положит на весы горести мои и преступления, он язвы сердца моего уврачует и грех юности моей, конечно, не помянет. А вы, судии мира, соблазняйтесь наружными видами! Такова на свете участь смертных. Ошибки и беды — вот вся основа нашей жизни!

При всей расстройке спокойствия моего от изъясненных приключений, служба не терпела, я с той же деятельностию занимался делами, как и в самые ясные дни моих веселостей. Новые тогда готовились нам заботы. Корона умножила все повинности народные: налог был удвоен на гербовую бумагу, на паспорты, на подати купеческие и мещанские, на чугунные и медные заводы, словом, все ценой своей возвысилось. Подушные с помещичьих крестьян, до сих пор бывшие в семь гривен, умножились до рубля, и что всего было отяготительнее и труднее к выполнению, накладка сия полагалась хлебом по некоторым губерниям, хлебородным или так названным от правительства в угодность двору для большего количества натуральной подати, ибо в сем случае не было соблюдено никакой справедливости, да и некогда было обстоятельного сделать рассмотрения, потому что все сии именные указы, обнародованы быв 30 июня, повелевали всякий сбор по сим предполагаемым сугубым окладам начать со второй половины текущего года, следовательно, торопливость в получении денег вознаграждала точность в правильности сбора. Указы сии разлились от трона, как насосы, коими видимым образом хотела корона все способы истощить к обогащению своему и вытянуть остальные соки жизни из подданных своих[22]. Под[р]обное описание всех вышедших тогда в одном смысле указов не принадлежит к моему предмету, я коротко о них здесь молвил потому только, что от исполнения оных проистекали большие трудности для Казенных палат вообще, а наипаче для управляемой мною, ибо недоимки уже и так в Пензе доходили до степени уважительной, да и денежный прием рекрут последнего года ясно мне показал, что мужик казенного ведомства в Пензе приходил во всекрайнее изнеможение. Но казне нужны были деньги. Она придумывала все средства к снисканию их, и, вместе с помянутыми ука-

зами, повеления о продаже казенных порозжих земель и об учинении новой переписи душам по истечении токмо двенадцати лет со времени последней доказывали каждому, что императрица российская жаждет золота как и откуда бы то ни было.

Наступил июль месяц, он должен был сделаться для меня памятником неизгладимого поношения. 6-го числа — день сей вырвать из сердца моего ничто не в силах — выходя из присутствия, не чая никакого подлого против себя заговора, встретил я в первый раз после всех происшедших случаев взгляд Улыбышева в сенях. Никто меня не провожал. Шел я один с слугой и без обороны, которую бы, конечно, приготовил, когда б случившееся предвидел. Остановлен был в дверях, выходя на улицу, совестным судьею[23] г. Сумароковым, одним из подлых сообщников пьяного моего неприятеля, нарочно, думаю, для того, чтобы дать время ему сделать мне оскорбление. Как скоро я увидел, что он быстро стремится ко мне, я хотел выйти, но не успел сойти с порога на улицу, как Улыбышев, замахнувшись, тростью ударил меня по затылку. Никто его тут не схватил, все бросились прочь. Я был пешком и в фраке. Что оставалось мне делать, как не идти тотчас домой, дабы не подвергнуться новой обиде, но он, бросясь в коляску, ускакал хвастаться повсюду своим буянством. Я никого не хочу ставить тогда на свое место, дабы почувствовать, что в душе моей происходило. Физического вреда я не потерпел, но моральное оскорбление выше было ужасов и самой смерти. Когда бы он выстрелил в меня из пистолета, он бы меня обрадовал несказанно, нож в те минуты казался мне спасительным и единственным прибежищем. Я не стану говорить здесь о следствиях, какие это приключение имело на мои нервы и о болезнях, коим с тех пор я стал подвержен. Ипохондрия, волнение крови, биение испуганного сердца, все мраки воображения — все это в этой злосчастной минуте почерпнуло свое начало. Она была источником зол моих, последовавших по времени, она уничтожила все красы судьбы моей и сделала дни мои днями гроба. Пришедши домой, в первом движении я не знал, что делать. Вызвать его на поединок, драться с ним не находил я ни малой приличности, ибо пьяный мужик, который в бешенстве дерется, нападает на человека обезоруженного, есть подлец, не стоющий чести благородного поединка. Я не ищу обвинением его мерзкого поступка восторжествовать над общим мнением. Предубеждение ли то или нет, чтобы считать такие случаи поносными для того, кто сделался предметом наглого оскорбления, хотя, конечно, никто от оного предостеречься не может, тем паче что в

нем и не отчаяние скоропостижное от свежей обиды действовало, отнюдь нет! Он уже более двух месяцев имел в своих руках письмы, следовательно, поступок его не был действие воспламенения минутного крови, но умысел расстроенного рассудка от беспрестанного хмеля, к которому его все побуждали, единственно мне в досаду. Итак, правильно ли будет или нет, что таким нападением человек не посрамляется, но я всегда скажу, что, кто в таком случае не имеет довольно твердости духа, чтобы, презрев все законы, забыв самого Бога, или зарезать врага, или зарезаться, тот должен вести жизнь постыдную и навеки лицо свое покрыть срамотою. От этой мысли ничто меня не отведет, но я не имел духа ни быть самоубийцею, ни убийцею другого, покорился руке Божией, не силен был тогда призвать его себе на помощь и смирил раздраженную во мне горделивость сколько мог. Хорошо ли или худо сделал, увижу на том свете, когда все наши дела изобличатся. Теперь, увы! ничего не решу. Потерявши весь рассудок, я не способен был ни здраво мыслить, ни благоразумно действовать. Правда твоя, Коцебу, кто в некоторых случаях не теряет ума, у того, видно, никогда его не бывало. Пошел я тотчас к губернатору просить подорожной для посылки нарочного с жалобою к государыне. Он не ожидал такого от меня намерения, думая, что все это кончится, как драка простолюдинов, вином, решился отказать мне в подорожной и только для виду велел захватить Улыбышева и начать уездному суду над ним следствие, приказав под рукою щадить его. Вышедши от него, написал я жалобу к государыне и со эстафетом, которого почта не могла мне отказать, ее отправил, и сколь ни уничижительно было для меня распространять о том сведения, но я ко многим так называемым милостивцам моим и приятелям писал, располагая их сколько мог к отмщению за меня. Кроме покровительства законов, какой я обороны мог искать? Они должны были самоуправство наказать тем сильнее, что в Манифесте о поединках именно сказано, что кто в своей собственной обиде чинит себе управу, тот теряет право иска и суда. По этому одному Улыбышев не мог нигде на меня просить, нигде искать удовлетворения, никакое место не было вправе внимать уже за сим его поступком никакой от него жалобе. Но законы и у нас подобны, как некогда сказал мудрый Солон, паутине, в которую попадает комар, а крупная муха сама ее прорывает[24]. Все последствия показали истину моего заключения. С самого того дня уже неправосудие ясно ознаменовалось, ибо вместо стражи и воздержания Улыбышева он столько имел свободы, что целый день ездил по городу, заезжал даже ко мне раза два на двор с

ружьями и требовал меня видеть так усильно, что я, вышед из своего кабинета, не мог, кроме новых преступлений, ничему подать случая. Итак, запершись, отправлял эстафет ко двору и потом предался всем горестным моим размышлениям. Тогда-то я всю пропасть зол моих измерил, увидел со всех сторон мою неосторожность. Размышления мои насчет бедной жены моей, как неумолимые фурии, грызли плачевное мое сердце. Родитель мой, дражайший родитель! Вот до какой степени дошла тоска моя, что я благодарил Бога, что ты не дожил до посрамления сына своего! О, если бы ты его узнал, это бы ускорило твою кончину, я бы никогда не согласился приписать решительный миг ее твоим болезням, я бы уверился, что я твой убийца, и кто бы меня тогда примирил с моею совестию, которая отгоняла от меня сон и тишину непорочного сердца. Слава Богу, слава Богу, что отец мой умер прежде. В таких-то размышлениях проводил я все дни и ночи и, кроме палаты, никуда не выходил, дома сидел, как невольник, имея при себе офицера полиции, чтобы предохранить себя от дальнейшего зла. Ах! Есть ли что-нибудь выше стыда на свете! Губернатору всего этого казалось мало, он позволял уездному суду делать мне привязки, требовать от меня доказательств. На что? На такое дело, которому в полдни на улице весь почти город был свидетель. Не было сил моих таких привязок выдерживать, я отрекся давать объяснения, сослался на поданную жалобу самой государыне и ждал отрады от одной ее воли. Небо между тем доставило мне некоторое удовольствие. Получил я от 10 июля письмо от князя Алексея Борисовича Куракина, который именем Самойлова уведомлял меня, что государыня на отпуск мой изъявила свое согласие и на донесение ей при сем случае о хорошей моей службе изволила отозваться, что ей усердие мое известно. Похвала Екатерины сильна бы была рассеять всякую мрачность в мыслях, но сердце мое так было убито, что я и сим письмом не способен был столько восхититься, сколько бы обрадовался во всякое другое время. Сердце мое, видно, предчувствовало, что все эти выгодные заключения исчезнут, и гнев ее один будет моим уделом. О, когда бы гнев только! Раздражение не трогает чувствительного сердца. Нет! Умели ей внушить, что я черный человек, и составить самое худое обо мне мнение, и на что? Чтобы доставить другому мое место[25]. Но мы до сего еще не дошли. Скоро после того письма получил я мой отпуск указом Сената в Губернское правление. Мне его объявили, и в первых числах августа я поехал в Москву через Рязань, дабы новыми предметами рассеять мое воображение. Оно всюду было занято одним, и путешествие мое до

Москвы мне не помогло. Стечение случаев, меня постигнувших, не могло мне представлять приезда в дом мой в приятном виде; к большему же огорчению, если только оно могло быть чем-нибудь умножено, встретил я на дороге одного бывшего служителя князя Михайлы Васильевича Долгорукого, который, зная меня коротко по его дому, сказал мне, что кто-то послан в Пензу будто бы следовать меня. Вид, с которым он мне это говорил, мнительное свойство моего характера представили мне еще более беды, нежели в самой вещи было, и я нетерпеливо желал доехать до Москвы, чтобы там сколько-нибудь пообстоятельнее узнать, что такое и в чем дело. Мысль следствия надо мной меня тревожила несказанно, и я не мог придумать, в чем? Невинность одна или удостоверение совести не сильно человека успокоить. Нарушение прав его и клевета часто самое стоическое равнодушие потрясают. Я по службе был прав, совершенно прав. Но в таком климате, где пословица «без вины виноват» никогда не забывалась, на что можно было положиться? Остановясь в Рязани на полсутки, дабы отобедать у старого своего знакомца, бывшего тут виц-губернатором, Тредьяковского, и посмотрев несколько город, приехал в свою подмосковную Никольское. Тут дожидались уже меня сестры. Не стану говорить ни слова о трогательном нашем свидании. Оплакав все трое вновь милого отца, мы всю ночь почти беседовали, и вот что я от них тогда сведал.

Ни мать моя, ни жена еще ничего о приключении моем не знали, но молва, которая все умножает, в таком безобразии распространила его по Москве, что меня считали все изувеченным и отрешенным. По жалобе моей к государыне отряжен был именным ее указом экзекутор Сената г. Казнаков исследовать происшествие на месте. Он, в проезд свой через Москву посетив жену мою, старался разведать осторожно, где я проеду, чтобы со мной встретиться, ибо для произведения следствия я был необходимо надобен, а отпуск мой только еще начинался; однако мы с ним разъехались. Он ехал прямою дорогою. Насчет дел домашних открылось мне, что матушка о любовнице отца моего и детях его хотя и узнала, но не позволяла себе об них говорить и держать намеревалась со мною на сей счет строгое молчание, следовательно, сим способом лишался я возможности подать несчастным какую-либо помощь сообразно с завещанием родительским. Долгов после отца моего оставалось до семидесяти тысяч, коих платеж матушка снимала на себя без отрицания. Имение наше при смерти его состояло в осьмистах душах, из коих семьсот с лишком составляли матушкину приданную деревню в Нижнем; родового же

отца нашего имения только осталась подмосковная Никольское[26], сорок душ с винным заводом, который, поелику тогда еще сидка на нем производилась, давал изрядный доход. Вот все наше наследство и богатства. Долги требовали продажи знатной части нижегородской деревни. Матушка в том успела скоро после сего времени и, заплатя уважительное количество оных, осталась при четырехстах душах, подмосковной, московском доме и тысячах двадцати долгу. От сего имения должны были жить и кормиться мать моя с сестрами, я с женой и детьми. Гриша и сестра Аннушка жили с матерью своею в домике близ нашего, который куплен был батюшкой на имя мое и за мной остался. Он более не успел ничего в их пользу сделать, а мне нельзя было еще гласным образом ни в воспитание их, ни в участь вмешаться, дабы не огорчить матушки, не растрогать столь нежных чувств сердца и предохранить себя в старости лет ее от всякого против нас негодования. Узнал я тогда же, беседуя с сестрами, что уже она незадолго перед смертию отца моего получила тайные внушения насчет связи его с Аксиньей Любимовной и основательные начинала иметь подозрения, которые не скрылись и от него в пущей ярости его болезни, чем она едва и не умножилась ли до степени, доведшей его ко гробу. Оставим сие судить Богу, а я здесь повторю, что по соображении всех сих обстоятельств, поелику человек должен когда-нибудь умереть, то не было для кончины родителя моего пристойнее времени к избавлению его от новых мучительных зол, как сие самое время. Такая картина могла ли расположить меня к улыбке, к тому сладкому чувствованию, которое восхищало меня прежде, когда я приближался к родине моей, к Москве, когда при первом взгляде на Кремлевские стены, на знаменитые древности столицы, на позлащенные верхи соборных глав трепетало сердце мое от нерассказаемого удовольствия. Ах нет! Уже не так оно билось при нынешнем моем приезде. Не облегчило даже стеснения груди моей и нечаянное уведомление, которое я получил назавтра моего приезда еще в Никольском, что жена моя по благости Божией в ту самую ночь с десятого на одиннадцатое число родила благополучно дочь, которую нарекла она Антониной, — известие сие меня обрадовало, успокоило, но сколько бы сильнее оно подействовало на мою душу в другое время! Я поспешил в Москву и тотчас с сестрами поскакал, а пока доеду, изъясню здесь, отчего дочери моей новорожденной такое странное дали мы имя. Вот причина. Возмущение Франции все умы занимало, казнь поносная королевы Антуанетты кого не трогала? Подействовала она сильно и на мою добрую душу, и так как у нас была уже

дочь Марья, то, желая в семье своей составить имя французской королевы, я уговорил жену, чтобы, если родит она дочь, дать ей имя Антуанетты, по-русски Антонины. Она на сие странное предложение согласилась с таким условием, что если родит ее без меня, то исполнит мою прихоть. Подлинно, я опоздал к родинам ее приехать несколькими часами, — и оттого дочь наша вечно будет Антонина? Нет, вечного ничего нет на свете: мы через время переименовали ее Варварою. Год рождения сей девочки несчастливо был замечен, дай Бог, чтобы она никогда не почувствовала той тягости судьбы, какую ощутили родители ее при первых минутах ее жизни! Но чем виноват младенец? Зависит ли от него расположить обстоятельства, среди которых природа первым лучом света его озаряет? Оставим ее в колыбели и обратимся опять к себе.

Приехал я в Москву. Как описать смесь разнообразных чувств, кои при первом входе моем в дом наш одолели мою душу? Радость увидеть жену, освободившуюся благополучно от тягости, зрелище младенца, внутренние борения совести моей и лукавство принужденное с женой, следствие первого худого поступка, горесть матери моей, ее слезы, стечение обстоятельств, поражение очевидного везде убожества, насилие чувств[а]м сострадания, которого я не мог иначе показать к несчастным детям отца моего, как в тайных с ними свиданиях, мучительная с ними встреча — словом, если кто не знает печали, если кто не испытал гонения ожесточенного рока, то пусть прочтет сей год моей жизни и, если он имеет искру чувствительности, если сердце его не каменное, то слезы его потекут, конечно, и он на положение мое тогдашнее, конечно, умилится. О брате и сестре побочных ни я матушке, ни она мне ни слова не говорила. Нашел я жену в изрядном положении, с удивлением рассказывала она мне о Казнакове, но не имел я духа ничего открыть, поручив сестре большой все ей рассказать подробно, когда я уеду. По Москве, кроме самых необходимых домов, никуда не ездил, все смотрели на меня с отвращением, все стыдились моего знакомства. О! Как дорого платил я мой поступок. Из Питера прежние друзья мои и благодетели ни слова мне не отвечали, и переписка моя, кроме почтенного друга моего Кирияка, со всеми прекратилась. Мог я поистине тогда сказать: ближние мои далече мене сташа[27]. Ададуров, Вилламова, все меня бросили. Пусть я был виноват, но бедная жена моя за что вместо сострадания к себе делила общее презрение и равнодушие? Все доказывает нам несправедливость судов человеческих. Занятии мои в Москве состояли в том только, что я посещал Донской монастырь, устроивал монумент над гробом отца

моего, не полагал быть на нем стихам или громкой надписи, а просто вырезал слова: «Отцу и другу» — выразительнейшая эпитафия, согласная с истиною, ничем более не убирал я его могилы. Не мог я даже весь отпуск мой пробыть в Москве: начатое следствие в Пензе требовало меня домой обратно. Казнаков, будучи в невозможности его без меня кончить, прислал ко мне нарочного звать меня в Пензу. От Самойлова о том же имел я письмо, он побуждал меня воротиться; итак, все заставляло меня спешить из Москвы. Ах! Она тогда меня не веселила. Лучший день пребывания моего в ней был день крестин Антонины, которую воспринимала от купели старая богаделенка, первая встретившаяся нашему человеку, посланному за тем. Не могу я говорить здесь о посторонних неприятностях меньшего рода, кои принужден я был сносить. Многие барыни привозили к жене моей червонные и насмешными их взглядами то на меня, то на нее, перешептами между собою, разными движениями, которых и описать не удобно, но кои суть смертоносные язвы для сердца, в преступлениях нового, заставляли меня дорого платить за их золото. Копейка, брошенная нищему на распутии, едва ли больше его поражает, нежели меня оскорбляли их любопытные визиты. Приспевало мне время ехать домой. Жена приходила в силы и приближалась к той минуте, которая должна была снова их умалить открытием постыдного моего приключения. Мать моя, не распространяя догадок своих, может быть, и доныне в неведении о том осталась, ибо никогда мне на сей счет не открывалась. Я ее оставлял в слабости от лет, изнеможения и трудов, дела и долги требовали больших забот, обороты были тяжки, и деятельность ее казалась ей недостаточною. Она всеми мыслями углублялась в один тот предмет, чтобы расстроенное состояние сколько-нибудь поправить. Новые ее распоряжения уже не позволяли мне действовать вследствие прежних верющих писем. Я их оставил у себя только для памяти родительских милостей. В рассуждение Аксиньи Любимовны и детей ее распорядился я так, чтобы до времени брату жить у меня под моим присмотром. Не смейтесь этому, случайный проступок не делает еще нас совсем порочными, отделите дурной шаг от закоренелого зла нравственного в человеке. Маша, дочь моя, удвоила тоску мою, невинное сие дитя в младенчестве начинало чувствовать жестокие потери. Отец мой любил ее до чрезвычайности и ни на минуту не расставался с ней, выдумывал ей потехи, забавляя ее сам, играл с ней даже в куклы, не от крайней старости, конечно нет — душа его бодрствовала и к сильным напряжениям даже до последнего его вздоха была способна, рассудок здравый прису-

щен был самой последней его минуте — но он сильно любил этого ребенка. Да кого же он и не любил? Всех; все мы ему были милы. Он привязан был сильным образом к жене моей и, ожидая ее в Москву к родинам, назначил ей маленький подарок, который она уже не из его собственных рук получила. У него была табакерка с ее портретом, он ее не покидал, накануне кончины из нее нюхал, и — странная вещь! С тех пор эта табакерка пропала. Я никак, нигде, со всеми усилиями не мог ее отыскать; украсть ее было некому, да и какая корысть? Табакерка была простая черепаховая, портрет дорог был в ней для нас, посторонний не дал бы за него ничего, а я бы многого не пожалел, но в роковой книге написано было, что эта табакерка пропадет. Я до сих пор думаю, что ее ненарочно в суетах как-нибудь либо положили, либо забыли вынуть из московского мундира, в который одели тело, и, верно, с ним вместе похоронили. Эта мысль долго меня беспокоила, хотя я не суевер. При таком горячем, как я сказал выше, к потомству своему расположении, если отец мой имел мысль утешительную при конце, не могла она быть иная какая, как та, что со временем наследник престола, на которого он большую полагал надежду, восставит жребий наш, умножит имение и по крайней мере отписное у прадедов возвратит; это упование не так ужасною представляло разлуку его с нами при известных ему обстоятельствах домашних, которые сильно действовали на его душу и совесть. Если бы я хотел все то здесь поместить, что сказать можно о его редких качествах и благородстве души, я бы конечно мог написать особую и большую книгу, но, упражняясь только в своей собственной Истории, в заключение моего об нем повествования помещу здесь опыт его нежного характера; он служит к оправданию его слабостей, и я не могу воспретить себе обнаружить такой подвиг души, на который едва бывают ли способны и самые целомудренные супруги нашего времени. Когда он для платежа долгов своих вознамерился продать подмосковную, село Волынское, дабы освободить заложенное за него имение покойного дяди моего после его смерти и не остаться в обязательстве с племянником своим и его опекой, тогда представляли ему, что лучше уделить часть имения матери моей, которое гораздо менее стоило, на продажу, чем ту подмосковную; он никогда не хотел решиться на то, чтобы продать или ущерб сделать в ее деревне, дабы не пало на него подозрение, что он на счет оного делал долги и спасал свое имение чужим, хотя, конечно, не могло назваться таким имение матери, с коей жил он с лишком сорок лет. Притом рассуждал он еще и так, что если имение останется в руках наших, то сколько ни уве-

рен был он в нас, не хотел, однако, чтобы мать требовала от детей помощи, не хотел малейшего прикосновения обстоятельств к праву родительницы и твердо предпринимал так устроить дела свои, чтобы мать наша оставалась полная госпожа пожаловать нам как детям своим что бы она рассудила или ничего не дать. Пусть мне скажут теперь, много ли верных мужей обошлись так с своими женами, как с матушкой поступил наш отец.

Простясь с женой и домашними, выехал я из Москвы 26 августа и, взявши опять ту же дорогу на Рязань, на Спасск и Ломов, приехал в Пензу 3 сентября. Уже Казнаков там производил следствие; весь город был против меня, все думали и готовы были божиться, что я жил с Улыбышева женой, но я здесь все сказал, утаить что-либо не входило мне отнюдь на мысль. Читатель! Ты видел, было ли что в моем поступке, кроме сильного воображения, воспламененного видом соблазнительной женщины и доведшего меня до крайних границ сердечной страсти? Физика тут нимало не действовала, я даже не имел никогда случая иной показать ей ласки, как, пожав крепко иногда руку, нежно ее поцаловать, но мудрено свет переуверить в принятом мнении. Наружность была вся против меня, и я слыл в этом случае тем, чем отнюдь не был. О, как часто выбор книг для чтения и род наших упражнений сильно действует на дела и поступки наши! Проклятый Ришелье! Если бы я не так прилежно читал перед сим временем твою историю[28], если бы я не пленился счастливыми твоими волокитствами и не осмелился, глядя на твои успехи, подумать, что сердцу и уму нашему всякое заблуждение в любви позволительно, не дошел бы и я до того, до чего часто доходил ты без поношения, потому что ты был богат, знатен и двору нужен. Следуя общему понятию, и Казнаков производил свое следствие. Он обошелся со мною хорошо, ему нужно было от меня объяснение, я его подал пространно. О сем говорить грустно и больно. При всем его ласковом ко мне расположении, он наклонял многое в пользу Улыбышева, которого научили принесть письмом повинную государыне, не запираясь ни в чем; в письме своем к ней он упоминал, что я был его другом, занимал у него деньги, пользовался его имением и, под видом приязни вкравшись в дом его, похитил у него сердце жены ему милой, драгоценной и которая его любила. Сколько ни прискорбно раздробительно о сем говорить, но нужно сделать на сие некоторое возражение, ибо письмо его подало обо мне самую худую идею императрице, она даже заключила, что я черный человек, и в первом движении раздраженного сердца, говорят, будто бы изволила сказать: «Он потеряет место!» Верю, что при той картине, которую ей

недоброхоты мои представили, могла она и, справедливости не нарушая, должна была это изрещи; но рассмотрим клевету, и тогда всякий отнесет, конечно, к замечательному гонению рока, что приключение, в прочем весьма обыкновенное, интрига, каковыми свет наполнен и кои даже публично связываются, тут на беду единственно мою сделалась было важным, можно сказать, государственным преступлением и влекла меня в гибель совершенную. Я «был его друг», говорит он. Все видели, мог ли я в такой тесной связи с ним находить хоть малое удовольствие, вероподобно ли сие по развращенности его нрава и несходству всех склонностей с моими? Далее: я «пользовался его имением». Правда; когда по управлению деревнею отца моего нужно было для перемены залога нашего по поставке винной 11 душ, то я брал от него на них свидетельство, которого и не употребя, отдал через месяц, когда в нем уже не настояло нужды. Я «занимал у него деньги» — так; мне надобно было до ста рублей дни на два, он мне их дал в гостях и я через неделю возвратил. Я «похитил сердце жены, ему милой». Подлинно, мила та жена мужу, которую он сажает с собаками в один клев, и, пьяный, заставляет быть свидетельницею всех студных своих любодеяний с презренными тварями, и, прибавил он тут, «которая его любила». Переписка ее со мной доказывала ясно ее к нему привязанность, но сия женщина (я не смею ей дать пристойного имени, не из уважения к ней, а к самому себе, по той страсти, какою некогда кипело к ней мое сердце) имела довольно наглости, чтобы в нерешимости судьбы своей, когда она боялась, что отец ее кинет и она принуждена будет броситься паки в руки мужа своего, написать к нему письмо, и, от страха его побоев, предварительно искала его умилостивить, говоря, будто бы она без желания своего, силою моею была с ним разведена. Такое коварство в женщине вероятие превосходит, однако ж это быль! Вот с какими людьми выходил я, так сказать, на очную ставку, но в Петербурге они были не знаемы; благодетели Улыбышева, и именно родственник его Колокольцов, представляли его в виде жалком, несчастном, жертвою моего лукавства и черноты. Не оставили внушить и того, что я, сим разводом отторгнув от мужа женино богатство и имение, имею сам на него виды, словом, не пощадили ничего того, что меня могло очернить жестоким образом. Я на такое письмо соперника моего лишен был способа делать возражение, потому что оно пошло без ведома моего; я содержание его узнал тогда, когда поздно было уже и опровергать такие несносные лжи. Казнаков в исследовании и производстве дела держался внушений пензенского Колокольцова, дабы угодить петербургско-

му, да и как иначе? Сенатор для экзекутора Сената всегда большая гроза. Наконец, следствие миновалось и Казнаков, имея повеление от двора самого Улыбышева привезти в Питер, взял его с собою. Оторвусь я здесь на минуту от досад и грусти и помещу обстоятельство не совсем стороннее, которое меня порадовало.

Мало было красных дней в этом году моей жизни; по крайней мере хоть маленькие цветки, судьбою в него на путь мой брошенные, подберу и освежу ими траурное мое воображение. Французы говорят: «á quelque chose malheur est bon»* — подлинно так! Казнаков был неубогий помещик Тверской губернии. Шурин мой, служа в Торжке, как-то пользовался с ним знакомством, знакомы были с ним по тем же причинам, имея поместья в Твери, все господа Врасские. Старший из них, управляя Уголовною палатою, судил шурина моего, отданного по тешкеевским доносам. Все сии связи сделали то, что Казнаков просил губернатора о пропуске определения Уголовной палаты, освобождающего от суда и наказания моего шурина. Губернатор так был испуган присылкою Казнакова, так мало мог отгадать, чем относительно к нему вся эта история кончится, что при первой его о том просьбе, дабы его задобрить и зажать рот, об нем определение пропустил и шурина сделал свободным искать другого места. Он с Казнаковым вместе поехал в Петербург, и я в пользу его писал письма к Васильеву и Куракину. Нельзя не остановиться здесь и не приметить странного в службе нашей злоупотребления начальнической власти. Дела уголовные, по коим подсудимые дворяне или люди, имеющие обер-офицерские чины, не присуждались ни к какому наказанию, вершились тут же в губернии, не входя никуда на ревизию, следовательно, губернатор мог отдать под суд чиновника, лишить должности и службы, протаскать под судом несколько лет, и после он же мог тому обиженному напрасно сделать благодеяние, соглашаясь на его оправдание, и сим образом притесненный нагло от начальника подчиненный еще его же должен был почитать благотворителем. Сей непозволенный способ самовластия, уподобляющий начальников того времени египетским беям, после был прекращен и правительством примечен. Ступишин часто на нем основывал свои преимущества и обхождение с подчиненными.

Жена встречает на пути своем в Пензу шурина, который дополняет сведения ее, взятые от сестры моей, насчет моего приключения. Письма ее ко мне из Москвы давали мне чувствовать, что уже она о сем извест-

* нет худа без добра (фр.).

на, но как ни живы переписки, взор человека, имеющего право на негодование против нас, а особливо взор жены достойной, оскорбленной мужем, есть лютейшая язва, какую может понести чувствительный человек. Все мои беспокойства довершил и увеличил сей удар: жена приехала, я с ней увиделся, потекли в глазах моих ее слезы, потекли обильною рекою, и ничего не оставалось к моему оправданию перед нею. Надобно было быть ее твердости духа, ее доброму расположению сердца, чтобы забыть, загладить, простить мне мой проступок и вечной завесою покрыть все мои заблуждения. О! Достойная женщина! Ты выше всех похвал. Итак, убоялся я страха, идеже не бе страх[29]. Странная ошибка человеческих расчетов! Я ожидал и боялся паче всего раздора семейства, напротив, Бог все устроил так, что жена сама соболезновать стала о моем горестном положении и изнеможении сил, ибо в то время, когда со мною случилось несчастие, которое повторять несносно, надлежало мне кровь пустить; сего тогда не сделано, и оттого потрясение в нервах так было сильно, что я беспрестанным подвержен был трепетаниям сердца, и оттуда началась ипохондрия, которая до гроба, чаятельно, меня проводит. Жена не только простила мне все, но, примирясь со мной, оплакивала вместе следствия моих безумий, в семье моей все становилось тихо, спокойно. Общества нашего прибыло, ибо с женой приехала в Пензу сестра ее родная Надежда Сергеевна, воспитывавшаяся также в монастыре Смольном в числе пенсионерок на коште двора, но двор по выпуске ее не рассудил ей сделать той же милости, что и жене. Она не удостоилась быть присоединенною к его сообществу и жила у тещи, которая отпустила ее к нам для уменьшения скуки ее в деревне. Следовательно, здесь страхи мои со стороны семейства совсем исчезли и десница Вышнего против всех моих соображений ясно показала мне, что человек не способен правильно предузнавать, откуда посетит его удар. Подлинно так! В самое то время в Петербурге, где я не ожидал страдать по службе за любовную интригу, считая, что она не имеет места в обозрении дел каждого в его публичном звании, напротив, там-то мне и готовились сильные оскорбления, ибо после отзыва государыни о моем усердии, о котором я упоминал выше, после выгодных контрактов на поставку вина, коей цену я знатным образом противу прежней успел понизить, в оскорбление многих дворян, за такое рвение на меня досадовавших — но я все менял, все жертвовал пользам короны — за все, словом, мои послуги, поднесен я был от Сената в общем списке со многими для получения Владимирского креста, который бы, конечно, мне и дали, но вместо того императрица,

быв уже предварена обо мне худо, по несчастному сему приключению вымарала меня, предоставя удостоить орденом по окончании следствия, которое еще было тогда безгласно. Потеря сего отличия, когда я о ней сведал, огорчила меня чувствительно, тронула и жену мою, которая, видя такое явное ополчение обстоятельств противу меня и самую даже несправедливость (ибо как мешать службу с любовными делами?), тем больше, тем искреннее примирялась со мною и сладостьми семейного согласия искала облегчить тягость моего уныния. Чем несправедливее с нами люди поступают, чем сильнее они нападают на нас, теряя всякую соразмерность обвинения с проступком, тем сей последний становится легче и неуважительнее; величина погрешности уменьшается по мере силы наказания, и когда мы видим, что самый виновный человек, а особливо там, где стечение обстоятельств и случаев несчастных умножили его преступление, терпит более казни, нежели заслужил, там какая-то благосклонность и снисхождение к нему заступают место одной суровой справедливости, и он бывает нам жалок. Таковым начинал я уже казаться в моей семье моим ближним. Потеряв орден, не тужил, однако, я о том, что я не кавалер, не укорял себя, что обнародовал стыд мой перед всеми и тем лишил себя ордена, ибо, умолчав о сделанной мне обиде, всеконечно бы я его получил, но стоил ли бы он такой дорогой цены? Не сетовал я со стороны честолюбия, оно уже во мне было убито, но плакал, и горько плакал о том, что не мог надеть того самого креста, который носил отец мой покойный и который после него остался, не мог украшаться единственным сим знаком отличия, им заслуженным[30], и, потеряв его сам от себя, умножил несносные мои упреки. Но мне ли принадлежало, сыну безумному родителя благоразумного, разделить с ним одинакие почести? Вот мысль, которая меня терзала, и 20 сентября сделалось для меня с тех пор печальным памятником моих неудач.

Несмотря на то, жар мой к службе не простывал. Сколько внешние случаи ни действовали на внутренное мое расположение, не сильны были истребить того огня, с которым я к исполнению должности моей стремился; дела текли своим порядком. В сентябре вышло два указа, из коих один облегчал меня в упражнениях моих, а другой прибавлял хлопот. Первый, состоявшийся 13 сентября, отлагал на год сбор хлебной подати, который в производстве своем толико был бы затруднителен с первого его действия, а последний, от 7 сентября, повелевал рекрутский набор с 500 душ по пяти на обыкновенных его правилах[31]. Исполнение сего требовало, чтобы я присутствовал каждый день с губернатором, с которым

не только целое утро, и большое утро, но и получаса я быть вместе не желал бы. Охотно всяк тому поверит, но к сему новому искушению должен я был приготовляться. Судьба, однако ж, иногда, милосердуя к человеческому роду, отводит от нас неожидаемым образом неприятные случаи, подобно как натура в движении физических элементов временем накопляет тучи, творя из ясного дня самый пасмурный, а нередко видимые облака разбивает, препятствуя соединиться и составить густую мглу на светлом горизонте. Ступишин, среди восхищения своего, что он рог сломил во мне противнику, поражаем был естественными и политическими огорчениями, кои умеряли радость его и, препятствуя полному надо мною торжеству, несколько возвышали меня над моими злоключениями.

В мае месяце князь Зубов[32], будучи Екатеринославским генерал-губернатором, представил государыне, что дворянство его губернии подносит ей в знак усердия нарочитое количество муки и круп. Подвиг дворянства был принят с крайним уважением. Тотчас вышел указ, велено дворянству дать похвальную грамоту, а князю заготовить медаль. Все это происходило не от благодарности к усердию, но от благоволения к князю: личность одна порождала таковые указы, всякий это знал. Всякий начальник губернии видел, что дело состоит в удовлетворении честолюбия фаворита и что дар целой области был тут, как говорили римляне, actio indifferens*. Один только Ступишин не умел догадаться, один он родился с довольно тупою головою, чтобы помыслить о сем происшествии совсем иначе, нежели вся Россия и вся его братья. Чему дивиться? В людях, как и в минералах, есть разносвойственные слои: один дает золото, другой чугун. Ему вздумалось попробовать, не дадут ли и пензенские дворяне чего-нибудь, дабы посредством их щедрости получить самому награду. Самое патриотическое дело! Ему давно хотелось Аннинской ленты (он имел уже несколько лет Владимира 2-й степени[33]), не служило ему остановкой в покушении его и то, что ни один губернатор, ниже столичные, не имели Анны. По какому-то обычаю ли, или тайному государынину положению губернаторы все далее не достигали в почести Владимира второго[34] и генерал-поручеческого чина, а там — как в комедии Княжнина, «Хвастун» именуемой — а там и в сенаторы[35], а вице-губернаторы, поступая по старшинству в действительные статские советники, удостоивались почти все третей степени Владимира. Вот вся мера была во времена Екатерины выслуги рядового губернатора в Вели-

* акт несущественный, не имеющий значения (лат.).

короссийских губерниях! Польские здесь в пример не идут, они были в другом отношении посреди России. Пусть мне назовут хоть одного губернатора в Анне, — ни одного не было[36], да и генерал-губернаторы многие ее не имели. Таков тогда был порядок. Ступишин ничего не соображал. Он думал, что в его пользу сделается знаменитое исключение. У него был губернский предводитель, некто г. Гладков, который то кабаки снимал на откуп, то вино ставил, то рассуждал о происхождении дворянских родов, человек по понятию тамошних людей острый. Ему также хотелось лентишки, кто добра себе не хочет? Он взялся уговаривать дворян на складку холста для комиссариата, который тогда имел в нем нужду, и именным указом велено было Казенным палатам его скупать. Догадка такая была правильна: что лучше, как поднесть монарху то, чего ему надобно. Дворяне на это предложение с маленьким принуждением соглашались, по речам, говорили одно, а на бумаге писали другое, словом, подписка сделана, план готов, и начальные руководители оного уже друг друга поздравляют. «Qui compte sans son hôte, compte deux fois»*, — говорят французы, с ними то и случилось. Государыня за холст поблагодарила губернатора и дворян и приказала сколько его соберут доставить в Казань, где повелено было от нее за него и деньги по казенной цене доставить. Такой худой успех Ступишина вздурил и сделал еще злее прежнего на всех, а натурально вдвое на меня, хотя я тут, имея все право и возможность ему повредить, совсем не действовал вопреки его намерению, ибо дворяне некоторые жаловались довольно открыто, что с них делается побор. Закон гласил, что Казенная палата ни сама [не]установленных сборов не чинит, ни другим чинить не позволяет[37]. По точному разуму этой статьи, кто бы помешал мне сделать гласное представление? Но сколько потому, что я уверен был, что дворяне пошепчут, покричат и ничего не предпримут характерного к защищению прав своих, а подбивать их дело для меня было бы слишком подлое, столько и для того, чтобы губернатор не возмнил, что я действую из мщения и мешаю личность в службу, презрел пустые слухи и оставил всех спокойными. Вот случай, который поразил Ступишина. Он слишком твердо надеялся на Анну, чтобы не прийти в новое исступление от сей неудачи. Политическим неудовольствием рок его не удовлетворился, он хотел, видно, коснуться и костей его превосходительства, ибо при самом начале рекрутского набора, поехавши верхом погулять, он до тех пор понуждал

---

* Кто считает без своего хозяина, считает два раза (фр.).

своего борзого коня, не разглядя, что под ногами у него пень, и так осердился на мнимое его упрямство, что дал ему шпоры; конь, в свою очередь, ожесточился, помчал его в куст, попал передними ногами в развилину одного дерева и сшиб генерала с себя долой. Тут он выломил себе важную кость в руке, и так жестоко пришел удар, что несколько докторов, в Пензе случившихся, насилу могли руку ему вправить. Мне один из операторов говорил после, что надобно было иметь необыкновенную силу в корпусе, чтоб выдержать, как ему руку вправили, но он эту пытку вытерпел, так-то крепко сплочен был наш воевода пензенский, а что лежит до приключения, он сам мне точно так его рассказывал, как я выше написал. Пусть судят по этому образчику о всей голове и ее внутренности. Он долго был болен и почти под конец набора мог выехать с подвязанною рукою, худо еще ею владея. В шестьдесят лет ломать кости уже не шутка; я, узнав о сем, не имел духа радоваться, но видел ясно, что всякая болезнь ближнего, коей мы причиною, рано или поздно отплачивается нам справедливым провидением, редко без возмездия на земле остается дело доброе и худое. Что же принадлежит до Ступишина, то я не знаю, от чего он более страдал: от того ли, что без руки пролежал всю осень и зиму, или что такой несчастный случай, препятствуя ему быть у набора, давал мне некоторое право господствовать у оного и распоряжаться не по его произволу, ибо набор рекрут есть дело не бумажное, и трудно заочно его исправлять. Беспорядок такой был бы слишком нарушителен, и никто не осмелился бы его потерпеть, боясь ответа. Вот в чем была самая большая беда! Итак, губернатору не слаще было жить моего. Мы оба равнялись в огорчениях, но нет, я ни с кем не мог в них равняться. У меня стыд делал большой перевес, тягость на его стороне была легче, а кто страдает без поношения, тот еще весьма благополучен. Возмездие свыше за сделанное нам зло бывает утешительно. Я это тогда чувствовал, когда губернатор получал свои неудовольствия. Но описанным приключениям предшествовал новый к междоусобию случай, — мудрено уйтить от несмысленного человека.

Наступило время торгам на соляную поставку. Сенат, наслав указ, приказал губернатору быть при оных в Казенной палате. Приняв сие за знак недоверия ко мне от правительства, не мог я сим не огорчиться, но опыт по времени научил меня презирать таковые нелепые предписания и не почитать их уничижительными для себя, ибо тут не было ничьего намерения. Обер-секретарь написал, сенаторы подписали и поехали по домам. Спросите их там: что они приказали? Едва и сами помнят ли. Таков

был тогда общий жребий и честных людей, и записных плутов! Во исполнение этого указа губернатор должен бы был войти в Казенную палату как свидетель доброго порядка и целости его. Отнюдь разум указа не давал ему права лишить меня моих преимуществ, но он, в явное их нарушение, вошед в Палату, сел в мои кресла, и стал я не председатель палаты, но член ее. Пусть иные скажут: не все ли равно? Так, подлинно, в обществе, в маскараде, где лучшее место принадлежит по общежитию старшему или почтеннейшему посетителю, но в присутственных местах сии безделки значат много. Оне там определяют вес чиновника, качество звания его; все это химера на улице, но в законном трибунале эта почесть — отличное преимущество. Я, не хотя нигде уронить прав своих, почел себя обязанным сделать сие обстоятельство гласным. Опять начали марать бумагу, записали о сем в журнал. Я послал жалобу в Сенат, Ступишин на меня, а между тем какая из того вышла казне польза на месте? Дабы самым делом показать, если не правительству, по крайней мере публике, сколь мало смысла в Ступишине, я, раздражен будучи сомнением в моих поступках верховного правительства, имевшего с наилучшей стороны в них надежные к пользам казенным удостоверения, отступился от производства дела. Не имея власти действовать в моем чине, не мог никто заставить меня действовать в другом лице, и от этого, смею сказать, попустив постороннему влиянию и бросня вожжи, равнодушно видел, что Ступишин без цели, без намерения и без произволу, от глупости потерял при сих торгах тысяч до сорока, и вышеупомянутые господа в глазех его провели. Однако Сенат остался довольным; огорчив честного чиновника и поручив дело глупому губернатору, не все ли он с своей стороны сделал то, чего патриотизм от него требовал? Действуйте всегда так, господа бояре нашего столетия, есть надежда, что судно, вами управляемое, когда-нибудь сядет на мель: тщетно приставлять дядьку к дитяти смирному.

Дошли тем временем в Петербурге об отнятии моего места бумаги. Рассуждали в Сенате о сем разно. Иные хотели меня бранить нещадно, иные колебались; может быть, и понес [бы] я гнев его в вышней степени, ибо губернатор был хоть глуп, да стар, и притом сорок лет с лишком офицер, как же ему не дать воли проказить? Но спас меня внезапный тогда случай. Государи великие князья посетили тогда Академию, где президентом был Пушкин[38]. Они в собрании не заняли его кресел, но сели, как гости, по правую сторону его, не потеряв тем, однако, достоинств своих как великие князья, также и не вступили в преимущества хозяина того присутствия и начальника. Сей пример несколько послужил в мою

пользу, и после словопрений Сенат избрал к скорейшему решению нашей пензенской новой стычки легчайшее средство, и именно то, чтобы доложить в общем собрании; это значило то же, что бросить, ничего не сказав, под красное сукно впредь до второго пришествия. Самый легкий способ без хлопот решить вдруг множество дел! При моих удрученных обстоятельствах надлежало бы мне быть терпеливее, кротче и оставить Ступишина в покое, но рассудок еще тогда был молод, а кровь горяча. Ныне на многое бы тому подобное зажмурился. Благо мне Господи, яко смирил мя еси! Опять скажу, как французы: «Si jeunesse savait, [si] vieillesse pouvait, jamais mal n'y aurait*»[39]. Но течение природы переменить не можно, и в пылкой молодости трудно самыми благоразумными советами предупредить скользкий шаг юности. Споткнемся раза два-три и потом на костылях опытности гораздо тверже ходить начинаем, хотя и тут без благости Божией нередко слепота заводит нас в самые глубокие рвы.

Говоря о заблуждениях моих во всяком роде, я строго себя сужу, но при всем том простят мне столько снисхождения весьма естественного к самому себе, чтобы сказать, что есть иногда случаи, к которым человек ни с какою осторожностию приготовиться не может. Видим мы вседневно, что мужчина, следуя разврату общих мыслей, хвалится победами над женским немощным полом, видим и почитаем это за приличный нам трофей, но до сих пор еще довольно обыкновенно женщине стыдиться любовной интригой; если же и в справедливой непростительно подвергать себя разглашению, то кольми паче ново и странно хвастаться тем, чего вправду не бывало. Однако со мной и этому случиться предопределено было. В один несчастный день по осени госпожа Полочанинова, о которой выше я имел случай говорить по жительству моему в ее доме и дружбе с мужем, подавая задолго перед сим на балах и везде подозрения, будто бы мы живем вместе, поострила любопытство жены моей узнать истину и ее на сей счет догадки. Она была у нас очень коротка, с женой обходилась без притворства и при некоторых вопросах так разбилась сама в своих словах, что не нашла лучше способа, как повиниться жене моей в том, чего совсем не бывало. Вот новая история. Я, никак не зная сего происшествия, занимался у себя в верху кабинетными трудами, как вдруг прислала жена звать меня к себе. Я сошел, и все ее укоризны принужден был в исступлении выслушать. Пусть представят мое положение! Едва начинал я отдыхать в семейном спокойствии от прежних

* Если б молодость умела, если б старость могла, то не было б беды (фр.).

моих поражений, как новый поклеп расстроивал паки тишину в моем доме. Ничто бы не могло уверить жену мою в моей невинности, ничто не сильно бы было доказать лжи этой наглой женщины, если бы сам я, вышед из себя и потеряв всякую к полу ее благопристойность, не сказал ей самой тут же, что она сплела басню, что она постыдной связию хвалится и клеплет на себя поносные небылицы. Она, не теряя нимало духа, пошла благополучно к себе, оставя меня с женой в новом несогласии, но вероподобность приводимых мною доказательств убедила ее мне дать веру. Скоро паки мы примирились, и эта госпожа, несмотря на все это приключение, имела наглость на другой же день к нам приехать на вечер, и, боясь, чтобы это когда-нибудь не открылось мужу ее, который начинал с ней обходиться по-берейторски[40], и, любя нас очень много, не спустил бы ей этой проказы, она беспрестанно к нам езжала, до сих пор с нами знакома, и жена же еще была столько к ней благосклонна, что никогда мужу ее о сем пакостном приключении не молвила ни слова. Мне одному, конечно, судьбой назначено было за отличную любовь к полу встретиться несколько раз в жизни с такими невероятными в женском платье тварями. Все это, однако, не даром с рук мне сходило, но замечательно действовало на мою физику. Поминутные страхи, беспрестанные трепетания сердца расстроивали совершенно мои нервы. Я не мог пристально взглянуть ни на чье лицо, чтобы не побледнеть, подобно как преступник. О, как мучения совести жестоки, когда они раздражатся и ударят молотом своим в сердце не совсем еще испорченного человека! Вот прямой ад на свете! Ни в здешнем, ни в другом нет нужды воображать другого. Находили на меня такие минуты, что я в малейшей шалости моей, в самом неважном проступке по летам моим исповедывался моей жене так точно, как бы перед смертью прилично бы было мне покаяться духовнику. Исчислять здесь нет нужды многих смешных моих замешательств, которые если не предвещали точного повреждения ума, по крайней мере заставляли жену мою бояться, чтобы я не сделался смешным в сообществах, но я их тогда тщательно убегал, и строгое уединение, в которое я себя на ту зиму против привычки моей заключил, помрачая мысль мою, мало-помалу приготовило ту несносную ипохондрию, которой я после был подвержен. Природе противоборствовать трудно. Жена склонна была к уединению, но я нимало, и сие принуждение расстроило всю систему умственных моих органов.

Поездка шурина моего в Питер была небезуспешна. Письмо мое с ним к князю Куракину подействовало. Он сперва отвечал мне, что будет

13 Зак. № 3535

о пользах его стараться, но скоро потом, и именно в ноябре, давал мне знать, что шурин мой определен в Казенную палату ко мне в асессоры на место Щедрина, получившего по просьбе его увольнение. Таким образом, он опять мог устроить свое семейство и привести дела свои в порядок, ибо, будучи членом одного места со мною, живучи в одном доме, менее должен был издерживать, нежели в ином каком месте. А как я принимал в нем участие, то сие обстоятельство меня несколько радовало. Сверх того, сей успех в исканиях наших, несмотря на горестное мое положение, служил как бы поводом публике к заключению, что я не совсем еще у двора брошен и что в правительстве есть люди, кои ко мне благосклонно расположены. Но мог ли, однако, толико слабый успех сильно подействовать в мою пользу, когда, с другой стороны, узнали, что Улыбышева государыня велела отослать к суду в Уголовную палату и генерал-прокурор, имея обязанность то исполнить пересылкою его от губернии до губернии как подсудимого по именному указу, из поноровки к нему позволил ему явиться в палату, когда он хочет, и оставил ему полную свободу ехать без присмотра по своему произволу? Сей поступок Самойлова служил мне ясным доказательством, что он ко мне переставал благоволить, да и немудрено. Связь сенатора Колокольцова с преступником, самоличное его настоятельное ходатайство, все могло одолеть слабую голову и сердце его. От сего случая началась холодность его ко мне, а глупость его привязок через время произвела ту вражду, которой он мне много показал опытов и от которой только потому удавалось мне часто укрываться, что на престоле сидела Екатерина и знала твердо, что я не вор. О! При ней вельможи не смели давить нас, как овец. Случалось, что она нас выдавала им из политических снисхождений к таким, кои ей сами были в правительстве нужны или сердцу милы, но все это имело свои границы, а до конца сокрушить, как насекомого топчет исполин ногою, никакой знатный барин никого не мог, доколе скипетр российский держался в руках ее. Она, нередко уважая представления их, лишала милостей своих или ленты, или повышения, или выгодного перевода, что и я недавно испытал; но как скоро подданный на верхней ступеньке требовал, чтобы столкнули совсем подданного же с нижней, она отвращалась от того с негодованием, и злоба черная редко имела успех у подножия ее престола, а пощипать овец своих иногда пастухам попускала.

Подходя к последним дням почти толико черного для меня года, скажу наконец, что явился из Питера Улыбышев к суду. Явное ему доброхотство, оказанное, как выше видно было, со стороны генерал-прокуро-

ра, расположило более и в Пензе жителей в пользу его, нежели против. Суд над ним начался в Уголовной палате, однако он лично ни дня не был под стражею; не мог никуда выезжать из города, но в нем наслаждался всеми приятностями свободы, которая у меня почти отнята была, ибо страх продерзостей его заменял самый строгий караул. От того ли человек запирается в своих покоях, что его внешний страж не выпускает или предвидимая опасность зла, от которого не чает он предохранения — не все ли равно для заключенного? Вот какова была тогда моя участь! В строгом уединении, среди семьи моей, которая умножалась домом шурина, оплакивал я мои заблуждения; имел достаточное время к размышлению, смотрел со вниманием на все окружавшие меня обстоятельства и видел, что не всегда винит нас поступок, но наиболее случай, который важность преступления то увеличивает, то уменьшает, смотря по качеству лица и стечению обстоятельств внешних. Сколько, подлинно, мужей, гораздо тяжче моего погрешивших, которые не только не понесли никакого за то наказания, напротив, в торжестве славились мнимой остротой и успех своего вероломства приписывали необыкновенному разуму, тогда как другой в самом легком проступке, без черноты в намерениях, без желчи и дерзости в действии, попадал под такой гибельный удар судьбы, что многими годами не мог исправить своего расстроенного положения. Наружность везде и во всякое время сильно действовала на умы и на суд человеков. Вор в лентах и вор с сумой судятся различно; отчего же, когда поступок одинаков, все отягощает слабого и прощает сильного? Мое приключение, которого отрасли далеко пойдут в будущие годы, послужит тому некоторым примером. Дабы надолго об нем забыть, по крайней мере уже не писать, скажу здесь, что сколько я писем ни писал к генерал-прокурору о скорейшем окончании дела и удовлетворении меня в обиде, ничто не действовало, кроме вторичного письма к самой государыне[41], которая тотчас приказала понудить Уголовную палату; это повеление немножко ее подстрекнуло и прибавило огня, но скоро опять он потух. Беспокоить монархиню беспрестанно жалобами казалось мне непристойно, и притом я ее вяще мог бы раздражить. Хлопотать с другой стороны об успехе через Самойлова было бесполезно, ибо он держал противную мне сторону и притом хлопал лишь ушами[42] — так о нем довольно громко изъяснился один славный нашего века писатель; ходатайствовать в Уголовной палате развязки — кроме того, что я знал, что ею не кончится это дело, не находил приличным искать того, чего по справедливости никакой судья отнять у меня не мог. Итак, решился кинуть

всякое старание до тех пор, как угодно было бы Богу положить озлоблениям моим конец, и если я не получил правды ни от кого по этому делу, то и врагам моим не дал Вышний торжества, ибо все это настроено было на тот конец, чтобы я, соскучив притеснениями, пошел в отставку и очистил тем ваканцию, которую чрезмерно желал занять г. Колокольцов. Он из числа был искателей сего места и тогда, как меня определили неожидаемым образом, а теперь надеялся при смене моей еще вернее заступить оное. Самойлов также имел в виду своего вице-губернатора, но никто не успел. Из каких иногда мелких и сомнительных выгод люди едятся между собою, как волки, и один под другим без пощады яму роет.

Здесь кончу я мои повествования об Улыбышеве, и, как путешественник, который, проходя неприятными и колкими путями, выходит на малую лужайку, дабы, несколько отдохнув, собраться с новыми силами шествовать далее тем же путем, узким и прискорбным, так я в описании будущего года несколько отдохну. Но прежде вступления в оный нужно еще обратиться к службе в истекающем и сказать о том, что я принужден был, видя умножающиеся недоимки по Пензенской губернии и крайнее в сборе податей небрежение Губернского правления, дабы не подпасть под ответ самому в случае, когда бы не стало доходов становиться на непременные расходы, принужден был, говорю, сделать акт в палате и через нее пожаловаться Экспедиции о доходах. Сим движением я показывал мою заботу. В случае опасном она могла меня извинить, ибо тогда не посмотрели бы на все эти нежности нашего светского обращения, кои требуют, чтобы мы снисходили людям, обидевшим нас, и чтобы я на губернатора не жаловался, дабы не подать вида личности злобной и в самом правильном поступке. Служба всех этих тонкостей не разбирает, и когда денег в Казенной палате от недобора нет, то скорее всех терпит вице-губернатор. Так тогда рассуждали, я должен был с сим правилом сообразно действовать. Сей мой поступок не примирял меня с моим начальником, но, не предполагая по существу и причинам ссоры нашей никакого примирения до гроба возможным, я не смягчал моего с ним обращения. В одно время с сим неприятным для Губернского правления понуждением писал я письмо к князю Куракину в Питер, в котором приносил ему благодарность за шурина моего и все к нему его милости, просил исходатайствовать мне перевода в другую губернию, ибо и жизнь, и служба — все меня в Пензе равно тяготило. Но, видно, тогда не у прииде* тому час, и

* не у прииде — еще не пришел (ст.-слав.).

при всем доброжелательстве ко мне князя не мог я освободиться от тамошних жестоких уз. Письмо мое было едко, разительно, я чаял от него успеха, но тогда князь не был еще довольно силен для такого в пользу мою оборота, да и повершим тем, что чему быть, того не миновать, а чего Бог не захочет, то вовек не сбудется.

Слава Богу! Год сей кончен, я его прожил, я его описал, — итак, теперь постараемся его забыть, и пусть он в океане вечности далеко от нас мчится, как щепка, замаранная грязью, уносится по струям чистого источника в бездны морские.

1795

Принявшись за журнал мой снова, я уже сказал, что множество бумаг моих распропало, так что не могу с желаемою подробностию, а паче постепенностию в приключениях ввести в оный нынешнего года. Начался он тем, что закидали меня стихами и разными панегириками, за ними никогда дело не станет. Рифмы везде вяжут, как бабы чулки, была бы лишь охота за них платить, а даром и прямых достоинств не похвалят. У двора новый год означался разными милостями монаршими на нас, то есть на статских, ибо лично на меня уже давно ни одна не падала. Влияние паче прочих имел данный диплом Самойлову на графское достоинство[1] — за что? Вот здесь-то, подлинно, не солгавши можно сказать: «Бог знает!», ибо людям догадаться было бы трудно. Сколько, думаю, тогда писем поздравительных наслала к нему всяка наша братья! Приказной торопился попотчевать его сиятельством. О! Если бы сии приношения так, как и подносимые мне стихи, по мере надобностей каждого могли предзнаменовать счастливый или неблагополучный год, сколько бы они были милы и приятны; но то беда, что в похвалах сего рода никакой нет пользы, ни истины. Я в сию минуту читаю происшествия генваря и вижу — увы! — что двор не изъят от огорчений. На одинаких весках[2] с последним нищебродом знаменитейших в свете царей неумолимая судьба подвергает естественным сокрушениям. После радости печаль — сие правило действует и в чертогах, трон от оного нимало не свободен. 7-го генваря родилась великая княжна Анна Павловна, а 16-го скончалась сухоткою Ольга Павловна[3]. Ее ли бы, кажется, не вылечили врачи, если бы не была назначена минута смерти каждого таким существом, противу которого нет обороны ни в каком искусстве. Во время сих

происшествий в Петербурге у нас происходили свои. Куракин неотступно звал меня к себе, и я с женой посетил его в пензенской деревне. О приеме его говорить лишнее одно и то же. Придворные эти особы никогда не меняют своей наружности, никогда, сиречь во время своих в ком-нибудь надобностей. Где есть любовь или какое-либо чувство привлечения к человеку, там кажется неестественно изо дня в день быть одинакову. Малейшая перемена в друге или оттенка в его приязни побуждает и нас в поступках своих с ним соображаться, а тут, напротив, всякий играет свою роль, как он ее выучил, и Куракин ежедневно на письме и на словах был противу нас все тот же. Их можно уподобить, этих господ, карточным вырезанным куклам, у которых рука или нога прыгает не выше и не далее, как в меру протянутой нитки, посредством которой шалливое дитя ее двигает. Здесь случай и нужда то, что там ребенок. Начало новых откупов, а за князем с затруднительною наддачею осталась Пенза, самый худой город относительно к этой операции, заставляло его для собственных своих польз ублажать меня сколько можно, ибо, зная, что деньгами купить меня неудобно, не отчаивался он путем самолюбия расшевелить стоическую мою упругость. Итак, мы у него погостили, ели, пили сладко, слушали приятную музыку, и в эти сутки я соглашался весьма с г. Beaumarchais. Фигаро не врал, когда он сказал: «Posséder c'est peu de chose, mais c'est jouir qui rend heureux*»[4]. Выучитесь, соотчичи мои почтенные, выучитесь все, Бога ради, по-французски, вы много узнаете вещей остроумных и истинных, каких писатели наши долго еще вам с таким жаром и силою, как те, не выразят. Подлинно, что пользы владеть вещию, иметь ее своею только? Наслаждаться ею — вот прямое благополучие! Когда я в гостях у Куракина делил с ним его забавы, не мои ли были на тот момент все его прихоти. Он платил, а я наслаждался, и наслаждался, смею сказать, больше, чем он, потому что частое употребление и самых милых вещей становится скучно. Не так дорого, а изредка пользоваться приятным умножает его цену. Таково было мое положение. Эту правду не оспорит, я думаю, никто, при Мафусалеме еще ее испытали, и с тех пор все тому верят, кроме любовников, которые одни думают, что их чувства вечны и что милое лицо в пятнадцать лет так же мило будет, когда природа отнимет у него зубы и нарядит ясны очи в морщины. Я слышу, что читатель мне говорит: «Без прибаски нельзя». Виноват, упрек справедлив. Можно было про-

* Обладать не главное, счастье — это уметь наслаждаться (фр.).

сто сказать, что, погостив у Куракина, домой воротились, но тогда б История моя была очень коротка, а мне хочется, чтоб она состояла из нескольких тетрадей, дабы, если не будет интересна после меня, по крайней мере была бы тяжела на вес; на что? — спросят меня. А кто знает, может быть через сто тысяч сто девяносто девять лет так же дорого платить станут за золотник моих рукописей, как теперь заплатит охотник древности за поношенную строчку Пророчества Сивиллы. Однако не шутя пора за дело.

По возвращении от Куракина сделалась между нами маленькая смутня. Архитектор что-то перенес, эта мелочь везде как моль втирается, нам пересказал княжие слова не так, ему наши иначе, словом, началась было ссора, но скоро прекратилась посредством дружеских изъяснений и медиации г. Столыпина, о котором, впрочем, нет нужды здесь рассказывать ни кто, ни что он. Довольно знать, что он низовой помещик и большой знаток в винокуренном хозяйстве, а потому и Куракину не неприятель. Воротясь в Пензу, занимался я очень часто перепиской с обеими князьями Куракиными. Сколько петербургский ни старался или, лучше и вернее сказать, сколько ни уверял меня, что он старался о переводе меня в другую губернию, о котором я неоднократно просил его и умолял самыми убедительными письмами, но нет, удачи не было. Я все маялся в Пензе, и, казалось, небо не хотело мне назначить еще иного места к спасению. Заметить случилось мне тогда странное приключение. Я не суевер, но здесь охотно предам его потомству, и судить о нем вольно всякому, как угодно. В один вечер, сидя с женою глаз на глаз в моем кабинете, пришли люди нам сказать, что на небе явление; без всякого вероятия мы вышли посмотреть, что такое, и в самой вещи нашли естественное действие воздушного метеора, показавшегося в виде огненного клуба на нашем горизонте, таковой же виден был и в разных местах пензенской губернии. Я тотчас сказал жене: «Верно, что-нибудь случилось на севере», — и подлинно, скоро узнали, что в самый тот день скончалась Ольга Павловна. Узнавши о ее кончине, я опять вдруг сказал жене: «Верно, внучка бабушке путь готовит». Сбылось и то мое предсказание. Здесь, конечно, нет ничего чудесного, но не меньше игра случая весьма странная; я, однако, хвастать сим нимало не намерен, дабы не почли меня пророком и не посадили в тесную каморку, каких у царей земных для людей с подобными догадками везде очень много. В марте послан был от Казенной палаты с отчетами в Петербург г. советник Бутковский, который бывал когда-то офицером во флоте. О нем не лишнее будет здесь помес-

тить анекдот, который ясно покажет способность его к гражданской службе. Когда дело, о котором мысли судей были разнообразны, доходило по собранным от них голосам до диспута, то он позволял себе с товарищами своими браниться, и на замечания мои, что это непристойно, он возражал утвердительным голосом, что диспут уже начался, понимая, будто бы действие, словом сим названное в коллегии, позволяет каждому предаться всей ярости личного своего противу кого ни на есть негодования. Такое средство мне бы казалось очень удобным для соединения голосов, и подлинно, если бы всякий во всех трибуналах думал о сем так, как г. Бутковский, то никакое дело до разноголосицы бы не доходило и всегда бы решалось по мнению широкоплечего. Сей чудной советник поехал с отчетами в чаянии том, что желание его перейти во флот получит успех, но вместо того воротился он на старый свой стул, а отчет остался в Петербурге, где и теперь, я чаю, спокойно лежит, ибо тогда и сами Экспедиции, их получавшие, не способны были ничего разобрать в путлявых наших расчетах. Формы на них менялись очень часто, и это-то самое служило верным признаком, что и верхние наши места не умели еще образовать легчайшей методы. Словом, предместник мой был вице-губернатором с 781-го по 92-й, а я с оного до 1797-го, и ни он, ни я не получили в бытность нашу в Пензе ни одной квитанции; да и с открытия губернии, с 1780-го сиречь года, ни за один Казенная палата не была еще сочтена.

Пока дела шли своим порядком, ссора моя с губернатором всегда находила в чем-нибудь новую пищу. Он хотел сменить непременно без суда мнимо провинившегося перед ним винного пристава Саранского[5] и прислал к нам предложение в Великую пятницу[6], надписав: «О нужном деле», дабы тем и в эти свободные дни даже для острогов потревожить мое спокойство и вынудить меня идти в присутствие. Собрал я палату, прослушал предложение и, найдя в нем, что Губернское правление отрешает чиновника другого ведомства, тогда как отрешение отнюдь не ему и лично губернатору по наказу присвоено, подал голос и с этим примечанием к нему отнесся, чем опять раздражил эту седую, но, к несчастию, бестолковую голову. Пристав, однако, был отрешен, и после им же оправдавший его протокол Уголовной палаты пропущен, но подсудимый остался без места. Увы! Чего не делает сила в руках недостойных? В то же время почти другая со мной встреча последовала и также довольно забавного рода. Одна барыня пребеднейшая, коей имени уже я и не помню, имела дело в Совестном суде с князем Кугушевым. За него посредниками были Жедринский и Гладков, оба уже известные читателю, а

она, не сыскавши никого, решилась звать меня за себя в посредники. Другой на моем месте отклонил бы это как-нибудь, или бы сказал, что у него флюс и он выезжать не может, или бы отъехал под видом деревенской экономии верст за пять куда-нибудь от города и сделался отлучным, но я никогда не любил политики там, где надобно помогать, и, зная, что от посредничества в Совестном суде закон не предположил никакой причины к отрицанию, посулил ей взяться за ее дело и, подговоря с собою в помощники Полчанинова, взяли дело ее в особенное свое попечение. Надобно было съехаться в Совестный суд. Косноязычный судья г. Сумароков по прихотям Жедринского назначил присутствие поутру, потому что тот вместо Гражданской палаты, в которую никогда не езжал, охотнее сбирался в Совестный суд на час беседы, пустой может быть, а потом домой, да и за карты; но я, не любя портить моего порядка и будучи обязан утром присутствовать в своей палате, не мог на это согласиться, требуя, чтобы время назначаемо было для сего съезда или после полудни, или по окончании присутственных часов по регламенту. Требование сие не полюбилось Совестному суду, который не находил себя в обязанности присутствовать или долее, или в иное время, чем другие, а больше всего карты делали тут много помехи; итак, он отнесся в Губернское правление, а оно, не умея разрешить сего обстоятельства, промолчало. Ступишин, как Александр, любя рубить узлы, коих развязать не умеет[7], стал меня принуждать властным образом явиться в суд. Я своими причинами вышесказанными оборонялся; наконец, съехались мы в два часа пополудни, но поелику прежние переписки и переговоры расположили всех нас друг против друга очень худо, а дело шло о том, чтобы Кугушеву признаться, что купчая, данная ему родственниками нашей истицы, есть безденежная и подложная, в чем не всякий любит искренно признаваться, то мы пошумели, поспорили и вывели друг друга из терпения. Судья нас — оттого, что заикался поминутно, а мы его — оттого, что без умолку кричали, а потом разошлись, не положив не только конца, ниже начала нашему делу. Стоило труда собираться. Прекрасный Совестный суд! После мы уже не съезжались, подписали по домам каждый свое несогласие и отослали подсудимых в Уездный суд или, лучше сказать, во тьму кромешную. Входили ли когда на мысль творцу учреждения Совестного суда в России, что дворяне таким образом осквернять станут сие святилище истины? Трудно повинить меня в том, что я долго упорствовал предстать в суд, ибо ничто меня не освобождало от должности моей по службе, и если ничто же не освобождало от обязан-

ности как гражданина, тут на то время живущего, быть посредником, однако не на счет должности моей позволено могло мне быть ту обязанность исполнить. Каким же бы образом и в Совестном суде, и в Казенной палате мог я в одно и то же время поутру в будний день (а у меня все были будни, ибо кроме воскресенья я и по субботам присутствовал ради лучшего и скорого течения дел) прикладывать к актам судебного места руку и обманом показывать себя тут и там? Такой беспорядок не входил в мое поведение, и я на оный не мог согласиться. Впрочем, я живу в России и знаю, что ничего нет легче, как быть без вины виновату.

В замену сих мелких беспокойств судьба награждала меня соразмерными и приятностями. По знакомству с отцом моим покойным, Измайлов М. М. поручал мне деревни племянницы своей родной и дела ее. Я в них нередко успевал делать ему угодное, а как Прозоровский от московского начальства просился прочь, и на место его по гражданской части генерал-губернатором пожалован был тот Измайлов[8], то в стесненных обстоятельствах матери моей, которая тогда из оборотов не выходила, он мог ей оказывать большие милости, да и по заводу в подмосковной, на котором выкуривалась наша поставка казенного вина, пособие его и покровительство были на то время необходимы.

Губернатор, однако, как ранний червь, все подъедал меня разными способами. Вдруг вздумалось ему нечаянно послать освидетельствовать казначея Слесарова, считая по чьим-то рассказам, будто у него не все деньги налицо, что, конечно, я с ним в половине в плутне, ибо он был ко мне близок. Советник Губернского правления проездил напрасно, прогоны казенные пропали, и казна оказалась в целости. Я о сем происшествии списался тотчас с Куракиным, который также того казначея покровительствовал, и как при сем свидетельстве у Слесарова описаны были, заперты и запечатаны все книги, счеты и дела, ибо где действует мстительная личность, там редко или вовсе никогда благоразумие не советуется насчет предпринимаемых мер, и сей яркий поступок, расстроивая порядок службы, вынудил меня опять войти с Ступишиным в колкую и щекотливую переписку; но он ничего, кроме злобы, не чувствовал. В откупные дела по губернии вошел по Чембарской округе граф Разумовский Алексей Кириллович. Он был очень богат, а потому думал, что никто ему не дерзнет прекословить. Скоро неприятный случай заставил его познать свою ошибку, и увидел он, что меня уломать деньгами в деле несправедливом трудно. Постращал он Казенную палату при неудаче в оборотах своих указом строгим из Сената, но, увидя, что тамошнее пра-

восудие еще тяжеле достается, нежели благосклонное снисхождение средних мест в губернии, рассудил, не заводя дальней ссоры, примириться в лице моем с Казенною палатою посредством Куракина. Богатые люди и знатные господа обыкновенно все между собою свои. Тот вошел в посредничество и писал ко мне. Из рук в руки, с нарочными и по почте переходило несколько от нас писем, и кончилось все, как говорят французы, à l'amiable*, и Куракин начал вновь звать меня с женой в саратовскую свою деревню Надеждино. Пока приготовлялись там для нас забавы, в Пензе меня все терзали и жгли малым огнем, как людоеды хорошую добычу. Уездный суд по делу, в нем производящемуся о поступке Улыбышева, требовал от меня каких-то объяснений и доказательств, но я, твердо расположась, принеся раз свою жалобу, не иметь в таком наглом деле на праве обыкновенного истца никакого ходатайства, предоставил законам сильно или слабо действовать, а сам старался забывать столь несносное приключение и уездному суду ничего от себя не давал, не посылал и не писал. Я занимался, при всех чинимых мне озлоблениях, одной службой, и цель моя быть ей существенно полезну никогда из вида моего не пропадала. Изыскивая способы какую-либо финансам показать услугу, много рылся наипаче в бумагах заводских. Винокурни были в Пензе наша Ост-Индия[9], тут надлежало искать сокровищ, и я, по зрелом соображении их обстоятельств внешних и внутренних найдя, что заготовительный капитал не нужен, решился о нем сперва предложить Казенной палате, а от оной потом и далее представить. Дабы показать пользу моего предложения, нужно дать здесь некоторое понятие и о деле сем вообще.

Винокуренные наши заводы устроены были на полмиллиона почти ведр вина и, действительно, до 300 000 ведр невступно могли выкуривать оного, следовательно, и стат служителей, закупщиков, разных чиновников, содержался при них полный и соразмерный сей пропорции, а сумма, на них употребляемая по выкурке вина, располагалась на каждое ведро. Для успешного производства сидки были назначены четыре капитала. Один назывался единовременный, из него построен был самый завод, заведена посуда, и он весь должен был находиться в движимом имении заводском. Другой назывался оборотный и служил на закупку припасов, составляющих вино; сей издерживался всякую зиму и поворачивался из выручаемых за вино денег, следовательно, никогда не прихо-

* полюбовно (фр.).

дил в умаление, а все был тот же. Третий — развозной, о котором при вступлении моем делал я упомянутое в сих записках представление, получившее одобрение от Васильева и его Экспедиции. Четвертый, под именем заготовительного, был тот самый, о котором здесь речь идет. Он назначен был на то, чтобы, пока вино возят с завода в губернии, его требующие, покупка припасов на будущую выкурку не терпела недостатка в деньгах, ибо губернии не прежде возвращали деньги, как по получении вина, следовательно, оборот путевого времени мог быть для польз заводских по продолжительности своей предосудителен. Таковы были обстоятельства начальные при установлении завода, потом они менялись и, наконец, были таковы: вино возили уже не губернии хозяйственно, а подрядчики своим коштом. Указом Сената велено было уже две трети денег за вино присылать тогда, как оно отправится, не дожидаясь еще его привоза, следовательно, сумма оборотная поступала скорее в капитал заводской сего имени, и в заготовительном менее было уже нужды. Новые откупщики имели право брать вино, где хотели, следовательно, брали, где оно было дешевле, а на казенном, по причине статов, кои, как выше сказано, отягощали раскладкою своей истинную цену вина, она была выше всех партикулярных заводов, следовательно, меньше его требовали, оттого меньше курили, и чем меньше курили, тем дороже оно становилось. Сообразив все это и найдя заготовительный капитал точно не нужным при заводе, представил о сем, а как он простирался до 200 тысяч с лишком, то я смел надеяться, что такой подвиг заслужит внимание начальства, что увидят наконец мои труды и облегчат мою участь. Но нет! Все было тщетно! Намерение мое не достигло желаемого успеха. Не знаю, подействовала ли моя бумага на пользу казенную, но видел очень ясно, что рвение мое никакого замечания не удостоилось. Какими тяжкими опытами доходить должен был я до того, чтобы увериться, что служить отечеству с усердием в монархическом или, лучше сказать, в безотечественном царстве, есть химера, восторг ума незрелого и горячка молодого воображения.

В то время как я сим образом в своем кругу вертелся, как насекомое в пыли, на севере знаменитые дела происходили. Екатерина подписывала статы новым губерниям, насылала губернаторов в польские области. Тутолмин их преображал, открывал Минскую с Брацлавскою губерниями. Князь Зубов[10] крестил Вознесенскую, а Курляндия преклоняла выю и отрицалась от всех связей своих с Польшею[11]. Россия присоединяла ее к областям своим и расширяла тем свои и так необъятные пределы. Но Екатерины на все становилось, она и старых губернаторов сменять не за-

бывала. Тогда в соседстве нашем саратовский был уволен[12], и мы надеялись, что не долго усидит наш Ступишин на престоле своего самовластия, но — еще держался, несмотря на бури вокруг себя и падение ему подобных. При таком движении многих чиновников постоянным образом все меня забывали, и нигде ничего в пользу мою не делалось, да и от домашних беспокойств не был я свободен. Шурин мой родной, меньшой брат жены моей Артемий, будучи в Московском гарнизоне офицером и у комиссариата в употреблении, был под судом за продажу чужого человека в рекруты. Поползновение к прибыткам многое может произвести в уме, худо образованном и наклонном наслаждаться на счет самой непорочности сердца. Я об нем писал и просил, но судьба помогла лучше всех покровителей, ибо он, не дождавшись сентенции, которая не могла быть ни легка, ни для нас приятна, лишился жизни. Вот лучшее, что с ним по обстоятельствам его могло случиться, но не менее состояние его дотоле нас тревожило и огорчало. Не мешало сие нам, однако, посетить Куракина и на ласковый его зов сдаться. Мы к нему поехали в товариществе нескольких приятелей в июле в Надеждино. В этот раз, казалось, он истощил все тонкости гостеприимства. Выехав сам верхом с большою свитою на свои границы, в осьми верстах от дома его отстоящие, он нам представил самое великолепное зрелище. При нем были казаки, и когда мы сели с ним вместе на линейки, им подвезенные (то есть не он их сам подвез, а лошади, иначе было бы уже слишком учтиво), они делали на конях своих разные ристания, кои до самого дома нас весьма забавляли, а между тем и разговор останавливали, до которого князь, по любви его к политике, был весьма не охотник, дабы иногда и нехотя в чем не проговориться. В таком знаменитом кортеже приехали мы в село. Там музыка, там роскошь, нега, пиршество отличного вкуса. Погода была хороша и покровительствовала забавам поселянина. Тогда как пахарь под лучами яркого солнца занимался снятием посеянных им плодов и думал о жизни своей зимою в его убогой хижине, мы в прекрасной галерее, названной «Вместилищем чувств вечных», забывали о нуждах крестьянина и на счет немилосердого пота его удвоивали заблуждения чувств временных. В этой зале, поставленной в саду, было четыре кабинета, на дверях каждого был вензель любезной какой-либо особы князю. Мысль его обращалась всегда к той, чье имя видел он там, где избирал сидеть. Из этой залы мы смотрели на представление в поле людьми его драмы «Эмилии Галотти»[13]. Не говоря раздробительно о сей забаве, довольно сказать, что без театра, музыки, на чистом воздухе, актерами без искусства, во

фраках, без театральной одежды игранная драма, да и печальная, и притом предлинная, в немецком вкусе писанная, не могла доставить большого увеселения, а особливо в самый пущий зной июля месяца; но в симметрическом расположении дня назначено было нас этим позабавить, и чрез то с обеих сторон выиграли несколько времени, а нам всем то и нужно было, чтобы его убить и поскорее расстаться. Дал нам хозяин с обыкновенными чинами и бал, а на проводах в приятном беспорядке, которым одолжены мы были несколько Бахусу, все мы, без различия полов, состояния и лет за столом сидя, пели привезенную мною моего сочинения песню, которая так полюбилась князю, что он слова те посылал к невестке своей в Питер. Она делала на них музыку, и он, получа ее на ноте, с самой льстивой надписью своей рукой приписал мне и доставил. У меня как музыка эта, так и несколько писем, писанных из «Вместилища чувств вечных», нося имя сие в своем заглавии, доныне хранятся. Песня, Нине посвященная[14], вскружила тогда голову многим, ее любили все, ее пели везде охотно. Безделка такая знакома была даже в Москве и далее. Таким образом погостив у князя сутки двои, мы воротились домой опять в Пензу, в юдоль нашу плачевную. При всем принуждении, с каким мы угощались у Куракина, дни, нами у него провождаемые, казались, однако, райскими в сравнении с теми, какие тянули мы в Пензе, тянули, говорю я, ибо медь, чугун и все жесткие минералы, верно, не с большим трудом вытягиваются в ручные изделки, как наша жизнь в те времена печали. Отпустя нас от себя, Куракин имел случай несколько писем после к нам писать, будто из благодарности, но в самом деле этот сибарит, не зная, чем облегчить безмерную тоску свою в деревне, рад был, когда мог придираться к самым пустым упражнениям, кои держали его в той очаровательной мысли, будто ему недосуг и будто важными делами он занят, а наконец в августе по причине продолжительной болезни принужден был ехать в Москву и при отъезде своем, миновав Пензу, не оставил письменно поручить мне своих дел, истребовать моего покровительства поверенному своему и в преласковом письме, написав даже приветствие по-немецки моему Павлуше, сказал мне прости. Ужли нельзя было проститься простее и гораздо искреннее? Но где замешаются чины и знатность, там чистосердечие несовместно, притворство все заменяет. Ему совсем нас было не жаль, на что же показывать то, чего не чувствуешь, и там, где, кажется, это совсем и не нужно? A usage du monde, façon de parler* и прочие заня-

* знание света, манера говорить (фр.).

тые нами у французов обряды куда тогда денутся? О! Пустые слова! Доколе вы нами управлять станете, дотоле мы звуком вашим пленяться будем, отступая от наших мыслей и прямых чувствований сердца. Для меня сии последние всегда брали верх над вычетами ума и всякой его логики. Размышлять грустно: куда ни кинь свою думу, везде дурно, непостоянно, коловратно; одни вздохи сердца, когда стремятся к тому, кто их делить хочет, — вот жизнь прямая, единственный способ смягчить и самую жестокую судьбу.

У князя Куракина был музыкант по имени Изобе, человек с приятным дарованием. У него жена слыла дочерью одного чиновника французского, но по стечениям обстоятельств революционных нашлась в необходимости выйти за музыканта. Какая сладкая необходимость! Для чего же прочие все в жизни нашей ей не подобны! Она была женщина ловкая и любезная, что до того, впрочем, кто был ее батюшка и матушка? Не всякий, я думаю, и из самых витязей без ошибки назовет своих пращуров. Посещая князя Куракина, я находил большое удовольствие в ее беседе. Иногда она ко мне писывала, я к ней. Переписка такая увеселяла в городе мое уединение, а письма Струйского, неисчерпаемый источник нелепостей, смешили, когда меланхолия слишком удручала сердце. Есть такие минуты стесненного сокрушения в человеке, что самые даже идеи останавливаются и кажутся неподвижны. Тут весьма хорошо прочесть что-нибудь из Тредьяковского, Струйского, Черкасова и тому подобных парнасских буффонов, они очистят путь мыслям и пробудят человека от сна задумчивости его. Но я не долго наслаждался перепиской с госпожою Изобе: надменность княжая принудила их искать другого места. Они и отправились в Москву и, проезжая Пензу, дни два у меня гостили, с тех пор я уже их не видал. Лишнее, может быть, сделал, что и включил здесь такое постороннее и кратковременное знакомство, но, питая сердце мое в сочинении сих записок, я счел бы за грех не посвятить одной страницы в память непорочному удовольствию, которое тогда было для меня в высокой цене и нежило мое сердце. Такие мгновения всегда вспомнить приятно, а о том, что секретарь Зубова Грибовский пожалован был статс-секретарем[15] и что сие умножало величие фаворита, стремящегося поравняться с Потемкиным в силе, достигая одинаковых с ним почестей, об этом можно равнодушно забывать, оно для сердца пустота. Но ах! Надобно, надобно терзать его ежечасно, приближаясь к осени сего года. Я вхожу в пространное поле новых неприятностей.

В октябре вышли два указа: один о наборе с 500 душ по одному, а другой, распорядительный, о приведении в исполнение хлебной подати[16]. Станем сперва говорить о сем последнем. Начальное его производство требовало того, чтобы расписать селения от магазейнов, для вноса хлеба устроенных, так, чтобы не далее обыватель возил его пятидесяти верст. Сие местное соображение велено было указом сделать губернатору обще с Казенной палатой, которую он для формы и пригласил в присутствие Губернского правления, назначив собранию сему быть пополудни, дабы тем увеличить деятельность свою и усердие. Прибыл я с своим стадом к пастырю безмолвных овец. Свечи зажгли, карту разложили, землемера пьяного к объяснению призвали, и за сим г. губернатор, вынув из кармана сочиненное заранее Полдомасовым «соображение», требовал нашей опробации. Все кричали в один голос, как немецкий пастор, передражнивая русского попа: «Мурно», — сиречь премудрость; всякий силился возвысить голос, дабы слово «да!» от него слышнее было прежде другого. Молчал принужденным образом и я и, не желая входить в спор ни с кем по такой материи, для меня очень равнодушной, согласился на положение общего присутствия, но когда после увидел из реестра селений, что иному доставалось возить хлеб за сто и гораздо более верст, ибо расписываемы они были по карте — циркуль на бумаге идет без запинки, его не удерживает ни гора, ни лес, ни озеро, никакое естественное на месте препятствие — когда, говорю, увидел я этот беспорядок и что об объездах необходимых его превосходительство нимало не помыслил, то я отнесся тотчас о сем к генерал-прокурору, но на это ни слова в ответ. Итак, дело сие, по началу своему затруднительное, приведено было сим еще в худшее положение. Потом надлежало на поставку хлеба сего водою в Питер сделать торги, вызвать желающих или хозяйственно распорядиться. Это средство обыкновенно никому не нравится. Хлопот много, а алтынов очень мало. Врасским хотелось подряда. Они были в родстве с Неклюдовым, обер-прокурором того Сената департамента, где эти дела были ведомы по военной части. Они насказали Ступишину, что подряд всего вернее, надежнее и лучше. Читатель его знает, следовательно, видит заранее, что и на торги день назначен, и подряд закипел. Опять после обеда присутствие в Казенной палате, опять новая мука. Цена подрядная возвышена была так, что никакое хозяйство, как бы нерадиво кто его ни исправил, не могло быть для казны отяготительнее. Я не согласился и подал голос, прописав в нем сколько умел доводы мои на то, что еще время не ушло самим суда искупить и самим к сплаву их

будущей весной изготовить, купя зимой нужные к тому снасти и наняв работников. Тем ощутительнее они должны были казаться, что и сами подрядчики не имели судов и сбирались их покупать или строить, но где действует каприз, а особливо каприз на корыстолюбии основанный, там рассудок в колпаке и спит очень крепко. Голос мой не мог ничему препятствовать, ибо большинством других его сделали бездейственным, однако губернатор, отправляя нарочного в Сенат с испрашиванием указа на заключение договора с подрядчиками, послал притом жалобу на меня в том, что я все дело испортил, остановил, повредил пользам казенным, словом, что я враг в мире не последний. Цель его была меня устрашить, и, подлинно, ему удалось, ибо скоро после того с нарочным из Сената на мой счет прислан преязвительный указ. Он во всех тех губерниях известен, где была установлена сия подать, ибо велено было им распубликовать меня по всем сим губерниям как человека гордого, не покоряющегося начальству, беспокойного, словом негодяя, и все это было выражено в точных словах в том указе, каковым оставляю всякому судить, вправе ли был Сенат так дерзко чиновника моей степени наказывать? Мой голос не мог ничему вредить, он не имел действия и не помешал другим принять своей силы; во-вторых, если голос мой и был дурен, от ошибки ли в понятии моем или от несмыслия, вправе Сенат был его оговорить, указать заблуждение моего мнения, но не извлекать по выбору без всякой связи между собой некоторые строки моего голоса и ими порицать меня со стороны нравственности моей, на образование которой Сенат не имел ни права, ни законной обязанности. Он мог охуждать и наказывать мой поступок, буде находил меня виновным, но характер мой нимало под суд его не подходил, и Сенат напрасно на ту минуту вообразил, будто он моя мама. Однако указ надлежало проглотить. Делать было нечего, противу рожна прать трудно. Огорчительнее всего для меня, а для Сената гнуснее всего то, что курьер послан был не на мой один счет, но и на счет шурина, который ежели бы и не был мне родственник, чем был он виноват, что следовал моему мнению и пристал к оному? Гнусное дело г. Неклюдова. Сей гордый нахал впоследствии времени и сам претерпел участь неприятную, отставлен был от службы и умер от досады[17]. Прах его едят давно черви, а я еще, слава Богу, жив и могу здесь об нем сказать вместо вечной памяти — нет, ничего не скажу, — стыдно поносить кости неприятеля, Бог с ним! Итак, прогоны курьера я заплатил и принужден был поработиться по содержанию указа господину губернатору совершенно. Но скоро сие новые произвело следствия и не совсем без-

выгодные для меня. Дойду до них в свое время, а теперь скажу вдобавок и для смеха, что мне же не велено почитать этого штрафом, и когда я в формуляре моем поставил в назначенной на сие графе, что я был таким-то указом тогда-то штрафован, то Губернское правление не приняло моего списка и обратило ко мне назад, не смея сего указа почесть оштрафованием. Положим, что по старинной дражайшего моего отечества пословице, брань на вороту не виснет, но прогоны, с меня вычтенные, ужли суть знак благоволения, а не самый чувствительный штраф для кармана, а карман не есть ли душа жизни и самого Сената, в котором если бы секретари и, может быть, повыше их люди не искали сим средством оживотворяться, то бы и курьер этот напрасно не смолол с лишком тысячи верст, за которые, по крайней мере, он очень хорошо отобедал. Вот первая забава осенняя. Приступим к рекрутскому набору, он также происходил не без потех. Я смеюсь всему этому теперь, и подлинно смеюсь, но каково было тогда мне, пусть подумает на досуге тот, кто бедствовал когда-нибудь и кто захочет потрудиться в одну точку собрать все мои обстоятельства. Меня спросят, может быть, каким же образом развозка хлеба могла прийти в исполнение в том неустройстве, в каком я расписание сел и деревень представил? Очень известно, каким образом это делается. Знатные господа приписаны были туда, куда их приказчики пожелали, а коронные крестьяне везли свой хлеб без меры по стольку верст, по скольку приходилось. Палка русская не хуже турецкого линька[18], и она очень умеет все расстояния сблизить.

Набор рекрутский начался в ноябре, и с первых дней между мной и директором Экономии пошли распри. Мы никак не могли согласиться: ему хотелось барыша, а мне правды. Не проходило ни одной отдачи коронному мужику без жестоких покушений на поборы, а Ступишина легко можно было обмануть и показать ему весь вид справедливости там, где одно самовластие директора судьбу сих бедных людей учреждало. Я принужден был сидеть у набора как самый страдательный член. Каждое слово мое достаточно было на то, чтобы расположить его мысли вопреки оному, и нередко случалось, что я мужиков научал пожаловаться на меня, дабы тем опровергнуть происки директора и заставить Ступишина подействовать в их пользу из желания повредить мне. С дураками неволя научит плутовать. Всякое нарушение должности я нахожу возможным и во многом готов человеков извинять, но насчет рекрутского набора, где люди и по одной уже необходимости без утончения их бедствия довольно угнетены судьбою, не понимаю, как могут власть имеющие чины отсту-

пать от строгой истины, губить их, так сказать, разрывать семейные узы из самой подлой корысти, из прибытков, часто весьма незначущих. И кто же поступает на это? Часто первые чиновники в губернии. Злоупотребления сии всем известны, всякий об них толкует и довольствуется сим общим заключением, что всех-де злоупотреблений не искоренишь. Так, конечно; но между всех и многих есть большое пространство. От правительства требуется только труд к обузданию таких пиявиц, а успех, конечно, последует, как скоро пищу у них отнимать станут помаленьку, но я доселе ничего несовершеннее, хуже образованным не читывал и не видал, как всю операцию рекрутской отдачи и принадлежащие к ней законы. Эта часть подлинно зависит от лица, управляющего губернией, и его собственных свойств. Сие я тогда же примечал, а после и на опыте узнал, что я в заключении моем не ошибся. Плюсков, однако, вынудил меня войти на него к губернатору с представлением. Подали мне мужики жалобу во взятках людьми его на его имя, и я ее препроводил к Ступишину, но после весьма о том жалел, потому что в подобных случаях всегда тот недоказателен останется, кто доносит, и мужики, без сомнения, потерпели. Обыкновенно, где Уголовная палата не чиста, там дела эти делаются так, что мужик, который донесет или пожалуется, обязан будет представить доказательство. Никто по ссылкам его в одну речь говорить не станет, и так он же выдет виноват, как Фадей в «Сбитенщике»[19], да еще иногда тот, на кого подан был извет, попросит в своей обиде, и по разуму законов, что доносчик подвергается сам тому, чему подводил, Уголовная палата доправит с изветчика в пользу обиженного денежное бесчестье, которое, по большей части, остается в кармане у судей или у судьи; и после этого хотят, чтоб крестьянин смел пожаловаться! Все, слава Богу, по русской пословице, бывало шито и крыто. Скука набора, продолжавшаяся до нового года, совсем бы меня сокрушила, если бы, по счастию моему, не приехал для приема рекрут в лейб-гренадерский полк майор оного г. барон Фрей[н]сдорф, любезный человек, которого рекомендовал мне письменно шеф его, генерал-майор Бергман, и потому, сделавши с ним приятное знакомство, он часто у нас бывал. Мы игрывали с ним в карты, резвились, шутили и разбивали тем тоску зимних вечеров, которые в губерниях кажутся, право, бесконечными. В эту зиму и полк Тараканова опять к нам в губернию вступил, и по каким-то неизвестным мне причинам Ступишин стаб-квартиру назначил в самой Пензе. Итак, мы опять свиделись с Таракановым. Они к нам, мы к ним езжали часто, общество наших приятелей умножилось, и жизнь станови-

лась только сноснее, веселою уже быть не могла тут, ибо беспрестанно меня на иглы сажали, и год сей, близкий к окончанию, совокупно с набором принес мне новую неприятность по делу о недоимках.

Приметить надобно здесь, что в прошлом годе Казенная палата по моему побуждению представляла об отличном их количестве по Пензенской губернии в Экспедицию о государственных доходах. Там эта бумага и лежала без успеха. Ныне же вдруг получил я от генерал-прокурора письмо, в котором, извещая меня, что предложил он Казенной палате уведомить его о причинах, отчего недоимки так запущены, затем в самых колких словах, прикрывая их, однако, приязнию, советовал мне не примешивать к службе личных моих на губернатора негодований. Правильно, думал я, но как избежать, чтобы и самое справедливое требование не показалось личностию, когда оно ко вреду клониться будет лица ненавидимого? Конечно, снисходить подчиненному или начальнику можно даже с ущербом своего спокойствия и пренебрежением опасных следствий для себя, но таковые жертвы, кои в службе иногда видны, суть редки и имеют началом искреннюю дружбу, а где ее нет, там каким образом хотеть, чтобы человек из того только другому снисходил в его погрешностях, чтобы противный поступок не отнесся к личности, тогда как умалчиваемый случай может со временем быть для него самого вреден. В естестве нет тому примеров, чтоб один для другого, ненавидя его, скрывал то, за что вкупе с врагом своим пострадать может. Отвергать такую истину или советовать не поступать по ней могло вместиться только в голову Самойлова, о котором когда ни говорю, когда ни думаю, люблю напомнить стихи Державина, на него точно обращенные:

Осел пребудет век ослом,
Хотя осыпан он звездами:
Где должно действовать умом
Он там лишь хлопает ушами[20].

Послание его ко мне тем паче меня раздражило, что я знал, что он уже покушался и сменить меня и записки подавал государыне о другом на мое место, но ухищрение такое с его стороны не имело никакого успеха. На письмо сие отвечал я самым отважным слогом. Это письмо и вышеупомянутое о беспорядках по хлебной части пошли к нему скоро одно после другого, и, перечитывая их спустя много времени, хотя готов себя винить в большой запальчивости, но, вообразя себя паки в то время в тех

же обстоятельствах, без пристрастия сам к себе вижу, что не мог и не должно мне было молчать. Эти письменные перекоры мои с ним происходили в моем кабинете, а палата между тем действовала по его предложению и приказным порядком наводила справки. Но не справок одних требовалось, известно было и Экспедициям, в чем они могли состоять, требовалось причин, отчего недоимки лежат на народе и не поступают в казну? Отвечать было трудно. Палата, а паче Врасский, который был нечистый ее дух, раболепно старалась угодить Ступишину, скрывая сущность недоимок, ибо запущение их безотговорочно падало на губернатора, — я говорю здесь в строгом разуме закона, ибо палата о взыскании доимок обязана только настоять отношениями частыми и убедительными в Губернское правление, сие же место, имея по Учреждению власть исполнительную, долженствовало брать меры скорые и сильные выполнять отношения палаты, но, напротив, они всегда без уважения оставались, потому что я не нравился. Губернское правление, когда усматривало, что исправник не взыскивает недоимки или послабляет одолжившимся поселянам, налагало на него пени денежные, которые обращались на поселянина же, ибо исправник, приезжая в селение, беспокоил их из платежа оброка, жалуясь, что уже он и пенею оштрафован. Мужик догадлив, он знал, что, заплатя пеню и прикинувши к ней лишние, исправник оставит его в покое, а пеню заплатить и внести убытки, кои доходили по большей части до 50 рублей, гораздо легче было на тот час для селения, чем внести до несколько сот или еще и тысяч недоимки. Следовательно, мужик малыми сими издержками изнурял себя нечувствительно, а долг на нем оставался все тот же, и состояние его не улучшивалось. Все такого рода причины нельзя было вывести Палате, не оскорбляя особы начальника, не давая ясно видеть, что не я, посылавший до тридцати сообщений в Губернское правление, но Правление сими пустыми пенями исполняло только, как изъяснялся в письме своем ко мне Самойлов, одну проформу без настоящей деятельности. Палата имела свои причины о том молчать. Врасский, в ожидании подряда на поставку хлеба из Сената, угождал Ступишину, дабы не потерять своих счетов, когда бы он лишился его доверенности и другой плут, поострее его, потащил бы тогда генерала за нос. У меня к понаровкам причин не было, и потому как скоро прослушал я в Палате справку, ни к чему не служащую — все ее знали наизусть, но хотели только выиграть время — я предложил палате, что, не видя тут причин, о которых вопрос прислан, не могу я и подписать журнала о поднесении генерал-прокурору той справки, какова она есть, а

рассуждаю о сем иначе, и тогда записал с вышепоказанною и прочие, какие по соображению моему казались мне ощутительными быть, причины знатным казенным недоборам по Пензенской губернии.

Прокурор, другой Врасский, подхватя мое рассуждение, не замешкал представить его в виде доноса в Губернское правление с тем, чтобы изыскано было, который исправник так поступает, как я вывожу в моем мнении, и поступить с ним по законам. Этой строкой в приказном слоге обыкновенно прикрывают самые мелкие подвиги и самые черные злодеяния. Губернатор обрадовался новому случаю ко мне привязаться и чрез сообщение правления в палату стал требовать от меня доказательств, наряжая меня в доносчики. Я дал им всем почувствовать суету их воображения и написал, что я доносов не делал, не делаю и делать не буду ни на кого, но где правительство требует моего мнения о вещах, ему не совершенно ведомых, там долг истины требует, чтобы я вникнул в глубину самых тонких подробностей и писал то, что душа моя говорит и разум. Насилу они отвязались, и Палата к генерал-прокурору с прописанием мнения моего послала свое представление. О мнении моем на сей счет доведется еще мне и после поговорить, ибо сим дело не кончилось, но теперь оставим свары и приказные досады. Я всегда, приближаясь в записках моих к концу года, люблю занимать себя веселыми предметами, чтоб освежить сколько-нибудь удрученную мысль неудачами, тоской и негодованием. Тут есть две выгоды: первая, не так черно ложится в памяти протекающий год; вторая, что милее встречать наступающий. Однако, как не сказать наперед, что Врасский всеми своими происками, мытарствами, до того меня взбесил, что я принужден был в особое внимание взять поведение по службе моего советника и, найдя многие от лица его беспорядки, кончил год представлением всех его поступков на рассмотрение Сенату. По сей бумаге также ничего не вышло гласного, от пренебрежения ли ко мне, или оттого, что он скоро потом пошел в отставку, этого я не знаю, но так как мы с ним увольнением его от службы расстались, то я не искал узнать, собственный ли его произвол или моя жалоба подвигли его на такой решительный шаг по службе. Расстаться с злодеем есть лучшее средство. Мстить не всегда человек может, иногда и не хочет; видеться, а паче часто, с человеком, нам неприятным, несносно. Служба не поговорка и не вечеринка приятельская, из которой можно взять шляпу и уехать когда хочешь при первой встрече с человеком, худо к нам расположенным. Но тут надо с ним сойтиться, рассуждать, спорить и всегда остерегаться — что может быть несноснее? Какого

равнодушия станет на такие постоянные неудовольствия? Итак, всего лучше людям, кои не сошлись ни мыслями, ни сердцем, разойтиться. Если бы он ранее последовал сему внушению благоразумия, многого бы, может быть, худого я избавился в моей тамошней жизни.

После всех таких для меня несносных уз и нарушения свободы, которою, как из всех вышеписанных случаев всякий видеть мог, никогда почти не пользовался я в полной мере человека спокойного, кто бы поверил, что я лучшее свое произвел сочинение? Когда же? В октябре, в самое суетное время и для меня мятежное. В октябре я сочинил оду под названием «Камина». Она имела большой успех, ее читали и видели в Москве, в Петербурге, в Париже. Делиль не погнушался понаслышке ее попросить у моих знакомых. Напечатан был сей «Камин» в типографии у Струйского[21] и в небольшом количестве, для подарка только моим приятелям и коротким. Я не хотел подыматься высоко, но стихи сии всем полюбились. Надобно ли сказать, что они русские, после того, что Делиль их желал прочесть? Конечно, иначе можно бы было подумать, что они писаны по-французски. Нет, они были русские. Как же мог понять их Делиль? Потерпи, читатель, эта загадка скоро поймется. Несколько лет потом их вторым изданием печатали с французским переводом, в котором упражнялся, но весьма не к пользе сочинителя, в Москве один француз именем Aviat[22]. Здесь я пишу не в газетах, не в книге печатной, а для себя и дома, почему же мне не сказать и моего мнения, не боясь, чтоб оно причиною было к подлому самохвальству? Перевод хуже был подлинника во сто раз, и я им остался недоволен. Жаль, что по нем малые мои дарования будет ценить такой славный писатель во Франции, как г. Делиль, жаль тем более, что подлинно я, упражняясь иногда в стихотворстве, ничего еще в такой силе, с таким искусством, соразмерно то есть моим способностям, не писывал. Для другого дарования тут его, может быть, не было нисколько, но для моих пиитических сил подвиг был отважный и значущий. Не удивительно ли же в самой вещи, что я мог еще заниматься стихами в такие дурные эпохи моей жизни? «Камин» мой со временем дал мне некоторую степень славы между нашей братьи парнасскими насекомыми. Это меня ободрило, приохотило, и я потом часто прибирал рифмы; в том же году несколько стихов написал я на разные случаи, но все предметов искал около себя и не стремился за ними ни далеко, ни высоко, обращаясь в моей ограниченной сфере. Я стихотворство почитал целителем моим от уныния, товарищем в скуке, способом наиприятнейшим коротать нечувствительно время, когда доса-

ды и злоключения из минуты делают нам год. Приятное упражнение! Ему я большим облегчением обязан, в нем познавал я нередко, что философия умов надменных, гордящихся своими неудобь возможными системами — ничто перед услаждениями сердца нежного, чувствительного, сердца, для которого нет блаженства на свете ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в одном поступке, отвлеченном от любви. Не слишком ли я, однако ж, распространился насчет моих стихов? Стоят ли они такой огромной проповеди? Пусть простят мне маленькое пристрастие к моему «Камину», но, писавши мою Историю, я не мог не уделить в ней одной страницы в пользу его. Между многими моими стихами это моя любовница. Я обещал читателю немножко посмеяться. Воспоминание тех минут, в которые я писал, приятно меня к тому расположило. Этот день как сегодняшний у меня в мыслях: вижу тот самый кабинет, тот стол, за которым я его писал, жена сидела за пяльцами, мы были только двое, я ходил взад и вперед по комнате и подкладывал дрова в камин. Огонь в нем не переводился, погода на дворе была сырая и мрачная, — все влекло дух к утомительной меланхолии. Один только предмет мне препятствовал сладко задумываться. Против самых окошек моих дом был Ступишина. Я не мог равнодушно смотреть на сие жилище моего врага. Мне все казалось, что он занимается крамольными против меня предложениями в то время, как стихи мои по воле воображения пылкого ложились плавно на бумагу один возле другого. Каждое совокупление рифм меня восхищало. Я всегда этот день трудов моих вспомню с радостию, с живым удовольствием. Оно умножено было тогда приездом ко мне в Пензу сестры моей. Она к именинам жены моей[23] привезла с собой и Машу. Маша росла, становилась милый ребенок. Первый взгляд на нее мне стоил слез, но скоро ученька ее их стерла. Я вспомнил отца моего, который ею всегда любовался, и, увидев ее, сказал: «Если б батюшка тебя теперь увидел, Маша!» От слов сих у нее навернулись слезы. Я потупил глаза и задумался. Эта минута скоро прошла. Свидание приятное воздействовало над моим сердцем. Я им обрадовался и смел назло врагам моим искренно улыбнуться. Давно уже я был лишен этого праздника. Обстоятельства матери моей, о которых в первом движении радости не забыл я, однако, много и обстоятельно поговорить с сестрой, не казались мне наилучшими, но становились сносны и меньше прежнего расстроены. Успех в продаже некоторой части имения, деятельность ее в платеже долгов облегчали участь ее и вместе с нею нашу. Все шло изрядно, и мы начинали уже быть довольно благополучны, потому что многие на свете были гораздо несчастливее нас.

Я слышу уже упрек читателя: когда же будет смешное? Сейчас, и вот что такое. В Пензе был клоб. Члены его подписывались зимой на весь следующий год. Содержатель дома клобного был немец, обязанный для своей прибыли действовать по воле губернатора во всем. Кто были директоры тогда, не знаю, не помню, и нужды до того нет, ибо кто бы ни был, верно, всякий из тамошних жителей, кроме двух или трех самых коротких в нашем доме, смотрел в лицо губернатора и стремился ему угождать, а из приятелей наших не мог никто попасть в директоры. Хотя я и редко, а в этот год уже и совсем в клоб не езжал, однако имел годовой билет, был записан, следовательно, правом въезда неоспоримо пользовался, а Ступишиной хотелось и того меня лишить, дабы ехать туда еще с большим удостоверением, что меня не встретит. Что ж делать? Вздумали они постановить правилом, что кто до назначенного ими какого-то числа в члены не запишется, после оного будет подвергаться баллотировке и без соединения в пользу его большинства белых шаров записан не будет. Вследствие такой острой идеи немец и бегал по всем дворам заблаговременно с своей подпиской так, что все, кроме меня, были уже записаны, а ко мне велено ему было прийти после назначенного срока, следовательно, надлежало мне или не записаться, или согласиться на баллотировку. Из билета в пензенский клоб подвергаться сей последней, знавши, что для меня будет оно безуспешно, казалось, и в самом деле было, непристойно. Итак, исполнилось их желание и я не записался. В этом случае, конечно, потерпела Ступишина со всей шайкой своих сплетчиц гораздо более чем я, ибо не удалось им выманить меня на баллотировку и заставить считать, сколько черных шаров мне бы положили. Я же с моей стороны нимало не жалел о клобе, он ничего не представлял мне такого приманчивого, чтобы малейшее показать желание в него водвориться. Умысел на мое спокойствие такого рода был в глазах моих столь жалок и подел, что не заслуживал даже моего сожаления, еще меньше досады. Я смеялся всему тому от чистого сердца, а за что потерпел бедный немец, потеряв те деньги, которые он мог бы с меня получить, этого я вовсе не знаю. В самое же это время подсылали они из какой-то по их непостигаемой вежливости визитерные билеты в клоб сестре моей. Ужели считали они перевесить меня в ее чувствах? Ужли думали они, что она променяет брата на великолепного пензенского губернатора? Согласите мне всю эту смесь противуположностей, ищите толку в таких странных умах и причин правильных безумным их поступкам. Никто их не поймет, никто, конечно, и лучшее, что надлежит сде-

лать, вспомнив о сем, это смеяться от самого доброго сердца и составлять себе из таких мелких тварей потеху. На сей-то самый случай в послании моем того же года к судьбе есть стих следующий:

А ныне так и в клоб с подпиской не пускают[24].

При всех сих неудовольствиях, и слезных, и смешных, я счастлив был тем, однако, что жена моя была поздоровее. Климат тамошний был ей благоприятнее московского. Свобода разделять часы своего уединения по собственному своему произволу подкрепляла ее слабое сложение. Уединением она не скучала, всегда любя быть одною, сие почти общее отчуждение всех от нас не наносило ей ни малейшего прискорбия. Она умела заниматься рисовкой, работой, шитьем и читывала много. Блаженное свойство! Она никогда не скучала сама с собою, и беседа других, не быв ей в тягость, не доставляла, однако же, сильного удовольствия. Один я терзался часто, ибо после занятий искал всегда людей, искал разговора и редко находил то или другое согласно с моими мыслями, с моим сердцем. В прочем дети были здоровы, все в доме шло благополучно и жена опять была брюхата. Вот в каком положении готовился я встретить грядущий год, который также и на мою долю нагружен был на небе немаловажною эпохою. В отношении же к России, хорошо бы было, если б он и гораздо позже спустился на землю, когда вовсе его миновать боги не позволяли. Много еще эпох на свете будет, вечность ими наполнена, и шар земной все их испытает. Хорошо быть смертну, потому что не удается видеть конец случаям и обстоятельствам; частые их перемены так ослабевают бедный наш состав, что часто с отрадой представляешь себе ту минуту, когда маятник нашей жизни шевелиться перестанет и остановятся навсегда многосложные пружины нашего тела. Но, дабы отвлечься от такой глубокой мысли, скажу здесь с лёгеньким вздохом, что я отпустил под конец года француза, своего повара, отпустил его и долго не мог привыкнуть к русской нашей поварне, с которой вместо котлетов и разных соусов, именами всех бурбонских принцев крови наряженных, приносили мне кашу, просто из гречневых круп сваренную, и желудок мой насыщался без всяких ост-индских пряностей. О жалкие принцы! Вас едва теперь и вспоминает ли кто-нибудь, опричь ваших поваров, а я в моем углу хоть незатейливо, да сыт. В Историю жизни моей не входят причины, побудившие меня расстаться с моим поваром. Кто хочет их в тонкость узнать, может заглянуть в собрание рукописей моих

стихотворных, там они все означены в приятельском письме к живущему у нас в московском доме доброму иностранцу г. Классону[25], который в это время был у нас с сестрою моею в Пензе, а если я здесь и молвил об отпуске повара Вияля, винюсь перед читателем, — я это сделал из благосклонного снисхождения души к физике моего желудка, а желудок в жизни не безделица, и я скажу здесь, как Дорат писал одному своему приятелю, хотя мне, по известным читателю романическим случаям, неутешно кончившимся, всех тяжеле вспомнить сего сочинителя:

Digérez-vous? Voilà la grande affaire;
L'esprit peut rendre un homme aimable,
Mais l'estomac le rend heureux*.

1796

Годы текли один за другим, но колкости по службе меня не покидали. Я всегда был жертвою суровых ее неприятностей и в самом начале сего года получил от князя Куракина письмо, в котором уведомлял он меня, что Самойлов приведен в негодование противу всей Казенной палаты, то есть, лучше и короче сказать, противу меня, ибо на сие он давно искал во всем достаточной причины, за то, что представление о чем-то к нему было подписано одним членом палаты, а не мной самим совокупно со всеми, и что сей поступок, который если бы был и подлинно не согласен с принятым правилом и потому другим отнесен был бы к ошибке, он, Самойлов, почитает явным доказательством неуважения к себе. Я скоро увидел, что или какая-нибудь придворная досада, или желчь, сильно разлившаяся в корпусе его высокопревосходительства, навлекала мне такую неправильную укоризну, ибо, во-первых, нигде не было постановления генерал-прокурора о получении его предложений уведомлять; рапортами о получении указов обязаны мы одному Сенату, да и тому с исполнением рапорты подписывал я сам, о получении же обыкновенно отправлялись за рукой члена палаты. Обряд сей из одной только вежливости завел я и с Самойловым, и палата о получении его предложений, без всякой к тому обязанности, посылала к нему представления, следовательно, не мог я быть в этом случае виновен и заслуживать выговора, но,

---

* Вы заняты пищеварением? Занятие достойное; / Ум делает человека любезным для окружающих, / Желудок — делает его счастливым (фр.).

смиряяся сколько и доколе мог, стал после все исходящие к нему сам подписывать. Вскоре потом досада его превозмогла рассудок, и он требовал от меня, чтобы я впредь не писал к нему по делам ни о чем прямо от себя, а посредством Казенной палаты. Очень охотно, думал я, и исполнил. На что такие жесткие приказания? Не легче ли перестать писать самому, тогда и ответы беспокоить не станут, а принимать на лицо свое выговоры, жевать их, молчать и без вины виниться не всякий готов и хочет.

Со всеми сими случаями, от звания моего на меня действующими, соединялись часто и другие, кои влияние имели на спокойствие мое от причин домашних, как например в этом самом году в генваре свояченица моя против соизволения совершенно моего сама собою вышла замуж за купца Алферова, человека грубого, нелюдима, без малейшего просвещения. Поступок сей с ее стороны меня до крайности огорчил. Намерение ее не могло от меня утаиться, я видел ее упорство, паче примечал происки невестки моей, которая, живучи тогда в нашем доме, подговаривала ее на то решиться, представляя ей, что богатство помянутого купца доставит ей участь несравненно приятнейшую, чем ту, которой она у нас в доме пользуется. Обольстить молодую голову весьма нетрудно. Надежда Сергеевна мечтала уже себя в золоте по уши, но я видел далее и угадывал, что она меняет тесное поистине, но спокойное в прочем состояние на жребий рабы у богатого властелина. Ничем не мог я ее отклонить от принятой цели. Мать ее казалась сама на то склонна, и в последнем письме ее ко мне, не говоря решительно ни да ни нет, она только общим словом поручила мне судьбу ее. Почитая себя уполномоченным действовать в таком важном случае в лице отца, убеждал я ее по крайней мере не спешить; поелику при выпуске из монастыря, когда сестру ее представляли ко двору наследника, их высочества обещали дать ей приданое при замужестве, то настоял я в том, чтоб и она у себя этого не теряла и донесла о намерении своем двору, но ничто ее не отклонило. Цель моя, так поступая, была та, что двор конечно бы не позволил ей выйти в такое несообразное с ее состоянием замужество, и тем бы весь план ее рушился, но она, догадываясь, что, если она повременит и меня послушает, намерение ее не кончится благоприятно, отвергла не только мои советы, даже и клятвы, кои я вынужден был именем матери ее изрещи против ее брака, и наконец вышла замуж 13-го числа. С тех самых пор разорвал я с нею всякую связь родства и приязни. Жена оказала ей несколько сострадания и имела даже дух присутствовать в церкви на свадьбе сестры своей. Она иногда позволяла ей себя посещать, но я никогда, нигде рав-

нодушно не мог с ней встретиться. Такое коварство и ухищрение возродили во мне досаду противу невестки, шурина и всей семьи жениной, они тогда показали явными знаками мне, что им любовь моя и ненависть одинаковы. Шурин мой в сем случае действовал против меня по слепой его доверенности к жене своей. Я скоро простил ему его заблуждении, он сам их увидел. Жена его всех тогда обольстила мнимыми сокровищами жениха; ошибка в том скоро обнаружилась, но уже поздно, и сильнее всех подействовала на бедную мою свояченицу, которая сделалась мгновенно после жертвою всех его попреков. Он был богат, дом имел великолепный, но жил в нем скрытно и скаредно, не мог он, влюбяся в свояченицу мою, на ней жениться, ибо она была дурна, а к выбору ее побуждала его гордость, чтоб сделаться свояком моим, и нужда покупать недвижимое имение, что на имя ее он уже мог тогда делать невозбранно[1]. Я ему был должен, должен и доныне; это держало его в сладкой надежде, что я породнюсь с ним охотно и что мы тотчас обнимемся. На этот счет даже стали в городе говорить, будто я продал свояченицу мою и цену назначил десять тысяч, но я с самого брака не хотел уже никогда принимать их в дом свой[2] и тем очевидно показал городу, что я на такой подлый поступок, какой мне они приписывали, нимало не был готов. Дело сделано, и пособить ему нечем.

На другой день свадьбы в Уголовной палате решили дело Улыбышева. Я никогда не любопытствовал знать, в чем состоял приговор над ним[3]. Мне грустно было говорить и напоминать себе об нем. Я старался все это происшествие забывать. 15-го поехала сестра моя в Москву и увезла с собою Машу, на которую мы не успели наглядеться, а 17-го числа умер брат жены моей Артемий, о котором говорил я прежде.

Теперь обратимся к прошедшему году, когда за противоречии мои губернатору в хлебном деле прислан был на мой счет с бранным указом нарочный. Подряд вместе с тем еще не был утвержден; после Самойлов подносил об оном доклад, из которого государыня, увидев, 1-е, что мы позволяли подрядчикам вопреки всем законоположениям требовать с казны задатков и такие требовании внесли в договорные статьи; 2-е, что мы попустили за всем тем назначить цены провозу хлеба самые высокие, указала Самойлову написать к губернатору и ко мне ее негодование с таким замечанием, что она ничего нами представленного не утверждает, и если мы не понизим цен и не приведем их в то состояние, какими их обещал в прошлом годе Сенату губернатор, то я лишен буду места. Таким образом, за одно дело был я бранен два раза, но огорчение от неудоволь-

ствия Сената исчезало пред сим важнейшим, и я уже не мог решиться снести сего в молчании, тем паче, что государыня брала в предмет цены, указанные губернатором, о которых я никакого понятия не имел, ибо он по личной его с правительством переписке приводил ее в положительную меру. Я находил нужду во всем том оправдаться и указать ошибку Самойлова, подвергнувшую меня гневу монаршему. Ему не следовало совсем вносить в письмо свое на мое имя таких замечаний императрицы, которые совсем ко мне не относились, а к одному губернатору, но эта деревянная голова подписывала все, что пред него ни клали. Обдумавши все обстоятельства дела, решился я сделать шаг отважный и пожаловался на Сенат государыне, открыл ей, как я был за справедливые мои возражении Сенатом наказан, опубликован, как я принужден был слепо во всем повиноваться губернатору, и в то же время за известие о сем писал к Самойлову, дабы ведал он, что я жалуюсь не исподтишка, а открытым лицом, так, как жаловаться должен человек справедливый, неповинно отягощенный. Между тем в губернии указ сей именной наделал шуму. Губернатор заревел на сообщников своих. Они, дабы укротить зияющего льва, утешали его тем, что Самойлов по простоте своей и медвежьей неловкости не умел для доклада выбрать времени и сунулся не в час. Так обыкновенно говорят те, кои терпят от неудачи.

Пока сими тревогами обуревался рассудок, сердце мое награждаемо было от судьбы новыми семейными наслаждениями. Жена моя родила благополучно, слава Богу, 10 февраля сына Петра. В первый еще раз доделось ей разрешиться тут, а не в Москве, и сие было очень счастливо. Мы ужинали у Тараканова; ехавши от него, жена почувствовала боль, мы доехали домой и едва легли, как она нашлась в необходимости послать за бабкой, а та не успела приехать вместе с доктором, как при мне и Классоне все благополучно кончилось. Петруша увидел свет, но ненадолго, первый крик его тронул мою душу. Родины были удачны, и жена скоро пришла в прежние силы, несмотря на все то, что скоро потом способствовало сильно к изнурению оных. Младенец назван был Петром в честь Петру II, в воспоминание благотворений его к нашему роду. Крестила его госпожа Тараканова и Долгорукий, князь Сергей Васильевич, который в поместье отца его жил неподалеку от Пензы.

Никакие, однако, случаи не могли на минуту отвесть руки Ступишина от пера, когда дело в голове его шло о том, чтоб мне досадить, и он по окончании набора вдруг прислал мне к развязке и исследованию все неправильные очереди крестьян, директором Экономии своевольно назна-

ченные, и против коих я с бумагою к нему входил в самый жар рекрутского набора. Тогда поступить должным образом было бы для директора Экономии накладно. Он имел много сторонних способов отклонить от себя эту беду, но дабы бумага не лежала праздною и имела свою силу, то Ступишина и научили после набора препоручить мне разобрать то, чего уже никак распутать было не можно, ибо люди одни были взяты и усланы, другие отправлены в свои жила, словом, как русские люди говорят, все было и шито, и крыто. Я, нетерпеливо ожидая последствия на письмо мое к государыне, старался только коротать время помаленьку и убивать его, выбирая из многих предлагаемых занятий то, которое менее было скучно. А на севере новые праздники отвлекали умы от провинциальных наших неустройств. Обручение было Константина Павловича с принцессою Саксен-Кобургскою. Оно последовало у двора в феврале, и мы о том узнали из разосланных повсеместно указов[4].

Стечение разных обстоятельств в самое то время почти подействовало на физический мой состав весьма неблагоприятным образом. Кто читал все то, что со мной делалось с некоторого времени, не будет нужды мне повторять тому, что воображение мое в сильной было и беспрестанной работе, но еще никогда до тех пор не терпел я от него тех мучений, кои меня ожидали. Я уже давно не видал похорон ничьих, а на масленице скончалась госпожа Мартынова, мать Загоскиной, в городе. Частые мои посещении во время ее болезни в печальные домы ее домашних и, наконец, самое зрелище ее погребения расстроило меня несколько, но я, желая преодолеть страх малодушия, нимало не берег себя и надеялся, что сей опыт не оставит тяжких следствий. По прошествии масленицы, на первой неделе в четверг[5], расставались мы в первый раз с Павлушей: возраст его требовал попечений о его воспитании, в провинции не было средства ничему его выучить по правилам основательным; итак, решились мы отправить его в Москву и там отдать его на руки хорошему иноземцу; с ним поехал Классон. Вот второе обстоятельство, которое расстроило вновь мое воображение, оно хотя и неприметно трогало меня, но тем-то и чувствительнее, что я никак не остерегался скрытой моей печали, приписывая ее движению сердца, естественному на ту минуту, но скоро проходящему, ибо ребенок, каков был Павлуша, казалось мне по новости моей в звании отца, не может и не должен много огорчить разлукою своею с родителями. Рассудок мой действовал, но воображение покрывалось мрачными завесами, вдобавок к тому я один из моей семьи говел и с утра до вечера углублял свой разум в книги духовные. Я не

входил в кабинет мой, чтоб он не представился мне пустыней спасающегося анахорета. Какая-то усыпительная тоска начинала обременять мою душу. На второй неделе в четверг[6] умер почти на руках моих младенец наш Петруша, и сим совсем опустела детская горница. Мамы, няни бродили круг одного Алексаши как без действия, ибо сей уже такого прилежного и неусыпного присмотра не требовал. Петруша болен был несколько дней. Я сто раз на день во все это время ходил его смотреть; страдальчество сего дитяти впечатлелось так в моем воображении, что я не мог никак истребить томных его и мертвенных взоров из мыслей моих. Наглядевшись на сей предмет жалости, я сделал все то, что могло меня наипаче расстроить, и положил его собственными руками в могилу в монастыре Израиля, где и камень над ним поставлен с надписью: «Horum est regnum Dei»*. Спустя после всех этих сцен неделю, и именно в ночь на четверг же третьей недели поста, я вдруг на вечерней своей молитве, стоя у кровати и приготовляяся лечь спать, почувствовал страх смерти в такой необычайной силе, что встревожил весь дом, не ложился спать, ждал себе последнего часа. Жена в испуге и волнении позвала тотчас лекарей; ни пульс мой, ничто не показывало признаков болезни, но напуганное и расстроенное воображение приводило меня в жалостнейшее положение. С тех пор долго я не мог справиться с силами; будучи здоров совершенно, я всего боялся, я впал в черную ипохондрию. Глубочайшая меланхолия меня не покидала, все меня страшило, я ни на кого не смотрел, ни с кем не говорил без робости и замешательства, которого причины при всем действии моего рассудка, никогда не потерпевшего повреждения, не мог себе изъяснить. Таким образом промучился я до двух месяцев, сперва ожидая ежедневно смерти, засыпая в волнениях, пробуждаясь поминутно и отягощая круг себя или чтецов, или рассказчиков. Пуще всех страдала при изнуренном собственно своем состоянии здоровья бедная жена моя от химерических моих припадков. Из страха смерти переродилась в моем воображении боязнь сумасшествия, словом, я терял всю надежду быть когда-нибудь в прежней бодрости. Мы доходили до крайней степени отчаяния, но природа сжалилась: болезнь моя мало-помалу стала проходить, а между тем и обстоятельства мои по службе, казалось, должны были принять лучший вид, — так казалось, но я всегда ошибался в этом. Из многих опытов в жизни моей сделал я замечание и долгом ставлю предать его моему потомству, что везде, где

* Есть царство Божие (лат.).

человека оставляют в злосчастии люди, там Бог, за него как бы видимым образом вступаясь, ниспосылает если не всесовершенную отраду, по крайней мере сладкую надежду, сию дщерь небес, врачующую наши болезни и страдание души.

Письмо мое, о коем сказано было выше, не произвело никакого действия и, казалось, заглохло. Я сам о нем начинал забывать, как вдруг, действием ли его или случая почесть сие должно, сведали мы и скоро указ получили о том, что Ступишин без просьбы и без жалованья (которое дни три после уже покровители его ему выходили) отставлен вместе со многими другими губернаторами, а на место его определен был бригадир Гедеонов, и в одно время при наречении в многие губернии генерал-губернаторов пожалован к нам в звание сие князь Андрей Иванович Вяземский. Было время в моей жизни, в которое я много о нем здесь говорил, справиться с ним не далеко[7], но случай и титло человека совсем меняют. Мы увидим истину сию ниже и уже не в первый раз с тех пор, как я занимаюсь моею Историею. Гедеонов был мне человек знакомый по жене своей. Она была дочь Талызиной Марьи Степановны, у которой в доме я некогда с ней играл комедию. Правда, что муж ее был одного со мной чина, и тем мог бы я посетовать, что подчиниться должен человеку, который был еще полковником, когда я уже был несколько лет бригадиром, но, во-первых, от разницы наших состояний по службе, ибо он был в армейской, а я в статской, уже не за обиду принималось в общем понятии, когда они нас обходили или, быв моложе, старшинство по местам брали. Сие утешительное людей мнение уверяло и меня, что я не должен по честолюбию в выборе Гедеонова в начальники над собой огорчаться, а сверх того я уже приучен был так много терпеть и так прилежно воспитывал сам себя в школе неудач всякого рода, что уже нимало не тужил о том, что счастия мне нет, а желал только по крайней мере быть покоен и сие-то начинал помаленьку предвидеть. Указ о смене Ступишина пришел к нам на Страстной неделе, отставка ему последовала 13 марта. Ни новый генерал-губернатор, ни губернатор еще не прибыли, они собирались в путь в Москве и ждали хорошей дороги. По сим обстоятельствам должен я был сменить Ступишина тотчас. Не скажу, чтоб такое приключение меня порадовало; я видел в нем злодея, но мщение уступило место сожалению и, как будто предчувствуя, что со временем то же случится со мной, я внутренно болел о сделанном ему насилии и о такой отставке без желания его. При смене его, которую он сам настоятельно требовал, употребил я всю возможную вежливость и снисхожде-

14 Зак. № 3535

ние к летам его и положению. Он сам не мог моему обращению надивиться и признавался тогда заочно, что он передо мною виноват. В Великую пятницу[8] вступил я в правление и принял от него все дела. Он пробыл в Пензе Святую неделю[9]. Оставя Казенную палату директору Экономии, я вошел в новый круг для меня дел, познакомился с губернаторскою обязанностию, доносил государыне о приключениях, пропускал уголовные дела, словом, получил на краткое время область. Новое состояние всегда кажется уважительнее того, с которым человек посредством привычки познакомился. Я не думал еще, подписывая рапорты к самой императрице со страхом и благоговением, что они вместо ее приходят в совсем отдаленные от престола руки, собираются в кучу и что никто их не читает. Больше всего занять меня тогда должен был отпуск хлеба, его надлежало отправить с комиссионерами и тотчас по вскрытии воды, ибо Сура — река такого рода, что когда вода приходит в свое ложе, тогда уже ни одно судно плыть по мелководию ее не может, и для того необходимо было сплавить суда с хлебом в полую воду, время к тому приспело самое благоприятное. На Святой неделе вместо забав и праздников беспрестанно бывал у магазейнов и сколько мог понуждал к успеху. Наконец, караван мы свой отправили благополучно, и я о том во все места отрапортовал. Ступишин, не мешкав нимало, после Святой недели отправился в свою деревню в Пензенской губернии и, не приняв никаких почестей, как помещик скрылся из города самым скромным образом. Я люблю думать, что сие в нем происходило не от зависти к моему начинающемуся благосостоянию, а от твердости в духе, который умеет сносить с холодностию лишение преимуществ, не лично ему, а временному званию только принадлежащих. Ах! Если бы он знал, что я не надолго перестал мучиться, конечно бы он мне не поревновал. Между тем Гедеонов в самом вежливом ко мне письме рекомендовал себя приятельски, не употребляя ничего в слоге своем повелительного, но с какою разницею возвещал нам себя князь Вяземский! Нужно к сему следующее предисловие.

В Нижнем был виц-губернатор, князь же Долгорукий, женатый на родне Зубова[10], который тогда в самой полномочной был силе и пожалован был князем. Все генерал-губернаторы, в том числе и Вяземский, обязаны были ему своим назначением в оные. Князь Долгорукий, чувствуя может быть, что дела его не в самом лучшем виде представят его службу, забежал к Вяземскому с предварительными ведомостьми, рапортами, отправя их к нему в Москву с нарочным. Вяземский был надменен, честолюбив, следовательно, сей шаг того Долгорукова его уже

пленил совершенно, но я, руководствуясь одними правилами законными без вымыслов и догадок, видя из указа, что генерал-губернатор есть генерал-поручик по армии, не зная, где он лично (предполагая его у войск, но где — Бог знает), не имея на посылку нарочных для таких посторонних учтивостей суммы и видя в законных книгах, что когда генерал-губернатор в отсутствии, то к нему из губернии, им управляемой, никто ни с чем не относится, словом, на всех сих документальных резонах утвердясь, никакого к князю отношения не сделал, а ожидал его в полной готовности к отчету. По указам я был прав, но в общежитии с людьми первый долг каждого — и в пренебрежении коего, к несчастию, никакие законы не извиняют — есть то, чтобы польстить самолюбию другого. Сего-то я, виноват, и не соблюл с моим новым начальником. Разность в поступках нижегородского виц-губернатора со мной бросилась в глаза Вяземскому, он не оставил ее приписать моей гордости и, может быть, не ошибся, и дал наместническому правлению предложение с некоторым насчет его выговором. Тогда я к нему написал вежливое, но не порабощенное письмо и изъяснял правильность тех причин, кои побуждали меня ожидать князя лично для всех к нему отношений, а не обременить его в отсутствии. Как узнать можно свойства людские? Божусь, что на месте его я бы сильно презрел трусость нижегородского виц-губернатора и приписал бы ее подлости. Князь Вяземский думал иначе. Отчего? Я буду говорить всю правду: я горд, а он спесив! Сильная разница между этими двумя характерами: один высится внутренно, другой ищет блеснуть наружным. Начало такого рода не предвещало мне большого удовольствия, но я привык к умалению и тесноте. Одна надежда видеть в губернаторе сострадателя и друга меня несколько еще ободряла. Впрочем, нельзя было ни на что положиться, а к тому старость государыни, видимое расслабление в правительстве, величие и мочь одного Зубова, который на развалины ума Екатерины действовал гигантским образом и делал, что хотел — все это держало каждого в некоем недоумении, делать ли что, писать ли куда и к кому в свою пользу, или ждать у моря погоды.

Тогда у двора занимало государыню обручение великой княжны Александры Павловны. Ей хотелось ее отдать за короля шведского. Князь принял и в этом участие. По дипломатической части возвышен был в графское достоинство Морков[11], один из прилежнейших подлипал, но человек, по общему понятию, не без отличных дарований. Они о том только и думали, и с ними сообща государыня, чтоб эту свадьбу устроить. Король сам был в Петербурге, праздники, ему даваемые повсюду с

необыкновенною дотоле еще роскошью, хотя молодость его крайне соблазняли, но он не забывал, что он монарх. Все напряженными силами в столице действовало и влеклось к одной цели, но чему нет судьбы, того не будет. Не мое дело в сей Истории собственно моей указывать причины и входить в подробность препятств, кои повстречались Екатерине в ее предмете, я пишу здесь не государственную историю, а мою, для которой все равно, на ком какой царь женится, но упоминаю здесь о сем потому только, что неудача в переговорах и промах, который в этой свадьбе последовал, огорчил дух Екатерины и мужество ее поколебал так, как никто из современников ее не скажет, чтоб он когда-либо от чего иного столь сильно мог быть встревожен[12]. Мы увидим ниже, куда все сие привело россиян, а до тех пор обратимся к новым бурям пензенского горизонта.

Князь Куракин возвращался из столицы в свои деревни. В мае приехал он в Надеждино снова надеяться и, по неизменному обряду, тотчас меня ласковым письмом о прибытии своем уведомил. Но мне не до того было, чтоб ехать перед ним нагибаться, я ожидал своих новых матадоров и готовился встретить Гедеонова, сей ближе был ко мне, чем генерал-губернатор. Добрые поступки его и вежливая со мной переписка меня расположили в его пользу. Мне хотелось его принять со всей почестью, начальнику свойственной; итак, получа от него известие, что он выедет 8 мая, а от губернатора московского[13] уведомление о том же для приготовления ему лошадей, распорядил все к лучшему: назначил на границу губернии чиновников, назначил их и у ворот градских, а сам ожидал его на его квартире. Он не мог еще занять казенного дома: не всяк после такого хозяина, каков был Ступишин, мог тотчас в него въехать, надобно было несколько недель мыть его, чтоб узнать, что это был не клев, особливо дамские внутренние покои. Гедеонов приехал 20-го числа к вечеру, я принят был им очень ласково. Он вступил в свою должность, а я обратился в мою геенну. Жена его с моей очень скоро познакомились, и мы стали часто посещать друг друга. Бесчиновность, поселившаяся в взаимном нашем между собою обращении с первого дня свидания, обещала нам если не восхитительные, то по крайней мере спокойнейшие дни пред прежними. Гедеонов был человек добрый, не завязчивый и отнюдь не хитрый. Служа в армии, он имел во нраве вспыльчивость, которая по какому-то предубеждению должна служить отличительным свойством офицера и с похвалою замечается. Здесь она была бы крайне не у места. Горячий губернатор есть беда для губернии, но, к счастию, горячность его можно было умерять советами. Он к ним казался наклонен, и притом

и добродушие его большой делало перевес вспыльчивости, опасно было только, что и случилось после, чтоб он не вверился человеку недостойному, ибо такого рода нравы всех удобнее могут от управления постороннего сделаться несносны. Вот, читатель, маленькое о нем понятие.

Дом его познакомил нас с пензенским помещиком Салтыковым, который по зиме еще возвратился из Питера в свою Бессоновку. Мы в ней в отсутствие его живали, но с ним никогда не были знакомы. Разные заочные сплетни, производимые Жедринским, с которым он коротко был знаком, произвели в нем такое противу меня расположение, что он не только не хотел со мной по приезде его в Пензу видеться, ездя в город всякий день, но даже и старался нам оказывать всякое недоброхотство. Так как он в последующих годах будет играть большую ролю в моей Истории относительно к моему дому, то и нужно здесь поверхное сделать о свойствах его описание. Главная черта его характера был каприз беспрестанный, своенравие грубое, всечасная перемена в мыслях, прибавьте к этому и любопытство непомерное. Вот в коротких словах портрет Александра Васильевича Салтыкова. Он из рода был тех людей, кои без всякой причины, рассудком или сердцем определенной, влекутся по одной силе своего пылкого темперамента к добру или к худу, как они настроены бывают пружинами посторонними. Он любил делать добро щедрым образом, мой дом испытал благотворении его в совершенстве, и в самое то же время, не чувствуя ни силы слов своих, ни границ не зная действиям, он так часто готов был всякого оскорбить, что можно бы было, не знав его нрава, попасть в самую грубую ошибку и счесть его за самого лютого врага, тогда как он и помышления не имел вредить. Странный сей человек во всех отношениях, но весьма, впрочем, обыкновенный, подстрекаем был большим любопытством узнать жену мою, о любезности которой он еще в Питере наслышался. Проживши там немалое число лет, он не мог найтить большого удовольствия в провождении времени между дам провинциальных, но при всем его любопытстве он хотел, чтоб свидание с нами произошло нечаянно, дабы не подать виду, что он его ищет. Ничто не могло споспешествовать ему в таком желании, потому что мы жили уединенно, никуда почти не ездили, а паче в те домы, куда он приглашаем был ежедневно. Такое стечение обстоятельств, раздражая его, умножило желание нас узнать. Часто он езжал мимо нашего дома, чтоб хотя увидеть жену у окошка и согласить воображение свое, основанное на молве, с истиною, но кроме того, что трудно узнавать женщину, поглядя на нее в окошко, жена моя, знав о сем, нарочно обо-

рачивалась спиною к окну, когда он мимо езжал в своей золотой карете на показ всем имения своего и знати. О! Он любил почваниться, честолюбие не последнее было чувствование в душе его. Он три раза был женат, но ни с одной не мог ужиться. Последняя, из роду Трегубовых, была тогда с ним в разводе и с одною дочерью скиталась по мелким деревням. В таком положении Гедеонова приезд помог ему весьма много. Тут он нас увидел и так полюбил жену, что выпросил позволение к нам приехать и до конца жизни своей благотворил нам. Лета его и старость отдаляли всякое подозрение; он искал беседы, женина была любезна, она была выше его сферы, но он слушал ее охотно. Противоречии ее частые зажигали час от часу более его сердце, и не было даже между любовниц его женщины, которую бы он с большим пристрастием любил, как жену мою, хотя часто она выводила его из терпения суровыми своими замечаниями насчет его заблуждений. Они часто не имели ничего человеческого от жесткого и необразованного нрава. Меня он никогда не любил чистосердечно, но казал наружный вид приязни из уважения к жене моей, которая выкинула бы его в окошко, ежели бы он осмелился у нас в доме малейшее ко мне показать неуважение. Таким-то знакомством судьба нас наградила тогда, как чаяли мы совершенно одни быть в целом мире.

К умножению сует в Пензе приехал и генерал-губернатор. За несколько дней пред тем директор Экономии, отправясь на восемь дней будто бы обозревать заводы, на которых никакого дела летом не бывает, поехал к нему навстречу и торопился сделать ему свои внушении. Князь Вяземский прибыл к нам 13-го, но приезд его требует описания подробного, ибо генерал-губернатор в тогдашнее время был такой сатрап, которого каждый шаг обращал на себя внимание нас, простолюдинов. Зная несколько свойства его из прежнего моего с ним знакомства, я говорил Гедеонову прежде, чтоб он для встречи его взял свои меры. Губернатор хотел принять его больше ласково и усердно, нежели честолюбиво, и для того не назначил ему никакой встречи. Князь Вяземский ехал уже к нам в досаде за неприсылку от меня к нему нарочного в Москву. Тут еще ярче он осердился на Гедеонова и хотя знал, что ему квартира приготовлена наилучшая в городе, однако, под видом неведения, остановился он у присяжного на квартире. Когда дошло сие до нас, я тотчас догадался, что Гедеонову будет прием худой, не ждал ничего приятного и для себя, но Гедеонов нимало к тому не готовился, как вдруг князь Вяземский, лишь мы взошли к нему оба, обратя речь к Гедеонову, сказал ему: «Знаете ли вы, кто вы и кто я?» По этому вопросу можно было предста-

вить, что последует. Я не стану ничего далее описывать, ибо грустно напоминать себе такие минуты, где видишь, что человек, снискавший столь важное звание трусостью и подлым исканием у вельмож, собравши круг своих подчиненных, высится пред ними и богом каким-то быть мечтает. Мог ли он уверить кого-нибудь, что достоинства личные возвели его на эту степень? Отнюдь нет! Когда б они таковы и были, известно всем современникам Екатерины, что без искания никто ни с каким быстрым умом далеко не происходил. Князь Вяземский столь язвительно выговаривал Гедеонову, что он не встретил его, что тот, нося кроме сана губернаторского характер заслуженного офицера, характер, совсем князю Вяземскому неизвестный, хотя он был и генерал-поручик, почти заплакавши от него вышел. За ним ушел и я, не дождавшись, слава Богу, ни доброго, ни худого слова на свою долю. Он велел нас воротить к себе и, умеря голос свой и все пылкие движении досады своей, сел с нами двумя в карету и позволил себя перевезти в приготовленный для него дом. Сколько ни старался он там показать благосклонности, все вдруг получили к нему отвращение. Он, можно сказать, в эти десять дней, которые с нами прожил, был предтеча того сурового царства, которое висело над головами нашими, ибо каждый день все мы ходили в мундире, никто не смел надеть фрака. Каждое утро в семь часов все мы были у него, он поминутно призывал в свой кабинет то того из нас, то другого, мучил толкованием такой теории, о которой слыхал он, путешествуя по Англии, но здесь неудобь исполняемой, ибо российский помещик или уездный судья отнюдь не Гренвиль, не Шатам[14] и не лондонский лорд, с ним другая потребна совсем метода, а ее-то князь Вяземский совсем не разумел, ибо он не знал Россию. Например, он требовал, чтоб Губернское правление уподоблялось в производстве дел своих полковой канцелярии, чтоб губернатор представлял под ним майора, он сам полковника, мы, председатели палат, были бы подобии капитанов. Можно ли назвать такое распоряжение иным чем, как бредом пресильной горячки? Вот маленький образчик его понятия о статской службе. Молвить ли о свойствах его? Он был при довольной остроте ума горяч до бешенства, спесив, властолюбив, враг противоречия, самовластен в заключениях, скор в предприимчивости, словом, начинен был всеми теми качествами, кои в гражданском начальнике пагубны для управляемого им народа; в обращении своем с нами он никогда нас не называл по именам, но всегда по месту и чину, и даже когда говорил о себе, то всегда титуловал себя своим чином. Рекомендуясь незнакомым дамам, он не забывал сказать, что он генерал-гу-

бернатор. Уверяя, что он почестей не требует, что он родился с ними, он однако же восхищался всяким ординарцем и изливал желчь свою на всех, когда что-либо пропущено было из принадлежащих сану его преимуществ, словом, он всех поставил противу себя, однако все звали его обедать и наперерыв старались его угостить. Откупщик давал бал, в который к ужину из Саратова с курьером привезли аршинную стерлядь. Откупщик этот был дворянин, и князя такая трусость восхищала. По нескольких днях, приведя себе на память прежнее наше знакомство, князь был с визитом у меня. Жена и я, мы решились с ним обходиться с холодною вежливостью и в отплату за посещение звали его на вечер, но не на пир, его у нас не было. Мы в очень малом числе людей отужинали. Давал ему между прочими обед и Салтыков, на который никто из нас двух не ездил, потому что его сиятельство в тот самый день присрочил мне привезти к себе ведомости после полудни, следовательно, не мог бы я успеть его приказания исполнить, выехавши за город, а потом не ушел бы и от крику. Он сам, наконец, давал нам обед, а дам дарил разными безделками, которые накупил он на открывающейся в Пензе годовой Петровской ярмонке. Все эти ласки были так опозданы, что они никого к нему не привлекли. Однажды, гуляя по городу и таская меня с собой, зазвал к себе на вечер. Мы просидели глаз на глаз. Он старался быть любезен, и когда забывал, что превосходная его степень далеко меня ставит от него, то беседа наша была смешна, приятна и заманчива, но когда он вспоминал, что он генерал, а я виц-губернатор, то какая-то на чертах его изображалась угрюмость, которая приводила меня в робкое молчание, а его подымала на ходули. Он никогда не ужинал, ягоды и пиво составляли всю его пищу на ночь. Ею-то он меня тогда и потчевал, но, признаюсь, что никакое сладкое кушание не соблазнило бы вкуса моего тогда от одного зрелища бедного почетного дворянина, который без нужды простоял во весь наш ужин не только без приглашения к оному, но даже не имея позволения сесть. С кем же царям иметь сообщество? С богами, когда наместнику их кажется стыдно присоединить к беседе своей дворянина. Не полюбился князь Пензе, и Пенза ему, хотя и спектакль давали ему проезжавшие тогда симбирские актеры в нашем театре. Нижний начинал ему нравиться непомерно, все там было чисто, справедливо, хорошо, а у нас худо, лениво и бестолково. Итак, он от нас уехал 24-го числа, и Бог с ним, сказали мы все в один голос. Описав таким образом его обращении, его поступки в общежитии, нужно здесь распространиться насчет тех обстоятельств, из коих он почерпнул необходимость приска-

кать так стремительно из Нижнего в Пензу; поелику в них играю я немаловажную ролю, то и воспретить себе не могу о ней потолковать подробно, хотя всякую нелепость крайне скучно приводить себе на память.

За Сенатом важивалось, когда доходили к нему представлении, коих или он решить не хотел, или находил затруднительным, держать их под сукном и при назначении новых начальников туда, откуда они присылались, отправлять их назад, к новому рассмотрению, с тем единственно, чтоб как-нибудь свалить бумагу с рук и не иметь ее на своем отчете, хотя, впрочем, сие правительство редко принуждалось дать его в своих собственных делах. Так точно поступил Сенат и с вошедшим моим о недоимках представлением в прошлом годе и при указе как мнение мое, так и производство дела отослал для рассмотрения к генерал-губернатору. По этому случаю князь Вяземский присутствовал у нас в Палате с нами. Хотя в том указе сказано было ясною речью без обиняков, что по свидетельству с Экспедицией государственных доходов недоимки оказались точно в показанном мною количестве, что и не могло иначе быть, ибо я рапорт мой к генерал-прокурору не с других каких документов составил, как с тех же, кои палата туда препровождала, хотя притом велено было в том указе Сената ему, генерал-губернатору, взять мнение мое в уважение, однако князь обратил всю свою заботу на то, чтобы изыскать, точно ли недоимки правильно сочтены и показаны. Не зная гражданской службы, еще меньше понимая все табели государственных учетных экспедиций, он терялся в наших ведомостях, как в лабиринте, и заседание свое с нами кончил тем, что подписал рапорт от себя в Сенат, содержащий в себе вместо 600 тысяч только 80 недоимки. Страшная разница, которая только в воображении его могла поместиться! Он показал недоимкою, на его отчете лежащею, только ту, которая с того времени накопилась на губернии, как генерал-губернатора в ней не было. Тщетно старался я его ввести в разум вещи, показать ему, что недоимке нет дела до власти, которая управляет губерниею, что она лежит на народе, следовательно, и при воеводах недобранная в доход казны копейка есть так же недоимка, как и те миллионы, которые бы накопились при генерал-губернаторах. Доводы мои ему казались неясны, он не доверял мне. Таким образом не только можно было ее уменьшить до восьмидесяти тысяч, можно было, поставя себе предметом именно текущий тогда год, не счесть оной и до пяти. От сего заключения казна не была бы богаче и шестьсот тысяч недобору по Пензенской губернии остались бы все те же, а сколько для сей развязки дела надобно было труда, письма, хлопот; ведомости переменя-

лись раза по два в день, за всякую летел выговор. Сенат, получа рапорт княжий в такой мудреной силе, приобщил его к делу, то есть, приказным словом сказать, бросил на пол. В другом случае князь Вяземский развернул также в Пензе остроту ума своего насчет всех сведений о своем отечестве. Он дал предложение (оно даже было напечатано), которым палате предписывал отрядить директора Экономии, а ему объехать все казенные селения и, словом, самым хозяйственным образом ощупать их карманы. Может быть, князь и сам не знал, какую он давал власть ему, но распространялась она так далеко, что ежели бы палата его к тому допустила, казенные мужички скоро сделались бы тоне египетских мумий. Между прочим в этом предложении требовалось от него, чтобы он приучал их к чистоте, к общежитию, заставлял избы свои освящать, убеждал ласково принимать соседей, быть между собой обходительными. Все это прекрасно. Теория преполезная, вымысел догадливый, но — в Англии, во Франции, там, где народ просвещенный, привык к тонкостям вежливого сожития с людьми, а в России, в низовой степной деревне, где у мужика от смрада лучин глаза болят и от черной работы около сохи мозоль на всех составах, трудно хотеть, чтобы он умывался и белился ежедневно, чтобы он старался быть миловиден своей бабе, которая также шесть дней в неделе марается за станком около красни[15], а в седьмой утрется для праздника Господня полувымаранным в саже полотенцем. Князь Вяземский думал и сочинял предложение свое в разуме аглинских обычаев, забывая, что он начальник не в Девоншире, не в Дублине, а в Пензе, в русской губернии, отстоящей от всякого просвещения весьма в дальнем расстоянии. Директору Экономии такое предложение было нравно, он не стал бы стараться обличить его трудностью в исполнении, цель его была под видом всей этой науки осмотреть поближе и поподробнее имущество крестьянское и умалить роскошь тех, у коих оставалось еще чем поживиться, но он ошибся в своем намерении, ибо губернатор и я сильно воспротивились тому. Гедеонов сделал свои возражении, во ожидании разрешения на них оставили предложение без действия. Князь ничего не предписал, и так дело сего объезда началось и кончилось одним печатным предложением, которое, впрочем, было очень щеголевато написано, и жаль, что князь сей минуты воображения не посвятил чему-либо другому; игра ума его блеснула бы с большим успехом, нежели тут. Напрасно господа начальники пишут кудрявым слогом свои предложении и галунами, так сказать, обкладывают самую бедную иногда идею, во время производства по оным дел никто красотой слога не

занимается и редкие понимают его, а потом оно обратится в сырой архив на пищу всякой насекомой.

Лишь только проводили мы нашего начальника, который, садясь в коляску, думал, что он много наделал дел, как получила Палата предложение от Самойлова. Казалось, что судьба назначила скопиться всем несмысленным предписаниям в одно и то же время. Видели выше, как чудодействовал князь Вяземский, Самойлов еще мудренее задавал задачу. Тому хотелось, чтобы палата и натуру распорядила по-своему. Велено было прежде готовить большое количество медных денег для отправления в столицу, и для сего они в казначействе нашем губернском копились ежемесячно. Наконец, генерал-прокурор предложил всю медь отправить на тех судах, кои с хлебом назначены были плыть в Питер. Здесь самые простые встречаются неудобства, коих и самый ограниченный ум при маленьком рассмотрении не мог бы не почувствовать тотчас: 1-е, суда с хлебом уже были отправлены, и о том рапорт мой должен был быть получен генерал-прокурором еще в апреле, а он писал уже в июне, следовательно, приказывал, не сообразясь нимало с своими бумагами; 2-е, по Суре суда инако плыть не могут, как в полую воду, время полой воды не продолжается нигде никогда по июнь, и если бы суда не ушли еще в апреле с хлебом, а простояли у берегов до сего времени, то бы и отправить их ни с чем уж было не можно, следовательно, генерал-прокурор не знал ни карты, ни места, ни удобностей того края, куда насылал свои приказании; 3-е, если б и могла чудесным образом вода в Суре поднять в Иванов день суда с хлебом, то, готовя их, палата единственно для сего транспорта не имела бы возможности умножить довольно важный груз провианта еще знатным количеством металла, который бы потопил все барки, следовательно, Самойлов писал то, что ни в чью благоразумную голову не вместится. Другой ответствовал бы помягче, я, к несчастью, озлоблен был и не умел молчать. Итак, я на сие предложение послал представление с прописанием всех вышеозначенных замечаний за исключением только моих ergo, кои здесь в излиянии исторического духа поместились.

Вот как служба час от часу более меня забавляла, а к тому и обстоятельства московского дома, приходя в чувствительную расстройку, часто тревожили мою душу. В самое это время на доклад Сената по причине нарочитой дороговизны дров в окрестностях Москвы вышел именной указ, чтобы воспретить во всей Московской губернии, какой бы то ради причины ни было, винокурение. Он состоялся 26 апреля, а публикован в июне[16]. Конфирмованный доклад Сената был в такой силе, чтобы в Мо-

скве, то есть в ее губернии, позволить докурить только то вино, на которое тутошние помещики, имеющие заводы, законтрактовались или с казною, или с откупщиками, по истечении же настоящего четырехлетия совершенно падало на все винокуренные заводы запрещение с исключительным только правом помещику про свой обиход, согласно с прежним новым же узаконением, курить девяносто ведр вина в год. Хорош ли сей указ или нет, отяготителен ли для дворян московских или наипаче выгоден для откупщиков, о сем рассуждать совсем не входит в мой предмет в частной моей Истории. Что мне до свойства государственных законоположений? Я бы забыл охотно и о сем последнем, если бы меч самодержавия не падал прямо на меня как на помещика московского, у которого был маленький завод, но пословица давно известна, что где тонко, тут и рвется; итак, надлежало придумывать средства убавлять еще домашние расходы и стеснять круг своих необходимостей. Куда как грустно и нужное приводить в вес и меру, когда многие, очень многие и от избытков своих уделять не хотят пылинки на пользу общую! Потужим, вздохнем и пойдем далее.

25 июня родился великий князь Николай Павлович. Я, получа сие известие, сообщил его тотчас Гедеонову, который обозревал города и был в отлучке. Около того же времени у двора, то есть 28-го, в день, который Екатерина всякий год любила отличить новыми щедротами[17], было генеральное производство в чины по статской службе, и у нас принял в нем участие по старшинству своему один Жедринский. Никто не тужил о том, ибо все знали, что в сих переменах доставляет каждому чин не достоинство, но старшинство, и, где люди равно бывают несчастливы, там уже благополучие не так сильно желается, потому что нет особенности, а ничто так людей не успокоивает, как равенство. Мы по большей части оттого все бываем недовольны, что видим разницу перед собой во многих, и разницу оскорбительную, когда почести применяем к качеству заслуг каждого, но в таком случае, где все равно обойдены или равно забыты, кроме некоторых случаев, под кои они еще не подходят, менее гораздо прискорбно переносить и самую несправедливость, — вот в чем состоял наипаче разум правления Екатерины. Сюда не принадлежат исключении фаворитов, на них не было ни правил, ни закона, я говорю о людях очередных и среднего состояния в службе. Когда воротился Гедеонов в город, пожелал я погулять и съездить на Саранскую ярмонку, которая бывает в Успеньев день[18]. Для сего писал я к князю и в благосклонном ответе получил отпуск на восемь дней. Скоро потом имел я

случай писать опять к нему с жалобой на асессора палаты Бестужева, которого поступки и запальчивая смелость выводили меня и товарищей его при слушании всякого дела из терпения, и генерал-губернатор, уважа мое отношение, приказал губернатору, призвав его к себе, сделать ему начальничье увещание, дабы он поведение свое соглашал с носимым им характером члена палаты. Внимание сие несколько ободряло меня, обещая что-нибудь и лучшее еще по времени, но все жизнь моя тянулась с большою скукою. Переписка княгини Несвицкой, всегда постоянной в приязни ее ко мне, доставляла мне иногда удовольствие видеть, что я не всеми еще забыт в столицах, но напамятовании друзей, когда необходимость нас с ними разлучает, не суть ли иногда стократ горестнее, чем самое их забвение? Когда не чувствуешь лучшего, тогда на худое смотришь с терпеливым равнодушием, но если видишь, что мог бы быть счастливее, и заключаешь дни свои в томном уединении, не свойственном с твоим характером, тогда горесть твоя еще острее становится в часы меланхолии. Разбивали ее письма Струйского, которые наполнены были нелепыми стихами и часто смешили меня до потери сил, я имел терпение на них аккуратно отвечать, дабы продолжить переписку, нужную к рассеянию моей скуки. Не было, однако, никогда смешнее письма того, которое я получил от асессора нашей палаты, плывущего с хлебным караваном в Питер, г. Лаптина. Он служил всегда на море, и перо его было самое корабельное. Такой бестолковой грамоты я никогда не читывал, она у меня не затерялась и доныне в моих бумагах хранится. Сумароков сказал: «Без разума смешить — дар подлыя души»[19]. Я не знаю, справедливо ли он сделал сие заключение; на то, чтоб опровергнуть его, стоит только прочесть его комедии, которыми он, конечно считая душу свою не подлой, забавлял Елизавету, современницу свою на престоле, ибо в них нет ни одной острой шутки и все простонародно. Да хотя соглашусь я с ним, что без разума смешить не возвышает душу, по крайней мере полезно для тех, кои смеются, а когда хохочешь, право, не станешь тогда выказывать разборчивость свою насчет причин смеха. Было бы весело — вот цель, достигнуть ее всегда приятно. Я здесь о таких маловажных обстоятельствах включаю для того, чтобы показать всю суровость нашей участи. Когда нам подобные в Москве и Питере веселились, смотря на хорошую французскую комедию, или забавлялись сами ею, в приятном кругу играя, когда, с милыми людьми беседуя, забывали, как текут часы жизни, или, на балах просиживая ночи, смешивали нечувствительно двое суток в одни, тогда мы с женой, обмануты будучи во всех

наших надеждах, радовались и тому, что какой-нибудь простачок напишет ко мне письмо, которое мы сто раз прочитываем, всякую его глупость раздробляем, дабы несколько посмеяться. В самое это время, трогаясь таким мучением и видя, что необходимо нужно было мне переменить место и воздух, согласясь с матерью моею, жена сделала общий план написать, первая — к государыне самой, а последняя — к Зубову, о переводе меня в Москву. Старость матери моей и состояние дел ее давали, кажется, ей право приступить к такому решительному предприятию. Я, написав матушке письмо, отправил к ней, и она изволила его, подписав, послать прямо на имя государыни; в подкрепление к оному, женино письмо к Зубову было написано весьма трогательным слогом, но у больших господ нет натуры, они ее не чувствуют. Об них можно сказать, как об тиранах превосходно Волтер изъяснился устами Меропы в ее трагедии: «Ce n'est pas aux tyrans à sentir la nature»*[20]. Вельможи ни вздохов, ни слез не примечают, для них все счастливо, и когда, как пленительно сказал Delile, «le déjeuner du riche occupe les deux mondes»**, придет ли им на мысль сирота, бедность, печаль, слова жесткие для ушей любимцев фортуны. Итак, письмо к государыне осталось без действия, а князь Зубов ни слова жене не отвечал не только сам, ниже через кого-нибудь. Такое уничижение не сильно ли удручить бытие каждого на свете? Но доколе не увидели мы из продолжения времени нашей и в этом новом поступке неудачи, мы, отправя письмы в августе, остались спокойны, в чаянии от них непременно пользы. Стократно скажу: о, как человек счастлив, что он не знает будущего! Как благодетельно поступило с ним провидение, сокрыв оное от глаз его. Куда бы делись те приятные надежды, кои услаждают бремена жизни нашей, если бы мы знали заранее, что то опрокинется, другое не удастся? Благословенная надежда! Ты нас тогда своими обманчивыми прелестьми утешала, мы уповали и были тем счастливы. Кто не желает к чему-нибудь придраться, чтоб только иметь хоть слабую причину надеяться лучшего?

Отпуском, данным мне от генерал-губернатора на восемь дней, воспользовался я в августе и поехал на Саранскую ярмонку вместе с женой, сопровождал нас и Салтыков Александр Васильевич. Путь был очень приятен, и по крайней мере я несколько отдохнул от Казенной палаты, которая более надоела мне, чем арапу сахарные насаждении в Индии[21].

---

* «Природу матери знать не дано тиранам». (Пер. с фр. Г. А. Шенгели).

** См. примеч. на с. 319.

Доехав, однако, на ярмонку, присоединились к забавам и хлопоты, ибо при отъезде моем губернатор письменно поручил мне принять управление в Саранске над полицией и поревизовать тамошние места, в исполнении чего не нашел я причин быть сим поручением чрезмерно довольным; везде все было худо, несмысленно, и суды почитали не только погрешности, столь общие всему человеческому роду, но и самые даже насилии извинительными. Я пожурил и пожаловался. С ярмонки проехали мы через Шишкеев в Рузаевку, деревню Струйского. В Шишкееве мы видели поляка довольно пожилого, который прислан был по делам политическим на жительство в сей город. Он был женат, имел детей, большое имение, пост уважительный в службе — все это оставалось только в его воображении, и он в Шишкееве, получая от казны весьма умеренное подаяние, питался на счет добродушных помещиков, кои, не рассматривая причин политических, помогали всякому тому, кто терпел нужду. Он был умен, — дурака бы, верно, не сослали. Игрок на скрыпке прекрасный. В доме уездного судьи[22], у которого был тогда бал, составленный из общества градского и его собственных музыкантов, этот изгнанник по имени Хоржевский с таким выражением трогательным игрывал польские, что заставлял меня посреди танцев глубоко задумываться и сам проливал слезы. Есть что-то в нас, как ни рассуждай о сем внушении природы, что делает нам повсюду милым воспоминание нашей родины. В этом же самом доме хозяин заставил детей своих играть для нас маленькую комедию. Театр поставлен был в билиярдной, которая так была мала, что негде было даже поставить нам стульев, и на билиярде помостили доски. Тут мы сидели не очень мягко, но и в забавах иногда есть необходимость переносить худое. Театр начался около полночи. Глаза уже у всех слипались, но надобно было их отворять насильно, чтоб видеть Констансу в «Необитаемом острове»[23] и в первый раз испытать в жизни, что такое театральное зрелище в уездном городе. Море, представляемое самым странным образом, на лоскутке крашенины кистью пьяного маляра, так было от нас близко, что мы и билиярд, и хозяин, и люди, все казались плавающими на водах оного. Счастливо было для нас, что обман сей был груб, иначе мы бы перепугались, и было бы чего, но я далее описывать странностей сего позорища не стану. Мне совестно даже, что я и сказанное из тайны выпустил. Марать не стану, но вновь ничего не прибавлю. Совестно осуждать такие вымыслы, коими люди от доброты души с простотой патриаршеского века стараются гостей своих занять и позабавить. Их забавы тяжки для просвещенного ума, — так, но они того не знают.

Простительно такое заблуждение. Лучше бы, конечно, они сделали, если бы без затей моды и обольщения, большому свету свойственного, накормя нас хорошо, с усердием, из хижин своих проводили, но кто не хочет показать, будто он выше своей степени стать умеет?

У Струйского, которого я описал прежде, нашли мы изуродованный Парнас и Аполлона в увечье. Музы там представлялись в самом жалком виде. Оптика занимала по-старому хозяйское понятие. Он читал нам свои стихи, водил нас в типографию, и там при жене тиснули стихи, сделанные им в похвалу ее, экспромту. Приятно было этому поверить, чтобы по крайней мере за учтивость заплатить снисхождением к самому несмысленному творению и извинить недостатки его скоропостижностию намерения, впрочем, гостеприимство его и милой жены заплатило нам с избытком за ту отяготительную скуку, с которой принуждены мы были слушать его стихотворные сумасшествии.

По окончании сего приятного путешествия, воротясь домой опять в ту же Пензу, нашли письмо от графа Менестроля. Он был выходец или, тогдашним модным словом сказать, эмигрант французский, приверженный к правам Бурбонского дома. Лишение всего отечественного прибило его со многими другими к трону благотворной Екатерины, подобно как бурею разбитые суда разной величины и формы прибиваются волнами к берегам счастливого населения. Он просил хлеба. Императрица пожаловала ему шестьсот рублей серебром, приказала выдавать их ему из Пензенской казенной палаты, предположив ему жить в Пензе, как городе таком, где дешевизна в съестных припасах умножила бы цену назначенного ему пенсиона. Приготовляясь получить его от меня, он и старался уже заранее свести со мной знакомство. Участвовавшие в нем знали меня и знали, что такое в России провинция. Надобно было ему представить картину жизни нашей в выгоднейшем виде, и потому научили его отнестись ко мне, дабы по крайней мере приготовить ему беседу с людьми, разумеющими его язык и разговор. Он был благородного происхождения и близок некоторым образом ко двору несчастного Людовика, имея за собой в замужестве дочь его кормилицы. В сентябре он к нам приехал и привез, сверх многих рекомендательных писем о себе к губернатору, два и ко мне, от казначея великого князя г. Николаи и княгини Голицыной, той самой, что была у нас в Пензе. Я его принял наилучшим образом, губернатор также, с первого дня наши дома сделались его собственными. Губернатор открыл в пользу его подписку, собрали и подарили ему ста три денег. На первый случай для него с женой и одной только дочерью

на возрасте, чего же больше можно требовать? Вдобавок к деньгам, снабдили его квартерою даром, дали столовой посуды, белья, словом, поступили так, как издревле россияне в гостеприимстве поступают. Но этот француз, несмотря на его породу, несчастия и благотворении жителей тутошних, заплатил нам после весьма худо и показал, что в его отечестве редко добрая душа и правильный рассудок совокупны бывают с остротой ума и тонкой догадкой. Сих двух качеств у французов отнять не можно, но кроме того ветреность и легкомыслие составляют главные черты характера их народа. Итак, он основал между нами жизнь свою; посещая часто меня и любя много говорить, он болтаньем своим то смешил меня, то нередко доставлял самый крепкий сон. Несчастии исправляют человеков, а француза, мне кажется, ничто, и об нем-то можно сказать: «Каков в колыбели, таков и в могилку». Чего этот граф на свою долю не вытерпел? Однако ничто не сильно было основать его мыслей, и воображение его летало везде без всякой пользы. Рекомендательные письма, им доставленные, были наипрекраснейшим слогом написаны. Он в них был расхвален. Но кто ж не знал, что большие господа и дамы лучшего света раздают эти грамотки свои несчастным вместо денег? Они им ничего не стоят, а сим последним служат верными векселями, ибо по ним после мы, отдаленные и живущие в глуши люди, за хороший слог и почетные к нам отношении плотим беднякам чистыми деньгами. Так-то на свете все друг друга условились обманывать, под самым лучшим видом однако, под видом благодеяния. В письме своем об нем Николаи между прочим давал мне знать о смерти г. la Fermière. Он был чтец великого князя и автор многих опер, которые мы в благополучные дни молодости своей у веселого двора играли. Я здесь о сем упомянул не для посвящения памяти его и не для того, чтобы мне было его жаль, он для сердца моего был человек совсем посторонний, но дабы придраться к случаю напомнить себе прекрасные дни счастливой юности моей. Я верю очень этой песне старинной: «Des simples jeux de son enfance, heureux qui se souvient longtemps»*, а так как мне его не жаль, то идея о его смерти никакой тени не наводит на приятное мое воображение прошедшего благоденствия. Многие не любят прошедшего, но я ему благодарен и не забуду вечно тех минут в жизни моей, коим обязан я был хотя малейшею отрадою. Увы, так мало их на свете!

---

* Счастлив, кто не забыл простых забав своего детства (фр.).

Новый наш благодетель Салтыков истощил все силы свои к доказательству нам его приязни и, по короткости своей с Николаем Ивановичем Салтыковым, выпросил сыну нашему второму, Алексаше, чин сержанта в гвардии. До сих пор он числился кадетом в Каргопольском Карабинерном полку, а тут переведен был в Семеновский полк в сержанты, и пашпорт ему на сей чин доставлен был ко мне при самом ласковом письме от графа Николая Ивановича. Такие случаи всегда меня очень радуют. Все довольны, и никому больших хлопот это не стоит. Николай Иванович рад был, что мог такою безделицею показать нам вид большой услуги и благоволения. Что легче было сделать в то время этого? В полках гвардии записывались младенцы, еще не вышедшие из утробы матерней, и по прописанному в паспорте имени мать давала его сыну, считая, что она тем споспешествует его благополучию. О! Какое мечтательное благополучие! Александр Васильевич был рад сугубо: во-первых, потому, что делал нам удовольствие, во-вторых, что тем показывал связь свою с графом Салтыковым и силу свою над его произволением. Мы меньше всех были рады, но и мы не без удовольствия приняли этот подарок, потому наиболее, что не просили об нем, но само собой пришло, без искания, с какими сопровождаются все почести мира от самой малейшей до высшей. Ребенок Алексаша, не разумея еще ничего, радовался тому, что все около его смеялись, поздравляли его няньки, портной снимал мерку, и шили ему мундир, который служил ему и всем в забаву, следовательно, такие неубыточные милости очень полезны для милостивца и для благодетельствуемого, а между тем сими опытами дружбы или, по крайней мере, доброхотства, связь наша с Салтыковым более и более укреплялась. Гедеонов равным образом, хотя не с таким жаром, однако привязывался ко мне и меня к себе искренно привязывал. Мы часто были вместе и собирались между дел веселиться. Учредили новый клоб. Француз де Руссель был оного содержателем, и дом нанят был под него каменный прекрасный Колокольцова; все, кажется, способствовало нашим ожидаемым увеселениям, и рекрутский набор, о котором 13 сентября вышел манифест, с пятисот по пяти не угрожал нам большими хлопотами, ибо Гедеонов был человек сердобольный и можно было поручиться, что за деньги никого плакать не заставит. Генерал-губернатор ежели и задорился, и от задора делал не все в должном порядке, но это от нас так было далеко, что едва из Нижнего к нам эхо отзывалось, и то так слабо, что мы не приходили ни в малейшее движение. Сверх же того и он отменою своего предложения печатного, о котором говорено

было выше, произвел кроме директора Экономии приятное во всех впечатление. О сей отмене извещал меня Гедеонов на письме октября от 2-го числа, и я был свидетель того удовольствия, какое произвело в нем уничтожение столь тягостного для поселян коронных распоряжения, видно, что и князь, наконец, прочел его со вниманием, увидел важность поручения своего директору и вместе опасность многих злоупотреблений, проистекать оттуда имеющих; итак, все налаживалось мало-помалу к лучшему, но Богу угодно было посетить Россию гневом своим, отнять Екатерину и положить новое начало моим злополучиям.

Екатерина II скончалась 6 ноября, сильный удар паралича не пощадил и порфирородной главы ее. Тело ее еще страдало, когда дух бессмертных подвигов ее носился в неведомых нам пространствах. Я оставляю историку века ее, историку самой кончины ее описать потомству, сколь минута сия была пагубна для России и ужасна для всей Европы, пагубна для первой — увы! — во всех отношениях, ибо она миловала свой народ. Сию правду мы праху ее воздать обязаны, хотя нередко отличала она его в угождение беспредельному честолюбию геройского духа, но вся Россия опиралась на нее, как на некий непотрясаемый столб, и могла уверена быть, что доколе она жива, иноплеменники не одолеют ее, и не предаст она царства своего в руки врагам, так, как царь Израилев освобождал народ, им водимый, от ига фараонова[24]. Все ее замыслы военные не приносили с собой тревоги, ибо внутреннее удостоверение было в каждом, что Екатерина, неограниченным умом действуя, не выдаст подданных своих, разве сама погибнет. Оставляя историку с похвалой всех доброт ее открыть потомству завесу ее слабостей и обличить ее во многом худом пред трибуналом беспристрастия и истины, скажу здесь только то, что и самые те, кои ждали Павла на престол российский, как Мессию, кои, так сказать, почитали себя уничиженными скипетром женщины, приходящей во все расслаблении немощного естества нашего, и те самые скоро по смерти ее увидели, что недостатки и несовершенства правительства, кои существенным и нестерпимым злом им казались, были благи в сравнении с неустройствами, водворившимися в гражданскую сферу царства. После россияне, не все конечно, но те, кои воздыхали о Павловой короне, могли себя уподобить лягушкам, просившим царя[25], и от времян кровавых Анны живши спокойно, но спокойства ценить не умея, в тщетных мятежах сердца, никогда настоящим не довольного, узнали, что нередко Бог во гневе своем дает людям царя. Я не писал стихов на смерть Екатерины, я не возносил ее публично живую, но

когда лести в словах моих подозревать нет причины, когда благодеющая Екатерина взята от нас в области духов, то да позволено будет мне, мне, никогда, как видно из Истории моей, не удостоившемуся получить милостей ее отличных, вздохнуть здесь об ней, пролить в память ее чувствительные слезы и восслать к Богу о примирении ее с собой (буде величество его было оскорблено ею) теплейшие молитвы. Я пишу один в моем кабинете, меня кроме четырех стен моих никто не слышит, и похвала моя не имеет иных видов, как удовольствие изъявить признательность такому существу между смертными, которое научило нас ценить преимущество добра на свете. Державин сказал как стихотворец, для славы на Парнасе, в одном своем творении:

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал[26].

А я, воображая дни Екатерины, с внутренним убеждением сию истину проповедую, ее и вещаю.

Обратимся от могилы великой обладательницы, от ничтожного трупа, вмещавшего в себе дух законодательный и мужественнейший в Европе, обратимся к ужасам нового на севере Нерона, почувствуем, что гнев Божий, когда отяготится рука его на нас, есть образ ада во вселенной. Павел принял престол 6 ноября и по какому-то суеверию, которого никто не постиг причины, посвятил себя Архангелу Михаилу, учредив 8-е число ноября знаменитым праздником в России[27]. Манифест о вступлении его на престол получен в Пензе 16 ноября. В самый сей день мы открывали новый клуб и, собравшись во множестве, танцовали, как вдруг печальный вестник поразил нас сим плачевным известием. Нет нужды рассказывать, что все пришло в [к]акое-то оцепенение, скоропостижность удара тронула каждого, всякий думал, что она проживет сто лет, и никто, наипаче в текущий год, не представлял себе кончину ее так близкой. Много способствовало к тому неудача выдать Александру Павловну за короля шведского, которая сильно государыню встревожила. Первое движение мое было крепко вздохнуть, грудь моя стеснилась, и я, как будто ожидая новых несчастий, не имел духу радоваться. Однако же жена моя приносила монарху новому как старому попечителю юности ее письменное поздравление и послала его по почте. Нам казалось нужным сим о себе напомнить. Салтыков бегал и загадывал, кого позовут, кого

во что пожалуют, Гедеонов смиренно сокрушался и был подлинно тронут, все больше или меньше изъявляли сожаления и печали, один Монестроль восхищался. Но чему? Едва знал ли он про то и сам, однако, не мешкав долго и не поблагодаря никого за подаяние, помчался в Питер искать чинов, лент, имения. Вот в каком положении нашелся город по получении манифеста. На другой же день принята всеми присяга. Кроме манифеста, ни от кого не было никаких известий, ни писем, а курьер сенатский не мог нам ничего основательного сказать. Подорожная его служила нам поводом к заключению о многих чрезвычайностях, ибо подписана она была государем Александром Павловичем, объявленным в присяжном листе наследником Всероссийского престола. Не долго пробыли мы в неведении о петербургских обстоятельствах, скоро полетели курьеры, и почты стали разносить новости, как большие реки разливают весною с шумом в овраги свои воды. Увидели из приказов, кои печататься начали в газетах все, реформы войск. Скучно бы было мне и не у места наполнять мою Историю происшествиями двора и государственными переменами, но некоторые здесь включу для того, чтобы ими дать понятие о странном характере нашего государя. Он был вместе и робок, и жесток. Первое происходило от последнего: всякий деспот — трус, это необходимо, ибо он знает меру соделываемого им зла, следовательно, рано или поздно ждет мести. Суеверие его происходило от робости и плотского страха безвременной смерти, которой питая предчувствие, через сорок лет привык от малости приходить в испуг и ко всем был недоверчив. Пагубное свойство в государе! Жестокость, которая не была ему свойственна, привили эмигранты внушениями неблагонамеренными насчет приветливости его к народу, которого они по примеру Франции и в России представляли страшилищем. Отсюда проистекали в нем ненависть к наукам, омерзение к просвещению и колеблемость во всех действиях самодержавия, словом, смесь его добрых склонностей и тиранств никто не поймет вовеки. Приятно заключать в пользу сердца его, будто он, как многие то утверждают, был поврежденного ума и не по произволу, а машинально от безумия разъярялся. Он приступал ко всему с жаром непомерным, нетерпеливо желая переделать то, что мать его ни сделала. Остановил военные действии в Персии[28] и отменил рекрутский начавшийся набор[29], чем в народе купил на тот раз неограниченную к себе любовь. Распускаемые рекруты по домам, жены их и дети, отцы и матери, все его благословляло со слезами умиления. Я видел это зрелище в Пензе и помню все его прелести. Войска приняли совсем другой вид, образование

их началось немецкое, и гвардия крутые выдержала перемены, малолетных всех выключили, следовательно, и ребятишки мои сделались недоросли по-прежнему. Хорошо ли было сие или худо, об этом я не войду ни в какую подробность, но нимало о том не тужил, почитая все эти записки за детские игрушки, так, как и то, что он Аннинскую ленту разделил на четыре степени[30] и первый крест ее на шею дал Талызину, гвардии капитану, который после и заплатил ему за сию милость щедро[31], равно как и Зубов Николай, получивший Андреевскую ленту за возвещение ему о приближающейся кончине матери его[32], о которой послал ему князь, брат его, доложить в Гатчину, и сей-то самый Николай после снарядил его в путь вечности[33]. Раздача земель и деревень казенных помещикам обрадовала сперва многих, но когда скоро потом увидели, что сегодня он давал деревни, а завтра ссылал в заточение, первое без заслуг, а последнее без вины, то цена милостей его и щедрот так унизилась, что никто уже и предметом их быть не захотел, а всякому лестнее или по крайней мере спокойнее казалось быть от него забыту. Всякий день приходили разные вести, но как мы получали их не из первых рук, то многие молвой так обезображивались, что иным верить было невозможно, однако со временем все странности стали казаться вероятными, каждая почта приносила свои анекдоты. Павел, проживши весь почти век свой в бездействии, торопился все вдруг завести по-своему. Он учредил в разных губерниях, а особливо пограничных, военных губернаторов и подчинил им все войски, а настоящих губернаторов для различения с теми назвал гражданскими. Таким образом, сделались два медведя в одной мерлоге и нового рода несогласия. Генерал-губернаторы отменены и все посажены в Сенат, который увеличился новыми департаментами. Тотчас призвал он к себе князя Куракина и употребил его в Коллегии иностранных дел, где он заступил скоро место виц-канцлера[34]. Брат его, князь Алексей, сделался генерал-прокурор[35], а Самойлов отставлен, и правитель канцелярии его, Ермолов, высидел сутки под караулом[36], несмотря на чин его и отличие. Такой поступок с чиновником пятого класса не обещал ничего благоприятного; смесь деяний его никто не мог покорить никакому рассуждению. Как можно было, например, согласить поступок его в похоронах Петра III, которого он из Невского монастыря, короновав гроб его, перенес в крепость и поставил рядом с Екатериной[37], повеление выдрать из всех указных книг 62 года манифест о отречении Петра III[38] и, наконец, окружение себя всеми, кого он только вспомнить мог из царедворцев Петра Третьего, собрав их с целого света

и возвысив в первые степени так, что даже и фелдшера его род вошел в люди лучшего общества? Как можно все эти дела согласить с тем набожным повиновением, с другой стороны, оказанным им Екатерине при пожаловании Бобринского в графы[39] и при наложении крестов Владимирских по оставшимся руки ее запискам, назначающим дать их некоторым чиновникам, в том числе и вышепомянутому Ермолову[40], тогда как после сей раздачи он никогда его никому не давал и вовсе из числа орденов исключил? Из всех перемен в чинах и званиях удачнее ничего не было наименования Васильева государственным казначеем[41]. Но как некстати восставлены были по-прежнему все коллегии[42]! Ибо он пристрастно хотел восстановить век и правление Елисаветы. Увы! Кто знал, чего он хочет? Он и сам того не ведал! Любя Нелидову как наложницу, он для нее дал портрет статс-дамы[43] Лафонше и ее со всем Смольным монастырем подчинил императрице, сделав ее начальницею Опекунского совета. Наследник сделался военный губернатор в Петербурге, и без его подписа ни одна подорожная не была действительна. Появилась монета с надписью: «Не нам, не нам»[44] и была вывеской его набожности. Поляки сделались везде свободны, и сам Костюшка, начальник польских мятежей, быв щедро награжден, отпущен за границу[45]. Вот несколько дел восшедшего на престол Павла, довольно их, чтобы теряться в хаосе свойств его и прийти в недоумение, добр ли он был или зол, горд или низок, мужественен или трус. Оставя все сии заключении другому, пора мне войтить в мою сферу, говорить о себе.

Пославши от жены к нему письмо, остались мы если не в надежде больших благ, по крайней мере в чаянии, что зла вящего не будет, но, видя выключки беспрестанные из гвардии малолетных и не являющихся на службу, отправил тотчас Богданова Гришу, который жил при мне в Пензе, в Питер, где он успел попасть в число вахмистров в Конную гвардию по прежним паспортам и вступить в тяжкую того времени службу. По крайней мере, он был у места, а молодость его давала случай думать, что он прочистит себе дорогу. Шишкеевский поляк с торжеством явился в Пензе, изъявил начальству свою благодарность и поехал в Питер. Рекруты возвращались в свои домы. Вяземский, забирая из Нижнего свои пожитки, ехал в Москву садиться в сенаторские кресла, ознаменовав власть над нами грозным мне письмом насчет голосов в палате, кого избрать в секретари рекрутского присутствия по протесту о том прокурора. Мало, конечно, чести спорить о столь низком предмете, но если люди низки и предмет такой впору их мелким подвигам, то мое ли

было дело подставлять под них ходули и возвышать их образ мыслей? Я служить с ними был обязан, а отнюдь не воспитывать их. Палата была не пансион, я не профессор, члены мои не дети. Князь Вяземский гораздо бы благороднее поступил, если бы он занимался существенною своею должностью, не делал виц-губернатору пустых выговоров и не возлагал на него комиссии, на которую я до сих пор имею письмо, дать знать ему, где в Пензенской губернии лучшие деревни, дабы в угодность Плещееву, который входил в большую силу у двора, выбрать ему хорошее имение с тем, что он его выпросит, ибо тогда счастливый и нахал назначал сам то, что он иметь хотел, но трудно, руководствуясь пристрастиями, поставить себя с подчиненными своими на прямую ногу и поступать с ними сообразно правилам строгой честности и благоразумия. Наконец, Гедеонов сделался главным начальником, отношении в Нижний исчезли, и круг дел сосредоточился весь около нас. Сие сделало в службе облегчение и удовлетворяло тем моим желаниям, ибо прежде по расположению почт и самая нужная бумага от генерал-губернатора не могла скорей возвратиться, как на рапорт в Сенат указ из оного, а чем ближе развязка, тем скорее и дело делается.

Говоря об уничтожении генерал-губернаторов, для забавы читателя скажу здесь нечто справедливое и очень затейливое. Все генерал-губернаторы имели при Екатерине серебряные богатые сервизы для умножения их почести. Павел приказал их все востребовать ко двору и сперва с жарким нетерпением велел из них сделать какие-то уборы для Конной гвардии. Скоро потом новая мысль переменила прежнюю, и то же серебро пошло на латы кавалергардам, которые до того были в большие церемонии окованы серебром, что походили на движущиеся слитки серебра более, нежели на людей, им украшенных. Наконец, Павлу и то наскучило, но между тем надлежало заплатить за фасон и переделку серебра из посуды в квирасы, из квирасов в латы, и цена работе сей по счетам так была высока, что серебряники вместо платы получили самое это серебро себе в удовлетворение. Вот знатный опыт хозяйственного духа Павла и его осторожного благоразумия. Кто сему не поверит, может взглянуть в сочинение г. Массона[46], где он найдет этот анекдот весь от слова до слова, и лжи тут нет никакой. Кто жил при Павле, тот этому не подивится. Не мое дело плодить здесь тех случаев странных, кои обращали на себя внимание всякого благомыслящего гражданина, но не лишнее будет включить несколько таких, кои произошли именно в Пензе, следовательно, действовали на собственный мой круг и на мои чувства. Старого виц-губернатора Копье-

ва сын, малый молодой и дерзкий, бывши при Зубове с чином подполковника и звании рассказчика забавных повестей ему от скуки (ибо у таких вельмож, каков был Зубов, и самые низкие шуты, не только высшей степени балагуры, имеют чины по стату), приехал по смерти Екатерины повидаться с отцом и проездом в Москве имел неосторожность выезжать в каком-то странном и безобразном наряде публично, насмехаясь преобразованием войска и его одежи. Павел любил все знать, тотчас к нраву его применились, везде появились шпионы, и Копьева поступок был у двора ведом. Мы о сем ничего не знали, как вдруг прискакал в Пензу фельдъегерь, явился к губернатору, схватил Копьева и отвез в кибитке в Питер, где он за неудачные свои шутки заплатил изрядным заключением в крепости. Приезд фельдъегеря поразил весь город; узнав, что эти люди, не что иное, впрочем, как рассыльщики, избраны были Павлом и образованы на то, чтобы собирать со всей России жертвы проголодавшимся во дни Екатерины крысам по крепостям и темницам, мы с великим почтением на него глядели, и целый тот день такой страх был в городе, что никто не смел никуда выехать, еще менее навестить добродушную семью старых Копьевых. Потеряв привычку к таким присылкам, о которых со времен Анны никто не помнил, нам, право, казался этот фельдъегерь тем грозным ангелом, который с пламенным оружием гнал Адама с Еввой из рая. Другой случай не меньше этого привел нас в удивление, но другого рода. Вдруг прискакал от императрицы нарочный эстафет с письмом и деньгами на дорогу к городничихе верхнеломовской, коллежской асессорше госпоже Тухачевской[47], и она тотчас поскакала в Питер. Догадается ли кто, зачем ее позвали? Верно, нет. Воротясь скоро домой, она уведомила нас, что из двух дочерей ее, кои в монастыре, одна очень занемогла и пожелала видеть мать свою. Государыня про то сведала, и эстафет за нею полетел. Это было скоро после того, как Павел воцарился. По моему о вещах понятию, я этот поступок отдаю на счет тех восхищений, в кои человек приведен будучи новым каким-либо приятным положением, не может еще себя в себе найтить и сам не знает, что делает ошибочно, думая, что всякое побуждение сердца его есть будто бы настоящая добродетель. О всяком деле человека, дабы определить, дурно оно или хорошо, нужно наперед видеть, какое на него влияние имел рассудок, а потешить девочку, которая в бреду просится к матери, и мать из-за тысяч верст привезти, чтоб назад отпустить и забыть месяц спустя и мать, и дочь, и всех, это...

Но я заговорился о непринадлежащем до меня, пора мне войтить в мою сферу и потужить здесь теперь о смерти бедного Струйского, бед-

ного как писателя, но достаточного помещика хороших тысячи душ, которые наследство его делали гораздо приятнее, чем Парнас и типография. Кончина государыни так сильно поразила его воображение, что он слег горячкой, лишился языка и умер очень скоро. Какая могла быть связь между сими двумя умами? Стыдно даже ставить их рядом в разговоре. Подивимся чудесам природы и скажем о Струйском, что как приятеля мне его очень жаль, он меня любил, кажется, искренно, писем его сохранилось у меня множество. Стихи свои он мне дарил все, и рукописи его многие у меня найдутся. Я жалел всегда о его заблуждениях, жалел тем паче, что без них он мог бы быть человек хороший, но склонности его направлены были к худым предметам. Как о сочинителе стихов я об нем не сожалел нимало, ибо он их писать совсем не умел и щеголять имел право более их тиснением, нежели складом. Если бы век его продолжился, он бы отяготил вселенную своими сочинениями, — хорошо, хорошо сделала судьба, что прекратила несносные его досуги. Я говорю все о писателе. Любезное его семейство, непричастно будучи его слабости, привлекло к себе любовь и почтение своих знакомых. Жена его устроила свои дела, воспитала хорошо детей, печется об них поныне. Что можно лучше сказать о женщине и больше к истинной славе ее служащего? Пусть мужчины ищут ее в подвигах напряженных, требующих больших жертв и усилий от них. Женщина весь долг соблюла природы, когда, давши жизнь нескольким тварям, сберегла им пристойное имущество, доставила способы научиться, открыла пути к приязни и уважению многих. Довольно, весьма довольно, чтобы получить право на похвалу всеобщую.

Подобным образом любовь ко мне, к детям нашим внушила жене такое предприятие, которого все последствия покажут твердость духа ее и непоколебимость правил. Она, будучи брюхата, долго дýмала, рассуждала со мной, сама с собой и наконец решилась ехать в Питер, видя, что уже и в среднем состоянии людей между равными с нами новый монарх отличает, призывает и награждает, она считала нужным презреть слабое свое здоровье, состояние беременности и скакать на север, дабы привести себя на память. Увы! Не знала она тогда, что муж ее был не забыт Павлом, но совсем в другом смысле, ибо без всякой просьбы моей последовал именной указ о моей отставке 17 декабря[48]; но мы еще сего не знали, когда жена моя, севши в кибитку, накануне нового года поехала в Москву. Разлука с ней, которой начал я новый год, была как бы предзнаменованием того худого положения, в котором я его проводил. Не мог я себя укорять ни в чем, не знал в службе вины моей, следовательно, и

не ожидал с собой такого случая. При самом восшествии Павла на трон прискакал ко мне с известием сим из Москвы Классон, советуя жене ехать в Питер. Но кто мог тогда предвидеть, что все так пойдет? С одной стороны, поехавши ранее, может быть, она бы избегла многих огорчений, предупредя, что случилось, а предупредить беду легче, чем поправить, но, с другой стороны, кто бы поручился и за то, чтобы это и не ускорило нанесенного судьбой удара? Удара, говорю я, рассуждая о политическом своем состоянии в мире. Кто знал то и другое? Где исчезают действи[я]м причины, где их не рассудок определяет, а какое-то нашествие своевольств, там никакого расчета в поступках своих предположить не можно. Наконец, жена поехала, и остался я скучать один. Все, что я теперь описывать стану, хотя происходило уже в наступившем новом годе, но как здесь оканчивается мое пребывание в Пензе, то и рассудил я для связи обстоятельств включить в конце текущего года все, последовавшее со мной до тех пор, как приехал я в Москву. Жена моя, подъезжая в Москву, встретила на пути сестру мою меньшую, которая спешила приехать ко мне прежде, нежели указ о моей отставке придет, дабы меня к этому приготовить и умерить сколько-нибудь черноту вести. Жена сведала тотчас о сем в Москве и, пробыв там сутки, поскакала в Питер, взявши с собой Классона, харкая беспрестанно кровью и орошая каждый шаг в пути своем горчайшими слезами! Первое письмо, которое я от нее получил в Пензе с изъяснением живым всех ее чувствований, с тем рассудительным сокрушением, с которым умела она замечать все неприятное в ее жизни, раздробило мое сердце. Я не знаю такого слова, которым можно бы было на известных мне языках изъяснить меру тоски и того числа слез, кои пролил я, читая каждую строку ее письма. Кто заглянет в эту же самую Историю в 1787-ой год, тот не удивится нашему горестному положению. Если не хотел осыпать нас щедротами меньшой двор, то за что губил нас, за что отнимал то, что дала Екатерина? О Павел! Если есть правосудие Божие, то в эти самые минуты, когда рука моя водит перо на бумаге, в эти самые минуты как душа твоя должна мучиться и страдать от нанесенного нам тобой неповинного оскорбления! Слух об отставке моей по полученным партикулярным письмам 5 генваря в Пензе стал везде распространяться. Я был дома, и Полчанинов, истинный мой приятель, приехав ко мне, осторожным образом внушил мне эту молву. 6-го числа я давал обед, которого отказать не было причины, и в самый этот день приехала сестра ко мне с известием, что я отставлен. Какая нужда рассказывать, что во мне делалось. Я притворялся быть

равнодушен, но душа моя падала под бременем тягости несноснейшей жизни. Читатель, я тебя не обременю рассказами о моих чувствах. Если ты чувствителен, ты в них и сам проникнешь, если же небо не наградило тебя благороднейшею способностью человека жалеть о муках ближнего, то все, что я ни скажу, будет лишнее. Я желал тот же день уехать, но не мог, указа еще не было, и обряд заставлял меня не только числиться в службе, но и исправлять ее. Так прострадал я еще неделю. Она прошла в прощальных мне пирах, сам директор Экономии даже дал оный. Непостигаемая природа! Ты вселила в нас какое-то чувство невольной справедливости, которое исторгает из нас признание к достоинствам и самых врагов наших, когда злополучии их отдаляют от нас очевидные знаки их поверхности над нами. Мы часто не любим и хулим большого барина, который силен нам вредить, но как скоро он пал, то мы же часто признаемся в его хороших свойствах, которые прежде сквозь множество недостатков едва были нам приметны. В сих прощальных обедах я мог ясно видеть, кто как ко мне был в Пензе расположен. Иные радовались, иные тужили. Примите здесь чувствительнейшие мои благодарении, и да почиет вовеки на вас благословение Божие, о вы, добрые люди и искренние друзья мои, Полчанинов! Таптыков! И Загоскины! Вы прямо показали мне тогда, что вы меня любили. Изгнанник из общества вашего той же ласки, той же приязни был удостоен от вас, как и верховный служитель вашего края. Полчанинов меня снабдил деньгами, помог мне в домовых оборотах, ибо я был виц-губернатор неимущий, облегчил, словом сказать, сколько мог жестокость моего положения. Таптыков принял в нем живейшее участие, а Загоскин охотно расставался с женой, дабы позволить ей с сестрой вместе проводить меня до Арзамаса и тем хоть мало развеселить мысли мои во время пути столь сурового и от безвременности его, и от стужи. Любезная и великодушная женщина! Ты мне опытом доказала, что там, где польза ближнего, где благосостояние друга твоего требует, чтобы ты презрела молву и предрассудки, ты умеешь себя столько же поставить выше их, сколько ниже тебя те, кои, не чувствуя цены добродетельного подвига, из всякого шага женщины, несогласного с обрядами, готовы извлечь для них тотчас поношение и стыд.

Во ожидании указа я приготовился к смене. Наконец, он получен. Я сдал должность свою директору Экономии в два дни, сдал казну, которой было до 600 тысяч, и, оплакан будучи добродушным Гедеоновым, любезной его женой, кои начали уже входить в приятельскую связь со мной, унося сожаление всех моих подчиненных, которые по справедливо-

сти мне им должны были, выехал из Пензы, дабы не прощаться ни с кем, ночью до рассвета и, приехав в Бессоновку, прожил у Салтыкова сутки. Потом я, сестра, Загоскина и Алексаша с мамой, мы все поехали в Москву генваря 17-го, а Салтыков остался на время тужить о разлуке с женой моей в своей деревне, намереваясь, однако, приехать в Москву к коронации.

Здесь оканчивается год сей и вместе с ним время моего, так сказать, политического заточения, — заточения поистине, ибо когда живешь там, где не хочешь, где нужда нас жить приводит, какая тогда существенная разница между человеком, на службу или на житье присланным? Ни тот ни другой без позволения распоряжать собой не могут, у обоих отнята свобода, и как тот, кто служит, на малейшую отлучку должен проситься, так и сей, который заключен. Скажут мне: но один может просить позволения, а другому и в том отказано. Правда; я это понимаю, но судить об этом не стану потому, что всякое подобное препятствие, которое люди умудрились называть порядком, по-моему, есть насилие. Ехавши в Москву, я увозил с собой надежду, которая одна облегчала несносные мои печали, что буду жить в столице, на родине своей, и что по крайней мере дни мои потекут в тишине, когда жена возвратится. План наш общий при отъезде ее в Питер был тот, чтобы выпросить какое-либо имение, а сверх того и место мне в Москве, дабы ближе быть к моему дому. Я в Пензе оставлял шурина в его собственном доме и, примиряся с ним, поручил ему свои дела, коих не успел еще привести совсем в порядок. Путь в Москву выбрал самый кратчайший и поехал прямо на Володимир. В будущем году читатель меня застанет уже в Москве. Теперь побеседую с ним еще несколько о настоящем времени в отношении общем и лично ко мне, — не все рассказывать вести, иногда нужно, очень нужно и размышлять о случающихся приключениях. Сколько мыслей рождает смерть Екатерины II! Я шесть лет спустя читаю о сем письмо, которое ко мне писал друг мой Кирияк из Питера, тот самый, которому я Гришу, брата, отправил на руки, пославши его служить в Конной гвардии. Он писал его ко мне 9 ноября, начиная его резкими словами печального Дамаскина: «Молитву пролием ко Господу»[49] и прочее. Один этот текст, приложенный ко времени и обстоятельствам, уже трогает. Читая все то письмо ныне, я вижу картину тогдашнего времени так живо, как бы в самую сию минуту текло оно в моих глазах, но слава Богу, слава целительному бальзаму времени, которое, само себя прогоняя, уносит далеко в вечность наши печали, и несколько лет спустя после эпохи горестной

одно только живое и пугливое воображение страдает, но дух спокойно смотрит на протекшие озлобления рока, когда они не коснулись еще самых тонких чувств нашего сердца. Смерть Екатерины была эпоха знаменитая. Сколько благодарил я небо, что не был мой отец свидетель оной! Перемена двора, моя отставка, обман его доверенности в Павле — все бы это страдательный конец ему доставило. В молодости многое переносится, а под старость ничего. Сколько счастлива была сама Екатерина в жизни своей, столько же благополучна была по кончине. Цари ищут славы, это их душа, стихия жизни, они из нее работают и мучатся нередко. Что могло быть для нее славнее, как ее наследник? Кто способнее был ее прославить, как он? Тогда как другой имел бы тысячу случаев, сообразя поступки свои с здравым рассудком, самую мрачную тень накинуть на век Екатерины и гражданские ее недостатки вывести в полный свет пред умами прозорливыми, тогда как другой преемник престола умел бы, снискав более любви в народе, привести скорей в забвение Екатерину, тогда Павел, не любя ее, но от горячности непомерной выводя для нее пользу из самого зла, наносимого ее памяти, заставлял жалеть об ней искренно, восхищаться ее добродетелями, имя ее произносить с благоговением и, словом, никогда Екатерина в такой славе не была среди своего народа, в какую поставил ее сын ее крайним своим различием с ее великими свойствами. Чтобы возвысить имя ее, надобно было родиться Павлу, и судьба, как бы угождая Екатерине во всех прихотях ее славолюбия, надела корону на Павла, дабы бессмертная мать его и за пределами гроба сияла в полной славе своего величества. Но оставим царей живых и мертвых, спустимся ниже.

Я уже был вне Пензы и плакал, на нее глядя. Какое это непостигаемое чувство в человеке, которое посредством привычки привязывает его даже и к вещам неодушевленным! Я не скажу ни слова о приятеле, друге, соседе, родственнике, тут взаимные отношении, беседа, общее участие друг в друге, все может и должно связывать сердца между ими, но комната, камин, стены, стулья и прочие тому подобные вещи как могут приводить человека в малейшее об них сожаление? Пусть мне холодные смеются, но я не потаю, что при всем воспоминании моих искушений в Пензе, мне жаль было моего кабинета, да, мне его было жаль, я выходил из него с сердечным каким-то сожалением, которое стыдно иметь к стенам, и я не стыжусь только сам с собой здесь признаться: мне жаль было моего стола, моих кресел, всего того, чего я оттуда унести не мог и чем тогда пользовался повседневно. Казалось мне, что я бы все унес с собой,

и все такое, что нимало не отвечало моим чувствам. О привычка! Кто тебя поймет, кто не покорится твоему закону, кто не облегчит мук жизни твоими приятностями! Когда мы лишаемся милого предмета, и даже равнодушного, но с нами по обстоятельствам тесно сопряженного, мы тогда забываем все малые его обиды или оскорблении и помним только те минуты, коими можем в обращении с ним хвалиться. Так точно я, оставляя Пензу, забывал на тот час все бедствии, в ней нас постигшие, и воображал только приятные секунды, коими награждала меня судьба иногда, сидя у камина. Боже мой! Сердце человеческое — загадка, и когда Ты вложил его в тело наше, когда Ты образовал эту часть нашего вещественного сосуда, то Ты более истощил божественной своей премудрости, чем при сотворении целого мира и отделении света от тьмы. Сии примечания не будут лишние для чувствительных. Кто любит только басни, тот уже хочет знать, как я в Москву доехал, что на пути со мной случилось, словом, куда я делся, но ухо нежное любит вслушиваться в излиянии сердца тронутого и, подобно ему, охотно делит с ним утонченные его чувства. Для вас, души, посвященные любви, посвященные приятным союзам привычки, для вас продолжил я целой страницей описание этого года, а за тем забудем Пензу, забудем, то есть прошедшее, и выдем на новую сцену в другом мире[50].

1797

Есть предубеждения, против которых ничего не может сделать самый здравый рассудок. В числе подобных есть и то, чтобы почитать тот год несчастливым, которого первый день муж без милой жены проводить должен. Накануне нового года жена моя поехала в Питер, а я остался один оплакивать в Пензе прошедшее, настоящее и будущее. Да, будущее, потому что начало царствования Павла не обещало мне уже никакого блаженства. Сбылись все предчувствия моего сердца, 17 декабря я уже был отставлен, но известие о сем пришло только в генваре 6-го дня. Приезд сестры моей предупредил то поражение, которого мне ожидать надлежало, буде бы я, не приготовясь, получил весть о моей отставке. Сестра моя меньшая, предупредя несколькими днями почту, уведомила меня о том. На что мне скрывать чувств моих? Я был убит сим известием. Я сокрушался о выключке, которая сделалась мне уделом и наградой за все мои труды и ревностную службу. Я не равнодушно смотрел на со-

стояние матери моей и всего семейства, которое осужден я тяготить собою. Не нажив никакого состояния, я готовился расстроивать остатки матушкиного. Я знал, сколько сие известие, которое и жену мою в Москве встретило, должно подействовать на нежную и невинную душу и на слабые ее органы. Все это меня приводило в ужас, все это из очей моих влекло неосушаемые реки горячих слез. О моралисты! Сколь вы ни проповедуете, что собственного своего признания и убеждения совести в делах невинных достаточно для блаженства, ах нет! Отец семейства, окруженный детьми, пропитания требующими, может не бояться суда Вышнего, когда совесть его непорочна, но торжество сие делает ли его в полной мере счастливым? Сыт ли тот, кто, не имев куска хлеба, знает, что он чужой пищи не восхитил? Его совесть чиста, но голод, голод лишает его сил, ума и спокойствия. Я должен был ехать из Пензы, но с чем? У меня тогда не было гроша денег. Нашлись благотворительные люди, которые и в такой крайности меня не оставили. Полчанинов ссудил меня деньгами. Когда читать будут со временем, может быть, его ближние мою Историю, пусть увидят, что родственник их не всуе благотворил мне в самое лютое время жизни моей до тех пор, ибо после узнал я, что рука Божия, отягощающаяся на человека, наполнена бед и злоключений и что между тех несчастий, коими род смертных от Вышнего бывает искушаем, выключка из службы есть самая малейшая неприятность. Пусть ближний Полчанинова увидит здесь, что я был ему заочно благодарен, что я благородный его поступок умел ценить и чувствовать. 12-го числа пришел об отставке моей указ. Я не хотел продолжать пребывания моего в Пензе, я сменился в восемь дней[1] и, сдав палату директору Экономии, расположился к отъезду. Я не хотел ни с кем прощаться, воображая, что человек в отставке, гонимый роком там, где он за час пред тем имел власть управлять многими, есть плачевное позорище. Я хотел уехать ночью тихонько, несколько друзей моих меня, однако, проводили. Губернатор, достойный начальник тогдашнего времени, оросил меня чувствительными слезами, и, если можно было находить в чем-либо отраду в тогдашнем моем положении, конечно, доставляло мне ее благословение друзей моих, участие подчиненных и самое даже сожаление врагов моих. Оно ясно мне открыло глаза на их счет. Я увидел, что и самые даже непримиримые злодеи, люди, кажется без правил и честности действующие, и те на уничижение честного человека без соболезнования смотреть не могут, и те делят злоключение неповинного. Так, то истинно, что ежели праводушие и подвержено иногда местным оскорблениям,

но оно всегда влечет при самых гонениях противу себя невольное какое-то почтение от рода человеческого. Оставив далеко Пензу, еду я с сестрой в Москву, со мной были дети мои, нас провожала любезная и почтенная госпожа Загоскина. Она любила жену мою, меня, всех нас, она презрела молву злоязычников насчет всего того, что кажется для них невозможно без какой-либо корысти или постыдных намерений. Она решилась проводить нас и беседой своей облегчить несколько мои душевные болезни.

Через неделю увидел себя в подмосковной нашей, в Никольском, в том самом месте, которое казалось посвященным на то только, чтоб или напоминать мне мои огорчении, или принимать тяжкие вздохи, вырываемые новыми несчастными приключениями. Так въезжал я в сию деревню, когда собирался в Пензу и прощался с Москвой в тоске безмерной, так вторично посетил я Никольское после поношения никогда не изгладимого и в объятиях сестер моих оплакивал свежую кончину драгоценного моего родителя, так в третий раз ныне возвращался я на сие наследственное гнездо, одно достояние отца моего, моим называющееся, и тут располагался остаться до времен благоприятных или, по крайней мере, до тех пор, как могло бы забыться все, со мной доселе случившееся, ибо человек все забывает и время все уносит. Со мной были книги, я сбирался их читать, сбирался учиться жить зимой в деревне без занятий, без людей, один сам с собою и ребятишками моими, для которых, кроме молока и хлеба, еще ничего не нужно было. Такой оборот жизни был тяжел, наипаче для меня: жить без людей тому, кто не бывал без них минуты, не могло быть легким предприятием, но я должен был на то решиться. О Павел! Если правосудие небесное, о котором так часто мы мечтаем, воздается смертным, приходящим к престолу Божию, за дела, ими содеянные в плачевной сей юдоли, то сколько ты потерпишь за те реки слез, которые жена моя и я розно друг от друга пролили и которых твое варварство было единственной причиной. Ты гнал людей неповинных, ты лишил нас спокойства, счастия, последнего благосостояния, которым мы по милости не твоей, но матери твоей бесподобной до самых дней твоих наслаждались, ты покрыл нас стыдом и презрением общим, ты... Но где все черты твоего нрава описать, кому исчислить твои жестокости? Каким пером описать вымышленные твои гонении? Фурии вошли в душу твою и овладели сердцем. Нет ни одного малейшего алмаза в короне, которую ты с премудрой главы Екатерины возложил на свою поврежденную, ни одного камня, которого бы блеск не померк от слез, пролитых в твое

царство. В сих размышлениях убивал я краткие дни и длинные вечера в Никольском. Я не смел ехать в Москву, да и не хотел. С каким лицом мне туда появиться? Куда ехать? Кого видеть? Все мне казалось чужое; я впал в глубокую задумчивость. Письмы жены моей, женщины рассудительной, благоразумной и любезной, самые ее письмы не развеселяли моих унылых воображений. Она уже была в столице, искала следа ко двору, несмотря на слабость здоровья своего, на тягость беременности, ездила сыскивать мнимых покровителей, проливала реки слез, но мне одни представляла милые картины приятной будущности. О бесподобная жена! Не было ни у кого такого друга, такого товарища, какого я имел в тебе! Иногда ей удавались ее искания, иногда были тщетны, и в письмах ее я читал два раза в неделю все подробности ее там пребывания.

Наконец, по воле матери моей, приезжаю я в Москву, но уже не с тем восторгом встречает взор мой главы соборов, с каким приближался я к сим монументам родины моей в другие времена. Сердобольная мать моя не могла выносить строгого моего уединения в Никольском, родные мои и ближние, сколько еще их на свете оставалось, находили такое тюремное заключение самого себя бесполезным для меня, для детей моих и тем, напротив, еще более предосудительным, что могли многие присоединить к отставке моей пустую молву, что мне заказано было показаться в столицу. Итак, я в нее въехал, но ни с кем не хотел возобновлять знакомства и никуда не выезжал из дому. Письма, одни письма жены моей служили сердцу моему то сладкой, по мере надежд, ею подаваемых, то горькой, при разных неудачах, пищей. Но читать ее письмы было для меня уже блаженство. Сама натура способствовала желанию моему удалиться от большого света. Я занемог и принужден был с постелей на несколько ден познакомиться. Сестра моя большая также выдержала в то время сильную желчную горячку, от которой едва она не умерла. Вот в чем провождали мы время, мы, за десять лет перед тем почитавшие Павла для себя Мессией. Что делать? Надлежало искать занятий. Я решился сам обучать детей своих тому, чему меня учители за дорогую плату и по милости родителей моих учили, но несколько уроков дали мне почувствовать, что я к сему упражнению не сроден, ибо с детьми потребно большое терпенье, а я, будучи горячего сложения, не умел снисходить малейшим их ошибкам, и так школа моя как им, так и мне самому обращалась больше во вред, нежели в пользу. Тут-то я узнал ту истину, которую мне нередко жена моя внушала, что я без службы пропадший человек. Подлинно, я не сотворен был для семейных упражнений. Мне ну-

жен был круг обширный занятий, дабы дать пищу моему деятельному свойству. Без работы я был мертвый человек, служба содержала меня в беспрестанной заботе, а забота, мешая задумываться об одном каком-либо предмете, развлекая мысли на многие, препятствовала воображению вдаваться в ипохондрические размышлении. Мне нужно было суетиться и действовать. Отставка ввергала меня в состояние, спокойное для других по их характеру, но сокрушительное для меня по расположению моих чувств. Делавши много и каждый день, вдруг не делать ничего было горестно. Я почувствовал всю тягость моего состояния и стал желать опять службы или хлопот, в русском царстве это одно и то же. Как хочешь делай свое дело, хлопот не миновать, они и правому, и виноватому равно достаются. При всем том мне надобно было служить, и жена моя, которая очень хорошо знала мои свойства, не быв еще сведома от меня о действии моего уединения, уже угадывала оное и старалась достать мне место в Москве, во ожидании которого я в ней жил один в своем кабинете, слушал вести, прогонял геморрой лекарствами и с сестрой моей замужней да с Загоскиной, которая, проводя меня до Москвы, ежедневно посещала по вечерам, убивал время за бостоном, сопровождая все то горькими слезами и редко ожидая от будущих времен награды за прошедшие. Но как состояние мое ни было тягостно, все оно было легко противу того, в каком жила жена моя в Петербурге и добивалась у такого двора справедливости одной, от которого прежде тысячные летели посулы. Государыня, Нелидова (тогдашняя Павлова любовница) и некоторые старые знакомые ее — все, казалось, искали облегчить нашу участь. Что не имеет ни малейшей неприятности для человека в посредственном состоянии, то может служить бедой для того, который, чая многого, в надеждах своих ошибается.

Таково было положение жены моей; ее судьба вела к таким подвигам, которые должны были навсегда и за гробом ее послужить отличительной чертой великодушного ее характера. Наконец, преодолела она половину затруднений. Искании ее получили успех, хотя не совершенный, но, по положению нашему тогдашнему, весьма важный. Я взят паки в службу и тем же чином определен в Камер-коллегию. Место сие было учреждено вновь[2]. Павел, не терпя всего того, что учреждала Екатерина, потому что он никогда не мог достигнуть до ее славы и величества, хотел восстановить все то, что существовало при его отце, все фавориты, даже и фелдшер Петра III, были призваны ко двору и обременены должностями. При таком расположении мыслей появились и старые кол-

легии, в том числе и камерная. Ему хотелось перенять у Петра I быть образователем России, но после Екатерины II, кажется, небо не судило уже никому в наши времена не только ее возвеличить выше прежней степени могущества и славы, ниже в одинаком поддержать, в каком была прежде. В эту Камер-коллегию, которой статы писал князь Куракин, генерал-прокурор тогдашний, президентом посажен был Попов, тот самый, с коим я служил у князя Долгорукого в стате, виц-президентом был Васильев, брат родной графа Васильева, государственного казначея. Под ними над советниками и асессорами было создано еще главное место, и чиновник, оное занимать осужденный, назывался «присутствующий выше советника». Эту ролю дали учить мне. Надлежало с бедным нашим состоянием, не имея в виду никакого подкрепления, ниже надежды поправить оное, истратить последний свой достаток переездом в Петербург, где определялось быть Камер-коллегии, надлежало туда взять детей, себя, весь дом, и я находился еще несчастливее таким образом в службе, нежели вне оной. С чем и как собраться? Чем и как жить в Петербурге? Жена, описываясь со мной, разделяла мои затруднении, чувствовала их, подобно как и я, но тем более еще моего страдала, что, будучи на месте, видя ежечасные опыты крутого нрава Павлова, видела, сколько тяжело будет и не повиноваться сему назначению и скоро его отклонить. Что делать? Надобно было решиться и новую чашу слез проливать на своей родине, ехать туда, где некогда жизнь была беспрерывное блаженство для нас обеих и где ныне становилась она страшнее существования узника. Указ о сем определении моем дан был 14 февраля[3], просрочка малейшая делалась преступлением и ничем не могла быть извиняема. Итак, я, простясь с матерью моей, с моими пенатами, отправился в путь в марте. Но пока все это делалось в Москве, жена моя в Питере хлопотала неусыпно о переводе моем в Москву. Государыня несколько писем ее, подаваемых ей Нелидовой, сама государю читала. Нелидова, тронута быв одним человечеством, побуждаема некоторыми монастырскими надзирательницами, в коих она веровала, как музульманы в их Пророка, а те, доброжелательствуя жене моей по прежней их между собой связи, Нелидова, говорю, несколько примешивала ходатайства в пользу жены моей и наконец, когда вылетел из уст Павла разительный вопрос: «Спросите ее, чего ж она хочет, имения или службы мужу?», — ответствовала по отзыву жены, что она прежде просит о восстановлении моей чести, о исправлении нанесенной мне обиды исключением без вины из службы, а потом об именьи, ибо честь, говорила жена моя, есть пер-

вое наше стяжание. Какой подвиг! Какой великодушный ответ! Другой монарх восхитился бы им, другой дал бы и чин, и имение, другой ободрил бы такие благородные чувства, несчастием несправедливо уничижаемые, но Павел, ярый во гневе, Павел ничего благородного не щадил. Ему потребны были рабы, он наслаждался раболепством вельмож своих, низводя сильных и возводя истуканов. Он привязался к словам, ему внушенным, и взял меня только в службу, не определя ничего больше, как 1500 рублей жалованья в год. Самое убогое состояние для семьи в Петрополе, где уже дороговизна превозмогала все усилии бережливого гражданина. Все труды, женой предпринимаемые, казались тщетными, и тем перемена обстоятельств моих скоро потом казалась удивительнее, что след к оной открылся образом чудным и совсем неожидаемым.

Минута воли Божией разбивает все преграды к желаемому, как луч благотворного солнца прогоняет тучи сердитого неба. Отправляюсь я из Москвы с одним Алексашей, а Павла и дочерей обеих оставляю дома. Со мною едет сердобольная наша мама, никогда нас нигде не покидавшая, малое число людей и нужные пожитки. Суеты, отнимая свободу мыслей, препятствовали подумать о приискании надежного учителя к детям, да и в той неизвестности, в какой мы были о роде нашей жизни, какого можно было искать наставника? Обстоятельства неприятные, сгустившись пред глазами нашими, мешали что-либо предпринимать для себя и для детей; мы жили в тумане. Бог послал мне тогда одного только клавикордного мастера г. Пуло, который, не имев еще большого числа учеников, охотно взялся с тем, чтобы жить у нас в московском доме, учить детей моих старших музыке. Они имели к ней способности, которые после успехи их совершенно обнаружили. Природа сама призывала их к сему нежному упражнению, в котором несчастные такие утешительные встречают минуты. В уважение склонности их, я оставил их в Москве у матери под присмотром, а сам бежал из дому родительского. Приехав в Клин, встретился с родственниками моими князьями Голицыными[4], кои, воспрещая мне ехать далее, уверяли, что я переведен в Москву. Трудно мне было сему поверить, но известие это сопровождаемо было от них такими подробностями, кои не оставляли места никакому сомнению. Тогда все ехало в Москву к коронации, весь двор должен был скоро быть на пути. Страх опоздать в Петербург, оставить жену мою в неведении обо мне, потерпеть недостаток в лошадях, просрочить, быть опять выключену, а паче всего ужас встретить Павла — все это действовало на расстроенное воображение мое и отнимало последние силы

действовать. Однако решился я сутки промешкать в Клину и в эти сутки, и именно 6 марта (я никогда подобных ему дней в жизни моей не забуду, каждый из них делает в ней эпоху), при звуке каждого колокольчика у почтового двора бегал туда с квартиры осведомляться, нет ли чего ко мне или обо мне проезжающим известного. Тут последовало со мной довольно смешное приключение. На почтовый двор приехал генерал Сиверс. Я адресовался к нему, нимало его не зная, с вопросом: не знает ли он чего о моей судьбе? Он на это спросил меня, не соляной ли я пристав под судом, ибо сего звания люди, отрешаемые от мест своих, нередко по большой Петербургской дороге в уездных городах, каков Клин, скитались по трактирам, прося подаяния в счет их казенных начетов. Ответ мой вывел Сиверса из сомнения, он узнал, кто я, и извинялся с замешательством. Все это удручало меня, подобно как туча пред ясной минутой давит атмосферу. Просияло наконец солнышко, озарило долго плакавшие глаза мои, и я получил в Клину через родственницу нашу Демидову письмо от жены моей и копию с указа, что я пожалован в действительные статские советники, переведен в Москву в Соляную контору, и дано мне в год по 1875 рублей жалованья[5]. Вот как все это там случилось.

Истощив все свое терпение, жена моя собиралась уже ехать домой, ко мне навстречу, как вдруг, за два дни до отъезда государева в Москву короноваться, приехал к ней от него генерал-майор и кавалер Данауров с вопросом, какого места она для меня хочет. Жена, удивясь такому странному посольству (но в Павловы дни что было странно?), не знала долго, что отвечать. Наконец, видя настояние г. Данаурова, ответствовала, что она слыхала от меня, что место обер-прокурора в Сенате было бы для меня лестно и приятно. Данауров повез ответ к государю, жена осталась в размышлениях, и между страха и надежды колебалось ее беспокойное сердце. На другой день съезд был прощальный у двора, и жена с прочими откланивалась двору. По окончании обрядов придворных, видя, что уж отъезжают, что по сделанной ей накануне присылке ничего не выходит, оставалось ей опять во всем усумниться, но вдруг князь Куракин, и тут охотно еще мне благодетельствовавший, вышед из внутренних покоев, объявил жене моей, что Павел, снисходя на мое желание, приказал написать указ о переводе меня в Москву в Соляную контору, ибо, говорил он, обер-прокурорского места праздного теперь в Москве нет, что было справедливо, «а муж ваш, — продолжал он, — получит прибавку жалованья, которое сравнится с окладом просимого им в Сенате места, и думаю, что при подписании указа дастся ему чин». В сих надеждах жена

приехала из дворца домой, из дворца, где прежде несколько лет показалось бы, может быть, обеим нам при подобном случае безделицею то, что теперь мы должны были почитать за великое. В самом деле, князь Куракин тогда повез указ обо мне в Павловское и, возвратясь оттуда в столицу, уведомил жену записочкой своей руки, что я переведен в Соляную контору в старшие члены с жалованьем по 1875 рублей в год и с чином действительного статского советника. Указ о сем, то есть копию с него, и подлинную записку жена отправила ко мне, и все это на пути в Питер получил я в Клину. Мог ли я воображать такой удачный оборот обстоятельств? При счастии малейшие благоприятности рока кажутся ничего не значущими, а при беспрестанном несчастии, ах, как и самая безделица, которая с успехом достается, кажется блаженством! Таково было тогда положение мыслей моих и рассудка. Подобно как удачливый игрок в карты, когда к нему ходят игры пустые, рад и маленькому бостону, а при беспрестанной улыбке фортуны и на шесть в сюрах[6] принимает ни за что. Получа сие известие, я не размышлял о роде новой моей службы, о сотовариществе членов, о свойстве директора — я еще ничего не знал об них — останавливал мое воображение на одном удовольствии жить в Москве, в родительском доме, в кругу старинных друзей, а паче всего заранее радовался тому, что скоро увижусь с женой, с которой сия маловременная разлука наполнена была такими резкими происшествиями. Итак, я в Клину, разделя с мамой и Алексашей мою радость, послал воротить мой маленький обоз, за сутки до меня уехавший в Питер, а сам тотчас поскакал домой. Пусть растолкуют мне профессоры, магистры, авскультанты, коим и я был некогда, и все эти школьные господа пустословы, которые все любят основывать на неоспоримых аргументах, пусть изыщут мне тайную пружину человеческих капризов и скажут, отчего Павел Первый, злобой против нас рассвирепевший, Павел Первый, которому об нас жена его, фавориты и многие приближенные люди так часто говорили и покровительства нам испрашивали, Павел Первый и, можно сказать, единственный в своем роде, имея возможность за два месяца прежде одним словом то же все в пользу мою сделать, промучил жену мою во ожиданиях тщетных в Петербурге с лишком два месяца и перед отъездом своим короноваться, тогда, как уже, казалось, ничто не долженствовало приводить нас ему на память, не только вспомнил, но послал генерала как о самой крайней нужде снестись с женой моей о ее желаниях, обременил самого генерал-прокурора приездом к себе в слякоть и непогоду в Павловское с указом, устрояющим судьбу мою, и за-

суетил круг себя людей столь чиновных. Ужли все это дело случая? Не знаю, но думаю, что нет; думаю, и сам, однако, сомневаюсь, потому что, с другой стороны, странности человека, названного царем, и какое-то мечтательное повышение одного из тысяч миллионов людей, каков я, на неприметном пункте вселенной, каков Петербург — можно ли поистине все это колобродство смертных приписать вседействующей силе и воле Божества, управляющего духом нашим, с которым подобные мирские превращении ничего общего не имеют? Как то ни есть, я приезжаю в Москву с чином и, по милости того же государя, без убытку от приезда, потому что мнимая моя служба в Камер-коллегии, в которой числился я месяц по данному мне там окладу, доставила мне столько жалования, сколько издержал я денег от Москвы до Клина. Браво! Все в порядке. Так утешаться должно среди самого отчаяния. Не замедлила приехать обратно и жена моя. О! Друг мой! Сколько вздохов, сколько отношений, сколько мыслей, заочно каждым из нас обдуманных, нам разделить надлежало! Мы увиделись: полные глаза слез, и сердце, полное радости. Слава Богу! Мы вместе, и там, где быть хотели. Нас двор теснит, но мы живы, мы вместе, и все забыто. Нас царь гонит и ненавидит, но Бог еще нас любит, мы вместе и можем благодарить Создателя. Так утешала нас минута свидания. Она мне, я ей сообщал все прошедшее, и, удивляясь миру, мы радовались, что еще не хуже что-либо с нами последовало.

Жена моя одарена была императрицей прямо по-царски: она ей пожаловала на дорогу пятьсот рублей и пенсиона ежегодного по триста рублей. Какая огромная монаршая щедрота! Рядом с женой моей в списке пенсионов стояло имя генеральши де Балмен. Ее муж был генерал-губернатор и, думаю, давал секретарям своим в именины их по стольку, не чая, что по смерти его жена будет весьма счастлива, что столько же ей назначится из кошелька императрицы. Как после этого дивиться, что жена действительного статского советника, не больше, помещена в один и тот же список. О! Как вы счастливы, цари, что вы или от недосугов, или от неги ничего не читаете, что до вас не достигают молвы о вас тысячи народов, что глазам вашим подносят только розы, а под нос курят разными стихотворными благовониями! Если бы ты могла прочесть когда-нибудь эту страницу, августейшая монархиня, если б ты увидела в ней хотя наедине сама с собой в своем великолепном чертоге, что бедная княгиня Долгорукая, тобой из нищеты на то только выведенная, чтоб, приучась к роскоши и всем ее очарованиям, впасть в вящее убожество и понести всю тягость суровой необходимости, бедная княги-

ня Долгорукая, пресыщенная у двора ласковостью и высокими надеждами, получив от тебя пенсиону в год триста рублей, при всей бедности ее отдавала их каждогодно на содержание беднейшего брата мужа ее (моему брату Григорью Богданову, несчастному своей породой, законами пренебреженной), если бы ты это увидела и прочла такую истину, которая одна составляет целый панегирик бесподобной этой княгини Долгорукой, жены моей, с каким бы уничижением ты устремила взор свой на себя! Во всех бесконечных зеркалах твоих отразился бы румянец стыда и краска совести обличительной, и кошелек твой, этот кошелек, из которого не щедрота прямая, не сердоболие, но гордость и тщеславие червонные в народ бросают, показался бы тебе страшным обвинением пред престолом Всемогущего, потрясающего, когда хочет, все ваши подмостки и балдахины, под коими кажете вы народу надменное чело.

По прибытии моем в Москву скоро прислан был указ о переводе моем и от Сената мне объявлен. К присяге приводили меня марта 13-го в Синодальной церкви. Скоро потом открывается Соляная контора[7]. Нужно молвить нечто и о ней. Директором ее определен был некто г. Нелидов Василий Иванович, действительный статский советник, бывший пред сим обер-прокурором в Межевом департаменте. Кажется, нет никакой связи между тем и другим местом, но Нелидов до употребления его в Сенат был несколько лет при соляных и винных делах под генерал-прокурором, когда все сии части управлялись одним и тем же лицом. Ему известны были и саратовские соляные источники, потому что он для осмотра их посылан был Екатериной. Я с ним мало был знаком, однако же по службе друг друга несколько знали. При Павле нельзя было никаким делом долго мешкать, надлежало всякое свернуть, как говорят, круг пальца, и Соляная контора открыла свои заседании при одном Нелидове, мне и князе Волконском; прочих членов еще никого не было, даже и канцелярия была не устроена, и мы сами первый журнал составили начерно, и переписал его Цветаев, служивший всегда при мне питомец Академии, и который был взят в Контору в число положенных у нее камериров (стаб-офицерского достоинства). Вот в какой бедности рождалась или, лучше сказать, возобновлялась Контора соляная[8]. Прежняя бывала в Москве, а потому и ныне, не соображая далее, нужно ли ей тут быть или в ином месте, она расположена была в Москве. Прежние ее директоры имели некоторые особенные права, но когда Нелидов употребил ходатайство о том, чтоб и он их же имел, то правительством сие было ему отказано, он управлять нами должен был по регламенту обще-

му. Я не стану здесь подробно описывать, в чем состояли наши упражнении или обязанности: кроме того, что сей предмет не принадлежит к частной моей Истории, трудно бы было мне и то и другое привести в некоторый исторический порядок, ибо с самого начала Конторы до самого ее разрушения едва знал ли кто из составлявших ее, на что она? Какая от нее быть может польза? Какие суть ее основании, ответственности, преимущества, права над другими; степень равенства с губерниями и казенными палатами? Все это было спутано, смешано, словом, все походило на царя тогдашнего времени. При первом моем свидании с Нелидовым, которым был я очень обласкан, увидел я из разговоров его, что вся деятельность Конторы состоять должна будет в том, чтоб как-нибудь проводить время, не портить ничего старого, не вводить ничего нового и дожидаться, не будет ли какой иной основы всему этому делу, — всякий день поспевали новые учреждении, новые статьи и места. Блины в печи, право, не так скоро дуются, как кипели российские узаконении на жарком очаге тогдашних подражателей царской опрометчивости. И так начал я медь тянуть, то есть ездил каждое утро в Контору и с осьми часов утра до второго глядел в стеклянные двери, скоро ли будет директор, и, когда он приезживал, садился на свой стул и о происшествиях повсеместных с ним беседовал. Вот чем началась служба моя в Конторе. Мало-помалу стала она наполняться народом. Всякий ищет хлеба; жалованье было большое. Из прежних дрянных покоев перевели нас в прекрасные чертоги, приближили к Сенату. Тут пошли у нас затеи: большие зеркала, портреты царские, часы с органами, чтоб не так скучно было их считать, ходя по зале. Начали мы жить великолепно, и дела стали к нам поступать отвсюда. Скоро бумаг было так много, что уже не знали, куда с ними деваться. Нарядный швейцар отворял и затворял наши двери, словом, Контора бросила пыль в глаза многим. Разделились дела по Экспедициям. Я был начальник той, в которой ведались все запасы и приготовлении соли. Хотя я мало занимался делом своим, потому что почитал его временным и неосновательным, однако же ежедневно маленькое упражнение в оном познакомило меня с соляной частью в государстве, и я об ней некоторые получил познании, кои никогда не сочту для себя лишними, ибо в России, где всякий попадает в род службы не по выбору своему, а часто и сам не знает какой, должно все знать помаленьку. Канцелярский обряд был отдан г. Пояркову, который как за ним, так из-под руки смотрел и за всеми нами. Нелидов имел к нему полную доверенность, он был секретарем Сената, судите, мог ли он че-

го-нибудь не знать? Эти люди всему были горазды, так об них думали по крайней мере все. Он правил и чинами, и делами в Конторе, писал он по-старинному, но Нелидов и сам не имел познания о чистом слоге. Поярков знал наизусть все приказные мелочи, и за его трудами остальная наша братья могла наслаждаться праздностию; выписки сочиняли секретари, а разжевывал их Поярков, Нелидов опробовал, а мы подписывали. Так делалось наше дело в Конторе. Членов было нас всех восемь человек, по стату семь, а именно: директор, Волконский, Поярков, князь Хер[х]еулидзев, из грузин, Измайлов, Колычев и Нелидов же, а я был сверх стата на особом жалованье. Деловыми людьми между всеми нами почесть было можно только Пояркова и Колычева, а прочие сидели для формы и наполняли пустые места.

Довольно говорить о Конторе, пора вспомнить Салтыкова. Мы его оставили в его пензенской деревне. Скоро после меня и он поехал в Москву. Привязанность его к нам, не завися ни от каких случаев, всегда одинаково продолжалась. Вздумалось и ему искать службы; в счастливый час он, видно, пожелал этого, ибо с успехом крайним вступил в оную. Сперва взяли его в Воспитательный дом и тотчас после меня пожаловали в действительные статские советники. Он назывался почетным опекуном[9] и служил без жалованья, как и прочие, ему подобные, но скоро воспитательные домы, став под непосредственным начальством императрицы Марии Федоровны[10], так, как и многие другие подобные богоугодные заведении, большие снискали пред прочими местами преимущества. На них пролились реки щедрот монарших, все туда просились, искали, и, словом, в России те только начинали быть сынове счастия, кои хотя слегка, но принадлежали к заведениям, самой императрицей управляемым. Салтыков завелся в Москве домом и перевез туда все свое хозяйство. Свиданьи наши были ежедневны, он сообщал мне с уважительным видом свои ничтожные упражнении, а я и самые важные наши передавал ему как безделки. В свойствах наших всегда была противуположность, она мешала нам быть друзьями, но мы часто видались без отягощения.

Коронация Павлова должна была быть в Светлое воскресенье 5-го апреля. Так придумал он в своем суеверном воображении, он хотел, чтобы христовы обстоятельства были оригиналом его намерений, и для того пригнал въезд свой в столицу в Лазареву субботу[11]. Двор прибыл за несколько дней перед тем и остановился в Петровском дворце. Тут в Благовещеньев день[12] дан был вечерний куртаг[13], на котором и я удостоился представиться его величеству со страхом и трепетом; принося благодар-

ность за чин и место, стал я на колени и приложился к руке. Ни на одном лице не видно было тени удовольствия, все казались накануне гибели или преставления света. Двор был ужасен, тени мрачного зрака Павлова покрывали темные лица придворных вельмож, его окружавших, не было барина, ни простолюдина, который бы улыбался. Какое славное вступление на трон! В Благовещеньев день вся Москва была в Петровском. Дорога прескверная и вся взломанная, дабы быть лучшей, но без успеха, предваряла тот ужас, которым, всходя в чертоги, объят был каждый. Возвращаясь оттуда ночью, боязливые люди, в том числе и я, пешком, менее страдали от страха ночного, нежели от встречи взоров Павловых. В Лазареву субботу церемониально вошел Павел в Москву, древнюю столицу предков его. Поход его начался рано, он ехал верхом. Будучи до церемониев охотник, он так расположил ею, что не было времени никому ни для обеда, ни для роздыха полуденного. По чинам наряжены были все в разные соборы. Я испытывал силу стужи в восемь часов утра в Успенском соборе. Тут был и Синод весь в собрании. По приезде Павла в Кремль, около двух часов, он против цейхгауза завел свою гвардию и поучил ее с полчаса, после вошел в собор. Где были мощи, там прикладывался к ним; где нашел гробы царей, там им покланялся. С неутомимостию беспримерною он после всех сих обрядов сел опять на лошадь и поехал тем же церемониальным порядком в Слободской дворец. Туда прибыл к ночи, и тотчас началась всеношная с вербами. О! Как я счастлив был, что чин мой не удостоивал меня чести принять такую великолепную муку! Из собора мы в возможности были разъехаться по домам нашим. Обязанность сей встречи кончилась, и я, приехавши домой, отогревался сутки целые от стужи, которая во все кости мои проникла. Никогда я так хорошо и подробно не осмотрел древностей кремлевских и красот наших соборов, как в тот день, и думаю, что долго их не забуду, потому что случай, к тому представший, был достопамятен. Страстная неделя в Грановитой палате проходила в репетициях коронационных обрядов. Сам Павел учил назначенных генералов всем приемам, и казалось, что он директор только театра, который приготовляет новую комедию, — подлинно, коронация его была трагедия для всего народа. О! Время! Как ты меняешься, ты нас переменяешь, а обстоятельства — самого тебя. Бывало, цари в той же Грановитой палате беседовали с старейшинами о пользах своего народа, допускали к себе несчастных, и правосудие их, сопряженное с милосердием, уменьшало число их; ныне, напротив, император Павел под балдахином размерял

ширину шагов своих, чтобы не отставать от первой древки, с которой сам он, сам не постыдился на одной из репетиций сказать, что ему надобно равняться. Этот анекдот все знают, и до сих пор в молодой компании за рюмкою вина с хорошими девушками юные соотчичи рассказывают его в куче прочих смешных того времени повестей.

Наконец, в Светлое воскресенье с зарей вместе все стало приходить в движение. Войска, гражданство, духовенство и царская палата — все толпилось внутри кремлевских стен. Тут, где некогда Пожарский поражал поляков, тут изнеженные россияне спешили собираться под значки церемониймейстеров. День был прекрасный, но холоден, воздух равнялся с лицом Павловым так, как он с древкой балдахина. В числе нарядных кукол, собранных в какую-то сырую кладовую под именем Золотой палаты, дожидался и я повестки пройтить шагом по широкой Соборной площади. Оставаться в соборе позволено было некоторым чинам, но не всем. Начальники мест пользовались сим правом, а члены оных только проходили насквозь и наслаждались прохладою сквозного ветра на морозе. Странно расположено было и это. В иных местах президенты были полковники и оставались свидетелями коронования внутри собора, а других и четвертого класса чиновники толпились на открытом воздухе. Но церемония, вообще сказать, была великолепна и сообразна торжеству. Учреждал ее г. Валуев. Он истощил при сем случае всю деятельность своего разума — так, как князь Тюфякин несколько ночей употребил на то, чтоб выдумать лучшего фасона стаканчики для освещения городских стен, башен и всего Кремля. Все было прекрасно, величаво, восхитительно. Во время обедни генерал-прокурор и знатнейший барин князь Алексей Борисович Куракин, вышед из собора будто для того, чтоб взглянуть на парад воинства и амфитеатр зрителей, а в самом деле для того, чтоб и тому, и другому показать в себе новую подпору трона и могущества его, сей князь удостоил меня своей беседы. Тут он мне упрекал, для чего я не пошел служить в Петербург, и показал мне мгновенное участие в судьбе моей. Я на лету ловил слова его, они несколько согревали душу мою, но тело, тело, которое политики не разумеет, дрожало от сильного северного ветра. Вдруг пушечный гром, сопровождаемый ружейными выстрелами, возвестил нам земного царя, и так совершилось миропомазание, венчание на престол Павла, — Павла, возобновившего скоро все ужасы царства Анны Иоанновны. О! Как душа моя тяжело вздохнула! Слезы не могли открыть себе пути, потому что прямо стесненное сердце редко имеет способность растворять их источники. Нет, я не заплакал, но я

сильно почувствовал важность этой минуты: приговор Богов, судьбы, натуры, немое признание целого народа, повиновенное коленопреклонение пред одним человеком многих миллионов людей — важная минута! Быть ей свидетелем есть действие необыкновенное. Кто не испытал ее, тот чувствовать ее не может. У Павла в это время голова шла кругом. Он прочел вслух всему собору наследственный акт фамилии своей, сочиненный им при шествии в поход под шведа[14]. Сей акт был положен в соборе в особое хранилище. Потом целую неделю были праздники и торжествы до самого Фомина понедельника[15], ежедневные были аудиенции по вечерам и прогулки утренние под балдахином в разные монастыри с крестными ходами, которые по древнему обряду в Москве во всю Святую неделю делаются. Казалось, что балдахин прирос к его величеству, он не мог без него обойтиться, далматик не сходил с плеч его, он не почитал себя царем, когда его на нем не было[16]. Вот что делает принуждение. Когда бы Екатерина не теснила его во все время жизни своей с таким упорством, может быть, он бы и не влюблялся ни в балдахин, ни в золотой стихарь[17], но для него от важных предметов до самых низких в звании царя все было ново. Он был на троне, если можно так сказать, подобие мольерова bourgeois gentilhomme[18]. Всех ранее в этот день встал он. Иной подумает, что он занят был священными обязанностями нового своего сана, что он готовился умножить счастье подданных, оправдать выбор Божий, дать ему отчет в каждом шаге, поступке и мысли своей на троне, что он размышлял о пространстве царской должности, всеобъемлющей на такой широкой полосе света, как Россия, о тягости креста, который судьба на него налагала, словом, о многом, о многом тому подобном. Ничего не бывало. О философы! Нравоучители! Ораторы! Как вы ошиблись, как вы увеличиваете тягости наших должностей! Как вы их умножаете! Павел гораздо натуральнее всегда действовал. Он встал чем свет и, любя больше всего в мире солдатские телодвижении, он сам разводил гренадер своих на часы и учил их делать себе по темпам на караул, когда он мимо их станет прохаживаться под балдахином и в далматике. Что ваше царство, ваши бесконечные обязанности, суд, милость, истина, закон! Все пустое! То ли дело часовой, который отрывисто бросает с руки на руку ружье — вот слава прямая и сияние венца. О далматик! О балдахин! Святые регалии набожного царя, вы в эти дни глубоко врезались в сердце Павлово!

Всех милостей, кои тогда пролиты были с трона на достойных и недостойных вместе, описать невозможно. Коронация эта сопровождаема

была такими щедротами, каких еще не бывало в России. Дворцовых деревень роздано было тогда тысяч до ста душ. Большие бояра, видя такой хороший случай, Россию делили, как быка: Безбородко, Куракины и многие другие знатные приобрели имение[19], одним нам судьба не назначила быть облагодетельствованным Павловыми дарами. Мать моя писала письмо к государю, жена с своей стороны также. Первая просила некоторого вознаграждения конфискованному нашему имению при императрице Анне, которое никогда с тех пор не возвращалось в дом наш, другая просила обещанных ей наград, и, несмотря на то, что письмо ее посредством Нелидовой должно было дойтить до государя, оно не только не было ему показано, но даже, к умножению прискорбия собственно нашего, брат двоюродный Нелидовой, мальчик Аркадий, бывший тогда генерал-адъютантом[20], и тот не отвечал жене моей ни слова и оставил нас в безвестности о письме ее, через него посланном к знаменитой сестрице его. Сколько надлежало вытерпеть подобных неудовольствий! Из них только одно избегаемо было — то, что подобные письма не вносились по крайней мере в газетах. Слабая отрада для тех, которым отказали. У Павла был обычай заведен выставлять ящик к воротам его дворца, в который жалующиеся кидали свои пакеты. Секретарь потом вынимал их, подавал и потом по газетам объявлял резолюции, которые по большей части состояли в отказах, с присовокуплением посылки тех наддранных прошений к челобитчикам с получением от них на почте весовых денег, кои никогда в недоимке не оставались. Тут часто находили и пренесносные пасквили. О чинах и говорить нет нужды, они раздавались еще изобильнее денег и душ, вопреки всегдашнему мнению наследника, который не почитал и того хорошим, что гвардия так скоро повышаема была при Екатерине. Сын ее, сделавшись императором, наделал столько генералов, что при матери его, верно, во всей гвардии было менее малолетных унтер-офицеров. Москва всем этим восхищалась, все дворы были наперерыв иллюминованы. Мы, сидя дома в темных наших покоях, питались скукой и унынием. Говорят, что добродетель хороша. Часто приходило нам на мысль, что она всего хуже в свете. Иметь милую жену, большую семью, не находить себя перед отечеством ни в чем виновным и видеть, как не только праздные люди, но даже и злодеи растут в чести и славе, пресыщаются изобилием во всем, тогда как ты уничижаешься ежедневно, да и роптать вслух о том не смеешь, боясь вящих напастей — это несносно. Потребен великий дух к перенесению подобной тягости. Скуку нашу тогда делила пензенская заезжая барыня госпожа Миклашевичева

и теща моя, приехавшая в Москву с большими также надеждами и с малыми успехами возвратившаяся, ибо отказы, скоро после коронации последовавшие многим, нашли и ее посреди хижин наших. Она провела с нами всю Святую неделю. Павел, покуралесивши в столице месяц, отправился в Питер мая 3-го числа после многих аудиенций, маскарадов и в Грановитой палате, и в Слободском его дворце, который он назвал, купя под себя дом князя Безбородки, и думаю, что не за бесценок[21]. По отъезде двора, вследствие церемониальных распоряжений, траур не надевался и забавы все были открыты. Начались опять театры и балы. Тогда Москвой правил князь Юрий Володимирович Долгорукий в звании военного губернатора.

Мы, удосужившись от сует и входя несколько в себя после всех огорчений, кои нас сильно расстроивали, стали помышлять о пользе детей наших. При всей бедности нашей нам надобен был учитель, который бы занялся их упражнениями и надзирал над ними. Представился нам француз г. Тиери, которого мы нашли к тому способным, и за шестьсот рублей, сделав с ним условии, приняли его в дом и поручили ему Павла с Алексашей. Маша по большей части обучалась всему под глазами матери ее, которая никогда сей первой должностью своей не тяготилась. Мать моя, избрав хорошее летнее время, поехала в подмосковную, а мы остались в городе, дети наши все были вокруг нас, Салтыков нас посещал ежедневно. Днем я занимался обыкновенными моими кабинетными трудами, читал книги, писал стихи, учился без учителя и для рассеяния умственных трудов присматривал над переделками комнат наших, которые требовали некоторой поправки и лучшего вида перед тем, как мы их нашли, ибо они со времени кончины отца моего никем не были заняты и стояли пусты. Брат мой Григорий Богданов жил в Петербурге и служил вахмистром в Конной гвардии. Друг мой Кирияк дал ему у себя убежище и не отказывал в его наставлениях, которые опытность делала всегда полезными, он ослабевал в силах физических и надсмотр его иногда был недостаточен, но милостью Божией почитал я тогда и то, что он не отрекался от такой благотворительной для меня услуги. Кто бы согласился сделать самое то же? Конечно, никто. Когда лучи солнца озаряют нас, тогда все около нас вьется, но стань минуточку в тени, тотчас простынешь, и никто обогреть тебя не приидет. Сестра моя свободная жила с матерью своей близ нашего дома, и так мы могли видеться чаще, нежели прежде, живучи в отдаленной разлуке. Эти одни семейные удовольствия разбивали нашу скуку. Жена моя Москву ненавидела, но благоразумно

покорялась обстоятельствам, снисходила моему к ней пристрастию и, никуда почти не выезжая, в уединении временем не скучала. Она его украшала трудами, читала, работала, пеклась о детях и искала случаев умерять мою тоску своими рассудительными беседами. Ежедневное свидание в конторе с князем Волконским приближило меня к знакомству с его домом. Отец его жил открыто, имел два дни в неделю театры, иногда и благородные у него давали спектакли. Все это меня торопило с ними сойтиться, скоро я имел удовольствие быть въезж в их дом. Мало-помалу с его княжнами познакомился, стал искать их приязни, мало-помалу прирастал к их приятным взорам. Время между тем улетало на крыльях, и я, наконец, так привык быть у них в их дни, а именно в понедельник и четверг, что никогда не смел, бывши в Москве, проронить из сих двух дней ни одного, чтобы в их доме не отужинать. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Читатель знает, что я нраву привычного, а от привычки рождаются скоро и пристрастии. Итак, я по понедельникам ждал четвергов, по четвергам понедельников, и в том проходили все дни моего в столице пребывания. Прелестному знакомству почтенного их семейства обязан я многими сладчайшими удовольствиями в жизни, они не могли быть вечны, и мы проходим, но время, в которое я ими наслаждался, займет большое место в моих воспоминаниях.

Я выше нечто молвил о делах, до Соляной конторы принадлежащих. Хотя они в нее втекали во множестве, но успеха в ее упражнениях ожидать было невозможно: будучи сама под Сенатом и не имея гроша денег в своем распоряжении, обязана будучи на все свои расходы просить внимания государственного казначея, как могла она управлять с пользой заготовлениями соляными, развозкой и доставлением солей? При казенных палатах были так называемые камерные части, особо отделенные, коих состояние еще было смешаннее нашего, ибо они зависели и от Главной соляной конторы, и от казенных палат. В их производство вмешивался и начальник губернии, следовательно, он и казенные палаты, не завися от Соляной конторы, посылали свои представлении прямо в Сенат, тогда как камерная часть, находя в чем-нибудь худое с их стороны, еще описываться должна была с Соляной конторой, а та входила в Сенат, итак, существование ее было излишнее и больше вредно, нежели выгодно для казны. В таком состоянии наших дел я исправлял одну форму, то есть ездил туда по утрам, слушал без внимания толстые тетради вздора и где не предусматривал большой беды, там прикладывал мою руку в ожидании директора, который езжал поздно, а без него ничего не делалось,

и один Поярков заготовлял доклады. Я писывал письма к моим старым пензенским друзьям, с которыми переписка моя еще продолжалась, и иногда твердил роли для благородных театров. Чтобы время проводить еще приятнее, я езжал за город по свободным дням, пользуясь прекрасным тогдашним летом, и нанимал пополам с Салтыковым ложу в театре, в котором, по пристрастию моему, не пропускал ни одного зрелища, сколь они тогда дурны ни были, но, так долго живши в провинции, мне простительно было находить прекрасным много такого, что изнеженным москвичам казалось посредственным или даже и худым; после продолжительной скуки, какова была моя в Пензе, и безделка радует. Жена, будучи отягощена беременностию своей до той степени, что не могла без костыля ходить, чувствуя сильную боль в ногах, сидела и по склонности, и по необходимости все дома. Скуку ее умножал Салтыков, который благотворениями своими и услугами покупал право надоедать ей всякими вздорными новостьми, а тогда Москва больше, нежели когда-нибудь ими щеголяла. Всякая почта привозила что-нибудь новое и час от часу страннее. К Петрову дню ожидали больших милостей. Снова надежда польстила и жену мою. Она, дабы не укорить сама себя пренебрежением малейшего случая ко счастью своего семейства, рассудила опять при поздравительном письме принести новую просьбу о улучшении нашего состояния со стороны достатка. Но когда судьба чего не хочет, тщетны там все усилии, и на сей раз постигла нас неудача. Просьба осталась без ответа и без успеха. Здесь я не могу не остановить течения исторических приключений жизни моей и не сделать замечания насчет обращения двора тогдашнего с моей женой.

Положим, что собственные мои шалости, каковою должен я признать приключение мое с Улыбышевой в Пензе, и служили поводом ко всем тем несчастным случаям, которые провидение влекло на судьбу мою как бы мстя пороку до новой и будущей жизни уже в здешней. Положим, что император Павел, быв недоволен поведением моим, не зная обстоятельств семейных наших и почитая меня притеснителем жены моей, хотел в обидах, делаемых мне, вступиться за нее, но когда он слышал ее обо мне убедительные просьбы в разлуке со мной, следовательно, никакое принуждение мое действовать не могло, когда он видел из слез ее и неотступных о пользе моей исканий, что мы составляем одного человека и что наши выгоды суть одни и те же, тогда непонятно было его упорство сделать что-либо в мою пользу. В том ли, в другом ли случае все, кажется, налагало на него обязанность вспомоществовать жене моей. Буде

она была бы от меня несчастлива, тем более причин доставить ей состояние, которое, принадлежа ей собственно, сделало бы ее независимой от мужа недостойного, напротив, принудило бы сего последнего если не из любви, то из видов корысти обращаться с ней лучше. Если она в муже счастлива и простила ему те проступки, коими прежде притесняема была ее участь, если она сама его столько любит, что для него подъемлет такие подвиги, какими был я обязан бесподобной жене моей, то за что же двору больше всех на меня рассердиться и мстить за шалости, позабытые даже и тем благородным лицом, которое более всех ими оскорбляться имело право, то есть жена моя, следовательно, поступки двора в рассуждение ее были не только несправедливы, но даже и безрассудны. Определяя меня в службу, давая мне жалованье, они все-таки мне же подчиняли ту женщину, о которой они думали, будто она от меня несчастлива, а таким образом не ее ли они губили еще больше, поставляя ее в пущую от меня зависимость? Если они предполагали меня худым мужем, не ее ли жребий они отягощали без причин и без вины? Кто растолкует такую странную логику? Но цари могут ее и не иметь. Вместо Кондилияка когда они прочтут артикулы лучшего предка своего Петра I, они думают, что все знают и достаточно сведущи для трона[22]. Трон не шахматный стол, на котором худой игрок пешки двигает и роняет, а слуга, поднявши с пола, опять на стол поставит. Нет! Что на этом столе сидя уронишь, то не только слуги, часто и Бог сам поднять не может. Оставим их и поговорим о таком деле, в котором мы чуть не опрокинулись в глубины морские, или, лучше сказать, едва не попали в зияющий зев порфироносного нашего тигра, он всегда был отверст, вседневно приносила ему судьба новые жертвы. Никогда нельзя было согласиться правильнее с сей давно проповеданной истиной, что Бог во гневе своем создал царя, как во времена Павловы. Пусть спросят Россию всю, правду ли я говорю. Она еще ныне курится кровию несчастных, а слез их пар более воссылается, чем благословение людей, им возвеличенных. Полно!

Соляная контора находила себя в необходимости тотчас заключить контракт на поставку соли в Орел, но как быть: закон никакому месту не позволяет заключить без Сената контракты выше десяти тысяч. Здесь обстоятельства были понудительные и тесные. Орловская губерния терпела недостаток в соли, двугодичные капиталы на извороты соляные, при Екатерине везде отчисленные, были князем Куракиным отобраны в казну, яко суммы, напрасно в палатах казенных хранящиеся и подающие повод к соблазнам, даже и к самому расхищению. Правда, что примеры

подобные случились, но легче по местам прекратить злоупотреблении, нежели нужного средства лишить вдруг все губернии. Князь Куракин этой мысли не захотел держаться и распорядился так, чтобы из общих доходов на доставление соли получаемы были деньги. Соляного капитала в самом веществе, то есть двухгодовой пропорции, нигде не было, потому что пропорции везде были рассчитываемы не по расходу, а по сделанному прежде положению, с которым поелику расход не соглашался, то где и были пропорции соли на два года, там они, приходя ежегодно в ущерб для дополнения годового продовольствия, наконец все сии запасы исчерпались, и прежде всех Орловская губерния почувствовала оскудение в соли. По обстоятельствам дел ее тогдашних надлежало или заключить тотчас договор с Злобиным, который, силен будучи необходимостью, не хотел ждать ни дня отсрочки, или подвергнуть губернию недостатку в соли и рисковать, что губернатор пожалуется Павлу, который всю Соляную контору за завтраком проглотит. Долго мы думали, тужили, наконец решились и заключили контракт и Сенату отрапортовали. Генерал-прокурор поступком сим Конторы приведен был в крайнее волнение и за нарушение Конторою при самом начале своего существования коренных узаконений, за разделение прав самого Сената требовал настоятельно, чтоб о всех нас подан был доклад к императору. Что б он с нами сделал, право, отгадать трудно, но думаю, что не рассмешил бы. Кроткий Васильев, будучи дружен с нашим директором, отвел эту грозную тучу, и кончилось дело для нас только негодованием Сената, но не так дешево отделался прокурор. Князь Куракин, имея его в непосредственном своем ведомстве, тотчас отрешил от должности и заставил слоняться без места по Москве, и очень долгое время. Вот как текли дела в Главной соляной конторе. Я не стану о них подробно рассуждать, потому что это нимало не принадлежит к собственной моей Истории, а более всего потому, что это скучно. Итак, прошу позволить мне воротиться домой и там посмотреть, что делается, — но везде, везде мало хорошего.

В июне скончалась мама моя, добрая старушка Марья Карповна. Она была весьма ветха, и с дня на день давно ожидаема была смерть ее. Правда, что люди все должны умирать и что к этому привыкнуть от начала мира надлежало; особливо меньшее сострадание, кажется, иметь должно о тех, кои, до старости доживши глубокой, плотят необходимую дань природе в такие лета, когда уже она истощила к человеку все свои снисхождении, но при всем том жаль человека, к которому мы привязаны, даже и после ста лет жизни его лишиться. Она приняла меня на свои

руки от утробы матери моей и за всеми за нами ходила с участием искренним, а не наемничьим, она нас любила без притворства и была одарена свойствами кроткими, справедливыми. Мы ее любили от младенчества и до зрелых возрастов наших всегда с одинаковым усердием, и я священной чту обязанностию доныне вспоминать о имени ее не иначе, как с благоговением достодолжной признательности к ее трудам.

После легенького сего движения в чувствительном моем сердце судьба сильнейшим потрясением его расстроила в августе. Беременность женина приходила к последнему ее сроку, тягость ее была непомерна. 10-го числа поутру почувствовала она признаки приближающихся родин и потребовала помощи. Будучи терпеливого свойства по природе и крайне великого духа, она до самых последних минут обходиться любила без бабки, но когда сия, освидетельствовав, нашла невозможность родить без помощи акушерской, и послано было за ним, то я от сего известия потерял весь рассудок, и робость превозмогла все прочие чувства. Жена, напротив, с мужеством к тому приготовлялась, нимало не тревожилась, но, спасая только меня, не позволяла мне ни быть тут при операции, ни состоянием моим действовать на ее душу, сбирающую на ту минуту внутрь себя все свои силы. Искуснейший оператор г. Бергман, старик опытный и сердобольный, скоро прибыл к нам на помощь. Он, осмотря положение жены, нашел ее беременной двумя младенцами, из коих ни один не мог сам собой без помощи рук его родиться. К счастию, не нужны были никакие инструменты, и скоро Бергман открыл свет двум близнецам нашим, но сие *скоро* тогда было очень длинно и для нас мучительно. Известие о родинах жены моей произвело во мне сильную радость, ее описать нельзя ничем, восхищении сего рода так непосредственно овладеют сердцем, что с разумом долго не соберешься, дабы самому себе изъяснить свое состояние, не только уметь с другим разделить свои чувства. Первая минута свидания моего с женой после наших страхов, кои при всей скромности свойств ее, конечно, и ее тревожили, эта первая минута ни из какого пера не вытечет на бумагу. О! Как трудно пролить на ней пламенные чувства сердца, в сильные движении от любви приведенного! Я обнимал бабушку, Бергмана, жену, мать, детей и всех. Все, даже служители наши, в тот миг благословенный, в которой десница Вышнего, по счастию, еще ее спасала, казались мне друзьями, все водворялись в мою душу, она открыта была ко всем благосклонным побуждениям. Дети наши вновь рожденные были оба мужеского пола, они названы были Рафаилом и Дмитрием. Первое имя избрано было прежде, второе вдруг во-

шло в голову, и оно сохранилось в память родного дяди отца моего князя Дмитрия Ивановича[23], в Киеве скончавшегося. Они казались так слабы, что нельзя было откладывать крестин, и потому мать моя с Александром Васильевичем Салтыковым в тот же день принимали их от купели, но страх сей был напрасен, они начали оправляться и стали жить. Жена моя была в большом изнурении сил, однако, по худому состоянию тех комнат, в коих мы жили, пока отделывались настоящие наши покои, торопились мы в них перейти, и, действительно, 19 августа перешли и в новых комнатах отправили крестильный пир, в котором доктора не попрепятствовали жене моей с умеренностию принять участие. Где быть беде, там и малая причина важные родит последствии. Комнаты, в коих мы жить начали, были расписаны, стены еще содержали в себе некоторую сырость, она подействовала на нежные органы жены моей, которая и без того уже приведена была в бессилие. Притом переход на новоселье скоро после таких трудных родин, хотя и в хорошее еще время, приветствие детей, ласки окружающих, радостные взоры участвующих в ее спасении после толь критических минут — все это расположило сердце к излишним движениям, а движении сего рода никогда физическому составу нашему даром не проходят. Отсюда при недостатке бережливости родилась простуда, которая свалила жену мою в постель, и она не занемогла только, но начала хворать. Матушку отвлекли хозяйственные недосуги опять в подмосковную: жатва и разные распоряжении сельские требовали паче ее присутствия там, нежели оно могло быть нужно в Москве. Итак, мы остались опять в скуке, занимаясь посещениями врача нашего Политковского, который еще имел довольно к дому нашему приверженности, чтобы прилежно лечить жену мою и стараться о средствах избавить ее от простуды.

День от дня жена разнемогалась и выдержала продолжительную болезнь, так что до октября от дня родин своих не смела и подумать выйти из своей спальни; по некотором облегчении начали мы думать о выездах. Между тем и матушка, проведя остаток лета в Никольском, возвратилась в Москву. Везде конопатили окны в ожидании зимы с ее морозами и скукой, а я заранее воображал о удовольствиях театра и о камине. Но прежде зимы еще вот какое случилось обстоятельство. Князь Юрий Владимирович Долгорукий, который в звании генерал-губернатора или военного губернатора, по-тогдашнему, управлял Москвой, предложил государю какое-то мнение свое насчет постройки казарм. Тогда все, что ни придумывали к пользе людей военного состояния, все было принято с

удовольствием. На эту мысль вышло повеление собрать дворянство и из них назначить депутатов для расположения, по скольку с кого из городских обывателей взносить должно на помянутые казармы. Дворяне собрались, и хотя не было между ими и сотой доли живущих в Москве, но все было довольно много для спору и шуму. Любопытство или, сказать правду, бездействие и меня туда занесло, ибо по утрам в Соляной конторе я был лишний, а там по крайней мере мог наряду с людьми шуметь и пробовать силу моего голоса. Депутатов выбирали по баллам, и как-то попало так много избирательных на мою сторону, что и я сделался нечаянно депутатом. Большой крик был началом совещания нашего. Иной думал так, другой иначе, ничего не положа, разъехались, назначив собранию быть дни через два, а я, приехав домой, подумал об этом прилежно с домашними и рассудил следующее: 1) остаться депутатом и согласиться на что-нибудь, противное государю, — беда; 2) придумать в угодность ему такое положение, от которого потерпят обыватели, — беда перед совестью, которая житья не даст своим манером, а у ней их очень много, когда она восстанет против хозяина; 3) отказаться от избрания удобно и возможно, ибо я был при должности, и сие послужило бы мне в отговорку правильную перед своей братьей. Надлежало только о сем посоветовать предварительно с Долгоруким, и этот случай меня ввел в тесное с ним знакомство. Я к нему приехал, объяснил мои причины, он их выслушал, нашел основательными и дал мне свободу отозваться, уверя, что это его не тронет, а меня могло успокоить, тем более, что город роптать начинал на него за эту выдумку, и мог бы я понести часть некоторую негодования общего на себе как однофамилец его. Итак, я отозвался. Товарищи мои, депутаты же, сперва немного посетовали, а потом все они под разными предлогами то же сделали, и депутатская эта комиссия, как и многие другие учреждении, исчезла в самом своем начале, не сделав по крайней мере никому вреда.

Дома между тем делалось весьма доброе дело. Детям нашим Алексаше и Антонине расположилась жена привить оспу, но для сего надлежало их отлучить от самых маленьких детей. Салтыков представил к тому легчайший способ, он взял их и с доброй мамкой немкой к себе на квартиру. Туда ездил к ним доктор Воспитательного дома г. Беркович. Связь его с Салтыковым по одному ведомству с стороны службы доставляла детям нашим неусыпные его попечении. Они шесть недель там прожили и благополучно от болезни сей выздоровели, а потом и домой к нам возвратились. Близнецы росли и приходили в силу. Все бы изрядно,

но жена, выехавши в октябре, опять простудилась и долго лежала. Зима, суровая зима лишила ее всех способов скоро оправиться, и она сколько по склонности своей, столько и по болезни принуждена была дома сидеть беспрестанно.

Знакомство мое с Долгоруким сделало меня интересным для тех, кои в нем имели нужду. Из сих Столыпин ни за кого, кроме меня, не считал для себя полезнее ухватиться для успеха в своем предприятии. Этот помещик пензенский, живший в хлебородных своих дачах до глубокой старости, имея одну дочь, переселился в столицу щеголять комедиантами собственно своими. Охотные приглашении, большой дом, роскошные вечеринки, театр и музыка, которые никому, кроме его, гроша не стоили, скоро всю Москву с ним познакомили. Он почитал себе за честь, что большие бояра к нему жалуют, а сии радовались, что Бог послал такого олуха, который их забавляет даром: слово *гратис** и в столицах имеет свои прелести. К нему съезжалась, как говорится, неоторченая труба народу[24]. Чтоб возвысить цену свою в людях, подражая общей системе или вкусу тогдашнего времени, г. Столыпин рассудил дать театр публичный в пользу бедных. На сие нужно было дозволение Долгорукова. Дабы соединить все выгоды разом, Столыпин, зная и охоту мою к театру, и даровании в этом роде, убедительно меня уговорил посмотреть несколько репетиций его актеров, выбрать пиесу и от князя Юрия Владимировича исходатайствовать соизволения на его предприятие. За все то я взялся охотно, ибо мне нужно было чем-нибудь разбить мрачные мои мысли и отвлечься от беспокойств домашних приятными рассеяниями вне дома. Всякий день Столыпин меня угощал. Начальник города план его опробовал, назначил я оперу, видел его художников, наконец, с большим шумом сыграли ее на московском театре в пользу бедных. В этот вечер Столыпин был на троне, а я почти с ним рядом; слава весьма убогая, но всякий пользуется той, какая есть. Павел школил солдат своих на площади, а мы с Столыпиным — актеров на театре. Там иногда было холодно, всегда скучно, и редко проходило утро без несчастия, а у нас всегда шумно, весело, и редкий вечер проходил без любовных потех, к которым Бахус присоединял свои услаждении, и в нашей труппе гораздо крепче спали, нежели в казармах Императорской гвардии, где и во сне грезится только фрунт да прусские шляпы с длинными их косами. Какой несчастный экипаж для веселья! Конец столыпиной комедии был концом

* бесплатный (от лат. gratis).

почти и нашего знакомства. Он из вежливости продолжал меня звать к себе и после, а я — ездить, но мы не свели хорошей связи между собой, и эти восемь дней сует заняли весьма короткий миг в летописях как сердца моего, так и разума: ни первое не разгорелось, ни последний не повредился, все осталось in statu quo*. После всяких сторонних увеселений или забот дом мой, жена, дети брали верх над всеми предметами в мире, и я к ним с новым и сильнейшим жаром обращался.

В октябре же месяце получил я от князя Куракина письмо, в котором он по именному указу делал мне выговор за худое мое обращение с женой и за отступление мое от обязанностей супружеских. Это письмо у меня до смерти моей сохраняться будет как самый сильный знак моим потомкам несправедливости Павловой. Оно писано было ко мне от генерал-прокурора по поводу доклада ему сенатского о деле обиды моей, Улыбышевым мне нанесенной. Я никогда не искал узнать, чем это дело по Сенату кончилось, какое было им сделано определение? Сведал только скоро потом, и то нечаянно, от сестры большой, что он прощен[25]. Это известие меня сильно тронуло и ввергло в бесчувственную задумчивость, так что я в несколько дней едва молвил ли с кем-нибудь даже из семейных два слова. Я не стану здесь, как юрисконсулт, говорить о целости законов, которые все решением сим были нарушены, я не стану говорить о них потому, что они в России не существовали никогда и впредь существовать не будут. Вверяться им в нашем отечестве есть дело безрассудное. Но посмотрим на письмо и выговор императорский, за что он мне его делал? За то, положим (хотя читатель в этом меня нигде не нашел случая уличить), что я был неверен жене моей. Худое дело! Но образцовое ли? И потому должен ли был я один изъят быть из числа тысяч мне подобных для наказания столь примерного и уничижительного? За то ли, что я развел мужа с женой? Но любили ли уж они друг друга и не разводились ли несколько раз гораздо прежде моего в том участия? Павел, сам Павел осмелится ли у престола Вышнего укорить меня в делах сих, когда он сам превзошел в жестокости хищного леопарда? Он отдавал справедливость достоинствам жены моей в том письме, которое мне от имени его диктовал генерал-прокурор. Он как бы в отмщение ее делал мне поносный выговор, но она его о том не просила, и когда бесподобная жена сия меня в заблуждениях моих простила, кто возлагал на него суровый долг отмщения мне за нее? С какой справедливостию согласно было

* по-прежнему (лат.).

отказать ей в нужном пропитании, не дать ей ничего, раздавая все царство многим, подчинить ее моей воле, моим доходам и вместе с тем ополчиться противу меня и бранить меня за то, за что уже она, все позабывши, и косого взгляда мне не посылала? Он в этом письме велел выхвалить жену мою, а когда она просила хлеба, можно сказать, он от нее отворачивался. Есть ли во всем поступке Павла какая-нибудь малейшая черта правосудия и человечества? Нет! Он был только одет в кожу человека, все внутренние его части были хищны и злы. Я пишу сие один в своем кабинете, меня никто, кроме Бога, не слышит и не видит. Пусть Всемогущий воздаст сему царю за все то, что мы от него претерпели. О! Как бы еще он счастлив был, если б один мой глас услышался в горнем царстве. О нет! Там — там вся Россия с ним суда вечного ожидает! Оставим его и лютые об нем воспоминании. Тело его, я думаю, уже сгнило, хотя и в золотом гробе сокрыто. Ничто от тления нас на спасет.

Печаль одна никогда не приходит, всегда с ней есть сотоварищи. Так и в этом состоянии, довольно неприятном уже и самом по себе, обременяли меня долговые хлопоты. Я оставался должен тысячу рублями в Пензе тамошнему коменданту по векселю, которому истекал годовой срок. Этот немецкий глухой полковник приступал ко мне без милости. «Всякий в своем добре волен», «долг платежом красен» и прочие подобные пословицы были основанием поведения со мной этого неумолимого цесарца, который в денежных делах знал только два слова: протест и процент. Он отсрочить не соглашался, требовал тотчас платежа. Всякая почта приносила ко мне побудительные его грамотки, но ниоткуда ни одна не приносила денег на расплату, а взять мне было их негде. Что долее медлил я удовлетворением его требований, то больше он грозил жалобами на меня государю. Положение мое не дозволяло мне шутить такими угрозами, они могли иметь самые несносные последствии. Хотя законы меня бы и ничему слишком тягостному не подвергали, но Павел и законы были две противуположности, он решал все по своей фантазии. Кое-как я перехватил взаймы в Москве деньги под кружку, ложку и разные домашние мелочи и заплатил пензенскому господину коменданту полковнику Коху. Октябрь месяц казался назначенным на испытании сердца моего со всех сторон. 6-го числа умер князь Волконский, отец того семейства, куда я сделался въезж. В нем лишились дочери его друга и единственной подпоры, брат их не замешкался дать им почувствовать, что он может глупыми издержками и мотовством своим расстроить все их состояние, и чем более к тому стремился, тем потеря их была им чув-

ствительнее. Я делил ее искренно с ними и учащал мои посещении, от которых сердце мое более и более таяло.

По выздоровлении жены моей от простуды мы завели для сокращения зимних вечеров у себя маленькие съезды приятельские, а к тому дом Волконского познакомил меня с князем Трубецким[26], господином богатым, у которого дом был большой, театр прекрасный, во всех трубках горели свечи, всегда тьма народу, и сквозь огней различить некогда было в окошки, хороша или дурна погода, а чувствовать ее мешали несколько десятков печей, которые исправно топились. В этом славном доме заводился спектакль между благородными людьми — как меня не позвать в труппу? А мне — как не пойтить? То и другое очень скоро состоялось, и я сделался между ими актером. Тут, как обыкновенно на всех театрах, начались интриги и сплетни, суеты и недосуги. Я отстал от вольного театра. Срок ложи нашей с Салтыковым истекал, цена на них возвысилась, и я не рассудил брать ее на будущий год. Довольно забав было и без того. Репетиции у Трубецкого доставляли нам большие увеселении, мы ссорились за роли и мирились по триста раз на день. Большого у нас никого не было, хозяин был всеобщий слуга; жена его, прекрасная женщина, знакомая мне еще в девушках[27] и из строгой бедности попавшая в изобильное состояние, влюбляла мужа своего беспрестанно в себя, а сама влюблялась во всех. Тот тешил ее роскошными издержками, а прочие забавами, время текло скорее всякого ручья, мы не успевали считать дней в неделе. Какой сильный магнит — великолепные стены, музыка и множество свеч! Все туда бегут, как пчелы на хорошенький цветок. Любовь к веселью есть общая страсть человечества. Где же его искать, как не под крышкой богатых? Трубецкой тогда спешил показывать, что из двадцати шести тысяч душ, которые за ним написаны были по сказкам, можно, не имея ни души в самом себе, ни ума, убить третью долю на фонари и кулисы так, что никто и спасибо за то сказать не захочет. Вот мастерский способ быть расточительным! Философ накупил бы книг, но кто их читать станет, особливо зимой, при свечке часто сальной? Боголюбивый человек наделал бы колоколов, окладов, утварей, которые бы никого не забавляли, и первые лишь сон отнимали своим звоном. Благотворительный муж нынешнего века наделал бы богаделен, гошпиталей, о которых писали бы во всех газетах, тогда как заключенные в них ожидали смерти без врачевства и достаточной пищи. Итак, не лучше ли, чтоб знатные кучи денег находились в руках людей роскошных и щедрых? Конечно, лучше, и дай Бог за эту зиму князю Трубецкому много лет

здравствовать! Он прост — что нужды, у него весело; он груб — что нужды, у него модно; он пасмурен — что нужды, у него светло. Виват, богатые простяки! Вселенная без вас была бы самая плачевная нора, самая темная пещера, в которой ученые мудрецы и лето умели бы сделать несноснее зимы своими беспрестанными аксиомами. Комедия наша назначена была в декабре, но, казалось, судьба и тут позавидовала нашим забавам. Кто-нибудь из нашего общества провинился, ибо кончина принца Виртемберского[28], отца императрицы Марии Федоровны, послужила причиной большого в обоих столицах траура, и даже все публичные позорища были на три месяца заказаны. Хотя его никому не было жаль, однако церемонии придворные требовали, чтоб вид скуки покрыл все городские лица. Все начали печалиться по указу, а особливо мы, но не о принце, которого никто в глаза не знал, а о том, что не удалось сыграть выученной комедии и блеснуть перед Москвой. О! Если бы иных огорчений на свете не было, как те одни, которые по наряду показываются между людьми, хорошо бы жить было на свете. Сей траур, однако, подлинно был для нас огорчителен, потому что пресеклись частые съезды у Трубецкого, и резвости остановились вдруг так, как маятник в часах, которых никто не заводит.

В таком обстоятельстве не оставалось ничего иного нам к отраде, как дворянские выборы, которым наступило время. Трехгодичный срок их истекал в декабре. Самым великолепным образом призваны были всей Московской губернии дворяне в большую залу Сенатского корпуса. Так как Контора наша была в соседстве с ней, то я мог свободно быть зрителем свалки, все кричали вдруг, по обыкновению, и никого нельзя было расслушать, но я здесь о выборах говорить много не стану, они скоро действующим лицом мèня найдут в службе, и тогда удобнее будет мне рассуждать о странном их образовании. Так окончился первый год царствования Павла Первого для нас. Слава Богу, что мы его прожили. И это милостью неба почесть было можно. Мы еще были дома с своими детьми без разлуки вместе — вот прямое и главное благо отца семейства; все прочее, по большей части, одна химера воспламененного воображения. Ничего нет выше натуральных удовольствий, они могут ли состоять в чем-либо ином, кроме тихой жизни среди своих домашних. Горести в семье, недостатки, нужды, все сноснее потому, что каждая такая ноша не падает на одного, но на многих, которые совокупными силами легче их выносят. Не знаю, все ли так думают? Но божусь, что я, при всех моих заблуждениях, не мыслил никогда иначе и истину сию ощущаю в полной

мере. О! Сколь приятно такое убеждение, когда около себя видишь милую жену, всеми дарами природы обогащенную! Не все в одинаком положении. Тем более, слава Богу, и тысячу раз слава Богу, что я тогда находился в подобном.

1798

Посмотришь на себя, посмотришь на людей:
То скука, то печаль — нет дня без приключенья,
Минуты без тоски, часа без огорченья;
И вся-то наша жизнь не стоит двух грошей[1].

Так изъяснялся я в стихах несколько лет ниже, и очень кстати стихи эти поместиться могут в заглавии сего года. Есть неоспоримо какая-то смесь в обстоятельствах, которые то окружают нас радостьми, то печалью, можно даже сказать об них, как о болезнях, что они в воздухе. В пространной комнате, где накурено разными благовониями, с ними соединяются и людские испарении. Не правда ли, что иногда обоняние наше то приятным, то неприятным трогается чувствованием? Так точно, право, так и обстоятельства, как дым, ходят в поднебесной, и иногда радость, а иногда печаль касаются наших органов. За всякую комедию, которую я играл в столице, судьба мне припасала огорчении, и я, право, не знаю, что из двух для чего делалось? Забавы ли для рассеяния моей печали, или печали для уменьшения восторгов? Ах! Где они, те счастливые годы, в которые человек восхищается, не думая о будущем! Они как сон проходят, и когда после этого сна проснешься, то день остальной жизни кажется нестерпимо долгим, а время сновидения так коротко, как день октябрьский.

В генваре, наконец, разрешили забавы, смягчили суровость мнимой печали, и мы у Трубецкого комедию свою сыграли, но какую, я истинно не помню, кажется, из аглинского театра, «Le Bon ton»[2]. Удачно были розданы роли, всякий находился в собственном своем положении, и рукоплескании множества зрителей успех наш доказали, впрочем, утвердить этого доказательства нельзя. У приветливого хозяина ласковые гости готовы всякому скомороху бить в ладоши. Между тем сестре моей замужней рассудилось доставить нам неприятное приключение. Она с мужем ездила в Петербург. Как не посмотреть Павловых сумятиц! Там

доживши до последнего пути и вместе до последнего времени беременности, чтобы не завесновать, рассудила пуститься в путь, положась на русское слово *авось*. Оно многим служит опорой, и в России без него едва ли бы мы могли считать столько славных побед, сколько войска наши их наиграли. Ефимовские граф с графиней поехали из Петербурга благополучно, но, доехавши до некоторой деревни в Тверской губернии, сестра почувствовала время родин и без всякой помощи родила в избе. Слухом земля полнится. Скоро дошли вести о том в Москву. Стоустная молва все умножает, и так сказали сперва, что она выкинула, назавтра — занемогла, а дни через два — уж и на свете ее нет. Мы сведали только с нарочным прямо от них о сем приключении, и сестра моя меньшая поскакала к ним быть свидетельницей нашего участия, но Богу угодно было дать ей еще несколько лет прожить[3], хотя не без основания полагать можно, что сей случай был началом той болезни, которая ее с жизнию разлучила. Известии стали доходить в лучшем виде, и скоро все они возвратились довольно благополучно домой. Десятого февраля сестра родила, 14-го меньшая поехала, а 23-го все были уже с нами. Ребенок умер. Часто мы горюем, когда около нас нет докторов, и думаем, что погибли, а я, напротив, как Петрарх скажу: чорт ли в эскулапах![4] Всему пора и время. Пришел ли роковой момент — ни все лейб-медики четырех стран света дыханья не продлят, напротив, если человек еще жить должен, и без лекарств протянет лет десять. Бог один держит нитку живота нашего, и когда он ее режет, врачи — худые покровители.

Кто читал мою Историю, тот видел до сих пор, что когда меня очень беды прижимали, тогда прибежище мое было к театру. На нем я не забывал, но рассеивал мрачные мои мысли. Сердце мое имело всегда довольно силы, чтоб перенести и самые жестокие напасти. Почему я это знаю, скажут? Смерть отца моего была хотя и печаль, но печаль натуральная по порядку естества, постигнуть меня рано или поздно назначенная. Правда; но оттого, что она была в естестве, меньше ли была огорчительна? Все приключении наши не суть ли естественны? Человек из круга природы никогда не выходит, следовательно, все, что с ним ни случится, все будет натурально. Но это не заставляет заключить, чтоб оно не было тяжело. Постыдное приключение и обида Улыбышева со всеми ее последствиями, конечно, напастью почесться может, но ты сам ее навлек, ты сам ей был причиной. Опять согласен; но меньше ли оттого она тяжела и прискорбна? Итак, отразив противуречие, утвердительно скажу, что сердце мое сильно и много несчастного перенести удобно, но

воображение боязливо и мрачно, а оттого и нужно бывало мне всегда разбивать свои мысли, потому что они часто от меланхолического моего свойства бывали так черны, что возмущалось от них воображение, и я нередко близок бывал к тому, чтобы сойтить с ума. Для того-то и жена моя меня часто посылала в гости во времена своих болезней, дабы я менее страдал. Я не был охотник ни до собак, ни до вин, ни до карт, любил одних людей и очарований, следовательно, один театр способен был приводить в движение пылкие мои чувства и, занимая их, хотя ненадолго отвлекать от предметов печальных. Так точно и во время весны сего года убегал я дома своего, в котором всякая минута сопровождаема была горькими слезами. Жена моя начала так сильно харкать кровью и так неумеренно часто, что Политковский, ее доктор, да и прочие, ездившие к ней на консилии, не предвидели в животе ее надежды. При всем своем великодушии, теряла и она все уповании остаться в мире. Политковский однажды не обинуясь ей сказал, чтоб она готовилась в Донской, ибо он уж не знает никаких средств к ее спасению. Все сие делалось в ней, однако, без сильных изнеможений, она даже не лежала, но или что-нибудь работала, или читала книги, и каждая минута, каждый звук ее кашля грозил дому бедой. Увы! Какая картина! Какая бедственная полоса в жизни! Все усилии врачей час от часу становились более бесплодны, но Бог еще, Бог, сей великий целитель души и тела, не подписал приговора ее кончины. Он еще был преклонен к ее вздохам, моим слезам и молитвам праведных, коим она втайне милостыню творила. Бог ее сохранил тогда, как менее всего этого ожидали. В один день после последней почти консилии наудачу доктора ей предписали пить кобылье молоко. Новость ли сего средства, или страх приближающегося конца так сильно подействовали на ее нервы, что кровь, уняв гортанные свои потоки, обратилась к натуральным ее источникам. Жена получила бодрость, силы, и молоко кобылье возродило ее как бы снова. Оно ли сие произвело? Конечно, оно, по самому натуральному свойству своему и действию на слабые груди, но я тогда приписывал сие Богу и тем был еще вернее в своих надеждах. Сии строки будут иметь свое истолкование после, до тех пор пусть они и странны, и безбожны покажутся, не о том здесь рассуждать мы будем, а, обратясь опять к себе, удивлю читателя, когда скажу, что между всеми этими мучительными не днями, а неделями я играл комедию. Меня таскали на пробы, жена требовала, чтобы я ими занимался и не был дома, потому что, будучи мнителен, робок, не мог никогда скрыть своих чувств, они печатались во всех чертах моего лица и

приводили только в пущий страх самую жену мою, которая и от собственного своего состояния, и от моих внутренних болезней была сугубо терзаема. Чего она не перенесла в это время!

Здесь обязан я снова выразить ужасную черту характера императрицы. Желал бы молчать, но духу не ставало переносить все то, что она с нами делала. Пусть по крайней мере бумага примет, потомство на ней прочтет, до какой степени она с нами сурово обходилась. Против нашего дома в Москве, за Москвой-рекой, был так называемый скотный двор, Воспитательному дому принадлежащий, в котором для приезда опекунов или чиновников отделаны были покои. Доктора советовали жене моей переехать за город и там врачеваться чистым воздухом. Ничего лучше нельзя было приискать этого загородного дома. Жена, обратя на него свои виды, испрашивала позволения у императрицы туда на одно лето переехать, и в этом ей было отказано. А для чего? Для того, что императрица назначила в этом доме прививать коровью оспу нескольким детям Воспитательного дома. О сем поступке после предшествовавших обстоятельств при воспитании и свадьбе жениной нет нужды много рассуждать, всякий, прочтя сии строки, остановится и с негодованием глаза вскинет на небо. Умирающая женщина, питомица, не могла успеть и в том, чтоб ей дали угол на скотном дворе для обольщения мыслей, для услаждения мнимой надежды, что сие убежище будет спасительно!

Посреди всего того я занимался театрами, ролями, представлениями. Не приходи, однако, любезный сын мой, ты, для кого я это более пишу, нежели для всей публики, не приходи от этого в ужас. Как! Мать моя умирала, а отец, отец мог играть комедию! Так, мой друг, так, странно, непостижимо, особливо при той любви, которую я имел к жене моей, к бесподобной Евгении; но пусть кто-либо исследует, каков я был даже в самые зрелища за кулисами, какое на мне представлялось лицо. Одно исступление театра, когда я на нем болтал свою ролю, казало меня согласным с моим положением, одно искусство в игре служило публике приятным, может быть, очарованием, но как скоро я сходил с подмостов и входил в самого себя, тотчас тоска, печаль, страх ели мое бедное сердце. Я отъезжал домой, думая: «Ну, я теперь уже друга моего не застану!» Кто уразумеет эти волнении, кроме того, кто их испытывал: ах! не теперь ли, не сейчас ли смерть у меня все отнимает? О, как содрогании сии мучительны! Блажен, кто об них по книгам только имеет понятие! Чувствовать их на свете есть ад мучительней ожидаемой грешниками геенны! Есть тартар, который один Творец натуры силен был поместить

среди рая вселенной, во множестве тех сокровищ, коими природа ее украсила и обогатила. Не вините меня, читатели, душа моя дорого выкупила те минуты рассеяния, которых я искал и, находя, терял внезапно. Кто лучше знал меня жены моей? И она настоятельно хотела, чтоб я в болезнях ее никогда не множил присутствием своим ее страданий. Слава Богу! Слава Богу! Ей лучше, — пойдем по пути жизни нашей далее.

Где же я играл, что и с кем? Прежде надобно два слова молвить о правительстве. На что? Какую связь это имеет с нашей труппой? Немалую. Одна страница письма все это покажет. У Павла, как у фантасмагористов, картины беспрестанно менялись, то та голова, то другая в тенях на холсте отличается[5], так и в Москве военные губернаторы беспрестанно сменялись. Был князь Долгорукий, но вдруг он не полюбился[6], и на место его прискакал в Москву граф Иван Петрович Салтыков, фельдмаршал, о котором много писано было мною во время шведской войны. Он был родня всем Трубецким[7], начиная от самого потопа. Одна из родственниц его, женщина подлинно прекрасная и вдвое того любезная, ему понравилась[8]. Граф был уже стар, но еще влюбчив. Он тотчас расставил свои батареи против ее прелестей. В этой битве княгинины способы были сто раз надежнее, потому что она принялась за все обольщении, женскому полу свойственные. Что может быть удобнее театра? Он и дурных кажет прекрасными, как же красавиц не уподобить богам? Для большего сияния знала она, что ей надобно быть одной, без сравнения с другими. Кстати на сей конец другая княгиня Трубецкая, женщина, вышедшая уже из молодости, и также родня ее[9], упражняющаяся в стихах и прозе с большим успехом, представила сочинения своего драму, имя ей было «Эдуард и Эмма». Она была не напечатана; сын автора[10], и который превосходно знал музыку, положил мелодраму матери своей на ноту. Чтоб разыграть ее на театре, надлежало иметь актера и актрису. Княгиня Трубецкая удостоила чести сей меня. Она в этом назначении не теряла своего расчету! Ведая, что граф ревнив, нельзя было лучше выбрать себе в любовники, как меня, потому что я был очень дурен и пленить сердце ее не в состоянии. Да я же ходил не в мундире, а в глазах княгини это было великий недостаток. Она так любила белые кирасирские кафтаны, а особливо под голубой лентой[11]! Какое множество седин эта одежда убирает! Словом, вы теперь видите, для чего мне нужно было поговорить о Павле Первом, думаю, однако ж, что я лишнего ничего еще не сказал. Театр потребен был просторный, поместительный. Эмма предполагала всю Москву сделать свидетельницей ее искусства на

16 Зак. № 3535

театре. На сей конец князь Шаховской дал свой театр. Он был далек отсюда, почти за городом, но что за нужда для военного губернатора, у которого всегда хорошие лошади в упряжке — все два шага. Театр этот имел все выгоды, поместить мог до трехсот человек, но мы зазвали четыреста. Кто ранее приедет, думали мы, тот и прав, а опоздавшие пеняй на себя или дави всех направо и налево. Чего не делает в людях любопытство? На сцене расположен был гром, молния, буря, море, корабль, который со мной погружался в бурный океан, дикие камни — все было симметрически расставлено, и никогда, я думаю, кораблекрушение не было столь приятно глазам, как тут. Оркестр наполнен был при сочинителе музыки из охотников, то есть из людей благородных, которые скрыпок настроить не умеют. Свалка была большая. Полиция всемерно трудилась ввести четыреста человек в такие стены, в которых может войти только триста, и, казалось бы, ведь нельзя? Ничего не бывало. Слово *как-нибудь* в России все затруднении разрешает, оно подобится Александрову ножу, рассекающему гордеянскую петлю. Нечего говорить об нас двух, мы играли прекрасно, чрезвычайно, бесподобно, и рукоплескании долго после зрелища и далеко по Калужской дороге (ибо театр был у самой ее заставы) простирали свои звуки. То-то восхитительная минута, когда после успеха в сыгранной роле покажешься вдруг в огромную и прекрасно освещенную залу, где роскошь не оставила ни одной точки в небрежении, ни одного лица без своих прелестей! Все приветствуют, все поздравляют. Толпа соберется знакомых, множество сыщется благосклонных приятелей. Каково же было для княгини Трубецкой, встречающей пламенные взоры военачальника Москвы, обращенные совокупно со всеми прочими на нее, да на нее одну. О! Я думаю, что завоевании Персии и Царяграда со всей Африкой и лучшими островами Америки меньше приятны, меньше торжественны. Красавица, сыгравшая прекрасно хорошую ролю, все помрачает в зале. Можно об заклад биться, что прусский кавалерист, который весь свой век на коне сидит и ищет увечья на полях брани за честь своего государя, не выкурил столько трубок табаку в свой век, сколько руки княгини Трубецкой получили поцелуев. После этого сравнения, черезвычайного в своем роде, мне, право, ничего выразительнее сказать не остается.

Этот праздник давался апреля 20-го дня, и я за мое искусство в награду чуть было от судьбы не пожалован в кривые. Какое бы знатное прибавила она преимущество ко всем прочим наружным моим прелестям! Долго ли до беды? Так мало надобно, чтоб обезобразиться совершенно.

Я ехал в Контору мудрствовать о соляных оборотах и по странной для многих, но для меня полезной привычке (потому что она сокращала мои переезды из места в место, а в Москве это так нужно, расстоянии все так велики, время так тщетно пропадает) в карете читал книгу. Это упражнение меня нимало не беспокоило. Многие ему сперва смеялись, называли меня чудаком, но когда увидели, что насмешка меня не трогает и я чтения моего в карете не прерываю, оставили меня в покое, и никто привычкой моей не стал более заниматься — обыкновенное следствие равнодушия или презрения к насмешкам. Итак, я в карете читал книгу. Чтоб лучше видеть, я держался ближе к окошку, оно было открыто. Лошадь, оторвав копытом камень из мостовой, кинула его на бегу в боковое мое окошко. В одну минуту глаз мой закрылся, книга выпала из рук. Где больно, тут тотчас руки. Ощупавши кровь, я велел поворотить домой. Приехав, осмотрелся в зеркало и нашел небольшую ссадку так близко к веке глазной, что ежели бы на полградуса ближе попал отрывок этого камня, конечно, я бы сделался циклопом. Куда бы тогда девались комедии наши! Княгиня Трубецкая пролила бы о таком жалком со мной приключении хотя одну горестную слезу не меня ради, но комедии. Для чего бы то ни было, приятно возбудить сожаление! Согласен; но что-то я не тужил о том, что не успел сделаться предметом слез Эммы, дражайшей Эммы, с которой спокойное кораблекрушение на бумажном корабле несравненно приятнее, чем потеря глаза. Никому природа не дала лишнего. Итак, благодарю тебя, натура, благодарю тебя, случай, что, размеря копыто моего коня и удачный бег кареты, счастливый поворот кисти моего кучера, которые на градус отвели лошадей в сторону, спасли меня от нового безобразия. Натура посовестилась, она и так меня им наградила при рождении. Вместо беды сделалась самая сносная болячка, которая не помешала мне быть ни на одной репетиции. Вот каково, иные говорили, быть странным, читать в карете. Глаз мой зажил, и я опять стал возить Реналя с собой в Контору.

Наступило лето, оно имеет свои прелести, оно богато удовольствиями другого рода, нежели комедиями, а потому все театры благородные с весны закрылись до зимы. С летом жена ободрилась, я обрадовался и воспользовался моей свободой. Служа так, как я служил, это значило числиться в службе, а не исправлять ее. С дозволения директора по праздничным дням иногда отлучался за город. Тогда праздников было много, еще с этой части не знали экономии, и случалось мне дней по пяти прогуливать сряду. Любопытство мое влекло меня посмотреть во-

круг лежащие места. Я хотел иметь понятие об окрестностях Москвы. Город в будние дни измеривал пешком по вечерам, а в праздники езжал за заставу. Видел Воскресенский монастырь со многими его церквами[12]. Подлинно чудно, как Никон, патриарх, столь знаменитый муж своего времени, мог уживаться в таких хижинах, какова была его пустыня. Едва может в ней поместиться человек с некоторым благосостоянием и спокойствием. Тут большое число церквей, состроенных императрицами и знатными особами[13]. Тут все места имеют те же названии, как и во Иерусалиме, и, действительно, нет ничего страннее, как слышать в сорока верстах от Москвы наименовании Фавора, Вифании, Капернаума, Лобного места и прочее. После этого монастыря ездил я в Саввин[14]. Там мощи лежат Звенигородского Чудотворца, там остатки древностей российских, весьма примечательных. Монастырь сей на самом лучшем месте. Дорога к нему от Москвы лежит по берегам Москвы-реки, усеянной прекраснейшими видами. О! Как приятно туда ездить сам-друг или с приятельской беседой, с хорошими книгами в ясную погоду! Там можно приметить с любопытством трех разных архитектур образчики в обветшалых дворцах царя Алексея Михайловича, Елизаветы Петровны и в новых Екатерины покоях. Можно с благоговением прикоснуться к тому далматику, в котором хаживал царь Алексей Михайлович. Этот монастырь часто имел его посещения, и когда он езжал на поле, то проживал в нем иногда недели по две и за трапезой с братией тамошней доказывал часто самым делом, что царь Давид догадлив был, когда сказал, что вино веселит сердце человека[15]. Был также я у Троицы. Кто, живучи в Москве, не захочет видеть этой знаменитой обители, которая украшалась тогда присутствием в ней Платона, славного нашего проповедника? 6-го августа у него бывал праздник в Вифании, так называемой пустыни, где семинаристы, дабы менее страшиться ожидающего их со временем уединения, обучаются играть на скрыпках. Какая приятная пустыня, где можно слышать гайденов адажио или пайзиеллов рондо! Такова была пустыня Платонова. Он сам в означенный праздник служил обедню, сам поучал нас слову Божию, и я, любя в нем ритора, богослова, ученого мужа, даже пастыря церкви, весьма ненавижу светского человека, потому что он груб, горд, упрям, не умеет ни жить, ни обращаться, принимает худо, не сажает в келье у себя никого, словом, он невежа в свете. Мне скажут, что он монах. Неправда. Архиерей, который носит несколько лент и числится кавалером (так завелось при Павле)[16], который правит большой епархией, присутствует в Синоде, консисториях, читает регла-

менты, решит дела самые соблазнительные, слушает то, от чего у монахов, каковы были Антоний и Федосий Печерские, уши вяли, который пьет, ест хорошо, одевается роскошно, живет в неге и отдыхает в зеркальных кабинетах, такой архиерей, по-моему, не монах, а как скоро он духовного звания барин, то он должен быть вежлив, учтив, благоприступен и посетителей своих не окуривать отрыжками пресыщенного желудка. Но если он в комнатах у себя несносен, то сколь же он кажется преподобен в храме Божием пред алтарем Всевышнего! Все его помышлении стремятся к Богу! Он с изображения его не снимает глаз, он беседует мысленно с Саваофом, и дары его суть жертвы умиленные, жертвы, исторгающие даже из сердец неверующих потоки слезные. Это я видел на лицах многих иноплеменных. Какая разница между его пустыней и никоновой! Там двум поворотиться негде, а в Вифании можно накормить человек тридцать. Платон очень щеголяет своими церквами, ризницей, которая отменно у Троицы богата, обогащает ее своими дарами, охотно служит обедню и уже заранее назначил телу своему место. Как жаль, что этот философ в рясе не умеет обходиться и не старается присоединить к славе отличного священника имени светского просвещенного гражданина.

Прошло лето, и за ним наступила пасмурная осень. Я накупил на всю зиму в камин дров, потому что без камина нельзя жить как без воздуха, а чтоб и сердечный камин всегда содержать в тепле, я возобновил прежние мои знакомства. Ездил к Нарышкиной, которой зараз[17] уж я не боялся, к Долгорукой, тетке моей, которой дружество от превратных обстоятельств усиливалось[18], к другой Долгорукой, вдове[19], с которой прежняя моя связь не потерпела никакой расстройки. И так между ими, то с той, то с другой, я прогонял на белом свете тоску осенних вечеров. В сентябре выпустили из Конной гвардии с чином корнета в драгунский полк Хостатова, стоявший тогда в Харькове, брата моего Гришу Богданова. Это меня порадовало, ибо ему в гвардии служить становилось несносно. Никто не жаловал, а всякий бил. Тяжкое состояние! Мы с ним повидались, он отправился в полк и начал вести свою службу, а я во всю зиму начал, как птица с ветки на другую, перескакивать с печали на печаль. Начались они тем, что сентября 21-го жена выкинула двухмесячного зародыша, который и похоронен в доме нашем под Девичьим полем близ домовой нашей церкви. Сей случай, хотя не сопровождался болезненными приключениями, но все был не в радость, особливо после ее немощей прежних мало или ничего не предвещал хорошего. Сие случилось с нею так нечаянно, что на вечеринке у нас при многих гостях едва она

успела выйтить из-за карт, как уже все было кончено. Тотчас прискакал Политковский, и начался опять ее карантин. Увы! Давно ли она из него, бедная, вышла! Природа мучила ее с стороны физики за те, конечно, возвышенные чувства, которыми она была одарена от Бога. По некотором облегчении ее в доме Волконских затеяли театр и меня играть пригласили. Этот дом был сердцу моему милее всех прочих моих знакомств, следовательно, отказа им никогда не было. Выбор пиесы умножил желание мое показаться опять публике. Они назначили «Philosophe marié»[20] и ту же ролю в ней мне дали, какую я играл и прежде у двора да у принцессы Барятинской, то есть Ариста. Хотя времена между собой очень были различны, но сие удовольствия театрального не уменьшало, итак, пиесу мы выучили. Я с восторгом готовился ее играть, зато встретили меня новые неприятности. Учитель при детях наших г. Тиери был мужчина видный. Будучи позван с детьми на детский бал к Гагариной, я его привез туда с собой. Он полюбился хозяйке и многим ее приятелям, которые не довольн[о] были мои, чтоб поступить со мной во всей строгой честности, на самом этом бале посулили ему больше жалованья, подговорили от меня сойтить, и князь Вяземский, тот самый, который был генерал-губернатором в Пензе во время моей там службы, у нас его подбил. Он отошел и поставил нас в новом затруднении искать на смену его другого. Немудрено, конечно, найтить такого учителя, каков в лице г. Вральмана представлен в «Недоросле»[21]. О! Конечно, немудрено, благодаря французской революции, которая их из отечества выгоняла тысячами. Мы в них недостатка не имеем, но сыскать настоящего и хорошего нравоучителя весьма трудно. Случай нам послал человека по сердцу. По рекомендации Долгорукого, князя Юрия Владимировича сына, приняли мы г. Венца, немца, человека строгих правил, хорошего поведения и с познаниями. Он не замешкался к нам приехать на тех же условиях денежных, какие имел прежний, и мы опять насчет ребятишек наших успокоились. Комедия шла своим чередом, но, видно, в книгах судеб написано было, что прежде, нежели мы ее сыграем, много воды утечет и пробежит обстоятельств всякого рода.

27 октября сестра моя графиня занемогла колотьем, и так сильно, что 29-го не было уже ее на свете. Тело ее погребено было 1 ноября в деревне мужа ее графа Ефимовского. Горестно терять сестру, и в молодых летах, сестру, после которой оставалось трое сирых детей[22], ибо сколько отец о них ни печется, дети, оставшиеся без матери, всегда сироты. Кто так за ними присмотрит? Кто с таким сердоболием вникнет во все их ну-

жды, как мать? Отцы по большей части рассеяны, они или на службе, или заняты хозяйственными своими делами и не могут столь непосредственный за ними иметь надзор, как матери. Им предоставила природа быть ежечасным предметом докук детских, ежеминутно их слышать и помогать им. Женщинам Бог поручил назидание над младенчеством рода человеческого. Натура пол сей к тому присудила, и мы ли, мы, все, от него родившиеся, право сие оспоривать ему станем? Так, конечно, выше я сказал, горестно брату потерять сестру, но связи сии часто бывают так слабы, не всегда свычка их сжимает и дает довольно твердости, чтоб горесть такова была убийственна. Она больна в первом движении, но скоро проходит и, если не совсем истребляется, то, по крайней мере, подобно многим другим печалям сего рода делается сноснее. Каково матери потерять дочь, потерять порождение свое! Вот плачевное и прямо бедственное позорище в природе. Когда я привез сие известие домой, принужден был сообщить его матери моей, разделить тоску ее и взглянуть ей в глаза, тут я увидел, что терять детище свое есть беспримерное горе. Знаю, что многие матери хладнокровно опускают чад своих в могилу и без слез лишаются многих вдруг, но сие исключение не падает на всю природу. Многие не видят, но все ли слепы? Многие не слышат, но все ли глухи? По человеку судить не должно о роде человеческом. Матери естественно убиваться на гробе сына и дочери. Так терзалась и моя мать. Состояние ее удвоивало печаль нашу. Видя поражение такого рода, нельзя, кажется, не обратиться с ропотом к Создателю, сделавшему печали сии возможными. О муже я не говорю ни слова. Беда вдовья есть беда бесприкладная, она никаким языком выражаема быть не может, никаким, никаким!

Это приключение остановило театр Волконских. Комедия «Философа» была неудачна, она многие подобные имела препятствии и от времени до времени все была откладываема. Отсрочки сии убавили желание действующих лиц ее играть, и зрителей, ее долго ожидавших, привела в такое утомление, что уже никто и не представлял себе от ней удовольствия. Но до комедии ли мне теперь?

Зима нынешняя наполнена была неприятными происшествиями, которые одно за другим ежемесячно расстроивали наше семейство. Кто хотел приучиться тужить, тот мог идти в наш дом тогда как в школу разных искушений. Но, не ходя еще далее вперед, пусть позволено мне будет отдать последний долг сестре моей восемь лет спустя после ее кончины. Пусть маленький панегирик ее будет здесь памятником брата,

ее любившего, пусть беспристрастная похвала свойств сестры моей, ничего уже не имеющей своего на земле живых, кроме бедных детей, управляемых мачехой, раздается в опустелой храмине, где труп ее пепелится, тогда как муж ее с другой женой делит блаженные отрады супружества и, может быть, ежели есть сношении у живых с мертвыми, прах ее тем беспокоит. Итак, пусть увидит она, что брат ее еще мыслит об ней, помнит и дарования ее оживотворяет в своем воображении. Она была кротка, скромна, а к ближним своим искренно привержена. Строго соблюдая все должности свои как дочь, жена, сестра, она не могла никого ненавидеть, ни в ком возродить иного чувства, как благосклонность и приязнь. Нельзя прожить всегда в ладу со всеми. Иногда подавала и она причины к негодованию, и сама была их жертвой, но раздоры сии никогда не порождали долговременной злобы или досады продолжительной. Ум ее был не пылок, но рассудок всегда присутствовал во всех ее поступках, она с ним почасту советовалась. Любила мужа своего до тех пор, что во время шведской войны посещала его в походе, делила с ним иногда опасности его. Что больше можно сказать о жене нашего века? Покойся, душа смиренная и благонравная, в обителях райских! Мой вздох при заключении сих строк да будет угодная тебе жертва любви моей братней!

Едва первое движение огорченных сердец наших утихло, как вдруг из деревни тещи моей получил я известие, что и она 10 ноября скончалась от следствия водяной болезни. Хотя жена моя и не могла много о ней тужить, потому что не было между ими той свычки, которая делает связи родственные приятными и прочными, — природа, конечно, налагает на них священный знак свой, но довольно ли сего для сердца; оно из всех органов человека есть свободнейший, оно любит по собственному своему произволу, никакие отношения, никакие соображении воспламенить его не могут, надобно, чтоб оно повелевало само собой, — однако жена моя, любя ее всем сердцем, чувствовала потерю матери в полном ее пространстве. Она проливала слезы, но не для церемонии, не для того, чтоб сказали: «Ах! Как она чувствительна!», но для того, что она ко всем должностям своим крепко была привязана. Чего же больше и могла ожидать от нее мать, почти от груди своей ее на чужие руки отдавшая? Мы не посылали карточек с объявлением о ее смерти, не наполняли города пустой и бесполезной молвой о нашей печали. Мы сетовали и с смиренным духом принимали столь частые посещении от руки Божией. Повиновение и почтительность жены моей к ее матери представятся в свое

время с сильными доказательствами. Доколе я не приведен еще судьбой к необходимости жестокой отдавать милой жене моей того же долгу, какой хочу отдать умершей матери ее, то сокращенно поговорю о сей достойной женщине. Она была бедна и проживала в маленькой деревнишке своей при семнадцати душах всего ее имения в Тверской губернии. Тут, в Подзолове, так называли означенную деревню, оплакивала она недостатки и нищету свою. Имея едва чем прокормить себя и дом свой, она не могла никакой помощи давать детям своим, коих было у ней, опричь жены моей, дочь, вышедшая в Пензе замуж, и три сына в службе, все они были на возрасте. Бедность не препятствовала ей иметь здравый рассудок и сильную душу, возносящую себя часто выше всех тех злоключений, каким бывает подвержен человек без состояния. Двор ее знал, то есть наследник, бывший уже тогда император, и нередко до вступления на трон он ей помогал, платя ее долги, ссужая ее деньгами на содержание, но казалось, что, взойдя на престол, Павел должен был умножить язвы всех тех, коим он благодетельствовал прежде, и она от него ничем не воспользовалась. Живучи одна в своем поместье, не могла она не потерять вкуса ко всем приятностям рассеянной жизни и через то приобрела терпение, без которого в жизни сего рода сокрушило бы сердечное желание жить лучше. Она не могла и не желала расточать излишнего. Нужды ее были ограничены. Сие тем более делало ей чести, что она отнюдь не лишена была благородного самолюбия и чувствовала, сколь мало бы она отстала от многих себе подобных, когда бы состояние ее позволило ей принять участие в общей жизни. Она лишена была удовольствия читать, потому что грамоте не знала, и сие новое несчастие происходило от бедности и расположения умов ее века. Когда она родилась, тогда еще не делали себе стыда из того, чтобы не уметь ни читать, ни писать, напротив, думали еще, что девушка, не учась этому, спасается от многих желаний и воображений, расстроивающих наше спокойствие. Я не стану здесь рассуждать о том, до каких пор такое понятие о благосостоянии человеков доходить может. Скажу только, что лишение книг в деревне при достаточных, хотя и худо образованных, способностях ума есть большое несчастие, и в этом, думаю, всякий со мной согласится. Теща моя любила всех своих детей, но преимущественно жену мою, а по ней любила много и меня. Не от нее зависело показать нам сего на опыте, но ласки ее, дружеские письма всегда были сильным доказательством ее к нам благоприязни. При всей бедности ее мы не теряли никогда достодолжного к ней уважения, она его заслуживала своими достоинства-

ми, которые мы ценить умели. Тело ее погребено было в селе Медном (ямская станция на большой Петербургской дороге), в самой церкве. Имение свое она не могла делить всем своим детям, а более всего не находила в том никакой для них пользы, потому что из семнадцати душ что бы могло достаться трем сыновьям, из коих двое скитались по морям на военных кораблях, а третий служил в Нижнем в тамошней Соляной конторе, в которую он из благосклонности ко мне был определен директором Главной соляной конторы г. Нелидовым, потому что скоро после моей выключки из Пензы и он, не стерпя против себя разных тамошних гонений, оставя службу, жил в отставке. И потому теща моя деревню Подзолово отдала одной дочери Надежде как той из всех детей ее, которая по обстоятельствам предвидимым должна была более всех со временем возыметь нужду в ее наследстве. Сие распоряжение было всеми принято за благо, никто ему не находил правильного противоречия, и всякий из нашей семьи покорился ее соизволению. Менее всех могла в нем пожелать участия жена моя, да и по свойствам своим она вовеки бы не отняла у сестры, воспитавшейся с нею в монастыре, последней и столь слабой ее подпоры. Вот как мы проводили время, одна печаль другую провожала. Окурим прахи мертвых кадилом нашего к ним усердия и любви. Вспомнив о кончине тещи моей, я желаю, чтоб дети мои и дети их памятовали всегда с почтением и любовию о той женщине, которая дала жизнь их матери, и если сама не могла дать ей приличного воспитания, по крайней мере была довольно рассудительна, чтоб не заградить ей пути к оному чрез понесение с ней несносной разлуки. Живучи с ней всю жизнь свою розно, она приносила ей в жертву желании свои быть с ней вместе. Что может быть важнее сего поступка с стороны родителей? Она искала все способы устроить благоденствие дочери своей и не щадила ничего для достижения в том успеха. О, дети мои! Не забывайте никогда таких услуг предков ваших! Почитайте их не за одно богатство! Умейте и среди бедности родителей ваших и отцов их распознавать чувства их, попечении о вас и благотворения, а я, обязанный всей отрадой жизни моей бесподобной вашей матери, не забуду родившей ее до тех пор, как призовет меня глас Божий присоединиться к сословию похищенных смертью друзей моих.

Еще не довольно, и декабря 21-го скончался сын наш Рафаил, один из близнецов. Он недели две болен был кровавым поносом и уступил природе, которая не дала ему чем оборониться противу болезни. Тело его похоронено близ гроба отца моего в Донском монастыре. Там некогда и весь род наш ожидать будет страшного суда. Но где тогда очутится

Рафаил? Где невинная душа его встретит родителей своих, о коих он умер, не имев еще понятия? Трудно решить вопрос: счастливы или несчастливы дети, в таком раннем возрасте умирающие? Мы верим, что им будет хорошо на том свете, потому что они не сделали никакого зла, но дает ли им какое-либо право на блаженство и то, что они добра также сделать не были способны? Дети умирают непорочны и незлобивы. Согласен; но какая может быть в том хвала, что ребенок, не смыслящий еще бытия своего, не сделает никакого худого дела? Он на доброе равно как и на злое способен. Рай, будущая приятная жизнь, чуждая недугов и печали, должна быть ценою добродетели, но младенец добр только потому, что он зол быть не может, следовательно, тут нет подвига и трудов, а где нет ни того, ни другого, можно ли предполагать при строгом правосудии Божества вечную награду? Здесь-то я скажу, как Фон Визин устами слуги своего Шумилова: «О таинство, от нас сокрытое судьбою!»[23] Мы видим очами физическими, что дитя перестает страдать, плакать и надоедать своим ближним, а потому и заключаем, что он счастлив, ибо мертвое тело уже не плачет и не болит. Так, конечно; н[о] довольно ли этого, чтоб заключить, что он счастлив. Судя по тем огорчениям, к которым человек готовится во всю жизнь свою, тот, кто избежал их прежде, нежели почувствовал, конечно, счастлив. Будем, однако, справедливы. Сколько взамен наших горестей есть таких радостей, коих лишение для человека, который жить начал, почесться прискорбием может. Он их не познал, следовательно, и тужить ему не о чем. Правда; но мы, которые испытали сие благодетельное равновесие судьбы, хотя и ропщем на нее часто, укоряя, что слез больше, нежели смеха, мы, говорю, истратившие часто большую часть жизни нашей в восхищениях и наслаждениях всякого рода, можем ли думать неотрицательно, что младенец, который умер, счастлив потому, что он не будет покупать улыбки своей вздохами? Признаемся, что жизнь, какова она ни есть, есть благо для рода человеческого. Младенец об ней не жалеет, но свойственно участвующим в нем жалеть, что он ее не провел с нами, что он не разделил с нами утешения бытия, а потому я и мать его, мы плакали о своем Рафаиле. Нам жаль было его искренно и чрезвычайно. Лишась его, воображение наше могло нам представлять, что он-то был бы умнее всех и лучше, что он-то был бы прямо счастлив. Всякий скажет: какая мечта! Так, я не спорю; но между всеми смертными есть ли хоть один, который бы не мечтал своих утешений? Они в сущности своей никогда не бывают столько сильны, как в воображении об них. Что у нас отнято, то всегда кажется нам дра-

гоценнее того, что осталось. Странная несправедливость, но всем общая! А это уже всеми веками дознанная истина, что сколько человек ни мудри, выше натуры он никогда не станет. Она его произвела, начинила его своими стихиями, следовательно, в ней он будет кружиться, и недостатки, общие его существу, каждый понести должен. Когда я вспомню о Рафаиле, мне всегда его жаль, хотя после нажил я с женой и другого[24]. Я не понимаю тех отцов, которые тужат о большом числе детей. Мне никогда не падало на сердце этим отягощаться. Сколько бы их ни было, они мне все милы, все любезны, дай Бог, чтоб они жили! Они не будут богаты, но Бог, дающий очам нашим свет солнечный, даст и пищу. Он не для одних богачей создал вселенную в таком изобилии и красоте. Эта общая мать кормит всех, и каждый бедной семьи сын не остается без крышки под сводом небесного Отца. Подобные заботы в разум мой никогда не вселятся. Растите, милые дети мои, будьте счастливы и любите Всемогущего!

Заговорясь о собственных своих несчастиях, я ничего не упомянул в нынешнем годе касательно до политических приключений. Правда, что они не принадлежат к моей Истории, однако, поставя в плане моем иногда молвить и об них, ничего достопамятнее в настоящем времени не нахожу того, что Лопухин, который после сделался и светлейшим князем, а тогда только сенатор, переименованный из генерал-губернаторов, Петр Васильевич позван был в Петербург и занял генерал-прокурорское место[25]. На такую высокую степень восходил он по милости прелестей своей дочери, в которую Павел влюбился. Она скоро сделалась при нем российская госпожа Maintenon или Dubarry[26], или что хотят, а по-нашему, по-русски, она стала его любовница. Павел был свойства влюбчивого и пылкого, притом наполнен романическою ересью, которая голову ему скружила. Он был новый Дон Кишот в своем роде, и, чтобы поцеловать ручку у своей Дулсинеи, он бы не пожалел полцарства. Страстные бури созданы для людей обыкновенных и простых. Им прилично воздыхать по нескольку лет у ног какой-нибудь красавицы, а цари, которые могут наслаждаться, когда, сколько и как хотят, для которых сокровища делают почти всех красот приступными, которые такое множество имеют сладких и способных путей к любовным отвагам, цари не имеют нужды влюбляться, лучше сказать, не могут, некогда. Так-то скоро успехи бегут вслед за малейшими их помышлениями, что времени недостанет ожидать удачи между тем, как он пожелает, и ему сдадутся. Хорошо быть в короне, хотя философы и кажут ее в книгах с стороны весьма отяготитель-

ной, но шапочка такая ко всякому бы пристала, и вряд сложил ли бы кто ее с себя, надев однажды.

Но не о том здесь дело. Лопухин — генерал-прокурор и заиграл большую ролю у двора. Исподтишка все его презирали, всем хотелось в нем найтить отца Эмилии Галотти, который в подобном случае вонзает кинжал в утробу дочернину и ругается над страстными вожделениями неистового своего принца, да ведь это в трагедии[27]. На театре оно производит прекрасное действие, особливо если в нем не холодно и не душно, много свеч и народу, и есть в виду после такого зрелища прекрасный балет со всеми его очарованиями. Но на театре света, где или холодно, или душно, часто и темно, и тесно, и вместо балетов по большей части от всякого приключения после короткого восхищения продолжительные слезы, там такие явления очень редки, там при малейшем наклонении фортуны всякий хочет весь рог изобилия ее высыпать к себе в карман безостановочно, там слова и уроки моралистов бывают тщетны. Лопухин дочери своей не заколол, напротив, воспользовался счастием, вскочил на ближайшие подмостки к трону и сделался первейшим вельможей. Павел Нелидову кинул и принялся за новую добычу. К уму первой приписать должно, что она так долго владела сердцем такого непостоянного и бурливого царя, ибо она в прочем была мала, стара, гнусного лица. В этом выборе он весьма оправдал свое рождение. Отец его, Петр III, не умел ничего лучшего присоединить к себе, как Воронцову, которая также была безобразнейшая женщина своего времени. У всякого свой вкус. Нелидова отошла от двора и поселилась в Смольном монастыре. Тотчас перестали к ней все ходить и ездить и бросились к Лопухину. На первых порах все его доклады были остроумны, успешны и основательны, ни в чем не было ему отказа, но для эгоиста, каков был Лопухин, конечно, некогда просить для других, всегда самому чего-нибудь надобно. Предместник его князь Куракин покатил жить в свои деревни. У этого двора не было середки: или случай, или гонении. Вельможа без кредиту не был терпим и должен был удалиться. Лопухин настроивал Сенат и дела на свой манер, по самой старинной русской пословице: «Всякий молодец на свой образец», но все сии перемены ни на мою собственную судьбу, ни на конторское состояние не имели никакого влияния.

Вот все, что про сей год сказать можно было примечательного. Он короче всех на бумаге, но наполнен происшествиями для семейства моего неравнодушными. О дети! Читая его, умейте различить насмешку от истины и шуточные мои замечании насчет возвышения Лопухина побереги-

тесь принять за справедливый образ собственных моих мыслей. Нет, нет, я никогда не буду в силах понять, как мог отец посредством посрамления дочери своей искать себе почести и славы. О! Если б она была в таких порочных побуждениях нашего сердца, ужли прямая честь и жар к истинной славе допустили нас пожелать оной и ею возгордиться? Порок всегда порок. Извиним слабости человеков, они всякому свойственны, скажем, как один славный латинский писатель: «homo sum et humani nihil alienum a me esse puto»*. Но сие еще не делает порока нам свойственным. Развращение есть бездна, в которую попасть страшно и не надежно. Редкий, попадая в нее, спастись может от гибели. Нет, я не хочу быть тем отцом, который жертвует детищем своим пороку для того, чтоб на развалинах его добродетели, его невинности созидать себе храм величия и дивом послужить миру. Рано или поздно нечестивые начала имеют свой конец, и он никогда не завиден. От суда людей уйтить легко можно, но куда сокроешься от самого себя? Какая светлость сокроет те черные пятна, которыми она достанется, если к достижению ее не было употреблено ничего, кроме разврата? Итак, милые дети, читая мои записки, ищите в них души моей, она для вас одних открыться хочет.

Я для других нередко шарю в голове и ищу затейливых воображений, украшая шутками длинные мои рассказы. Я поступаю так, как хороший зодчий, который при плане своего строения представляет хороший ему снаружи рисунок, чтоб, смотря на красу его, не скучать масштабом и измерением внутренних его расстояний, или как лепщик, который хорошими покрывалами убирает глиняную свою статую. Для других я ищу ума, забавы, повестей, для вас — о! — для вас совсем иного. Вы живете вечно в моем сердце, обнажать его ежеминутно пред вами есть лучшее мое удовольствие в жизни. Кому же я открою таинницы оного, если не детям моим, не вам, происшедшим в свет от бесподобно достойной, бесподобно милой моей жены.

1799

Кто читал мои сочинении, тот видел, что я сим годом был доволен, потому что я ему и «Спасибо»[1] мой написал в стихах. Доволен, то есть менее несчастлив, нежели прежде. Между людьми и уменьшительная

* См. примеч. на с. 365.

степень огорчений почитается за благополучие, в этом разуме повторю, что я наступившим годом был облагодетельствован, хотя при самом его начале дерзкие побуждении ума заставили меня подвергнуть себя великой опасности. Хвалить Екатерину Вторую было в тогдашнее время беда, а я, написав стихи на вступление в новый год[2] и сделав ей по чувствам моим панегирик, который тем был блистательнее, что редкие на сие отваживались, не спрятал его в свой стол, нет, напечатал, публиковал, везде стихи мои читали, все об них говорили, все считали: не три ли головы на моих плечах вместо одной, да и на отсечение многих тысяч вдруг слова одного Павлова было бы довольно. Однако я уцелел, подивитесь, — я уцелел. О! Важное благотворение судьбы, которой милости дерзость моя не стоила! Проходя прежние годы, я был слишком похож на проповедника, ежеминутные сентенции часто, думаю, надоедали и детям моим, и тем, кои, рядом с ними сидя, может быть, меня читали. При всяком случае я, как Сенека, отвешивал листа два обыкновенных площадных размышлений, которые от частого употребления, по выражению Коцебу, сделались как рубли, у коих уже совсем не видать штемпеля, а только остался кружок. Ныне я хочу быть настоящий газетчик, то есть рассказывать повесть моих приключений, а рассуждает об них пускай тот, кому нечего лучше делать, как путаться в лабиринте человеческих догадок. От этой способности человек отнюдь не делается счастливее, а только умножает число своих досад; все не так, все не на его вкус, а переделать ничего нельзя. Терпеть есть удел земнородных, а для этого все равно, размышлять или вовсе ни о чем не думать. Рассудок, предваряя наши печали, от которых он, смею сказать, никогда избавить нас не силен, только что наводит тень на все предметы, и чего бы мы ни видели или ни спознали, то самое так близко подносим к чувствам, что остеречься от огорчения невозможно в таких даже случаях, в которых без утонченного об них размышления иное бы совсем до сердца не коснулось. Но как я худо держу свое слово, невольно опять как будто с кафедры заговорил! Вот как сильно действует на нас привычка. Переломим ее и начнем побасенку дошедшего до нас года.

В самом его начале, отклонив все препятствии вольные и невольные, сыграли мы, наконец, у Волконских в доме «Философа». Какой был людный и прекрасный спектакль! За все те препятствии, которые мешали мне почваниться в моей роле, казалось, что он вознагражден был сугубым успехом. С тех пор как мы ее учили, сколько смертей, нечаянных трауров останавливали нас почти за кулисами. Родственник один княжон

Волконских, князь Друцкой, умер[3] в такой день, в который уже вся публика сбиралась нам бить в ладоши. Я с моей философской одежей и париком уже расскакался в подъезд театра, как швейцар, объявя мне, что спектакль по сей причине отказан, заставил сожалеть несколько недель о таком старике, которого я в глаза не знал, которого и родственники несколько лет уже нигде не видали. Но обряд, обряд, тиран столичных жителей, требовал наружности печальной, и я на сей случай сочинил пиеску, которая довольно была забавна[4], но опять-таки обряд помешал ее сыграть. Все ее читали, иные хвалили, многие смеялись, но выставить ее напоказ никто не решился, хотя менее всех мне самому желать можно было ее разыграть публично, ибо я тут ни на чей счет так не гулял, как на собственный свой. Наконец, однако, «Философа» мы сыграли, и после этого пришлось мне представить другого рода пиесу, но не на театре, а в Соляной конторе. Тут также часто представлялись немаловажные комедии. Мне надлежало трагическую взять ролю, другой мне не оставалось. Все забавные разобраны были моими товарищами, они до трогательного не очень были охотники. Вот сюжет этого произведения. Мне простят, что я шуточным слогом приготовляю читателя к неприятному в жизни моей анекдоту, но он прошел и почти забыт, следовательно, и посмеяться можно насчет странных оборотов наших дел и заключений. Не все плакать, иногда надобно и улыбнуться. На том свете, я думаю, мы и чаще смеяться станем, когда, собравшись в кучку (а публика наша там будет немалая, ежели все ревижские сказки пройти от начала мира), поглядим на все то, что, здесь живучи, и мы против людей, и люди против нас делали. То-то, я чаю, будет смешно. Своды небесные, на которых мы ходить там станем, гораздо сильнее зашатаются от всенародного крика и шуму, чем здесь лощеные полы зыблются в больших чертогах под ногами легких наших вальсеров, когда они пар в двадцать из угла в угол с избранными своими кружатся. Какое странное сравнение и безбожное! А почему? Странное, согласен, но безбожное — совсем нет, и я бы, может быть, взялся доказать, что нет, но благопристойность шепчет мне потихоньку: взгляни на заглавие года и держи свое слово. Итак, оставим сравнение как оно есть, и, сказав просто: прошу не погневаться, каково случилось, я веду читателя в Соляную контору, сажаю подле себя, беру на себя вид важного судьи и вещаю следующее.

В Крыму находились соляные озера, которые перед смертью Екатерины отданы были в первый раз с торгов на откуп, и содержал их купец Калугин. В Екатеринославской губернии генерал-губернатором был то-

гда князь Зубов, а под ним управлял всем тамошним краем родственник его генерал Хорват[5], следовательно, откуп сей отдан был Калугину по влиянию князя Зубова и на месте покровительствован помянутым Хорватом. Конец Екатерины переворотил листы во многих делах. Калугин ни от правительства, ни в кругу себе подобных не имел того веса, как прежде. В настоящем году приходил срок новым торгам, и уже Калугин имел в совместничестве своем богатого жида по имени Перетц, который в коммерческих оборотах начинал иметь великую силу между людьми сего звания. Он был человек ученый, с хорошими сведениями, знал разные иностранные языки, одевался и жил по гражданским обычаям, а что лучше всего, имел множество червонных, которые, зная довольно хорошо изъясняться по-русски, умел употреблять кстати в свою пользу при сей возникшей распре между Калугиным и Перетцом, которая равносильной быть не могла потому, что первый был простой русский мужик без приобретенных познаний, поддержанный до тех пор силой вельможи, его покровительствовавшего, и пришедший от перемены обстоятельств своих по тому краю в замечательный упадок. Оба имели достаточные залоги и неоспоримое право на торги, но Перетцу сего-то и не хотелось. Он ведал, что тот, имея тут свои заведении, не отдаст дешево ему своей торговли, а возвысить ее до нарочитой степени или возможной не соглашалось с его предположениями. Итак, Перетцу нужно было сделать, чтоб приняты были в Соляной конторе решительные меры отдалить Калугина от торгу и тем самым, допустя к нему одного его, остановить цену будущего откупа на том, на чем он захочет. Соляной конторе надлежало с своей стороны принять в основание поступков своих русскую пословицу: «На то щука в море, чтоб карась не дремал». Но от золота люди очень часто засыпают и тогда, когда самая большая их мучить должна бессонница. Прекрасное средство для усыпления рассудков и сердец, гораздо действительнее маковых соков, которыми одни лекаря возбуждают дремоту, потому что они не всегда набиты деньгами, как чучелы перьями. Сверх этого безошибочного средства жид имел в другом кармане тяжеловесное предстательство за себя графа Кутайсова. Если я о нем еще не говорил, то сокращенно здесь скажу, а ежели говорил, то повторить не лишнее, что он был турок, старый камердинер императора Павла, который ко всем качествам музульманина[6] присоединял искусство бородобрея и, несмотря на графский диплом, на все ленты, даже и Андреевскую, повешенную ему на шею и через плечо[7], бривал его величество и, словом, во всей форме был у двора его Фигаро[8]. В таких об-

стоятельствах трудно было дать перевес Калугину со всей его правотой, хотя и он имел в пользу свою письмы к нашему начальнику Нелидову и ко мне от князя Безбородки, но уже тогда, как Безбородко подобен был монете, потерявшей цену свою в народе от ржавчины и прочих недостатков, вышедших по времени наружу. В самом деле, князь приложил свою руку к двум письмам, которые поднес ему камердинер его, благотворящий Калугину, и сей их нам вручил. При первом движении я взялся очень горячо за пользы Калугина. Честолюбие мое обольщаемо было самым лестным образом отзывом князя Безбородки. К усугублению моих трудов об нем и за него послужило и то, что в первый раз еще в жизни моей просил меня вельможа о таком купце, на стороне которого справедливость. Что ж может быть реже, как найтиться в возможности угодить большому человеку, не повреждая чистоты совести? Что ж поистине могло быть и приятнее для меня? Я не более был как член Соляной конторы, а имел просительное письмо от князя в такой же силе почти, как и директор оной, потому что камердинер, который их подносил к рукоприкладству, не понимал, что тут во всякой строчке должны были быть разные оттенки, и даже подпись покорного слуги должна была иметь свое различие, но камердинер тут был дело сокрытое. Я видел крупными словами имя князя Безбородки в письме просительном к себе. Чего же больше для самолюбия или тщеславия? Я, право, далеко не пойду в книгах рыться, чтоб взвесить разницу этих двух слов, часто между собой друг друга заменяющих. Мне простительно было думать, что я значу много на счету князя, ибо будучи только член конторы, для чего бы ему к одному ко мне относиться, а не ко всем? Стало быть, я могу противоречить, я имею вес, мой голос не вздорный — заключение самое справедливое, по крайней мере естественное, и если не сам князь обо мне так выгодно думает, то, конечно, Калугин почитает меня за что-нибудь особенное. Правда, правда совершенная, правда, думал я, и выкладывал в моем умишке. На сих соображениях основал я здание моих предприятий и расположился действовать за Калугина, то есть открыть ему двери в Соляную контору, пустить его в оную и дать торг с язычником. Пускай, думал я, они режутся между собою; на таком стотысячном поле не воинов, кровь лиющих, но купцов, сыплющих червонные, беленькие, красные и синенькие бумажки, почитал я себя уже заранее славным витязем, патриотом, великодушным мужем, словом, мне уже казалось, что я должен в честь свою получить от империи статую или по крайности медаль с хорошим девизом, который бы сам постарался придумать. Но ах! Увы!

Все не так пошло, и вместо монументов едва усидел я на бедном моем стуле, который хотя и жестко был набит и беспокойнее моих домашних кресел, но за сидение на нем получал я в год из казны по 1875 рублей, а потерявши их, я бы и дома не мог сидеть в своих креслах. Я с самого начала делопроизводства по сим торгам не скрыл от Нелидова письма, мною полученного от Безбородки. Он со мной поменялся доверенностию и объявил мне то же. Я спросил его, как он действовать станет. «Так, как угодно князю», — ответствовал он мне тихонько, и так остался я покоен. Намерение мое несколько дней имело полный успех. Скоро потом увидел я, что журналы стали подносить нам совсем противные моим видам, скоро увидел я ясную и ничем не сокрываемую наклонность к Перетцу от всего нашего трибунала. Тогда я рассудил, что мне нечего иного делать, как или, соглашаясь с Конторой, поступить противно письму княжему, или подавать голоса в моем несогласии. Думавши о том долго, я нашел, что последнее средство было для меня наиприличнейшее, ибо, действуя для Перетца в страхе Кутайсова, об участии которого я знал только по догадкам, было бы дать всякому право меня винить в недостатке соображения. Разве не может купец, а паче жид, солгать? Разве его басни должны были заслуживать большую веру, чем письмо, самим князем подписанное, а утверждаясь на сем последнем, если бы и впал в какую погрешность, всякий бы меня извинил и даже пожалел, что вельможа, вооружив меня пером за сущую правду, попустил оттого быть несчастным и ввалиться в острые когти Кутайсова. Между турком и жидом попасться в сплетни не забавно. Ухватясь за Калугина, я соблюл всю предлежащую мне осторожность и наперед о содержании журналов изъяснился с Нелидовым, который, не сказав мне, что Кутайсов к нему пишет о Перетце, оттого ли, что не хотел сего обнаружить, или не смел, или таки любовался моим беспокойством, в котором он почерпал сладкое мщение за то, что Безбородко, писавший к нему, дал и мне против него просьбою своею некоторую силу, отвечал мне сухо на мои недоумении: «Делай, что хочешь, и ежели на что не согласен, подавай голоса, на это есть форма». Слово *форма* был для меня сигнал распри, и я начал марать бумагу.

Голоса мои никакого действия не имели, их слушали и приобщали к делу, а между тем по большинству прочих чинилось исполнение, и наконец, по многим пустым привязкам к залогам Калугина, определили к торгам его не допускать. Вошел в Контору один жид Перетц, с которым о заключении контракта по той цене, какую он рассудил объявить, представлено в Сенат, но как Нелидов сим одним успехом доволен быть не

мог, то и добавили в протоколе, что по беспокойному свойству моему, происходящему от гордости, которая ни в чьей подчиненности терпима быть не может, представить о голосе моем и поступках Сенату. Товарищи мои не постыдились сего протокола подписать, хотя миллион имели правильных причин по крайней мере не злословить в акте присутственного места насчет равного себе члена, да и какую связь могла иметь нравственность моя с обстоятельством дела? Всякий, начиная от директора до последнего члена Конторы, вправе был судить о деле, оговаривать голос мой, но кто дал такое же право им судить и лицо в его качествах? Одна трусость и слабоумие могли к сему побудить, всякий хотел угодить начальнику, не считая предосудительным оскорбить подобного себе сотоварища, предать его всей ярости верхних наших судилищ. Поступок такой Конторы тем менее был позволителен, что жестокость тогдашнего времени подвергала бы меня самому несчастному жребию, если б не рука Божия очевидно спасла. Чего ожидать должно было от Павла, седяща на престоле, тому, кто противился выгодам первого его любимца Кутайсова, и о котором целое место, где он присутствовал, такого рода делало представление, чего? Натурально, беды! И беды примерной. Товарищи мои, однако, не запнулись подписать, можно сказать, смертного обо мне приговора. Я извиняю Нелидова, он был на меня сердит, самолюбие его было раздражено, в нем действовали страсти, и я бы худо знал человека, когда бы не признал силу ее над нами до такой степени, что мы и кротки, и честны, словом, и человеками нередко быть перестаем, когда они нас волнуют, но товарищи мои, они какой имели интерес поступить со мной так худо? Сам Перетц ужаснулся моих обстоятельств, он показал мне сильный опыт своего добродушия. Когда уже протокол был подписан, рапорт отдан ему в руки для доставления в Сенат, то он прислал ко мне товарища своего жида же Штиглица, конечно, не с тем, чтоб подкупить меня, то было поздно, но из сожаления к моему так некстати оказавшемуся патриотизму и любви к правде. Он поручил ему открыть мне картину моей погибели, сказав, что он действует и торгуется не за себя, а за Кутайсова, и тут-то я узнал, но поздно, сколько я неосторожен был в моих поступках. Поздно, говорю я не потому, что если б я это знал, то бы поступил иначе и пристал бы к неправде, но для того, что мог бы как-нибудь отпуском или болезнью отклониться от такого опасного дела, и, кажется мне, средство столь оборонительное не замарало бы меня нимало в глазах людей порядочных; но дело было сделано. Штиглиц предложил мне, не хочу ли я к кому писать в пользу свою в Питер, дабы

сколько можно защититься против посылаемого на меня рапорта. Я совет сей принял с благодарностию, и он взялся доставить мои письма. Тогда, к счастию моему, минута благоприятная встретилась для князя Юрия Владимировича Долгорукова[9], который уже меня довольно любил, чтоб захотеть для меня сделать что-нибудь. Случай князя Лопухина, бывшего тогда генерал-прокурором, по связи его с Долгоруким привлек его в столицу. Он был член Совета, беспрестанно с государем и Лопухиным. Я писал к нему, писал к другому приятелю Лопухина Корсакову, фавориту Екатерины Второй, который по связи его с теткой моею графиней Строгановой[10] был ко мне благосклонен. Из сих двух писем первое много в пользу мою подействовало, последний был пустой человек, ни на услуги, ни на предстательства не способный. Долгорукий употребил труды свои, он просил Лопухина, и при докладе Сенату по рапорту Конторы оставлены без внимания все посторонние ее донесении обо мне, а только рассуждаемо было о контракте, который натурально заключить позволено с Перетцом, ибо кто и где станет с сильным бороться? Таким образом спас меня сам Бог от новых бед, мне предстоявших. Вот как иногда человек не сам собой, не по своему произволу встречает такие обстоятельства, кои самые спокойные дни превращают в пасмурные. Они в другой раз со мной сходились, то же было в Пензе. К утешению моему с стороны службы, князь Долгорукий выпросил шурину моему Смирному, служащему в Нижегородской соляной конторе асессором, чин коллежского асессора. Он дан ему был от Сената без представления нашего места, которого бы Нелидов, открыто меня не любя, никогда об нем не сделал. Но недолго благодеющий мне князь и сам пробыл в случае у двора. Капризный Павел скоро его от себя отогнал. Он, получа отставку без мундира, приехал опять обрывать свою подмосковную каналами, он не мог жить без дела и, когда служба оного ему не доставляла, тогда он занимался хозяйством и паче строением, главною страстию своею. Это наполняло его досуги, разбивало его мысли, услаждало скуку, словом, было для него полезно. Удаление от двора, происшедшее частию от ссор между княгини его и Лопухиной, удалило от него в Москве многих его знакомых, которые не смели его посещать тем паче, что отставка без мундира была вывеска императорского на него гнева. Как странно было видеть в фраке генерала шестидесяти лет, израненного, служившего в семилетнюю войну, бывшего противу всех российских неприятелей везде и во всякое время, отличенного при Екатерине громкими титлами ее генерал-адъютанта и подполковника гвардии и

никогда еще не ходившего без шпаги в мещанском фраке, но такая безобразная картина, постыдная для самого императора, не долго смешила московскую публику. Долгорукий скоро получил опять право носить мундир, а до тех пор он не выезжал никуда из своего Никольского[11].

Лето сего года было самое грозное. Оно подобилось царству Павлову. Не проходило почти ни одного дня без грома, жары были непомерные, но я, несмотря на все эти воздушные отягощении, ездил повсюду за город.

Я еженедельно ездил в Кривцово, подмосковская деревня княжон Волконских, откуда с братом их, моим по службе товарищем, в одни и те же дни домой возвращалися. Там прогулки, рассказы прежних их увеселений, исторические повествовании о примечательных местах по происшествиям их жизни меня приятно занимали. Я там любил, а где любишь, там все приятно, все приносит отраду, там на маленьком клочке вселенной тотчас перенесешь пространнейший эдемский рай. Тут мы гуляли, резвились, а по соседям езжали вместе. Из них с удовольствием наибольшим посетил я Лобкову, она жила в деревне князя же Волконского другого. Какая прекрасная подмосковская! Как солнце пекло меня тут в спину с озера и как мысли мои насчет его забавно играли! Я смешил общество и сам смеялся непринужденно. С ними же имел случай видеть ломку каменную в Богородском селе князя Голицына[12]. Я никогда не забуду тех впечатлений, кои получил во всех этих местах. Забудешь ли то, что в молодости восхищало, когда сердце наше еще так гибко и склонно к восторгам? Тот угол в комнате, та точка земли на поле, где с милым человеком бегал, говорил, болтал вместе, никогда, никогда не выходят из памяти. О время! Время! Ты все уносишь! Все меняешь! Ты настоящая кинетозография[13]! Покажешь картину, приведешь ее в движение и после спрячешь навсегда. Оставь, ревнивое время, оставь нам хоть память прежних наших счастливых дней и благотворных заблуждений, если — увы! — все приятное одна только мечта!

Между прочими моими отлучками посетил зятя, графа Ефимовского, в его Можайской деревне. Там вытерпели весь ужас преставления света, ибо 25-го числа июня такой сильный был гром, что мы на самый тонкий волос отстояли от смерти, да и от какой же несносной. Что может быть ужаснее, как среди забав и летних попрыгушек убиту быть громом. Хоть смерть всячески неприятна, но все-таки порядочнее кажется умереть лежа на постели, чем за чарками вина, сидя за столом с друзьями, сгореть от молнии. Едва сего не случилось со мной. Из самой сильной тучи, почти горизонтально над самым домом висевшей, ударов побольше шес-

ти грянуло на расстояние десяти верст около нас; загорелось сперва вокруг села, в самом селе, наконец, на господской усадьбе от электрической силы стесненной атмосферы. У меня остановилось дыхание в то самое время, как я подносил ко рту за здоровье друзей моих рюмку хорошего венгерского. Всю ночь мы провели в страхе и не могли глаз сомкнуть ни на минуту. Право, тогдашняя гроза так замечательна была в моей жизни, что я не могу об ней не распространиться. На другой день по кратком отдохновении ходил я смотреть разные поражении сей бури, и тогда как повсюду под глазами и ногами нашими представлялись ее проказы, ибо инде плотину прорвало, и вода с шумом уносила последние остатки преград, ей поставленных, инде выгнанные из логовищ своих животные возвращались к своим пажитям и еще испускали жалостные стоны от ужаса, их объявшего, инде погоревшие обыватели сбирали остатки домов своих и на пепелище предков оплакивали бедствии человеческого рода, в то самое время натура, как будто обмывшись и получа новое сияние, возвращала все красы свои: становилось ясно, облака тонки и тихи в своем движеньи, голубец краски свои давал эфирному своду, все казалось под ним до земных областей в тишине и спокойствии. Как богат Творец натуры в способах дивить нас, пужать и паки успокоивать. В то же лето в самый Успеньев день в Москве слышен был необычайный звук грома, он продолжался в ушах как отголосок пушечных выстрелов беспрерывно целый полчаса. Сей феномен замечен был многими. Удар громовой обыкновенно имеет звук не слишком протяжный, и скоро гул его исчезает в воздухе. Сей, напротив, раздавался в слухе нашем так долго, что переставал быть похожим на обыкновенные громовые удары.

Среди сих возмущений природы я почти все лето провел за городом и по утрам в будние дни, сидя в конторе, сочинял оперу «Любовное волшебство»[14]. В меня тогда театральный демон вселился. Вся жизнь моя, обыкновенно, приносилась в жертву или ему, или женщинам. Та или другая страсть владела моими чувствами. Среди восторгов воспламененного воображения, для которого всегда везде находились у меня готовые предметы, написал я оперу, которая есть одна из славнейших горячек бывших и будущих сочинителей. Читая ее несколько лет спустя, не могу понять, откуда такой бред вселился в мою голову. Я был в сильном жару, когда писал ее. Она весьма скоро поспела, но я бы никогда, признаюсь, ее не напечатал, если бы не имела счастия понравиться жене моей. По ее убеждениям отдал я ее в печать и согласился пустить в продажу. Она от меня и посвящена была ей, все ее достоинство в глазах

моих состояло в том, что она ей казалась затейлива. Мне не надобно было иных преимуществ, сколько раз и в кого бы я ни влюбился, жену свою всегда любил более и лучше всех женщин. Я радовался, что мог приношение ей сделать сочинения такого, которое ее забавляло. Под сим покровительством уговорился я с книгопродавцем иностранным и пустил ее в свет, взяв себе за то несколько лишь экземпляров, и никогда не имел духа спросить у него, сошла ли она с рук, не остался ли он от продажи ее в накладе, потому что почти наверное узнавал, что никто ее не купит. Что лежит до публики, никто ею не отяготился, разве те, кои, по некоторым стишкам знавши меня в свете, полюбопытствовали, может быть, ее прочесть и подосадовали на меня, что я ее сочинил, а на жену мою, что она ее не сожгла в камине. Впрочем, никто ее не видал, ее нигде в Москве не играли, да и музыки никто на нее не сочинил. Несколько времени спустя сведал я только, что она полюбилась в Нижнем и была там играна на публичном театре князя Шаховского, который на нее музыку велел сочинить. Я никогда на сцене ее не видал, хотя сильную во мне к тому произвел охоту доставленный от князя Шаховского билет с раскрашенным Аполлоном и разными девизами для входу во всякое время в его Нижегородский театр, но туда ехать ее смотреть было бы не по моим деньгам, и далеко, и дорого. Я вообразил ее и тем остался доволен. Какое тесное сцепление в уме моем тогда было приятных и пасмурных мыслей рядом с этой оперой. Ехавши в деревню к зятю слушать неожидаемой громовой трескотни, я писал стихами мое завещание[15], которое как будто в возмездие за худой успех моей оперы было так благосклонно принято и одобрено всей публикой. На что я говорю «худой успех моей оперы», я никогда не соглашусь, чтоб она такой имела для меня, ибо, развеселя жену мою, заставляя иногда ее улыбнуться, о, как и мне она была приятна! Что нужды мне в прочем до публики; я, конечно, хвалу ее и признательность привык ценить высоко, но милая жена всякой публики выше. Она была мой ценсор, ментор, друг. Ее одно слово, с удовольствием о каком бы то ни было из моих произведений сказанное, составляло его вес и цену в моем кабинете, после я их выпускал с полной надежностью и если иногда в чаяниях моих ошибался, то нимало о том не сетовал, или, божусь честью, менее, нежели тужил о том, когда при многих чужих похвалах жене моей какой-нибудь стишок мой не нравился. Прошу не погневаться, я ее так любил и иначе не умел чувствовать.

Все наши печали должны бы были посещать нас в хорошую погоду. Летом натура кажется удобнее, все худое перенести можно. Я не говорю

о бедах, они тяжелы во всякое время, потому что и лучшее при них кажется самым скверным, но что лежит до неприятностей, нередко род смертных посещающих, то при ясном виде неба, прогулки, рассеяний самый воздух могут подействовать на раздраженные чувства и их несколько успокоить. Проведя нынешнее лето довольно приятно, вступил я в осень и касался уже почти зимы, как жена моя опять начала харкать кровью, но расстройка сия в ее здоровье скоро исправлена, и она пришла в прежнее изрядное свое состояние. Она тогда уже была здорова, когда не страдала мучительными припадками своей болезни, которая состояла в гемофтизии, по разговору докторов, а по-моему, в чахотке, но я тогда, к счастию моему, не полагал ее в ней или, лучше сказать, обманывал себя насчет ее здоровья. Ах! Как облегчительно быть по крайней мере обольщенну и не видеть ясно тех напастей, которые рок, сей никем не избегаемый тиран наш, исподволь готовит смертным. Я думал, что она только слабого сложения, а совсем не утверждался в том, что все видели, кроме меня, что она чахла. Сама она, кажется, сие чувствовала и, зная робкий и мнительный нрав мой, из великодушия старалась скрывать от меня будущее. Словом, она гасла, и тогда только почитал я ее здоровой, когда она не жаловалась на какие-либо чрезвычайные боли в груди и легком.

Среди единобразности, в которой мы жили в ту осень, потревожила меня смерть моего дядьки Степана. Этот человек был отцом моим куплен у князя же Долгорукого[16] и с самого моего детства ко мне приставлен. Наконец, в прежних годах жизни моей описано было, по какому побуждению дана была ему отпускная[17], но он ею никогда не хотел воспользоваться, остался при мне даже и тогда, как он во всяком отношении сделался мне ненужным, и умер у нас в доме, проживши с лишком шестьдесят лет. Благодарность требует от меня, чтобы я в память сего почтенного служителя здесь поместил несколько строк. Многие скажут: велика ли беда, что дядька умер, они и у всех кончаются прежде воспитанников своих. Так, конечно; но разве сие не обязывает тех, кои ими были довольны, ни к какой к ним признательности? Я таким образом думать не учился и не боюсь стыда от слез, которые я лью, бывая на его могиле. Он похоронен в нашей подмосковной, над ним нет камня, ни вкруг его признаков ужасной смерти, но сердце мое, подходя к ней, чувствует, что тут покоится смертная персть того человека, который сохранил мою молодость от порока, предохранил младенчество мое от зол физических, от падений, наносящих сплошь столько неизгладимых бедствий человеческому роду, словом, мне его жаль было, и я сего не чту ни слабостию, ни

пороком. Ужли только тех услуги помнить, кои по возвышению своему в чинах и состоянии гражданском могут навсегда нам быть полезными и к услугам присоединять беспрестанно другие? О нет! Во всяком роде и состоянии человек, мне благодеявший, будет жить в моей памяти, и я его за гробом не забуду. Что нужды, что усердие его было заплачено, что он во мзду трудов имел отличные в доме моем преимущества, — то делал мой отец. Но я чем ему воздам, чем? Моей памятью, вздохом искренним, слезами непритворными, теми дарами, которые расточает чувствительное сердце в жертву благотворителям своим и друзьям. Он не оставил по себе потомства, вдова его состареется прежде, нежели сии строки выдут на свет, а когда дети мои прочтут их, то они отыщут гробы сих почтенных служителей деда своего и скажут, поклонясь им: «Вот дань наследственная отца нашего, которую мы вам, любя его, без ропоту плотим».

Во всю ту осень по Москве свирепствовала какая-то эпидемическая простуда, называемая grippe. Кашель слышен был на балах, на театрах, в огромных торжественных залах, в судах, полках и храмах, всякий почти кашлял. Доктора наживались, а больные выздоравливали посредством одной благодетельной натуры, которая знала лучше наших гиппократов причину порчи и умела помогать ей своими средствами. Тем не менее, однако, поветрии сии делали множество досады молоденьким девушкам и взрослым юношам. Многие от бережливости засиживались дома, прекращались оттого случаи к свиданию. Когда же? Зимой! В такое благополучное время, когда в Москве всякий всякого по пяти раз на неделю может видеть в публике, несносно было им сидеть на диете и видеть одних угрюмых своих родственников да скучных медиков, которые лишь тогда становились милы, когда давали позволение на выезд. Но повальная эта простуда была и неопасна, и непродолжительна. Перемены в атмосфере часто бывают гораздо невиннее и сноснее перемен политических.

Коловратности тогдашнего правительства будут составлять знаменитую эпоху в летописях нашего края. Все шло наизворот, ничто не имело ни правил, ни основания. Первая минута, внезапная встреча при каждом пробуждении Павла действовали на все обстоятельства его царства и прочих. От его затеи, которую производила всегда какая-нибудь самая вздорная причина, зависела участь многих. Исчислить, право, невозможно всего того, что он творил, никакое перо того не опишет, и сто лет после нас дивиться станут, как после Петра Первого, после Елисаветы, после Екатерины Второй воссел на трон их такой своенравный владыка. Но видно, что последние годы осьмнадцатого столетия предопределены

были на происшествии во всем мире необыкновенные. Россия и Франция сделались тому свидетелями прежде всех[18]. В этот год скончался князь Безбородко[19], и хотя по способностям его, навыку и сведениям можно было правильно сомневаться, есть ли кому его заменить, но Павел доказал, что он из ничего сделает канцлеров. Иностранная коллегия с тех пор, как трактирная девка, переходить стала из рук в руки: то Куракин, то Ростопчин, то Панин, будучи по очереди виц-канцлерами, управляли ею[20], и она, стоя всегда на ветру, как мельница вертелась без умолку и молола вместо чистой муки вздор, которого насыпал туда всегда очень много чудотворный Павел.

Между политическими переменами за важную считать должно было и смену князя Лопухина. Дочь его, выданная за Гагарина[21], осталась в прежнем случае собирать следующие ей почести, но отец был отпущен, и место его сперва занял Беклешов, человек крутой, грубый, временами несносный, о котором доведется мне пространно говорить в другую эпоху жизни моей, но как и он не трафил на вкус Павла, то сменил его Обольянинов, самый подлый человек, муж по сердцу своего государя, из ничего происшедший и достойный быть тем, к чему призван был при таком монархе, каков был Павел[22]. Мне простят, что я почти на каждой странице обращаюсь к такому предмету, который к собственной моей Истории нимало бы не принадлежал, а именно к правительству и государю, но я так много от него получил поцелуев, наполненных ядовитостию, когда он был великим князем, что очень рад, что могу, как добрый игрок, взять свой реванш и отплатить ему за них приличной монетой.

Перемена генерал-прокурора подействовала и на Соляную контору, но не к пользе моей отнюдь. По каким-то причинам, которые для меня остались столько же неизвестны, как и египетские гиероглифы, вдруг без всяких предварительных повесток отставили нашего директора Нелидова. Это так скоро случилось, что в пятницу, прощаясь с ним перед Николиным днем в декабре и нимало того не ожидая, чтоб случилась какая в Конторе внезапная перемена, в понедельник уже мы съезжались в нее под новым начальством[23]. Главным директором на место Нелидова определен был сенатор Мясоедов, и хотя я не имел причин любить Нелидова, однако по справедливости скажу, что он несравненно был рассудительнее, умнее и к делу способнее, чем его наследник. К тому же он и часть соляную знал, как человек в ней опытный, а тот никакого об ней понятия не имел и, ежели просил этого места, то, конечно, для того единственно, чтобы получить даром ленты, подарки и жаловать в майоры по сту чело-

век на день, чего в Сенате делать ему обстоятельства не позволяли, да и случаев к тому не было. Итак, засел Мясоедов с нами, но я остался признателен к достоинствам Нелидова и продолжал с ним мое знакомство. Поступок его со мной происходил не столько от худых свойств, не столько от желания мне вредить, закоренившегося в сердце, ко злу наклонном, как рождался от случайной страсти, в нем подействовавшей. Самолюбие его разыгралось. Он был в самой нежной части своего характера раздражен и действовал по внушениям обольщенного духа. Если сердиться на людей за то, и сердиться продолжительно, что они, подстрекаемы будучи какой-либо страстью, не так поступят с нами, как бы здравый рассудок того требовал, в таком случае надобно досадовать и на пьяного, который стеклы бьет в доме. Все равно. Человек страстный в первом движении уже без ума, от него должно уклониться, буде можно; буде нельзя, и сделаешься его жертвой, конечно, дашь место на ту минуту досаде, но после снизойдешь и увидишь, что злобой за это платить не должно. Я простил некогда Ступишину в Пензе, простил и теперь охотно Нелидову. Много раз в жизни моей я таким образом прощал, и, право, это не решило еще меня впредь отстать от такой, по мнению моему, хорошей привычки. Буде верить слухам, то Нелидов к отставке своей подал сам повод и наказан был за сокровенный помысел честолюбия своего. Он, ездивши в Петербург, подавал генерал-прокурору Беклешову бумагу, в которой, требуя себе тех же преимуществ, какие имел бывший прежней Главной соляной конторы директор сенатор Маслов, изъяснил между прочим, что для успешнейшего ходу в делах нужно, чтобы человек, носящий его звание, имел титло сенатора. Мысль его, как видно, была та, чтоб дали ему чин тайного советника и посадили в Сенат, но в отсутствие его, ибо он должен был, не дождавшись успеха, ехать к своему месту, а тогда нельзя было просрочивать по шести месяцев и более, как при Екатерине, в отсутствие его, говорю, бумаги получили совсем другой оборот. Мысли его найдены правильными, и, во исполнение оных, добрые люди сработали там так, что на место его определили сенатора Мясоедова. Делать с этим было нечего, надлежало покориться. Нелидов уступил кресла свои Мясоедову, и сей начал сперва потчевать нас приветствиями. Около того же времени наряжены были по всей России из Сената ревизоры для осмотра судилищ частных по местам и общих по всему государству. Соляную контору сбирались осматривать сенаторы Заборовский и князь Вяземский. Первый из них был генерал-губернатором в Володимире, а другой в Пензе. О сем последнем много говорено

было мною в свое время. Итак, мы оканчивали год в больших хлопотах, приготовляясь к отчету не только перед ревизорами, но и перед собственным своим новым начальником.

Как об нем, так и о сей ревизии положил я пространно говорить в следующем годе, дабы не прерывать связи в моих происшествиях, а теперь в заключение года скажу только, что все это не мешало мне делить времени между друзьями моими и пользоваться им столько, сколько смертному в свете позволено. Увидевши слово *друзей* здесь, кто-нибудь, может быть, и подстережет меня, найдя невозможным иметь их во множестве, тогда как и одного, говорят, настоящего сыскать трудно. Так, конечно; буде мы вообразим друга и захотим его с римскими нравами, то и ни одного не сыщем, но я не гоняюсь за невозможным, и, ежели слепо верить истории, которая передала нам тьму примеров такого дружества, для которого один за другого люди часто в огонь и в воду наперерыв кидались, по крайней мере в наши времена за такими дивами я не гоняюсь, а доволен и называю друзьями тех, кои без излишества в чувствах, без чрезвычайности в поступках любят меня, сколько по естеству возможно, и желают мне добра, а в этом роде друзей надобно иметь много, потому что всякий желает другу своему счастия по своему свойству, и так, имея одного, никогда благополучен не будешь. Он, будучи, например, скупого характера, пожелает тебе быть богатым, тогда как ты вместо богатства желаешь почести, а он, не будучи честолюбив, не понимает твоей прихоти и желает тебе противного. Напротив, когда друзей много и они все, как и естественно то заключать должно, различных свойств и нравов, то всякий, желая тебе того же, чего бы сам ты хотел, соединяют во многих разных своих желаниях целое твое блаженство, и в нем никакого нет недостатка. Смотря на общество и сожитие людей между собою, я часто сравниваю их с библиотеками. Охотник до книг не может одной быть доволен. После Попа, Кондильяка и Лагарпа, который такую всем им дал расценку, захочет он и Кребильоновы басни прочесть, заглянуть в Флориана, поумствовать с Мерсье, поездить с Ланглем, волочиться с Волтером, плакать с Стерном и подурачиться с Скарроном и так далее. Все это требует многих книг. Общество, в котором среди известного числа людей нельзя найтить для всякого чувства пищи, для всякого желания предмета, есть недостаточно, точно так, как сочинение, в котором потерян один том. Душа ищет связи откровенной и честных нравов, сердце — трогательных вздохов и слез умиленных, текущих от горячей и восхитительной любви, разум хочет глубокомыслия и бегает за учено-

стию, за людьми бесстрастными, поседевшими в испытаниях. Как скоро нет всего того в обществе, оно бедно и наводит скуку. Надобно, чтоб человек был среди людей доволен, надобно ему соединить в них все оттенки разных свойств его и чувствований, иначе он будет все читать одну книгу. Она скоро ему надоест, другой он не сыщет, и самое чтение ему так опротивит, что он в кабинет свой никогда войти не захочет. Сравнение сие, может быть, мной уже и повторялося, если так, то виноват, но я пишу уже двадцать лет мою Историю, и весьма немудрено, если через такое долгое время я одно и то же повторил даже более двух раз. Во-первых, я пишу для себя и для детей моих, и пишу с тем, что ежели мои записки увидят в свете, то в нем тогда меня не будет, а потому мне и нужды не встретится сетовать о том, так ли обо мне думают по моей Истории, как я желаю, или иначе. Сверх того, я совсем не писатель публичный. Я мараю бумагу для своего занятия, для моих забав. Это наполняет мои досуги, сокращает время, которого такую знатную часть должен бы я был без того отдавать праздности. Я писатель или марачка совсем не систематический, начала с концом не связываю, пишу погодно, что со мной случилось, рассуждаю о действии всякого случившегося со мной происшествия на мой ум и сердце так, как то и другое настроены бывают. Итак, не войду в досаду, ежели никто и читать меня не станет. Как кому угодно. Я себя ни за Тита Ливия, ни за Саллюстия не выдаю, следовательно, и критиковать меня мало находки, да я же, еще раз твержу, критики не услышу, не проведаю, потому что гроб очень крепко затыкает человеческие уши. Худо только то, что я все сулю басни, а беспрестанно толкую, чего у меня никто не просит. Я бы должен был рассказывать мое приключение как сказку, как газетчик европейские сшивает новости одну за другою, и, кажется, даже твердо решился так поступать в начале года, но к концу оного изменил. Трудно, я вижу, преодолеть природу. Со мной сбывается во всех смыслах французская пословица: «chassez le naturel, il revient au galop»*. Театр, женщины, все тому служит примером и доказательством. Итак, ежели человека переделать нельзя, ежели подлинно согласиться и поневоле должно в том, что каковы мы в колыбельку, таковы и в могилку, то да простят мне мои россказни и позволят продолжать так же их в наступающем годе, в заглавии которого будет и у меня сиять Мясоедов, как ясный месяц на небе, который еще не успел в полноте своей озарить Соляную контору, как уже она и ущерб

* против природы не пойдешь (фр.).

его примечать стала. Увы! Не все то золото, что светится. Приготовляясь говорить об нем, нельзя не вспомнить славных Державиных стихов, которыми он столь достойно увенчал на все грядущие веки память одного современника своего:

Осел пробудет век ослом,
Хотя осыпан он звездами,
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами[24].

Вот и мои вам поминки, все господа почетные дураки, а за тем — прости, год любезный, прекрасный в моей жизни. И ты хотя имеешь свои пятна, но кто без них на свете, по крайней мере ты не замаран. Есть места в тебе, на которые можно взглянуть с приятной улыбкой, с благосклонным чувством удовольствия. Чего же больше? Все несовершенно. 365 дней не могут быть одинаковы. Где можно между ими отыскать побольше дней радостных, тот год хорош, мил, счастлив, словом, тот год есть таков, каков был для меня истекший под сей последней чертой моего пера, которое к нему уже не возвратится.

1800

Стань и ты, последний год осмнадцатого столетия, на суд мой, возобновись в памяти моей, дабы я обличил пред потомством моим твои благие и злые приключении. Многие теперь, сидя в своих кабинетах, так же как я, передают тебя временам грядущим, но с большею пользою для рода человеческого, ибо многие пишут для мира, а я только для моего семейства. Многие, я чаю, назначили тебя в жизни своей черными буквами, иные намарали кровью, а я, еще спасаясь рукой Всевышнего от сильных злоключений, могу иногда и светлые краски вмешать в мой рисунок.

Я начал год сей с стороны домашних обстоятельств в таком же расположении, в каком прошедший кончил, но с стороны службы совсем в новом нашелся состоянии. Г. Мясоедов обворожил нас своею приветливостию, но обольщении наши скоро исчезли. Скоро увидели, что он из тех людей, кои мягко стелят, а жестко спать. Вот что в свете бедственно, что мы должны опытом собственно своим, на счет нашего спокойства и тишины, узнавать характеры тех людей, с коими жить осуждаемся. Для чего нельзя при каждом новом знакомстве узнать человека совершенно,

ах, для чего нет у людей слухового окошка, которое открывши, можно было бы проникнуть в их сердце и никогда не быть жертвой их коварства[1]! Мясоедов, приняв Контору, начал тем, что дал предложение пунктах на сорока, в котором он порочил все то, что сделано было его предместником, дабы тем умножить славу свою и показать тонкую прозорливость. Выслушав это произведение в Конторе и выпив, так сказать, весь яд подлого шиканства[2], мы в Конторе не рассудили оговаривать неосновательность многих его заключений, потому что они относились большею частию к правам и собственным обязанностям директорского места, которого защищать Контора и не должна была, а только бы против себя самой раздражила своего начальника. Благоразумие требовало от нас, чтоб мы приняли это поучение с кротостью, однако я не меньше при выслушании предложения осмелился г. Мясоедова спросить: на какой конец он его дает? С тем ли только, чтоб показанные погрешности были исправлены в самой Конторе без огласки их или он намерен сделать их известными далее? Но он мне отвечал, дав залогом в том Бога и честь свою, обыкновенные сокровища тех, кои внутренно ни первого не чтут, ни последнего не имеют, что бумага, им подписанная, останется в Конторе. Успокоясь в сем удостоверении, клятвенно произнесенном в целом присутствии, мы оставались покойны и приписывали сочинение г. Мясоедова общей русской пословице: «Всякий молодец на свой образец». Многие почитают за какую-то славу, войдя в новое звание, порочить все то, что предместниками их было сделано, однако Мясоедов не долго нас выдержал в таком приятном заблуждении на свой счет. Скоро узнали в Москве все мнимые наши беспорядки, потому что он сам, видно, почитая предложение свое сочинением превосходным, давал с него копию товарищам своим в Сенате и хвастал им в своих обществах. Гг. сенаторы Заборовский и князь Вяземский знали его от слова до слова и, когда они приходили ревизовать Контору, то руководствовались его замечаниями, следовательно, при сем осмотре Контора одна должна была пострадать за вины бывшего своего начальника, ежели и подлинно они были. Сенаторы, однако, пройдя весь наш канцелярский обряд, табели и ведомости, и не поняв ничего в нашей бухгалтерии, которую, признаться, часто и мы не понимали, оставили нас благонадежными в том, что нет ничего, к погибели нас ведущего, и что они охуждать нас не могут. Но сии изустные только выражении, ничем на письме не подкрепленные, не давали места совершенному спокойствию. Оно скоро было совсем встревожено, когда вдруг получили мы в Контору указ сенат-

ский, в котором, все пункты Мясоедова быв прописаны, требовался с Конторы ответ. Тут мы увидели в полном ее сиянии благородную душу г. Мясоедова, который никакими новыми опытами не старался направить мыслей наших в лучшую о себе сторону. Получа такой указ, я напомнил ему о Боге и о чести, но он самым лицемерным образом уверял меня, что писал о сем партикулярно только в свою очистку к генерал-прокурору отнюдь не с тем, чтобы заводить из того следствии, напротив, будто бы даже он просил его эту бумагу сохранить для его только ведения. Странная выдумка! Как будто г. Мясоедов не знал, что предложение на сорока пунктах, посланное к генерал-прокурору, не может быть партикулярным отношением и что кроме деловой переписки никто, я думаю, не занимается между приятельскими и знакомыми письмами чтением коллежских бумаг и предложений. Как будто, с другой стороны, слово *очистка*, которую Мясоедов в извинение себя перед нами помещал, не значило, что он намерен был дать настоящий судебный ход своей бумаге, ибо, принимая ее партикулярным только письмом, в какую очистку могла она ему обратиться? Итак, неудачный отзыв его сделался вывеской его свойства и определил между им и Конторой с самого начала управления его общий и постоянный раздор. В таком положении себя видя, он почел необходимостию оградить себя людьми, ему подобными, или, по крайней мере, иметь на стороне своей хоть одного преданного себе человека и, сделав себе план мысленный, никому о нем не объявляя, отпросился в Питер для сношения с правительством по новой части, ему вверенной, и скоро поехал, оставя мне по форме как старшему члену надзор над всеми текущими делами, о которых обязаны были мы посылать ему каждонедельно меморию.

Отправя его на север ловить рыбу в луже, скажу здесь в нескольких строках, в чем состояла вся его служба. Он происходил чинами, как и все дворяне, сперва по гвардии, из которой получил при отставке к статским делам по обряду тогдашнего времени чин бригадира. Потом, попавши в виц-губернаторы в Калугу, где генерал-губернатором был Кречетников[3], подбился к нему в милость, навещал вседневно его переднюю, а у вельмож это большие заслуги, и, наконец, выучась у него ходатайствовать о чинах для всех подчиненных своих без разбора и тем основывать вес свой в людях и собирать вокруг себя толпу тварей без ума, нравственности и достоинств, переходил от должности к другой постепенно. Сперва в виц-губернаторы в Москву, потом в обер-прокуроры в Сенат, наконец, пожалован был в сенаторы и получил Аннинскую ленту при Владимирской на шее. Вот о его службе, — о характере довольно ска-

17 Зак. № 3535

зано изъяснением его прекрасного поступка с нами. Впрочем, время и совокупные труды около общего дела показали нам ясно и в недолгое время, что он человек неспособный к службе, без дальновидности в средствах, без соображений, без всяких основательных правил, весь блеск свой и мнимые достоинства получающий от случайных господ, у коих он имел особливый навык и искусство содержать себя в милости. Вот все, что его поддерживало у двора и в службе, а без протекции он бы весь свой век был пустой человек. Тщетно бы мы надеяться стали на отношении гг. сенаторов, ревизовавших Контору, они не сильны были ничего в нашу пользу сделать. Мясоедов имел пред ними большой перевес, и, конечно, дабы не войтить с замечаниями его в гласное противоречие, они ежели и похвалили нас, то, верно, слегка, впрочем, все их представлении остались суетны, исчезли как дым. Приводя себе на мысль это время службы моей в Конторе, не могу без смеха вспомнить чудесной их ревизии. Конечно, небо, чтоб несколько рассмешить нас посреди тех драматических явлений, кои приготовлял нам Мясоедов, хотело нам доставить такую комическую сцену. Г. Заборовский, такой смирный от природы человек, что он бы мог, кажется, донести дюжину стаканов стеклянных от Питера до Астрахани пешком, не только ни одного не разбивши, но даже и не пошевеля их на подносе, а князь Вяземский, такой пламенный и быстрый, напротив, что в его руках и чашка воды не удержалась бы на двух шагах без того, чтоб до дна не пролиться, оба, каждый в своем роде, делали мне и Пояркову свои вопросы: один с большою расстановкою, так, что между двумя вопросами можно было бы допросить всех московских колодников, другой по десяти на одной минуте, и, ни тот, ни другой ничего явственно в ответах наших не понимая, довольствовались запутанными табелями, которых ни тот, кто их сочинял, ни крепил, ни подписывал, никто ничего не понимали. Они были нарочно так составлены, чтоб неудобность в изъяснении их отнимала способы рассуждать о их содержании обстоятельно. Во-первых, они написаны были на превеликих листах картонной бумаги, какой больше в продаже не бывает. Разделении статей соляных на несколько сот граф и мелкая пропись в них миллионных цифров, все это такую представляло картину, от которой не только два сенатора, подобные тем, коих я имел честь описать, но, право, думаю, весь Сенат бы разбежался. А сочинял такие славные документы г. Поярков, который держался старинных правил и думал, что чем более дробей в расчетах, тем они для несмысленных замысловатее должны казаться. Коротенький счет и ясный

никого не удивит, а для сенаторов как меньше нашего можно было заготовить? Я тогда очень много внутренно смеялся и радовался заранее пользам, которые правительство от подобных ревизий ожидать может. Но обратимся к северу, там совсем не до смеха.

Там Мясоедов происками своими выходил отставку Пояркову с половинным жалованием, без всякого его желания, и на место его определили Вельяминова[4], статского советника, бывшего виц-губернатором в Туле после Мясоедова и такого же фаворита Кречетникова[5]. Этот человек, промотавши всю казенную тамошнюю палату, был во время Екатерины отставлен с таким замечанием, чтобы никогда не вступить в службу. Но чего не делает случай и подпора знатных господ? Все сии замечании были забыты, изглажены, и он получил новое место, никаких не имея способностей, ни ума. Он был таков, каковы надобны были Мясоедову товарищи. От него он не ожидал никаких противоречий, равно как и от Волконского. О нижних чинах, то есть о младших членах, нечего было и сомневаться, что они всегда будут на его стороне, следовательно, выгнавши Пояркова, с которым двое мы могли некоторые ему делать преграды, оставался я один, но один и в поле не воин, и у каши не спор, как говорится. Устроив таким образом свои связи в Питере и приготовив себе опоры на всякий случай, воротился он в Москву. Хотелось ему и меня выгнать, но не смел вдруг двух членов вытеснить, дабы не подать поводу думать о своей личности, а скоро представился ему случай, и он едва им не воспользовался, нанести мне сильную расстройку. Дела на Пермских соляных заводах были в крайне запутанном положении, и нужно было подлинно послать туда члена, который бы привел их в порядок. Он избрал меня, назначил, и определение уже было готово. Положение мое в Москве, связи мои, состояние женино, которая была на сносях, все делало мне эту поездку тягостною, а по обстоятельствам дел и совсем для меня невыгодной. Ехать почти в распутицу, ибо сие делалось уже в марте, на край света, приближиться к Сибири, прожить около полугода, а может быть и больше, на заводах, отрешить многих и никому не сделать добра, а сверх того, запутаться в расчетах, которые лет двадцать никем не были приводимы в порядок, — всякий увидит, что тут я для себя ничего приятного не мог представить. Употребя ходатайство всех моих знакомых и родственников, кое-как я от сей посылки отделался, и вместо меня нарядили Нелидова, младшего члена Конторы и родственника бывшего директора, которого Мясоедов затем прежде не хотел назначить, что боялся общего заключения, что он теснит родню бывшего

директора. Прекрасное передо мной оправдание! Как будто он имел какое-либо право именно меня посылать для того только, чтоб не иметь вид притеснителя другого! Все его заключении и дела были подобного разбора. Знаю, что я не мог открытым образом противиться моей командировке, она делана была всей Конторой не из прихоти, а по нужде, и служба не давала мне никаких причин или прав к отговоркам. Знаю, опять, и то, что при малейшем моем упорстве он не оставил бы принести жалобы на меня Сенату, Сенат доложил бы государю, а государь, по его ко мне отвращению, и Бог знает, что со мной бы сделал, следовательно, надлежало прибегнуть к средствам кротким и более надежным, кои мне и удались, и из всех сих предположений г. Мясоедова вышло только то, что я провел Святую неделю в самом смутном и неприятном положении между страха и надежды, в неведении, еду ли, или остаюсь. О! Как в это время было тяжело моему сердцу! Но чтоб открыть его без принуждения, без коварства, я не потаю здесь, что от сей поездки не столько удерживали меня все те правильные причины, которые общему уважению представил я здесь выше, как склонность моя к Волконской, с которой расстаться я никогда не имел силы, которая до такой степени овладела моими всеми чувствами, что я в двух верстах от нее не мог быть ни счастлив, ни спокоен. Что ж бы в такой отдаленной разлуке и при всех сопровождающих ее домашних и по службе заботах? Такие припадки со мной были нередки, ничто не могло исцелить от них моего сердца, оно всегда кипело, предавалось страсти любовной без рассудка и не умело иначе привязываться к другому сердцу, как с чрезвычайностию. Итак, оставшись в Москве, я ожил и был спокоен. Нелидов по первому пути весеннему отправился и, прожив там более года, не сделав ничего полезного, показал на самом опыте справедливость моей догадки, что сия комиссия не вела ни к чему доброму. Во время его там пребывания какого бы рода бумага оттуда ни доходила в Контору, она, имея там в отряде члена своего, препоручала ему все свои там дела и исследовании, так что вместо настоящего дела, за которым был Нелидов на те заводы послан, он уже обременен был под благопристойными видами всем управлением завода. Точно такая же судьба меня бы там постигла. Трудно было отправить, а заехавши в Сибирь, продержать там было бы дело самое легкое: бежать нельзя, просить позволения воротиться тщетно, никто бы не поторопился дать его, а исправить завод, приобрести тем честь и какую-нибудь похвалу суетно бы было льститься, потому что порченное веками одним годом ни при каких способностях не поправишь; итак, не-

дурно я предвидел будущее, когда отговаривался от этой посылки. В нашей службе есть часто случай под видом благотворения или самого лестного о человеке мнения так его стеснить, что и наказания бы настоящие сделались гораздо легче такой милости. Мясоедов, отряжая меня, все говорил и в протокол писал, что он это делает по убеждению его в моей деятельности, расторопности и благоразумии. Он никогда так прилежно меня не хвалил и никогда так не досадовал, как встретившись с разными препятствиями к исполнению столь лестного для меня желания.

С начала весны г. Мясоедов стал приготовляться к отъезду в низовые провинции для осмотра Саратовской и Нижегородской соляных контор и Элтонского озера[6]. В отсутствие его доводилось по старшинству править Конторой мне, но мы все повелении получали от него и мемории посылали к нему во всех наших упражнениях. Важные дела и терпящие медленность отлагали до его возвращения, а текущие исправляли посильным образом. Никто из нас не имел к трудам большой охоты, да и странно было бы ее требовать. Приятно работать на себя, а на других, я думаю, никто не любит. В отсутствие его, по какому-то случаю, которого хорошенько я и припомнить уже не могу, велено было указом Сената нарядить члена в Крым. Тогда этот наряд надлежало сделать мне, и спроситься у него было некогда: указ не терпел отсрочки. Я вообще с Конторой командировал Измайлова, который отказался за болезнью и скоро потом вышел в отставку[7], итак, пал жребий сей на расслабленного и хворого князя Хер[х]еулидзева, который, в сопровождении хирагры и подагры[8], с патриотическою ревностию в путь отправился. Вельяминова нарядить было бы бесполезно, хотя и следовало. Он бы не послушался, описался с директором, и сей, дав предложение о его остановке, рассудил бы, может быть, меня отправить. Я не смел бороться с силой. Множество несчастных опытов научили меня уклоняться от такого неравного сражения, и, благо князь Хер[х]еулидзев охотно желал ехать, то без дальнего отягощения совести мы его послали. Определение наше было Мясоедову приятно, оно согласно было с его мыслями. Итак, оставалось нам самим быть довольными полной удачей в нашем распоряжении, а полезно ли было для службы, для дела, что поехал туда человек без смысла, без догадки, чуть-чуть дышущий, который едва туда доехал и насилу домой воротился, об этом не надлежало и думать. Главное дело состояло в том, чтоб соблюсти форму, отправить члена, а затем все бы шло своим чередом. Да тем и лучше, право; что умничать, то хуже. Иногда простота без дальновидности ведет к лучшему концу и

самые важнейшие предприятия, чем хитрая осторожность и замысловатые догадки.

Пока директор наш разъезжал по конторам и учился своему делу, не умея сам учить оному никого, останусь я на минуту дома и поговорю о своих собственных делах. 18 июня жена родила дочь, которой мы дали имя Натальи. Оно нам всегда нравилось, но отец мой, основав на несчастиях матери, которую так называли, разные насчет имени сего предубеждении, при жизни своей никогда не позволял нам его давать своим дочерям. Смерть его прекратила сие препятствие, его предрассудки не могли быть нашими, и мы в честь бабки своей, знаменитой не только в семействе нашем, но и в истории отечественной, назвали дочь свою Натальей. Родины женины, слава Богу, были благополучны, они не сопровождались никакими опасными и устрашительными приключениями. Старик акушер Бергман и бабка ее не покидали ни на минуту. В первой четверти пятого часа пополудни дал нам Бог эту девочку. Я стоял подле спальны жены моей, когда она родила, и, услышав первый крик младенца, я прибежал к матери, обнял ее, мы оба взглянули на Наташу, оба заплакали и приласкали новый плод любви нашей. Еще человек от нас новый; еще душа новая, которая от нас получила физическое свое образование. Кажется, в такие сладкие минуты, чем бы человек ни был занят, какие бы страсти ни колебали его незрелого рассудка, что может быть милее мужу жены его, жены, рождающей младенца, которому он совокупно с ней дал жизнь и бытие? Младенца сего крестили два кума и две кумы, мать моя с Салтыковым и князя Юрия Владимировича Долгорукого жена княгиня Катерина Александровна с дядей нашим князем Михайлом Михайловичем Голицыным[9]. Крестины происходили 26 июня в нашем доме и без всякого огромного пиршества. Радость истинная не требует пиров. Когда она сияет в глазах наших и все черты изображают ее прелести, на что тогда восклицании гостей и сборище чужих? Тут своих домашних, своей одной семьи довольно. Итак, у меня уже было шесть человек детей. Надежда на провидение, дотоле не попустившего нас быть совершенно нищими, подкрепляла меня и претила огорчаться, когда я, задумываясь о будущем, бросал взор вперед. Не Бог ли, говорил я, видимым образом нас щадит, спасает, кормит? Он же, он, всеконечно, и детей наших не оставит. Так думал я тогда, так думаю и ныне и буду думать до гроба. О! Истинная и одна утешительная отрада! Никакие мечты мира не могут потрясти такой крепкой подпоры.

Между тем забавы имели свое время, и как тогда заводился в Москве под именем Музыкальной академии настоящий клуб на образец прежних аглинских, но которого таким именем назвать не смели, потому что Павел не терпел названия клубов, он боялся их, он думал, что сходство имени может сделать сходство и в обществах с таковыми же в Париже, которые тогда трясли судьбами всего французского народа, то и я в эту Академию мнимую записался в члены. Новое имеет всегда какие-то обворожающие прелести, а к тому и Москва так стеснена была насчет забав от полицейского шпионства и повсеместного надзора, что всякий рад был куда-нибудь записаться и быть с людьми. Заводчик этой Академии был столяр иностранный, Лекен. По каким-то связям с мадамой[10], воспитавшей Лопухину дочь, тогдашнюю фаворитку, станем ее так называть, ибо она подлинно была или казаться ею не стыдилась, он выпросил себе право открыть Академию, и хотя в ней никто ни на чем не играл, никаких инструментов не слыхивал, однако все туда стремились, и скоро открылась там игра карточная, билиарды. Появились старшины, мнимые статуты, которых никто не слушался, а все подписывали. Лекен собирал деньги, давал обеды, наживался, а мы забавлялись, и между старшинами, в числе коих первым был Мятлев, графа Салтыкова, градодержателя московского, старший зять, очутился по шарам нечаянно и я. Это заставило меня туда чаще ездить и служило мне некоторым рассеянием. Хотя с самого начала Академия наша не получила большого сияния, однако ж обеды давались по середам и субботам довольно большие. Мы запаслись газетами, умножали список наших товарищей и скоро увидели, что мы работаем на столяра, который имел в предмете всех обмануть и, нажившись хорошенько на счет благосклонной московской публики, опять в другой стороне вселенной промышлять дубовыми столами. Что выгоднее для иноземцев Москвы и всей нашей матушки-России? Они сами про нее откровенно говорят: c'est le pérron des étrangers*, взаимный обмен денег и удовольствий. Мы всыпаем миллионами в их карманы наши доходы, нажитые потом и сильными трудами добрых наших хлебопашцев, а они доставляют нам искусственные увеселении, итак, все довольны, кроме мужика, который, однако, среди своих трудов утешается великим словом русским: «так Богу угодно». В этом изречении он почерпает свое спокойствие, без ропоту работает и чаще нашего смеется. По крайней мере, он редко плачет от таких мелких причин, какие наше сердце возму-

---

* это приемная для иностранцев (фр.).

щают. Он не имеет понятия о приобретенных нами посредством просвещения печалях и верно бы не стал тужить о том, что случилось со мной и что меня крайне встревожило, ибо его огорчении происходят от источников одной природы, а наши утонченные чувства влекут их из политических обыкновенных событий и поражаются безделицами. Натура редко нас мучит, редко подвергает нас злоключениям, а свет, роскошь, честолюбие, химеры, обычаям посвященные и ставшие наряду с законами, беспрестанно нас терзают и сосут внутренность, как змеиное жало. Что ж такое со мной случилось, уже любопытствует узнать читатель, что за беда, которой преддверие такими черными описывается красками, что такое? Тотчас, тотчас скажу, дайте собраться с духом. Вот что: меня обошли! Изволите ли слышать? Обошли!!!

При слове сем чело мое наморщивается, и я пасмурный вид досады принимаю. Да, меня обошли, и за что, ни я, никто того не знает. Павлу рассудилось пожаловать тайных советников вдруг так много, как капралов, и одним указом повелел быть тайными советниками человекам тридцати, так что многие из них обошли меня, а некоторые обошли и товарища моего Волконского, но что мне до него, здесь дело идет мое. Станем говорить об одном себе. Несказанно быв этим тронут, тем паче, что, поистине говоря, многие сего повышения не более меня были достойны — я не говорю о губернаторах и президентах, в этих чинах люди, конечно, должны были взять пред членом Соляной конторы, ничего не делающим, преимущество; я всегда к трудам был признателен, потому что сам во всю службу мою любил трудиться, и никогда не ропщу, ежели возьмет передо мной шаг такой человек, который трудится, но куратор Университета[11], советник банка[12] какое имеют право превосходить во внимании монаршем члена Соляной конторы? — я почитал себя обязанным по крайней мере не остаться безмолвным, по крайней мере заявить, что я свою обиду чувствую и равнодушно ее не перенесу, что одна бедность заставляет после такого явного пренебрежения продолжать службу для того, чтоб не потерять последнего жалованья и с семейством своим не отяготить содержанием его беднейшей матери моей. Тогда директор наш был в Саратове. Я написал к нему просьбу, дабы он за меня вступился, но худо я его еще знал, написал и к генерал-прокурору Обольянинову. Все мои письма были безуспешны. Писать к самому государю было бы не у места, одно свежее обо мне напамятование привело бы его в ярость, и тогда кончилась бы моя судьба худшим еще чем-нибудь, нежели обходом. Генерал-прокурор мне ничего не отвечал. Я сему не ди-

вился, так и должно, этим людям досуг обижать, а поправлять обиды никогда не достанет времени. Мясоедов по возврате своем из Саратова, посуля мне знатное ходатайство, уверил, будто напишет, и вместо того выпустил скаредную ложь, будто Обольянинов пишет, что я и Волконский обойдены за беспорядок Конторы, найденный при смене старого директора. Вот здесь обнаружилось все коварство Мясоедова, о коем хотя говорили, хотя я сам доныне готов думать, что он глупее соборных звонарей, у которых от стуку и колоколов весь разум давно отбило, и им не до того, чтоб умничать, однако ведь для происков не всегда потребно то, что мы вообще умом называем. Тут особливое какое-то действует свойство. Я многих знаю интриганов, которые ничего умного не вздумают, а лукавства и пронырства так наполнены, что с самым быстрым разумом не отвернешься от их жала. Таков был наш директор, и тут более всех почувствовал я, сколько он глупым своим представлением при начале службы его с нами, по тогдашнему мнению почти общему ничего не значущим, наделал мне вреда. Правда, что и генерал-прокурор тогдашний был способнейший человек к тому, чтоб утвердить обиду ближнего на самых неосновательных донесениях, лишь бы они приносили ему честь и самолюбию его пищу, а уж конечно Мясоедов, жалуясь на Контору, не пожалел ладану и окуривал своего идола щедрою рукою. Потом, пусть объяснят мне, как сделались члены Соляной конторы виноваты в том, что зависело от их начальника, в том, что он один имел право делать, распоряжать и требовать? Он был отставлен, скажут мне, без желания. Сильная несправедливость. Конечно, я об ней судить могу, потому что сам испытал ее в жесточайшей мере, но он хотя мнимо, да был в глазах правительства виновен, беспорядки его не были доказаны, но представлены таким лицом, которому дана была вера, следовательно, до совершенного оправдания его мог он все почитаться за человека виноватого. Но мы, мы и в оправдании нужды не имели, потому что на нас чужая вина падать не могла, а отвечать мне за упущении, Нелидовым, лично им по званию директора соделанные, будучи его подчиненным и отнюдь не уполномоченным прекословить ему в таких распоряжениях, кои не до всей Конторы, а до него собственно относились, было бы то же, что стать пред суд за поступки Лифляндского гофгерихта[13]. До этого какое кому дело? Сколько на досуге ни рассуждай, я был обойден и, истощив все средства к снисканию правосудия, ничего не получил, кроме нового чувствительного огорчения в лице Салтыкова, который, будучи так же, как я, обойден и принеся жалобу государыне, ибо он под начальст-

вом ее служил в Воспитательном доме, при милостивом письме от императора получил чин тайного советника и старшинство, им потерянное. О! Как мне было тогда прискорбно! Не похвалю я своего негодования, потому что Салтыков был нам благодетель, помогал нам в нашей бедности, принимал в ней участие, его благополучие должно было меня радовать. Так, так; я не похвалю движений моих тогдашних, они не признательны, не похвальны, но для честолюбия есть ли какое-либо благотворение, которое бы стоило той цены, чтоб уступить его торжество другому? Это меня не извиняет, я не хочу украшать худого, однако сердце мое терзалось, Евгения совокупно со мной страдала. Ценя благодеянии Салтыкова, соделавшегося, можно сказать, отцом нашего дома, как не признаться, впрочем, как не видеть, что он ничего не делал, что служба его состояла в осмотре по деревням, и то в хорошую пору, Воспитательного дома питомцев, в том, чтоб навещать грудных ребят. Какой подвиг тут? Какая сильная такая услуга отечеству, чтоб поступить вдруг, не служа в прочем весь свой век нигде, в один или два года из бригадиров отставных в тайные советники, тогда как я уже начинал от работы и трудов чувствовать признаки старости? Кто бы перенес все это, будучи одних свойств со мною, равнодушно? Я страдал по сему случаю в разных отношениях, и болезнь моя тем была несноснее, что Салтыков, беспрестанно у нас бывая, беспрестанно напоминал мне собой о соделанной мне обиде. Другой мог бы уйтить от неприятного предмета, а когда не видишь его, тогда меньше раздражаешься, но я поставлен был в необходимости ежедневно его видеть, слышать его восклицании, питаться его восторгами, из которых каждый, как нож острый, пронзал мое сердце. Что ж может быть тяжеле, как мучиться таким образом? Я здесь описываю мои чувства не так, как сочинители романов, которые, не видя, видят, не слыша, слышат, и у которых воображение рисует положении человеческой души, я говорю о страстях моих по опыту, по ощущению их действий на самого меня, а не на одно мое воображение.

Таким образом проводил я лето до самой осени. Рассудок мало-помалу излечил меня, и хотя не совсем, однако я стал терпеливее думать, слушать, говорить сам о том, что я обойден. Я даже и той отрады не имел, чтоб находиться со многими в одинаковом состоянии. Общая печаль не так тяжела, один другому помогает перенести ее, а здесь я да Волконский, да третий Львов, которого почитал свет за повредившегося с тех пор, как он хотел из битой земли воздвигнуть круг Москвы афинейские портики и спартанские цирки[14], только нас и было в это произ-

водство обойденных. Не богатая и не отборная компания! Однако пи[л]юлю эту надлежало проглотить, и я с большими гримасами ее принял. Мясоедов, как насмешливый лекарь, глядел на все это с улыбкою и радовался, что мог показать свое могущество над нами. Сим последним случаем унизив меня, он довершил все свои замыслы насчет Соляной конторы. Не надобно было много догадки, чтобы увидеть, что от него нам ожидать доброго нечего. Суля за нас предстательствовать, он только думал о себе и старался, по пословице, ковать железо, пока горячо. Благосклонная судьба не вовсе человека сражает, иногда посылает ему и утешении. Жена моя начала оправляться после родин своих и получать прежние силы. Она делила со мной мою новую печаль, всегда будучи готова к облегчению ее своими советами, еще она писала письмо к государю и поздравляла его в нем с днем его рождения. Тут описываемы были наши обстоятельства и без всякой гордости приносилась просьба о помиловании нас, но тщетно: письмо осталось без внимания, даже и в газетах, по обыкновению тогдашнего времени, не было внесено и поставило нас в сомненьи, было ли оно ему подано и им прочтено. Скоро потом жена моя опять писала письмо к императрице, просила ее заступиться за нас, и тут двери были не только заперты — заколочены, а уже в следующем годе жена получила через секретаря ее[15] ответ такого содержания, что она в рассмотрение службы и прав входить не может, что это до нее не принадлежит. Не принадлежит до императрицы помочь человеку, попросить об обиженном, да и кого же? Мужа, императора! Что ж до нее принадлежит? Ужли благосостояние побочных детей, коими наполнены были в столицах воспитательные домы, одни должны были истощить все ее заботы и попечении, и ничего не оставалось в душе ее в пользу другого рода несчастных? Безуспешность наших трудов в преодолении участи своей лишила нас всякой надежды в будущем, мы беспрестанно унывали. Это не исправляло слабого здоровья жены моей, а я из сил выбивался, и сколько по сим стекшимся случаям, столько по худому расположению духа моего все лето я не выезжал за город. Правда, что не было уже вне Москвы предметов, туда меня привлекающих. Дом Волконских бессъездно жил в городе, дни собрания их были те же и продолжались летом так точно, как и зимою, следовательно, случаи к свиданию были близки, удобны, и я ими пользовался часто. О! Как весело любить, как приятно искать нравиться хотя на минуту! Кто мне возвратит те сладкие восхищении, кои осень жизни моей далеко от меня уже поставила? Нет удовольствия в жизни равного с тем, какое мы чувствуем, когда

мы влюблены. Одно это очарование несколько услаждало прочие мои печали.

Мясоедов умел, однако, вывертываться из своих проказ и, чтоб не совсем меня против себя поставить, Бог знает для каких видов, представил шурина моего, служащего в Нижнем в тамошней Соляной конторе, к чину. Все ему было возможно, он служил под парусом случая и счастия, и всегда попутный ветер дул ему вслед. Шурина пожаловали в надворные советники, указ в Контору к нам пришел. Директор этому дал такой вид, что он все это делал для меня, и я после всех его лукавств принужден был еще благодарить его. Вот как светские плуты умеют заставить себе быть благодарными тех самых, коих режут. Повышение брата жены моей было мне приятно, но я очень знал, что оно происходило не от желания мне показать услугу, а от того только, чтоб показать вес свой у двора, показать, что стоило ему только окинуть благосклонным взором наши Конторы в Нижнем и Саратове, как вдруг пролились на них реки щедрот монарших. Сам Мясоедов скоро получил новое удостоверение, что служба его угодна государю. По приезде своем из Саратова он не оставил послать рапорта в Сенат, в котором исчислил все пользы, им доставленные соляному делу. От этой поездки и личного его обозрения он умножил там, по словам его, поставку соли до знаменитого количества. Сенат, или лучше сказать, генерал-прокурор, положась на его донесении и не вникнув порядочно в сущность его распоряжений, которых неосновательность явно обнаружилась весной и о чем пространно тогда не оставлю я побеседовать, исходатайствовал ему знаки Малтийского ордена, крест на черной ленте на шею. Мясоедов был чван от природы и восхищался таким множеством крестов, болтающихся на персях его. Владимир оспоривал место Иоанну Иерусалимскому, так назывался старый Малтийский орден, который Павел раздавал, кому хотел, и тогда иметь его было в моде: иные покупали, иные доставали, иные выслуживали. Императору Павлу какой-то самозванец от сословия Малтийского капитула поднес право называться гроссмейстером этого ордена и раздавать оного знаки[16]. За это мнимое право, ни мало, ни много, загорелась война между Россиею и Франциею, но, не дожидаясь ни успехов ее, ниже начала, Павел во всех актах имперских стал писаться гроссмейстер Ордена Иоанна Иерусалимского, издавал его статуты, наряжался в его знаки и других одевал. Мало всех этих проказ: чтоб более рассмешить вселенную, он Мальту велел в календарях своих напечатать российским губернским городом, определил туда военного губернатора и коменданта,

которые, однако же, не смели никогда на этот остров и носу показать[17]. Итак, ему ничего не стоило жаловать эти кресты своим подданным, а наша братия, получая их, восхищалась новостию мундиров, потому что орден имел свой собственный кафтан, алый с шитьем. Будто много надобно, чтоб обворожить умы человеческие? Чин, кусок ленточки, мундир — все нас прельщает, и по моде мы находим превысокую цену в таких вещах, кои ни самой малейшей существенности не имеют. Но что до этого? Мясоедов был доволен, счастлив, щеголял, а мы, бедные, ездили по утрам в Контору любоваться на разные ленты, которыми он был обвешан. Орден сей получен был им в октябре, и думать надобно, что он одолжен был им Кутайсову пополам с Обольяниновым, потому что первому из них незадолго пред тем имел случай оказать важную услугу, о которой сейчас говорить стану, и хотя поневоле и я тут ему большим был помощником, однако ничем не мог я добиться от него того, чтоб он слово обо мне молвил или написал благоприятно к кому бы то ни было в Петербурге.

В Астрахани, известно, что у Каспийского моря есть соляные озера, из которых соль добывается и развозится в разные места за границу. Сей торг захотелось Кутайсову через того же человека, а именно через жида Перетца, прибрать к рукам и, соединя его с крымским откупом, стеснить торговлю соленой рыбы до такой степени, чтобы со временем при важных его пользах государство все пострадало от такой ужасной монополии, которая тем была страшнее, что Кутайсов имел пожалованные ему от государя знаменитые в Астрахани рыбные ловли и под покровительством тамошнего губернатора, зятя своего родного[18], мог из того края сделать наивыгоднейшие для себя обороты. Перетц, угождая видам Кутайсова, — а притом, кто же и себе добра не захочет? — подал от себя проект в Сенат. Сенат, чтобы отвести от себя всю опасность сего дела, которого нетрудно было угадать скаредство и подлог, прислал проект его при указе в Соляную контору, чтоб она, сообразя его с законами и обстоятельством соляного промысла, ей известного, представила его обратно с мнением своим. Когда правительство хочет отклонить от себя что-нибудь, то оно всегда так поступает, это называется чужими руками жар загребать, чтоб после при малейшем несчастном обороте случая можно было взвалить все хлопоты на нижнее место и сослаться на его мнение, которое в подобных обстоятельствах никогда не бывает произвольно, а принужденное, потому что противу силы ничто стоять не может. Указ Сената был наполнен обыкновенными их терминами, то есть хозяйственным соображением, местными сведениями и прочее. Слова

пышные, но ничего не значущие и которые служили вывеской или неразумия верховного правительства, или неспособности его осилить какой-либо случай, который превосходил мочь его и волю. Таково точно было наслано к нам повеление. Мясоедов знал, что к успеху пути не будет по Конторе, если я не соглашусь приняться за дело и его обработать. Я это отнюдь не из чванства говорю, преимуществом перед Вельяминовым и Волконским нет чести никакой хвалиться; итак, он послал по меня. При первой встрече моей с ним, прочтя указ, я не мог быть до того фальшив, чтоб не сказать ему в самом первом движении сердца, что Сенат наряжает нас делать мошенническое дело, заключить контракт с людьми, пиющими кровь нашего отечества, и что если как-нибудь оборвется случай г. Кутайсова, за что ручаться было не надежно, то мы можем лишиться не только службы, но и всего имения. В самом деле, кто бы отвечать стал за то, что Кутайсов сам при наущении другого подобного себе плута не лишился бы всех своих преимуществ и не пришлось бы Соляной конторе стать на суд, но на суд, никакого оправдания не приемлющий, перед Сенатом? Что могло быть скареднее сего контракта? Натурально, что он должен был быть основан на условиях, в проекте Перетца помещенных. Нет нужды мне здесь описывать их подробно, довольно сказать один пункт, по которому всякий рассудит, какая необыкновенная монополия на соль в Астрахани вошла в мысль Кутайсову. Между прочим сказано было, что ежели отпущенная по ярлыку соль рыбному промышленнику на соление рыбы по освидетельствовании рыбы в поимке и потом рыбы, той же посоленной и на судах везомой, окажется груз числом веса не равен количеству, изображенному в ярлыке, тогда все судно и рыба конфискуется в пользу содержателя озер. Не ясное ли нарушение всех прав свободы в торговле? На таких-то пунктах, в коих один перед другим отличался в разбойничестве, и Соляная контора должна была о заключении контракта дать свое мнение. Тут Мясоедов, услышав мои возражении и будучи довольно еще честен, чтоб согласиться с ними, привел меня в кабинет и глаз на глаз показал два письма: одно от Кутайсова, а другое от Позняка, секретаря Сената, которые оба писали к нему без обиняков, первый, чтоб поскорей опробовали этот проект и прислали с мнением согласным в Сенат, а последний обиняки первого приводил в ясность, дабы отклонить всякое сомнение. Большие бояра редко или, лучше сказать, никогда ясно сами не пишут, чего они хотят, дабы в случае беды увернуться, следовательно, Кутайсова слог был неопределителен. Он просил помочь Перетцу, но все с оговоркой,

буде требование его с пользой и с законами согласно, а у этих вельмож всегда бывают прислужники, которые толкуют их приказания, и, как дети погибели[19], зажмурясь, из корысти бегут в пропасть. Так случается на войне, что под неприятеля посылают отчаянных воинов, дабы узнать, сколько градусов тепла около пушек неприятельских. Здесь, в нашем сражении, играл эту ролю малороссиянин, секретарь первого Сената департамента, крайний приятель Мясоедову и работник на всех тех, кои умели платить за работу, а Мясоедов не так служил, чтобы ему не иметь в Сенате многих друзей в числе приказных; они-то и поддерживали все прочие его затеи, за то и он перед ними часто большие свечи ставил.

Прочтя в руках его все письмы и бумаги об астраханском откупе, принужден был искать средств сколько-нибудь это плутовство сделать посноснее. Если, по благости Божьей, имел я еще довольно духа в себе, чтоб не сделаться открытым и наглым мошенником, то по крайней мере прежние опыты научили меня быть осторожным с теми подрядчиками и торговцами, за которых представляемо было в залог имение Кутайсова. Итак, чтоб согласить совесть мою, обязанности чести, долг службы и присяги с любовью к самому себе и к сохранению себя от видимой беды в случае вторичного и явного противу Кутайсова ополчения, избрал и предложил я директору следующий способ. Сенат, говорил я, требует от нас только мнения, зная сам, что мы не можем дать настоящего. В противном случае он бы его требовать не стал, ибо и сам думает так же, как мы, и всякий думать поистине обязан. Напишем ему, что мы план Перетца опробуем, мнение наше еще не решит дело, оно не договор. Сенат останется властен или отвергнуть его, или принять. Если он будет сильнее Кутайсова и наклонен к правде, он кинет наше мнение и скажет для формы, потому что он знает, что вправду этого сказать не можно, что мы никаких соображений ни ума, ни чести не имеем, опробуя столь гнусную монополию. Знавши, что мы действуем принужденно, Сенат не будет вправе сделать об нас такого горестного заключения в самом деле, а напишет для того только, чтоб исправить место, которое вошло в видимую погрешность, да и на бумаге за мнение, как бы оно худо ни было, впрочем, закон судебных мест нигде наказанию не подвергает. Если, напротив, Сенат, будучи вынужден поступать так, как и мы, по давлению на него силы высшей, тогда, опробуя наше мнение, он при всяком случае несчастном останется виновным, ибо мнение Конторы, идучи к нему на уважение, не обязывало с ним соглашаться, когда оно неблагоразумно, кольми паче и вредоносно. Мысли мои директору показались хороши.

Они ставили нас в безопасное положение. Итак, мы, не мешкав нимало, представили Сенату, что мы, рассуждая о проекте жида Перетца, ничего не находим столь выгодного и превосходного для казны и для всего края тамошнего. Оставя таким образом Сенату волю действовать, или, лучше сказать, поставя его в тот же станок, в какой хотел он втянуть Контору, и перекинув на него со всею тягостию удара тот камень, который он, спасая себя, откатил от ног своих к нашим, остались мы спокойны ожидать конца этому предприятию, странному во всех отношениях. Подлинно, чего не войдет в голову музульманину, алчному к избыткам, каков был и должен быть по породе и по состоянию своему Кутайсов? Если б он вдруг упал у двора, если б каприз один его владыки до него коснулся, куда бы полетели наши мнении, наши протоколы и мы сами? Я думаю, в сутки, в одни сутки никто бы уже не знал, жили ли мы когда-нибудь на свете? Времена были жестоки, суровы, дни и люди были лукавы. Всякий старался, сноровя Павлу, хоть на минуту получить его благоволение и после благопристойно от него отстать, ибо он был столько же щедр в дарах и милости, сколько злобен во взысканиях и мщении. У него ничего не было посредственного. Весь характер его составлялся из чрезвычайностей всякого рода. Сколько же таких людей на свете, которые почитая все способы прекрасными, лишь бы достигнуть желаемого, сколько таких окружало отвсюда Павла. Они льнули, как мухи к меду, иные пропадали, иные возвышались, обогащались ни за что, словом, я даже не знаю, можно ли сравнивать его царство с царством жестокой Анны в отношении к тиранским поступкам? Тогда был какой-то систематический дух гонения, противу которого благоразумие и осторожность представляли некоторые предохранительные меры. Пусть злой человек следует своему свойству, но ежели есть план в его поступках, ежели они основаны на известных свойствах его характера, можно найтить способы удалиться от его ударов так, как от сильных электрических потрясений в воздухе слабые твари умеют сыскивать себе убежища. Но там, где действует один каприз, своенравие, при всем стремлении разъяренных страстей, где нет одной и той же воли десять минут сряду, где на одной странице бумаги две черты пера вверху и внизу часто бывают между собою в таком расстоянии, как небо от земли, да и где же, — на троне, там каких средств искать к своему спасению? Бог один указать их может, но никакой ум человеческий не в силах изобрести их. Таков был век, или, слава Богу, не век, а пасмурный момент Павлова владычества на земли, который, однако, для зла мог казаться целым веком, ибо Екатерина и Елиса-

вета, милые владычицы россиян, в пятьдесят с лишком лет самодержавия своего не выпустили столько примеров и опытов праведного злодеям настоящим наказания, сколько Павел в четыре года с небольшим напрасных язв наложил неповинным.

Между делами, свидетельствующими деспотизм его правления, почесть можно ссылку князя Сибирского. Он при кончине Екатерины был не больше, как полковник или бригадир в комиссариатском стате[20], и вдруг до того полюбился Павлу, что он его произвел в генерал-аншефы[21] и надел на него Аннинскую ленту. Но скоро потом так опрокинулся его жребий, что он сидел в крепости, был судим, наконец, без всяких довольно значущих причин разжалован и в числе колодников в цепях сослан в Сибирь. Что может быть ужаснее? Нигде преступлении его, за что сие с ним сделано, не публикованы[22], никто об них до сих пор порядочно не знает, а он, проходя от Петербурга до самого Тобольска, вытерпел все уничижении своего состояния, все бедствия столь тягостного рока. Ссылка его такой яростию сопровождалась, что даже страдали и те, которые, зная его прежде или имея о нем какое-нибудь понятие, хотели доставить ему на пути некоторые облегчении и отрады. Всякое к нему внимание от кого бы то ни было почиталось преступлением, и губернатор Тверской г. Тейлс выключен был из службы за то, что он оказал ему сострадание[23]. Я на освобождение его писал стихи[24], которые укажут подвиг его любовницы, сопровождавшей его до самой Сибири и разделившей с ним все суровости его положения. Изгнание сего князя Сибирского будет навсегда знаком тиранства Павлова. Он нарушил святейшую обязанность матери своей с подвластным ей народом, сделавшуюся узаконением российским коренным, что без суда никто не накажется. Он дал полную волю своей ненависти, своей злобе и в угодность ей погубил человека, ничем не заслужившего своего несчастия, подобно как по одному капризу им возведенного и обидевшего многих служивших лучше его. Павел показал на нем примеры своего своенравия, показал, что он все то властен делать, что захочет, без размышления, без причин, без соображений. Как можно было при таком государе не плакать о Екатерине? Он возвышал время ее правления, умножал цену щедрот ее, заставил воздвигать ей памятники и боготворить, можно сказать, до такой степени, до какой при другом наследнике, может быть, никогда б она не достигла. Не только суд его и расправа были жестоки, он и шутить не умел безопасно.

В Академии музыкальной, где я был, как видно выше, старшиной, случилось под конец года приключение весьма забавное. По каким-то

сплетням и намуткам[25] бабьим, ибо Павел всему верил, оговорен был ему содержатель Академии Лекен. Он, перепутав имена, взял о нем подозрения, кои совсем относились не к нему. Досуг ли в таком случае порядочно осведомиться? Страх в голове, желчь загорелась, сердце вспылало, и Павел тотчас прислал курьера к обер-полицмейстеру московскому, господину Эртелю, чтобы Лекена, схватив, прислать в кибитке к нему в Питер и Академию его уничтожить. Эртель был строгий исполнитель его приказаний и настоящий алгвазил[26] того времени, способный удручить, а не облегчить человечество. Он, в один вечер прискакавши в Академию, — по счастию, я тогда страдал зубною болью дома (пусть судят о тогдашнем времени по сему малому приключению: человек невинный доволен был, почитал за счастие, что зубы болели, для того, что мог избежать от зрелища, возмущающего свободу и благопристойность; и мука казалась отрада в сравнении с тем, что испытывали подданные Павловы в Москве и повсеместно) — Эртель, приехав в Академию, отыскал Лекена, уложил его в сани, посадил фелдъегеря на́ блук и в Питер отправил гораздо с меньшею бережливостию, нежели из Голландии соленых сельдей к нам в бочонках присылают. А на другой день уже и вывеска Академии была сорвана и никто в нее не смел съезжаться, тем менее смел кто-либо и в малейшем начальстве над оной из нас, старшин, признаваться. Все права были нарушены, контракты и обязательства Лекеневы как с тем, у кого дом был нанят, так и с членами собрания, заплатившими на год вперед деньги, были без силы, словом, каждый и то вменял Эртелю за милость, что при таком повелении не забраны были все те, кои при посещении его в том доме играли в карты и могли по крайней мере уехать по домам. Прекрасное состояние! Что ж вышло из того? Лекен был привезен в столицу и тотчас представлен к государю. Объяснилось недоразумение. Павел узнал свою ошибку, допустил его к себе, беседовал с ним о его заведении, отпустил его, снабдив деньгами на дорогу, подарил сверх того 500 рублей и, дабы исправить нанесенный подрыв его Академии, писал к Салтыкову, московскому градодержателю, чтоб он постарался всех склонить к съездам в дом г. Лекена и поддержать его заведение. Воротясь с такими привилегиями наш столяр в Москву открыл снова Академию, и, умножив число членов своих двумя знатнейшими вельможами в Питере, а именно Кутайсовым и Нарышкиным, которых, особливо первого имя так было громко, что и Эртель стал в Академию ездить приятельским образом. Граф Салтыков дал новый блеск сему собранию и, угождая воле монаршей, приехал туда обедать. Завелись балы. Вся Москва стала

на них съезжаться. Мы, старшины, опять вышли из гробов своих и уже перестали прятаться, и из беды вышло новое благополучие для Лекена. Не все страхи, однако же, так удачно миноваться могли, иные стоили многим жизни. Все сии приключении в такую привели меня досаду, что я отказался от выезда в публичные собрании и всю зиму просидел дома. Сообщении приятельские до того были стеснены, что даже велено было военному губернатору Салтыкову рапортовать о тех домах поименно, где примечаемы будут полицией большие съезды. Физика, соединяясь с моралью, совокупно мне припасли столько одна немощей, а другая скуки, что я ни в чем не находил удовольствия. Сперва бессонницы, которым я часто был подвержен, ипохондрия, потом непомерная боль зубов и, наконец, неудачная операция мозольная, от которой рана на ноге мешала мне порядочно обуваться, — все это затворило меня в моих четырех стенах. Удовольствии семейные одни препятствовали мне унывать совершенно. Жена моя, дети меня занимали всеминутно, я чувствовал часто, хотя и неволей к тому был приведен, что дома сидеть с домашними гораздо приятнее и безопаснее, чем мыкаться по свету, где так часто не хотя человек спотыкается, где беспрестанные страсти, прихоти, сражении с нравами, между собою так много различными, делают из каждого дня жизни нашей день битвы с неприятелем, где силы наши, нечувствительно слабея, ведут нас к дряхлой и унылой старости. «Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille»*[27]. Да, часто певал я этот стишок с детьми моими, часто познавал эту святую истину во всем ее пространстве, но скоро соблазны мира, прелести, очарования большого света меня сбивали с пути, и когда я получал силу выезжать, быть в людях, то опять становился игралищем предубеждений чужих и своих собственных и был всем подобен. Опытность научила меня говорить с латынским писателем, не вотще сии слова произнесшим, но в крайнем убеждении слабостей своих: «Homo sum et humani nihil alienum a me esse puto»[28].

1801

Здравствуй, девятое-на-десять столетие! Здравствуй, год блаженный, год, назначенный судьбою на искупление рода человеческого в России от гибельного тиранства, которое выю россиян совсем поработи-

---

* Нигде не чувствуешь себя так хорошо, как в кругу семьи (фр.).

ло!.. Ученые долго между собою спорили, которым годом начинается столетие, сим ли первым или осьмисотым. Странно, что они теряли на такой пустой спор свои досуги. По мнению моему, сомневаться в этом было бы то же, что и утверждать, будто сотня полна, когда сочтено девяносто девять. Но с другой стороны, что ж бы им и делать в часы их праздности? Друг друга задирая пустяками, они приводят в игру густую кровь свою и коротают время, которое не всегда и самые благоразумные люди на полезное употребляют. В свете всего довольно, немножко вздора, немножко дела составляют то, что мы называем разумом, способностьми, дарованиями, словом натурою человеческою.

Чем ближе был Павел к своему падению, тем, казалось, больше он делал вещей чудных и несообразных. Заключенный в Михайловском замке[1], с удивительною роскошью отстроенном и в непостижимой скорости, хотя он был внутри самого Петербурга, однако же по временам мечтал быть за городом, и туда донесении начальников петербургских присылались по почте. Между бесчисленными его капризами бывали иногда и отголоски прежнего доброго его сердца. Таким почесть можно было приглашение всех выключенных из службы в Питер для освидетельствования их способностей, и многие были паки поверстаны в прежние чины. Хотя сие относилось больше к людям военного состояния, однако и Нелидов, бывший наш директор, задумал съездить в столицу и обратить на себя внимание двора. Случай ему благоприятствовал. Он имел знатного родственника у двора и скоро по приезде своем в Петрополь пожалован сенатором[2]. Такое возмездие за оскорбительное изгнание из службы могло бы быть достаточно к удовлетворению горделивого духа его, но, как нередко случается, что судьба мешает в нашей участи, по русской пословице, ложку дегтя в бочку меду, то и г. Нелидов вместе с достоинством сенатора получил повеление присутствовать членом Главной соляной конторы. И так самое повышение его сделалось новым каким-то посрамлением, да еще и примерным в своем роде. От начала гражданской службы в России не было того, чтоб директор или президент какого-нибудь места присутственного, быв сменен, паки в то же место определялся как член оного. Одному Павлу свойственно было такие диковинки производить. Трудно было возражать ему, доказывать несовместность такого определения, и потому Нелидов должен был, воротясь в Москву, сесть в сенаторские кресла и на стул советника в Конторе. Быв ниже чином и званием, он управлял ею, а сделавшись судьею верховного трибунала в России, он только наряду с последним асессором Конторы удо-

стоивался в ней иметь один голос. Я уже не говорю здесь о личных неудобствах в отношении к зависимости его от Мясоедова по Конторе и в то же время сотоварищества с ним в Сенате. Все уважении были потеряны, и трудно было отыскать в этом странном указе что-либо правильное. Заседании Нелидова открылись явной ссорой его с директором. Тот перестал почти въезжать в присутствие, давал предложения, которые Нелидов, согласясь со мной, опровергал беспрестанно. Голос мой против Мясоедова, подкрепляемый мнением Нелидова, был сильнее всеобщего согласия с ним остальных членов Конторы, которые также стали помалу приставать к нам двум. Ненависть моя восторжествовала, и Мясоедов терял все преимущества своего над нами начальства. Служба ничего не выигрывала, но об ней никогда никто не думает. В таком положении дел что оставалось делать директору, который даже и жалованья прибавить статному служителю не мог без противоречия и диспута по форме?

Он отпросился в отпуск и поехал в Петербург хлопотать об отмене повеления Нелидову с ним присутствовать, а между тем, однако, не упустил случая сделать мне новое и чувствительное оскорбление в лице шурина моего, которого отрешил и отдал под суд не сам собой, но по указу сенатскому, им же вытребованному вследствие наряженной им комиссии обревизовать тамошнюю Соляную контору. Он хотел доставить Вельяминову, любимцу своему, чин и для того только и нарядил его в Нижний, где сверх того захотелось ему и асессора на место шурина моего определить другого из тварей ему приближенных. Вельяминов, чтоб угодить ему и себе чин промыслить, постарался на шурина моего напутать множество беспорядков и, прожив несколько дней в Нижнем, не имея никакого понятия ни о службе вообще, ни о соляном деле частно, представил, что Контора вся запутана и что лучший способ к исправлению ее есть смена обоих ее членов. Того-то Мясоедову было и надобно. Он, несмотря на сильное противоречие с самим собою, ибо за полгода пред тем рекомендовал шурина к чину и выходил ему его, я чаю, за исправность — за что же более жаловать чинами? — вошел с представлением, совсем противоположным столь еще недавнему, и требовал от Сената отрешения его и удаления советника от должности. Здесь даже и в словах не оставил он употребить отяготительного для шурина моего мщения. Так-то сильно действуют в нас страсти, что мы всякое основание и в отношении к самим себе теряем в наших поступках. Как иначе можно было толковать деяния Мясоедова? Вчера просил чина, сегодня о том же человеке говорил несказанно худо. Ужли сенатор, человек пожилой и

президент, может быть извиняем в таких грубых ошибках? Ежели бы даже здесь была и ошибка, но нет, слова «отрешить одного, а удалить другого» тогда, когда оба были виноваты равно, полагая, что они вправду преступили должности свои и тот и другой, самая разница в словах не значила ли злобы Мясоедова противу меня? Вот как почти обыкновенно страдают маленькие чиновники, когда начальники их ссорятся. Советника он не смел отрешить, а удалил только от должности, дабы не отнять у него вовсе возможности служить в другом месте, ибо он имел своих покровителей, а Мясоедов очень осторожно обходился с такими людьми, за которых мог кто-нибудь дерзкое слово ему молвить, но меня он мог теснить, сколько хотел, зная, что вся моя протекция — работа и перо, которые в России не много дают человеку веса, а только с нуждой кормят. Итак, шурин мой потерял место, попал под суд во второй раз и все за меня, а Вельяминов за его посылку получил скоро чин действительного статского советника. Все это делалось в Конторе при мне, в моих глазах, ни они, ни уши мои не могли уклоняться от тех неприятностей, которые сопровождали сии поступки моего начальника и товарища. Каково же было мне служить и видеться с ними повседневно! В таких обстоятельствах открытая ссора Нелидова с директором служила мне отрадой. О, как тяжело и несносно для сердца, рожденного быть добрым, ищущего благосклонности, изливающего повсюду нежнейшую чувствительность, находить удовольствие в раздорах и злобиться ежечасно! Но, ах, что делать? Это была моя судьба, несчастная планета, загнавшая меня в Соляную контору в этот мрачный и тесный промежуток службы моей, которая никогда так удручена не была еще. Удерживало меня в ней для жалованья, для куска хлеба. Блажен, кто может прибегнуть к благоразумной философии и, презрев все степени повышений пóлитических, остаться в умеренном состоянии своем и сеять на собственных своих нивах хлеб, не омоченный слезами горести, но мне нельзя было подражать им. Будучи неотдельный сын, то есть не имея ничего, мог ли я выбирать состояние при семействе, составленном из шести детей. Мне оставалось следовать року моему и слепо ему повиноваться, терпя все, что ни было им наносимо мне, жене и детям. Я должен был выбирать из двух зол: или служить под игом тиранским своенравия несмысленного моего начальника, или терпеть нищету, — да, нищету, никаких границ не имеющую. О! Ежели бы ее терпеть одному, я охотно бы все бросил, но с женой милой, с детьми слишком тяжело, слишком несносно. Тут всякая философия покажется бредней, и, заплакав, останешься там, где и как

велели боги жить. В таком положении дел и мыслей, признаюсь, что я, с одной стороны, при всем моем негодовании и к Нелидову за его обращение прежнее со мной, радовался его уничижению в Конторе, а с другой, не меньше, по ненависти моей к Мясоедову, соединял мысли мои с мыслями первого и прекословил, но без личины, во всем открыто, сему последнему; и тут даже не умея быть политиком, не умея притворствовать, я не брал никаких предосторожностей против неразумия одного, ни лукавства другого и поступал всегда чистосердечно. Слава Богу, что такая соблазнительная пря скоро имела свой конец для всех трех.

Ознаменовав таким образом силу свою у двора, г. Мясоедов, чрез повышение Вельяминова, которое никому не казалось удивительным, ибо ничего не было легче в тогдашнее время, как выхаживать чины за безделицы, он бросил Контору, меня, Нелидова, взял отпуск свой и поскакал ко двору. Но там густые облаки уже скоплялись в черную тучу, и горизонт петербургский покрывался кровавым цветом, а доколе не дойдем мы до громового удара, потрясшего всю Россию от конца до другого, поговорю я о моих отдохновениях и забавах. Кто их не извинит? Кому они нужнее могли быть меня среди таких беспрестанных сражений внутри и около себя? Чем же я забавлялся? Известно, театром; а театр и женщины были обыкновенное мое убежище в бурные времена моей жизни. Первый доставлял мне способ утомиться и после рукоплесканий многих зрителей хорошо засыпать, а последние, о, эти очаровательницы действовали на сердце мое, разум и на все чувства. Я с ними бывал весь не свой, я любил их более всего на свете, но ни одна, любя меня, не подвергалась той опасности, которой сей нежный пол подвергается с людьми развращенными. Я доволен был безделушками, мелкой монетой любви, то есть непорочными ласками. Один поцелуй, тихонько получаемый, делал меня счастливее, чем Бонапарта после Аустерлицкой баталии, которая была несколько лет спустя после того времени, о котором я пишу[3]. Я не любил губить женщин, ввергать их в бесславие, отнимать у них честь и доброе имя. Я любил их любить, и тут были все границы моего так называемого сладострастия. Я был верен в прочем жене моей во всем разуме этого слова и любил ее лучше всех прочих женщин, царствовавших над моей душой. Лучше, говорю я, подражая самой жене моей, которая часто говаривала мне, когда я ей клялся, что любил ее более всех, и в этом по чести никогда ей не лгал: «Vous m'aimez mieux que toute autre»*, и под-

* Вы любите меня больше всех остальных (фр.).

линно, это было правда. Оттенок между выражениями *лучше* и *больше* гораздо ощутительнее по-французски, чем по-русски, я его понимал совершенно и тогда любил вместе более и лучше всех одну мою Евгению. Но где, бишь, мы были? Да, мы говорили о театре. Все время масленицы играли мы комедию на Волконского театре в труппе, собранной госпожою Мятлевой, дочерью московского градодержателя графа Салтыкова. Все это семейство любило театр. Военным заказано было играть, но нам, статским, не запрещалось, оттого, я думаю, что нас никто и замечать не хотел. У двора статский человек в мыслях у Павла был то же, что последняя мошка для орла. Он, махая крыльями и рассекая воздух с трепетом, любит пужать только пернатых, а воздушных насекомых оставляет без внимания, так и монарх наш обходился с нами. Мы зато пользовались сколько умели сей нашей уничижительной свободой и находили в ней прелести.

Госпожа Мятлева хотела непременно играть ролю Розины в комедии «Севильского цирюльника», разумеется, по-французски. Тогда был наездом в Москве с славной живописицей госпожой Lebrun, по-французски, son bon ami*, а по-русски, любовник Riviere, который мастерски играл комедию. Наперехват брали его во все общества. Иные, не понимая совсем цены его искусству, для того только приглашали его к себе, что он был не русский, и допускали с собой быть в чрезвычайной короткости. Мятлевой вздумалось составить свою труппу, она пригласила меня. Я, поставя зов ее себе за честь, принял его охотно; итак, расположились мы играть на масленице. Театр Волконского по родству его с Салтыковым[4] был к нашим услугам. В несколько дней выучили мы свои роли, сладили пиесу и наконец сыграли при большом стечении зрителей, и как ни неудачно шла по многим причинам эта комедия, однако все я под плащом грубого испанского опекуна и доктора был на театре виднее, нежели в Соляной конторе, где с стула моего вотще разглашались мои голоса, как пустынные проповеди Иоанна. Много делает, право, и предубеждение. Если публика привыкла кому бить в ладоши, то всегда на верное играть можно, так, как в банк при постоянном счастии всегда гни короли — никогда не проиграешь, так и я, хотя не очень удачно представил своего Бартоло, однако всем нравилось, и все от одного предрассудка кричали: «Прекрасно!» Но я, я лишь только чувствовал, что играю худо. Для чего? Для того, что нет ничего хуже, как подобные забавы за-

* ее хороший друг (фр.).

тевать с вельможами. Фельдмаршалы хороши при армии, а директорами спектакля быть не годятся. Граф и графиня, супруга его, статс-дама и кавалер, отнимали у нас руки и, посещая все наши пробы, большой холод с собой привозили на сцену. Где лучше, как тешиться этого роду весельем между равными себе людьми, между своей братьи? Там простота, равность лет, состояние, все споспешествует к удовольствию, все его делает общим, и без помехи, а их театр бывает плачевное зрелище, или подлая, или скучная работа.

Так-то проводили мы в Москве масленицу, а в Петербурге начало Великого поста приготовляло нас к большому происшествию. Осьмнадцатый век в России прославлялся зарею царствования Петра Первого, а девятнадцатый начинался концом жестокостей и тирании Павла, Павла, которого, ко счастию всего человеческого рода, а паче той его части, которая порабщена была ему судьбами, 12 марта не стало. Он умер, и от востока России до запада слышно было повсюду: «Слава Богу!» — при восхитительных восклицаниях всякого звания людей. Он умер, и казалось, что мы были подобны новому Израилю при воскрешении Мессии, он умер, и все оживотворилось, все улыбнулось, все отдохнуло, все сжатые утробы получили сладостное облегчение. «Слава Богу! Слава Богу, — кричали на стогнах, — Павла нет!» Для Истории собственно моей довольно сказать, что 12 марта император Павел в нощное время в Михайловском своем замке удавлен, бит и жестоко умерщвлен своими подданными. Не спасли его ни пушки, ни подъемные мосты, ни крепостные окопы, кругом того дворца им сделанные. Он кровию своею обмыл четырехлетнее свое тиранство, удалив от себя гонением и разными несправедливостями всех прямо приверженных к нему людей. Он окружился злодеями, которые до тех пор только и щадили его, пока могли из него что-нибудь вымучить происками своими, но когда почувствовали они, что самые щедроты его неверны, ибо давши сегодня полцарства, ссылал назавтра в заточении дальные и несносные, то и фавориты его на жизнь его посягнули. Историки, которые упражняться будут в сочинении российских летописей, не умолчат, конечно, пред потомством о именах тех, кои составили заговор на жизнь его и привели его в исполнение. Они предадутся анафеме своих внучат, ибо если предательство иногда и похваляется по видам корыстолюбия и политики, но предатели всегда гнусными остаются в глазах даже тех, коим они споспешествовали. Так-то начинали мы новое столетие в России, в которой до тех пор еще кровь царская никогда в Петрополе царских порогов не окропляла[5]. Ис-

торики, конечно, всякую подробность сего опасного и страшного происшествия расскажут, до меня они не принадлежат, но упомяну только здесь, что фаворит Екатерины Второй Зубов с братьями своими, быв в изгнании и призван интригою царедворцев паки ко двору незадолго перед смертию Павла, поставил себе в подвиг придумать способ сей избавиться его[6]. Конечно, смерть Павлова была необходима. Никто не мог жалеть о ней. Все отечество несказанно им было угнетаемо, но никто, никто не мог одобрить избранного к тому средства, да и поистине нельзя было из тысячи возможных избрать хуже того, которое было к тому употреблено.

Известие о сем приключении и о восшествии на трон Александра Первого привезено было в Москву князем Долгоруким, сыном той почтенной княгини, которую я дружески знал из давних лет[7]. Он уже был генерал-поручик и зять графа Васильева[8], который тотчас по смерти Павла призван был паки к должности государственного казначея, незадолго перед тем лишившись оной в пользу Державина, которого Александр отставил. На место генерал-прокурора призван был Беклешов и сменил Обольянинова. Трощинский сделался секретарем государевым, и слова, в манифесте помещенные, коими Александр уверял народ свой, что он править им намерен по сердцу и духу Екатерины Второй, сделали ему близкими всех тех, кои при ней с похвалой отправляли дела. Их отвсюда стали сыскивать и употреблять в службу. Граф Воронцов, получа место канцлера, стал управлять делами иностранными. На первый случай сими переменами образовалось царствование Александра, которого известная кротость сделала тотчас любимцем всех его подданных. От востока до запада России встречали с первою весною столетия весну блаженных дней. Все успокоились, все пришли в себя, каждый познал право свое, облобызал приятную свободу, обрел собственность, и после толь крутых политических непогод, при вожделенном мире со всеми державами никто не боялся бедствий самовластия. Какая благодетельная перемена! Какая школа небесами дана была тем, кои, скучая днями Екатерины Второй, алчно желали видеть Павла на ее троне и, увидевши, скоро склонили долу от ужаса глаза свои и потупили взоры их. Поседелая во славе древняя Романовых столица с восторгом приняла вестника радости. Собор и все храмы тотчас наполнились людьми всякого состояния, принявшими присягу. Долгорукий, пробыв сутки в Москве, возвратился щедро одарен ею[9]. Скромность его так была велика, что никто еще не знал, как умер Павел, а по словесным его извещениям считали все, что ему сделался от непомерной злости удар. Дни два после, когда стали

наезжать из Петербурга разные люди, узнали и в Москве, что Павел убит, кем и как. Столица не без содрогания сведала о таком неистовом злодействе. Радость ее покрылась тонким мраком, все шептали о сем, поднимали руки к небу и не смели ожидать благ небесных на престол, орошенный кровию родительской. Публика волновалась даже и в Петербурге, где к удивительному соблазну всех состояний Зубов и его сообщники, называя себя патриотами, новыми Брутами, пили целый день в клубе, кружились в конвульсиях пьяного бешенства, восклицали свободу, словом, поражали ужасом всех благомыслящих людей, но двор, двор, сам объятый страхом, не смел еще обуздать вскорости сего неистовства и принужден был несколько снисходить бунтующей молодости первостатейных своих чиновников. По нескольких дней недоверчивости, страха, догадок и заключений с обеих сторон, равно неосновательных, наконец и в Москве, и в Петербурге все успокоились, перестали о убийстве Павла толковать, начали без помехи основывать на грядущих днях новые здания блаженства, и всякий там и тут принялся за свою химеру. Никогда столько стихов не было написано ни на какого царя восшествие, как на 12 марта. Казалось, что все рифмачи выпустили своих пегасов из заключения, чтобы на них скакать куда глаза глядят. Лучшие тогдашние наши стихотворцы, Херасков и Державин, написали две оды[10]. Первый явным образом показал, что воображение его уже погасло, а второй бранил без пощады Павла и кадил Александра. За ними вслед кто только две рифмы умел кое-как связать вместе подносил государю стихи. Многие были награждаемы, сие ободряло и прочих. В таком общем стихотворном духе нашего отечества не смел и я не написать чего-нибудь, дабы не заметили, что я, иногда посещая Парнасские закоулки, на этот случай не хотел ничего произвести, но, не любя сочинять ни по наряду, ни из корысти, еще менее из выслуги, потому что стихи не должны быть выслугой для благородного человека, он на то имеет другие способы, и я написал несколько стихов на освобождение Сибирского, которые были напечатаны и приняты публикой весьма благосклонно. Отвсюда стали появляться вслед за Сибирским сосланные в разные остроги и крепости, исчезло даже имя секретных преступников, все они сделались гласны, кроме убийц Павла, которых политика запрещала и назвать, и наказать. Освобождаемые разного состояния люди наполнили свет сведениями о жестокости миновавшегося царства. Тут увидели самые сокровенные злодеянии императора Павла, тут умножились на главу его проклятии всего народа. Чем менее был он сожаления достоин, тем более извинялось мщение против

него вооружившихся, тем снисходительнее рассуждали о его кончине, которая никого уже не страшила и не возмущала.

Мясоедов в самую эту эпоху был в Петербурге. Тесная связь его с Трощинским не давала места никакой надежде мне с ним порядочно расстаться, ибо тот был первый докладчик. Итак, когда все радовались, ожидая лучшего, я один не смел полагаться на будущее и заранее крушился. Трощинский в первых самых днях вступления государева на престол явил опыт дружбы его к нашему директору тем, что выпустил указ именной о исключении из Соляной конторы Нелидова, а предположении наши по Астрахани с Перетцом и Кутайсовым были опрокинуты, и Сенат все их уничтожил. Тогда Кутайсов подобен был Пилату после казни Христа, и каждый кидал в него камень. Все очутилось в старом Зимнем дворце, и кругом его новая еще трава не проросла из-под вешнего снега, как уже и Михайловский замок покрыт был мерзостью запустения, и гнушались все мимо его ездить. Так некогда пала Вавилонская огромная башня, так сокрушились от руки времени знаменитые египетские монументы. Tempus edax rerum[11]! При таком новом торжестве нашего начальника не с удовольствием увидел я его к нам возвращение и более, нежели когда-нибудь, стал помышлять о средствах благопристойно с ним расстаться. Писать к новому государю я вдруг не смел, желая видеть, что последствие времени окажет. Мать моя, не имеющая нужды в тех соображениях, кои мое перо должны были иногда останавливать, писала обо мне к Салтыкову. Он, воспитав государя, имел, казалось, полное право быть у престола его ходатаем за многих. Напрасно! Сей испытанный эгоист тогдашнего века ответствовал только советом писать прямо к государю. Но что письмо между нескольких тысяч ему подобных, ежедневно приходящих ко двору со всеми почтами? Поместье российского государя велико, челобитчиков в нем много, не скоро голос одного в толпе их услышан быть может без предстателя. Однако совет сей надлежало исполнить, дабы освободить себя от укоризны. Итак, я написал к государю письмо и просил в нем о пожаловании мне следующего чина, который отец его безвинно у меня отнял. Государь, видев страшное множество генералов и злоупотребление, доведенное в производстве до нестерпимого степени, с самого начала царства своего сделался скуп на чины и всякие преимущества по службе. При таком его расположении тщетно было скоро ожидать успеха; итак, несмотря на просительные письма, сопровождавшие прошение мое к государю на имя Салтыкова и супруги его, сестры князя Юрия Владимировича Долгорукова, бумага

моя осталась безгласною, и я на нее никакой резолюции очень долго не удостоился, а между тем лукавый Мясоедов, взросший в интригах, работал о доставлении себе всех выгод возможных, забывая совершенно своих товарищей в Конторе. Вельяминов уже имел желаемое, а до нас ему и нужды не было. Итак, я питался одним чаянием. Слабая пища, она для сердца пылкого, наполненного желаниями, долго не удовлетворяющимися, точно то же, что и стакан свежей хорошей воды для желудка слабого, которому рюмка маленькая вина гораздо полезнее самого лучшего лимонаду. Но как быть, надлежало твердо мне выучить русскую пословицу: «Стерпится, слюбится».

Не дождавшись ответа на письмо мое к государю ни через газеты, ни другим путем, я рассудил прибегнуть к средству необыкновенному и, написавши всю просьбу мою в четырех стихах, отправил прямо на имя его величества. Предприятие сие основано было ни на чем ином, как на надежде, что оно, будучи ново, таковой же получит успех, как и первое письмо, которое я посылал на имя Екатерины Второй и посредством коего получил тогда виц-губернаторское место в Пензе. Также сулил мне удачу один Волтеров стих, он теперь из памяти моей вышел, но смысл его тот, что добрые государи любят стихи читать. По крайней мере, думал я, одна новость и странность поступка заставит обратить на себя внимание. Из четырех только стихов мудрено выдумать способ сделать еще экстракт, надлежало их подлинником государю показать. Они были явственны и содержали в себе всю мою претензию:

Великий государь! Ты благ и правосуден;
Я двадцать лет служу — невинно обойден.
Тронись и дай мне чин, сей дар тебе не труден,
Две строчки напиши, — и буду я блажен!

Вот они. Ошибся я в своем расчете. Стихи мои были поднесены, и если верить Мясоедову, то государь изъявил Трощинскому при докладе об оных негодование свое за то, что к нему прошения подданных посылаются на стихах. Может быть, это и правда; но нет, приятнее этому не верить. Язык Богов может ли быть противен тем, кои образ власти его носят на земле. Худой успех моей музы должен я был приписать неудаче моего рока, которым я был гоним повсеместно. Вооружась терпением, ожидал я, что будет далее, а между тем ездил в Контору слушать Мясоедова предложении и слепо повиноваться самовластным его распоряже-

ниям. Кто поверит, что он умел выходить указ из Сената незадолго перед кончиною Павла, которым сей верховного правоведения трибунал, оставя весь порядок, регламентом введенный, уполномочил Контору завести свой, совсем ему противный и никем не одобряемый, кроме г. Мясоедова? Всех его дел здесь описывать я не имею намерения, да оно же и не входит в план моих записок. Чего не делает случай и сила? Упомянуть не лишнее теперь о приключениях саратовских, и для того прошу на память привести, что сказано было в прошедшем годе о знатной прибавке соли в тамошних магазейнах. Мясоедов, быв там летом, осмотрев озеро, богатые соляные источники и способ доставления ее в Саратов и Камышин, где устроены были на нагорной и луговой стороне магазейны для вмещения оной после добычи с озера, распорядился тогда следующим образом. Когда при покойной государыне еще посылан был Нелидов в Саратов для ревизии этой части, то он, установя цену за привоз соли, разделил все количество ее прихода на два транспорта: один обратил в саратовские, а другой в камышинские магазейны. План его соображен был с местною удобностию тех губерний, кои тою солью довольствовались. Иные получали ее из Саратова, другие из Камышина. Распределя их все единожды на сии два магазейна, он и вывоз соли по количеству числа оной, потребного в разные губернии, назначил на те и другие магазейны. От Камышина озеро было ближе, чем от Саратова, следовательно, как цена за привоз туда была дешевле, так и возка поспешнее, ибо волы делали две ходки в Камышин в то время, которое потребно было на одну только в Саратов. Губернии предварительно извещены были о месте, куда суда их должны приходить нагружаться солью, следовательно, по вскрытии вод подрядчики для приема ее или комиссионеры являлись и никогда не терпели остановки. Довольно сего краткого извлечения из операции соляной тамошнего края, чтоб дать понятие об ошибках Мясоедова, которые скоро окажутся. Нелидова предположении были одобрены самой императрицей и, с 1792 года или годом позже приведены быв в исполнение, продолжались до Мясоедова осмотра, когда сей, возжелав бросить пыли в глаза Павлу и достать себе новые почести, помчался в Саратов. Там, потеряв из виду все соображении Нелидова, дал предложение Конторе и велел все фуры вместо Саратова обратить в Камышин. Натурально, что поелику и дешевле, и поспешнее, как выше сказано, была перевозка соли с озера в Камышин, нежели в Саратов, то и в деньгах, и в соли самой сделалось знатное приращение, ибо вместо десяти копеек платили по шести с пуда, и в половинное время суда обращались

паки на Элтон. Но того Мясоедов и не приметил, что весной все те губернии, кои наряжают суда за солью в Саратов, не найдут уже там ее ни фунта, а в Камышин принуждать подрядчиков ехать и вопреки своим контрактам действовать без понесения важных убытков казенные палаты не могли. Мясоедов видел одно настоящее, а о будущем забыл, нимало не понимая, что в подобном деле, где все зависит от обязательств, однажды установленных, прихоти начальников места иметь не могут и что коммерция расчетов своих, в государственных делах наипаче, *на авось* основывать не позволяет. Что вышло из того в прошедшей осени? Мы уже то видели. Мясоедов, воротясь из Саратова, донес о пользе своей поездки Сенату, которым он любил во всех случаях защищаться. Сенат утвердил его распоряжение. Обольянинов доложил об них Павлу. Прибыток денежный и выигрыш время, а притом умножение соли в Камышине императору показались подвигом, и он его нарядил в Малтийский крест. Я, сидя на своем стуле в Конторе, тогда же видел, что весною будет беда, и, дабы сколько-нибудь себя сохранить от оной, поелику дела запасов соляных лежали производством своим на точном моем отчете по распределению экспедиции между членами, сделал я записку из всей Саратовской операции и подал ее тогда же Мясоедову, указывая ему, что весною соли в Саратовских магазейнах не будет. Но выписка моя ему не полюбилась, и она пролежала до нстления под красным сукном, из-под которого вытащить ее не входило в мое право. Посмотрим теперь, что вышло весной. Как стали комиссионеры из разных губерний с нанятыми судами приплывать за солью в Саратов, то к отпуску их отворили пустые магазейны, и суда, потерпевшие десятидневный простой, лишились достаточного количества прибыли воды для понесения груза, а работники и лоцманы разъехались к подрядчикам на суда под провиант и другие разные припасы. Комиссионеры стали жаловаться своим казенным палатам, а сии, не видя от Соляной конторы никакого удовлетворения, боясь пострадать сами, вошли с представлением в Сенат. Сенат, увидев прошибку*, но поздно, чтоб от себя отдалить угрожающую опасность, наслал в Контору указ и велел тотчас отрядить члена оной на место, изыскать причины, отчего соли для некоторых губерний не достало, когда такое множество оной было директором показано в его расчете. Указ сей прислан был с нарочным. При первом рассуждении о том, кого послать, я вызвался охотно, ибо, во-первых, я знал тамошний край и людей многих,

* ошибку.

из Пензы в Саратов перешедших, по прежней моей с некоторыми службе, во-вторых, имея в ведомстве своем запасную экспедицию, кому известнее могли быть сии обстоятельства в Конторе, как не мне? А потому я бы тотчас открыл несмысленные распоряжении Мясоедова и представил бы дело в настоящем его виде. Но по сей-то самой причине Мясоедов и не мог решиться меня употребить, ибо он боялся моих донесений, и сколько прежде при наряде члена в Пермь ни находил необходимостию послать меня, как наиспособнейшего члена Конторы, столько же ныне, давая другой оборот своим речам и хваля меня безмерно, даже до того, что не стыдился из одного пронырства сказать, что без меня он лишается правой руки в Конторе, чего совсем не было, затруднялся в посылке моей и наконец препоручил это следствие произвести Волконскому. Он знал его неопытность в делах службы, следовательно, не боялся, посылая его, ничего, а дабы однако форму сохранить в письмоводстве и составить рапорты такие, какие ему были надобны, командировал при нем в виде секретаря одного из своих приближенных, бывшего с ним в Саратове, и на происки которого, обещав ему знатные отличии, смело мог надеяться. Таким образом, протокол подписали, и Волконский поехал. Для него эта поездка была сопровождаема многими приятностями, потому что он, страстно любя мотовство и роскошь, находил причины покупать дорожные экипажи, шить себе и людям дорожные прихотливые платья и сорить по пути везде без разбора занятые с большими процентами деньги, приписывая такие внезапные убытки службе и обязанностям, ею налагаемым. Сколько я из любви моей к его семейству ни старался заменить его собой, все было, и не могло не быть, тщетно. Итак, я остался в Конторе марать бумагу по-пустому. Пробыв на месте несколько времени, Волконский привез кучу бумаг оттуда, которые Мясоедов с своими чинами приводил в порядок так, как свитки, найденные в открытых городах под черепом Везувия, и, разобрав его донесение, сложив из него как хотел свое[12], отрапортовал Сенату, который, по мнению Мясоедова обратя всю вину на комиссионеров тех губерний, кои жаловались, иных отрешил, иных отдал под суд, убытки кое-как разместил; и директор наш, погруженный, так сказать, в океан, вышел из него сух, к удивлению нашему, многих и даже собственному своему. Не надобно ни ума, ни догадки, ни дарования, счастие, одно счастие всего нужнее. С ним в огне не ожжешься и в воде не утонешь, а у совести в подобных делах никто не спрашивается. Что нужды до комиссионеров и до Казенных палат? Бедные сии люди и места пострадали. Бог с ними. В свете сем всякий бережет себя на счет друго-

го. В опасности нет ни дружбы, ни родства. Пробудки совести тяжки, но она благосклонна, и, если ее сам человек не разбудит, она дремлет в нем долго. Думать надобно, что в Мясоедове она была подвержена сильной летаргии, ибо редко можно было приметить ее движении.

Пора поговорить о домашних моих обстоятельствах. Они не пышны, но занимательнее гораздо были для меня всех светских происшествий. Иные вводили в сердце радость и приятные плоды упования, другие возбуждали в нем меланхолические движении, но всякий случай непосредственно действовал на сердце, а потому-то был для меня занимателен. Между людьми, разделяющими иногда скуку мою и приемлющими участие в моих печалях, находились один монах и священник. Я с ними знался отнюдь не из набожности, да и они были не ханжи, а просвещение их и образ мыслей приблизил их к моему сердцу наравне с теми, кои, в одном кругу со мною живучи и быв образованы по-светски, часто потому только кажутся просвещеннейшими людьми, что носят на себе вывеску большого света, в прочем имеют самые ограниченные познании. Духовные мои приятели заслуживали мое внимание и потому, что они не скучали проводить время со мною, когда я бывал или болен, или печален, а такой жертвы требовать и ожидать от возвышенных состоянием своим людей трудно. Да и без дальных вымыслов к оправданию выбора моих приятелей, чего стыдиться, что поп и чернец были ими? Не такие же ли они люди, как и прочие, не имеют ли тех же прав, как и прочие, на познание, просвещение и образование умов? Что лежит до нравственности, то она не дается ни за деньги, ни достается трудами поучителей. Она есть достояние богатой природы, которая, развертывая в нас мало-помалу наши способности, наше свойство, делает нас злыми или добрыми. Итак, сии мои два приятеля отняты были у меня судьбою. Один умер по весне от застарелой чахотки, хотя был еще молодых лет, а монах по имени Евлампий произведен в архиереи архангелогородские из архимандритов монастыря Донского, где не первый он был уже моим приятелем. Я видел, как его ставили в епископы. Я в первый раз от роду был свидетелем сей важной церемонии. Участие мое в нем привлекло меня в собор, и я с восхищением любовался осанкою Платона, дающего пастырский жезл новому архиерею, и важностию сего последнего, его приемлющего. Нет ничего поистине великолепнее служения нашей церкви. Я видел обряды разных иноверцев, видел даже маленькое подобие службы папской, когда, в лице его нунция, Ар[кет]ти, бывший легатом в Петербурге при Екатерине Второй, святил во имя ее патрона католицкую новопостроенную

18 Зак № 3535

церковь[13], и, право, ничего не нашел стоющего сравнения с теми величавыми обрядами, какими сопровождается жертвоприношение наших учителей церковных, а паче тех из них, кои чувствуют вес и понимают разум сего служения. Новый епископ скоро с нами расстался, и переписка одна уже между нами осталась по временам залогом всегдашней нашей приязни друг к другу, а любезного моего Якова Андреевича, священника честного и просвещенного, я уже не увижу до радостной денницы общего утра, там, где и он, и он, конечно, радость праведных делит с ними. Пусть, читая сии строки, иные и посмеются такому странному дружеству, странному по разности состояний, но семья, дети мои никогда не поругаются ими. Они худо бы заплатили родителям своим, когда, заглянувши в историю их жизни, плод неутомимых попечений об них, не вспомнили с чувствительностию тех, кого они любили, кем сами были любимы. О нет! Такой холодности я от них не ожидаю, ибо они не могли ее наследовать от отца, ни матери своих.

В мае число детей моих умножилось в последний раз и последним младенцем. На 19-е число в ночь жена моя родила сына, которого назвали мы Рафаилом, желая такое прекрасное имя возобновить в нашем доме[14]. Роды сии были легки и благополучны, но предварили несколько неделями срок естественный, и сие-то самое было уже предвестником истощения сил ее, ибо она не могла удержать младенца в утробе своей до надлежащего срока от расслабления частей, к ней прикосновенных. Видимые признаки здоровья ее до того времени были утешительны. Накануне родин своих она имела гостей, играла с ними в карты, нимало себя не подозревая столь близкой к разрешению. Назавтра без усилий, больших мук и почти без помощи явился в мир новый человек, седьмой и последний сын мой. Мы обняли его, совокупно заплакали и поблагодарили Бога. Десять раз я был отцом в жизни моей, и ни один из детей наших не был причиною убийства матери своей, как многие другие тому их подвергают. Нежное и слабое дитя! Едва он имел основании человека, и думали ли мы оба тогда, что сей младенец есть последний, что он при всем изнеможении его переживет мать свою? Ах, нет! Не так бы мы радовались, и не так бы жалел я только об нем одном, если бы будущее, открываясь догадками постепенно, было тогда без завеса представлено очам моим. Хвала стократ Всевышнему, что мы, ложася спать, не знаем, что будет поутру, и сию хвалу воздавал я ему во всякое время жизни моей. Рафаил наш был окрещен 26-го числа мая, восприемниками были мать моя и Салтыков. Пиров у нас не было, но благополучное состояние здоровья жены моей, скоро

возвратившее прежние силы ее, заменяло все прихоти роскоши. В первых днях после родин несколько испуган я был сильным кровотечением жены моей, но без дальнего врачевства натура сама его прекратила, так что не успело даже воображение, страхом внезапным настроенное, породить ужасные ожидании, все было порядочно и спокойно.

Около того же времени лишился я княгини Долгорукой, с которой связь моя по Истории сей известна. После продолжительной болезни и довольно мучительной скончалась она с отличным великодушием и мужеством, имела твердость распорядить все обряды похорон своих, которые велела исправить без малейшей светской тщеты. Предузнав за несколько часов мгновение своего конца по истощению сил своих, она удалила от сего зрелища престарелого деверя своего, князя Владимира Сергеевича. Сей почтеннейший рода нашего боярин, так назваться дела его давали ему право, неотступно хотел быть при ней, несмотря на исполнившиеся ему с лишком семьдесят лет[15]. Она, невестка его, княгиня Наталья Сергеевна, не теряла ни памяти, ни присутствия духа ни на одну минуту, сохранила всю целость обязанностей своих к Богу во всю жизнь и даже при смерти была хорошая мать, чувствительная жена, бесценный друг для тех, кои умели у нее заслужить сие столь редкое титло, и добродетельна была со всеми. Достоинства ее украшали до такой степени ее беседу, что я никогда не видал ее одну в своем доме, хотя, в прочем будучи небогата, дома своего не могла она наполнять прелестьми роскоши, ездили к ней те, кои ее любили, и их было всегда много. Я пользовался ее приязнию и смею гордиться ею. Она удостоивала меня отличия от многих, и я, провожая остатки мертвенного существа почтенной сей женщины, плакал непритворно о том, что душа ее от нас отдалилась. Я не охотник до похвал льстивых, но не утаю никогда правды. Женщина эта была из редких женщин в своем роде. Имела слабости, но кто же, называясь человеком, их не имеет? Эта общая печать натуры на человечестве, никто без них не прожил, и те, кои вселенную дивили знаменитыми своими подвигами, точно так же были им подвержены, как крепкое и хорошее железо ржавчине. Довольно, если человек более хорош, нежели дурен. В таком точно отношении я знал и видел покойную княгиню Долгорукую и сохранил к ней до смерти ее, а к памяти сохраню также до последних дней моих прямо достойное к имени ее уважение в полном разумении слова сего.

Опять обратиться надобно к Конторе. Мясоедов, желая сделать какое-нибудь удовольствие Волконскому за подъятые им труды и совес-

тясь мимо меня писать об нем, рассудил представить нас обоих правительству и подлинно представил. Но — о, щедрота поздняя разгневанных небес! — вместе с ответом на представление его последовала резолюция государева и на залежавшееся с весны мое письмо. Не ожидая почти никакого на то и другое успеха, вдруг получил я от Мясоедова письмо с объявлением мне высочайшего соизволения через генерал-прокурора Беклешова посредством директора Конторы, чтоб я избрал себе губернаторское место, где пожелаю, ибо то, которое я занимал, не совместно с следующим мне чином. Такая же точно резолюция последовала и на жалобу Волконского. С одной стороны, я находил отзыв монарший справедливым, ибо чин тайного советника не позволял уже присутствовать в Соляной конторе, а других мест, кроме губернаторских, не было достойных такого повышения. Сенат был так наполнен при Павле, что из него выбивать надобно было, а не прибавлять число сидящих в нем. Но, с другой, находил такое предложение весьма тягостным, рассуждая следующим образом. Всякий служит государству и государю там, где он назначен. Долг подданного — исправлять звание свое с ревностию и усердием, обязанности монархов — награждать их за то чинами и отличиями. Не от чиновника зависит избирать себе место, и не правительству прилично поручать ему такой выбор мест. Достоинство должно быть награждаемо, там, где оно видно, без всякого условия. Свободен я искать себе лучшего места, но награждать меня тем, что я заслужил уже, за новые труды, да еще и возлагать на меня обязанность сыскивать их самому, есть не только несправедливо, но и сурово. Это значило бы то же, что вместо платежа человеку, который привез ко мне на двор воз дров, посулить ему оный тогда, как он приищет случай ко мне и воды доставить. Государь должен так распорядиться в службе чиновников своих, чтоб от них только зависело трудиться и заслуживать чины, а не выбирать самим места, дающие на то право, если ему кажется, что занимаемые ими в том роде служения, которое они исправляют, низки для тех повышений, до которых они трудами достигли. На сих рассуждениях основав мои мысли и намерении, я ответствовал Мясоедову, чтоб он донес посредством Беклешова, объявившего мне через него волю монаршую, что я никакого условия с ним делать не смею и не могу, что воля его меня определить, куда он желает и куда я способным буду признан, но когда он столько великодушен и милостив, что позволяет даже мне выбирать и губернию, где бы я желал быть губернатором, то что я, будучи беден, без расстройки принять сего предложения не могу и для того прошу го-

сударя оставить меня в Москве. И поелику он справедлив, то бы удостоил возвысить меня в следующий чин, который я заслужил и трудами, и старшинством противу многих, меня обошедших, и если чин сей не позволяет мне остаться в Соляной конторе членом, то бы переместил меня в Москве на равное чину место. Отзыв мой от Мясоедова пошел к Беклешову, а там и остался безгласен.

Собрав домашних моих, призвав в помощь совет жены моей, которой рассудок стоил того, чтоб во всем ей повиноваться, я подлинно ничего дерзкого не сделал, отказавшись от губернаторского места; выгод я там никаких не предвидел, напротив, при тысяча восьмистах рублях жалованья в Москве, в доме матери моей за всем готовым, я гораздо мог лучше содержать себя, чем в провинции, где при трех тысячах рублях жалования должен я был держать свой дом, не говоря о расходах, коих от меня потребовало бы переселение туда с моим семейством. Слабость здоровья жены моей служила мне сверх того достаточной и правильной причиной к отказу; воображение, живо представя мне все искушении, с коими сопровождалась жизнь моя в Пензе, отвращало от губернских городов навеки, и хотя чин губернатора, пост его, конечно, казался отдаленным от неприятностей, коим я был подвержен, представляя в губернии второе лицо и подчиненное, ибо генерал-губернаторы были уничтожены, со всем тем ехать из Москвы, в другой раз расставаться с своей родиной, разрывать дружеские связи, покидать приятные общества столичного города казалось мне отменно тяжко. Более же всего любовь, всегда владычествовавшая тирански над моим сердцем, препятствовала мне пожелать выехать из такого края, где пятилетнее знакомство с домом Волконских приковало меня, так сказать, к ее сообществу и прелестям, казавшимся мне бесподобными. Следуя ослеплению чувств моих и счастлив будучи, что могу их скрыть под личиной причин самых рассудительных, самых основательных, заслуживающих одобрение всех моих знакомых, я лучше хотел остаться без повышения в Соляной конторе при всех ее неприятностях, чем взойтить и на трон, если б надобно было ехать садиться на него за сто верст от Москвы. Для любви нет возраста; одна песня французская очень справедливо говорит: «L'amour est de toute âge»*. Она во всякое время жизни нашей живит наше сердце и кружит разум; итак, я решился; отказал. Жена моя сдалась на мои причины; нашла их правильными на счет даже собственного спокойствия своего, ибо, живучи в

* Любви все возрасты покорны (фр.).

чужом доме, в доме свекрови своей, не имея никакого достатка, кроме умеренного пансиона, она принуждена была жить не по своей воле и терпеть многие огорчения, от одной неволи происходящие. Счастлива еще она была, что нрав ее и разум ставили выше всех семейных раздоров и что она не скучала сидеть одна дома с своей работой или книгами и выезжать не любила, впрочем же ни с кем не вела знакомства. Москва ей была противна; она ее не любила издавна. По всем сим уважениям как не отдать примерной похвалы свойствам ее? Несмотря на свое отвращение к месту ее пребывания, она соглашалась лучше в нем остаться, нежели подвергаться новым переселениям и расстроивать мое удовольствие. Я не остановился на ответе одному Мясоедову, от которого не смел даже и надеяться, чтоб он тут чего-нибудь от себя во вред мне не прибавил, и писал к Беклешову, изъяснял ему мои виды, мои причины и, прося о награждении меня чином — цель, от которой я не умел отстать, малодушно ли то было или нет, — назначил ему для себя в Москве два места, и именно: в Экспедиции Кремлевского строения и в Университете кураторское, где ни чины, ни число людей по статам не было ограничено. Письмо сие подкреплено было таким же в пользу мою от князя Долгорукого Юрия Владимировича, который, желая мне добра и будучи в связи хорошей с Беклешовым, искал помогать мне всеми своими силами; а между тем я остался ждать в Москве коронации, которая назначена была в сентябре и наполняла всю Москву надеждой.

Философы меня осудят, когда увидят, что я так упорно желал чина. Пусть так; я с ними в этом никогда не соглашусь. Человек уединенный, живущий для себя, ограничивший все нужды свои приятными досугами в кабинете, может пренебрегать почести и чины. В положении, ему равном, и я бы на них глядел с презрением, но в службе они необходимы. Их должно желать, и выдумка их не есть один предрассудок. Честолюбие есть душа всякого служения, отними ее, не будет важных дел ни в суде, ни при полках. Наружные преимущества возвышают службу, действуют на воображение и дают цену, вес публичному человеку в глазах подчиненного ему народа. Вельможа, сделавшись масоном, приходит в ложу в фартуке с молотком и не стыдится тем, хотя он знает, что это пустошь. Для чего? Для того, что так ходить есть условие его общества. Оно его отличает, и потому он в него рядится, а вышед из ложи, прячет в гардеробу. Так точно чины наши и ленты в гражданском состоянии. Служа, мы принадлежим к сословиям, в которых сии преимущества уважительны, и изобретение их имеет цель политическую, от которой ника-

кая философия отступить не позволяет, доколе мы членами хотим или должны быть такого сообщества. Сколько странно бы было видеть отставного в подагре министра, который бы не садился на большие свои кресла в халате без ленты и держал бы при себе в кармане свои патенты, столько же неприлично чиновнику в службе презирать почестьми своими, не искать их, не отличаться ими и прятать их в баулы, как мертвый капитал без употребления. Нет, будем справедливы, отложим всякую чрезвычайность наших мыслей и принудим самих мнимых философов согласиться, что тот, кто, служа непорочно, равнодушно выносит обиды и дозволяет себя обойтить напрасно, не имеет гордости в духе, толико пристойной, нужной и похвальной для исправления всякой должности общественной. Вот как я думал и сообразно с сими мыслями домогался всячески возвратить потерянный чин.

Наконец, государь приехал в Москву короноваться, и день, для того назначенный, был 15-е число сентября. Я оставляю любопытным описывать, для чего не восемь дней позже, что было бы в один и тот же с Екатериной Второй. За ним, как водится, приехал Сенат и двор в столицу, и большое поле исканий открылось в доме Беклешова. Никто не ожидал больших наград, ибо несколько уже известны были свойства государя, и знали, что он ни на чины, ни на ленты щедр не будет. Это не значит того, чтобы не получил их какой-нибудь недостойный человек, нет, но и при малом числе розданных наград могли участниками в них быть люди, нимало не заслужившие оных. Так, например, и Мясоедов наш получил Александровскую ленту, уповательно, только за то, что в его доме квартировал Трощинский, который нашел, что гораздо легче заплатить за постой ничего не стоющей ему лентой, выпрошенной у государя по его к нему доверенности, нежели деньгами за чужой дом, а квартиры тогда были в Москве очень дороги. При всем том знали все, что государь хотел привести чины в некоторую цену после отца своего, который, расточая их ежедневно, не делал уже их столь драгоценными. Чтоб вес дать наружным преимуществам, надлежало в них скупиться, и Александр принял это за правило. Несмотря на то, я почитал себя обязанным хлопотать о себе и для сего ездил всякий день к Беклешову. Доклад об ответе моем на предложение губернаторства не был еще от него подан. Нужно было знать, какие он возродит последствии, нужно было притом подвигнуть Беклешова к доброму обо мне слову при докладе, но он совсем меня не знал, итак, я без всякой пользы ежедневно в шесть часов утра к нему являлся, надеясь, чем ранее я приеду, тем удобнее застану

одного и переговорю с ним; всегда ошибался. Он не принимал никого в кабинете, кроме людей, особый доступ имеющих. Сам он был весьма грубого характера, а канцелярия его наполнена людьми, подражающими его свойству. Безак, правитель его канцелярии, был один из жесточайших грубиянов, каких я только видел в свете; следовательно, я приезжал к нему первый, слушал, как на стенных его часах ударит шесть часов утра; встречу дневной свет в его передней, дождусь общего приезда подобных мне просителей, толкусь в большой зале, болтаю, и так убивая время до двенадцати часов, увижу Беклешова не иначе, как одетого уже, торопящегося ехать во дворец. Около его тьма просителей. Он, обыкновенно, никого не выслушав, двум-трем скажет что-нибудь язвительное или грубое, остальные раздвинутся, и он сквозь трехсот человек пролетит в карету и помчится во дворец. Таким образом прошло несколько недель, как я, соскуча столь бесплодными визитами и вместе огорчительными, потому что нет ничего несноснее, как подобное обращение от человека, до которого есть нужда, боясь, чтоб он и мне не нагрубил столько, что стыдно будет возвратиться и в дом его опять, я посредством князя Долгорукого, сына той самой княгини, о которой упоминалось выше, исходатайствовал от тестя его графа Васильева записку для получения входа в кабинет генерал-прокурора и, с ней приехавши один раз очень рано, добился до него. Он меня принял в своем кабинете. Я плакал — я не просил. Слезы уничижения сильнее всякого красноречия изъяснили ему мои надобности, и он, обещав мне свое старание, отпустил меня несколько спокойнее прежнего. Но все это не имело никакого успеха. Беклешов обещал и скоро потом забыл меня.

Лишенный всех способов возбудить в нем сострадание, я обязан был некоторою решимостию в участи моей геройскому, можно сказать, поступку жены моей. Она была больна. Писавши незадолго перед тем, когда двор еще был в Петербурге, письмо поздравительное французскими стихами императрице вдовствующей, с тем, чтоб в день именин его[16] воздействовать сильнее в сердце ее и привлечь к себе внимание, она только за подписом ее получила письмо благодарное, которого холодный слог не давал места никаким приятным упованиям. Равнодушие государыни к ее судьбе, столь часто и сильными опытами ей доказанное, подвергало ее обыкновенным следствиям ее болезни. Она стала харкать кровью, и хотя она унялась, но все состояние ее было слабо, ненадежно и болезненно. В таком точно положении, несмотря ни на что, поехала она по приезде двора в столицу[17] сама на поклон к императрице, и пока дожи-

далась позволения войтить в ее прихожей комнате, государь, проходивший тут от матери своей, узнал ее, оказал ей множество вежливостей, даже поцеловал у нее руку и удостоил спросить про меня. Жена не смела ему принесть никакой просьбы, да хотя бы и отважилась, известно было, что сие бы нимало не подействовало. Он приказал бы ей подать на письме к генерал-прокурору, и ничего бы из того не вышло. За ним вслед великий князь Константин Павлович показал ей разговором своим знаки внимания. За всем тем впустили ее к государыне, где она, кроме обыкновенной площадной приветливости, ничего не получила, и с тем же сердцем, наполненным отчаяния, приехала домой, с каким из дому во дворец ездила. На другой день такого визита и милостей монарших она решилась ехать к Беклешову и просить обо мне. Жене — просить об муже, и чего? Награждения по службе! Конечно, неприлично. Но когда муж ежедневно ходит в переднюю своего начальника и толку добиться не может, тогда жена его по крайней мере из уважения к полу заставит его говорить с собой. Ошиблась она и в этом. Беклешов умел и ее заставить прождать в своей передней часа два аудиенции и тем кончил, что ее не дал, к удивлению всей публики. Княгиня Долгорукая, стыдясь даже в первый раз знатного имени, стыдясь покровителей юности своей, приехала ввечеру в дом Беклешова, он давал всем просителям аудиенцию по вечерам, и в салопе, не называя себя никому, просидела в его прихожей так, что никто из окружающих г. генерал-прокурора не удостоили даже спросить ее, чья она такая, не только доложить об ней. Великодушие ставило ее свыше всех сих искушений, и когда многие знакомые ее, выходя от Беклешова, увидели ее почти в его сенях после того приема, который она имела в чертогах царских накануне, то некоторые бросились из одного ужаса (здесь это слово, конечно, не чрезвычайно) сказать об ней Безаку. Тогда только этот побочный сын слепого счастия[18] доложил своему вельможе, что княгиня Долгорукая ждет его позволения войтить, и Беклешов, не смея ее принять так, как всех мужчин, хотя многие были его лучше, в халате, приказал ее пригласить к себе назавтра в восемь часов утра. Он, конечно, надеялся, что женщина большого света проспит такое раннее время и, приехавши позже, даст случай к отказу и вместе к извинению, что не была принята. Но женщина, которая на батареи ездила с мужем своим в мужском кафтане в кибитке с подорожной солдатской, не способна была проспать назначенные минуты для разрешения судьбы мужа своего. Она подлинно на другой день к нему приехала очень рано, вошла к нему смело без доклада, заставила себя выслушать и

приехала домой с обещанием его доложить государю о моей просьбе. В третье ее посещение он объявил ей, что государь приказал мне дожидаться, пока в Москве по желанию моему очистится какое-либо место тайного советника. Вот чем окончились все мои труды, все подвиги жены моей. Пусть судят о ее поступке как хотят. Оно тотчас по Москве сделалось гласным, всякий об нем толковать стал по-своему. Я всегда найду его геройским в женщине, великодушным в жене и никогда не вспомню об нем без глубочайшей благодарности. Женщина большого света, царями воспитанная, носящая на себе имя первого рода в государстве, притом среди всех опасностей болезни, ведущей к вечности, в самую худшую погоду года, осенью, следовательно, самую для себя вредную, презирая все препятствия, едет сносить уничижение и стыд, всеми признанный, в передней знатного вельможи, от которого зависит участь ее мужа, доведенного до крайности тем, что должен идти в отставку, бросая место опасное, наполненное неправды, начальника хищного, терять в жалованье своем последний кусок хлеба и оголодить семерых детей; испытывает все Беклешова грубости, недостаток общежития, скаредное обращение и принуждает его своим поступком сказать ей решительный ответ монарха. О! Такой поступок выше всех обыкновенных добродетелей женского пола. Пусть рассудят о том те, кои, одарены будучи, как жена моя, характером твердым, самолюбивым, гордым и чувствуя свою цену, отважилися бы на такое же действие. Оно в глазах моих делает Евгению достойной похвалы общей и вечной славы среди ее пола. Пусть всякий теперь заключит про себя, чего можно было ожидать там, где государь, доводя учтивость с женщиной до крайних ее пределов, допускал своего вельможу ту же женщину без ответа отпустить от себя после двух часов тщетного ожидания в его прихожей. На сих-то соображениях всякий, рассуждая о будущем блаженстве своих соотчичей, не знал, чего желать и куда обратить свои намерении.

При всех сих неудачах, при худом успехе письма, поданного лично женой моей императрице, которая велела только ей привезти показать себе всех ее детей и ничем более щедрот своих не ознаменовала, при всех озлоблениях, которые она и я понесли со всех сторон, я не терял из виду моего предприятия и всякий день ездил к Беклешову приучать грозный взор его к пасмурным чертам моего лица. А между тем, чтоб везде и вдруг работать, видался с графом Васильевым. Он беспрестанно твердил мне, чтоб я просил губернаторского места, которое тогда мне и в мысль не шло. Я решился написать от себя по-французски письмо на имя госу-

дарыни вдовствующей; начав в нем с истории моего брака, их покровительства с Павлом, напомнив ей его обещании, решительно просил сенаторского достоинства. Я не знаю, как могла она равнодушно читать это письмо, оно было писано с такой желчью и дерзостью, что ныне, несколько лет спустя, просматривая его, я не надивлюсь, как меня под караул не посадили. Но на нее ничто не действовало. Говорят, что несчастие делает людей сострадательными. После этого опыта совсем тому не верю. Что могло быть несчастнее сей царицы, у которой мужа почти в глазах ее удавили, у которой Бог после такой страшной и неожидаемой потери отнял почти в то же время любимую и большую дочь, великую княгиню Александру Павловну, скончавшуюся в Венгрии[19], где все ее оплакали? Нет! Ничто сердца ее не располагало к человеколюбию. Она и среди слез собственных своих о потерях неописанных не умела ценить слез несчастных и утешить горести свои облегчением горестей чужих. Письмо мое подала ей генеральша Ливен, я не хотел его отдать секретарям, знал, что они бросят или не доложат. Я желал, чтоб она его прочла. Госпожа Ливен, всегда мне доброжелательствовавшая, подала его. Государыня прочла, точно прочла, я это знаю, и велела мне явиться за ответом к секретарю ее Полетике, который объявил мне, что государыня исполнить просьбы моей не может, потому что государь, сын ее, назначил известное число сенаторов и умножить его, находя достаточным, не расположен. Сим все мои последние надежды кончились, оставалось мне только для учтивости ездить по большим господам, чтоб не быть ими совсем забыту и притом для изъяснения мнимой благодарности за их обо мне попечении, которые сколько ни были убоги, но они и тогда любят, чтоб их благодарили, когда они вовсе ничего сделать не могут и не хотят. У больших господ и поклон один стоит уже больших благодарений.

Коронация последовала 15-го числа с обыкновенными гражданскими обрядами. По духовенству первенствовал в Успенском соборе Платон, который при сем случае отличился прекраснейшим проповеданием слова Божия. Все то, что в слове его относилось к лицам императора и матери его, было разительно и достойно особого замечания. Мясоедов числясь в Сенате, я представлял по Соляной конторе первое лицо и потому мог быть в Соборе свидетелем сей знаменитой церемонии, которую видел тогда в первый раз, и дай Бог, чтобы в последний. Здесь не нужно рассказывать об иллюминациях и торжествах всего города, все было великолепно, прекрасно.

При дворе привезена была труппа актеров придворных французских. Они играли очень часто на Большом московском театре, но весьма труд-

но было доставать билеты даже и за деньги. Большие господа не теряли старых привычек, они заставляли искать всего с трудом и оскорблением. Для получения входа в театр надлежало иметь протектора в театральной конторе, и я, по страсти моей к театру, познакомясь с теми, кои могли мне показать свои услуги, всякий раз езжал в театр, с удовольствием видал придворных актеров, но всегда далек был от той меры восхищения, до которой доходила петербургская публика, смотря на госпожу Вальвиль. Да, она хорошо иногда играет — вот все, что можно без лести про нее сказать. В Москве так, как и в Париже при прежних королях, завелся тогда манер при входе государевом в залу театра бить в ладоши. Обыкновение такое в России было ново. Публика московская не очень смела пуститься на сие выражение наружного почитания. Предки наши падали со всех ног, увидя государя, а мы били в ладоши. Хорошо перенимать у иноплеменных народов, но не все и не всегда. Франция, коловратная Франция, казалось, потеряла в то время право быть образцом добродетелей, любви к престолу и общежития. Я был тогда в театре, когда петербургские жители, наполняя в нем большую часть лож и кресел, встретили в Москве в первый раз с рукоплесканием молодого своего императора. Все им последовали, да и как иначе. Государь такое изъявление радости общественной о его прибытии в публику своей столицы в первый раз принял благосклонно, но я никогда не забуду того стыда, которым покрылась вся Москва, когда, не понимая совсем силу введенных в обычай по примеру Франции подобных рукоплесканий и подражая только, без разума вещи, придворным выходцам, ударили равномерно в ладоши, увидя государя, отъезжающего из театра. Вот каково перенимать такие обычаи, которых мы не смыслим! Изрядная наука любопытству подражательному.

Из всех праздников отличнейший давал тогда в Останкине граф Шереметев. Он отворил свои сокровища и воспользовался ими к удивлению двора и всех его окружавших. Подлинно, угощал, как сатрап, самым пышным азиатским манером[20]. Я все это видел, везде был и за посещение театра был заплачен казною. Удивительно, не правда ли? Нимало; всем чинам раздавали медали золотые, в том числе получил и я по чину. Она была довольно веска, я ее продал и вырученные деньги все употребил на заплату билетов для входа в театр, следовательно, и я не без награждения за службу мою остался. В прочем же никаких особых церемоний и тягостных, так, как при Павле, не было. Никто не приседал пред троном троекратно, Государь не садился под карниз, как булдыхан

китайский[21]. Все было просто, и слишком даже просто. Никто не целовал у государя руки. Самые ленты, кои розданы были некоторым только важнейшим чиновникам, надевал не сам император, а получал всякий их в свитке или футляре и, вышед из чертогов, надевал на себя при восклицаниях радостных своих домашних и друзей. Радость единокровных и семейств! Я тебя не испытал тогда, но умел постигнуть твои прелести и позавидовал им, глядя на других. Мне суждено было, воротясь домой, обнять жену в слезах и вместе только поплакать. Словом, в отношении к обрядам можно сказать, что коронация Александрова была изнанка коронации Павловой. Перемены были незначущи, повышения частны, общего не было ничего, ибо государь не любил ни жаловать в чины, ни наряжать в ленты, ни крепить крестьян коронных за помещиков так, как отец его. Он чувствовал, что чаша сих щедрот была им пролита до дна и что для поддержания цены подобных преимуществ надлежало умерить их раздачу. Государь не любил никакой пышности, никакой тщеты. Что ж любил он, спросят потомки? Мир и быть добрым — вот лучшая его наука и цель всех его желаний. Таковой, по крайности, казалась нам обновка.

Незадолго перед отъездом двора в Петербург, который в октябре же и отправился туда, жена моя по приказанию императрицы вдовствующей ездила к ней со всеми своими детьми, одного Рафаила туда не возила, и имела, так говорится, счастие ей представиться, преследуема двумя большими, ведя за руку средних и держа на другой руке самую маленькую дочь. В ком бы не возбудила сожаления о бедности такого семейства сама мать его, и мать больная? Но Марья Федоровна в Виртемберге не научилась быть милосердой, она их всех обласкала, приветливостей множество наговорила жене моей, которая их ставила уже ни во что, и, торопясь ехать в Воспитательный дом, который был под ее непосредственным ведомством, занимал паче всего ее самолюбие, она из бумаги с конфектами вынула несколько бумажек с леденцом и раздала детям моим, повторя каждому свои ласки и поцелуи. Вот какое следствие имела сия трогательная картина! Карамель сделался наградой царской семейству, составленному из десяти человек. О! Я никогда этого карамеля не забуду. Там, там, где Бог правосудия ожидает нас всех наряду с нашими земными владыками, там я этот запекшийся кровию, лиющейся из груди бедной жены моей, карамель покажу императрице российской, и никаких источников в райском жилище не станет на то, чтоб омыть эти кровавые пятна, которые пожгут царское сердце в день суда вечного паче огня ге-

енского, ожидающего немилосердых венценосцев. Там Бог отмстит за сирых и неповинных, но здесь, здесь оставалось молчать, улыбаться, благодарить и едва не почитать себя счастливыми еще, удостоясь такой милости. Так ли ты награждала, Великая Екатерина, тех, кои одолжены были тебе своим воспитанием и под кров твой хотя на один день имели счастие вселиться. Все сии приключении ослабили еще более силы Евгении, болезнь ее изнурила, и едва, едва могла она еще на несколько лет оправиться с здоровьем, которое очевидно угрожало ее кончиной. Хотя государыня скрасила пустые ласки свои обещанием ей, что она сына своего будет просить о помещении моем в Сенат, и поручила ей о том объявить мне от своего имени, но в то же время не чувствовала, что она в явное противоречие входила сама с собой, объявя мне совсем другое через секретаря своего на просьбу мою, следовательно, ни жена моя, ни я не были так безумны, чтоб положиться на ее обольщении и найтить в них для себя что-либо утешительное. Обстоятельства сами собой открыли мне новые пути к перемене моего состояния, и очень скоро.

Дело шурина моего было кончено в его пользу, и тогда он и Полчанинов, который мне столь важные услуги оказал в Пензе, были в Москве для любопытства. Сей последний занимал место советника в Нижегородской соляной конторе. Оба они, по привязанности их ко мне, настоятельно убеждали жену мою уговорить меня идтить в губернаторы, и именно в Нижний. Жена согласилась с ними, нашла причины, побуждавшие их к тому, правильными и, по долгом размышлении, наконец, открыла мне желание свое оставить Москву, в которой, кроме того, что она ее не любила, она не находила никакой пользы для своего здоровья, а притом и зависимость, живучи в доме матери моей, от ее распоряжений, сколько, впрочем, они ни были хороши или сносны, делали состояние наше подлинно отменно скучным. Обед, ужин, чай, лошадь, печь — все требовало позволения, и ничего не было в нашей воле. Существовать в средние лета в таком положении неприятно. Мы долго боролись с нуждой переносить такое положение и, размыслив, оба нашли, что губернаторское место может послужить ко счастию нашему, особливо еще и в той губернии, где мы имели родственников, друзей, где малая часть имения матери моей могла быть покровительствуема мною. Это последнее уважение решило меня изъявить желание на губернаторское место, а сверх того я так привык находить все советы жены моей благоразумными и для меня полезными, что не умел противиться ее желаниям, оставалось только преодолеть сожаление мое о разлуке с Москвой, но сердце мое к

лишениям такого рода было привычно; дело еще не сделано, думал я, то можно помаленьку и отвыкать от тех связей, кои делали Москву любезной и к ней приковывали. Имея чаще всех въезд к графу Васильеву, я донес ему, что ежели необходимо надобно мне для повышения в чине идтить в губернаторы, то я принужден согласиться, но с тем, чтоб определен я был в Нижний. Он внял в мои причины, одобрил их, сказал Беклешову, и казались затруднении весьма маловажными, ибо тамошний губернатор Кудрявцев от старости и беспрестанных недугов лишился способности без потери доброго имени продолжать службу в настоящем звании, следовательно, отставка его должна была быть удобна и ему самому полезна. Он хотел ее с полным жалованием, на что по годам службы права еще не имел, а с половинным не соглашался. Вотще представлял я Васильеву, что и полное жалованье ему дать для казны не потеря, потому что оно составляло ту же сумму, которую я получал сверх стата в Соляной конторе. Переместясь на его место, я терял сие право, и то жалованье, обращаясь ему в пенсион, не приводило расчет государственного казначея в ошибку. Васильев все это знал так же, как и я. Что ясно, то больших доводов не требует, но оттого ли, что не хотели еще этого для меня сделать, или не располагались нарушить право на пенсионы чрез такое исключение для Кудрявцева в пользу мою, дело наше остановилось на одной мере[22]: его не отставили, меня не определили. Между тем вельможи и свита придворные разъехались в Петербург, и я остался по-прежнему в Конторе, от которой, право, мне начинало тошниться, как угоревшему от большого в комнате жару. Более всего приводило меня в досаду то, что я мог подавать сомнение Евгении, что я из пристрастия одного к Москве худо стараюсь о моих выгодах и переводе. Но Бог свидетель мне в том, что при первом ее совете я все забыл, что могло меня отвлекать от исполнения его и, любя, как я много раз то твердил, жену мою более всех женщин в свете, обнял всем сердцем намерение идтить в губернаторы, да и время, и опыты в последствии дней показали ей, что я для удовольствия ее готов жертвовать всеми своими увеселениями. Правда, обоих нас пужала Пенза и тамошние искушении, но неужли всегда я должен был проходить огонь и воду и терпеть озлоблении в Нижнем и в посте губернаторском. Не имея никакого над собой начальства, я не мог тех же случаев опасаться, а ссора с людьми, мне подчиненными, не казалась мне так страшною, чтоб ее бояться. Отозваться, что я во всякую губернию готов идти, я не смел, потому что меня бы, может быть, послали в Сибирь или в такую

губернию, куда никто ехать не хочет из доброй воли, а в Нижнем одно то, что тут деревня моей матери, представляло мне некоторые выгоды принять сие звание.

При первом предложении от государя Мясоедов вызывал меня на то, чтобы я шел в Пензу, где подлинно и ваканция была, потому что Александр Первый собрал расточенные части сей губернии и опять велел ее открыть и привести в первобытное ее состояние[23], следовательно, туда губернатор был надобен, и, может быть, скорее всех меня туда поместили бы как человека там служившего. Но я о Пензе донес всем тем, до кого сие назначение могло коснуться, что я туда даже и под страхом ссылки за ослушание не поеду. Всякий на месте моем легко рассудить может, каково было бы мне возвращаться в такой край, где я вытерпел несносные поношении. Для меня навеки Пенза становилась хуже тех березовых островов, где дед мой и отец жили в изгнании, и туда бы я охотнее поехал, чем в Пензу, а потому, назначив Нижний, я не боялся уже попасть в иную какую-либо губернию, еще менее в Пензу, куда скоро губернатора определили[24], и мы на счет сей сделались спокойны. Во всех сих обстоятельствах более всех показывал мне участия Васильев. Хотя и он сострадал о мне по-барски, то есть неторопливо, но по крайней мере выслушивал меня терпеливо и у Беклешова неоднократно предстательствовал за меня, а всем тем обязан я был старому князю Долгорукову[25]. Он, горячо меня любя, побуждал племянника своего, зятя Васильева, напоминать обо мне тестю своему беспрестанно и сам нередко, по связи родства с ним, докучал ему, что и заставляло графа Васильева всячески стараться о успехе моих желаний.

Скоро Москва пришла в первобытное свое состояние. Наступила осень, на которую никакие коронации не имеют влияния, она никогда от прав своих не отступает. Сделались дни коротки, небо мрачно, время пасмурно, земля сыра, и леса подмосковные начали платить дань свою каминам. У меня всегда был в нем огонь. Он один разбивал мои думы или сводил их в одну точку по крайней мере, так что меланхолия моя была не мучительна. Полчанинов и шурин мой уехали оба, наглядевшись многого и ни в чем не успевши. Первому хотелось чина, которого Мясоедов ему тогда не вы́ходил, а второй приезжал искать места, но не получил никакого. Итак, оставшись в необъятной скуке посреди нашего семейства, в котором никто не почувствовал такого знаменитого торжества, а только вытерпел все заботы искательства и суетных надежд, я принялся за труд приятный, собрал все свои стихи и отдал в печать. Ис-

правление типографических проб меня занимало, я баловал свое дитятко, приготовлял его к большому свету, в котором иные сочинении мои были известны уже, но тут я готовил всего себя напечатать и осудить на критику. В то время в Москве жили графиня Шувалова с дочерью своею графинею Дитрихштейновой. Из всех обществ нельзя было сыскать дому уединеннее, но вместе с тем приятнейшего для посещения. Я ее милостьми пользовался и прежде и, возобновя с ней знакомство, провождал вечера свои так, что когда не был я или у Шуваловой, или у Волконских, то принимал небольшой круг у себя, и нечувствительно проходила зима в беседах приятных, но человек не рожден быть доволен настоящим, ему всегда чего-нибудь хочется. Слушая разные рассуждении о Париже, о тамошних удовольствиях, вздумалось мне отпроситься на полгода в отпуск и съездить в чужие краи, а тогда мир у французов с агличанами был уже заключен, и Париж был для иностранных безопасен. Народ успокоился, правительство мнимо республиканское становилось надежное, государь наш всем давал свободу ездить за свои границы. На сих сведениях основывал я мое намерение. Надежды в исполнении его были те, что по крайней мере я, что-нибудь увидя вне своего отечества, буду более значить в своем. Любопытствовал наипаче узнать тамошних ученых мужей и послушать Лагарпа, проповедующего в своем Лицее правила литературы. Мы его читали в России с удовольствием, а слышать его казалось мне еще восхитительнее, словом, мне хотелось в Париж. Не забывал я и Вены и заранее воображал, с каким удовольствием буду гулять вместо Головинского саду, за Ехаловым мостом в Москве, в Пратере и оттуда ходить обедать к графине Дитрихштейн, которая, возвращаясь в Австрию, столь была благосклонна, что предлагала мне в доме своем там покои, все потребности жизни и даже место в карете своей, чтоб туда доехать, и потом дорога в Париж одна оставалась на моем иждивении. Сделав гадательно все свои расчеты, я уже мысленно переносился в кабинет к Делилю и слушал стихи его. Денег мне по моим вычислениям нужно было не много. Я ехал, ехал, трепетал от радости. Что полгода, думал я, в жизни? Ничего! Менее минуты в пространной вечности, менее капли воды в океане. С ожидаемой весной ожидал я и новых удовольствий. Если б человек удобно мог на самом деле все то сделать, что его воображение представляет ему возможным, и с такой же скоростию, как бы он был счастлив! Здесь я помешкаю сделать заключение утвердительное: счастлив и нет, смотря по нраву, свойствам и окружающим его об-

стоятельствам. Но на что разрушать приятные мечты? Остановлюсь, читатель, на том, что я сбираюсь смотреть французов, смотреть, как исковеркано царство, служившее столь много лет примером прочим владениям, как анархисты обезобразили регали Бурбонского дома, а будущий год покажет нам, что человек вымышляет, но Бог определяет и что между предположениями нашими и событием есть часто непомерная разность.

При конце года уже полагал преграду, но еще не совершенную, моему путешествию, вышедший указ именной о изобрании десяти человек кандидатов на губернаторские места, кои открываться будут[26]. Кто читал этот указ, тот увидит, что государь искал таких людей, какие только веками родятся. Описанные в нем качества избираемых были таковы, что не только десяти человек, но двух, я думаю, по всей империи не мог бы Сенат найтить, если б строго последовал повелению, но дело было в том, чтобы написать, остальное не подвергалось никакой критике. Сим указом заключу я нынешний год, который для меня был, как видели, более неблагоприятен, нежели хорош, однако ж я не роптал, привыкнувши к капризам фортуны, я ждал терпеливо моей участи, употребив все свои усилии тогда, когда сего требовало время и случаи, к тому, чтоб ее улучшить. Не мог я укорить себя, чтоб я от лени, гордости, своенравия или иной какой-либо подобной причины упустил должные труды к восстановлению для себя благопристойных выгод в службе. Нет, я все сделал, все было тщетно, в этом я себя винить не мог. Итак, спокойно доживал еще год жизни моей, то у камина в кабинете с милой женой и детьми, то в беседе дружеской и в отрадах сердечной любви, то в обольщениях живого воображения, которое по воле моей переносило меня туда, где мне преимущественно быть хотелось. Правда, что лента, которую носил Салтыков, Малтийский орден и прочие преимущества, ни за что ему насланные судьбой, меня тем более щекотали, что он ими повседневно в глазах моих величался, но зато я видел его страждуща от старости и недугов, бесконечно ищущего разных забав, которые его уже не могли столько веселить, сколько они радовали меня, и это равновесие в природе меня скоро мирило с провидением, с людьми, с самим собою. Он щеголял орденами, а я прыгал еще, играл комедию, волочился, и он часто завидовал более мне, чем я ему. Вы все, которые чем-нибудь в мире недовольны, хотите ли быть спокойны? Взгляните на тех, кои, по мнению вашему, вас счастливее, да взгляните не беглым взором. Углубите ваше внимание на

них, и вы скоро приметите, что они имеют, подобно вам, свои досады, огорчении, докуки. Ах! Право, я не соврал, написавши в моем «Камине»:

Бог миру дал все пополам,
Есть смеху час, есть час слезам[27];

и я кричу вослед Панглосу: «Все к лучшему!»

1802

Написав Историю мою по сей год, я снова бросил бумажные свои материалы и забыл об ней. Так точно поступил я в 1793 году, но чрез всякие десять лет возобновлялось во мне желание продолжать ее, и, доживши до 1812 гóда, я опять вытащил пыльные свои тетради и на родине моей в Москве в покойной свободе принялся снова за перо и начал тянуть нитку моих происшествий. В жизни человеческой десять лет — большое время. Они много подействовали на разум мой и душу. Не переменились мои правила, но переменились многие соображении. Родились новые мысли, явились новые предметы. Само состояние мое во внутренности семейства три раза меняло вид свой, и каждый шаг приближал меня более и более к старости, которая, обнажая истину, кажет нам все около себя в настоящем виде.

С самого начала года получил я известие, что Сенат подал список государю требуемым от него десяти кандидатам на губернаторские ваканции, в коих первым поставлен был я. Это меня не обрадовало: мне и в Москве было хорошо. Высокомерен был бы я за границы дозволенного, если б возмечтал, что избрание меня на это место 1-м департаментом Сената происходило от убеждения его в моих достоинствах. Нет! Я этого не воображал тогда, еще менее теперь, когда пишу. Это случилось очень нечаянно. Сенат из осторожности и для того, чтоб напрасно никого не обидеть, рассудил спросить послужные списки. В них он должен был найти имя мое в 4-м классе выше всех, потому что меня давно обходили. Соглашаясь с старшинством, выставил он меня первым. Впрочем, большая часть гг. сенаторов слишком мало меня знали, чтоб по одним моим качествам, оставляя без внимания старшинство службы, представить меня на такой уважительный пост. Скажем наконец и то, что громкие слова уже ныне потеряли всякий вес в народе. От общего злоупотребления всех даров природы изрядное стало называться изящным, и не очень хорошее — совсем негодным, а потому и в губернаторы Сенат никого бы

долго не выбрал, если бы, придержавшись к словам указа, потрудился отыскивать феникса между человеками. Как то ни случилось, но, быв избран кандидатом, я должен был вседневно ожидать куда-нибудь наряду и боялся более всего Калуги. По случившимся там неустройствам, которые посылан был исследовать г. Державин, опасно было ехать в губернию, наполненную сутягами, где, как многие утверждали, ябеда была хлеб насущный всякого состояния жителей. Я предварительно просил, чтоб меня от оной избавили, изъявляя при всяком новом от себя поступке желание преимущественно быть в Москве у какой-либо должности, и уже в крайней необходимости никуда из нее не переезжать, кроме Нижнего. Сколько ни противно, по мнению моему, допускать в приключениях человеческой участи случая, или, что одно и то же, судьбы, однако ж нехотя часто соглашаешься, что есть на все судьба, — и мне пришлось против всякого чаяния ехать в Владимир.

Между назначением меня в кандидаты и определением прошел целый месяц. Некоторые из них, разместясь прежде меня по другим губерниям, польским и отдаленным, польстили меня надеждою, что я не прежде попаду в губернаторы, как когда откроется Нижегородская губерния, и оставался спокоен, а между тем играл комедию у Корсакова с его семейством и со своими детьми у графини Каменской. Однажды, представляя у Корсакова комедию «Les châteaux en Espagne»[1] и ни о чем менее не думая, как о своем губернаторстве, удивился я рукоплесканиям всего партера, когда я сказал очень просто и без всякого намерения привлечь внимание зрителей следующий стих: «De quelqu'emploi brillant je puis me voir chargé»*. Долго не мог я понять, что значит шум слушателей. Не было здесь никакой игры, никаких страстей в движении, речь холодная и простая. Сошед с досок, узнал я, что уже ведомо было в городе, что я губернатором в Владимире. Оттого публика, применяя смысл стиха к событию, рукоплескала сходству того и другого. Все меня поздравляли, все приветствовали. Я поворачивался на все стороны, кланялся и не успел еще сам разобрать, рад я или нет такой новости. Будучи недостаточен и без возможности за все то, чему надобно было детей выучить, платить посторонним людям деньги, я обучал их сам закону веры и проходил с ними Священное писание по воскресеньям. В одно из них, 18 февраля, в день рождения старшей дочери моей[2], я изъяснял в кругу ребятишек своих то место из Нового завета, где повествуется о десяти

* Я могу увидеть себя облаченным какой-нибудь блестящей должностью (фр.).

прокаженных[3], и беседовал с ними о свойстве благодарности, как вдруг приносят мне письменное известие, что 8-го числа февраля вышел указ быть мне губернатором в Владимире. Закрыв книгу и заплакав, воздал я хвалу Богу, как виновнику всех случаев, нас постигающих, которого обязаны мы благодарить за все, ибо все, что он ни творит, все творит нам во благое. Но еще внутрь сердца не смел почитать истинным добром новую должность совсем незнакомую. 19-го числа уже я имел указ по форме, и надлежало готовиться к отъезду. Посмотрим между тем, в каком положении оставлял я жену и дом свой.

Прости, намеренье ехать в Париж, смотреть на прелести волшебного края! Опять жить в провинции, в другой, но все между людьми мало образованными. Какое шибкое падение: ехать в Париж и попасть в Владимир! По счастию, не далеко было перебираться, но и туда с чем ехать? Жена моя оставалась почти при смерти в доме моей матери и со мной ехать никак не могла. Открывающаяся в ней чахотка приходила к последнему своему времени и более угрожала ей концом, нежели льстила возвратом к жизни. В таком положении должен я был ее бросить и проститься со всеми милыми моему сердцу. В числе их плакал я много и о разлуке с домом. Пусть строгие нравственные судьи рассуждают о положениях сердца нашего в разных эпохах нашей жизни, как хотят, ничто мне не помешает признаться, что я с малодушием оставлял Москву, дом, жену, детей; и сих последних хотя на время, но кто ручался мне, что жена ко мне приедет, что Бог приложит еще маленький кончик жизни к годам ее протекшим? Я прощался с забавами, театром, с хорошим обществом и ехал искать новых бед и новых поношений!

Губернаторам всем в то время давали по три тысячи для переездов их, а мне, потому ли, что я не далеко переезжал, или уже и для того, чтоб с первого шага провозвестить мне не красную судьбу мою и в новом состоянии, мне не дали на дорогу ни копейки, и как я никогда не имел не только лишних, но даже и необходимых денег, принужден я был занимать. Но где и у кого? Вещи мои были все в ломбарде, заложить нечего, продать также. Тогда из всех тех, кои любили меня на словах и числились по формулярному списку моими родственниками, выручили меня только двое — князь Юрий Владимирович Долгорукий и тетушка княгиня Шаховская. Первый самым благородным образом без всякой расписки и приказного условия дал мне две тысячи рублей, занявши их сам у иностранца Поца, чему я был свидетель, потому что я от него к этому возил сам о выдаче денег записку. Последняя подарила мне тысячу руб-

лей. С первым я после расплатился, а второй никогда не мог отдать, потому что она, давши родному, назад не бирала. Хвала и слава благодетельным людям! Пусть свет наполнен людьми неблагодарными, сделать добро — такое сокровище, которому нет цены под солнцем. Многие скажут: к чему такое восхищение? Две-три тысячи не полцарства, за что так осыпать хвалами? Легче, конечно, рассуждать таким образом, чем дать, что все и делают почти. Я с своей стороны никогда сих благодеяний не забуду. Помочь человеку в нужде — для меня верховная добродетель. Дети! Никогда не забывайте тех, кому отец ваш обязан.

Марта 3-го приведен я к присяге в Успенском соборе обер-секретарем Сената, а 4-го, собрав свою котомку, приложась к домашним образам, взял благословение матери моей и, обняв самым крепким объятием друга моего сердечного Евгению, бросился в коляску. Долго еще из нее крестил я своих малюток, долго посылал с душой поцелуи мои к жене; лошади меня мчали, дом отцов пропадал из глаз моих, и слезы рекой лились на капот товарища моего Классона, который ехал провожать меня за заставу и думал во время моих тяжелых вздохов о коловратности света: «Давно ли князь из провинции? Долго ли пожил в Москве? Едва привык — и опять на город. На что все это?» — думал он про себя. А я, безмолвствуя, то забывал жизнь прошедшую, то привыкал заранее к новой и направлял воображение мое туда и сюда. Домашние мои сожалели о нашей разлуке, но ради были, что я наконец выхвачен из этой бездны, которую звали Соляною конторою, и попал на большую дорогу к чинам и почестям. Ах! Как мало мы знаем, что нас ожидает впереди, когда мы чему-нибудь радуемся или плачем! Жена рассудительнее прочих принимала сей оборот службы моей, с удовольствием, но без восторгов, видела в нем успехи, обещала их себе, но также, при всем отвращении к Москве, не восхищалась тем, что едем жить в новую Пензу. Пока сидел со мной Классон, все еще казалось мне, что я на репетицию только еду и ворочусь ночевать домой, но когда, отобедавши с ним в трактире на Тверской и выпив за здоровье всех наших, пришлось прощаться и с ним, тут я проклял чины, славу, губернаторство, кричал с Экклезиастом: «Всяческая суета![4]» Но уже поздно, рок путь мне проложил, оставалось ехать и плакать сколько угодно. Шлагбаум подняли, рогожский ямщик свистнул, я завернулся в плащ и как уехал из Москвы, ей-ей не помню.

5-го числа я уже был в Владимирской губернии. Первая бумага, попавшая в мои руки, был рапорт, который на границе подал мне дрожащею рукою покровский исправник[5]. Вытянувшись, как верста, к которой

прислонился, он разглядывал черты мои, и между тем, как я читал рапорт его о так называемых происшествиях Покровского уезда, бедный г. исправник знакомился с моим секретарем Цветаевым и думал, верно, потому, что он со мной рядом ехал в коляске, что он будет при мне случайный человек. Я всегда постоянно хранил союзы дружбы, доколь не разрывал их тот, с кем они меня сближали. Этот Цветаев был при мне в Пензе и в Соляной конторе в Москве, привел его Бог и новое странствие делить со мной. Подъезжая к грани, то есть к белому каменному столбу, на котором чугунный герб показывал предел московского царства, я вышел из коляски, обернулся к Москве, поклонился до земли своей родине и, взяв по примеру древних кусочек своей родимой земли в карман, обратил все мои мысли на предлежащий мне подвиг. Простите мне эту романическую выходку! Вспомните, что я еду из Москвы, из царства роскоши, довольства и свободы.

Проезжая Покров, подведомственный мне городок, я принял от разных чиновников кипу бумаг, так называемые ведомости о делах нерешенных. На первый случай не взглянул ни в которую. Небольшой круг жителей города поторчали передо мною, потряслись раболепно, прятали пальцы в камзольные петли и, пожелав мне счастливого пути далее, разошлись по домам славить женам своим и домашним, с кем новый губернатор молвил, на кого взглянул, от кого отвернулся, и Покров в этот день стал живее, пошли ходить вести, кумы начали плесть сплетни.

О городе я буду говорить в общем описании губернии, а здесь скажу только, что, сочтя деньги казенные, осмотрев колодников и проведя тут одну ночь, я поехал в Владимир, куда и прибыл 6-го числа к вечеру. За одну станцию от города другой исправник[6] встретил меня с рапортом о том же, что и в Покрове, один слог и те же предметы. У заставы губернского города ждала меня моя карета и полицеймейстер[7], и я, от последней станции ехавши с тутошним исправником, уже собрал столько поверхностных сведений о жителях и городе, что въезжал в него как бы в жилище очень знакомое.

Новый начальник — во всяком городе происшествие. Все сидели под окнами и, смотря на приезд мой, делали обо мне такие на вкус свой замечании, какие можно сделать по цвету волос и глаз. Пока все чины меня дожидались на отведенной мне квартере с своими толстыми тетрадями, я, проехав город во всю его длину, шагнул из кареты прямо в собор, где и приложился к мощам трех великих князей[8], коих согласно с историей и

отнюдь не из тщеславия осмелюсь назвать моими предками[9]. Отдав сей священный долг трем владыкам некогда и чудотворцам Владимирским поныне, я приличным считал заехать к архиерею и взять его благословение прежде, нежели приняться за дела. Ознакомясь с ним, возвратился я домой, буде можно назвать домом чужую сторону, но время (а я прожил в Владимире десять лет) приучит и к плену, не только к произвольному житью в чужих людях, произвольному, говорю потому только, что если б не хотел служить, так бы и Москвы оставлять не довелось.

Предместник мой, г. Рунич, переведен быв в ту же должность на Вятку, поехал незадолго пред сим в Петербург, оставя жену свою и все семейство в казенном губернаторском доме[10], который по сей причине ни учтивость, ни знакомство мое, хотя, впрочем, не очень близкое, с Руничем не позволяло мне занять. Виц-губернатор князь Хованский был мне знаком по связи с домом княжны Долгорукой, в котором и я, и он оба были дружны, что нас и по службе сблизило. Я был один, на что ж множество покоев? Чваниться я еще не привык, время было не праздничное, Великий пост, итак, я взъехал к нему и у него расположился. Круг собственного его знакомства в городе был очень тесен, он состоял из трех или четырех лучших людей, таких же холостых, как и хозяин.

Первые дни моего пребывания были неблагоприятны. Новость места, разлука со всем моим семейством, разрыв всех приятных московских связей — все это на меня подействовало, и я занемог. Ипохондрия меня до того замучила, что я принужден был выписать из Москвы меньшую сестру мою Елизавету и двух старших сыновей. Пока их не было, трудно было со мною сладить новым людям, все глядели мне в глаза, доктора щупали пульс, архиерей делал поучении, Хованский тешил картами, — все было не по мне, не на нрав. Кто переезжал когда-нибудь с места на место, тот знает этот род болезни. Я нигде не находил облегчения от тоски. Тем временем, однако, бумаги около меня накоплялись. Через мочь показался я в Губернское правление, был там и сям в городе, развез визиты, осмотрел кладовые, тюрьмы, анбары, все казенное добро, ознакомился с сотрудниками своими и, всеми этими заботами наполнив день, ввечеру занимался перепискою с домашними и, воспоминая жену в постеле, скучал, плакал, ложился на свою, где всякую ночь находил жестокую бессонницу. Вот каково расставаться с родимым краем, и вот как я побольше недели прожил. По рассудку, мне всегда это кажется неимоверным, а по чувствам сам ощутил и верю, что родины бывает жаль без всяких ее заслуг, потому только, что она родина.

Сестра, приехавши ко мне с сыновьями моими, рассеяла несколько унылые мои воображении. Хотя она еще не совершенно меня обнадеживала в выздоровлении жены моей, но, видя ее руку, я был спокойнее. Надлежало задумывать о своем собственном хозяйстве. Хованский уже теснился моей семейкой, да к тому же прибывало около меня и людей, и пожитков. На губернаторском дворе был большой флигель, в котором рассудил я поместиться, доколе предместник мой совсем бы выехал из огромного своего замка. Там было покоев с десять, и все пустые, чего ж нам больше с сестрой и с детьми? Итак, мы, поблагодаря Хованского, зажили на своем гнезде, своим домком, и я помаленьку стал привыкать к новому своему состоянию.

Казенный губернаторский дом был огромен, в три этажа. Его строил с подошвы во времена генерал-губернаторские гражданский губернатор Лазарев на иждивении Приказа общественного призрения для училищ и разных богоугодных заведений, от Приказа зависящих. Но прежде, нежели успел он его с особым флигелем совсем отделать, сменил его в царство Павла Первого Рунич и, будучи в силе у двора, воспользовался проездом государевым через Владимир на то, чтоб этот дом обратить в губернаторский. Павел согласился дать на отделку его до двенадцати тысяч, а за то, что уже было построено, заплатить Приказу тридцать тысяч. Приказ на эту сумму выстроил трудами г. Рунича и под надзором бывшего при нем губернского предводителя, которого и я еще тут застал, Караваева большой Инвалидный дом на Нижегородской дороге близ городской заставы, а двенадцать тысяч употреблены на разные отделки и внутренние убранства губернаторского. Таким образом г. Рунич получил дом обширный и прекрасный к своим услугам, а по отъезде своем на Вятку сдал мне его совсем в конце апреля месяца.

Ознакомясь несколько с губернскими чинами, отправился я в Суздаль. Там у меня был на руках целый монастырь с изрядным числом арестантов. Я хотел всех их видеть и узнать каждого покороче. Спасо-Ефимьевский монастырь[11] всем в России известен понаслышке. Сперва туда посылались раскольники и фанатики безумные для исправления их ума и воздержания от вредных поступков, но по времени обитель сия превратилась в государственную тюрьму, и сюда посылать уже стали не дураков. Заключенные содержатся под присмотром архимандрита и за караулом губернской стражи. Губернатор об них во всяком нужном случае ведет переписку с Сенатом и, хотя об иных он и сам не знает, зачем они присланы туда, тем не меньше, однако, отвечает в сбережении каж-

дого из них. Войдя во все подробности отношения сего монастыря, я написал о нем особое историческое повествование, которое не пошло никуда в дело и осталось при мне[12]. Оно может служить здесь дополнением к известиям о Спасо-Ефимьевском монастыре. В тогдашнее мое посещение нашел я, между прочим, старого бригадира нашей службы барона Аша[13], который, просидевши два десятка с лишком лет в Шлиссельбургской или иной какой крепости за то, что не признавал Екатерины законной императрицей и не присягал, домогаясь все знать, куда делось племя Ивана Антоновича, выпущен был при Павле, но и ему не захотел присягнуть, все по той же причине, прибавляя требование на несколько сот тысяч червонных, будто бы в пользу его оставленных в Голландском банке. Кем, когда? Все это была загадка. Павел велел его как безумного отослать в этот монастырь, где он до моего времени благополучно, отрастя бороду, и жил в шелковом халате в каморке, куда иногда давали ему газеты. Всякий мог его видеть, и в прочем он был очень смирен. Ему шло жалованье изрядное, которого становилось на все потребности, но без свободы и миллион хуже копейки. Кроме его, все остальные затворники более или менее люди прямо безумные, или такие бешеные, что иногда и до стенных цепей с некоторыми дело доходило.

Во весь Великий пост публика владимирская меня и я ее видел только один раз в собрании. Это было марта 12-го и два раза в день, поутру у обедни в архиерейском доме, а к вечеру в концерте в благородном собрании. Не станем говорить ни о музыке, ни о музыкантах, они гудили, как умели, а пусть позволят мне при первом моем шаге в новую провинцию немножко посмеяться над чудаком особого рода. Поселившись в Владимире без имения и без всякой цели, богатый тамбовский помещик отличался более двенадцати лет титлом старшины Владимирского редута[14]. Все его упражнении состояли в убранствах стола и залы для съездов публичных. Он всякого члена встречал и провожал, вел приходу и расходу (коих было до шестисот рублей в год) такие же аккуратные и зашнурованные книги, какие у генерал-контролёра ведутся всей казне государства, вымышлял, когда, где и какой лучше крас[к]ой вымазать фонарь и чем налить плошку, кормил прекрасно и в клубе, и у себя, а сам ел всех лучше, коверкал несколько французских слов и думал, что говорит превосходно. Влюблен был во всякую церемонию и крушился, когда какая-нибудь в городе обходилась без его трудов, впрочем, для него все было равно: свадьба и похороны, бал и вынос, лишь бы он распоряжал, посылал карточки, сзывал гостей и мог бы, запыхавшись, всегда быть в

недосуге. Он-то был директор нашего собрания. Его заслуги долго в Владимире громки будут. Когда я хотел знать, много или мало в клубе людей будет, лучше всякой полиции меня уведомлял наш старшина. На поварне бывал указательный знак числу посетителей: много ли гостей — большая труба, мало — нет трубы. Повар его готовил из тертого миндалю превеликую башню, которую он зывал трубою, и когда собрание было большое, то труба становилась на виду у всех, когда мало, то миндалю не покупали, не терли и в трубку не свивали. Далеко меня завел этот пустой эпизод, но я всегда вспомню с удовольствием те 1001 миндальные трубы, которые я по милости нашего дородного старшины приел в клубах, в воксалах, у него в знаменитые фамильные праздники и на тех пирах, коими он руководствовал.

Святая неделя открыла все дома, начались пиры, балы и съезды разного рода. С старым губернатором прощались, с новым знакомились. Мне было еще не до праздников. Состояние жены моей меня беспокоило. Я ждал с нетерпением хорошей погоды и решительного тепла, чтоб ее привезти к себе. Между тем, как скоро пути поправились, Рунич с домом своим уехал в новоназначенное ему место. В день его отъезда он у меня обедал и от меня пустился в дорогу. Весь город провожал его со слезами, особливо барыни, иные растерли зрачки до крови. Хотя для меня зрелище такое было не новое, ибо я уже живал в городах подобных и знал, что в провинциях часто более политики, нежели у двора, однако я не мог равнодушно смотреть на картину публики владимирской при отъезде г. Рунича. Многие рыдали, обнимая его, и уже через неделю не слыхать было имени его ни в одном обществе. Участь равная всех начальников: в глаза все им льстят, а заочно злословят. Рунич сам очень плакал и сделал из отъезда своего как для себя, так и для обывателей какое-то трагическое зрелище. Я не рассуждаю, до какой степени могли быть искренни слезы сетующих о разлуке с ним и сколько он их заслуживал, это не входит в мою собственную Историю. Скажу только то, что проводя его, я в городе остался один с Хованским, который жил с ним не в большом согласии. Прочие судьи все с женами своими поехали его провожать, кто за заставу, кто до первой станции и иные далее. Каждый в этом случае мерил шаги свои по усердию к его превосходительству. По отъезде его остался я полным хозяином в доме и начал приготовлять его к принятию жены моей.

Слава Богу! Наконец дождался я ее. 2 мая она приехала, слаба еще, хвора, но по крайней мере я видел ее с собою и был утешен. Ее провожал

от самой Москвы добрый старик Салтыков, домашний наш, Классон, и один из членов медицинского сословия, которого я отсюда посылал к ней навстречу, то есть не по наряду, но по просьбе, дабы, приняв от московских врачей наставление, как ее лечить, мог он быть ей в нужном случае полезен. Политковский с полным изъяснением ее болезни сдал ее на его руки. Натура на первый случай помогла ей лучше всех лекарств. Нагорное положение города доставляет ему всегда чистый воздух. Легкие женины укрепились. Мало-помалу стала она приходить в силы, и оба мы обольщались совершенным ее выздоровлением, потому что она даже совсем перестала харкать кровию. 8 мая, день моих именин, дали мы первый еще бал в своем доме. Съехалось человек до ста. К умножению нашего пиршества, приехали к нам видеться княжна Долгорукая, тетка моя двоюродная, с которой я свыкся от самого ребячества, а с ней тетка же двоюродная, вдова Анна Александровна Лопухина. Обе они пристали у нас в доме и погостили на нашем новосильи дни с три. Казалось, что мы еще с Москвой не расстались. Тетушка Лопухина, желая больше, нежели одним посещением уверить меня в ее хорошем к нам расположении[15], подарила детям моим (их со мною было шестеро, Варвара оставалась в Москве на воспитании у сестры моей большой в ее удовольствие) триста рублей. Может быть, ей досадно было бы узнать, что я о такой безделице упоминаю, но для меня не существо вещей делает цену поступка, а образ услуги. Не стыдно было детям моим принять такой подарок от родственницы, но стыдно было бы мне скрыть его. Дети не могли сами чувствовать сии ласки по малому их возрасту, но мне предосудительно было бы не поставить им сего в виду в моей жизни. Обе они, княжна и госпожа Лопухина, скоро от нас уехали, и остались мы в том положении, в каком надлежало нам привыкать жить впредь. Уехал и Салтыков, с которым мы уже навсегда простились. Он покинул Москву так же, как и мы, обратился к своей пензенской деревне, взял отставку и оттуда иногда писал к нам дружеские письма. Кто раз привыкал к жене моей, тот не мог от нее отвыкнуть. Он и заочно пленялся бесподобными ее качествами, ссорился и мирился с ней письменно и кончил жизнь свою, о чем в свое время еще упомяну, как самый верный друг всего нашего семейства.

Основав наше жилище, устроив хозяйство и поставя дом на приличную ему по званию моему ногу, я оставил жену с сестрой, которая жить осталась при нас, в небольшом круге тех из мужчин и дам, кои ей более прочих понравились, а сам поехал осматривать города Владимирской гу-

бернии. Здесь дам некоторое понятие читателю как о губернии вообще, так и об относящихся к службе и званию моему обстоятельствах.

Звание губернатора всегда почиталось самым важным в государстве, и в самом деле, управлять полмиллионом душ казалось бы довольно мудрено, но в России правительство привыкло издавна не дорожить никем и ничем. Не требовались ни опыты, ни заслуги, и каждая должность возлагалась наудачу. Не говоря о ком-либо другом, скажу о самом себе: готовился ли я быть начальником губернии? Совсем нет! Употребляясь во все время службы моей в гражданском состоянии по части дел казенных, или так называемых финансов, не приходило мне на мысль попасть когда-либо в губернаторы и сделаться начальником полицейским. Учиться было поздно в мои лета, недостаток требовал, чтоб я искал жалованья. Не имел я власти выбирать место по своему произволу, не мог ничего предлагаемого отказать, и вот каким образом я сделался губернатором. Ознакомясь с обязанностями моими, получил право свободно критиковать все то, что, по мнению моему, казалось мне несовместным с таким отличительным характером.

Сравнивая настоящее время с прошедшим, когда я был вице-губернатором в Пензе, хотя я находил во всем большую разность, и отправление дел шло иначе, но штаты, чины, оклады, должности все были еще те же. Учреждения о губерниях, писанные Екатериною, печатались еще и покупались, лежали в старых ковчегах, но уже мало руководствовали судей и чиновников, ибо важные в них сделались перемены. Все места зависели непосредственно, как прежде, от Сената, но помаленьку входила в обычай новая зависимость, и генерал-прокурор, которым тогда был Беклешов, более имел власти сам собой над начальниками губерний, нежели Сенат. Велик был в свое время Вяземский, спору нет, но посредством Сената, а Беклешов сам по себе, мимо Сената, начинал значить много, наряжал, приказывал и требовал ответственности пред собою.

В Губернском правлении сидели, как и прежде, два советника. Должности их были те же, по крайней мере, на бумаге. Но слово *должность*, в юридическом разуме, начинало терять свой вес и силу. Со мной встретились тогда один сонный, другой дурак[16]. Худые товарищи для дела. Однако надлежало их сносить и кое-как с ними работать. Один, попавши по приязни г. Рунича на Вятку с ним в вице-губернаторы, очистил место свое, на которое без всякого моего участия попал чиновник из канцелярии генерал-прокурора, бывший некогда в Пензе губернаторским секретарем при Гедеонове и мною произведенный в первый офи-

церский чин в Казенной палате. Теперь уже он был надворный советник[17]. Я не откажу ему в дарованиях словесности, но был ленив, беспечен и крайне высокомерен. Труды его были хороши, но надобно было около него ходить, как около любовницы, чтоб заставить его что-нибудь сделать, чего бы самому ему не захотелось. Упоминая здесь об нем лично, потому что он займет значительное место в моей Истории[18], я впредь о подобных сменах судей писать не стану, как разве в таких случаях, где они со мной самим связь иметь будут.

Казенные дела в Казенной палате были в руках у благородного человека, князя Хованского, о котором я не могу иначе отозваться, как с превосходнейшею похвалою. Он судил о вещах здраво, чужд был всякого подлого пристрастия, образован во вкусе лучшего света, был полезен у дел и вместе приятен в обществе. С ним мы жили вместе недолго, но в это короткое время я испытал, что можно, однако, найти губернатора с вице-губернатором не только в добром согласии, но даже в дружеской связи между собой, что было почти единственно в Владимире. Казалось бы, что им делить? Однако везде и всегда они ссорились. Зло обыкновенное, всем известное. Корень его искать должно в самом основании сих двух должностей. Князь Хованский, как и я, не мог товариществом похвастать в палате, но между шести ее членов человека два было довольно смышленых[19]. Уголовная палата под председательством глупого старика[20], который придурью и прибасками дошел до четвертого класса, управлялась осторожным и благоразумным советником, учившимся некогда со мною в Университете[21], и которого если можно осудить со стороны строгой нравственности, то никак нельзя лишить достойной и справедливой похвалы полезных его дарований и обширных по части уголовной сведений. Он в палате был один член ее с здравой логикой и просвещенным разумом. Гражданская палата называла своим председателем старика хворого, полоумного и едва движущегося, который часто забывал, что накануне подписывал[22]. Но и в этой палате сидел советник из малороссиян, опытный в вотчинных распрях[23]. Прокурором наехал я человека также немолодого, раболепного бесстыдного льстеца, который, вечно быв пролазом у знатных господ, сводником их, шутом и всем, чем угодно, наконец за подложное письмо был кинут по указу Павла в крепость и вытерпел тут изрядный карантин. Из нее выскочил прямо в прокуроры, не потому, чтоб открывшаяся его невинность потребовала такого гласного возмездия, совсем нет! Князь Лопухин был в большом случае. Он ему возил девок, какой заслуги искать выше? И господин такой-то

определен в прокуроры[24]. Вот его история. Приятно быть под присмотром такого чистого государева ока. Время и опыты меня ко всему приучили. Таким образом, говоря вообще о всех чинах, губернский стат составляющих, хотя нельзя сказать, чтоб губерния Владимирская была в самых лучших руках, но по крайней мере по каждой части ее управления было кого спросить, с кем рассудить дело, от кого потребовать труда и дождаться хороших успехов. В первом лице из дворянского сословия по службе был г. Караваев, человек, выведенный в чины предместником моим, совершенно им облагодетельствованный и, не в образец многим, совершенно ему приверженный. Он не мог от меня требовать такой же доверенности, какую имел от прежнего начальника, равно как и я не мог ожидать от него к себе такой же приязни и преданности его во всякое время. Напоминая короткий срок его со мною службы, обязан ему той справедливостию, что в наружном его со мной обращении он не ввел никакой разницы между прежним и настоящим губернатором. Предместник мой, имея большую силу при дворе, мог с собой перевезти на Вятку многих чиновников, но выбор его пал, к счастию моему, не на самых лучших. Итак, если я лишился нескольких людей, то ни о ком много жалеть не было причины, кроме доктора Кистера, который пользовался в городе большой доверенностию к его врачебным познаниям.

Вот первый взгляд мой на главные чины губернского города. О самой губернии скажем следующее.

Губерния Владимирская назваться может одной из многолюдных и богатейших в России. Она граничит с семью губерниями: Московской, Рязанской, Костромской, Нижегородской, Ярославской, Тамбовской и Тверской. В ней считалось тогда по пятой ревизии[25] до четырехсот тридцати тысяч с лишком душ, с коих денежные подати никогда не останавливались. Владимирский мужик плотит все в казну исправно. Большая часть поселян ходят по паспортам в верховые города на разные работы, общие рукоделья их — кирпичная кладка и плотничество. Две трети обывателей суть владенья помещичьего. Хлебородием губерния не щеголяет. Кроме Юрьевского уезда, во всех прочих пашня не вознаграждает обывательских трудов. Земли мало, и, по примерным исчислениям, не более трех десятин приходит на душу. Отсюда происходит и то, что в год до шестидесяти тысяч разойдется паспортов. Сколько верить можно собираемым ведомостям, самый лучший урожай не более может прокормить губернию, как от семи до девяти месяцев, но пограничные низовые уезды всегда подвозят ржи пропасть, и богатство поселян тутошних за-

щищает их от всякого с этой стороны недостатка. Мужик смышлен и, по состоянию своему, имеет изрядное просвещение. Говоря о народе, сообщу мое замечание, что очень мало бывает особенно черных преступлений, и в год едва десять или двенадцать раз случится исполнить над крестьянином каторжное наказание, наипаче летом, время, в которое и по прочим местам лес, поле, овраг, все бывает опасно, по Владимирской губернии можно ездить всюду без большой осторожности. Я часто рассуждал о сем сам с собою и из опытов заключаю, что сему причиною развлечение народа. Все то, что здорово или молодо, уходит в чужие стороны, остается дома старый да малый, кои не в силах ни зарезать, ни ограбить, или необходимый работник для возделания домашних полей, которому некогда отстать от своих упражнений для шалости по сторонам. Примечание мое подтверждается тем, что как скоро наступит осень и начнут сходиться люди домой, везде откроется роскошное пьянство, а вместе с ним появятся убийства и разные неистовства, столь обыкновенные подлой черни повсеместно. В некоторых уездах крестьяне пользуются большими заведениями, имеют фабрики полотняные, ситцевые и тому подобные. Они любят жить во всяком довольстве. Домы у многих каменные и прибраны не хуже господских, деньги сорят без счету, гостей потчевают охотно. Казенные и удельные крестьяне все почти избыточны, дворянские не везде живут изобильно, большая часть знатных господ имеет большие поместья в Владимирской губернии и получают с них отличный доход.

Купечество не везде равно богато. Например, в самом губернском городе оно очень бедно. Торговля подробная в рядах самая ничтожная, потому что всякий, будучи близок от Москвы, из нее запасается всем для себя нужным и если, может быть, не с значительной выгодой в цене, по крайней мере с большею благонадежностию в доброте товара. Ярмонок, стоющих сего названия, в губернии нет. Шуйская на Шахме одна из уважительнейших[26]. Гуртовой торг ни в котором городе губернии так обширен не бывает, как в Шуе, Вязниках и Муроме. Там купцы имеют знатные капиталы в товарах и разные выгодные заводы. Они торгуют даже в иностранных землях, и с отменным успехом. Они входят во вкус большого света, и убранство домов составляет главный предмет их мотовства, потом тратят большие деньги на конюшни свои. Многие упорно стоят в расколах, но кажется, что иные более из угождения низкой своей братьи отращивают бороды, нежели из собственного убеждения в истине своих исповеданий. Впрочем, вера и между раскольниками ослабевает.

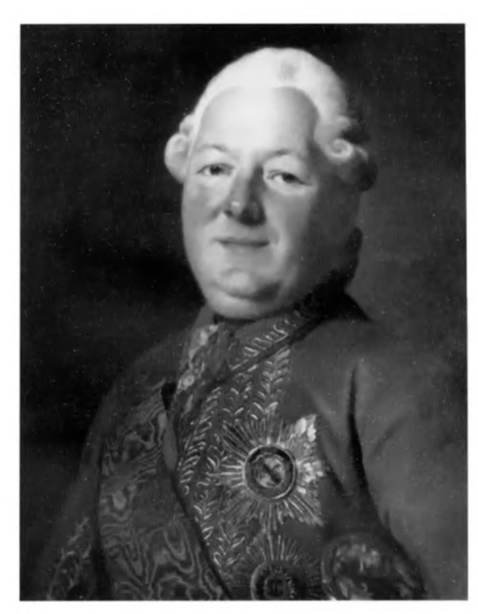


Княгиня Екатерина Петровна Барятинская (урожденная принцесса Голштейн-Бек) с сыном князем Иваном Ивановичем Барятинским, дочерью графиней Анной Ивановной Толстой и зятем графом Николаем Александровичем Толстым.

Портрет работы А. Кауффман.



Граф Яков Александрович Брюс.
Портрет работы Д. Г. Левицкого.



Князь Василий Михайлович
Долгоруков-Крымский.
Портрет работы А. Рослина. 1776.



Светлейшая княгиня Шарлотта
Карловна Ливен.
Портрет работы Дж. Доу. 1822.



Прасковья Ивановна Лопухина.
Портрет работы В. Л. Боровиковского.
1801.



Княгиня Екатерина Федоровна Долгорукова.
Портрет работы М. Л. Э. Виже-Лебрен.



Екатерина Ивановна Нелидова.
Портрет работы Д. Г. Левицкого.



Великая княгиня Мария Федоровна.
Миниатюра работы А. Ф. Г. Виолье. 1780-е.



Великий князь Павел Петрович.
Миниатюра работы А. Ф. Г. Виолье. 1780-е.



Великая княгиня
Наталия Алексеевна.
Портрет работы А. Рослина.

Александр Андреевич Беклешов.
Портрет работы неизвестного художника.





София Ивановна де Лафон.
Портрет работы
неизвестного художника.



Архиепископ московский Платон
(Левшин).
Портрет работы А. П. Антропова. 1775.



Князь Андрей Иванович
Вяземский,
троюродный дядя
кн. И. М. Долгорукова.

Портрет работы неизвестного художника.



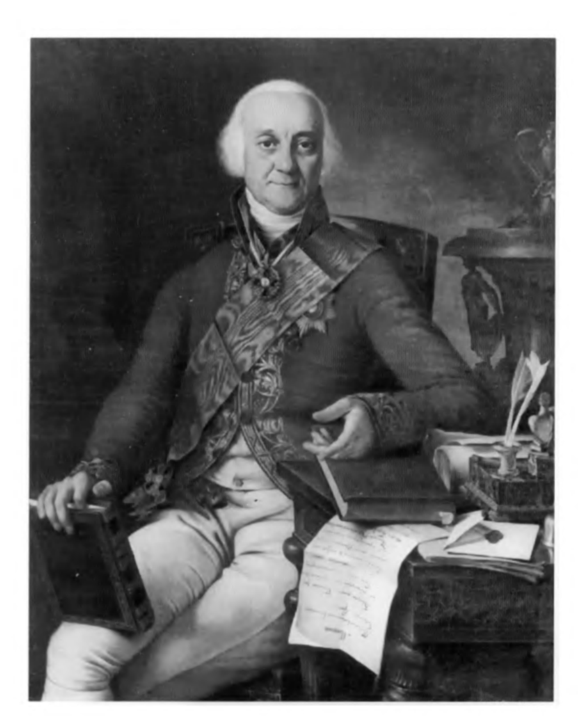
Граф Алексей Иванович
Васильев.

Портрет работы В. Л. Боровиковского.



Граф Валентин Платонович
Мусин-Пушкин.

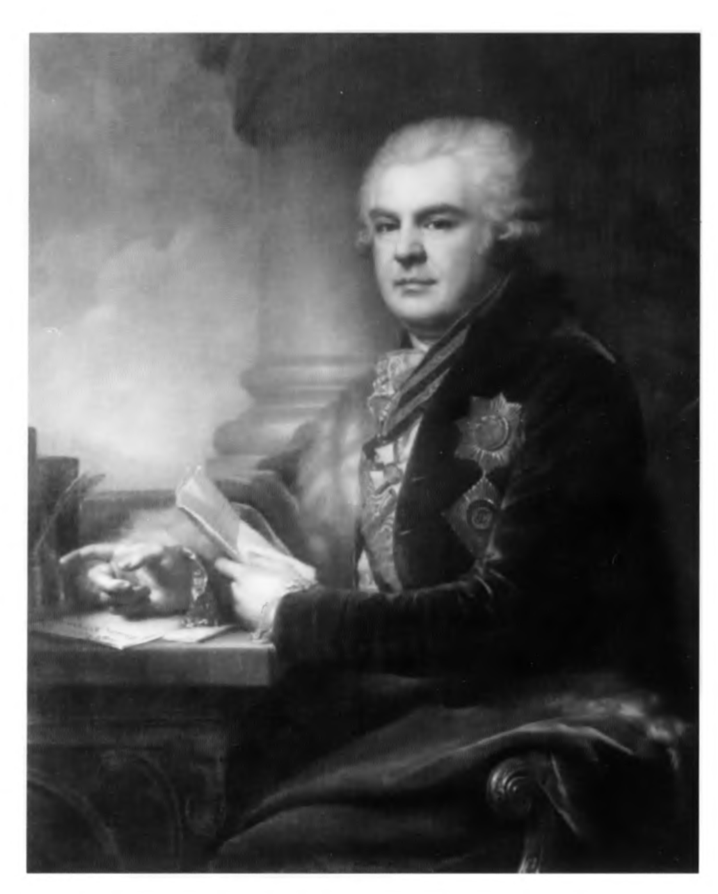
Портрет работы Д. Г. Левицкого.



Павел Степанович Рунич.
Портрет работы Н. И. Аргунова.



Князь Виктор Павлович Кочубей.
Портрет работы П. Ф. Соколова.



Граф Александр Николаевич Самойлов.
Портрет работы И. Б. Лампи-старшего.

Они также выписывают журналы, читают их со вкусом и мало-помалу пленяются Волтеровой богохульной философией. Все имеет свой предел. Крайности и в добродетелях вредны. Терпимость, которую с недавнего времени так велеречиво проповедуют, есть, конечно, признак просвещения и мягкости наших чувств, но не пора ли умерить излишнее послабление? Не удивлюсь, если скоро по ходу, каким идет наша мнимая филантропия в нынешнем веке, христиане сделаются вдруг деисты и уподобятся язычникам. Разговор о купечестве кончим тем, что винный откуп во Владимирской губернии дает казне весьма важный доход и в каждое четырехлетие увеличивается. Долго ль-то это продлится?

Дворянство (как и везде, думаю), живучи в своих поместьях, угождает низким страстям, от праздности происходящим. Юношество благородное воспитывается небрежно, учение бедное, одной русской грамоте. Дома держать учителей не всякий в состоянии, в публичные школы отдавать спесь дворянская не позволяет, да, правду сказать, и некуда. Губернские школы туне носят название училищ. Казна тратит даром золото, а учители без труда готовый хлеб едят. Итак, потомки благородных и высокоблагородных не обещают большой пользы государству. Чиновные и богатые помещики, оставляя свои деревни в деспотическом управлении заслуженных своих холопей, жмутся около двора, а те, кои живут на владельческих своих землях, курят табак, травят зверей, пьют пунш и портят девок. Долго еще мы будем находить по селам оригиналы Фон Визиновых Недоросля, Бригадира, Советника и даже Скотинина[27].

Архиерей имеет обширную область. В епархии считается около тысячи церквей, и с лишком, и до двадцати шести монастырей. Он иногда служит с шестью шапками кроме своей[28]. Между духовными чинами попадаются люди с особенным дарованием, и белое духовенство здесь не уступает черному в науках и красноречии. Семинария дает людей достойных не только по городам, но и в лучшие села. Здесь родина и первая школа громкого Сперанского.

При Екатерине губерния разделялась на четырнадцать уездов и столько же имела городов. По кончине ее Павел уничтожил четыре города, оставя в них, для разбора жителей, ратуши. Все их разделить можно на два класса. Старинные суть: Муром, Суздаль, Переславль, Юрьев, Гороховец и Шуя. Новые: Вязники, Меленки, Покров, Ковров, Александров, Судогда и Киржач[29]. Сии семь при новом учреждении губерний были возведены в достоинство городов из деревень коронных, обративших на себя внимание по местоположению или промыслам. Так

19 Зак. № 3535

как из уничтоженных четырех Александрова, Коврова, Судогды и Киржача три первые при мне возобновлены, то я, не исключая ни одного, помещу все четырнадцать в настоящем моем описании, но прежде, нежели говорить о каждом городе порознь, скажем еще вообще о губернии, что всякий шаг в ней напоминает о каком-либо историческом событии. Все в ней достопамятно, незабвенно. В продолжении моей Истории я часто обращать буду внимание читателя к древностям сей уничиженной столицы россиян.

Губернский город расположен на высоких горах, и вид его наипаче красив с низовой стороны. Под ним течет Клязьма. Она вытекает из-под Москвы и, пробежав всю Владимирскую провинцию, впадает на границе нижегородской в Оку. Река местами прекрасная, богатая водой, но под Владимиром в жаркое лето покрывается мелями. Суда по ней ходить могут только в полую воду. В губернию ею привозится соль и несколько хлеба. Стерлядей временем ловится много и большой меры. Охотники дают им преимущество пред теми, кои водятся в Оке и Волге. Окрестности города отменно приятны, виды встречаются очаровательные. Город наполнен садами, и когда вишня цветет, Владимир представляет зрелище самое утешное для глаз. Вишни владимирские славятся во всей России. Обращаясь к строению, нет беднее, думаю, города Владимира. Одна только улица вытянута каменными постоялыми дворами без красы и правильности. Гостиный двор велик, лавок много, но пусты. Здание, построенное при графе Салтыкове для присутственных мест, великолепно и сообразно правилам новейшей архитектуры, а затем во время приезда моего нечего было по сей части и заметить. Все деревянное в городе строение едва стоит ли ста тысяч, ветхо, неопрятно, ничтожно. Жители чрезвычайно бедны. Все повинности гражданской полиции, как то мостовые, фонари, будочный караул, исправлялись беспрестанным и сильным домогательством, словом, губернским городом в некоторых отношениях труднее было править, нежели всей губернией. Отличного примечания требует Собор Успенский и Дмитревский[30], два храма, напоминающие первые дни сей упадшей столицы и носящие доныне на себе отпечаток глубочайшей древности. Кроме их счесть можно до двадцати шести церквей в городе, но нет из них ни одной по красоте ли вида своего, или по богатству особенно заметной. В монастыре женском почивают мощи св. Авраамия и привлекают туда один раз в год большое стечение черни[31], а в Успенском кафедральном почивают тела нетленные трех великих князей владимирских: Андрея, проименованного Боголюбским, Георгия и Глеба.

Из Владимира читатель поедет со мною по всей губернии, и, чтоб окружить ее, мы воротимся в Покров.

Покров был, есть и долго будет под именем города изрядная деревня[32]. Обывателей мало. Промысел их состоит в извозничестве. Поселясь на большом Сибирском тракте в ста верстах от Москвы, они содержат постоялые дворы и тем оплачивают свои подати. Город обстроен дурно, воды нет, — я разумею, реки значущей. Церковь одна, и то деревянная, ни одного каменного дома, никаких заведений. Уезд наполнен хорошими поместьями. По берегам реки Пекши есть приятные местоположении. Сады Прозоровского, Воронцова и графа Салтыкова (перешедшие потом, когда граничились уезды, снова во Владимирский) заслуживают особенное внимание. В Покровском уезде славятся плотники *аргуны*, по прозвищу своего селения. Об них я слыхал басню, будто бы они так называются оттого, что происходят от аргонотов, кои с Язоном ходили искать золотого руна. Эту сказку я слыхал с насмешкой еще из уст князя Вяземского, бывшего генерал-прокурора при Екатерине. По приверженности русского народа к монашеству, и в Покровском уезде есть пустыня, Введенской именуемая[33]; к ней, как в Великобритании, летом приехать иначе нельзя, как водою. Она на острове середи озера. В ней кладутся многие дворянские роды. Более об ней сказать нечего. В этом самом уезде я много дней приятных в жизни вспомнить могу в деревне госпожи Караваевой. Митино не богато, не великолепно, но прекрасно свободой и всеми отрадами гостеприимства. Сколько здесь сожжено фейерверков, сколько удовольствию принесено в жертву денег и часов!

Киржач — ничего не значущее местечко, где осталась одна Ратуша для суда и расправы над несколькими сотнями душ купеческого и мещанского звания. Они извозничают, худо пашут и хорошо лошадей крадут. Тут упраздненный монастырь[34], из которого вид во все стороны довольно хорош. Когда монастыри селились худо? Киржач вошел в уезд и ведомство города Покрова.

Александров, город неопрятный, разбит на топком месте и худо обстроен, все дома деревянные, река течет не важная. Он смежился с старинным монастырем женским, известным с своими принадлежностями под именем Александровой слободы[35]. Он несколько и город красит. Из особенной набожности тут иногда живала Елисавета, и покои ее доныне в возможной целости сохраняются. Место сие в истории российской давно известно, в нем царь Иван Васильевич с своими опричниками, удалясь от двора, забавлялся по вкусу своего времени, то есть пил и

озорничил[36]. Близ города и почти в нем учрежден конский казенный завод, к которому приписано до восьми тысяч душ крестьян. Ими кормятся несколько жеребцов и целый штат разной конюшенной сволочи. Я слыхал от самих надзирателей, что завод нимало цели своей не соответствует. Инспекторы, однако, раза по два в год его навещают. Москва отсюда сто верст, Лавра сорок[37], дорога от оной гориста и разнообразностию видов своих отменно красива. Утверждаясь на рассказах путешественников, здесь-то можно найти образчик Швейцарии. В уезде заметим Махринскую обитель[38], любимое Платоном и пустынное местечко. Оно по положению своему в ведомстве владимирского епископа, но, принадлежа исстари к Троицкой лавре, осталось под непосредственным начальством московского митрополита. Платон особенно рачит о красоте внутренней и наружной монастыря. Трудами его и собственным иждивением выстроен новый храм по примеру Вифанской его пустыни, в два яруса сквозные с хорами и возвышенным на горе престолом. Вход в церковь величествен. Жаль, что святитель посрамил здесь седины свои затеями совсем неприличными сану его и дому Божию. Во-первых, царские двери[39] сделаны из штучных зеркал, в кои всякий предмет пред молитвословящим иереем и диаконом тысячу крат отражается. Я говорил о сем с самим Платоном и из уважения к его превосходным дарованиям не скажу ничего здесь о шутках соблазнительных, коими он отвечал на мои примечании. Во-вторых, на местном образе Иоанна Златоуста вызолочены уста святого, дабы тем отличить пред народом образ христова угодника от прочих. Наконец, порабощаясь духу гордости паче многих мирских людей, старец Платон поставил в храме против царских врат свой собственный портрет в лентах и почестях светских с надписью: «Образ Платона». Так ли жили, чувствовали и думали боговдохновенные наши праотцы и учители? Где делась вера праведного Авраама?

В близком расстоянии от Александрова Переславль, город старинный, большой, для уездного довольно людный[40], но не весь застроен. Здесь много древних церквей и разоренный дом архиерейский. Переславль имел некогда своих князей, особую епархию и своего местного пастыря[41]. Природа украсила многие окрестные места. История говорит о нем еще доныне в развалинах достопамятных. В уезде много помещичьих имений, но они дробны и мелки. Слава не умолкнет из рода в род с именем Петра Великого напоминать о озере Плещове. Оно под самым городом и любопытно по совершившимся на нем деяниям прообразителя России. Тут сильный Петр учился мореплаванию и оставил горо-

ду в залог самим им состроенный первый ботик в государстве нашем. Он хранился на руках земского суда и еще соблюл вид свой и основание. На нем Петр предвозвестил, что Россия как на суше, так и на морях победительна быть может. Но увы! Петры родятся веками. В то время дан был им собственноручный указ переславским воеводам, коим повелевал он строжайшим образом рачить о целости сего судна. Тогда писали коротко, но сильно. Указ тот хранился в присутственных местах вместе с другим императрицы Елисаветы по другому предмету[42]. Петр Первый, занимаясь великим упражнением при помянутом озере, жил в небольшом доме, которого даже и следов не осталось. Он построен был на мысу, прозывающемся Гремячий. Вероятно, что подвиги Петровы дали ему и сохранили сие название. Некоторые царские домашние утвари, ветхие иконы, якори и разные снасти свидетельствуют еще и поныне, с какой простотой жил великий наш монарх и сколь жадно желал видеть российские флоты наравне с прочими европейскими державами.

Юрьев-Польский[43] построен царем Юрием Долгоруким[44]. Обширен, населен довольно, но не хорош. Уезд хлебороднейший в губернии, это владимирская Украйна, но зато ни прута леса, везде равнины и поля. Никаких видов для глаз.

Суждаль, древний город[45], знаменитый многими историческими происшествиями. В нем была особая епархия и местный архиерей[46]. Домов до тысячи и много церквей. Собор старинный, хранящий любопытные редкости[47]. Несколько монастырей мужеских и женских, из них известнейший Спасо-Ефимьев[48]. В уезде по берегам реки Нерли прекрасные места и селении. Близ города на ней видно село Кидекша. Говорят, что Юрий Долгорукий застроил было тут настоящий город, но когда перенес его туда, где ныне Суждаль, то и прозвано место пустое Кинекша[49], то есть кинутое место. Здесь сохранилась старинная им же поставленная из белого камня церковь, в которой похоронены сыновья его Борис и Глеб[50]. Они истлели под набойчатыми покрывалами, ибо и цари, колико превозносятся в животе своем, толико презрены бывают по смерти потомством, когда память их не сопровождается памятию особенных заслуг. Одни титла не изумляют грядущих поколений. Сам город Суждаль расположен на Суходоле, откуда и название свое получил, ибо соединение двух слов *сушь* и *дол* составило в обыкновенном выговоре сокращенную речь — Суждаль. Так от стариков молва до нас дошла. Грунт земли в суждальской округе довольно плодороден. Между городами Юрьевом и Суждалью Гаврилова Слобода[51] населена купцами и меща-

нами. Она не город, но имеет посадские преимущества и Ратушу с своею думою[52]. Обыватели зажиточны, имеют хорошие фабрики. Тут некогда делали чистую и лучшую пудру. Екатерина Вторая никакой другой не употребляла, как гавриловскую.

Шуя — небольшой, но значущий город[53], и многих губернских богаче. Там все почти обыватели капиталисты, и роскошь наполнила домы их всяким довольством. Чего у них нет! Чем они не хвастают! Церквей до шести, но все иконостасы залиты золотом. В соборе царские двери серебряные[54]. Купчихи унизаны жемчугами, мужья их или не затевают ничего, или всякое предприятие их огромно и с большим иждивением совершается. В городе считают до триста с небольшим душ. Улицы все регулярны и все обстроены. Площади широкие. На реке Тезе несколько каменных фабрик. Парусина, полотно, выбойки, кожи, мыло[55], все из Шуи отправляется большими обозами к приморским городам. Торг обширный и благоуспешный. Город разбит на ровном месте. Теза имела жалованные ей привилегии и была когда-то судоходной, но как время все изменяет, то мелководие само собой уничтожило права города на свободное водоходство. Построились между тем в разных местах мельницы, и эта река теперь уже ничего почти не значит. Шуйский уезд наполнен знатными поместьями, слободами, фабриками и вообще весь очень богат. Остановим взор на Иванове.

Иваново есть село, принадлежащее графу Шереметеву[56]. Место государственное по своим изворотам, торговле и богатству. Почта от одних переводов денежных получает до четырех тысяч рублей в год доходу. Тут поселено с деревнями четыре тысячи душ, несколько церквей[57], каменных зданий до пятидесяти с лишком, фабрик различных множество. Большая часть жителей раскольники, поморская секта превосходнее прочих[58]. Так называемые их *божницы*, то есть богомольные палаты, наполнены старинными образами, обогащенными каменьями, золотом и серебром. Здесь родился славный Грачев, который, купя у помещика сотнями тысяч свою свободу, сделался московским купцом и приобрел сам деревни. Он тут живет в большом каменном доме по пристрастию к родине[59]. Между самыми важными под ним капиталистами заметить можно Ямановского, который, будучи еще крестьянином, живет как барин и торгует на несколько сот тысяч. Эта вотчина управляется примерным образом. Граф учредил конторы и письмоводство на одинаком праве со всеми государственными местами. Доход берется с крестьян не по тяглам одним, но и по капиталам. По важности сих последних даруются

от помещика разные выгоды, как то свобода от рекрутства и от телесных по вотчине наказаний. Сверх известных оброков случайные падают на обывателей накладки, вошедшие ныне в обычай под благовидным названием пожертвований. Иваново ни за что не стоит и все оплачивает бездоимочно. Конторы графские часто штрафуются денежными пенями за приговоры, кои не покажутся помещику, и без ропоту их выплачивают, потому что на владельца богатого нет апелляции. Словом, Шереметев для Иванова то же, что государь для всей России. Такое огромное богатство и почти баснословное, ибо оно между крестьянами выше всякой арифметической прогрессии, занимало мое любопытство неусыпно. Я разыскивал его источники и думаю, что не без основания носится молва, будто фальшивые ассигнации положили издавна начало расширенной торговли в этом селении. Верю, что преступников иногда ловили, но как и то вероятно по общему развращению нравов, что мелочь наказывали, а сытых злодеев юстиция не достигала, то и немудрено, что подобное зло год от году укоренялось. Самые заведении представляли большие удобства к искушению. Без форм нельзя набивать полотен, формы надобно резать[60]. Искусные резчики вместе с узорами выделывали пальмовые доски для бумажек[61]. Таким образом, главная масса богатств в Иванове и даже в Шуе, думать можно, истекала из сего рукоделья. Заметить притом должно, что много обывателей весьма бедных, за коих богачи все плотят и в казну, и барину, так что смертью одного капиталиста теряется в вотчине до ста вдруг тягол, ибо сии последние, выработывая на фабриках свои повинности, с разорением хозяина лишаются средств и для себя доставать нужное. Около каждого богатого дома можно счесть до двухсот хижин. В Иванове нет середины: или нищий, или богач. Новое доказательство, что благосостояние тутошних жителей более происходит от способов сокровенных, нежели от общих средств доставать деньги[62].

Ковров пользуется прекрасным местоположением. Он разбит на горе над берегами Клязьмы, которая здесь начинает быть судоходна, рыболовна и хороша. На кладбище при Соборной церкве остались на некоторых камнях имена князей Ковровых, о коих нет, впрочем, никакого сведения[63]. В уезде добывается в большом количестве известь, и самая лучшая. По дороге отсюда к Вязникам нельзя не плениться уголком земли, в котором природа многие рассыпала прелести. Погост архидиакона Стефана[64] на крутой горе, под которой извивается Клязьма, есть место превосходной красоты, унылое воображение находит здесь самую приятную пищу. Нигде разум человеческий не сыщет такой сладкой мечты,

какую тут вид естественной картины подарит сердцу чувствительному и при всходе солнца, и при закате его. Я здесь часто забывал в размышлениях разнородных, откуда и куда еду, и где я.

Вязники близ реки Клязьмы. В двадцать лет времени с учреждения тут города[65] населено и устроено изрядно. Он разделяется на две части. Одна расположена по горе, другая внизу. Ярополческая гора, соединяющая их, так крута, что в гололедицу никакой почти обоз спуститься безопасно с нее не может. Из Владимира в Нижний две дороги, одна лежит на Муром, но по причине песков, изнуряющих подъемный скот, все тягости преимущественно перевозятся здесь[66]. В городе много зажиточных купцов, имеющих хорошие полотняные фабрики[67]. Жители весьма доброхотны. Гостеприимство купца Водовозова прямо старинное и без лукавства. Это не мешает, однако, успехам новейшего образования. Многие убирают со вкусом свои домы, завелись зеркалами, люстрами, красным деревом, рассуждают изрядно о торговле и кстати вмешивают словцо в политическую беседу. Уезд хвастать может двумя предметами. 1-е) Ярополчем. Так называется селение удельное, вошедшее в черту города по плану, но, несмотря на то, наполненное еще безобразными крестьянскими хижинами, кои смешаны с некоторыми городскими и гражданскими строениями. Естественное положение сего холма прекрасно, вид с него открывает весьма отдаленные урочища. Оно было, говорят, некогда уделом Ярополка и носит его имя[68]. Старожилы слыхали о том от старожил же, то есть старая сказка. 2-е) село Мстеры, дошедшее женскому колену графа Панина, в котором погребены несколько князей Ромодановских[69]. Сие место было их родовою могилою. Тут самой старинной архитектуры колокольня, каких ныне уже мало попадается. Уважая древность, я живо в памяти своей сохранил сей, так сказать, мертвый монумент бояр российских, коих мы, к несчастию, забыли и доблести, и гробы.

Гороховец — город старинный, но прескверный от упрямства жителей. Имея высокую гору и под ней Клязьму, подобясь положением места Владимиру, он мог бы соединить прибыток с красотою, но граждане, вместо того, чтоб селиться на вершинах гор, жмутся под ними в совершенное нарушение утвержденного на город плану для того только, чтоб хребтом гор заслониться от непогод и быть ближе к реке. Лучшее сокровище города — вода. Горы ключами наполнены, и если б жители радели о пользах общих, то бы они могли без больших издержек прямо в дома свои проводить желобы, кои бы напоили и их самих, и домашний скот

такой водой чистой и прозрачной, какою в Москве не все изобилуют знатные господа, но в Гороховце купец, мещанин, цеховой — все ленится и, при всех средствах щедрой природы, все нищенствуют. Вот что делает грубое невежество. Оно и тем не пользуется, что небо даром расточает. Город сидит, как в яме, без строения и красоты. Напротив, уезд изобилует разными заведениями и фабриками[70], имеет большие леса и огромные вотчины. На границе Нижегородской губернии Клязьма впадает в Оку. Тут мелкие стерляди ловятся сотнями, как ряпушки в Неве. Фролищевская пустыня[71] обогащается подаяниями богомольцев и составляет уже знаменитую в той стороне обитель.

Муром — город старинный[72], довольно большой и людный. Положение места его, на высокой горе при берегах Оки, дает ему вид прекрасный, подобно всем городам, населяющимся на высоких местах. Судоходство большие в нем открывает пособии промышленности всякого рода. Ничто так не животворит кучи людей, вместе собранных, как торговля. Здесь уважительные есть кожевенные заводы[73]. Муром имел часто несчастие гореть и оттого правильнее прочих городов построился. Об уезде ничего особенного сказать нельзя, кроме того, что он наполнен большими и богатыми поместьями.

Меленки — городок, сближающий губернию с хлебородными низовыми уездами, в прочем сам по себе мало заслуживает внимания. Он рассеян на полугоре и выстроен весь деревом. Под ним бежит речка маленькая и мелкая. Все около его соответствует его прозванию. Обыватели пользуются прежними своими землями, и главный их прибыток состоит в разработке льну, которого как в городе, так наипаче в уезде на большие капиталы вывозится всюду. Уезд богат лесами, и, несмотря на обширные заведении, требующие беспрестанного расхода дров в сильном количестве, [их] на многие годы достаточно будет. Здесь славные стеклянные заводы гг. Мальцовых[74] и чугунные Баташева. Они известны во всей России.

Судогда — самая бедная деревня[75], сделавшаяся городом для того только, чтоб между Владимира и Мурома на расстоянии ста с лишком верст иметь сельскую полицию и уменьшением тех двух уездов воспособить присмотру земских чиновников за порядком и благоустройством по сему главному низовому тракту. Судогда в тридцати осьми верстах от губернского города. Строение в ней низкое, одни постоялые дворы. Жители занимаются одним извозом и слывут только по имени купцами. В уезде много болот, лугов и еще довольно лесу. Особенно примечательны

два урочища, называемые Спас-беседы и Спас-купалищи. Тут ныне одни погосты. Одно из них на устье реки Судогды, соединясь с Клязьмою, она обогащается водою. Говорят, что на этом месте царь Иван Васильевич, идучи из Казани к Москве и узнав о рождении сына[76], дни три пировал на судах и на сухом пути.

Объехав таким образом всю губернию и возвращаясь в столичный город ее, заметим еще два места в собственном его уезде. В осьмнадцати верстах или еще и ближе от города есть озеро почти согнившее, подобное большому болоту, в которое история утверждает, что брошены были в коробе Кучковы дети, шурья Андрея Боголюбского и его убийцы[77]. Это подало повод сказке народной, будто бы в Петров день в глухую полночь слышен в озере стон, и ветр кидает коробы с места на место. Чего пугливое воображение не представит? Боголюбский монастырь[78] есть древнейший памятник владимирской славы. Тут жил великий князь Андрей, тут и убит[79]. Доныне сохранился и в новейших временах украшен тот покой, в котором он отдыхал и где явилась ему матерь Божия[80]. Икона ее чудотворная[81] приносится ежегодно на 21-е число мая в губернский город и носится по всем приходам в сопровождении знамен церковных; целый месяц продолжаются молебствии, и к 18-му числу июня возвращается в обитель. Сим торжеством вспоминает город спасение от чумы[82] ходатайством и заступлением Богородицы.

Вот тот край земли, которым судил Бог мне править. Давши повальное понятие о губернии в сокращенном и поверхном виде, остается мне вообще добавить о ней следующее. Все почти города застал я выстроенными по старым каждого крепостям, а не по новым выданным от правительства планам. Иные не имели площадей, и большое их число за недостатком земель не пользовалось узаконенными выгонами. Итак, ежели бы не красили их издали колокольни и храмы, то по гражданским и обывательским домам ни один из городов в губернии не привлек на себя особенного любопытства. Гостиные дворы нашел я везде старые и деревянные. Присутственные места помещались или в развалинах упраздненных монастырей, или в ветхих деревянных домах. Нигде не было ни тюрем, ни соляных анбаров, ни винных выходов прочных. Когда приближусь в Истории моей к тому году, в котором я оставил свое звание, я таким же порядком внесу в нее описание всего того, что при мне по местам сделано было относительно выгод и красоты городов, и пусть тогда читатель сам судит, принес ли я, прослужа десять лет здесь губернатором, какую-либо сей стороне трудами моими пользу.

Рассмотрим теперь несколько образ управления, до меня бывший. Я о нем стану говорить беспристрастно. Предместник мой, г. Рунич, приняв губернию в царствование Павла и соображаясь с его строгостью, отличался полицейскими подвигами. Я никогда по сей части не мог и не искал с ним равняться, потому что начала наших рассуждений на сей счет были совершенно различны. Рунич хотел тихим образом знать все, что в каждом доме делается, любил шпионски выведывать нескромности, обличать их и тем делать себе выслуги. В глазах его преступлением казалось ходить в фраке, не сбросить перед ним капота, приехать четверкой, если чин велит запрягать пару. Он знал тотчас, кто в каком городе что сказал дерзкого в кругу своего семейства, ему доносили, кто, когда и куда поехал, в сертуке ли, в мундире, в котором часу, зачем и к кому. От склонности ли врожденной, или в угодность жестоким временам он так поступал, сие для меня осталось загадкой. Все изъясненные подробности составляли кучу рапортов, коими у меня, доколе не перестали их присылать, топился мой камин. Я глядел на вещи иными глазами, хотел все знать важное, дельное, а к мелочам не привязывался. Зная, что люди никогда ангелами не будут, не искал в них мнимого совершенства, а старался только о том, чтобы они не были черти. Снисходил к слабостям общим и сильно вооружался против наглости и хищных поступков. Я соблюл обычай присутствовать в мундирах, но днем фрак не казался бедою. При мне чиновники не тряслись раболепно у притолки и не смотрели на меня издали, как на божество. Я не забывал никогда, что мы с собой при рождении никаких патентов не приносим, и столько был приветлив со всеми, сколько каждого познании и нравственность заслуживали. Таким образом повел я себя сначала, те же правила сохранил и до конца. Что же лежит до гражданского дела, то предместник мой большим искусством в нем не мог хвалиться. Не служа нигде, кроме гвардии, и до Павлова времени прожив в Москве отставным бригадиром, он не имел никаких по сей части опытов. Все в губернии его боялись, он имел деспотический жезл в руках, был горд, самонравен, властолюбив. Не знаю, был ли он любим, ибо в губерниях, да и везде, любовь имеет общие признаки с порабощением. Доколе человек правит чем-нибудь, все подчиненные, кажется, его любят, все ему угождают, льстят, когда же верховный начальник теряет политическую силу, тогда или его бранят, или холодеют во всех к нему отношениях. Часто при мне бранили Рунича для того, чтоб меня похвалить, и часто хвалили его сердитые на меня, чтоб меня выбранить. Общая история человеческого рода. Узнать внутренность сердца не дано никому.

Затем оборотимся к собственной моей биографии. На губернаторах лежала обязанность обозревать губернию два раза в год, пред полевыми работами и по окончании их. Объезды сии делились на две части. Итак, я в мае отправился в некоторые сухопутные города, осмотрел всю границу Московской губернии и в половине июня воротился домой со многими новыми познаниями. Путешествии всегда были мне приятны, а настоящее сверх занятий по должности разбивало тот остаток черной думы, которую Москва еще во мне питала. Рассеянная жизнь в новой стороне, знакомства с новыми людьми, разнообразность предметов, все мало-помалу отвлекало меня от прежних связей. Я учил и сам тем временем учился своему делу. Друзья старые меня не потеряли, я сохранил приятные с ними переписки. Они услаждали мои недосуги, а между тем, по возврате из первого моего объезда найдя дома жену в изрядном состоянии здоровья, задумывал о способах приятно провождать время, не жертвовал должностью забавам, всему давал свой час и, мешая, как говорится, дело с бездельем, прилеплялся помаленьку к новому моему жилищу. Тщетны были бы губернаторские катаньи по губернии, если б они граничились одним ласкательством жителей городских и уездных. Если вежливость, с одной стороны, заставляла принимать с признательностию пиры и угощеньи разного рода, ничто не препятствовало, с другой — примечать неустройства и к исправлению их принимать надлежащие меры. Между предметами, подействовавшими на меня более прочих, с огорчением и досадою видел я, что ботик Петра Первого в Переславле хранился в чужом селе близ города и озера на владельческой земле в ничтожном сарае и начинал уже разрушаться. С небережением крайним присматривал за этим сокровищем последний член земского суда[83]. Так-то время и люди уничижают самые достопамятные трофеи. Я принял намерение ходатайствовать о возможном памятнике в честь Петру Великому на самом месте его начальных подвигов. Мне хотелось, чтоб Переславль и одна его округа приняли в том участие некоторым посильным приношением. Не смел я сам собой приступить к сбору денег и к подписке, дабы клевета не очернила мысли моей, назвав добровольную складку вынужденным налогом. Я в разных случаях видел обнаженные сердца человеческие и знал, что зависть хитра сквернить непорочность. Чтоб оградить себя от нее, я письменно отнесся к г. Трощинскому, государеву секретарю, объявил ему мое намерение и просил увенчать его успехом. Оно состояло в том, чтоб построить приличное каменное здание, в котором могли бы охраняться от повреждения как ботик, так и все ос-

татки Петрова дома. Желая соединить с честью такого пожертвования дворянского и существенную для человечества пользу, я предполагал поставить жилые покои человек на шесть отставных инвалидов из матросского звания, кои бы по очереди караулили все строение и, получая за то готовую пищу, не шатались по миру. Государь изволил одобрить мое представление, и по сему предмету я удостоился со вступления в должность первый получить от него рескрипт[84]. Вся моя выдумка не более трех тысяч рублей требовала на совершение ее, и я не ожидал, чтоб такое малое приношение, да и в прославление дел Петра Первого, подверглось затруднениям, но первый приступ к делу показал мне, что восторг уже мало действует на чувства россиян и что дать деньги на что б то ни было гораздо легче заставляет сила, нежели благородные одни побуждении. Я поручил предводи́телю[85] сноситься о сей подписке с дворянами, на которую, за отсутствием многих, потребно было время. Ободрен будучи несказанно монаршим соизволением и паче указом на мое имя, я с удовольствием сугубым видел, сколько сие действовало на всех окружавших меня. Подчиненные мои, видя, что представлении мои имеют у двора свой вес, тем покорнее исполняли мои распоряжении. Доверенность есть душа службы. Без нее все мертво в гражданском управлении. Начальник, не уважаемый государем, скоро презрен низшими чинами, и нужно ли изъяснять, сколь много неустройств отсюда происходит? Власть и послушание суть, по мнению моему, единственные пружины, движущие политические сферы, разрыв этих двух союзных сил все разрушает. В отношениях к правителям областей должно забывать их личность и ставить правилом твердым, что сила всякого звания, подкрепляемая силою высшею, держит благосостояние народов. Жаль, что истины такие, всеми ощущаемые, не всегда входят в уши наших министров!

Положив начало патриотическому моему действию, я имел случай удачно совершить новое высочайшее поручение другого рода. Некто г. Лундышев владел в Меленковской округе имением, доставшимся ему по купчей после долговременной опеки. Известно, что опеки приказные редко разумеют чужое хозяйство. Деревня была запущена, поселяне своевольны и, не желая повиноваться помещику, оспоривали его права, самую купчую и приносили жалобы государю. Государю угодно было двумя рескриптами в короткое время приказать мне рассмотреть сущность и жалобы, и владельческого права[86]. Исследовании мои заставили меня быть на стороне владельца. Я ввел крестьян в послушание, истолковал им, что помещик, купя их, приобрел над ними то право, которое

имела опека, и тем, к удовольствию моему, все селение успокоилось. Многие, я это знал и тогда, влюбились в идею свободы и хотели бы подарить ее нашим добрым мужикам, но я думаю, что рано еще в наши дни по примеру прочих царств играть с нашим народом такой опасной игрушкой. Они ею нам первым глаза вышибут. Много подобных дел в руках моих было. Читатель увидит, что я всегда держался изъясненного правила.

Рунич, отстроивши при себе обширный каменный дом для престарелых солдат с церковью во имя Петра и Павла, не успел еще ни снабдить его штатом, ни принадлежностей здания совершить. Все это кончено при мне, и 22 июля, в день именин императрицы-матери, дом открыт и освящен с великолепным торжеством. По штату, мною составленному, приказ мог в нем содержать до пятидесяти человек разного изнеможения людей, как то увечных служивых, временно приходящих больных, подкидышей и малоумных. С первого взгляда увидел я, сколько неудобств потерпит общее в одном жилище помещение столь разнообразных по возрасту и положению своему людей, но еще не смел я так скоро думать о распространении здания или о разделении его на разные части. Доходы и способы Приказа не довольно еще были мне известны, сверх того, я не хотел тотчас переменять учреждения моего предместника, дабы не подпасть общей критике, столь хорошо выраженной старинной пословицей: «Всякий молодец на свой образец». Я ожидал с терпением, чтоб, осмотревши все предметы моей обязанности, представился мне случай предпринять с благоразумием что-либо новое на пользу, а между тем старался привести дом в порядок, сообразный видам г. Рунича. Итак, 22-го числа архиерей в церкве дома отслужил обедню, проговорил убедительное слово, проповедовал милосердие, о котором мы так часто слышим с кафедр и редко видим истинные примеры. Народу собралось много. Нищих на счет Приказа накормили щедро с определением ежегодно в сей же день возобновлять подобное торжество. Не любя приписывать себе чужих подвигов, я отдал всю честь сего заведения моему предместнику, который построением Инвалидного дома оставил по себе Владимиру достойный памятник любви его к ближним. Отворить двери в готовый дом, наполнить его недужными, накормить их хлебом с солью и пропеть вместе хвалу Всевышнему — это дело немудреное, и вот все, что я в этом полезном предприятии на свой счет принять могу.

Недолго наслаждался я тишиной и спокойствием в службе. Лучший мой сотрудник, вице-губернатор князь Хованский, определен был в губернаторы в Симбирск, и я должен был с ним расстаться. Мне жаль бы-

ло в нем приятного собеседника в обществе и хорошего, честного, благонамеренного сослуживца. Не всегда встречаются обе сии выгоды вдруг, а чаще и ни одной не находишь, и потому подобные перемены всегда беспокоят сердце. Люди в службе сходятся точно так, как странники на пути, кои, несколько дней проведя вместе в одном краю на одном ночлеге, расходятся в разные дороги и никогда уже не свидятся. На Хованского так же, как на меня действовала привычка, и мы с сокрушенным сердцем расстались после огромного праздника, о котором скажу нечто ниже.

В августе нас посетили московские наши друзья. Княжна Волконская, имея родственников в здешней губернии, навестила их и завернула к нам. Как я ей обрадовался! Она живо мне напомнила столичные мои удовольствии, и может быть, я почувствовал бы их еще сильнее, но сердце мое, переменяя часто предметы своего восхищения, увлечено было уже и здесь в новые сети. Прожить где бы то ни было шесть месяцев и не быть еще влюблену не походило бы на меня. Я уже вздыхал, я уже влюблялся, я уже был совсем, как водится, влюблен, но весьма платонически. Странное дело! Присутствие милой женщины порабощать меня могло очень, очень долго, но разлука с ней хоть на полгода — тотчас новая страсть во мне забушует. Я не мог жить без восторгов! Так сотворила меня натура. Проводив наших гостей после короткого, но приятного свидания, не возмущенного ни ревностью, с одной стороны, ни отвращением — с другой, мы отправились на званый пир, который стоил того, чтоб я слегка описал его здесь.

Некто г. Б<ехтеев>, помещик по жене в Покровском уезде и барин тороватый, имел обычай торжествовать в Александров день именины единственного своего сына и на праздник свой пригласил нас со многими нашими и московскими жителями. Вообразите все, что можно роскошнее в деревне, близкой от столицы. Мы ели и пили во весь день сколько душе было угодно. Лакомство не имело пределов, бокалы во время столов бегали из рук в руки беспрестанно с разными ко мне приветствиями. Под вечер водили нас в театр, на котором хозяйка представила нам прекрасное зрелище. После того начался бал и продолжался до утра. Стены в зале горели от множества стаканчиков, как на пожаре. То ли еще было! С гирляндами по всему карнизу перевиты были ананасы. О роскошь! После ужина полетели ракетки, загорелся фейерверк, и после многих трескучих штук воссияли в лазурном цвете на большом щите вензеля женин и мой. Приятный блеск тонкого огня озарил весь сад, в котором уже никто не смотрел на тысячи разбросанных плошек. Снова полетели бока-

лы. Загремели пушки, и беспрестанные выстрелы толпили чернь круг дома, и я, всем тем наслаждаясь, шептал про себя: «Хорошо быть губернатором!» В таком великолепном гостеприимстве прожили мы у г. Бехтеева дни три и воротились в свое временное царство.

Большая дорога доставляла нам случай многих у себя видеть и нечаянно. Так, в половине сентября появились у нас гг. сенаторы Спиридов и старый мой начальник Нелидов. Оба они, и первый с своей супругой, нас посетили. Они ехали по указу что-то следовать в Саратов и мало у нас погостили, да мы и не силились их унимать. Вид постороннего большого барина в провинции пугает, все кажется, будто житель у него под караулом. Скоро потом отпустили мы сына своего Павла в Москву. Возраст его требовал прилежного учения, воспитать нрав его и сердце могла бы по недосугам моим и стократ лучше меня достойная его мать, но ум требовал познаний. Учителя у нас в доме не было[87], по школам городским учиться нечему. Кто этого не знает? Итак, мы решились записать его в Московский университетский пансион, который слыл и был вправду один из лучших училищ для благородных детей в России. Сестра моя взяла на себя труд его туда отвезти, и мы с ним расстались не без сожаления. Но когда же человек не плачет? Кажется, природа ничем его так не обогатила, как слезами.

Скоро после меня г. Мясоедов представил к разным награждениям членов Соляной конторы, — все они получили кто чин, кто орден. Это меня тронуло. Я всегда чувствителен был к оскорблениям самолюбия. Казалось, будто нарочно ожидали моего выхода из Конторы, чтоб лишить меня наравне с другими цены трудов моих. Я не считал себя хуже сотоварищей моих ни по заслугам, ни по способностям. Награждая их, для чего быть несправедливым противу меня? Сие изъясняется тем, что Мясоедов искренно меня ненавидел и всякого мне зла желал. Все его поступки означали мелкий ум и гнилое сердце.

На место Хованского определен Колокольцов[88]. Одно имя его, приведя на память мне тот же род в Пензе, поражало ужасом. После Хованского трудно было бы привыкать ко всякому другому, кто б он ни был, а к Колокольцову еще труднее, ибо здесь и предубеждение много действовало. 25 сентября он приехал в город и вступил в должность, мы с ним холодно ознакомились. Скажем нечто о сем новом актере на политическом нашем театре и о его семействе, дабы заранее можно было отгадать, чего от сей перемены в городе ожидать надлежало. Новый наш виц-губернатор был мужик глупый, надменный, без нравственности и

просвещения, крючкотвор во вкусе Сумарокова времени и самый низкий подьячий в нашем веке. Жена его, старая и брюзгливая баба, за грехи ему попавшаяся, не умела ни в доме, ни вне оного ни с кем сохранить приличного обращения. С ними жила несчастная родственница плачевного вида и ничтожной способности, девушка, которая бы уже тридцать лет назад могла быть замужем, если б природа дала ей что-нибудь привлекательное; единородное детище мужеского пола, балованное матушкой, которая злилась на все, кроме его. Вот весь их дом. Можно ли было с людьми таких свойств жить и дело государево делать? Тут сожалении мои о потере Хованского тем более усилились, что, служа с ним, я льстился показать русскому гражданскому миру чудо в совершенном согласии между губернатором и вице-губернатором, которого, как известно, ни в одной губернии не встречалось. Но, видно, судьба не судила мне быть вывеской такой чрезвычайной новости. Между тем осеннее время вызывало меня на объезд по другой части губернии, и я, чтоб издали видеть первый приступ вице-губернатора нового к делам, ему, впрочем, не новым, потому что он попал в настоящее звание из советников Рязанской казенной палаты, отправился в приречные города и осмотрел береговые стороны реки Клязьмы, что меня и заняло до половины октября. Воротясь домой, посмотря на все, как хозяин, я нашел у себя пензенских моих знакомых Таптыкова и Полчанинова и почувствовал истину русской пословицы: «Старый друг лучше новых двух». Подлинно так! Они несколько дней с нами прожили. Я хвастал перед владимирцами, да и было чем: расставшись с Пензой с лишком пять лет, еще помнили меня тамошние жители, еще любили. Чем справедливее можно гордиться, как не любовью бескорыстной?

Едва утвердилась осень, как новые и важные открылись перемены в государственном управлении. Обнародовано учреждение министерств[89], восемь государственных чиновников названы министрами. Каждый образовал свою часть, и все вместе составили так названный общий Комитет министров. Многие находили в этом плане подобие того, что введено было во Франции самозванцем Бонапарте. Я не знаю, какую цель имели подражатели его, но по времени министерство наше обратилось в аристократическое тело. Сначала я пленился сам этой мыслию, полагая, что дела получат ход свободнее прежнего. Разделены они были между министрами следующим порядком: граф Воронцов, сделавшись канцлером, получил в ведомство свое всю часть иностранную; генерал Вязмитинов военную сухопутную; адмирал Чичагов, сын славного победителя шве-

дов, военную морскую[90]; граф Румянцов коммерческую; граф Кочубей под названием министра внутренних дел сделался начальником над всеми губернаторами и их полицией; финансы попали в управление известного отличными заслугами Васильева; князь Лопухин стал министр юстиции и генерал-прокурор вместе[91], а граф Завадовский назван министром народного просвещения. Звание каждого из них определяло и род упражнения, всякий министр входил в личные сношении с местами и чинами, подверженными его начальству, получал от них представлении, докладывал непосредственно самому государю и прямо от себя объявлял к исполнению высочайшие приказании. Таким образом, все бумаги имели движение весьма быстрое. Письмоводство по особо изданным для него правилам свободно сделалось от старинных общих форм и тем способствовало производству дел, скорости требующих. С этой стороны я находил настоящую новость полезною, потому что чем простее пути, тем удобнее достигается цель во всяком намерении. Всякий губернатор, относясь прямо к своему министру, был от него тотчас разрешаем в случаях обыкновенных им самим, в чрезвычайных государем его посредством. Говоря собственно о себе, здесь я обязан графу Кочубею отдать ту справедливость, что ни на какое мое представление я не оставался более месяца без отзыва. Несколько лет трудов под его руководством дали мне приметить, что он рожден с отличными дарованиями для государственных упражнений. Под покровительством всех министров вообще статские чины получили новые ободрении, они с успехом трудились и награждаемы были щедро как чинами, так и знаками отличия. Во всех канцеляриях появились дарования и просвещенные письмоводцы, далеко отстоящие от старых приказных, которые едва знали правильно грамоте, писывали толстые тетради без всякой логики и запутывали умы посредственные в темных лабиринтах ябеды. Сколько противу министерств ни возрождалось по местам расколов, признаться должно, что много потекло добра из этого источника, доколе он не засорился. Но что же в руках человеческих не причастно порчи? Скоро из самого добра вышли злоупотреблении, заиграли страсти, и бури их испортили все здание. Новость всегда пленяет. И Питер, и Москва несколько недель неумолкно рассуждали о министерствах. Гул от них доходил до губернских городов, и там также всякий об них толковал по-своему. Молодые люди, обольщенные наградами, опрометью кидались в министерские канцелярии и опустошили почти все старые присутственные места. Новый штат назначал всем новым чинам превосходное жалованье, тогда как в губерниях

все и вс[я] оставалось на прежнем основании. Малодушные пленялись мундирами. Каждый министр выдумывал свои рисунки и, разумеется, с разным шитьем, чтобы больше бросить в глаза пыли. Вошли в навык старые слова с новым значением, стали, например, говорить: «Государь работал с таким-то министром». Подражая французам, слово *работать* сделалось техническим в письменных делах. Много ли надобно, чтоб вскружить голову? Словом, публика вся как бы проснулась, даже и дамы стали вмешиваться в судебные диспуты, рассуждать о законах, бредить о конституциях. При сем преображении гражданской машины оставалось до времени еще неприкосновенными старый Верховный совет, Синод и все нижние места. Сенат, хотя не совсем, однако же и тот начинал изменяться. Прибавились департаменты, иные разделились на два отделения, ўмножилась канцелярия его, возвышены в громком манифесте права сего старинного сигклита[92]. Но как во всяком поле не без худой травы, так и здесь между похвал прорывались насмешки. Некто насчет Сената сложил следующие стишки:

Досель Сената власть была покрыта мраком,
Царь рек Сенату: «Встань!» Он встал, да только раком.

Сказав о министерствах только то, что нужно было для связи со многими случаями, о коих говориться будет, я не распространяюсь насчет внутреннего их образования во всей подробности. Оно к Истории моей не принадлежит. К истечению года я совершенно вступил в подчиненность графа Кочубея. Первоначальные его требовании и запросы заняли меня новыми трудами. Не привыкнув еще к моему званию, мне не так тягостно было примениться к новому письмоводству. Итак, дело у меня пошло безостановочно своим чередом, несмотря на перемену, скоро и легко.

Вместе с зимой как снег на голову — рекрутский набор. От самой Пензы не имев случая отправлять его, я совсем почти забыл распорядок этого дела, но там, быв вторым лицом, я не отвечал ни за какие распоряжении, здесь, напротив, они все относились ко мне. Набор начался в ноябре, и я принужден был, бросся всякое бумажное дело, чрез целые два месяца заниматься одним осмотром нескольких тысяч душ, кои, как Адамы в раю, проходили мимо глаз моих ежедневно с утра до вечера наги и босы. Незабавное упражнение, о котором, однако, я с подробностью изложу здесь мои мысли, дабы читатель видел мои поступки и судить мог по оным о натуре чувств моих.

Между народными повинностьми в России нет тяжеле для поселян рекрутского набора, сколько по самому физическому ее предмету, столько и по беспорядкам, сопровождающим сие гражданское действие, ибо нет учреждения, хуже основанного и менее обдуманного для пользы крестьян, как рекрутское. Я не стану говорить о мелочных злоупотреблениях, из коих многие одна опытность делает вероятными. Какая прозорливость их усмотрит? Какая деятельность предупредит и вовсе остановит? Не станет аргусовых глаз, чтоб вдруг увидеть шалости разного состояния служителей: украдет фельдшер, бривши бороду, возьмет офицер при обмундировке, комиссар наживается у провианта, повытчик грабит за квитанцию, вахмистр щечится[93], ставя мужика в меру, где неприметно уведет или прибавит рост человека по мере подаяния, армейский приемщик берет при частном осмотре людей, когда приводятся от присяги, дать надо лекарю за одобрение физического сложения. Все они порознь и вместе изрядную уже берут с обывателя контрибуцию, но все подобные поборы суть еще ничтожны перед тем наглым воровством, каким отличаются иногда при сем деле Казенные палаты или, по крайней мере, начальник ее и тот член, который участвует в производстве набора. Я их укажу ниже.

Еще при Руниче заведено было рассматривать очереди семейные по деревням казенным. Он сам подворными списками занимался. Я нашел этот способ весьма охранительным для народа и хорошему примеру тотчас последовал. Обыкновенно пр[и]водили с каждого селенья, обязанного дать рекрута, по несколько семей, дабы выбрать годного одним разом, не обременяя в противном случае крестьян напрасною ездою за подставами; вместе с представляемыми привозились и допускаемы были жены их, матери и дети. С одной стороны, вопли сих несчастных жертв рока возмущали присутствие духа и расстроивали мысли, но с другой, такая чувствительная картина заставляла со всею точностию рассматривать очередь тех и других и побуждала к самой строгой справедливости, а сверх того в эти последние минуты спокойного домашнего бытия, когда мужик навсегда прощается с родиной своей и родными, как отказать им во взаимном и последнем между собою свидании. Все сии уважении толпили около каждого рекрута кучу людей плачущих. Ясно, сколько труда настояло губернатору при таком зрелище исправлять свою должность, однако я сам, не доверяя никому иному, рылся в очередных книгах и, назначая рекрута, в особое внимание брал я следущие главные обстоятельства: 1) число работников в доме; 2) давность службы в том же роде;

3) одинокий никогда не поступал в службу, разве за пороки, оглашенные приказным порядком. Когда не было холостого сына у отца или между братьями брата, тогда бирался и женатый, но бездетный. Женатому преимущественно шел вдовый бездетный же. Из женатых с детьми по необходимости назначал я того, у кого один ребенок и женского пола, а от трех детей уже ни в каком случае я не бирал рекрута. Вот правила, коими я руководствовался, ими я старался всячески облегчить необходимую тягость поселянина и, испытывая свою совесть, поныне не думаю, чтоб сам собой и своим произволом, от лени или худого рачения кого-либо погубил жребием солдатства без правильности. Правда, что столь строгий разбор людей подвергал набор казенных рекрут большой медленности, ибо часто в самое длинное утро не более тридцати человек принималось, но где дело идет о судьбе человека, там, по мнению моему, спешить не должно. Обратимся теперь к главному при наборах злоупотреблению, тем несноснейшему, что оно происходит уже от чинов высших и что сам начальник губернии при всей ревности и правоте своей истребить его не силен.

При самом получении указа о наборе рекрут, который никогда не приходил ранее половины октября в губернию, Казенные палаты приступали к расписанию всего числа, следующего с казенных имений, на каждую деревню порознь. С начала еще пятой ревизии составлены были в ней пятисотные участки, но в них помещались деревни без всякого порядка, так, что из иного участка приходилось в число трех или пяти рекрут ставить одного и с сорока душ, тогда как в другом семьдесят и более душ оставались в обществе с большой деревней свободны от такой повинности. Вот первый камень, на котором подлые вице-губернаторы могли основывать свои прибытки. Потом, расписывались рекруты по какому-то мечтательному расчету, который одна Казенная палата разуметь могла, а не мужик, от нее зависящий. Чтоб убедить всякого в этом заключении, довольно сказать, что между людьми употребляема была, как между зернами, тройная посылка, и часто человек делился на самые мелкие дроби. Я никогда не был искусным математиком, но думаю, что и самые знаменитые в ней теористы не могли в счете людей выводить 30-й доли человека. Все это заведено было в Казенной палате для того, чтоб лучше схоронить плутни и отнять у мужика силу доказать их. Естественно, что при таком устройстве Казенная палата назначала рекрут по произволу своему, а не по праву. Поселяне или покорялись, или дорого платили за то, чтоб не делиться на дробные числа. В первом случае вопиющая неправда, в последнем грабительство.

Губернатор мог бы и должен остановить такое зло. Правда; но скоропостижность полагала сильные препятствии. Указ, как выше видно, приходил в октябре, набор начинался 1 ноября. Составление списков занимало Казенную палату почти все это время, и когда начальник получал их, то он по самому назначению срока становился в страдательной обязанности брать только приводимых рекрут, а уже поздно было рассуждать о том, с такой или иной деревни следовало его ставить, иначе остановился бы набор, потому что губернатор не мог сам собой что-либо отменить в распоряжении Казенной палаты, тем более что, когда я, взглянув на сии действии ее как на беспорядок в распоряжении, дал ей об отмене его предложение, то она, подводя свое расписание под общее правило с определениями решительными по делам, отзывалась от уничтожения его. Итак, оставался мне один протест Сенату, но между тем набор шел по ее расписанию, и если иногда оно не исполнялось, это происходило уже от моего самовластного произвола, который я считал себе дозволенным там, где уже насилие Казенной палаты не могло быть ничем иным остановлено. Из всего сказанного ясно, сколько вице-губернаторы неблагонамеренные могли и имели способов отягощать народ и как мало начальники губерний имели средств остановить сей поганый поток. Сам Сенат на первое мое о сем представление ничего иного не сделал, как выговор Казенной палате, и то спустя с полгода после набора, когда уже вся тягость худого ее распоряжения пала на поселян. Рассуждая о сем ныне сам с собою снова, я никак не могу понять, как дышат спокойно те хищные злодеи государства, кои при столь насильственном действии, каков по одной уже натуре своей рекрутский набор, отнимают нередко за деньги у жены мужа, у матери сына, для прикрытия своих видов наклепывают на них пороки, разоряют домы и перепродажи людей с разными подлогами терпят и совершают. Господи! Ты видел, сколь далеко сердце мое от того. О помещичьих рекрутах я не говорю, я только мерил их рост и считал зубы, в прочем владелец поступал по своей совести и воле.

Среди таких скучных недосугов не терял я из виду главного моего предмета. По сделанным от меня предварительным распоряжениям полицейские чиновники поймали в Шуе и в Иванове делателя фальшивых ассигнаций с его сообщниками. Вся шайка предана суду, и первый этот опыт при мне, устраша тамошний край, остановил на некоторое время соревнователей такого гнусного ремесла. Остановимся здесь и поговорим о сем злоупотреблении. Многие, не зная, с какими затруднениями сопряжено открытие сего рода преступников, судя по внушениям легкомыс-

ленных говорунов, думают, что им послабляет само начальство. Может быть, я наравне с другими подпадал такому же подозрению и потому обязан показать неосновательность их в следующем рассуждении. Чтоб сделать ассигнацию, довольно годную к промену, надобно иметь самый маленький инструмент, который спрятать можно везде. Трудно ли фабриканту, который или сам, или через работника отпечатывает их, схоронить весь нужный припас в любом месте на пространной своей усадьбе, застроенной всяким строением? Обыск в домах при самой лучшей воле чиновника может быть очень часто неудачен. По большей части открываются преступники тогда, когда кто-нибудь наведет на известное место. Настоящий случай служит явным тому доказательством, ибо у пойманного преступника найден инструмент в желобе под крышкой, — ясно, что без проводника никто бы там искать его не стал. Подкуп тех, кои помогают в обысках, делаться может только деньгами, и довольно значущими. Казна не дает на это ничего и никакой подобной издержки по заведенному порядку, даже и при успехе принятых мер на пользу ее кредита, не приемлет на счет. Итак, тратить их должен из своего кармана или начальник губернии, или его чиновник. Тут часто видимые убытки предстоят тому и другому, хотя удастся, хотя нет. В первом случае возвращаются деньги из имения преступника, но очень часто никакого не бывает у самого делателя, ибо он, будучи чьим-нибудь орудием, сам по себе, впрочем, без состояния. Если же деньги истрачены напрасно, злодей не найден, то тем менее и средств поворотить издержку. Заметить должно и то, что не всегда сами делатели попадаются в сети правительства, но большею частию менялы и переводчики, которые от нищеты и алчности входят в это ремесло. Не спорю, что иногда (не всегда, однако же) отличные подвиги чиновников полицейских по сей части награждаются от двора чинами и знаками, но ни то, ни другое не кормит. Знаю, что восторги чести отваживают человека на все, но думаю, что таких восторгов нельзя ни искать, ни ожидать в наших земских судах. Они требуют более просвещения, более бескорыстия и такого о чести понятия, какого мы часто не находим и в самых высоких чинах. Можно ли, все сие вообразя, считать, не потеряв ума, что всякий исправник, заседатель, квартальный, посредством коих открываются злодеи, променяет прибыток, какой может он получить, покровительствуя подобному преступлению и укрывая его от правосудия, на одну честь и приобретение хорошего имени? Можно ли, говорю, удостовериться, что он бросит кучу денег, ему в таком опасном случае предлагаемую, и останется доволен не только умерен-

ным, но и самым недостаточным от казны жалованьем? А потому сколько лестно обнаруживать зло, столько и трудно находить людей, кои доверенность начальника употребили бы во благо. Иначе значило бы давать мелким служителям полиции способы наживаться около злодеев в явный соблазн службе и добрым нравам. Согласимся наконец, что нет ничего легче, как по наружным видам винить кого бы то ни было. Я с своей стороны, присматриваясь к опытам, находил всегда чиновников, на сие дело употребляемых, в самом критическом положении. Они между Силлы и Карибды[94]. Если злодей пойман, то клевета тотчас поносит исправника, говоря, что он, не получа с него желаемой награды, выдал его из мщения или, что еще и хуже, подкинувши сам к богатому мужику фальшивые бумажки, непорочного отдает под суд для одной наживы, а нередко утверждали, что пойманного преступника возят по уезду, научают оговаривать зажиточных обывателей, чтоб после за деньги их же оправить, и таким образом будто иные, не теряя жертвы своей, достают через нее значительные прибытки и одним камнем дают два удара, то есть наживаются сами, а правительству, выдавая злодея, оставляют за собой право на политические награждении. Напротив, если преступник не открыт полицией, тотчас кричат, что она была подкуплена. Ни тут, ни там нет стези к оправданию пред публикой, которая никакому уже добру не верит и жадно емлется за малейшее подозрение худого. Так-то, к несчастию нашему, испортились сердца человеческие! Я слыхал, как рассуждают в свете о начальствах разного рода, и готов необузданной молве всегда противуположить опыт самых событий. Но довольно толковать о сем. Скажем напоследок, что донесение мое о поимке преступника было принято от правительства довольно равнодушно, и дано только из Кабинета двести рублей тому крестьянину, который изветом своим воспомоществовал действиям полиции.

В этот год истекал трехлетний срок дворянским выборам. В декабре все дворяне съехались в губернский город и приступили к своему делу. Отвыкнув с тех пор, как оставил я Пензу, от подобных зрелищ, я искал в них, как и во всех человеческих заведениях, постепенного улучшения, напротив, одни и те же приметил беспорядки. Не всякая теория удается на опыте. Мысль Екатерины была бесподобна, но народ еще не готов был вкушать плоды ее. Дворяне без малейших начал нравственного воспитания не могли вместить тех изящных правил, кои нужны для того, чтоб выбор судей был акт прямо гражданский и ответствовал цели своего вымысла. Благородные, наполнив огромную залу, шумели и спорили о пустяках. Самые низкие страсти руководствовали каждым. Шары озна-

чали вместо качеств избираемого лица меру его уничижения перед своею братьею. Все надобно было или выпросить, или нагло отнять. Терялось наружное даже приличие, и никто не хотел хотя обольстить взоров посторонних. Помещики толпились кучами, сидели за недостатком стульев на лавках, столы накрыты были лоскутками, изношенными еще в воеводских канцеляриях[95], по вечерам сальные свечи освещали собрание дворянское в разбитых бутылках; над тремя голыми приступками повыше кресел, когда-то обитых бархатом, висел портрет государев без всякого украшения — вот справедливая картина залы, для выборов определенной. С сердечным сокрушением глядел я на сие позорище, но губернатор бессилен был по законам отвратить подобные беспорядки. Право его состояло в том только, чтоб утверждать выбор чиновников, в прочем запрещалось ему вмешиваться в распорядок действия даже до того, что он не мог лично быть в зале во время выборов, дабы (так рассуждала Екатерина) и самый вид начальника при строгом его молчании не имел влияния на произвол и свободу дворянина[96]. Почитая, однако, обязанностию моею возбудить благоговение к предлежащему предмету, я сочинил речь[97], она с чувствами прочтена была в собрании. Г. Караваев потребовал тишины, и ничто не воспрепятствовало любителю правды внять предлагаемые мною истины. Прослушав речь ушами и не приложив к ней сердец, потекли дворяне из залы в собор. Архиерей делал там свое дело: пел обедню, обращался с поучением ко всему сословию, приводил к присяге. Все наперерыв целовали крест, клялись им в соблюдении чистой совести и в то же время заглушали ее советы. Словом, явилось обыкновенное крестьянское сборище, на котором каждый мужик кричит и криком одним думает поставить на своем. Поверит ли кто, что иные из благородных для усиления шаров на свою сторону в пользу или противу кого-либо привозили с собой в город по пяти и более бедных помещиков, чтоб дать им право на голос, продавали им на это время участки земли, кои после возвратными купчими отнимали, напрокат брали им из лавок мундиры, кормили своею живностью, поили даровой сивухой и после выезжали в уезд с званием предводителей. Я не назову никого, но глаза мои все это видели, уши слышали. Нередко после обеда выводили из собрания дворян безобразно пьяных. Я часто с горячею нескромностью обличал в этом дворян, купил тем их ненависть и был неоднократно жертвой оной. Выборы продолжались дней пять, сопровождаемы обычными пирами, балами и маскарадами. Губернским предводителем выбран был вновь г. Курзаков, о котором я не могу того добра сказать, какое справедливость всегда заставит меня изъявить насчет г. Кара-

ваева. Заметить прошу, что я говорю не о свойствах того и другого как человеков, но о чертах нравственных каждого из них в отношении к званию. Один был благоразумный, осторожный, учтивый предводитель дворянства, а новый только горячий и бешеный староста дворянский.

Более всего при выборах смущали меня духовные обряды. Пусть бы люди, как муравьи, тревожились около светских игрушек, но церковь, крест, присягу на что вводить в соблазн народный? Такой обряд сильно подействовал на целость клятвы. Отсюда мало-помалу ознакомились с ней и стали с меньшим уважением простирать руку на Евангелие и святыню. На что носить с места на место иконы, безвременно святить воду, окружать престол и скинию для такого происшествия, на которое и сами участвующие в нем лица глядят как на сумятицу. Или нельзя было дворянам одним бегать по два в ряд по улицам и представлять в лицах картинку, которая и доныне стотысячным изданием на Спасском мосту продается, «Как мыши кота погребают»[98]? Оно было бы только смешно, но святитель и хоругви в предшествии всей этой нестройной толпы огорчают душу богобоязливую, а в свободном воображении не оставляют никакого почтения к освященным предметам. Все выходит, просто сказать, трагикомедия. Не для того Екатерина писала целую книгу! Но — рано писала.

Пред концом года отправили мы второго сына Александру в Москву, в тот же пансион, где брат его старший учился, а сами остались при большой дочери с самыми малолетными. Дом наш становился живее прежнего, мы уже привыкли к обществу. Съезды у нас были ежедневные. Жена, не любя сама выезжать, охотно к себе всех принимала. Все дамы ее полюбили. Каждый вечер у нас были или балы, или разные игры. Любовь наполняла мои досуги. Снова я пустил повода пламенному моему сердцу, которое без труда находило себе пищу. Начался мой роман с О<льгой> А<брамовной>[99]. Я пристал к ней, как муха к меду, и забыл очень скоро те горькие ручьи слез, кои пролил в марте, прощаясь с Москвою. Таков человек! Таковы люди!

1803

Как волка ни корми, он все к лесу глядит. По этой пословице попросился я в Москву на двадцать восемь дней и, получив отпуск, отправился на первой неделе поста. Масленицу того года провели мы в разных увеселениях. Народ катался на горах близ нашего дома, а домашние мои иг-

рали комедию, и на одной неделе публика видела два зрелища на нашем театре. Жена рассудила отпустить со мною дочь нашу Машу в Москву, и я с ней поехал на Ростов, где бывает в пост ярмонка. Ни она, ни город мне не полюбился. Кажется, что, приложась к мощам Святителя Димитрия, тут незачем долго мешкать. В Москве все старые мои знакомые мне очень обрадовались. Дома я нашел все благополучно, не застал одного князя Владимира Сергеевича Долгорукого, который до приезда моего незадолго переехал в новое царство, ничем на земное не похожее. Жаль было мне этого доброго и почтенного старичка. Он роду нашему принес много чести, говоря о Долгоруких, всякий об нем вспомнит. Он был при дворе Великого Фридерика посланником Великой Екатерины с лишком двадцать лет и ничего не имел, кроме жалованья в службе и пансиона в отставке[1]. Довольно ли заслуг и бескорыстия? Я осмелюсь похвалиться особенным его ко мне благоволением.

Москва всегда была богата роскошью и забавами. Я не вывозил еще дочери на большие и нарядные съезды, но все любопытное показывал ей, не щадя денег. Мы слышали голос бесподобной Маджиорлетти[2] и видели опыт того, что может производить в самых грубых чувствах нежность мелодии или сладкопения. Граф Орлов, известный витязь российский, который всю жизнь свою провел или на кулачном бою, или в подобных упражнениях, стоял на цыпочках в клобной зале и с бережью дышал, когда певала Маджиорлетти, чтоб не потерять ни одной ноты. Прибавим к славе ее в этом искусстве и к нашему удивлению еще и то, что она была чрезвычайно дурна, и когда обворожала слух, то в то же время зрение от нее отвращалось. Какие чудеса природа развернула в горле человеческом! Известная ария италиянская «perduto l'al[r]bitro del viver mio»* в устах этой певицы подобна ангельскому возглашению. Оно остается в ушах, проходит ими в душу, воспламеняет ум, живит сердце, словом, действует на всю чувствительную нашу систему. Маша восхищалась механическим слоном, который играл хоботом, унизан был каменьями, и в чреве которого расположены были весьма искусно часы с органами. Пленительная картина для ребенка. Несмотря на Великий пост, у князя Юрия Владимировича Долгорукова французские актеры приглашены были разыграть небольшую комедию. В Москве иностранная труппа была в диковинку. Я тут видел лучших ее артистов и не очень, однако, изумлен был ими. Правда, что без театра просто играть в комна-

---

* потерян вершитель моей жизни (ит.).

те очень не выгодно. Таким образом тешил я дочь свою, в ее удивлениях находил живое удовольствие. Дом Волконских не представлял никакой перемены. То же общество, те же съезжались люди. Понедельник и четверг собирал по-прежнему круг их родных и знакомых, и я не пропускал ни одного съезда. Если любовь подвержена терять чрез время свою волшебную силу, напротив, ни оно, ни расстоянии не производят остуды в приязни, когда сия последняя основана на качествах, а не на мечтах одних. Сыновья мои учились в Университетском пансионе. Я навещал их и скромным образом разглядывал способы воспитания общественного в России. Думаю, что большая куча детей, учащихся вместе, ничему никогда не выучится. Как учителю за всеми усмотреть? Пока он толкует какой-либо текст, ребята, рассаженные по лавкам, делают руками и ногами разные шалости, кои скрыты под наклоном налоев[3] для тетрадок, перед ними сделанных. Я сам заметил, сидя на лекции, резвости меньшого моего сына, тогда как учитель, наполненный весь своим предметом, думал больше о слоге своих периодов, нежели о том, что делают под столами ноги его слушателей. В прочем содержание их, хотя не было совсем бедно, однако с стороны пищи недостаточно для детского возраста. Но как я не мог еще найти домашнего наставника, то и принужден был детей своих оставить до времени в означенном Пансионе, где дружба инспектора[4] их личная ко мне обнадеживала меня в прилежнейшем образовании их умов, равно как и в преимущественном физическом довольстве. Во время сего пребывания моего в Москве появились в продажу мои сочинении, напечатанные в одной большой книге под названием: «Бытие сердца моего»[5]. Иные ее полюбили, другие нет. Общая участь наших дел. На всех кто угодит? Я равнодушен был к тому и другому, писавши для женщин, а совсем не для схоластиков, и, видя, что лучшие особы женского пола забавлялись моими произведениями, я был совершенно тем доволен, как человек, достигший своей цели. Множество экземпляров отправилось из лавок в Владимир. Книгопродавцы догадливы, они знают, что губернаторская книга — товар прекрасный в его губернии. Кто бы не купил ее из одной лести, вежливости или ласки? Их и разошлось там много. Я очень был этому рад за типографщика[6], с которым, однако, по чести не был ни в самой мелкой доле. Эта оговорка нужна для тех, кои меня не знают, ибо много встречалось примеров противного между нашей братьей.

Скоро прошли или пролетели двадцать восемь дней, и я, посадя Машу в сани, воротился благополучно еще хорошим зимним путем в Владимир. Из связи прежних происшествий видно, что мне отказано

было в чине, который следовал мне с обошедшими меня года два ранее, потому что место мое в Соляной конторе ниже оного было по стату и всем отношениям, что самое сие препятствие заставило меня искать и принять настоящее звание, а потому, прослужа в нем почти год, я полагал дозволенным новый в пользу свою на сей счет поступок: писал к государю прямо, напоминал его обещание и просил исполнения оного. Министр отозвался мне от имени его величества, что доверенность ко мне высокомонаршая, означенная поручением губернии, есть уже сама по себе за прежнюю службу награда и что при новых подвигах в теперешнем звании я не буду оставлен без внимания. Новый посул, на который полагаться я уже не мог после такого худого исполнения первых обещаний. Но у двора слова не держут, обещать и обмануть сделалось системой царской нравственности. Везде одни и те же правила на тронах. Итак, оставалось мне ожидать благоприятнейшего случая к успеху.

Марта 22-го скончался благодетель наш г. Салтыков. Мы приняли это известие с печалью. Подлинно, он любил нас, помогал нам в нужде, снабжал в недостатках. Человек был странный, то есть, худо воспитан, мало обучен, грубого от природы свойства, вспыльчив, высокомерен, суетлив, тщеславен, угождающ во всем страстям сердца и плоти, но при всех сих недостатках был против нас совершенный благотворитель, выискивал средства быть нам полезен и употреблял их, не щадя своих иждивений. Не станем касаться глубоких причин, гнездившихся в сердце его и влекущих к таким доброхотным поступкам. Возблагодарим его в животе, и по смерти вспомним с признательностию. Кто добр для одного добра? Кто услужлив, забывая себя? Ах! Если искушать всякое благодеяние в горниле строгой истины, мы увидим, что человек все делает для себя и везде ищет самодовольствие свое.

На все потребна счастливая минута. В такую точно пошло мое представление о бароне Аше, заточенном в Ефимьеве монастыре, и государь дозволил мне, выпустя его из обители, перевезти в Владимир под условием таким, чтоб он жил тут под моим присмотром, и для того он стоял в моем собственном доме, где каждую минуту я мог видеть его образ жизни. Не приметив в нем с самого начала ничего вредного обществу, кроме жалкого повреждения ума в некоторых предметах, я считал долгом человеколюбия доставить ему некоторую свободу. Он оправдал мои о себе попечении жизнию тихою, скромною и поведением пристойным. Убеждении мои произвели в нем и то, что он безропотно присягнул государю публично в присутственном месте и, несмотря на тридцатилетнее заключение, столько

еще сохранил физических сил и бодрости в духе, что иногда на балах вмешивался в польский и любил поиграть в кругу женщин. Хотя общество его не обогатило моего обыкновенного домашнего круга, но признаюсь, что каждый взгляд на него радовал мое сердце. Справедливо сказал один иностранный писатель: «Une bonne action nous rafraîchit le sang»*.

По принятому мною порядку я весь май почти проездил по городам. Близкое расстояние их между собою дозволяло мне заезжать во время сего путешествия раза два домой. Проведя тут именины мои в торжестве, как водится, ибо и суета берет часто с нас дань необходимую, отпустил я жену дней на десять в Москву. Ей вздумалось написать свой портрет, как бы чувствуя, что скоро небо увлечет ее в свое жилище и отнимет у любезных ей живое ее изображение. Я любил ее тешить. Она была слишком мила моему сердцу, чтоб отказать ей в какой-либо прихоти. Суровость зимы не позволила ей по слабости здоровья быть со мной вместе в Москве, итак, поехала летом, а я в отсутствие ее отправил годовой духовный праздник 21-го числа мая** и проводил знатного гостя из столицы в свои низовые деревни: князь Куракин, по старой приязни, которая превратилась по времени в шапочное знакомство, рассудил проездом в свои поместья посетить меня на пути и день целый у меня пробыл, обедал, ужинал, ночевал в моих покоях. Я ему казал все редкости города, он не соскучил ничем, напротив, осыпав меня светскими ласками, коим опыт научил меня давать прямую цену, поехал дышать свободой в деревню. Все так говорят вельможи, приезжая в них на неделю в хорошую погоду, но тот же князь Александр Борисович (и сему был я неоднократный свидетель), когда жил в вотчинах своих по необходимости, всякий час желал из них вырваться и лететь ко двору.

Без ссор жить в провинции невозможно. Какая несчастная крайность! Служба общая, не представляя, кажется, ничего для личности, давала повод, однако, враждам и неустройствам. Губернский предводитель г. Курзаков вздумал созвать всех предводителей в губернский город для каких-то советов. Для чего бы и не так! Мысль иногда очень полезная в одной голове усиливается согласием других, да и пословица есть старинная: «Ум хорош, а два лучше того». Но для чего не соблюсти при сем узаконенных правил? Всякое гражданское действие имеет начертанный свой ход, иначе был бы повсеместный хаос. Курзаков не счел нужным

---

* Доброе дело бодрит кровь (фр.).

** Смотри описание его в описании Владимирского уезда. [Примеч. И. М. Д.]

спросить на сей позыв моего согласия, несмотря на то, что ни в каком случае, по силе жалованной дворянству на права его грамоты, не позволялось собирать дворян, не испросив предварительно согласия на то начальника губернии. Предводители по разосланным к ним ордерам слетелись в Владимир. Тем временем я, ездя по городам, не находил их при опеках и по части сей выезжал отвсюда без отчета. Я не хотел молча снести такого беспорядка не для того, чтоб в самом деле происходил отсюда значительный вред службе, но дабы держать подчиненность в порядке и не дать повода к послаблению, и потому, призвав губернского предводителя к себе, изъяснил ему сперва глаз на глаз, что он неправильно поступил. Грубые отзывы его заставили меня возвысить голос и дать ему почувствовать взаимность наших отношений. Ничто на жаркую его голову не действовало. Отстать, не уняв его, казалось мне неприличным. Я, прекратя с ним личные сношении, сделал ему письменный выговор. Он пожаловался министру. Граф Кочубей потребовал от меня ответа. Я не замешкался дать ему полное о деле сведение, и последствии его обратились в предосуждение г. Курзакову, который после того, хотя лишил меня своего знакомства и доверенности, о чем я много и не тужил, однако поступал в делах службы и осмотрительнее, и сообразно с учрежденным порядком.

Семейные одни удовольствия сильны были истреблять память всего того, что неприятно связывалось с должностью. Жена моя, возвратясь из Москвы, привезла с собою чрезвычайно похожую в красках себя другую. В то же время посетили нас приятели наши московские Нарышкин и сестра его княгиня Куракина, которая, имея поместье в Шуйском уезде и живучи в нем весь год постоянно, доставила нам знакомством своим отраду в скучные периоды жизни, как то и после многими опытами утвердится. Сыновья мои по приближению вакантного времени также приехали к нам с добрым Классоном. Итак, дом наш наполнился снова, хоть ненадолго, но людьми милыми и близкими к сердцу. Оживились забавы города съездами общими. На ту пору иностранец привозил шар и пустил его в превыспренние равнины воздушные[7]. Зрелище сие, совсем новое для жителей губернских, заняло любопытство каждого. Продолжалось оно с час, а толковали об нем неделю. Наконец, все от нас уехали, и дети с сестрой возвратились в Москву, а мы остались по-прежнему одни в собственном своем и привычном круге.

Начатое в Переславле дело о постройке здания для судна Петра Великого происходило к окончанию. Подписки уездных жителей хотя не совсем отвечали намерению, но, по крайней мере, собранные деньги до ты-

сяча шестисот рублей достаточны были для палатки. Она уже была выстроена и готовилась к принятию российского сокровища. Между отличными пожертвованиями на сей предмет поставлю я г. Спиридова, который на все здание дал кирпич, и помещицу села Весок, уступившую казне площадь своей земли для строения[8]. Сколь ни мелки были приношении прочих, я обязан был довести и об них до сведения государя императора, которому угодно было поручить мне объявить переславскому дворянству монаршее благоволение. Не успел я в том, чтоб на шесть инвалидов выстроить казарму, но для одного только матроса поставлена жилая изба. Генерал Апраксин определил пятьдесят рублей в год на содержание служивого. Он вытребован мною из Адмиралтейств-коллегии. Прислан вместо престарелого матроса свежий и здоровый солдат, который наконец, женясь тут, сделался сторожем при ботике Петра Первого и караулит его. Вот как нередко большие виды превращаются в самый маленький масштаб. Оставалось наделать много шуму и тем возвысить настоящее обстоятельство.

По «Истории переславской»[9] видно, что Петр Великий, отстроивши сей самый ботик, изволил на нем и прочих мелких судах в первый раз маневрировать на озере Плещове августа 1-го, что в этот же день, по установленному церковному обряду, духовенство переславское во всем облачении неслось по реке Трубежу на лодках в озеро и там освящало воду. И ныне я считал приличным в воспоминание того торжества оставшийся его трофей перенести августа же 1-го из анбара в каменное здание, что мне совершить и удалось следующим образом.

Рано поутру все духовные чины и архимандрит Никитского монастыря[10] собрались в сельскую церковь близ города при озере, и там пред обедней прочтен публично указ Петра Первого о хранении его судов, после чего воспета сему великому основателю обширнейшего в Европе царства вечная память. За сим своим порядком следовала обедня. По окончании оной прочтен рескрипт государя императора, на мое имя состоявшийся, о построении новой храмины, и провозглашено всему императорскому дому по пропетии благодарного молебна многолетие. За сим все чины гражданские и военные, ибо к умножению празднества присутствовал тут шеф и все офицеры Украинского Мушкетерского полка, квартировавшего в то время в Переславском уезде и городе, вышли к новому зданию, куда потянули на ремнях по нарочно сделанному помосту состаревшийся ботик из прежнего его обиталища. Священники окропляли шествие его святой водою, чины гражданские поддерживали его на ходу и помогали движению. Так поставилось оное знаменитое судно в

новое свое место при восклицаниях народных. В преддверии здания над самыми волнами озера архимандрит сказал приличное торжеству слово, и сугубые раздались духовные клики. Я переносился мысленно лет за сто назад, воображение мое кипело, и сердце трепетало от радости, что привел меня владыка всех миров исполнить патриотическое сие предприятие. Духовным обрядам последовали светские угождении и пиршество отличное в шатрах. Там читаны были вслух сочиненные на сей случай оды: 1) графом Хвостовым, который сам с другими знаменитыми посетителями из уезда присутствовал при сей церемонии, 2) учителем тутошних школ и моя[11]. Бокалы довершили праздник, как водится, и тем исполнилось удовольствие общее. Погода благоприятствовала случаю. Народ толпился круг здания беспрестанно. Солнце до самого вечера лучами своими озаряло надпись, золотыми буквами на фронтоне начертанную: «Петру 1-му усердный Переславль». На другой стороне фасада выставлен был год и число обновления дома. Легкие волны озера, едва движимые тонким ветром, протекали к берегу Гремячего мыса и, омывая ступеньки здания, как бы поклонялись памятнику того, кого некогда носили на себе, прообразуя еще в юности его исполинские силы.

Приключение сие потом описано было со всей подробностью в российских и иностранных ведомостях[12], и оставалось мне только доделать верхний этаж строения для помещения прочих утварей Петровых, к чему приложено было всякое попечение.

Скоро потом полк Украинский вышел в лагерь в Москву и облегчил часть большую моих забот, ибо не было ничего труднее, как сноравливать господам военным начальникам, отклонять их чрезмерные требовании и держать с ними совершенный мир. Странно, но справедливость велит сказать, что между гражданскими чинами и военными зарождалась какая-то взаимная антипатия, которая сии два состояния в одном и том же государстве вместо соединения на общую пользу разрывала очень часто и производила вредные для обывателей последствия. Я всячески уклонялся от ссор и, благодаря Бога, не допускал их, но знаю, что во многих губерниях начальники гражданские терпят от военных чинов разные притязания, несовместные ни с чем. Екатерина Вторая называла губернатора хозяином и защищала его права, но потом этот жалкий хозяин вышел хуже дворника в своем доме.

В числе вельмож, когда-либо мне благотворивших, почитал я князя Прозоровского, который некогда, хотя без успеху, но первый открывал мне дорогу в статскую службу. Помнить благодеянии, от какой бы при-

20 Зак. № 3535

чины они ни происходили, есть долг благородного сердца. Нынешним годом представился мне случай быть ему полезным. В Покровском уезде, рядом с большими его вотчинами, владела казна землею, некогда из его дач межевым правительством отрезанной. Сделавшись оброчной статьею, нельзя ее было по законам возвратить без именного указа. На раздачу подобных ей земель казенных малопоместным экономическим крестьянам издано было высочайшее повеление и приводилось в действие. Все ставило преграды князю Прозоровскому возвратить свою собственность, однако ж он подал государю просьбу. Она обращена была ко мне с требованием моего мнения и особенного сведения о том, не потерпят ли, лишаясь ее, те обыватели, коим она может следовать в удел. По собранным справкам нашел я и представил, что соседи означенной земли могут такое же пространство оной получить в другом месте и не в дальнем от себя расстоянии. Донесение мое способствовало полезному решению дела для князя, и ему дача его возвращена. Она состояла из двухсот десятин. Письмы его свидетельствовали мне, сколь он доволен такой услугой, а я был с своей стороны доволен тем, что мог, угодив ему, показать, что благодарность для меня не есть пустое слово. Кто упражнялся в статских делах, знает, как удобно иногда портить дело и тем уже одним, чтоб проволочить его, тот согласится, что я вправе был поступок мой в отношении к князю почитать не одной только справедливостию, но точно признательной услугой.

По представлению моему еще выпущены были на свободу два арестанта Спасо-Ефимьевского монастыря низкого состояния, содержавшиеся там по излишней строгости к фанатизму. Но сколько я ни старался опустошить сию мрачную обитель и узников ее всех вывести, судьба, как увидят, тотчас вопреки моим желаниям снабжала монастырь новыми жертвами. На возвратном пути из Переславля получаю я рескрипт, при котором прислан был генерал-майор Побединский для заключения в Спасский монастырь, а по приезде домой нахожу и его у себя. Такой нечаянный гость тем более меня тронул, что я некогда служил с ним вместе в гвардии, был у него в команде, обращением его не имея причины быть недовольным. Сколь ни чувствительное принимал я участие в его положении, ничто, однако, не освобождало меня от обязанности тотчас его отправить в Суждаль и препоручить архимандриту[13] в полное ведомство, что я и исполнил. Остановимся здесь на минуту и рассмотрим побудительные причины его несчастия. Побединский, удалясь от службы, приехал в ярославскую свою деревню, в которой никто из помещиков никогда

не жил. Вздумалось ему устроить хозяйство. Обывателям, избалованным свободой, это не могло быть приятно, они начали волноваться. Средства усмирения приняты деятельные и строгие. Говорят даже, что некоторые поселяне подвержены были мучительным истязаниям, и сим жестокостям полагали виной не столько его самого, как любовницу, вытащенную из самой низкой доли и взявшую над ним полную власть. Доказано ли все сие по делу, не знаю, и имею причину в ясности следствия сомневаться. Но как бы то ни было, Ярославский губернатор вывел из поступков Побединского уголовное дело, писал государю, наряжено было следствие, донесено вторично с подтверждением прежних заключений, велено судить его дворянству. Собрались кучи людей и приговорили его к лишению чинов и дворянства как тирана. Государь смягчил приговор и рассудил заключить его в монастырь. Имение отдано в управление, миновав законную опеку, его сестре, а ему определено получать из своих доходов по полтине в сутки. Вот все, что было мне известно на первый случай, но как в указе на мое имя ничего не было сказано о его переписке, то я спросил министра юстиции (тогда был Державин), должен ли я ему дать на нее позволение, и он, с высочайшего повеления, препровождая все об нем дело, отвечал мне, что я из него сам увижу причину его заключения и найду, что оно не такого рода, чтоб требовать запрещения на переписку, лишь бы (таковы были его собственные выражения) видел я все к нему и от него писанные письма. Таким образом, рассмотрев небольшую тетрадку, называемую делом Побединского, я удостоверился, что он более был жертва врагов своих, нежели злоумышленный преступник, каковым его представить хотелось. Да и когда бы подлинно взводимые на него жестокости были доказаны, для чего не подвергнуть его обыкновенному суду уголовному? Что за новизна вовсе бесполезная судить человека голосами дворянскими, кои редко или, скажем правду, никогда не соображаются ни с чем, кроме случая и минутных побуждений? Ясно, что мера сия выдумана была для притеснения, ибо суд в трибуналах имеет обряд, закон, порядок, а суд в зале, набитой дворянами, есть шумный приговор, на страстях и бесчиниях основанный. Но сие не принадлежит к моему предмету, и если я позволил себе отступить от него, это из уважения к человечеству, которое всегда меня тронет, когда оно терпит насилии. Впрочем, удостоверясь, что Побединский более несчастлив, нежели злодей, я взял правилом снисходить его положению, старался облегчать оное, посещал его в монастыре и знаться с ним, несмотря на его заключение, почитал для себя не постыдным.

Жена моя, желая во всех отношениях быть уважаема публикой, рассудила исполнить христианский долг в первый еще раз в Владимире. В Успеньев пост говела, и в соборе архиерей ее сам причащал. Между же тем сестра моя, бывшая в Москве с детьми моими для отдачи их в пансион, провела там день матушкиных именин и рождения большой сестры нашей[14] и, возвратясь к нам к Успеньеву дню, приготовляла безвинно новое и совсем неприятное в семействе моем происшествие. Вице-губернатор, будучи, как описан в своем месте, совершенный невежа, и побужден женою своею, бешеной женщиной, приревновавшей его к сестре моей, из одного дурачества, чтоб убедить ее в своей преданности, не умел избрать другого средства, как в утренний визит из наружного почтения сестре моей в Успеньев день наговорить ей тьму грубостей, за которые отвечать вместо ее следовало мне. Это меня зажгло, как фитиль заряженную пушку. Загорелась между нами война, исчезла соблюдаемая политика. Мы друг друга с первого взора не полюбили, но видались из одной пристойности. Не оставалось возможности сохранять ее долее. Я призвал его к себе и при свидетелях, нарочно, чтоб он не мог отпереться, заплатил стократно все его грубости, сестре моей сказанные, и, выгнав его наконец, как нечистого духа, из кабинета, не велел пускать его в дом свой. Есть случаи, в которых благопристойность обращается в трусость и которые вынуждают к поступкам резким. Таков был для меня настоящий. Он начал неприятные последствия по службе, но которые непродолжительны были, а до тех пор, хотя несносно было мне с ним встретиться в публике, по крайней мере я избегал свидания с ним дома, и ничто не препятствовало вкушать в нем благословенную тишину. Публика занялась этим жарко, болтала несколько ден по-своему и, как обыкновенно везде, скоро забыла и действие, и действующие лица. Обыкновенное повальное производство по губернии заняло каждого самим собою. После трехлетней службы в одном чине всякий служитель имел право на повышение. Первое мое о таковых представление с прошедшего октября месяца ныне только выпущено было из Сената, и я в первый раз еще пользовался удовольствием весьма сладким быть виновником общей радости многих. Жаль, что при сих производствах чаще действовало снисхождение, нежели правильное внимание к заслугам, но как всегда быть только справедливу и никогда благосклонну? Обидно с трудами остаться назади у ленивых, не спорю, но между десяти рачителей своего дела увидеть одного счастливого тунеядца извинительно и не так прискорбно.

Сестра моя большая, платя меньшой ее посещении, приехала к нам к ее именинам[15] и привезла с собой дочь нашу Антонину. Это подало повод к осенним праздникам. Тот же иностранец, который ехавши к Макарью пускал шар здесь на воздухе, возвращаясь в Москву, просил дозволения возобновить тот же опыт. Для чего нет, думал я, и назначил 5 сентября, день придворный и в старину знаменитый в России[16]. Но едва не подвергся я неприятностям от неудачи нашего штукаря. Жена моя не могла по слабости здоровья выходить осенью на воздух, надобно было шар пустить под окошками городского дома на улице. Он был начинен ракеточками и освещен снаружи. Дождались сумерек. Весь народ на дворе, гости толпятся в зале. Полетел шар, но, взяв направление вбок, расклеился в воздухе, загорелся в нем и упал в огне на мостовую. Предварительно приготовлены были трубы и разные орудии полицейские. Все кончилось одним шумом и мгновенным испугом женщин. Бал скоро привел все в порядок, чернь зазевалась на плошки, и из довольно опасного приключения за час прежде родилось общее посмешище. Все над итальянцем хохотали и над его неудачею. Злодеи мои шипели и выводили во вред мне разные заключении, которым я, в мою очередь, смеялся от чистого сердца, и никто о сей ничтожной тревоге далее Владимира не говорил ни слова, хотя многие, думаю, с первой почтой писали, что уже и загорелся город в разных местах вдруг. Я себя не правлю: неосторожность открытая. Но как не потешить жену, которая мила? Вот все мое извинение. Слава Богу, что и его не нужно было. Скоро после того сестра с дочерью возвратились в столицу, а я поехал по городам давать уроки.

Без меня занемогла Ольга Абрамовна горячкой. Пристрастие мое к ней сделало из этого домашнее приключение, но врачи приложили труды свои, и я, воротясь домой, подарен был ее выздоровлением. Можно бы это и не вносить в Историю мою, но никакого случая не оставляю для того, чтоб по окончании каждого года удобнее сделать сравнительную таблицу часов веселых и неприятных.

Осенью вышел указ о разных утвержденных городах в России, в том числе, по представлению моему, восстановлены в свои права упраздненные города Ковров, Александров и Судогда. Описание их помещено в общем всей губернии. Успех в этом принес мне тем более удовольствия, что я почти терял в нем надежду. При самом еще начале настоящего царствования предместник мой спрошен был, какие города нужно в губернии возобновить? Рунич, по соображениям ли каким, мне неизвестным, или, что и мне вероятнейшим кажется, из особливой преданности к

благодетелю своему Павлу Первому, не желая отменять того, что им было сделано, ответствовал, что в Владимирской губернии достаточно тех десяти городов, кои ее тогда составляли. Дело казалось конченным. По приезде моем в губернию, осмотрев ее удобности и пространство и намерясь отнять у земской полиции всякую отговорку в неисправности, которая по расстояниям некоторых уездов могла бы быть и справедлива, решился из четырех упраздненных городов ходатайствовать о восстановлении трех и представлении мои основал на следующих причинах. Александров, по монастырю своему занимая место в летописях наших, заслуживал остаться городом в память тех событий, кои со времени царя Ивана Васильевича до самых поздних наших государей делали его известным в России. Ковров, доставляя местоположением своим и пристанью на Клязьме значительные торговые выгоды жителям, не несправедливо был назван городом прежде и мог титло сие сохранить навсегда. Судогда, хотя сама по себе ничего не значит и посрамляет даже название города, но уезд требовал прежних границ своих, потому что, смешавшись с Муромским, Владимирским и Меленковским, он увеличил число жителей в них, растянув пути сообщения под надзорами тех исправников, так что не могли они с требуемой от них деятельностию исправлять должности своей. Прежде чем взыскивать на подчиненном, надобно дать ему средства быть исправным, отнявши способы, подвергать ответственности не есть служба, а тирания. С этой точки глядя на все чины под собою, я отважился послать возражении на прежний рапорт моего предместника и столько был счастлив, что выиграл поверхность, которая льстила меня с двух сторон. Во-первых, приятно трудиться с успехом, во-вторых, я приобретал случай поместить к должностям в сих новых городах человек до сорока чиновников, кои из праздной жизни возвращались к трудам полезным и стяжанием жалованья могли улучшить свое положение. Сколько люди ни дурны, сколько они ни неблагодарны, есть что-то внутри человека, побуждающее его благотворить ближнему в разных видах, под разными предлогами.

Тогда же, и по моему же представлению, определен в Шую городничим исправник тамошний[17], не служивший в военной службе. О сем упоминаю для того, что принято было за правило городнические места давать чинам военным[18], и сие отступление от оного несло с собою новое и сильное доказательство благоволения ко мне моего начальника графа Кочубея, который, уважа, мое представление утвердил, несмотря на многих, с предстательством искавших того места. Граф любил ценить

представлении своих подчиненных и ставить их выше сторонних ходатайств. Новый городничий оправдал тотчас мою доверенность: сделав в городе поиск над делателями ассигнаций, представил мне шайку новых преступников, коих закон отправил скоро на сибирский воздух. Другой опыт, ясно показывающий, что я сему злодеянию не потворствовал.

Между тем загорелась яркая и соблазнительная пря между вице-губернатором и членами Казенной палаты. Они подавали голоса, а тот посылал на них протесты. Подлость его доходила до того, что он беспокоил лучшего из сотоварищей своих по палате мелкими придирками, записывая час прихода и отсутствия за город на сутки без спроса. Как ни старался я устраняться от последствий, которые необходимо подобные несогласии влекут в дело самой службы, однако должен был за иных вступаться, вице-губернатора обвинять и тем вяще вооружать его против себя. Сие побудило его проситься в отпуск, и он отпущен был на два месяца в Петербург. Там хотелось ему оболгать всех заочно и окружиться людьми себе подобными.

Готовясь к зиме, мы помышляли и о театре. Уже был он построен, и собирались твердить роли, сама жена была в числе актрис, как известие о кончине великой княгини Елены Павловны[19] остановило наши увеселении на время, для траура назначенное. Но в ноябре первое зрелище в нашем благородном обществе состоялось и принесло как нам, так и зрителям большое удовольствие. В провинции театры редки, и каждый наслаждался им с совершенною охотою, тем более что он не стоил никому ничего, а, соединяя множество лиц в одно общество, служил поводом к балам и разным играм весьма не неприятным во всяком возрасте и состоянии. В то же время старший сын мой Павел, обучась изрядно разным предметам в Университетском пансионе, произведен был студентом. Он был действительно прилежен к ученью и хотя не имел от природы острого ума, но одарен был хорошим понятием, смыслом и памятью, выучивая что-нибудь, не забывал; обещал нрав скромный и покорный, словом, был мальчик с добрыми моральными свойствами. Чин студента отворял ему двери в гражданскую службу, к которой я его и готовил. Он уже избегал необходимости быть в нижних солдатских степенях. Университеты пожалованы были разными преимуществами, из коих главное состояло в том, что студент вступал в службу с чином офицерским.

В бытность мою в Пензе знал я одного помещика слепого или кривого, г. Литвинова. Меньшой сын его, служа со мной в гвардии, был убит в Шведскую войну ядром[20], а большой его брат тогда и после со мной

нигде не встречался. Ныне, проезжая через Владимир, чтоб увидеться с отцом, и будучи уже статским советником при министерстве внутренних дел, явился ко мне с письмом от графа Кочубея, в котором он, под видом путешественника рекомендуя его, поручал мне показать ему все заведении приказа и тем удовлетворить его любопытству. Мы с ним, как говорят, по старым памятям скоро ознакомились. Он осмотрел не одни филантропические заведении, но посетил острог, ходил по присутственным местам, заглядывал в разные магазины, и мне нетрудно было приметить, что он потихоньку ревизует меня в моем деле[21]. Сколь ни нежно было его обращение со мною и сколь ни осторожно скрыл граф Кочубей свое намерение, однако оно меня тронуло. Мне больно было видеть, что я в такое короткое время как бы худой приказчик подпадал осмотру от чиновника моложе меня во всех отношениях, однако учтивость его собственная и благосклонность графа Кочубея ко мне, никогда не изменявшаяся, заставили меня без огорчения пропустить такую новость противу себя по службе. Я никогда не любил потаенных за собою присмотров не для того, чтоб боялся быть пойман в уважительных беспорядках, стоющих шуму и замечаний гласных, но они мне всегда казались самым мелким средством в хорошем управлении. Впрочем, к чести графа Кочубея скажу, что во все время его начальства, кроме г. Литвинова, никто за мной исподтишка присматривать не наряжался, и я гордился этим, как явным знаком доверия и хорошего расположения к моему поведению. Думал ли я, когда будучи уже вице-губернатором и заезжал на пути в казенный завод к доброму старику Литвинову, который с большой тростью в сертуке выходил ко мне навстречу, что сын его, обучавшийся тогда еще грамоте, будет по времени ценить мои распоряжении по службе и смотреть за мною. Но в России ни чины, ни ленты, ни заслуги не ставят щита против подозрений, и несправедливость достигает везде. Чтоб усладить это минутное неудовольствие, получил я от министра финансов и от графа Кочубея взаимное благодарение с похвалою за успешное взыскание доходов казенных, или недоимок. Заслуга не важная и малого требующая труда. Я никогда не любил увеличивать своих попечений, когда сам видел, что дело по натуре своей легко исполнено быть может. Какая мудрость в Владимирской губернии получить с крестьян весь оброк в свое время? Они богаты, и денег у них всегда много. При малейшем досмотре за земскою полициею недоимки быть не может. Напротив, в хлебных губерниях ни самый деятельный губернатор в том же предмете не успеет, потому что у мужика

зерна много, а денег ни полушки. Но кто на это смотрит? В России хвалят и бранят по капризу.

В ноябре указ вышел о наборе по два человека рекрут с пятисот душ, и придумано было прием производить по уездным городам, так, чтоб губернатор, вице-губернатор и губернский предводитель разделили между собою всю губернию. Способ сей был нов, гораздо прежде спрошены были мнении всех начальников губерний на сию новость. Я в представлении моем изъяснял невыгоды таких разъездов, но думать должно, что, по собрании всех наших отношений, желание ввести сию новизну получило поверхность над затруднениями, и велено было набор делать по городам. С одной стороны, многие находили свою пользу, потому что ближе возили людей на смотр и менее несли расходов, но с другой, кратковременное пребывание каждого чиновника в одном городе отнимало у помещика возможность так уладить свои распоряжения домашние, чтоб извоpотиться поставкою в две недели, и оттого некоторые, пропуская набор в своем уезде, привозили людей в губернский город, где и после 1-го генваря были они принимаемы, но уже в виде недоимочных и, следовательно, с узаконенным штрафом, чем самые пользы и невыгоды сравнивались. Я на свою часть взял кроме губернского города три уездных: Шую, Суждаль и Юрьев как самые ближайшие, дабы бумаги по общему управлению доходить ко мне и от меня могли скорее. Вице-губернатор и губернский предводитель поделили между собою как хотели и остальные шесть городов, и первый из них отложил до будущего года поездку свою в Петербург по данному отпуску. Я, открывши набор в Владимире, отправился в путь после первого домашнего театра, который снова на всю мою отлучку закрылся, и поехал в Шую. Там проживши десять дней, наслаждался разными вечерними пиршествами. До заката солнца делал государево дело у набора, вечер занимался делами письменными, а около ночи выезжал на вечеринки, где сиживал часто и поневоле, из одной пристойности, поздно за полночь. В этом городе имел я случай познакомиться с госпожою Пожарскою, недавно овдовевшей. Она по себе была Безобразова, воспитана в монастыре, одного выпуска с моею женою, женщина не первой молодости, но пригожая и любезная дама. У нее было трое маленьких детей. Она, недавно поселясь в своей деревне, где и муж ее за год перед сим скончался, и точно в день моих именин, 8-го мая, выезжала во все городские дома и на всех собраниях была одна предметом моих исканий. Муж ее служил в провиантском штате и умер со славой прекраснейшего мужчины, в доказательство чего

уверяла даже молва народная, что он когда-то готовился, но без удачи, к занятию места так называемого фаворита или случайного человека. Госпожа Пожарская меня с первого взгляду пленила своим приятным обращением. Читателю это не в диковинку в моей Истории, но я с такою подробностию в речь об ней вступил для того, что судьба судила ей по времени важную в участи моей играть ролю.

Я от натуры был влюбчив, первые мои приступы были жарки, но честь, долгая и беспредельная любовь к обязанностям не допускала меня ни с кем забываться. С трудом вырвался я тогда из Шуи, поехал по другим городам — везде и со всеми казалось скучно. Дело естественное. Из всякого города заезжал по близости в губернский и всегда находил дома истинное спокойствие. Евгения моя одна прямо владела моим сердцем, влюблялся я во многих — любил прямо ее одну. Вот и ключ загадки моего с женщинами поведения. Во время моих отлучек князь Куракин возвращался через Владимир из своих деревень в столицу, но вместо меня угощаем был теперь женой моею. Проживши в ином городе больше, в ином меньше времени, наконец, отделавшись во всех трех по делам службы, воротился совсем домой пред святками и дожил год настоящий в своем семействе.

Московский дом наш имел свои в этом годе неудачи. Матушке угодно было для приращения доходов своих снять уезд Богородский с городом на откуп, но скоро убыток, хлопоты и совершенная дела того расстройка в руках ее показали, что подобные предприятии совсем не женское дело. Престарелые лета ее не допускали многое своими глазами видеть, поверенные плутовали и наживались. Матушка входила в долг и, по счастью, рано удостоверившись в бесполезности своего намерения, отступила от оного не без значительного урона, с которым сдать она принуждена была откуп другому и кончить все по части сей расчеты. Узнав о сем и подробностях этого случая, я не мог принять его равнодушно и сколько жалел о беспокойстве матушкином, столько и о долгах, коими обременилось оттого небогатое наше состояние. Но когда Бог не совсем тварь свою оставляет, тогда найдутся и между добрыми людьми благодетели. Сестра двоюродная матери моей княгиня Голицына вспомоществовала ей ссудою нескольких тысяч, и по времени заем сей обратился в подарок, который изгладил все последствии несчастного сего предприятия и сделал их для дома совсем нечувствительными.

Еще представляется на память в конце сего года опыт счастия моего в связях сердечных. Если я имел в жизни моей многих сильных завист-

ников в своем поле, которые беспрестанно искали мне преграждать пути к высшим степеням, по крайней мере, сие вознаграждалось искренностию в приязни от тех женщин, к коим я по временам привязывался. Княжна Варвара Петровна Волконская, ставя себя выше моих непостоянств, которые она не могла не угадывать при всем старании моем скрывать их, обратила все свое внимание на то, чтоб услугами, прямо от сердца происходящими, приобресть вечное право на признательность мою и уважение. Люди не могут быть всегда любезны, но от них зависит принудить к почтению себя себе подобных. Так и княжна Волконская, посредством княгини Пр<озоровской>[22], своей родственницы и ближайшей ко двору особы, выпросила меньшому сыну моему Алексаше пажеский чин. Мы нечаянно получили ему пашпорт впредь до окончания наук. Таким образом, он мог жить при нас и уже числился в службе. Неожиданный сей случай обрадовал чрезвычайно и жену, и меня. Как часто мы радуемся и сетуем, не зная сами, о чем! Глядим на происшествии в настоящем их виде, будущих его отношений не знаем, плачем или смеемся, а время, распустя широкие свои крылья, летит и, увлекая нас с собою из последствия в другое, удостоверяет нас поздними опытами, что все на свете суета! Не бросая взора нашего отсюда далее, порадуемся покамест приятному событию. Новому нашему пажу сшили мундир в Москве, и к святкам он и брат его Павел к нам приехали на свободное от классов время поиграть, порезвиться и нас потешить. Приехали также посетить нас шурин мой и Полчанинов из Нижнего. Завелись забавы, святочные игры, театр, как начало всех наших удовольствий, и мы полным смехом до последней минуты года смеялись, не чувствуя, что Бог приготовлял дому моему гибельное горе и что близок был предел счастливых дней моих.

1804

Во все сорок лет жизни моей История моя не приводит мне на память года ужаснее настоящего. Многим подвержен я был, как и видно, по временам огорчениям, но никогда еще не отяготилась на мне так, как ныне, рука Божия[1]. Небо приготовляло сердцу моему чувствительнейшую потерю, которую хотя человек не токмо переживает, следовательно, сносит, даже иногда как бы и забывает, но возвратить ее ни самая чудотворная десница Вышнего не может. Тяжело описывать болезни душевные! Простые событии жизни человеческой текут у писателя свободно,

но историк собственного своего сердца часто останавливается, перо его долго тянет каждую строку, так буду я действовать своим в теперешнем упражнении. Вступим в плачевное поприще 1804 года.

Зима была веселая. Каждый день оканчивался забавами или публичными, или по домам. Общее согласие придавало им цены. Ничего ему не препятствовало, ибо вице-губернатор, воспользовавшись отпуском своим тотчас в начале года, поехал в Петербург. Жена моя, обнадеясь чрезмерно на свои силы и относя подкрепление их действию климата и возвышенной тарелке города, нарушила правила привычки своей и из строгого уединения явилась на всех балах, посещала маскарады и любила удивлять с публикой вместе меня нечаянным своим туда приездом под нарядом вымышленным, в котором никто ее не умел отгадывать. Более всего занималась домашним театром и с превосходным искусством развернула в последний раз старые свои в сем роде даровании в роле Амалии в «Сыне любви»[2]. Словом, она спешила жить. Все ей рукоплескало. Все ею восхищалось. Совместницы ее крылись в тени, и ничто не оспоривало ей постоянной победы над моим сердцем. Так прошел генварь и часть февраля. Но среди сих увеселений, не умея еще предчувствовать ожидающей меня напасти, самолюбие мое встревожено было сведением, что некоторые губернаторы получили в знак монаршей к ним милости прибавочные столовые деньги. Если бы те только удостоились сего преимущества, кои были меня старее годами службы, я бы остался покоен, но, в числе отличенных от прочих находя Хованского, я не мог сохранить философического равнодушия и возобновил к министру настоятельные просьбы о повышении меня чином, которого за всеми обещаниями двора я еще не получил. Я не искал никогда наград ранее других и ожидал их терпеливо, но отставать от сверстников своих и даже людей себя моложе почитал излишним смиренномудрием. Философия хороша в уединении, когда человек уже без зубов. Христианское смирение превосходно в обителях, но в службе животворная стихия человека — честь, и все, что ее трогает, неприятно. Я пожертвую другу, приятелю достатком, судьбой, самой жизнию, но нет такой связи в привычках наших моральных, для которой пренебрег бы я цену заслуг моих по службе. Во ожидании успехов моего письма, занимался я в городе выборами судей в три восстановленные уезда. Все тамошние дворяне съехались. Обряд выбора исполнился в строгой точности, и судьи разъехались по своим местам. Хотя зимние поездки не очень меня забавляли, однако я счел приличным отправить при себе торжество открытия упраздненных городов и сам

был в Судогде и Коврове. Александров по отдалению своему поручил я открыть председателю Уголовной палаты г. Х<омякову>. Тщеславный сей человек, обрадовавшись назначению себя, с удовольствием проскакал верст триста для того, чтоб лишний молебен с многолетием отслушать в жизни, а я то же дело исправил в ближайших городах. Там святили воду, носили иконы, читали в избах, судами названных, прекраснейшее предисловие Учреждений о губернии и начали православных после того судить да рядить.

Удовлетворилось наконец сильное желание мое, и, будучи в Коврове, получил я 7 февраля известие, что я пожалован в тайные советники. Матушка прислала с сим известием нарочного к жене, а жена поспешила о том уведомить меня. Откровенно скажу, что в первую минуту я с малодушием обрадовался моему повышению. Чем упорнее я просил об нем, чем несправедливее лишался, тем приятнее становилось мне мое приобретение и тем ценнее, что чин сей редко и с большим трудом кому-либо жаловался. Но после первых движений радости какое-то глубокое уныние омрачило мою душу. Я давно питал суеверную мысль (кто естество случаев постигнет?), что в жизни моей каждая сильная радость предварять должна была сильную печаль. Постоянная мысль о том тревожила воображение мое всечасно. Я не видал еще начал готовящегося мне зла, но, как бы предчувствуя его, тосковал уже, и скрытая сия тоска поколебала физические мои силы. Я почувствовал нервические припадки, расстройку в животном механизме: то содрогался, то с умилением плакал и в бесполезных советах с нашими врачами искал лекарств от душевных тревог, которых никто излечить не может. Пока в разъездах я так мыслил и чувствовал, жена моя в Владимире разнемогалась простудой, и я, воротясь домой, нашел ее уже нездоровой. Однако это не мешало ей разделить радости своей со мной. Общие поздравления, льстивые приветствии чиновников рассеяли на короткое время мои черные мысли, и 21-го числа я в Инвалидном доме, воздав хвалу Богу, прочел вслух всего народа на новый чин мой установленную присягу. Указ о пожаловании меня получен был 18-го числа февраля, а состоялся он генваря 30-го. В другое время театры, балы и разные домашние забавы сопровождали бы тщеславную мою радость, но ныне все поражено было около меня, и сам я ничего веселого не мог вымыслить по причине худого состояния жены моей, в которой все признаки болезни ее ничего не предвещали хорошего. По получении указа я принес благодарность графу Кочубею за его о мне благосклонное ходатайство и вместе с тем, писавши к господину

Сперанскому, первому под ним письмоводителю, просил и того, и другого доставить мне отпуск на двадцать девять дней в Москву. Я хотел только повидаться с матушкой и порадовать ее своим повышением, но после увидят, что сей отпуск послужил на другое употребление, и, по несчастию, весьма кстати приготовлен мною был без всякого умысла к обстоятельствам грядущим.

17 февраля возобновилось у жены харканье крови. Она почувствовала, что приближается ее кончина, но до самой последней минуты старалась скрыть от меня свою опасность. Более всего поражала ее нечаянность случая. С самого приезда в Владимир не быв подвержена сему припадку и укрепясь в силах, думала она, что поправилось ее легкое. Ошибка сей надежды ее сильно тронула. «Нет ничего, — сказала она, — мучительнее, как терять обольщение». Все остальное время страдальческой жизни своей провела она в посильных упражнениях: читала, писывала и механическими занималася работами. Сколько я ни обманывал себя чаянием, что, подобно прежним ее опасным болезням, пройдет и эта, но часто, часто приходили такие минуты, в кои неизреченная тоска съедала мою душу. Еженедельно почти посылал я нарочных в Москву советоваться с докторами Фрезом и Политковским. Здешний врач посылывал им описание ее состояния и получал от них иногда рецепты, иногда простые наставлении, из коих легко можно было догадываться, что приближался час для меня ужасный. Около того времени все дети мои, кроме Вареньки, в доме нашем соединились, ибо встретился хороший иностранец Крейц за сходную цену. Я его принял и поручил ему обучение моих малюток. Таким образом старшие сыновья и вышли из Университетского пансиона. Это облегчило несколько сердечные мои заботы, и я весь занят был одной Евгенией.

Масленица была скучна и для города вообще. В доме нашем веселости исчезали. Вся публика предвидела глубокий его траур. Многие жители поскакали прогонять скуку в Москву. Город, против обыкновенного, стал пуст. В самое это время явился к нам из Москвы князь Юрий Владимирович Долгоруков на всю первую неделю поста[3]. Причина его приезда была болезнь жены моей. Он узнал от доктора своего Фреза, что жена около марта месяца, по всем вероятностям, скончает жизнь свою, и, полагая случиться этому на днях, приехал навестить меня, укрепить в подвиге терпенья и при несчастии решительном устроить мое семейство. Вот вина его приезда неожиданного в нашу сторону. Он скрыл ее под предлогом тем, что желал будто бы лично быть при торгах в Губернском

правлении на продажу имения, ему полезного, которая назначена была на первой неделе поста, и между тем, живучи на квартере в губернском городе, он рассудил отговеть у нас, а вместе с ним и я долг сей исполнил.

Посещение княжее утешительно было для больной. Какое приятное доказательство прямого участия! Какая черта нежная благотворительного сердца! Вот как поступает вельможа благодетель! Перенимайте внимание такое, сибариты света, гордящиеся нередко самыми бедными услугами вашими. Вы все делаете из одного шуму славы, вам не принадлежащей. Живите больше по сердцу, нежели по расчету, и тогда вас боготворить будут ваши клиенты. По прошествии первой недели поста князь Юрий Владимирович, осыпав нас ласками и простясь навсегда с моей подругой, возвратился к своему семейству.

Жена моя, не́ тая, как видели выше, от одной себя своего положения, истощала последние свои силы в пользу детей своих и, описывая угрожающую ей опасность в письме к императрице вдовствующей в надежде тронуть ее своим болезненным состоянием, просила наградить дочь нашу княжну Марью фрейлинским достоинством. Письмо сие, слогом сильным и с сердечным жаром написанное, препроводил я через Ливеншу в свое назначение, но оно не произвело никакого успеха, ниже́ коснулось сердца монархини, удовлетворяющей одним видам политики в самых даже благотворениях своих. Не должно ошибаться и в самой добродетели. Не всегда она прямые свои признаки кажет. Есть люди, кои делают доброе другим для наслаждения своего собственного сердца, другие делают его тогда, когда оно обращается им в честь, и тем, кои могут молвой своей их возвысить в народе. Одних поддерживает человеколюбие, прочих гордость. Из сего последнего источника влеклись благодеянии монархини, и потому дочь наша не получила желаемого умирающей ее матерью. О, сердце медное! Душа, северным льдинам подобная! Чем ты оправдаешься на суде немздоприимном в равнодушии толико жестоком к питомице твоей несчастной? Но в первый ли раз пишу я здесь о такой убивственной холодности? Сколько опытов ее читатель мой пробежал в годах, предшествовавших настоящему? Если жена моя, следуя некоторому простительному тщеславию, и решилась писать о сем предмете к государыне, она не столько уверена была в благонадежности успеха, чтоб сильно неудачей огорчиться. Больно было ей, конечно, не иметь даже ответа на письмо свое, но она великодушно перенесла сие новое и последнее от двора личное ей оскорбление. Впрочем, поступок ее происходил от горячего желания устроить судьбу старшей дочери нашей и оста-

вить ей по себе значительный степень в образованном свете по общему мнению. Тогда как она заботилась о жребии дочери, я писал к графу Кочубею и просил позволения записать сына своего старшего в службу с причислением его для навыка в делах к своему стату. Для молодых людей благородного происхождения введен был в обычай чин коллегии юнкера[4]. Еще дворяне с трудом привыкали вместо чинов гвардии офицеров, кои так дешево при Екатерине раздавались в знатные фамилии, определяться в коллежские регистраторы. Павел, покойный в могиле, но беспокойный в животе своем, истребляя под видом ненависти к злоупотреблению и самое снисхождение к заслугам, ввел в порядок без разбора всех, не служащих капралами, фельдфебелями и прочими низкими чинами в войсках, вписывать в гражданское сословие званием приказнослужительских, а дабы для высших дворянских домов смягчить сей суровый закон, учреждены были коллегии юнкеры, из коих жаловали прямо в титулярные советники. Хотя все эти оттенки слабее и ничтожнее были последнего чина в прежней гвардии, однако из худого казалось это лучшим, да еще и тут нужно было теплое иметь прибежище к особам, значущим у двора и доверенным. Сего-то преимущества и я просил для сына своего, но в свое время увидят, что я ничего приятного не получил без сугубых настояний.

Мрачная погода, продолжительное и суровое ненастье, туманы, вьюги делали весну настоящего года самой скверной, и жена час от часу приходила в вящее расслабление. Истощились очевидно жизненные в ней соки, редкий день проходил без потери крови горлом. Все медицинские средства теряли свою пользу. Везде казалось ей душно и тесно, беспрестанно просилась на воздух, но нельзя было даже и отдушин надворных открывать, дабы не усиливать простуды. Пропадал аппетит, притуплялись чувства. Одно еще чтение ее занимало, и в последних днях жизни своей она заставляла читать «Тысячу и одну ночь» по-французски. Вслушивалась в десятое слово, потому что мало-помалу изменял ей слух, и до того под конец она стала слаба, что нельзя было иначе с ней говорить, как с напряжением голоса. Лишение сего чувства прекратило беседы между нами. Не все я мог ей сказать так, чтоб никто, кроме ее, не слыхал. Сия предварительная преграда обыкновенной нашей взаимности в разговоре готовила меня к потере друга искреннего и единственного в Евгении. Я видел еще ее, сидел с нею, но уже мысли наши не смешивались вместе, и в сем толико нежном, толико драгоценном в супружестве отношении Евгении для меня не было уже на свете. Известно, что в по-

добных болезнях, когда грудь и легкое преимущественно страждут, люди умирают почти вдруг, сохраняя до последнего вздоха самую свежую память. Здесь, напротив, жена моя от чрезмерной слабости часто забывалась и без сна бредила до того, что надобно было затворять к ней двери и оставлять ее одну, ибо она по получасу без умолку говорила, требовала ответов на нескладные свои мечты, и от насильственного такого труда грудь приходила в пущее утомление. Что мне оставалось делать, глядя на такое плачевное разрушение всего ее состава? Я терзался, плакал, унывал до отчаяния и все то принужден был, однако, скрывать от глаз ее. Когда она приходила в себя и при ясной минуте солнца чувствовала несколько себя свежее, она любила поиграть минут пять в билиард и от такого маленького упражнения уставала, как бы от тягчайших трудов. Занята была беспрестанно в мыслях мной и старшей дочерью и, когда бредила наяву, то всегда твердила о том, что я на днях получу ленту, а Маша вензель. Хотелось ей исполнить христианский долг, исповедаться и причаститься, но, боясь, чтоб действие такое меня не испугало, она с свойственным ей благоразумием уверила всех, что ей хочется говеть установленным порядком. Целую неделю поста отправлялась в комнатах ее служба, не могла она только быть в церкве у обедни. В субботу Лазареву 16 апреля священник, духовник наш, отслужа ее, приходил в спальну к больной с потиром и тут причастил ее. Она, одевшись нарядным образом, как бы в день торжества, ожидала святые дары с христианским духом и верою. При виде их встала и, стоя на ногах, прочла сама все положенные молитвы. В толь трогательные минуты, когда вера, одно сие превосходное чувство, одушевляло ее и наполняло ее сердце, я, скрываясь в другой комнате, цепенел, падал пред образом Божьим, не видя ни неба над собой, ни земли под ногами своими. Ужасно терять то, что мило! Нет казни жесточей в тленном нашем мире! После причастья она была тиха, спокойна. Казалось, ничто ее не волнует, и мысль о смерти будто бы даже весьма далеко отстояла от ее рассудка. Так подкрепляет нас Всесильный, когда требует природа от нас последней дани своей. Все ожидали, что со вскрытием рек кончится жизнь ее, но когда прошла Клязьма, и жена в одном и том же положении осталась, луч надежды ободрил меня. Я думал, что царь небесный остановил еще на время столь близко нанесенный удар. Увы! Промысл Божий только медлил, но не отменял приговора своего. Время не менялось, воздух был сыр, холоден, губителен для слабых. Самому мне потребно было развлечение для сохранения не столько сил телесных, как целости умственных способно-

стей. От природы наклонен будучи к ипохондрии, я мог впасть в самый крайний ее степень, смотря беспрестанно на страдальчество жены моей. Мне советовали съездить куда-нибудь. Сама жена, деля нежную душу свою между мной и собою, убеждала меня пошататься на других местах, озаботиться иными предметами, но чем мог я заняться, видя жену страждущу, кроме ее болезни? Везде за мной шла тень ее, и страх сопровождал меня на каждом шаге. Однако поехал в конце апреля по городам с намерением возвратиться домой через неделю и посетил некоторые ближайшие уезды. Святую неделю провел в слезах и унынии жестоком дома[5]. Евгении хотелось непременно, как и в прежние годы, слушать позднюю заутреню в покоях. Она во все время отправления ее сидела, забывалась часто и говорила в бреду. В последний раз тогда мы с ней во имя воскресшего Христа облобызались. Она улыбнулась, прижала меня к сердцу и тотчас забылась. В груди моей, в этой груди, которой физическую крепость стократ тогда желал вместо себя Евгении, спирались бесчисленные вздохи. Поцелуй ее глубоко отозвался в сердце моем, и минута забвения ее была для слез моих минута свободы. Я заплакал... Бог один, оставшись между нами в покое, ибо священник с иконами проходил сквозь все прочие, Бог видел, как сильно чувствовал я тогда крепкую его руку.

Объезд мой был для службы бесполезен. Мог ли я ею заняться? Везде, казалось мне, ждет меня нарочный с последним известием о жене моей. На всех лицах, думал я, изображается пагубная для меня тайна, что нет ее более на свете. Так провел я дней с десять вне дома и воротился к умирающей подруге. Без меня, как и при мне, оставалась она на руках Александры Абрамовны Веберовой, которой одной сама она доверяла все о себе попечении. Она от нее не отходила, подавала ей лекарства, хранила ее ключи, кормила ее, заботилась о довольстве и возможном спокойствии во всяком смысле, и никто не был, кроме ее, столь близким свидетелем мужественной кончины Евгении. Сестра моя делила с ней труды ее и заботы. Упомяну здесь о случае, доказывающем, сколько жена моя отвращалась от Москвы, от предчувствия ли, что в ней лягут кости ее, или от иных причин, но когда я, видя ее опасну в жизни и не полагая надежды в искусстве наших врачей, советовал ехать в Москву, отзыв ее был решителен и резок: «Когда бы, — сказала она, — я знала, что в Москве меня точно вылечат, и тогда лучше соглашусь умереть здесь, нежели ехать туда». Можно ли сильнее не любить какого-либо края? По свойству, по уму, по дарованиям этой беспримерной женщины,

скажем откровенно и без ошибки, что судьба должна была основать жилище ее не в провинциях, а при дворе, к которому призывали ее самые редкие моральные качества и познании. Но душе ее предоставлено было от небес пройтить всеми угнетениями жизни человеческой, и жизни самой незавидной, чтоб в незазорной чистоте чувств услышать безропотно, так, как она, глас Божий, призвавший ее к вечному блаженству.

При всей слабости, главный предмет ее заботы был успокоивать меня и удалять от сердца моего мучительные тревоги. На сей конец 8-го мая, день моих именин, она потребовала, чтоб был прием всем, как и ежегодно. С принуждением последних сил своих она нарядилась и вышла в собрание. Я был болен сам и едва таскал ноги. После обеда она даже занялась картами, и хотя во время игры иногда забывалась, но по окончании ее порядочно со всеми разочлась и во весь день, к общему удивлению, соблюла с каждым лицом все приятности гостеприимства. В последний раз публика владимирская испытала в тот день беспримерное ее с собою обращение. 10-го числа она настоятельно хотела, чтоб я с ней отужинал; разделила со мною цыпленка, глядела мне долго в глаза, испытывала мысли мои молча и, казалось, отгадывала в чертах моих положение души моей. Едва доставало сил во мне притворяться глаз на глаз с нею. Она обыкновенно уже сыпала худо и мало, и все сидя, потому что кровь часто приступала к легкому. Вставала или пробуждалась часа в четыре и тотчас пила чай. Вот как начинался каждый день ее, и все они уже давно были для нее мучительны. Я всегда спал на полу подле дивана, на котором она изнемогала. Какой сон! Всякий кашель ее будил меня в трепете. В несчастную ночь на 12-е число, по неизъяснимому какому-то расположению слепого случая, вздумал я ночевать в другой комнате. Один бросился на пол и проспал до четырех часов утра. Вскочил, зашел к жене, нашел ее за чашкой чаю. Кашель ее почти уже не прерывался. Поглядел на нее, и только что прилег опять в той же горнице, где ночевал, как самым крепким сном уснул. Давно я не был так усыплен, как в эту несчастную ночь. Бог ли, или случай удаляли меня таким образом от зрелища, которого конечно бы не перенесла моя физика. Сообщу здесь странное приключение, оно вяжется с Историею моею очень тесно. В этот час крепкого сна я вижу вдруг около себя мрак повсеместный или как бы черный щит перед собою, на нем вижу вензель княжны Варвары Петровны Волконской, ничем не окруженный, кроме темноты ночи. Вздрогнувши, принимаю сновидение за предзнаменование ужасное. Вскочил, мятусь, бегу в исступлении к Евгении... Бессмертная душа ее уже с не-

бес взирала на земное свое жилище и на друзей своих, от нее отлученных. Евгении не было уже в живых, и роковая минута ее свершилась. Уже меня в общую нашу спальну не пустили, и Александра Абрамовна первая, не сказав мне ничего на вопрос мой: «Какова жена?», источником слез отвечала довольно ясно, что нет для меня Евгении другой на свете. Пока я спал, как убитый, жена начинала издыхать. Александра Абрамовна, мама немка и няня были свидетелями ее кончины. В шестом часу утра сильное харканье крови возвестило последнее действие природы. Жена, не теряя памяти и тут, велела крепко перевязать себе руки, дабы остановить геморрагию[6], но без четверти в шесть часов на руках сердобольной мамы немки, сидя в больших креслах, без стону испустила чистую душу свою в недра Отца светов, и смертию поистине праведнической прекратились дни ее. Так угодно было Богу лишить меня 12-го мая 1804 года жены, друга, подпоры, отрады в напастях, совета в искушении. Не скажу лишнего, когда изреку, что в ней лишился я души своей, ибо жизнь моя после нее была тоска беспрерывная, дом наш — жилище гроба. Остались мне, как сыну персти, желании плоти в наследие, но с концом жизни Евгении прекратилась жизнь моя моральная. Я многие пренебрег отношении, удалился от общества и грубеть начал в диком невежестве, но Бог, чудодействуя в нас, чрез время возбудил меня от глубокого уныния и бездну зол моих умерил. Господи! Ты сильной от меня потребовал жертвы в день он! Тебе единому принес я ее в покорности чувств моих! Как Авраам нож взносил на сына своего, так я с бренным телом Евгении закалал перед Тобой на гробе ее душу мою! Ты возвратил Исаака отцу своему[7], и я, веруя неложным Твоим обещаниям, чаю, что воскресишь ее со мною вместе в последний день.

Обратимся к земному позорищу. Говорить ли мне здесь о первых движениях сердца моего, когда я узнал, что Евгения уже не дышит? Я не заплакал — я онемел. Трепетали все члены мои, черты лица в беспрестанном были движении, глаза сверкали на всех, как углие огненное. Разум, в бешеном исступлении, изменяя естественному своему свойству, отвергал Божество и не способен был вмещать спасительных утешений религии. Сердце изливалось в речах нестройных и, подобно Иову на гноище, я клял день рождения моего[8]. Прижимая одних сирот своих к избитой груди моей, я ненавидел все, кроме их, в природе, все мне казались чужими. Долго теснились вздохи во внутренности сердца, и не было мгновения ни днем, ни ночью, в которое бы Евгения не представлялась очам моим, всегда обвороженным ею. Кого чтил я наравне с нею? Ни-

кого. Кого любил паче ее? Никого. Кому верил так, как ей? Никому. Я не мог оставаться без нее в пространном нашем доме. Я терял последние силы рассудка, глядя на все окружающие меня предметы, итак, решился, имея отпуск, уехать хоть на неделю в подмосковную. По непонятному какому-то в нынешнем годе капризу природы все непогоды весенние прекратились 12 мая. Минута смерти бедной жены моей казалась определительной минутой вёдра. Лишь только удалилась от нас блаженная душа ее, как взошла прекраснейшая и первая летняя заря на горизонт вещественного мира. Солнце в лучезарной своей порфире воспрянуло вдруг из темных облаков, его облегавших, и ударило блеском молнии во все стеклы нашего дома, но теплота его уже не согревала бездыханной Евгении. Тщетно с крайним нетерпением ожидала она ясных дней. Они присуждены были ей на небесах, а не в юдоли нашей, а мне красота натуры была в тягость. Она удвоивала муку мою. Правда, что весна — тяжелое время для несчастных. 14-го, взявши с собою старшую дочь мою и Александру Абрамовну при ней, отправился я в Никольское. Александра Абрамовна, не покидавшая страждущей жены моей ни на минуту, беспрестанно говорила о ней со мною, занимала ею одною воображение, ум, сердце и все чувства. Я наслаждался этою беседою и иногда плакал, выл даже, как воют люди простые в бедах естественных. Так путешествовал я до места. В Никольском новые слезы, стенании и биение сердца; все растравляет обыкновенно свежую рану. Безделица дает рикошет и усиливает снова удар судьбы. Несчастное селение! Никогда я не ездил в него веселиться. Прежде, ныне и после всегда был за тем, чтоб тосковать, грустить, печалиться. Как скоро беда — то я в Никольском! Есть, подлинно, и сам я в этом с опыта согласиться должен, есть места фатальные, в коих мы никакой отрады находить не умеем. Отчего? Не понимаю, но это так, — неоспоримая истина! Если и суеверие, то весьма простительное, когда оно утверждается многими событиями сряду. Возвратимся мысленно в Владимир и посмотрим, что там происходит. Сестра моя, оставшись с детьми в доме, распоряжала церковною церемониею. 15-го числа, воскресный день и день особенного праздника в Владимире, потому что в Девичьем монастыре почивают мощи св. Авраамия, коему учреждено торжество в третье воскресенье после Святой, неделю расслабленного[9], избран был для выноса тела в церковь. Несмотря на крестный ход, который обыкновенно отправляется в женский монастырь из собора, архиерей со всем духовенством сопровождал тело в летнюю церковь архиерейского дома, где оно и отпето с подобающею первой осо-

бе своего пола в городе честию. Прекраснейшая погода привлекла нарочитое стечение народа к городскому празднику, который соболезнованиями всей публики о смерти жены моей весьма был умален. Все ее чтили, отдавая должную справедливость редким ее качествам, все ее любили, воспоминая приветливость и ласковое обращение с каждым, и потому вся церковь наполнена была плачущими о ней, тем более что сокрушилась с нею пружина, сильно действующая на нрав мой и поступки. Всякий терял благородного за себя ходатая, твердое в ней защищение в случае опасности, ибо ею умерялись вспыльчивые движения моего сердца, когда оно и по необходимости должно было к строгости обращаться. Сколько монахи ни нечувствительны, что доказывается многими случаями, но и архиерей плакал над гробом ее. Тщетно лучший из проповедников города искал утешить витийством речи своей соборище церковное, все тронуты были мертвостию Евгении, все сопровождали ее в землю с искренними воздыханиями. По кончании обряда в церкве гроб несен был чрез весь город к заставе и на пути у самого того дома, в котором прежде сосредоточивались все ее забавы и попечении, в виду рожденных от нее, которые рыдали на балконе и за малолетством своим не могли втесниться в улицу, отправлена была надгробная лития[10], последний и плачевнейший долг христианства, которым ублажается еще не совсем истлевший человек на земле. Вышед из заставы, процессия возвратилась в город, а тело, заколоченное в ящик, повезено в Москву в Донской монастырь. При сей печальной церемонии присутствовал и зять мой граф Ефимовский, нарочно приехавший из Москвы отдать родственнице, прямо сожаления достойной, долг любви и почтения! Весь дом мой московский: мать, сестра, ближние и слуги, все, получа от меня сие известие, сколь ни было оно по обстоятельствам ожидаемо почти вседневно, все поражены были, как сильным ударом громовым, и слезам их не было меры. 18-го числа мая, Преполовеньев день[11], тело привезено в Москву и встречено у заставы духовником нашим[12], который и препроводил оное до Донского монастыря, а там архимандрит[13] с собором вселил его в землю. Природа, нежная мать всех поживших в свете, приняв ее в свои недра, успокоила от тягости мирских искушений. Она уврачевала ее болезни, отняла печали, лишила скорби чувствительное сердце, прекратила вздохи болевшей души ее и скудельную человеческую оболочку превратила в собственную ее стихию. В утробе земли Евгения невозмущенным сном пролетит тьмы тысяч лет и когда, услышав глас сына Божия, оживет, тогда, Господи, удостой ее воскресения живота, даруй бессмертие и

жизнь вечную той, чрез которую ты же, великий мира нашего Творец, велел мне познать и убедиться, что страна земнородных бывает иногда и быть может страной истинного блаженства.

Скрываясь от всех глаз и от докучливых посещений, в коих расточает каждый ничтожные вещании, жил я несколько дней в Никольском. Тут навестили меня сестра моя с другою сиротою, среднею моею дочерью, и давний мой приятель Нарышкин, который, узнав о моем несчастии, тотчас прискакал ко мне. С ними я мог на свободе плакать, без жеманства предаваться жестокому моему огорчению и не теснить в груди моей спирающихся вздохов. Уныло текли дни мои и ночи. Лишенный дражайшего товарища, я никого на ту же степень не мог приближить к моим чувствам. Чтоб более еще ощутить всю силу моей потери, я прочитывал все письма жены моей, в разные времена ко мне писанные и бережно сохранившиеся. Из них видно было, с какими дарами природы Бог произвел ее на свет. Я по истечении года войду в подробное об ней и нраве ее рассуждение и приложу его к Истории моей, дабы всякий из детей наших научился отдавать бесподобной матери своей должную справедливость и с уважением чтить ее память.

Пора было возвращаться в Владимир. Несносно было мне о том и думать, но приближался срок, а домашняя моя беда не должна была останавливать службы. Итак, я, собравшись, поехал в Лавру, не с тем, чтоб молиться (я еще не умел смирять сердца своего пред Богом и коснел в ожесточении), но чтоб любопытными предметами сего места развлечь мрачные мои мысли и устремить их хотя мгновенно на что-либо новое. От тоски сердечной никуда не уйдешь. Она везде с нами, потому что мы носим ее в себе. Ничто не уменьшало ее, ничто не притупляло острого жала печали в душе моей. Пошатавшись там и сям, опять нашел себя в Владимире, и в том же доме, в котором жил с Евгениею, теперь один-одинохонек не умел долго ни с чем сообразить. Граф Кочубей написал ко мне партикулярное письмо, коим о потере моей изъявлял чувствительное сожаление, и тем еще более привязал меня к себе. Всякое внимание начальника есть неоцененный дар для подчиненного. Многие дорожат одними видимыми наградами, я всегда искал и выше всего ставил поступки. Министр самые благосклонные мне оказывал беспрестанно и по просьбе моей, о которой выше писано, в настоящее время уведомил меня, что сын мой Павел может быть принят в службу, но не иначе, как студентом, а когда я примечу в нем навык к трудам гражданским, тогда он по представлению моему будет произведен в коллегии юнкеры[14]. Та-

ков состоялся указ государев о нем 7-го числа мая. Спорить нельзя, но рассуждать можно. В этом определении, совсем новом в своем роде, ибо студент есть звание академическое, а вовсе не служивое, очевидно, как легко нарушаются у нас все публичные учреждении. Если университетам дано было право жаловать студентами под условием, что, записываясь в службу, студент получал тотчас четырнадцатый класс, то по какой причине сие постановление лишилось своей силы в отношении к моему сыну? Где дело идет о законных преимуществах, там надобно забывать лицо. Сын мой, удостоенный Университетом в студенты, не иначе должен был приниматься в службу, как в 14-й класс, и когда, предположим, что его не соизволял государь произвести в коллегии юнкеры прямо, то приличнее было вовсе отказать, нежели затем, чтоб не сделать много, лишить молодого человека даже и следующего ему. Сверх того, что такое студент в службе? Никогда их не бывало. Зачем сын мой осужден был быть образцовым? Ясно, что в России один произвол творит закон. Положим, что здесь случай бездельный, не государственный, но отступление от порядка в мелких вещах часто портит и большие действии. И что за условие с отцом, чтобы он представил о своем сыне, когда он в нем приметит способности? Какой отец рекомендовать будет своего сына? Если б он и очень достоин был, отцово дело просить о нем, а не хвалить. Похвала такая всегда подозрительна. Заключим тем, что многое начинало делаться без рассмотрения приличий, а как-нибудь и по движениям первой минуты. С этого времени сын мой приведен к присяге и стал числиться в службе при мне.

Занятии по службе не довольно разбивали мою черную меланхолию. Мне нужно было ездить, трястись по дорогам. И так я между разными за город отлучками был на Троицын день[15] у графа Воронцова в Андреевском. Вельможа сей и канцлер, соскучившись, как видно, у двора или ему наскуча сам, приехал в конце зимы умирать в свою деревню. Тут иногда он забавлялся театром, на котором играли его слуги. Сохраня при себе полный свой штат, он нередко перепиской напоминал о себе в Петербурге. Важные дела иначе не решались по его части, как с его окончательного совета, который почта возила из края в край, а между тем дела стояли. Странная политика: удалить человека для того, что он не нравится, и в заочности его не уметь без него обойтиться для службы. Граф Воронцов был человек мрачный, уединенный, нелюдим в полном смысле слова. У него и с ним всегда было скучно. Разговор его был скрыт и часто прерываем глубоким молчанием. Всякую минуту гость его чувствовал

около себя холод равнодушия, и ничто на пасмурном его сиятельства лице не изображало улыбки. Таков был граф Александр Романович Воронцов. Приемом его я был очень доволен, но не место я выбрал для рассеяния, особливо в такой день, как Троицын, который жена моя любила особенно и в который мы вместе сливали в храме Божием наши слезы на свежие пучки новых весенних цветов[16]. Визит мой сжимал всего меня, и это принуждение одно мешало мне несколько раз в день заплакать. У графа готовился театр, но я, отобедавши, удалился, увезя с собой тысячу напоминаний о покойной жене моей, найденные на самом месте. Здесь некогда жил швейцарец la Fermière, который сочинял для двора те оперы, что мы на Каменном острове разыгрывали. Здесь он умер и похоронен. Над ним мраморный поставлен мавзолей[17]. Покои его остались в том виде, как были при нем, и в них я узнал портреты нескольких наших современников у Павла, с коими мы так приятно делили осенние вечера в Гатчине и Павловском. Все это снова омрачило душу мою. Новая кровь потекла из свежей раны сердечной, и я едва сохранил, прощаясь с графом, все пристойности общежития, которые не позволяют человеку ни плакать, ни смеяться по чувствам и движут его, как машину. Жалкое и бесплодное принуждение! Печали человеческие не имеют к облегчению своему определенного числа дней. Хотя время и действует на них, но меру его кто может назначить? Это зависит от силы чувств наших, от цены нашей потери. Однако общежитие и церковные обряды положили сроки наружным изъявлениям горести. По прошествии шести недель я распечатал ту комнату, где душа жены моей рассталася с моею, и снова лишился ее, когда увидел все предметы в горнице в том точно расположении, в каком они были при минуте ее кончины. Чтоб увеличить сию поразительную картину, недоставало только ее умирающей. Никогда не выйдет из памяти моей вид этой горницы и вид ее тогдашний. Рассматривая оставшиеся после нее в коробочках и столах бумаги, я удивился, найдя несомненный признак, что она, еще будучи здорова, как бы предчувствовала приближение своей смерти, ибо, не имея вовсе или очень мало попечения о пожитках своих, она 10 февраля занялась полною их описью, по которой только и можно было в порядок привести после нее комнатное ее имущество, чем самые служившие ей удалены были от всякого подозрения, да и предлогом ее беспечности не могли бы закрыть от оставшихся собственного своего или небрежения, или шалости.

Домашние заботы, а паче в новом состоянии моем при расстроенном духе [их] предстояло много, не могли ни отдалять, ни останавливать ход

гражданской жизни. Дом и служба в беспрестанной были связи между собою, и когда я удосуживался от одного труда, то предавался другому.

В учреждении Министерства просвещения вошло в правило обучать разным наукам все состояния людей в государстве. Старые народные школы образовались на новый лад, и вместо их открылись по губернским городам гимназии, по уездам штатные уездные и по приходам приходские училища, да сверх того еще приготовительные школы. Казна истощала большие доходы на созидании домов для наук и обзаведения их всем нужным. За недостатком потребного числа учителей для повсеместного вдруг водворения классических познаний набирали со всех сторон грамотеев и, наполняя ими штатные места, спешили открыть храмы наук везде. Дворяне дарили и волею, и неволею деньги, книги, машины, инструменты для наполнения кабинетов и заведения частных музеев. Мещане, слуги освобожденные, приказные записывали детей своих в ученики; итак, просвещение обтекало всю Россию с торопливостию ужасною. Не входит в мой план рассуждать здесь о пользе или вреде публичных учреждений, скажу только, что и в Владимире нынешним летом определено было открыть гимназию. Университет московский, старинный юношества наставник, прислал ради сего сюда одного из своих профессоров[18]. Он пригласил и меня по известной ему любви моей к словесности принять в этом участие и публичному торжеству содействовать. Сколько ни был еще я далек от всякого праздничного шума, но звание и благопристойность заставили перо, давно брошенное, опять взять в руки. Я говорю о пере стихотворном. Сочинил я оду на открытие гимназии[19]. Профессор ее одобрил. Она была прочтена с кафедры публично моим секретарем[20] и после напечатана. Всякое намерение благое или и самое нелепое обыкновенно предваряемо было в исполнении своем разными церемониями. Привезли архиерея, освятили воду, окропили учителей, учащихся и покои и начали краснобаить. Сперва профессор произнес продолжительную речь о пользе учености, после моей оды сын мой читал речь немецкую. Отборные ученики прочли свои приветствии, на разных языках заготовленные. Появились разнородные наречии из уст людей самых низких. Толпа всякой всячины, наполнивши залу собрания, слушала и третьей доли не понимала тех прекрасных изворотов слога, кои тогда общему вниманию предлагались. Публика рассматривала выставленные машины для физических и иных упражнений, коими ни один учитель не умел действовать. Мальчишки низшего состояния разбирали книжки и разные награждения за успехи в таких науках, о коих они и самых перво-

начальных понятий не имели. Вот как повсюду действует тщеславие и обман! Открылась наконец гимназия. В заключение музыка прогремела нескладную симфонию, певчие прокричали многая лета царю, министрам и всему сбору мужей ученых. Что потом? Натурально, ели, пили и, посылая многократно бокалы из рук в руки, желали философии благоспоспешества в народе. Полетели о таком отличном торжестве повсюду рапорты, зазвонили повсеместно газеты, а дома между своей братьи я прозван был, как водится, меценатом и покровителем наук. Как дешево покупаются самые отличные имена! Университет, однако, удовлетворясь моими жертвами и услугой себе в этом предприятии, пожаловал меня почетным своим членом и нарядил в синий университетский мундир. Этот кафтан, который я поистине могу назвать благоприобретенным, будет во всю жизнь мою лучшим моим нарядом. Ни клевета, ни зависть его с меня не снимут. Обязан будучи им одной благодати Божией, ниспославшей мне некоторые посильные дары природы, не боюсь, чтоб кто-либо лишил меня его преимущества, совсем от случая не зависящего. Публичные звании даются по претензии, по милости двора или вельмож, а то, что приобретается врожденными способностями, именными указами отнято быть не может. Со временем я не буду губернатор, не буду чиновник гражданский — членом университета назовусь и пребуду до последнего издыхания. В ризу его соскутаются* бренные мои остатки. Директор гимназии, некогда бывший моим секретарем, Цветаев, сопровождаемый сословием ученых здешних, поднес мне университетский диплом. Как самый верный агент своего места, он истощил, вручая мне его, все приветствии, кои щекотят самолюбие, и я не нечувствителен был к такому лестному вниманию того места, под сению которого некогда сам обучался и готовился быть обществу полезным. О бедный человек! Чем ты не возгордишься?

Гимназия открылась 7-го числа августа, и по прошествии трех месяцев моему трауру, кои истекли 12-го числа, пожаловала ко мне с навещательным посещением к Успеньеву дню мать моя и сестра с дочерью. Все они расположились в особом при доме и просторном корпусе и прожили у меня до 7-го сентября. Тогда же, как для матушки, так и для меня, наезжали хорошие наши приятели — госпожа Воейкова и княгиня Куракина. С сею последнею с того времени утвердилась дружеская моя связь, которая, по опытам судя, чаятельно, до конца наших дней взаимно отра-

---

* Соскутаться — закутаться (црк.-слав.).

дою нашею будет. Княгиня Куракина была женщина редкого духа. Испытав несчастия, хотя не образцовые для людей ее пола, но резкие по чрезвычайной ее чувствительности, она могла служить примером того, что человек в одних душевных силах находит способ сопротивляться бедам и жестоким предубеждениям человеков. Внешний суд всегда наносит нам пагубу, если мы внутренним судом своей совести не предохранимся от зол большого света. Княгиня Куракина, одаренная природным умом обширным, большими сведениями, воспитанная с отличностию, вела последние лета своей жизни в строгом уединении в деревне своей Шуйского уезда. Строгость правил ее не допускала никакой ошибки в чувствах моих. Любовь моя к ней сохранила черты одной искренной дружбы, которая впоследствии времени теснее соединила нас самых уз кровного родства. К усугублению не радости, а шума в доме послал мне Бог молодого француза, который в проезд свой из Москвы куда-то на город, поссорясь с женой и оставшись из отчаяния один в Владимире, приютился ко мне, полюбил меня за мое с ним благосклонное обращение и решился ожидать в моем доме выгодного себе помещения где-либо, — разумеется, в учители. Он был еще сам тех лет, в которые учатся, жив, скор, вертопрашен, словом, француз и весьма кстати попал в нашу семью, чтоб разбивать домашние сумерки беспутным своим бешенством. Имя его было Сен Винсан. Он придавал себе титло графа, имел хорошие аттестаты и виды из своего отечества, бранил французского самозванца беспрестанно, думал и поступать хотел как приверженец Бурбонского дома и с утра до вечера, на месте не постоя, резвился. Прекрасный учитель! Все мои родные были ему очень ради, потому что он заставлял и меня иногда против воли сквозь самых горьких слез улыбнуться. Но рано было еще действовать на нрав мой, веселый от природы. Все удручало мое положение. Самый приезд матери моей, перешедшей уже за семьдесят лет, в город ей незнакомый для того, чтоб видеть сына моих лет, овдовевшего, с кучею сирот, без имения, без друга, в трудах, не дающих ни покоя, ни пользы, самый приезд сей умножил горесть моего одиночества. Она терзалась, глядя на меня, я плакал, глядя на нее. Оба мы смешивали наши внутренние соболезновании о невозвратной потере. Короткость моя с девицами Вебер, а особенно с старшею, хотя занимала меня несколько в самые скучные часы дня, облегчала тягость их и наполняла ужасную пустоту душевную, но еще не глубоки были чувства мои к ней. Они щекотили только поверхность сердца, скользили по ней и всегда оставляли по себе убийственное сокрушение о умершей. Так прово-

дил я некоторое время со всею оставшеюся семьею вместе, и 7 сентября угодно было матушке отправиться назад в Москву. Осыпав меня милостьми своими, окропив слезами и наградив благословением, престарелая моя родительница оставляла со мною по себе ту же тоску, с которой я встречал ее в первый день приезда к нам. С нею по-прежнему поехали и сестра большая, и середняя дочь.

По отъезде матушки поехал я по городам и воротился к октябрю. Здесь место свое найдут два обстоятельства, коих начало, ход и последствии в большой были между собой противуположности, хотя и то, и другое от одного правительства происходили, из чего можно будет новое получить удостоверение, что в России люди правятся не по закону, а по совершенному капризу случая. При ревизии судов в Переславле встретил я множество недовольных тамошним исправником[21], который отличался примерною наглостью и по справедливости слыл буяном в своем околотке. Приятно служить с людьми благонравными, но, впрочем, когда чиновник и не очень дружен с строгою моралью, лишь бы не давал повода на себя жалобам, какое право имеет начальник привязываться к домашнему его поведению? Надзору его и воздержанию подлежат одни публичные погрешности. По разуму сего принятого мною правила я никакого не сделал снисхождения насилию и притязаниям. В моих глазах всегда виноват был тот, кто требовал копейки, но я никогда не считал преступником того, кто пользовался благосклонным подарком и добровольным от человека богаче себя, а с чистыми глазами и доброю совестью нетрудно различить сии два поступка между собою. Переславский мой исправник любил отнять насильно, вымучить, да еще и солгать. Поступили ко мне формальные на него жалобы от крестьян во взятках. В расспросах моих открывалось, что он многих обирал под предлогом дележа со мною. Такая неистовая в устах его клевета на мой счет, на которую ничто не давало ему права, ибо я даже и знакомства с ним кроме службы не сводил, ожесточила меня до крайности. Всякую пощаду после того я почитал явным самого себя пред народом обвинением. Итак, удаляя его от должности, решился чрез Губернское правление, в которое препроводил все вошедшие на него жалобы, отдать его под суд Уголовной палаты. Распоряжение мое не полюбилось г. исправнику. Он имел покровителей. Честный человек часто не может их нажить вовеки, а плут редко недостаток в них чувствует. Он подал жалобу на меня в Сенат и, будучи под судом, отважился из-под общего присмотра, который за подобными чиновниками не всегда бывал так строг, как за низкими арестантами, ска-

кать в Москву и сам явиться с прошением своим в Сенат. Сенат равнодушно все это принял и вместо того, чтоб, отослав его к своему месту, велеть оправдаться пред судом, что казалось бы мне и ближе к правилам, обратил весь гнев свой на меня. Скоро получил я указ, коим требовался с меня ответ, для чего я отдал исправника под суд и отрешил от должности? Отзыв мой был короток и основан на истории происшествия. Сенат сим не удовольствовался. По мнению моему, оставалось ему, прочтя мой ответ, решить, правильно или нет исправник отдан в Уголовную палату и освободить его от суда или выслать без отговорок к оному. Нет! Сенат на мой ответ потребовал от исправника возражении и, расписав их по пунктам, снова обратился ко мне с указом, требуя, чтоб я все пункты очистил. Нетрудно было и это сделать. Ни виноватый правым, ни правый виноватым быть не могут, но тяжело было сносить такие явные и мелкие против меня покушении первого судилища в России, коего поступками часто управляли чины канцелярские. Им я не мог нравиться; ведя себя чисто, я не имел нужды в их услугах, и делить с ними мне было нечего, искать милости их некстати, и потому я сделался жертвой их ненависти. Пусть беспристрастный критик юридических дел рассудит, следовало ли Сенату попустить себя на такой соблазнительный поступок. По какому закону он насылал вопросные пункты начальнику губернии, суду без именного указа не подлежащему? По какому праву ставил его на очной ставке с отрешенным исправником, входил в исследовании между ими и тем принимал на себя обязанность низшего места? Ибо следствии делает Земский суд, а потом рассматривают их по порядку первые судебные инстанции и доводят решении свои на утверждение Сената. Здесь, напротив, с самого начала дела Сенат сам следует, судит, рядит, определяет. Действие, смею сказать, противное равно закону и здравому рассудку. Вот как поступают суды человеческие, когда зажгут их сторонние страсти. Кому именно хотелось мне повредить, не знаю и не разыскивал, но с сей минуты началась между московским Сенатом и мною письменная война, которая не прекращалась до самой моей отставки. Выведен будучи из всякого терпения последним вопросом Сената, признаюсь, что я уклонился от умеренности в ответе и, давши полную волю раздраженному моему самолюбию, написал дерзновенные очистки на каждый пункт. Сенат, рассвирепев паче прежнего, присуждал уже требовать моей головы и подать о том государю доклад, что, может быть, нанесло бы мне ужаснейшие бедствии, ибо где же сила не ломает соломы? Но, к счастию моему, граф Александр Романович Воронцов, узнав о

всем деле подробно и разумея худо гонимое мною лицо, предстательствовал в пользу мою у Сената, отклонил некоторых сенаторов от злобного их приговора, и кончилось производство дела сего тем, что мне сделан выговор за несовместные выражении, а исправник оставлен под судом. Суд сей длился несколько лет, и наконец очистительной присягой освобожден подозреваемый от суда и Сенатом же признан невинным потому, что заперся во всем, подтвердил отрицании свои целованием крестным и, следовательно, в преступлении не доказан. Подлинно, кроме Бога, который читает в совестях наших, кто силен судить и осуждать мздоимство? Оно всегда скрыто от глаз сторонних и защищается стеной участников своих. Пока московский Сенат таким образом в правом деле искал наносить мне чувствительные оскорблении, первый департамент того же Сената в Петербургé оказывал мне приятные знаки своего благорасположения. Вот какое повстречалось у меня в нем дело.

Еще в время службы моей в Соляной конторе последовал недостаток соли в Калуге. Контора определила тогда до пятидесяти тысяч пуд оной перевезти из Тулы на счет подрядчика Плохова, который по выведенным ею причинам оказался в том недостатке виновным. Соль перевезена, но купец пожаловался Сенату и доказывал свою правость. Сенат брал ответы уже после меня, и кончилось рассмотрение его тем, что Соляная контора обременила подрядчика перевозкой сей без правильных на то причин, но как деньги у него уже остановлены были в казне, и казна выдавать обратно того, что себе присвоила, не привычна, то и положил Сенат в удовлетворение Плохова взыскать потраченную им сумму, до нескольких тысяч простирающуюся, с членов Соляной конторы, крепивших о той перевозке протокол, и возвратить ему, Плохову, взамен оставленной в казне из всей следующей ему по валовой поставке соли суммы. Нечего было делать, как платить. Уже Соляная контора была упразднена[22], как начались требовании сих денег от Плохова. Мясоедов и прочие члены, заставшие с ним кончину Конторы, часть свою заплатили. Один Поярков в отставке в Ельце и я в Владимире еще не внесли своей доли в этом штрафе, а с меня приходилось сот до восьми рублей. Мы между собой описались и рассудили жаловаться Сенату же на его приговор, но в чем? Мы просили, чтоб Сенат приказал вытребовать подлинное наше определение, удостоверился бы в подписах наших не по справкам, а по собственному его обозрению и потом поступил бы по законам. Технический конец всякой жалобы, натверженный во всех избах приказных. Просьбы сии от нас из разных мест пошли в Сенат, подкрепленные

письмами к Васильеву о освобождении нас от сего взыскания. Между тем выигрывалось время, что приносило нам уже изрядную пользу. Сенат, великодушно приняв наши жалобы, вытребовал, согласно содержанию оных, подлинный акт о помянутой перевозке из Министерства внутренних дел, в которое поступили все дела Главной соляной конторы, и, увидя в полном своем присутствии точные наши подписки под решительным приговором, отказал и Пояркову, и мне. Казалось, убыток необходим, но мы простерли надежду свою до дерзновения. Поярков и я опять снеслись между собою и решили просить государя, настаивая, несмотря на наш подпис, на совершенную нашу правость. Основанием упорству такому служило то, что, действительно, резолюция, по которой определение сочинено, дана была 8 февраля не помню уже теперь только, которого года и написана в докладном реестре моею рукою. В той отметке нет ни слова о перевозке соли в Калугу, да и материя выписана была совсем не о том. Транспорт соли внесен в протокол секретарем без всякого приказания судейского, чьей-либо рукою засвидетельствованного. Правда, что протокол подписан нами, но мы, ссылаясь на старинный закон, которым велено секретарям писать протоколы согласно данным резолюциям, всеподданнейше просили государя приказать исследовать и сообразить, отчего протокол с докладным не сходен, и ежели окажется, как в самом деле то и быть могло, что при сдаче дел секретарь ввязал лишний лист о сей перевозке в такое подписанное нами прежде определение, которого содержание в прочем никакой связи не имело с сей перевозкой, то бы поступлено было с секретарем по законам, и мы избавлены были от штрафа. При сем прошении я отправил от себя еще два письма: одно к Васильеву, другое к статс-секретарю г. Муравьеву, который, будучи и попечителем нашей гимназии, готов был оказать мне услугу. Дело наше, как говорится, пошло на лад. Муравьев вытребовал из Сената записку, доложил государю, и в непродолжительном времени воспоследовал именной указ, хотя не совсем согласный с содержанием наших прошений, но удовлетворительный выгодам нашим в полной мере, ибо тем указом повелено как меня и Пояркова, так и прочих членов, тот протокол подписавших, от положенного взыскания освободить, ибо-де перевозка соли в Калугу сделана была Главной соляной конторой от благоразумной предосторожности, чтоб там в ней не последовало недостатка, что и доказывает попечение ее о своей обязанности, и в вину ей обращено быть не должно[23]. Таким образом мы и прочих членов, и г. Мясоедова, несмотря на его великолепное сенаторство, освободили от платежа, от ко-

торого он сам избавиться не смел, как видно, и подумать, и убытки остались для одного Плохова. Знать, что он не так прилежно Богу молился, как мы. При сем случае, который в последующих временах служил мне руководством с большею неудачею против московского Сената, нельзя не заключить, какая большая разница была в поступках, чувствах и соображениях тех и других департаментов. Московские всегда нажимали судьбу каждого, отвращались от малейшего благоутробия, считая лучшим доказательством своего величества и мочи неумолимую строгость даже в делах ничтожных. Они, как херувимы, непричастные плоти, всегда пламенный меч обнажали и ничего не извиняли. Петербургские, напротив, взвешивали слабости человеческие, преклонялись к милосердию, любили щадить и отпущать долги грешникам неумышленным. Пример явный великодушия 1-го департамента и в настоящем случае. Что, казалось, нас виноватее? Определение негодное, подписано нами точно без сомнения — штраф подтверждается, мы жалуемся снова и почти на Сенат. Московский проглотил бы нас тотчас. Тот, напротив, ниже портит наше дело, не отягощает справок, не жалуется, не ропщет, не мстит, но, видя натуральное наше побуждение избавиться убытка, способствует нам к получению того от монарха, чего он сам сделать в пользу нашу был не вправе. Как не похвалить такого благосклонного отношения верховного трибунала к людям, не заслужившим против себя личного ожесточения? Кто ж будет миловать чины и народ, если из дверей верховного трибунала и с первых, так сказать, приступков трона сверкать будет поминутно и за все, как молния, гнев, ярость и досада?

Различие приходящей осени с прошлогодней было чувствительно для всех, а для меня особенно. Глубокая скука царствовала в моем доме. Театр был сломан, и уже вместо его в зале напоминался печальный катафалк. Там, где прежде беспрестанно шумели, музыка и разные игры оживотворяли каждого, ныне пустота совершенная отворяла двери свои одним осенним ветрам и непогодам. Я жил в верхнем этаже, и около меня помещались дети. Необходимость требовала принять к старшей дочери надзирательницу, и скоро приехала ко мне в дом из Москвы француженка по имени Шатофор. Она была девушка непригожая и уже немолодая, следовательно, для одиночества моего не опасная, имела хорошие познании, изрядный ум природный, скромна, добра, привязчива, все эти свойства в ней мне нравились. К тому же она рекомендована была лучшими людьми своего пола в Москве. Я поручил ей Машу и был в продолжении времени попечениями ее весьма доволен. Всю осень я про-

21 Зак № 3535

тосковал и, как малое дитя, прохныкал. С ноябрем вместе вышел указ о наборе рекрут. Насильственный самый труд, но на то время для меня очень полезный, потому что надобно было ехать опять по городам и мыкаться. Я взял себе по-прежнему те же уезды: Суждаль, Ковров, Шую и Юрьев. Вице-губернатор и губернский предводитель разделили по себе остальные. О первом я во весь год не говорил ни слова, потому что мне было не до него. Теперь в двух словах скажу, что поездка его в Петербург ничего для него не произвела приятного. Как поехал, так и воротился, показав городу этим опытом своего самохвальства, что он не так много значит. Простим его в этом. Кто не хвастает? Всякий любит подставлять себе ходули. Все мы на два месяца отправились брить лбы православным, слушать слез и стонов, но прежде, нежели я пустился в путь, рассудил детей отпустить в Москву, сколько для того, чтоб видеться с бабушкой и потешить ее, столько и потому, что дома без меня сиротам моим спокойно жить казалось неудобно от совершенной расстройки моего хозяйства, которым хотя и всегда управлял я сам и один, без участия жены, но, поражен быв лишением ее чрезвычайно, я ни во что еще не кинул глаз своих, и все около меня шло как-нибудь. Итак, все мы разъехались, и дом мой остался пустехонек.

Если б в истекающем годе я способен был чему-нибудь обрадоваться, то, конечно, удача во многих моих представлениях по службе принесла бы мне большие удовольствии. Значительнее всех прочих успехов почитал я следующий. Во время царствования Павла, когда еще был генерал-прокурором князь Куракин, по докладу его вышел указ, коим велено было описывать на казну все имение, остающееся после преступников в составлении фальшивых ассигнаций, дабы тем вознаграждать потерю банка и поддержать доверие к бумажной монете. Указ исполнялся, но без малейшей выгоды для казны, и это очень ощутительно, потому что попадавшиеся под суд преступники по большей части были пьяницы, бродяги, без всякого состояния люди, следовательно, имущество их или состояло ни в чем и при описи совсем пропадало из виду, или так было мелочно, что не стоило внимания. Богатые фабриканты, те не боялись подобных описей потому, что юстиция никогда с ними не ссорится. Итак, попадал под меч закона один скарб нищего поселянина и, продаваясь за бесценок, терялся для наследников и для казны. Имев случай видеть производство этого на месте и сообразя с подобными случаями все прежние узаконении, я решился войтить с представлением к министру, в котором, изложа исторически обстоятельство, присовокуплял в

мнении моем, что поелику 1-е, ни у дворян, ни у купцов после наказанных преступников имения не описываются на государя, а остаются в пользу наследников, кои в злодеянии родителя или родственника могут и не иметь участия, а потому и страдать за них в лишении стяжания своего не должны; 2-е, что имении, коих приобретение не доказано быть беззаконным, всегда было свободно, и принадлежность его, защищаемая законами общими, ни от кого насильственно не отторгалась; 3-е, что преступник, получающий за зло, им содеянное, телесное крайнее наказание с присоединением каторжной работы, по справедливости пощады требует жене и детям, коим взамен его остается одно имение; 4-е, что, лиша жену мужа, детей отца, слишком жестоко еще отнимать и последнюю у них пищу, — то, собрав все сии и подобные им уважении, рассуждал, не угодно ли будет правительству распространить и на поселян то право, коим прочие состоянии в России пользуются: чтоб свободно было имущество виновных от конфискации, приняв, однако, к обузданию зла посредства такие, чтоб наличные после сих преступников деньги отсылались в банк, но имение всякого рода оставляемо было наследникам, разумея, когда сии последние не имели ни сведения, ни участия в преступлении ближних своих или когда не доказано будет, что имущество нажито злодеянием и есть плод его успехов. В сих только двух случаях противных полагал я, что имении злоприобретателя должны обратиться в казенную собственность. Г. министр не мог сам собой решить моего донесения. Он предложил его, по высочайшему повелению, Совету, где, как сказывал мне граф Воронцов, сам оригинальный рапорт мой был читан в присутствии государя, и угодно ему было, отставя прежнее узаконение, дать силу моему представлению, что и произвело публичный указ, отменяющий введенную до сего конфискацию. Как кто ни говори, приятно и на самых злодеев иногда обращать сердобольное внимание. Одно злодеяние гнусно. Наказав его, надобно и на самого грешника глядеть с сожалением. Бог, к отраде моей, влагал в меня такие чувства. Доброе сердце есть первое сокровище природы в пространном ее царстве. Сим окончу я черный самый год моей жизни, который если б я мог предвидеть, то от первого дня молодости моей несомненно пожелал бы смерти. Нет ничего тяжеле, как переживать первый предмет страстной любви. Сей первый огонь единствен, ему нет равного, и он никогда снова не разгорается. Жену нажить можно, но вместе с ней друга не всегда. Возвратимся к умершей и вместо речи надгробной побеседуем о ее душе, уме и сердце. Я кистию правдивой хочу здесь оставить по мне потомству истинный

портрет той бесподобной женщины, которой я всем своим моральным образованием и совершеннейшим блаженством сердца обязан.

Elle fit mon bonheur
Pendant dix sept années
Organisa mon coeur
Fixa mes destinées*.

Евгения была одна из малого числа тех редких женщин своего времени, которые природа производит иногда для того, чтобы дать рисунок совершенств своих в человеческом роде. Она пленяла разум, убеждала рассудок, трогала душу, покоряла себе каждое сердце, словом, действовала на все моральные наши чувства. Сверх того, нравилась очам, кои встречали в ней бесчисленные приятности, а слух внимал без устали сладостным ее разговорам. Религия ее была чиста, основательна. Никакое суеверие не помрачало сего превосходного и необходимого чувства. Нравственность без погрешности. Никакая слабость не покоряла ее, не отвлекала от строгого исполнения должностей общественных. Имела и она как человек свои недостатки, но в сравнении с добротою души они так были малы, что терялись во множестве ее достоинств, как капля воды исчезает в сосуде, наполненном духами. Она была примерная в великодушии жена, отличная в почтении к родителям дочь, благодарна благодеяниям даже и тогда, когда им следовали оскорблении, семьянинка приветливая, милостивая госпожа с прислужницами. Не бегала собраний, но искала уединения, не не верила людям, но знала доверенности вес и меру. Добра по чувствам, по разуму и темпераменту, она никому не сотворила зла. Из обращавшихся с нею обоего пола людей ничей ни язык, ни перо не может коснуться имени ее без похвал и признательности. Вот главные черты Евгении. Войдем теперь в особенное рассмотрение каждой. Мало хвалить, надобно оправдать похвалу опытами, указать и поступки в доказательство истины, а за ними у меня дела не станет.

Многие светские и духовные особы, говорившие с нею иногда о религии, ибо беседа ее на все предметы была готова, укоряли ее, будто бы она была деист. Заключение весьма ошибочное. Она знала прямые границы предрассудка насчет душевных наших отношений к Богу и никогда слишком далеко их не отводила. Знала, что вера есть один источник на-

---

* Она была моим счастьем. / Семнадцать лет / Правила моим сердцем, / Вершила мою судьбу (фр.).

шего счастия и вина общего спасения, без которой все в мире хаос и заблуждении, чтила все поучении апостольские, преимущественно благоговела к Евангелию и читала книги сии очень часто. Она не была ханжа, не слушала беспрестанно всеношен и молебнов, не верила многим пустосвятствам, не считала добродетелью курить кадило, зажигать свечку пред иконой, наряжать ее в алмазы или золото, но со страхом сердечным исповедала всемогущество Божие и Спасителя нашего крест. Слабое здоровье препятствовало ей часто ходить к обедне, но когда могла ее слушать, то вся была в Боге, занималась одним храмом. Струи слез нередко текли из глаз ее во время возношения даров, и когда она причащалась, что повсягодно наблюдала, приступала к сему таинству с истинным в грехах своих раскаянием и душевною простотою. Она рассуждала о религии, но не умствовала, не смешивала в одно правило того, что изрек Христос или на соборе сказал епископ, но и не отвергала ничего, принятого церквию. Чтила закон, но не верила во всем слепо истолкователям его и не ставила ни в порок себе, ни в соблазн другим, что они определяли разницу между атеистом, который ничему не верит, и тем благоразумным христианином, для которого не все то свято, что святым для корысти своей назовет пастырь. Смерть ее была лучшим доказательством ее религии. Она, знав свою болезнь, знала, что ей нельзя жить долго. Никогда, однако же, конца своего не боялась. Любила жизнь и удовольствии мира, но как скоро занеможет, тотчас уединится и без робости приготовится к общему року. Она встречала вечность как лучший день весны. Она шла к Богу, как невеста к жениху. Кто, кроме Вышнего, дает нам такое мужество и кому, кроме благоугодивших пред ним? Итак, нет сомнения, что вера ее была чиста, разумна, совершенна.

Отсюда проистекали и прочие душевные ее достоинства. Бог дает человеку сердце и волю направлять его движении. Как скоро воля сия покоряется своему Творцу, так скоро все ее внушении благи, все побуждении незазорны. Евгения, получив жизнь от родителей бедных, сама же, воспитавшись на коште двора, не могла не приметить страшную разницу в познаниях и чувствах между собой и матерью своей, которая дожила до старости. Отец у нее умер во время ее малолетства. Мать была женщина с природным рассудком, но выросла и состарелась в крайнем невежестве, не училась грамоте и не знала счета. Все сие не освобождало дочери от внутреннего к ней почтения, и она всегда везде воле ее повиновалась. Редко писывала к ней, но помнила повсюду, снабжала по возможности, делилась избытками своими, оплакивала смерть ее как си-

рота, не стыдилась ни при ком, бывая с ней вместе, деревенского ее обращения, и что всего сильнее покажет, сколько она почитала мать свою: когда ехала из Пензы в Петербург возбудить милосердие ко мне Павла Первого после моей отставки, она заезжала в деревню матери своей Подзолово и сохранила во всю жизнь свою тот арженой сухарь с солью, который мать ее на дорогу ей дала, надписав на нем: «Благословение матери моей хлебом с солью в проезд мой чрез Подзолово, когда ехала в Питер просить о принятии опять мужа моего в службу». Этот черствый кусок хлеба я нашел после смерти жены моей сохранившимся в бумажке между ее вещами. Какого выше искать залога сыновней преданности?

Кто чтит отца и мать, тот и благодеяний не забывает. Самые значительные из сих оказаны были Евгении двором и в Смольном монастыре. Покойная великая княгиня, взяв ее во младенчестве на свои руки, основание положила ее воспитанию, и потому она имя Натальи Алексеевны не произносила без душевного смятения. Она в ней чувствовала всю свою потерю и по смерть была ей благодарна. Павел Первый и вторая его супруга по выпуске ее из монастыря содержали при дворе, отдали за меня замуж и скоро потом от нее хотя вовсе отступились, однако она никогда не забывала попечений их о себе. В самой вещи, читая жизнь нашу общую, замечено, что сии благодетели, бросивши ее тогда, когда могли сделать ей состояние, снабдили лоскутками при выдаче замуж, которые зовут общим словом приданого и которые никого не кормят. Что такое для благородной девушки, выдаваемой от двора, рядная, подписанная в четырнадцать, а стоющая поистине не более двадцати тысяч? Много для великого князя, но для императора подарок ничтожный. Вот все то, чем жена моя воспользовалась от щедрот Павла и Марии, да и то, если разобрать порядочно, происходило более от тщеславия, чем от прямого благотворения. Я никогда не забуду той минуты накануне моей свадьбы, в которую угодно было великой княгине спросить меня о употреблении, какое я намерен сделать из тех четырех тысяч, кои она в приданое девице Смирной назначила. Дело шло между нами в разговоре как будто бы о миллионах, и она очень успокоилась, когда узнала от меня, что я их отдам в рост в ломбард. При всех, однако, столь мелких благодеяниях, Евгения всегда чтила имена их, сносила с особенным мужеством духа все их уничижении, терзалась, когда меня отставили безвинно, крушилась, когда ей отказана была горенка на скотном дворе, что все подробно описано в своем месте в моей Истории. Харкала кровью, когда с кучею детей ездивши во дворец, ничего, кроме карамеля, там не получила, но без ро-

пота благодарила их за прежние милости, воспоминала событие их с удовольствием и никогда дерзновенной мысли насчет их не огласила. Сколько потребно сил душевных, чтоб устоять в подобной благодарности! Гораздо естественнее была та, которой она считала себя обязанной Смольного монастыря госпожам надзирательницам. Там ее учили, просвещали, образовали, там она все дары природы развернула с успехом. Зато не было дня, в который бы Евгения не пожелала всякого счастия Лафонше и прочим иностранкам монастыря, особенно госпожам Росток и Вилламовой. Сей последней дочери остались ее друзьями по смерть. Никогда она всех их не забывала. Покорна быв до чрезвычайности каждой из них, она в особенности уважала madame Lafond. И еще при жизни Екатерины Второй, когда она ничего не значила, кроме что была надзирательница монастыря, жена моя до того почитала ее, что в день своего замужества просила великую княгиню пригласить ее на свадьбу, чего той не рассудилось сделать по придворным расчетам, и после венца, поехавши со мною в монастырь на третий день, со слезами винилась, что не успела быть у нее назавтра, выдержала от каприза этой своенравной старушки жесткий выговор, для чего привезла меня к ней во фраке, а не в мундире, и с трудом успокоилась дома, что невольным образом и не своей, а моей виною огорчила madame Lafond. Столь неограниченны были преданность ее и повиновение к ней. В другое время, когда суровый недостаток доводил нас до того, что без пособий А. В. Салтыкова мы бы не имели ни услуги, ни стола, ни приличного содержания, с каким ангельским терпением выносила она своенравии этого старика. Помня одни его услуги, она забывала упрямство, грубость, невежество. Не могла его любить, как любит привязанное сердце, но чтила как благодетеля, снораливала его прихотям, нежила в разговоре, успокоивала надменную его душу, и сколько все то ей ни стоило, но благодарность превышала всякое отвращение к благодетелю. Оба они уже пред Богом, и я должен к особенной славе жены моей объявить здесь, что Салтыков, имея одну дочь, будучи в разводе с женою и не любя их обеих, хотел упрочить имение свое векселями жене моей, написал уже их и привез, но Евгения, с укоризнами напоминая ему несчастную жену и дочь его, никогда не согласилась принять сих актов, отреклась от такого пожертвования и показала, что в ней обитает прямо великая и благородная душа. Многие ли женщины в наше и во всякое время поступали равным образом!

Взглянем ли мы на нее как жену, — во всех отношениях бесподобна, добра, терпелива, великодушна, снисходительна, мила. Вышед за меня

замуж в крайней еще молодости, она скоро приметила, что я создан от природы с пламенным воображением, мягким сердцем, добродушным характером, темпераментом пылким и ревнивым, и потому, судя заранее, что я всю жизнь мою подвержен буду влиянию всех жарких страстей человеческих, взяла на себя труд умерять огонь моих чувств и приметно довершила моральное мое воспитание. Если я имею ныне какие-либо хорошие черты во нраве и разуме, я ими, беспристрастно скажу, обязан ей. Она лучше всякого философа наставила меня быть им под старость и соединенными силами с опытом научила меня находить счастие в одном лишь том, чтоб быть самому собой довольным не по тщеславию, но по убеждениям рассудка и совести. Любовь ее ко мне была нежна, чувствительна, искренна. Сколько прощала она мне шалостей! Сколько измен моих переносила! Никогда не была обманута, видела ясно мои заблуждении и с осторожностию меня от них отводила. Она так знала меня хорошо, что безошибочно располагала свои против меня поступки. Не правила мной явно, зная, что самолюбие мое занозчиво и охотно очевидного ига не стерпит, но при всем том располагала всегда так моими мыслями, что я делал все то, чего хотелось ей, думая, однако, что действую сам собой. Влюбчивость моя нередко ее беспокоила, но когда она видела, что воображение мое более работает, чем сердце, она не препятствовала мне заниматься посторонними предметами, имея тут и свою выгоду, ибо я был жарок, быстр, неумерен в наслаждениях. Слабость ее здоровья не протянула бы жизни ее и до половины ее века, если б она исключительным была предметом моих вожделений. Итак, пока я истощался в платонических восторгах там и сям, она укрепляла скромною и бережливою жизнию свои бедные силы телесные, но когда примечала она, что я увлекаюсь слишком далеко от должностей супружества, тогда, истощая всю свою любезность пред обществом мужчин, она возжигала во мне минутную ревность, и тут, забывая все мои пристрастии, истребляя все их глубокие впечатлении до последней черты, я обращался к Евгении, влюблялся снова в одну в нее и становился таким, каким должен бы был быть всякую минуту. Оттого она часто мне говаривала: «Vous m'aimez mieux que toute autre»*, ты меня любишь *лучше* всякой другой. Слово *лучше* значило, что ее я люблю прочно, в этом она никогда не ошибалась. Я никому не приносил ее в жертву, а ей всех. Ничто сильнее не докажет власти ее над моим сердцем, как добровольная перемена судьбы моей в раз-

* Вы меня любите больше всякой другой (фр.).

ные времена. Заметивши один раз, что я влюблен был в такую особу, которая хитростию своею завести меня могла далеко, она тотчас возбудила во мне желание служить и оставить Москву. Я плакал, но ехал в Пензу и забывал свою тогдашнюю очаровательницу. Подобно и в Владимир отправлялся я с слезами, но обе сии поездки настроены были ею, и тогда, как они становились необходимы для домашнего спокойства. Вот как Евгения распоряжала мною и постепенно созидала мое счастие. Стану ли говорить о тех жертвах, кои она мне приносила из любви, из сожаления, из величия душевного, которое было всегда пружиною дел ее собственных. Пусть вспомнят, с какой отвагой приезжала она навестить меня в Финляндию, в военный стан, под неприятельский форпост. До сих пор хранится у меня записка ее в коротких сих словах: «S'il faut mourir, mourons ensemble»*. Много ли женщин, готовых на такой опыт верности и любви? Можно ли без восхищения вообразить ее в то время, когда она, находя в сумке моей предварительную духовную, оскорбляется мыслию моею, что после меня она выдет за другого. С каким редким снисхождением она извиняет ошибку мою, уничижительную для любви ее ко мне. Кто не падет пред ней на колени в те часы, когда она, прощая мне дерзкую мою измену и переписку с Улыбышевой, сама же, сожалея о строгости моей судьбы, берет мою сторону, защищает меня у двора, просит обо мне, ездит ко всем случайным, плачет о моих бедствиях и, забывая, что я сам им причиною, помнит только тягость моего положения, любовь ее ко мне и выводит меня из бесславия в новый блеск пред всеми. Какими похвалами соразмерить можно чрезвычайность ее поступка, когда она в пользу теснимого мужа решилась ехать к Беклешову, ждать у него в передней два часа и презреть все то, что люди обыкновенные низостьми считают, для того только, чтоб вытянуть у вельможи грубого решительное слово насчет участи ее мужа. Нет, это была не низость! Визит ее к генерал-прокурору был опыт самый блистательный ее великодушия и прямого понятия о внутренном благородстве. Кто откажет такой единственной женщине в неограниченном уважении? Зная, что я мнителен и боязлив, она скрывает от меня все свои изнеможении и умирает почти в глазах моих с приятною улыбкою, дабы отдалить от меня самую плачевную картину последнего ее мгновения, думает еще обо мне, любит еще меня и тогда, как удаляется от персти, и, духом касаясь небес, еще хранит земные свои союзы. О! милая Евгения! Тебе ли стану я искать

---

* Если придется умереть, умрем вместе (фр.).

подобья или замены! Нет! Ты была одна в мире для мужа, для детей, для всего, что тебя окружало.

Посмотрим на отношении ее к детям. Любила их всех без малейшего ослепления. Давала преимущество Павлу, не по первенству его, но потому, что медленно развивались его способности и он казался прост. Сожаление ее о сем умножало и любовь к нему. Впрочем, она попечительна была для всех, предупреждала их недостатки, не умела баловать, ни слишком быть строгой. Машу обучала сама всему, держала ее ежеминутно при себе. При ней не нужны были иностранки. Она сама воспитывала чад своих. Старшая наша дочь Марья была опыт ее искусства в образовании человеческого сердца и ума. Во всем семействе нашем была любима, и как иначе? Она не пропускала никакого знака внимания, приличного каждому из родных. Отец мой равнял ее в чувствах своих с родными детьми, мать моя глядела ей в глаза, сестры искали ее дружества, я боготворил, дети чтили — все в доме ею дышало. Она всем была необходима, счастие семейства нашего ею только и цвело. С людьми была тиха, незлобива, милосерда. Нередко смягчала строгость мою с ними, выслушивала терпеливее меня их нужды, ходатайствовала за них, снабжала, была матерью, а не госпожою слуг своих, но притом не допускала их, как многие, до излишней с собою откровенности, не собирала посредством их вестей, не заводила пересудов, убегала сплетен, искала тишины и каждого держала в назначенном ему месте. Все почитали ее, боялись и любили. От младенца и до старика все плакало над [ее] гробом. Евгения в жизни своей показала на опыте, что и в тесном самом круге обширный ум удобен оказать все свои способности.

Выдем, наконец, из сообщества ближних и взглянем на Евгению в большом свете. Одаренная пригожством, она все вокруг себя пленяла. Не будучи красавицей, лучше казалась красоты какой-то особенною прелестью, которую умела возвысить каждым своим движением. Все искали знакомства с нею. С своим полом была холодна, говоря, что женщины меж собой в обществе только на пересуды способны. С нашим была любезна. Никто не смел позабываться ни с нею, ни при ней с другими. Умела всякому дать вес и цену приличные. Дом наш везде и всегда наполнен был молодыми людьми. Они в нем находили невинные удовольствия. Евгения любила резвость, шум, пляску, рассеяние, но не искала их. Пользовалась ими, когда встречались, и не скучала одна за книгою или за работою. Уединение ее не пугало, напротив, с летами вместе она так к нему привыкла, что, наконец, за тягость считала большие собрании. Ленива была всегда выезжать, а к себе принимала охотно. Не

строго сохраняла некоторые обычаи и предубеждении общежития, как то взаимность визитов, поздравлении с праздниками, церемониальные переписки, но прямые должности морального существа в отношении к ближним исполнять не отвращалась. Она разумела, что долг и что обряд, уважала первый, не занималась последним. Старики, несмотря на расстоянии лет, увлекались ее любезностию до того, что искали случаев сделать ей услугу и добро с таким удовольствием, какого не находим мы, помогая обыкновенным только людям. Она не была скупа, но и расточать не любила. Умеренность храня во всем, забывала ее в одних благотворениях. Помогала многим так скромно, как требует того христианская милостыня. Горда была в духе и не сносила обид умышленных, но спесью и чванством гнушалась. Сии подлые недостатки душ, униженных судьбою, не были ей причастны. Говоря о вкусах, ни один не владел ею столько, как вкус к нарядам. Она любила щеголять до малодушия и два раза в жизни своей особенным образом оказала его. Однажды, в первой молодости, пропустила отличный праздник у двора во время шведского мира и опоздала оттого только, что не так сидел на ноге башмак, как ей хотелось. В другой раз, пред самой смертью, дни за три до кончины, одевшись в лучшее свое платье, велела посадить себя против большого своего зеркала и, чувствуя, что в последний раз смотрит на свои наряды, тем не менее радовалася ими. Но повиним ли мы ее в такой простительной и безвредной слабости, которая, может быть, одна представляла видимый оттенок между ею и небесным существом. В прочем все ей было равнодушно. Она могла довольствоваться обедом в двадцать копеек так точно, как и богатейшей трапезой; выспаться и не доспать, жестко или мягко, нежно или грубо — все сносила без малейшего ропота. Чувствительно принимала одни поступки, не забывая ни хороших, ни худых, благодаря вечно за первые и не мстя за последние. Охотно привыкала к собачкам, моськам, попугаям, не допуская, однако ж, себя до смешного к ним пристрастия, подобно многим ее сестрам, кои часто думают, что вся чувствительность наша состоит в том, чтоб с руки своей дать кинарейке сахарцу и плакать, когда засорится ее голос. Нет! Евгения велика была во всех действиях души, разума и сердца. Физика одна ею вовсе не управляла ни в каком смысле. Все места, где она ни жила, для нее были равны, кроме Москвы, которой она особенно не любила, предчувствуя, как видно, если верить сему можно, что в ней схоронятся ее кости. С удовольствием жила при дворе и не скучала в провинциях. Была любезна там и была любима здесь. Легко переносилась из чертога в хижину и из роскоши в недостаток. Души такой гибкой, как ее, я не приметил в ее современницах. Любить могла твердо,

живо, постоянно, но не воспламеняться. Пылкие страсти сердца не знакомы ей были. Лучшая пища ее была книга. Она неумеренно тяготила зрение свое и за нею, и за пером. Не сочиняя ничего для всех и для пустой славы, писала много для себя и друзей, вела на иностранных языках со многими переписку, выучена была основательно многим наукам, знала некоторые особенно хорошо и беспрестанно упражнялась. Говорить ли о художествах? В каком она не приобрела похвал стократных? Прекрасно выражала на театрах самые мудреные роли и одна в России показала Нину во всей ее чувствительности. Играли ее и другие, — никто так, как она! Ее даже прозвали La Princesse Dolgorouky Nina*. Пела не превосходно, но с отменною приятностию, и когда она играла оперы, никто не внимал ничему, кроме ее. Танцовала с редким искусством в балетах и, как Зефир, всегда с ангельской улыбкой. Она изумляла и в пантомиме «Смерть Арлекина». Когда она упадала в обморок, партер находил такой совершенный рисунок в ней живой натуры, что рукоплескании были общи и продолжительны. Увы! Все сии таланты заплачены были ценою ее груди и легких, кои расстройкою своею приблизили ее к смерти. Арфа в руках ее услаждала слух чрезмерно, и когда бренчала на ней, то нельзя было отойти от нее. Она приковывала к себе каждого. Умела рисовать, шить, вязать, плести, и не было рукоделья, совсем ей незнакомого.

Такова была Евгения. Скажем, оплакивая ее беспрестанно, что портрет ее истинен и совершен. Скажем еще раз без укоризны в пристрастии, что душа ее была храм изящнейших добродетелей; разум — вместилище самых чистых понятий, благих мыслей и полезных сведений; сердце — бесценное сокровище, наполненное превосходных чувств, живущее огнем веры и теплотой любви к ближнему, а тело, сия тленная риза человеков — одежда чистая, светлая, прекрасная. Словом, Евгения вся была собрание тех очаровательных прелестей, коими природа дарит, а Бог благословляет людей, на похвалу имени своего им избираемых.

1805

После долговременной привычки встречать каждый новый год с сердечным другом в первый раз ныне освещала меня заря утренняя 1-го генваря одного в моей спальне. Рекрутский набор, который оканчивал я в

* Княгиня Долгорукова Нина.

Коврове, задержал меня в нем и на новый год. Отлучен от детей своих и всего домашнего сотоварищества, я был один среди людей, по видам службы, а не по чувствам сердца во мне участвовавших. Заметим даже и то, что по какому-то нечаянному случаю и слуг около меня не было моих, а все вольные. Одно удовольствие, которое представлялось мне во мраке мыслей, куда бы я их ни повернул, состояло в обществе госпожи Пожарской, съехавшейся со мною в Коврове на пути своем в Москву, и тут мы вместе провели новый год. Несчастный обычай сердца моего искать страстей сильных и волноваться ими, пагубная свобода, роком предопределенная, и которая пристрастиев моих не делала уже преступлением — две сии силы влекли меня из моей сферы вон, и я позволял уже себе искать новых любви союзов. Минутное на тогдашнее время очарование прошло, и я возвратился к должности в губернский город, куда присрочил к одному времени прибыть и детям моим, отпущенным в Москву. Вся моя семья съехалась, исключая Вареньки; та все оставалась на руках у тетки.

5-го генваря обрадован я был известием о пожаловании сына моего в коллегии юнкеры с дозволением держать его при себе до моего на то желания. Такою милостью обязан был я графу Кочубею, который по возобновлении моей о том просьбы в конце прошедшего года представил государю и испросил сыну моему сие повышение, для него и по возрасту, и по обстоятельствам весьма выгодное. Но что все сии мелочные удовольствия в сравнении с той потерей, с той продолжительной чертой сокрушения, которую судьба, отняв у меня Евгению, протянула навсегда в моем сердце!

В то же время узнали мы от сторонних о кончине графини Марии Николаевны Скавронской, последовавшей в Неаполе[1]. Она была сестра родная матери моей, детище одной с ней утробы, воспитанная вместе, но во всю жизнь свою не показавшая ни малейших признаков сострадания к ней и любви. Вышед замуж за Скавронского, которого фамилия ввела ее в родство с двором, она получила от Елизаветы Петровны штатс-дамское достоинство, и высокомерие ее еще в молодости отлучило от домашних связей. Богатство доставило потом случай провесть почти всю жизнь свою в Италии, откуда она очень редко помышляла о ближних своих, и мать моя до кончины ее не имела никогда об ней известия иначе, как сторонними путями. Переписки между сими двумя сестрами не было ни посредственной, ни прямой. Соломон дивно сказал: «Кий мир богату с убогим?» Однако мать моя, вдавшаяся в христианские добродетели и

смиряющая ежедневно дух свой пред Богом, оплакивала ее как единоутробную с собою и соболезновала о ее кончине в чужих людях на земле иностранной.

Говоря о гимназии в прошлом годе, я упомянул, дабы не разорвать нитки происшествия, что за открытие оной в Владимире признательный Университет внес меня в число почетных своих членов и что диплом на сие звание поднес мне со всеми приправами честолюбия директор гимназии Цветаев. Сие последнее должно отнести по порядку к настоящему, а не тому году, ибо 27-го генваря оделся я в синий университетский мундир по присвоенному мне на то праву и получил вышеозначенный диплом.

Истекали уже два года тому, что я был губернатор. Пора казалось побывать и в Петербурге. В качестве публичного чиновника я мало был там известен. Министр меня иначе не знал, как по бумагам. Одолжении, кои он делал мне в лице моем и сына моего, привязывали меня к нему совершенно и обязывали быть благодарным. Я хотел представиться ему лично, хотел видеть его, узнать, ознакомиться с ним и утвердиться в добром его мнении. Я начинал его любить не так, как начальника токмо, но как благодетеля. Сверх того, нужно было посмотреть вблизи на состав министерств, на их круг дела и отношении к прочим государственным местам. Не знаю, во всяком ли царстве служба требует того от чиновников высших, чтоб они в столицу ездили, но у нас в России это необходимо и, как бы хорошо ни разумели должностного человека, нужно иногда кататься в Петербург, чтоб от вельмож, окружающих лик царский, как от лучей, текущих из самой средней точки солнца, принимать и на себя некоторый градус теплоты. И политика имеет свои климаты! И в ней временем бывает жарко, временем студено. Таким образом, чтоб не охолодеть в продолжительном отдалении от светил наших политических, решился я побывать в Петербурге и, попросясь в конце года, получил в начале нынешнего отпуск на два месяца, которым воспользовался в течение Великого поста, дабы сим временем, свободным от рассеяния и всякого праздничного шума, удобнее достигнуть цели моей и получить правильное понятие о новом ходе дел гражданских с учреждения министерств. Но прежде дороги поговорю еще о моей семье.

Дети оставались без учителя. Крейц уже дом наш оставил. В затруднениях, кого и где искать, вдруг получил я письмо от Венца. Он жил прежде в нашем доме и обучал детей моих еще при матери их в Москве. Способности его были нам известны. Причина, для которой он с нами тогда расстался, не имея связи собственно с нами, не разрывала нас на-

всегда. Итак, ничто не мешало опять сойтиться. Он, узнав о моем вдовстве, узнав, что я живу своим домом в губернии, и исполнен будучи чувств уважения к жене моей покойной, рассудил продолжать свои услуги оставшемуся после нее семейству и спрашивал согласия моего на прием его к себе в дом, ничего не отменяя у прежних условий наших. Я всегда пленялся хорошим поступком. Он меня решил в пользу его. Отвечая на письмо, я приглашал приехать и взять на себя труд обучения детей моих. Венц жил тогда в Тамбове, не долго думал и скоро ко мне явился. Я был ему рад, как находке, когда, воротясь из Питера, увидел его уже с детьми своими, к коим он перебрался во время моего отсутствия. С людьми хорошими всегда приятно сходиться, а мне с ним тем более, что я знал, сколько жена моя признательна была прежде к трудам его и ценила его ученые познании. Приятно было мне вверять воспитание детей наших общих тому самому человеку, которому бы и сама Евгения не остановилась поручить их. Делать то, что сделала бы она в этом отношении, я поставлял себе в обязанность.

С наступлением Великого поста в марте месяце отправился я в Петербург, взяв с собой туда секретаря своего и старшего сына. Не останавливаясь в Москве, переночевал только в родительском доме и на другой день выехал. Вид тех комнат, в которых страдальчествовала в недугах своих жена моя, снова растравил мою рану. Многое в нашем доме, и хорошее, и худое, представилось живо моему воображению, и я едва перенес без малодушия волнения чувств сердечных. В Донской ехать я не имел сил вовсе. Старая мать моя благословила путь мой, и я скоро нашелся у заставы царского града. Но увы! Не тот уже был город св. Петра, каким видел его при Екатерине. Не бывши в нем лет с двенадцать[2], я вдруг одним взглядом обнял все изменении, последовавшие с ним как в царство Павла, так и в настоящее время. Первый предмет, поразивший меня, были наши Семеновские слободы, в которых некогда и я вкушал все приятности жизни. Домы наши не широки были, не великолепны, но от Андреевской ленты и до солдатской сумы всякий, живущий в них, отслужа определенные часы, наслаждался полною свободою, жил по сердцу, одевался по вкусу, водился с кем хотел и не лишался прихоти, когда он мог ее себе доставить. Ныне в обширных каменных дворцах смешанные чины воинские, офицер и солдат, генерал и ротмистр, днем наяву, а ночью во сне одним занимались *вахтпарадом*, слово при Екатерине совсем неизвестное, зато ныне *слава* почти не произносится. Все полки гвардии стояли в богатых казармах, кои стоили казне больших издержек.

Город был увеличен и сугубо обстроен против прежнего. Михайловский дворец, дом царский, в котором Павел омыл кровию своею все жестокости своего сердца, представлял огромное зрелище, занимая большое под себя и флигели свои пространство. Он казался как бы отделенным городом от Петербурга: в нем были свои мосты, площадь, монументы, словом, сам Павел, переезжая в этот замок, требовал, чтоб его почитали вне города, и — поверят ли наши внуки — к нему ходила туда ежедневная почта с петербургскими депешами или делами как бы за город в особое место. Бульвары среди улиц, прогулки близ Адмиралтейства, основании Казанского собора[3], все это бросилось в глаза, и нельзя было не чудиться таким различным в столь короткое время явлениям в Екатерининской столице. Зимний ее дворец один, не переменя колоссального своего вида, стоял еще, как самый древний монумент роскоши и величества прежних наших государей, но во внутренности его все было изломано и не то, что прежде. Бывши во дворце, я не мог нигде сообразиться, не узнавал ни входов, ни исходов. Одна только церковь не изменилась. Никто не коснулся храма Господня в доме царя земного, все прежние украшении еще в нем существовали. Войдя в него, я невольно заплакал. Откажем смело в чувствительности всякому тому, кто вспомнит где бы то ни было Екатерину и не умилится. О ком, россияне, о ком из царей ваших станете вы плакать, если память Екатерины не заслужила слез ваших? Великая жена! Беспримерная царица!

Одним ли стенам, одной ли наружности досталось? Нет! Весь Питер чувствовал, мыслил и действовал новым образом. Министры мало-помалу очутились аристократы! Личности их вредили общим пользам. Канцелярии, наподобие прежних гвардейских полков, в которых числилось по нескольку тысяч малолетных унтер-офицеров, считали сотнями своих служителей, из коих большая половина в модных фраках шатались по набережным. Многие не умели взять пера в руки, а владеть им часто и самые высокие чины не разумели. Сенат, несмотря на новое приращение нескольких департаментов, был в моральном параличе, и пружины его совсем истерлись. Он переставал значить. Совет изредка выпускал пустые указы и давал самые бедные призраки жизни, пульс его бился редко и весьма слабо. Вельможи заправляли двором: кто сегодня, кто завтра, иному фортуна служила день, иному неделю, а месяц никому. Всякий искал своекорыстия. Как лев на добыче, министр терзал, кого мог, без пощады, наговаривал, наушничал и промышлял студом[4] и подлостию. Беспорядок вкрадывался во все части правления. Указы выдавались скоро,

опрометчиво. Ошибки были всечасны. Поправляли их без смысла и впадали в тягчайшие. Указ на указ печатался нередко в одно и то же число, утро распоряжало так, а вечер иначе. Словом, можно было уже приметить, что из благоустроенной гражданской сферы вырастала образованная анархия. Один еще управлял помыслами страх, но уважение ко всему пропадало. Старость не имела должной почести, заслуги лишались благоговения, им принадлежащего. Молодые люди без опытов кричали и самовластно требовали к себе доверия. Всякий всякого боялся, никто никого не чтил, а любви уже и не встречали. Гвардия, замученная маневрами, раболепствовала, и дух прежний был в ней убит. Политика дремала и готовила царство русское к тем усилиям, кои по времени всю ее разорили. Ничто не слаживалось в кабинете, все брать надлежало с бою и пролив моря крови. Финансы истощались беспутным распоряжением. Расходы были непомерны, приходы недостаточны, деньги бумажные понижались час от часу, серебро высилось и дорожало. Вотще Васильев, мастер счетного дела, удерживал стремление издержек — никто его не слушался. Науки и словесность приходили в упадок, у двора не читали ни стихов, ни прозы. Должностные люди выдумывали проекты, и типографии печатали указы да приказы. Молодые люди портились. Парил еще Державин, но редко, и полет его был не широк. Забавы состояли в одном беганье по улицам с полдня до вечера и с вечера до ночи в театрах. Снимая пример с двора, никто не давал роскошных пиров и балов. Скромно хотели жить, но нескромно вели себя; говорили мало, но дерзко, писали много, но без разума; ласкали не любя, жалели и не помогали, суетились и не успевали. Сам двор жил весьма уединенно. Нельзя было на улице, встретясь с кем-либо из высочайшего дома, узнать достоинства его наружного ни по сопровождающим, ни по экипажу. Искали во всем простоты и попадали на площадь, в ряд со всеми. Скупость везде и во всем была так очевидна, что нельзя было ее не приметить. Милости придворные были мелки, дары ничтожны, ласки пустые и совсем бесполезны. Вот образ публичной жизни, какую я нашел в Петербурге.

По приезде моем явился я тотчас к министру, который, приняв меня наилучшим образом, позволил несколько раз с собою видеться наедине и говорить о делах службы. Граф Кочубей заслуживает как государственный человек наилучшие похвалы. Холодная его учтивость с подчиненными, удаляя, что мы просто называем, панибратство между им и теми, не имела, однако, той суровости, которая свойственна одному надменному вельможе. Он не обнимался с подчиненными и не шутил с ними, как, на-

пример, князь Лопухин, но почитал звание каждого, отдавал всякому должное, вникал в представлении словесные, уважал письменные, выслушивал терпеливо возражении. Ему можно было без страха противуречить, с ним беседа была не пуста и не бесполезна. Он разбирал дело. После всякого с ним разговора я выходил от него совершенно доволен и разрешен во всем. Одобрение его уже была награда. Он не любил за все про все выпрашивать подчиненным чины и ленты, но обращение его с ними, вес, который он давал прямым талантам, вознаграждало щедрость в отличиях. Не всякий ими одними пленяется, есть люди, для которых доброе слово дороже алмазной звезды. Для сих последних Кочубей был, конечно, настоящий министр, хороший начальник. Я осмелюсь сказать решительно, что граф Кочубей делал честь своему сану паче многих. Канцелярия его наполнена была лучшими людьми в приказном разряде. Начальники столов и департаментов отличались дарованиями природы и навычным познанием своей обязанности. Сперанский, превосходный человек в гражданской работе, имел сотрудников замечательных в особах Серебрякова, Лубяновского и Магницкого. Отношении ко всем к ним были легки, свободны и приятны. Сам Сперанский был благоприступен, велеречив, тщателен и не отгонял от себя ни грубостью, ни видом спесивым. Умный может быть горд в духе, но кичливость — атрибут одного глупца.

Проживши недель пять в Петербурге, насмотрелся и наслушался довольно, ознакомился с своим министром и его ближайшими чиновниками и имел счастие расположить всех их в свою пользу. По обыкновению, был представлен и государю. Сей церемониял не заключал в себе ничего особенного. Государь не жаловал никого к руке, отдавал каждому поклон и проходил молча весь ряд представляемых чинов. Тем кончалась вся аудиенция. Я ни о чем не просил тогда, как о поддержании недостатков моих денежным пособием, и граф Кочубей предоставил времени удовлетворить меня в оном, в прочем я ничего не искал и с полным удовольствием готовился ехать домой. В одно время со мной приезжал искать счастия шурин мой родной Смирнов Савва Сергеевич. Он служил стряпчим губернским в Нижнем. Прокурор[5] его хотел перейтить в Орел, а он — заступить его место. Дело сие в руках было у князя Лопухина, который после многих моих приступов, и наконец сжаляся почти на слезы мои, насилу решился определить шурина моего в Нижний в прокуроры, в чем приятно было мне содействовать и даже с угнетением самолюбия, потому что я его лично любил, а более потому, что он был брат родной жены моей.

Мог ли бы я уехать, не побывав там, где Евгения отдавалась мне навсегда пред лицем Бога и человеков. О нет, конечно нет! Итак, я ездил на Каменный остров, слушал обедню в том храме, где нас так пышно венчали, вспомнил минуту нашего соединения, начало и конец моего блаженства, оросил чувствительными слезами тот порог, через который мы с именем супругов выступили из дома Господня, то место, где клятвы наши услышаны были разрешителем наших уз телесных, но призывающим нас к соединению душевному в чертоге небесного своего царства. Я глядел на иконы, алтарь, мрамор и золото, но видел образ одной Евгении. Я слышал пение церковное, но внимал одной ей, и тень ее, казалось, везде стояла рядом со мною. Приими, Боже, жертву тогдашнего умиления раба Твоего и спаси ту, кою в означенном доме Твоем нарек Ты быть до гроба моею.

Распутица не позволяла мешкать. Срок истекал, и я, распростясь с родней и знакомством северного края, взял с собою опять секретаря и сына и выехал на Страстной неделе из Петербурга[6]. Для меня не было праздников без Евгении, и чем отличнее встречался день в году по какому-либо событию, тем тошнее было мне проводить его в людях. Я не назову этого завистью, но в самой натуре человека есть какое-то отвращение к чужой радости, когда сам страдаешь. В таком расположении духа я бежал на Святую неделю от города и общества, я хотел ее провести в дороге, ни там, ни сям и ни с кем, что мне совершенно удалось исполнить. День рождения моего приходился в этот год в Великую пятницу весьма кстати, и я, накануне выехавши в путь, провел его в коляске на Новогородской дороге. В Великую субботу навестил я могилу деда моего в Новогороде, с сокрушенным сердцем пал пред гробом знаменитого сего мученика, пострадавшего за свободу, и, не мешкая, продолжал путь свой. Имея привычку по ночам стоять в жилах, я в Светлое для всех, а темное для меня воскресение[7] проснулся в селе Крестецкого уезда, где отслушал обедню, разговелся с товарищами в избе и, поплакавши довольно, спрятался на весь день в повозку. Праздничная неделя для всех текла для меня беспокойно и уныло. Готовясь в Москве пробыть несколько ден и, следовательно, быть в Донском, я по пути приготовлял дух и мысли к тяжкому испытанию. Ничего не пропускал печального, уклонялся от всего приятного и в селе Медном, где похоронена теща моя, навестил гроб ее. Я дразнил свои чувства, вызывал меланхолию из всех ее внутренних ущелин и дышать хотел ею одною. Свернул в Подзолово, бедное поместье Смирных, в котором некогда Евгения, со мною заезжая на сутки на

двое, и хижины родимого своего края превращала для меня в чертоги. Наконец, увидел я и московские златоверхие башни и приехал в самые сумерки того дня, в который на Святой неделе бывает в околотке нашем гулянье на Девичьем поле. Народ успокоился уже, дома чужих никого не было, и я не встревожил ничьей радости своей пасмурной рожей. Желая с матушкой проводить хотя кончик единственной в году недели и по обряду христиан с ней похристосоваться до истечения оной, я исполнил долг сей в субботу и заключил Святую неделю в родительском доме.

Недолго мешкал я в Москве и не бросался никуда. Магнит мой был в Донском и тянул меня к себе неотступно. Собравши все душевные силы, поехал я в жилище мертвых. Там уже предварили меня отец и дети[8], еще не было одной жены, и сию между гробами увидел издали. Памятник ее кинулся мне в глаза первый. Купол с надписью простою французскою, поддерживаемый семью столпами, возвышаясь между деревьями в отдаленном углу кладбища, означал дом костей наших, дом, в котором и я хочу истлеть подле Евгении. Число столпов означало число детей, оставшихся после нее. Надпись следующая: «Dieu retira son souffle à lui et Eugénie mourut»*. Реналь сказал сие о Элизе Драпер, найденной в Индии[9]. Простота выражений и высокость мыслей меня пленили. Я ее насек на своде золотыми буквами. Пусть никто не узнает, чей гроб тут поставлен. Оно для меня одного нужно, а я всегда его узнаю. Ни годы, ни времена, ни стихии, ни случаи, ничто ее не изгладит в душе моей. Приближаясь к бездыханной Евгении, я затрясся и упал. Я был нем и бесчувствен. Сжатое сердце не могло вздохнуть. Долго слезы не брызнули, долго природа оспоривала меня у смерти, и казалось, что сия последняя совсем меня присвоила. Я очувствовался за оградой монастыря и долго в мыслях лежал у ног Евгении в могиле. Тяжело любить еще то, что и нас любило, когда смерть пресекает взаимность. Любовь двух сердец, связанных вместе, есть блаженство человека, но любовь одного без возврата — мука беспримерная. Назовем ли поэтому благом забвение того, чего лишились? По рассудку казалось бы так, — душа иначе чувствует, она и во гроб летит к тому, кто ей давал отрады.

Управлял Москвой тот самый Беклешов, который так грубо обошелся с женой моей во время коронации. Но долг общежития, долг самой службы требовал, чтоб я к нему явился. Не тот уже был вельможа ныне. Холя с него спала. Он принял меня учтиво, ласково, звал обедать раз и

---

* Бог отнял ее дыхание, и Евгения умерла (фр.).

два и снисходил даже до приветствий похвальных. Таков человек! Велик, когда возносят, и мал при непогоде.

Отношении мои к княжне Волконской переменили вид свой с самой кончины жены моей. Мой сон в ту пагубную ночь еще мерещился в глазах. Я будто не просыпался после него. Но поехал к ним, виделся с нею. Тяжкая встреча необходимая! Дружба в чистом и прямом ее смысле взяла место всех прочих чувств между нами, и оставалось обеим нам быть ею довольным.

Пока я был в Москве, в Университете случилось чрезвычайное заседание, на которое приглашены были все почетные его члены. По наличности в городе, принял и я в нем участие. Школьное словопрение заняло собрание целое утро. Я молчал и слушал. Дело шло об ижице. Задан вопрос: когда она писалась с крючком и когда без крючка? Я порадовался глубокой премудрости состязаний общих и, не входя в анатомическое исследование брошенной в азбуке нашей буквы, внутренно благодарил промысл, который в том же доме давал мне право, стул и голос, где в юности моей, сидя на лавке, чертил на аспидной доске задачи и глядел на профессора, как на создателя мира, а ныне рядом с ним на диспуте мог и противуречить без боязни. Жаль, что для таких преимуществ надобно терять зубы и приобретать белые волосы. Под старость все скучно, и почести надоедают.

Виделся с детьми отца моего, двумя Богдановыми. Они жили при матери своей. Имея в памяти всегда живо завещание родителево и желая усладить скуку моего одиночества, я пригласил сестру жить у меня в доме в Владимире. Не вдруг и не совсем она на то решилась. Мать ее отпустила погостить, и мы собрались вместе в путь. Она, приложа собственные труды к своему воспитанию, читала много и развернула все свои способности. Образование ее было не чужеземное. Природа наделила ее умом, душевными качествами и пылким воображением. Оно-то меня к ней и привязало. Пословица есть старая: «Рыбак рыбака далеко видит в плесе». Мы с ней сошлись дружелюбно и прямо родственно. Она полюбила меня, я ее, и кроме согласия, имея ее в своем доме, мне ничего ожидать было нельзя. Но кто испытал человека? «Приступим, — говорит Давид, — и сердце глубоко». Подлинно жаль, что в него нет слухового окошка. Меньше бы люди ошибались. К несчастию, и самая чистая дружба основывается нередко на пристрастиях. Кто жил без промаха?

Таким образом проживши с неделю в Москве, я обращал взоры мои к Владимиру. Не прощаясь с домашними, потому что я никогда с ис-

кренними не любил прощаться, уехал из дома тихонько, посетил еще раз княжну Волконскую и, чувствуя, что снова увлекаюсь в восторги, простился с нею неравнодушно, пожалел о ее положении. Оно было не красиво, но, не дав места слабости, ускакал к заставе. Там ждала меня Анна — так стану звать я сестру мою. Сели в коляску, и солнцу заходящу выехали мы из Москвы[10], где все милое мне в живых и мертвых далеко от меня оставалось.

Приехавши в Владимир, нашел я у себя доброго иностранца Венца, с которым снова оплакал Евгению, и поручил ему надзирание детей моих. Истекал год тому ужасному дню, в который возгремел над главой моей страшный гнев Божий, — день, в который не стало жены моей. Если память ее свежа была еще в городе сторонним людям, то что же чувствовать должен был я при таком напоминании? Выше сказано, и здесь повторю: для истинных печалей нет времени, ни срока. Они вседневно отзываются в душе нашей. По совершении на сей случай приличных духовных обрядов, в коих из любви к покойной приняли все участие, поехал я в мае же по городам. Встречали меня в губернии кисло, потому что я не привез с собой никому ни крестов, ни чина. В провинциях обыкновенно, когда начальник скачет в столицу, ждут с ним все великой и богатой милости. Никто не видал обращения со мной графа Кочубея, которым я имел все право хвалиться, но видели все, что я ни людям, ни себе ничего не выпросил, и на этом основывали заключение, что мне *не везет*. Слово значительное в России и вечно будет иметь большую силу[11]. Что мне было нужды, морщатся ли, на меня глядя, или улыбаются; одно, конечно, приятнее другого, но, впрочем, лишь бы делал всякий свое дело и меня не отвлекал от моих трудов, остальным я не дорожил.

Кончив весенний объезд, я против чаяния принужден был ехать в Муром снова. Там сильный пожар истребил треть большую города[12]. Сгорели многие кожевенные и другие заводы. Купечество и жители знатные потерпели убытки. Осмотрев лично все, я не мог не пожалеть о таком бедствии. Пожар произошел от нечаянной причины, ветер резкий распространил его и опустошил лучшие части города. Досталось некоторым и монастырям. Никакие полицейские средства не сильны были бороться с огнем, раздраженным воздушной стихией, которая везде кидала полымя и вдруг в несколько мест заносила искры. Сделав надлежащие распоряжении на месте, я доставил городу нарочитое количество леса по Оке и сверх того, представляя о сем несчастном приключении, просил министра исходатайствовать на пособие фабрикантам и всем гражданам

вообще денежной ссуды. Представление мое имело желаемый успех, и государь позволил отпустить на двадцать лет без процентов пятьдесят тысяч с выплатой оных ежегодно по равной части в казну. Ссуда сия весьма оживила город. Деньги были думой самой розданы по уважению понесенного каждым лицом ущерба, и город стал мало-помалу отстроиваться. По счастию, ничто казенное не сгорело и не растратилось во время пожара. Одни сгорели старинные казармы, но и эти так были ветхи, что уже у предместника моего шла переписка с военными чинами о перестройке их, однако так как без особенного случая выдавать деньги казна всегда туга, то нынешний пожар и ускорил успех столь необходимого дела. В самой вещи, могли ли уже на что-нибудь годиться деревянные слободы, построенные в 64-м году и с тех пор не чинившиеся? Естественно, что из них вышли развалины. Слободы сии были устроены при Екатерине Второй с ее именного соизволения для помещения в них известного числа солдат гвардейских, определяемых на инвалидное содержание при отставке за старостью и болезнями. Тут по стату определено было жить и четырем офицерам, по одному из каждого полка. В эту так называемую Муромскую инвалидную команду не помещался ни один солдат полевых полков. Я о постройке ее с новыми планами особенно представил, и на это отпущено мне было до тринадцати тысяч рублей по моей смете. Операцию сию поручил я на месте тутошнему городничему[13] и, миновав подряды, произвел постройку хозяйственно, покупая и привозя лес водой из первых рук и своими комиссионерами. В том же лете вышли некоторые сомнении, что слобода сия, состоящая из осьмнадцати казарм о двух в каждой отделениях, замком, построенная из хорошего соснового леса, стоила бы меньше выпрошенной мною цены при лучшем досмотре. Министр, узнав о том, требовал от меня пояснения, и я опять ездил в Муром, созывал при себе всех промышленников, считал, писал, выкладывал, и наконец общим приговором всех лучших людей в городе утвердили прежние и планы, и сметы, чем все покушении противу меня недоброжелателей моих исчезли. Министр, получа мое пояснение, остался доволен, и никто по этому обстоятельству меня более не тревожил. Все это проходило уже в зиме 1806 года, но дабы не разбивать материи, я весь предмет описал теперь вдруг. Приятно служить, когда знаешь, что истина имеет противу клеветы твердую защиту, но после Кочубея, скажу смело, эта благонадежность пропала. Муромский тогдашний пожар подал повод странному приключению, которое я отнесу к другому времени, ибо он не должен иметь никакой связи с службой, хотя по бумагам и был к ней примешан.

В Петербурге еще при мне снаряжалось огромное в Китай посольство, и назначен был уже послом граф Головкин, действительный тайный советник, сенатор, двора обер-церемонимейстер. При отъезде его повеление воспоследовало, чтоб он произвел ревизию всем губерниям, за Москвой к Сибири лежащим. Под сей осмотр подходила и Владимирская. Извещен быв предварительно о сем от министра и от самого графа, я приготовился к отчету и собрал по всем местам нужные о делах ведомости. За несколько времени до посла проезжал старший из свиты его чиновник граф Потоцкий, тайный советник и сенатор, особа глубокого учения и объездившая весь свет. Он из одного любопытства, дабы видеть Пекин, присоединился к посольству. Оно было пышно и соответствовало в приготовлениях своих необыкновенности предприятия. Потоцкий проехал город не останавливаясь, но, встретясь со мною на пути, как я ехал из Мурома домой, остановился, я также, и в наших экипажах мы на скору руку ознакомились. Я прежде его не знал. Он показался мне учтив, приветлив, но угрюм и, от упражнений постоянных в изыскании древностей, отливал какую-то мрачную тень на разговор всякого рода. За ним предшествовали скоро послу тяжкие обозы, нагруженные дарами от нашего двора китайскому царю. При каждом транспорте ехали разные чиновники. Провоз сей требовал больших осторожностей, ибо много везли стекла, фарфору, зеркал и разных ломких драгоценностей, кои прихоть в больших городах так искусно родит, а суета так часто в пыль паки превращает. Наконец, среди лета и жаров приехал граф Головкин в Владимир. С ним налетело молодых придворных множество: князья, графы и барчинки. Кто был кавалер, кто советник посольства; но для ревизии граф имел при себе особый штат гражданских чинов, кои управляли его письмоводством по сему особенному поручению. Граф, приняв от меня рапорты и ведомости, посвятил на ревизию три дни и каждое утро ревизовал присутственные места лично, входил во все подробности, расспрашивал меня не о исходящих одних, не о настольных и прочих канцелярских обрядах, которые входят в обязанность низших служителей, но в продолжительных разговорах требовал от меня сведений о нуждах губернии, о состоянии жителей, о домоводстве поселян, о их промыслах, торговле, о купеческих изворотах, судоходстве и положении лесов, входил прилежнейшим образом в исследовании, за что, давно ли и как содержался каждый колодник, разбирал уголовные суды и вникал теоретически в их настоящую обязанность. На все это он выслушивал мои замечании и, когда находил их основательными, изъявлял мне осо-

бенную благосклонность. Все имели к нему свободный доступ с жалобами. На меня не было подано ни одной, заслуживающей внимания, и сие паче всего расположило графа в мою пользу. Я его знал и прежде, но знатность, чины, богатство, все его так от меня отдаляло, что я с ним никогда не имел знакомства, и тем лестнее для меня была всякая его похвала. Известно было ему о нашей распре с вице-губернатором. Я в Петербурге громко кричал о ней, и министр поручил ему рассмотреть начала наших раздоров. Он скоро узнал на месте и поведение, и дела г. Колокольцова и отдал мне полную справедливость, признательно сказав, что он места своего не стоит. Граф обещал нас развести, чего одного я и желал. Трудно жить и дело делать с человеком завязчивым и неугомонным. Таков был настоящий вице-губернатор. Окончив ревизию, граф изъявил мне полное свое удовольствие, и я никогда не отрекусь сказать, что, с хорошими правилами служа, отменно лестно быть под отчетом у такого благородного и рассудительного мужа, каков был граф Головкин. Ревизия губернии никогда не состоит, по мнению моему, в том только, чтоб сверять номера входящих и исходящих книг или привязки делать к одной форме, которая не составляет гражданской опытной службы. В этом смысле и копиист иногда, поседевший в приказной комнате, больше научен министра. Нет! Ревизия требует ума, сметливости, познаний. Главная ее цель в том, чтоб удостовериться, разумеют ли поставленные чины свое дело, понятны ли им их обязанности, как они об них рассуждают, как поступают с подверженными их суду, щадят ли человека и соразмеряют ли наказании с виною. Многие пучат глаза и на самую простую ошибку, никому не вредную, и не видят или жмурятся, когда явный плут сыплет как бисер перед ними кучу указов на память, и думают, что тут бездна премудрости. Ябеда не есть правосудие, и крючкотворство не есть правоведение. Сии две вещи требуют большого различия. Граф глядел на ошибку без сердца, выговаривал, исправлял, но сердился за одно нечестие и, где примечал его, не уважал там ни чином, ни лицом. Вот прямая ревизия! Счастлива была бы Россия, если б все те, коим доверяются такие труды, были подобны в намерениях и поступках своих графу Головкину. Я остановлюсь здесь, ибо и то, что я сказал уже, боюсь, чтоб не вменили мне в лесть, потому что он был мне после осмотра губернии истинный благодетель.

Служба не отнимала места у веселостей. Все утро проходило в трудах, а днем предлагались графу разные забавы, от которых он не уклонялся, и во время их переставал быть ревизор, а являлся приятным царе-

дворцем. Совместны были шутки остроумные, свободные разговоры и ученые прении. Молодежь, его сопровождавшая, любила плясать, и у нас славный был бал в воксале. Посол со всей свитой у меня обедал, ужинал и был на домашнем бале, до которого дочь моя сыграла с секретарем моим в двух лицах французскую комедию. Она имела полный успех. Название ее «Défiance et malice»[14]. По отъезде графа отсюда, я более жалел о том, нежели радовался. Никогда не тяжело действовать под взорами человека благоразумного и справедливого. Всякий поступок имеет свидетеля, который ценит его. Итак, с душевною признательностию провожал я графа Головкина и буду помнить во всю жизнь мою приятности его пребывания в Владимире.

Потом я поехал в уезд с визитами к графу Воронцову, который час от часу становился слабее в здоровье своем, а сверх того приехали на чистый воздух в свои поместья на короткое время петербургские вельможи граф Н. И. Салтыков с супругой и граф Васильев, министр финансов, с своим домом. К первому влекли меня фамильные отношении. Я у них был в их селе Черкутине. Они приняли меня ласково, участвовали во мне любопытными о судьбе моей спросами и оказали мне полные знаки придворной ласковости. Тут я нечаянно встретился с Зубовым В. Н., тем самым, который на меня, быв директором Экономии в Пензе, выводил знаменитые казенные похищении. Гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдется. С тех самых пор я его нигде не видал, но, увидя, никакого не почувствовал замешательства. Ни кровь, ни желчь не заиграли. Я соболезновал о нем, как о безумном человеке, и не смотрел на него, как на злодея. Как время над всеми нашими чувствами торжествует! Покажись он мне тотчас после доноса — потеряв тогда я сам весь рассудок, пустил бы ему нож в сердце; увидел десять лет спустя — и без смятения с ним поцеловался. Нет ничего такого в чувствах наших, чего бы время не изменяло по-своему. Все истирается в них: любовь, гнев, досада, мщение, всему своя смерть в смертном нашем составе. К Васильеву я писал, но сам быть не мог за отдаленностию от губернского города. Посмотревши на крестьян своих, оба сии господа с теми же об них понятиями поехали на север, с какими приезжали в поместье. Не их дело жить в деревне, лишь бы оброк возили, а там все для них стороннее дело. В одно и то же время, как был посол в городе, приезжала княгиня Куракина и брат ее сенатор Нарышкин, посетивший ее в вакантный свой месяц. Всякий день я с сестрой виделся на квартере, а брат был на всех наших праздниках, и с женою. Это умножало приятности того времени.

Я начинал привязываться самой твердой дружбой к княгине Куракиной. Достойнейшая женщина между многими в своем поле! Сердце мое прирастало к ней всеми корнями, и я часто уже следовал советам ее в устройстве моем домашнем. По отъезде их в деревню, чтоб не вдруг нам было скучно, принес Бог иностранца какого-то, который представлял увеселительные тени и пустил на воздух пустой шар. Это продолжало несколько дней еще суеты городские, а как все утихло, и город опустел по-прежнему, то всякий из нас вошел в свою тарелку и занялся сам собою. Здесь и я обращу читателя к моему семейству, в котором свои происходили достопамятности.

Некто Селецкий Василий Лаврентьевич, дворянин малороссийский, бывший по службе в комиссариате лет десять тому назад в Москве, посещал наш дом и имел виды на супружество с меньшою моею сестрою. Намерение его столь твердо было принято, что уже без публичных объявлений, но под рукой знали о том многие ближайшие наши родственники. Я тогда находился в Пензе. Отец мой только что скончался. В самое то время, когда ожидали делу развязки, г. Селецкий вдруг пропал, уехал из Москвы и во все это время не дал о себе знать никому из нас ни слова. Что оставалось заключить иное, как не совершенный между ими разрыв? Долго действовало на всех такое оскорбление, однако, как всему есть время, происшествие сие забылось, и сестра уже о нем не поминала. Чудесам не верят! Они бывают, право, и в наши дни. Вдруг от него получает сестра у меня в Владимире письмо, в котором, объясняя, что он уехал для того, чтоб привести дела свои в порядок и быть в возможности доставить ей судьбу спокойную с стороны достатка, теперь просит ее, если она своего намерения не переменила, позволить ему приехать в Москву и соединиться с ним браком. Знали мы и прежде, что он зависит совершенно от матери, которая и теперь еще была жива, но в течение сего времени она разделила сыновей своих. Их было двое, и Василий Лаврентьевич, прикупя в долг имении из продаваемых очень выгодно в Польше, занялся хозяйством, стал курить вино, выплатил долг и остался помещиком без мала тысячи душ, коих часть находилась в Черниговской губернии, а другая под Киевом в Богуславском уезде. С таким состоянием сестра могла обещать себе дни спокойные под старость. Она отвечала ему тотчас и удостоверила, что постоянство его к ней и расположение столь попечительное к ее судьбе, даже и тогда, когда она более имела причин помышлять о совершенном себя забвении, приобрели ему полное право на ее сердце, а с ним и рука ее готова. Переписка продолжалась

месяца с три. Между тем сестра поехала в Москву готовить все нужное к свадьбе. Селецкий, условясь с сестрой заочно и положа все на мере[15], написал и ко мне о своем намерении. Я отвечал согласно с видами сестриными. Наконец, приехал жених в Москву, и после немногих предварительных обрядов свадьба их совершилась в конце сентября в Москве. Скоро потом они приезжали и ко мне в Владимир, где я им давал обеды, комедии и балы. Погостив у меня с неделю, возвратились в Москву и, не долго мешкав, сестра с мужем поехала искать новой родины в стране ей неизвестной. Я благодарил Бога, и все семейство наше купно со мной, а паче мать моя, что он привел ее устроить участь меньшой сестры столь вожделенным образом. Кто поспорит, видя такие случаи, что есть на все приключении жизни нашей что-то недоведомое, непонятное, названное смертными судьбой. Человек уже немолодой, ему было тогда лет тридцать с лишком, пленяется благородной девушкой, ищет ее в супружество, домогается согласия общего, получа его, бежит, так сказать, и девять лет не уведомляет о себе никого. Как бы умер. Где он, не знаем; что делает, не ведаем; что располагает, вовсе неизвестно. Сестра стареется, он также. Какие могли быть надежды в успехе начатого предприятия? Люди считали все это вздором, публика оглашала ее своими толками, семья наша тужила и уже забывала сама все бывшее. Бог возрождает в нем прежние чувства. Под старость он с жаром обращается к своему предмету, воспоминании его любви согревают снова сердце в сестре моей, словом, совершается брак неожиданный и, к удивлению всех, сестра, дожив почти до сорока лет в девушках, выходит очень выгодно замуж. Какой оборот! Какая превратность в случаях! И после того скажем ли мы, что нет судьбы? Есть, есть конечно, сколько разум ни противится тому верить, ища всему в мире причин, начал и математического основания. Сердце истину сию в событиях ощущает. А что же может быть сильнее опытов, да и каких? Сердечных! Похвалим потом столь редкое и постоянство с стороны новых наших супругов. Вот настоящий роман! Виноват, я бы не способен был к такой развязке. В жару страстей я, может быть, без всякого разбора женился бы на первой встрече, но одумавшись, никакая свычка меня к венцу привлечь не могла бы. Напротив, часто легкие успехи на пути любви отнимали у меня всю прелесть наслаждений. Как новый Солиман, не таю моих слабостей[16]. Я переставал любить, когда становился мил. Кстати здесь собственный опыт свой приведу для дополнения моей нравственной Истории. Я был при жизни жены моей влюблен в княжну Волконскую. Она под именем Глафиры в

стихах моих того времени воспламеняла сильным образом мои чувства. Препятствия зажигали страсть. Душа моя, казалось, не дышит без нее и не живет. Ошибка! Все строило одно воображение. Постигла меня беда, и с нею дала судьба свободу. Жениться снова зависело от меня. По некотором времени я даже предложил княжне Волконской с большой от всех скромностью разделить мое одиночество. Никто о том, кроме нас двух, не знал. Уже согласие ее готовилось увенчать мой пламень, уже я изменял теплому еще праху Евгении новыми узами, когда прошла нечаянно молва в доме нашем по одним догадкам, что я женюсь. Дочь моя, невинная Маша, уронила тихонько слезу, я ее увидел и с той же почтой положил основание вместо брака вечному разрыву между мной и княжной Волконской. С тех пор исчезла пылкая любовь моя к ней. Велась еще между нами переписка, но сухая, холодная, незначущая. Я уважал ее всегда, почитал ее достоинства, но Купида уже улетел, а когда его нет, то Гименей один дела своего сработать не может. Вот история если не всех сердец человеческих (зятнино доказывает, что в иных людях оно очень чудесно образовано), по крайней мере моего, которое кружится в большой массе обыкновенных произведений природы.

Займемся несколько и другою сестрою моею, свободной или, по общему названию, побочной дочерью отца моего Анною Михайловной Богдановой. Она, живучи при матери своей и скучая по мере возраста ничтожным существованием своим в Москве, предпринимала намерение удалиться в Кавказ, где служил брат ее, и там всей семьей навсегда водвориться. Отставной генерал-майор Хостатов, из армян, женатый на зажиточной дворянке, полюбя Григорья, брата ее, с тех пор, как он служил у него в полку, доставил ему способ устроить там на линии маленькое садовое заведение, которое до десяти тысяч им стоило с помощию того же Хостатова, и к этому малому имению придерживаясь, семья Богдановых задумывала ехать в Кизляр[17]. В Москве начинала пугать дороговизна. Уже все было к отъезду готово: отправлен обоз, закуплены необходимости, но Бог учреждает наши участи, и мы тщетно об них печемся. В самое это время наезжаю я на обратном пути из Питера в Москву, вижусь с сестрой, убеждаю ее жить при мне до времени. Внушении природы всего сильнее. Она не колебалась. Мать, оставшись в Москве, ее отпустила к нам. Погостив со мною до поездки моей по городам, опять вернулась к матери своей с намерением переехать совсем в Владимир, устроивши свои дела тутошние и кавказские, которые требовали одуманных соображений. Встретился между тем и ей жених, молодой небогатый

человек по имени Чайковский, служащий в обер-офицерских еще чинах по почтовому ведомству. Посватался. Анна не имела никакого состояния, кроме сада в Кавказе и маленького денежного капитала, оставленного ей дядею ее родным, и завещанных по связи с ним графом Шереметевым 10 тысяч. Достаток не вовсе бедный, но и не широкий, однако молодой человек полюбился, это дороже золота. Мать согласилась, и сестра, привезя его с собой в Владимир, хотела, чтоб я ее помолвил. Сердцу противиться трудно. Я видел ее решимость и присоединил мое согласие к общему. Сговоривши их, отпустил в Москву, считая, что скоро увижу опять у себя молодыми. И то не угодно, знать, было Богу. Чайковский слишком торопливо оказал жадность к интересу[18], потребовал в свое распоряжение чистых денег. Это несколько сомнительно показалось. Стали примечать за его нравом. Нашли корыстолюбивое свойство и мало чаяния в прочности союза с ним. Анна, от природы быв самолюбива, встревожилась наготою столь низких чувств в женихе своем. Она видела, что милы ему деньги, а не человек и, подумавши сама с собой, отказала Чайковскому без возврата. Разрыв их укрепил еще сильнее союз ее природный со мною, и она решительно переехала жить к нам в Владимир. Отлучка сестры моей Селецкой в отдаленный край умножала мое уединение. Анна имела все свойства, способные меня рассеять и занять. Товарищество ее становилось мне нужно, и я ему обрадовался столько, сколько в настоящем моем положении мог чему-нибудь обрадоваться. Все имеет свои неудобства в мире. Чистота удовольствия моего помрачалась, когда я вспоминал, что мать моя огорчится, узнав о пребывании Анны Михайловны у меня в доме. И подлинно, хотя она не рассудила гласно изъявить мне на сей счет своего негодования, но знал я, что поступок мой с сестрою, присоединив ее к моему семейству, ей не понравится. Увы! Что делать? Заключим всякое по предмету сему рассуждение тем, что тяжеле всего на свете найтиться в необходимости, угождая отцу, раздражить мать. По завещанию родительскому, конечно, я исполнял долг сыновний, призрев сироту, единокровную со мной, и отворив ей двери моего дома, но тем же самым налагал раны матери родной, которой это не могло быть приятно, тем более, что я, имея и прежде возможность сделать то же, решился на такой поступок гораздо позже и вдруг, хотя отношении между Анной и мной были те же издавна. Но, признаюсь, что решимость ее броситься в Кавказ так меня тронула, что для отвлечения ее от такого смелого предприятия и всячески бесполезного для ее пола и возраста, я захотел ввести ее в наше семейство. Впрочем, в

бесчисленных ошибках человеческих весьма трудно отгадать, где именно ведет нас сама рука Божия.

Все это делалось в течение целого лета, но дабы не дробить происшествий, я о каждом из них в один раз сказал все то, что сказать надлежало. Присовокуплю еще третий случай. Зять мой граф Ефимовский в сентябре месяце в Москве женился на девице Скарятиной. Имея детей от сестры моей, он не был для меня равнодушен. Я участвовал во зле его и благе, как в своем собственном, но со времени этой женитьбы связь родственная между им и нашим домом разрушилась. Дети его перестали ездить к матери моей. Такой видимый знак пренебрежения к ее летам и степени родства охолодил всех нас совершенно, и я более уже не упомяну о нем в течение моей Истории. Возвратимся к подвигам публичным.

По обыкновенному распорядку ученого правительства, навестил гимназию ревизор профессор Антонский в августе месяце. Директор, прежний мой секретарь, расстроившись в духе после продолжительной болезни и замученный ипохондрией, которая скоро принудила его оставить свою должность, не в состоянии был гимназии представить к осмотру. Добрый ревизор, снисходя слабости человеческой, поправил, что нужно было, дал публичный при себе экзамен, часто видался со мною и потом уехал. Без дела в наших городах никто не останавливался. Проводя его, я поехал по округам и в Александровском уезде завернул к г. Муханову в село Успенское. Тут нашел я княжну Волконскую с ее обществом и признаюсь, что, несмотря на случившееся между нами, видел ее с удовольствием. Восторг не принуждается и не в нашей воле, но нельзя не любить всегда и не увлекаться тем, что любезно. Это право всех тех, кои получили дары природы. Ум и свойство княжны Волконской сделали ее встречу навсегда для меня приятною. Тут был сельский праздник, на который у меня и стихи поспели. Они напечатаны в книжке моей, названной «Сумерки моей жизни»[19]. Праздник был не огромный, но затейлив. Освещение сада, убранство павильона, в котором ужинали, простота гостеприимства, все эту вечеринку сделало для меня памятною надолго, и если б на ту пору мысли мои были менее черны, я живее бы принял участие в настоящем пиршестве. Но что-то против воли моей отвсюда тянуло меня в губернский город. Я объясню сии слова в особом рассуждении, которое поместится в конце года. По приезде моем домой явился ко мне содержатель актерской шайки, — не все ли то же, если сказать и труппы? Он просил дозволения зимовать в Владимире и давать представлении. По охоте моей к этой забаве, сколь ни безнадежно было най-

ти в сборище скоморохов, бродяг истинное удовольствие, однако ж я подкрепил намерение содержателя, дал ему разные местные пособии, отвел пустой дом. Он тотчас в нем выстроил театр, приготовил пиесу, и дело пошло на лад. Дорого платились креслы и лавки партерные, но как быть! Кто из чванства, кто из праздности, все места разобрали на целую зиму, и первая потеха для открытия сего нового заведения дана была 5 сентября. Как играли, до этого дела нет. Всякий бил в ладоши и старался ударить первый. Чтоб лучше подражать привычкам большого света, многие, наслышавшись, что в Москве и Петербурге, когда долго не поднимался завес, публика ропщет и изъявляет нетерпение свое тростьми, коими стучится не по людям, однако, а только по полу, и здесь точно так приезжали в театр в зимние дни еще в сумерки, следовательно, и не поздно, однако стучали костылями для вывески, что и они жить умеют. Нередко полиция принуждена бывала унимать подобные восторги, и часто в самых кулисах присматривал пристав, чтоб кто из актеров не выкушал лишней рюмки хмельного и не расстроил комедии. Декорации и одежда ответствовали искусству. Три раза в неделю народ в театр съезжался. Я не пропускал ни одного раза, потому что, сидя в спокойных креслах на просторе и без стороннего занятия, мог смеяться или дремать по своему произволу. Свобода в провождении времени не есть отнюдь удел начальника губернии. Он всегда и везде действует. Молчит ли он — все молчат; заговорил — все слушают; нет средства дать себе малейшую ослабу ни дома, ни в гостях. Там он как хозяин всех занимает, тут как старший гость опять он же один у всех в предмете, а в театре, стоит ли того пиеса, или нет, у всех по навыку глаза и уши на сцене, и каждый хозяин своего места угощается сам собой как хочет. Мне этот театр часто приводил на память те смешные полковые игрища в старинных гвардейских казармах, когда соберутся гренадеры в девять и десять вершков роста на святках в пустую избу, разберут по себе Илмен, Семир[20] и прочих наших героинь театра и за десять копеек дурачатся во всю ночь без угомону. Кто из нас не хохотал там? Кто не лакомился пряниками? Кто не потчевал орехами стыдливых прапорщиц, то есть солдатских жен, которые, распестря личики свои ярчее Спасских ворот, привозили дешевые свои прелести на показ мужниным командирам? Сколько выходило после всякого спектакля рогатых актеров! Прошу прощенья у провинциальной труппы, что осмелился такое низкое сделать сравнение. Жаль, что не могу так же сравнить той и другой забавы в отношении к веселости. О, какая разница! Бывало, я в полку от сочельника

до другого[21] беспрестанно хохочу, не выходя из казарм наших, а ныне очень редко от души улыбался в широких своих креслах. Довольно сказано, чтоб дать читателю идею о нашем публичном театре.

15 сентября, день священный в царство Александра Первого[22], ознаменован был сего года в Владимире особенным благотворением к роду человеческому. Учреждена и открыта от Приказа общественного призрения вольная аптека с предположением в память сего нового заведения ежегодно в этот же день отпускать неимущим недужным безденежно всякое лекарство, какое ни понадобится на тот раз, разумея, не в запасном количестве, а в необходимом для временной болезни. Сие предположение было утверждено протоколом Приказа. Аптека была в городе и прежде, но содержатель ее умер, вдова худо стала действовать ею. Публика начала жаловаться на негодность и дороговизну лекарств. Правительство обязано было вступиться и открыть удобнейшие способы врачевства. Посоветовав с Управой медицинской, рассудил я устроить аптеку от Приказа и, употребя на заведение ее до шестнадцати тысяч вместе с покупкой всей старой аптеки по осмотру городских врачей и их разбору, с полной в том на них ответственностью, я отвел под сию казенную аптеку каменный флигель и почти целый дом, отделенный от губернаторского на общем с ним дворе, и малыми издержками сделал его к тому способным. О намерении таком я представил завременно министру, отправил план дома, показал, что он, будучи лишний для губернатора, теряется без пользы, а тут может послужить ей без ущерба казне. Министр одобрил и мысль мою, и образ исполнения ее и исходатайствовал именной указ, на лицо мое данный, силою которого дом отдавался Приказу с дозволением в нем завести аптеку. В течение лета построилась лаборатория и от небольших частных пожертвований снабдилась нужными кубами и сосудами. Таким образом, когда все было кончено и аптекарь, договоренный за тысячу рублей в год, прибыл и мог вступить в свою должность, с 15-го сентября началось производство лекарств в казенной аптеке. После обедни приехал архиерей, окропил святою водою дом, шкапы, банки, склянки и вещества, принадлежавшие латинской этой кухне, а потом, как водится, русская приспешня[23] накормила и пастыря, и отборных овец стада Господня хорошими пирогами. Самая приличная жертва храму. Без брашен на что бы и аптека? А без аптеки съедают безвременно и нас самих брашны.

Осенью загорелась война[24]. Наполеон вызвал Александра, и он обнажил меч свой. Воспламенилась кровь вождей российских. Полетели

солдаты на границы. Уехал император в Брест[25]. Но все сии быстрые движении наших войск не останавливали ходу у гражданской машины. Министр, Сперанский и начальник отделения Серебряков, все ко мне писали и, уведомляя о полученных от посла рапортах, сулили мне монаршее благоволение. Граф Кочубей писал, что он препроводил все рапорты графа Головкина в армию к государю и надеется, что я не останусь без награждения за мои труды по службе. Письмо его наполнено было доказательств его ко мне особенного внимания, и очевидно было из него, что он сам радовался случаю мне оказать свое доброхотство. Сперанский, обращаяся к другому предмету, обнадеживал меня, что вице-губернатор переведен будет в другую губернию, и я от него успокоен буду. Серебряков, будучи открытее тех двух, и по месту не в одинакой с ними необходимости таить, что уже было почти сделано, поздравлял меня предварительно с прибавкой столовых денег. Награждения сии входили в обычай, а в отношении ко мне оно согласовалось с теми просьбами, которые я в бытность мою в Петербурге лично приносил министру. Не надобно дивиться, что война самая жаркая и притом, к несчастию, неудачная не препятствовала течению дел статских. Министр полную имел доверенность монаршую. Докладчики, сопутствующие государю, представляли ему только готовые бумаги, кои он подписывал, и потом они обращались к министру. Таким точно образом, когда граф Головкин из Казани послал ко двору свои рапорты о произведенной им ревизии в губерниях Владимирской, Нижегородской и Казанской и похвалял все то, что представилось взору его в управляемой мною, граф Кочубей заготовить приказал рескрипты на имя каждого из нас, трех губернаторов, и при выписках из донесений посла отправил в армию. Государь там их прочел, опробовал, подписал и выпустил, а министр, заранее по мере доверенности к нему зная, что все это получит предназначенный им успех, из особенного благорасположения ко мне, но с сохранением самой строгой скромности насчет награждения давал письмом своим чувствовать, что он в толику смутную пору, занимая государя похвалою моего служения, не непризнателен и сам к трудам моим. Доброе слово было для меня всегда выше всякой награды.

Где радость, тут и печаль — дело обыкновенное. Вслед за столь приятными вестями, увиделся я с сестрой, жены моей, той несчастной, которая из дома моего некогда в Пензе вышла замуж за Алферова и попала в купечество. Она провожала мужа в Петербург. Свидание сие нанесло мне много прискорбностей. Я вспомнил все прошедшее и впал снова в

уныние. Когда бы она счастлива была, я бы с ней оплакал Евгению, но в самых слезах нашел бы некоторую и сладость, деля напоминании мои с ближайшим к ней человеком, но Надежда Сергеевна бедственную терпела участь. Муж ее не любил, презирал и из одного уничижения возил ее за собою. Сколько она того ни скрывала, не мог я не приметить всех ее несчастий. Они подействовали на ее душу и здоровье. Сильная чахотка угрожала уже ей общею с сестрою участью. Несколько часов позволил ее деспот провести ей со мной, и мы провели их не в отрадах сердечных. Прощаясь с нею, я прощался навсегда. Она сама то чувствовала. По счастью, не оставляла сирот после себя. Как небо умеет ставить на пути жизни то приятные, то несносные случаи! Инде рвешь цветы, в другом месте ступишь на крапиву, и всегда почти то и другое нечаянно. Несмотря на это, сколько мы сами приготовляем себе без нужды минут неприятных.

Например: вздумалось мне добровольно выдержать нешуточную пытку. Приехал в Владимир некто Филадельфи, известный художник в лепном искусстве. Он взялся с меня вылить бюст. Что могло быть ближе к натуре и похоже? Я решился, день назначен, и является иноземец с женою и располагается в моем кабинете. Я жил в той самой комнате, где скончалась княгиня. На самом том месте, где дух ее расстался с телом, у меня был сделан вместо памятника камин, и беспрестанный в нем огонь курился, как жертва пред ней в моем и ее прежнем жилище. Тут Филадельфи растворил свой состав в корыте. Жена его мешала алебастр, а Венц, боясь одного меня с ними оставить при таком испытании, ожидал новой моей рожи нетерпеливо. Сел я в те самые кресла, на коих издыхала Евгения. Обвязали меня с ног до головы полотнами, оставили ненадолго одно лицо в свободе, и я принимал уже вид непогребенного мертвеца. Алебастр поспел. Филадельфи, не употребя со мной той осторожности, в подобных случаях необходимой, чтоб дать мне соломинку, в которую мог бы носом или ртом принимать в себя воздух, начал кидать на меня глыбы теплого своего состава, как лепщик мечет на стену известку. Чувствовать живучи, что ты покрываешься землей и что она на тебе стынет, чрезвычайно тяжело. Я это испытал тогда в полной мере, но все еще я переводил дух и мог терпеть опыт, коему подвергал себя не насильно. Уже замазаны были уши, и я перестал слышать, закрылись глаза, и я ослеп, сжимался рот, и я не мог произносить слова. Наконец, сомкнулись ноздри, и я терял животворную силу воздуха. Тут я точно как умирал. Начался стон, затрепетали ноги, я стал биться и изнывать. Филадельфи ускорил перерезать маску на челе, личина с меня свали-

лась, и легкие снова жизнь восприяли. Через полчаса я уж был в новом виде, похож совершеннейшим образом, похож сам на себя, словом, весь я в алебастровой кукле. Ни одна натуральная черта не пропала, все вышли на гипсовом теле. Филадельфи долго ее отделывал и выправлял в доме у себя, и, когда приделаны были руки, подобраны волосы, сходные с моими, вставлены финифтные глаза одного цвета с натуральными, когда голова наставлена была на деревянное туловище, одетое в мундир и посажен был истукан за стол письменный с пером в руках, многие так в сходстве ошибались, что принимали куклу за меня самого и, входя в кабинет, кланялись ей, вытягивались, ждали вопроса, как от живого. Как искуснее потрафить? Женщины многие боялись, как привидения. Увы! Печали и старость начинали и настоящего меня делать страшным. Эта шутка стоила мне сто рублей, но, право, я бы не взял десяти раз столько, чтоб еще такие минуты ощутить. Жить без воздуха нет средства, лишаться его постепенно — совершенная мука. Без такого сильного опыта я бы только рассуждал об этом, но я чувствовал, что такое, и по этой минуте сужу о той, которая оригиналы наши прячет навсегда в землю. Могу подлинно сказать, что я умирал в тех самых креслах, в которых умерла Евгения. По времени куклу эту я отдал гимназии владимирской вместе с домом, когда он поступил в ее ведомство. Ее там обломали, разбили, ободрали, испортили, и где она теперь, когда пишу об ней, не знаю. И сам я скоро, равно сему скудельному подобию, исчезну. Всему свое время.

Несмотря на ужасы кровопролитной войны, в которую терял россиянин отца, сына, брата, мужа, во внутренности России живучи спокойно, мирные обитатели губернских городов в досужные часы забавлялись. Так и у нас в Владимире с зимой вместе начались публичные съезды. Открыв дом свой по-прежнему, я давал в нем иногда балы, на которых не было уже ни той приятности, ни того непринужденного веселья, каким наслаждалась публика при Евгенье. Часто я зевал беспрестанно за картами или в польском, и никогда почти за полночь гости у меня не сидели.

Обстоятельства, с войной сопряженные, умножили заботы. Последовал указ о наборе рекрут, и надлежало опять по городам ездить, чего я зимой терпеть не мог. На старом положении разделили известные три чиновника по себе уезды, и каждый отправился в свой удел. Хотя слухи достоверные носились, что вице-губернатор уже сменен и переведен в Казань, однако он еще успел для пользы общей захватить нынешней зимы рекрутский набор в здешней губернии. К сему присоединялись еще и другие по службе немаловажные упражнении. Истекал срок поставщи-

кам вина в казну, и произведены новые при мне торги в Казенной палате, на коих не было возможности понизить прежних цен, потому что все в России вдруг вздорожало. Правительство редко такие причины берет в уважение. Ему всегда хочется, чтоб казна все купила дешево, а продала дорого, дабы на общих убытках созидать свои выгоды и выслуживаться при дворе. Сверх поставок и торгов, обязан я был составить комитет для уравнения в губернском городе повинностей полицейских. Дело это было совсем ново и получило свое начало во времена министерства. Почти во всех губерниях полиция городская существовала без всяких правил. Наложено было на города жалованье и содержание ее, но сами города неравные имели доходы. Отсюда всегдашние рождались затруднении держать в порядке чистоту, опрятность и благочиние городов: фонари иногда освещались, иногда нет; на будках часто некого было ставить, ибо платить было нечем; трубы и прочие необходимые в пожарном случае орудии по нескольку лет забывались в крайнем небрежении, и, словом, полиция была только в слове, а совсем не на деле. Министр внутренних дел рассудил дать этой нужной государственной части лучшее образование, и по многим губерниям открылись частные комитеты, обязанные исчислить доходы городские, открыть их источники и дать постоянное им течение, составить определительный капитал из собираемых поземельных денег, уравняв их, сколько по местным усмотрениям возможно, и потом учредить также меру расходов и предметы их, назначить вступлению доходов и выдачам денежным сообразные сроки и полицию таким образом поставить на основании твердом. Вот на какой конец подобные комитеты открывались в одних токмо губернских городах. Когда усматривал начальник губернии, что часть сия требует комитета, он представлял министру, сей докладывал государю, и обыкновенно насылался рескрипт за подписом царским к тому губернатору, при котором прилагались и правила, как учредить комитет, начать и кончить возлагаемое на него дело. Точно так случилось оно и здесь. Заблаговременно видел я, что миновать средства сего нельзя, что сверх пользы, и оттого уже большой, что я поспешу перенять новое министерское заведение, получу я и существенную выгоду для города и для полиции, из коих первый запускал в сборах своих всегда недоимки, а последняя часто от этого служила без жалованья и, следовательно, жила тихим грабежом по дворам. По всем сим неудобствам решился представить министру и просить позволения прибегнуть к комитету, подобно как сие велось и по некоторым другим губерниям. Доклад министра имел полный успех. Дело было еще в моде.

Последовал на имя мое высочайший указ, в силу которого, собрав дворян, в городе губернском живущих, к себе в дом, прочел им указ, и по правилам баллотировки выбрали членом от дворянства совестного судью г. Рагозина, от купечества и мещанства также по одному обывателю. Учрежденный комитет, разумеется, под председательством моим, приступил к своему делу, которое, однако, сколь ни казалось ничтожным вначале, не могло скоро быть конченным от необходимых подробностей в доходах, расходах, а паче от смешанных меж домохозяев, которые почти ни на одну усадьбу никогда не хлопотали иметь ни верных планов, ни актов бесспорных на право владения. Вдобавок ко всем сим занятиям, от которых я увлекался и для набора в отъезды, наступил в нынешнем годе срок дворянским выборам. Тем же порядком, как и прежние, совершались они в половине декабря. Переменялись чины, но машина на тех же шествовала колесах. Год от году она портилась более, и выборы становились вывеской совершенного невежества лучшего сословия в России, то есть дворянства. Купцы, избирая своих чиновников, гораздо скромнее исправляли свое дело. У них меньше было и шуму, меньше явных раздоров и потаенных подысков. Дворяне отличались низкими друг на друга злобами, выбирали из личности, несмотря на достоинства, отвергали по капризам без причин. Как похвалить то, что не только худо, но даже и никуда не годится? Дворянские выборы казались мне всегда и будут впредь казаться несозрелым плодом для России. В настоящие был выбран в губернские предводители г. Извольский, бывший прежде советником Губернского правления владимирского при г. Заборовском, человек умный, пожилой, осторожный и таков, каким мы обыкновенно разумеем *езуита*. Слово сие принадлежало ему в полном смысле. Вот как проходила у нас зима, а в немецких областях, куда стеклись со всей Европы войска, раскаливались пушки, летели ядры и пули тучами на человеческие тела. Падали люди, как галки, и гнили тысячи трупов разных царств и исповеданий на полях[26], — так называемых *полях чести*. Какое юродство в христианах в лучшие дни премудрости их и славы: называть убийство честью! Не стократ ли благоутробнее поступали язычники и ныне еще многие дикие народы, когда богам своим в честь приносили на жертву ближнего своего, и одного кого-либо по слепому року закалали на жертвенниках предубеждения. Ошибались они и поступали зверски, но в самой ошибке видно желание угождать неведомому ими, но всеми желаемому Богу, да и лишался жизни один. Ныне, напротив, люди, разумея, сколь убийство гнусно и отвратительно Богу, разумея,

сколь пагубно пролитие крови человеческой во всех отношениях, бьют людей везде, всегда, без разбору да еще и гордятся кровавыми своими трофеями. Ах! Сколько жертв неповинных взыщет на нас Бог в день суда страшного! И спасут ли нас наши *поля чести*?

Когда судьба посылала насильственную смерть многим в рядах солдатских, в то же время смерть по уставу естества пожинала и на мягких постелях пресыщенных сынов фортуны. Скончался в деревне своей канцлер граф Воронцов после многотрудной болезни и тяжких операций[27]. Ничто не даст жизни, когда минута расстаться с ней ударила на часах провидения. Знатный и богатый сей вельможа так же уединенно умер, как жил, испустил дух один в своем кабинете. По завещанию его схоронен в его поместье Андреевском. Один только священник пел над ним надгробные обычные песни. Всякая тщета удалена была от его гроба. Он сам так приказал поступить. Оставим Богу судить, смирения ли ради или из утонченной гордости была воля его такая. Бояра ждали смерти его в Питере, как ленивые семинаристы хорошего прихода, и дано знать о сем двору с нарочным.

Кончив выборы, я очистил мои помышлении сколько мог от сует житейских и приготовился к совершению христианского долга. Доныне я говел, как и все, в Великий пост. Потеряв жену и пропустя его в Петербурге, я положил для примирения совести моей с Богом таинством покаяния избрать ежегодно тот день, в который была покойная жена именинница, то есть 24 декабря. Прежде, доколе Бог хранил жизнь ее, день сей посвящаем был светским пиршествам и увеселениям, а ныне, лишась ее навеки, кому мог я лучше тот же день принести в дар, как не Творцу моему, смирив пред ним и дух, и мысли. Ему вещал я устами сердца, пригвожден ко кресту душевной скорби: «Помяни мя, Господи, во царствии твоем!» Уединясь от всех, я за ранней обедней 24-го числа причастился и с чашей жизни в устах вспомянул Евгению. Чтоб дать некоторое удовольствие детям на святках, я мальчиков отпустил с учителем в Москву для свидания с бабушкой, а сам отправился в Суждаль добирать рекрут. Там я и год настоящий кончил приятным событием, ибо 28-го числа получил рескрипт, коим государь, выхваляя службу мою, изволил мне жаловать по двести рублей на месяц столовых денег до тех пор, пока пробуду в настоящем звании. Выражении указа были гораздо приятнее самого награждения, ибо оно предназначало себе срок и, может быть, самый короткий. Мог ли я всегда быть губернатором? Теряя место, хотя бы с поступлением на высшее, я терял и годовой доход, который при не-

достаточном состоянии был уважителен. За что же без прослуг[28] лишаться добра? Но здесь это могло случиться, и некоторые губернаторы, поступя в Сенат, принуждены были о продолжении сего жалованья при переводе своем просить как о новой милости. Казалось бы, награда должна делаться по жизнь награждаемого, но столовые деньги какому-то другому правилу подвергались, и мне никогда не случилось узнать тому причины, а думаю, что и это, так же как и многие другие вещи в России, заведено было — так! Рескрипт был подписан государем в Моравии в конце ноября. Я с него приложу на конце года копию. Она укажет читателю, сколько в получении сей монаршей милости обязан я был, во-первых, графу Головкину, а потом и своему министру. Оба они искали оказать мне свое внимание и преисполнили сердце мое вечной к себе благодарности. Все приятное для меня в этом случае отношу я к ним к одним, а государю накануне почти несчастной битвы под Аустерлицами[29] некогда было заниматься внутренними губерниями и заслугами губернаторов. Он верил своему министру, и что им заготовлено было к утверждению и прислано в армию, то и подписано. Сим приятным известием конча год и происшествии моей биографии, я войду в рассуждение с читателем насчет образа жизни моей и изъясню, как обещал выше, внутреннее положение моего дома во вдовстве.

Окружен будучи детьми своими, первые мои попечении обращались к ним. Каждого из них я любил нежно и горячо, в каждом видел новый залог любви ко мне Евгении, а в самой в ней, по мере того счастия, какое от изящных ее дарований истекало на всю мою жизнь, видел несомненный знак благоволения Божия к нашему дому. Полагая в хорошем образовании ума и сердца в юности корень нашего благополучия до гроба, я имел при девочках наставницу, при мальчиках учителя, кои оба опытами доказали мне сверх особенной ко мне преданности особенную и способность сделать молодых людей благонравными. Итак, касательно первого предмета моих забот я был покоен. Из дочерей моих Маша, достигши шестнадцати лет, была одарена теми же дарованиями, какие имела мать ее, к несчастию, она наследовала и болезни ее. Ей надобна была подруга. Она находила ее в Богдановой, которая по скромности своей и благоразумию не представляла никакой опасности в допускаемой мною тесной связи с дочерью. Разница в летах между ими была довольно значительна, чтоб уверену быть, что Анна дочери моей не даст худых наставлений. Маша была кроткого и тихого свойства от природы, росла под непосредственным взором достойнейшей своей матери, с открытым сердцем

соединяла гибкий нрав и готова была принять всякие впечатлении. С полною доверенностью предалась она дружеству, предлагаемому ей Богдановою, а назидательное око иностранки отвращало всякую неумеренную в чувствах крайность. Венц, с своей стороны, обучал прочих детей наукам и, не вмешиваясь ни во что, казался быть для всего прочего самым сторонним человеком в доме. Мамушка-немка, прожившая при нас уже почти двадцать лет, нянчила, как мать родная, меньших моих ребятишек, пила свой кофе, читала немецкую Библию и редко из комнаты выходила. Одна из всех семи детей моих Антонина воспитывалась в Москве при сестре большой собственными ее трудами. Вот положение, в котором находилось собственное мое семейство; но сам я, сам не мог утаить от себя, что я под тяжким и сильным был влиянием склонности сердечной к Ольге Абрамовне. Я и прежде упоминал об ней. Их было две сестры, меньшая пользовалась всею доверенностию жены моей, была при ней до последней минуты ее жизни и первая мне о кончине ее объявила, сопровождала меня в деревню, делила со мной отчаянную мою скуку, но, при всех сих жертвах ее, сердце мое увлечено было к большой сестре, которую звали Ольгою. Я был к ней неравнодушен и, по быстрому стремлению страстного моего чувства, так привык к ее беседе, прелестям и нраву, что не смел ничего ей противного ни предпринять, ни задумать. Она была довольно любезна, просвещенна, много читала, не знала иностранных языков, но свой разумела совершенно и была бы во всех отношениях милая женщина, когда бы ревность чрезмерная не помрачала всех ее хороших качеств. Но она, приметя мое пристрастие к себе, с тиранией владела моей душой. Вкрадываясь в нее более и более, искала исключительной любви, на которую я так мало был способен. Читатель, зная меня с малых лет, видел, что влюбчивее меня не было человека в природе. Беспрестанно сердце мое какому-нибудь кумиру жертвовало собою, кумиру, говорю, разумея сим именем только тех, в кого по очереди влюблялся. Ольга Абрамовна, боясь, может быть, моего непостоянства, хотела увериться во мне столько, чтоб уже не страшиться измены и быть покойной владычицей всего меня. О женитьбе другой я нимало не помышлял, но без товарища скучал и днем, и ночью. Одна она смягчала тягость моего уныния. Вседневно я ее видел или у нее, или у себя. Старушка мать ее, вдова искусного врача, позволяла дочерям своим быть у нас, а мне посещать их, когда ни вздумал, разумея, однако, с сохранением всей пристойности в выборе времени и провождении его, ибо я обязан сей справедливостью госпоже Вебер, что она часто подвязывала мне

крылья и быстрый полет мой усмиряла. Это раздражало любовь мою к ней и усиливало пламень, власть ее надо мною тем крепче становилась, и, может быть, она была б моей женою, если б более употребила искусства в обращении, но, предаваясь вполне своей ревности, она столько же отводила меня от себя беспрестанным принуждением, сколько привлекала наружностию, которая, несмотря на то, что ей было почти тридцать лет, очень мне нравилась. Она не красавица была, но миловидна. У всякого свой вкус. Лучше ее, приятнее, моложе были и девушки, и вдовы в городе, но Вебер у всех брала преимущество. Ревность ее до того была нескромна, что вся публика примечала ее владычество над мной. Оттого и редко ко мне съезжались и мало сидели. Всякий театр или бал сопровождаем был такими укоризнами, после коих, чтоб быть дома спокойным, я по месяцу был невидимкой в собраниях и у себя прекращал их. Словом, я начинал уже более бояться ее, нежели любить. Нет ничего несноснее ревности. Страсть, охлаждающая всякую любовь. О! Как Евгения умела умерять ее и тем одним заставила меня любить себя паче всего на свете. Но здесь я о страсти сей рассуждать долее не стану, а заключу тем, что от нее Ольга Абрамовна совершенно потеряла мое сердце. Домашние мои примечали, что я угнетаем ею, но не пришло еще время их убеждению. Они молча ожидали холодности моей к ней или ослабы сильному чувству, чтоб совратить меня с видимой пропасти, потому что любовь и одиночество за пределы рассудка меня увлекали и могли уже при недостатке осторожности подействовать решительно на судьбу мою. Сего достаточно для приготовления читателя к будущим случаям жизни моей, и затем перейдем к новому году.

Копия с рескрипта

Господину тайному советнику Владимирскому гражданскому губернатору князю Долгорукову.

Из донесения действительного тайного советника и сенатора графа Головкина с удовольствием я видел благоустройство и порядок, кои он нашел в управлении Владимирской губернии при обозрении его.

Мне приятно было видеть из сих донесений успешное течение дел по Губернскому правлению и особенное внимание к скорому решению дел о колодниках в местах, ему подчиненных,

деятельность городской и земской полиции, устройство дорог, распорядок земских повинностей, безостановочное движение казенных сборов и исправное состояние запасных сельских магазейнов и заведений Приказа общественного призрения.

Относя благоустройство всех сих частей к попечительным и благоразумным распоряжениям вашим, я признаю справедливым изъявить вам за сие мое благоволение.

В знак особенного моего внимания к усердию и трудам вашим приказал я к получаемым вами окладам производить вам из казначейства столовые деньги по 200 рублей на месяц, доколе вы в настоящем вашем звании пробудете.

На подлинном подписано:

Александр.

Местечко Книжановицы,
что в Моравии,
18-го ноября 1805-го года.

Контрассигнировал граф В. Кочубей.

1806

По милости царя мог я с наступившего года лишнее блюдо на стол ставить. Прибыль для желудка, но для души дар ничтожный. Не о хлебе едином жив будет человек. Казенная палата, получив указ о выдаче мне ежемесячно прибавочных столовых денег, обогатила меня вдруг отпуском оных со дня состояния указа, что и сделало меня на несколько времени широким господином, а на лишнюю издержку тотчас явился благоприятный случай. Фельдмаршал граф Каменский, известный опытами и заслугами человек, но не меньше прославившийся своими странностями, приехал в свою владимирскую деревню и был в губернском городе, где удостоил меня своим посещением. Хотя граф был самый большой барин в России, однако же, из пристойности ли то, или из каприза, объездил всех своих исправников, предводителей, кого не застал дома, оставлял карточки. При осмотре своего имения нашел он недоимочного рекрута и рассудил сам его поставить. Здесь слово «сам» прошу принять в собственном его разуме, то есть он был отдатчиком своего мужика лично. Это требует подробности потому, что поступок его не только был редкий, но

единственный. В назначенный для приема день граф вошел в камору набора в простом армейском сертуке и в котах[1]. Я вышел к нему навстречу. Он меня поворотил к моему месту. Подали ему кресла. Он не сел и стал у окна, у которого простоял во все то время, пока медик, приемщик и все присутствие осматривало его рекрута. При некоторых сомнениях в годности его с стороны лекаря граф подходил к нему, защищал право свое, утверждал годность мужика на службу, и, когда был он принят, граф подошел к присутственному столу и отвесил нам всем большой поклон, какой бы сделал его староста. Я его проводил до сеней и застал в разговорах с матерью отданного рекрута, которая о потере сына неумеренно плакала, а он, утешая ее, твердил: «Как быть, старуха, у тебя еще два сына дома, а у меня всего два и оба в походе». Сыграв свою комедию, угодно было ему заехать ко мне и, заставши меня одного в кабинете, вошел в настоящий свой характер, говорил о положении дел европейских с жаром, с умом и ревностью прямо патриотическою. Беседу свою заключил он сими примечательными словами и которых я не мог никогда забыть: «Каменский дурак, но если б он командовал под Аустерлицами, то пистолет бы себе в лоб — и не быть бы ему в Коврове» (город того уезда, в котором его деревня). Несколько дней еще прожил он в своем поместье. Я ему дал спектакль благородный, на который он прямо из деревни в метель в крестьянских санях прискакал, одет в мундир, но и тут особенную выкинул странность. Когда-то, несколько лет назад, в Владимире в бытность его скончалась сестра его родная Брылкина. Он тогда еще не имел Андреевской ленты, и мундир того времени оставался с Александровской звездой в деревенском доме. Ныне, чтоб приехать ко мне, он его вспомнил, велел отыскать и, показав на себе Андреевскую ленту с звездою другого ордена, он довольно забавную представлял картину. Но ему что за нужда? Он любовался театром, прошел с дочерью моею польский, выпил рюмку водки и, несмотря ни на какие убеждении, презирая вьюгу и непогодь, в тех же санях возвратился в деревню. В самый день его отъезда из нее он прислал ко мне с письмом старосту своего, мужика лет шестнадцати. В этом письме (оно доныне у меня хранится как редкость) жалуется, что давно не получает складочных денег за последнего рекрута — давно значило три дни — и просит, чтоб я ему с подателем письма велел их прислать, «ибо-де я за этим остановился и не с чем выехать в Москву». Складочные деньги еще не были собраны. Разумеется, было их не много к отдаче, и я, чтоб не тревожить графа, послал ему, что следовало по расчету, из своего кармана, однако не сказав ему того, и,

получа их, фельдмаршал с нами расстался. Прием его рекрута в то же время для незабвенной памяти о такой редкости записан со всею подробностью в особый журнал присутствия и положен в архив. При всех фарсах графа Каменского не худо было бы, если б в России побольше видели таких бояр. Ими, их правдой и простотой держатся царства.

История тогдашней войны сюда не принадлежит, но нельзя коротенько не сказать, что наши войска, действуя вспомогательно за цесарцев против французов, были побеждены под Аустерлицами и, по скоропостижном замирении Наполеона с австрийским императором[2], должны были отретироваться с большим уроном и бесславием в свои пределы, чем кампания и война кончились, но ненадолго.

В феврале последовал указ о переводе здешнего вице-губернатора в Казань[3]. Он был следствием ревизии графа Головкина и вышел бы тогда же, как и столовые деньги мои, быв заготовлен в одно и то же время, но военные неудачи его задержали. На место Колокольцова определен был сюда в вице-губернаторы некто Заварицкий, статский советник, выходец духовного звания, тварь князя Куракина, по милости которого он, правя его винными делами в Пензе, стяжал все свои чины. Приехавши в Пензу в вице-губернаторы, я застал его в Казенной палате у себя младшим асессором и титулярным советником. По выходе моем оттуда он уже был советником Винной экспедиции и коллежским асессором. В царство Павлово чины пожинались, как опенки, и он нанизал их до статского советника, был прокурором в Саратове и вице-губернатором сперва на Вятке, откуда предместник мой Рунич его выгнал, потом попал в Финляндию и переведен наконец сюда. Я знал его лично, и знал коротко. Приятно было мне расставаться с Колокольцовым, но не приобретение для меня был и Заварицкий, однако надлежало довольствоваться всем тем, что посылал Бог. Не всегда встречаешься в службе с теми людьми, кои уму и сердцу приятны. Со всеми уживаться есть лучшее искусство в жизни. Счастлив, кто его вмещает! Старый вице-губернатор уехал, новый прибыл. Мы с ним возобновили прежнее знакомство, и на первых порах ничто не потревожило взаимного нашего спокойства. Заварицкий был лукав, самолюбив, мечтал о себе много, но все это скрывая под благовидною личиною откровенного со мной обращения, искал сперва уловить мою доверенность и не становил ничего мне поперек, пока обстоятельства не показали ему, что он, просто сказать, за нос меня водить никогда не успеет. Мы до сей развязки дойдем в свое время, а теперь обратимся к настоящему.

Из Сибири возвращался г. Лаба, действительный статский советник, посыланный туда для обозрения поселенцев. Ехавши через Владимир в 1802 году, когда я только что принял губернию, он не долго здесь мешкал, но на возвратном пути остановился дней на десять и здесь занялся собранными по пути бумагами. По предмету его поручения он имел переписку со всеми почти губернаторами, в том числе и со мною. Обделывая здесь свои доклады, он имел нужду в помощниках для письмоводства, и я составил ему канцелярию. Работы было мало, а выгоды много, то-то и хорошо. Секретарь Губернского правления, к нему откомандированный[4], достал за одну неделю трудов не очень отяготительных чин коллежского асессора, которого по законам (но кто их слушает?), не будучи дворянином, он бы не добился прежде двенадцати лет беспрерывного упражнения. Лаба из приязни ко мне меня этим потешил. Чины становились в службе взаимные между начальниками подарки. Он был у меня ежедневно. Мы приятно провели вместе недели две, и потом он поскакал в Питер.

Со мной часто встречались случаи не очень обыкновенные. Подобно тому и ныне лишен я был своего секретаря Могилевского. Этот благовоспитанный молодой человек, уроженец киевский, ученик тамошней академии и студент Московского университета, был при мне в звании губернаторского секретаря уже несколько времени и почти со вступления моего в должность. Я весьма был доволен его трудами. Он привык к моему рассуждению, а я к его перу. С успехом шли все мои бумаги. Поутру он был мой секретарь, а целый день потом собеседник мой и приятель. Ничего не было в нем похожего на так называемых приказных служителей, особенно же отличался он от них благородным поведением и совершенным беспристрастием к подлой корысти. Фортуна расстроила мое спокойствие в этом отношении. У него был брат родной, который правил делами при военном губернаторе грузинском, князе Цицианове. Сей, потеряв одного из своих секретарей[5] и будучи доволен своим Могилевским, захотел на вакансию определить брата его, при мне служащего, в том гадательном предположении, в чем он, однако, и не ошибся, что брат будет похож на брата, и оба хороши. Другому, может быть, бы и не удалось отнять у меня секретаря. Людей на свете много, Университет отворен для всякого равно, мог бы Цицианов вытребовать превосходнейшего к себе студента, но ему рассудилось непременно отнять моего. Этому князю было у двора очень хорошо, ветер дул ему попутный, и он в рапорте к государю изъяснял, что, не имея секретаря, никого другого не требует, как секретаря владимирского губернатора такого-то. Государь

приказал его туда отправить, дать ему пятьсот рублей единовременно и снабдить казенными прогонами. Ничего меньше не ожидал я сей потери, и тем более, что слишком был уверен в искренней Могилевского ко мне преданности и любви, чтоб полагать между им и братом его в Грузии какое-либо скрытное на сей счет сношение без моего ведома, чего действительно и не было, как вдруг министр сообщил мне высочайшее соизволение в выше изъясненной силе и прилагал выписку из рапорта военного губернатора, дабы не так странно показалось мне требование сего рода. Я ничего нескладнее не читывал рапорта князя Цицианова. Подлинно, ему надобен был искусный секретарь, потому что, ежели он владел хорошо саблей, чего я не разумею, по крайней мере смело утвердить отважусь, что пером управлять был не мастер. Но что до того? Грамота начинала быть не в моде. Итак, снабдив Могилевского положенным жалованьем, напутствовал его как ученика моего нужными наставлениями и, обняв как домашнего, отпустил его с искренним сожалением в Грузию, куда не судьба ему была доехать. Еще он путешествовал по Кавказской линии, как Цицианов от запальчивости попал в сети персиян и изрублен ими[6]. Могилевский, сведав о том на дороге, не рассудил продолжать ее и воротился ко мне. Со времени нашей разлуки протекло уже несколько месяцев, и секретарское место было у меня занято. Не мог я его удержать при себе и не находил для него уже в том пользы. Он отправился в Питер, доставил о себе мои письма к г. министру и к Сперанскому, и ходатайством сего последнего, коему я за то был весьма обязан, молодой этот человек приютился к министерству и там стал продолжать службу свою с хорошим успехом. Место его при мне заступил старинный мой сослуживец г. Шумилов, который, когда я жил в Пензе, был секретарем винной экспедиции и образовался в новом слоге. Он уже имел чин надворного советника[7], но, претерпевши пожарами, переводами, уничтожениями разных мест при Павле многие расстройки и попавши в тяжкую бедность, рад был всякому месту, лишь бы иметь какое-нибудь верное состояние. Доверенность его ко мне столь была неограниченна, что он, оставя тот край, в котором жил лет с двадцать, приехал со всем своим семейством в Владимир и всегда был мне верен по сердцу и по уму.

Давно не говорил я о старом узнике своем бароне Аше. Он ел, пил и спал — вот вся история его последних лет, но и у него иногда были свои замыслы. Родной брат его, барон Аш, живущий в Петербурге[8], имел с ним какие-то семейные счеты, и по переписке их, которую я читал, ибо она ходила открытая, видно было мне, что у него на брате длилась пре-

тензия денежная. По окончании расчетов причлось безумному от умного получить четыре тысячи рублей, которые ко мне доставлены и в пользу несчастного отданы в Приказ общественного призрения, где и хранились до последней его минуты. Чувствуя себя близким к оной, барон Аш вздумал сделать меня капиталу своему наследником и требовал настоятельно, чтоб я его деньги взял себе. Если такое пожертвование приносило ему, как человеку благодарному, честь, то не находил я оной для себя воспользоваться чужим имуществом и присвоить то, что принадлежало по всем правам законным его наследникам, а они у него были. Итак, описавши с мнением моим его расположении министру, просил его отклонить такой поступок и дать мне отказом своим силу сопротивления, которого сам собой не смел я оказать барону, дабы не впасть в другое зло, открывши ему путь распорядить своими деньгами еще хуже, может быть, нежели отдачею мне. Министр согласился на мое рассуждение, и я, сообща его ответ старику, утвердил его в том, что не по упрямству отказываюсь от сего благодеяния, а будто бы от запрещения моего начальника. Этим одним мог я избавиться от его неотвязчивого предложения. В самой вещи, какая была пристойность мне принять в подарок от безумного четыре тысячи рублей, которые, не сделав значительной разницы в моем состоянии, подвергли бы меня нареканиям моих недоброхотов? У всякого они есть, у всякого невидимых врагов более еще, нежели явных, и те не оставили бы сказать, что я воспользовался слабоумием несчастного, уловил его благосклонною наружностию, продал ему мои услуги и самую выпрошенную из монастыря свободу за денежное от него наследство, обидя родных и кровных его. Злодеи мои конечно бы представили все это в огромном виде, и клевета увеличила бы четыре тысячи до нескольких сотен. У зависти глаза ужасны, а у злобы еще шире. Отказ мой все это предупредил, и я в нем приобрел более удовольствия внутреннего, нежели сколько бы могло мне его доставить самое суетное употребление означенных денег. Если поступок мой стоит одобрения, то буди слава одному Богу, на все благое нас наставляющему.

При вступлении Венца ко мне в дом родилось у меня желание отпустить старших сыновей в чужие краи поучиться наукам. Венц был человек надежный, и с ним я не имел причины чего-либо опасаться, кроме случаев естественных, кои нигде не избегаются. Он подкрепил меня в этом намерении своими советами. Главное затруднение состояло в издержке. По нашим домашним исчислениям она не чрезвычайною представлялась. Он довольствоваться полагал тремя тысячами в год. Не много менее стало

бы и в России обучение детей всему тому, чему они в чужих землях готовились учиться. Словом, захотелось — и все препятствии казались ничтожными. Но оба они уже были в действительной службе, один числился при мне, другой в пажах, надобно было выпросить на то дозволение и с сохранением выгод, то есть чтоб линия их по службе от этого не перервалась. Хотя и уверен был я в особенной к себе милости своего министра, но тем более опасался употребить ее во зло моею нескромностью. Однако решился и с начала года просил графа Кочубея исходатайствовать сыновьям моим отпуск на два года в чужие краи, и именно в Геттинген, для изучения наукам. Геттинген издавна славился преимуществом пред всеми прочими училищами в Европе. Всю зиму я занят был этою мыслию и готовился к их отправлению. Страшили меня военные обстоятельства несколько, но после Аустерлицкого дня невероятным казалось, чтоб новые покушении против Наполеона где-либо в Европе отродились. Этот лев так пугнул, что все, как овцы, прилегли на травку и дышать не смели. По прекращении военных действий курс денежный в нашу пользу весьма поправился, и все благоприятствовало моему намерению. Оставалось ждать согласия двора. Наконец, оно последовало. В преблагосклонном письме министр сообщал мне высочайшее соизволение на отпуск сыновей моих за границу на два года с сохранением линии их по службе. Что могло быть сего счастливее для них? Я радовался успеху тем более, что при всяком распоряжении судьбою детей моих советовался всегда со внутренним моим судьею, с совестью, испытывал у нее, так ли, как я, поступила бы мать их, и мне искренно казалось, что нынешний мой проект был бы ей угоден, а потому ничто в исполнении меня не задерживало. На первый случай нужные деньги до перевода были у меня готовы. Главная издержка состояла в пути до места. В мой план не входило заставить их путешествовать. Кроме того, что они были еще очень молоды, а меньшой даже и ребенок, мне вовсе не хотелось знакомить их с чужими землями прежде, нежели узнают свою, потому что могло бы на стороне иное так обольстить, что век бы с родиной хорошо не сошелся. Как ни мила нам по естеству родимая наша колыбель, однако возраст и рассудок всегда приковывают нас к тем местам, где нам лучше и по естеству, и по расчету. Одна привычка заставляет любить такой или иной край, а привычка жить там, где не нравится, никогда не родится при полной свободе избирать место своего жительства. Не видим ли мы каждый день опыты моего рассуждения в промышленных деревнях? Каждый почти мужик, живучи торговлей, по состоянию своему должен знако-

миться с чужими землями, я называю здесь чужими не потому, что под чужим государем, а по отдаленности их, различию нравов, обычаев и самых наречий. Такой торгаш, бывая почасту в приморских городах, привыкает к ним и, конечно, из Москвы, из Астрахани, Киева или Петербурга не поедет жить и умирать в ту черную избу, в которой мать его лелеяла. Странно было бы и спорить об этом. Нужда научит жить везде, конечно, но дайте волю и возможность, никто не будет круглый год мерзнуть на севере, когда можно на юге круглый же год жить в тепле. Между худым и хорошим живая протянута самой природой граница. Но здесь не о том речь. Я отбился от своей черты. Поворотимся на нее. Получив детям такой выгодный отпуск, я возблагодарил десницу Вышнего и потом министра, как орудие, послужившее Богу на земли ознаменовать сие благо в доме моем, и стал собирать детей в путь. Им надлежало ехать на Петербург прямо, но ни там, ни в Москве не мешкать долее необходимого. Выезд их из Владимира, из родительского жилища, назначил я 12 мая, тот самый день, в который поразила меня два года назад рука Всесильного. Вдруг встретилось нечаянное приключение, которое опять страницы на две отведет меня собственно от себя.

Читатель вспомнит, что некогда, живучи в Москве, я пользовался милостьми князя Владимира Сергеевича Долгорукого, престарелого моего однофамильца, который мне по временам оказывал купно с снохой своей отличные знаки доброхотства и любви. Старички померли, но благодарность моя к ним жива была. Дочь, княжна Наталья Сергеевна Долгорукова, овдовевши от двух мужей, Лачинова и Ланского, имела от первого брака двух сыновей в равном возрасте с моими. Узнав о намерении моем, она расположилась присоединить к нему и свои виды. В письме, нечаянно от нее ко мне дошедшем, видел я желание ее поручить надзору общего наставника детей своих с моими, и убедительно просила меня о согласии на то, без которого Венц не хотел принимать на себя сей новой заботы. Я не мог отказать, почитая себя обязанным делать все, угодное потомству благодетелей моих, и согласился на сей путешественный союз, условясь, однако, предварительно в том, чтоб главными лицами в плане воспитания были мои дети, то есть чтоб распорядок домашний зависел от одного Венца. Место учения, движении путевые согласовались с моим назначением, издержки были общие и по равным на каждого частям, предметы учения по произволу ее и нашему, а срок пребывания в университете в моей воле, дабы в исполнении сего предприятия я был в совершенной от кого-либо независимости. Так условясь,

дети госпожи Ланской должны были присоединиться к моим в Москве. Сообщество сие мало делало разницы в издержках, но могло служить поводом к неудовольствиям впереди. Я их предвидел, но как на моем месте поступить было иначе? Я всегда раболепно исполнял устав благодарности, на всяком месте, противу каждого. Наступил день отъезда. Все было устроено, запасено, заготовлено. Старшему сыну минуло уже осьмнадцать лет, а меньшому только тринадцать, но Венц не хотел их разлучать. Отслушав все вместе обедню, помянув Евгению в небесах и испросив ее благословения на предлежащий сынам ее путь, благословил и я их обеих грешным моим благословением. Совершив обычное для дорожных молитвословие и воздев с умилением руки к небу, просил Господа среди семейства моего: да всесвятый промысл его отвратит от них всякое зло на месте и на пути, да совершит намерение мое во благое и да преуспеют дети мои в смысле, разуме и доброй воле сердечной. Все плакало вокруг меня и их. Добродушная мама госпожа Варч, от утробы матерней не покидавшая Павла, орошала его искреннейшими слезами. После нескольких минут благоговейного молчания вырвались дети из моих объятий и с Венцом кинулись в коляску. Все мы поехали их провожать и, переночевавши на дороге, 13-го числа совсем простились. «Бог с вами! Бог с вами!» — закричал я им вслед и, потеряв их из виду, воротился домой.

Осмотр городов и посещении разных помещиков так сократили лето, что я почти его не видал. В Шуе беспрерывные веселости задержали меня далеко за предполагаемый срок. Пожарская не шутя приступала к осаде моего сердца, и оно без размышления следовало своим движениям, не сдавалось еще совсем, но близко было к покорению. В деревне ее игры и забавы с утра до вечера не перерывались. Кроме часов, коих от меня требовал долг службы и сон, все прочие минуты жизни моей расточались на увеселении разного рода. Ничего соблазнительного, но все очаровательно было в Александрове. Так называлась деревня Пожарской возле Шуи. На другом конце губернии сестра ее родная В. А. Караваева в прекрасной деревне своей Митине на Пекше давала роскошные праздники, на коих я также был не последнее лицо. Удовольствии мои в семействах их были тем живее, что все их внимание и ласки относились не к званию, а ко мне. Я лично был угощаем, а не губернатор, что весьма редко в нашем свете, в котором страх или корысть определяет все степени доверия и любви. В Митине Транже штукарил на канате: летал, наряжался и раздевался на воздухе. Плошки озаряли своим светом весь промежуток ночи. Гудки играть не переставали, ноги у всех без устали

плясали. Не было тогда у хозяев ни печали, ни тоски сердечной. Каждая сестра, то есть Караваева и Пожарская, имея по одной дочери и любя их страстно, не щадили ничего к их утешению, как будто чувствуя, что короток будет срок жизни их обеих. В таком рассеянии то там, то сям и везде с Пожарской, везде вне себя, проводил я красное сего года лето. Дома около детей своих я находил другие удовольствии. Они играли, резвились, я делал им в отраду все, что мог. Приезжий из Москвы танцмейстер Дейбель, нанявшись на несколько месяцев обучать владимирских девушек танцовать, жил в моем доме и давал уроки дочерям моим. Это собирало ко мне многих им сверстниц, и не нарочно ежедневные давались балы, на которых иногда плясала и наша братья взрослые. Таким образом, в разных видах представлялись мне везде забавы, но образ Евгеньи не стирался в душе моей, и я воспоминал о ней беспрестанно. Не имея при городском доме сада, ни прогулки, я выбрал у заставы плоское место с кустарником. Там, на пологих берегах реки Рпени, построил я себе комнатку прозрачную под легкой крышкой[9]. Флаг указателем был моего там присутствия. По ту сторону реки к городу широкий намет составлял мою публичную залу, из хижины в палатку переносил меня плот. Тут в уединении глубоком я посвящал по нескольку часов в сутки одной Евгенье. По утрам занимался бумагами — все меня там находили — обедал один в палатке. Пополудни отдыхал на природной постеле. В те знойные часы дня, когда еще жар мешал выйти на воздух, Ольга Абрамовна, деля время со мною, действовала на все мои чувства. Ревность ее стесняла мою свободу, упреки тревожили сердце, но беседа ума не развращала. Один, с нею наедине, я часто читал, рассуждал о науках, вслушивался в ее замечании, испытывал свойство души ее, и друг в друге по переменкам производили то приятные, то противные впечатлении, но все еще любовь моя к ней брала верх у досадительного чувства. Когда начинался вечер, солнце спускалось к западу, тогда я оставался один в моей хижине, читал, удил рыбу, ходил по проложенным в кустарнике дорожкам, увлекался в неизмеримые пространства воображения, мечтал о Евгении, писал стихи, пел еще по временам и Глафиру, словом, в эти вечерние часы я в полной мере наслаждался прелестями уединения. Ах! Как оно мило в некоторое время дня, даже необходимо! Быть все с людьми наскучит. Принуждение беспрестанное мыслей и чувств отягощает жизнь нашу, она нигде так не полна прямых отрад душевных, как там, где человек один, один в природе, рассматривая круг своих идей, очищая малейшее движение сердца, относит все к первобытной причине, славит

Бога, пленяется натурой и дышит под одним ее влиянием. Вот как я живал на Рпени, и когда солнце совсем уходило из глаз, когда небо одевалось в мрачные тени ночные, я, спрятавши всего себя во внутренность сердечную, уезжал с поля домой и тут унылые мысли, которые в уединении строгом так легко вкрадываются в наш череп, разбивал между детьми на пляске. Все туманы мысленные исчезали, и я казался на бале домашнем человеком, не имеющим никаких забот. На публику действуют одни наружные виды. Наконец, я так пристрастился к моей хижине, что плакал, когда осень стала меня из нее выгонять.

Пока я в ней жил в собственное свое удовольствие, сколько мог, внешние некоторые случаи возмущали тишину моего положения. Мне хотелось побывать в Москве, проводить туда детей моих, но министр на просьбу мою отвечал отказом, приводя причиною то, что уже я недавно имел отпуск, и государю частые отлучки начальника губернии неприятны. Об этом, однако, я не много тужил. Известие о смерти Улыбышева, который в 1794 году покрыл меня неизгладимым позором, подействовало на меня очень сильно. Я живо вспомнил обиду, срам, все, все, чего здесь повторять не хочу, и, осквернив воображение мое картинами того времени, впустил снова в сердце мое, по натуре доброе и миролюбивое, этого зверя, эту гидру нравственную, которую зовем мы злобой, воспылал бессильным мщением, трепетал от ярости, тем более меня волнующей, чем менее мог угодить досаде и дать ей желаемую пищу. Я терзал мысленно врага моего, которого поедали уже черви, и, несколько дней проводя в этом состоянии ожесточения, не узнавал сам себя. Боже! Прости ему! Прости и мне все, что без воли Твоей святой между нами некогда совершилось, и удали навеки от меня неистовые помыслы досады. Душа моя ищет любви, а не ненависти. Не попали ее огнем суетной брани с ближними.

У двора тем временем некоторые вельможи падали, как с неба звезды. Удален Чарторижский, отставлен Трощинский[10], шатался и наш министр, но, к счастию моему, еще устоял противу частых бурь, воздвизаемых политикой на придворном океане. Китайское посольство возвращалось без успеха в Россию, и не достигнув своей цели. Потоцкий опять ехал вперед и на сей раз остановился у меня на неделю. Я с ним виделся ежедневно, он у меня обедал и ужинал, иногда вальсировал, а более задумывался. Подарил мне несколько своих сочинений, написал стишки в моей книге и познакомился со мною для того, чтоб навеки расстаться. Светское знакомство похоже на сшибку билиярдных шаров, которых иг-

рок катает по сукну из угла в угол: иной дает промах, а другой карамболь[11]. Подлинно, наша жизнь игра, а мир гостиница.

В губернии свои были приключении. Убит в Муромской деревне своими крестьянами помещик Измайлов, тот самый, с которым я служил в Соляной конторе. Взяв отставку, приехал он в свою вотчину и, не обратя внимание на состояние своих крестьян, кои издавна промышляли торгом на стороне, посадил их на пашню для приумножения своих доходов. Новость такая, и для них трудная, ожесточила всю вотчину, а сверх того, будучи холост и сладострастен, один, без занятий, в умеренных летах жизни, пустился на разные беспорядки. Насилии, им делаемые в семействах поселян, раздражили некоторых до того, что, сделав заговор против него, решились убить до смерти. Трое из дворовых были главными зачинщиками сего злодеяния. Он ехал гулять на дрожках. Они его сопровождали и, воспользовавшись лощиной в густом березнике, свалили его с дрожек, били сперва, потом отсекли голову. Предупредить сего несчастия я не мог, оставалось пожалеть и не попустить виновных без наказания такого зверства. Они были под судом и все наказаны кнутом нещадно в разных местах, чтоб сильнее устрашить народ повсюду, ибо крестьяне начинали свободно рассуждать уже о самоуправстве со своими господами, чего я во все время своего правления остерегался, как самого опаснейшего соблазна. Урок печальный для многих дворян, кои погибают от праздности. Я весьма жалел, что допущен был такой случай, но, по несчастному предубеждению, дворяне в уездах так живут, что никогда один на другого ни в осторожность, ни в спасение ему не доведет ничего до начальства. Как на своего брата написать, что он шалит? Предводители молчат из слабости и непростительной поноровки. Исправник, такой же дворянин, молчит потому, что он боится нажить врага и потерять в выборах свои выгоды, а губернатор между тем, обманутый со всех сторон, без возможности брать завременные меры, узнает, что случилась беда, тогда, как помочь нельзя. Если б я извещен был ранее о худом поведении г. Измайлова от его собратии, я бы остановил крестьян, поговорил с помещиком, убедил его или бы силой власти унял. Спасся бы он от смерти, спаслись бы и поселяне от каторги, а деревня от бедствий, но при настоящем устройстве гражданском едва удобно что-либо хорошее предпринять и совершить. Все делается случайно и наудачу.

Скоро потом стихии рассердились на Судогду, городок ничтожный, состоящий из нескольких десятков изб, кроме довольно ветхих разных казенных не зданий, а хоромин. Ударил вдруг гром в клеть — загоре-

лось, ветер усилил огонь. Полиция по месту, то есть плохая, бросилась отстаивать казенное и все спасла, а город и обывательское строение все сгорело дотла. Из этого несчастия родилась некоторая для города польза. Он выстроился заново и гораздо лучше. Судогда никогда не будет Тверь или Казань, но по состоянию своему представляет ныне изрядное местечко. Вообще сказать можно, что русский народ неохотно перестроивает дом свой, пока в нем можно переночевать, хотя с опасностию. На него действуют разные суеверии. Мужик и после пожара все хочет застроиваться на старом пепелище, тут, где жил отец, дед, пращур и для того упрямится вытягивать линию по плану, ставить дома свои по фасаду. В деревнях иногда нужда заставляет снисходить таким прихотям, но в городах они терпимы быть не должны. Пошумели жители, но принуждены были строиться по указу. Казна по многом времени, ведя продолжительную со мною переписку, отпустила городу Судогде, точно так же, как и в Муром, на обстройку обывателей до десяти тысяч на одном и том же основании. Одинаким образом деньги розданы и употреблены. Итак, один огонь лучше всех убеждений правительства способствует к возобновлению русских городов, иначе они вечно бы были таковы, какими первоначальные жилы крестьянские их образовали. И самое несчастие имеет свои диковинки. На этом пожаре произошло трагическое, а потом примерное приключение. Исторический этот анекдот передаю здесь для того, чтоб видели, что многое доброе и злое зависит от расположения случайного, от одной минуты. Рассудок не все кладет в мире на строгие весы свои.

У кладовой на часах стоял штатной команды старый изломанный солдат, родом из крестьян с завода Баташева в здешней губернии. Огонь все пожирал в городе, не щадя ничего. Хотя палатка, хранившая казну, была каменная с железною крышкою, но все вкруг ее пылало, и часовой не отступал от нее, как херувим в грозное время от древа жизни. Товарищи его, убеждая сойти с часов, возвестили ему, что жена его, ребенок, дом и все собственное горит. Солдат неподвижен, помня военный артикул, которого наслушался с молодости, не покидает своего поста, ждет смены. Смена в суете опоздывает. Солдат сводится с часов уже не вовремя, приходит домой, — все прах и смерть в глазах его, нет жены, нет сына. Он сбирает их кости, плачет над ними, прячет в куль и хоронит по-христиански. Какой редкий образец твердости духа и прямого геройского мужества! Однако этот солдат прост, невежа, ничего не выучил в свой век, кроме воинского устава, а страстно любит долг, честь, закон,

присягу. Как оставить подобный подвиг без награды? Я тотчас о нем представил министру. Сей доложил государю, и мзда последовала необычайная. Ему дано единовременно триста рублей, по стольку же ежегодно по смерть пенсиону и чистая отставка. Море щедрот потопило нашего стоика. Он одурел, стал пить, делать проказливые дела, и надобно было за Пичугиным присматривать. Выведем из этого случая доказательство, что самое благодеяние должно иметь соразмерность с лицом, которому оно относится. Прекрасно поступил солдат, нет спора, как бы кто о том ни толковал. Положим даже, что при чувствах понежнее, при уме, вычищенном опытами, при способности соображать, может быть, Пичугин и не окостенел бы у кладовой, слыша, что все узы житейские разрываются, что огонь истребляет дом, мучительная смерть губит жену и сына, что кладовую спасет всякий иной, а семейства его никто, как он; положим, что все это много убавит цены поступка нашего доброго воина, но он умирает, по мнению своему, за царя, которому служил, за его добро, которое ему на это время вверено, и нельзя не дивиться такому решительному намерению. Должно его наградить, но помня все, что он только грубый и хмельной солдат, для которого и десятая доля пожалованного была бы сокровище несметное. Право! Лишнее всегда вредно.

В августе съехались ко мне любезнейшие мои гости: сестра большая, с нею двоюродная сестра княгиня Урусова и княгиня Куракина. Удовольствии оживили весь наш дом, ревнивая моя владычица скрылась, и один я страдал от общих увеселений скромным образом в моем кабинете. Старшая дочь моя приготовляла спектакль и балет. То и другое имело самый удачный успех. Никто не скучал повторением, и несколько дней забавы наши театральные продолжались. «Бригадир»[12] так был сыгран, как нигде его не дают, с отличным превосходством. Ни в одной труппе нельзя найти в Советничьей роле даже близкого подобия, не только точного, с Бабаевым, который заставлял меня всегда смеяться, слушая себя на театре. В воксалах балы продолжались далеко за полночь, а Дейбель в своем роде занимал взор наш в балетах, которые делали честь трудам его, ибо многие девушки наши провинциальные, которые правильно ступить не умели, научились искусству пленять в танцах непринужденным движением рук и всего корпуса. Дурно коверкаться, но нехорошо и куклой стоять. Природа сама требует искусства и работы, без того человек становится автомат. Урокам Дейбеля вышел срок по условию, и я его отпустил, а скоро потом разъехались и наши друзья, с которыми я расставался неравнодушно. Жаль было всех трех, а особенно княгини Кураки-

ной, которой твердый рассудок при искреннем ко мне расположении много способствовал преодолевать наклонности сердца. Ее советы, ее споры со мной много силы отнимали у прелестей моей Дулцинеи, которая наносила мне нередко верные удары своею соблазнительностию. Что мудреного? Живучи большею частию в уединении, видя вседневно ее одну, привыкнув к взору, к речи, к улыбке ее или гневу, я беспрестанно был под ее влиянием, и освобождали меня от оного по временам посещении княгини Куракиной вместе с перепиской ее, которая, около тех же пор начавшись, осталась постоянным для меня навсегда удовольствием. Снова я простился с нею, снова надел тяжкие узы, которым во всех прочих отношениях одна ревность мешала быть легким и приятным. Переход от удовольствия к противному несносен, когда он скоропостижен. Неволя после свободы тяжела. Чтоб меньше чувствовать перемену положения домашнего, я тотчас, проводя гостей своих, поехал по городам и весь сентябрь почти не был дома.

Прежде приключений политических, которые открылись осенью, успел я получить от детей письма из разных мест по дороге и перевести к ним на остальное время года нужное число денег по нашему с Венцом условию. Сыновья мои, пробыв несколько ден в Москве у бабушки и взявши с собой Лачиновых, отправились в путь. Мать моя благословила их и со слезами отпустила. В Петербурге они недолго также медлили. Представились с письмами моими к кому следовало для получения пашпортов, и как меньшой по званию пажей зависел от Пажеского корпуса, то для надлежащего вида за границей обязан был выдержать осмотр и испытание в тамошних училищах. Экзамен состоял в нескольких пустых вопросах в грамматике и арифметике, как обыкновенно водится, когда дело идет только о форме, а не о пользе. По наружному осмотру он оказался сложен изрядно для употребления себя со временем в военную службу. Потом дан ему пашпорт, и я уже знал в сентябре, что они за границей, едут здоровы, спокойны и благополучны, и нетерпеливо ждал известий о приезде их на то самое место, куда по назначению им ехать следовало. Письма мои к ним шли прямо в Геттинген, а деньги пересылал я через контору московского аглинского купца Роана, который мне был отчасти знаком по публике иностранной. Курс еще не портился слишком, деньги наши имели вес в Европе. Я терял, конечно, у перевода, но не много. Контора эта была верна, богата, осторожна, и все векселя доходили к детям моим во все время их пребывания в чужих краях очень исправно. Итак, на этот счет я был без забот, оставалось мне иметь их только о ус-

пехе сего предприятия. Я ниоткуда его не ожидал, как от Бога, и Всещедрый намерение мое совершил, по желанию моему, во благое.

Оставим теперь на минуту дом, губернию и взглянем немножко на Европу. Неудачная битва под Аустерлицами открыла дерзновенному Наполеону, самозванцу французского государства, глаза на российское войско, и он увидел, что при многих недостатках в управлении единственным нашим, можно сказать, народом, при малых познаниях наших генералов, полки российские со всею храбростию солдат не суть воинства непобедимые, и он перестал оказывать к нам то уважение, которое долгое время к знаменам российским питали с трепетом все европейские державы, когда Екатерина распоряжала судьбами их, сидя за пером в кабинете. Хищный Наполеон простирал свои взоры на всю вселенну. Он хотел разорить Англию, отнять у ней владычество морей, по натуре ее положения ей издавна принадлежавшее, и для того желал соединить все кабинеты матерой земли[13] в одну свою мысль, всем дать свои направлении, свои виды, словом, составить общую и единственную монархию, над которой, царствуя один, мог бы он всеми силами земного шара завоевать область над океанами и, словом, держать в руках своих руль всего подлунного мира. Планы его были чрезвычайны, замыслы огромны, силы душевные и телесные необыкновенны. Сие несчастными опытами для всех владык Европы часто было доказано, но Россия, одна еще Россия не была под игом; тем сильнее Наполеон стремился с ней сразиться и, к несчастию, успел. Россия очевидно теряла перевес в Европе, ассигнации, расплодясь, унизили ее монету почти до ничтожества. Колоссальное сие государство имело еще большие силы во внутренних своих богатствах, но никто не умел, так сказать, их выдвинуть и с пользой употребить, везде уже почти царствовали любимцы Наполеоновы. Он сменял роды царские, как игрок переставляет шашки, и новые его короли представляли покорных ему служителей, когда он хотел исполнить какое-либо отважное предприятие[14]. Россия долго дремала, как усыпленный лев, и не шевелилась, видела картину беды в Европе и молчала, смотрела на уничижение корон и пряталась в своих недрах. Не было Румянцовых и Суворовых, и крайняя ее терпимость принимала на себя вид совершенной робости. Наполеон задрал Россию, раздражил ее, замахнулся на нее под Аустерлицами, и заключенный мир скоро после той баталии не был мир, но решительный голос всего российского народа на войну кровавую и отмстительную. Возродилась вражда, и вражда глубокая, в сердце россиян противу французов. Искра вспыхла, и манифест наш о войне вос-

пламенил всю твердую землю снова. С объявлением ее последовал указ о наборе с пятисот душ по четыре рекрута, и я принялся в своей сфере за новые труды, которые облегчены были на сей раз тем, что набор назначен не по городам, а по-прежнему в одном губернском городе с некоторыми дополнениями, коими искали дать благовидный предлог столь частым переменам правительства. Нередко случалось уже видеть, что изданный указ, через год и два теряя свою силу, бросаем был в архив как бесполезная бумага. Много господа министры писали, но мало обдумывали, увлекаемы теориями блистательными и не соображая идей своих с народом, с его свойством и натурой земли, они, как остроумный один автор в басенке своей сказал, учили медведей и прочих четвероногих вить гнезда наподобие галок и ворон, то есть, просто сказать, правили государством навыворот[15]. Так и ныне, переменя образ набора рекрут, не могли ни людям, ни себе дать отчета, для чего иначе он был исправляем два-три года сряду, чем теперь, и почему в то время не так расположен был, как всегда при прежних государях. Новость составляла все достоинство вводимых обрядов. О пользе их никто не думал. Мое дело с прочими было повиноваться и скорее выставить определенное число рекрут, за что я и принялся всею моею силою, но в самое то время занимался и собственно владимирским обстоятельством, на которое успел по видам моим исходатайствовать решительный именной указ, и вот в чем оно состояло.

Министерство просвещения спешило обзавестись во всех губерниях домами обширными для своих гимназий. Казна щедро отпускала на то суммы, но постройка домов требовала времени, а между тем гимназии очень теснились. Губернаторский дом в Владимире обратил на себя внимание местного начальства по части учебной. Директор Цветаев, которого осмелюсь я назвать моим клиентом[16], вошел со мною от Университета московского в переписку о сем предмете, и новый начальник гимназии[17] потом не отступил от желания присвоить ей дом губернаторский. Предприятие сие не могло исполниться без моего согласия, оно было готово, потому что дом был по вдовству моему слишком уже для меня велик, а сверх того многие причины, как гражданские, так и личное мое расположение, дали ход удачный сему делу. Я представил министру просвещения[18], писал и к графу Кочубею, что дом столь обширный не соответствует состоянию губернатора, который от трех тысяч жалованья, если, подобно мне, попадется без всякого собственного имения, не может ни отопить, ни осветить, ни содержать дома в четыре этажа, в котором залы

без конца и покоев праздных множество. Губернатор не всякий и не всегда должен или может давать праздники. Пусть, думал я, для великолепия места и звания нужны бывают ему и большие приемные покои, но не могут ли они заимствоваться на подобные случаи, кои, впрочем, зависят более от произвола, нежели от истинной нужды, покоями в общем корпусе присутственных мест, а для житья собственно губернатора довольно было бы и не так большого дома. Иначе принужден был бы или начальник города разориться для того, что дом велик, или бы нужным показалось определять мимо достойного и бедного человека богатого дурака, чтоб было кому поддержать великолепие дома. На сем рассуждении основывал я мои бумаги к министерствам и просил, чтоб дом, который стоил тридцать тысяч, был за эту цену отдан в ведомство гимназии, а на эту сумму позволено было бы мне выстроить новый каменный же дом, но гораздо менее прежнего и с соблюдением хозяйства, ибо в казенных домах есть где ставить театры и давать балы, а нет ни сусек для хлеба, ни анбара для сена и овса, словом, все для тщеславия и ничего для пользы. Располагая отдачу сию или продажу дома, я не забывал испрашивать и для себя по пятисот рублей на год для найма квартеры, доколе не выстроится предполагаемый новый дом. Все это министром просвещения принято благосклонно и с отличною ко мне признательностию. Он снесся с министром внутренних дел, обще представили государю, и, не отменяя ничего у моего плана, все утверждено высочайшим указом. Дом отдан, на постройку другого отложены деньги, квартерные ассигнованы, и оставалось мне только готовиться к сдаче своего прежнего жилища, в котором после Евгении водворилась навсегда скука и уныние, несмотря на минутные блески удовольствия. Изъяснив здесь причины, побудившие меня как губернатора пожертвовать гимназии домом обширным и прекрасным, не хочу утаить, что сильнее всех их решила меня на то собственная моя мысль, не имеющая никакой связи с должностью гражданской. Потеряв в этом доме жену, он мне опротивел, я не хотел в нем жить, но не хотел и того, чтоб когда-либо преемник мой, вступя в него и располагая комнатами по произволу, мог поместить кто любовницу, кто собак, кто иную какую нечистоту в самом том покое, в котором жила Евгения, и тем осквернилось бы место ее последних издыханий. Дом был не мой, казенный, следовательно, в полной воле временного хозяина. Предупредить я никакого употребления из него не мог бы и для того рассудил обратить его в казенный навсегда. Отдав под гимназию, я знал, что никакое частное лицо распоряжать им и в нем по прихоти не станет. Храм

наук удалял от этого дома всякую идею соблазна и нечистоты. Увидят ниже, каким образом я из самой спальны жены моей сделал как бы неприкосновенное святилище, и вот для чего я домогался лишиться этого дома. Бог благословил намерение мое полным успехом, и я не от суеверия, но от чувства самой истой веры думал во всю жизнь мою, что все то благо начато, на что видимое снисходит земными орудиями благословение Божие. И подлинно, два министра соглашаются тотчас, недосуги их не останавливают, доклад подается, государь конфирмует, и все спеет почти мгновенно. Не явно ли Бог простер десницу свою на сердечное мое желание и показал в удаче его свое благоволение ко мне.

С войной, кроме набора, ожидать надобно было многих и разнородных хлопот, ибо с самого приступа к ней появились черты искренней ненависти к народу, который выводился на брань против России. По всем губерниям, разумеется, и во Владимирской, открыт с именного указа комитет, в котором при самом губернаторе долженствовали все иностранцы принимать присягу в том, что они обещаются не писать ни к кому в свое отечество и отрекаются от нынешнего их правительства и самозванца[19]. Это значило в других словах взять с них подписку, что они из России уже не выедут вечно, ибо после такой клятвы явно, что их на родине ожидала одна мучительная смерть. Тех, кои бы не присягнули, велено было высылать немедленно за границу, а чтоб вернее прекратить переписки между здешними французами и тамошними, велено также было поручительством обязывать те лица дворянские, при коих живут и жить останутся французы. За нарушение сего наложен был уважительный штраф в казну. Всякое учреждение в настоящее время, обыкновенно, писано было с каким-то школьным педантизмом, и указы становились похожи на диссертации. Отделении и подразделении запутывали часто и мастеров юридического дела. Разбор иностранцев так затруднен был самими правилами, что нельзя было употребить полицейской скорости в высылке ненадежных французов, не боясь ошибки, вредной для них, опасной для себя. Со всех уездов начали они съезжаться в комитет. Присутствие там держалось до вечера и часто при свечах, дабы сколь возможно было поспешнее разрешить участь поселившихся у нас иноземцев. Иные имели прежние виды, другие никаких. Все надлежало рассматривать, так, как и род людей, потому что с французами вместе подводимы были под общее правило и других царств подданные, коих владетели вступали в оборонительный союз за Францию, против нас. У меня у самого жила мамзель Шатофор, которою я был отменно доволен,

и по возрасту дочерей моих лишиться ее было бы для меня потеря. Готов бы я охотно поручить надзор над ними русской пожилой дворянке с хорошим нравом и некоторым учением, но такая мысль — химера. Пусть укажут мне хоть одну способную на то женщину, но, конечно, нигде не сыщут, и девушкам взрослым, лишившимся матери, воспитываться отцом, занятым делами государевыми, очень неудобно. Не все за ними, как за малым ребенком, ходить крепостной какой-нибудь маме, которая ни о чем, кроме леших и ведьм, не слыхала. Итак, я поручился за свою иноземку, и она осталась у меня в доме на моем отчете. Я уверен был в ней и никаких от нее проказ не ожидал. Хорошо обойтиться без иностранцев, но, кажется, Россия так еще нова, что они для изучения[20] детей наших необходимы. Публичные училища и для мальчиков никуда не годятся, а для девиц вовсе их нет. Я разумею, вовсе, потому что какие-нибудь два-три института, и то в Москве да Петербурге, для целой России, в которой до нескольких тысяч благородных детей, счесть можно за ничто. Это так, как бы в комнату, в которую войдет сто человек, растворить двери для пятисот. Ясно, что все не больше войдет ста, и сии-то вотрутся или по протекции, или за деньги, или силой, если крепки мышцы. В таком случае нечего было делать, как взять иностранца в дом, рассматривая его свойства и познании. Между тем, чтоб кучера Вральмана[21] принять или ученого человека, думаю, что всякий поставит разницу, иначе, следуя доброму или ненавистному пристрастию, всегда попадешь в опасный предрассудок. Крайности всегда вредны, я старался общее мнение очищать от предубеждений и без рассмотрения не смел давать ему полной власти над собой. Итак, моя мамзель у меня осталась, да и многие от тех ли же причин, или от особенного великодушия за иноземцев ручались очень надежно, и оттого по Владимирской губернии весьма мало их я принужден был выслать, да и добавлю к особенной чести их, что во все время моего начальства ни от одного француза я не видал проказы.

Комитет для разбора иностранных заменил тот, который рассуждал о земских повинностях. Поручение сие было совсем окончено и увенчалось желаемым успехом: земли городские пришли в известность, доходы со всех предметов умножились, полицейская часть вошла в надлежащий порядок. Город должен был отныне иметь определительно известного сбора до десяти тысяч рублей. Доклад комитета мною отправлен к министру, опробован им, ратификован государем, и утверждение его изъяснено в рескрипте, на мое имя состоявшемся, а г. совестный судья Ра-

гозин за труды свои по сему обстоятельству получил по времени знак отличия.

Война пугала меня наравне со всеми, лично в ней участвовавшими, по причине детей. Не знал я, доедут ли они до места и останутся ли там? Не вышлет ли их тамошнее правительство или не вытребует ли здешнее? Обстоятельства действовать стали на денежные переводы, векселя посылать было неудобно, дороги, занятые неприятелем, угрожали потерей всего. Как иметь письмы? Как отсюда писать к ним? Все это меня очень тревожило, как — благодарение Богу! — получил я от сыновей известительные письма из Геттингена, что они уже доехали, основали свое жилище, начали ходить в публичные классы и обучаться дома, устроили свое хозяйство, и подробное всему описание от Венца меня совершенно успокоило. В России же о высылке молодых людей, по пашпортам своего правительства заехавших для наук в разные немецкие университеты, не было никакого повеления. Итак, я лишился самого неприятного чувства — боязни. Собравшись в кружок, я, дети, мамзель, Анна* и добрая мамушка, мы семейно по вечерам прочитывали письма Венца, и последняя всегда плакала от радости, когда находила в письме Павла строчки две-три к себе. «О, Павел! Павел!» — вскрикивала она, и я с живейшею благодарностию кидался к ней на шею. Вот и немка! Она не русская, что ж? Ужли за это сердиться на нее, презирать, ненавидеть? О люди! Кто научил вас различать ближнего по цвету волос, по произношению слова, от вас отличного? Я до гроба соблюду мое правило: благодеющий язычник лучше, приятнее сердцу моему злобного христианина.

Непредвидимые случаи в этой осени сблизили меня с Пожарской и решили в пользу ее мое сердце. Наклонность обратилась в пылкую страсть, и все вспомоществало переменить мою участь снова. Брат ее родной Безобразов помолвил жениться на Прокудиной и, имея свой дом в городе, расположился венчаться в нем. Съехались на свадьбу сестры его, в том числе и Пожарская. Проживши тут близ месяца, всякий день давали они вечера, и я был у нее почти беспрестанно. Немудрено, что мне тут было весело. Ничто меня не теснило, не принуждало, напротив, когда я появлялся к возлюбленной Ольге, я был свидетелем всех тех мучений, коим причиною бывает ревность. Ее терзали нервические припадки. Она корчилась, падала в обморок и всеми образами мучила мою душу. Что тут привлекательного? Всегда после посещения ее приезжал я

---

* То есть сестра моя Богданова. [Примеч. И. М. Д.]

домой с упалыми щеками, с тысячами морщин на лбу, зол, скучен, досадителен. Домашние были в тягость, люди бегали прочь, я не похож был на себя. Посидя, напротив, у Пожарской, я возвращался домой любезен, добр и приветлив. По свойству духа моего там и тут был я и по службе тяжел или снисходителен. Порабощение мое Вебер, я иначе не назову этого ослепления, имело влияние на характер мой даже до дел публичных. Я был груб с подчиненными, и на всякого, можно сказать, в городе разливалась по временам желчь моя. Надобно было кончиться такому жестокому положению, надлежало разорвать узы моего пристрастия, но кому и как? Вот в чем состояло затруднение. Богданова, умея выворачивать сердце человеческое на все стороны, принялась за эту трудную операцию над моим и с осторожностию повела свой план. Она видела, что я влюбляюсь в Пожарскую, а к Вебер прикован одной привычкой, знала, что кроме Маши, дочери моей, никто не решит меня и никто не помешает войти в новое супружество. Маша от долгого обращения с Анной, будучи от природы свойства скромного и нрава гибкого, до того вверила ей свой рассудок, что Анна могла производить из нее, что хотела, и внушать ей самые желании. Она дочери моей беспрестанно твердила, что связь моя с Вебер может иметь опасные для семьи нашей последствии. За минуту слабости отвечать нельзя. Или соболезновании, или страстный взгляд, пущенный, как ядовитая стрела в грудь, или предубеждении насчет чести, хотя бы она вправду здесь и не получила оскорблении, все могло меня решить на союз вечный с Вебер, уловя один миг мягкосердечного расположения. Долго ли женить было меня на себе? И позднее раскаяние ничего бы не поправило. Картина зол таких, живыми красками представляемая ежедневно дочери моей, тревожила ее душу. Богдановой руководствовала самая хитрая политика; Веберова, напротив, предаваясь желанию быть моей женою для имени ли только, или для самого меня, один Бог разбирать сердечные помышлении умеет, не терпела Анны Михайловны, имела довольно ума, чтоб предвидеть, что она чрез дочь мою всегда сильнее ее подействует на мои намерении, и для того искала всячески удалить ее от дома, разорвать нашу дружескую связь, отнять ее у меня, чтоб получить деспотическую власть надо мною. Но чем более она обнаруживала мне свои виды на то, чем сильнее ревностью даже и к Анне Михайловне меня мучила, тем далее ставила меня от себя и давала весу убеждениям той. Она не умела лукавить. Горячность и нескромность увлекали ее слишком далеко, она силой страсти хотела все из меня делать и часто попадала в ошибки. Богданова, не теряя минут бла-

гоприятных, пользовалась ими и не насиловала моей воли. Интриги домашние не менее спутаны бывают придворных. Богданова, будучи горда и самолюбива, никогда не могла простить Вебер явных ее покушений удалить ее от нашего дома и разрыв мой с нею поставила для себя предметом славы, а потому выработывала его всеми средствами, сближала меня с Пожарской, старалась давать пищу новой этой страсти, искала в ней чрезвычайно, располагала к выбору ее все меня окружающее. Маша всею душою предавалась этому намерению, споспешествовала Богдановой. Сама даже Вебер помогала ее политике опрометчивостью своею досаждать мне и самовластием неограниченным. Пока две сестры, Ольга и Александра, ткали круг меня свои сети, Богданова, видя в Пожарской взаимную склонность ко мне, располагала свои тенеты. В этих интригах Маша одна ускорила развязкой, показав мне в откровенном разговоре, сколько тяготит ее моя привязанность к Вебер. Пролитые ею невинные слезы тронули меня сильно. Я не мог устоять против них, и первый шаг к успеху ознаменовался тем, что я реже стал ездить к Вебер, а всякий вечер проводил у Пожарской, где я в забавах свободных новые питал восторги. Веберовы, потеряв нитку в этом лабиринте, перестали также к нам ездить под видом болезни. Ольга, не надеясь уже на одну любовь, хотела расшевелить мои сожалении и слегла. На записки от нее, всегда мрачных укоризн наполненные, я отвечал коротко и холодно. Иногда заезжал видеть их, но когда делались с нею истерики и корчи, я бегом уходил домой. И так редкость свидания, пустота переписки приготовили меня постепенно к совершенному равнодушию. Между тем, однако, Пожарской уже нечего было делать в Владимире. Брат обвенчался в Инвалидном доме, я был званым и почетным гостем на всех пирах. Праздники кончались, и, прощаясь с Пожарскою, я уж до того был в нее влюблен, что едва тут же не решился говорить о женитьбе. Отъезд ее страшил Богданову. Она знала твердо непостоянство мыслей моих и боялась, чтоб Вебер не возвратила меня к себе с большею силою, но, где Бог сам устрояет судьбу человеческую, там все мысли, деянии, намерении наши стремятся невидимым образом к одной предназначенной цели. Если б Ольга Абрамовна тотчас по отъезде Пожарской явилась у меня в доме и несколько далее позволенного простерла свои очаровании, если б потешила огонь страсти во мне хоть малым снисхождением, если б... то нет сомнения, что я, в объятиях ее забывая все на свете, венчая любовь стыдливую полным торжеством победы и райскими наслаждениями пленя свое унылое одиночество, пожертвовал ей собою и, не размышляя ни

23 Зак № 3535

о чем, тотчас бы на ней женился. Трудно было бы тогда удержать меня от того, особливо когда бы и честь, и долг, и совесть — все потребовало от меня сей жертвы. Но Вебер меня не знала, она думала весь успех найти в раздраженных желаниях и упорном сопротивлении. Она самовластно для примирения со мною требовала моей повинной, требовала, чтоб я прекратил знакомство с Пожарской и отказал дом свой Богдановой. Такими суетными предложениями она более и более студила последние искры моей любви к ней. Вздумала потом вымышленными женихами возбудить во мне ревность. Когда сей способ не удался, то, выписавши братьев своих и привязываясь к смыслу моих записок, коими всякий день мы друг друга кормили, как насущным хлебом, заставила их стращать меня поединками. Тогда слетел с глаз моих завес. Я увидел всю низость моего пристрастия, увидел, что двум сестрам захотелось из меня сделать Мольерову фарсу, и решительно разорвал всякое с ними сношение. Это новые привязало крылья Богдановой. Она начала писать к Пожарской; стал переписываться с нею и я. Наконец, увидя наклонность всего моего дома к тому, чтоб я отстал от Вебер и женился на Пожарской, готовился бросить с себя вдовью черную ризу. Домашние мои в Москве, мать и сестра, узнав о прекращении самодержавия Ольги Абрамовны, радовались всем сердцем, ибо она, не стараясь привлекать к себе моих ближних, хотела одной себе быть одолженной приобретением моей руки и сердца. Несмотря на всю удачу доселе в своем плане, Анна чувствовала, что она никогда не получит перевеса в доверенности моей у княгини Куракиной, и для того, расположа ее к себе, гораздо прежде, наилучшим образом, стараться стала укрепиться ее согласием, без которого достоверно знала, что дело не пойдет на лад. Княгиня ехала в Москву и остановилась у нас на сутки. Я никогда ничего от нее не таил. Советы ее имели сильный вес в моем рассудке. Узнав все обстоятельства в настоящем их виде, она присоединилась к дочери моей, и общими с ней убеждениями решили меня приступить к делу немедленно. Итак, я после свидания с княгиней Куракиной тотчас писал к Пожарской и просил ее соединить участь свою с моею. Уверясь в ее согласии, начались обряды общежития, и положено было между нами совершить свадьбу в начале следующего года.

Итак, я изменял обету моему. Я забывал Евгению, я давал место ее другой. Назвав ее несравненною, я находил ей замену и детей ее покорял мачехе. Где делась клятва моя при минуте кончины Евгении, с анафемой на самого себя произнесенная, остаться на всю жизнь мою вдовцом?

Ужели память бесподобной жены моей истерлась в моих мыслях? Оставаясь один, сам с собою, я все это одумывал и соображал. О нет! Никогда Евгении не забуду, никогда не сравню с нею никого. Никто выше ее не станет в моем сердце. Но я человек! Я плоть ношу, я сосуд общих слабостей. Дети! Я для вас пишу и обязан вам исповедать мою душу. Вам она должна быть коротко знакома. Публика пусть меня судит, как хочет, но для вас войду в некоторое рассуждение, которое нелишним будет в те минуты вашего гнева, когда вы, вспоминая мать свою, будете укорять отца. Одиночество было мне не сродно. Я привык к товариществу, тесный союз супружества мне необходим. Если б жена по одной нравственности составляла полную меру счастия нашего, то, конечно, и без брачного союза искренная дружба могла его заменять иногда. Но в жене не одни душевные качества потребны. Она необходима в отношении просто животном, и в нем-то без брака ее иметь не можно. Любовница не искренний товарищ, ее и мое не суть одно и то же, нет тесного соединения. Многие вдовцы думают, что они сохранили верность к потерянным своим женам потому, что не женились. Ошибка! Не венчал их поп, но наложницы вошли в часть супруг их. Дети без матери нередко порабощены были рабыням, кои похищали у них жизнь, здоровье, воспитание, имение и смешивали с детьми законными плод чрева прелюбодейный. Лучше ли это обвенчанной мачехи? Я никогда не имел знакомств с девками и гнушался ими. Я влюблялся часто, это правда, но зато не развращался с непотребными. Постель моя, благодаря Бога, не познала скверны, и оттого пылкое мое воображение при горячем темпераменте кружилось в страстях, как в вихре. Я пылал, разжигался и на первой встрече готов был жениться. Два года с лишком вдовства становились мне по натуре несносны, я не был еще так стар, чтоб отказать себе женщину. Взять ее на час, на время, из служанок, из баб крестьянских для меня казалось мерзко, и кто бы стал ручаться, что она не даст мне детей? Тогда новые узы свычки, воспламеняя резвое мое сердце, могли бы меня решить взять за себя и самую недостойную имени моего женщину, и тем самым опозорив себя публично, я бы соединил с детьми Евгении детей побочных. Я бы передал все ее светские преимущества твари, недостойной внимания. Этого я страшился и убегал всеми силами, а потому, избрав в жены женщину благородную, летами не слишком молодую, мать троих детей, опытную в хозяйстве, рассудительную и любезную, и ею сам Бог ниспослал мне надежнейшее средство препроводить остальные дни жизни в тишине домашнего сообщества и облегчить

бремена старости. Вот, любезные дети, что побудило меня вступить во второй брак. Но он ничего не отнял у Евгении в душе моей. Она тут, тут, и смерть одна лишит меня памяти сего сокровища.

Заботы сердечные и труды гражданские наперерыв восхищали мои минуты. В доме все переменяло вид свой. В губернии война приводила все состоянии в волнение. Наполеон угрожал ворваться в сердце России, завладеть столицей. Силы его были несметны. Испугался двор, дрогнули министры, и, независимо от набора рекрут, издан манифест о составе по всем губерниям *милиций* или земского ополчения[22]. Подобные средства употребляемы были в Англии, Швеции, Австрии, для чего же и нам не перенять? Кто первый подал эту мысль, я не знаю, многих этим напрасно клепали, и в шумной молве нельзя было ничего найти основательного. Манифест писан был в самых жестких выражениях, он заключался во многих пунктах. В одном из них даже угрожались непокорные лишением живота. Сия строка, совсем новая в России и забытая от времен Анны Иоанновны, дошла до глубины сердца каждого. Она доказывала если не совершенную уже гибель отечества, по крайней мере, сколь сильно того испугались, и это не ободряло народа. Армейские силы вверены были на границе генералу Беннингсену. Вследствие манифеста Владимирская губерния обязана была поставить двадцать семь тысяч ратников, что составляло семнадцатого крестьянина по сказкам, но посулено было их возвратить назад, когда победится общий враг, а умерших предполагали зачесть. Одежда назначена простая из крестьянского сукна с некоторыми пустыми прищегольями, кои в отношении к солдату не забывались и в опаснейшее время. Вооружение состояло из того, что кто дать рассудит: ружей, пистолетов, палашей, а вообще почти у всех явились пики, иные даже и рогатины перед фрунт выносили. Все правила сего ополчения, содержание его, самые действии изъяснены были до подробности в манифесте. Россия разделилась на девять областей[23]. Каждая имела в себе по несколько губерний, Владимирская принадлежала к Московской. Областными начальниками избраны от государя первые чины военного звания, как из служащих, так и отставных: Татищев в Петербургской; Тутолмин, тогдашний генерал-губернатор московский, в ней; князь Юрий Владимирович Долгоруков в Низовой; граф Орлов в Украинской; князь Сергей Федорович Голицын в Белорусской; князь Прозоровский в Киевской; Беклешов в Лифляндской; остальных двух не помню. Все они с чрезвычайною мочью отправились по губерниям ополчить народ российский, а в Москве на Спасском мосту, как обыкновенно, рассыпалась

куча дурацких картин, насчет французов разных карикатур. Водворился у нас аглинский вкус, и неосторожно стали продавать кожу с медведя прежде, нежели его свалили. Ратник Долбила смешил всю Красную площадь, принимал француза на вилы и кричал: «Что, мусье!»[24] Это все изображено было самым скаредным образом в красках, и чернь последние гроши тратила на покупку этих малевок. Но пусть бы одни площадные зеваки дурачились, — где чернь не одинакова, где она не глумится? Что всего удивительнее было в то время, что из истории нашей едва можно ли будет выскоблить, это брань и позор духовенства. Во всех епархиях архиереи восклицали с амвонов велегласно присланные им от Синода печатные листы, в коих православная церковь российская называла Наполеона Антихристом, предавала его анафеме, кляла судилища его и громко проповедовала, что он во Франции учреждает по образу иудеев трибунал, называемый Сангедрин[25], название того беззаконного сборища, коим распят искупитель мира. О, какая соблазнительная проповедь! Она вымышлена была для возмущения народа против Франции, которой искренно желали все всякого зла. Я не отвлекусь в пространные рассуждении насчет сего остервенения, оно же и не принадлежит к моему предмету, но коротко скажу, что я с моей стороны, ярясь противу самозванца, не питал злобы против народа. В чем он виноват? Осмотримся всюду, и уже ли не признается откровенный человек, что всякий народ бывает в страдательном положении под скипетром наглого деспота. Чего хочет он, тому молча повинуются люди. В России бывали свои Наполеоны. Грозный Иоанн, хитрый Годунов, Лжедмитрий пока имели власть, чего в порабощении не делал народ российский? Право! Все то же всегда было и везде, что мы видели в наши дни в царство счастливого злодея и нашего пагубного современника. Возвратимся к милиции.

Вместе с манифестом получил я с нарочным от министра пакет за царскою печатью с инструкцией на имя мое, подобный прочим. Она подписана была самим государем, и в нескольких статьях изъяснялся образ набора ратников вместе с выбором на службу дворян при том ополчении в разные по воинскому штату звании. Велено было тою же инструкциею собрать все дворянство в губернский город в восемь дней, а потом в две недели кончить весь прием. Каждый уездный начальник, выбранный дворянством, обязан был в своем уезде набрать ратников не старее сорока лет, росту небольшого, но здоровых и годных в службу. На малые недостатки телесные не обращать строгого внимания. Снабдить все войско сие провиантом на три месяца и офицерам бедным назначить жалованье.

Сверх того, возлагалось на особенное попечение начальников губерний склонить купечество и дворянство к добровольным денежным пожертвованиям. Во всех чертах указа или инструкции видна была близкая беда. С надлежащею поспешностию предмет сей исполнен: по Владимирской губернии в неделю собрано дворянство, в три дни совершен выбор, а в пятнадцать дней, действительно, как сказано было в повелении, выставлены налицо двадцать семь тысяч хороших людей в ратники. В каждой губернии назначен губернский начальник и под ним разные степени военачальства. Начался выбор его из всего дворянства. Кандидатами представлено пять человек. Я имел обязанность, не по примеру обыкновенных выборов, быть лично при настоящем, и сам вынимал из ящиков шары в присутствии всего сословия. Зала наполнена была народу, потому что и из Москвы многие никогда не жившие ни в деревнях своих, ни в провинции дворяне прискакали на это время сюда и по праву помещичьему требовали себе и назначали другим разные должности. Из кандидатов выбран по большинству баллов генерал-поручик отставной князь Борис Андреевич Голицын, александровский кавалер. Я знал о сем предварительно, потому что губернскому предводителю и лучшим нескольким дворянам, старожилам владимирским, угодно было со мной об этом посоветоваться, и я сам указал им на князя Голицына как на лицо случайное, отличенное в свете именем, чином и почестьми и притом способное по своему богатству делать беднейшим дворянам пособии, но как он был в Москве, то я к нему заранее послал курьера с приглашением. Князь в самый тот день прибыл, как его выбрали. Под ним разместились тотчас уездные начальники, тысячные, сотенные и пятидесятные чины. Всякий порывался попасть в милицию, но, быв очевидным свидетелем этого действия, должен, к сожалению, признаться, что мало примечено в духе благородных прямой ревности к отечеству. Крест, чин, мундир и прибыток — вот причины или, так сказать, рычаги, которые поднимали сию огромную массу наших защитников. Прежде всего был выдуман мундир для всей милиции, и каждая область отличалась от другой цветом воротника. Все, что было лишнего в гражданских местах, записалось в милицию, и на место молодых посели в судах старики, кои по несколько уже лет жили дома лежа на печи. Но тогда было не до дел гражданских, они текли как-нибудь. Все помышляли о войне, всякий глядел на беговое сие вооружение как на торговую спекуляцию, в которой каждый по своему расчету и мыслям искал себе выгод. При записке ратников на службу не было соблюдаемо никаких правил. Пропали все

очереди крестьянские. Одна скорость требовалась от начальников, и под предлогом столь благовидным, страшное открылось мздоимство. Народ терял людей и деньги кучами. Ропот был общий, но не мог падать на меня, потому что все образование милиции доверено было губернским начальникам. Ведь и они люди! Нет дела в свете, в которое бы страсти человеческие не втеснились.

Пока господа дворяне делали свое дело, я вымучивал у купцов денежные подаянии в казну. Всякий город прислал в губернский своих голов с депутатами. Собрав их всех в залу, я им проговорил речь, которая вместе с одою Пожарскому была напечатана[26]. Слово мое подействовало, разгорелись утробы, и купечество положило на стол до ста двадцати тысяч наличных денег на вспоможение казне. Сверх сих больших вкладов частные люди в открытой книге ежедневно записывали разные подаянии. Всякое было благо, и казна не отвергала ни одной полушки. Ценой приношения было усердие, а не качество или количество вещей. Всякий день начинался и оканчивался суетами. Наконец, устроилась милиция и во ожидании движения расположилась по деревням. Тут начались разные нестроении, обиды, насильства: ратник отнимал у мужика пищу, мужик не пускал ратника в избу. Море пролилось жалоб разнородных. Надобно было принимать их, выслушивать, сноситься с начальником областным и губернским. Переписка умножилась, на бумагу пошел перевод, а пользы никакой. В таком положении дел оканчивается настоящий год, и я о милиции заговорю снова в наступающем.

Теперь скажу еще, к пополнению публичных приключений, что китайский посол, не успев в своем деле, возвращался очень недоволен в Петербург. Он, проезжая Владимир, остановился у меня на несколько минут и побеседовал о войне. При нем прискакал ко мне с высочайшею инструкциею курьер. Он ее прочел и, не мешкав нимало, даже не согласясь отобедать с нами, дабы не отнять у меня времени, отправился в Москву. С чувствительною благодарностию я принял и проводил такого дорогого для меня гостя, искренно пожелав ему дней ясных и благоприятных у двора.

Среди столь смутных обстоятельств Бог обрадовал Россию разрешением от бремени императрицы Елисаветы Алексеевны. В ноябре еще родилась государю дщерь Елисавета[27], но радость сия была кратковременна, и младенец не долго жил. Августейшая мать его не полагала меры слезам своим и, как новая Рахиль, не могла долго утешиться в потере милого своего детища. Мужеский пол более бы и живее возвеселил оте-

чество, потому что наследственная линия без того сворачивалась в сторону и не могла идти прямо в доме государском, но привыкнувшие любить племя царское россияне за все и о всем славили Бога, улыбались младенцу в колыбели, плакали над ним во гробе и везде спешили казать себя верными подданными.

Отдавая губернаторский дом в ведомство Московского университета, предположено было занять его гимназии владимирской с будущего года, и потому надлежало мне думать о выезде из него. Без всякого на сие принуждения со стороны директора, мне и самому не хотелось жить в нем в новом состоянии. Принявшись всей душою за намерение посвятить дом наукам, а спальну покойной княгини обратить в памятник, я сделал письменный акт вроде завещания, по которому дарил в пользу владимирской гимназии навсегда все мои сочинении, как новое и второе издание напечатанных доселе, так и все те манускрипты, кои по смерти моей найдутся, отдавал я в распоряжение Университета с тем, чтобы все, не подверженное сомнению, не иначе печатаемо было, как в пользу владимирской гимназии. Условие сие дополнял я тем еще, чтоб отнюдь не деньги получала гимназия в свою выгоду, а выручаемые с типографщика сборы обращались в книги, и таким образом чтоб со временем гимназия могла иметь хорошую библиотеку и собрание достаточное классических книг, которых у нее было очень мало. Дабы более и более удостовериться в успехе моего предположения, я, выезжая из дома, оставил в пользу гимназии все мои шкапы, в которых хранились собственные мои книги. Они наполняли ту самую комнату, где была наша спальня и где скончалась жена моя. Обратя ее в письменный свой кабинет, я и шкапы по размеру стен приспособил, следовательно, гимназия и оставила этот покой в том самом виде, в каком он устроен был при мне. Бумага, изъясняющая все сии мои распоряжении, подана была от меня г. директору, который препроводил ее в совет Московского университета[28]. В ней я заключал просьбой, чтоб о сем моем приношении никуда не было писано и нигде провозглашаемо, как в наше время завелось о каждом рубле печатать в газетах. Причины, решившие меня на такое пожертвование, были слишком близки к моему сердцу, чтоб я искал чрез него других наслаждений, кроме тех, кои доставляет нам внутреннее чувство удовольствия, когда мы возвышаем человека нам милого, человека, приобретшего право на вековечное наше воспоминание. Почтить, сколько то от меня зависело, память Евгении был здесь единственный предмет моего поступка, и я достиг своей цели. Университет, вполне удовлетворяя моему желанию,

прислал на имя мое бумагу, изъявляющую лично его мне признательность за мое приношение, а директору наслано повеление, оставя помянутый покой в настоящем его виде, выставить в нем бюст мой и женин, сделать ковчег для сохранения моего акта и украсить его приличною надписью с краткой биографией покойной в незабвенную память ее редким достоинствам душевным. Я чрезвычайно был обрадован таким вниманием Университета, и тем более, что он не сам собою токмо, но с дозволения товарища г. министра просвещения М. Н. Муравьева удостоил меня такой отличительной чести. Ему нельзя было скрыть моего намерения. Университет входил с представлением, дав ему от себя лестное уважение. Мне сугубо приятно было обязываться сему месту общего воспитания, и я, помня свое учение там, любить не переставал Университета, как любят родину. Между бумагами, у меня хранящимися, найдутся и сия моя духовная, и ответ Совета к директору. Там пространнее описан весь проект, а здесь приложится одна копия с отношения тогдашнего университетского ректора г. Страхова ко мне.

По некотором времени комната приняла предназначенный ей вид[29]. В ней коштом моим сделан купол на столбах, под коим на площадке, тремя ступенями от пола возвышенной, поставлены были бюст мой и женин на высоких колоннах. Между ими на лакированной тумбе раззолоченный резной ящик скрывал в себе вышеписанный акт. На нем изображалась надпись в стихах моего сочинения. Выше его на стене повешена была доска с кратким описанием рода, воспитания и жизни покойной жены моей. Памятник сей, прекрасно отработанный и представляющий над собою резной герб Долгорукой фамилии[30], отменно убирал комнату и во всей своей неприкосновенности до выезда моего из Владимира и даже после, как слышал я, сохранился. Все стены комнаты занимались шкапами с книгами, а монумент на самом том месте был поставлен, где скончалась княгиня. Тяжело будет мне очень, если когда-либо при жизни моей упразднится этот памятник. Молю Бога, да благословит навсегда сие дело рук моих. Но люди умеют ли что-нибудь ценить достойным образом. Падали бронзы, сокрушались мраморы, истреблялись лики Божества! И мне ли сметь надеяться, что устоит противу тли, все в свете губящей, мавзолей бесценной для меня, но для света едва известной супруги[31]. Tempus edax rerum[32].

Устранясь на несколько дней от всех недосугов, я по обыкновению моему говел к 24-му числу и в последний раз пел гимны Богу в жилище прежнем Евгении. Назавтра Рождества, то есть 26-го числа, приехала в

город госпожа Пожарская, и как уже получены были нами письма, на союз наш соизволяющие, от ее и моей матери из Москвы, то я и помолвил. Остальные дни года прошли в суетах приятных и противных. Служба занимала самым печальным образом. Не было бумаги, которая бы не несла с собою чужих вздохов, ропота, недостатка и не возбуждала или досады, или соболезнования. Дома приготовлении другого рода разбивали мрачные мысли и сердцу давали некоторую ослабу. Надобно ли повторять, что связь моя с барышнями Вебер совсем разорвалась. Они поскакали в Москву искать рассеяния, а я, нанявши для себя на три года дом Безобразова, приготовлял в нем жилище всему семейству своему, доколе прожектированный губернаторский дом поспеет. На отделку его и выдачу квартерных денег мне дан был от правительства трехлетний срок.

Кончим третий год моего вдовства биографическим известием о второй моей жене. Аграфена Алексеевна Пожарская, по себе Безобразова, родилась в Москве от благородных родителей. Отец ее Алексей Григорьевич и мать Мария Яковлевна были люди богатые и, как обыкновенно водится, имели широкое знакомство. Многие знатные господа, как то Орловы, Салтыковы, были им приятели. Старик служил немного и, офицером гвардии быв отставлен, ни в какие не входил дела, а жил спокойно дома и наблюдал свое хозяйство. Лучшее его имение было в Владимирской губернии, оттого он и дом имел в самом городе. Детей у них была куча: восемь дочерей и шесть сыновей, из которых один в возрасте умер. Дочери выдавались замуж, и в настоящее время кроме двух, кои остались навсегда в девушках, все прочие, иные с мужьями, другие овдовев уже, жили одни своими домами[33]. Отец их скончался в самый тот год, как я приехал в Владимир, а мать еще здравствует и поныне. Будущая моя жена воспитана была в монастыре и выпущена из него в один год с покойной моею женою. Влюбясь в Пожарского, который был прекраснейший мужчина, служил сперва кавалергардом, понравился было Екатерине, но по интригам удален от Петербурга в войски, вышла она за него замуж и прижила с ним четырех детей, из коих первая дочь Марья во младенчестве умерла, а остальные три, два сына, Алексей и Филипп, и дочь Алена, жили и воспитывались при ней, имея для наук очень хорошего учителя. Г. Пожарский, дослужась до чина военного советника по ведомству провиантскому, вышел в отставку. С ним Аграфена Алексеевна привыкла к суетам подвижной жизни. Ездя то в армию, в Киев и Польшу, она не имела иного дома, иного состояния, как походное. Невоздержание смолоду удручило мужа ее болезнями мучительными, и он

в 1802 году от следствий водяной скончался в деревне, им отданной жене своей, называемой Александрово, в Шуйском уезде, той самой, в которой я после того так часто у вдовствующей супруги его проводил время в хорошие летние дни. Аграфена Алексеевна, живши с мужем всего одиннадцать лет, все время вдовства проводила большею частию в деревне и редко наезжала в Москву, да и то весьма на короткое время. Все ее чувства в одиночестве обратились к дочери. Аленочка была для нее все в мире. Любовь ее к ней имела все черты пылкой страсти, баловала ее и тешила во всем без разбора, не было ей ни в чем отказу, и предавалась всем ее прихотям даже с предосудительным снисхождением. Я всегда почитал и почитать буду сильнейшим доказательством любви ее ко мне то, что с такою неограниченною любовью к Алене она решилась дать ей вотчима и подвергнуть ее влиянию стороннего человека, ибо живучи в одном доме и в таком тесном союзе естественно было иногда и попрекословить ей, а для ребенка изнеженного это казалось притеснением. Положим, что и мои дети к тем же опытам готовились, особливо девочки, подходя под власть мачехи, но самое то, что каждый из нас имел детей не общих, заставляло и жену мою, и меня друг другу снораваливать, и в таком обмене поступков созидалось благосостояние семейства. Я извинял детей ее, дабы она то же оказывала моим. Это держало вес самый ровный в родительской власти, а сверх того при всякой домашней сшибке, особливо на первых порах, пока нравы один об другой не притерлись (где же этого нет?), я менее терпел принуждения, нежели жена, потому что любил детей своих много, но с мерой и рассудком, а жена имела к Алене своей настоящую слабость. Все имение жены моей состояло в двухстах душах и винокуренном заводе, но я никогда не входил в управление дел ее. Почитая всякую собственность ее долженствующей принадлежать ее детям, я с строгою бережливостию уклонялся от распоряжений ее состоянием. Дом ее, деревни, завод, дела — все осталось на тех же руках, на которых были до женитьбы моей на ней, и в отношении к интересу я был менее муж, нежели чужой. Разделя по себе поровну некоторые части расходов, коими содержится дом, мы в прочем не сливали ничего в общую массу, а наипаче в рассуждение детей, ни я за ее не платил, ни она за моих. Я при женитьбе моей и в первый, и во второй раз не помышлял о богатстве и имел правилом искать одной души, а не многих. Я думал, и думать буду, что брак, соединяя двух человек, обращает их святостию своего союза в одно тело и одного человека, но это не касается до собственности. Каждый имеет свою, может ее дарить, отдать, по-

жертвовать, согласен, но по чувству любви, — а потому только, что такой-то муж, такая-то жена его, нет права никому из них смешивать имении. Женятся люди, а не вотчины. Моральные свойства новой моей подруги имели свою цену. Она была благоразумна, добродетельна, жалостлива к несчастным, постоянна, горяча к родным до предубеждения и приятного обхождения, вспыльчива, горяча и даже ревнива, но с умеренностию. Никогда не помнила досады, охотно прощала оскорблении. Способна, как и все горячие темпераменты, огорчать в минуту жара, но огонь мгновенно проходил, и она с расчетом не умела делать зла. Вот главные ее качества. Я не сравню ее с Евгенией, та не имела образца своего, но не отниму и у этой должной справедливости. Она была женщина милая, любезная, хорошая, чего же больше? Я с ней имел все причины ожидать спокойной старости, что для меня всего было нужнее, и я благодарю вседневно Бога, избравшего ее к облегчению многих зол, ожидавших меня в грядущих днях жизни.

Чтоб дополнить рассуждение мое о сем предмете, заметим несколько случаев, коих стечение весьма странно и влечет к удивлению. 1) Сестра ее родная Елизавета, жившая в доме графа Пушкина еще до первой моей женитьбы, сильно мне нравилась, едва я не искал соединиться с нею; и по многом времени, забыв одну сестру, встретил другую, которая вместо той сделалась моею женою, но все в том же роде. 2) Барышни Веберовы с младенчества росли, обучались и жили в доме Безобразовых. Предстательством старика братья их записаны были в службу. Ольга дружна была с Аграфеной, разрыв между ими последовал гораздо прежде моего знакомства с той и другой, но Ольга Абрамовна, всегда как бы предчувствуя, что подруга ее вырвет из рук добычу, непомерно всегда к ней ревновала и тем способствовала усилиться моему к ней пламени. 3) Пожарская воспитана была в Смольном монастыре, в один и тот же день выпущена с Смирной. Я женюсь на этой, она выходит за Пожарского. Мы друг друга не знаем. Какое чаяние нам сойтиться? Но это-то самое, что она одного выпуска с Евгенией, заманило меня, приближило к ней. Это основало знакомство, а случай скрепил последний узел. 4) Муж ее приезжает умереть в деревню свою в тот год, как я определяюсь в губернаторы, и смерть постигла его в день моих именин 8 мая; у меня бал — в Александрове вопль! Как отгадывать, что Бог предназначил ее мне, а меня ей быть некогда утешением в печалях общих? При помышлении о всех сих случаях нельзя, никак нельзя, как бы мы ни умствовали в прочем, не сказать прямо от души — *судьба*!!!

Копия
с отношения ко мне,
подписанного Страховым, ректором Университета.

Его сиятельству
господину тайному советнику Владимирскому
гражданскому губернатору
князю Ивану Михайловичу Долгорукову.

От Совета императорского Московского университета.

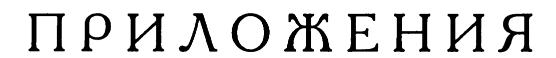
Приношение ваших сочинений на все грядущие времена в пользу Владимирской столь много уже облагодетельствованной гимназии есть такая жертва, которая делает честь уму вашему и сердцу. Основание ваше гимназической библиотеки в тех самых покоях, где вы разделяли прежде жизнь свою с достопочтенною супругою, пребудет навсегда незабвенным ее и вашим памятником. Вы не желаете, чтобы благодеяние сие известно было публике — ваша воля во всем совершенно исполнится; изъявляете чувствительное признание к месту вашего воспитания, и сие-то всего для него драгоценнее. Да даст Бог, чтобы были всегда таковые его воспитанники — патриоты! Примите, милостивый государь, приносимую советом искреннейшую благодарность

Ректор Петр Страхов

№ 421.
Декабря 5-го дня 1806 г.
Москва.

Копия с надписи на ящике, в котором положен акт мой:

Евгения была изящность естества:
Семнадцать лет вкушал с ней райских дней блаженство,
В чертах ее лица зрел мира совершенство,
В чертах ее души зрел благость Божества.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Н. В. Кузнецова

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

Источники текста

Оригинал «Повести о рождении моем...» кн. И. М. Долгорукова считается утраченным. Нам известны две рукописи, содержащие полный текст мемуаров, одна из которых хранится в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки имени А. М. Горького МГУ имени М. В. Ломоносова (далее — московская рукопись), а другая — в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (далее — петербургская рукопись)[1].

1. Описание московской рукописи[2]

Долгоруков И. М. «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим, и начатая в Москве 1788 года в августе месяце, на 25-м году от рождения моего...». Экземпляр ОРКиР НБ МГУ им. А. М. Горького. Шифр: 1 Р. к. 175. Рукописи № 31, 33, 34 и 35 (последняя — в двух папках: 35/1 и 35/2).

---

[1] Вероятно, существовала еще одна рукопись. О. М. Бодянский, издатель путевых заметок И. М. Долгорукова «Славны бубны за горами...», в предисловии к этой книге пишет: «Я их (мемуары. — *Н. К.*) имел в руках, благодаря благосклонности дочери его, Антонины Ивановны Новиковой, довольно долгое время, прочел все, как говорится, от доски до доски, прекрасно переписанные рукой ее, около двух тысяч страниц (1728 или 432 листа), в большой лист, и имею с них список» (М., 1870. С. 1). Из этого описания явствует, что в его руках была чистовая рукопись, выполненная одним почерком, значит, это не могла быть московская рукопись, и рукопись эта почти вдвое толще петербургской рукописи, насчитывающей всего 1074 страницы. Кроме того, О. М. Бодянский сделал с нее копию.

[2] Основные материалы археографического описания московской рукописи любезно предоставлены нам Г. А. Космолинской.

Рукопись 31. Переплет темно-синий, картонный; в центре верхней крышки переплета имеется небольшая прямоугольная наклейка с надписью: «Биография отца моего, им самим писанная. Книга 1». Формат переплета 332 × 212 мм. Формат бумаги 322 × 207 мм. Поля: внутренние 2 см, внешние 2 см. 129 листов, пагинация: 1а, 1—128. Вторая, внутренняя, пагинация постранична: л. 1а и 1 не нумерованы, л. 2—12 нумерованы как с. I—XXI, л. 13—43 нумерованы как с. 1—62, л. 43 об. не нумерован, л. 44—127 нумерованы как с. 63—231, л. 127 об., 128 не нумерованы. Листы 1а и 128 — плотные, другой бумаги (синей, филигрань [Pro Patria] / «МГОФММ», «1823» — аналог. у Клеп. 1[3] № 329). Чистые страницы: 1 об., 43 об., 127 об. (а также л. 1а и 128). Филиграни: л. 1—66: «МОКФ» / «Е [герб Баташевых] Б», «1814» (аналог. у Клеп. 1 № 357 — 1812 и 1817 гг.); л. 67—99: «ГЕЯБ» [курсив под короной, обрамленной двумя ветвями] / «ГФСУ» [Pro Patria], «1813» (аналог. у Клеп. 1 № 169 — 1812 г.); л. 100—123: «NOI ТМЕП» / [упрощенный герб Симбирской губ.], «1815» (аналог. у Клеп. 1 № 388 — 1809—1822 гг.); л. 124—127: «У [лилия] Ф» / «Л [лилия] П», «1814» (аналог. у Клеп. 1 № 652 — 1807 и 1811— 1826 гг). Маргиналии чернилами и карандашом, немногочисленные. Исправления рукой И. М. Долгорукова: л. 76 (3), 76 об., 92, 94. Содержание: от названия до конца второй части (1787 г.): л. 2—3 (с. I—III) — «Заглавие», л. 3—12 (с. III—XXI) — Вступление; л. 12 об.—43 (с. 1—62) — Часть I: л. 12 об.—17 (с. 1—10) — 1764—1770 гг., л. 17—22 (с. 10— 20) — 1771 г., л. 22—23 (с. 20—22) — 1772 г., л. 23—24 об. (с. 22—25) — 1773 г., л. 24 об.—26 (с. 25—28) — 1774 г., л. 26—28 об. (с. 28—33) — 1775 г., л. 28 об.—29 об. (с. 33—35) — 1776 г., л. 30—32 (с. 36—40) — 1777 г., л. 32—37 (с. 40—50) — 1778 г., л. 37—39 (с. 50—54) — 1779 г., л. 39—42 об. (с. 54—61) — 1780 г., л. 42 об.—43 (с. 61—62) — приложенные письма, л. 43 об. чистый; л. 44—127 (с. 63—231) — Часть II: л. 44—46 (с. 63—67) — 1780 г., л. 46—50 (с. 67—75) — 1781 г., л. 50—62 (с. 75—99) — 1782 г., л. 62—71 (с. 99—119) — 1783 г., л. 71—77 об. (с. 119—132) — 1784 г., л. 78—90 (с. 133—157) — 1785 г., л. 90—115 об. (с. 157—208) — 1786 г., л. 115 об.—127 (с. 208—231) — 1787 г.

---

[3] Здесь и далее используются сокращения: Клеп. 1 — *Клепиков С. А.* Филиграни и штемпели на бумаге русского производства XVII—XX вв. М., 1959; Клеп. 2 — *Он же.* Филиграни на бумаге русского производства XVIII—начала XX в. М., 1978.

Рукопись 33. Переплет мягкого картона, в цветных разводах неопределенной формы, сиреневатого оттенка, выцветший и вытертый; в центре первой обложки имеется небольшая прямоугольная наклейка с надписью: «1764, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Биография отца моего, им самим писанная. Книга 2». Формат переплета 335 × 212 мм. Формат бумаги 335 × 212 мм. Поля: внутренние 3 см, внешние 2.5 см. 92 листа, л. 1—92. Вторая, внутренняя, пагинация постранична: с. 232—415. Филиграни: совпадают с л. 124—127 рук. 31. Маргиналии чернилами, немногочисленные. Содержание: часть III (1787—1791 гг.): л. 1—13 (с. 232—256) — 1787 г., л. 13—27 (с. 256—284) — 1788 г., л. 27—42 (с. 284—314) — 1789 г., л. 42—60 (с. 314—350) — 1790 г., л. 60—92 об. (с. 350—415) — 1791 г.

Рукопись 34. Переплета нет. 208 листов, л. 1—208, сшитых в 9 тетрадей. Содержание: 1791—1799 гг.

Тетрадь 1 (Окончание 1791 года). 8 листов, л. 1—8 (л. 8 чистый). Формат: 324 × 210 мм. Поля около 1 см. Филиграни: [сложный вензель под короной на щите] МУ/СТ [Pro Patria], «1815» (у Клеп. нет). Правка рукой И. М. Долгорукова: л. 1, 1 об., 2 об., 3, 5 об., 6 об. (2).

Тетрадь 2 (1792 г.). 24 листа, л. 9—32 (л. 30—32 чистые, л. 9 оторван). Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—21 (только исписанные листы). Формат: 346 × 400 мм, бумага синяя. Поля 5 см с внешней стороны листа, обозначены загибом. В результате обрезания листов утрачено не менее 1 см полей. Филиграни: «КГКОСN» / «ДМ» [герб Костромской губ.], «1801» (Клеп. 1 № 281). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 3 (1793 г.). 26 листов, л. 33—58 (л. 58 об. чистый). Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—26. Бумага синяя. Формат: 333 × 211 мм. Поля 6 см с внешней стороны листа, обозначены загибом. Филиграни: «ЯМВСЯ» / [Герб Ярославской губ.], «1802» (аналог. у Клеп. 1 № 751 — 1797—1807 гг.). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 4 (1794 г.). 24 листа, л. 59—82. Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—24. Бумага та же, что в тетради 3. Формат: 344 × 222 мм. Поля 6 см с внешней стороны листа, обозначены загибом. Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 5 (1795 г.). 20 листов, л. 83—102 (л. 101 об. и 102 чистые). Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—19 (только исписанные). Бумага та же, что в тетрадях 3 и 4. Формат: 344 × 207 мм. Поля 6 см с внешней стороны листа, обозначены загибом. Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 6 (1796 г). 40 листов, л. 103—142 (л. 142 чистый). Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—39 (только исписанные). Бумага та же, что в тетрадях 3—5. Формат 343 × 208 мм. Поля 6 см с внешней стороны листа, обозначены загибом. Обрезан примерно 1 см полей (см. л. 123). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 7 (1797 г.). 32 листа, л. 143—174 (л. 173, 174 чистые, л. 143 оторван). Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—30 (только исписанные). Формат 346 × 210 мм. Поля на л. 143—146 6 см, на л. 147—149 5 см, на л. 150—161 и 172 4 см, на л. 162—171 3 см. Филиграни: «УФ» [лилия] «ЛП», «1801» (аналог. у Клеп. 1 № 650 — 1802, 1811 и 1825 гг.). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 8 (1798 г.). 18 листов, л. 175—192. Вторая, внутренняя пагинация полистна: л. 1—18. Формат 343 × 220 мм, поля 3—4 см. Филиграни: «ЯМВСЯ» / [Герб Ярославской губ.], «1803» (аналог. у Клеп. 1 № 751 — 1797—1807 гг.). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 9 (1799 г.). 16 листов, л. 193—208. Вторая, внутренняя, пагинация полистна: л. 1—16. Бумага та же, что в тетради 8. Формат 343 × 224 мм, поля 3—4 см. Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Рукопись 35. Папка 1. Содержание: 1800— 1806 гг. Переплета нет, 7 тетрадей, по году в каждой. Пагинация сплошная, л. 1—196.

Тетрадь 1 (1800 г.). Л. 1—22 (л. 22 об. чистый). Бумага голубая. Формат 346 × 215. Поля 5—6 см. Филиграни: «ЯМВСЯ» / [Герб Ярославской губ.], «1805» (аналог. у Клеп.1 № 751 — 1797—1807 гг.). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 2 (1801 г.). 36 листов: л. 23—58 (л. 58 чистый). Бумага голубая. Формат 337 × 215. Поля 5—6 см. Филиграни: «ЯМПГJЯ» /

[Герб Ярославской губ.], «1805» (аналог. у Клеп. 1 № 764 — 1800 г.). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 3 (1802 г.). 36 листов, л. 59—94 (л. 93 и 94 чистые). Бумага желтоватая. Формат 330 × 222. Поля 5—6 см. Филиграни: «ВФ» / [герб Вятской губ.] «СР» и «2» в правом нижнем углу, «1817» (аналог. у Клеп. 1 № 150 — 1816 г.). Маргиналии немногочисленны: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 4 (1803 г.). 16 листов, л. 95—110 (л. 110 об. чистый). Бумага как в тетр. 3. Формат 330 × 212 мм. Поля 5—6 см. Имеется единственное исправление.

Тетрадь 5 (1804 г.). 32 листа, л. 111—142 (л. 141 об., л. 142 чистые). Формат 335 × 213 мм. Поля 5 см. Филиграни: л. 111—120: «ВФ / СР» и «2» в правом нижнем углу. «1817»; л. 121—142 — «ЛП» [в круге, обрамленном двумя ветвями] / «УФЛП», «1816» (аналог. у Клеп.1 № 311 — 1823 г.). Маргиналии две, карандашом.

Тетрадь 6 (1805 г.). 26 листов, л. 143—168. Формат 341 × 222 мм. Поля 6 см. Филиграни: «МОКФ» / «Е [герб Баташевых] Б», «1815» (аналог у Клеп. 1 № 357 — 1812 и 1817 гг.). Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила одной руки.

Тетрадь 7 (1806 г.). 28 листов, л. 169—196 (л. 196 чистый). Формат 342 × 220 мм. Поля 6 см. Филиграни: «МОКФ» / «Е [герб Баташевых] Б», «1818» (аналог у Клеп.1 № 357 — 1812 и 1817 гг.). Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Рукопись 35. Папка 2. Содержание: 1807— 1818 гг. Переплета нет. 8 тетрадей, в первых семи — по году в каждой, в восьмой — 1814—1818 гг. Пагинация сплошная, л. 1—264.

Тетрадь 1 (1807 г.). 28 листов, л. 1—28, развалилась на две: л. 1—12 и л. 13—28 (л. 28 чистый). Бумага голубоватая. Формат 342 × 220 мм. Поля 6.5 см. Филиграни: как в тетради 7 рукописи 35/1. Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила разных рук, в том числе рукой И. М. Долгорукова.

Тетрадь 2 (1808 г.). 32 листа, л. 29—60. Бумага голубоватая. Формат 330 × 205 мм. Поля 4 см. Филиграни: л. 29—52: как в тетради 7 рукописи 35/1 и тетради 1 рукописи 35/2; л. 53—60: Филиграни:

как в тетради 6 рукописи 35/1. Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила.

Тетрадь 3 (1809 г.). 28 листов, л. 61—88. Бумага желтоватая. Формат 336 × 204 мм. Поля 5 см. Филиграни: «[Vryheyt] Гг. Хлюстиныхъ», «1818 г.» (аналог. у Клеп. 2 № 190 — 1817 г.). Обрезано не менее 0.5 см полей (см. л. 72 об.). Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила.

Тетрадь 4 (1810 г.). 25 листов, л. 89—113, последний лист шириной 168 мм подплетен особо. Бумага как в тетради 3. Формат 334 × 200 мм. Поля 5.5 см. Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила одной руки.

Тетрадь 5 (1811 г.). 24 листа, л. 114—137, распалась на три тетради: л. 114—131, л. 132—133, л. 134—137, а в общем, расплелась на двойные листки (л. 136 чистый). Бумага желтоватая. Формат 343 × 212 мм. Поля внутренние 2 см, внешние 1—2 см. Филиграни нет. Исправления: л. 118 об., 120 об., 122 об., 125, 126 об., 131, 131 об. Содержание: л. 114—132 об. текст, л. 133—136 таблица — сопоставление писем. Маргиналии: нет.

Тетрадь 6 (1812 г.). 42 листа, л. 138—179 (л. 178 об., 179 чистые). Бумага желтоватая. Формат 341 × 209 мм. Поля внутренние 2 см, внешние 1.5 см. Филиграни нет. Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила.

Тетрадь 7 (1813 г.). 18 листов, л. 180—197 (л. 197 чистый). Бумага желтоватая. Формат 343 × 214 мм. Поля внутренние 2.5 см, внешние 1.5 см. Филиграни нет. Маргиналии немногочисленные: карандаш неизвестной руки, чернила.

Тетрадь 8 (1814—1818 гг.). 67 листов, л. 198—264. Бумага желтоватая. Формат 346 × 221 мм. Поля внутренние 3 см, внешние 1.5 см. Филиграни: [Лев с якорем в вертикальном овале под короной] / «ОФММ», «1820» (аналог., но с литерами «ОФФМ», у Клеп. 2 № 560 — 1820 и 1826 гг.). Маргиналии: карандаш неизвестной руки, чернила одной руки. Содержание: л. 198—208 — 1914; л. 208 об.—218 — 1915; л. 218—232 — 1816; л. 232 об.—247 об. — 1817; л. 248—264 об. — 1818.

Таким образом, московскую рукопись можно разделить на четыре фрагмента. Первый, относительно чистовой, включает в себя: переплетенные в один том первые две части; том, содержащий третью часть; отдельную тетрадь, содержащую конец 1791 г. (начало четвертой части).

Весь этот текст написан на бумаге 1813—1815 гг. одним почерком. Для этого отрезка текста характерны немногочисленные исправления, в основном разбивка на абзацы и оставленные пустые места, куда впоследствии автор вписывал одно или несколько слов.

Второй — текст «1792»—«1801» гг. Он написан на бумаге 1801—1805 гг. двумя разными почерками, отличающимися от почерка первого фрагмента. Оформление текста свидетельствует о том, что перед нами черновик: поля около 6 см обозначены загибом листа, многочисленные исправления сделаны почерком автора черными чернилами и печатными буквами коричневыми чернилами. Кроме смысловых и редакционных исправлений и вставок текста на полях имеются многочисленные вставки на специально оставленные места, а также исправления бессмысленностей. Примеры: 1) Было написано: «имел случай ознакомится с помещиком три округи Господином Таптыковым», «три» исправлено на «Троицкой»; 2) Было: «Разбиваем быв в сие время разными приключениями, как на волнах носимый по произволу непогод, я лишь наконец отдохнул у тихаго пристанища», «я лишь» исправлено на «ялик»; 3) Было: «много найдется в рукописях моих не стариннаго», «стариннаго» исправлено на «стройнаго»; 4) Было: «В самое ето время гостил в Петербурге Граф д'Артоа Принц Крови, отрасль гонимаго брабанскаго дома», «брабанскаго» исправлено на «Бурбонскаго».

Заслуживает особого внимания следующее исправление. Первоначально было: «На письмо сие отвечал я самым отважным слогом. *Оба сии отношения его ко мне и мое к нему внесутся в копиях здесь по окончании года. Из них читатель увидит силу моей досады и меру отважности, с которой я наконец решился к нему писать*». Затем черными чернилами почерком автора «*внесутся в копиях здесь по окончании года*» заменено на «*не вношу я сюда потому что они входят в особой журнал моих статских упражнений*». А потом коричневыми чернилами весь фрагмент, выделенный здесь курсивом, перечеркнут. Это дает основание утверждать, что: 1) правка коричневыми чернилами проведена позже правки черными, 2) правка черными чернилами произведена до, а правка коричневыми чернилами — после уничтожения в 1809 г. упомянутого «статского журнала». Из этого следует, что текст данного фрагмента правился автором, как минимум, дважды, и много позже того, как был написан.

Третий фрагмент, «1802»—«1813» гг., также можно считать черновым. Большая его часть («1802»—«1810» гг.) написана на бумаге 1815—

1818 гг. с полями 4—6 см почерком, похожим на тот, которым переписана петербургская рукопись, «1811»—«1813» гг. написаны на бумаге без филиграней, датировать которую не удалось.

Последний отрезок текста, «1814»—«1818» гг., написан на бумаге 1820 г. Это также черновой текст, не подвергшийся серьезной правке, но содержащий множество механических ошибок.

Эта рукопись представляет собой полный текст мемуаров, имеющий следы авторской правки и составленный из черновиков разного времени создания и редактирования. Обрез листов, очевидно, производился после завершения работы над текстом, так как в некоторых местах имеются повреждения с внешней стороны листа надписей, сделанных на полях.

В московской рукописи отсутствует единообразная система графики и орфографии. Так, например, для рукописи 31 характерно написание *естьли*, тогда как в других частях текста поддерживается современное — *если*. То же самое можно сказать о выборе форм *это / ето*, *ее / ея*, *первый / перьвый* и т. д. Особенно важным представляется тот факт, что во всем тексте нет ни одного случая исправления правописания, сделанного рукой автора.

2. Описание петербургской рукописи

Петербургская рукопись хранится в рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Ф. РI. Оп. 6. Ед. хр. 68. Она представляет собой том in folio в 537 листов, из которых страницы первых шести листов пронумерованы римскими цифрами (с. I—XII), а страницы листов 7—537 — арабскими (с. 1—1062). Последний лист (с. 1061—1062) пронумерован, но оставлен чистым. Бумага одинакова во всей рукописи и датируется 1827 годом по филиграни. Переплет в романтическом стиле: сафьян темно-изумрудного цвета с разноцветной кожаной мозаикой. Верхняя и нижняя крышки оформлены одинаково.

На титульном листе рукописи стоит название: «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788-го года в Августе месяце на 25-м году от рождения моего. В книгу сию включены будут все достопамятныя произшествии, случившияся уже со мною до сего года, и впредь имеющия случиться. — Здесь же впишутся копии с примечательнейших бумаг кои будут иметь личную со мною связь и к собственной Истории моей уважительное отношение». На корешке золотое тиснение: «Записки кн. И. М. Долгорукова».

Весь текст написан одним почерком. Рука переписчика не установлена. Почерк ровный, разборчивый, некрупный. На листах видна карандашная разметка. Верхние, нижние и внутренние поля — 2 см. Внешние поля отсутствуют, текст дописывается до самого края листа. Рукопись имеет многочисленные карандашные пометки как на полях, так и на рабочем поле.

Для петербургской рукописи характерны следующие особенности.

1) Вариативная графика. Переписчик пользуется несколькими графическими знаками для обозначения одной и той же буквы: по два варианта написания *б, д ж т, ять*; по три варианта *я*, заглавного *Н* (русское, французское и латинское).

2) Неустойчивое правописание.

3) Воспроизводятся особенности московского говора: *молошное, етот, перьвый, молоди* (вместо *молоды*) и т. д.

4) Заглавная буква употребляется для выделения разных групп лексики (титулов, государственных должностей, чинов, воинских званий, наград, сословий, национальностей, конфессий, болезней, терминов родства), а также для экспрессивного выделения некоторых слов.

5) В системе пунктуации следует отметить тенденцию переписчика избегать точки при оформлении границ предложения. Вместо нее обычно используется сочетание точки с запятой и тире, после которых возможна как заглавная, так и строчная буквы. Тире между предложениями обычно сохраняется и в сочетании с точкой. Это совершенно не характерно для московской рукописи.

Петербургская рукопись, оформленная как рукописная книга, без сомнения, представляет собой беловой вариант. Сверка с московской рукописью показала, что перед нами один и тот же текст.

В петербургской рукописи после основного текста следуют краткие заметки или наброски И. М. Долгорукова об основных событиях 1819—1822 гг.

3. Опубликованные источники текста

При жизни автора текст «Повести...» опубликован не был.

1. Отрывок, охватывающий период с 1764 по 1780 г., был напечатан М. Н. Погодиным в журнале «Москвитянин», 1844 г. Ч. 6. № 11. С. 196—213; 1845 г. Ч. 1. № 2. Раздел «Материалы для русской истории и для истории русской словесности». С. 21—43.

2. Этот же самый отрывок воспроизведен в собрании сочинений кн. Долгорукова: *Долгоруков И. М.* Сочинения Долгорукова, князя

Ивана Михайловича. Т. II. М., 1849. С. 485—539. (издание А. Ф. Смирдина). Текст этой публикации имеет существенные расхождения с текстом известных нам рукописей.

3. Небольшой фрагмент о Н. Е. Струйском появился в журнале «Русский архив» в 1865 г., с. 481—486 (издатель М. Н. Лонгинов).

4. Короткая выдержка о М. М. Сперанском напечатана в журнале «Русская старина» 1903 г. № 9. С. 511—513. «Дополнительные заметки к материалам к „Жизни графа Сперанского"». (Из бумаг академика А. Ф. Бычкова).

5. Текст начал печататься по петербургской рукописи с самого начала Н. В. Соловьевым: «Русский библиофил», 1913 г. № 1. С. 17—46; № 2. С. 50—76; № 3. С. 61—93; № 4. С. 58—73. № 5. С. 102—115. № 6. С. 30—52. № 7. С. 41—57. № 8. С. 54—78. 1914 г. № 1. С. 56—77. № 2. С. 63—85. № 3. С. 63—83. № 4. С. 77—104. № 5. С. 59—74. № 6. С. 28—59. № 7. С. 65—85. № 8. С. 28—43. 1915 г. № 1. С. 64—78. № 2. С. 78—87. № 3. С. 95—104. № 4. С. 74—83. № 5. С. 111—118. № 6. С. 62—68. № 7. С. 67—83. 1916 г. № 3. С. 38—67. № 4. С. 39—74. № 5. С. 51—66. № 6. С. 36—65. № 7. С. 38—65. № 8. С. 17—47. В этой публикации полностью опущена часть, которая уже была напечатана ранее (см. пункты 1 и 2). Публикация остановлена на главе «1806 г.» в связи с прекращением выхода журнала в свет.

6. В 1916 г. А. Поляков издал почти половину записок: *Долгоруков И. М.* Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве в августе 1788 года на двадцать пятом году от рождения. Пг., 1916 г. Это репринт предыдущего издания, воспроизводящий текст до 1800 года.

7. В 1928 г. Б. В. Иваненко и М. И. Смирнов опубликовали по московской рукописи несколько отрывков, в основном посвященных ботику Петра I, в своей работе: *Иваненко Б. В., Смирнов М. И.* Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского: К 125-летию находящегося в ней Петровского Музея (1803—1928 гг.). Переславль-Залесский, 1928. (Труды Переславль-Залесского Историко-Художественного и Краеведческого музея. Вып. IX). С. 38—40, 42—44, 47—51.

Кроме этого, текст «Повести...» использовал в своей работе М. А. Дмитриев, биограф кн. И. М. Долгорукова[4].

---

[4] *Дмитриев М. А.* Кн. Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения. М., 1851; Изд. 2-е, обработанное вновь, исправленное и значительно дополненное. М., 1863.

Выбор основного текста для публикации

Из описания источников текста видно, что мы располагаем авторизованным, хотя и черновым списком, беловым посмертным списком рукописи и рядом посмертно опубликованных фрагментов. Обе рукописи, и московская, и петербургская, содержат одинаковый текст с незначительными разночтениями.

Текст мемуаров четко структурирован, причем в обеих рукописях соблюдено одинаковое разбиение. Начинается он «Заглавием», которое представляет собой краткое предисловие. Далее следует «Вступление», разбитое на параграфы, в котором излагаются сведения из истории рода Долгоруковых. После него начинается основная часть — «Летопись». Она открывается годом рождения автора — 1764. Записи строятся как летопись, по годам. На середине 1780 г. текст обрывается, все написанное автор характеризует как «первая часть» и называет: «эпоха моего Юношества», хотя это название не вынесено в заголовок. Начинается часть вторая, озаглавленная: «От вступления моего в службу до женитьбы», которая охватывает период до середины 1787 года. Третья часть называется: «От женитьбы моей до начатия гражданской службы». Она продолжается по 1791 г. Часть четвертая открывается окончанием 1791 г.: «От вступления моего в гражданскую службу в Пензе до окончания оной и нового переезда в столицу». Новый переезд в столицу состоялся в 1797 году, но, вопреки ожиданиям, никакой новой части за этим не следует. Текст больше не имеет деления на части и далее разбит только на погодные записи. Единственное отклонение от этой схемы наблюдается в главе «1812», который в середине имеет собственную «часть»: «Вторая часть 1812-го года в Москве». Развернутый текст продолжается по 1818 г. Московская рукопись на этом прерывается, в петербургской далее следует конспективное изложение событий 1819—1822 гг. Этот кусок текста автор, скорее всего, не успел развернуть, и он был приписан к основному переписчиком после его смерти.

Прежде всего обращает на себя внимание внезапное исчезновение разделения на части после 1791 г., которое воспроизводится в обеих рукописях. Причину этого нарушения можно понять, обратившись к соответствующему фрагменту в московской рукописи: именно начало 4 части, 1791 год, является границей между более чистовым текстом, скорее всего прошедшим переписывание, и явным черновиком. Воспроизведение тек-

ста в таком виде в петербургской рукописи свидетельствует о том, что источником для белового варианта могла послужить московская рукопись или текст, идентичный ей. Однако наличие в петербургской рукописи дополнительного фрагмента текста не позволяет напрямую возводить ее к московской и заставляет предположить наличие, как минимум, еще одного источника текста, который нам неизвестен.

Приведем для примера еще несколько разночтений между рукописями:

Московская рукопись	*Петербургская рукопись*
История должна со временем безпристрастно сказать потомству, *сколько* тяжел был сей Случай для России, мое дело говорить лишь о Себе	История должна со временем безпристрастно сказать потомству, *сколь* тяжел был сей Случай для России, мое дело говорить лишь о Себе
Мне одному суждено было показаться в *Свете* прапорщиком Армейским.	Мне одному суждено было показаться в *Свет* прапорщиком Армейским.
В етот день скончалась бабка моя, великая жена Скимонахиня Нектария, — и в тот же самой день, *несколькью* годами пожже, я вступил в службу Царю и Отечеству.	В етот день скончалась бабка моя, великая жена Скимонахиня Нектария, — и в тот же самой день, *несколькими* годами пожже, я вступил в службу Царю и Отечеству.
Забывая чистосердечно все преграды, кои *воспящали* назначению о мне Отца моего, и покоряясь промыслу все устроившему иначе, стократно возопию: Благословен Господь Бог, благоволивый тако: Слава Тебе!	Забывая чистосердечно все преграды, кои *воспрещали* назначению о мне Отца моего, и покоряясь промыслу все устроившему иначе, стократно возопию: Благословен Господь Бог, благоволивый тако: Слава Тебе!
Я не привыкнул еще выдерживать суровость воздуха, да и с раною своею терпел *больше* всех прочих.	Я не привыкнул еще выдерживать суровость воздуха, да и с раною своею терпел *более* всех прочих.

Мало слез и сожаления оставил по себе Г. Вад. — Многия наши братья Офицеры в самое шествие процессии, салютуя еспантонами гробу, с черными крепами на руках, шпаге и шляпе, словом: во всем наружном трауре, какой только могли выдумать человеческия обряды, ворчали сквозь зубов ету смешную французскую песнь, которая на беду Вад — похорон была в городе в большой моде: — Malbrough s'eu vat en guerre, *miron ton, ton, ton*, miron taine и проч.: — Знак особенной печали!

Разъезды мои в Сарское Село познакомили меня в покоях Сол — с Генеральшой Б: — Я о ней уже нечто сказал, повторю что она была дама умная, но ветреная, опрометчивая, и хотя не молодых уже лет, однако могла еще нравится. Два сына ея служили со мной в одном полку, ето сблизило нас, и сделало меня в их доме коротким. *Они жили* безсъездно в городе, и *принимали* всегда множество гостей; Хозяйка часто терпела большия недостатки в содержании себя, но умела мастерски оборачиваться и скрывать их: О Хозяине мы редко слыхали, того реже видали.

Главное для меня приобретение от сих балов было то, что я

Мало слез и сожаления оставил по себе Г. Вад. — Многия наши братья Офицеры в самое шествие процессии, салютуя еспантонами гробу, с черными крепами на руках, шпаге и шляпе, словом: во всем наружном трауре, какой только могли выдумать человеческия обряды, ворчали сквозь зубов ету смешную французскую песнь, которая на беду Вад — похорон была в городе в большой моде: — Malbrough s'eu vat en guerre, *miron ton, miron ton*, miron taine и проч.: — Знак особенной печали!

Разъезды мои в Сарское Село познакомили меня в покоях Сол — с Генеральшой Б:— Я о ней уже нечто сказал, повторю что она была дама умная, но ветреная, опрометчивая, и хотя не молодых уже лет, однако могла еще нравится. Два сына ея служили со мной в одном полку, ето сблизило нас, и сделало меня в их доме коротким. *Она жила* безсъездно в городе, и *принимала* всегда множество гостей; Хозяйка часто терпела большия недостатки в содержании себя, но умела мастерски оборачиваться и скрывать их: О Хозяине мы редко слыхали, того реже видали.

Главное для меня приобретение от сих балов было то, что я

узнал все уловки двора и придворных, нагляделся в самое широкое стекло на суету мира, и *насыщаяся* ею, запасался сведениями для будущей моей жизни.

Бывало в *Питер* тошно, — теперь из него грустно.

Но по некоторым другим опытам, судя после о характере Солт:— я принужден верить, что он сам или от трусости придворной, или от *холоднокровия* ко всему тому что было не он сам, не смел о сем ГОСУДАРЫНЕ и заикнутся.

Тут построен очень хороший Театр в самом доме и замечания достойны: оружейной кабинет, и *фарфовой* столовой сервиз с разными видами Сельских охот.

Место гораздо приятнее, открытое, близко от Города и дворца *Сарскосельнаго.*

В Гатчине напротив стоял Кирасирской полк и наряжал на караул ко дворцу один взвод пеший с офицером в полном одеянии в латах; там разводы были не так пышны, за то в хорошия осенния дни с утренней зари начинались полковыя строи и Маневры а иногда и баталион морской прихаживал для общей екзерциции *тудаже.*

узнал все уловки двора и придворных, нагляделся в самое широкое стекло на суету мира, и *насыщался* ею, запасался сведениями для будущей моей жизни.

Бывало в *Питере* тошно, — теперь из него грустно.

Но по некоторым другим опытам, судя после о характере Солт:— я принужден верить, что он сам или от трусости придворной, или от *хладнокровия* ко всему тому что было не он сам, не смел о сем ГОСУДАРЫНЕ и заикнутся.

Тут построен очень хороший Театр в самом доме и замечания достойны: оружейной кабинет, и *фарфоровой* столовой сервиз с разными видами Сельских охот.

Место гораздо приятнее, открытое, близко от Города и дворца *Сарскосельскаго.*

В Гатчине напротив стоял Кирасирской полк и наряжал на караул ко дворцу один взвод пеший с офицером в полном одеянии в латах; там разводы были не так пышны, за то в хорошия осенния дни с утренней зари начинались полковыя строи и Маневры а иногда и баталион морской прихаживал для общей екзерциции *тудаж.*

Обыкновенно беседа Их Вы-тв съежжалась к ним на половину, в семь часов вечера *и* в десять все разъежжались.

Обыкновенно беседа Их Высочеств съежжалась к ним на половину, в семь часов вечера, *а* в десять все разъежжались.

я никакого понятия не имел о Музыкальных правилах, и пел одним навыком, благодаря верному *моему* Слуху и памяти.

я никакого понятия не имел о Музыкальных правилах, и пел одним навыком, благодаря верному *своему* Слуху и памяти.

Впереди всего катанья ежжал конюший а за ним в большой фуре духавая музыка, которая вплоть до Каменнаго *Острова* играла.

Впереди всего катанья ежжал конюший, а за ним в большой фуре духовая музыка, которая вплоть до Каменнаго *моста* играла.

Мы остались *в* большом кабинете глаз на глаз. — Беседа между нами продолжалась доброй час.

Мы остались *и* большом кабинете глаз на глаз. — Беседа между нами продолжалась доброй час.

Слуга мой на почтовых паскакал с ним в Тверскую Губ: *и* во ожидании ответа, в содержании котораго никто не сомневался, приказано было от их Высочеств для соблюдения порядка, держать помолвку нашу в Секрете.

Слуга мой на почтовых поскакал с ним в Тверскую Губер: во ожидании ответа, в содержании котораго никто не сомневался, приказано было от их Высочеств для соблюдения порядка, держать помолвку нашу в Секрете.

просил *чтобы* нас так близко не соединяли.

просил *чтоб* нас так близко не соединяли.

Наука не мудрена но очень рад что поздо выучился, ибо ето сберегло мои соки и дает мне надежду что я не испытаю той недужной старости, *какой* подвержены неумеренныя охотники до етой потехи.

Наука не мудрена, но очень рад что поздо выучился, ибо ето сберегло мои соки, и дает мне надежду, что я не испытаю той недужной старости, *которой* подвержены неумеренныя охотники до етой потехи.

Сундуков с платьем было шесть; Они привезены на четырех цуках. — На каждой из них давал я конюхам десять рублей серебром и двум стремянным при всем екипаже, *каждому* по стольку же.	Сундуков с платьем было шесть; Они привезены на четырех цуках. — На каждой из них давал я конюхам десять рублей серебром и двум стремянным при всем екипаже по стольку же.
У колеса ехал Офицер Конюшеннаго Стата, и поехали *мы* к церкви Каменнаго Острова.	У колеса ехал Офицер Конюшеннаго Стата, и поехали к церкви Каменнаго Острова.
В *церкви* одни только были наши родныя.	В *церкве* одни только были наши родныя.
Чиновники Государственной Службы определялись Герольдией почти всегда из самых низких людей, не имеющих ни достоинств ни дарований. Чиновники по выборам дворянским замещаемыя не далеко также отбивались от прочих и равнаго были с ними *качества; следовательно* состав Губернии не давал больших способов проводить время приятно.	Чиновники Государственной Службы определялись Герольдией почти всегда из самых низких людей, не имеющих ни достоинств ни дарований. Чиновники по выборам дворянским замещаемыя не далеко также отбивались от прочих и равнаго были с ними *качества и следовательно* состав Губернии не давал больших способов проводить время приятно.
Губернатор узнав о моем театре убедительнейшим образом выпросил у нас, а паче жена его для себя два билета; мы не могли отговорится, и так во всей *помянутой* сходке, были они только двое наши гости	Губернатор узнав о моем театре убедительнейшим образом выпросил у нас, а паче жена его для себя два билета; мы не могли отговорится, и так во всей *упомянутой* сходке, были они только двое наши гости.
Многия полагали что Губернатор подделал все сие нарочно дабы мне досадить, но я такого	Многия полагали что Губернатор подделал все сие нарочно дабы мне досадить, но я такого

чернаго подозрения и *доныне* не имею, а особливо на такое время когда он всякую наружность истиннаго примирения старался мне оказывать	чернаго подозрения и *ныне* не имею, а особливо на такое время когда он всякую наружность истиннаго примирения старался мне оказывать

Авторизованный список, т. е. московская рукопись, несомненно, является наиболее авторитетным источником текста «Повести...» И. М. Долгорукова. Однако есть аргументы и в пользу выбора петербургской рукописи в качестве основного текста. Во-первых, это более полный текст, содержащий сведения о 1819—1822 гг. Поскольку замысел автора предполагал доведение мемуаров до самого последнего момента жизни[5], мы не можем не присоединить этот фрагмент к тексту.

Во-вторых, кн. И. М. Долгоруков знаменит чрезвычайно неразборчивым почерком. Мы имели возможность убедиться в этом сами, безуспешно пытаясь проникнуть в смысл вставок, сделанных рукой автора в московской рукописи. Переписчик петербургской рукописи умел читать почерк кн. Долгорукова и расшифровал все эти правки.

В-третьих, при обрезе листов московской рукописи текст оказался поврежденным в некоторых местах. Петербургская рукопись повреждений текста не имеет.

И наконец, расхождение текстов обеих рукописей до такой степени незначительно, что мы имеем все основания положить в основу публикации петербургскую рукопись, проведя ее сверку с московской и приняв во внимание обнаруженные разночтения.

Принципы публикации

Несмотря на то что текст московской рукописи неоднороден ни графически, ни пунктуационно, ни орфографически, автор, который правил его, не внес никаких исправлений, касающихся правописания. Это может

[5] В главе «1814 год» говорится: «...История моя, писанная собственно для детей моих, не должна кончиться тут, где я остановил ее, а по роду обстоятельств, утеснявших меня более и более отвсюду, необходимо представить им полную картину всего бытия моего, и потому опять решился приняться за ту же работу и, отправляясь с той точки, на которой пред сим остановился, продолжаю многотрудное поприще дней моих, даже до той минуты, в которую уже изменят мне все физические силы и вывалится перо из рук».

21 Зак № 3535

служить основанием для заключения, что И. М. Долгоруков не обращал особого внимания на подобные вопросы. Поэтому мы считаем, что данный текст можно модернизировать без ущерба для авторского замысла.

Орфография и пунктуация «Повести...» И. М. Долгорукова приближены к современным нормам.

Стиль И. М. Долгорукова очень близок по структуре к устной речи, изобилует несогласованиями, незавершенными мыслями и отсылками к несуществующим фрагментам текста. Для него характерно употребление галлицизмов и использование длинных вставных конструкций внутри предложения. Поэтому нам не всегда удавалось использовать нормативные варианты постановки знаков препинания. Основную задачу публикаторы видели в том, чтобы донести до читателя смысл высказывания.

Вариативные написания слов в основном не сохранены. Исключения могли быть допущены, например, в случае употребления иностранного слова в транскрипции языка — источника заимствования и в русскоязычной транскрипции (*отомат* / *автомат*); в случае варьирования полногласия / неполногласия (*Володимир* / *Владимир*). Не приведены в соответствие с современной нормой слова, имевшие существенные отличия в произношении (*ярмонка, поодиначке, скрыпка, аглинский* и т. д.). Особенности московского произношения в тексте практически не отражены.

Грамматические отличия от современной нормы модернизации не подверглись (например, сохранено употребление слова *степень* и в ж. р., и в м. р.).

Фамилии даны в современном написании, если их произношение при этом не меняется (*Солтыков* / *Салтыков, Строгонов* / *Строганов* и т. п.). Обычно при первом упоминании лица его фамилия в рукописи пишется полностью, а в дальнейшем сокращенно. В этом случае раскрытие сокращений производится без специальных оговорок. Иногда первое упоминание лица дается в обеих рукописях сокращенно. Такие фамилии и имена раскрываются в угловых скобках.

Квадратные скобки обозначают издательские конъектуры. Изменения, внесенные на основании московской рукописи, включены в текст без оговорок.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикаторы от души благодарят сотрудников Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и особенно Т. Г. Иванову, без которых это издание было бы невозможным; оказавших существенную помощь в комментировании «Записок»: Н. В. Фролова, сообщившего многочисленные сведения о реалиях Владимирской губернии и владимирских дворянах; К. Е. Балдина, предоставившего сведения о Шуйском уезде; В. В. Берсенева, сообщившего ряд сведений о губернаторах; А. А. Бовкало, давшего материал о деятелях Русской православной церкви; В. Б. Колокольцова, поделившегося сведенями о роде Колокольцовых; К. В. Артюхова, давшего сведения о роде Ушаковых; Е. М. Лупанову, предоставившую материалы о Епанчине; оказавших многоплановое содействие И. В. Сахарова, М. А. Шибаева, Л. М. Миримова, Е. И. Краснову, А. А. Кононова. Отдельная благодарность — Историческому обществу при Европейском университете в Санкт-Петербурге, на заседаниях которого была апробирована эта работа.

Комментарии к персоналиям даны в Именном указателе.

ЗАГЛАВИЕ

[1] *...рукопись о ее жизни...* — Речь идет о записках схимонахини Нектарии, княгини Натальи Борисовны Долгоруковой, бабки кн. И. М. Долгорукова (далее — И. М. Д.), которые она принималась писать дважды, но так и не закончила. После ее смерти рукопись хранилась у Михаила Ивановича, ее сына, затем перешла к внуку, который и опубликовал ее впервые в 1810 г. в журнале «Друг Юношества» (№ 1. С. 8—69). Первая и единственная научная публикация (Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. [СПб.], 1913) содержит крайне важное археографическое описание, позволившее, в частности, идентифицировать эту рукопись как механически соединенные два варианта записок, которые во всех публикациях печатались подряд как единый текст. Здесь эти записки цитируются по перепечатке (СПб., 1992).

[2] *...неключимого раба...* — Неключимый — горемычный, недостойный.

ВСТУПЛЕНИЕ

[1] *...служил полномочным министром в Польше...* — Кн. Г. Ф. Долгоруков был посланником в Польше в 1701—1708, 1709—1712 и 1715—1722 гг.

[2] *...князь Яков Федорович Долгорукий, о котором доныне россияне говорят с восторгом...* — Кн. Я. Ф. Долгоруков, боярин и генерал-пленипотенциал-кригс-комиссар, плененный под Нарвой, десять лет провел в шведском плену, а в 1711 г., в возрасте семидесяти лет, во время транспортировки группы российских пленных организовал побег, захватив с товарищами шведский корабль, и вернулся в Россию. Последние десять лет жизни был сенатором и президентом Ревизион-коллегии. Прослыл неподкупным и бескомпромиссным государственным мужем, всегда говорящим царю правду в глаза. Во второй половине XVIII—XIX в. сложился образ кн. Я. Ф. Долгорукова как мудрого вельможи, не боявшегося ни врага, ни царского гнева.

[3] *Полтава и Рига 〈...〉 оглушил победами своими всю землю Русскую.* — Б. П. Шереметев был главнокомандующим русскими сухопутными силами на основном этапе Северной войны 1701—1721 гг. Он считался главнокомандующим русскими войсками в Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 г., хотя фактическое командование осуществлял сам Петр. Получив вскоре после Полтавы, 13 июля 1709 г., приказание взять Ригу, Шереметев на несколько месяцев затянул движение войск и более чем на полгода — осаду (во время которой потери русских только от чумы превысили 10 тысяч человек), так что Рига капитулировала только 4 июля 1710 г. Фельдмаршальский чин Шереметев получил в самом начале Северной войны, в 1701 г., после не очень крупного сражения при Эрестфере, ставшего первым успехом русских в Северной войне.

[4] *...французский писатель Levesque совсем обезобразил черты моего деда.* — *Levesque P.-Ch.* Histoire de Russie. Paris: Debur, 1782. T. 1—5. Характеристики личных качеств кн. И. А. Долгорукова в тексте не содержится.

[5] *...бывшего там, как выше сказано, послом российским.* — Оговорка; послом в Польше был не отец, а дед кн. Ивана Алексеевича, под надзором которого Иван Алексеевич и воспитывался в Польше.

[6] *...в гоф-юнкеры.* — Придворный чин XII класса по Табели о рангах.

[7] *...награжден разными знаками отличий и Андреевским орденом, произведен в майоры гвардии и в обер-камергеры...* — Орден св. апостола Андрея Первозванного был высшим орденом Российской империи; обер-камергер — придворный чин второго класса.

[8] *всяческая суета* — «Все суета!» — выражение из книги Екклесиаста.

[9] *...виновником был удаления его от двора и ссылки в Сибирь.* — 25 мая 1727 г. состоялось официальное обручение императора Петра II и светл. кж. Марии Александровны Меншиковой, незадолго перед тем расторгнувшей помолвку с гр. П. Я. Сапегой. Летом 1727 г. кн. Иван Алексеевич Долгоруков был приго-

ворен к удалению от двора в полевые полки за то, что он с соучастниками, «не доброхотствуя Петру, тщились отвратить его» от сватовства к Меншиковой. Однако вскоре, 11 сентября 1727 г., Меншиков вместе со всей семьей (женой и тремя детьми) был сослан в г. Ранненбург Воронежской губернии, а 28 марта 1728 г. — в Березов, до возвращения из которого дожили только его сын Александр и дочь Александра.

[10] *...утверждает, будто бы князь Иван по кончине государя, обнажив шпагу, возгласил «Да здравствует Екатерина!», разумея сестру свою и невесту цареву.* — *Levesque P.-Ch.* Histoire de Russie. T. 5. P. 15.

[11] *...Держась сего природного закона, призвали ее на престол российский...* — Согласно Уставу о престолонаследии Петра I, правящий император сам мог назначать себе преемника. Согласно Тестаменту Екатерины I, ее наследником должен был стать Петр II, а если бы он умер бездетным, то ему должна была наследовать ее дочь цесаревна Анна Петровна (в то время уже герцогиня Гольштейн-Готторпская) «со своими десцендентами» (т. е. наследниками мужского пола), а затем — цесаревна Елизавета Петровна «со своими десцендентами». Петр II никакого завещания не оставил. Таким образом, в силе оставался Тестамент Екатерины I. Анны Петровны к этому моменту уже не было в живых, и наследником, согласно Тестаменту, был ее двухлетний сын Карл Петр Ульрих. Однако Верховный тайный совет даже не рассматривал его кандидатуру (по сути, власть в России получил бы тогда его отец — герцог Гольштейн-Готторпский, чего никому не хотелось), предпочтя Анну Иоанновну, вторую дочь Ивана Алексеевича. Возможно, она, будучи вдовствующей герцогиней Курляндской, выглядела более податливой и управляемой, чем ее старшая сестра Екатерина, имеющая живого мужа — владетельного герцога Мекленбург-Шверингского. Заметную роль в выборе именно ее кандидатуры сыграл князь Василий Лукич Долгоруков, племянник Григория Федоровича. Проезжая однажды через Митаву, он был принят Анной Иоанновной очень ласково и решил, очевидно, что и в России будет пользоваться ее расположением.

[12] *...Учреждать...* — Здесь: распоряжаться.

[13] *...без согласия Верховного тайного совета.* — Эта «конституция», называвшаяся «Кондиции», состояла из преамбулы и восьми пунктов. В преамбуле содержались обещания хранить и распространять православную веру, не вступать в брак и не назначать себе наследника, сохранить существующий Верховный тайный совет из восьми персон. Анна обязалась не решать без согласия Верховного тайного совета следующие вопросы: объявление войны, заключение мира, введение новых податей, производство в чины выше полковничьего и определение «к знатным делам» (при этом гвардия и прочие полки должны были оставаться под ведением Верховного тайного совета), бессудная расправа над дворянами, пожалование имениями и крепостными, жалование в придворные чины, расход государственных средств. В случае нарушения она должна была быть лишена престола.

[14] *...из Голстинии прибыв...* — Ошибка; Анна Иоанновна прибыла из Курляндии.

[15] *...где прожил 10 лет, в тюремном остроге, ежечасно под штыками...* — Венчание кн. И. А. Долгорукова и гр. Н. Б. Шереметевой состоялось 8 апреля 1730 г., а 9 апреля 1730 г. вышел первый указ о ссылке Долгоруковых — им велено жить в своих деревнях. Указ о ссылке в Березов был издан 12 июня 1730 г. Кн. Иван Алексеевич родился в 1708 г., следовательно, в 1730 г. ему еще не было 23 лет. В Березове он прожил не 10, а 8 лет (с июля 1730 по август 1738 г.).

[16] *...оставя все прочее на догадку...* — Достоверных данных о причастности к новому аресту кн. Ивана Алексеевича в 1738 г. его сестры не имеется. П. И. Бартенев в примечании к публикации записок кн. Н. Б. Долгоруковой в «Русском архиве» (1867 г. Кн. I. № 1. С. 51) приводит семейную легенду, согласно которой кж. Екатерина подучила младшего брата Александра закричать на кн. Ивана «слово и дело». Ужаснувшись от последствий своего поступка, кн. Александр вспорол себе живот. Его удалось спасти, и с тех пор за ним осталось прозвище «князь с поротым брюхом». Эта легенда отчасти подтверждается записной книжкой кн. Н. Б. Долгоруковой «Экстракт бедствий моей жизни», на которую также ссылается П. И. Бартенев (ныне, вероятнее всего, она утрачена). В ней, говоря о своем муже, княгиня заключает: «...но попущением Божиим за грехи мои и злодейством сестры его родной и брата его лишилась». Достоверно же известно лишь то, что князь был арестован по доносу подьячего Тишина за невоздержанные поносные речи, в том числе по адресу цесаревны Елизаветы. На допросе под пыткой он рассказал об изготовлении подложного завещания в пользу его сестры Екатерины, после чего и был казнен вместе с тремя дядьями.

[17] *...«слово и дело» — сигнал мятежа.* — Выражение «слово и дело» означало готовность доложить об измене.

[18] *Убийственный приговор возымел свою силу 1740 года, ноября 8 дня...* — Казнь произошла годом раньше, 8 ноября 1739 г.

[19] *...прижив с ним несколько детей, возрастила только двух, Михайлу и Димитрия.* — По имени известен еще только один ее ребенок — сын Борис, родившийся и умерший в 1732 г.

[20] *...возвращена не прежде, как по вступлении на престол императрицы Елизаветы Петровны.* — Кн. Н. Б. Долгорукова получила разрешение вернуться в 1740 г. еще от Анны Иоанновны и прибыла в Москву 17 октября 1740 г., в самый день ее смерти.

[21] *...тремя неотдельными сестрами...* — Т. е. не получившими положенной по закону доли родительского имения.

[22] *Граф Михайла умер, оставя сиротам процесс с братом, никогда конца не получивший.* — Гр. Михаил Борисович Шереметев, старший сын фельдмаршала, умер еще при жизни отца, в 1714 г., и, разумеется, никакого процесса с братом об отцовском наследстве не вел. В духовном завещании фельдмаршал

особо оговорил, что поскольку сына своего Михаила «при животе своем в особливой дом отделил», то «для того в сей своей духовной я уже ничего не упоминаю» (Русский архив. 1875 г. Кн. I. № 1. С. 89). Процесс начали правнуки гр. Михаила Борисовича, графы Михаил и Алексей Сергеевичи, в 1780-х гг., надеясь отсудить у гр. Петра Борисовича некоторые деревни, но проиграли. Только в 1799 г. сын и наследник Петра Борисовича гр. Николай Петрович подарил гр. Михаилу Сергеевичу 236 душ, подчеркнув при этом, что делает это не по обязанности, а единственно из родственного расположения.

[23] *...черты евангельского богатого Лазаря.* — Лук. 16, 19—31.

[24] *1757 года сентября 28 дня...* — Пострижение состоялось годом позже, 27 сентября 1758 г. (*Долгорукий И. М.* Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М., 1870. С. 257). Этот день приходился на воскресенье. Большинство справочников называют следующий день — понедельник 28 сентября 1758 г.

[25] *...во Фроловском монастыре...* — Киево-Фроловский-Вознесенский монастырь (до 1710 г. Киево-Фроловский) упоминается с 1566 г.

[26] *...она облеклася в схиму...* — 18 марта 1767 г.

[27] *«Беды в горах и в пропастях земных».* — 2 Коринф. 11, 26.

[28] *...не дала безумия Богу.* — Не сошла с ума.

[29] *...известны с похвалою всему просвещенному свету.* — См. Заглавие, примеч. 1.

[30] *...ребенок сей воздоен...* — Воздоить — вскормить молоком.

[31] *...в 40-м году казнен дед мой, а семейство его и после того находилось еще с год в Сибири.* — Семья прибыла в Москву осенью 1740 г., через год после казни кн. И. А. Долгорукова. Михаилу Ивановичу было тогда 9 полных лет.

[32] *Тогда ожесточение противу имени Долгоруких столь было велико, что запрещено было учить их грамоте и записывать в службу велено рядовыми.* — Кн. М. И. Долгоруков был зачислен в Семеновский полк в 1742 г., т. е. одиннадцати лет от роду, уже при Елизавете. В то время, когда «ожесточение противу имени Долгоруких столь было велико», он был ребенком и находился в Березове. Из сержантов в прапорщики он был произведен в 1754 г., и с воцарением Елизаветы это производство связать совершенно невозможно.

[33] *...был наряд в поход против Пруссии...* — Во время Семилетней войны 1756—1763 гг.

[34] *...смерть ее растворила снова свежую еще рану родительского сердца.* — Хронология этих событий сомнительна. (См. статью в наст. изд., т. 2, с. 497—499).

[35] *Оба они в один и тот же день восприяли: сын в Москве ризу торжественную супружества, а мать в Киеве черную хламиду монашества.* — Пострижение кн. Н. Б. Долгоруковой состоялось годом раньше.

[36] *...был во время царя Алексея Михайловича назван гостем...* — «Гостями» называли высший слой внутри купечества, обладавший особыми привилегия-

ми. В гости жаловали или богатейших купцов, внесших большой вклад в развитие торговли, или за выдающиеся заслуги перед государством.

[37] *...во многих случаях был самим Петром Великим отличаем.* — Г. Д. Строганов был именитым человеком, так же как и его деды (родной и двоюродный), отец и двоюродный дядя. В 1688 г. он стал единоличным владельцем всех строгановских имений. В его пермском имении в 1715 г. насчитывалось более 44,5 тысяч душ и больше 33 тысяч числилось беглыми, у него также были вотчины в Нижегородской губернии. Он был пожалован тремя грамотами от правительницы Софьи и пятью — от Петра I. Был пожалован портретом Петра Великого, украшенным бриллиантами.

[38] *...некоторые Строгановы между современниками нашими жалованы баронским и графским достоинствами.* — Три сына Г. Д. Строганова — Александр, Николай и Сергей — были в 1722 г. возведены в баронское достоинство, которое носили и три внука (родные дядья И. М. Д.). Четвертый внук, Александр Сергеевич (двоюродный дядя И. М. Д.), был пожалован в графское достоинство: в 1761 г. Священной Римской империи, а в 1798 г. Российской империи. Графский титул носили его сын, умершая в юности дочь, погибший в юности внук и четыре внучки. Одна из них, выйдя в 1818 г. за своего четвероюродного брата бар. С. Г. Строганова, с высочайшего разрешения передала мужу графский титул, который к этому времени не носил ни один мужчина Строганов.

[39] *...имел и Александровскую ленту.* — Орден святого благоверного кн. Александра Невского, в то время — второй орден Российской империи.

[40] *...выдана была за графа Скавронского, а сим союзом вошла в родство с престолом.* — Девичья фамилия Екатерины I — Скавронская, супруг бар. Марии Николаевны гр. Мартын Карлович приходился Екатерине I племянником, а Елизавете Петровне — двоюродным братом.

[41] *...привесть могу «Сибирскую историю», в которой означено, что Строгановы ведут поколение свое от татарского князя Луки Строганова, жившего еще в 517 годе...* — Герард Фридрих Миллер в своей работе «Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена» (Кн. I. Изд. 2-е. СПб., 1787), на которую ссылается И. М. Д., приводит мнение голландского путешественника Витзена, что предком этой фамилии был татарский мурза из Золотой Орды, живший во времена Дмитрия Донского. Он воевал против своих единородцев, был взят ими в плен и в мелкие куски иссечен, отчего сын его, родившийся после смерти отца, получил прозвание Строганов, от слова «строгать». Далее Г. Ф. Миллер пишет, что Лука Строганов выкупа́л Василия II из татарского плена. Эти события относятся: первое — ко второй половине XIV в., второе — к середине XV в.

[42] *...При Петре I упоминается о значительном лице сего имени между вельможами и царедворцами.* — Иване Ивановиче Бутурлине.

[43] *...Бог отцев моих, Бог Израилев...* — Христианский мир считался «новым Израилем».

[44] *...моему исчадию.* — Исчадие — здесь: потомство.

ЛЕТОПИСЬ
[Часть I]

1764

[1] *...в Великую среду, в самые обедни.* — В среду недели, предшествовавшей Пасхе.

[2] *...Нектарию.* — Таково в монашестве и в схиме было имя княгини Наталии Борисовны Долгоруковой.

1765

[1] *Из всего лица моего сделалась кора, и в этом положении оставалось ждать смерти.* — Появление корки при оспе означает, что опасность уже миновала.

1767

[1] *...кует.* — Так в рукописи. Здесь: возможно, в значении «бьет» (арханг.).

1769

[1] *...рескрипт...* — Письмо государя на имя подданного.

[2] *наг исшел из чрева матери своей, наг и отошел от мира.* — Иов 1, 21. Екклес. 5, 14.

1770

[1] *Тогда еще не воспрещалось хорониться у приходских церквей.* — В связи с эпидемией чумы 1771 г. был издан синодский указ от 11 ноября 1771 г. «О предосторожностях от заразительной болезни», в котором, в частности, предписывалось, «чтоб по городам при церквах никого не хоронили, а отвели бы для того особые кладбища за городом на выгонных землях, где способнее». Годом позже, 24 декабря 1772 г., был издан синодский указ «Об оштрафовании священников за погребение умерших при церквах».

1771

[1] *...турецкий подарок и следствие бывшей тогда с ней у нас войны.* — Русско-турецкая война 1768—1774 гг.

[2] *...14 сентября московский архиерей, служивший в Донском монастыре литургию, убит разъяренною сволочью.* — Архиепископ Амвросий был убит 16 сентября.

[3] *При первых вспышках мятежа главнокомандующий в Москве граф Петр Семенович Салтыков, губернатор, обер-полицеймейстер — все бежали и оставили Москву, как жирную добычу хищным волкам.* — Гр. П. С. Салтыков выехал из Москвы с высочайшего разрешения, всего на два дня, и мятеж вспыхнул в его отсутствие. Узнав о бунте, он тотчас вернулся. Московским губернатором в это время был И. И. Юшков, обер-полицейместером — Н. И. Бахметев.

[4] *Один генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин* ⟨...⟩ *палил по черни.* — П. Д. Еропкин был оставлен замещать главнокомандующего на время его отсутствия и принял решительные меры, но с некоторым опозданием.

[5] *Один остался я при истине святой / И часть отечества вернейших чад со мной.* — Реплика Гостомысла из трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». Д. 1, явл. 1.

[6] *...дознанный...* — Проверенный, испытанный.

[7] *...сей журнал спустя много лет был напечатан.* — См. Заглавие, примеч. 1.

1772

[1] *...с мамушкой Марьей Карповной...* — М. К. Бромонтова, «вдова свободного состояния» (*Долгоруков И. М.* Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. М., 1997. С. 71. Далее — Капище...).

1773

[1] *...называли меня часто разиней.* — За свою нижнюю челюсть И. М. Д. получил также прозвище «Балкон».

[2] *Сложения был я мокротного...* — Мокротный — флегматичный, вялый.

1774

[1] *...прижил его в царство Петра I с девицею Пипер, сведя с нею связь в Швеции, бывши там в полону.* — Имя матери И. И. Бецкого в точности не известно. Согласно П. М. Майкову (РБС. Т. 3. С. 5), «матерью Бецкого одни называют баронессу Вреде, другие — баронессу Скарре, третьи — даму высшего общества и, наконец, иные — просто шведку, все одинаково голословно».

[2] *...выстроить себе дом каменный* ⟨...⟩ *на Тверской же.* — Дом не сохранился. Сохранился план его нижнего этажа, подписанный М. Ф. Казаковым (РГВИА. Ф. 418. Оп. 1. 1774—1775 гг. Д. 1159. Л. 1).

1775

[1] *...родитель мой, у которого дед и отец долго и с пользой для себя жили в Польше...* — В Польше жили отец кн. М. И. Долгорукова (кн. Иван Алексеевич), прадед (кн. Григорий Федорович) и двоюродный дед (кн. Сергей Григорьевич).

[2] *...родственниц наших девиц Яньковых, находившихся под покровительством моего отца.* — Отец названных девиц, Александр Данилович Яньков, умер в 1766 г., оставив четверых детей: Анну, Клеопатру, Дмитрия и Николая. Его вдова, Анна Ивановна (урожд. Татищева), умерла в 1772 г., оставив детей на попечение кн. М. И. Долгорукова, жена которого приходилась ей троюродной сестрой. Сыновья к этому времени были уже отданы в Шляхетский корпус, а дочери стали жить в доме Долгоруковых. Младшая, Клеопатра, в 1775 г. умерла, а старшая жила у Долгоруковых и присматривала за их дочерьми до выхода ее брата из Корпуса. Она умерла в марте 1813 г., через несколько дней после смерти кн. Анны Николаевны Долгоруковой.

[3] *...муж стойкий в добродетели, вельможа прямо русский, герой на поле брани, меч булатный в Сенате на неправду.* — Сенатор генерал-аншеф гр. П. И. Панин был известен своей смелостью и скверным, неуживчивым характером. В Сенате он выделялся резкостью и прямотой, порой возражал самой императрице, так что его часто сравнивали с кн. Я. Ф. Долгоруковым.

1776

[1] *...на линейках.* — Линейки — многоместные дрожки, в которых пассажиры сидят боком к направлению движения.

1778

[1] *«дошел до дележа, и в пень стал у дробей».* — Автоцитата из стихотворения «Я» (*Долгорукий И. М.* Бытие сердца моего или Стихотворения. Изд. 3-е. М., 1817. Ч. 2. С. 7 (Далее — Бытие сердца...)).

[2] *...гонял на корде...* — Корда — веревка для выездки лошадей по кругу (от фр. corde).

[3] *...тревогу задавал в лукошко...* — Ироническое сравнение барабана с лукошком встречается и в пословице: «Славны бубны за горами, а к нам придут, что лукошко».

[4] *Мальчишки, жившие в нашем доме для сотоварищества со мною из детства, дальнего с нами родства и бедного состояния, урывками находили случай молоть на сей счет вещи мне совсем непонятные.* — Дмитрий Иванович Приклонский, мальчик, живший в одной комнате с И. М. Д., научил его онанизму, за что был согнан со двора (Капище... С. 35). Мать этого мальчика, Ольга Даниловна, урожденная Янькова, была сестрой мужа троюродной сестры матери И. М. Д. и тетушкой девиц Яньковых, воспитывавшихся в доме Долгоруковых.

[5] *...Аргус мой...* — Аргус Всевидящий — персонаж греческого мифа, у которого глаза были по всему телу (первоначально — персонификация звездного неба).

[6] *Один из родственников наших ***...* — Возможно, речь идет об Александре Николаевиче Белосельском, бывшем до 1778 г. казначеем Московской губернии. Степень его родства с И. М. Д. не установлена, но брат матери И. М. Д., умерший в 1771 г. бар. Сергей Николаевич Строганов, был вторым браком женат на княжне Наталии Михайловне Белосельской, дочери кн. Михаила Андреевича Белосельского.

[7] *«Господи, грех юности моея и неведения моего не помяни!»* — Псал. 24, 7.

1779

[1] *...с латинской кухней...* — С лекарствами.

[2] *...к великому дню праздника Христова я уже мог с сестрами свободно катать яйца.* — Пасха в 1779 г. приходилась на 31 марта; катать яйца — пускать яйца по наклонному желобку. Задача играющего — попасть своим яйцом в какое-нибудь из лежащих внизу яиц других игроков, скатившихся прежде.

[3] *...сам г. куратор мне медаль вручил...* — М. М. Херасков.

1780

[1] *...переводом прекрасной книги г. Mercier, по имени «Les songes philosophiques»...* — Мерсье Луи-Себастьян, «Философские грезы» (фр.). Книга в переводе И. М. Д. вышла под названием «Философические сны». Т. 1—2. М., 1780—1781.

[2] *Я удовлетворил его вопросу на латинском языке.* — По университету долго ходил анекдот, что профессор Рост спросил у императора, на каком языке ему угодно прослушать лекцию. Иосиф II назвал итальянский, и Рост блистательно прочитал лекцию на итальянском языке.

[3] *...когда посещал столицу прусский принц Henri...* — Брат Фридриха II принц Генрих Фридрих Людвиг был в Москве в декабре 1770 г.

[4] *...натуральный недостаток в организации!* — Описанные симптомы свидетельствуют о том, что И. М. Д. страдал агорафобией, а не дефектом зрения.

[5] *...воспящали...* — Мешали, препятствовали.

Часть II
ОТ ВСТУПЛЕНИЯ МОЕГО В СЛУЖБУ ДО ЖЕНИТЬБЫ
Продолжение 1780 года

[1] *...шляпа с султаном...* — Султан — торчащее вверх украшение на шляпе из конских волос или перьев.

[2] *...в знаке и шарфе...* — Офицерский шарф — один из знаков отличия офицерской формы от солдатской. Его носили через правое плечо и завязывали

на левом бедре двумя кистями. Офицерский шейный знак в виде широкого полумесяца с ободком по краю и двуглавым орлом в центре служил для различия чинов. И. М. Д., будучи прапорщиком, должен был носить знак с серебряными полем, орлом и ободком.

[3] *...с фонарем Диогена...* — Греческий философ-киник Диоген среди бела дня бродил с фонарем в руках, объясняя: «Ищу человека».

[4] *...генерал-аншеф...* — Военный чин второго класса Табели о рангах, уступающий только генерал-фельдмаршалу.

[5] *...он не был с нами в родстве...* — Ближайшим общим предком у И. М. Д. и кн. В. М. Долгорукова-Крымского был родоначальник князей Долгоруковых кн. Владимир Иванович, умерший на рубеже XV и XVI вв. Кн. В. М. Долгоруков-Крымский приходился восьмиюродным братом кн. Ивану Алексеевичу, казненному деду И. М. Д.

[6] *...пример-майор...* — Премьер-майор — первый из двух майорских чинов. Оба майорских чина (премьер- и секунд-майор) были в одном, восьмом, классе и первоначально означали должности командующего соответственно первым и вторым батальоном в полку, но постепенно чины несколько оторвались от должностей и премьер-майорский стал считаться более высоким, хотя и оставался в том же классе.

[7] *...шляпу с плюмажем.* — Плюмаж — украшение из перьев на головном уборе.

1781

[1] *...под селом Всесвятским...* — Ныне улица Серафимовича в Замоскворечье.

[2] *...ближайший его родственник, князь Дмитрий Михайлович Черкасский...* — Бабкой кн. Д. М. Черкасского по матери была Анна Михайловна Милославская, урожд. княжна Долгорукова, сестра кн. В. М. Долгорукова-Крымского.

[3] *...клепер...* — Североевропейская лошадь.

[4] *...в полкурбета...* — Курбет — прыжок верховой лошади с поджатыми передними ногами (от фр. courbette).

[5] *...мусикийское...* — Музыкальное.

[6] *...в своей отчизне, то есть в провинции Poitiers, живет в самом губернском городе Poitou...* — Названия провинции и города И. М. Д. перепутал. Провинция носит название Пуату (Poitou), а ее главный город — Пуатье (Poitiers).

[7] *...находится в хорошем состоянии.* — Совере «несчастным образом погиб во время революции» (Капище... С. 97).

[8] *...на так называемом Саввинском подворье.* — Московское подворье Звенигородского Саввина Сторожевского монастыря в 1773 г. было обращено в

Крутицкое архиерейское подворье, а в 1787 г. снова причислено к Саввину Сторожевскому монастырю.

[9] *...весь церковный круг, особенно Постную Триодь, собрание лучших церковных сочинений...* — Постная Триодь содержит молитвословия на дни Великого поста и приготовительные к нему недели. Включает неполные каноны, состоящие всего из трех песней вместо обычных девяти.

1782

[1] *... он был в свое время образец князя Якова Федоровича во времена Петровы.* — Т. е. был похож на кн. Я. Ф. Долгорукова своим правдолюбием.

[2] *...Полуёхтово...* — Полуэктово — село Рузского уезда Московской губернии, называлось также Покровским и Волынщиной. В 1743 г. было взято кн. Василием Михайловичем Долгоруковым (будущим Крымским) в приданое за женой, Анастасией Васильевной Волынской. Унаследовано их сыном Василием. На местном кладбище — усыпальница князей Долгоруковых.

[3] *...праздник Благовещения.* — 25 марта.

[4] *...к родной своей бабке, баронессе Марье Артемьевне Строгановой.* — Мария Артемьевна Строганова была не родной, а двоюродной бабкой И. М. Д., женой бар. Александра Григорьевича Строганова, брата деда И. М. Д. — Николая Григорьевича.

[5] *И небо, осудя ее на жертву хладу, / Рождает красоту на место винограду.* — Неточная цитата из трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». Д. 2, явл. 1, реплика Трувора.

[6] *...Шувалов при Елизавете...* — Здесь может иметься в виду как собственно фаворит Елизаветы Иван Иванович Шувалов, так и его двоюродный брат граф Петр Иванович Шувалов, фактически возглавлявший правительство Елизаветы.

[7] *...князя Василья Васильевича Долгорукого, которого Потемкин любил за то, что он угождал его капризам...* — Возможно, намек на попустительство со стороны кн. В. В. Долгорукова ухаживаниям Потемкина за его женой, кн. Екатериной Федоровной (и, по слухам того времени, небезуспешным). Но женитьба Долгорукова и ухаживания Потемкина относятся ко второй половине 1780-х гг.

[8] *...флигель-адъютантом.* — Офицер, состоящий адъютантом при императоре (императрице).

[9] *На завтра, 15 число, приходился Троицын день.* — Троицын день (Пятидесятница) празднуется в 50-й день после Пасхи, приходившейся в 1782 г. на 27 марта.

[10] *...обер-камергером...* — Обер-камергером в это время был Иван Иванович Шувалов.

[11] *...сделался в самый Троицын день сильный пожар на гостином дворе.* — Пожар произошел не 15, а 16 мая в 1 час дня на бойне около большого рынка и принес убыток до 200 тысяч рублей, сгорели все деревянные лавки. В тушении

пожара принимали участие гвардейские полки. Екатерина II смотрела на него с Садовой улицы от дворца Воронцова (ныне Суворовское военное училище).

[12] ...*Петров день.* — День апостолов Петра и Павла празднуется 29 июня.

[13] *Она повелела воздвигнуть ему памятник вековечный.* — Указ об этом был издан 4 мая 1768 г.

[14] ...*вывезен ужасной величины гранит и обработан.* — Гранитный монолит весом почти в 1600 тонн («Гром-камень») был найден в Лахте, 26 сентября 1770 г. доставлен водой в Петербург и выгружен на Сенатской площади.

[15] *О нем сказал в стихах Рубан все, что может только выразить величественную идею сего приношения.* — *Рубан В. Г.* Надпись к камню, назначенному для подножия статуи имп. Петра Великого. СПб., 1770 («Колосс Родосский! свой смири прегордый вид!..»).

[16] *Она для сего назначить изволила 7 августа и сама распорядила церемонию.* — Памятник был открыт 7 августа 1782 г. в шестом часу дня.

[17] *Обе крепости...* — Петропавловская и Адмиралтейская.

[18] ...*своего предка...* — Здесь: предшественника.

[19] ...*получил большую ленту Владимирскую со звездою через плечо.* — В манифесте об учреждении ордена сказано, что представления к награждению будут передаваться в «Кавалерский того ордена Капитул или Думу, которую нарочно для того установляем, требуя от Сената Первого департамента и трех наших Государственных коллегий ⟨Военной, Морской и Иностранных дел⟩ к составлению оной 14 кандидатов...».

[20] ...*обратясь в награду также за военные заслуги.* — В манифесте об учреждении ордена сказано, что он учреждается «в наивящее поощрение службы нашей военной и гражданской».

[21] ...*один после другого.* — Золотуха (скрофулез) — туберкулез лимфатических узлов. Лечение Клавера было достаточно рискованным.

[22] ...*lapis infernalis...* — Сернокислое серебро, использовалось для местного сужения сосудов.

[23] ...*с своим дядькой...* — Степаном Сергеевичем Куликовым (Капище... С. 272).

[24] *День Введения...* — День Введения во Храм Пресвятыя Богородицы празднуется 21 ноября.

[25] ...*возвращения великого князя Павла Петровича из путешествия его в чужие краи.* — Наследник Павел Петрович с супругой путешествовали с 19 сентября 1781 г. по 20 ноября 1782 г. под именами графа и графини Северных.

1783

[1] ...*вел нас по всему городу церемонным шагом.* — Казармы Семеновского полка находились тогда за Фонтанкой, в районе современного Витебского вокзала (от этого времени остались в городской топонимике Семеновская площадь и

улица Введенского канала, где стояла полковая церковь Введения во Храм пресвятой Богородицы, неподалеку же и Пионерская площадь, бывший Семеновский плац). От Зимнего дворца их отделяли больше 2,5 км.

[2] *...об А⟨лене⟩...* — Кж. Елена (Алена) Петровна Меншикова, троюродная сестра И. М. Д.

[3] *Первоученка!* — Первая самостоятельная работа ученика.

[4] *...у тамошнего губернатора г. Лоп⟨ухина⟩.* — Должность П. В. Лопухина называлась «правитель Тверского наместничества».

[5] *...весовые деньги...* — Оплата почтовых отправлений.

[6] *...оба почти в один день кончили свое пребывание в мире.* — Кн. А. М. Голицын умер в ночь со среды 11 на четверг 12 октября, а Ф. И. Вадковский — в воскресенье 15 октября 1783 г.

[7] *...салютуя эспонтонами...* — Эспонтон — небольшая пика с плоским наконечником и поперечным упором; при Екатерине II была на вооружении гвардии, в 1807 г. отменена.

[8] *«Malbrough s'en va en guerre, miron ton, miron ton, miron taine» и проч.* — «Мальбруг в поход собрался, тра-ля ля-ля ля-ля...» (фр.). Французская народная песня, сочиненная про английского герцога Мальборо, нанесшего ряд поражений французам в войне за испанское наследство 1701—1714 гг.

[9] *...думала, что ею приводится в движение сие огромное животное.* — Басня Эзопа, известная в переложениях П. Вилье, Ж. Лафонтена, И. А. Крылова и др.

[10] *...книга Иоанна Масона «О познании самого себя».* — *Мейсон Джон (Масон Иоанн А. М.)* Познание самого себя, в котором естество и польза сея важныя науки, равно и средства к достижению оныя показаны; с присовокуплением примечаний о естестве человеческом. С английского на немецкий перевел М. У. Б. Р., а на русский И. Тургенев. Ч. 1—3. М. : Н. И. Новиков, 1783. Издание это изымалось из книжных лавок. В 1786 г. вышло 2-е издание.

[11] *Дядя мой родной генерал Ржевский скончался в Москве ноября 27...* — Согласно «Московским ведомостям» (1783. № 96 (02. 12) С. 759), С. М. Ржевский умер в среду, 29 ноября; большинство справочников ошибочно датирует его смерть 1782 г.

[12] *Многие рукописи его сие доказывают.* — В сообщении о его смерти говорится: «Знание его в военном искусстве, которое доказал в службе, приобрело ему почтение и уважение от своих соотечественников и делает для них кончину его сожаления достойной» (Московские ведомости. 1783. № 96 (02. 12.). С. 759). Известна его записка под названием «Разные замечания по службе армейской, отчего она в упадок приведена и нелестно хорошим офицерам продолжать службу, и о полковниках» (Русский архив. 1879. Кн. I. № 3. С. 357—362).

1784

[1] *...генерал Апр⟨аксин⟩...* — С. С. Апраксин стал полковником в 1777 г., в возрасте 21 года, в 1783 г. — бригадиром, а генералом станет только в 1786 г.

[2] *...каким описал нам Волтер своего Нескромного...* — Герой комедии Вольтера «Честолюбивый и нескромный». См. также: *Вольтер.* Нескромный, комедия в 1 действии / Пер. с фр. Свистунова. СПб., 1760.

[3] *Первый мне дом был сродни...* — Мать кн. А. Н. Щербатова кн. Анна Васильевна Щербатова, урожденная Шереметева, была двоюродной сестрой схимонахини Нектарии. Сам кн. А. Н. Щербатов приходился И. М. Д. троюродным дядей. Его племянница кж. Е. П. Щербатова, внучка кн. А. В. Щербатовой, приходилась И. М. Д. четвероюродной сестрой.

[4] *...девушка лет тридцати...* — И. М. Д., будучи сам только двадцати лет, невольно старит свою возлюбленную, которой было двадцать пять или шесть.

[5] *Московский главнокомандующий фельдмаршал граф Чер⟨нышев⟩ умер...* — 29 августа 1784 г.

[6] *...и потому очень приласкала меня.* — По долгоруковской линии И. М. Д. приходился Наталье Владимировне Салтыковой девятиюродным племянником (их общим предком был первый князь Долгоруков). В то же время с самим Николаем Ивановичем Салтыковым его связывает хотя и очень дальнее, но все-таки более заметное родство: ему он приходился пятиюродным племянником.

1785

[1] *...в 1789 годе убили в морском сражении под шведами, где он был волонтером и уже капитан-поручик гвардии...* — Кн. Александр Яковлевич Долгоруков в чине капитан-поручика 3-й роты был убит в войне со Швецией в морском сражении у о. Гогланд в Финском заливе 6 (17) июля 1788 г.

[2] *...начитался в «Элоизах»...* — «Юлия, или Новая Элоиза», сентиментальный роман Жан-Жака Руссо.

[3] *...перекидную кибитку...* — Перекладную. (Ср.: Капище... С. 96).

[4] *...на придворном осьмерике* — Осьмерик — упряжка в восемь лошадей.

[5] *...от меня светится, как от Моисея после Синайской горы.* — Исход 34, 29—30.

[6] *Два сына ее служили со мной в одном полку...* — Михаил и Андрей Михайловичи Бороздины.

[7] *...играть «Севильского цирюльника»...* — Скорее всего, речь идет о комической опере Дж. Паизиелло «Севильский цирюльник, или Бесполезная предосторожность».

[8] *...как бы храбрые генералы после Кагульской славной победы стали под шатрами рассуждать о искусстве своих движений и об участи Восточного царства.* — Кагульская битва произошла в ходе русско-турецкой войны 21—23 июля (1—3 августа) 1770 г. 35-тысячное русское войско под командованием П. А. Ру-

25 Зак. № 3535

мянцева, угрожаемое к тому же с тыла 80-тысячной конницей крымских татар, разгромило и обратило в бегство 90-тысячное турецкое войско под командованием великого визиря Халиль-паши. Эта победа способствовала укреплению надежд Екатерины II на восстановление Греческой империи (Восточного царства), которые так и не осуществились.

[9] *...как сом в вершу.* — В безвыходное положение. Вёрша — рыболовная снасть.

1786

[1] *...в Адмиралтейском канале, на котором готовится Иордань.* — Иордань — прорубь на реке, прорубаемая для празднования Крещения (Водосвятия), 6 января по старому стилю.

[2] *...сидел на своем буцефале.* — Буцефал — имя дикого коня, которого удалось укротить Александру Македонскому.

[3] *...екатерининский кавалер.* — Т. е. кавалерственная дама ордена св. Екатерины, единственного женского ордена в Российской империи.

[4] *...г. Hoffrene...* — Правильно Aufresne (Офрен), сценический псевдоним актера Ж. Риваля.

[5] *«La soirée a la mode».* — «Вечеринка по моде», комедия А. Пуансине.

[6] *...Свистунов...* — Вероятно, сын правителя Курского наместничества (впоследствии генерал-аншефа и сенатора) Петра Семеновича Свистунова.

[7] *Объехавши почти всю Европу в последнем своем путешествии...* — Павел Петрович посетил в 1781—1782 гг. Польшу (проездом, г. Вишневец), Австрию (Вена), Италию (Венеция, Неаполь, Рим, Флоренция, Турин), Францию (Париж), Германию (Франкфурт, Монбельяр, Штутгарт), Швейцарию и снова Австрию (Вена).

[8] *...играть драму «Честного преступника»...* — «Честный преступник, или Детская к родителям любовь» Фальбера-Фальбриджа (Ш. Ж. Фенуйор де Фальбер де Кенже), в русском переводе — в 1772 г. СПб.

[9] *...у г-жи Бе[н]кендорф, не той, которая пользовалась ее милостию, а у невестки ее родной...* — Та г-жа Бенкендорф, которая была подругой детства великой княгини, Анна Юлиана, и та, у которой поселился И. М. Д., Христина Карловна, были замужем за родными братьями (Христофором Ивановичем и Ермолаем Ивановичем соответственно).

[10] *...буффу.* — Буффа — шутовской, комический (от ит. buffa).

[11] *...задачно.* — Успешно, удачно.

[12] *сенатора графа Пушкина жена, дама иностранная...* — Гр. Елизавета Федоровна Мусина-Пушкина, в девичестве Шарлотта Амалия Изабелла Вартеленбен.

[13] *Плещеев, бригадир во флоте, находившийся при великом князе...* — С. И. Плещеев действительно находился при великом князе, но был в 1786 г.

еще капитаном 1 ранга, командующим кораблем «Чесма». В капитаны бригадирского ранга (бригадир во флоте) он был произведен только 22 сентября 1787 г.

[14] *...подполковник флотский Кушелев...* — Капитаном 2 ранга (подполковником флотским) Г. Г. Кушелев стал только в 1791 г. В 1786 г. он был капитан-лейтенантом, причем только в этом году был зачислен в штат генерал-адмирала (которым был наследник Павел Петрович) из отставки, в которой находился с начала 1780 г.

[15] *«La belle Arsène».* — «Прекрасная Арсена». Текст Ж. -С. Фавара. Пер. с фр. С. Н. Сандунова. Музыка П.-А. Монсиньи.

[16] *...будучи в родстве с графами Скавронскими и, следовательно, с Екатериной I по ее рождению...* — Гр. Андрей Михайлович Ефимовский был родным племянником Екатерины I — сыном ее сестры Анны и, следовательно, двоюродным братом Елизаветы Петровны, которая в 1742 г. и пожаловала ему и его брату Ивану графское достоинство.

[17] *Женившись три раза, от всех жен прижил детей.* — От первой жены, гр. М. П. Ягужинской, гр. А. М. Ефимовский имел сына Павла и двух дочерей, от второй, кж. А. А. Грузинской — одну дочь, от третьей, крестьянки Степаниды Никоновны — дочь и сына.

[18] *...и дочь Марью.* — По другим сведениям, дочь звали Елизаветой.

[19] *...дикастерии...* — Дикастерия — областное духовное управление, подведомственное митрополиту.

[20] *...сделался наследником знатной части имения родительского.* — Старший брат гр. Петра Андреевича Ефимовского Павел умер холостым в 1776 г., незамужняя сестра Екатерина — в 1780 г. Таким образом, из родительского имения лишь седьмая часть ушла на приданое двум замужним сестрам. Кроме того, четырнадцатая часть могла отойти к его родной незамужней сестре.

[21] *...по словам Фон Визина в «Бригадире», какие к чорту без них достоинства!* — Реплика Советника из комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.). Д. 3, явл. 6: «Две тысячи душ и без помещичьих достоинств всегда две тысячи душ, а достоинствы без них — какие к черту достоинствы».

[22] *Утро все в жертву приносилось Беллоне и Марсу...* — Беллона и Марс — римские богиня и бог войны.

[23] *...свайка...* — Игра, заключающаяся в бросании шипа с большой головкой (собственно свайки) так, чтобы он воткнулся в землю, попав в кольцо.

[24] *Тут играли трое нас Долгоруковых...* — Сам И. М. Д., кн. Сергей Васильевич и, вероятно, кн. Александр Яковлевич.

[25] *«Не надейся на князей» и проч.* — Псал. 145, 3. «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения».

[26] *...принцессы Виртембергской...* — Августы Каролины Фредерики Луизы.

[27] *...фрейлина, в которую принцесса предположила, что я должен влюбиться...* — Ее фамилия Гартфельд (Капище... С. 248).

[28] *Одна благородная девушка...* — Ушакова (Капище... С. 183).

[29] *...вместо ее селадона...* — Селадон — влюбленный. Имя героя романа О. д'Юрфе «Астрея», ставшее нарицательным.

[30] *...с двумя вершниками.* — Вершник — верховой форейтор.

[31] *...в комедии «Le philosophe marié»...* — «Женатый философ» («Женившийся философ, или Стыдливый муж») — комедия Ф. Н. Детуша.

[32] *...будучи по Екатерине I в свойстве с родом Скавронских, возвела ее в сие высокое достоинство по муже ее, графе Мартыне Карловиче....* — С родом Скавронских Елизавета Петровна была не в свойстве, а в родстве: ее мать, Екатерина I, была урожденная Скавронская. Мартын Карлович приходился Елизавете Петровне двоюродным братом. С Марией Николаевной, женой Мартына Карловича, Елизавета Петровна действительно была в свойстве.

[33] *... герцог Виртембергский...* — Фридрих Вильгельм Карл, будущий первый король Вюртембергский (см. Указатель: Фридрих I Вильгельм Карл).

[34] *...пала на колени и просила защитить от наглых поступков ее мужа.* — Это произошло 17 декабря 1786 г., после спектакля в Эрмитажном театре, однако, по свидетельству А. В. Храповицкого, ее тайная переписка с Екатериной по этому вопросу шла с начала декабря. 4 декабря он «переписывал секретное письмо к принцессе Виртембергской» (Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. М., 1990. С. 17).

[35] *...и где, год спустя, благополучно скончалась.* — Екатерина действительно приказала герцогу выехать из России, но собственным письмом, а не через великую княгиню. При этом она в тот момент еще не выключила его из службы, а дала ему годовой отпуск. Правда, в конце 1787 г. он, так и не вернувшись в Россию, был уволен из русской службы. Герцогиня Вюртембергская была помещена в замке Лоде около Ревеля, где и умерла 16 сентября 1788 г.

[36] *...за домашнюю ссору между мужа и жены, в которую, может быть, Екатерине, так высоко сидя, и не следовало бы вмешиваться.* — Скорее всего, жалоба герцогини была для Екатерины лишь поводом выслать герцога Вюртембергского, не возбуждая против него формального обвинения. Служа генерал-губернатором Выборгским, герцог был замечен в тайных сношениях со шведами, и, вероятно, именно это стало истинной причиной его высылки. Мария Федоровна действительно писала Екатерине, пытаясь добиться отмены его высылки, но безуспешно.

[37] *...родственница их и несколько моя, графиня Голов⟨ина⟩...* — Гр. Е. С. Головина была племянницей гр. В. П. Мусина-Пушкина (по матери, гр. Клеопатре Платоновне, урожденной гр. Мусиной-Пушкиной) и троюродной племянницей И. М. Д. (ее дед по отцу, гр. Федор Иванович, был сыном гр. Анны Борисовны, урожд. Шереметевой, единокровной сестры Наталии Борисовны (Нектарии)).

[38] *...страсть ее к другому молодому человеку...* — К гр. Федору Матвеевичу Апраксину.

[39] *Фамилия ее была не знаменита...* — Опочинина.

[40] *Родственники у нас были общие, у него по отце, у меня по матери...* — Тетка А. М. Дмитриева-Мамонова Елена Васильевна Дмитриева-Мамонова в 1734 г. вышла замуж за бар. Александра Григорьевича Строганова, дядю матери И. М. Д., и стала матерью Анны Александровны, по мужу кн. Голицыной, неоднократно упоминаемой благодетельницы И. М. Д.

[41] *...у дяди моего барона Строганова, которому он по жене его был близко родня.* — А. М. Дмитриев-Мамонов был родней бар. А. Н. Строганову не только по жене последнего: дядя бар. А. Н. Строганова бар. А. Г. Строганов и тетка А. М. Дмитриева-Мамонова Е. В. Дмитриева-Мамонова состояли в браке. Овдовев после смерти бар. Е. В. Строгановой (урожд. Дмитриевой-Мамоновой), бар. А. Г. Строганов вступил в новый (уже третий) брак с Марией Артемьевной Исленьевой, урожденной Загряжской, на племяннице которой, Елизавете Александровне (дочери Александра Артемьевича Загряжского), впоследствии женился бар. А. Н. Строганов. Таким образом, бар. А. Г. Строганов приходился родным дядей и А. М. Дмитриеву-Мамонову (по своей второй жене, бывшей сестрой его отца), и бар. А. Н. Строганову (будучи братом его отца), и жене бар. А. Н. Строганова (по своей третьей жене, бывшей сестрой ее отца), и матери И. М. Д. (будучи братом ее отца).

[42] *...костик...* — Едкий, язвительный, колючий (от фр. caustique).

[43] *Это была сцена Филибера в романе г. Коцебу: бросился меня обнимать, прижимал к сердцу, звал к себе, велел ходить во всякое время.* — Филибер — герой романа А. Коцебу «Филибер, или Отношения общественные» (И. М. Д. перевел его на русский с французского перевода и напечатал в типографии Московского университета в 1815 г.). В главе XIV 2-й части действительно есть очень похожая сцена.

[44] *...умер, как жил, то есть без правил и совести.* — 1 июля 1789 г. Екатерина II женила А. М. Дмитриева-Мамонова на фрейлине кж. Дарье Федоровне Щербатовой. Умер он в 1803 г.

1787

[1] *...предпринять путешествие в Киев и Крым.* — Поездка Екатерины II на юг России началась из Царского Села 7 января 1787 г.

[2] *переехал я из своей полковой мурьи...* — Мурья — лачуга, тесное и темное жилье.

[3] *...одну жеманную лаису...* — Это имя употреблялось как нарицательное в значении «гетера». Имя Лаиса носили несколько знаменитых греческих гетер.

[4] *...рядную...* — Роспись приданому.

[5] *...штофную кровать.* — Штоф — очень плотная шелковая одноцветная или узорчатая ткань различных переплетений (от нем. Stoff).

[6] *...на четырех цугах.* — Цуг — упряжка из нескольких пар лошадей, следующих друг за другом.

[7] *...дежёне...* — Столовый прибор для завтрака (от фр. dejeuner).

[8] *...в шитом глазетовом платье...* — Глазет — ткань с шелковой основой и металлическим утком серебряного цвета; разновидность парчи (от фр. glacé).

[9] *...браут-камерный стол...* — От нем. Braut-Kammer — спальня новобрачных.

[10] *...прекрасную свою жену, даму весьма рассеянную.* — За год до этого, в январе 1786 г., кн. Василий Васильевич Долгоруков (сын В. М. Долгорукова-Крымского) женился на княжне Екатерине Федоровне Барятинской. Она пользовалась особенным расположением светл. кн. Г. А. Потемкина.

[11] *...на аглинский бал.* — Еженедельные общественные балы в Английском собрании.

[12] *...с одной монастыркой, девицей Вилламовой.* — Строго говоря, монастыркой, т. е. воспитанницей Смольного института, Е. И. Вилламова не была. Она была дочерью учительницы и сама уже пять лет служила там же учительницей.

[13] *...чин давал право ездить в них с вершниками.* — Согласно указу от 3 апреля 1775 г., с вершниками могли ездить только чины 1-го и 2-го классов. Бар. А. Н. Строганов, генерал-аншеф, имел чин 2-го класса.

Часть III
ОТ ЖЕНИТЬБЫ МОЕЙ ДО НАЧАТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Продолжение 1787 года

[1] *...из истории Дон Карлоса.* — Опера Д. С. Бортнянского на либретто Ф. Г. Лафермьера «Сын-соперник».

[2] *...в доме генерала На[щокина?] около Невы.* — Вероятно, несохранившийся дом № 188 в 3-м квартале 1-й Адмиралтейской части, что соответствует современному адресу: Исаакиевская пл., д. 5.

[3] *...окончив полугодовое свое путешествие со славою и вожделенным успехом.* — Екатерина II вернулась из Москвы в Царское Село 11 июля 1787 г.

[4] *...будучи побочным сыном ее отца.* — Герцога Фридриха Евгения Вюртембергского.

[5] *Графиня Ефимовская родила в августе 21 числа сына, его назвали Андреем.* — Согласно метрическому свидетельству, гр. Андрей Петрович Ефимовский родился 22 августа 1787 г. (выписку из свидетельства см.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 46. Д. 1201. Л. 8 об.).

[6] *...на Кинбурской Косе...* — Коса между Днепровско-Бугским лиманом и Егорлыцким заливом.

[7] *...из пятнадцати ретраншементов* — Ретраншемент — окоп или вал (от фр. retranchement).

[8] *«Тебе Бога хвалим!»* — Гимн, исполняемый в торжественном богослужении.

[9] *...двадцать империалов...* — Империал — золотая монета достоинством в десять серебряных рублей.

1788

[1] *...негосиации...* — Переговоры.

[2] *Он был дядя родной фавориту Мамонову.* — П. И. Боборыкин был родным братом Анны Ивановны Дмитриевой-Мамоновой (урожд. Боборыкиной), матери гр. А. М. Дмитриева-Мамонова.

[3] *...о Петербурге не имел никакого понятия.* — П. И. Боборыкин начал службу в гвардии в нижних чинах в 1756 г., в офицерских — с 1762 г. С 1778 г. по 1787 г. он действительно находился на армейской службе, но все остальное время служил исключительно в гвардии.

[4] *...получил первый штаб-офицерский чин.* — Офицерские чины делились на обер-офицерские (IX—XIV классов) и штаб-офицерские (VI—VIII классов).

[5] *...овладел крепостцою Нейшлот...* — Крепость, построенная шведами в 1475 г., присоединена к России по договору со Швецией 1743 г., ныне город Савонлинна на юго-востоке Финляндии.

[6] *...я был младший капитан-поручик...* — Чиновники и офицеры равных чинов мерялись («считались») сроком службы в чине.

[7] *...обратили острые шутки и на их собственное лицо.* — Имеется в виду неопубликованная сатира «Умы дамские вскружились». Но на нее был опубликован анонимный ответ: «На защиту дам противу сатиры „Умы дамские вскружились"» [СПб., 1791].

[8] *...созидал гроб свой средь пустынь, окружающих Сергиеву обитель.* — Митрополит Московский Платон Левшин скончался в Вифании (пустыни, основанной им в 1783 г. в 3 км от Троице-Сергиевой лавры и в 1797 г. преобразованной в Спасо-Вифанский монастырь) и там же похоронен.

[9] *...поживши там пять лет, воротился в свое отечество с отличными познаниями...* — Г. Ф. Политковский более двух лет провел в Лейдене, где получил степень доктора медицины, а затем столько же пробыл в Париже.

[10] *...ребенок тотчас умер...* — Ребенок умер через два месяца, 12 февраля 1789 г.

[11] *Первому тотчас появились стихи, о последнем все как будто забыли.* — *Николев Н.* Стихи на смерть генерал-майора князя Сергея Абрамовича Волконского, принесшего жизнь свою в жертву Отечеству, сего 1788 года, декабря 6 дня при взятии Очакова. М., 1788. Стихи вышли в приложении к № 100, 103 и 105 «Московских ведомостей» (за 13, 23 и 30 декабря). Одновременно вышли и стихи, посвященные обоим павшим генералам: *Псиол В.* Стихи в честь героев, убитых при взятии города и крепости турецкой Очакова 1788 года, декабря 6 числа. М., 1788 (в приложении к № 100 и 103 «Московских ведомостей»).

[12] *...выпущены стихи на особых листах при газетах...* — *Долгоруков И. М.* Стихи на кончину господина бригадира Горича, убитого на сражении под Очаковым сего 1788 году, декабря 6 дня. [М., 1789]. Опубликованы в «Прибавлениях к „Московским ведомостям"».

1789

[1] *...всяк человек есть ложь...* — Псал. 115, 2.

[2] *...в восемь часов утра в чистый понедельник родился новый человек в мир.* — Рассказ об этом эпизоде противоречив: в 1789 г. последнее воскресенье масленицы приходилось на 18 февраля, а чистый понедельник — на 19-е.

[3] *Марта 16-го он перестал жить...* — Бар. А. Н. Строганов умер 13 марта 1789 г., 16 марта — похоронен.

[4] *...долго его пережившей.* — Бар. Е. А. Строганова умерла в конце 1831 г.

[5] *...наконец получив ее, нимало не возгордился.* — Станиславская лента — польский орден св. Станислава 1 степени (позднее этот орден станет российским), носился на ленте через плечо красного цвета с двойной белой каймой; голубая польская лента — очевидно, синяя лента польского ордена Белого Орла (он также позднее станет российским); красная российская лента — лента ордена св. кн. Александра Невского.

[6] *...попал в секту мартинистов.* — Мартинистами называли (без особых на то оснований) русских масонов, пропаганда которых вобрала в себя многие идеи мартинизма — учения, основанного каббалистом Мартином Пасхалисом, сделавшегося популярным в Европе усилиями его ученика Л. К. Сен-Мартена, автора книги «О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания», и ставшего известным в России в конце 70-х гг. XVIII в.

[7] *Она сама сочинила на них комедии, кои разыгрывались публично.* — Екатерина II написала комедии «Обманщик» (премьера 4 января 1786 г.), «Обольщенный» (премьера 2 февраля 1786 г.) и «Шаман Сибирский» (премьера 24 сентября 1786 г.), высмеивающие масонов и мистиков.

[8] *...при первых днях сего общества религия была одна только личина самых хитрых замыслов политических.* — В конце XVIII в. было распространено возложение на подобные европейские мистические секты ответственности за подготовку Великой французской революции.

[9] *Те вышли замуж, а тот женился...* — Екатерина вышла замуж за Ивана Александровича Нарышкина, Елизавета — за Николая Никитича Демидова, сын Григорий первым браком был женат на кж. Анне Сергеевне Трубецкой.

[10] *...ни один не спасся.* — В Свенкзундском сражении 13 августа 1789 г. погибло, согласно «Синодику лейб-гвардии Семеновского полка», 50 нижних чинов полка, из них 38 — служивших в 8-й роте (сержант, барабанщик, 36 рядовых). И. М. Д. называет шестьдесят человек, очевидно присовокупляя и раненых, число которых неизвестно.

[11] *...асессором.* — Асессор — младший член суда.

[12] *...под сентенцией...* — Сентенция — постановление военного суда.

[13] *...к генерал-аудитору...* — Генерал-аудитор — постоянный юрист в полку, в походе — начальник канцелярии главнокомандующего.

[14] *Принц Нассау с галерами дал знаменитые два сражения и одержал достопамятную победу над неприятелем.* — На лимане в Выборгском заливе в мае 1789 г. (за что 6 мая Нассау был произведен в вице-адмиралы со старшинством с 24 июня 1788 г., т. е. со дня вступления в русскую службу) и при Роченсальме (ныне Котка, город в Финляндии на берегу Финского залива) 13 августа 1789 г. (так называемое первое роченсальмское сражение, в котором было захвачено 9 шведских судов, за что Нассау был награжден орденом св. Андрея Первозванного).

[15] *Dans nos jours passagers de peines, et de misères,* ⟨...⟩ *Nous marchons tous courbés sous le poids de nos maux.* — Вольтер. Поэма «Закон природы» («La loi naturelle»), ч. 3.

[16] *Tel glose hélas! sur vos faiblesses, qui brûle de les partager.* — Последние строки стихотворения Бомарше, финал которого приведен в предпосланном комедии «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность» «Сдержанном письме о провале и о критике „Севильского цирюльника"»:

Красавицы! Вы не должны
Моим смущаться осужденьем,
Что не всегда любви верны, —
Зато верны вы наслажденьям.
Пускай на яд шутливых стрел
Прекрасный пол не негодует:
Ведь тот их слабости бичует,
Кто с ними б их делить хотел!

(пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).

[17] *...опера «Нины»...* — Одноактная опера Н. Далейрака на слова Б.-Ж. Марсолье.

[18] *В Париже представляла Нину славная Du Gazon.* — Премьера «Нины» состоялась в 1786 г. в Париже с дю Газон в главной роли.

[19] *...замуравился...* — Замуровался, заперся дома.

1790

[1] *...маканых свеч...* — Маканые свечи — дешевые свечи, изготовленные обмакиванием фитиля в сало.

[2] *...на бекете...* — Бекет — пикет, военный пост.

[3] *...капитаны шли, кроме Горчакова, Свечин, я и Измайлов.* — Александр Сергеевич Свечин в этом походе командовал 5-й ротой, Лев Дмитриевич Измайлов — 7-й ротой, Петр Иванович Горчаков — 6-й ротой и всем вторым батальоном (а при соединении двух батальонов — обоими).

[4] *Они худо умели сложить тропу или хрию...* — Троп — речевой оборот в переносном значении; хрия — речь, строящаяся по заданным правилам.

[5] *На Страстной неделе я исполнил долг христианина...* — Страстная неделя в 1790 г. приходилась на 17—23 марта.

[6] *...журнал ежедневный наших действий под названием «Записки шведского похода»...* — Сохранились лишь две тетради из написанных, по-видимому, пяти (Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки имени А. М. Горького МГУ им. М. В. Ломоносова, шифр 1 Рк. 175. Рук. 41 и 42). Тетрадь 41 содержит начало текста от приготовлений к походу до 30 апреля включительно. Тетрадь 42 охватывает период с 1 по 31 июля. Вероятно, это первая и четвертая тетради.

[7] *...Кексгольм.* — Ныне Приозерск, город Ленинградской области.

[8] *...5 апреля мы дошли до Раутужского кирхшпиля...* — Кирхшпиль — протестантский приход.

[9] *...девяносто верст от Петербурга...* — Рауту (ныне Сосново) находится в 70 км от центра Санкт-Петербурга.

[10] *...Тюри...* — Вероятнее всего — Тиурула, поселок в Карелии у залива Расинселькя на Ладожском озере.

[11] *...из полковников армейских был пожалован незадолго пред войной в наш полк майором, но, не вступя в правление полка, все находился при походных войсках.* — Александр Михайлович Римский-Корсаков. Формально он был переведен в Семеновский полк секунд-майором 14 июля 1789 г. не из полковников армейских, а из секунд-майоров лейб-гвардии Конного полка, уже состоя в чине бригадира; правда, бригадиром и секунд-майором гвардии он стал в том же году, не ранее апреля, а до этого действительно был армейским полковником.

[12] *...под Пардакосском.* — Пардакоски, село в Финляндии.

[13] *...майор его Байков убит наповал.* — Секунд-майор Преображенского полка бригадир В. С. Байков был смертельно ранен и вскоре умер.

[14] *...в крепости Сердоболи...* — С 1918 г. Сортавала, город в Карелии.

[15] *...маймиста* — прозвище финнов.

[16] *...Вильмандстранд.* — Ныне Лаппенранта, город в Финляндии.

[17] *...в деревне Савитайполь...* — Савитайпале, село в Финляндии.

[18] *...в форштадтах.* — Предместье, слободка (от нем. Vorstadt).

[19] *...Савитайпольское сражение...* — Савитайпольское сражение состоялось 24 мая 1790 г.

[20] *По логике моей давно расположил, / Что так ли, или сяк, да плохо, коль убил...* — Автоцитата из стихотворения «Я». (Бытие сердца... Ч. 2. С. 10).

[21] *...деташемент...* — Военный отряд (от фр. dutachement).

[22] *...игра в виск...* — То же, что вист, карточная игра.

[23] *...Чичагов одержал знаменитейшую и полную победу над всем флотом шведским.* — Победа под Выборгом на Красной Горке над шведским флотом, которым командовал брат Густава III герцог Зюдерманландский (будущий король Карл XIII).

[24] *...принц Нассау с гребным своим флотом вошел в дело ⟨...⟩ Полон русских был чрезвычайно велик, убито и ранено множество.* — Второе сражение под Роченсальмом 28 июня 1790 г., шведским флотом командовал сам Гус-

тав III. Русский гребной флот потерял 53 судна, и в плен было взято до 150 русских штаб- и обер-офицеров.

[25] *...заключен между обеими державами баронами Игельстромом и Армфельдом в местечке Верелле за рекою Кимень на земле шведской.* — Верельский мир, заключен 3 (14) августа 1790 г.

[26] *...памятных еще героев Евгения и Виллара.* — Полководцы Евгений Савойский и К. Л. Э. Виллар подписали 7 марта 1714 г. Раигаттский мирный договор (первый — от имени императора Священной Римской империи Карла VI Габсбурга, второй — от имени короля Франции Людовика XIV Бурбона), завершивший войну за испанское наследство.

[27] *...Фридрихсгам...* — Ныне Хамина, город в Финляндии.

[28] *...перенесены в оный мощи сего северного победоносца.* — Второй собор св. Троицы был заложен в 1776 г. по проекту архитектора И. Е. Старова взамен разобранного первого. Перенесение мощей Александра Невского состоялось одновременно с освящением Троицкого собора 30 августа 1790 г. также при участии Екатерины II. До 1724 г. мощи Александра Невского помещались во Владимире, 30 августа 1724 г. они были перенесены в Благовещенский собор Александро-Невской лавры, где находились до 1790 г.

[29] *...выпускали только одного и первого капитана по списку.* — Перевод из капитанов гвардии полковником в армию (шестой класс) — повышение, которого мог быть удостоен только первый по старшинству пребывания в чине капитан.

[30] *...опасаясь, чтоб по молодости моей в капитанском чине меня не уволили вместо бригадира полковником...* — Увольнение в отставку обычно сопровождалось повышением в чине на один ранг. На производство при отставке в бригадиры (пятый класс) капитан, не имеющий выслуги в этом чине, рассчитывать, вообще говоря, не мог.

1791

[1] *...из пятнадцати старее меня капитанов только двое попросились.* — А. А. Жеребцов и товарищ И. М. Д. Н. Н. Молчанов.

[2] *...дослужился до титула высокородного.* — Чину пятого класса соответствовало титулование «высокородный». В торжественных случаях И. М. Д. должен был именоваться «высокородным князем Долгоруковым».

[3] *Земля полна вся кавалеров, / И свет стал ныне бригадир.* — Г. Р. Державин, «На счастье».

[4] *... и буду антиком...* — Антик — чудак, странный человек (моск.): от лат. древность, редкость.

[5] *Граф Иван Григорьевич Чернышев, вельможа и дальний родственник Ржевского...* — Гр. И. Г. Чернышев был троюродным дядей С. М. Ржевского.

[6] *Он, к несчастию, впал в слабость...* — В «Капище...» говорится, что Нарышкин пропил свое имение (с. 28).

[7] *... ногтоедой...* — Ногтоеда — нарыв под ногтем.

[8] *...приняться за оперу «Служанка-госпожа».* — «Служанка-госпожа» — интермедия в двух действиях «La serva padrona». Текст Дж.-А. Федерико, музыка Дж. Паизиелло.

[9] *Зербина...* — Героиня интермедии «Служанка-госпожа».

[10] *...первой своей актрисе и любовнице Параше.* — Крепостная актриса Прасковья Жемчугова, ставшая впоследствии женой гр. Н. П. Шереметева.

[11] *...место председателя в Верхнем земском суде.* — Верхний земский суд — в 1775—1796 гг. сословный суд губернского уровня для рассмотрения в порядке апелляции уголовных и гражданских дел дворян, состоял из двух департаментов (гражданского и уголовного), в каждом из которых было по председателю.

[12] *...Тит⟨ов⟩...* — Один из братьев Титовых. Алексей Николаевич был скрипачом, Сергей Николаевич — альтистом и виолончелистом. В XIX в. оба стали известны как композиторы. Возможно, имеются в виду они оба, и следует раскрыть это сокращение как Тит⟨овы⟩.

[13] *...уже имела внучат...* — Речь идет о сыновьях ее дочери, Прасковьи Николаевны, по первому мужу Лачиновой.

[14] *...знакомцу Безбородки...* — Н. И. Кочетову.

[15] *...лаж...* — Доплата при обмене ассигнаций на серебро.

[16] *Повесть о настоятелях ее, о пожертвованиях во времена самые суровые никогда не забуд[е]тся в летописях нашего царства.* — Имеется в виду «Сказание Авраамия Палицына» об осаде Троице-Сергиева монастыря поляками во время Смуты. Осада продолжалась с сентября 1608 по январь 1610 г. Героической обороной руководил князь Г. Б. Долгоруков по прозвищу Роща. Автор «Сказания...» Авраамий Палицын во время осады был келарем монастыря. «Сказание...» впервые опубликовано в 1784 г.: Сказание о осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах, сочиненное оного монастыря келарем Авраамием Палицыным. [М.,] 1784. Современное научное издание: Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955.

[17] *...панагии...* — Панагия — миниатюрная икона, носимая архиереями на груди.

[18] *В ию[л]е...* — В рукописях ошибочно: «В июне». Судя по тексту, Михаил родился после Петрова дня (29 июня). Также не согласуется с утверждением «в июне ... я от нее уже не отходил ни на минуту» предшествующий рассказ о поездке на Троицу в Троице-Сергиеву лавру (в 1791 г. Троица приходилась на 1 июня). В «Капище...» (с. 139) И. М. Д. называет днем рождения Михаила 7 июля и пишет, что он прожил 40 дней. Учитывая, что умер он 15 августа, именно дату 7 июля следует считать правильной.

[19] *...Знаменское под Москвою...* — Село Знаменское (Губайлово тож) на Красной Горке (ныне г. Красногорск, районный центр Московской области), родовое имение Волынских с 1620 г., в 1743 г. получил кн. Василий Михайлович

Долгоруков (будущий Крымский) в приданое за своей женой — Анастасией Васильевной Волынской. Он построил там большой дворцово-парковый ансамбль и новую церковь. Потом Знаменским владел его сын, Василий Васильевич, женатый на кж. Екатерине Федоровне Барятинской.

[20] *Бабка наша Чаадаева...* — Екатерина Юрьевна Чаадаева, урожд. кж. Хилкова, жена Михаила Васильевича Чаадаева, была двоюродной бабкой отца И. М. Д. и теткой его (отца) дядьев: она была родной сестрой прабабки И. М. Д. кн. Прасковьи Юрьевны Долгоруковой, урожд. кн. Хилковой, жены кн. Алексея Григорьевича.

[21] *...две дочери, прижитые им с ней, отняты именным указом у матери и отданы в монастырь на воспитание.* — Это произошло несколько позже. Прошение кн. Д. М. Несвицкого было доложенно Екатерине II 15 марта 1792 г. Оно опубликовано, см.: *Дубин А. С.* Неурядицы в семейной жизни князей Несвицких // Известия Русского генеалогического общества. СПб., 2003. Вып. 13. С. 46—47.

[22] *...он сам по себе имел ничтожное состояние...* — За кн. Д. М. Несвицким в 1782 г. числилось 160 душ в Суздальском уезде Владимирской губернии; его жена располагала имениями в четырех губерниях (Московской, Тульской, Костромской и Рязанской).

[23] *Зять оставил гвардейскую службу в одно время со мною майором...* — Гр. П. А. Ефимовский вышел в отставку премьер-майором армии годом позже И. М. Д., 1 января 1792 г.

[24] *...оно покорило нам Бендеры при Панине...* — В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг. вторая армия под командованием гр. П. И. Панина 15 июля 1770 г. осадила Бендеры. Имея серьезные основания сомневаться в успехе штурма, Панин просил командующего первой армией гр. П. А. Румянцева выслать ему в подкрепление отряд. Однако, получив 15 сентября известие о высылке оного, не стал его дожидаться, а в тот же день начал штурм, продолжавшийся всю ночь и закончившийся утром 16 сентября разрушением города и сдачей в плен всего гарнизона и жителей Бендер. В день штурма в распоряжении Панина было примерно столько же человек, сколько и обороняло крепость.

[25] *...абшитом...* — Абшит — аттестат, выдававшийся при отставке.

[26] *...переписано набело...* — Письмо переписал студент Московского университета Петр Васильевич Злов, будущий придворный актер (Капище... С. 193).

[27] *...о родственнике моем князе Долгорукове...* — Кн. Василий Иванович Долгоруков. Он состоял в дальнем родстве с гр. Н. И. Салтыковым (приходился ему пятиюродным племянником по жене).

[28] *...по разуму Фигаро в комедии, который сказал, что большой барин делает нам уже много добра, когда не сработает зла.* — П. О. Бомарше. «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность». Д. 1, явл. 2, реплика Фигаро: «По моему разумению, если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо» (пер. Н. М. Любимова).

[29] *... лабеты пишет...* — Лабет — в картах: недобор взяток, за который платится штраф.

[30] *Он с малых чинов начал служить при этом генерал-прокуроре...* — А. И. Васильев стал секретарем генерал-прокурора, которым тогда был еще не кн. А. А. Вяземский, а А. И. Глебов, в 1762 г., в чине сенатского регистратора (первый классный чин, XIV класса). В 1764 г. он был произведен в сенатские секретари и стал секретарем кн. А. А. Вяземского.

[31] *...получено в Петербурге известие, что князь Потемкин умер.* — Кн. Г. А. Потемкин-Таврический умер 5 октября 1791 г. в дороге около Ясс.

[32] *«Мимоидох и се не бе, взысках и не обретеся место его».* — Псал. 36, 36. Стих из псалма царя Давида. Законченную фразу представляют собой два стиха: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; Но он прошел, и вот, нет его; ищу его, и не нахожу».

[33] *Ни Самсоном разрушенная храмина, ни падения стен Иерихонских ⟨...⟩ смерть сего политического великана.* — Самсон повалил столбы, на которых держался дом, в результате чего дом рухнул и погибло множество филистимлян (Суд. 16, 19—30). При осаде города Иерихона израильтянами крепостные стены обрушились, когда священники затрубили в трубы и весь народ по сигналу воскликнул громким голосом (Иис. Нав. 5, 16; 6, 1—20).

[34] *...Илии и Эноху...* — Библейские персонажи, живыми взятые на небо (Быт. 5, 24. Евр. 11, 5. 4 Царств. 2, 9—12).

[35] *...партизаны...* — Здесь: сторонники, приверженцы.

[36] *Бог везде сый и вся исполняя.* — Слова из молитвы «Царю небесный...».

[37] *...дядя мой двоюродный по жене генерал-поручик Заборовский...* — Жена И. А. Заборовского Елизавета Федоровна, урожденная Лопухина, была племянницей Нектарии.

[38] *...комедию, вышедшую о нем в свет в 1794 году и напечатанную под названием «Дон Педро Прокодуранте».* — «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник», Калдерона де-ла-Барка; с гишпанского переведена в Нижнем Новгороде. М., 1794. Автором комедии является Яков Петрович Чаадаев, отец философа П. Я. Чаадаева.

[39] *...судья Верхней расправы...* — В 1775—1796 гг. апелляционная судебная инстанция для государственных крестьян, располагающаяся в губернском центре (судами первой инстанции были расположены в уездах Нижние расправы).

[40] *...г. городничий...* — Саранским городничим был в это время Василий Иванович Ульянин.

[41] *...на странице 180...* — Имеется в виду страница 180 рукописи. Наст. изд., с. 249.

[42] *...на странице 186...* — Имеется в виду страница 186 рукописи. Наст. изд., с. 256.

Часть IV
ОТ ВСТУПЛЕНИЯ МОЕГО В ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ В ПЕНЗЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ОНОЙ И НОВОГО ПЕРЕЕЗДА В СТОЛИЦУ
Конец 1791 года

[1] *При пожаловании ее из провинции в наместничество она разделена на тринадцать уездов и, разумеется, столько же городов.* — Пензенское наместничество было учреждено 15 сентября 1780 г. Тринадцать уездных городов это: Пенза, Саранск (ныне столица Мордовии), Нижний Ломов (ныне город, районный центр Пензенской обл.), Верхний Ломов (ныне поселок сельского типа Нижнеломовского района), Керенск (ныне Вадинск, поселок сельского типа, районный центр Пензенской обл.), Наровчат (ныне поселок сельского типа, районный центр Пензенской обл.), Троицк (ныне поселок сельского типа Ковылкинского района Мордовии), Краснослободск (ныне город, районный центр Мордовии), Инсар (ныне город, районный центр Мордовии), Чембар (ныне г. Белинский, районный центр Пензенской обл.), Мокшан (ныне поселок городского типа, районный центр Пензенской обл.), Городище (ныне город, районный центр Пензенской обл.) и Шишкеев (ныне Шишкеево, поселок сельского типа Рузаевского района Мордовии).

[2] *...статных монастырей, двух мужских, одного в Ломове, другого в Саранске, и одного женского в самой Пензе...* — Мужские Нижнеломовский Казанский Богородичный монастырь (основан в 1645 г.), Саранский Петропавловский монастырь (основан в 1684 г.) и женский Пензенский Троицкий монастырь (основан в 1691 г.).

[3] *...вдова губернского регистратора, следовательно, даже и не офицерского класса...* — Чин губернского регистратора был «унтер-офицерским».

[4] *...о четырех братьях Врасских...* — Всего братьев Врасских было пять, но Николай не проживал в Пензенской губернии.

[5] *Председатель Гражданской палаты...* — Егор Михайлович Жедринский.

[6] *Председатель Земского суда...* — Председатель 2-го Департамента Верхнего земского суда Аполлон Никифорович Колокольцов.

[7] *у межевого президента...* — Старшим членом Межевой конторы в Пензе был Афанасий Петрович Масалов.

[8] *Он играл ролю в Пензе графа Шереметева в Москве...* — Известный богач гр. Николай Петрович Шереметев, двоюродный дядя И. М. Д.

[9] *...мечтал, что он Панин в Сенате...* — См. 1775 г., примеч. 3.

[10] *...по адрес-календарю...* — Адрес-календарь (в эти годы официально называвшийся Месяцесловом) — ежегодный справочник по должностным лицам Российской империи, издававшийся в 1765—1796 и 1802—1917 гг.

[11] *...шире была пропасть, нежели между двумя Лазарями на том свете.* — Лук. 16, 19—26.

[12] *«Кто весть человека, токмо дух, живущий в нем».* — 1 Коринф. 2, 11: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем».

[13] *Младший член их сдавал, средний сбирал фиши, старший делил лабеты, секретарю оставалось получить за карты.* — Средним членом Межевой конторы в Пензе был Василий Пагонин, младшим — Семен Алексеевич Головизин, секретарем — Лев Шанин.

[14] *Не столь, право, различны были языки при столпотворении...* — Быт. 11, 1—9.

[15] *...в шестьдесят лет надворный советник...* — Вероятно, А. Е. Щедрин.

[16] *...я главным основанием законодательства почитал Уложенье, Регламент, Наказ и Учреждении...* — Соборное Уложение Алексея Михайловича от 29 января 1649 г., Генеральный регламент Петра I от 28 февраля 1720 г., Наказ Комиссии о сочинении проекта Нового уложения Екатерины II от 30 июля 1767 г. и ее же Учреждение для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября 1775 г.

[17] *...в честь новому сатурнину ребенку...* — Сатурн в римской мифологии — бог времени, поэтому новый год и назван Сатурниным ребенком.

[18] *...о смерти графа Брюса...* — Гр. Я. А. Брюс умер 30 ноября 1791 г.

1792

[1] *Сей страстный чувств его Вениямин...* — Вениамин — библейский персонаж, последний сын Иакова (Израиля), рожденный уже в старости (Быт. 35, 16—20).

[2] *...тесной связи своей и близкому родству с известным в России министром графом Паниным...* — Кн. А. Б. Куракин был внучатым племянником гр. Н. И. Панина (его бабкой была Александра Ивановна, урожд. Панина, сестра Н. И. Панина) и воспитывался вместе с наследником престола, став одним из ближайших его друзей.

[3] *...имел знатный доход и мог содержать отличную музыку, из иностранцев вольнонаемных составленную.* — Состояние кн. А. Б. Куракина оставалось весьма обремененным долгами. После восшествия на престол Павел I пожаловал ему для погашения долгов 150 тысяч рублей.

[4] *...меня знал как молодого человека ему издалека роднею...* — Дед кн. Александра Борисовича Куракина, тоже кн. Александр Борисович Куракин, был двоюродным братом Федора-Авраама Авраамовича Лопухина, женатого на графине Вере Борисовне Шереметевой, сестре Нектарии.

[5] *Он сии деньги получил часа за два до смерти...* — И. М. Ребиндер умер 1 марта 1792 г.

[6] *...барышей от барды...* — Барда — остатки от перегона хлебного вина из браги.

[7] *...виц-губернатор принужден был пойти в отставку, директор Экономии судился в Уголовной палате и потерял место...* — Вице-губернатор — Д. С. Копьев, директор Экономии — А. Н. Потулов.

[8] *...из судей Нижней в Володимире расправы...* — См. 1791 г., примеч. 39.

[9] *...к празднику восшествия...* — 28 июня, день восшествия на престол Екатерины II

[10] *...Jacques le fataliste...* — Жак-фаталист — персонаж романа Д. Дидро «Жак-фаталист и его Хозяин» (1773—1774).

[11] *...у него дядя родной был сенатором, да еще и в 1-м департаменте...* — Ф. М. Колокольцов в это время исправлял должность обер-прокурора 2-го департамента Сената, сенатором 1-го департамента он стал в 1793 г.

[12] *Дележ Польши...* — Наиболее близок по времени к описываемым событиям второй раздел Польши 1793 г. между Россией и Пруссией.

[13] *...называем я был им впрямошный бригадир...* — В 1763 г. чин бригадира был в полевых войсках отменен и оставлен только для комендантов крепостей и офицеров некоторых нестроевых должностей. Давали этот чин также при отставке полковников и, реже, капитанов гвардии. Поэтому отставных бригадиров было относительно много, а находящихся в службе — существенно меньше.

[14] *Генерал-прокурор князь Вяземский умер, на место его был определен граф Самойлов.* — Кн. А. А. Вяземский умер в ночь с 7 на 8 января 1793 г., но уволен от службы был еще 17 сентября 1792 г., и именно тогда его сменил А. Н. Самойлов, граф Священной Римской империи с 27 января (7 февраля) 1793 г.

[15] *...бычка...* — Бычок — народная русская пляска, обыкновенно под звуки балалайки и песни того же названия.

[16] *...при конце сего года.* — В тексте (с. 290, 291, 307) было обещано приложить в конце года три письма, но в рукописях эти письма отсутствуют.

1793

[1] *...я уже с тех пор в Петербурге не бывал...* — Следующий приезд И. М. Д. в Петербург состоится в 1805 г.

[2] *...для любопытного полную дал свободу порыться в статском моем журнале.* — Свой «Пензенский статский журнал» И. М. Д. позднее уничтожил.

[3] *...готов был ему сказать, как в комедии, называемой «Злоум»: «Да ты этого не думаешь»* — «Злоумный», комедия Н. П. Николева (1781). Д. 3, явл. 9. Реплика Праводума в ответ на лицемерные заявления Ядона.

[4] *...в Саровской пустыне...* — Саровская пустынь Тамбовской епархии основана в 1699 г. в 39 км от г. Темникова.

[5] *Это было в марте, дорога и погода были наилучшие.* — В 1793 г. масленица пришлась на 28 февраля — 6 марта, первая неделя Великого поста — 7—13 марта.

[6] *...в самый Чистый понедельник.* — 7 марта 1793 г.

[7] *...сестра с мужем заводились детьми...* — 3 марта 1793 г. у сестры И. М. Д. гр. Ефимовской умер ребенок (дочь Елизавета). Когда она родилась, неизвестно. Неизвестно также, когда родилась другая ее дочь, Екатерина (ум. в 1861 г.). Из детей Ефимовских, даты рождения которых известны, ни один не родился между 1790 и 1797 гг.

[8] *...слово раб только государем истребляется...* — Указ от 19 февраля 1786 г. «Об отмене употребления слов и речений в прошениях на высочайшее имя и в присутственные места подаваемых челобитен: *бьет челом всеподданейший раб и раба*, и о замене оных словами и речениями: *жалобница или прошение, приносит жалобу или просит* имярек *всеподданнейший или верный подданный*». Этим указом предписывалось и в других бумагах употреблять вместо слова *раб* слово *подданный*.

[9] *По смерти Лудовика XVI* 〈...〉 *вышла на ту же плаху...* — Людовик был казнен 21 января 1793 г. (по новому стилю), Мария Антуанетта — 16 октября того же года.

[10] *...при глубоком трауре двора по французских монархах...* — В этот момент траур был только по Людовику.

[11] *...у неаполитанского посланника.* — Дона Антонина-Марески Доннорсо, дюка де Серра-Каприола.

[12] *...кормит, как Лукулл...* — Т. е. очень обильно.

[13] *...князь Зубов...* — П. А. Зубов получит титул князя 22 мая 1796 г. Вместе с отцом и тремя братьями он только что (27 января 1793 г.) был возведен в графское достоинство Священной Римской империи.

[14] *...генерал-фельдцейхмейстером...* — Генерал-фельдцейхмейстер — главный начальник всей артиллерии.

[15] *Он был Тамбовским губернатором, поссорился с Гудовичем, отдан был под суд...* — Г. Р. Державин, Тамбовский губернатор, был в 1788 г. по приговору Сената отрешен от должности и предан суду 6-го Департамента Сената, став жертвой конфликта с вице-губернатором, которого поддержал генерал-губернатор И. В. Гудович.

[16] *...написал «Оду к Фелице», закурил Екатерину.* — Г. Р. Державин поднес оду «Изображение Фелицы» (1789) вместе со своей просьбой Екатерине II (и ода, и просьба были читаны 11 июля). Екатерина велела передать Державину, что ей трудно обвинить автора «Фелицы».

[17] *При генерал-прокуроре правителем канцелярии был Ермолов* 〈...〉 *по свойству с ним из отставки втеснившийся в службу.* — Шурин П. А. Ермолова Лев Денисович Давыдов был зятем (мужем сестры) А. Н. Самойлова.

[18] *...дальний родственник...* — А. Н. Самойлов был женат на кж. Екатерине Сергеевне Трубецкой, сестра которой кж. Анна Сергеевна была замужем за бар. Г. А. Строгановым, двоюродным братом И. М. Д.

[19] *...печатает...* — Т. е. запечатывает.

[20] *Он умер в мае.* — 9 мая 1793 г.

[21] *Все к лучшему, говорил я вместе с Панглосом, все к лучшему!* — Панглос — персонаж философской повести Вольтера «Кандид».

[22] *Странное преимущество...* — Здесь: предпочтение.

[23] *...раздел Польши, горячка парижская, неустройства шведские занимали всю ее деятельность...* — В 1793 г. состоялся второй раздел Польши, в том же году были казнены Людовик XVI, а затем и Мария Антуанетта, свергнутые в августе 1792 г.; в марте 1792 г. шведский король Густав III был убит в результате заговора высших офицеров, и престол перешел к его 14-летнему сыну Густаву IV Адольфу, о браке с которым великой княжны Александры Павловны Екатерина тут же начала переговоры, шедшие довольно трудно.

[24] *...вельможи, подобные Самойлову, хлопали ушами...* — См. 1795 г., примеч. 20.

[25] *...всю Страстную и Святую неделю...* — Вторую половину апреля.

[26] *...поехал в свою несчастную Аравию.* — Т. е. в пустыню.

[27] *...преемником власти таких вельмож, как Воронцов и Салтыков, кои Владимиром правили, что буду в нем губернатор?* — Гр. Р. И. Воронцов и гр. И. П. Салтыков в разное время были генерал-губернаторами Владимирскими.

[28] *...письмо к исправнику муромскому...* — В 1793 г. в г. Муроме сменился исправник. Титулярного советника Петра Петровича Немчинова сменил подпоручик Александр Степанович Кравков. Трудно сказать, кто из них имеется в виду в данном случае.

[29] *...высокопревосходительный его начальник...* — И. А. Заборовский в 1793 г. имел чин генерал-поручика — третьего класса, т. е. был не «высокопревосходительным», а просто «превосходительным».

[30] *Изданная им книжка о способах винокурения...* — *Зубов В. Н.* Способ ко увеличению винокурения. М. Печатано с Указного дозволения в привилегированной типографии у Ф. Гиппиуса, 1792.

[31] *...контрфорсом...* — Контрфорс здесь: укрепление.

[32] *...можно было уже сказать вместе с Волтером...* — Вольтер, сатира «Светский человек».

[33] *...виц-губернатор Екатеринославский...* — Иван Васильевич Тибекин.

[34] *...кривой Новосильцев, родственник Перекусихиной...* — П. И. Новосильцев был женат на племяннице М. С. Перекусихиной Екатерине Александровне, урожд. Торсуковой.

[35] *...доставила обоим виц-губернаторам ленты...* — И. В. Тибекин стал кавалером ордена св. кн. Владимира 2 степени, П. И. Новосильцев этот орден имел с 1791 г. Лент, т. е. орденов высших степеней, они тогда не получили.

[36] *...что нужды государю, кто богат из его подданных, Рюмин или Долгорукий, Злобин или Щербатов?* — Долгоруковы и Щербатовы — княжеские роды, Рюриковичи. Рюмин и Злобин — купцы. Гавриил Васильевич Рюмин — мещанин по рождению, откупщик, составивший себе сперва состояние, а затем получивший и дворянство, и чин статского советника. Василий Алексеевич Злобин — богатый вольский купец, крестьянин по рождению.

[37] *Один образует дворянина* ⟨...⟩ *и развращают чернь изнурением физических сил ее.* — Из пяти сыновей Г. В. Рюмина по крайней мере двое младших имели университетское образование. Один из них стал писателем. Старший сын выслужил чин тайного советника. Сын В. А. Злобина, воспитанный в моравском гернгутерском братстве в Сарепте, знал древние языки, приобрел хорошую библиотеку и был литератором.

[38] *Приобретение части Польши...* — По второму разделу Польши, 1793 г., к России отошли Центральная Белоруссия с Минском и Правобережная Украина.

[39] *...повелевала она всех французов, в России живущих, привесть к присяге.* — 8 (по н. ст. 19) февраля 1793 г. Екатерина II издала именной указ «О прекращении сообщения с Франциею, по случаю происшедшего в оной возмущения и умерщвления короля Людовика XVI, и о высылке французов из России, исключая тех, которые под присягою отрекутся от революционных правил, во Франции распространившихся».

[40] *...обручение великой княжны Александры Павловны...* — С 1792 г. Екатерина II вела переговоры о бракосочетании юного короля Швеции Густава IV Адольфа и великой княжны Александры Павловны. Переговоры длились четыре года и закончились в 1796 г. провалом в самый день назначенного обручения.

[41] *...у самого монастыря Казанской Богородицы.* — Нижнеломовский Казанский Богородичный монастырь, основанный в 1645 г.

[42] *...в Польше, под видом защищения республики противу короля введя свои войска, межевала сие царство* ⟨...⟩ *и предназначала уже пансион по смерть Станиславу.* — 3 мая 1791 г. в Польше была принята новая конституция, отменившая выборность короля и уничтожившая «liberum veto» (право блокировки любого решения Сейма одним шляхтичем — участником Сейма), чем были ослаблены политические позиции магнатов и шляхты. Некоторые крупные магнаты, недовольные этим, обратились за помощью к России. Екатерина, объявив польские реформы прямым следствием Великой французской революции, направила в Польшу войска, которые в 1792 г. взяли Варшаву, после чего в Польшу вошли и прусские войска. В результате второго раздела 1793 г. Польша фактически утратила независимость, хотя формальная ликвидация польской государственности произошла два года спустя.

[43] *...на крылиях Амура летел в Варшаву овладеть целым государством по одному в пользу свою произволу Екатерины...* — Станислав Август Понятовский, состоявший в 1750-х гг. на дипломатической службе в Петербурге, оказался в фаворе у Екатерины, бывшей тогда супругой наследника. В 1763 г., после

смерти польского короля Августа III, С. А. Понятовский был избран королем под давлением России.

[44] *...и присвоивает себе знатную часть Польши.* — 6 мая 1792 г. российский министр в Варшаве Я. И. Булгаков объявил «Декларацию о вступлении российских войск в области Республики», в которой говорилось: «Ея Величество повелела некоторой части Своих войск вступить в области Республики. Они предстанут там, яко дружественные и для способствования восстановлению прав и преимуществ ее. 〈...〉 Ея императорское Величество надеется, что всякий благомыслящий поляк, прямо любящий свое отечество, примет в надлежащей цене намерения Ея Величества и признает, что он будет защищать свое собственное дело, когда станет искренно и усердно способствовать великодушным подвигам 〈...〉 для возвращения Республике вольности, преимуществ и законов, кои у нее похитила беззаконная конституция 3 мая». Через год, 27 марта 1793 г., был издан манифест генерал-аншефа М. Н. Кречетникова, объявленный по высочайшему повелению «О присоединении польских областей к России», а 23 апреля 1793 г. вышел и именной указ «О присоединении к России от Польши некоторых областей и об учреждении в них губерний Минской, Изяславской и Бряцлавской».

[45] *...упоминаю кратко о сем макиавеллизме...* — Макиавеллизм — политика, пренебрегающая моральными нормами. По имени итальянского политического мыслителя Никколо Макиавелли, считавшего любые средства допустимыми ради упрочения государства.

[46] *...венчать огромные упования подданных Манифестом...* — 2 сентября 1793 г. был издан манифест «О разных дарованных народу милостях», в котором объявлялись награждения медалями участников войны, другие милости и, в частности, смягчение участи преступников: приговоренным к смерти она заменялась каторгой, телесные наказания заменялись ссылкой на поселение, проведших в заключении более десяти лет велено было выпустить и т. д.

[47] *...21 пункт Манифеста, где сказано, что все прощаются, кроме взятков и других умышленных преступлений...* — В последнем, 21-м пункте Манифеста говорилось: «Всех, до сего числа оказавшихся в неисправлении или упущении должности, кроме взятков и других умышленных преступлений, простить, в чаянии, что каждый из них трудом и ревностию потщится наградить свою неисправность».

[48] *...по случаю заключенного мира с турками!* — Ясский мир был заключен 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.).

[49] *...для празднования того мира 2 сентября...* — 12 июля 1793 г. был издан манифест «О принесении Богу 〈...〉 благодарения о прекращении войны между Россиею и Портою Оттоманскою», в котором для этого благодарения было назначено 2 сентября 1793 г.

[50] *...ездил я с женой, отпросясь на восемь дней, к именинам Улыбышевой...* — Именины Е. А. Улыбышевой были 5 сентября.

[51] *В сентябре месяце об нем последовал указ.* — 18 сентября.

[52] *...комедию, сочиненную государыней самой, по имени «Обманщик».* — См. 1789 г., примеч. 7.

[53] *...какого-то Шведенбурга...* — Шведский теософ и мистик Эммануэль Сведенборг, автор оригинальной теософской системы, прямого отношения к масонству и мартинизму, однако, не имеющей.

[54] *...называемая «О заблуждениях и истине».* — *Сен-Мартен Л. К.* О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания. М., 1785. Французский оригинал («Des erreurs et de la vérité») вышел в 1775 г. Эту книгу по поручению Н. И. Новикова перевел с французского студент Московского университета П. И. Страхов, впоследствии ректор этого университета. В начале 1786 г. книга была изъята из продажи.

[55] *Волтер не мог бы сочинить уложения, а царь Алексий не выдумал бы «Заиры».* — «Заира» — трагедия Вольтера (1732); «Соборное уложение» — законодательство царя Алексея Михайловича (1649).

[56] *Они напечатаны в моей книге.* — «России нежну Мать, Вселенной украшенье, / В ТЕБЕ, Премудрая Монархиня, мы зрим, / К ТЕБЕ привержено все наше помышленье, / Из рода в род хвалу ТЕБЕ мы воздадим» (Бытие сердца... Т. 3. С. 191).

[57] *...я послал в газеты...* — См.: «Московские ведомости». 1793. № 99 (10.12.1793). С. 1617—1618.

[58] *...театральным позорищам...* — Здесь: зрелищам.

[59] *...весь Сумарокова театр комический.* — А. П. Сумароков написал 12 комедий.

[60] *...«без разума шутить — дар подлыя души».* — *А. П. Сумароков.* Эпистола о стихотворстве (1747). Стихи звучат так: «Смешить без разума — дар подлыя души».

[61] *...он носил с фраком парчовый камзол ⟨...⟩ и длинную повязывал прусскую косу.* — Струйский одет по моде середины XVIII в., но одновременно носит новомодный фрак. Ношение фрака и камзола в одном костюме вообще немыслимо, потому что это вещи одного функционального назначения.

[62] *Потешнее после Тилемахиды...* — «Тилемахида» — поэма В. К. Тредиаковского (1766), поэтическое переложение французского прозаического романа Ф. Фенелона «Похождения Телемака». Над «Тилемахидой» много иронизировали при дворе Екатерины II.

1794

[1] *...[Морозов]...* — В московской рукописи этот фрагмент вписан на полях рукой И. М. Д., чрезвычайно неразборчиво. В петербургской рукописи приводится бессмысленное чтение: «Лорен».

[2] *...он остался еще после меня в Пензе, но, увы, ненадолго.* — Меньше чем через год после отставки И. М. Д. от должности Пензенского вице-губерна-

тора Пензенская губерния вообще была расформирована и все должности губернского аппарата упразднены.

[3] *...состоялся указ о произведении торгов на винный откуп в Сенате.* — 15 марта 1794 г. именной указ «О неклеймении винных кубов; о неотдаче винного откупа во всей губернии одному лицу; ⟨...⟩ и о воспрещении производить в Сенате торги и заключать контракты на винные откупа», в котором, в частности, говорилось: «... но при употреблении в настоящем случае нужных мероприятий, запрещаем именно: ⟨...⟩ 4. Производство торгов и заключение контрактов в Сенате или в особом Комитете, чрез что из Казенных палат изъяты бы были главные по Учреждениям нашим о губерниях порученные им дела, исключая однакож нынешний случай по уважению обстоятельств, в мнении Сената изображенных, и чтоб сие было конечно в последний раз...»

[4] *...к нарушению заведенного ею во всех частях порядка, силой которого торги должны были производиться по Казенным палатам...* — В статье 118 Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября 1775 г. говорится, что Казенной палате «поручаются в смотрение ⟨...⟩ соляные дела, винный откуп и подряды».

[5] *...и там остался до Чистого понедельника.* — В 1794 г. Чистый понедельник пришелся на 20 февраля.

[6] *Сильные его родственники был весь род Колокольцовых.* — И. В. Улыбышев был двоюродным братом А. Н. Колокольцова.

[7] *Из уст Давида ток обилен /⟨...⟩/ От ран любовного огня.* — Автоцитата из стихотворения «На пострижение Благородной Особы» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 86).

[8] *...расстройка его дел ⟨...⟩ переставали быть общи...* — Согласно дворянской родословной книге Пензенской губернии 1793—1795 гг., И. В. Улыбышев имел своих наследственных 117 душ мужского пола и 120 душ женского пола в селе Титове и деревне Хлыстовке Верхнеломовского уезда и приданого за женой 155 душ мужского пола и 150 душ женского пола в селе Ивановском (Муховка тож) Троицкого уезда. Но в действительности И. В. Улыбышев имел поместья не только в Пензенской губернии, и общее число принадлежавших ему душ мужского пола приближалось к шестистам.

[9] *Проведя таким образом в приятной переписке пост...* — С 20 февраля до 8 апреля.

[10] *...исправник пензенский...* — Василий Яковлевич Керпин.

[11] *...письмо, писанное по-французски...* — Оба письма, И. М. Д. и Улыбышевой, приложенные к судебному делу, написаны на смеси русского и французского. Списки с них долго ходили по рукам и наконец были напечатаны в анонимной публикации «Увлечение поэта. (К биографии князя И. М. Долгорукова). 1793—1796 гг.» в журнале «Русская старина», 1897 г., т. 89, № 1 (январь), с. 71—79.

[12] *Беды родят беды, не вижу им конца.* — Слова Гостомысла из трагедии А. П. Сумарокова «Синав и Трувор». Д. 1, явл. 6.

[13] *...мои именины почти прошедшие и наступающие на другой день Николая Михайловича Загоскина...* — 8 мая день памяти св. апостола евангелиста Иоанна, 9 мая — день перенесения мощей св. Николая Мир Ликийского.

[14] *...вольный гусар...* — Служитель, одетый по-венгерски.

[15] *...вдовел однажды от милой жены...* — Кн. Анна Михайловна Долгорукова.

[16] *...терял любезного брата...* — Кн. Дмитрий Иванович Долгоруков.

[17] *...воспитывался в чужом доме...* — В доме гр. П. Б. Шереметева.

[18] *...гонение ближних, ненависть сродников...* — Имеются в виду дядья отца гр. П. Б. Шереметев и кн. Александр Алексеевич Долгоруков.

[19] *...Синаксарскую...* — Санаксарская Богородицко-Сретенская пустынь Тамбовской епархии близ г. Темникова, основанная в 1659 г.

[20] *...homo sum et humani nihil alenum a me esse puto.* — Изречение Теренция.

[21] *Où est donc le héros pour son valet de chambre?* — Бомарше, «Севильский цирюльник». Д. 1, явл. 2: «Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли, ваше сиятельство, найдется господ, достойных быть слугами?» (Пер. Н. М. Любимова).

[22] *Корона умножила все повинности народные ⟨...⟩ хотела корона все способы истощить к обогащению своему и вытянуть остальные соки жизни из подданных своих.* — 23 июня 1794 г. было издано восемь именных указов: 1) «Об учинении новой генеральной в государстве ревизии»; 2) «О возвышении подушной подати со всех казенного ведомства поселян и с помещичьих крестьян»; 3) «О сборе с купечества единовременно в казну с объявленных ими капиталов по одному проценту со ста; о возвышении капиталов, объявляемых для вступления в гильдии и взыскании в доход казны с купеческих капиталов, переходящих к наследникам, единовременно по одному проценту»; 4) «О сборе с евреев, записавшихся по городам в мещанство и купечество, установленных податей вдвое противу положенных с мещан и купцов христианского закона разных исповеданий»; 5) «О возвышении подати с чугуноплавильных и медеплавильных заводов, с оброчных домен и с медеплавильных печей»; 6) «О возвышении продажной цены на гербовую бумагу; об увеличении пошлин с дел судных, просительских, с патентов, жалованных грамот на деревни и с покормежных паспортов»; 7) «О порядке продажи порозжих казенных земель» и 8) «Об остановлении раздачи казенных земель в тех губерниях, в которых оная для населения была дозволена».

[23] *...совестным судьею...* — Совестный судья (председатель совестного суда) рассматривал гражданские дела в порядке примирительной процедуры.

[24] *Но законы и у нас подобны ⟨...⟩ паутине в которую попадает комар, а крупная муха сама ее прорывает.* — «Он говорил, ⟨...⟩ что законы подобны паутине: если в них попадается бессильный и легкий, они выдержат, если большой — он разорвет их и вырвется» (*Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. С. 72. Пер. М. Л. Гаспарова).

[25] *Чтобы доставить другому мое место.* — А. Н. Колокольцову.

[26] *...родового же отца нашего имения только осталась подмосковная Никольское...* — Никольское было не родовым, а благоприобретенным имением отца И. М. Д.

[27] *...ближние мои далече мене сташа.* — Псал. 37, 12: «Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали».

[28] *Проклятый Ришелье! 〈...〉 твою историю...* — «Mémoires du maréchal duc de Richelieu» (Воспоминания маршала герцога Ришелье), Paris, 1790 и «Nouveaux mémoires du maréchal duc de Richelieu» (Новые воспоминания маршала герцога Ришелье (фр.)), Paris, 1793, в которых описываются многочисленные любовные похождения.

[29] *...убоялся я страха, идеже не бе страх.* — Псал. 13, 5; 52, 6: «Там убоятся они страха, где нет страха».

[30] *...единственным сим знаком отличия, им заслуженным...* — Кн. М. И. Долгоруков был награжден орденом св. кн. Владимира 3 степени 22 сентября 1783 г., в день первой годовщины учреждения ордена, будучи начальником Государственного казначейства для остаточных сумм.

[31] *В сентябре вышло два указа 〈...〉 на обыкновенных его правилах.* — Оба указа вышли 7 сентября.

[32] *...князь Зубов...* — См. 1793 г., примеч. 13.

[33] *...он имел уже несколько лет Владимира 2-й степени...* — С 1786 г.

[34] *...губернаторы все далее не достигали в почести Владимира второго...* — Несмотря на излишнюю категоричность, И. М. Д. верно уловил тенденцию. Если в 1780 г. кавалерами ордена св. Анны были 13 губернаторов, то в 1782—1784 гг. их было 9, в 1785—1787 гг. — 5, а с 1787 г. — не более четырех, в иные годы количество губернаторов — аннинских кавалеров равнялось двум, но тем не менее и в начале 1790-х гг. имели место как пожалования губернаторов в кавалеры этого ордена, так и назначения кавалеров на губернаторские должности.

[35] *...как в комедии Княжнина, «Хвастун» именуемой — а там и в сенаторы...* — Княжнин Я. Б., комедия «Хвастун» (1786). Реплика Полиста. Д. 1, явл. 5.

[36] *Пусть мне назовут хоть одного губернатора в Анне, — ни одного не было...* — И. М. Д. несколько преувеличивает: в 1794 г. орден св. Анны имели четыре губернатора: воронежский (генерал-майор Осип Иванович Хорват, награжден, состоя на губернаторской должности, в 1793 г., при этом надо иметь в виду, что он — зять П. А. Зубова), черниговский (малороссийский) (генерал-поручик Андрей Степанович Милорадович, назначен губернатором в 1779 г., уже будучи кавалером ордена с 1771 г.), Екатеринославский (генерал-майор Василий Васильевич Каховский, награжден, состоя на губернаторской должности, в 1792 г.) и рижский (генерал-майор Петр Алексеевич фон дер Пален, назначен губернатором в 1792 г., уже будучи кавалером ордена).

[37] *Закон гласил, что Казенная палата ни сама [не]установленных сборов не чинит, ни другим чинить не позволяет.* — Статья 119 Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября 1775 г.

[38] *...Академию, где президентом был Пушкин.* — Алексей Иванович Мусин-Пушкин, президент Академии художеств с марта 1794 г.

[39] *«Si jeunesse savait, [si] vieillesse pouvait, jamais mal n'y aurait».* — Анри Эстьен, «Первые опыты».

[40] *...начинал с ней обходиться по-берейторски...* — Берейтор — объездчик лошадей. Обращаться по-берейторски — укрощать, смирять норов.

[41] *...вторичного письма к самой государыне...* — Письмо от 8 октября 1795 года, опубликовано: «Русская старина», 1897 г., т. 89, № 1 (январь), с. 78—79.

[42] *...хлопал лишь ушами...* — См. 1795 г., примеч. 20.

1795

[1] *...данный диплом Самойлову на графское достоинство...* — А. Н. Самойлов 1 января 1795 г. был пожалован графским титулом Российской империи.

[2] *...весках...* — Уменьшительное к слову «весы».

[3] *...16-го скончалась сухоткою Ольга Павловна...* — 15 января 1795 г., в возрасте двух с половиной лет.

[4] *Фигаро не врал, когда он сказал: «Posséder c'est peu de chose, mais c'est jouir qui rend heureux».* — Реплика Базиля из комедии П. О. Бомарше «Севильский цирюльник». Д. 4, явл. 1: «Обладание всякого рода благами — это еще не все. Получать наслаждение от обладания ими — вот в чем состоит счастье». (Пер. Н. М. Любимова).

[5] *...винного пристава Саранского...* — Гавриила Терентьева.

[6] *...в Великую пятницу...* — 30 марта 1795 г.

[7] *...как Александр, любя рубить узлы, коих развязать не умеет...* — Как Александр Македонский, разрубивший гордиев узел.

[8] *...по гражданской части генерал-губернатором пожалован был тот Измайлов...* — 21 марта 1795 г.; поскольку М. М. Измайлов не был военным, управление военной частью было поручено кн. Ю. В. Долгорукову.

[9] *Винокурни были в Пензе наша Ост-Индия...* — Т. е. золотое дно. Индия — английская колония.

[10] *Князь Зубов...* — Гр. П. А. Зубов. См. 1793 г., примеч. 13.

[11] *...Курляндия преклоняла выю и отрицалась от всех связей своих с Польшею.* — 15 апреля 1795 г. был издан именной указ «О присоединении на вечные времена к Российской империи Княжеств Курляндского и Семигальского, а также округа Пильтемского и о приглашении уполномоченных в Сенат для учинения присяги на верность подданства».

[12] *...саратовский был уволен...* — Илья Гаврилович Нефедьев.

[13] ...*драмы «Эмилии Галотти».* — «Эмилия Галотти» — трагедия Г. Э. Лессинга (1772 г.).

[14] *Песня, Нине посвященная...* — «Без затей, в простом обряде...» (Бытие сердца... Ч. 3. С. 211—212).

[15] ...*статс-секретарем...* — Во времена Екатерины II — личный секретарь императрицы.

[16] *В октябре вышли два указа: один о наборе с 500 душ по одному, а другой, распорядительный, о приведении в исполнение хлебной подати.* — Рекрутский набор объявлен 8 сентября. Указ «О распоряжениях касательно развоза собираемого с поселян хлеба» — 1 декабря.

[17] ...*умер от досады.* — П. В. Неклюдов умер 15 июля 1797 г.

[18] *Палка русская не хуже турецкого линька...* — Линёк — веревка, применявшаяся для телесных наказаний (морск.).

[19] ...*виноват, как Фадей в «Сбитенщике»...* — «Сбитенщик» — комическая опера (1783 г.). Текст Я. Б. Княжнина, музыка А. Булландта. Д. 2, явл. 11. Реплика Фадея.

[20] ...Осел пробудет век ослом /〈...〉/ *Он там лишь хлопает ушами.* — Строки из стихотворения Г. Р. Державина «Вельможа», посвященные А. Н. Самойлову.

[21] *Напечатан был сей «Камин» в типографии у Струйского...* — «Камин». Рузаевка, 1795.

[22] ...*печатали с французским переводом, в котором упражнялся, но весьма не к пользе сочинителя, в Москве один француз именем Aviat.* — *Долгорукий И. М.* «Камин» с франц. переводом Карла Авиата де Ватай / *Dolgorouky I. M. Le coin du feu* et traduit par Charles Aviat de Vatay. [M.,] 1799.

[23] ...*к именинам жены моей...* — 24 декабря.

[24] ...*А ныне так и в клоб с подпиской не пускают.* — «Судьбе» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 91—96).

[25] ...*в приятельском письме к живущему у нас в московском доме доброму иностранцу г. Классону...* — См. стихотворение «И. Н. Классону» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 146).

1796

[1] ...*нужда покупать недвижимое имение, что на имя ее он уже мог тогда делать невозбранно.* — Покупать деревни с крестьянами имели право только дворяне, а по Жалованной грамоте дворянству от 21 апреля 1785 г., «понеже дворянское достоинство не отъемлется, окроме преступления; брак же есть честен и законом Божиим установлен: и для того благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего состояния (сословного статуса. — *М. М.*); но мужу и детям не сообщает она дворянства» (ст. 7). Указом от 8 июля 1787 г. право дворянок, вышедших замуж за недворян, покупать имения было оговорено особо.

[2] *...не хотел уже никогда принимать их в дом свой...* — Сохранился приказ И. М. Д. швейцару, датированный следующим днем после свадьбы: «1. Если Господин Смирнов Савва Сергеевич или кто из его семьи и из семьи купца Филиппа Алферова, приехав в дом наш, пожелает меня видеть в собственных моих покоях, то меня для них нет и не будет никогда дома. Во удостоверение чего позволяю тебе показать им сей за рукою моею приказ. 2. Если от кого-либо из них же придет не к жене моей, а ко мне за чем-нибудь слуга, то не впускай его ко мне ни для какой важной причины. Отобрать, зачем пришел, и их мне доложа, ожидать моего приказу, а до оного ни в кабинет, ни даже в сени кабинета не впускать» (РГАЛИ. Ф. 1064. Оп. 1. Ед. хр. 3).

[3] *...в чем состоял приговор над ним.* — Приговором Пензенской палаты Уголовного суда от 14 января 1796 г. Улыбышев был лишен чинов, дворянского достоинства и сослан в Сибирь на вечное жительство; правда, после этого за него еще ходатайствовали, и, возможно, его участь была позднее облегчена.

[4] *Обручение было Константина Павловича ⟨...⟩ мы о том узнали из разосланных повсеместно указов.* — Обручение великого князя с принцессой Юлией Генриеттой Ульрикой Саксен-Кобургской, в православии принявшей имя Анна Федоровна, состоялось 3 февраля, а 15 февраля — бракосочетание.

[5] *По прошествии масленицы, на первой неделе в четверг...* — 6 марта.

[6] *На второй неделе в четверг...* — 13 марта.

[7] *...я много о нем здесь говорил, справиться с ним не далеко...* — Кн. А. И. Вяземский ранее в тексте не упоминается. Но он действительно был знаком с И. М. Д., состоя с ним в родстве, и много общался с ним в период жизни И. М. Д. в отставке в Москве в 1791 г. (Капище... С. 194—195).

[8] *В Великую пятницу...* — 18 апреля.

[9] *Он пробыл в Пензе Святую неделю...* — С 20 до 26 апреля.

[10] *...князь же Долгорукий, женатый на родне Зубова...* — Кн. В. И. Долгоруков был вторым браком женат на Евдокии Ивановне Юматовой, двоюродной сестре Платона Зубова.

[11] *...возвышен был в графское достоинство Морков...* — Аркадий Иванович Морков был возведен в графское достоинство Священной Римской империи 22 мая (2 июня) 1796 г.

[12] *Король сам был в Петербурге ⟨...⟩ столь сильно мог быть встревожен.* — Густав Адольф прибыл в Петербург 13 августа. Празднества шли в течение месяца, на 11 сентября было назначено обручение. Шведский король отказался подписывать брачный договор, пока из него не исключены статьи о сохранении вел. кж. Александрой Павловной православия с правом иметь свою часовню и клир и об обязательствах Швеции против Франции. Обручение было сорвано. 20 сентября Густав Адольф покинул Россию. С Екатериной из-за этого сделался легкий удар, от которого она уже не вполне оправилась.

[13] *...от губернатора московского...* — Князь Петр Петрович Долгоруков.

[14] *...российский помещик или уездный судья отнюдь не Гренвиль, не Шатам...* — Гренвилль (Grenville) — старинная английская дворянская фамилия. В конце XVIII в. были наиболее известны Ричард Гренвилль, гр. Темпль (1702—1779), политический деятель, его брат Джордж Гренвилль (1712—1770), первый лорд адмиралтейства, а затем до 1765 г. — премьер-министр Англии, и сыновья последнего Томас и Вильям. Шатам (гр. Чатам (Chatham)) — титул, который принял в 1766 г. Вильям Питт (Pitt) Старший (1708—1778), один из самых ярких политических деятелей Англии XVIII в., «великий коммонер», многократно входивший в кабинет министров, а в 1766—1768 гг. бывший премьер-министром. Соединение имен Гренвилля и Чатама связано, скорее всего, с тем, что Питт (гр. Чатам) был шурином Ричарда Гренвилля (гр. Темпля), который был сначала его политическим приверженцем, а потом — противником.

[15] *...марается за станком около красни...* — Красна — холст, простое полотно.

[16] *Он состоялся 26 апреля, а публикован в июне.* — Сенатский указ по высочайше утвержденному докладу «Об уменьшении винокурения в окрестностях Москвы для сохранения лесов и отвращения дороговизны дров, и о незаведении вновь в Московской губернии огнедействующих фабрик и заводов» датирован 19 июня 1796 г. Этим указом запрещено винокурение в Московской губернии, за исключением винокурения для домашнего обихода. Только поставщики вина в казну и откупщики, имеющие договоры с казной на четырехлетие 1795—1799 гг., имели право в течение этого времени продолжать винокурение в Московской губернии.

[17] *...28-го, в день, который Екатерина всякий год любила отличить новыми щедротами...* — 28 июня 1762 г. произошел дворцовый переворот, возведший Екатерину II на престол.

[18] *...в Успеньев день.* — 15 августа.

[19] *Сумароков сказал: «Без разума смешить — дар подлыя души».* — См. 1793 г., примеч. 60.

[20] *...превосходно Волтер изъяснился устами Меропы в ее трагедии: «Ce n'est pas aux tyrans a sentir la nature».* — Вольтер, «Меропа», акт 4, сцена 2.

[21] *...сахарные насаждения в Индии.* — Имеется в виду Вест-Индия.

[22] *В доме уездного судьи...* — Кондратия Марковича Алферьева.

[23] *...видеть Констансу в «Необитаемом острове»...* — «Необитаемый остров» — комедия Ж.-Б. Колле де Мессина в одном действии.

[24] *...как царь Израилев освобождал народ, им водимый, от ига фараонова.* — Исход 13, 14—18. Псал. 77, 52—53.

[25] *...могли себя уподобить лягушкам, просившим царя...* — Популярный басенный сюжет. См., например, басню И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя» (1809).

[26] *...Почувствовать добра приятство /⟨...⟩/ Какого Крез не собирал.* — Г. Р. Державин, «Фелица».

[27] *...посвятил себя Архангелу Михаилу, учредив 8-е число ноября знаменитым праздником в России.* — 8 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

[28] *Остановил военные действии в Персии...* — Российские войска под командованием гр. Валериана Зубова совершили в 1796 г. поход в азербайджанские провинции Персии. Войска выступили 23 февраля 1796 г. Были взяты Дербент, Баку, Кубань и Ганза. В ноябре 1796 г. Павел послал, минуя гр. В. А. Зубова, особое повеление каждому полковнику — отвести полки в Россию, рассчитывая, что войска вернутся без ведома главнокомандующего, который вместе со штабом попадет в плен. Гр. В. А. Зубова и штаб спас оставшийся их охранять М. И. Платов с казаками.

[29] *...отменил рекрутский начавшийся набор...* — Указом от 10 ноября 1796 г.

[30] *...Аннинскую ленту разделил на четыре степени...* — Орден св. Анны имел три степени (на широкой ленте через плечо носился крест первой, на узкой ленте на шее — второй, на груди с бантом — третьей), которыми награждались офицеры. Кроме того, был учрежден аннинский знак отличия для нижних чинов, прослуживших беспорочно и безотлучно двадцать лет (носился на ленте, еще более узкой, чем лента второй степени). В 1815 г. была учреждена четвертая степень ордена св. Анны (знак ордена носился на холодном оружии), при этом аннинский знак отличия для нижних чинов продолжал существовать.

[31] *...который после и заплатил ему за сию милость щедро...* — П. А. Талызин был участником заговора против Павла I.

[32] *...Зубов Николай, получивший Андреевскую ленту за возвещение ему о приближающейся кончине матери его...* — Утром 5 ноября Екатерину постиг апоплексический удар, к 10 часам ее положение стало безнадежно. В 12 часов в Гатчину с известием о болезни императрицы был послан курьер гр. Н. А. Зубов. В половине девятого вечера Павел с супругой приехали в Петербург. 11 ноября он наградил гр. Н. А. Зубова одновременно орденами св. Александра Невского и св. Андрея Первозванного.

[33] *...и сей-то самый Николай после снарядил его в путь вечности.* — В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. именно Николай Зубов нанес Павлу I первый удар, с которого началось избиение, закончившееся убийством.

[34] *Тотчас призвал он к себе князя Куракина и употребил его в Коллегии иностранных дел, где он заступил скоро место виц-канцлера.* — Кн. Александр Борисович Куракин был вызван из деревни приказом, отданным 6 ноября 1796 г., тогда же произведен в тайные советники со старшинством с 1 января 1791 г., 14 ноября назначен членом Совета при императоре, 16 ноября — вице-канцлером.

[35] *Брат его, князь Алексей, сделался генерал-прокурор...* — Кн. Алексей Борисович Куракин был назначен генерал-прокурором и членом Совета при императоре 4 декабря 1796 г.

[36] *...правитель канцелярии его, Ермолов, высидел сутки под караулом...* — 6 декабря 1796 г.

[37] *...в похоронах Петра III, которого он из Невского монастыря, короновав гроб его, перенес в крепость и поставил рядом с Екатериной...* — 2 декабря 1796 г. гроб Петра III со всеми регалиями, включая императорскую корону, был перенесен из Александро-Невской лавры в Зимний Дворец и установлен на катафалк рядом с гробом Екатерины. 5 декабря оба гроба были перенесены в Петропавловский собор, где состоялась погребальная служба. 18 декабря оба гроба были торжественно похоронены.

[38] *...повеление выдрать из всех указных книг 62 года манифест о отречении Петра III...* — Указом от 26 января 1797 г. «Об истреблении в печатных 1762 года указных книгах листов, в сем указе отмеченных...».

[39] *...при пожаловании Бобринского в графы...* — 12 ноября 1797 г.

[40] *...в том числе и вышепомянутому Ермолову...* — Кроме того, 12 ноября 1796 г. гр. А. Н. Самойлову было пожаловано 4000 душ, а П. А. Ермолову — 300 душ.

[41] *...удачнее ничего не было наименования Васильева государственным казначеем.* — 4 декабря 1796 г.

[42] *...восставлены были по-прежнему все коллегии!* — 19 ноября 1796 г. был издан указ «О восстановлении Берг-, Мануфактур- и Коммерц-Коллегий на таком основании, как оныя находились до 1775 года», 10 февраля 1797 г. — «Об учреждении Камер-Коллегии в Санкт-Петербурге».

[43] *...портрет статс-дамы...* — Украшенный бриллиантами портрет императрицы, носившийся на правой стороне груди, был отличительным знаком высших дам двора: гофмейстерин, статс-дам и камер-фрейлин.

[44] *Появилась монета с надписью: «Не нам, не нам»...* — первые монеты с надписью на лицевой стороне «не нам, не нам, а имени Твоему» — золотой червонец и серебряный рубль — датированы 1796 г., хотя выпущены в обращение были, по-видимому, в начале 1797-го. Эта надпись, заменившая помещавшееся там прежде изображение монарха, стала стандартной и присутствует на всех монетах Павла I достоинством от полуполтинника и выше до 1801 г. (кроме одной, самой первой, серебряной рублевой монеты). См.: *Уздеников В. В.* Монеты России. 1700—1917: [Каталог.] Изд. 2-е, перераб. и доп.. М., 1992. Каталожные № 0172, 0174—0178, 0181, 1257, 1265, 1267, 1269, 1279, 1280, 1282, 1284—1288, 1293, 1294, 1298, 1299, 1301, 1302, 1305—1309, 1311, 1313—1315, 1327—1331.

[45] *...Костюшка, начальник польских мятежей, быв щедро награжден, отпущен за границу.* — 18 ноября 1796 г. Тадеушу Костюшко было пожаловано 1000 душ крестьян, взамен которых 30 ноября было приказано выдать 60 000 рублей, а 29 ноября 1796 г. вышел указ «Об освобождении подпавших под наказание, заключение и ссылку, по случаю бывших в Польше замешательств».

[46] *...сочинение г. Массона..* — Мемуары Шарля (Карла) Массона «Mémoires secrets sur la Russie pendant les regnes de Cathérine et de Paul I» (Париж, 1803), в русском переводе см. пять глав первого тома и несколько фрагментов из второго и третьего томов: *Массон Ш.* Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I. Наблюдения француза, жившего при дворе, о придворных нравах, демонстрирующие незаурядную наблюдательность и осведомленность автора. М. : Новое литературное обозрение, 1996.

[47] *...к городничихе верхнеломовской, коллежской асессорше госпоже Тухачевской...* — Верхнеломовский городничий Сергей Семенович Тухачевский был коллежским асессором в момент приезда И. М. Д. в Пензу, но в 1792 г. был произведен в надворные советники, и жена его была надворной советницей.

[48] *...без всякой просьбы моей последовал именной указ о моей отставке 17 декабря...* — Одним указом от 17 декабря 1796 г. были без прошения отставлены два вице-губернатора кн. Долгорукова: пензенский (И. М. Д.) и нижегородский, полковник кн. Василий Иванович.

[49] *«Молитву пролием ко Господу»...* — Октоих, воскресный канон восьмого гласа, ирмос шестой песни: «Молитву пролию ко Господу и тому посвящу печали моя: яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя».

[50] *...на новую сцену в другом мире.* — Окончанием службы в Пензе и переездом в Москву четвертая часть, согласно ее заголовку, заканчивается. Далее в рукописях нет разделения на части.

1797

[1] *...я сменился в восемь дней...* — Выше И. М. Д. говорит, что в два дня сдал все дела, и это больше соответствует хронологии событий: получив указ 12 января и сдав дела, он выехал в Бессоновку к Салтыкову, где провел сутки, а оттуда 17 января направился в Москву.

[2] *Место сие было учреждено вновь...* — См. 1796 г., примеч. 42.

[3] *Указ о сем определении моем дан был 14 февраля...* — В «Сенатском архиве» указ датирован 12 февраля (Сенатский архив. СПб., 1888. Т. 1. С. 107).

[4] *...с родственниками моими князьями Голицыными...* — Супруги М. М. и А. А. Голицыны, состоящие с И. М. Д. в двойном родстве: М. М. Голицын был братом первой жены отца И. М. Д., а его супруга (урожд. бар. Строганова) — двоюродной сестрой матери И. М. Д.

[5] *...я пожалован в действительные статские советники, переведен в Москву в Соляную контору, и дано мне в год по 1875 рублей жалованья.* — Указом от 2 марта 1797 г.

[6] *...на шесть в сюрах...* — Сюры — козырная масть.

[7] *Скоро потом открывается Соляная контора.* — 15 марта 1797 г.

[8] *...рождалась или, лучше сказать, возобновлялась Контора соляная.* — Прежняя Соляная контора была ликвидирована 15 ноября 1783 г., новая учреж-

дена указом от 7 февраля 1797 г. «Об учреждении Главной Соляной конторы в Москве по-прежнему».

[9] *Он назывался почетным опекуном...* — Указом от 21 марта 1797 г.

[10] *...став под непосредственным начальством императрицы Марии Федоровны...* — 2 мая 1797 г.

[11] *...в Лазареву субботу.* — 28 марта.

[12] *...в Благовещеньев день...* — 25 марта.

[13] *...куртаг...* — Выход при дворе.

[14] *...наследственный акт фамилии своей, сочиненный им при шествии в поход под шведа.* — Акт о престолонаследии по прямой линии по мужескому колену был составлен Павлом при участии супруги в 1788 г.

[15] *...до самого Фомина понедельника...* — 13 апреля.

[16] *...далматик не сходил с плеч его, он не почитал себя царем, когда его на нем не было.* — Далматик — род мантии, накидки. В день коронации Павел объявил себя главой церкви и при короновании, прежде чем облечься в порфиру, приказал возложить на себя далматик — одну из царских одежд византийских императоров.

[17] *...стихарь...* — Нижнее облачение священников (архиереев) и верхнее — дьяконов во время службы.

[18] *...подобие мольерова bourgeois gentilhomme.* — Мещанин во дворянстве (фр.); ср. одноименную комедию Ж.-Б. Мольера.

[19] *Безбородко, Куракины и многие другие знатные приобрели имение...* — Александр Андреевич Безбородко в день коронации был возведен в княжеское достоинство с титулом светлости, получил драгоценный перстень и богато украшенный бриллиантами портрет государя, а также 10 000 душ в Орловской губернии, 6000 душ по собственному выбору и 30 000 десятин земли в Воронежской губернии. Кн. Николай Васильевич Репнин получил 6000 душ. Кн. Александр Борисович Куракин через несколько дней после воцарения Павла получил 150 тысяч рублей на уплату долгов, а при коронации — 4300 душ в Санкт-Петербургской и Псковской губерниях и совместно с братом Алексеем — 20 000 десятин земли в Тамбовской губернии и волость Велье Псковской губернии, а 10 апреля, также в вечное совместное с братом владение, — рыбные ловли и казенные учуги в низовьях Волги (на условиях ежегодной уплаты в казну 30 000 рублей и 12 000 рублей в пользу купечества г. Астрахани), на доходы от которых жило население большой области (эти рыбные ловли после смерти Павла в 1802 г. были отобраны и обращены в общее пользование всех местных жителей). Следующие по величине пожалования получили генерал от инфантерии (будущий фельдмаршал) гр. В. П. Мусин-Пушкин (4000 душ) и сенатор действительный тайный советник С. Ф. Стрекалов (2580 душ), прочие пожалования этого дня не превышали 2000 душ. Среди награжденных имениями были, в частности, И. А. Ступишин (400 душ), кн. А. И. Вяземский (800 душ), А. И. Васильев (ему пожаловано баронское достоинство и 150 душ), Е. И. Ланская

26 Зак № 3535

(урожд. Вилламова; 600 душ), И. А. Тейльс (300 душ в управляемой им Тверской губернии).

[20] *...брат двоюродный Нелидовой, мальчик Аркадий, бывший тогда генерал-адъютантом...* — А. И. Нелидов — родной брат камер-фрейлины Е. И. Нелидовой; стал генерал-адъютантом 24 лет от роду.

[21] *...купя под себя дом князя Безбородки, и думаю, что не за бесценок.* — Павел I заплатил за дом 670 тысяч рублей и взамен подарил Безбородко пустопорожнее место на р. Яузе.

[22] *Вместо Кондилияка когда они прочтут артикулы лучшего предка своего Петра I, они думают, что все знают и достаточно сведущи для трона.* — У Э. Б. де Кондильяка есть произведение: «Логика, или Начала искусства мыслить». Артикулы Петра I — «Артикул воинский».

[23] *...родного дяди отца моего князя Дмитрия Ивановича...* — Ошибка. Кн. Д. И. Долгоруков приходится дядей И. М. Д. и родным братом его отцу.

[24] *...неоторченая труба народу.* — Неоторченая (или неотолченая) труба народу — очень много народу. Выражение произошло от названия Трубной площади и рынка в Москве.

[25] *...он прощен.* — См. 1796 г., примеч. 3.

[26] *...дом Волконского познакомил меня с князем Трубецким...* — Кн. И. Д. Трубецкой был двоюродным братом кн. Агриппины Ивановны Волконской (урожд. кж. Трубецкой), матери кн. Михаила Петровича Волконского.

[27] *...прекрасная женщина, знакомая мне еще в девушках...* — И. М. Д. ухаживал за девицей Е. А. Мансуровой в доме Молчановых в Петербурге (Капище... С. 179—180).

[28] *...кончина принца Виртемберского...* — Герцог Фридрих Евгений Вюртембергский умер 23 декабря 1797 г. по новому стилю (12 декабря по старому).

1798

[1] *Посмотришь на себя, посмотришь на людей /⟨...⟩/ И вся-то наша жизнь не стоит двух грошей...* — Автоцитата из стихотворения «Жизнь» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 202).

[2] *...из аглинского театра, «Le Bon ton».* — «Le Bon ton» (1775). Комедия Д. Гаррика. На русский язык переведена кн. А. И. Голицыным под названием «Светское обращение, или Нравы века» (М., 1798), с добавлением третьего акта.

[3] *...Богу угодно было дать ей еще несколько лет прожить...* — Ошибка. Гр. Ефимовская умерла через несколько месяцев, 29 октября 1798 г.

[4] *...как Петрарх скажу: чорт ли в эскулапах!* — Ф. Петрарка. «Инвективы против врача» (*Петрарка Ф.* Сочинения философские и полемические. М., 1998. С. 219—303).

[5] *...как у фантасмагористов, картины беспрестанно менялись ⟨...⟩ на холсте отличается.* — Фантасмагория — представление на экране

картин и фигур, получаемых при помощи различных оптических приспособлений.

6 *Был князь Долгорукий, но вдруг он не полюбился...* — Кн. Ю. В. Долгоруков был уволен от службы 29 ноября 1797 г. Возможно, одной из причин этого стал проведенный им в сентябре 1797 г. незаконный сбор средств с жителей Москвы для выкупа находящихся в тюрьме должников.

7 *Он был родня всем Трубецким...* — Его матерью была гр. Прасковья Юрьевна Салтыкова, урожд. кж. Трубецкая, дочь действительного тайного советника кн. Юрия Юрьевича Трубецкого, предка всех живших в конце XVIII в. князей Трубецких.

8 *Одна из родственниц его, женщина подлинно прекрасная и вдвое того любезная, ему понравилась...* — Кн. Анна Петровна Трубецкая, урожд. Левашова, была замужем за кн. Александром Юрьевичем Трубецким, двоюродным племянником гр. И. П. Салтыкова.

9 *...другая княгиня Трубецкая, женщина, вышедшая уже из молодости, и также родня ее...* — Кн. Варвара Александровна Трубецкая (урожд. кж. Черкасская) была замужем за кн. Николаем Никитичем Трубецким (дядей Александра Юрьевича, мужа Анны Петровны).

10 *...сын автора...* — Кн. Петр Николаевич Трубецкой.

11 *Она так любила белые кирасирские кафтаны, а особливо под голубой лентой!* — Гр. И. П. Салтыков с 1782 г. кавалер ордена св. Андрея Первозванного, который носился на голубой ленте (в 1790 г. награжден алмазными знаками к нему), а с 1796 г. — шеф Кирасирского полка.

12 *...Воскресенский монастырь со многими его церквами.* — Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, основанный патриархом Никоном в 1656 г. (ныне г. Истра Московской обл., в помещении монастыря расположен Московский областной краеведческий музей). Сохранился написанный И. М. Д. «Журнал путешествия из Москвы в Воскресенск» (ГЛМ. Ф. 79. Ед. хр. 3. Л. 2—6 об.). Согласно этому журналу, поездка совершалась вчетвером: с сыном Павлом, его гувернером Тиери и И. Н. Классоном.

13 *Тут большое число церквей, состроенных императрицами и знатными особами.* — Три придела восстановлены иждивением Елизаветы Петровны; три придела основаны по приказу Павла I и строились попечением Александра I; придел св. Марии Магдалины построен попечением Марии Федоровны; несколько церквей и приделов построены или обновлены иждивением гр. П. И. Шувалова, И. И. Шувалова, гр. М. И. Воронцова, гр. К. Г. Разумовского, кн. А. А. Суворова-Рымникского, гр. Головкина, кн. Е. Р. Дашковой и др.

14 *...в Саввин.* — Звенигородский Саввин Сторожевский монастырь, основанный в 1380 г., где находятся мощи Саввы Сторожевского (Звенигородского).

15 *...царь Давид догадлив был, когда сказал, что вино веселит сердце человека.* — Псал. 103, 15.

[16] *Архиерей, который носит несколько лент и числится кавалером (так завелось при Павле)...* — Тотчас по вступлении своем на престол Павел I наградил в числе многих светских лиц и трех архиереев (митрополита Гавриила орденом св. Андрея Первозванного, архиепископов Амвросия и Иннокентия орденом св. Александра Невского), чего раньше никогда не делалось. Платон получил в 1797 г. орден св. Андрея Первозванного.

[17] *...зараз...* — Прелестей.

[18] *...к Долгорукой, тетке моей, которой дружество от превратных обстоятельств усиливалось.* — Кж. Варвара Николаевна Долгорукова, двоюродная тетка И. М. Д. (младше его пятью годами), дочь кн. Николая Алексеевича, младшего брата деда И. М. Д., кн. Ивана Алексеевича.

[19] *...к другой Долгорукой, вдове...* — Кн. Наталия Сергеевна Долгорукова.

[20] *«Philosophe marié»...* — См. 1786 г., примеч. 31.

[21] *Немудрено, конечно, найтить такого учителя, каков в лице г. Вральмана представлен в «Недоросле».* — Вральман — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

[22] *...оставалось трое сирых детей...* — Андрей, Михаил и Екатерина.

[23] *...скажу, как Фон Визин устами слуги своего Шумилова: «О таинство, от нас сокрытое судьбою!»* — Д. И. Фонвизин, «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке».

[24] *...хотя после нажил я с женой и другого.* — Своего младшего сына, родившегося 19 мая 1801 г., И. М. Д. тоже назвал Рафаилом (Михаилом).

[25] *...Лопухин ⟨...⟩ позван был в Петербург и занял генерал-прокурорское место.* — Назначение состоялось 8 августа 1798 г. Кн. Алексей Борисович Куракин, отставленный от должности генерал-прокурора, был в тот момент оставлен сенатором, но вскоре (21 сентября) вовсе уволен от службы.

[26] *Она скоро сделалась при нем российская госпожа Maintenon или Dubarry...* — Маркиза де Ментенон и графиня де Дюбарри были фаворитками французских королей, Людовика XIV и Людовика XV соответственно.

[27] *...всем хотелось в нем найтить отца Эмилии Галотти ⟨...⟩ да ведь это в трагедии.* — См. трагедию Лессинга «Эмилия Галотти», д. 5, явл. 7.

1799

[1] *...я сим годом был доволен, потому что я ему и «Спасибо» мой написал в стихах.* — «Спасибо 1799 году» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 230—233).

[2] *...написав стихи на вступление в новый год...* — См. «1799-й год». (Бытие сердца... Ч. 2. С. 211—216). Впервые опубликовано анонимно в журнале «Иппокрена» (1799 г., ч. 1, № 9, с. 135—142).

[3] *Родственник один княжон Волконских, князь Друцкой, умер...* — Кн. Андрей Даниилович Друцкой (он был женат на сестре матери княжон Волконских кн. Варваре Ивановне, урожденной кж. Трубецкой) умер 17 декабря 1798 г.

[4] *...я на сей случай сочинил пиеску, которая довольно была забавна...* — «Отчаяние без печали, или так водится» (Бытие сердца... Ч. 4. С. 73—108).

[5] *...родственник его генерал Хорват...* — Ген. О. И. Хорват был женат на сестре П. А. Зубова.

[6] *...ко всем качествам мусульманина...* — Имеется в виду не столько азиатское происхождение И. П. Кутайсова, сколько хитрость и лицемерие, которые И. М. Д. часто называет «мусульманскими качествами».

[7] *...несмотря на графский диплом, на все ленты, даже и Андреевскую, повешенную ему на шею и через плечо...* — В графское достоинство И. П. Кутайсов был возведен 5 мая 1799 г., а орден св. Андрея Первозванного с бриллиантами он получил в 1800 г.

[8] *...во всей форме был у двора его Фигаро.* — Персонаж комедий Бомарше «Севильский цирюльник» и др., ловкий слуга.

[9] *...минута благоприятная встретилась для князя Юрия Владимировича Долгорукова...* — Кн. Ю. В. Долгоруков был назначен членом Совета при Высочайшем Дворе 17 декабря 1798 г.

[10] *...по связи его с теткой моею графиней Строгановой...* — И. Н. Римский-Корсаков почти с самого удаления своего от двора в 1779 г. жил с гр. Е. П. Строгановой, двоюродной теткой И. М. Д. (расставшейся с мужем женой гр. А. С. Строганова), и имел от нее детей.

[11] *Он, получа отставку без мундира ⟨...⟩ скоро получил опять право носить мундир, а до тех пор он не выезжал никуда из своего Никольского.* — 7 марта 1799 г. кн. Ю. В. Долгоруков был уволен от службы без мундира, 29 июля получил право на его ношение.

[12] *...в Богородском селе князя Голицына.* — Кн. М. П. Голицын, владелец имения в Богородском уезде Московской губернии, позднее бывший Богородским уездным предводителем дворянства, библиофил и родственник кн. В. М. Долгорукова-Крымского.

[13] *...настоящая кинетозография!* — «Движущиеся картины».

[14] *...сочинял оперу «Любовное волшебство».* — *Долгоруков И. М.* Любовное волшебство. Опера в трех действиях. М., 1799. (См.: Бытие сердца... Ч. 4. С. 109—204).

[15] *...я писал стихами мое завещание...* — «Завещание» («Вот здесь, когда меня не будет...»). Бытие сердца... Ч. 1. С. 257—260.

[16] *...у князя же Долгорукого...* — У Владимира Сергеевича.

[17] *...в прежних годах жизни моей описано было, по какому побуждению дана была ему отпускная...* — Об отпускной С. С. Куликову в тексте не упоминается. (См.: Капище... С. 272).

[18] *Россия и Франция сделались тому свидетелями прежде всех.* — Во Франции 9 ноября 1799 г. (18 брюмера 8 года Республики) генерал Наполеон Бонапарт произвел государственный переворот и захватил власть.

[19] *...скончался князь Безбородко...* — 6 апреля 1799 г.

[20] *...то Куракин, то Ростопчин, то Панин, будучи по очереди виц-канцлерами, управляли ею...* — 16 ноября 1796 г. кн. Александр Борисович Куракин был назначен вице-канцлером, а 9 сентября 1798 г. отставлен; 23 октября вице-канцлером назначен В. П. Кочубей, 8 августа 1799 г. он отставлен, однако ему повелено остаться при исполнении до приезда гр. Панина. 25 сентября 1799 г. гр. Н. П. Панин сменил Кочубея (сперва исправляющим должность, и только с 7 января собственно вице-канцлером), 15 ноября 1800 г. Панина сменил С. А. Колычев, произведенный в тот же день из тайных советников в действительные тайные; его сменил гр. Ф. В. Ростопчин; 20 февраля 1801 г. Ростопчина вновь сменил Куракин.

[21] *Дочь его, выданная за Гагарина...* — 8 февраля 1800 г. светл. кж. А. П. Лопухина была обвенчана с кн. П. Г. Гагариным.

[22] *...отец был отпущен, и место его сперва занял Беклешов* 〈...〉 *но как и он не трафил на вкус Павла, то сменил его Обольянинов* 〈...〉 *при таком монархе, каков был Павел.* — Светл. кн. П. В. Лопухин был по прошению уволен от службы 7 июля 1799 г., его сменил А. А. Беклешов, который в 1800 г. подал прошение об отставке и 8 февраля после повторной просьбы был уволен, его в тот же день сменил П. Х. Обольянинов.

[23] *...в пятницу, прощаясь с ним перед Николиным днем в декабре и нимало того не ожидая* 〈...〉 *в понедельник уже мы съезжались в нее под новым начальством.* — В. И. Нелидов был смещен 3 или 4 декабря.

[24] *Осел пробудет век ослом /*〈...〉*/ Он только хлопает ушами.* — См. 1795 г., примеч. 20.

1800

[1] *...ах, для чего нет у людей слухового окошка, которое открывши, можно было бы проникнуть в их сердце и никогда не быть жертвой их коварства!* — Ср. в стихотворении И. М. Д. «И. Н. Классону»: «Жаль, что в сердце иногда / Слухового нет окошка, / И нельзя взглянуть немножка, / Что творится в нем когда» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 146).

[2] *...шиканства...* — Шиканство — придирки, нападки.

[3] *...попавши в виц-губернаторы в Калугу, где генерал-губернатором был Кречетников...* — Н. Е. Мясоедов был не Калужским, а Тульским вице-губернатором, хотя тоже под началом М. Н. Кречетникова.

[4] *...отставку Пояркову с половинным жалованием, без всякого его желания, и на место его определили Вельяминова...* — Указом от 18 марта 1800 г. Поярков по прошению уволен с обращением в пенсион половины жалованья, на его место назначен Вельяминов.

[5] *...бывшего виц-губернатором в Туле после Мясоедова и такого же фаворита Кречетникова.* — Н. И. Вельяминов был не Тульским, а Калужским вице-губернатором под началом М. Н. Кречетникова. И. М. Д. перепутал места службы вице-губернаторов Мясоедова и Вельяминова.

[6] *...Элтонского озера.* — Эльтонское озеро в Астраханской губ., богатое солью. Ныне — озеро Эльтон на западе Волгоградской области.

[7] *...отказался за болезнью и скоро потом вышел в отставку...* — Измайлов был по прошению отставлен 5 июля 1800 г.

[8] *...в сопровождении хирагры и подагры...* — Подагра — артрит в ногах, хирагра — в руках.

[9] *...с дядей нашим князем Михайлом Михайловичем Голицыным.* — См. 1797 г., примеч. 4.

[10] *...с мадамой...* — Мадам Гербер.

[11] *...куратор Университета...* — П. И. Голенищев-Кутузов (произведен в тайные советники и получил бриллиантовый перстень за то, что представил проект преобразования Благородного университетского пансиона в кадетский корпус и «План нового образца учения в университете»).

[12] *...советник банка.* — Н. И. Пещуров, советник Государственного ассигнационного банка, произведен в тайные советники 1 января 1800 г.

[13] *...Лифляндского гофгерихта.* — Гофгерихт — высшая судебная должность в Лифляндии.

[14] *...Львов ⟨...⟩ хотел из битой земли воздвигнуть круг Москвы афинейские портики и спартанские цирки...* — Н. А. Львов изобрел землебитный способ строительства, которым в 1797—1800 гг. построил жилой дом для Е. И. Нелидовой в Арапокузи, амфитеатр и Приоратский дворец в Гатчине и казармы в Торжке.

[15] *...через секретаря ее...* — М. И. Полетику.

[16] *Императору Павлу какой-то самозванец от сословия Малтийского капитула поднес право называться гроссмейстером этого ордена и раздавать оного знаки.* — 16 декабря 1798 г. Павел I издал манифест о восприятии им достоинства Великого Магистра Ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийского ордена).

[17] *...Мальту велел в календарях своих напечатать российским губернским городом, определил туда военного губернатора и коменданта, которые, однако же, не смели никогда на этот остров и носу показать.* — Указание Мальты в числе российских губернских городов см., например: «Месяцослов на лето от Рождества Христова 1801, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской империи» (СПб., 1800. С. 68). Комендантом Мальты 15 декабря 1798 г. был назначен генерал-майор кн. Д. М. Волконский. На следующий год он участвовал в итальянском походе А. В. Суворова, который оттуда отрядил его с войсками, предназначенными для гарнизона Мальты. Однако князь с войсками завершил свое путешествие в Неаполе.

[18] *... тамошнего губернатора, зятя своего родного...* — В 1798—1800 гг. Астраханским губернатором был И. С. Захаров, 9 августа 1800 г. он отрешен и отдан под суд, и на эту должность назначен А. В. Повалишин. О родственных отношениях с Кутайсовым кого-либо из них никаких сведений нет.

[19] *...дети погибели...* — Иоан. 17, 12.

[20] *Он при кончине Екатерины был не больше, как полковник или бригадир в комиссариатском штате...* — В 1793 г. кн. В. Ф. Сибирский был произведен в генерал-майоры.

[21] *...он его произвел в генерал-аншефы...* — В генералы от инфантерии. Этот чин соответствует чину генерал-аншефа, который Павел I в 1796 г. упразднил.

[22] *Нигде преступлении его, за что сие с ним сделано, не публикованы...* — Кн. В. Ф. Сибирский был сослан за несходство заготовленных вещей с высочайше утвержденными образцами.

[23] *...губернатор Тверской г. Тейлс выключен был из службы за то, что он оказал ему сострадание.* — 29 апреля И. А. Тейльса было повелено выключить из службы и отослать к суду. Он даже был ненадолго заключен в Гатчинский замок, но уже 27 мая был произведен в тайные советники и назначен сенатором.

[24] *Я на освобождение его писал стихи...* — «На освобождение князя Сибирского» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 124—126).

[25] *...намуткам...* — Сплетням.

[26] *...алгвазил...* — Полицейский (от фр. al-goua-zil).

[27] *«Ou peut on être mieux qu'au sein de sa famille»...* — Строка из оперы Ж.-Ф. Мармонтеля «Люсиль» на музыку А. Э. М. Гретри (1769).

[28] *«Homo sum et humani nihil alienum a me esse puto».* — См. 1794 г., примеч. 20.

1801

[1] *Заключенный в Михайловском замке...* — Заложенный 26 февраля 1797 г., Михайловский замок (сейчас — Инженерный замок) был освящен 8 ноября 1800 г., в день архангела Михаила. Переезд в него Павла состоялся 1 февраля 1801 г. Расположенный у слияния рек Фонтанки и Мойки, он с двух других сторон был обрыт рвами, мосты через которые на ночь обязательно поднимались и охранялись караулами. Замок окружали также гранитные брустверы с орудиями.

[2] *...скоро по приезде своем в Петрополь пожалован сенатором.* — Производство В. И. Нелидова в тайные советники с назначением сенатором произошло еще 4 декабря 1800 г.

[3] *...Аустерлицкой баталии, которая была несколько лет спустя после того времени, о котором я пишу.* — Победа Наполеона над союзным русско-австрийским войском 20 ноября (2 декабря) 1805 г.

[4] *Театр Волконского по родству его с Салтыковым...* — Гр. И. П. Салтыков был двоюродным дядей кн. М. П. Волконского.

[5] *...до тех пор еще кровь царская никогда в Петрополе царских порогов не окропляла.* — Павел I стал третьим убитым российским императором (за им-

перский период), но предыдущие (Петр III и Иван Антонович) были убиты, во-первых, будучи уже низложенными, а во-вторых, не в Петербурге, хотя и недалеко от него (один в Ропше, другой в Шлиссельбурге).

[6] *...фаворит Екатерины Второй Зубов с братьями своими* ⟨...⟩ *поставил себе в подвиг придумать способ сей избавиться его.* — Братья Николай, Платон и Валериан Зубовы были возвращены в Петербург в конце 1800 г. и с февраля 1801 г. приглашались ко двору.

[7] *...князем Долгоруким, сыном той почтенной княгини, которую я дружески знал из давних лет.* — Сергеем Николаевичем, сыном Наталии Сергеевны.

[8] *...зять графа Васильева...* — А. И. Васильев в это время был бароном, графское достоинство ему было пожаловано только 15 сентября 1801 г., в день коронации Александра I.

[9] *...возвратился щедро одарен ею.* — За известие о смерти Павла кн. С. Н. Долгоруков получил в подарок от московского дворянства и мещанства 50 000 рублей.

[10] *...Херасков и Державин, написали две оды.* — *Херасков М. М.* Ода его императорскому величеству великому государю Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому на всерадостное его на престол вступление. М., 1801; *Державин Г. Р.* Гимн кротости. [М.], 1801.

[11] *Tempus edax rerum!* — «Все сокрушающее время!» (лат.) Овидий, Метаморфозы. Кн. 1. Стих 234.

[12] *...приводил в порядок так, как свитки, найденные в открытых городах под черепом Везувия, и, разобрав его донесение, сложив из него как хотел свое...* — Раскопки в городах Помпеи, Геркуланум и Стабия, погибших под слоем пепла во время извержения Везувия в 79 г. н. э., начались в 1748 г. Здесь имеется в виду эпизод, рассказанный И. И. Винкельманом, о надписи на одной из стен Геркуланума, составленной из медных букв: буквы эти сорвали со стены, не потрудившись предварительно списать надпись, и, бросив в корзинку, отправили в музей, где их как попало повесили на стену.

[13] *...святил во имя ее патрона католицкую новопостроенную церковь...* — Костел св. Екатерины в Петербурге (совр. адрес — Невский пр., 32а) был освящен 7 (18) октября 1783 г.

[14] *...назвали мы Рафаилом, желая такое прекрасное имя возобновить в нашем доме.* — Под этим именем ребенок упоминается в тексте два раза: в 1811 г. и в 1816 г. В других случаях он назван Михаилом.

[15] *...несмотря на исполнившиеся ему с лишком семьдесят лет.* — Кн. В. С. Долгорукову было уже почти 77 лет.

[16] *...в день именин его...* — Александра I (30 августа).

[17] *...по приезде двора в столицу...* — 5 сентября Александр I приехал и остановился в Петровском дворце, 8 сентября состоялся торжественный въезд в Москву.

[18] *...побочный сын слепого счастия...* — П. Х. Безак был замечен Павлом I в 1797 г., когда он как секретарь Сената объявлял с герольдами о предстоящей

коронации. Он понравился императору громким и выразительным чтением церемониала и был записан в памятную книжку императора, а через три года назначен правителем дел Канцелярии генерал-прокурора.

[19] *...отнял почти в то же время любимую и большую дочь, великую княгиню Александру Павловну, скончавшуюся в Венгрии...* — Вышедшая в октябре 1799 г. замуж за эрцгерцога Австрийского, палатина Венгерского Иосифа великая княжна Александра Павловна умерла в Офене (Будапеште) 4(16) марта 1801 г. на десятый день после рождения дочери. Официальный манифест о ее кончине был издан только 31 марта 1801 г.

[20] *...угощал, как сатрап, самым пышным азиатским манером.* — Сатрап — наместник провинции (сатрапии) в древней и раннесредневековой Персии.

[21] *...Государь не садился под карниз, как булдыхан китайский.* — Булдыханом (богдыханом) в России называли китайского императора.

[22] *...дело наше остановилось на одной мере.* — Осталось намерением.

[23] *...Александр Первый собрал расточенные части сей губернии и опять велел ее открыть и привести в первобытное ее состояние.* — Пензенская губерния была ликвидирована указом Павла I от 11 октября 1797 г., а ее территория была разделена между Тамбовской, Нижегородской и Саратовской губерниями. Указом Александра I от 9 сентября 1801 г. она была восстановлена.

[24] *...в Пензу, куда скоро губернатора определили...* — Тайного советника Филиппа Лаврентьевича Вигеля.

[25] *...всем тем обязан я был старому князю Долгорукову.* — Владимиру Сергеевичу.

[26] *...вышедший указ именной о изобрании десяти человек кандидатов на губернаторские места, кои открываться будут.* — Именной указ Сенату от 8 декабря 1801 г. «О предоставлении десяти кандидатов для выбора в гражданские губернаторы» требовал назначать «в оные людей достойнейших, и не только способностию к делам по службе известных, но и стяжавших уже к себе общее уважение и доверенность образом своего поведения, честностию своих правил и непоколебимым бескорыстием, яко свойствами преимущественно нужными в начальниках, кои ⟨...⟩ должны быть сами образом правоты и примером деятельного благомыслия».

[27] *Бог миру дал все пополам, / Есть смеху час, есть час слезам...* — «Камин в Пензе» (Бытие сердца... Ч. 2. С. 170).

1802

[1] *...комедию «Les châteaux en Espagne»...* — «Воздушные замки» (фр., букв.: замки в Испании), комедия в 5 действиях Ж.-Ф. Коллен д'Арлевиля.

[2] *...18 февраля, в день рождения старшей дочери моей...* — Мария родилась 19 февраля.

[3] *...то место из Нового завета, где повествуется о десяти прокаженных...* — Лук. 17, 11—19.

[4] *...кричал с Экклезиастом: «Всяческая суета!»* — См. Вступление, примеч. 8.

[5] *...покровский исправник.* — Василий Иванович Ларионов.

[6] *...другой исправник...* — Василий Трофимович Колышкин.

[7] *...полицеймейстер...* — Михаил Анфимович Трусов.

[8] *...приложился к мощам трех великих князей...* — Среди великих князей, погребенных в Успенском соборе, трое канонизированы Русской Православной церковью. Это сын Юрия Долгорукого Андрей Юрьевич Боголюбский (мощи перенесены в Успенский собор в 1768 г. и помещены в раку в 1820 г.), его сын Глеб Андреевич (мощи помещены в Соборе в 1755 г. и в раку в 1818 г.) и племянник, сын Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, Юрий Всеволодович (мощи перенесены в Собор в 1240 г. и помещены в раку в 1645 г.).

[9] *...осмелюсь назвать моими предками.* — Князья Долгоруковы не ведут свое происхождение от Юрия Долгорукого, они являются потомками не Владимирских, а Черниговских князей.

[10] *...в казенном губернаторском доме...* — Современный адрес — Большая Московская ул., д. 24.

[11] *Спасо-Ефимьевский монастырь...* — Мужской монастырь, основан в 1352 г. кн. Борисом Константиновичем, в 1764 г. там учреждена центральная государственная крепость-тюрьма.

[12] *...я написал о нем особое историческое повествование, которое не пошло никуда в дело и осталось при мне.* — «О содержании заключенных в Спасо-Ефимьевском монастыре». См. рукописный сборник под названием «Гражданские записки отца моего», составленный дочерью И. М. Д. (ОРК и Р НБ МГУ, 1 Рк175^8. Рук. 32. Л. 1—30).

[13] *...старого бригадира нашей службы барона Аша...* — Отец этого Аша, Санкт-Петербургский почт-директор полковник Федор Юрьевич Аш, был вместе с потомством возведен в баронское достоинство Священной Римской империи императором Францем I в 1762 г. (с согласия Екатерины II). Но сын его, отказавшийся присягать Екатерине, должен был примерно с этого же времени находиться под арестом, и не совсем понятно, распространялось ли это пожалование и на него.

[14] *...богатый тамбовский помещик отличался более двенадцати лет титлом старшины Владимирского редута.* — Речь идет о Д. П. Дурове, прототипе главного героя комедии И. М. Д. «Дурылом». Имение Д. П. Дурова по 4-й ревизии составляло 662 души, в том числе 612 душ — в Тамбовской губернии, 49 душ — в Рязанской и 1 душа — во Владимирской. Редут — клуб, собрание.

[15] *Тетушка Лопухина, желая больше, нежели одним посещением уверить меня в ее хорошем к нам расположении...* — А. А. Лопухина была дочерью кн. Александра Алексеевича Долгорукова, от семейства которого прежде, как

И. М. Д. написал несколько выше, они «удалялись даже площадного знакомства». По просьбе А. А. Лопухиной И. М. Д. взял под свое покровительство ее побочного брата П. А. Рукина: 18 июля 1802 г. он определил его во Владимир частным приставом и после этого пять лет добивался для него городнического места (в губернских городах эта должность называлась полицеймейстерской, в уездных — городнической) и повышения чином (к 1802 г. П. А. Рукин был титулярным советником, следующий чин — коллежского асессора — давал потомственное дворянство): 18 декабря 1803 г. представлял его министру внутренних дел гр. В. П. Кочубею на должность Владимирского полицеймейстера (назначен был М. И. Кученев), 20 января 1805 г. — на должность Судогодского городничего (9 марта 1806 г. Сенатом ему было отказано, так как П. А. Рукин не был на военной службе в офицерских чинах), 3 октября 1806 г. — к награждению чином (безуспешно), 15 февраля 1807 г. снова к награждению чином, на этот раз в числе группы чиновников (также безуспешно). В дальнейшем, при участии сенатора И. В. Лопухина, удалось добиться для П. А. Рукина должности Владимирского полицеймейстера. (См. его письма от 21 марта 1807 г. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1807 г. Д. 151. Л. 2—2 об.) и от 20 июня 1807 г. (Там же. Л. 10—10 об.)).

[16] *Со мной встретились тогда один сонный, другой дурак.* — Павел Гаврилович Лазарев и Егор Антонович Тейльс.

[17] *Теперь уже он был надворный советник.* — Осип Петрович Полубенский. 11 сентября 1796 г. по окончании Московского университета он был определен в Пензенскую Казенную палату бухгалтером «с чином по месту» (очевидно, коллежского регистратора; если он действительно исполнял обязанности секретаря губернатора, то это никак не было оформлено), а в 1798—1802 гг. служил в Канцелярии генерал-прокурора и в это время с необычайной быстротой производился в чины: 10 августа 1798 г. — губернский секретарь, 1 января 1799 г. — титулярный советник, 1 января 1800 г. — коллежский асессор, 28 декабря 1800 г. — надворный советник. Причем за время его службы в этой Канцелярии (менее четырех лет) генерал-прокуроры успели перемениться пять раз: Куракин, Лопухин, Беклешов, Обольянинов, снова Беклешов, Державин. Позднее, уже служа (с 17 марта 1802 г.) во Владимирском губернском правлении, Полубенский был 31 декабря 1804 г. произведен в коллежские советники. (Его формулярные списки: РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1807 г. Д. 260. Л. 4—5. 1808 г. Д. 354. Л. 2—3).

[18] *...он займет значительное место в моей Истории...* — И. М. Д. считал О. П. Полубенского инициатором и сочинителем доноса о мундирах, ставшего одной из причин его отставки (Капище... С. 54).

[19] *...между шести ее членов человека два было довольно смышленых.* — Эти шесть членов: советник и заседатель Счетной экспедиции Иван Федорович Дмитриевский и Андрей Михайлович Лунин, советник и заседатель Камерной экспедиции Николай Афанасьевич Рагозин и Иван Иванович Куткин, советник

Ревизской экспедиции Яков Иванович Володимиров и губернский казначей Евграф Иванович Аменин. Один из тех, кого И. М. Д. считает смышленым, — И. Ф. Дмитриевский.

[20] *Уголовная палата под председательством глупого старика...* — Председателем Уголовной палаты был Николай Васильевич Хомяков.

[21] *...управлялась осторожным и благоразумным советником, учившимся некогда со мною в Университете...* — Михаил Степанович Бенедиктов.

[22] *Гражданская палата называла своим председателем старика хворого, полоумного и едва движущегося, который часто забывал, что накануне подписывал.* — Василия Даниловича Евреинова.

[23] *...в этой палате сидел советник из малороссиян, опытный в вотчинных распрях.* — Василий Дмитриевич Прожика.

[24] *И господин такой-то определен в прокуроры.* — Александр Родионович Зузин. Надо отметить, что в формулярном списке А. Р. Зузина на 1801 г. (см.: РГИА. Ф. 1349. Оп. 6. Д. 468. Л 6 об.—9) нет сведений об «изрядном карантине» в крепости, зато есть указание на двукратное представление к ордену: в 1770 г. (за успехи в борьбе с моровой заразой) и в 1795 г. (за прекращение падежа скота в семи уездах). Второе представление было осуществлено П. В. Лопухиным, однако до того, как он оказался «в большом случае» и стал князем. Оба представления так и не привели к награждению.

[25] *...по пятой ревизии...* — Пятая ревизия проводилась в 1795 г.

[26] *Шуйская на Шахме одна из уважительнейших.* — Ярмарка в селе Дунилово Шуйского уезда на р. Шахме.

[27] *Долго еще мы будем находить по селам оригиналы Фон Визиновых Недоросля, Бригадира, Советника и даже Скотинина.* — Недоросль и Скотинин — персонажи комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», Бригадир и Советник — персонажи его комедии «Бригадир».

[28] *Он иногда служит с шестью шапками кроме своей.* — Т. е. с шестью архимандритами.

[29] *Старинные суть: Муром, Суздаль, Переславль, Юрьев, Гороховец и Шуя. Новые: Вязники, Меленки, Покров, Ковров, Александров, Судогда и Киржач.* — Из старых самым поздним является Шуя, упоминаемая с 1539 г., Гороховец упоминается с 1239 г., остальные старые города существовали уже к XII в. (полное название Юрьева — Юрьев-Польский, Переславля — Переславль-Залесский). Новые получили статус городов в 1778 г., хотя некоторые из них были известны еще в Древней Руси: Ковров — с XII в., Александров (под именем Александровской Слободы) и Киржач — с XIV в., Судогда — с XVI в. Все города сохранили свое название и находятся по современному административно-территориальному делению: Переславль-Залесский в Ярославской области, Шуя в Ивановской области, остальные во Владимирской области.

[30] *...Собор Успенский и Дмитревский...* — Успенский собор был построен в 1158—1160 гг., Дмитровский собор — в 1194—1197 гг.

[31] *В монастыре женском почивают мощи св. Авраамия и привлекают туда один раз в год большое стечение черни...* — Владимирский Успенский Княгинин девичий монастырь основан в начале XIII в. первой женой Всеволода Большое Гнездо Марией Шварновной. Усекновение главы св. Авраамия отмечается церковью 1 апреля, а перенесение мощей — 6 марта, празднуется в его честь также третье воскресенье после Пасхи.

[32] *...под именем города изрядная деревня.* — На 1804 г. в Покрове значилось 276 купцов и мещан — меньше из всех уездных городов Владимирской губернии только в Судогде. Но к 1804 г. в уезде была стеклянная фабрика, а к 1805 г. открылись купоросная и медная (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 и 1805 гг. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 28—39 об., 145).

[33] *...в Покровском уезде есть пустыня, Введенской именуемая...* — Введенско-Островская пустынь, основана в 1708 г.

[34] *...упраздненный монастырь...* — Благовещенский монастырь был основан на р. Киржач Сергием Радонежским в 1358 г. и упразднен в 1764 г.

[35] *...с старинным монастырем женским, известным с своими принадлежностями под именем Александровой слободы.* — Успенский женский монастырь, основан в 1651 г.

[36] *...в нем царь Иван Васильевич с своими опричниками, удалясь от двора, забавлялся по вкусу своего времени, то есть пил и озорничил.* — В декабре 1564 г. Иван Грозный с приближенными покинул Москву и выехал в Александровскую слободу, где создал своеобразное опричное монашеское братство, и сам стал игуменом. Общие трапезы и молебны часто завершались пьяными пирами и кровавыми расправами, в том числе и в церкви.

[37] *Москва отсюда сто верст, Лавра сорок...* — По прямой от Александрова до центра Москвы 96 км, т. е. чуть больше 90 верст, до Сергиева Посада (Троице-Сергиевой лавры) — 33 км, т. е. примерно 31 верста. По дорогам расстояние может быть существенно больше.

[38] *...заметим Махринскую обитель...* — Махрищский Свято-Троицкий монастырь, зависимый от Троице-Сергиевой лавры, основан в 1360 г.

[39] *...царские двери...* — Центральные двери в иконостасе к престолу.

[40] *...Переславль, город старинный, большой, для уездного довольно людный...* — На 1805 г. Переславль с 1697 купцами и мещанами — второй по величине город губернии (после Мурома), крупнее Владимира (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 32 об.—39 об.).

[41] *Переславль имел некогда своих князей, особую епархию и своего местного пастыря.* — Первым переславским князем был в 1175—1176 гг. кн. Всеволод Юрьевич, затем — его сын Ярослав, внук Александр (Невский) и правнук Дмитрий Александрович, сын которого Иван Дмитриевич, последний удельный князь переславский (1294—1302 гг.), завещал Переславль своему дяде Даниилу Александровичу Московскому, и с той поры Переславль принадлежал москов-

ским князьям, изредка даваясь в кормление служилым князьям, выехавшим из Литвы на службу московским князьям. Самостоятельная переславская епархия существовала с 1721 по 1788 г.

[42] *В то время дан был им собственноручный указ переславским воеводам ⟨...⟩ Указ тот хранился в присутственных местах вместе с другим императрицы Елисаветы по другому предмету.* — Указ Петра I от 7 февраля 1722 г. гласил: «Указ воеводам переславским. Надлежит вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры; а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ». Он стал первым в истории России указом об охране исторических памятников. Указ Елизаветы Петровны от 22 июля 1743 г. был посвящен празднованию мира со Швецией по окончании русско-шведской войны 1741—1743 гг.

[43] *Юрьев-Польский...* — Юрьев-Польский впервые упоминается в 1152 г.

[44] *...царем Юрием Долгоруким.* — Юрий Долгорукий никогда не носил царского титула.

[45] *Суждаль, древний город. ..* — Суздаль впервые упоминается в 1024 г.

[46] *В нем была особая епархия и местный архиерей.* — Суздальская епархия существовала в 1214—1799 гг., с 1683 г. была митрополией.

[47] *Собор старинный, хранящий любопытные редкости.* — Суздальский собор во имя Рождества Богородицы построен в 1222—1225 гг. кн. Юрием Всеволодовичем на месте деревянной церкви, основание которой предание приписывало Владимиру Святому. В 1445 г. своды собора рухнули и восстановлены в 1528 г. Сохранилась роспись XIII в.

[48] *Несколько монастырей мужеских и женских, из них известнейший Спасо-Ефимьев.* — Кроме Спасо-Ефимьева монастыря в Суздале во времена управления губернией И. М. Д. был еще Васильевский мужской монастырь, основанный в первой половине XIII в., и два женских монастыря: Ризоположенский, основанный в первой трети XIII в., и Покровский девичий, основанный в 1364 г.

[49] *...прозвано место пустое Кинекша...* — Правильно — Кидекша, село на р. Нерль в 4 км от Суздаля.

[50] *...старинная им же поставленная из белого камня церковь, в которой похоронены сыновья его Борис и Глеб.* — Церковь Бориса и Глеба построена в 1152 г. Юрием Долгоруким и посвящена первым русским святым Борису и Глебу Владимировичам. В ней действительно погребен сын Юрия Долгорукого кн. Борис Юрьевич с женой и дочерью. Что касается Глеба Юрьевича, то он погребен в Киеве в Спасском (у Спаса на Берестове) монастыре.

[51] *...Гаврилова Слобода...* — Ныне г. Гаврилов Посад Ивановской области.

[52] *Она не город, но имеет посадские преимущества и Ратушу с своею думою.* — Гаврилов Посад не был центром уезда, но с 1789 г. был приравнен к городу. Отчетность по Владимирской губернии подавалась по всем уездам и по Гавриловскому и Киржачскому посадам.

[53] *Шуя — небольшой, но значущий город...* — Население Шуи на 1800 г. составляло 1510 жителей обоего пола всех состояний (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 32 об.—39 об.).

[54] *В соборе царские двери серебряные.* — Шуйский Воскресенский собор основан в XVII в. и возобновлен в 1792—1800 гг. Царские врата в нем, поставленные в 1799 г., — серебряные, вызолоченные, чеканной работы. На них ушло почти 39 кг серебра. Серебро в ризах храма, считая с приделами, весило более 325 кг. Убранство местной святыни — чудотворной иконы Шуйской Смоленской Богоматери — включало 794 бриллианта, 204 яхонта, 1000 аметистов и т. д. Также в серебряных ризах были иконы в Шуйской Крествоздвиженской церкви XVII в. Были в Шуе также Никольский собор, Спасская, Георгиевская и Покровская церкви и две часовни, об их убранстве сведений нет.

[55] *Парусина, полотно, выбойки, кожи, мыло...* — Мыловаренные заводы известны в Шуе с первой четверти XVII в., кожевенные — с первой четверти XVIII в. До середины XVIII в. именно кожи и мыла являлись основной продукцией Шуи, во второй половине XVIII в. стала развиваться текстильная промышленность. В герб Шуи, утвержденный при Екатерине II, помещен кусок мыла (см.: *Балдин К. Е., Ильин Ю. А.* Ивановский край в истории Отечества. Иваново, 1998. С. 21; *Борисов В. А.* Описание города Шуи и его окрестностей. М., 1851. С. 107). Однако в дальнейшем мыловаренное производство было вытеснено другими, к 1804 г. в Шуйском уезде была 61 бумажная набоечная фабрика, 54 полотняных, 14 кожевенных и 2 скорняжных, но мыловаренных не указано (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 28 об.—29).

[56] *Иваново есть село, принадлежащее графу Шереметеву.* — С 1871 г. город (до 1932 г. Иваново-Вознесенск), ныне областной центр Российской Федерации. Село существует с XVI в.

[57] *...несколько церквей...* — Самая крупная церковь — Покровская (впоследствии собор Покрова Пресвятой Богородицы) при бывшем Покровском монастыре, существовавшем с XVII в. до 1754 г. В ней иконостас был весь вызолочен червонным золотом. Кроме нее, были Воздвиженская, Рождественская и Троицкая церкви.

[58] *...поморская секта превосходнее прочих.* — Поморскую секту поддерживали материально многие ивановские крестьяне-предприниматели, в частности Грачевы.

[59] *...славный Грачев, который, купя у помещика сотнями тысяч свою свободу, 〈...〉 тут живет в большом каменном доме по пристрастию к родине.* — Е. И. Грачев выкупился за баснословную сумму 135 тысяч рублей. Его двухэтажный дом в Иваново сохранился, находится по адресу: ул. Колотилова, д. 43.

[60] *Без форм нельзя набивать полотен, формы надобно резать.* — Формы, с помощью которых рисунок набивают на полотно.

[61] *...пальмовые доски для бумажек.* — Деревянные доски для печатания ассигнаций.

[62] *...благосостояние тутошних жителей более происходит от способов сокровенных, нежели от общих средств доставать деньги.* — В Государственном архиве Владимирской области хранится «Книга записи фальшивых ассигнаций» за 1810—1811 гг., из которой явствует, что их находили у ивановских крестьян довольно часто, в том числе — у зажиточных (см.: ГАВО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1029. Л. 2, 9, 24, 27, 28. Сообщил К. Е. Балдин).

[63] *На кладбище при Соборной церкве остались на некоторых камнях имена князей Ковровых, о коих нет, впрочем, никакого сведения.* — Русский княжеский род, отрасль князей Стародубских. Кн. Андрей Федорович или его сын кн. Василий Андреевич (ум. 1531, служилый князь великих князей Московских) имел прозвище Ковер и переименовал село своего удела Рождественское в Коврово (впоследствии город Ковров), их потомки стали называться князьями Ковровыми. Известно, начиная от кн. Василия Андреевича, 19 мужчин — князей Ковровых, из них про троих известно, что они похоронены на кладбище села Рождественское-Коврово при Покровской церкви. Мужское поколение рода князей Ковровых пресеклось между 1629 и 1655 гг.

[64] *Погост архидиакона Стефана...* — Церковь св. первомученика архидиакона Стефана.

[65] *В двадцать лет времени с учреждения тут города...* — Вязники получили статус города в 1778 г., но как село известны с начала XV в.

[66] *...по причине песков, изнуряющих подъемный скот, все тягости преимущественно перевозятся здесь.* — Дорога через Муром более чем на 50 км длиннее дороги через Вязники.

[67] *В городе много зажиточных купцов, имеющих хорошие полотняные фабрики.* — К 1804 г. в Вязниковском уезде было 12 полотняных фабрик (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 29 об.).

[68] *... было, говорят, некогда уделом Ярополка и носит его имя.* —督Ярополч — древний город, известен с 1389 г., до 1848 г. формально оставался удельной (т. е. принадлежащей императорской фамилии) слободой, затем включен в состав Вязников.

[69] *...село Мстеры, дошедшее женскому колену графа Панина, в котором погребены несколько князей Ромодановских.* — Всего в Богоявленской церкви Мстеры сохранились 18 могил князей Ромодановских (11 мужских и 7 женских), но из них лишь на трех имеются имена и даты, 15 безымянны (см.: *Голышев И.* Древности Богоявленской церкви в слободе Мстере. Владимир, 1870. С. 51—52). Агриппине Васильевне Паниной, матери графов П. И. и Н. И. Паниных, Мстера была пожалована в 1744 г. До этого она была конфискована у гр. Михаила Гавриловича Головкина, получившего ее в приданое за женой Екатериной Ивановной, урожденной кж. Ромодановской (см.: *Голышев И.* Богояв-

ленская слобода Мстера Владимирской губернии, Вязниковского уезда. История, древности, статистика и этнография. Владимир, 1865. С. 3).

70 *...уезд изобилует разными заведениями и фабриками...* — К 1804 г. в Гороховецком уезде было 3 полотняные фабрики (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 29 об.).

71 *Фролищевская пустыня...* — Расположена в 26,5 км от Гороховца, основана в последней четверти XVII в. (по некоторым сведениям — в 1651 г.).

72 *Муром — город старинный...* — Один из самых древних городов северо-востока Руси, существовал к IX в. На 1804 г. в нем проживало 1925 купцов и мещан, по этому показателю он — самый крупный город губернии (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 32 об.—39 об.).

73 *Здесь уважительные есть кожевенные заводы.* — К 1804 г. в Муромском уезде было 21 кожевенное предприятие и еще 14 других, связанных с переработкой продуктов животноводства (сальных и салотопильных, клеевых, мыловаренных, суконных, щетинных), а также 6 полотняных (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 29).

74 *Здесь славные стеклянные заводы гг. Мальцовых...* — Хрустальный завод на р. Гусь был основан в 1756 г. Якимом Васильевичем Мальцовым. Сейчас на месте его заводов — город Гусь-Хрустальный. Всего в Меленковском уезде к 1804 г. было 15 стеклянных, 2 железных, 1 чугуноплавильный и 1 суконный завод (см.: Отчет губернатора по Владимирской губернии на 1804 г. // РГИА. Ф. 1281. Оп. 11. Д. 22. Л. 29 об.).

75 *Судогда — самая бедная деревня...* — К моменту превращения в 1778 г. экономической слободы Судогды в город в ней было 50 дворов. В 1802 г. в Судогде проживало 117 купцов и 67 мещан (меньше, чем в любом другом городе губернии), совокупный купеческий капитал составлял 62 тысячи рублей (самый маленький капитал в губернии, в среднем по 530 рублей на купца при минимуме, необходимом для приписания к купеческому сословию (3-й гильдии), — 500 руб.).

76 *...царь Иван Васильевич, идучи из Казани к Москве и узнав о рождении сына...* — Это был его первенец Дмитрий, вскоре погибший при несчастном случае.

77 *...история утверждает, что брошены были в коробе Кучковы дети, шурья Андрея Боголюбского и его убийцы.* — Андрей Боголюбский был убит заговорщиками под руководством Якима Кучкова, своего шурина, вскоре после того, как казнил другого своего шурина Петра Кучкова. Известно предание, что кн. Юрий Андреевич или кн. Всеволод Юрьевич Большое Гнездо велел зашить убийц кн. Андрея в короба и утопить в Плавучем озере.

78 *Боголюбский монастырь...* — Основан кн. Андреем Боголюбским в 1158 г.

79 *...тут и убит.* — 29 июня 1174 г.

80 *...тот покой, в котором он отдыхал и где явилась ему матерь Божия.* — Согласно летописному известию, в 1155 г. на пути из Вышгорода в

Суздаль с иконой Божией Матери Андрею Боголюбскому пришлось заночевать недалеко от Владимира, так как кони, везшие икону, стали и отказались двигаться дальше. Во сне князю Андрею явилась Божья Матерь и повелела поставить ее икону во Владимире. На месте этого события Андрей поставил церковь Рождества Богородицы и свою резиденцию — замок Боголюбово.

[81] *Икона ее чудотворная...* — Боголюбская икона Божией Матери написана по приказу Андрея Боголюбского специально для Боголюбского монастыря. На ней изображены Богоматерь и коленопреклоненный перед ней Андрей Боголюбский. Празднование почитания этой иконы — 18 июня.

[82] *...вспоминает город спасение от чумы...* — Эпидемия 1771 г.

[83] *...присматривал за этим сокровищем последний член земского суда.* — Яков Михайлович Лихарев.

[84] *Чтоб оградить себя от нее, я письменно отнесся к г. Трощинскому ⟨...⟩ я удостоился со вступления в должность первый получить от него рескрипт.* — Письмо И. М. Д. к Д. П. Трощинскому и высочайший рескрипт от 10 июля 1802 г. на имя И. М. Д. опубликованы: *Иваненко Б. В., Смирнов М. И.* Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского: К 125-летию находящегося в ней Петровского музея (1803 г.—1928 г.). Переславль-Залесский, 1928. (Труды Переславль-Залесского Историко-Художественного и Краеведческого музея. Вып. IX). С. 40—41. Одобряя представление И. М. Д., император, однако, оговаривал: «Но при этом я желаю, чтобы складка сия никак не имела вида принуждения, а тем менее еще, чтоб она составлена из нового какого-либо налогу на крестьян. Все, что единственно от избытков своих дворянство сделать на сие рассудит, приму я [в] доказательство благонамеренности его и усердия в честь отечества».

[85] *...поручил предводителю...* — Михаилу Александровичу Угрюмову.

[86] *...сущность и жалобы, и владельческого права.* — Имение (село Бородское с деревнями Славцовой и Толстиковой) было приобретено Н. Д. Лундышевым в 1801 г. Постоянные неповиновения крестьян вынудили И. М. Д. 3 июля 1802 г. представить о том генерал-прокурору Сената А. А. Беклешову. Но уже 5 июля 1802 г. (т. е., очевидно, не в ответ на это представление) И. М. Д. был направлен высочайший рескрипт с указанием разобраться в этом деле, 24 июля последовал второй рескрипт. Губернатор прибег к увещеваниям, заставил мужиков подписаться в покорности и 17 октября 1802 г. отрапортовал об этом. Однако год спустя, 19 июня 1803 г., И. М. Д. сообщил своему новому начальнику министру внутренних дел гр. В. П. Кочубею, что крестьяне Лундышева отреклись опять от повиновения, избрали старосту, отказались платить оброк и вторично подали просьбу императору. 17 июня 1803 г. в непокорные селения была введена воинская команда в составе 78 нижних чинов с одним обер-офицером. Зачинщик был наказан кнутом и выслан. 25 сентября 1803 г. губернатор сообщал министру, что крестьяне усмирились и воинская команда выведена из селений (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1802 г. Д. 63. Л. 1—6).

[87] *Учителя у нас в доме не было...* — Венц, работавший в доме И. М. Д. в Москве, поначалу не поехал с его семьей во Владимир.

[88] *На место Хованского определен Колокольцов.* — 29 сентября 1802 г.

[89] *Обнародовано учреждение министерств...* — Манифестом от 8 сентября 1802 г.

[90] *...адмирал Чичагов, сын славного победителя шведов, военную морскую...* — Формально первым министром морских сил был Н. С. Мордвинов (с 8 сентября до 28 декабря 1802 г.). После его отставки управляющим министерством 31 декабря 1802 г. назначен П. В. Чичагов, утвержденный в должности министра только в 1807 г.

[91] *...князь Лопухин стал министр юстиции и генерал-прокурор вместе...* — Первым министром юстиции был Г. Р. Державин, 7 октября 1803 г. он был отставлен и его сменил светл. кн. П. В. Лопухин.

[92] *...старинного сигклита.* — Сигклит (синклит) — верховное правительство.

[93] *...вахмистр щечится...* — Поживляется.

[94] *...между Силлы и Карибды* — Сцилла и Харибда — чудовища, между которыми должен был проплыть Одиссей.

[95] *...столы накрыты были лоскутками, изношенными еще в воеводских канцеляриях...* — Т. е. до учреждения Владимирского наместничества, назначения Владимира губернским городом и ликвидации воеводского управления 1 сентября 1778 г.

[96] *...и самый вид начальника при строгом его молчании не имел влияния на произвол и свободу дворянина.* — Указы Екатерины 5 ноября 1778 г. и ноября 1788 г. «О запрещении правителям губерний входить в Дворянское собрание». Александр I в указе «О непреступлении губернаторам пределов власти, назначенных им законом» от 16 августа 1802 г. повторил, чтобы губернаторы «не вмешивались бы отнюдь в дворянские и гражданские выборы» (п. 5).

[97] *...я сочинил речь...* — «Предложение, данное собранию владимирского дворянства при открытии выборов оного в губернском городе Володимире декабря 16-го дня 1802 года» (ОРК и Р НБ МГУ. 1 Рк175[8]. Рук. 32. Л. 45 об.—48).

[98] *..картинку, которая и доныне стотысячным изданием на Спасском мосту продается, «Как мыши кота погребают».* — Лубок «Как мыши кота хоронили». В XVIII — первой половине XIX в. центром продажи лубков в Москве был Овощной ряд, особенно место у Спасских ворот.

[99] *Начался мой роман с О⟨льгой⟩ А⟨брамовной⟩.* — О. А. Вебер.

1803

[1] *Он был при дворе Великого Фридерика посланником Великой Екатерины с лишком двадцать лет и ничего не имел, кроме жалованья в службе и пансиона в отставке.* — Кн. Владимир Сергеевич Долгоруков был послани-

ком при Прусском дворе с 1762 по 1787 г., почти четверть века. Он наделал в Берлине множество долгов, которые оплачивала после его отзыва российская казна.

[2] *Мы слышали голос бесподобной Маджиорлетти...* — Гастроли Маджиорлетти в Москве проходили с 15 февраля по 15 марта (см.: Московские ведомости, 1803 г.).

[3] *...под наклоном налоев...* — Налой — стол с пологой столешницей для книг.

[4] *...в означенном Пансионе, где дружба инспектора...* — А. А. Прокоповича-Антонского.

[5] *...мои сочинении, напечатанные в одной большой книге под названием: «Бытие сердца моего».* — *Долгорукий И. М.* Бытие сердца моего, или Стихотворения. М., 1802.

[6] *...за типографщика...* — И. В. Попов, содержавший университетскую типографию.

[7] *...иностранец привозил шар и пустил его в превыспренние равнины воздушные.* — Путчи (Капище... С. 80—81).

[8] *...поставлю я г. Спиридова, который на все здание дал кирпич, и помещицу села Весок, уступившую казне площадь своей земли для строения.* — М. Г. Спиридов дал 36 000 кирпичей, еще 10 000 дал бывший предводитель дворянства М. А. Угрюмов; помещица села Весок — гвардии ротмистрша Е. Н. Бутакова.

[9] *По «Истории переславской»...* — *Плишкин П.* Историческое, географическое, топографическое и политическое описание города Переславля Залесского... М., 1802. С. 75—78. Сроки первого спуска судов на воду и ежегодного крестного хода в этом сочинении названы другие.

[10] *...архимандрит Никитского монастыря...* — В 1803 г. монастырь возглавлялся игуменом Анатолием. Переславский Никитский монастырь упоминается с 1172 г. В 1716 г. в нем была учреждена архимандрия, но в 1764 г. вновь упразднена и восстановлена лишь в 1806 г.

[11] *...сочиненные на сей случай оды: 1) графом Хвостовым ⟨...⟩ 2) учителем тутошних школ и моя.* — *Хвостов Д. И.* Ода на случай воздвижения 1803 года, мая 1 дня близ города Переславля Залесского на берегу озера его, именуемого Плещово, в селе Веськове каменного здания для хранения фрегата, Петром Великим в оном месте сооруженного и на воду пущенного, мая 1 числа 1692 года. М., 1803. *Долгоруков И. М.* На открытие здания для ботика Петра I-го в Переславле (Бытие сердца... Ч. 1. С. 61—68). Учитель — А. И. Щедритский, его ода не обнаружена. Кроме гр. Д. И. Хвостова знаменитым посетителем на церемонии был действительный тайный советник П. С. Свиньин.

[12] *...описано было со всей подробностью в российских и иностранных ведомостях...* — См.: Московские ведомости. 1803 г. № 65 (15.08.). С. 1061.

[13] *...архимандриту...* — Филарету.

[14] *...провела там день матушкиных именин и рождения большой сестры нашей...* — Именины матери — 25 июля, день рождения старшей сестры Прасковьи — 9 августа.

[15] *...к ее именинам...* — 5 сентября.

[16] *...5 сентября, день придворный и в старину знаменитый в России.* — Тезоименитство императриц Елизаветы Петровны и Елизаветы Алексеевны, жены Александра I.

[17] *...определен в Шую городничим исправник тамошний...* — Д. В. Голембовский, шуйский исправник с 1 января 1803 г., правил должность городничего с 28 июня 1803 г. и назначен городничим 3 сентября 1803 г. (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1805 г. Д. 271. Л. 5, 9).

[18] *...принято было за правило городнические места давать чинам военным...* — 4 февраля 1804 г. вышел указ о занятии городнических должностей теми, кто в военной службе находился в офицерских чинах. Вероятно, еще до появления этого указа существовала аналогичная практика.

[19] *...известие о кончине великой княгини Елены Павловны...* — Елена Павловна умерла 12 (24) сентября 1803 г.

[20] *Меньшой сын его, служа со мной в гвардии, был убит в Шведскую войну ядром...* — Сержант л.-гв. Семеновского полка П. М. Литвинов погиб в Свенкзундском сражении 13 августа 1789 г.

[21] *...он потихоньку ревизует меня в моем деле.* — В сопроводительном письме при своем отчете, составленном во Владимире 12 ноября 1803 г., П. М. Литвинов писал: «По приезде моем во Владимир, был предварен ласками губернатора, нашел в нем все сведении, которые отличают людей, получивших весьма тщательное воспитание; дар слова, соединенный с познанием своего дела и редкими правилами насчет обязанностей общих и частных. Описание сие не в том намерении представляю Вашему сиятельству, чтоб мое одобрение могло быть нужно или принято Вами, но единственно, чтоб показать Вашему сиятельству всю трудность возложенных на меня препоручений. Как соединить должность с совестью, молчание — с обязанностию доносить! Могу ли быть уверен, что сказанное мне есть истинно? Легкое обращение князя Долгорукого со мною совершенно противно слухам, до меня доходившим». К письму прилагался отчет на шести листах о посещении богоугодных заведений. «После сего губернатор пригласил меня пойти в присутственные места, что сделал единственно из послушания; но сие самое заставило недовольных правлением видеться со мною, и то, что мне известно сделалось, за долг поставляю донести Вашему сиятельству:

Несогласии между губернатором и вице-губернатором весьма явны, неудовольствии сии лично мне были сообщены, но, полагая найти менее пристрастия в людях, живущих здесь без должности, из числа которых встретил мне давно знакомых, по отобрании их мнения нашел оные разделенными на партии, но неудовольствие на начальство довольно общее. Не имея ни времени, ни возможности уяснить истинное вещей положение, я могу, кажется, с основанием уверить Ваше

сиятельство, что в непродолжительном времени получите жалобы, которые послужат к дальнейшим объяснениям. Личное обращение губернатора немало служит к умножению сих неудовольствий.

Важные злоупотреблении случаются при наборах, при определении к должностям даже избираемых дворянами чиновников, места долго остаются без помещения на оные кандидатов и управляются прикомандированными к оным на время» (отчет и сопроводительное письмо при нем см.: РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1804 г. Д. 157. Л. 5—11).

22 *...княгини Пр⟨озоровской⟩...* — Кн. Анна Михайловна Прозоровская, урожд. кж. Волконская, статс-дама, по некоторым данным (см., например: *Волконская Е. Г.* Род князей Волконских. СПб., 1900), родная тетка кж. Варвары Петровны Волконской. В московской рукописи «Кн: Тр:» (что могло означать кн. Дарью Александровну Трубецкую, статс-даму, жену двоюродного дяди кж. В. П. Волконской) рукой И. М. Д. исправлено на «Кн: Пр:». В петербургской рукописи это исправление не учтено.

1804

1 *...никогда еще не отяготилась на мне так, как ныне, рука Божия.* — Псал. 37, 3.

2 *...в роле Амалии в «Сыне любви».* — Амалия — героиня комедии А. Коцебу «Сын любви».

3 *...на всю первую неделю поста.* — С 7 по 14 марта.

4 *...введен был в обычай чин коллегии юнкера.* — Чин коллегии юнкера, XIV класса по табели о рангах, был восстановлен указом от 1 января 1797 г. «О восстановлении при Сенате и Коллегиях обучения юнкеров канцелярскому производству и прочим наукам».

5 *Святую неделю провел в слезах и унынии жестоком дома...* — С 24 по 30 апреля.

6 *...Остановить геморрагию...* — Кровоизлияние.

7 *Ты возвратил Исаака отцу своему...* — Быт. 22, 1—13.

8 *...подобно Иову на гноище, я клял день рождения моего.* — Иов 3, 1—16.

9 *...в третье воскресенье после Святой, неделю расслабленного...* — В это воскресенье начинается 4-я неделя по Пасхе, так называемая «неделя о расслабленном» (Матф. 9, 2—7, Марк 2, 3—12, Лук. 5, 18—25).

10 *...отправлена была надгробная лития...* — Краткое молитвословие об упокоении душ усопших.

11 *...Преполовеньев день...* — Среда четвертой недели по Пасхе.

12 *...духовником нашим...* — Алексей Иванович Гречищев.

13 *...архимандрит...* — Виктор Прокопович-Антонский.

14 *...уведомил меня, что сын мой Павел может быть принят в службу, но не иначе, как студентом, а когда ⟨...⟩ будет произведен в коллегии юнке-*

ры. — Кн. Павел вступил в службу 7 мая 1804 г. студентом, а 24 декабря того же года был произведен в коллегии юнкеры (РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 705. Л. 126 об.—127).

15 *...на Троицын день...* — 12 июня.

16 *...мы вместе сливали в храме Божием наши слезы на свежие пучки новых весенних цветов.* — Существует обычай на Троицу во время молебна плакать на цветы.

17 *...Здесь он умер и похоронен. Над ним мраморный поставлен мавзолей.* — Ф. Г. Лафермьер умер 12 мая 1796 г. в Андреевском и там же похоронен, на его могиле поставлен мраморный памятник в виде саркофага с латинской надписью. Памятник Лафермьеру в Монрепо, поставленный Марией Федоровной, не является надгробным.

18 *Университет московский ⟨...⟩ прислал ради сего сюда одного из своих профессоров.* — Михаила Матвеевича Снегирева, члена Училищного комитета, уроженца г. Александрова Владимирской губернии.

19 *Сочинил я оду на открытие гимназии.* — «На открытие Владимирской Гимназии 1804 года августа 7 дня» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 69—73).

20 *...моим секретарем...* — Александр Иванович Могилевский.

21 *...в Переславле встретил я множество недовольных тамошним исправником...* — В. И. Барыковым (Капище... С. 198). Однако, как следует из Адрес-календарей, описанная история началась годом раньше, и Барыков был отстранен от должности в 1803 г.

22 *Уже Соляная контора была упразднена...* — 18 июля 1803 г. указом «О соединении дел, кои доселе ведомы были в Мануфактур-коллегии и ее конторе, в Экспедиции государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства и в Главной соляной конторе, в одно Управление с Департаментом внутренних дел, под именем Экспедиции государственного хозяйства».

23 *...в непродолжительном времени воспоследовал именной указ ⟨...⟩ в вину ей обращено быть не должно.* — В комиссии по рассмотрению прошений, на высочайшее имя приносимых, жалобы И. М. Д. и Пояркова рассматривались только 12 января 1807 г. (см.: РГИА. Ф. 1412. Оп. 252. Д. 683. Л. 14—14 об.).

1805

1 *...о кончине графини Марии Николаевны Скавронской, последовавшей в Неаполе.* — 18 декабря 1804 г. (Русские портреты XVIII—XIX столетий. СПб., 1909. Т. 5. № 196).

2 *Не бывши в нем лет с двенадцать...* — С 1793 г.

3 *...основании Казанского собора...* — Казанский собор на Невском проспекте по проекту А. Н. Воронихина был торжественно заложен 27 августа 1801 г., в 1805 г. строительство было в самом разгаре.

4 *...студом...* — стыдом.

[5] *Прокурор...* — Надворный советник Иван Иванович Пузанов.

[6] *...выехал на Страстной неделе из Петербурга.* — 6 апреля.

[7] *...в Светлое для всех, а темное для меня воскресение...* — 9 апреля.

[8] *Там уже предварили меня отец и дети...* — В Донском монастыре к этому времени были похоронены отец и два сына И. М. Д. — Михаил и Рафаил.

[9] *Реналь сказал сие о Элизе Драпер, найденной в Индии.* — См.: *Raynall G. T. F.* Histoire, philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. Neuchatel & Geneve, 1783. V. I. P. 374. Согласно Рейналю, его возлюбленная, уроженка Индии Элиза Драпер, обладала всеми возможными совершенствами и умерла от чахотки в возрасте тридцати трех лет.

[10] *...выехали мы из Москвы...* — Между 21 и 25 апреля.

[11] *Слово значительное в России и вечно будет иметь большую силу.* — См. стихотворение И. М. Д. «Везет» (Бытие сердца... Ч. 3. С. 36—37).

[12] *Там сильный пожар истребил треть большую города.* — Согласно донесению И. М. Д. министру внутренних дел гр. В. П. Кочубею от 2 июня 1805 г., пожар произошел в субботу 27 мая в разгар торгового дня в 11 часов и продолжался меньше 3,5 часов. Сгорело 179 частных домов и 20 разных заводов, все деревянные строения, в основном кельи двух муромских монастырей — Благовещенского мужского и Троицкого девичьего, но монастырские церкви пострадали незначительно. Полностью выгорели инвалидная и ямская слобода. В донесении от 5 июля губернатор указал сумму причиненного пожаром ущерба: 271 585 руб. 50 коп. Правительством был выделен кредит в 50 000 руб. сроком на 20 лет (РГИА. Ф. 1286. Оп. 1. 1805 г. Д. 38. Л. 1—5, 17—18, 69).

[13] *...тутошнему городничему...* — Андрею Ивановичу Дицу.

[14] *Название ее «Défiance et malice».* — «Недоверчивость и хитрость, или Долг платежом красен» — комедия в одном действии М. Дьелафуа.

[15] *...положа все на мере...* — Положить на мере — намереваться, планировать (приказное).

[16] *Как новый Солиман, не таю моих слабостей.* — Солиман — персонаж комической оперы Ш.-С. Фавара «Солиман вторый, или Три султанши» (русский перевод А. И. Шеллера: М., 1785), герой, чья любовь быстро остывает, не встречая сопротивления.

[17] *...ехать в Кизляр.* — Город в дельте Терека (на территории соврем. Дагестана).

[18] *...жадность к интересу...* — Интерес — здесь: выгода, прибыль.

[19] *Они напечатаны в книжке моей, названной «Сумерки моей жизни».* — «Успенское» (Сумерки моей жизни. М., 1808. С. 47—48). В переизданиях публиковалось под названием «Успенское. Деревня И. И. Му—ва» (Муханова) (Бытие сердца... Ч. 1. С. 232; *Долгорукий И. М.* Сочинения Долгорукого (князя Ивана Михайловича). Т. 1—2. СПб.: А. Ф. Смирдин, 1849. Т. 2. С. 46—47).

[20] *...разберут по себе Илмен, Семир...* — Героини пьес А. П. Сумарокова «Синав и Трувор», «Семира».

[21] *...от сочельника до другого...* — От кануна Рождества до кануна Крещения (Богоявления), т. е. с ночи на 25 декабря до ночи на 6 января.

[22] *15 сентября, день священный в царство Александра Первого...* — 15 сентября — день коронации Александра I.

[23] *...приспешня...* — Кухня.

[24] *Осенью загорелась война.* — 27 августа 1805 г.

[25] *Уехал император в Брест.* — 9 сентября Александр I выехал из Петербурга и 16 сентября прибыл в Брест-Литовск, откуда 17 сентября отправился дальше в Европу.

[26] *...гнили тысячи трупов разных царств и исповеданий на полях...* — Общие потери только в трех крупнейших сражениях этой войны (Ульмском, Трафальгарском и Аустерлицком) составили 55 тысяч человек.

[27] *Скончался в деревне своей канцлер граф Воронцов после многотрудной болезни и тяжких операций.* — 2 декабря 1805 г. в селе Андреевском Покровского уезда Владимирской губернии.

[28] *...без прослуг...* — Прослуги — проступки по службе.

[29] *...накануне почти несчастной битвы под Аустерлицами...* — Рескрипт подписан 18 ноября 1805 г., а Аустерлицкое сражение состоялось 20 ноября.

1806

[1] *...в котах.* — Коты — мужская обувь типа калош, обуваемая поверх сапог.

[2] *...по скоропостижном замирении Наполеона с австрийским императором.* — 26 декабря 1805 г. (по новому стилю) в Пресбурге (Братиславе).

[3] *В феврале последовал указ о переводе здешнего вице-губернатора в Казань.* — Именной высочайший указ об этом последовал 31 января 1806 г.

[4] *Секретарь Губернского правления, к нему откомандированный...* — Дмитрий Федорович Пузанов.

[5] *...потеряв одного из своих секретарей...* — В 1805 г. кн. П. Д. Цицианов потерял двух секретарей: Н. Ф. Чудинова и П. М. Броневского.

[6] *...Цицианов от запальчивости попал в сети персиян и изрублен ими.* — Кн. П. Д. Цицианов погиб 8 февраля 1806 г., принимая ключи от Баку из рук Бакинского хана.

[7] *Он уже имел чин надворного советника...* — Д. Ф. Шумилов произведен в надворные советники 11 декабря 1806 г.

[8] *Родной брат его, барон Аш, живущий в Петербурге...* — Известны биографии двух братьев бар. Ф. Ф. фон Аша — Егора (Георга) и Ивана, но ни один из них в 1806 г. в Петербурге не жил. Возможно, здесь имеется в виду третий брат — Петр, доктор медицины, о котором сведений почти нет.

[9] *Там, на пологих берегах реки Рпени, построил я себе комнатку прозрачную под легкой крышкой.* — См. стихотворение «Хижина на Рпени» (Бытие сердца... Ч. 1. С. 241—254).

[10] *Удален Чарторижский, отставлен Трощинский...* — Д. П. Трощинский уволен от службы 9 июня 1806 г. Кн. А. А. Чарторыйский (Чарторижский) был уволен от должности министра иностранных дел (с оставлением сенатором и членом Непременного совета) 17 июня 1806 г.

[11] *...карамболь.* — В бильярде: удар игрового шара, когда один рикошетом попадает во второй (от фр. carambole).

[12] *«Бригадир»...* — Комедия Д. И. Фонвизина.

[13] *...матерой земли...* — Матерая земля — материк.

[14] *Он сменял роды царские, как игрок переставляет шашки ⟨...⟩ когда он хотел исполнить какое-либо отважное предприятие.* — В 1806 г. королями стали братья Наполеона: Жозеф — Неаполитанским и Луи — Голландским. В том же году он пожаловал королевские титулы герцогам Баварскому и Вюртембергскому, вступившим с ним в союз. Другие воцарения наполеоновых родственников и маршалов состоялись позже: в 1807 г. его брат Жером стал королем Вестфалии, в 1808 г. его зять маршал Мюрат стал Неаполитанским королем (Жозеф Бонапарт был перемещен на испанский престол). На эти же годы приходится большинство пожалований наполеоновских маршалов герцогствами и графствами (в 1805—1806 гг. были пожалованы только Бертье, Даву и Мюрат).

[15] *...они, как остроумный один автор в басенке своей сказал, учили медведей и прочих четвероногих вить гнезда наподобие галок и ворон, то есть, просто сказать, правили государством навыворот.* — В сюжете басни о львенке, воспитанном орлом, виделся намек на воспитание Александра I (см.: *Крылов И. А.* Воспитание льва. 1811).

[16] *...моим клиентом...* — Клиент — покровительствуемый кем-либо.

[17] *...новый начальник гимназии...* — Дмитрий Иванович Дмитревский.

[18] *...министру просвещения...* — Гр. П. В. Завадовскому.

[19] *...долженствовали все иностранцы принимать присягу в том, что они обещаются не писать ни к кому в свое отечество и отрекаются от нынешнего их правительства и самозванца.* — Указ от 28 ноября 1806 г. «О высылке из России всех подданных французских и разных немецких областей, которые не пожелают вступить в подданство; о непропуске оных в Россию без паспортов министра иностранных дел; о прекращении действия торгового договора с Франциею и об учреждении Комитета для разбора иностранцев». Иностранные учителя, живущие в частных домах, обязаны были дать присягу в прекращении сношений со своим отечеством и предъявить поручительство в ее исполнении от тех лиц, в чьих домах они находились. За нарушение присяги с поручителя взимался штраф в размере 5000 рублей.

[20] *...для изучения...* — Здесь: обучения.

[21] *...кучера Вральмана...* — См. 1798 г., примеч. 21.

[22] *...издан манифест о составе по всем губерниям милиций или земского ополчения.* — Манифест 30 ноября 1806 г. «О составлении и образовании по-

всеместных временных ополчений или милиции». Общая численность земского войска назначалась в 612 тысяч ратников.

[23] *Россия разделилась на девять областей.* — Европейская Россия (кроме Кавказа) была разделена не на девять, а на семь областей: 1-я (Петербургская) включала Санкт-Петербургскую, Новгородскую, Тверскую, Олонецкую и Ярославскую губернии, 2-я (Лифляндская) — Эстляндскую, Лифляндскую, Курляндскую и Псковскую, 3-я (Белорусская) — Витебскую, Могилевскую, Смоленскую и Черниговскую, 4-я (Московская) — Московскую, Тульскую, Калужскую, Владимирскую и Рязанскую, 5-я (Украинская) — Орловскую, Курскую, Воронежскую и Харьковскую, 6-я (Киевская) — Киевскую, Полтавскую, Херсонскую и Екатеринославскую, 7-я (Низовая) — Костромскую, Вологодскую, Нижегородскую, Казанскую и Вятскую.

[24] *Ратник Долбила смешил всю Красную площадь, принимал француза на вилы и кричал: «Что, мусье!»* — Серия картинок о ратнике Иване Гвоздиле и милиционном мужике Иване Долбиле была создана в 1812 г. (см.: *Ровинский Д. А.* Народные картинки. СПб., 1881. Т. 2. № 492—495).

[25] *...православная церковь российская ⟨...⟩ громко проповедовала, что он во Франции учреждает по образу иудеев трибунал, называемый Сангедрин.* — Синодский указ 13 декабря 1806 г. «О обязанности духовенства при составлении земского войска или милиции, и о чтении по церквам сочиненного Синодом по сему случаю объявления», в котором, в частности, говорилось, что Наполеон в посрамление христианской церкви «созвал во Франции иудейские синагоги, повелел явно воздавать раввинам их почести и установил новый Великий Сангедрин еврейский, сей самый богопротивный собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа — и теперь помышляет соединить иудеев, гневом Божиим рассыпанных по всему лицу земли и устремить их на ниспровержение Церкви Христовой и (о, дерзость ужасная, превосходящая меру всех злодеяний!) на провозглашение лжемессии в лице Наполеона». Сангедрин (Синедрион) действительно был собран во Франции в феврале 1807 г.

[26] *...я им проговорил речь, которая вместе с одою Пожарскому была напечатана.* — *Долгорукий И. М.* Речь, произнесенная в полном собрании купечества Владимирской Губернии при объявлении оному высочайшего манифеста о земской милиции и Ода князю Пожарскому, избавителю России. [М., 1806].

[27] *В ноябре еще родилась Государю дщерь Елисавета...* — Императрица Елизавета Алексеевна родила дочь Елизавету 3 ноября 1806 г. Считаясь дочерью императора, она в действительности была дочерью штабс-ротмистра Алексея Охотникова, убитого через два месяца после ее рождения. Она умерла 30 апреля 1808 г., через год после смерти своего настоящего отца.

[28] *...подана была от меня г. директору, который препроводил ее в совет Московского университета.* — Сохранился рапорт директора Цветаева к попечителю от 19 октября 1806 г. за № 175 о намерении И. М. Д. «сделать Универ-

ситету собственно свое приношение, проистекающее от побуждений к нему благодарных за то, что образовал и приготовил нравственно носить отличительное звание в сословии гражданском, за то наконец, что он благодетельно и туне удостоен его знаменитой чести быть его членом. 〈...〉 И для того предоставил напечатать второе издание его сочинений и весь прибыток не токмо сего издания, но и всех тех его сочинений, кои впредь написаны будут и даже по смерти изданы будут, обращать в пользу здешней Губернской гимназии с распространением сего права гимназии на все будущие времена. 〈...〉 Он не ищет мзды своей в обыкновенных провозвестиях, и чем скромнее умолчено будет о его приношении, тем Университет поступит соответственнее с целью его» (копию см.: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 914. Л. 1 об.—2).

29 *...комната приняла предназначенный ей вид.* — В донесении от директора училищ Владимирской губернии в Училищный комитет от 5 ноября 1809 г. за № 547 сказано: «Ныне сие предписание начальства нижеподписавшимся приведено в точное исполнение, а именно: библиотека расположена в тех самых комнатах, где жила покойная супруга его сиятельства и помещены подаренные для книг шкапы; там же сооружен монумент 〈...〉; над вазою на стене изображена сочиненная его сиятельством следующая надпись: „Княгиня Евгения Сергеевна Долгорукая, супруга господина тайного советника и кавалера князя Ивана Михайловича Долгорукого, родилась в Тверской губернии от фамилии дворян Смирновых, с малолетства взята была под покровительство великия княгини Натальи Алексеевны. Воспитывалась и обучалась в Смольном монастыре. По выпуске из оного взята была ко двору великия княгини Марии Феодоровны в царствование Екатерины II. Отличными добродетелями своими стяжала во все времена жизни своей похвалу, уважение и любовь всех, ее знавших, беспрестанно пеклась о благе супруга и детей. Скончалась в сих комнатах, когда дом был губернаторский. Императорский Московский университет, снисходя на прошение супруга ея, приказал устроить в сей самой комнате библиотеку и поместить сии бюсты их сиятельств. Нежный и благодарный супруг соорудил ей сей монумент в вечную память"〈...〉» (копию см.: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 914. Л. 3 об.—4 об.).

30 *...резной герб Долгорукой фамилии...* — Описание герба князей Долгоруковых: «Щит четырехчастный. В правой верхней части герб великого княжества Черниговского: в золотом поле черный одноглавый коронованный орел с распростертыми крыльями, держащий в левой лапе большой золотой крест, вправо наклоненный; в левой верхней части герб великого княжества Киевского: в червленом поле стоящий ангел в сребротканной одежде, держащий в правой руке серебряный вверх поднятый меч, а в левой — золотой щит; в правой нижней части в черном поле выходящая из белого облака рука облеченная в латах, стрелу держащая; в левой нижней части в голубом поле серебряная крепость. Щит покрыт княжескою мантией и увенчан российско-княжескою шапкою» (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. СПб., 1799. Ч. 1, отд. 1. Л. 7—7 об.).

[31] *И мне ли сметь надеяться, что устоит противу тли, все в свете губящей, мавзолей бесценной для меня, но для света едва известной супруги.* — Владимирская гимназия сгорела в 1840 г. В пожаре погибла вся библиотека с памятником и подлинным письмом жертвователя. Однако канцелярские дела гимназии были спасены во время пожара, и в них сохранилась цитированная переписка (см.: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 914. Л. 4 об.—5).

[32] *Tempus edax rerum.* — См. 1801 г., примеч. 11.

[33] *...иные с мужьями, другие овдовев уже, жили одни своими домами.* — С мужьями жили Евдокия Алексеевна Владыкина, Надежда Алексеевна Нестерова и, по-видимому, Екатерина Алексеевна Телегина, овдовев — гр. Елизавета Алексеевна Апраксина (ее муж умер в 1796 г.) и Варвара Алексеевна Кузьмина-Караваева (ее муж погиб в 1794 г. в Польской кампании).

СОДЕРЖАНИЕ

Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году от рождения моего...